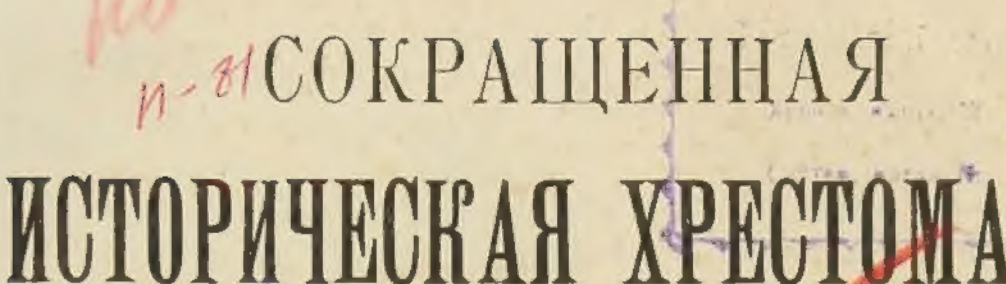
тишка!

Деньги печатали все... власти в Ленинграде и Мо... гастрономических магазинов... от вновь образовавшихся Со... ших оккупированных городах... правительств и главнокоманд... гербовой бумаге—центральные и... окраинные, на шелку — хиви... серой бумаге — бухарские, на к... чуть ли не на табачных этикетах... ных концах страны. Красные, бел... тые, зеленые, коричневые, разноц... Пестрый узор рисунков, цифр над... Четкий рисунок и надпись Москвы, зе... венки Украины, затейливая вязь Вос... Керенки, ленинки, пятаковки, лимоны, монарды, колокольчики, семечки, ерма... малессоновки, дутовки, верблюды и ов... хлебные и бычачьи деньги. Кремль, раб... чий и крестьянин, матрос, серп и моло... Государственная дума, поезд, царские портреты, Георгий Победоносец, копьем поражающий змия, памятник Ермаку, зеленые венки и колосья хлеба, германский железный крест. И „обеспечивается всем достоянием“... Боны—зеркало революции.



СОКРАЩЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ

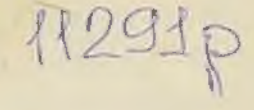
ПОСОБІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ДЛЯ

учениковъ старшихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній.

ЧАСТЬ III.

Изданіе второе, дополненное.



СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Въ первомъ изданіи одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія.

Цѣна 1 руб. 50 к.

МОСКВА.

Типографія Г. Лисснера и А. Гешеля,

преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа.

Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

1904.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ III ч. «Сокращенной исторической хрестоматіи» составитель подборомъ статей ученыхъ изслѣдователей имѣлъ въ виду, въ предѣлахъ школьныхъ требованій, освѣтить какъ литературную дѣятельность Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Грибоѣдова, Батюшкова, такъ равно и ихъ личность. Если наличная литература давала возможность раскрыть условія жизни и постепеннаго развитія писателя, опредѣлявшія его направленіе, то составитель помѣщалъ статьи и біографическаго характера.

Во второмъ изданіи помѣщены вновь слѣдующія статьи: «Общественная атмосфера, въ которой выросъ и опредѣлился Карамзинъ», Сиповскаго; «Родители Карамзина», его же; «Эпоха чувствительности», Александра Веселовскаго; «Поэтика романтиковъ и поэтика Жуковскаго», его же; «Литературныя вліянія, окружавшія Жуковскаго», Архангельскаго; «Романтизмъ и муза Жуковскаго», Булича; «Отношеніе Жуковскаго къ романтическому движенію», Архангельскаго; «Отношеніе Жуковскаго къ философско-психологическому направленію эстетики XVIII—XIX вв.», Сакулина; «Идеалы Жуковскаго», Александра Веселовскаго; «*Людмила* и ея первоисточникъ», Созоновича; «Жуковскій, какъ переводчикъ Шиллера. Особенности перевода баллады *Торжество побѣдителей*», Чешихина; «*Жалоба Цереры*, въ переводѣ Жуковскаго», его же; «*Кубокъ* и *Перчатка* въ переводѣ Жуковскаго», его же; *Поликратовъ перстень*, Цвѣтаева Дм.; «*Поликратовъ перстень* въ переводѣ Жуковскаго», Чешихина; «Патріотическія стихотворенія Жуковскаго»,

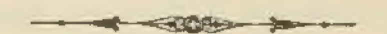
Никитенка; «Жуковскій, какъ наставникъ Александра II», Пономарева и О. Миллера; «Родственныя черты музы Жуковскаго и Пушкина», Владимирова; «Многолѣтняя и глубокая дружба Жуковскаго и Пушкина», Сумцова; «Духовная организація Жуковскаго и Гоголя и ихъ взаимное литературное вліяніе», Пѣтухова; «Жуковскій и Державинъ», Бѣлинскаго; «Доброжелательныя отношенія Жуковскаго къ писателямъ», Маркевича; «Воспитательное значеніе поэзіи Жуковскаго», Кирпичникова; «Значеніе Жуковскаго въ исторіи развитія литературнаго языка», Никитенка; «Особенность таланта и поэтическаго творчества Жуковскаго», Никитенка; «Среда, изображаемая въ комедіи *Горе отъ ума*», Ор. Миллера и Григорьева; «Чацкій», Незеленова и изъ предисл. къ изд. *Горе отъ ума* изд. Суворина 1886 г.; «Фамусовъ» Незеленаго; «Женское общество въ комедіи *Горе отъ ума*», его же; «Софья», Гончарова; «Общественное значеніе Грибоѣдова, какъ писателя», Смирнова А. и Котляревскаго И. «Дѣтство Батюшкова и его первоначальныя литературныя занятія», изъ предисл. къ изд. 1898 г.; «Михаилъ Никитичъ Муравьевъ и его вліяніе на Батюшкова», Майкова; «Оленинскій кружокъ», Майкова; «Остальные годы жизни Батюшкова», изъ пред. къ изд. 1898 г.; «Обзоръ поэтической дѣятельности Батюшкова и характеръ его поэзіи», Бѣлинскаго, «Значеніе поэзіи Батюшкова», Майкова; «Жуковскій и Батюшковъ», Бѣлинскаго и Плетнева.

В. Покровскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Стран.



Общественная атмосфера, въ которой выросъ и опредѣлился Карамзинъ.

Основательное знакомство съ жизнью русскаго общества XVIII вѣка, съ его стремленіями и идеалами, представляетъ для историка культуры немалое значеніе. Причина этого ясна: вѣдь еще въ прошломъ вѣкѣ, особенно во второй половинѣ его, надо искать объясненія многихъ явленій, давшихъ содержаніе русской жизни XIX вѣка, — явленій, даже въ наши дни, полныхъ жизни и смысла. Вотъ почему русское общество той эпохи не разъ подвергалось суду нашей исторической литературы; вотъ почему въ качествѣ судій выступали и историки, и историки литературы, и юристы; вотъ почему и въ наши дни та далекая жизнь полна еще не умирающаго интереса, тѣмъ болѣе очевиднаго, что, при оцѣнкѣ этой важной эпохи, наши историки значительно разошлись между собой.

Правда, эта разноголосица, смущающая на первыхъ порахъ всякаго начинающаго изслѣдователя, нѣсколько смягчается тѣмъ, что почти каждый изъ этихъ историковъ нѣсколько ограничиваетъ свое мнѣніе оговорками и поправками, — но эти оговорки и поправки иногда такъ незначительны и такъ скоро, повидимому, забываются самими авторами, что, въ концѣ концовъ, читателю все-таки приходится выпутываться изъ цѣлаго ряда противорѣчивыхъ мнѣній, взаимно исключаемыхъ одно другимъ. Почему же одна и та же жизнь оцѣнена у насъ до такой степени различно?

Историческая жизнь никогда не захватываетъ цѣликомъ всего общества; ни въ одной странѣ въ одно время не увидимъ мы единства интересовъ и стремленій, — всегда намъ придется имѣть дѣло съ цѣлымъ рядомъ общественныхъ слоевъ, съ разнообразіемъ общественныхъ группъ, которыхъ интересы и стремленія чаще всего даже сталкиваются между собой. Понятно, что историкъ, характеризующій жизнь одной группы,

замѣчающій ея характерныя черты, рискуетъ впасть въ ошибку, если свою характеристику распространитъ на все общество, не обративъ должнаго вниманія на то разнообразіе, которое въ немъ царитъ. Чтобы объяснить возникновеніе какого-нибудь культурнаго явленія, напримѣръ сатиры XVIII вѣка, историкъ, конечно, обязанъ сгруппировать основанія, объясняющія это явленіе, но нельзя результатамъ подобной, нѣсколько искусственной, группировки придавать слишкомъ общее значеніе.

Цѣль нашего очерка — обрисовать жизнь Н. М. Карамзина до его путешествія. Для этого намъ надо бросить взглядъ на то малоизвѣстное время его жизни, когда складывались его духовные интересы, когда создавались его нравственные идеалы. Понятно, что для объясненія условій, создавшихъ ту атмосферу, въ которой выросъ Карамзинъ, нѣтъ намъ нужды рисовать жизнь всего русскаго общества XVIII вѣка, ни, тѣмъ болѣе, останавливаться на темныхъ сторонахъ этой жизни, — напротивъ, намъ надо найти въ ней только то, что способствовало появленію такихъ личностей, какой былъ Карамзинъ; намъ надо объяснить, на какой почвѣ расцвѣлъ въ Россіи и чѣмъ питался тотъ идеализмъ, которому Карамзинъ остался вѣренъ до конца дней и который былъ имъ переданъ въ наслѣдство молодому поколѣнію (Жуковскому и другимъ)...

Въ общихъ чертахъ возстановить жизнь той далекой эпохи не трудно благодаря обилію документовъ, дошедшихъ до насъ отъ XVIII вѣка. Особенно драгоцѣнны для насъ въ этомъ отношеніи записки Болотова, эта талантливая эпопея русскаго общества за полстолѣтіе его жизни. Чуткій зритель всего происходящаго, человѣкъ отзывчивый на всякое общественное содроганіе, Болотовъ въ своихъ миніатюрахъ вырисовалъ такую массу людей прошлаго вѣка, что многое въ жизни той эпохи дѣлается для насъ понятнымъ. Цѣлый рядъ другихъ мемуаровъ и записокъ, въ общемъ, только подтверждаютъ Болотова. Кромѣ того, блестящія картины того вѣка, попадающіяся въ произведеніяхъ нашихъ лучшихъ писателей, даютъ намъ представленіе объ этой жизни въ яркихъ типическихъ чертахъ: со всею полнотою исторической и психологической правды рисуется передъ нами эта жизнь,

а нѣтъ въ этихъ картинахъ никакой исторической фальши.

Какова же была та часть русскаго общества, которая оказалась воспріимчивой къ культурнымъ воздѣйствіямъ, принесеннымъ извнѣ, которая отозвалась на идеалистическія стремленія западной Европы XVIII вѣка и выдвинула изъ своей среды молодежь, чуткую, отзывчивую, въ концѣ вѣка оказавшуюся во главѣ русскаго передового общества?

Конечно, для рѣшенія этого вопроса Простаковы, Скотинины, Салтычихи и другія подобныя имъ личности не могутъ интересовать насъ, тѣмъ болѣе, что и на страницахъ мемуаровъ XVIII вѣка они лишь изрѣдка мелькаютъ и быстро исчезаютъ осужденные и осмѣянные. Эти безобразные наросты на русской жизни той эпохи силою вещей были обречены на гибель: они задерживали стремленія лучшихъ людей, единогласно были ими осуждены и должны были вымереть. Это были, по признанію людей XVIII вѣка, возмутительныя исключенія на томъ ровномъ, правда, довольно безразличномъ фонѣ, какимъ была остальная масса русскаго общества. Вотъ эта — именно масса, изъ которой выдѣляются, время отъ времени, безобразные выродки и люди талантливые, полные энергіи и хорошихъ желаній, — особенно интересуетъ насъ, такъ какъ именно она оказалась средой, податливой на хорошія вліянія и къ концу вѣка сдѣлала большіе шаги впередъ...

Сытная, довольная, безстрастно жила она, съ непоколебимой вѣрой въ Бога, нетронутая душевнымъ разладомъ. Въ ней царилъ еще патріархальный складъ съ домостроевскими идеалами, правда, уже нѣсколько затуманенными вліяніемъ чужеземныхъ наслоеній. Много было въ этой добродушной жизни наивности и грубости, но жестокость была, повидимому, исключительнымъ явленіемъ. Не мало хорошихъ людей проходитъ передъ нами при чтеніи записокъ XVIII в., и съ какою любовью относятся къ нимъ не только авторы записокъ, но и другіе современные имъ люди!

Для насъ очень цѣнно авторитетное свидѣтельство графа Л. Толстого, изучавшаго эту жизнь для своего романа „Война и миръ“. Защищаясь отъ обвиненія критиковъ въ томъ, что „характеръ времени недостаточно опредѣленъ“ въ его романѣ, онъ говоритъ: „я знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ романѣ, — это

ужасы крѣпостного права, закладываніе женъ въ стѣны, сѣченье взрослыхъ сыновей, Салтычихи и т. п.; и этотъ характеръ того времени, который живетъ въ нашемъ представленіи — я не считаю вѣрнымъ и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ большей степени, чѣмъ нахожу ихъ теперь, или когда-либо и т. д.“

Семилѣтняя война потревожила это мирное теченіе русской жизни. Почти шесть лѣтъ прожили за границей русскіе дворяне, служившіе въ полкахъ Елизаветы; они увидѣли совершенно новую жизнь, въ которой чувствовалось тогда культурное движеніе; они присматривались къ этой жизни и многое принесли на родину изъ чужихъ краевъ. Съ какими чувствами оставляли русскіе юноши чужбину, — объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ Болотовъ, разсказывающій о своемъ прощаніи съ Кенигсбергомъ: „какъ скоро отъѣхали я версты двѣ отъ города и взъѣхалъ на знакомый мнѣ холмъ, съ котораго можно было городъ сей мнѣ впослѣдніе видѣть, то предчувствуя, что мнѣ его никогда уже болѣе не видать, восхотѣлось мнѣ еще разъ на него хорошенько насмотрѣться... съ цѣлую четверть часа смотрѣлъ на него съ чувствіями нѣжности, любви и благодарности... и, бесѣдуя съ нимъ душевно, молча говорилъ: „Прости, милый и любезный градъ, и прости навѣки!... Ты былъ мнѣ полезенъ въ моей жизни; ты подарилъ меня сокровищами безцѣнными, въ стѣнахъ твоихъ *сдѣлался я человѣкомъ* и *узналъ* самого себя“, — и, конечно, не одинъ Болотовъ переживалъ такія чувства!

Манифестъ о вольности дворянства по всѣмъ угламъ Россіи разбросалъ массу служилыхъ дворянъ, изъ которыхъ многіе находились еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заграничной жизни. Раньше дворяне только наѣздомъ посѣщали свои родныя гнѣзда, — чаще всего старики, женщины да дѣти были постоянными жителями русской деревни. Теперь туда полились широкіе потоки новыхъ людей, нерѣдко молодыхъ, со свѣжими запасами знаній и силъ. Возвращаясь на родину уже не съ тѣмъ, чтобы умирать на покоѣ, а для того, чтобы жить въ свое удовольствіе, они легко увлекались всѣмъ, что могло хотя до нѣкоторой степени поддержать ту культурную атмосферу, къ которой они были пріучены

жизнью въ умственныхъ центрахъ. И вотъ, приблизительно съ этого времени, начинаютъ составляться тѣ библіотеки, которыя къ концу вѣка у нѣкоторыхъ помѣщиковъ достигаютъ внушительныхъ размѣровъ; въ деревню выписываются журналы и газеты, даже заграничныя; начинаетъ прививаться любовь къ домашнему театру, обратившаяся подъ конецъ въ какую-то манію; являются любители домашнихъ оркестровъ, собиратели картинъ и рѣдкостей. Въ русскомъ обществѣ замѣтно пробуждается эстетическое чувство: не только произведенія искусства, но и сама природа, во всей ея нетронутой простотѣ, находитъ поклонниковъ, возбуждая у нихъ „нѣжнѣйшія чувствованія", „кроткія наслажденія"... Подъ вліяніемъ западной культуры люди XVIII вѣка начали на многое смотрѣть „совсѣмъ иными глазами и находить тамъ тысячи пріятностей, гдѣ до того ни малѣйшихъ не примѣчали", — и, конечно, „блаженное искусство любоваться красотами и пріятностями натуры" доставляло „восхитительныя минуты" не одному Болотову, если „англійскіе" сады дѣлаются модой даже въ глухой провинціи... Красоты природы сдѣлались понятны многимъ русскимъ, опять-таки подъ вліяніемъ запада — этому „искусству наслаждаться природой" Болотовъ научился, по его словамъ, „въ бытность свою еще въ Пруссіи"...

Пробужденіе эстетическаго чутья въ русскомъ обществѣ заронило у многихъ любовь къ поэзіи: едва почуялъ Болотовъ прелесть эстетическихъ эмоцій, какъ „нечувствительно получилъ вкусъ и къ піитическимъ сочиненіямъ". Вотъ почему Сумароковъ, Херасковъ и другіе современные имъ писатели, выступившіе на литературное поприще на зарѣ русской новой литературы, сдѣлались любимцами передового русскаго общества: они на первыхъ порахъ вполнѣ удовлетворяли скромнымъ требованіямъ русскихъ эстетиковъ, и за это стихотворенія ихъ выучивались наизусть, надъ ихъ произведеніями проливались „сладкія слезы"...

Кромѣ „эстетическаго" движенія въ русскомъ обществѣ XVIII вѣка нетрудно также замѣтить и пробужденіе „нравственныхъ" стремленій. Источникомъ этихъ стремленій была литература переводная и оригинальная, возникшая подъ вліяніемъ западной. Особенное значеніе въ этомъ отношеніи имѣли театральныя пьесы и романы: эти произведенія были особенно

популярны въ русскомъ обществѣ и многое сдѣлали для расширенія его духовнаго кругозора. Отъ людей XVIII вѣка мы знаемъ, какое сильное впечатлѣніе производила на многихъ драма того времени съ ея опредѣленными идеалами: торжество добродѣтели, патріотизмъ, возвышенная чистая любовь, все это сильно волновало русскую молодежь, будило въ ея душѣ идеальные порывы... Романы, благодаря своей завлекательности, еще сильнѣе дѣйствовали въ этомъ направленіи на подрастающее поколѣніе: они были настоящей культурной силой въ жизни русскихъ людей XVIII вѣка. Почти всѣ авторы записокъ того времени, говоря о своемъ дѣтствѣ, признаютъ огромное значеніе для нихъ этихъ произведеній.

Романы увлекали читателей своимъ „интереснымъ" содержаніемъ, а потому болѣе были доступны массѣ, чѣмъ, напримѣръ, лирическія произведенія; на цѣлые дни и ночи приковывали романы къ себѣ вниманіе любителей этого чтенія, нерѣдко послѣднія деньги выманивали у нихъ... Но зато они заставили полюбить книгу; начавъ съ романа, многіе переходили къ историческимъ, нравоучительнымъ, научнымъ сочиненіямъ, а тѣ, которые остались навсегда при романахъ, все-таки были благодарны имъ за то расширеніе нравственнаго кругозора, которое было принесено этимъ чтеніемъ. „Кто плѣняется Никаноромъ, злощастнымъ дворяниномъ", говоритъ Карамзинъ, „тотъ на лѣстницѣ умственнаго образованія стоитъ еще ниже его автора, и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ: ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему-нибудь научается въ мысляхъ или въ ихъ выраженіи".

Въ большинствѣ переводныхъ и оригинальныхъ романовъ XVIII вѣка мы встрѣчаемъ опять-таки рѣшительное восхваленіе добродѣтели, неизбѣжное наказаніе порока: мы знакомимся съ героями, страдающими, но вѣрными своимъ нехитрымъ идеаламъ: чистая любовь, благородство души, чувствительность сердца — вотъ черты любимыхъ героевъ въ этихъ произведеніяхъ. Ихъ страданія вызывали слезы и будили отзывчивость въ юныхъ сердцахъ, ихъ завидныя добродѣтели восхищали молодежь и безъ труда увлекали ее на дорогу къ идеализму... Многіе, кромѣ того, отъ чтенія и переписыванія романовъ переходили къ переводамъ, подражаніямъ, распространяли свои симпатіи на всю область литературы и понемногу втягивались въ литературныя занятія.

Особенное значеніе имѣла эта нахлынувшая романическая литература на русскую женщину. Если юноша, выйдя на широкій житейскій просторъ, часто отвлекался отъ нѣкогда любимыхъ романовъ или переходилъ отъ нихъ къ чтенію другого рода, болѣе серіозному и содержательному, то русская дѣвушка, особенно провинціальная, нерѣдко навсегда оставалась около романовъ. И вотъ, уже со второй половины XVIII в. намѣчается въ русской жизни типъ дѣвушки-мечтательницы, воспитанной на романахъ, — типъ, который у Пушкина облекся въ художественный образъ поэтической Татьяны. Несомнѣнно также, что, между прочимъ, эта же романическая литература вызвала русскую женщину на литературное поприще, и потому-то съ середины XVIII в. до конца его мы видимъ большое число русскихъ писательницъ и переводчицъ...

Конечно, многіе изъ романовъ XVIII в. только волновали фантазію, даже дѣйствовали раздражающимъ образомъ на чувственность читателей, но, несомнѣнно, такихъ романовъ было меньшинство: стоитъ взглянуть хотя бы на одни перечни романовъ XVIII вѣка, чтобы убѣдиться въ томъ, что разныя подозрительныя „похожденія“ гораздо рѣже встрѣчаются, чѣмъ произведенія съ „добродѣтельными“ и „нещастными“ героями. „Какіе романы болѣе всѣхъ нравятся?“ спрашиваетъ Карамзинъ и самъ даетъ отвѣтъ: „обыкновенно чувствительные: слезы, проливаемыя читателями, текутъ всегда отъ любви къ добру и питаютъ ее. Нѣтъ, нѣтъ! дурные люди и романовъ не читаютъ!“ Конечно, были любители и скабрезныхъ романовъ, но для насъ важно, что въ русской провинціи XVIII в. оказываются библіотеки, составленныя съ очень строгимъ выборомъ: „во *всѣхъ* романахъ“, составлявшихъ библіотеку матери Карамзина, „герои и героини, несмотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными; всѣ злодѣи описываются самыми черными красками“... Этотъ подборъ только нравственныхъ романовъ — фактъ, въ нашихъ глазахъ, очень краснорѣчивый... Вотъ почему мы не разъ слышимъ отъ людей XVIII в. признанія, что они много обязаны романамъ за то нравственное воспитаніе, которое было получено ими отъ этого чтенія.

Съ перваго взгляда трудно понять, почему это резонерство à la Стародумъ увлекло людей XVIII в. болѣе, чѣмъ

[illegible] лица въ родѣ Простаковой, мы со скукой читаемъ многія въ томъ вѣкѣ произведенія, проникнутыя, съ нашей точки зрѣнія, „пошлой", „прописной" моралью, но въ доброе старое время, для молодого общества, которое еще только приступало къ самопознанію, которое искало путей къ свѣту, которое впервые ощутило въ себѣ идеалистическія стремленія, эта мораль была откровеніемъ, и потому цѣнилась высоко. Людямъ того времени дорого было все положительное. Оттого-то для „вольтерьянства", съ его скептицизмомъ, не было почвы на Руси, оттого и сатирическая литература, искусственно пересаженная, не могла пустить глубокихъ корней въ русское общество: не сомнѣніе и не обличеніе были нужны людямъ прошлаго столѣтія, а указанія, куда идти, гдѣ свѣтъ... Вотъ почему Новиковъ безъ труда бросилъ свои сатирическіе журналы и пошелъ навстрѣчу къ тѣмъ смутнымъ идеальнымъ порывамъ, которые онъ усмотрѣлъ въ русской жизни: онъ, по словамъ Карамзина, отказался отъ сатиры, „потому, что нашелъ другой болѣе вѣрный способъ быть полезнымъ своему отечеству". Московскій университетъ, съ его нѣмецкими профессорами, расчистилъ дорогу идеальнымъ стремленіямъ на Русь, а масонство и богатая идеалистическая литература, занесенныя съ запада, были первыми потоками идеализма, который влился въ русскую жизнь, уже подготовленную къ принятію его, — влился, оживилъ и создалъ цѣлое движеніе.

Къ этому времени русское общество очень замѣтно раскололось на двѣ половины, враждующія одна съ другою: Петербургъ и Москва были центрами враждующихъ лагерей; французское вліяніе, съ одной стороны, и нѣмецко-англійское, съ другой, — вотъ двѣ столкнувшіяся силы. Императрица, съ ея вѣрой въ просвѣщенный абсолютизмъ, и молодое русское общество, выходящее на самостоятельный путь, безъ всякихъ помочей, своими силами, — вотъ враги, культурная борьба которыхъ заполнила конецъ XVIII вѣка на Руси.

Столичное общество, съ его преклоненіемъ предъ императрицей, съ подражаніями французской литературѣ, съ сатирами „въ улыбательномъ родѣ", не интересуетъ насъ, все вниманіе наше устремляется на провинцію, гдѣ съ середины вѣка до конца его замѣтили мы самостоятельное, неумирающее стремленіе къ свѣту.

Это было счастливое время, когда каждая печатная строчка цѣнилась очень высоко, передовые люди встрѣчали поддержку даже у современниковъ, стоящихъ ниже ихъ по развитію; молодежь охотно собиралась около интересныхъ людей, преклонялась передъ ними, и со стороны ихъ встрѣчала всегда искреннее желаніе помочь по мѣрѣ силъ; независимо отъ новиковскаго кружка, и раньше и позже его, встрѣчаемъ мы уже въ русской провинціи небольшіе кружки самообразованія и самоулучшенія. Въ нихъ складывался новый типъ юноши, не удовлетворяющагося дешевымъ россійскимъ „вольтерьянствомъ", предпочитающаго созерцательную жизнь - суетливой свѣтской Это юноша отзывчивый, чувствительный, развитой эстетически и морально. Онъ жаждетъ свѣта, воодушевленъ „богатырскими" помыслами, хочетъ „не безполезно жить для людей". Это молодой человѣкъ, у котораго въ груди бьется горячее сердце, который ищетъ чего-то, къ чему онъ могъ бы привязаться всей душой и о чемъ онъ самъ не имѣетъ опредѣленнаго понятія, но что должно наполнить пустоту его души и оживить его жизнь!..."

Зародыши этого идеализма усмотрѣли мы въ жизни провинціальнаго русскаго общества уже съ начала второй половины XVIII вѣка, а блестящій расцвѣтъ его относится, по нашему мнѣнію, къ тому движенію, которое началось въ 80 -90-хъ годахъ около московскаго университета. Новиковъ и Шварцъ были вожаками этого движенія, а студенты университета и молодые „любословы" — той толпой, въ которой это движеніе назрѣло до сознательныхъ стремленій. Творцомъ этой новой жизни Новиковъ не былъ: онъ — только талантливый выразитель тѣхъ желаній, которыя съ половины XVIII вѣка пробуждаются въ русскомъ провинціальномъ обществѣ. Онъ одинъ изъ первыхъ далъ себѣ отчетъ въ этихъ желаніяхъ и помогъ разобраться въ нихъ русскому обществу. Благодарная провинція послала къ нему въ Москву своихъ сыновъ; онъ соединилъ ихъ около себя и, главнымъ образомъ, благодаря Шварцу, повелъ эту молодежь туда, гдѣ, какъ ему казалось, мерцалъ свѣтъ истины...

Мы говорили уже, что культурное движеніе русской провинціи началось подъ вліяніемъ нѣмецкимъ. Въ самомъ дѣлѣ, Германія середины вѣка переживала, правда, въ болѣе значительныхъ и серіозныхъ размѣрахъ, то же, что мы видѣли

въ Россіи. Французское вліяніе столкнулось тамъ съ англійскимъ, а потомъ и съ мѣстнымъ, нѣмецкимъ; французская скептическая литература встрѣтилась съ идеалистической. Фридрихъ Великій и Екатерина имѣютъ между собою много общаго; борьба, которая завязалась съ этими „просвѣщенными" владыками у молодого нѣмецкаго и русскаго общества, тоже въ очень многомъ сходна между собою. Въ Германіи эта борьба съ „просвѣщеннымъ абсолютизмомъ" приняла довольно рѣзкія формы: дореволюціонная европейская литература договорилась до смѣлыхъ откровенностей — намъ кажется, что политическая окраска не чужда и той борьбы, въ которую вступила русская провинція, въ лицѣ Новикова, — со столицей, въ лицѣ императрицы. Конечно, одного просвѣтительнаго движенія, выразившагося въ „эстетическихъ" и „идеалистическихъ" стремленіяхъ, было недостаточно для возникновенія въ обществѣ „политическаго" движенія, — для этого нуженъ прежде всего расцвѣтъ общественнаго самосознанія, нужно пониманіе общественныхъ нуждъ, развитіе государственныхъ и правовыхъ понятій. Все это, правда, въ скромныхъ размѣрахъ, найдемъ мы въ молодомъ русскомъ обществѣ второй половины вѣка, и все это было дано ему Екатериной.

Императрица своимъ „Наказомъ", а потомъ внутренними реформами дала могучій толчокъ пробуждающемуся русскому обществу. Если до реформъ Екатерины мы видѣли людей и развитыхъ, и съ извѣстными убѣжденіями, то это были лишь отдѣльныя личности: общественнаго сознанія почти незамѣтно въ русскомъ обществѣ до-екатерининской эпохи. Екатерина внезапно обратилась съ вопросомъ ко всему обществу, и если отвѣтъ былъ данъ на первыхъ порахъ довольно безтолковый, то историческое значеніе этого отвѣта все-таки громадно: съ этого времени общественное сознаніе быстро развивается, нарождаются общественные интересы: начался обмѣнъ мыслей, многое прояснилось, опредѣлилось, на историческую сцену являются уже не отдѣльныя личности, но группы людей съ болѣе или менѣе опредѣленнымъ знаменемъ...

Намъ думается, что императрица скоро раскаялась въ своей юношеской поспѣшности. Увлеченная модною въ XVIII вѣкѣ болѣзнью „sensiblerie declamatoire", т.-е. страстью гово-

рить пышныя фразы, Екатерина, возвѣщая міру о своихъ просвѣтительныхъ планахъ, болѣе смотрѣла, кажется, на то, какое впечатлѣніе производили онѣ на западную Европу, — между тѣмъ, и на Россію онѣ произвели впечатлѣніе очень сильное, хотя на первыхъ порахъ почти незамѣтное: лишь къ концу царствованія Екатерина увидала плоды своихъ первыхъ неосторожныхъ шаговъ, когда выросло у насъ общественное самосознаніе, и русское общество откликнулось на политическія движенія западной Европы. Только радикальными мѣрами удалось тогда императрицѣ удержать русское общество въ желательныхъ для нея границахъ.

Эти проявившіяся подъ вліяніемъ Запада идеалистическія и политическія стремленія, въ соединеніи съ ясно сознанными общественными интересами, и создали ту силу, которая не поколебалась вступить въ борьбу съ самой императрицей. Два борца выдвигаются въ это время изъ рядовъ русскаго общества: одинъ — Новиковъ, осторожно начавшій опасную борьбу, создавшій цѣлую армію бойцовъ-помощниковъ, захватившій съ собою всѣ углы Россіи на эту борьбу, другой — Радищевъ, самонадѣянный и дерзкій мечтатель, одинокій боецъ, отважившійся итти въ бой съ открытымъ забраломъ...

Вотъ, въ общихъ чертахъ, исторія передового русскаго общества со второй половины до конца XVIII вѣка. На глазахъ Карамзина развернулась эта жизнь; ея стремленія и интересы были той атмосферой, въ которой онъ выросъ и опредѣлился. Волею судебъ онъ попалъ въ самую середину этого потока, увлекавшаго русское общество впередъ къ той жизни, въ которой все яснѣе и сознательнѣе сказывались „эстетическія", „идеалистическія" и „политическія" стремленія. Мы попытаемся доказать, что эта новая жизнь положила свои неизгладимыя, несмываемыя печати на духовный обликъ Карамзина и на всю его литературную дѣятельность... *Сиповскій.*

Родители Карамзина.

Николай Михайловичъ Карамзинъ происходитъ изъ дворянъ и со стороны отца и со стороны матери, урожденной Пазухиной. Карамзины и Пазухины не принадлежали къ фа-

лицамъ, чѣмъ-нибудь прославившимъ себя въ русской исторіи: это были дворяне мелкіе, рядовые слуги русской земли.

Родился Николай Михайловичъ 1 декабря 1766 года, въ имѣніи отца, селѣ Михайловкѣ (Преображенское тожъ), Самарской губерніи, Бузулукскаго уѣзда; дѣтство же его протекло въ главномъ имѣніи отца, селѣ Карамзинкѣ (Знаменское тожъ), въ нѣсколькихъ верстахъ отъ г. Симбирска.

По словамъ Карамзина, отецъ его, Михаилъ Егоровичъ, былъ „самый добрый человѣкъ", на „русскую стать", одинъ изъ тѣхъ простыхъ, хорошихъ русскихъ людей, которыхъ было не мало въ провинціи того времени. Послужа честно и усердно родной землѣ на ратномъ полѣ, пріѣхалъ онъ послѣ смерти отца (1763 г.) въ родное гнѣздо и, выйдя въ отставку съ чиномъ „капитана", навсегда остался въ родной провинціи. Несмотря на всѣ старанія Н. М. Карамзина въ своемъ романѣ-автобіографіи „Рыцарь нашего времени", набросить на отца „романическое одѣяніе", оно какъ-то не держится у того на плечахъ, и передъ глазами читателя постоянно стоитъ фигура деревенскаго барина, „съ веселымъ лицомъ", про котораго только и можно сказать, что онъ — „самый добрый человѣкъ"...

Повидимому, гораздо болѣе сложной и оригинальной натурой была одарена мать Карамзина, Екатерина Петровна. Н. М. Карамзинъ былъ ребенкомъ, когда она умерла; онъ не помнилъ ея:

Ахъ! я не зналъ тебя!
Ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась!

восклицаетъ онъ, обращаясь къ матери въ одномъ стихотвореніи. Но это обстоятельство не помѣшало тому, чтобы вліяніе матери сказалось на ребенкѣ; конечно, разсказы лицъ, знавшихъ ее, должны были очень интересовать Карамзина: онъ жадно прислушивался къ этимъ разсказамъ, и черты покойной матери обрисовались передъ нимъ довольно опредѣленно. Намъ не трудно сквозь поэтическія тѣни, которыя наброшены Карамзинымъ на этотъ милый ему образъ, разсмотрѣть уже знакомыя намъ черты дѣвушки-мечтательницы, начитавшейся романовъ, воспитанной на нихъ. Изъ этихъ романовъ у матери Карамзина даже со-

ставилась, по его словамъ, цѣлая библіотека. Много времени отдавала этой библіотекѣ молодая женщина, по цѣлымъ днямъ не выпускавшая изъ рукъ книгъ, питавшая свой духъ романической литературой... Рано умерла она, и вся жизнь ея рисовалась впослѣдствіи Карамзину какой-то сплошной элегіей, полной поэтической грусти... По его словамъ, „несмотря на молодыя лѣта свои“, эта молодая женщина „имѣла удивительную склонность къ меланхоліи и цѣлые дни могла просиживать въ глубокой задумчивости“; еще до брака съ отцомъ Карамзина имѣла она какую-то таинственную любовь, о которой упомянуто въ романѣ вскользь, „въ изъясненіе ея душевной любезности“, т.-е. ея чувствительности, склонности къ меланхоліи. Эта молодая женщина „съ привѣтливыми и милыми глазами“, то грустившая по цѣлымъ днямъ, то вдругъ въ восторженной рѣчи проявлявшая „умъ и разительное краснорѣчіе“, представлялась Карамзину какимъ-то неземнымъ, эѳирнымъ созданіемъ, которое точно нечаянно залетѣло на землю и скрылось, давъ ему жизнь. „Аркадія жизни“ или, попросту, младенчество протекло именно подъ непосредственнымъ вліяніемъ молодой матери, нѣжно любившей своего маленькаго сына, „съ розовыми губками, съ греческимъ носикомъ, съ черными глазками“.. „Душа Леонова образовалась любовью и для любви... Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души“. „Сколько разъ въ день, въ минуту, нѣжная родительница цѣловала его, плакала и благодарила Небо; сколько разъ и онъ маленькими своими ручонками обнималъ ее, прижимаясь къ ея груди; голосъ его тверже и тверже произносилъ: „люблю тебя, маменька!“

Немудрено, что образъ рано утраченной матери сдѣлался на всю жизнь дорогъ Карамзину:

...образъ твой священный, милый
Въ груди моей напечатлѣнъ
И съ чувствомъ въ ней соединенъ!

восклицаетъ онъ. Мало-по-малу, этотъ образъ отождествился съ представленіемъ ангела-хранителя:

Твой духъ всегда со мной:
Невидимой рукой

Хранила ты мое безопытное дѣтство:
Ты въ лѣтахъ юности меня къ добру влекла
И совѣстью моей въ часъ слабостей была!

Съ кровью и молокомъ получила воспріимчивая природа мальчика много хорошихъ качествъ отъ своей юной матери: ея „тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство!“ сказалъ онъ, вспоминая о матери. Вліяніе ея, по мнѣнію самого Карамзина, было „основаніемъ его характера“.

Можно думать, что только три года было Карамзину, когда умерла его мать. Отецъ его довольно скоро утѣшился, такъ какъ приблизительно черезъ годъ послѣ смерти первой жены мы видимъ его женатымъ уже во второй разъ. Мачеха, очевидно, не походила на родную мать, и хотя мы и не имѣемъ права называть ее жестокой по отношенію къ пасынку, но что она часто оскорбляла своею холодностью чуткаго мальчика, привыкшаго къ ласкѣ — это несомнѣнно. ребенокъ замѣтилъ, какъ

Другіе на колѣняхъ
Любезныхъ матерей въ веселіи цвѣли,

а его не ласкалъ никто: одинокій, онъ „въ печальныхъ тѣняхъ“, т.-е. на кладбищѣ

Рѣкою слезы лилъ на мохъ сырой земли,
На мохъ твоей (т.-е. матери) могилы!
...Что былъ я? — восклицаетъ онъ, — сиротою!
Въ пространномъ мірѣ семь скучалъ самимъ собою.
Печальнымъ бытіемъ...
Никто участія въ судьбѣ моей не бралъ.
Чувствительность въ груди моей питая,
Въ сердцахъ у *всѣхъ* людей я камень находилъ“.

Но, не встрѣчая той ласки, къ которой его пріучила нѣжная мать, маленькій Карамзинъ, тѣмъ не менѣе, не ожесточился: видно, слишкомъ прочно было наслѣдственное вліяніе его матери: „душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокіе люди! Онъ будетъ воздыхать и плакать“... Такимъ образомъ, уже съ далекихъ лѣтъ научился онъ „вздыхать и плакать“, съ младенчества сдѣлалась ему знакома меланхолія. Здѣсь, въ этихъ раннихъ дѣтскихъ впечатлѣніяхъ, и кроется, по нашему мнѣнію, источникъ тѣхъ особенностей его сердца,

на которыхъ въ юношескомъ возрастѣ богато расцвѣли вліянія западной сентиментальной литературы.

Изъ жалобъ Карамзина на то, что послѣ смерти матери въ дѣтствѣ „никто“ не бралъ участія въ его судьбѣ, что „всѣ“ люди относились къ нему равнодушно, видно, что отецъ не былъ особенно нѣжнымъ и внимательнымъ къ сыну; мачехѣ, тѣмъ менѣе было охоты заниматься имъ, такъ какъ у нея были свои дѣти. Потому онъ рано былъ отданъ на полное попеченіе прислуги: слушалъ онъ сказки „мамушекъ“, а потомъ изъ женскихъ рукъ попалъ къ дядькѣ. Мы не знаемъ, что за человѣкъ былъ этотъ дядька, которому поручено было воспитаніе ребенка, походилъ ли этотъ воспитатель на пушкинскаго Савельича (изъ „Капитанской дочки“), образъ, часто мелькающій при чтеніи мемуаровъ XVIII вѣка, — Карамзинъ ничего не говоритъ объ этомъ первомъ педагогѣ, къ которому онъ попалъ: одно ясно для насъ изъ чтенія автобіографическаго романа, — это, что свободы ребенка дядька не стѣснялъ. Ребенокъ былъ очень рано предоставленъ самому себѣ, и его чуткая натура развивалась совершенно самобытно. Въ то время такъ выростали многіе.

Впрочемъ, уже съ первыхъ минутъ этой самостоятельной жизни внѣшнія обстоятельства дали развитію Карамзина извѣстное направленіе: смерть матери, холодность мачехи, равнодушіе отца, — все это заставило ребенка замкнуться въ тѣсный кругъ своего дѣтскаго внутренняго міра. Немудрено, что уже съ дѣтства безотчетная грусть или тихая меланхолическая мечтательность было обычнымъ настроеніемъ ребенка. Съ настроеніемъ этимъ удивительно гармонировала возвышающая душу спокойная картина волжской природы; она воспитала эстетическое чувство многихъ людей XVIII вѣка, — она манила къ себѣ и Карамзина-ребенка: маленькій меланхоликъ по цѣлымъ часамъ пропадалъ изъ дому, сидя „на высокомъ берегу Волги въ орѣховыхъ кусточкахъ“, мечтательно любуясь „на синее пространство Волги, на бѣлые паруса судовъ и лодокъ, на стаи рыболововъ, которые изъ-подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ и снова парятъ въ воздухѣ“. „Сія картина“, продолжаетъ Карамзинъ, „такъ сильно впечатлѣлась“ въ его дѣтской душѣ, что „онъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ того“ плакалъ, вспоминая о Волгѣ, родинѣ и безпечной юности.

Всегда съ чувствомъ умиленія и признательности относился Карамзинъ къ роднымъ мѣстамъ, гдѣ впервые онъ „чувствомъ жизни насладился“, „природу полюбилъ“. „Какъ мила природа въ деревенской одеждѣ своей“, восклицаетъ онъ однажды: „Ахъ! она воспоминаетъ мнѣ лѣта моего младенчества — лѣта, проведенныя мною въ тишинѣ сельской, на краю Европы, среди народовъ варварскихъ. Тамъ воспитывался духъ мой въ простотѣ естественной; великіе феномены натуры были первымъ предметомъ его вниманія“..

Сиповскій.

Обстановка и условія первоначальнаго образованія Карамзина, способствовавшія развитію въ немъ чувствительности.

Внимательное изученіе всѣхъ произведеній и собственныя многократныя признанія его указываютъ на господствующую черту его природы — чувствительность, которою такъ дорожилъ Карамзинъ и которую считалъ едва ли не единственнымъ источникомъ всего великаго и прекраснаго въ мірѣ и, прежде всего, въ поэзіи. Подъ чувствительностью, по собственнымъ словамъ Карамзина, должно разумѣть *сопричастность ко всему изящному въ природѣ, искусствѣ и жизни, простоту сердца, искреннее живое и горячее чувство* (III, 360). Эта чувствительность въ житейскихъ столкновеніяхъ естественно служила для Карамзина постояннымъ источникомъ быстро смѣнявшихся радостей и горя, нерѣдко доводившихъ его до увлеченій, за которыми слѣдовало уныніе, раскаяніе. Прекрасная характеристика и очеркъ жизни Эраста, представляющіе непрерывную смѣну радостей и горя, увлеченія и раскаянія, безъ сомнѣнія, заключаютъ въ себѣ много черть, лично принадлежащихъ Карамзину. Слѣдовавшія за увлеченіями уныніе и раскаяніе естественно располагали къ тихому размышленію, къ той пріятной мечтательности, которой невольно поддается человѣкъ, освободившійся отъ остраго чувства горя и отдыхающій отъ новыхъ наслажденій, и которую Карамзинъ называетъ *меланхоліей*.

О меланхолія, нѣжнѣйшій переливъ
Отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденья!
Веселья нѣтъ еще, и нѣтъ уже мученья;

Отчаянье прошло... Но, слезы осушивъ,
Ты радостно на свѣтъ взглянуть еще не смѣешь,
И матери своей, печали, видъ имѣешь.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] шумъ вѣтровъ и морей.
Тебѣ пріятенъ лѣсъ, тебѣ пустыни милы;
Въ уединеніи ты болѣе съ собой. (I, 211).

Меланхолія, по Карамзину, даже должна быть свободна отъ всякаго чувства горя и означаетъ состояніе спокойнаго и тихаго размышленія, при участіи столь же спокойной фантазіи, о предметахъ науки и искусства, объ общихъ вопросахъ и явленіяхъ жизни, размышленія, располагающаго къ мечтательности. Въ этомъ особенномъ смыслѣ меланхолія можетъ быть дѣйствительно названа источникомъ великихъ идей и начинаній. Опровергая извѣстный парадоксъ Руссо о вредѣ знанія и книгъ для нравственности, Карамзинъ восклицаетъ: „Когда не будетъ уже книгъ, благословенныхъ книгъ, сихъ вѣрныхъ, милыхъ друзей, которые досель услаждали для насъ печальную осень и скучную зиму, то обогащая душу великими истинами философіи, то извлекая слезы чувствительности изъ глазъ нашихъ трогательными повѣствованіями. Священная, небесная меланхолія, мать всѣхъ безсмертныхъ произведеній ума человѣческаго! Ты будешь чужда хладному нашему сердцу; оно забудетъ тогда всѣ благороднѣйшія свои движенія, и сіе пламя всемірной любви, которое развиваетъ въ немъ творенія истинныхъ мудрецовъ и друзей человѣчества, подобно угасающей лампадѣ, блеснетъ — и померкнетъ!...“ (III, 396).

Такое расположеніе души Карамзина, по собственному его признанію, было врожденное. Обстановка и условія его воспитанія и образованія усилили это расположеніе.

Еще въ младенчествѣ Карамзинъ лишился матери, наслѣдовавши отъ нея ея *чувствительную склонность къ меланхоліи* (III, 242). Въ посланіи къ женщинамъ (1795) онъ, между прочимъ, говоритъ о матери: *твой нѣжный нравъ остался мнѣ въ наслѣдство.* „Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила Леона[1]; была первымъ впечатлѣніемъ его души, пер-

[1]) Леонъ — [illegible] Карамзина „Рыцарь нашего времени“, которую считаютъ за поэтическую автобіографію.

вою краскою, первою чертою на бѣломъ листѣ ея чувствительности". Извѣстный желтый шкафъ со старинными романами едва ли не больше всего помогъ сильному развитію въ Карамзинѣ чувствительности и меланхолической мечтательности. Заключая въ себѣ искусственное и большею частію безпорядочное сплетеніе разнообразныхъ и необычайныхъ приключеній, совершавшихся гдѣ-нибудь на отдаленномъ востокѣ, разумѣется, наименѣе извѣстномъ авторамъ, изображая любовь и неизбѣжныя коллизіи въ тѣхъ же необычайныхъ размѣрахъ, эти романы дѣйствительно должны были производить сильное вліяніе на чувство и воображеніе впечатлительнаго и воспріимчиваго мальчика. По самымъ простымъ психологическимъ соображеніямъ, мы не можемъ отказать этимъ романамъ въ извѣстной долѣ вреднаго вліянія на Карамзина, и послѣдующая его жизнь представляетъ нѣкоторыя черты, происхожденіе которыхъ можно отнести къ этому дѣтскому увлеченію. Хотя Карамзинъ и говоритъ, что семилѣтній Леонъ „занимался болѣе происшествіями, связью вещей и случаевъ, нежели чувствомъ любви романической", однако неумѣренно страстныя и неестественныя изліянія, наполнявшія собою романы, не могли не оставить слѣдовъ въ дѣтской душѣ (III, 274). Такое же дѣйствіе должны были производить на Карамзина необычайность и неестественные размѣры приключеній. Оттого, безъ сомнѣнія, Леонъ „на 10-мъ году отъ рожденія могъ уже часа по два играть воображеніемъ и строить зáмки на воздухѣ. *Опасности* и *героическая дружба* были любимою его мечтою... Сверхъ того, онъ любилъ грустить, не зная о чемъ (III, 265). Въ письмѣ изъ Женевы, описывая одну изъ своихъ загородныхъ прогулокъ, онъ говоритъ, „обративъ глаза на долину, увидѣлъ я множество огней, которые въ темнотѣ представляли романическое зрѣлище. Мнѣ казалось, что я вижу тамъ зáмки благодѣтельныхъ фей — и всѣ сказки, которыя воспаляли младенческое мое воображеніе и дѣлали меня въ ребячествѣ маленькимъ Донъ-Кихотомъ, оживились въ моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнилъ я одинъ вечеръ, сумрачный и бурный, въ который, ощутивъ вдохновеніе божественныхъ фей, укрылся я отъ своего, впрочемъ, весьма бдительнаго, дядьки, забрался въ ту горницу, гдѣ хранились разныя оружія, покрытыя почтенною ржавчиною, схватилъ

саблю, которая пришлась мнѣ по рукѣ, и, заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился на гумно искать приключеній и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ; но чувствуя въ себѣ на каждомъ шагу умноженіе страха, махнулъ саблею нѣсколько разъ по черному воздуху и благополучно возвратился въ свою комнату, думая, что подвигъ мой довольно важенъ" (II, 317). Такое преждевременное и неумѣренное развитіе чувства и воображенія было, безъ сомнѣнія, причиною того, часто находившаго на Карамзина, въ собственномъ смыслѣ меланхолическаго состоянія, той тоски, которую онъ самъ не могъ объяснить себѣ. „Отчего сердце мое страдаетъ иногда безъ всякой извѣстной мнѣ причины? Отчего свѣтъ помрачается въ глазахъ моихъ тогда, какъ лучезарное солнце сіяетъ на небѣ? Какъ изъяснить сіи жестокіе меланхолическіе припадки, въ которыхъ вся душа моя сжимается и хладѣетъ?" (II, 690). Съ другой стороны, правоучительное направленіе, господствовавшее въ романахъ этого времени, несмотря на свою искусственность, незамѣтную для 10-лѣтняго мальчика, могла имѣть доброе вліяніе. Добродѣтельные, всегда торжествующіе герои романовъ желтаго шкапа и страшные злодѣи, всегда погибающіе, дѣйствительно могли въ нѣжной душѣ Карамзина начертать неизгладимыми буквами слѣдствіе: „итакъ, любезность и добродѣтель одно! итакъ, зло безобразно и гнусно! итакъ, добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злой гибнетъ". (III, 256). „Что такое направленіе, спасительное въ жизни, твердою опорою служило для доброй нравственности, нѣтъ нужды доказывать. Эта безсознательная и неглубокая нравственность, почерпаемая изъ чтенія романовъ, имѣла однако свой историческій смыслъ: она способствовала смягченію грубыхъ нравовъ. „Дурные люди и романовъ не читаютъ", говоритъ Карамзинъ. „Жестокая душа ихъ не принимаетъ простыхъ впечатлѣній любви и не можетъ заниматься судьбою нѣжности... Неоспоримо то, что романы дѣлаютъ и сердце и воображеніе... *романическими*: какая бѣда? тѣмъ лучше въ нѣкоторомъ смыслѣ для насъ, жителей холоднаго и желѣзнаго сѣвера!... Однимъ словомъ, хорошо, что наша публика и романы читаетъ!" (III, 255—256). Только возможностію читать въ собранной матерью библіотекѣ романы, въ которыхъ открывался впечатлительному мальчику новый міръ, разно-

[illegible]дные люди, приключенія, игра судьбы и страстей, обязанъ былъ Карамзинъ своей матери. Вмѣстѣ съ этою чувствительностью, возбужденнымъ воображеніемъ и укрѣплявшимся, конечно, не одними нравственными романами нравственнымъ чувствомъ, въ Карамзинѣ рано началъ развиваться тотъ гуманный, нѣжный, полный любви взглядъ на людей, который онъ сохранилъ неизмѣнно до послѣднихъ дней своей жизни.

Лавровскій.

Дѣтскіе годы Карамзина по личнымъ воспоминаніямъ и запискамъ современниковъ.

Невозмутимый покой деревенской жизни со всею, теперь исчезнувшею, ея обстановкою, со всѣми ея прежними, дурными и хорошими, условіями, окружалъ ребенка-Карамзина. Первыя дѣтскія воспоминанія его относятся къ жизни въ деревнѣ, къ тѣмъ людямъ, которые окружали его дѣтство. Въ „Рыцарѣ нашего времени" поднимается передъ нами цѣлый рядъ старинныхъ типовъ, далекихъ, исчезнувшихъ представителей первыхъ годовъ Екатерининскаго времени, отставныхъ военныхъ-помѣщиковъ, которые рѣдко ѣзжали въ городъ, рѣдко разлучались „съ мирными пенатами" и проводили всю жизнь или въ занятіяхъ патріархальнымъ хозяйствомъ, или въ веселомъ гостепріимствѣ. Карамзинъ приводитъ содержаніе ихъ разговоровъ: „Деревенское хозяйство, охота, извѣстныя тяжбы въ губерніи, анекдоты старины служили богатою матеріею для разсказовъ и примѣчаній". Дѣтскія воспоминанія эти свѣтлымъ призракомъ носились въ памяти Карамзина, и фигуры деревенскихъ сосѣдей, друзей отца его — очевидно написаны съ натуры. „Зеркало памяти моей ясно", говоритъ Карамзинъ, и въ словахъ его такъ много искренности, что нельзя не вѣрить въ дѣйствительность его живыхъ портретовъ: „Ахъ! давно уже смерть и время бросили на васъ темный покровъ забвенія, витязи Симбирскаго уѣзда, вѣрные друзья капитана Радушина!" грустно говоритъ онъ, но зеркало памяти его ясно, и фигуры дѣтства съ отчетливостью ложатся на бумагу. „Какъ теперь смотрю на тебя, заслуженный майоръ, Ѳаддей Громиловъ, въ черномъ большомъ парикѣ, зимой и лѣтомъ

въ малиновомъ бархатномъ камзолѣ, съ кортикомъ на бедрѣ и въ желтыхъ татарскихъ сапогахъ; слышу, слышу, какъ ты, не привыкнувъ ходить на цыпкахъ въ комнатахъ знатныхъ господъ, стучишь ногами за двѣ горницы и подаешь о себѣ вѣсть издали громкимъ своимъ голосомъ, которому нѣкогда рота ландмилиціи повиновалась, и который въ яркихъ звукахъ своихъ нерѣдко ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи! Вижу и тебя, сѣдовласый ротмистръ Буриловъ, прострѣленный насквозь башкирскою стрѣлою въ степяхъ уфимскихъ, слабый ногами, но твердый душою; ходившій на клюкахъ, но сильно махавшій ими, когда надлежало тебѣ представить живо или ударъ твоего эскадрона, или омерзѣніе свое къ безчестному дѣлу какого-нибудь недостойнаго дворянина въ нашемъ уѣздѣ! Гляжу и важную осанку твою, бывшій воеводскій товарищъ Прямодушинъ, и на орлиный носъ твой, за который не могъ водить тебя секретарь провинціи, ибо совѣсть умнѣе крючкотворства, вижу, какъ ты, разсказывая о Биронѣ и тайной канцеляріи, опираешься на длинную трость съ серебряннымъ набалдашникомъ, которую подарилъ тебѣ фельдмаршалъ Минихъ".

Бесѣда этихъ людей, воспоминанія прожитой ими жизни, по сознанію Карамзина, имѣли вліяніе на развитіе характера его. Они были для него представителями исчезнувшаго, старшаго дворянства русскаго, которое въ своемъ идеальномъ и нравственномъ значеніи всегда было дорого Карамзину. Онъ глубоко гордился своимъ дворянскимъ достоинствомъ, высоко цѣнилъ его, и опредѣленію его значенія посвящено не мало страницъ его сочиненій. По словамъ Карамзина, „Рыцарь нашего времени" отъ этихъ представителей старинной помѣщичьей жизни, деревенскихъ сосѣдей отца „заимствовалъ русское дружелюбіе, набрался духу русскаго и благородной дворянской гордости, которой онъ послѣ не находилъ даже и въ знатныхъ боярахъ: ибо спесь и высокомѣріе не замѣняютъ ея, ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляетъ человѣка отъ подлости и дѣлъ презрительныхъ".

Чтобы стать на эту сословную точку зрѣнія Карамзина и понять ее, надобно нѣсколько оглянуться назадъ и припомнить историческій ходъ развитія общественнаго положенія нашего дворянства, имѣвшаго свои судьбы. Въ ту пору,

когда мальчикъ Карамзинъ выросталъ посреди этихъ провинціальныхъ типовъ, которымъ онъ отдаетъ невольную дань уваженія, въ полной силѣ существовала знаменитая грамота Петра III „о дворянской вольности“; ея параграфы были въ цѣлости; они давали дѣйствительныя права, хотя и не могли создать того, что создается исторіей. Если и тогда значеніе дворянина въ губерніи измѣрялось количествомъ крѣпостныхъ душъ, то эти крѣпостныя души гораздо чаще переходили изъ рукъ въ руки по родовому праву, чѣмъ *благопріобрѣтались*. Этотъ родъ владѣнія давалъ, кажется, нѣсколько лучшій характеръ и самому крѣпостному праву. И полновластные бары и безправные рабы въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу связывались воспоминаніемъ. Родовое дворянство и давность рода налагали нравственныя обязанности и уважались. Наслѣдники въ своихъ помѣщичьихъ отношеніяхъ не всегда рѣшались на ломку прежняго и хранили отцовское преданіе. Заведенный обычай получалъ значеніе отъ давности. Старинная, родовая связь ставила нравственныя преграды, налагала узду на дикій произволъ.

Дворянское сословіе въ обществѣ шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, посреди всеобщаго невѣжества, было единственнымъ образованнымъ классомъ. Слѣдовательно, только оно одно могло служить съ пользою государству. Эта служба, въ соединеніи съ земскимъ значеніемъ, отдавала всякую провинцію во власть дворянства. Дворяне были тогда единственными администраторами, и эта власть давала имъ гордость и сознаніе своего достоинства. Они презрительно смотрѣли на то, что называлось приказнымъ крючкотворствомъ, подьячествомъ. Они старались быть чуждыми этой глубокой, старинной язвы.

Но прошли годы, и представители сословія мельчали постепенно. Силы внутренняго развитія недоставало въ старинномъ дворянствѣ провинцій. Его мысль не возбуждалась; оно не могло отступить даже отъ прадѣдовскаго порядка въ хозяйствѣ; оно разорялось на ту безплодную роскошь, которая занесена была къ намъ моднымъ подражаніемъ Европѣ. И вотъ тѣ самые презираемые прежде подьячіе и приказные, учась и образовываясь, получали значеніе на службѣ, вѣсъ въ обществѣ, пріобрѣтали деньги, которыя естественно могли быть употреблены только на то, что поль-

зовалось уваженіемъ и почетомъ и что условливалось дѣвственными, нетронутыми плугомъ пространствами Россіи, при жалкомъ развитіи другихъ экономическихъ условій жизни — на пріобрѣтеніе крѣпостныхъ пахарей. Въ рядахъ дворянскаго сословія, какъ въ рядахъ Наполеоновскаго войска, явилась старая и молодая гвардія, враждебно смотрѣвшія другъ на друга, и характеръ крѣпостного права въ благопріобрѣтенныхъ имѣніяхъ долженъ былъ сложиться иначе. Здѣсь не было старыхъ воспоминаній и родового преданія. Деньги, добытыя трудомъ и употребленныя на покупку имѣнія, должны были давать доходы, и, конечно, на увеличеніе доходовъ стали обращать главное вниманіе покупателя. Владѣніе душами постепенно переходило въ тяжелую эксплуатацію, и власть въ государствѣ стала невольно думать объ ограниченіи помѣщичьихъ правъ. Такой характеръ владѣнія въ имѣніяхъ благопріобрѣтенныхъ сообщился очень скоро и старымъ, родовымъ, хотя и вслѣдствіе другихъ причинъ. Екатерининская роскошь, поведшая къ учрежденію сохранной казны воспитательныхъ домовъ, дававшей легкую возможность закладывать имѣнія, пожары и грабежъ Пугачовщины, стремленіе молодыхъ сержантовъ гвардіи, дѣтей деревенскихъ помѣщиковъ, добиваться блестящей карьеры въ Петербургѣ, и, наконецъ, постепенное истощеніе почвы разорили и старую гвардію нашего дворянства. И ему пришлось думать объ увеличеніи доходовъ и для нихъ порвать прежнюю связь съ мужикомъ. Значеніе административной власти въ губерніи росло годъ отъ году, и она уже не была въ рукахъ дворянства. Постепенно должна была пропадать родовая гордость дворянства, и, безъ всякаго сомнѣнія, дѣти майора Громилова, друга Карамзинскаго дѣтства, голосъ котораго ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи, ѣздили низкопоклонничать къ дурному воеводѣ и выбирали такихъ капитанъ-исправниковъ, которые въ виду ихъ нагрѣвали руки свои около казенныхъ крестьянъ, оставляя ихъ на полной свободѣ хозяйничать съ своими...

Вмѣстѣ съ этими понятіями стараго дворянина, — понятіями о чести и достоинствѣ, которымъ оставался вѣренъ всю жизнь Карамзинъ, вмѣстѣ съ первоначальнымъ чтеніемъ, которое необходимо должно было оказать на него вліяніе и породить въ немъ мечтательность, на молодой душѣ ребенка-

Карамзина сказалось и вліяніе природы. Сочиненія Карамзина изобилуютъ, если не живыми и своеобразными описаніями картинъ природы, то словами о любви къ ней и о вліяніи ея на душу и сердце. Современный міръ былъ полонъ толковъ о природѣ. Утомленныхъ умственною борьбою людей XVIII столѣтія она манила въ свои свѣжія объятія. Послѣ вѣка симметріи и классическихъ формъ, этикета и притворныхъ условій, невольно ложившихся на жизнь, наступило желаніе естественности и свободы. Пророческій голосъ Ж. Ж. Руссо, скептика по отношенію ко всей прежней цивилизаціи, раздался грознымъ въ Европѣ. Онъ говорилъ о новой жизни, не похожей на старую; онъ говорилъ о правахъ человѣческихъ, забытыхъ въ одностороннемъ развитіи, онъ звалъ людей въ пустыню, на лоно свободной и естественной жизни. Голосъ его звучалъ не даромъ, и цѣлая школа французскихъ и нѣмецкихъ писателей повторяла слова его, развивала ихъ далѣе. Въ Швейцаріи, родинѣ Руссо, явилось нѣсколько писателей, писавшихъ о природѣ, систематизировавшихъ ее. Въ сочиненіяхъ ихъ не было строгой науки, но зато было много чувства и любви къ природѣ. Карамзинъ, выросшій въ умственномъ движеніи послѣднихъ годовъ XVIII столѣтія, первый заговорилъ у насъ о природѣ, или, какъ говорили тогда, *о натурѣ*, и въ его сочиненіяхъ мы найдемъ много мыслей, высказанныхъ по поводу вліянія природы на человѣка. Это былъ новый элементъ, внесенный имъ въ нашу литературу, невозможный прежде.

Природа, которая окружала его съ дѣтства, знакома намъ. Ея скудные, но полные широкой жизни образы должны были оказать вліяніе на молодую и впечатлительную душу Карамзина и мы найдемъ въ его сочиненіяхъ указаніе на образы природы, знакомые ему съ дѣтства. Далекое родное село Михайловка, которое, какъ говорятъ очевидцы, славится своимъ прекраснымъ мѣстоположеніемъ, почти совсѣмъ не удержалось въ его памяти. „Хотя темно, однакожъ помню тамошнія мѣста“, пишетъ онъ къ брату Василью Михайловичу, „помню, какъ мы съ вами возвращались оттуда въ началѣ зимы“, и изъ этой поѣздки вспоминаются Карамзину [illegible] вьюги и метели. Въ „Рыцарѣ нашего времени“ можно найти нѣсколько очерковъ природы, посреди которой прошло дѣтство Карамзина, и, кажется, Симбирскъ, съ своею Волгою, цѣ-

онъ часто бывалъ въ дѣтствѣ, гдѣ сначала учился и гдѣ потомъ въ началѣ 80-хъ годовъ явился свѣтскимъ человѣкомъ, дольше всего сохранился въ его памяти. Проводя жизнь въ Москвѣ и Петербургѣ, онъ нѣсколько разъ собирался посѣтить свой родной городъ, но съ тѣхъ поръ какъ его увезъ оттуда землякъ И. П. Тургеневъ, Карамзинъ едва ли бывалъ въ Симбирскѣ. Но вспоминать ему этотъ городъ случалось не разъ, въ болѣе молодые годы, то въ письмахъ къ другу юности И. И. Дмитріеву, то въ письмахъ къ брату. Даже и въ ту пору, когда вся жизнь его была посвящена русской исторіи, онъ пишетъ къ брату, сообщавшему ему, что выстроилъ домъ въ Симбирскѣ, на Вѣнцѣ: „Воображаю живо моего любезнѣйшаго брата, сидящаго подъ окномъ прекраснаго домика и смотрящаго на величественную Волгу, столь знакомую мнѣ издѣтства. Симбирскіе виды уступаютъ въ красотѣ немногимъ въ Европѣ. Вы живете, любезный братъ, въ древнемъ отечествѣ болгаръ, народа довольно образованнаго и торговаго, порабощеннаго татарами. Близъ Симбирска лѣтніе мѣсяцы кочевалъ иногда славный Батый, завоеватель Россіи". Занятый великимъ трудомъ своимъ, Карамзинъ смотрѣлъ на родныя мѣста съ точки зрѣнія исторіи. Но зато Волга, Волга Симбирска, *знаменитѣйшая* рѣка въ мірѣ, *царица и мать кристальныхъ* водъ, по выраженію Карамзина, гдѣ разъ „во цвѣтѣ радостной весны" онъ едва не потонулъ, осталась, кажется, какъ самое дорогое воспоминаніе юности въ его памяти. На ея берегахъ, говоритъ онъ:

Въ первый разъ открылъ я взоръ,
Небеснымъ свѣтомъ озарился
И чувствомъ жизни насладился...

Здѣсь онъ полюбилъ природу:

Сей первенецъ души и сердца,
Слезу, улыбку посвятилъ,
И росъ въ веселіи невинномъ,
Какъ юный миртъ въ лѣсу пустынномъ.

И Карамзинъ вспоминаетъ красоту береговъ родной рѣки и безконечный рядъ судовъ на ея *серебряномъ хребтѣ*, несущихъ *благословенье земли*.

Волга и ея образы окружали дѣтство Карамзина; онъ выросъ на ея берегахъ, онъ читалъ первыя книги на ея горахъ

и засыпалъ подъ шумъ ея волнъ. Эти образы дѣтства на Волгѣ остались навсегда въ его сердцѣ. „Иногда, оставляя книгу“, говоритъ онъ о Леонѣ, „смотрѣлъ онъ на синее пространство Волги, на бѣлые паруса судовъ и лодокъ, на станицы рыболововъ, которые изъ-подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ, и въ то же мгновеніе снова парятъ въ воздухѣ. Сія картина такъ сильно впечатлѣлась въ его юной душѣ, что онъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, въ кипѣнии страстей, въ пламенной дѣятельности сердца, не могъ безъ особливаго радостнаго движенія видѣть большой рѣки, плывущихъ судовъ, летающихъ рыболововъ: Волга, родина и безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы“.

„Дѣйствительно, Волга съ своей жизнію была самымъ сильнымъ воспоминаніемъ Карамзина о его дѣтствѣ, проходившемъ то въ Симбирскѣ, то въ деревнѣ. Но собственныя воспоминанія его чрезвычайно скудны; современныхъ записокъ, за исключеніемъ одного Дмитріева, представившаго небольшой отрывокъ о ребенкѣ-Карамзинѣ, при глубокомъ невѣжествѣ тогдашней жизни, не было. Ребенокъ выросталъ подъ тѣми знакомыми намъ впечатлѣніями, подъ которыми выросло столько русскихъ поколѣній. Только они одни, составляя нѣчто цѣлое, могутъ служить образованію общаго склада характеровъ. Они и Карамзина, по своему образованію примкнувшаго къ общему духовному движенію Европы, сохранили для Россіи. Они спасли въ немъ русское чувство и сдѣлали его русскимъ писателемъ.

Чувствительность, наслѣдственное ли свойство его матери, или своеобычная черта его характера, развитая потомъ чтеніемъ и образованіемъ, и мечтательность, какъ слѣдствіе ранняго чтенія современныхъ романовъ — отличали его отъ сверстниковъ и придавали ему оригинальность. „Я былъ еще ребенкомъ и умѣлъ уже чувствовать, какъ большой человѣкъ, и страдалъ, видя страданіе ближнихъ“. Это страданіе ближнихъ, въ образѣ голоднаго года, незадолго до Пугачевскаго бунта, составляетъ одно изъ грустныхъ дѣтскихъ воспоминаній Карамзина, хотя на мрачномъ фонѣ народнаго бѣдствія рисуется свѣтлая фигура Флора Силина, благодѣтельнаго крестьянина, лица дѣйствительнаго, несмотря на сентиментальный покровъ, которымъ одѣлъ его Карамзинъ. Въ „Ры-

царѣ нашего времени" разсказываются приключеніе съ медвѣдемъ, бросившимся на Леона и убитымъ громомъ. Карамзинъ говоритъ, что *этотъ случай не выдумка* и что онъ возбудилъ и укрѣпилъ навсегда его религіозное чувство и увѣренность въ Творцѣ. Чтеніе романовъ сильнѣе и глубже дѣйствовало на воображеніе Карамзина всего прочаго. Они, какъ вспоминаетъ онъ самъ, довели его разъ даже до донкихотства, и, выбравъ ржавую саблю изъ стараго отцовскаго оружія, „заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился онъ на гумна искать приключеній и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ".

Вотъ тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя сохранились для насъ о дѣтствѣ Карамзина, еще не тронутомъ воспоминаніемъ. Здѣсь уже сказывается его характеръ, смутно зрѣютъ убѣжденія и привязанности. Свободно росъ ребенокъ посреди родныхъ, сосѣдей, полей и лѣсовъ дворянскаго гнѣзда своего, прислушиваясь къ шуму волжскихъ волнъ и слѣдя съ сердечнымъ трепетомъ за фантастическимъ содержаніемъ русской сказки или романа. Годы ранняго Карамзинскаго дѣтства были мирными годами восточной Россіи, но гроза собиралась въ ней, и тотъ черный годъ, когда шайки Емели вспугнули дворянъ-помѣщиковъ съ ихъ теплыхъ и давно насиженныхъ гнѣздъ, вѣроятно, былъ рѣшительнымъ и въ жизни Карамзина. Безпечная жизнь деревенская должна была смѣниться ученіемъ.

Дѣло жизни и царствованіе Петра В. — преобразованіе Россіи, т.-е. соединеніе съ Европою въ духѣ и идеѣ, участіе въ общей жизни человѣчества, могло достигнуть только тогда своей цѣли, когда работа перешла изъ области внѣшней жизни въ область мысли. Въ эпоху рожденія Карамзина въ русскомъ обществѣ и литературѣ подражаніе внѣшней сторонѣ европейскаго образованія было въ полномъ развитіи. Но, несмотря на то, что при дворѣ и въ высшемъ обществѣ, что въ зарождающемся искусствѣ и съ Ломоносовымъ родившейся литературѣ мы встрѣчаемъ вездѣ наружныя блестящія формы, созрѣвшія въ условіяхъ чужой жизни, духовное содержаніе европейской жизни, ея душа и мысль — были совершенно чужды намъ. Общество обезьянничало, но не жило сознательно.

Для сознательно-историческаго пути намъ необходимо было, чтобъ главное содержаніе европейской мысли, ея духъ, ея

ніямъ были усвоены нами и переработаны. Когда Карамзину пришло время учиться, въ ту пору, за исключеніемъ чуждой русской жизни Академіи Наукъ въ Петербургѣ, ничего не было въ Россіи, кромѣ только Московскаго университета, основаннаго за десять лѣтъ до рожденія Карамзина. Этотъ единственный въ Россіи университетъ, который можетъ гордиться своими преданіями, знакомилъ нашихъ предковъ съ наукою и удовлетворялъ неизбѣжныя потребности знанія, проводя ихъ въ молодую русскую жизнь, и воспитывая людей для дѣятельности общественной. „Если мы видимъ“, говоритъ Карамзинъ, „нынѣ столь многихъ достойныхъ судей въ столицахъ и въ отдаленныхъ губерніяхъ, если слогъ приказный не всегда устрашаетъ насъ своимъ варварствомъ, если необходимыя правила логики и языка соблюдаются не рѣдко въ опредѣленіяхъ судилищъ; если министерство находитъ всегда довольно юношей, способныхъ быть его орудіями и служить отечеству во всѣхъ частяхъ своими знаніями — то государство обязано сею пользою Московскому университету“. Знаній недоставало нашему подражательному существованію; въ нихъ нуждалась и начинавшаяся литература, богатая внѣшними формами, но бѣдная содержаніемъ и мыслью. Если значеніе Карамзина въ исторіи нашего духовнаго развитія заключается въ томъ, что онъ первый изъ нашихъ писателей, не довольствуясь внѣшнимъ подражаніемъ европейскимъ литературнымъ формамъ, по образованію своему, могъ усвоить духъ и мысль Европы, то этимъ образованіемъ своимъ онъ обязанъ былъ Московскому университету, хотя и не непосредственно ему, а существовавшему при немъ пансіону профессора Шадена, нѣмца, въ числѣ многихъ другихъ его соотечественниковъ, переселившагося въ Москву изъ своей ученой родины для образованія молодыхъ русскихъ поколѣній.

Буличъ.

Карамзинъ въ пансіонѣ Шадена.

Въ ту пору, когда началось въ пансіонѣ Шадена ученіе Карамзина, жизнь Европы была полна страстной и ожесточенной умственной борьбы. Почти всѣ народы Европы выставили представителей въ этой многолѣтней борьбѣ съ прошедшимъ,

которую начала Англія, воспитанная смѣлыми и свободными своими мыслителями. Но главною страною, гдѣ жарче была эта борьба и ожесточеннѣе нападенія на прошлое и его авторитеты, была Франція. Имена ея литературныхъ борцовъ вліяніе ихъ произведеній распространилось далеко, дошло до насъ. Извѣстности ихъ у насъ много способствовало самое направленіе первыхъ годовъ царствованія императрицы Екатерины, которая была воспитана на вліятельныхъ сочиненіяхъ вѣка. Долго смотрѣла она съ уваженіемъ на энциклопедистовъ и находилась съ ними въ непосредственныхъ сношеніяхъ. Ея державному примѣру слѣдовалъ дворъ, высшее общество и, наконецъ, сама литература, настроенная, хотя и чрезвычайно слабо, на общій тонъ. Карамзину удалось избѣжать этого господствовавшаго вліянія. Онъ не пошелъ по обычной дорогѣ, неизбѣжной тогда для русскаго дворянина: онъ не попалъ въ руки къ гувернеру-французу и не увлекся исключительно вліяніемъ французской литературы. Съ нею познакомился онъ болѣе разумнымъ и сознательнымъ образомъ. Этотъ новый путь его развитія и былъ причиною, почему Карамзинъ своею литературною дѣятельностію начинаетъ новую эпоху нашего образованія и нашей литературы.

Изъ европейскихъ странъ меньше всѣхъ участвовала въ общей умственной борьбѣ Германія. Ожесточенный характеръ борьбы смягчался въ ней наукою, составлявшею главное содержаніе ея жизни, и борьба происходила въ ней болѣе въ области теоріи. При раздѣленіи Германіи на мелкія владѣнія, ожесточеніе противъ феодальнаго государства не могло въ ней произвести такія явленія, какія произвело оно во Франціи съ ея сильною централизаціей и соединеніемъ государственныхъ силъ въ одну громадную массу, а протестантизмъ Германіи, дававшій свободу ея мысли, отнималъ у религіозной борьбы злость и горечь, возможныя въ католическомъ государствѣ. Съ такимъ направленіемъ были и ученые профессора Германіи, которыхъ вызывали въ молодой Московскій университетъ. Несмотря на то, что языкъ отдѣлялъ ихъ отъ слушателей, они принесли однакожъ пользу Россіи тѣмъ, что хлопотали о наукѣ и передачѣ ея въ странѣ, которая сильно въ ней нуждалась. Къ числу самыхъ замѣчательныхъ первыхъ профессоровъ Московскаго университета

принадлежалъ и Шаденъ, въ пансіонѣ котораго Карамзинъ получилъ первоначальное образованіе и первыя свѣдѣнія.

Шаденъ былъ родомъ изъ Пресбурга въ Венгріи и образованіемъ своимъ обязанъ былъ Тюбингенскому университету, гдѣ подчинялся вполнѣ вліянію Лейбнице-Вольфіанской философіи, которая сказалась и въ его педагогической теоріи. Получивъ въ Тюбингенскомъ университетѣ степень доктора философіи, Шаденъ прибылъ въ Москву въ 1756 году въ качествѣ ректора надъ двумя университетскими гимназіями. Какъ ученый авторъ, Шаденъ неизвѣстенъ, и вся жизнь его была посвящена преподаванію. Московскому университету онъ служилъ 11 годъ. Существенная польза, принесенная Шаденомъ русскому обществу, заключается въ воспитаніи нѣсколькихъ поколѣній, вынесшихъ изъ-подъ его руководства полезныя свѣдѣнія для жизни и благодарную память о своемъ воспитателѣ. Его собственное преподаваніе, основавшееся на древнихъ языкахъ, было очень разнообразно. Въ гимназіяхъ (дворянскихъ и разночинцевъ), имъ образованныхъ первоначально, Шаденъ преподавалъ реторику, піитику, миѳологію, курсъ философіи, училъ языку латинскому и греческому и вызывался даже преподавать охотникамъ языкъ еврейскій и халдейскій. Преподаваніе въ университетѣ происходило на языкѣ латинскомъ и нѣмецкомъ.

Къ сожалѣнію, о пребываніи Карамзина въ пансіонѣ Шадена, помѣщавшемся въ его собственной квартирѣ, мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній. Соучениковъ у Карамзина было только 8 человѣкъ; между ними г. Погодинъ называетъ двухъ братьевъ Бекетовыхъ: Платона и Ивана Петровичей, сдѣлавшихся потомъ извѣстными по любви къ наукѣ и къ просвѣщенію. Можно предполагать, что въ пансіонѣ же Шадена была первая встрѣча Карамзина съ другомъ его Петровымъ, имѣвшимъ такое сильное вліяніе на его умственное и нравственное развитие. Въ пансіонѣ преподавалъ самъ Шаденъ и приходившие учителя, но что и въ какомъ видѣ преподавалось въ этомъ пансіонѣ — намъ не извѣстно. Карамзинъ въ составленной имъ для митрополита Евгенія автобіографической запискѣ, говоритъ, что онъ посѣщалъ изъ пансіона также и нѣкоторые классы Московскаго университета. По всей вѣроятности, это должно относиться къ одной изъ гимназій, находившихся въ вѣдѣніи Шадена.

Фонвизинъ, одинъ изъ первыхъ воспитанниковъ Московскаго университета, мало вынесшій вообще изъ тогдашняго университетскаго преподаванія, сохранилъ однакожъ благодарную память о Шаденѣ. „Сей ученый мужъ“, говоритъ онъ, „имѣетъ отмѣнное дарованіе преподавать лекціи и изъяснять такъ внятно, что успѣхи наши были очевидны“. Муравьевъ, впослѣдствіи попечитель Московскаго университета, въ своемъ посланіи къ И. П. Тургеневу, товарищу дѣтства и соученику своему, вспоминая прежнихъ профессоровъ, говоритъ, что „Шаденъ истину являетъ безъ покрова“. Ученики Шадена любили его; они чувствовали, какъ многимъ были ему обязаны, и когда достойный профессоръ умеръ въ 1797 году, въ память ему было написано нѣсколько благодарныхъ, полныхъ чувства, рѣчей и стиховъ. И Карамзинъ съ особенно нѣжнымъ чувствомъ вспоминалъ своего учителя. Во время путешествія своего по Европѣ, въ Лейпцигѣ, гуляя въ Вендлеровомъ саду, онъ увидѣлъ мраморный памятникъ Геллерту, и вспомнилъ „то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библіотеку, когда профессоръ Шаденъ, преподавая намъ, *маленькимъ* ученикамъ своимъ, мораль по Геллертовымъ лексіямъ (Moralische Vorlesungen), съ жаромъ говаривалъ: „Друзья мои! будьте таковы, каковъ училъ васъ быть Геллертъ, и вы будете счастливы!“ Воспоминанія растрогали мое сердце“.

Это указаніе Карамзина о Геллертѣ (1715—1769), какъ о томъ нѣмецкомъ писателѣ, которому подражалъ учитель его Шаденъ, позволяетъ намъ нѣсколько остановиться на содержаніи его ученія. Кромѣ басенъ, которыя пользовались чрезвычайной популярностію въ Германіи и сдѣлали народнымъ имя его, Геллертъ былъ еще профессоромъ въ Лейпцигскомъ университетѣ, гдѣ его популярныя лекціи о нравственности находили весьма много слушателей и хотя набожнымъ характеромъ своимъ нѣсколько напоминали піэтистовъ, но чрезвычайно ясно, съ точки зрѣнія здраваго смысла, говорили о справедливости, добродѣтели и религіи. Нравственное ученіе Геллерта, враждебное древнимъ и деистамъ, отличалось нѣсколько ипохондрическою слабостью, мораль его и въ басняхъ была слаба, притомъ она была болтлива, но въ умственной жизни Германіи прошлаго вѣка

его вліяніе было значительно, особенно въ среднемъ сословіи общества, такъ что Гёте имѣлъ полное право назвать его сочиненія „основаніемъ нравственной культуры Германіи". Геллерту надо было приписать самое сильное распространеніе въ литературѣ, а черезъ нея и въ обществѣ, той *чувствительности* или сентиментальности, которая долго господствовала въ нѣмецкой литературѣ и посредствомъ воспитанія у Шадена отразилась и въ произведеніяхъ Карамзина. Современники были въ полномъ восторгѣ отъ него, а Карамзинъ отзывается о немъ съ глубокимъ уваженіемъ. Сколько можно судить по воспоминанію учениковъ, лекціи Шадена о нравственности многимъ обязаны были идеямъ Геллерта, хотя потомъ онъ и слѣдилъ за развитіемъ мысли въ Германіи и за ея представителями, далеко ушедшими впередъ отъ того времени, когда Геллертъ читалъ въ Лейпцигѣ свои популярныя лекціи о нравственности. Нравственное ученіе Геллерта было приводимо Шаденомъ въ систему. Собственныя мысли, нравственные, жизненные и политическіе идеалы Шадена видны въ нѣкоторыхъ латинскихъ рѣчахъ, произнесенныхъ имъ по разнымъ случаямъ. Онѣ отличаются глубиною мысли и основательностію, и изъ нихъ становится намъ ясно, что Шаденъ принадлежалъ къ числу тѣхъ нѣмецкихъ ученыхъ, которые выбрали задачею своей дѣятельности, съ помощію науки и убѣжденія, бороться съ волнующими современный міръ ученіями энциклопедистовъ. Въ рѣчахъ своихъ Шаденъ говоритъ о Богѣ, о любви къ Нему, о могуществѣ вѣры, которой долженъ подчиняться разумъ, о непреложныхъ законахъ, правящихъ міромъ и не допускающихъ слѣпого случая, о монархіи, какъ лучшемъ образѣ правленія, единственно возможномъ въ Россіи, гдѣ идея государя и отечества должны быть нераздѣльны, и въ особенности о воспитаніи, которое должно быть непремѣнно согласовано съ государственными потребностями. Говоря о наукѣ, Шаденъ нападаетъ на одностороннее развитіе ума, онъ желаетъ участія въ пріобрѣтеніи знанія сердца и чувства, желаетъ болѣе воспитанія нравственнаго, чѣмъ холодныхъ свѣдѣній, и эту живую сторону требуетъ отъ воспитательныхъ учрежденій. О русскомъ народѣ, какъ народѣ сѣверномъ, Шаденъ говоритъ, что чувства его должны быть грубы, и что на нихъ, для развитія *чувствительности*, необходимо

дѣйствовать воспитаніемъ. Замѣтить надобно, что Шаденъ желалъ воспитанія такого, которое бы имѣло близкую связь съ обществомъ, не чуждалось его, а служило ему.

Соображая педагогическія и нравственныя убѣжденія Шадена съ тѣми свидѣтельствами, которыя дошли до насъ о его честномъ личномъ характерѣ, какъ человѣка и профессора, о твердости его убѣжденій, которымъ онъ оставался вѣренъ въ теченіе всей своей жизни, сопоставляя съ этимъ общій характеръ всѣхъ произведеній Карамзина и тонъ ихъ, и политическіе идеалы, вынесенные имъ изъ глубокаго изученія отечественной исторіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно согласные съ ученіемъ Шадена, и нравственныя свойства его произведеній, мы убѣждаемся что гораздо сильнѣе дѣтскихъ вліяній и общества, окружавшаго ребенка въ симбирской деревнѣ, было вліяніе на него воспитательнаго заведенія Шадена. Изъ него онъ вышелъ прямо въ жизнь и принесъ съ собою въ нее, вмѣстѣ съ сложившимися убѣжденіями, которыя навсегда опредѣлили его литературную дѣятельность, и положительныя свѣдѣнія, необходимыя для нея. Мы позволяемъ себѣ думать даже, что вліяніе Шадена и воспитаніе, имъ данное Карамзину, было сильнѣе и значительнѣе послѣдующаго, именно Новикова и того мистико-масонскаго кружка людей, который образовался около этого замѣчательнѣйшаго представителя умственной жизни нашего отечества въ концѣ прошлаго столѣтія. Если вліяніе Новиковскаго кружка и спасло Карамзина отъ пустоты и бездѣятельности свѣтской жизни въ провинціи, давъ ему толчокъ и сблизивъ его съ умственными интересами, то, съ другой стороны, этотъ кружокъ не привилъ къ нему своихъ убѣжденій; прежнія вліянія оказались сильнѣе; въ Европѣ, въ бесѣдѣ съ представителями ея литературы, эти прежнія вліянія опять получили силу; свѣжій воздухъ заграничной жизни развѣялъ то, что могло запасть въ душу Карамзина изъ масонства, а преслѣдованія послѣдняго со стороны правительства уже не позволили ему раздѣлять далѣе убѣжденій разсѣяннаго кружка.

Гораздо труднѣе сказать, въ чемъ состояли положительныя свѣдѣнія, которыя Карамзинъ вынесъ изъ пансіона Шадена, гдѣ, по всей вѣроятности, пробылъ около четырехъ лѣтъ, хотя опредѣлить положительно годы его пребыванія въ пан-

само невозможно при спутанности и неопредѣленности всѣхъ біографическихъ данныхъ о Карамзинѣ. Въ воспоминаніи объ урокахъ Шадена по Геллерту Карамзинъ называетъ себя *маленькимъ* ученикомъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ вспоминалъ о чтеніи донесеній англійскихъ торжествующихъ генераловъ изъ времени войны съ возникающими Сѣверо-Американскими Штатами. Для того, чтобъ интересоваться современными политическими событіями, нужно было уже имѣть достаточное развитіе.

Положительно можно сказать, что Карамзинъ въ пансіонѣ Шадена познакомился хорошо съ иностранными языками: французскимъ и нѣмецкимъ, можетъ-быть, и англійскимъ, хотя онъ не могъ говорить на этомъ послѣднемъ языкѣ. Древніе языки не были ему знакомы. Знакомство же съ новыми, подъ вліяніемъ и при совѣтахъ воспитателя, доставило ему средства для обширнаго образовательнаго чтенія, особенно въ нѣмецкихъ авторахъ, и дало ему возможность очень скоро явиться печатнымъ переводчикомъ съ нѣмецкаго. Выборъ этихъ переводовъ совпадаетъ съ направленіемъ Шадена. Воспитатель полюбилъ Карамзина и доставилъ ему знакомства въ близкихъ ему иностранныхъ домахъ, слѣдилъ за его чтеніемъ и направлялъ его. Карамзинъ думалъ кончить свое воспитаніе въ Лейпцигскомъ университетѣ и искренно, глубоко сожалѣлъ, что обстоятельства не позволили ему исполнить этого намѣренія, сожалѣлъ о потерянныхъ годахъ. По всей вѣроятности, Карамзинъ оставилъ, для вступленія въ службу, пансіонъ Шадена въ 1782 году.

Буличъ.

Отношеніе Карамзина къ Дружескому Обществу и къ идеямъ масонства и мистицизма.

Съ рекомендаціею Ивана Петровича Тургенева, директора Московскаго университета, человѣка образованнаго, переводчика нѣкоторыхъ мистическихъ и масонскихъ книгъ, Карамзинъ вступилъ въ 1785 году въ совершенно уже сформированный кругъ Новикова, — кругъ полный широкихъ плановъ и начинаній, дѣятельности разнообразной, направленной къ благу человѣчества и русскаго просвѣщенія.

Но еще прежде пріѣзда въ Москву въ концѣ лѣта 1785 года Карамзинъ былъ уже близокъ съ однимъ изъ дѣятельныхъ литературныхъ сотрудниковъ Новикова — Александромъ Андреевичемъ Петровымъ (ум. въ 1793 году). Дружба съ этимъ человѣкомъ, являющимся въ сочиненіяхъ Карамзина подъ поэтическимъ именемъ „Агатона", имѣла на него глубокое вліяніе. Петровъ былъ развѣ двумя годами старше своего друга, но его сдержанный характеръ, строгое развитіе мысли, чуждое сантиментальности и разслабленности, замѣтныхъ въ Карамзинѣ, большее образованіе (Петровъ зналъ классическіе языки и превосходно былъ знакомъ съ англійскою литературою), благотворно дѣйствовали на воспріимчивую натуру Карамзина, который смотрѣлъ на своего друга, какъ на существо высшее. Петровъ направлялъ и чтеніе Карамзина и дѣлалъ выборъ для его литературныхъ трудовъ; нѣсколько лѣтъ, до самаго отъѣзда Карамзина за границу, они были неразлучны и жили на одной квартирѣ. Когда началась эта дружба, опредѣлительно сказать нельзя, но изъ писемъ Петрова къ Карамзину, писанныхъ изъ Москвы лѣтомъ 1785 года, передъ самымъ пріѣздомъ туда Карамзина, видно, что дружба эта была въ полномъ развитіи. Изъ этой переписки видно, что Петровъ стоялъ гораздо выше въ духовномъ отношеніи Карамзина. Онъ шутитъ надъ его меланхоліей и скукой, навѣянными пустотою провинціальной жизни, и даетъ ему здравые, практическіе совѣты для дѣятельности, хотя, какъ видно изъ той же переписки, Карамзинъ не всегда скучалъ; онъ смѣется надъ какою-то пьесою Карамзина о „Соломонѣ", написанною по-нѣмецки, гдѣ онъ въ трехъ строкахъ нашелъ пять ошибокъ противъ языка. Карамзинъ, несмотря на разсѣянность свѣтской жизни въ Симбирскѣ, читалъ въ немъ Шекспира, любимаго писателя Петрова и, вѣроятно, готовилъ свой переводъ „Юлія Цезаря". Петровъ, повидимому, близкій съ масонами, звалъ Карамзина къ *Іоаннову дню*, празднику масонскихъ ложъ.

Если мистицизмъ и масонство въ концѣ XVIII вѣка у насъ въ Россіи были явленіями, занесенными, подобно многимъ другимъ, изъ европейской умственной жизни, если они не имѣли въ русскомъ обществѣ ни историческихъ причинъ ни исторической почвы, какъ на Западѣ, то все-таки мы имѣемъ право утверждать, что состояніе русской жизни и

ся условія были благопріятны для нихъ и во многомъ ихъ оправдывали. Какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, масонство могло появиться совершенно естественно и найти благопріятную почву для своего развития, сдѣлаться даже явленіемъ, принесшимъ извѣстную долю пользы русскому обществу.

Во второй половинѣ XVIII вѣка въ западной Европѣ и преимущественно въ Германіи, съ которою наши петербургскіе и московскіе масоны имѣли непосредственныя сношенія, мы видимъ быстрое усиленіе и развитие разныхъ тайныхъ обществъ, извѣстныхъ подъ названіемъ масоновъ, иллюминатовъ, розенкрейцеровъ и др. Различныя историческія причины способствовали этому тайному, но съ широкими границами, движенію. Съ одной стороны іезуитскій орденъ, послѣ реформаціонныхъ войнъ снова и въ полномъ блескѣ возстановилъ католичество, грозившее свободѣ мысли. Съ другой стороны тогдашнее политическое устройство государствъ въ западной Европѣ было такого рода, что форма ихъ недопускала возможности личнаго участія, личной дѣятельности развитого гражданина въ дѣлахъ общественныхъ, а между тѣмъ эти развитыя личности страстно желали общественной дѣятельности. За невозможностію ея, весь пылъ подобныхъ стремленій уходилъ въ дѣятельность тайныхъ обществъ, гдѣ раскрывался полный просторъ личнымъ начинаніямъ. Стремленія эти были сильны и могущественны, потому что они вызывались всѣмъ развитіемъ литературы и мысли въ XVIII вѣкѣ, которое, освобождая сердце и умъ, требовало вмѣстѣ съ тѣмъ и свободы политической дѣятельности, а она не допускалась гнетомъ феодальнаго государства, господствовавшаго во всей силѣ до французской революціи. Чего хотѣли тайныя общества масоновъ, иллюминатовъ и др.? Исключенные изъ государственной дѣятельности, братья орденовъ не могли имѣть въ виду близкой, практической цѣли въ государствѣ; они были чужды политическимъ стремленіямъ, не думали о государственномъ переворотѣ, и одною изъ первыхъ обязанностей брата считали повиновеніе государю, во владѣніяхъ котораго жили, и существующимъ въ нихъ законамъ. Цѣль тайныхъ обществъ была гораздо дальше, была чище и идеальнѣе, вызывалась современными общественными явленіями: этимъ неестественнымъ развитіемъ ума и грубымъ невѣжествомъ массъ въ XVIII вѣкѣ. Тайныя общества хотѣли всеобщаго

просвѣщенія и идеальнаго христіанства, очищеннаго отъ фанатизма и суевѣрія. Это нравственное дѣло должно быть достигнуто братскими усиліями общества, а потому необходимо было увеличивать число братій, такъ какъ каждый изъ нихъ являлся работникомъ будущаго зданія для просвѣщеннаго и счастливаго человѣчества. Понятно, что въ такомъ обществѣ первую и главную роль должны были играть писатели, такъ какъ только нравственными, литературными средствами можно было проводить въ жизнь цивилизующія начала. Сочиненія должны были издаваться въ одномъ духѣ, для чего необходимъ союзъ писателей, дѣйствующихъ въ одномъ направленіи, необходимы матеріальныя средства для подобной литературной дѣятельности: типографіи, книжныя лавки, читальни, необходимо воспитаніе въ извѣстномъ направленіи, а потому ордена заводили свои школы, воспитательныя заведенія и проч. Въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи вербуя во всѣхъ сословіяхъ и народахъ своихъ членовъ, тайное общество, въ концѣ концовъ, должно было потерять этотъ характеръ свой: предѣлы человѣчества были его предѣлами. Такимъ образомъ въ усиліяхъ тайныхъ обществъ мы видимъ благую, честную цѣль, хотя сами они были порожденіемъ больного и неестественнаго устройства общественной жизни.

Если въ Россіи XVIII столѣтія и не было тѣхъ историческихъ причинъ, которыя въ Европѣ породили тогда движеніе тайныхъ обществъ, то нѣтъ сомнѣнія, что они нашли у насъ весьма благопріятную почву и обширное поле для дѣятельности. Кто не знаетъ нашего эфемернаго умственнаго развитія въ XVIII вѣкѣ, вызваннаго горячечнымъ подражаніемъ Европѣ послѣ реформы Петра В., это неестественное, почти больное развитіе головъ вверху и спящую неподвижность массы внизу? Кто не знаетъ недостатка нравственныхъ убѣжденій въ нашихъ людяхъ XVIII вѣка, ихъ грубыхъ, чисто матеріальныхъ побужденій для дѣятельности, ихъ жизни точно въ лагерѣ страны завоеванной, презрѣнія ко всякой умственной дѣятельности и жадную погоню въ высшихъ классахъ, гдѣ сосредоточивалась вся жизнь государства, за золотомъ и наслажденіями? Что-то черствое, жесткое видно въ этихъ натурахъ, и бѣдность ихъ внутренняго содержанія не скрывается отъ насъ ни блескомъ царствованія Екатерины, ни ея гуманными фразами,

ни звонкими стихами Державина. Людямъ, нравственно развитымъ, съ болью кидались въ глаза всѣ эти печальныя противорѣчія общества, сердце ихъ должно было скорбѣть. Надобно прибавить ко всему этому, что, съ легкой руки императрицы, многимъ обязанной сочиненіямъ французскихъ энциклопедистовъ и лично знакомой съ нѣкоторыми изъ нихъ, въ обществѣ, даже теоретически, господствовалъ матеріализмъ, развиваемый передовыми мыслителями Франціи и искушающій сердце. Естественно, необходимо явилось противодѣйствіе этому направленію, и, если оно вдалось въ крайности, то онѣ были вызваны крайностями противоположнаго явленія; но заслуга русскаго масонства передъ русскимъ обществомъ, разумѣется, въ той ограниченной сферѣ дѣйствія, какая была предоставлена ему, и между многими личностями, литературнымъ путемъ, была очень велика. Русское масонство боролось съ матеріализмомъ и грубою чувственностью, оно возставало противъ индифферентизма и фанатизма въ религіи, противъ односторонняго развитія ума при совершенномъ забвеніи сердца; оно желало просвѣщенія массы, желало лучшаго матеріальнаго устройства ея быта и съ этой цѣлью помогало бѣднымъ. Вотъ почему просвѣщенный митрополитъ московскій, знаменитый Платонъ, послѣ испытательной бесѣды по указу императрицы Екатерины съ Новиковымъ, доносилъ ей въ 1786 году, между прочимъ, слѣдующее: „Какъ предъ престоломъ Божьимъ, такъ и предъ престоломъ твоимъ, всемилостивѣйшая государыня императрица, я одолжаюсь по совѣсти и сану моему донести тебѣ, что молю всещедраго Бога, чтобы не только въ словесной паствѣ, Богомъ и тобою, всемилостивѣйшая государыня, мнѣ ввѣренной, но и во всемъ мірѣ были христіане такіе, какъ Новиковъ".

Въ самомъ дѣлѣ, чего хотѣли русскіе масоны? Ихъ главная, ихъ существенная цѣль заключалась въ воспитаніи *внутренняго человѣка*, не въ томъ только освобожденіи его отъ историческихъ опредѣленій, о которомъ хлопотали деистическія ученія вѣка, но и въ развитіи его внутренней стороны, задавленной господствомъ животныхъ инстинктовъ. Вѣра въ Бога, религія страны, повиновеніе государю и исполненіе законовъ оставались нетронутыми, ихъ желали только чище и сознательнѣе. Конечно, въ этомъ свободномъ соединеніи

людей для далекой и неопредѣленной цѣли воспитанія человѣчества не могло быть ясно очерченной системы и программы дѣйствія (строго систематизированы были только внѣшніе обряды ложъ, которыми масоны думали увлечь толпу и людей, несмотря на свое развитіе легко поддающихся внѣшнимъ приманкамъ); притомъ цѣль общества и не могла быть формулирована, такъ какъ она мерцала въ далекомъ будущемъ и къ ней вели разнообразные пути, но нравственный характеръ главныхъ представителей русскаго масонства прошлаго вѣка ручается намъ за чистоту ихъ убѣжденій и за истину ихъ словъ. Несчастіе этого общества, условливаемое временемъ и обстоятельствами, составляла тайна и таинственные, исполненные символизма, внѣшніе обряды. Подъ покровъ тайны легко могли прокрасться и прокрадывались ложь и обманъ. Наше время знаетъ, что благо человѣчества достигается не таинственными обрядами, а дѣйствіями явными, но въ XVIII в. были другія отношенія. Загораживаясь отъ общества заборомъ тайны, собираясь въ недоступныя для другихъ собранія, употребляя обряды и вычурный символическій языкъ, масоны невольно возбуждали къ себѣ недовѣріе не только правительства, которое естественно не могло терпѣть рядомъ съ собою другой власти, но и простыхъ, благомыслящихъ людей.

Изучая заявленія русскихъ масоновъ о себѣ и о цѣли ихъ общества, соображая образъ ихъ дѣйствій, мы видимъ, что цѣли и намѣренія ихъ были высоко-нравственныя. Мистическая работа надъ „дикимъ камнемъ", надъ грубымъ и непросвѣщеннымъ обществомъ — вотъ сущность того кружка, который возникъ въ обществѣ Новикова и друзей его. Желаніе расширить общество и средства распространенія были тѣ же, что и въ Германіи. Вотъ что, между прочимъ, писали берлинскіе масоны въ 1784 году, въ самую сильную пору движенія Новиковскаго кружка, къ одному изъ главныхъ масонскихъ дѣятелей въ Москвѣ, Петру Алексѣевичу Татищеву: „Цѣль общества... соединить ради общей пользы въ одинъ союзъ людей, обыкновенно раздѣленныхъ возрастомъ, образомъ жизни, различными занятіями и самыми средствами для жизни, не давать заглохнуть природнымъ дарованіямъ, но поощрять ихъ къ дѣятельности; содѣйствовать распространенію знаній въ латинскомъ языкѣ, также знакомству съ древностями, съ природою, которая въ нѣд-

рахъ своихъ бережетъ такъ много сокровищъ для всякаго благоразумнаго изслѣдователя, который приступаетъ къ ней съ чистою мыслью; для безпріютныхъ молодыхъ людей завести особыя филологическія семинаріи, гдѣ бы они, сверхъ образованія, могли получить и самое содержаніе, и имѣя цѣлію приготовить изъ нихъ будущихъ воспитателей народа, заранѣе направить ихъ умы къ общеполезной дѣятельности и воспитывать въ сердцахъ ихъ любовь къ Богу и ближнему; наконецъ, вообще способствовать, посредствомъ хорошаго выбора книгъ для чтенія, просвѣщенію народнаго духа въ своемъ отечествѣ". Новиковъ и друзья его, сформировавшіе въ Москвѣ общество, бывшее въ непосредственныхъ связяхъ съ нѣмецкими масонами, почти буквально исполнили эту программу.

Извѣстна дѣятельность Новикова и друзей его, составляющая самый замѣчательный эпизодъ изъ исторіи нашего просвѣщенія XVIII вѣка. Несмотря на то, что Новиковъ (1744—1818) и числился между воспитанниками Московскаго университета, изъ котораго онъ былъ однако исключенъ въ одно время съ товарищемъ своимъ, знаменитымъ Потемкинымъ, за лѣность и нехожденіе въ классы, онъ принадлежалъ къ числу самородныхъ русскихъ умовъ, съ постоянною, неумолкаемою жаждою дѣятельности. Его здравый умъ, его замѣчательныя дарованія, любовь къ чтенію и знакомство съ людьми дѣятельными въ литературѣ въ то время, когда въ началѣ царствованія Екатерины II литература, поощряемая самою императрицею, получила особенное оживленіе, невольно влекли Новикова къ работѣ умственной. Служа въ гвардейскомъ Измайловскомъ полку, Новиковъ началъ свое литературное поприще сатирическими журналами, умныя и мѣткія нападенія которыхъ обратили на него общее вниманіе. Но видя безплодность своей сатиры, понимая, что недостатки общества зависятъ отъ историческихъ условій его развитія, Новиковъ перешелъ къ изученію историческихъ памятниковъ Россіи, изданіемъ которыхъ принесъ существенную пользу наукѣ. Затѣмъ, вѣроятно, увлеченный движеніемъ масонства, онъ сталъ издавать журналы, посвященные нравственности вообще и нравственной религіи. Уже въ 1777 году онъ издаетъ журналъ „Утренній Свѣтъ", наполненный статьями исключительно нравственнаго и религіознаго содержанія, и всю вы-

ручку съ этого изданія отдаетъ на воспитаніе дѣтей въ двухъ петербургскихъ училищахъ. Тогда уже опредѣлилась его дѣятельность и издательская и филантропическая. Съ выходомъ въ отставку, съ переѣздомъ въ родную ему Москву въ началѣ 1779 года, и съ переходомъ къ нему по контракту тогда же Университетской типографіи, эта дѣятельность Новикова получила широкіе размѣры. Переходъ Университетской типографіи и изданія „Московскихъ Вѣдомостей" въ руки Новикова составляетъ эпоху въ исторіи нашего просвѣщенія. Предпринимая разныя изданія періодическія, задумывая переводы замѣчательныхъ иностранныхъ произведеній, возбуждая, однимъ словомъ, въ высшей степени литературную дѣятельность, которая естественно являлась помощницею его коммерческого предпріятія, Новиковъ нуждался въ совѣтникахъ и пособникахъ и такимъ образомъ онъ невольно сдѣлался центромъ, вокругъ котораго группировались всѣ литературные представители Москвы, все то, что питало сочувствіе къ дѣятельности слова, уму и просвѣщенію. Въ этотъ кругъ людей, молодыхъ и образованныхъ, соединенныхъ одною идеею и общею дѣятельностью, увлеченныхъ примѣромъ Новикова и его вліяніемъ, въ этотъ кругъ *любословововъ*, какъ называетъ ихъ И. И. Дмитріевъ, вступилъ въ 1784 году молодой Карамзинъ, и четыре года, проведенные имъ въ этомъ обществѣ, на глазахъ лучшихъ людей времени, въ общихъ сознательныхъ трудахъ, въ переводахъ замѣчательнѣйшихъ тогда произведеній западныхъ литературъ, подъ вліяніемъ пылкой молодой дружбы, были прекрасною школою для Карамзина. Здѣсь, разнообразнымъ трудомъ и упражненіемъ не только развился его авторскій талантъ, но воспиталось его сердце, раскрылось его чувство къ воспріятію самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Когда Дмитріевъ увидалъ его въ этомъ московскомъ кружкѣ, онъ не узналъ Карамзина: „Это былъ уже не тотъ юноша, который читалъ все безъ разбора, плѣнялся славою воина, мечталъ быть завоевателемъ чернобровой, пылкой черкешенки, но благочестивый ученикъ мудрости, съ пламеннымъ рвеніемъ къ *усовершенствованію въ себѣ человѣка*.

Высшій и вмѣстѣ съ тѣмъ таинственный смыслъ этому литературному кругу и его дѣятельности придавало *масонство*, которому Новиковъ отдался со всѣмъ пыломъ своей страстной

натуры и которое своими широкими, какъ человѣчество, цѣлями, своею благородною любовью къ человѣческому роду, было для этихъ людей воспоминанiемъ дѣйствительности, замѣненiемъ невозможности дѣйствовать на нее. Масонство появившееся въ Россiи въ 1741 году, вскорѣ послѣ своего развитiя въ Германiи, получило сильное распространенiе у насъ съ начала царствованiя Екатерины, вслѣдствiе ея покровительства и особенно въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ, вслѣдствiе движенiя тайныхъ обществъ Европы, вслѣдствiе стремленiя ихъ къ прозелитизму. Не только въ обѣихъ столицахъ, но и въ нѣкоторыхъ провинцiальныхъ городахъ были основаны дѣятельно работающiя ложи. Даже цѣлая ложа или система въ Петербургѣ получила названiе Елагинской, по имени извѣстнаго Ивана Перфильевича Елагина, писателя, историка и гофмаршала Екатерины II. Весьма вѣроятно, что между всѣми этими ложами не было тѣсныхъ связей, хотя связи и сношенiя съ западными ложами давали главную пищу нашимъ. Очень можетъ быть, что, еще живя въ Петербургѣ, Новиковъ уже посѣщалъ находившiяся тамъ ложи, но всего вѣроятнѣе онъ сдѣлался жаркимъ и дѣятельнымъ масономъ уже въ Москвѣ и тогда, когда началась и опредѣлилась его издательская дѣятельность. Появленiе масонства въ кружкѣ Новикова начинается съ того утра, когда, по словамъ его пришелъ къ нему „нѣмчикъ", сдѣлавшiйся его искреннимъ и неразлучнымъ другомъ до самой смерти своей. Этотъ „нѣмчикъ" былъ главною фигурою московскихъ масоновъ; это былъ типъ учителя, которому поклонялись съ благоговѣнiемъ молодые литераторы Новиковскаго кружка, самый дѣятельный организаторъ въ московскомъ масонствѣ — профессоръ Московскаго университета — Иванъ Егоровичъ Шварцъ, оставившiй въ душѣ всѣхъ своихъ единомышленниковъ самую глубокую и сердечную привязанность, перешедшую по смерти его на его сиротъ и семейство. Въ бiографiи Карамзина эта личность по своему, хотя и не прямому влiянiю на него, заслуживаетъ воспоминанiя.

Шварцъ прiѣхалъ профессоромъ философiи въ Москву, вѣроятно, изъ Iены, въ 1776 году и, не слѣдуя примѣру многихъ своихъ соотечественниковъ, тотчасъ же и дѣятельно занялся изученiемъ русскаго языка и литературы. Обширныя издательскiя предпрiятiя Новикова очень скоро обратили на

себя его вниманіе, и Шварцъ познакомился съ нимъ. Это было вскорѣ послѣ пріѣзда Новикова въ Москву. Увлеченный Новиковымъ, Шварцъ сталъ набирать для него сотрудниковъ и переводчиковъ между своими молодыми слушателями, которые страстно полюбили его, какъ за его дружеское обращеніе съ ними, такъ и за постоянную готовность дѣлиться съ ними и свѣдѣніями и книгами. Московское общество съ полнымъ сочувствіемъ отозвалось на любовь Шварца и къ Россіи и къ ея молодому поколѣнію. Связь съ этимъ московскимъ обществомъ, уваженіе, которымъ Шварцъ пользовался въ немъ, невольно влекли его къ организаціи обширнаго плана для распространенія просвѣщенія въ Россіи, но у Шварца не было денегъ для такой организаціи. Его намѣреніе дѣйствовать литературою на просвѣщеніе народныхъ массъ, его желаніе практической дѣятельности не могло осуществиться до встрѣчи съ Новиковымъ. Тѣмъ не менѣе ему удалось основать при университетѣ педагогическую семинарію для приготовленія достойныхъ преподавателей и профессоровъ, и ей онъ посвятилъ исключительно свою дѣятельность. По всей вѣроятности, Шварцъ, котораго научныя убѣжденія сформировались въ германскихъ университетахъ недовольствомъ и враждою къ господствующей наукѣ энциклопедистовъ, не удовлетворявшей его по своей заносчивой бездоказательности и наклонности къ мистицизму, который какъ противоположность получалъ тогда значеніе, по всей вѣроятности, Шварцъ еще на родинѣ былъ близокъ съ масонскими ложами, а въ Новиковѣ и друзьяхъ его встрѣтилъ единомышленниковъ. Въ 1781 году, для поправленія здоровья, разстроеннаго усиленными трудами, Шварцъ поѣхалъ за границу, и друзья его воспользовались этимъ случаемъ, чтобъ посредствомъ его завести прямыя связи съ нѣмецкими масонами и оттуда получить и нравственную помощь и правильную организацію. Можетъ-быть и денежныя средства путешествія шли отъ этихъ же друзей, такъ какъ Шварцъ везъ съ собою на воспитаніе въ Германію сына одного изъ богатыхъ и вліятельныхъ масоновъ — Татищева. Шварцъ является какъ бы аккредитованнымъ отъ московскихъ масоновъ лицомъ за границею. Въ Брауншвейгѣ онъ представился герцогу, главѣ масоновъ, съ которымъ былъ близокъ и знаменитый Лессингъ, и получилъ отъ него инструкцію и довѣрительную

грамоту. Кромѣ брауншвейгскаго герцога, Шварцъ сблизился съ Іерузалемомъ, а въ Берлинѣ съ главными представителями ложъ и такимъ образомъ въ нѣсколько мѣсяцевъ своего путешествія по Германіи онъ исполнилъ всѣ порученія своихъ московскихъ друзей, завелъ сношенія и привезъ оттуда правильную организацію ложъ.

Дѣйствительно, по возвращеніи въ 1782 году Шварца изъ-за границы, въ обществѣ друзей Новикова мы впервые видимъ стройную ассоціацію, получающую правильный и практическій характеръ. Оставляя то, что относится собственно до организаціи масонства, мы скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ ассоціяхъ, которыя имѣли дѣло съ интересами литературы и просвѣщенія вообще, въ которыхъ Карамзинъ принималъ непосредственное участіе своимъ трудомъ, какъ переводчикъ, хотя эти литературныя ассоціаціи были прямымъ слѣдствіемъ цѣлей масонства.

Тотчасъ по возвращеніи Шварца изъ-за границы, въ 1782 году вполнѣ организовалось извѣстное „Дружеское Ученое Общество", котораго начало было положено нѣсколько прежде его же энергическою дѣятельностью. Это Общество существовало съ вѣдома правительства и ему явно покровительствовали и московскій главнокомандующій графъ З. Г. Чернышовъ и московскій митрополитъ Платонъ и кураторъ университета Херасковъ. Членами этого Общества были: правитель канцеляріи главнокомандующій Семенъ Ивановичъ Гамалея (1743—1822), отличавшійся своимъ безкорыстіемъ въ этой должности, образецъ для послѣдующаго мистицизма временъ Александра I, извѣстный переводчикъ разныхъ мистическихъ сочиненій и вѣрный другъ послѣднихъ тяжелыхъ годовъ Новикова; адъютантъ главнокомандующаго, симбирскій помѣщикъ, бригадиръ Иванъ Петровичъ Тургеневъ; совѣтникъ уголовной палаты Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ (1756—1816), извѣстный писатель и переводчикъ масонскихъ и мистическихъ книгъ, записки котораго любопытны и для внутренней исторіи Общества, рисуя его собственный переходъ отъ увлеченій „Système de la nature" къ мистицизму и для внѣшней исторіи, такъ какъ здѣсь подробно разсказано слѣдствіе надъ масонами и преслѣдованіе братьевъ. Къ этимъ вліятельнымъ по уму и убѣжденіямъ членамъ Общества, вмѣстѣ съ Новиковымъ, примыкали другие члены, извѣстные въ московскомъ

обществѣ по своему богатству, связямъ и значенію: князь Александръ Алексѣевичъ Черкасскій, князь Николай Никитичъ Трубецкой, братъ его Юрій Никитичъ (оба братья писателя Хераскова по матери), лейбъ-гвардіи майоръ Петръ Алексѣевичъ Татищевъ, полковникъ Василій Чулковъ, богатый купецъ Походяшинъ и мн. др. люди, которые, будучи увлечены убѣжденіями Шварца и Новикова, ихъ сердечнымъ краснорѣчіемъ, не жалѣли своихъ капиталовъ для достиженія великой цѣли — просвѣщенія своего отечества. Засѣданія этого Общества происходили публично, и въ программѣ его, тогда же опубликованной, мы видимъ почти буквальное повтореніе того, о чемъ писали нѣмецкіе масоны Татищеву. Въ помощь къ этому Обществу тогда же, лѣтомъ 1782 года, стараніями Шварца была присоединена организованная имъ прежде при Московскомъ университетѣ „Филологическая семинарія", въ которой теперь на счетъ Дружескаго Общества воспитывалось до 50 студентовъ изъ академій и семинарій для приготовленія къ педагогической дѣятельности. Въ ней главное участіе принималъ Шварцъ. Онъ учредилъ здѣсь собраніе, въ которомъ студенты читали свои произведенія и подвергали ихъ взаимной критикѣ, пока они не являлись въ печати въ изданіяхъ Новикова: „Вечерняя Заря" (1782) и „Покоящійся Трудолюбецъ" (1784), изданіяхъ, проникнутыхъ глубоко религіознымъ содержаніемъ. Изъ этой-то семинаріи вышли тѣ молодые люди, которые явились сотрудниками въ изданіяхъ и переводахъ Новикова: Ключаревъ, Страховъ, Петровъ, Лабзинъ, Подшиваловъ, Невзоровъ, Тимковскій и др. молодые люди, проникнутые однимъ духомъ, одними стремленіями. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ Карамзинымъ, смотрѣвшимъ потомъ на дѣло Новикова и друзей его здравыми глазами, нельзя не сказать, что во всѣхъ литературныхъ трудахъ, изданныхъ въ свѣтъ подъ покровительствомъ „Дружескаго Ученаго Общества", благая цѣль просвѣщенія народа затемнена мистическими и масонскими тенденціями. Презирая школьную мудрость, Новиковъ и друзья его впали въ другую крайность и вмѣсто здоровой и естественной пищи давали читателямъ произведенія странныя, гдѣ не всякому удавалось различить великую и простую истину христіанства подъ таинственными и загадочными формулами, подъ вычурнымъ, страннымъ и символическимъ языкомъ. Этотъ общій недо-

статокъ изданій „Ученаго Дружескаго Общества“ былъ слѣдствіемъ масонства. Братья забывали, что они писали для толпы, не посвященной въ ихъ таинства.

Главнымъ вождемъ духовнаго направленія этой молодежи и этихъ изданій былъ, какъ мы сказали уже, Шварцъ. Его лекціи „о богопознаніи“ и „о трехъ познаніяхъ: любопытномъ, пріятномъ и полезномъ“ находили внимательныхъ, увлеченныхъ слушателей. Студенты боготворили молодого профессора. Дмитріевъ говоритъ, что Карамзинъ слушалъ Шварца, а для Петрова эти лекціи были чѣмъ-то въ родѣ откровенія истины. Лекціи эти, исполненныя глубокаго религіознаго чувства и страстнаго одушевленія, были всѣ направлены противъ господствующаго французскаго невѣрія, противъ ученій матеріализма, и такъ глубоко было вліяніе Шварца и его лекцій, что старики мистики александровскихъ временъ не могли безъ слезъ вспоминать объ этомъ далекомъ увлеченіи молодости и съ набожнымъ чувствомъ переписывали тетрадки Шварцовыхъ лекцій, въ которыхъ заключался для нихъ весь кодексъ науки. Эти-то лекціи, можетъ-быть, потому что въ нихъ высказывался масонскій образъ мыслей Шварца и презрѣніе къ цеховой учености, а можетъ-быть, и вслѣдствіе блестящаго успѣха ихъ, были заподозрѣны нѣкоторыми профессорами и въ томъ числѣ учителемъ Карамзина — Шаденомъ. Сторону враговъ Шварца принялъ и кураторъ университета Мелиссино, бывшій тоже масономъ, но, вѣроятно, другого толка. Непріятности съ начальствомъ и болѣзни, какъ слѣдствіе сильнаго напряженія умственнаго, заставили Шварца постепенно укорачивать преподаваніе и рано, на тридцать-третьемъ году жизни, свели его въ могилу. Глубокая преданность учениковъ искренно оплакала потерю любимаго учителя, а вдова и дѣти Шварца взяты были на попеченіе „Дружескаго Ученаго Общества“.

Духъ любви, одушевлявшій это Общество и выразившійся во многихъ филантропическихъ начинаніяхъ, въ благотворительности бѣднымъ, въ устройствѣ больницъ, аптекъ, школъ, въ раздачѣ милліонныхъ пособій московскихъ бѣднякамъ во время страшнаго голода, казалось, отлетѣлъ отъ него вмѣстѣ съ смертію Шварца. Само „Дружеское Общество“ исчезаетъ въ 1784 году, и вмѣсто него возникаетъ тогда же „Типографическая Компанія“, основанная уже на чисто

коммерческихъ началахъ, такъ какъ связью этой Компаніи, которая должна была продолжать прежнія издательскія предпріятія Общества, является уже контрактъ, замѣнившій собою дружественное довѣріе. Цѣлью этой Компаніи было изданіе и продажа по возможно дешевой цѣнѣ книгъ для народнаго образованія и мистическихъ, и хотя члены ея остались прежніе, съ прибавленіемъ только нѣкоторыхъ новыхъ, но все дѣло было въ рукахъ у Новикова. Это время отличается усиленной издательской дѣятельностью. Оно же замѣчательно тѣмъ, что тогда начались первыя подозрѣнія и преслѣдованія власти, первыя запрещенія книгъ. Въ 1785 году умеръ главнокомандующій Чернышовъ. Его адъютантъ Тургеневъ и его правитель канцеляріи Гамалея, близкіе и дѣятельные члены Компаніи должны были выйти въ отставку.

Карамзинъ былъ, разумѣется, младшимъ членомъ въ этомъ литературномъ кругу Новикова: онъ вошелъ въ него позже другихъ. Здѣсь встрѣтилъ его близкій ему прежде Петровъ. Дружба съ Петровымъ, нѣсколько старшимъ его по лѣтамъ и совершенно различнымъ по характеру и по взгляду на жизнь, была отраднымъ явленіемъ молодости Карамзина, и память друга навсегда осталась ему дорогою. „Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были и не во всемъ сходны между собою, — говоритъ Дмитріевъ: „одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей желчи; другой угрюмъ, молчаливъ и подчасъ насмѣшливъ. Но оба питали равную страсть къ познаніямъ, къ изящному, имѣли одинакую силу въ умѣ, одинакую доброту въ сердцѣ; и это заставило ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею у Меньшиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ „Дружескому Обществу“. „Я какъ теперь вижу скромное жилище молодыхъ словесниковъ; оно раздѣлено было тремя перегородками; въ одной стоялъ на столикѣ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, гипсовый бюстъ мистика Шварца, умершаго незадолго предъ пріѣздомъ моимъ изъ Петербурга въ Москву; а другая освящена была Іисусомъ на крестѣ подъ покрываломъ чернаго крепа“. Въ этомъ жилищѣ, съ его мистическою обстановкою, прошло четыре года Карамзинской жизни, отданные дѣятельному труду и богатые умственными впечатлѣніями.

Петрову Карамзинъ посвятилъ нѣсколько воспоминаній

въ своихъ сочиненіяхъ. Онъ глубоко былъ растроганъ раннею смертію своего друга въ Петербургѣ. Въ душу Петрова изливалась душа его, и Карамзинъ повѣрялъ ему свои надежды и сомнѣнія, свои мечты и планы своихъ сочиненій; онъ былъ его учителемъ, и вдали отъ свѣта они просиживали вдвоемъ половину зимнихъ ночей надъ Оссіаномъ, Шекспиромъ, Боннетомъ, и, вѣроятно, Петрову Карамзинъ былъ обязанъ знакомствомъ съ англійскими писателями, такъ какъ Петровъ любилъ ихъ и вообще все англійское. Первыя метафизическія понятія Карамзина, по его собственному признанію, развились въ тиши ночныхъ бесѣдъ съ другомъ; эстетическимъ тактомъ онъ обязанъ также Петрову. Вмѣстѣ изучали они современнаго эстетическаго теоретика Батте. Противоположность характеровъ еще тѣснѣе сблизила ихъ: они восполняли другъ друга, и въ минуты сомнѣнія, недовольства собою и міромъ, въ припадкахъ „черной меланхоліи", которая составляла тогда неотъемлемую принадлежность всякаго развитого юноши, Карамзинъ почерпалъ утѣшеніе въ умѣ и твердомъ характерѣ своего „Агатона". Переписка обоихъ друзей, къ сожалѣнію, дошедшая до насъ въ весьма незначительномъ количествѣ писемъ, свидѣтельствуетъ о томъ значеніи, какое имѣлъ Петровъ для Карамзина. Видно какое участіе Петровъ принималъ въ судьбѣ своего друга, слѣдя за нимъ по картѣ во время его путешествія за границей и интересуясь ходомъ его литературныхъ успѣховъ, когда по возвращеніи изъ-за границы Карамзинъ сталъ издавать **„Московскій Журналъ"**.

Старшій годами и развитіемъ, Петровъ гораздо прежде сталъ писать и дѣятельно участвовалъ въ изданіяхъ Новикова въ качествѣ переводчика, будучи еще студентомъ университета, начиная съ 1780 года. На него возложенъ былъ главный трудъ изданія „Дѣтскаго Чтенія", которое выходило при „Московскихъ Вѣдомостяхъ" (1785—1789) и наполнялось преимущественно переводными статьями. Петровымъ переведены были и цѣлыя сочиненія по порученію Компаніи. Въ первомъ журналѣ онъ помѣстилъ также нѣсколько переводныхъ статей. Послѣ процесса Новикова и друзей его, когда распалась „Компанія типографическая", Петровъ переѣхалъ на службу въ Петербургъ и умеръ тамъ въ 1793 году.

Другою личностію, которая имѣла также сильное вліяніе

на молодого Карамзина, потому что связь его съ нею вводила его въ среду стремленій и идеаловъ новаго и чрезвычайно важнаго періода нѣмецкой литературы, называемаго обыкновенно историками ея *періодомъ волненій*. Sturm und Drang-Periode), былъ Ленцъ, нѣмецкій писатель, ровесникъ Гете и другъ его молодости, несчастный соперникъ его по любви къ Фредерикѣ Бріонъ, извѣстной въ біографіи Гете. Ленцъ былъ печальною жертвою тѣхъ бурныхъ стремленій, которыя овладѣли тогда молодыми представителями нѣмецкой литературы и изъ которыхъ Гете вышелъ съ олимпійскимъ спокойствіемъ. Соперничество въ любви и соперничество въ талантѣ съ Гете довело его до сумасшествія. Всѣ сочиненія его молодости доказывали, что онъ кончитъ этимъ печальнымъ исходомъ свою жизнь съ ея *мутнымъ*, по выраженію Петрова, потокомъ. Эти первыя сочиненія Ленца Карамзинъ, однако, высоко цѣнилъ и называлъ его жертвою „глубокой чувствительности". Что занесло Ленца въ Москву „въ кругъ Новикова" (онъ жилъ въ одномъ домѣ съ Карамзинымъ) мы не знаемъ, но изъ сочиненій Карамзина видно, что онъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ къ Ленцу. Путешествуя за границей, онъ собираетъ слѣды Ленца, говоритъ о немъ съ Виландомъ, передаетъ анекдоты, слышанные о Ленцѣ въ Веймарѣ. По возвращеніи изъ-за границы Карамзинъ засталъ его еще въ Москвѣ и, когда Ленцъ умеръ въ 1792 году, онъ сообщилъ о томъ Петрову. Вліянію Ленца надобно, кажется, приписать переводы Карамзина изъ Шекспира и Лессинга.

Почти такая же судьба постигла и третье лицо, съ которымъ былъ друженъ Карамзинъ въ этотъ первый періодъ своей литературной дѣятельности, хотя оно далеко не имѣло поэтическаго таланта и бурной оригинальности Ленца. Къ обществу Новикова принадлежалъ Алексѣй Михайловичъ Кутузовъ (род. 1749 г., ум. въ 90 годахъ); несмотря на значительную разницу въ лѣтахъ, онъ былъ очень друженъ съ Карамзинымъ. Кутузовъ былъ изъ тѣхъ двѣнадцати молодыхъ людей, которыхъ императрица Екатерина II отправила учиться за границу. Вмѣстѣ съ извѣстнымъ Радищевымъ онъ провелъ четыре года въ Лейпцигѣ (1766—1770) и былъ друженъ съ нимъ. Радищевъ посвятилъ ему свое „Житіе О. В. Ушакова", ихъ товарища, умершаго за гра-

ницею. Подобно большей части этихъ молодыхъ людей, Кутузовъ не приготовился за границей ни къ чему, что бы могло приносить дѣйствительную пользу его отечеству и, повидимому, кромѣ знанія нѣмецкаго языка, ничего не вывезъ изъ Лейпцига. Живя въ Москвѣ, онъ участвовалъ капиталомъ въ предпріятіяхъ Новикова и занимался переводами; ему принадлежитъ полный прозаическій переводъ Клопштоковой Мессиады. Карамзинъ, какъ извѣстно, сердечно любилъ его. Незадолго до отъѣзда за границу Карамзина, Кутузовъ былъ посланъ туда Новиковымъ и его друзьями съ цѣлями масонскими, для поддержанія связей съ заграничными, что и послужило однимъ изъ пунктовъ обвиненій членовъ „Типографической Компаніи". Когда Прозоровскій производилъ слѣдствіе и дознаъ связи Кутузова съ обвиненными мартинистами, когда его бумаги были забраны, и между ними нашлись письма „преступника" Радищева, Кутузовъ уже побоялся воротиться на родину. Изъ характеристики Кутузова, сдѣланной Карамзинымъ, изъ отрывка письма его къ послѣднему, видно, что воображеніе играло сильную роль въ жизни Кутузова, и онъ страдалъ меланхоліей, хотя, по словамъ Карамзина, и былъ добродушнымъ и любезнымъ человѣкомъ. Карамзину не удалось, однакожъ, встрѣтиться съ нимъ за границею, о чемъ онъ очень сожалѣлъ. Кутузовъ былъ въ Парижѣ во время взятія Бастиліи (14 іюля 1789 года) и умеръ „жертвою несчастныхъ обстоятельствъ", какъ говоритъ Карамзинъ.

Въ этомъ обществѣ молодыхъ друзей, работающихъ по идеѣ умершаго Шварца и распоряженію Новикова и друзей его, началась первая литературная дѣятельность Карамзина, представляющаяся намъ только въ переводахъ. Весьма естественно, что нельзя было отъ него ожидать ничего оригинальнаго, кромѣ развѣ стиховъ, навѣянныхъ молодымъ чувствомъ. Карамзинъ былъ слишкомъ молодъ для того, чтобъ сознательно участвовать въ предпріятіяхъ „Компаніи типографической", чтобъ понять ея цѣли и сдѣлать ихъ своими. Но это общество, эти люди, составлявшіе свѣтлый кружокъ въ тогдашнихъ темныхъ московскихъ захолустьяхъ, горячо преданные другъ другу и отдаленной, мечтательной, но отрадной сердцу цѣли, разговоры ихъ, полные любовью къ мудрости, вѣрою въ Бога и человѣчество, чуждые грязи еже-

шельной и чуждые дѣйствительности, которую они промѣняли на золотые сны, должны были оказать сильное воспитательное вліяніе на Карамзина. Это была превосходная школа для его таланта, сердца, ума. Она воспитала въ немъ ту пламенную любовь къ человѣчеству, которая такъ изобильно разсѣяна въ его сочиненіяхъ, ту чистоту стремленій, которая потомъ дала ему силы посвятить себя самоотверженно и вполнѣ великому труду послѣдняго періода его литературной дѣятельности, ту вѣру въ будущее, съ которою только и можно создать на землѣ что-либо великое, и ту глубокую нѣжность характера, которая такъ привязывала къ нему людей и сдѣлала его средоточіемъ самаго свѣтлаго кружка нашей литературы.

Намъ нѣтъ надобности долго останавливаться на этихъ первыхъ трудахъ Карамзина, изученіе которыхъ имѣетъ развѣ значеніе въ спеціальной исторіи Карамзинскаго слога. Переводы эти немного могутъ прибавить къ біографіи Карамзина и къ исторіи его внутренняго духовнаго развитія. Но выборъ этихъ переводовъ очень важенъ для насъ. Онъ показываетъ намъ ясно, что Карамзинъ былъ или слишкомъ молодъ для того, чтобы быть посвященнымъ въ тайны масонства и мистицизма, или умъ и душа его не поддавались ихъ вліянію. И то и другое обстоятельство сохранило Карамзина отъ вреднаго вліянія Новиковскаго кружка. Онъ спасъ въ себѣ реальное чувство, насколько допускала его современная исторія русскаго общества, не потерялся въ безцѣльномъ мистическомъ стремленіи и не испортилъ свой ясный, образцовый языкъ вычурнымъ символизмомъ. За исключеніемъ „Бесѣдъ съ Богомъ“ Штурма, въ переводѣ которыхъ принималъ Карамзинъ участіе, вѣроятно, по заказу, другіе переводы его этого періода свидѣтельствуютъ о свободѣ выбора. „О происхожденіи зла“, поэма *великаго* Галлера, трактующая этотъ знаменитый въ исторіи духовнаго развитія XVIII столѣтія вопросъ съ точки зрѣнія оптимизма и развивающая теорію свободной воли, переведена была Карамзинымъ не по заказу. Переводъ этотъ возникъ подъ вліяніемъ тѣхъ философскихъ разговоровъ, которые Карамзинъ велъ съ своими московскими друзьями. Безъ сомнѣнія, въ поэмѣ Галлера онъ нашелъ удовлетворившій его отвѣтъ на задачу современной философіи. Здѣсь дѣйстви-

тельно были затронуты главные вопросы религіи и нравственности, занимавшіе лучшихъ мыслящихъ людей прошлаго вѣка, начиная съ Бэйля и англійскихъ деистовъ. Здѣсь была изложена сущность „Теодицеи“ Лейбница. Съ особеннымъ удовольствіемъ, вспоминая этотъ переводъ впослѣдствіи, Карамзинъ привелъ сужденіе о поэмѣ Галлера, высказанное ему Боннетомъ, назвавшимъ ее „самымъ лучшимъ изъ философскихъ сочиненій“. Переводъ этотъ Карамзинъ посвятилъ старшему брату своему Василію Михайловичу чтобъ „имѣть случай излить предъ нимъ ощущенія своего сердца“. Еще свободнѣе долженъ былъ быть выборъ со стороны Карамзина переводовъ изъ Шекспира и Лессинга. Здѣсь, очевидно, было вліяніе Ленца и Петрова, но никакъ не мистиковъ. Карамзинъ рано могъ познакомиться съ Шекспиромъ и думать о переводѣ его на русскій языкъ. Еще въ началѣ 1785 года, когда Карамзинъ велъ разсѣянную жизнь въ Симбирскѣ, Петровъ, говоря ему въ письмѣ своемъ о скукѣ, его мучившей, сообщаетъ, что и „самый Шекспиръ его не прельщаетъ“. Труня надъ мнимою бездѣятельностью Карамзина, другъ его продолжаетъ: „хоть ты и секретничаешь, однако я воображаю, какъ по пріѣздѣ твоемъ всѣ московскіе авторы и переводчики будутъ ходить повѣся головы, для того, что бѣдные сіи люди будутъ тогда раза по четыре пріѣзжать и приходить къ директорамъ „Типографской Компаніи“ и получать отъ нихъ непріятный отвѣтъ, что книгъ не можно еще начать печатанiемъ „*Россійскаго Шекспира*“. Англійскаго трагика, безъ сомнѣнія, читалъ онъ вмѣстѣ съ Петровымъ и выбралъ изъ его трагедій для перевода „Юлія Цезаря“. Удивительно здравый взглядъ на Шекспира, безъ сомнѣнія, пріобрѣтенный чтеніемъ Лессинга, который противопоставилъ его вліянію господствовавшей до тѣхъ поръ въ Германіи классической школы французовъ, развиваетъ Карамзинъ въ своемъ предисловіи къ переводу. Онъ говоритъ о величіи Шекспира, о глубокомъ знаніи имъ природы человѣческой и жизни, о силѣ его поэтическаго воображенія. Карамзинъ возстаетъ противъ „софизмовъ“ Вольтера, направленныхъ на англійскаго трагика съ точки зрѣнія французской трагедіи и оправдываетъ нарушеніе Шекспиромъ условныхъ правилъ господствовавшей теоріи. Съ восторгомъ говоритъ онъ о неподдѣльныхъ красотахъ поэзіи Шекспира, когда, оставляя Англію,

дѣлалъ краткій очеркъ ея литературнаго богатства. Это былъ другъ природы для Карамзина, великій геній.

Изъ того же правильно развитаго взгляда на поэзію могъ возникнуть переводъ лучшей трагедіи Лессинга: „Эмилія Галотти“. Этого творца національной нѣмецкой литературы Карамзинъ называетъ „философомъ, проникшимъ взоромъ своимъ въ глубины сердца человѣческаго“. По переводу этому пьеса Лессинга очень долго игралась на московскомъ театрѣ, и разбору игры актеровъ Карамзинъ посвятилъ потомъ статью въ „Московскомъ Журналѣ“.

Всего пріятнѣе кажется было участвовать Карамзину вмѣстѣ съ Петровымъ въ редакторствѣ „Дѣтскаго Чтенія“, которое издавалось до самаго отъѣзда Карамзина за границу. Періодическое изданіе это безплатно прилагалось къ „Московскимъ Вѣдомостямъ“. Новиковъ и здѣсь, какъ и въ другихъ своихъ изданіяхъ оказалъ дѣйствительную пользу обществу. Русскія дѣти того времени вовсе не имѣли для себя образовательнаго чтенія и изъ рукъ французскихъ гувернеровъ, противъ которыхъ онъ ратовалъ въ „Кошелькѣ“, переходили прямо къ произведеніямъ французской литературы, полной отрицанія и матеріализма. Въ эту пору Германія представляла уже нѣсколько національныхъ педагоговъ-писателей для дѣтей, и переводы изъ нихъ и лучшихъ французскихъ составили содержаніе „Дѣтскаго Чтенія“, которое долго, почти до сороковыхъ годовъ, считалось самою умною и полезною книгою „для образованія сердца и разума“, хотя большинство статей не оригинальны. „Дѣтское Чтеніе“ въ литературной біографіи Карамзина потому важно, что здѣсь надобно искать его первыхъ оригинальныхъ опытовъ и въ прозѣ и поэзіи, навѣянныхъ молодостью и замѣчательныхъ тѣмъ, что въ нихъ заключены зародыши будущаго его литературнаго направленія. Здѣсь помѣщено поэтическое посланіе Карамзина къ другу его Петрову, живущему въ деревнѣ, въ которомъ высказываетъ онъ желаніе знать и учиться, переводы изъ Попа, изъ Вейсе, переводы Томсона, стихами и прозой, переводъ повѣстей г-жи Жанлисъ и отрывки изъ извѣстнаго сочиненія XVIII вѣка „Contemplation de la nature“, съ авторомъ котораго, Боннетомъ, „чувствительнымъ философомъ“, какъ онъ называетъ его, Карамзинъ познакомился въ Швейцаріи и передавалъ ему свое намѣреніе перевести это сочиненіе на

русскій языкъ. Наконецъ въ „Дѣтскомъ Чтеніи“, во всей непрозрачности, натолбнѣ искать и первую „чувствительную“ повѣсть Карамзина, слабый прототипъ того, что прославило его впослѣдствіи. Повѣсть эта, названная издателями „старинною русскою“, есть „Евгеній и Юлія“. Героиня, подобно другимъ героинямъ сентиментальныхъ повѣстей, любитъ природу и прекраснаго юношу, читаетъ поэтовъ, но страдаетъ меланхоліей. Любимый юноша захворалъ и умеръ горячкою, и Юлія осталась жить надъ его могилою въ „меланхолическомъ уединеніи“. Юнгъ, Томсонъ, Оссіанъ, вѣрные выразители своего времени съ его неудавшеюся исторіею, создали эту меланхолію. Естественнымъ путемъ развитія она зашла и къ намъ и осѣнила молодую душу Карамзина, готовую принять всякія впечатлѣнія.

Карамзинъ былъ самымъ дѣятельнымъ участникомъ въ изданіи, особенно съ 1788 года и до отъѣзда своего за границу. Петровъ пишетъ ему изъ Москвы, что „Дѣтское Чтеніе“ осиротѣло безъ него, и дѣйствительно вмѣстѣ съ отъѣздомъ Карамзина оно прекратилось.

Вотъ тѣ произведенія первой молодости Карамзина, первой эпохи его литературнаго развитія, созрѣвшія подъ вліяніемъ Новиковскаго кружка, въ дружескихъ бесѣдахъ молодости, полныхъ безграничныхъ стремленій. Судя по времени, мы должны утвердительно сказать, что на долю духовнаго развитія Карамзина въ эти четыре года достались самыя богатыя умственныя впечатлѣнія. Самыя знаменитыя произведенія европейскихъ литературъ, по идеямъ, волнующимъ умы вѣка, или по красотѣ выраженія, были доступны ему. Жизнь тогдашняго образованнаго русскаго человѣка, наша бѣдная тогда духовнымъ развитіемъ литература, разорванность нашей исторіи и невозможность общественной дѣятельности невольно отдѣляли юношу отъ національныхъ началъ и погружали его въ широкую волну умственной жизни Европы, которая одна могла дать развитіе на общечеловѣческихъ началахъ. Не мало и масонство дѣйствовало на подобное воспріятіе образовательныхъ началъ изъ чужой жизни, масонство съ своею нетерпимостью къ національностямъ, съ своею пылкою мечтою о томъ времени.

„...когда народы, распри позабывъ
Въ единую семью соединятся“,

Былъ ли Карамзинъ посвященъ въ тайны масонства, въ какую-либо, хотя бы самую низшую степень его? Участвовалъ ли онъ въ собраніяхъ масоновъ и исполнялъ ли ихъ обряды? На эти вопросы, не важные для литературной дѣятельности Карамзина, но любопытные для его біографіи какъ человѣка, мы не можемъ дать отвѣтовъ утвердительныхъ. Совершенно справедливо, что натура Карамзина была чужда масонству и мистицизму, что въ его сочиненіяхъ, ясныхъ по формѣ выраженія, по мысли, чуждой всего неопредѣленнаго, и по содержанію, довольно близкому къ жизни, мы не находимъ слѣдовъ мистицизма, но Карамзинъ все-таки жилъ четыре года въ обществѣ масоновъ, а при извѣстномъ стремленіи братьевъ къ прозелетизму, трудно думать, чтобъ онъ сколько-нибудь не былъ посвященъ въ ихъ таинства. То обстоятельство, что въ его сочиненіяхъ не встрѣчается ни одного намека (за исключеніемъ случайно вырвавшагося восклицанія) на принадлежность его къ масонскому обществу, казалось, можетъ служить нѣмымъ, но яснымъ отвѣтомъ на предположеніе объ участіи его въ собраніяхъ масоновъ. Но припомнимъ и другія обстоятельства. Съ 1785 года начались преслѣдованія Новиковскаго Общества, этого „скопища извѣстнаго новаго раскола", со стороны власти. Въ 1786 году послѣдовали запрещенія масонскихъ и мистическихъ книгъ. Еще въ концѣ 1788 года, когда Карамзинъ былъ въ Москвѣ, по указу Екатерины II, воспрещено было университету возобновлять снова на десять лѣтъ контрактъ съ содержателемъ типографіи Новиковымъ, какъ человѣкомъ вреднымъ. Эти преслѣдованія увеличивались все болѣе и болѣе по мѣрѣ того, какъ развертывались событія французской революціи. Они достигли высшей степени, когда Карамзинъ, по возвращеніи изъ-за границы, сталъ издавать свой „Московскій Журналъ". „Компанія типографическая" прекратила свои дѣйствія въ 1791 году, а въ началѣ 1792 года Новиковъ и друзья его были забраны и попали или въ крѣпость, или въ ссылку. Самыя названія: масонъ, мартинистъ, сдѣлались опасными, такъ какъ относились къ государственнымъ преступникамъ, и понятно, почему Карамзинъ долженъ былъ избѣгать всякихъ намековъ на прежнія свои отношенія. Когда Новиковъ, освобожденный Павломъ I, но съ подорваннымъ навсегда здоровьемъ отъ слѣдствія Шешковскаго и шлиссельбургскихъ казематовъ,

удалился доживать печальные дни свои, посреди немногихъ вѣрныхъ ему друзей стараго времени и больныхъ дѣтей, въ свою подмосковную деревню; когда въ царствованіе Александра мистицизмъ и масонство снова поднялись, и новые члены ихъ, соединившись съ разсѣянными членами прежнихъ обществъ, стали организоваться, Карамзинъ смотрѣлъ гораздо прямѣе, съ болѣе здравымъ смысломъ на жизнь, чѣмъ нѣкоторые его мечтательные современники. Преобразованія новаго царствованія, призывъ свѣжихъ русскихъ силъ къ дѣйствію сдѣлали его публицистомъ. Къ тому великому дѣлу, которому Новиковъ посвятилъ столько усилій, къ просвѣщенію народа, къ заведенію сельскихъ училищъ, вызываемыхъ новою реформою просвѣщенія, Карамзинъ призывалъ теперь русскихъ дворянъ. Ихъ сознательныя усилія, ихъ жертвы должны были смѣнять усилія старыхъ масоновъ. Потому онъ былъ весь отданъ великой цѣли, великому труду, и ему было не до мистицизма.

Но Карамзинъ былъ честный человѣкъ и не разрывалъ своихъ связей со старцемъ. Въ годы извѣстности и славы онъ велъ переписку съ Новиковымъ и выслушивалъ отъ него такія истины, которыя ему очень легко могли показаться строгими. Глубокая, радикальная противоположность существовала тогда между этими двумя людьми, изъ которыхъ одинъ стоялъ на краю гроба и былъ озаренъ невечернимъ свѣтомъ своей мистической вѣры, а другой славный, уже писатель на родинѣ, приготовлялся завершить свое служеніе ей изданіемъ труда, которое сдѣлало его имя безсмертнымъ, — труда, которому онъ посвятилъ столько лѣтъ самой самоотверженной науки. Въ глазахъ Новикова и эта слава, и этотъ трудъ, и вся философія Карамзина, и вся наука человѣческая были прахъ и ничтожество. Насмѣшливо говоря въ письмѣ даже о меланхоліи Карамзина, какъ *о странной приятной задумчивости*, презрительно упоминая о философіи Филарета, представляя себя идіотомъ, ничего не знающимъ, ничего не читавшимъ, Новиковъ былъ совершенно чуждъ стремленіямъ Карамзина. Старая связь была порвана навсегда, и время взяло свое. Никакимъ таинствамъ не могъ посвятить Новиковъ Карамзина, для котораго вся жизнь сдѣлалась положительнымъ служеніемъ отечеству, никакими земными успѣхами, никакою „Исторіей государства россійскаго“ съ другой

стороны не могъ удивить Карамзинъ Новикова. Имъ оставалось только пожать другъ другу руки и разойтись навсегда. Когда Новиковъ умеръ въ 1818 году, оставивъ послѣ себя въ высшей степени разстроенное состояніе и неизлѣчимо-больныхъ дѣтей, Карамзинъ принялъ самое живое участіе въ судьбѣ ихъ. Онъ поправлялъ просьбу на Высочайшее имя дочери покойнаго Новикова и самъ подавалъ докладную записку императору Александру, въ которой, разсказывая всѣ заслуги Новикова, онъ призывалъ царскую милость на дѣтей „усопшаго страдальца". „Новиковъ, — говорилъ онъ, — какъ гражданинъ, полезный своей дѣятельностію, заслуживалъ общественную признательность; Новиковъ, какъ теософическій мечтатель, *по крайней мѣрѣ не заслуживалъ темницы*". Дѣятельнымъ участіемъ въ несчастной судьбѣ сиротъ Карамзинъ, кажется, заплатилъ за то духовное и нравственное образованіе, которое онъ получилъ въ обществѣ Новикова и друзей его и которое приготовило его и къ путешествію за границу и къ болѣе полной литературной дѣятельности.

Если ученіе въ пансіонѣ Шадена дало Карамзину средства развитія, средства для знакомства съ разнообразными произведеніями ума человѣческаго, если оно *научило* его читать и мыслить о прочитанномъ, то пребываніе его въ обществѣ московскихъ масоновъ *воспитало* его мысль, дало ей широкую основу, наполнило ее любовью къ общечеловѣческому, съ которою только и можно было приступить къ положительному изученію отечественному, по знаменитому выраженію Карамзина: „Все *народное* ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть *людьми*, а не славянами". *Буличъ.*

Карамзинъ какъ писатель и человѣкъ.

Какъ литераторъ, Карамзинъ былъ живымъ и неутомимымъ двигателемъ нашего общества и владѣлъ для того всѣми важнѣйшими качествами: живымъ воображеніемъ, нѣжнымъ и впечатлительнымъ чувствомъ, разностороннимъ образованіемъ и возвышенными нравственными убѣжденіями. Все это дѣлало его незамѣнимымъ для нашего общества, пробавлявшагося, большею частью, избитыми и сильно надоѣдавшими уже про-

духами старой литературной школы. И общество понимало цѣну Карамзину, что доказывается сильнымъ его возбужденіемъ и обнаруживавшимся со всѣхъ сторонъ сочувствіемъ отъ всего, что въ немъ было свѣжаго и способнаго къ движенію впередъ. Воззрѣніе и идеалы Карамзина, правда, не отличались особенною глубиною и оригинальностью, и въ этомъ отношеніи онъ долженъ уступить Ломоносову, дарованіе котораго было безспорно и глубже и шире; но зато онъ ближе подходилъ къ своему обществу, непосредственнѣе относился къ его интересамъ и нуждамъ, между тѣмъ какъ даже литературное вліяніе послѣдняго было ограниченнѣе, и не по одной, сравнительно меньшей, воспріимчивости самаго общества и способности къ усвоенію этого вліянія; мы не говоримъ уже о вліяніи той стороны дѣятельности Ломоносова, къ которой тяготѣли самыя сильныя и задушевныя его симпатіи. Справедливо, что сентиментальное направленіе, господствующее въ литературныхъ произведеніяхъ Карамзина, въ сущности есть ложное направленіе, но не должно забывать, что оно было для того времени сильнымъ средствомъ, благотворно дѣйствовавшимъ на общество. Имъ впервые съ такою полнотою и ясностью указалъ Карамзинъ на потребность выраженія въ литературѣ внутренняго человѣка, тѣхъ понятныхъ каждому душевныхъ движеній, которыя могъ испытывать и переживать каждый. Самое увлеченіе въ этомъ направленіи, по прямой противоположности съ прежнимъ литературнымъ направленіемъ, дѣйствовало тѣмъ сильнѣе, чѣмъ было неожиданнѣе, и тѣмъ болѣе сближало литературу съ обществомъ. И кто понималъ тогда ложность этого направленія, это увлеченіе? Строго-историческая точка зрѣнія, требующая основательнаго изученія общества даннаго времени и отношеній къ нему писателя, есть единственно вѣрная въ дѣлѣ оцѣнки литературныхъ произведеній каждой эпохи, и безусловное осужденіе ихъ съ современной точки зрѣнія, развѣнчиваніе авторитетовъ, — дѣло не трудное особенно, если мы при этомъ зададимся, тоже съ современной точки зрѣнія, вопросами, которыми никакъ не могъ задаваться писатель, жившій лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ.

Будучи литераторомъ и ученымъ, Карамзинъ былъ въ то же время важнымъ и вліятельнымъ общественнымъ дѣятелемъ и внѣ своей спеціальной профессіи: онъ былъ живымъ, неуто-

мнымъ и энергическимъ руководителемъ общества, а равно истолкователемъ правительственныхъ мѣръ, по важнѣйшимъ вопросамъ и явленіямъ жизни.

Онъ былъ первымъ русскимъ публицистомъ. До него мы не имѣли связной журнальной политической хроники и ограничивались сухими и отрывочными газетными извѣстіями, въ которыхъ непосвященному читателю трудно, да и недосугъ было отыскивать причины и слѣдствія. Карамзинъ первый началъ внимательно слѣдить за ходомъ иностранной политики, и притомъ въ примѣненіи къ Россіи, и результаты своего чтенія и размышленія сообщалъ читателямъ въ небольшихъ связныхъ и общедоступныхъ разсказахъ. Въ этихъ разсказахъ онъ обыкновенно старался осмыслить частныя явленія въ тогдашнемъ общеевропейскомъ движеніи, слѣдовавшемъ за французской революціей, и уловить съ своей точки зрѣнія общій смыслъ и общее направленіе этихъ частныхъ явленій. Его убѣжденія, напр., о нашемъ извѣстномъ тогдашнемъ отношеніи къ западному краю и Польшѣ, отличаются такою ясностью и глубиною, что они безъ малѣйшаго измѣненія могутъ быть отнесены къ настоящему времени.

Но еще внимательнѣе слѣдилъ Карамзинъ за всѣми крупными и капитальными вопросами и явленіями нашей собственной внутренней жизни, и прежде всего касавшимися дорогихъ для него, какъ и Ломоносова, успѣховъ народнаго просвѣщенія. „Просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія, — говоритъ онъ, — и когда вы, — вы, которымъ Вышняя власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки, и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны; чтобы какое-нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ долженствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ — нѣтъ! Сіе златое солнце сіяетъ для всѣхъ на голубомъ сводѣ, и все живущее согрѣвается его лучами; сей текущій кристаллъ утоляетъ жажду и властелина и невольника; сей столѣтній дубъ обширною своею тѣнью прохлаждаетъ и пастуха и героя. Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдовательно, всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки, и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ... Просвѣщеніе всегда благотворно; просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ и открывая неиз-

сякаемый источникъ блаженства въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лѣкарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе живодѣтельною теплотою своею можетъ изсушить сію тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвитъ все изящное, все доброе въ мірѣ; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы спасительный антидотъ для всѣхъ бѣдствій человѣчества" (III, 399, 454) Извѣстно, что начало царствованія Александра Павловича было временемъ въ высшей степени знаменательнымъ въ этомъ отношеніи, что въ это время послѣдовалъ рядъ общихъ и основныхъ правительственныхъ мѣръ, имѣвшихъ цѣлью организовать на новыхъ началахъ цѣлую систему народнаго образованія. Карамзинъ внимательно прислушивался къ разнообразнымъ мнѣніямъ, изъ которыхъ вырабатывалась та или другая правительственная мѣра, и относительно каждой изъ нихъ представлялъ свое мнѣніе или объясненіе. По поводу знаменитаго указа 24 января 1803 года объ устройствѣ училищъ, Карамзинъ, въ статьѣ „О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи", замѣчаетъ, что „государь избралъ вѣрнѣйшее, *единственное* средство для совершеннаго успѣха въ своихъ великодушныхъ намѣреніяхъ, онъ желаетъ просвѣтить россіянъ, чтобы они могли пользоваться его человѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣйствія" (III, 349) и вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ воззваніе къ дворянству о содѣйствіи къ устройству училищъ: „Учрежденіе сельскихъ школъ, — говоритъ Карамзинъ, — постоянно полезнѣе всѣхъ лицеевъ, будучи истиннымъ народнымъ учрежденіемъ, истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія. Предметъ ихъ ученія есть важнѣйшій въ глазахъ философа. Между людьми, которые умѣютъ только читать и писать, и совершенно безграмотными гораздо болѣе разстоянія, нежели между неучеными и первыми метафизиками въ свѣтѣ... Сочиненіе нравственнаго катихизиса для приходскихъ училищъ достойно перваго генія въ Европѣ: такъ оно важно и благодѣтельно!" (III, 354). Нельзя не замѣтить здѣсь мысли Карамзина въ его статьѣ „О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей", — мысли, высказывавшейся потомъ часто, что среднее сословіе есть обильнѣйшій и вѣрнѣйшій источникъ для образованія и наполненія учащаго сословія: „бѣдность есть, съ одной

стороны, несчастіе гражданскихъ обществъ, а съ другой — причина добра,— говоритъ онъ:— она заставляетъ людей быть полезными и, такъ сказать, отдаетъ ихъ въ распоряженіе правительства; бѣдные готовы служить во всѣхъ званіяхъ, чтобы только избѣжать жестокой нищеты. Россія на первый случай можетъ единственно отъ нижнихъ классовъ гражданства ожидать ученыхъ, особливо педагоговъ. Дворяне хотятъ чиновъ, купцы богатства чрезъ торговлю; они, безъ сомнѣнія, будутъ учиться, но только для выгодъ своего собственнаго состоянія, а не для успѣховъ самой науки, не для того, чтобы хранить и передавать ея сокровища другимъ... Успѣхи просвѣщенія должны болѣе и болѣе удалять государства отъ кровопролитія, а людей отъ раздоровъ и преступленія: какъ же благородно ученое состояніе, котораго дѣло есть возвышать насъ умственно и приближать счастливую эпоху порядка, мира, благоденствія!" (III, 343, 344).

Если Карамзинъ, *какъ писатель*, представляетъ собою рѣдкое явленіе, то едва ли не болѣе рѣдкое явленіе представляетъ онъ, какъ *человѣкъ*. Его чистыя и честныя убѣжденія, его высокая нравственность, его горячая любовь къ человѣку и добру, его глубокій, искренній и дѣятельный патріотизмъ, со свойственною Карамзину ясностью взгляда прозрѣвавшій истинные пути и средства ко благу, чести, достоинству, величію и славѣ Россіи, - все это возвышаетъ Карамзина до такой высоты, на которой мы привыкли представлять идеалы нравственности, недоступные для обыкновенной житейской нравственности. Его жизнь, его дѣятельность, его произведенія — великая школа для воспитанія идеи долга и нравственности, и это не преувеличеніе, не лесть, недостойная великаго имени Карамзина и оскорбительная для него. Такое воспитательное значеніе имѣютъ его произведенія, если иногда не по содержанію, отъ котораго мы ушли впередъ, то по общему направленію, характеру и смыслу. Въ этомъ отношеніи онъ выше Ломоносова, не чуждаго нѣкоторыхъ слабостей человѣческихъ — и кто изъ насъ не имѣетъ ихъ?— хотя ниже его по глубинѣ и силѣ дарованія. Читая и вновь перечитывая произведенія Карамзина, вы дочитаетесь до какого-то неловкаго чувства: вы желали бы съ возможною точностью воспроизвести его образъ въ живыхъ и рѣзкихъ

очертаніяхъ, обрисовать его, какъ человѣка и гражданина, естественно ищете необходимыхъ для того свѣта и тѣней — и находите такія легкія, прозрачныя тѣни, которыя даютъ вамъ только блѣдные очерки; усиливаясь воспроизвести всего человѣка, вы ищете и слабостей человѣческихъ, потому что онѣ нужны для тѣней въ вашей картинѣ — и чувствуете невольно какую-то неловкость, встрѣчая постоянно ясный, чистый и свѣтлый образъ.

Такую нравственную чистоту считалъ Карамзинъ необходимою принадлежностью каждаго писателя и необходимымъ условіемъ успѣха его произведеній. „Говорятъ, что автору нужны таланты и знаніе, — такъ начинаетъ онъ небольшую статью. — Что нужно автору острый, проницательный разумъ, живое воображеніе и проч. Справедливо: но сего не довольно. Ему надобно имѣть и доброе, нѣжное сердце, если онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей; если хочетъ, чтобы дарованіе его сіяло свѣтомъ немерцающимъ; если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословеніе народовъ. Творецъ всегда изображается въ твореніи, и часто противъ воли своей. Тщетно думаетъ лицемѣръ обмануть писателей, и подъ златою одеждою пышныхъ словъ сокрыть желѣзное сердце: тщетно говоритъ о милосердіи, состраданіи, добродѣтели! Всѣ восклицанія его холодны, безъ души, безъ жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется изъ его твореній въ нѣжную душу читателя... Многіе авторы, несмотря на свою ученость и знаніе, возмущаютъ духъ мой и тогда, когда говорятъ истину; ибо сія истина мертва въ устахъ ихъ; ибо сія истина изливается не изъ добродѣтельнаго сердца; ибо дыханіе любви не согрѣваетъ ея“ (III, 370, 372). „Видимъ иногда злоупотребленіе таланта, — говоритъ Карамзинъ въ своей академической рѣчи (1818), — но цвѣты его на ядовитомъ полѣ разврата скоро увядаютъ и тлѣютъ: неувядаемость принадлежитъ единственно благу. Въ самыхъ мнимыхъ красотахъ порочнаго есть безобразіе, оскорбительное не только для чувства нравственнаго, но и для вкуса въ изящномъ, коего единство съ добромъ тайно для разума, но извѣстно сердцу. Низкія страсти унижаютъ, охлаждаютъ дарованіе: пламень его есть пламень добродѣтели“ (III, 653).

Лавровскій.

Литературная дѣятельность Карамзина

Въ исторіи русскаго образованія Карамзинъ есть лицо не только необыкновенное, но въ своемъ родѣ единственное. Онъ былъ первымъ у насъ писателемъ, который всю свою жизнь нераздѣльно посвятилъ литературѣ и ею одной создалъ себѣ независимое и блестящее положеніе. Онъ представляетъ разительный примѣръ великаго значенія характера въ дѣятельности писателя. Въ страстномъ Ломоносовѣ намъ понятно необоримое упорство стремленій; но въ кроткомъ Карамзинѣ насъ особенно поражаетъ энергія воли, съ какою онъ неуклонно и неутомимо идетъ къ одной, разъ избранной имъ цѣли. Такая сила характера объясняется только силой внутренняго призванія и таланта. На ихъ сознаніи основывалось то твердое убѣжденіе въ необходимости сохранить свою независимость, которое заставляло Карамзина отвергать неоднократныя предложенія почетныхъ мѣстъ по ученой или государственной службѣ. Но къ идеѣ характера принадлежитъ также твердость правилъ и достоинство въ образѣ дѣйствій: всѣ, лично знавшіе исторіографа, согласны въ томъ, что какъ ни высоко стоялъ Карамзинъ-писатель, еще выше былъ Карамзинъ человѣкъ. Русская критика послѣдняго десятилѣтія представила намъ одно очень неотрадное явленіе. Разбирая нашихъ прежнихъ писателей, она съ стоической строгостію выискивала и выставляла ихъ человѣческія слабости, не обращая вниманія на духъ и нравы времени, которые могли служить имъ нѣкоторымъ извиненіямъ. Но та же критика не хотѣла останавливаться на ихъ достоинствахъ и добродѣтеляхъ: она такъ же сурово относилась къ Карамзину, какъ, напримѣръ, къ Державину, хотя въ жизни перваго трудно отыскать тѣни, подобныя тѣмъ, въ которыхъ упрекаютъ послѣдняго. Тѣмъ многозначительнѣе и глубже было дѣйствіе, какое Карамзинъ производилъ на современниковъ: онъ не только усиливалъ въ нихъ любовь къ чтенію, не только распространялъ литературное и историческое образованіе; но также возбуждалъ въ массѣ читателей религіозное и нравственное чувство, утверждалъ въ нихъ благородный и честный образъ мыслей, воспламенялъ патріотизмъ. Поколѣніе, къ которому принадлежалъ Карамзинъ, такъ далеко отъ нашего, что многіе могутъ видѣть въ немъ

явленіе, для насъ чуждое. Но если станемъ ближе всматриваться въ него, то найдемъ, что онъ, по своему образованію, по духу своей дѣятельности, даже по многимъ изъ своихъ взглядовъ и стремленій принадлежалъ болѣе нашей эпохѣ, нежели своей. Самый первый шагъ его въ литературѣ, — усовершенствованіе письменной рѣчи, единогласно одобренное и принятое всѣмъ послѣдующимъ поколѣніемъ, — былъ шагомъ человѣка, идущаго впереди своихъ современниковъ. Такъ шелъ онъ и послѣ: чѣмъ глубже будемъ изучать Карамзина, тѣмъ болѣе будемъ убѣждаться въ томъ.

Авторская жизнь Карамзина представляетъ три очень явственно разграниченные періода. Написанное имъ до путешествія по Европѣ (почти исключительно переводы) можетъ быть названо его ученическими опытами. По возвращеніи въ Россію, 25 лѣтъ отъ роду, подъ конецъ царствованія Екатерины II, онъ вдругъ является мастеромъ своего дѣла, журналистомъ и писателемъ съ самостоятельнымъ взглядомъ на языкъ и литературу; начинаетъ писать такъ, какъ еще никто не писалъ, и увлекаетъ за собою большинство общества. Въ избыткѣ молодыхъ силъ онъ переходитъ отъ одного предпріятія къ другому: сперва издаетъ „Московскій Журналъ", потомъ литературный сборникъ „Аглаю", далѣе первый русскій альманахъ „Аониды", затѣмъ „Пантеонъ иностранной словесности" и, наконецъ, „Вѣстникъ Европы". Но эта разнообразная и нѣсколько суетливая дѣятельность не удовлетворяетъ его созрѣвшаго таланта: онъ чувствуетъ потребность предпринять такой трудъ, который бы наполнялъ всю его жизнь, создать что-нибудь цѣлое, монументальное; онъ берется за русскую исторію и неутомимо работаетъ надъ нею 23 года, до самой смерти своей.

Періодъ полнаго развитія литературной дѣятельности Карамзина — двѣнадцать лѣтъ отъ возвращенія его изъ чужихъ краевъ (1790 г.) до назначенія его исторіографомъ (1803) — представляетъ особенную занимательность не только по разнообразію и достоинству тогдашнихъ произведеній его, но и по дѣйствію, какое они производили на современное общество. Притомъ этотъ періодъ еще далеко не вполнѣ изученъ, и при внимательномъ разсмотрѣніи журнальныхъ трудовъ Карамзина, въ нихъ открываются новыя, еще никѣмъ не тронутыя стороны.

Обращаясь къ этому періоду, необходимо прежде всего остановиться на путешествіи Карамзина по Европѣ 1789 и 1790 гг. такъ какъ оно имѣло великое значеніе для всей послѣдующей его дѣятельности. Пламенное желаніе побывать въ чужихъ краяхъ естественно проистекало изъ его обширной начитанности. Онъ жаждалъ новыхъ впечатлѣній, новыхъ идей и познаній; но особенно хотѣлось ему видѣть писателей, *которые были ему уже извѣстны и дороги по своимъ сочиненіямъ*. Такимъ образомъ, непосредственное, живое знакомство съ иностранными литературами составляло главную задачу его путешествія. Полтора года, проведенные имъ за границей, должны были неизмѣримо подвинуть его во всемъ духовномъ его развитіи. Сколько новыхъ идей долженъ онъ былъ почерпнуть изъ однѣхъ бесѣдъ съ лучшими умами Европы! Все видѣнное и слышанное онъ усвоивалъ себѣ тѣмъ прочнѣе, что отдавалъ соотечественникамъ подробный отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ и умственныхъ пріобрѣтеніяхъ. Путевые разсказы его, писанные серебрянымъ перомъ (это не фигура, а фактъ, имъ самимъ отмѣченный), не могли остаться безъ великой пользы для него самого. Обстоятельство, что первымъ значительнымъ трудомъ его были пріятельскія письма, безъ сомнѣнія, много способствовало къ уясненію его взгляда на русскую прозу. Они установили его слогъ, они довершили его отчужденіе отъ тяжелаго книжнаго языка большей части его предшественниковъ. „Письма русскаго путешественника“ можно назвать явленіемъ неожиданнымъ въ тогдашней нашей литературѣ. Они, въ началѣ послѣдняго десятилѣтія прошлаго вѣка, вдругъ представили свѣту молодого русскаго съ европейскимъ образованіемъ, съ мыслью зрѣлой, съ тонкимъ эстетическимъ чувствомъ, съ такимъ знаніемъ новѣйшихъ языковъ и литературъ, которое даже и въ западной Европѣ было бы необыкновенно. И этотъ молодой человѣкъ писалъ уже языкомъ, какимъ теперь пишемъ всѣ мы, но который тогда съ удивленіемъ услышали въ первый разъ. Всѣ разсказы его о чужихъ краяхъ были такъ разнообразны, увлекательны, дѣльны, что ихъ еще и доселѣ можно читать съ наслажденіемъ. Понятно какую массу свѣдѣній эти письма вдругъ распространили въ русскомъ обществѣ, сколько они возбудили любознательности, желанія ближе ознакомиться съ выведенными передъ чита-

тѣмъ литературными знаменитостями и ихъ произведеніями. Наши критики 1840-хъ и 50-хъ годовъ не разъ упрекали Карамзина въ томъ, что онъ, путешествуя по Европѣ, не довольно обращалъ вниманія на ея политическое состояніе, слишкомъ мало интересовался общественными вопросами. Но, чтобы понять всю неосновательность такого упрека, довольно вспомнить его собственное свидѣтельство (въ объявленіи о „Моск. Журналѣ“), что онъ въ чужихъ краяхъ „вниманіе свое посвящалъ натурѣ и человѣку преимущественно предъ всѣмъ прочимъ“: ему было тогда не болѣе 24 лѣтъ; а въ этомъ возрастѣ человѣкъ рѣдко бываетъ политикомъ; къ тому же въ тогдашнемъ, и особенно русскомъ обществѣ, политическій интересъ не былъ еще такъ возбужденъ, какъ впослѣдствіи. Неподдѣльный юношескій жаръ, энтузіазмъ къ красотамъ природы и искусства, ко всему чисто-человѣческому проникаютъ „Письма русскаго путешественника“ и были, конечно, одною изъ главныхъ причинъ ихъ необыкновеннаго успѣха. Все это, вмѣстѣ съ выдающеюся въ нихъ занимательною личностью самаго автора, вдругъ поставило его высоко въ общественномъ мнѣніи, дало ему извѣстность и славу.

Въ первый разъ эти письма читались въ „Московскомъ Журналѣ“, гдѣ Карамзинъ печаталъ ихъ постоянно въ теченіе двухъ лѣтъ, т.-е. во все продолженіе этого изданія. „Московскій Журналъ“ былъ задуманъ имъ при самомъ возвращеніи его въ Россію. „Журналъ выдавать не шутка, — говорилъ онъ, — однакожъ чего не дѣлаетъ наука и прилежность?“ Прежде всего онъ обратился къ извѣстнѣйшимъ русскимъ писателямъ съ просьбою принять участіе въ его изданіи. Въ бумагахъ Державина сохранилось письмо, писанное къ нему съ этою цѣлью Карамзинымъ, который съ нимъ только что познакомился, чрезъ посредство Дмитріева, въ Петербургѣ, возвращаясь изъ Лондона въ Москву. Въ объявленіи о своемъ журналѣ онъ назвалъ Державина, и только его, какъ главнаго своего сотрудника: „Первый нашъ поэтъ (было тутъ сказано) — нужно ли именовать его? — обѣщалъ украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнаетъ пѣвца мудрой Фелицы?“

Дѣйствительно, Державинъ, вмѣстѣ съ Дмитріевымъ, сдѣлался однимъ изъ самыхъ усердныхъ вкладчиковъ въ „Мо-

ковскій Журналъ" по отдѣлу поэзіи, въ которомъ, сверхъ того, стали являться стихи Хераскова, Нелединскаго-Мелецкаго, Львовыхъ, Капниста и др. Не такъ легко было найти помощниковъ по другимъ частямъ журнала, и Карамзину пришлось почти одному наполнять всѣ его книжки, что требовало не мало труда, хотя каждая изъ нихъ заключала въ себѣ всего страницъ 100 небольшого формата. Въ выполненіи своей задачи Карамзинъ показалъ много искусства, такта, пониманія потребностей современной публики; главнымъ правиломъ поставилъ онъ себѣ занимательность и разнообразіе содержанія. Значительную долю журнала занимали переводы изъ извѣстнѣйшихъ въ то время писателей французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ: изъ Мармонтеля, Флоріана, Граве, Морица, Стерна. Сверхъ того Карамзинъ познакомилъ русскую публику съ Оссіаномъ, пѣсни котораго въ нѣмецкомъ переводѣ пріобрѣлъ онъ въ Лейпцигѣ, также съ индѣйскою драмой „Саконталой" и съ мнѣніемъ о ней Гёте. Большую цѣну придавалъ онъ біографіи славныхъ новыхъ писателей и напечаталъ, между прочимъ, статьи о любимыхъ имъ поэтахъ: Клопштокѣ, Виландѣ и Геснерѣ. Собственно говоря, въ „Московскомъ Журналѣ" не было такъ называемыхъ нынѣ отдѣловъ: статьи по большей части, коротенькія, слѣдовали одна за другой безъ всякаго строгаго порядка; однакожъ, согласно съ своей программой, журналъ начинался обыкновенно стихами, потомъ шла изящная проза, далѣе — смѣсь, т.-е. анекдоты, выбранные изъ иностранныхъ журналовъ; въ концѣ же помѣщались разборы театральныхъ представленій въ Москвѣ и въ Парижѣ и рецензіи новыхъ книгъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

Приписываемая Карамзину уклончивость въ критикѣ относится собственно къ позднѣйшему періоду его журнальной дѣятельности. Въ „Московскомъ Журналѣ" онъ, несмотря на свой миролюбивый характеръ, постоянно помѣщалъ критическія статьи, въ которыхъ безъ околичностей высказывалъ правду. Уже въ объявленіи объ этомъ изданіи было сказано: „Хорошее и худое замѣчаемо будетъ безпристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма немногія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы?" И дѣйствительно, въ „Московскомъ Журналѣ" Карамзинъ обнаружилъ большую критическую способность. Тутъ, между

прочимъ, разобраны *Кадмъ и Гармонія* Хераскова, *Ода*, выговоренная на выпускѣ Смольныхъ [illegible], *Естественная исторія* Бюффона, труды академиковъ Румовскаго и Лепехина, *Утопія* Томаса Мора, *Генріада* Вольтера, *Неистовый Роландъ* Аріоста, *Путешествіе Анахарсиса* Бартелеми и *Кларисса* Ричардсона. Въ отдѣлѣ, посвященномъ обзору театральныхъ представленій, разсмотрѣны, между прочимъ, *Эмилія Галотти* Лессинга, переведенная самимъ Карамзинымъ, и *Ненависть къ людямъ* Коцебу.

Почти всѣ эти рецензіи отличаются не только чрезвычайно мѣткими сужденіями, но и ироніей, впослѣдствіи столь чуждою характеру Карамзина. Такъ, въ разборѣ перевода англійской книги: „Опытъ нынѣшняго состоянія Швейцаріи“, упрекая переводчика за то, что онъ пользовался не послѣднимъ изданіемъ подлинника и не передалъ примѣчаній французскаго переводчика, Карамзинъ замѣчаетъ: „Надлежало бы примолвить, съ какого языка *переведено* сіе сочиненіе. Можно, кажется, безъ ошибки сказать, что оно переведено съ французскаго; но на что заставлять читателей угадывать? — Нѣкоторые изъ нашихъ писцовъ или писателей, или переводчиковъ — или какъ кому угодно будетъ назвать ихъ — поступаютъ еще непростительнѣйшимъ образомъ. Даря публику разными пьесами, не сказываютъ они, что сіи пьесы переведены съ иностранныхъ языковъ. Добродушный читатель принимаетъ ихъ за русскія сочиненія и часто дивится, какъ авторъ, умѣющій хорошо мыслить, такъ худо и неправильно изъясняется. Самая гражданская честность обязываетъ насъ не присвоивать себѣ ничего чужого: ни дѣлами, ни словами, ни молчаніемъ“. Въ другой книжкѣ, разбирая появившуюся на русскомъ языкѣ 1-ю часть *Клариссы* Ричардсона, Карамзинъ говоритъ: „Всего труднѣе переводить романы, въ которыхъ слогъ составляетъ обыкновенно одно изъ главныхъ достоинствъ; но какая трудность устрашитъ русскаго! Онъ берется за чудотворное перо свое, и первая часть *Клариссы* готова!“ Указавъ потомъ на разныя погрѣшности въ языкѣ перевода, онъ прибавляетъ: „Такія ошибки совсѣмъ не простительны; и кто такъ переводитъ, тотъ портитъ и безобразитъ книги, и не достоинъ никакой пощады со стороны критики. Признаюсь читателю, — продолжаетъ рецензентъ, — что я на семь мѣстѣ остановился и отослалъ книгу назадъ

главу съ желаніемъ, чтобы слѣдующія части совсѣмъ не выходили или гораздо, гораздо лучше переведены были". Рецензіи Карамзина любопытны еще и тѣмъ, что въ нихъ онъ высказалъ теоретически нѣкоторые взгляды свои на языкъ и стиль. Между прочимъ, тутъ попадаются выходки противъ *славянщизны* или *славяномудрія*.

Въ концѣ перваго года „Московскаго Журнала" (ноябрь 1791) разобрана съ большою строгостью комедія Николева *[illegible]*, которая, по словамъ Карамзина, состоитъ болѣе изъ разговоровъ, нежели изъ дѣйствія. Приводя изъ нея нѣкоторыя „новости въ мысляхъ и выраженіяхъ", критикъ послѣ каждаго указаннаго мѣста повторяетъ: „но поэтъ писалъ, какъ ему угодно". Далѣе замѣчено, что въ пьесѣ есть *удивительныя* шутки насчетъ бѣдной грамматики: и глаголамъ, и падежамъ, и мѣстоимѣніямъ — однимъ словомъ, всему досталось". Разборъ кончается ироніею: „Пожелаемъ, чтобы сія пьеса была часто играема на московскомъ театрѣ для радости всѣхъ любителей россійской Таліи". Изъ писемъ Карамзина къ Дмитріеву (стр. 24) мы узнаемъ, что Николевъ оскорбился этой рецензіей и собирался отвѣчать на нее.

Это былъ не единственный случай неудовольствія, возбужденнаго критикой „Московскаго Журнала". Въ январской книжкѣ 1792 года Подшиваловъ разсмотрѣлъ изданный Ф. Туманскимъ переводъ греческаго писателя *Палефата* (объясненія разныхъ древнихъ сказаній). Обиженный переводчикъ прислалъ антикритику, на которую послѣдовало опять возраженіе Подшивалова. Въ этой полемикѣ для насъ особенно любопытны подстрочныя примѣчанія самого издателя, изъ которыхъ ясно виденъ его тогдашній взглядъ на критику. Такъ, слова Туманскаго: „Не судите, да не судимы будете", даютъ Карамзину поводъ замѣтить: „Неужели вы хотите, чтобы совсѣмъ не было критики? Что была нѣмецкая критика за тридцать лѣтъ передъ симъ, и что она теперь? и не строгая ли критика произвела отчасти то, что нѣмцы начали такъ хорошо писать?" Мы увидимъ, что впослѣдствіи Карамзинъ совершенно иначе смотрѣлъ на критику въ отношеніи къ русской литературѣ.

Въ „Московскомъ Журналѣ" онъ явился также поэтомъ и новеллистомъ. Естественно, что въ молодости все вниманіе его было устремлено на такъ называемую изящную литера-

туру: по своей впечатлительной природѣ, по всѣмъ своимъ стремленіямъ и вкусамъ, наконецъ, по связи съ Дмитріевымъ онъ не могъ не пристраститься къ стихотворству. Нельзя сказать, чтобы у него не было поэтическаго таланта, не ему недоставало воображенія и вымысла. Стихотворенія Карамзина представляютъ намъ въ особенности историческій и біографическій интересъ, какъ лѣтопись сердечной жизни глубоко-искренняго человѣка; замѣчательно, что всякій разъ, когда онъ выражаетъ завѣтныя мысли свои, стихи его принимаютъ отпечатокъ одушевленія. Онъ самъ, въ позднѣйшую эпоху, сказалъ однажды:

Мнѣ сердце было Аполлономъ,

и этими словами можно охарактеризовать всю его поэзію, согрѣтую чувствомъ, но лишенную блеска и силы фантазіи. Обыкновенныя темы ея — любовь къ природѣ, къ сельской жизни, дружба, кротость, чувствительность, меланхолія, пренебреженіе къ чинамъ и богатствамъ, мечта о безсмертіи въ потомствѣ.

Еще до своего путешествія Карамзинъ испытывалъ свои силы и въ повѣстяхъ; мы знаемъ изъ „Писемъ русскаго путешественника“, что онъ, между прочимъ, началъ когда-то писать романъ, который, по господствовавшему тогда обычаю, долженъ былъ вести читателя изъ одной страны въ другую: „Я хотѣлъ, — говоритъ онъ, — въ воображеніи объѣздить тѣ земли, по которымъ теперь ѣхалъ“. Въ „Московскомъ Журналѣ“ повѣсти его начинаются особенно со второго года, въ серединѣ котораго явилась *Бѣдная Лиза*, а позднѣе *Наталья боярская дочь*. Историческое значеніе этихъ повѣстей и степень ихъ достоинства по отношенію къ нынѣшнимъ требованіямъ искусства уже достаточно оцѣнены. Во всѣхъ ихъ вымыслъ чрезвычайно простъ, даже бѣденъ, нѣтъ ни характеровъ ни національнаго колорита. Дара художественнаго творчества у Карамзина не было; но онъ обладалъ въ высшей степени даромъ пластическаго употребленія языка, что, въ соединеніи съ живою воспріимчивостью и сердечною теплотою, съ образованнымъ умомъ и большою начитанностью, доставило его повѣстямъ небывалый успѣхъ.

Съ „Московскимъ Журналомъ“ только начиналась извѣстность Карамзина, и потому не удивительно, что въ первый

годъ число подписчиковъ его не превышало 300, такъ что ими едва оплачивались типографскія издержки; на сколько эта цифра возросла во второй годъ, не извѣстно; вѣроятно, однакоже, что приращеніе было незначительно. Между тѣмъ срочность многообразной и сложной работы тяготила Карамзина, и онъ рѣшился оставить журналъ, съ тѣмъ чтобы, вмѣсто его, исподоволь выпускать небольшіе литературные сборники. Въ 1794 году вышла „Аглая“ - книжка, которая опять почти вся состояла изъ собственныхъ трудовъ его, но тѣмъ особенно отличалась, что въ ней не было переводовъ. Вторая ея книжка (1795) была посвящена Настасьѣ Ивановнѣ Плещеевой, уже и прежде не разъ являвшейся въ мелкихъ сочиненіяхъ Карамзина подъ именемъ Аглаи. Давнишняя дружба соединяла его съ домомъ Плещеевыхъ. Къ нимъ писалъ онъ и свои письма изъ-за границы. Въ „Аглаѣ“ видны плоды его тогдашнихъ размышленій и чтеній. Его занимала въ то время судьба человѣческихъ обществъ, вопросъ о счастіи человѣка, о пользѣ образованія, о значеніи знанія и искусства. Замѣчая, что просвѣщенію, вслѣдствіе политическихъ неустройствъ на Западѣ, угрожаетъ опасность въ Россіи, онъ опровергаетъ ученіе Руссо о вредѣ наукъ, доказываетъ ихъ необходимость и безусловно благотворное дѣйствіе. Онъ сѣтуетъ о событіяхъ французской революціи, объ обманчивости успѣховъ XVIII вѣка и выражаетъ твердую надежду на лучшія времена, на XIX столѣтіе.

Тогда же онъ рѣшился издать отдѣльною книжкой свои мелкія сочиненія, напечатанныя въ „Московскомъ Журналѣ“. Они явились въ 1794 году подъ заглавіемъ *Мои бездѣлки*, и съ этого-то времени началась настоящая слава Карамзина. Есть еще люди, помнящіе, съ какимъ восторгомъ была принята эта книжка не только въ столицахъ, но и въ провинціи. Отъ нея повѣяло какъ будто новымъ воздухомъ въ умственной жизни русскихъ. Карамзинъ открылъ имъ новый міръ понятій, ощущеній и духовныхъ потребностей, указалъ имъ новый источникъ наслажденій въ созерцаніи природы, въ чтеніи, въ умственныхъ занятіяхъ. Молодые люди твердили наизусть отрывки изъ его повѣстей; по свидѣтельству О. Н. Глинки, питомцы сухопутнаго кадетскаго корпуса мечтали, какъ бы пойти пѣшкомъ въ Москву поклониться очаровавшему ихъ писателю.

Не малую долю въ этомъ необыкновенномъ дѣйствіи имѣлъ поражавшій всѣхъ языкъ его сочиненій. Хотя уже и прежде Карамзина русская письменная рѣчь постепенно очищалась, но писавшіе до него не отдавали себѣ въ томъ отчета и безсознательно слѣдовали только за успѣхами времени. Карамзинъ первый разрабатывалъ литературный языкъ съ полнымъ сознаніемъ того, къ чему стремился. У другихъ, еще и въ его время, языкъ представляетъ хаотическую смѣсь разныхъ элементовъ; прежніе писатели, не исключая и Фонвизина, держались еще теоріи Ломоносова и позволяли себѣ простой, или низкій слогъ развѣ только въ комедіяхъ, дружескихъ письмахъ и „описаніяхъ обыкновенныхъ дѣлъ". Карамзинъ смолоду понялъ, что простота и естественность рѣчи составляютъ первое условіе всѣхъ родовъ сочиненій. Еще до своего путешествія онъ былъ недоволенъ господствовавшимъ тогда литературнымъ языкомъ; это можно заключить уже изъ писемъ Петрова, въ которыхъ есть насмѣшки надъ „русско-славянскимъ языкомъ и долгосложно-протяжно-парящими словами" (1785 г.). Впослѣдствіи Карамзинъ называлъ Петрова своимъ учителемъ въ знаніи рускаго языка, и нѣтъ сомнѣнія, что послѣдній дѣйствительно имѣлъ участіе въ установленіи понятій своего друга по этому предмету. Изъ позднѣйшихъ словъ самого Карамзина мы знаемъ, что онъ въ письменномъ употребленіи языка главною задачею считалъ „пріятность слога". Въ „Московскомъ Журналѣ", давая совѣты дурнымъ писателямъ, исправляя ихъ обороты, онъ осуждалъ ихъ любовь къ *славяномудрію*. При изданіи же „Аглаи" онъ сказалъ: „я желалъ бы писать не такъ, какъ у насъ по большей части пишутъ". Все это показываетъ, что Карамзинъ вполнѣ сознавалъ, что дѣлалъ, когда сталъ писать по-своему. Что касается до началъ, которыхъ онъ при этомъ держался, то къ уразумѣнію ихъ намъ опять даютъ ключъ собственныя слова его: „Русскій кандидатъ авторства, недовольный книгами, долженъ закрыть ихъ и слушать вокругъ себя разговоры, чтобы совершеннѣе узнать языкъ. Тутъ новая бѣда: въ лучшихъ домахъ говорятъ у насъ болѣе по французски... Что жъ остается дѣлать автору? *выдумывать, сочинять выраженія*; угадывать *лучшій выборъ* словъ; давать старымъ нѣкоторый *новый смыслъ*, предлагать ихъ въ *новой связи*, но столь искусно, чтобы обмануть чи-

читателей и скрыть отъ нихъ необыкновенность выраженій". Эти строки отчасти объясняютъ намъ тайну искусства, съ которымъ Карамзинъ очаровывалъ современниковъ своею рѣчью. По этому можно судить, какого труда стоило ему вырабатывать свою прозу и съ какимъ тактомъ онъ угадывалъ духъ языка, вводя слова и выраженія, которыя незамѣтно входили въ литературный языкъ. Прибавлю, что вопреки довольно общему взгляду, уже въ первыхъ сочиненіяхъ Карамзина, по возвращеніи его изъ-за границы, почти вовсе нѣтъ галлицизмовъ; то, что онъ писалъ тогда, мало устарѣло до сихъ поръ и, за исключеніемъ весьма немногихъ словъ и формъ языка, могло бы быть написано еще и теперь. Такъ глубоко понималъ онъ русскій языкъ, такъ сознавалъ его требованія въ расположеніи словъ, которое, какъ онъ говоритъ, имѣетъ свои законы: смѣло можно сказать, что послѣ Ломоносова у насъ не было писателя, который бы зналъ языкъ въ такомъ совершенствѣ, какъ Карамзинъ. Слабую сторону его прозы составляетъ только нѣкоторая искусственность въ строеніи періодовъ, особливо въ первыхъ томахъ его „Исторіи"; но это уже недостатокъ слога, а не языка.

Отказываясь отъ „Московскаго Журнала", Карамзинъ въ прощаніи съ публикою выразилъ, между прочимъ, важное намѣреніе. „Въ тишинѣ уединенія, — сказалъ онъ, — стану разбирать архивы древнихъ литературъ, которыя (въ чемъ признаюсь охотно) не такъ мнѣ извѣстны, какъ новыя; буду пользоваться сокровищами древности, чтобы приняться за такой трудъ, который бы могъ остаться памятникомъ души и сердца моего". Древніе языки издавна привлекали Карамзина: незадолго до своего путешествія онъ приступилъ было къ изученію греческаго, пробовалъ переводить греческихъ поэтовъ и писать стихи древнимъ размѣромъ. Но ему не суждено было восполнить недостатокъ классическаго образованія, пользу котораго онъ ясно сознавалъ, которое, можетъ-быть, предохранило бы его отъ излишняго перевѣса чувствительности и было бы особенно важно для его исторической задачи. „Пантеонъ иностранной словесности", изданный имъ въ царствованіе императора Павла, былъ, какъ кажется, въ связи съ заявленнымъ планомъ Карамзина изучать древнихъ. Это изданіе представляетъ, дѣйствительно,

нѣсколько отрывковъ изъ римскихъ и греческихъ писателей — Цицерона, Тацита, Платона; но это, повидимому, переводы не съ подлинниковъ; притомъ дальнѣйшимъ заимствованіямъ его изъ древнихъ мѣшала цензура, крайне боязливая при императорѣ Павлѣ, такъ что Карамзинъ въ это время не разъ выражалъ намѣреніе совершенно оставить литературу.

Вообще въ продолженіе восьми лѣтъ отъ прекращенія „Московскаго Журнала" до конца столѣтія онъ сравнительно писалъ немного, отвлекаемый отъ этой дѣятельности не одною цензурною строгостью, но также разсѣянною жизнью, слабымъ здоровьемъ и сердечными дѣлами, сильно волновавшими его пылкую душу. Между тѣмъ, однакожъ, онъ 1797 году страстно предался изученію итальянскаго языка и, по просьбѣ Державина, напечаталъ томъ его сочиненій. Замѣчательно, что послѣ этого онъ думалъ-было написать два похвальныя слова: одно Петру Великому, а другое Ломоносову, но не нашелъ времени для приготовительныхъ къ тому занятій, въ числѣ которыхъ считалъ особенно нужнымъ прочитать многотомный сборникъ Голикова. Въ 1799 году, издавъ послѣднюю книжку своего альманаха „Аонидъ", онъ почувствовалъ охоту писать болѣе прозою, „чтобы не загрубѣть умомъ", какъ выразился въ письмахъ къ Дмитріеву. Въ то же время умножилъ онъ свою библіотеку философскими и историческими сочиненіями и пристально занялся русскими лѣтописями. „Я по уши влѣзъ въ русскую исторію: сплю и вижу Никона съ Несторомъ". Тогда же обратился онъ къ исторіи русской литературы, взявшись составить текстъ къ предпринятому Бекетовымъ изданію портретовъ писателей. Такъ совершался мало-по-малу переходъ его къ тому серіозному направленію, которое вскорѣ обнаружилось въ „Вѣстникѣ Европы" и, наконецъ, привело его къ громадному предпріятію. XVIII столѣтіе кончилось; пришелъ, говоря словами поэта, „вѣкъ новый, царь младой, прекрасный", и для Карамзина настала самая многозначительная эпоха его дѣятельности. Окрыленный пробудившимся внезапно новымъ духомъ государственнаго бытія Россіи, онъ понялъ, какъ полезенъ можетъ быть журналъ, который будетъ выражать взгляды и потребности лучшихъ умовъ тогдашняго общества. Къ этому присоединилось еще и другое побужденіе. Женившись въ 1801 г., онъ видѣлъ въ изданіи

журнала средство обезпечить матеріальное существованіе своей семьи. Какъ выросъ Карамзинъ со времени перваго своего предпріятія въ этомъ родѣ! Самое названіе, придуманное имъ для новаго журнала, показываетъ, какъ широко понималъ онъ свою задачу: черезъ его посредство русскіе должны были знакомиться съ европейской литературой и политикой. Съ этимъ намѣреніемъ онъ выписалъ двѣнадцать англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ журналовъ: „лучшіе авторы Европы,—говорилъ онъ,—должны быть въ нѣкоторомъ смыслѣ нашими *сотрудниками* для удовольствія русской публики“; но вмѣстѣ съ тѣмъ, однакожъ, онъ желалъ, чтобы оригинальныя сочиненія „могли безъ стыда для нашей литературы мѣшаться съ произведеніями иностранныхъ авторовъ“.

Съ начала 1802 г. „Вѣстникъ Европы“ сталъ появляться двумя книжками въ мѣсяцъ, и въ каждой было постоянно два отдѣла: литературный и политическій. Послѣдній подраздѣлялся на общее обозрѣніе и на извѣстія и замѣчанія. Въ обозрѣніяхъ Карамзинъ часто излагалъ собственныя свои соображенія о тогдашнихъ событіяхъ, основанныя на внимательномъ изученіи современной политики, особливо по англійскимъ органамъ ея. Вторая часть политическаго отдѣла содержала извѣстія объ особыхъ происшествіяхъ и случаяхъ, анекдоты и т. п. и соотвѣтствовала тому, что̀ въ литературномъ отдѣлѣ помѣщалось подъ названіемъ смѣси.

Настоящими перлами „Вѣстника Европы“ были оригинальныя статьи самого издателя: въ каждой книжкѣ являлась, по крайней мѣрѣ, одна капитальная статья его, нерѣдко и болѣе; но онъ любилъ скрывать имя автора ихъ, подписываясь обыкновенно, какъ онъ уже и въ „Московскомъ Журналѣ“, разными загадочными буквами, напр. Б. Ф., Ф. Ц., О. О. Статьи Карамзина въ „Вѣстникѣ Европы“ такъ многочисленны и по своему содержанію такъ важны, что подробный разборъ ихъ потребовалъ бы отдѣльнаго труда. Мы можемъ обозрѣть ихъ только по главнымъ выраженнымъ въ нихъ идеямъ.

Характеромъ своимъ большая часть ихъ напоминаетъ нынѣшнія такъ называемыя передовыя статьи. Въ нихъ Карамзинъ является горячимъ, просвѣщеннымъ патріотомъ и затрогиваетъ важнѣйшіе общественные вопросы, задачи вну-

...утренней и внѣшней политики, преобразованій императора
Александра I и отношенія Россіи къ Наполеону.

Предметомъ особаго [illegible] Карам-
зина было [illegible] и [illegible] просвѣщеніе
[illegible] Россіи [illegible] , пре-
[illegible] самодержавія въ [illegible] . По-
[illegible] -
[illegible] языкомъ, — онъ [illegible].
Но, эта возвышенная сторона [illegible] Карамзина, его лю-
бовь къ отечеству и къ своему народу, [illegible] самомъ
дѣлѣ [illegible] его [illegible], можемъ [illegible]
[illegible] передъ [illegible] его [illegible] состояніе.
Подобно многимъ лучшимъ людямъ того времени, онъ счи-
талъ освобожденіе крестьянъ мѣрою преждевременною и
опасною. Въ „Письмѣ сельскаго жителя" онъ представляетъ
молодого человѣка, который, отдавъ всю свою землю кре-
стьянамъ, довольствовался самымъ умѣреннымъ оброкомъ,
предоставивъ имъ самимъ выбрать себѣ начальника, — и
что же? Воля обратилась для нихъ въ величайшее зло,
т.-е. въ волю лѣниться и предаваться гнусному пороку
пьянства. По мнѣнію Карамзина, помѣщики обязаны удалять
отъ крестьянъ всякое искушеніе этого порока, почему онъ
возстаетъ особенно противъ заведенія питейныхъ домовъ и
винокуренныхъ заводовъ, указывая въ русской исторіи на
административныя мѣры для ограниченія пьянства. Рядомъ
съ трезвостью онъ считаетъ важнымъ средствомъ улуч-
шить положеніе крестьянъ возбужденіе въ нихъ трудолюбія
или, какъ онъ выражается, *работности*. „Иностранцы, —
замѣчаетъ онъ, — напрасно приписываютъ рабству лѣ-
ность русскихъ земледѣльцевъ: они лѣнивы отъ природы,
отъ привычки, отъ незнанія выгодъ трудолюбія". Самыя
существенныя условія благосостоянія крестьянъ онъ видитъ
въ добрыхъ помѣщикахъ, въ христіанскомъ обращеніи съ на-
родомъ, въ образованіи: „просвѣщеніе, по его словамъ,
[illegible] требуетъ [illegible] власти, которая и
по самымъ [illegible] законамъ не есть [illegible] и неогра-
ниченна". Впрочемъ, Карамзинъ не отвергалъ безусловно
[illegible] свободы крестьянъ: онъ предус-
[illegible] бу-
дущемъ, и [illegible] „Не [illegible]

100 лѣтъ: время, конечно, имѣетъ благотворныя дѣйствія; но первые годы, безъ сомнѣнія, всколебали бы слишкомъ мудрыхъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ головъ". Впослѣдствіи Карамзинъ еще опредѣленнѣе выразилъ свой взглядъ на возможное въ будущемъ освобожденіе крестьянъ; но для этой мѣры онъ находилъ необходимымъ приготовленіе народа въ нравственномъ отношеніи и опасался послѣдствій ея при существованіи откуповъ и недобросовѣстности судей. Читая мнѣнія, высказанныя Карамзинымъ по этому предмету въ „Вѣстникѣ Европы", мы не должны забывать, что онъ произносилъ ихъ за 100 слишкомъ лѣтъ тому назадъ; было ли бы тогда своевременно великое дѣло, совершившееся на нашихъ глазахъ, — вопросъ, который дѣйствительно рѣшить не легко. „Время" — прибавлялъ Карамзинъ, — подвигаетъ впередъ разумъ народовъ, но тихо и медленно: бѣда законодателю облетать его". Извѣстно, что на отмѣну крѣпостного права точно такъ же смотрѣли графъ Растопчинъ, И. В. Лопухинъ, Державинъ, Мордвиновъ и другіе. Да и сама Екатерина II, по крайней мѣрѣ, въ концѣ своего царствованія, находила, „что лучше судьбы нашихъ крестьянъ у хорошаго помѣщика нѣтъ во всей вселенной".

Изъ приведенныхъ замѣчаній Карамзина можно уже заключить, какъ онъ долженъ былъ сочувствовать мѣрамъ Александра I для народнаго образованія. Дѣйствительно, онъ встрѣтилъ ихъ съ восторгомъ, и Александръ представлялся ему идеаломъ монарха. Нравственное образованіе, по понятіямъ Карамзина, есть корень государственнаго величія; въ этомъ убѣжденіи произнесъ онъ незабвенныя слова: „Въ XIX вѣкѣ одинъ тотъ народъ можетъ быть великимъ и почтеннымъ, который благородными искусствами, литературою и науками способствуетъ успѣхамъ человѣчества". Вотъ почему въ изданномъ при Александрѣ всеобщемъ планѣ народнаго образованія Карамзинъ увидѣлъ зарю новой для Россіи эпохи. Онъ любилъ утверждать, что истинное просвѣщеніе не несовмѣстно съ скромными трудами земледѣльца, и въ доказательство того приводилъ крестьянъ англійскихъ, швейцарскихъ и нѣмецкихъ, у которыхъ самъ онъ видѣлъ библіотеки, но которые, однакожъ, пашутъ землю и трудами рукъ своихъ богатѣютъ. „Учрежденіе сельскихъ школъ, — восклицаетъ Карамзинъ, — несравненно полезнѣе всѣхъ ли-

цевъ, будучи истиннымъ народнымъ учрежденіемъ, истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія. Предметъ ихъ ученія есть важнѣйшій въ глазахъ философа. Между людьми, которые умѣютъ только читать и писать, и совершенно безграмотными, — объяснялъ онъ далѣе, — гораздо болѣе разстоянія, нежели между неучеными и первыми метафизиками въ свѣтѣ". Это убѣжденіе въ безусловной пользѣ грамотности онъ сохранилъ во всю жизнь и еще въ старости спорилъ съ Шишковымъ, который доказывалъ, что обучать весь народъ опасно. Одобряя мысль соединить съ сельскимъ обученіемъ грамотѣ начала простой и ясной морали, Карамзинъ совѣтовалъ составить для приходскихъ училищъ нравственный катихизисъ, въ которомъ объяснялись бы обязанности поселянина, необходимыя для его счастья. Соглашаясь также съ предположеніемъ поручить должность сельскихъ учителей духовнымъ пастырямъ, онъ считалъ нужнымъ прибѣгнуть вначалѣ къ мѣрамъ кроткаго понужденія, которыя, какъ онъ надѣялся, со временемъ уступятъ дѣйствію искренней охоты. Существенную важность въ дѣлѣ народнаго образованія придавалъ онъ сельской проповѣди, мечтая о дружескомъ сближеніи помѣщиковъ съ священниками, о частыхъ между ними бесѣдахъ въ гостепріимномъ барскомъ домѣ, о томъ, чтобы духовныя лица обладали, между прочимъ, познаніями въ естественныхъ наукахъ — въ физикѣ, въ ботаникѣ, и особенно въ медицинѣ.

Что касается до воспитанія русскихъ дворянъ, то Карамзинъ скорбѣлъ, что они учась не доучиваются и по большей части учатся только до 15 лѣтъ, а тамъ спѣшатъ въ службу искать чиновъ; что въ Россіи дворяне чуждаются ученаго поприща и не поступаютъ на профессорскія каѳедры. Радуясь правамъ, дарованнымъ новыми постановленіями университетскому совѣту, онъ, съ другой стороны, старался поднять въ глазахъ всѣхъ сословій значеніе народнаго учителя. Въ особенности заботила его мысль, что большую часть наставниковъ въ Россіи составляютъ иностранцы, и онъ не разъ предлагалъ свои соображенія о замѣнѣ ихъ природными русскими: „Екатерина, — говорилъ онъ, — уже думала о томъ и хотѣла, чтобы въ кадетскомъ корпусѣ нарочно для сего званія воспитывались дѣти мѣщанъ: нельзя ли возобновить мысль ея, нельзя ли сравнять

выгоды учительскаго званія съ выгодами чиновъ? или нельзя ли завести особенный педагогической школы, для которой россійское дворянство въ нынѣшнія счастливыя времена не пожалѣло бы денегъ?... У насъ не будетъ совершеннаго моральнаго воспитанія, пока не будетъ русскихъ хорошихъ учителей... Никогда иностранецъ не пойметъ нашего народнаго характера и, слѣдственно, не можетъ сообразоваться съ нимъ въ воспитаніи. Иностранцы весьма рѣдко отдаютъ намъ справедливость: мы ихъ ласкаемъ, награждаемъ, а они, выѣхавъ за курляндскій шлагбаумъ, смѣются надъ нами или бранятъ насъ... и печатаютъ нелѣпости о русскихъ".

Въ приведенныхъ предложеніяхъ Карамзина мы видимъ первыя черты идей, послужившихъ основаніемъ тѣхъ мѣръ, которыя впослѣдствіи были приняты правительствомъ.

Позднѣе онъ подавалъ мысль имѣть въ каждомъ учебномъ округѣ отъ 300 до 500 воспитанниковъ на казенномъ или общественномъ содержаніи, для замѣщенія достойнѣйшими изъ нихъ учительскихъ должностей; въ особенности совѣтовалъ онъ примѣнить такой порядокъ въ московской гимназіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ Карамзинъ возбуждалъ дворянъ къ пожертвованіямъ на этотъ предметъ, выражая желаніе, чтобы каждый богатый человѣкъ воспитывалъ на свой счетъ при университетѣ отъ 10 до 20 молодыхъ людей, полагая на каждаго по 150 рублей.

Стараясь устранить иноземцевъ изъ русскаго воспитанія, Карамзинъ энергически настаивалъ на непосредственномъ и дѣятельномъ участіи самихъ родителей въ образованіи дѣтей и сильно вооружался противъ отправленія послѣднихъ, для обученія, въ чужіе края: всякій долженъ расти въ своемъ отечествѣ и заранѣе привыкать къ его климату, обычаямъ, характеру жителей, образу жизни и правленія; въ одной Россіи можно сдѣлаться хорошимъ русскимъ. При этомъ онъ не отвергалъ, однакожъ, надобности учиться иностраннымъ языкамъ, но находилъ, что ихъ можно достаточно узнать, не выѣзжая изъ Россіи: „можно ли сравнять выгоду хорошаго французскаго произношенія съ униженіемъ народной гордости? ибо народъ унижается, когда для воспитанія имѣетъ нужду въ чужомъ разумѣ". Впрочемъ, Карамзинъ признавалъ пользу отправленія за границу молодого человѣка, уже основательно подготовленнаго, съ тѣмъ, чтобы

гда могъ узнать европейскіе народы и почувствовать даже самое ихъ превосходство во многихъ отношеніяхъ. Такое сознаніе, въ его глазахъ, не противорѣчитъ народному славолюбію, которое онъ считалъ душою патріотизма. „Мнѣ кажется, — говорилъ онъ, — что мы излишне смиренны въ мысляхъ о народномъ своемъ достоинствѣ, а смиреніе въ политикѣ вредно. Кто самого себя не уважаетъ, того и другіе уважать не будутъ... Станемъ смѣло на ряду съ другими народами, скажемъ ясно свое имя и повторимъ его съ благородною гордостію“.

Карамзинъ вполнѣ понималъ уже необходимость народной самостоятельности въ жизни и въ литературѣ: „какъ человѣкъ, такъ и народъ, — замѣчалъ онъ, — начинаетъ всегда подражаніемъ, но долженъ современемъ быть самъ собою. Хорошо и должно учиться, но горе и человѣку и народу, который будетъ всегда ученикомъ“. Твердо вѣря въ будущее развитіе своего отечества, онъ говорилъ: „Мнѣ кажется, что я вижу, какъ народная гордость и славолюбіе возрастаютъ въ Россіи съ новыми поколѣніями“. Но онъ понималъ также, что для полнаго образованія надобны вѣка, что Россіи предстоитъ еще много испытаній и борьбы, и въ этомъ смыслѣ заключалъ: „Если всѣ просвѣщенныя земли съ особеннымъ вниманіемъ смотрятъ на нашу имперію, то не одно любопытство рождаетъ его: Европа чувствуетъ, что собственный жребій ея зависитъ нѣкоторымъ образомъ отъ жребія Россіи, столь могущественной и великой“.

Таковъ былъ взглядъ Карамзина, въ самомъ началѣ нынѣшняго столѣтія, на положеніе и потребности своей страны; такъ возбуждалъ онъ патріотизмъ своихъ согражданъ. Изъ всего приведеннаго мы видимъ, что главнымъ основаніемъ народнаго благосостоянія, главнымъ условіемъ успѣховъ Россіи въ ея государственномъ развитіи онъ считалъ просвѣщеніе и потому болѣе всего старался дѣйствовать словомъ на улучшеніе воспитанія и нравовъ. Не привожу многихъ другихъ, частныхъ воззрѣній его, напр. о вредѣ господствующей любви къ роскоши, о судьбѣ, угрожающей въ недалекомъ будущемъ „турецкому колоссу“, и пр. Не касаюсь также собственно литературныхъ произведеній Карамзина въ „Вѣстникѣ Европы, ни историческихъ статей его, которыя являются уже блестящими пло-

дами его новаго ученаго направленія и основательныхъ изслѣдованій.

Но въ этомъ журналѣ недоставало одного — критики. Карамзинъ находилъ, что она была бы роскошью въ нашей бѣдной литературѣ, что строгостью своею она можетъ убивать возникающіе таланты, что сильнѣе ея дѣйствуютъ образцы и примѣры, что, наконецъ, она должна выражаться развѣ похвалою хорошаго, но не осужденіемъ дурного. Главною причиной такого переворота во взглядѣ Карамзина на критику была, конечно, уже испытанная имъ истина, что критика раздражаетъ самолюбіе и производитъ разладъ между писателями. Достигнувъ большого вѣса въ литературѣ, вызвавъ толпу послѣдователей, онъ въ то же время нашелъ много враговъ и завистниковъ и предвидѣлъ, что критика вовлекла бы его въ нескончаемую борьбу, противную его мягкому характеру, и онъ заранѣе уклонился отъ этой щекотливой обязанности журналиста.

Такимъ-то образомъ журнальная дѣятельность, въ окончательномъ итогѣ, не годилась для Карамзина, и не удивительно, что въ оба раза, когда онъ вступалъ на это поприще, онъ не могъ оставаться на немъ долѣе двухъ лѣтъ. Благодаря разнообразію своихъ способностей, онъ, однакожъ, съ честью прошелъ и этотъ путь. По успѣхамъ позднѣйшаго времени, его два періодическія изданія, конечно, могутъ считаться только начатками, но это такіе начатки, которые для журналистовъ всѣхъ временъ могутъ во многихъ отношеніяхъ служить образцами. Карамзинъ былъ тѣмъ журналистомъ-фениксомъ, на котораго Ломоносовъ указывалъ какъ на величайшую рѣдкость.

Въ концѣ своего журнальнаго поприща Карамзинъ принадлежалъ уже болѣе наукѣ, нежели публицистикѣ. Для того, чтобы отъ изданія „Вѣстника“ перейти къ великому историческому труду и съ такою настойчивостью вести его нужна была исполинская сила любви къ наукѣ и вѣра въ свое призваніе; нужна была и обширная подготовка, дѣйствительно пріобрѣтенная имъ, незамѣтно для свѣта, въ послѣднее десятилѣтіе При всемъ томъ, онъ не могъ не понимать всей тяжести геркулесовской ноши, которую рѣшался поднять; онъ не могъ не понимать того, что понимали многіе, — что такое предпріятіе, въ обыкновенномъ

порядкѣ вещей, требовало бы совокупнаго или даже последовательнаго дѣйствія многихъ силъ. Еще въ „Московскомъ Журналѣ“ его была напечатана статья профессора Барсова, который, предложивъ планъ предварительныхъ работъ для сочиненія русской исторіи, высказалъ, что не только самая эта исторія, но уже и собраніе и сличеніе матеріаловъ для нея можетъ быть приведено въ дѣйствіе не иначе, какъ обществомъ нѣсколькихъ ученыхъ и трудолюбивыхъ людей, при щедрыхъ пособіяхъ и награжденіяхъ. Но, понимая это, Карамзинъ, къ счастію, еще болѣе былъ убѣжденъ, какъ онъ писалъ къ Муравьеву, „что десять обществъ не сдѣлаютъ того, что сдѣлаетъ одинъ человѣкъ, совершенно посвятившій себя историческимъ предметамъ“. Въ этой увѣренности Карамзинъ, счастливо поддержанный правительствомъ, съ жаромъ приступилъ къ выполненію своего предпріятія, и отдалъ одной идеѣ всю остальную жизнь свою, — почти четверть вѣка. Литература всѣхъ народовъ едва ли представляетъ много примѣровъ труда, который, въ данныхъ условіяхъ, былъ бы совершонъ съ такою настойчивостью и съ такимъ успѣхомъ. Пусть его исторія представляетъ свои слабыя стороны; пусть онъ въ пониманіи своей задачи не достигъ еще той высоты, на которую стала наука въ наше время; можетъ-быть, не вполнѣ обнималъ связь событій, не довольно глубоко проникалъ въ смыслъ явленій. Не забудемъ, что въ исторической литературѣ западной Европы тогда еще господствовали тѣ же взгляды, которыми онъ руководствовался. Обратимъ вниманіе на изумительную основательность и добросовѣстность его изслѣдованій, на безконечную массу имъ собранныхъ и имъ же въ первый разъ разработанныхъ рукописныхъ матеріаловъ, на прекрасные пріемы его во всѣхъ подробностяхъ труда, наконецъ, на достоинство его исторической критики, хотя еще и несовершенной, однакожъ замѣчательно здравой и многообъемлющей. Вѣрность и точность сообщаемыхъ имъ фактовъ, богатство, полнота и система его примѣчаній, художественное воплощеніе сухихъ лѣтописныхъ сказаній въ образы, по большей части вѣрные дѣйствительности, всегда яркіе и полные жизненной теплоты, наконецъ, наглядность его изложенія не только въ разсказѣ, но и во внутреннемъ распорядкѣ, все это ставитъ исторію Карамзина на такую высоту,

съ которой не сведутъ ея никакіе послѣдующіе труды, и дѣлаетъ ее навсегда необходимымъ пособіемъ всѣхъ русскихъ ученыхъ и писателей. Извѣстно, что до исторіи Карамзина никакая книга, а тѣмъ болѣе никакая серіозная и по цѣнѣ дорогая книга не имѣла въ Россіи такого блестящаго успѣха; первые восемь томовъ ея, напечатанные въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, разошлись менѣе чѣмъ въ одинъ мѣсяцъ. Но не многіе знаютъ, какое вниманіе эта книга обратила на себѣ въ Европѣ. Этимъ она, безъ сомнѣнія, была отчасти обязана любопытству, возбужденному въ народахъ великою ролью, какую играла Россія въ недавнихъ событіяхъ; но тѣмъ взыскательнѣе должны были сдѣлаться европейцы къ русскому историку. Тутъ представляется намъ опять явленіе небывалое: въ самое короткое время исторію Карамзина переводятъ на языки французскій, нѣмецкій и итальянскій; переводчики стараются даже перебить другъ друга. Въ лучшихъ европейскихъ журналахъ помѣщаются одобрительные разборы знаменитаго сочиненія. Скромный исторіографъ былъ еще прежде обрадованъ добрымъ мнѣніемъ о немъ нашего академика Круга, который признавался, что нашелъ его ученѣе, нежели воображалъ. Каково же было Карамзину читать отзывъ о своемъ трудѣ одного изъ первыхъ тогдашнихъ авторитетовъ въ исторіи? Профессоръ Геренъ, уже по введенію его, призналъ въ немъ автора, много размышлявшаго не только о своемъ предметѣ, но также о самой сущности исторіи вообще, о ея достоинствѣ, ея цѣли и способѣ изображенія, — автора, проникнутаго величіемъ и достоинствомъ своего предмета. Въ своемъ разборѣ Геренъ восхищается, между прочимъ, примѣчаніями Карамзина и истинно нѣмецкимъ прилежаніемъ, съ какимъ онъ пользовался какъ всѣми источниками, такъ и произведеніями новѣйшихъ историковъ почти всѣхъ образованныхъ народовъ Европы; наконецъ, гёттингенскій критикъ выражаетъ увѣренность, что Карамзинъ можетъ спокойно ожидать приговора потомства.

Такой же лестный пріемъ встрѣтила его исторія во Франціи. „Мойнтеръ“ поставилъ ее на ряду съ классическими произведеніями, дѣлающими наиболѣе чести новѣйшей литературѣ. „Всегда основательныя сужденія, — замѣчаетъ французскій критикъ, — внушены автору здравою философіей и

безпристрастіемъ; слогъ его важенъ, полонъ достоинства и дышитъ какой-то добросовѣстностью, какимъ-то національнымъ чувствомъ, обличающимъ въ историкѣ честнаго человѣка еще прежде ученаго". Тронутый теплою статьею „Монитёра", Карамзинъ писалъ къ Дмитріеву: „Этотъ академикъ посмотрѣлъ ко мнѣ въ душу; я услышалъ какой-то глухой голосъ потомства". Итакъ, вотъ судъ, какого нашъ историкъ желалъ себѣ отъ насъ, и мы, съ любовью намятуя нынѣ заслуги его, можемъ безъ лицепріятія подтвердить отзывъ просвѣщеннаго иноземца.

Съ того времени, какъ Карамзинъ приступилъ къ сочиненію исторіи, онъ уже не писалъ ничего чисто литературнаго и вообще не позволялъ себѣ уклоняться въ сторону отъ главной цѣли. Разъ только онъ отступилъ отъ этого правила довольно обширнымъ трудомъ, — своей знаменитой „Запиской о древней и новой Россіи", написанной имъ въ концѣ 1810 года, по вызову великой княгини Екатерины Павловны, и разсматривающей множество правительственныхъ вопросовъ, которые до сихъ поръ сохраняютъ всю свою важность для Россіи. Не считая себя въ правѣ рѣшать, въ какой степени вѣрны всѣ изложенные здѣсь взгляды Карамзина, позволю себѣ выставить только то обстоятельство, что онъ, осуждая большую часть предпринятыхъ тогда реформъ, не становится однакожъ защитникомъ неподвижной старины; напротивъ, онъ находитъ недостаточнымъ измѣненіе однѣхъ формъ и названій и настаиваетъ на болѣе глубокихъ и существенныхъ преобразованіяхъ; вообще же, всего положительнѣе указываетъ онъ на необходимость самостоятельнаго развитія государственной жизни и требуетъ національной политики. Живя въ Москвѣ, вдали отъ центра дѣлъ, привыкнувъ мыслить и писать самобытно, онъ могъ выразить въ этой запискѣ только свои собственныя задушевныя убѣжденія, основанныя на многостороннемъ знаніи современныхъ обстоятельствъ, на многолѣтнемъ изученіи русской исторіи и на горячей любви къ отечеству, заставлявшей его желать такихъ мѣръ, которыя клонились бы ко благу всей Россіи; и это-то пониманіе истинныхъ ея потребностей, въ эпоху почти всеобщихъ увлеченій, всего удивительнѣе въ его запискѣ послѣ той доблестной откровенности, съ какою она была задумана и написана.

Сосредоточивъ свое авторство на исторіи, Карамзинъ про-

должалъ, однакожъ, вести переписку съ разными лицами. Почти всѣ его письма теперь приведены уже въ извѣстность; они драгоцѣнны для насъ, между прочимъ, тѣмъ, что въ нихъ вполнѣ отразился человѣкъ и писатель, которымъ могли бы справедливо гордиться первые по образованію европейскіе народы. Какъ любопытно слѣдить въ нихъ за нимъ, шагъ за шагомъ, въ его историческомъ трудѣ! Мы видимъ тутъ, какъ развивались его взгляды на разные періоды и характеры русской исторіи, какія впечатлѣнія онъ выносилъ изъ перваго знакомства съ источниками, какъ радовался онъ своимъ ученымъ находкамъ и открытіямъ! Видимъ, какъ онъ иногда, по человѣческой немощи, слабѣлъ, унывалъ въ своемъ необъятномъ трудѣ и потомъ съ новою бодростью возвращался къ нему. Любопытно также видѣть, какъ много читалъ онъ актовъ новой русской исторіи, которые доставлялись ему изъ архивовъ, и какъ онъ живо представлялъ себѣ, что могъ бы сдѣлать изъ нихъ, если бъ занялся ближайшими къ намъ временами. Посреди ученой дѣятельности онъ находилъ время и для чтенія замѣчательнѣйшихъ произведеній современной западно-европейской литературы, которыя частью самъ отыскивалъ, частью получалъ отъ обѣихъ императрицъ.

Гротъ.

Мотивы путешествія Карамзина.

Постоянно знакомясь съ духовною жизнію Запада, обращаясь въ кругу людей, которые учились въ Европѣ и путешествовали за границею (Ленцъ и Кутузовъ), Карамзинъ могъ очень рано думать о путешествіи. Безъ сомнѣнія, оно для него, какъ и для всякаго образованнаго русскаго, особенно въ то время, было любимою, долго лелѣянною мечтою. Учась въ пансіонѣ Шадена, онъ собирался, подъ вліяніемъ своего учителя, кончить свое образованіе въ Лейпцигскомъ университетѣ; онъ жалѣлъ, что это намѣреніе не было приведено въ исполненіе. Военная служба, отставка, жизнь въ Симбирскѣ и, наконецъ, литературная дѣятельность въ обществѣ масоновъ, должны были замедлить осуществленіе его желанія. Но годы, прожитые имъ въ Москвѣ, были полезны уже и для того, чтобъ путешествіе послужило для Карамзина

средствомъ дѣйствительнаго развитія. Желаніе „искать радостей и неизвѣстности будущаго“, какъ онъ смотрѣлъ на путешествіе, здѣсь въ московской школѣ, подъ ея духовнымъ вліяніемъ, обратилось для Карамзина въ сознательное желаніе знать и учиться, видѣть лицомъ къ лицу развитіе чужой жизни и, что въ особенности важно было для него, видѣть лично представителей литературы, которые для него были „дороги по своимъ сочиненіямъ“. Что путешествіе давно занимало его мысль, видно изъ намѣренія его написать цѣлый романъ, основанный на путешествіи. Характеръ тогдашняго путешествія долженъ былъ невольно возбуждать воображеніе. Въ то время оно не было такъ прозаично, какъ теперь, когда съ помощію желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ, можно впередъ расчитать съ математическою точностію все, что увидитъ человѣкъ и гдѣ и сколько времени проживетъ. Въ ту пору, при патріархіальныхъ средствахъ сообщенія, путешествіе нравилось полною неизвѣстностію того, что ждетъ впереди странника; его молодому воображенію мечтались самыя разнообразныя встрѣчи и приключенія, въ родѣ тѣхъ, какія описаны въ знаменитой книгѣ прошлаго вѣка — „Сентиментальное путешествіе“, Лаврентія Стерна. Не мудрено было и Карамзину мечтать о подобномъ путешествіи, гдѣ онъ воображалъ себя „птичкой небесной“, пользующейся „неоцѣненной свободой“, порхающей здѣсь и тамъ, хотя и на него находила иногда тоска по оставленнымъ на родинѣ друзьямъ, особенно при сознаніи, что онъ совершенно чужой чужимъ людямъ.

Это желаніе свободы, разнообразныхъ впечатлѣній природы и искусства, желаніе видѣть знаменитыхъ писателей и вмѣстѣ съ тѣмъ тайное стремленіе сердца ко всему неизвѣстному, раскрашенному радужными цвѣтами воображенія, осуществилось для Карамзина въ маѣ 1789 года. По всей вѣроятности, онъ поѣхалъ на собственныя средства, уступивъ за деньги часть доставшагося ему имѣнія братьямъ, такъ что по возвращеніи изъ-за границы ему пришлось жить плодами этого путешествія, жить исключительно литературой. Онъ ѣхалъ на послѣднія деньги, и недостатокъ ихъ заставилъ его поспѣшить изъ Лондона домой. Журналъ, веденный Карамзинымъ во время путешествія, въ обработанномъ видѣ, подъ названіемъ „Письма русскаго путешественника“

сталъ выходить съ января мѣсяца 1791 года въ его изданіи „Московскій Журналъ" и обратилъ на себя общее вниманіе читающей публики. Литературное и образовательное значеніе для общества этихъ писемъ было очень велико по времени, но они дороги для насъ теперь особенно тѣмъ, что позволяють изучить самого писателя, познакомиться съ тѣмъ, на что онъ обращалъ молодое вниманіе, чѣмъ были заняты его сердце и умъ. *Буличъ.*

Содержаніе „Писемъ русскаго путешественника".

„Послѣ Исторіи Государства Россійскаго, — говорить Буслаевъ, — „Письма русскаго путешественника" болѣе прочихъ сочиненій Карамзина оказали свое дѣйствіе на образованіе руской публики, оказываютъ и теперь, составляя одно изъ лучшихъ украшеній всякой хорошей хрестоматіи русской словесности. Своими письмами изъ-за границы Карамзинъ впервые внесъ въ нашу литературу самыя обстоятельныя свѣдѣнія объ европейской цивилизаціи, которыя были тѣмъ наставительнѣе, что относились къ послѣднимъ годамъ прошлаго столѣтія, когда господство французскаго направленія стало уступать новымъ идеямъ, продолжавшимъ свое развитіе и въ первой половинѣ текущаго столѣтія".

Письма принадлежать къ первымъ временамъ молодости Карамзина, когда ему не было и 23 лѣтъ; они представляютъ выраженіе ума, необыкновенно даровитаго, высокообразованнаго, доступнаго всѣмъ впечатлѣніямъ, безъ особенныхъ симпатій или антипатій, кромѣ одной глубокой, преобладающей симпатіи къ наукѣ, искусству и цивилизаціи. Главное вниманіе его обращено на то, что доставляетъ пищу уму и сердцу, въ чемъ выражаются успѣхи науки и искусства, чему онъ можетъ научиться самъ и что можетъ быть пригодно для Россіи. Прибывъ въ городъ, онъ прежде всего старается увидѣть ученыхъ или художниковъ, извѣстныхъ въ этомъ городѣ, потомъ осматриваетъ библіотеки, музеи, картинныя галлереи, памятники или мѣста, ознаменованныя какими-нибудь историческими событіями. Въ Кенигсбергѣ Карамзинъ бесѣдуетъ съ Кантомъ о нравственномъ законѣ и удивляется его обширнымъ исто-

рическимъ и географическимъ знаніямъ. „Кантъ, — замѣчаетъ Карамзинъ, — говоритъ весьма тихо и невразумительно, и потому надлежало мнѣ самому слушать его съ напряженіемъ всѣхъ нервовъ слуха“. Объ обстановкѣ жизни Канта онъ прибавляетъ: „домикъ у него маленькій; и внутри приборовъ не много. Все просто, кромѣ... его метафизики“. Въ Берлинѣ Карамзинъ посѣтилъ Берлинскую библіотеку. „Она огромна, — и вотъ все, что могу сказать о ней. Болѣе всего занимало меня богатое анатомическое сочинене, съ изображеніями всѣхъ частей тѣла человѣческаго. Покойный король заплатилъ за него 700 талеровъ... Показывали мнѣ еще Лютеровъ манускриптъ, но я почти совсѣмъ не могъ разобрать его, не читавъ никогда рукописей того вѣка“ (58 стр.). Въ Берлинѣ Карамзинъ познакомился съ Николаи, „авторомъ и книгопродавцемъ“. „Васъ знаютъ и въ Россіи, — сказалъ я ему, — знаютъ, что нѣмецкая литература обязана вамъ частію своихъ успѣховъ“. Съ Николаи онъ имѣлъ замѣчательный разговоръ о терпимости. „Признаться, сердце мое не можетъ одобрить тона, въ которомъ господа берлинцы пишутъ. Гдѣ искать терпимости, если самые философы, самые просвѣтители, — а они такъ себя называютъ, — оказываютъ столько ненависти къ тѣмъ, которые думаютъ не такъ, какъ они. Тотъ есть для меня истинный философъ, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ; кто любитъ и не согласныхъ съ его образомъ мыслей. Должно показывать заблужденія разума человѣческаго съ благороднымъ жаромъ, но безъ злобы. Скажи человѣку, что онъ ошибается, и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцемъ“ (стр. 60—64). Въ письмѣ отъ 5 іюля 1785 года Карамзинъ разсказываетъ о посѣщеніи нѣмецкаго Горація, Рамлера, стихотворенія котораго извѣстны были и въ Россіи, и при этомъ очень мѣтко характеризуетъ поэзію Рамлера. Здѣсь же помѣщенъ отзывъ о „Донъ-Карлосѣ“ Шиллера. „Сія трагедія, — говоритъ онъ, — есть одна изъ лучшихъ драматическихъ пьесъ, и вообще прекрасна. Авторъ пишетъ въ Шекспировскомъ духѣ. Есть только слишкомъ фигурныя выраженія (такъ, какъ и у самого Шекспира), которыя, хотя и показываютъ остроуміе автора, однакожъ въ драмѣ не у мѣста“ (стр. 77—78).

При посѣщеніи Дрезденской картинной галлереи, онъ перечисляетъ первоклассныя картины лучшихъ живописцевъ, и

снимая съ Рафаэля, и дѣлаетъ о нихъ краткій отзывъ (стр. 91—97). При посѣщеніи Дрезденской библіотеки, онъ замѣчаетъ: „между греческими манускриптами показываютъ весьма древній списокъ одной Эврипидовой трагедіи, проданной въ библіотеку бывшимъ московскимъ профессоромъ Маттеемъ; за сей манускриптъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, взялъ онъ съ курфирста около 1500 талеровъ. Спрашивается, гдѣ г. Маттей досталъ сіи рукописи?“ (стр. 98). Въ Лейпцигѣ Карамзинъ познакомился съ докторомъ Платнеромъ и слушалъ его лекціи по эстетикѣ о геніи (стр. 115). Въ этомъ городѣ онъ обратилъ особенное вниманіе на книжную торговлю и множество книжныхъ лавокъ. „Почти на всякой улицѣ,—говоритъ онъ, — вы найдете нѣсколько книжныхъ лавокъ, — что для меня удивительно. Правда, что здѣсь много ученыхъ, имѣющихъ нужду въ книгахъ; но сіи люди почти всѣ или авторы, или переводчики, и собирая свои библіотеки, платятъ они книгопродавцамъ не деньгами, а сочиненіями или переводами. Къ тому же во всякомъ нѣмецкомъ городѣ есть публичныя библіотеки, изъ которыхъ можно брать для чтенія всякія книги, платя за то бездѣлку. Книгопродавцы со всей Германіи съѣзжаются на лейпцигскія ярмарки (которыхъ бываетъ здѣсь три въ годъ: одна начинается съ 1-го января, другая съ Пасхи, а третья съ Михайлова дня) и мѣняются между собою новыми книгами“ (стр. 116). Въ Лейпцигѣ, у Вейссе, Карамзинъ видѣлъ рукописную исторію нашего театра, переведенную съ русскаго. „Г. Дмитревскій, — замѣчаетъ онъ, — будучи въ Лейпцигѣ, сочинилъ ее, а нѣкто изъ русскихъ, которые учились тогда въ здѣшнемъ университетѣ, перевелъ на нѣмецкій и подарилъ г. Вейссе, который хранитъ сію рукопись, какъ рѣдкость, въ своей библіотекѣ“ (стр. 122). Въ письмѣ изъ Веймара онъ описываетъ свое свиданіе и бесѣду съ Гердеромъ, приводитъ выписку изъ его сочиненія о природѣ, помѣщаетъ его замѣчаніе о „Мессіадѣ“ Клопштока. „Пріятно, милые друзья мои, видѣть, наконецъ, того человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались“ (стр. 138). Изъ бесѣды съ Гердеромъ Карамзинъ убѣдился, что нѣмцы лучше другихъ народовъ понимаютъ классическую древность: „и потому ни французы, ни англичане не имѣютъ такихъ

хорошихъ переводовъ съ греческаго, какими обогатили нѣмцы свою литературу. Гомеръ у нихъ Гомеръ: та же безыскусственная простота въ языкѣ, которая была душою древнихъ временъ, когда царевны ходили по воду и цари знали счетъ своимъ баранамъ" (стр. 133). Въ письмѣ изъ Веймара Карамзинъ описываетъ свое знакомство съ Виландомъ (стр. 134—140) Въ Цюрихѣ онъ познакомился съ Лафатеромъ (стр. 216—236) Въ Лозаннѣ „съ Руссовою Элоизою въ рукахъ", онъ „хотѣлъ собственными глазами видѣть тѣ прекрасныя мѣста, въ которыхъ безсмертный Руссо поселилъ своихъ романическихъ любовниковъ". Описывая эти мѣста, онъ замѣчаетъ: „Вы можете имѣть понятіе о чувствахъ, произведенныхъ во мнѣ сими предметами, зная, какъ я люблю Руссо и съ какимъ удовольствіемъ читалъ съ вами его Элоизу... безъ которой не существовалъ бы и нѣмецкій Вертеръ" (стр 282). Въ Женевѣ Карамзинъ посѣтилъ за́мокъ Ферней, гдѣ жилъ Вольтеръ, описалъ его жилище, сдѣлалъ отзывъ о его сочиненіяхъ, который оканчивается слѣдующими словами: „къ чести его можно сказать, что онъ распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ... (Примѣчаніе. Но я не могу одобрить Вольтера, когда онъ отъ суевѣрія не отличалъ истинной христіанской религіи, которая. по словамъ одного изъ его соотечественниковъ, находится къ первому въ такомъ же отношеніи, въ какомъ находится правосудіе къ ябедѣ") (стр. 295—298). Въ Женевѣ Карамзинъ познакомился съ Боннетомъ и выпросилъ у него позволеніе перевести на русскій языкъ его „Contemplation de la nature" (стр 315). Но поклоняясь европейской наукѣ и ея представителямъ, Карамзинъ никогда не забывалъ о Россіи, о русской наукѣ и литературѣ. Бесѣдуя съ Виландомъ о литературѣ, онъ говоритъ, что и на русскій языкъ переведены нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ его сочиненій. Разсуждая съ лейпцигскими профессорами и студентами, онъ замѣчаетъ, что на русскій языкъ переведены первыя десять пѣсенъ Клопштока и, чтобы познакомить ихъ съ гармоніей нашего языка, читаетъ имъ русскіе стихи. Вслушивается въ мелодіи швейцарскихъ пѣсенъ и ищетъ въ нихъ сходства съ нашими, столько для него трогательными Въ Лондонѣ онъ изучаетъ англійскій языкъ и приходитъ къ убѣжденію въ превосходствѣ предъ

нимъ русскаго языка. „Да будетъ же честь и слава нашему языку, — говоритъ онъ, — который въ самородномъ богатствѣ своемъ, почти безъ всякаго чуждаго примѣса, течетъ, какъ гордая, величественная рѣка — шумитъ, гремитъ — и вдругъ, если надобно, смягчается, журчитъ нѣжнымъ ручейкомъ и сладостно вливается въ душу, образуя всѣ мѣры, какія заключаются только въ паденіи и возвышеніи человѣческаго голоса!“ (томъ II, стр. 370).

И въ другихъ случаяхъ Карамзинъ является горячимъ заступникомъ за Россію. По поводу „Россійской Исторіи“ Левека онъ говоритъ: „Больно, но должно по справедливости сказать, что у насъ до сего времени нѣтъ хорошей россійской исторіи, т.-е. писанной съ философскимъ умомъ, съ критикою, съ благороднымъ краснорѣчіемъ. Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ — вотъ образцы. Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и проч. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ... У насъ былъ свой Карлъ Великій: Владиміръ; свой Людовикъ XI: царь Іоаннъ; свой Кромвель: Годуновъ, — и еще такой государь, которому нигдѣ не было подобныхъ: Петръ Великій...“ Здѣсь виденъ уже будущій историкъ государства россійскаго, который съ такимъ живымъ сочувствіемъ и такъ краснорѣчиво изобразилъ древнюю исторію Россіи; но теперь пока онъ еще защитникъ реформы Петра, и въ своей горячей защитѣ великаго человѣка и европейской цивилизаціи увлекающійся до такого космополитизма, который отвергаетъ все національное. „Путь образованія или просвѣщенія одинъ для народовъ; всѣ они идутъ имъ другъ за другомъ. Иностранцы были умнѣе русскихъ: итакъ, надлежало отъ нихъ заимствовать, учиться, пользоваться ихъ опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано?... Всѣ жалкія іереміады объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной физіономіи, или не что иное какъ шутка, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размышленіи. Мы не таковы, какъ брадатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею въ самомъ высшемъ состояніи:

для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ!" (томъ II, стр. 146—150). Въ страстномъ увлеченіи европейской цивилизаціей Карамзинъ тогда не замѣчалъ, что народность составляетъ одну изъ формъ общечеловѣческаго духа.

Письма изъ Франціи и Англіи особенно интересны. Особенно хорошо и подробно описаны въ „Письмахъ" Парижъ и Лондонъ. Подъѣзжая къ Парижу, Карамзинъ думалъ: „вотъ онъ городъ, который въ теченіе многихъ вѣковъ былъ образцомъ всей Европы, источникомъ вкуса, модъ, котораго имя произносится съ благоговѣніемъ всѣми. Мнѣ казалось, что я какъ маленькая песчинка попалъ въ ужасную пучину и кружусь въ водномъ вихрѣ". Онъ описываетъ Лувръ, Пале-рояль, Тюильри, Елисейскія поля, Люксембургъ; описываетъ улицы, сады, церкви, монастыри, соборы, дворцы; описываетъ французскіе театры и при этомъ говоритъ о французской драматической литературѣ. „И теперь не перемѣнилъ я своего мнѣнія о французской Мельпоменѣ. Она благородна, величественна и прекрасна; но никогда не тронетъ, не потрясетъ сердца моего такъ, какъ муза Шекспирова и нѣкоторыхъ (правда, не многихъ) нѣмцевъ". Въ Академіи Надписей и Словесности онъ видѣлъ Бартелеми и разговаривалъ съ нимъ; видѣлъ автора повѣстей и сказокъ Мармонтеля. Въ аббатствѣ св. Женевьевы хранится прахъ Декартовъ, привезенный изъ Стокгольма, чрезъ 17 лѣтъ послѣ смерти философа. Въ церкви св. Андрея сооруженъ памятникъ аббату Батте, наставнику авторовъ, котораго за два года предъ симъ читалъ я съ любезнымъ Агатономъ, вникая въ истину его примѣровъ. Видѣлъ Эрменонвиль, гдѣ умеръ Руссо; онъ описываетъ всѣ мѣста, гдѣ любилъ отдыхать великій писатель. „Свѣтъ, литература, слава, — все ему наскучило; одна природа сохранила до конца милыя права свои на его сердце и чувствительность. Въ Эрменонвилѣ рука Жанъ-Жакова не бралась за перо, а только подавала милостыню бѣднымъ. Лучшее его удовольствіе состояло въ прогулкахъ, въ дружескихъ разговорахъ съ земледѣльцами и

въ невинныхъ играхъ съ дѣтьми...“ (стр. 259, II томъ). Карамзину удалось быть въ народномъ собраніи; онъ высидѣлъ 5 или 6 часовъ и видѣлъ одно изъ самыхъ бурныхъ засѣданій. Депутаты духовенства предлагали католическую религію признать единственною или главною во Франціи. Мирабо, оспаривая, говорилъ съ жаромъ и, наконецъ, сказалъ: „я вижу отсюда то окно, изъ котораго сынъ Катерины Медицисъ стрѣлялъ въ протестантовъ“ (II томъ, стр. 271).

Во Франціи Карамзину привелось быть, когда тамъ началась французская революція; онъ самъ былъ воспитанъ въ тѣхъ либеральныхъ идеяхъ, которыя много способствовали французской революціи; но страшная дѣйствительность не оправдала тѣхъ розовыхъ мечтаній о свободѣ мысли и совѣсти, о правахъ человѣчества, основанныхъ на законахъ природы, которыя предносились воображенію людей XVIII в. Уже по самой организаціи своей нѣжной чувствительной души онъ не терпѣлъ ничего рѣзкаго, насильственнаго, болѣзненнаго; могъ ли онъ равнодушно относиться къ тѣмъ ужаснымъ сценамъ, которыхъ онъ во Франціи былъ очевидцемъ.

Письма изъ Англіи особенно интересны. „Парижъ и Лондонъ, два первые города въ Европѣ, были двумя Фаросами моего путешествія, когда я сочинялъ планъ его“. Онъ описываетъ всѣ замѣчательности Лондона. Прежде всего онъ попалъ въ Вестминстерское аббатство на Генделеву ораторію „Мессія“. „Вообразите, — говоритъ онъ, — дѣйствіе 600 инструментовъ и 300 голосовъ, наилучшимъ образомъ согласенныхъ, — въ огромной залѣ, при безчисленномъ множествѣ слушателей, наблюдающихъ глубокое молчаніе! Какая величественная гармонія!“ Далѣе описываетъ англійскіе суды, биржу и королевское общество, храмъ св. Павла, Сентъ-Джемскій дворецъ. Былъ въ англійскомъ парламентѣ, когда разбиралось знаменитое дѣло Гастингса, въ британскомъ музеумѣ, въ англійскомъ театрѣ и говоритъ объ англійской литературѣ. „Литература англичанъ, подобно ихъ характеру, имѣетъ много особенности, и въ разныхъ частяхъ превосходна. Здѣсь отечество живописной поэзіи (poésie descriptive): французы и нѣмцы переняли сей родъ у англичанъ, которые умѣютъ замѣчать самыя мелкія черты въ природѣ. По сіе время ничто еще не можетъ сравняться съ Томсоновыми

„временами года“; ихъ можно назвать зеркаломъ натуры... Въ англійскихъ поэтахъ есть еще какое-то простодушіе, не совсѣмъ древнее, но сходное съ Гомеровскимъ. Самымъ же лучшимъ цвѣтомъ британской поэзіи считается Мильтоново описаніе Адама и Евы и Драйденова ода на музыку. Въ драматической поэзіи англичане не имѣютъ ничего превосходнаго, кромѣ твореній одного автора; но этотъ авторъ есть Шекспиръ, и англичане богаты! Всякій авторъ ознаменованъ печатію своего вѣка. Шекспиръ хотѣлъ нравиться своимъ современникамъ, зналъ ихъ вкусъ и угождалъ ему.. Но всякій истинный талантъ, платя дань вѣку, творитъ и для вѣчности; современныя красоты исчезаютъ, а общія, основанныя на сердцѣ человѣческомъ и на природѣ вещей, сохраняютъ силу свою какъ въ Гомерѣ, такъ и въ Шекспирѣ. Величіе, истина характеровъ, занимательность приключеній, откровеніе человѣческаго сердца и великія мысли, разсѣянныя въ драмахъ британскаго генія, будутъ всегда ихъ магіею для людей съ чувствомъ. Я не знаю другого поэта, который имѣлъ бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображеніе; и вы найдете всѣ роды поэзіи въ Шекспировыхъ сочиненіяхъ... Примѣчанія достойно то, что одна земля произвела и лучшихъ романистовъ и лучшихъ историковъ. Ричардсонъ и Фильдингъ выучили французовъ и нѣмцевъ писать романы, какъ исторію жизни, а Робертсонъ, Юмъ, Гиббонъ влили въ исторію привлекательность любопытнѣйшаго романа умнымъ расположеніемъ дѣйствій, живописью приключеній и характеровъ, мыслями и слогомъ. Послѣ Өукидида и Тацита ничто не можетъ сравняться съ историческимъ тріумвиратомъ Британіи“ (томъ II, стр. 366—368).

Карамзинъ воспитался на сочиненіяхъ Руссо; отсюда у него такое страстное увлеченіе красотами природы, что самое искусство казалось ему ничтожнымъ предъ явленіями природы: „Что значатъ всѣ наши своды предъ сводомъ неба? восклицаетъ онъ, остановившись подъ куполомъ св. Павла въ Лондонѣ. Сколько надобно ума и трудовъ для произведенія столь неважнаго дѣйствія? Не есть ли искусство самая безсильная обезьяна природы, когда оно хочетъ спорить съ нею въ величіи!“ Съ особеннымъ восхищеніемъ онъ говоритъ въ своихъ письмахъ о Швейцаріи. Изъ Базеля, напри-

мѣрь, онъ пишетъ: „Итакъ, я уже въ Швейцаріи, въ странѣ живописной натуры, въ землѣ свободы и благополучія! Кажется, что здѣшній воздухъ имѣетъ въ себѣ нѣчто оживляющее: дыханіе мое стало легче и свободнѣе, станъ мои распрямился, голова моя сама собою поднимается вверхъ, и я съ гордостію помышляю о своемъ человѣчествѣ“ (стр. 181—182). „Уже я наслаждаюсь Швейцаріею, милые друзья мои! Всякое дуновеніе вѣтерка проницаетъ, кажется, въ мое сердце и развѣваетъ въ немъ чувство радости. Какія мѣста! Какія мѣста! Отъѣхавъ отъ Базеля версты двѣ, я выскочилъ изъ кареты, упалъ на цвѣтущій берегъ зеленаго Рейна и готовъ былъ въ восторгѣ цѣловать землю. Счастливые швейцарцы! Всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы Небо за свое счастіе, живучи въ объятіяхъ прелестной натуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и служа одному Богу?“ (стр. 191—192). Сентиментальный тонъ этого письма разлитъ по всѣмъ „Письмамъ русскаго путешественника“ отъ перваго до послѣдняго и составляетъ ихъ отличительный характеръ. Карамзинъ всѣмъ восхищается чрезъ мѣру, груститъ по самому ничтожному поводу, льетъ слезы радости и унываетъ при самомъ обыкновенномъ случаѣ; всякій добрый поступокъ возбуждаетъ въ немъ необыкновенное чувство. Получивъ въ Ригѣ отъ одного нѣмца (Крамера) три хлѣба на дорогу, онъ сквозь слезы благодаритъ его. „Гостепріимство, — восклицаетъ онъ по этому случаю, — добродѣтель, обыкновенная во дни юности рода человѣческаго и столь рѣдкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудутъ меня друзья мои! Пусть вѣчно буду на землѣ странникомъ и нигдѣ не найду второго Крамера!“ Но лучшимъ образцомъ сентиментальности Карамзина можетъ служить письмо изъ Дрездена, гдѣ онъ описываетъ видъ на Эльбу. „Я смотрѣлъ и наслаждался; смотрѣлъ, радовался и — даже плакалъ: что обыкновенно бываетъ, когда сердцу моему очень, очень весело. — Вынулъ бумагу, карандашъ; написалъ: любезная природа! и болѣе ни слова! Но едва ли когда-нибудь чувствовалъ такъ живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми и едва ли когда-нибудь въ сердцѣ своемъ былъ такъ добръ и такъ благодаренъ противъ моего Творца, какъ въ сіи минуты. Мнѣ казалось, что слезы мои льются отъ живой любви къ самой Любви,

и что онѣ должны смыть нѣкоторыя черныя пятна въ книгѣ жизни моей. А вы, цвѣтущіе берега Эльбы, зеленые лѣса и холмы! — вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь въ сѣверное, отдаленное отечество мое, въ часы уединенія буду воспоминать прошедшее!" (стр. 99—100). Такъ и видно, что пишетъ 23-лѣтній юноша, которому все въ природѣ и жизни представляется въ одномъ розовомъ цвѣтѣ, безъ тѣхъ тѣней, которыми все окружено болѣе или менѣе въ дѣйствительности. *Порфирьевъ.*

„Письма русскаго путешественника", какъ живая характеристика ихъ автора.

Путь Карамзина шелъ чрезъ Петербургъ. Пробывъ пять дней въ этомъ городѣ, уже знакомомъ ему по прежней службѣ, повидавшись съ Дмитріевыми, онъ, чрезъ Лифляндію и Эстляндію, поѣхалъ въ простой кибиткѣ въ Ригу. На этомъ пути онъ замѣтилъ несчастныхъ латышей, жертвъ нѣмецкихъ бароновъ, „работающихъ господеви со страхомъ и трепетомъ" и приносящихъ доходу своему господину „вчетверо болѣе нашего казанскаго или симбирскаго мужика". Въ Дерптѣ вспомнилъ онъ Ленца, увидавъ его брата, пастора. Мысль, что онъ, наконецъ, за границею, произвела въ душѣ его особенную радость и разомъ прогнала долго сопровождавшую его тоску по оставленнымъ друзьямъ. Первымъ большимъ европейскимъ городомъ по дорогѣ былъ Кенигсбергъ. Здѣсь Карамзина больше всего интересовалъ Кантъ, и онъ смѣло сдѣлалъ ему визитъ. Предъ глазами образованнаго русскаго дворянина стоялъ этотъ знаменитый „маленькій, худенькій старичокъ, отмѣнно бѣлый и нѣжный". Но этотъ старичокъ былъ „der alles zermalmende Kant", по мѣткому выраженію Мендельсона, приведенному и Карамзинымъ. Очень понятное любопытство привело нашего путешественника къ кенигсбергскому философу, котораго могущественная критика тогда еще немногими понималась во всемъ ея историческомъ значеніи. Осмотрѣвъ достопримѣчательности Кенигсберга, довольный свиданіемъ съ Кантомъ, Карамзинъ передаетъ свои встрѣчи и разговоры на станціяхъ по пути къ Берлину. Старинные

замки рыцарей, названные Карамзинымъ „разбойничьими“, поразили его своимъ видомъ; онъ набросалъ удивительно вѣрную картину изъ домашней жизни средневѣкового рыцаря. Въ Берлинѣ, осматривая городъ и его окрестности, Карамзинъ былъ полонъ воспоминаніемъ о другѣ своемъ Кутузовѣ, котораго не засталъ уже здѣсь, но и въ Берлинѣ онъ спѣшилъ познакомиться съ писателями. Въ бесѣдѣ съ Николаи, плодовитымъ представителемъ раціонализма въ Германіи, авторомъ и книгопродавцемъ, нельзя не замѣтить знакомства Карамзина съ современными вопросами нѣмецкой литературы, даже политическими: разговоръ шелъ о борьбѣ протестантизма съ іезуитами, но ему не нравился тонъ полемики, господствовавшей въ нѣмецкой литературѣ по этому вопросу. Его сердце не можетъ помириться съ злобою и горечью ея.

Любуясь природою Саксоніи, наслаждаясь всѣмъ, что попадалось на пути, „радуясь всѣмъ прекраснымъ“, Карамзинъ пріѣхалъ въ Дрезденъ, и первымъ долгомъ его въ этомъ городѣ было, разумѣется, осмотрѣть знаменитую галлерею. Осмотръ продолжался только три часа. Это не помѣшало ему, однако, составить первое на русскомъ языкѣ, довольно обстоятельное и вѣрное по критической оцѣнкѣ, обозрѣніе художественныхъ сокровищъ Дрездена. Но больше чудесъ искусства произвела впечатлѣніе на Карамзина мѣстность Дрездена.

Въ университетскомъ городѣ Саксоніи Карамзинъ пробылъ довольно долго въ обществѣ профессоровъ, которые ласково и гостепріимно приняли любознательнаго путешественника. Здѣсь познакомился онъ съ Бекомъ и съ Платнеромъ, котораго лекцію слушалъ въ университетѣ. За веселымъ „аопическимъ ужиномъ“ съ профессорами говорили о поэзіи и литературѣ русской. Какъ образцовыя произведенія послѣдней, Карамзинъ назвалъ „Россіаду“ и „Владимира“ Хераскова. Кромѣ ученыхъ профессоровъ, Карамзинъ видѣлся съ Вейсе, писателемъ для дѣтей, однимъ изъ извѣстныхъ педагоговъ, статьи котораго были имъ переведены для „Дѣтскаго Чтенія“. Наблюдательность Карамзина и умѣнье передавать имъ все слышанное можетъ быть доказана слѣдующимъ обстоятельствомъ. Въ Лейпцигѣ записалъ онъ разсказъ о баронѣ Шрепферѣ, извѣстномъ вызывателѣ духовъ, который застрѣлился въ этомъ городѣ. То же самое лицо, повидимому, послужило

для Шиллера прототипомъ для вызыванія духовъ въ его неоконченномъ романѣ „Geisterseher“, и читая этотъ послѣдній, невольно приходитъ на память разсказъ Карамзина.

Изъ Лейпцига путешественникъ отправился въ Веймаръ. Городъ этотъ былъ тогда столицею нѣмецкой литературы. Главные вожди ея: Гердеръ, Виландъ, Гёте, жили тутъ, подъ просвѣщеннымъ покровительствомъ саксенъ-веймарскаго двора. И понятно нетерпѣніе Карамзина, съ которымъ онъ при въѣздѣ въ городъ разспрашивалъ караульнаго сержанта: „Здѣсь ли Виландъ? Здѣсь ли Гердеръ? Здѣсь ли Гете?“ Само собой разумѣется, что Карамзинъ поспѣшилъ сдѣлать имъ визиты. Любезностью и ласковостью въ обращеніи Гердера Карамзинъ былъ особенно обвороженъ. Виландъ, которому уже, вѣроятно, надоѣли подобныя посѣщенія праздныхъ путешественниковъ, принялъ его сначала холодно и сухо, счелъ его за человѣка, ищущаго только свѣтскихъ развлеченій, и потомъ разговорился съ нимъ о поэзіи, когда Карамзинъ сказалъ ему, что онъ самъ пишетъ и знакомъ съ нѣмецкой литературой. Ему онъ высказалъ свои планы и свои намѣренія касательно будущей жизни, которымъ, кажется, оставался вѣренъ всегда. „Тихая жизнь“ — вотъ идеалъ Карамзина. „Окончивъ свое путешествіе, которое предпринялъ единственно для того, *чтобы собрать нѣкоторыя пріятныя впечатлѣнія и обогатить свое воображеніе новыми идеями, буду жить*, — говоритъ онъ Виланду, *съ натурою и съ добрыми, любить изящное и наслаждаться имъ*“. Гёте Карамзинъ не видалъ, онъ разглядѣлъ въ окно только его греческій профиль.

Черезъ Эрфуртъ, Готу, Франкфуртъ-на-Майнѣ, Майнцъ, Мангеймъ, останавливаясь въ каждомъ городѣ, Карамзинъ изъ Веймара пріѣхалъ въ Страсбургъ. Рейнъ съ своими „пестрыми долинами“ и роскошными виноградниками напомнилъ путешественнику грустный образъ далекой родины съ ея „потомъ орошаемыми садами, гдѣ аргусы съ дубинами стоятъ на караулѣ“. Въ Страсбургѣ Карамзинъ замѣтилъ уже признаки революціоннаго движенія; онъ видѣлъ бурную сцену на улицѣ. Это было въ началѣ августа 1789 года и весь Эльзасъ былъ въ волненіи отъ парижскихъ событій, „даже крестьяне ходили съ національными кокардами“. Не останавливаясь долго въ Страсбургѣ, Карамзинъ поѣхалъ въ Швейцарію, которая тогда манила его и своею природою

и своими поэтами и учеными, близкими ему по душѣ. Въ Базелѣ уже онъ привѣтствуетъ эту страну „живописной натуры, землю свободы и благополучія“. Горный воздухъ тотчасъ же оказалъ на него вліяніе. „Дыханіе мое стало легче и свободнѣе, говоритъ онъ, — станъ мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверхъ, я съ гордостію помышляю о своемъ человѣчествѣ“. Въ Базелѣ Карамзинъ познакомился съ молодымъ датскимъ путешественникомъ, докторомъ Беккеромъ, другомъ извѣстнаго поэта Баггезена, и съ нимъ почти все время жилъ въ Швейцаріи. Беккеръ принадлежалъ къ тому же сорту людей, какъ и Карамзинъ: онъ былъ *чувствителенъ* и вдобавокъ влюбчивъ. Случайно встрѣча обратилась въ дружбу, и Карамзинъ, вернувшись на родину, переписывался съ Беккеромъ.

Въ разныхъ мѣстностяхъ Швейцаріи и преимущественно во французской части ея, въ Женевѣ и Лозаннѣ, Карамзинъ пробылъ около семи мѣсяцевъ до марта 1790 года. Останавливаясь въ городахъ и осматривая зданія, памятники и картины, онъ часто сходилъ съ большой дороги и заходилъ въ горы и деревушки, чтобъ наслаждаться красотами природы, несмотря на необычное для путешествія по Швейцаріи время, чтобъ видѣть простую жизнь швейцарцевъ, которая являлись ему въ образѣ Геснеровой идилліи. Самый полный восторгъ овладѣлъ душою путешественника въ хижинахъ пастуховъ на высотахъ альпійскихъ, куда онъ подымался съ благоговѣніемъ. Здѣсь съ презрѣніемъ смотрѣлъ онъ на долину и весело завтракалъ въ семьѣ горцевъ. Прелесть непосредственной жизни такъ сильна была для Карамзина въ эту минуту, что онъ высказывалъ желаніе отказаться для нея отъ всѣхъ удобствъ цивилизованной жизни. На Альпахъ читалъ онъ отрывки изъ Галлеровой поэмы „die Alpen“. Если вѣрить разсказу гораздо позднѣйшаго русскаго туриста, то память о Карамзинѣ въ Швейцаріи долго жила въ семьѣ, имъ облагодѣтельствованной. Молодой и чувствительный путешественникъ устроилъ свадьбу бѣдной швейцарской парочки съ помощію какого-то богатаго русскаго графа, жившаго въ одно время съ нимъ въ Лозаннѣ.

Кромѣ горныхъ красотъ швейцарской природы, Карамзинъ, подобно тысячамъ путешественниковъ, посѣщалъ и тѣ мѣста, которыя навсегда освящены поэзіей, геніемъ и страданіями

Руссо. Онъ проводитъ цѣлый день на островѣ Св. Петра, одномъ изъ послѣднихъ убѣжищъ Руссо. Съ глубокимъ чувствомъ говоритъ Карамзинъ объ этомъ „страдальцѣ злобы и предразсужденій человѣческихъ“, выгнанномъ отовсюду за то, „что онъ былъ добръ, нѣженъ и человѣколюбивъ“. Съ такимъ же уваженіемъ посѣтилъ Карамзинъ и жилище другого знаменитаго писателя XVIII вѣка - Ферней. По словамъ Карамзина, никто не дѣйствовалъ такъ сильно на своихъ современниковъ, какъ Вольтеръ, и дѣйствіе это состояло въ вѣротерпимости, въ томъ, что онъ „посрамилъ гнусное изевѣріе“, которому еще въ началѣ вѣка „приносились кровавыя жертвы въ нашей Европѣ“. Удивляясь силѣ Вольтеровой ироніи, Карамзинъ удивляется также и его драматическимъ произведеніямъ. Послѣдній взглядъ, по его собственному сознанію, измѣнился потомъ.

Сильнѣе природы, сильнѣе воспоминанія о Руссо и Вольтерѣ была для Карамзина бесѣда съ живыми писателями Швейцаріи, знакомыми ему прежде по сочиненіямъ. Въ Цюрихѣ онъ сдѣлалъ съ сердечнымъ трепетомъ визитъ къ знаменитому тогда, не между людьми положительной науки, а въ обществѣ масоновъ и мистиковъ, Лафатеру. Еще въ Москвѣ онъ считалъ его великимъ писателемъ; еще въ Москвѣ онъ любилъ заниматься физіономикой, а потому желаніе лично познакомиться съ этимъ мечтательнымъ мыслителемъ прошлаго вѣка было очень сильно въ Карамзинѣ. Для московскихъ друзей его описаніе свиданія съ Лафатеромъ, безъ сомнѣнія было интереснѣе бесѣды съ Кантомъ, а потому Карамзинъ не забылъ замѣтить, что Пфеннигеръ, другъ Лафатера, очень похожъ на С. И. Гамалею. Съ подробностію говоритъ Карамзинъ о наружности Лафатера, о бесѣдахъ своихъ съ нимъ; о новыхъ, написанныхъ имъ сочиненіяхъ, объ образѣ жизни его. Въ Женевѣ, гдѣ Карамзинъ провелъ почти всю зиму, живя свѣтскою жизнію въ обществѣ, переполненномъ въ это время путешественниками разныхъ націй и въ особенности бѣглыми французскими эмигрантами, онъ чаще всего бывалъ у Боннета. Старикъ-философъ жилъ верстахъ въ четырехъ отъ Женевы, и Карамзинъ смотрѣлъ на него, какъ на лучшаго писателя о природѣ, котораго сочиненія изучалъ еще въ Москвѣ и переводилъ изъ нихъ отрывки для „Дѣтскаго Чтенія“. Боннету онъ обѣщалъ непремѣнно, по возвращеніи

въ Россію, заняться переводомъ его сочиненій, и старикъ заставилъ его сдѣлать первый опытъ перевода въ его кабинетѣ, оставивъ отрывокъ на память. Боннетъ замѣтилъ въ Карамзинѣ „патріотическое чувство", высказываемое имъ въ желаніи просвѣтить свой народъ.

Въ началѣ марта 1790 года Карамзинъ оставилъ Швейцарію и чрезъ Ліонъ поѣхалъ въ Парижъ, самый желанный и интересный для него городъ. Въ Ліонѣ онъ провелъ весело нѣсколько дней посреди удовольствій, случайныхъ знакомствъ и разговоровъ съ нѣмецкимъ поэтомъ Матиссономъ. Статуя Людовика XIV на Большой Ліонской площади навела его на мысль о Петрѣ Великомъ, и для насъ любопытенъ *тогдашній* взглядъ Карамзина на великаго человѣка русской земли, во многомъ потомъ измѣнившійся. Петръ для Карамзина въ это время былъ „лучезарнымъ богомъ свѣта", „освѣщающимъ глубокую тьму вокругъ себя". На преобразователя смотритъ онъ, какъ на „благодѣтеля человѣчества, какъ на своего собственнаго благодѣтеля". Дикій камень подъ его монументомъ на площади Сената — образъ состоянія Россіи предъ временемъ преобразованія.

„*Я въ Парижѣ!* Эта мысль производитъ въ душѣ моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, пріятное движеніе!.. *я въ Парижѣ!* говорю самъ себѣ и бѣгу изъ улицы въ улицу, изъ Тюильри въ поля Елисейскія; вдругъ останавливаюсь, на все смотрю съ отличнымъ любопытствомъ, на домы, на кареты, на людей. Что было мнѣ извѣстно по описаніямъ, вижу теперь собственными глазами, — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшаго, славнѣйшаго города въ свѣтѣ, чуднаго, единственнаго по разнообразію своихъ явленій". Такъ привѣтствуетъ Карамзинъ свое появленіе въ столицѣ модъ и вкуса, повторяя словами своими ощущенія и восторги многихъ тысячей своихъ соотечественниковъ прошедшихъ и будущихъ. Но Парижъ былъ не Веймаръ, не Цюрихъ, не Женева, гдѣ Карамзинъ, ненадолго посѣтивъ Виланда, Лафатера или Боннета, могъ бы разомъ окунуться въ духовные интересы города. Онъ не зналъ, къ кому изъ ученыхъ и литераторовъ Парижа идти съ визитомъ. Притомъ столица Франціи жила въ это время новою политическою жизнію; все, что только имѣло претензію на умъ, было занято волнующими государственными вопросами.

Старое французское общество, которое ожидалъ найти Карамзинъ, было разогнано бурею. Этой-то новой стороны французской жизни Карамзинъ, привыкшій къ описаніямъ стараго общества, не замѣтилъ или не хотѣлъ замѣтить. „Грозная туча носится надъ башнями Парижа, — говоритъ онъ, — златая роскошь, опустивъ черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздухъ и скрылась за облаками“. Новая жизнь Парижа чужда Карамзину. Онъ жалѣетъ искренно, что „французы думаютъ нынѣ о своей революціи, а не о памятникахъ любви и нѣжности“. Онъ никакъ не ожидаетъ кровавыхъ революціонныхъ сценъ „отъ зефирныхъ французовъ, которые славились своею любезностію“. Карамзинъ весь на сторонѣ старой французской монархіи, „при которой все благоденствовало“, и смотритъ на людей новыхъ, какъ на дерзкихъ смѣльчаковъ, „поднявшихъ сѣкиру на священное дерево, говоря: *мы лучше сдѣлаемъ!*“ Въ Версали онъ съ ужасомъ вспоминаетъ о днѣ 4-го октября, когда „прекрасная Марія“ въ первый разъ услыхала „грозный крикъ парижскихъ варваровъ“. Для него тяжело, что революція „должна перемѣнить и характеръ народа, столь веселаго, остроумнаго, любезнаго“. Несмотря на эти симпатіи къ прошедшему Франціи, Карамзинъ не раздѣлялъ, однако, легкомысленныхъ убѣжденій и надеждъ эмигрантовъ и очень хорошо понималъ смыслъ движенія. Онъ видѣлъ, что первою конституціей „исторія не кончилась“, говорилъ, что „французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона“. Въ засѣданіи народнаго собранія онъ видѣлъ цѣлую бурю, такъ какъ рѣчь при немъ шла о свободѣ исповѣданій въ государствѣ; онъ слышалъ здѣсь Мирабо и Мори.

Карамзинъ былъ чуждъ этой политической жизни, да и не для нея онъ пріѣхалъ въ столицу Франціи, въ которой хотѣлъ изучить веселую французскую жизнь стараго времени, видѣть зданія и чудеса искусства, набраться новыми впечатлѣніями. Странно было бы ожидать отъ Карамзина, чтобы онъ слѣдилъ въ Парижѣ за новыми явленіями. На волненіе это онъ смотрѣлъ „съ тихою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море“. Тогда революція не дошла еще до тѣхъ явленій, которыя должны были сильно потрясти душу Карамзина, видѣвшаго въ нихъ посягатель-

ство на все, что было дорогого и священнаго для него, понимавшаго, что рушится цѣлый міръ, гдѣ онъ выросъ и долго жилъ умомъ и сердцемъ. Въ Парижѣ онъ искалъ этотъ міръ и уцѣплялся въ немъ. Познакомившись съ какимъ-то знатнымъ и богатымъ домомъ, въ качествѣ русскаго литератора, онъ участвовалъ въ литературномъ чтеніи и передалъ въ своихъ письмахъ содержаніе „розовой тетрадки" аббата, - содержаніе, посвященное любви и ея психологическому разбору; онъ самъ сочиняетъ въ Парижѣ нѣжные стихи и читаетъ ихъ. Съ особою любовію говоритъ онъ о художественныхъ созданіяхъ вѣка Людовика XV, объ этихъ граціозно-изнѣженныхъ, сладострастныхъ образахъ, уже начинавшихъ быть аномаліей, объ Амурѣ Бушардона, о Венерѣ, Марсѣ и нимфахъ будуара въ увеселительномъ дворцѣ графа д'Артуа, о садахъ Тріанона и роскоши версальской.

Намъ нѣтъ надобности слѣдить за Карамзинымъ въ его подробномъ изученіи Парижа, мы желали только видѣть его самого, узнать его взгляды. Въ его симпатіяхъ и антипатіяхъ рисуется его характеръ, обнаруживается то, что вошло въ содержаніе его произведеній.

Изъ Франціи чрезъ Кале, гдѣ Карамзинъ искалъ мѣста, описанныя въ сентиментальномъ путешествіи Стерна, и Дувръ, путешественникъ переѣхалъ въ Лондонъ. Въ Англіи онъ видѣлъ только столицу страны и ея окрестности, гдѣ пробылъ не долѣе мѣсяца. Крайняя противоположность съ Франціей поразила Карамзина, хотя Англію, любимую имъ съ дѣтства, онъ ставитъ очень высоко въ ряду европейскихъ государствъ. Какъ прилично сентиментальному путешественнику, Карамзинъ съ восторгомъ отзывается объ англичанкахъ. Лондонъ былъ осмотрѣнъ Карамзинымъ весьма внимательно, но точно такъ же, какъ и Парижъ, болѣе внѣшнимъ образомъ. Изъ политической жизни Англіи Карамзину удалось быть, кромѣ нижней палаты, на одномъ изъ засѣданій верхней, обратившейся въ судъ надъ Гастингсомъ. Этотъ знаменитый въ парламентской исторіи Англіи процессъ, содержаніе и внѣшняя обстановка котораго описаны такимъ блестящимъ образомъ Маколеемъ, не произвелъ на Карамзина большого впечатлѣнія. Онъ видѣлъ и слушалъ Борка, Фокса и Шеридана, обвинителей со стороны нижней палаты, и смотрѣлъ на нихъ какъ на реторовъ, не будучи загро-

путь ихъ краснорѣчіемъ. Очень хладнокровно отзывается онъ о Гастингсѣ, что генералъ-губернаторъ Индіи „виноватъ противъ человѣчества, но не виноватъ противъ Англіи“. Вообще и въ этой странѣ, какъ и во Франціи, Карамзинъ былъ чуждъ наблюденіямъ политической жизни; самые англичане, которыхъ онъ такъ любилъ въ дѣтствѣ, разочаровали его; „похвала моя такъ холодна, какъ они сами“ — заключаетъ Карамзинъ. Они слишкомъ разсудительны, слишкомъ скучны для него, но объ англичанкахъ онъ отзывается иначе. Онѣ образцовыя матери и жены, по его словамъ, и вообще семейную жизнь Англіи онъ ставитъ очень высоко, какъ и англійскую литературу, о которой представилъ нѣсколько бѣглыхъ, но вѣрныхъ замѣтокъ. Изъ Англіи Карамзинъ воротился моремъ въ Россію въ сентябрѣ 1790 года.

Буличъ.

Карамзинъ давно уже мечталъ о путешествіи за границу: его влекли туда природа, и прежде всего Швейцарія, и люди, и прежде всего представители тогдашней науки и литературы. „Путешествіе сдѣлалось потребностію души моей, — говоритъ онъ: — желаніе видѣть природу въ великолѣпномъ ея разнообразіи, видѣть тѣхъ великихъ мужей, которыхъ творенія сильно дѣйствовали на мои чувства, превратилось въ совершенную страсть“ (т. III, стр. 363). Если сообразить предшествовавшее этому путешествію чтеніе Карамзина, то намъ будетъ совершенно понятенъ составленный имъ маршрутъ: Кенигсбергъ, Берлинъ, Лейпцигъ, Веймаръ, Швейцарія, куда влекли его, кромѣ природы, Лафатеръ и Боннетъ, Парижъ и Лондонъ — все это мѣста, съ которыми связаны были имена лицъ, дорогихъ для него по старымъ и глубокимъ впечатлѣніямъ, имена лицъ, образы которыхъ, созданные воображеніемъ, онъ хотѣлъ провѣрить съ дѣйствительностію. Если же сообразить тотъ умственный запасъ, который повезъ съ собой Карамзинъ за границу, отличавшійся, правда, не столько глубиною, сколько разнообразіемъ, то едва ли не должно согласиться съ тѣмъ, что это былъ первый русскій путешественникъ, такъ усердно и основательно приготовлявшій себя къ путешествію, такъ серіозно смотрѣвшій на него и обладавшій такими богатыми средствами для

извлеченія изъ него той пользы, которую онъ, безъ сомнѣнія, имѣлъ въ виду для задуманныхъ имъ цѣлей. Карамзинъ доставилъ и современникамъ и потомству полную возможность провѣрить себя въ этомъ отношеніи: „Письма русскаго путешественника“ важны не по одному литературному ихъ значенію, по вліянію ихъ на общество, по языку, но и по живой характеристикѣ самого автора. Слѣдя за нимъ шагъ за шагомъ по письмамъ, присутствуя при его бесѣдахъ съ тогдашними учеными и литературными знаменитостями, сопутствуя ему въ его одинокихъ прогулкахъ, вы имѣете полную возможность измѣрять, такъ сказать, уровень его развитія, изучать его взгляды на новые для него природу, людей и жизнь, его симпатіи и антипатіи, его виды въ будущемъ и пр. Вы видите его нѣсколько безцеремонно являющимся въ кабинетъ Канта и такъ же безцеремонно задающимъ ему, какъ впослѣдствіи Лафатеру, вопросъ объ общей цѣли бытія, на который *худенькій* и *маленькій* старичокъ съ надлежащею деликатностію даетъ коротенькій отвѣтъ; вы припоминаете, что вопросы этого рода сильно занимали его прежде и служили предметомъ оживленныхъ разговоровъ его съ Петровымъ, нѣсколько сомнѣваетесь въ глубинѣ его философскаго мышленія вообще и въ основательномъ знакомствѣ съ сущностью Кантовой философіи въ частности; но въ то же время вы не можете не сохранить полнаго уваженія къ столь возбужденной любознательности молодого человѣка, ищущаго короткаго рѣшенія занимавшихъ его общихъ вопросовъ, хотя вовсе и не имѣющаго никакихъ притязаній на званіе записного философа и никакого желанія посвятить себя метафизическимъ умозрѣніямъ. Вы идете съ нимъ вмѣстѣ на квартиру Виланда и вмѣстѣ съ нимъ оскорбляетесь его грубымъ первымъ пріемомъ, узнаете изъ разговоровъ съ Виландомъ, что у него въ виду *тихая жизнь въ мирѣ съ натурою и добрыми людьми и наслажденіе изящнымъ;* замѣчаете сильное впечатлѣніе, произведенное на него словами Виланда, что онъ такъ же тщательно обрабатывалъ бы свои произведенія и на пустомъ островѣ, какъ и впечатлѣніе мысли Платнера, что „геній не можетъ заниматься ничѣмъ, кромѣ важнаго и великаго“. Вы чувствуете смущеніе и, пожалуй, краснѣете, какъ онъ, при вопросѣ Платнера, какой наукѣ

думаетъ онъ посвятить себя, „полднымъ“, отвѣчаетъ Карамзинъ и покраснѣлъ; „знаю отчего, — прибавляетъ онъ, — можетъ-быть, и вы, друзья мои, знаете“ (т II, стр. 120). Наслаждаетесь вмѣстѣ съ нимъ красотами Швейцаріи, простотой и чистотой нравовъ ея жителей и семейнымъ счастіемъ, хотя невольно испытываете не совсѣмъ пріятное чувство по поводу неоднократно высказываемаго имъ желанія навсегда поселиться въ Швейцаріи. Вы вмѣстѣ съ нимъ чувствуете себя лучше и свободнѣе въ присутствіи живого, симпатичнаго, хотя совсѣмъ не глубокаго эклектическаго французскаго философа Боннета, чѣмъ въ кабинетѣ метафизика Канта. Знакомитесь вмѣстѣ съ нимъ съ Лагарпомъ, Мармонтелемъ и другими французскими литературными знаменитостями, сидите рядомъ съ нимъ въ театрѣ, гдѣ онъ сообщаетъ вамъ легкія замѣчанія о драматической французской поэзіи, и притомъ въ ея сравненіи съ англійскою и нѣмецкою, замѣчанія, обнаруживающія въ немъ вѣрный и тонкій вкусъ, развитый первоклассными образцами; гуляете по улицамъ и загороднымъ мѣстамъ Парижа и Лондона, слѣдите за его наблюденіями надъ общественною жизнію и, по легкимъ его замѣткамъ о тогдашнемъ движеніи въ Парижѣ (1791), заключаете, что причины, сущность и характеръ этого движенія онъ представлялъ себѣ довольно смутно. Наконецъ, вы испытываете вмѣстѣ съ нимъ тяжелое чувство отъ пустоты кармана, повидимому, преждевременной, бѣжите съ нимъ на корабль и возвращаетесь въ Кронштадтъ. На такое значеніе писемъ для характеристики самого автора, Карамзинъ самъ указалъ въ послѣднемъ письмѣ изъ Кронштадта: „вотъ зеркало души моей въ теченіе осьмнадцати мѣсяцевъ! Оно чрезъ 20 лѣтъ (если только проживу на свѣтѣ) будетъ для меня еще пріятно — пусть для меня одного! Загляну, и увижу, каковъ я былъ, какъ думалъ и мечталъ, а что человѣку (между нами будь сказано) занимательнѣе самого себя?...“ (т. II, стр. 790).

Лавровскій.

„Письма русскаго путешественника", какъ источникъ для знакомства съ западною цивилизаціею.

Прежде всего поражаетъ въ „Письмахъ русскаго путешественника" многосторонняя и основательная образованность, которую могла дать ему Россія въ концѣ прошлаго столѣтія, и въ которой онъ нашелъ достаточное приготовленіе, чтобъ не только вести полезную для себя бесѣду съ такими европейскими знаменитостями, какъ Виландъ, Гердеръ, Лафатеръ, Кантъ, Боннетъ, но и внушить имъ уваженіе къ нему. Въ самыхъ письмахъ изъ-за границы Карамзинъ сообщаетъ много подробностей о годахъ своего ученія, — подробностей, которыми не разъ пользовались его біографы.

Имя Парижа стало Карамзину извѣстно почти вмѣстѣ съ его собственнымъ именемъ: такъ много читалъ онъ объ этомъ городѣ въ романахъ, такъ много слышалъ отъ путешественниковъ; по романамъ же и газетнымъ статьямъ еще въ ранней молодости восхищался англичанами и воображалъ Англію самою пріятнѣйшею для своего сердца землею. Видѣть Парижъ и Лондонъ — всегда было его мечтою, и нѣкогда самъ онъ собирался писать романъ и въ воображеніи объѣздить точно тѣ земли, въ которыя послѣ поѣхалъ. Потомъ дѣтскія мечты замѣнились основательнымъ желаніемъ: онъ хотѣлъ провести свою юность въ Лейпцигѣ: туда стремились его мысли; въ тамошнемъ университетѣ хотѣлъ онъ собрать нужное для исканія той истины, о которой — по его собственному выраженію — въ самыхъ младенческихъ лѣтъ тоскуетъ его сердце.

Раздѣляя вкусъ своихъ современниковъ, онъ коротко былъ знакомъ съ французскими писателями XVIII столѣтія и поклонялся Жанъ-Жаку Руссо; но вмѣстѣ съ тѣмъ уже съ раннихъ лѣтъ привыкъ онъ уважать и литературу нѣмецкую и англійскую: такъ что, когда въ чужихъ краяхъ ему случалось предстать предъ знаменитыя личности того времени и видѣть знаменитые предметы, онъ не только не поражался новизною, но, какъ давно знакомое и любимое, соединялъ видѣнное и слышанное съ своими воспоминаніями. Въ Лондонѣ осматриваетъ онъ картины съ сюжетами изъ Шекспировыхъ драмъ и, уже зная твердо Шекспира, почти не имѣетъ нужды спра-

гаться съ описаніемъ въ каталогѣ и, смотря на картины, угадываетъ содержаніе. Въ Лозаннѣ въ одномъ саду, видитъ надпись, взятую изъ Аддисоновой оды, и притомъ воспоминаетъ, какъ нѣкогда просидѣлъ онъ цѣлую лѣтнюю ночь за переводомъ этой самой оды, и какъ восходящее солнце освѣтило его тогда за такою работой. „Это утро, — присовокупляетъ молодой путешественникъ, — было одно изъ лучшихъ въ моей жизни“. Въ Лейпцигѣ онъ знакомится съ извѣстнымъ въ то время литераторомъ Вейссе, статьи котораго изъ *Друга Дѣтей* онъ уже переводилъ прежде. Въ Цюрихѣ отыскиваетъ архидіакона Тоблера, имя котораго ему хорошо было знакомо по переводу Томсоновыхъ „Временъ Года“ изданныхъ Геснеромъ. Въ томъ же городѣ является къ Лафатеру, съ которымъ онъ былъ въ перепискѣ еще въ Москвѣ, и который принимаетъ его, какъ стараго друга.

Самый планъ молодого русскаго путешественника во всѣхъ городахъ Европы лично знакомиться съ знаменитыми литераторами того времени былъ столько же результатомъ его обширной образованности, сколько и повѣркою ея, строгимъ испытаніемъ. „Ваши сочиненія заставили меня любить васъ, — говоритъ онъ Виланду въ Веймарѣ, — и возбудили во мнѣ желаніе узнать автора лично“. „Вы видите передъ собою такого человѣка, — такъ онъ представился въ Женевѣ Боннету, автору „Палингенезіи“, — который съ великимъ удовольствіемъ и съ пользою читалъ ваши сочиненія, и который любитъ и почитаетъ васъ сердечно“. И вездѣ былъ радушно встрѣчаемъ молодой русскій путешественникъ, вездѣ былъ привѣтствуемъ, не только какъ человѣкъ просвѣщенный, но и какъ достойный представитель своихъ соотечественниковъ. „Я русскій, — говорилъ онъ Бартелеми въ Парижской академіи надписей; читалъ „Анахарсиса“; умѣю восхищаться твореніемъ великихъ, безсмертныхъ талантовъ. Итакъ, хотя въ нескладныхъ словахъ, примите жертву моего глубокаго почтенія“. „Онъ всталъ съ кресел, — продолжаетъ Карамзинъ, — взялъ мою руку, ласковымъ взоромъ предувѣдомилъ меня о своемъ благорасположеніи и, наконецъ, отвѣчалъ: „Я радъ вашему знакомству; люблю сѣверъ, и герои, мною избранный, вамъ не чужой“. — „Мнѣ хотѣлось бы имѣть съ нимъ какое нибудь сходство. Я въ академіи: Платонъ передо мною; но имя мое не такъ извѣстно, какъ имя Анахарсиса“.

„Вы молоды, путешествуете, и, конечно, для того, чтобы украсить вашъ разумъ познаніями: довольно сходства“.

Заинтересованный Россіею и ея литературой, Лафатеръ предлагалъ Карамзину, чтобъ онъ выдалъ на русскомъ языкѣ извлеченіе изъ его сочиненій. „Когда вы возвратитесь въ Москву, — сказалъ онъ Карамзину, — я буду пересылать къ вамъ черезъ почту рукописный оригиналъ“; а когда нашъ путешественникъ оставилъ Цюрихъ, авторъ „Физіономики“ снабдилъ его одиннадцатью рекомендательными письмами въ разные города Швейцаріи и увѣрилъ его въ неизмѣнности своего дружелюбнаго къ нему расположенія. Въ Женевѣ Карамзинъ сообщилъ свое желаніе Бонноту тоже перевести на русскій языкъ его *Созерцаніе Природы* и *Палингенезію*, и въ письмѣ отъ него получилъ такой отвѣтъ: „Авторъ будетъ вамъ весьма благодаренъ за то, что вы познакомите съ его сочиненіями такую націю, которую онъ уважаетъ“; а когда послѣ того Карамзинъ пришелъ къ нему: „Вы рѣшились переводить *Созерцаніе Природы*, — сказалъ онъ: — начните же переводить его въ глазахъ автора и на томъ столѣ, на которомъ оно было сочиняемо. Вотъ книга, бумага, чернильница, перо“. Даже самъ Виландъ, который сначала принялъ Карамзина холодно и надменно, потомъ до того съ нимъ сблизился, что на разставаньи просилъ его, чтобъ онъ хотя, изрѣдка, писалъ къ нему письма: „Я всегда буду отвѣчать вамъ, гдѣ бы вы ни были“. Въ Кёнигсбергѣ Карамзинъ бесѣдуетъ съ великимъ Кантомъ о будущей жизни и удивляется обширнымъ историческимъ и географическимъ познаніямъ философа; въ Лейпцигѣ для изученія эстетики входитъ въ личныя сношенія съ профессоромъ Платнеромъ; въ Веймарѣ бесѣдуетъ съ Гердеромъ объ античной литературѣ и искусствѣ и о Гёте; въ Ліонѣ сводитъ дружбу съ Маттисономъ, извѣстнымъ того времени нѣмецкимъ поэтомъ.

Русскій путешественникъ отправился на Западъ съ опредѣленною цѣлію — довершить свое образованіе въ такъ называемыхъ *изящныхъ* наукахъ, которымъ онъ, по его собственному признанію въ Лейпцигѣ профессору Платнеру, себя посвящаетъ: то-есть, съ точки зрѣнія литературы и искусства, Карамзинъ интересовался вообще европейскою цивилизаціей.

Какъ ни обширенъ былъ кругъ литературнаго образованія

Карамзина, все же сосредоточивался онъ на Франціи. Въ то время Батте и Лагарпъ были для всѣхъ наставниками въ литературѣ. Вольтеръ и Жанъ-Жакъ Руссо еще господствовали надъ умами, хотя и не безусловно. Русскій путешественникъ слышалъ о французскихъ классикахъ уже неблагопріятные отзывы въ самомъ Парижѣ, слышалъ, какъ любимый имъ философъ Боннетъ называлъ Жанъ-Жака только реторомъ, а его философію воздушнымъ замкомъ; и однако, сила времени и привычки такъ велика, что Вольтеръ и Руссо были главными руководителями его убѣжденій.

Съ благоговѣйнымъ вниманіемъ ученаго археолога, посѣщающаго римскія развалины, русскій путешественникъ посѣщалъ и изслѣдовалъ мѣста, гдѣ жили и откуда поучали своими твореніями весь свѣтъ эти два знаменитые французскіе писателя.

Не увлекаясь крайностями въ ученіи Вольтера, Карамзинъ отдаетъ ему справедливость въ томъ, „что онъ (слова Карамзина), распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе", которое нашъ путешественникъ видитъ въ католическихъ монастыряхъ, называя ихъ жилищемъ фанатизма, наполненнымъ страшилами, основанными учредителями, которые худо знали нравственность человѣка, образованную для дѣятельности; издѣвается надъ католическими реликвіями и надъ иконами Богородицы, изображающими портреты извѣстныхъ прелестницъ. Согласно съ этими воззрѣніями, онъ вообще не любитъ среднихъ вѣковъ и готическаго стиля; хотя и признаетъ въ немъ смѣлость, но видитъ въ немъ бѣдность разума человѣческаго; въ барельефахъ Страсбургскаго собора замѣчаетъ только странное и смѣшное, а мысль и работу барельефовъ Дагоберовой гробницы, съ изображеніями извѣстной легенды о борьбѣ св. Дионисія съ дьяволами за душу Дагобера, почитаетъ достойными варварскихъ временъ, какими онъ почитаетъ средніе вѣка. Съ тѣмъ же изысканнымъ вкусомъ француза XVIII вѣка относится онъ къ старинной литературѣ. Мистеріи и народныя драмы для него — глупыя пьесы; Чосеръ писалъ неблагопристойныя сказки, Рабле — авторъ романовъ, наполненныхъ остроумными замыслами, гадкими описаніями, темными аллегоріями и нелѣпостью"; также Эразмова *Похвала Глупости*.

несмотря на нѣкоторое остроуміе, книга довольно скучная для тѣхъ, „которые уже читали сочиненія Вольтеровъ и Вѣландовъ осьмагонадесять столѣтія“.

И вмѣстѣ съ тѣмъ Карамзинъ находилъ вполнѣ согласнымъ съ своею теоріей вкуса любоваться холодными аллегорическими изображеніями Натуры и Поэзіи, которыя льютъ слезы на надгробную урну Геснера, или Безсмертія, Храбрости и Мудрости на монументѣ Тюреня, а чудомъ искусства признавалъ „Магдалину“ Лебрюна, потому что въ ея видѣ художникъ изобразилъ герцогиню Лавальеръ. Таково еще было обаяніе этой чисто условной, но обольстительной для глазъ роскоши изнѣженнаго искусства, что самымъ удобнымъ находили тогда переводить свои ощущенія на языкъ античной миѳологіи. Въ булонской виллѣ графа д'Аргуа, на картинахъ улыбалась Карамзину сама любовь, а въ альковахъ мечтались аллегорическіе восторги; на развалинахъ рыцарскихъ замковъ воображалась ему сидящею богиня меланхоліи, и въ безмолвной рощѣ не шутя взывалъ онъ къ античному Сильвану.

Однако, какъ человѣкъ новаго направленія, русскій путешественникъ уже не вполнѣ довольствовался ложнымъ классицизмомъ, предпочиталъ античную скульптуру французской и, съ Павзаніемъ въ рукахъ, рѣшался находить недостатки въ произведеніяхъ Ингáля.

Еще сильнѣе замѣтно освобожденіе Карамзина изъ-подъ французскаго вліянія въ его сужденіяхъ о поэзіи драматической, которыми онъ былъ обязанъ изученію Шекспира и нѣмецкихъ писателей. Къ концу прошлаго столѣтія великій британскій драматургъ былъ оцѣненъ по достоинству; произведенія его игрались на театрахъ въ Англіи, Германіи и, даже въ плохихъ передѣлкахъ, во Франціи; въ Лондонѣ была основана *Шекспирова галлерея*, составленная изъ картинъ, сюжеты которыхъ взяты изъ драмъ Шекспира. Въ какой городъ Германіи Карамзинъ ни пріѣзжалъ, вездѣ могъ видѣть на сценѣ произведенія новой нѣмецкой драмы, столько отличныя отъ классической французской. Въ Берлинѣ при немъ играли драму Коцебу: *Ненависть къ людямъ и раскаяніе* и Шиллерову трагедію „*Донъ-Карлосъ*. Я не буду приводить восторженныхъ похвалъ Карамзина Шекспиру, столько извѣстныхъ и въ настоящее время вполнѣ оправ-

гпихъ, но для характеристики тонкаго эстетическаго вкуса нашего путешественника не могу миновать слѣдующій его отзывъ: „Читая Шекспира, читая лучшія нѣмецкія драмы, я живо воображаю себѣ, какъ надобно играть актеру и какъ что произнести; но при чтеніи французскихъ трагедій рѣдко могу представить себѣ, какъ можно въ нихъ играть актеру хорошо или такъ, чтобы меня тронуть“.

Воззрѣнія, противоположныя ложному классицизму XVIII столѣтія и болѣе согласныя со вкусомъ нашего времени, у Карамзина имѣли характеръ еще односторонній, будучи приведены въ одну систему съ господствовавшею тогда теоріею Жанъ-Жака Руссо о неограниченныхъ правахъ природы надъ человѣкомъ. Всякая цивилизація, а слѣдовательно и античная, должна уступать этимъ всемогущимъ правамъ: и Карамзинъ въ характеристикѣ произведеній Рафаэля, Джуліо Романо, Рубенса и другихъ живописцевъ, отдавая предпочтеніе тѣмъ изъ нихъ, которыя болѣе слѣдовали природѣ, нежели антикамъ, не только говоритъ правду вообще, но и въ частности, какъ человѣкъ своего времени, миритъ свой вкусъ съ теоріей Руссо.

Этою же теоріей оправдывался въ живописи господствовавшій тогда ландшафтъ, а въ литературѣ — описательная, или, какъ называетъ ее Карамзинъ, *живописная* поэзія, отечествомъ которой онъ полагаетъ Англію: „Французы и нѣмцы, — говоритъ онъ, — переняли сей родъ у англичанъ, которые умѣютъ замѣчать самыя мелкія черты въ природѣ. Эта поэзія, объясняемая философіею Жанъ-Жака Руссо, давала нашему молодому путешественнику неизсякаемый источникъ сентиментальныхъ восторговъ при созерцаніи красотъ природы. Потому такъ любилъ онъ Швейцарію, въ которой, по его выраженію, „все, все забыть можно, все, — кромѣ Бога и натуры“.

По теоріи Карамзина, человѣкъ созданъ наслаждаться и быть счастливымъ. Источникъ счастія — природа, которая даетъ всему созданному вмѣстѣ съ бытіемъ и наслажденіе имъ. Союзы семейный и общественный потому намъ дороги и милы, что основаны на природѣ. Самая смерть, какъ явленіе естественное, прекрасна, и ужасъ смерти бываетъ слѣдствіемъ нашего уклоненія отъ путей природы.

Своимъ дѣйствіемъ на счастіе человѣка искусства дополн-

нимють природу. Все прекрасное радуетъ, въ какой бы формѣ оно ни было. Въ мірѣ нравственномъ прекрасна добродѣтель „одинъ взглядъ на добраго есть счастіе для того, въ комъ не загрубѣло чувство добра“. Религія ведетъ людей къ добру и дѣлаетъ ихъ лучшими. Декартъ великъ потому, что „своимъ правоученіемъ возвеличиваетъ санъ человѣка, убѣдительно доказывая бытіе Творца, чистую безтѣлесность души, святость добродѣтели“. Въ этихъ истинахъ молодой русскій путешественникъ укрѣплялся, бесѣдуя съ Кантомъ, Гердеромъ, Лафатеромъ, Боннетомъ, находилъ имъ доказательства въ своемъ собственномъ сердцѣ и въ радостяхъ, доставляемыхъ природою и искусствомъ, и, наконецъ, наслаждался немалымъ удовольствіемъ въ жизни, когда „опершись на монументъ незабвеннаго Жанъ-Жака, видѣлъ заходящее солнце и думалъ о безсмертіи“.

Мм. гг., вы, безъ сомнѣнія, ожидаете, чтобъ въ характеристикѣ русскаго путешественника я коснулся одной крупной черты, которая, какъ живительный лучъ, освѣщаетъ привѣтливымъ свѣтомъ всѣ его путевыя впечатлѣнія, всѣ его думы, надежды и мечтанія. Это — самая горячая любовь его къ родинѣ, мысль о которой никогда его не покидаетъ. Бесѣдуетъ ли онъ съ Виландомъ о литературѣ, онъ не преминетъ сказать, что и на русскій языкъ переведены нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ его сочиненій; веселится ли съ лейпцигскими профессорами за бутылкою вина, онъ сообщаетъ имъ, что и на русскій языкъ переведено десять пѣсней „Мессіады“ Клопштока, и, чтобъ познакомить ихъ съ гармоніею нашего языка, читаетъ имъ русскіе стихи; вслушивается въ мелодіи швейцарскихъ пѣсенъ, и ищетъ въ нихъ сходства съ нашими народными, „столько для него трогательными“.

Если русскій путешественникъ всегда являлся передъ иностранцами самымъ краснорѣчивымъ и ловкимъ адвокатомъ за Россію, то потому именно, что искренно убѣжденъ былъ въ ея достоинствахъ. Во многомъ давалъ онъ ей предпочтеніе даже передъ самою Англіей, благосостояніемъ и устройствомъ которой онъ столько восхищался, и несравненно выше Людовика XIV ставилъ Петра Великаго, котораго, говорилъ онъ, „почитаю какъ великаго мужа, какъ героя, какъ благодѣтеля человѣчества, какъ моего собственнаго благодѣтеля“. Въ преобразованіяхъ Петра онъ видѣлъ разумное примиреніе

любви къ родинѣ съ любовью ко всему цивилизованному человѣчеству.

Будущій авторъ „Исторіи Государства Россійскаго“ посѣтилъ западную Европу, когда во Франціи зачинался громадный переворотъ, который долженъ былъ потрясти всю Европу. Карамзину суждено было провести три мѣсяца въ Парижѣ, въ роковой періодъ времени между штурмомъ Бастиліи и казнію французскаго короля.

Былъ ли молодой русскій путешественникъ настолько приготовленъ, чтобъ уразумѣть открывавшійся на его глазахъ новый порядокъ вещей? Находилъ ли онъ въ себѣ самомъ нравственную опору, чтобы руководствоваться твердыми убѣжденіями, когда все кругомъ его расшатывалось, чтобы принять новый видъ? Наконецъ, въ какой мѣрѣ образовало его историческій взглядъ непосредственное наблюденіе надъ однимъ изъ важнѣйшихъ событій новой исторіи?

Карамзинъ былъ воспитанъ въ идеяхъ XVIII столѣтія, которыя много способствовали французской революціи.

Права человѣчества, основанныя на законахъ природы, а не на искусственныхъ условіяхъ, свобода мысли и совѣсти и свободныя учрежденія — вотъ тѣ мечты, которыя молодой путешественникъ вывезъ съ собою еще изъ Россіи, и которыя въ его воображеніи приняли видъ дѣйствительности, когда онъ очутился въ странѣ республиканской.

Но эта дѣйствительность очень скоро оказалась мнимою. Уже и Базельская республика не во всемъ Карамзину полюбилась; что же касается до республики Женевской, то онъ увидѣлъ въ ней, наконецъ, не болѣе, какъ *прекрасную игрушку*.

Идеалъ свободныхъ учрежденій остался идеаломъ; молодой мечтатель не переставалъ въ него вѣрить, но — какъ свѣтлую цѣль — далеко отодвинулъ ее, когда лицомъ къ лицу увидѣлъ недостойное для достиженія ея средство, попавши, какъ человѣкъ, застигнутый врасплохъ, въ самую сумятицу переворота, сквозь тяжелую атмосферу котораго въ тысячѣ грязныхъ и безсмысленныхъ случайностей не могъ онъ прозрѣть въ ближайшемъ будущемъ ничего утѣшительнаго.

Потому-то такъ унылы и мрачны были его мысли, когда, направляясь отъ Ліона къ Парижу, онъ бросаетъ взоры на плодоносныя поля по берегамъ Сены, мечтая о нихъ перво-

бытной дикости и опасаясь, чтобъ опять когда-нибудь не водворилось на нихъ прежнее варварство: „Одно утѣшаетъ меня, — присовокупляетъ онъ, — то, что съ паденіемъ народовъ не упадаетъ весь родъ человѣческій: одни уступаютъ свое мѣсто другимъ“.

То-есть, въ необъятномъ горизонтѣ историческаго созерцанія, въ глазахъ будущаго русскаго историка, — французская революція сокращалась до жалкихъ размѣровъ случайности которая болѣе имѣетъ силу разрушающую, нежели зиждительную.

Именно въ этомъ самомъ смыслѣ касается онъ тогдашнихъ событій — въ письмѣ изъ Лондона: „Здѣсь (т.-е. въ Англіи) была не одна французская революція. Сколько добродѣтельныхъ патріотовъ, министровъ, любимцевъ королевскихъ положило свою голову на эшафотъ! Какое остервенѣніе въ сердцахъ! Какое изступленіе умовъ! Кто полюбитъ англичанъ, читая ихъ исторію!“

Какъ человѣкъ образованный, онъ отдаетъ справедливость французской монархіи, столько совершившей для образованія, и страшится приближающагося ея паденія. Какъ послѣдователь Жанъ-Жака Руссо, онъ любитъ человѣчество на всѣхъ ступеняхъ общественности, но въ уличныхъ забіякахъ, безсмысленныхъ и безчеловѣчныхъ, не рѣшается видѣть представителей французской націи. „Не думайте (однакожъ), писалъ онъ изъ Парижа, — чтобы вся нація участвовала въ трагедіи, которая играется нынѣ во Франціи Едва ли сотая часть дѣйствуетъ; всѣ другіе смотрятъ, плачутъ или смѣются, бьютъ въ ладоши или освистываютъ, какъ въ театрѣ Тѣ, которымъ потерять нечего, дерзки какъ хищные волки; тѣ, которые всего могутъ лишиться, робки какъ зайцы; одни хотятъ все отнять, другіе хотятъ спасти что-нибудь. Оборонительная война съ наглымъ непріятелемъ рѣдко бываетъ счастлива. Исторія не кончилась; но по сіе время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона“.

Находя опору въ томъ убѣжденіи, что „всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ, что въ самомъ несовершеннѣйшемъ надобно удивляться чудной гармоніи, благоустройству, порядку, и что *Утопія* (или царство счастія) можетъ быть достигнута только

постепеннымъ дѣйствіемъ времени, посредствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ просвѣщенія, а не гибельными, насильственными потрясеніями", молодой русскій путешественникъ въ самомъ Парижѣ, не смущаясь вспышками революціи продолжалъ учиться, и тѣмъ больше убѣждался, что *наука — святое дѣло*, когда съ прискорбіемъ видѣлъ, какъ безумные мечтатели мирную тишину ученаго кабинета мѣняли на эшафотъ.

Потому-то, оставляя Парижъ, онъ посылаетъ ему свое прощальное привѣтствіе: „Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оставилъ съ сожалѣніемъ и благодарностью! Среди шумныхъ явленій твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ беззпечный гражданинъ вселенной; смотрѣлъ на твое волненіе съ тихою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море".

Эту краткую характеристику ничѣмъ приличнѣе не умѣю заключить, какъ словами русскаго путешественника изъ его послѣдняго письма: „Перечитываю теперь нѣкоторыя изъ своихъ писемъ: *вотъ зеркало души моей, въ теченіи осьмнадцати мѣсяцевъ!* Оно черезъ 20 лѣтъ будетъ для меня еще пріятно... Загляну, и увижу, каковъ я былъ, какъ думалъ и мечталъ... Почему знать? Можетъ-быть, и другіе найдутъ нѣчто пріятное въ моихъ *эскизахъ*".

Исторія доказала, что „Письма русскаго путешественника" и черезъ 70 лѣтъ не потеряли своего значенія, и отечество нашло въ нихъ не одно пріятное, но и полезное.

Буслаевъ.

Значеніе „Писемъ русскаго путешественника" со стороны ихъ содержанія и формы.

„Письма" Карамзина были едва ли не важнѣйшимъ его литературнымъ произведеніемъ. Они сразу обратили на него вниманіе всего читающаго общества, пріобрѣли ему обширную и громкую извѣстность и сдѣлали его любимцемъ публики. Успѣхъ ихъ у насъ былъ громадный, до того времени небывалый и неслыханный. Общество съ жадностію бросилось на письма; среди тогдашняго застоя въ литературѣ

вдругъ оказалось самое оживленное и самое возбужденное движеніе. Причина понятна. „Письма русскаго путешественника“, по обилію и разнообразію содержанія, удовлетворяли всевозможнымъ вкусамъ, интересамъ и требованіямъ, а по формѣ и выраженію, были доступны всѣмъ и увлекали всѣхъ: въ живой и легкой формѣ, языкомъ столь же живымъ, бойкимъ, симпатичнымъ и нерѣдко остроумнымъ, свободнымъ отъ тяжелой арматуры языка старой школы, ими передавались самыя разнообразныя и свѣжія впечатлѣнія человѣка умнаго, стоявшаго на высотѣ современнаго европейскаго общаго образованія, съ юношескою страстію относившагося ко всему великому и прекрасному — въ природѣ, жизни, наукѣ и искусствѣ. Семьдесятъ-пять лѣтъ прошло отъ появленія „Писемъ русскаго путешественника“, а вы и теперь перечитываете ихъ съ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ едва ли не большинство произведеній современной беллетристики. А Карамзину въ то время еще не было и двадцати-пяти лѣтъ. Вообще нельзя не удивляться разнообразію и основательности его образованія. Что могло дать ему тогдашнее время у насъ? А между тѣмъ письма доказываютъ, что его сердце было открыто всѣмъ благороднымъ и возвышеннымъ впечатлѣніямъ. Сколько и теперь найдется молодыхъ путешественниковъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, которые нѣмы и глухи ко всему, что есть прекраснаго въ городахъ, гдѣ они проживаютъ цѣлые годы. Конечно, во всемъ этомъ нельзя не видѣть дарованія, выходящаго далеко изъ ряда обыкновенныхъ. Не по общимъ законамъ литературной критики, а по историческому и временному ихъ значенію, „Письма“ дѣйствительно составляютъ эпоху въ нашей литературѣ, и небольшое письмо изъ Твери, отъ 18 мая 1789 года, по справедливому замѣчанію М. П. Погодина, составляетъ эпоху въ исторіи нашего языка. По нѣкоторой легкости отношенія къ нѣкоторымъ серіознымъ явленіямъ науки и жизни, нельзя заключать о неприготовленности Карамзина къ достаточно-основательному взгляду на эти явленія и суду о нихъ: Карамзинъ, безъ сомнѣнія, зналъ о нихъ больше, чѣмъ сколько писалъ, а писалъ меньше потому, что желалъ удовлетворить наибольшему числу читателей, на что, впрочемъ, можно найти указанія и въ его письмахъ.

„Письмами русскаго путешественника“ Карамзинъ, по возвращеніи изъ-за границы, вдругъ завоевалъ себѣ почетное мѣсто въ нашей литературѣ, и занялъ его по праву, потому что никто лучше его не былъ приготовленъ къ литературной дѣятельности, потому что нельзя указать ни на кого на тогдашней литературной аренѣ, кто бы былъ въ такомъ всеоружіи современнаго общаго европейскаго образованія. Передъ нимъ раскрывалась блестящая будущность и представлялась возможность осуществленія давнишнихъ мечтаній о славѣ.

Л. Лавровскій.

Образовательное значеніе „Писемъ русскаго путешественника“ для русскаго общества.

Своими письмами изъ-за границы Карамзинъ впервые внесъ въ нашу литературу самыя обстоятельныя свѣдѣнія объ европейской цивилизаціи, которыя были тѣмъ наставительнѣе, что относились къ послѣднимъ годамъ прошлаго столѣтія, когда господство французскаго направленія стало уступать новымъ идеямъ, продолжавшимъ свое развитіе и въ первой половинѣ текущаго столѣтія; — такъ что „Письма русскаго путешественника“ даже въ періодъ дѣятельности Пушкина не теряли своего современнаго значенія, частію имѣютъ они его и теперь, потому что въ нихъ впервые были высказаны многія понятія и убѣжденія, которыя сдѣлались въ настоящее время достояніемъ всякаго образованнаго человѣка.

Необычайная цивилизующая сила этихъ писемъ, кромѣ высокаго дарованія и обширныхъ свѣдѣній автора, много зависѣла отъ самой формы этого рода сочиненій. Вмѣсто систематическихъ трактатовъ объ исторіи и статистикѣ западныхъ народовъ, о ихъ литературѣ, искусствѣ и наукѣ, передъ читателями постоянно является симпатическая личность русскаго человѣка, высоко образованнаго, насколько это было возможно въ концѣ прошлаго столѣтія, и въ высшей степени впечатлительнаго и даровитаго, который съ каждымъ шагомъ на своемъ пути созрѣваетъ, неутомимо учится, и изъ

книгъ и изъ бесѣдъ съ знаменитостями того времени, и по мѣрѣ успѣховъ, передаетъ плоды своего развитія своимъ немногимъ друзьямъ, кругъ которыхъ долженъ былъ расшириться на всю читающую русскую публику, какъ скоро были изданы въ свѣтъ „Письма русскаго путешественника", и многочисленные читатели ихъ по всѣмъ концамъ нашего отечества нечувствительно воспитывались въ идеяхъ европейской цивилизаціи, какъ бы созрѣвали сами вмѣстѣ съ созрѣваніемъ молодого русскаго путешественника, учась смотрѣть на образованіе его глазами, чувствовать его благородными чувствами, мечтать его прекрасными мечтами.

Если русская литература, со временъ Петра Великаго, довершая дѣло преобразованія, имѣла своею задачею внести къ намъ плоды западнаго просвѣщенія; то Карамзинъ блистательно исполнилъ свое назначеніе. Онъ воспиталъ въ себѣ *человѣка*, чтобы потомъ — съ полнымъ сознаніемъ — явить въ себѣ русскаго патріота. Любовь къ человѣчеству была для него основою разумной любви къ родинѣ, и западное просвѣщеніе было ему дорого потому, что онъ чувствовалъ въ себѣ силу водворить его въ своемъ отечествѣ.

Стремясь на Западъ учиться для блага своего отечества, онъ шелъ по пути, проложенному Петромъ Великимъ и Ломоносовымъ, и, въ свою очередь, далъ собою образецъ поколѣніямъ новѣйшимъ, оставивъ имъ изъ своего опыта такое завѣщаніе: „Нигдѣ *способы ученія* не доведены до такого совершенства, какъ нынѣ въ Германіи: и кого Платнеръ, кого Гейне не заставитъ полюбить науки, тотъ, конечно, не имѣетъ уже въ себѣ никакой способности".

Представители націи всегда имѣютъ въ себѣ нѣчто типическое, образцовое: какъ идеалъ, господствуютъ они въ умахъ своихъ соотечественниковъ, направляя ихъ мысли и дѣйствія.

Буслаевъ.

Источники обаятельнаго вліянія „Писемъ русскаго путешественника" на современниковъ Карамзина.

Путешествіе Карамзина, въ описаніи котораго мы слѣдили за его впечатлѣніями и старались показать его вкусы и предпочтенія къ той или другой сторонѣ, видѣнной имъ чужой

елии, для его духовнаго развитія, для будущей его литературной дѣятельности было въ высшей степени важно. Не только то обстоятельство, что Карамзинъ видѣлъ лицомъ къ лицу любимыхъ имъ писателей и бесѣдовалъ съ ними, хотя, разумѣется, содержаніе и характеръ бесѣдъ этихъ условливались непродолжительными и торопливыми визитами путешественника, самое посѣщеніе мѣстъ, которыя до тѣхъ поръ существовали только въ его воображеніи, должно было оказать свое вліяніе, и надолго образы видѣннаго и слышаннаго остались живыми въ памяти Карамзина; не разъ встрѣчаются воспоминанія странствія въ послѣдующихъ сочиненіяхъ его. Историческое значеніе „Писемъ русскаго путешественника“ по отношенію къ тогдашнему читающему обществу было весьма велико. Въ первый разъ предъ образованными русскими людьми предстала Европа, съ произведеніями своего искусства, съ разнообразною природою, составлявшею контрастъ нашей сѣверной, съ представителями духовной дѣятельности своей, конечно, почему-либо только близкими и дорогими сердцу Карамзина. Сентиментальный тонъ путешественника, его сердечныя изліянія при видѣ картинъ природы или случайно подмѣченныхъ на дорогѣ сценъ, пришлись также по вкусу общества. Послѣднее было такъ мало развито тогда, такъ слабо могло интересоваться духовною и умственною стороною Европы, что именно этотъ, частію плаксивый, тонъ и нѣжные восторги нравились ему больше всего. Въ этомъ Карамзинъ нашелъ скоро себѣ подражателей, и русская литература представила цѣлую школу „чувствительныхъ путешественниковъ“, думавшихъ не столько объ описаніи страны, видѣнной ими, сколько желавшихъ познакомить публику съ нѣжностію своего сердца и его изліяніями по поводу небывалыхъ приключеній. *Булич.*

Историческій и біографическій интересъ „Писемъ русскаго путешественника“.

„Письма“ Карамзина имѣютъ для насъ относительное историческое достоинство; читать ихъ можно въ настоящее время только съ интересомъ изученія самого Карамзина и его литературной эпохи. Не справедлива та критика, котор..

смотритъ на нихъ съ современной точки зрѣнія и требуетъ отъ нихъ того, чего они не въ состояніи дать. Эта критика нападаетъ на Карамзина за сентиментальный тонъ его описаній, за поверхность содержанія, за то, что онъ не обратилъ вниманія на политическое устройство видѣнныхъ странъ и пр. Обыкновенно письма Карамзина сравниваютъ съ „Письмами изъ-за границы" другого русскаго писателя, Фонвизина, писанными имъ къ графу Панину, отдавая преимущество послѣднимъ за большую глубину содержанія и за тонкую, развитую наблюдательность, съ которою Фонвизинъ смотритъ на состояніе Франціи накапунѣ революціи, какъ бы предчувствуя симптомы начинающейся бури. Но знаменитый комикъ нашъ стоялъ въ другомъ отношеніи къ видѣнному, чѣмъ молодой Карамзинъ. Фонвизинъ былъ воспитанъ въ очень дѣльной политической школѣ, служа при графѣ Панинѣ; онъ былъ знакомъ съ многими нашими посланниками и переписывался съ ними; его взглядъ необходимо долженъ былъ быть шире. Притомъ Фонвизинъ былъ одиннадцатью годами старше Карамзина, и тѣ предметы, которые могли интересовать послѣдняго, по его развитію и образованію не имѣли никакого значенія для перваго. Карамзину было только двадцать-три года, когда онъ путешествовалъ по Европѣ; онъ былъ молодъ чувствомъ, и оно направлено было у него такъ, какъ раскрывается въ путешествіи; онъ жадно искалъ наслажденія и нашелъ его. Увлеченіе Карамзина встрѣчами на дорогѣ, которымъ онъ придаетъ романическій характеръ, его восторженныя слезы или восклицанія при видѣ красиваго ландшафта или памятника, посвященнаго романическому событію, — это то же, что гораздо позднѣйшій восторгъ при созерцаніи картинъ Рафаэля или Беато-Анжелико. Всякое время имѣетъ свой паѳосъ и увлеченіе. Не будемъ требовать отъ Карамзина того, что не могли дать ни самъ онъ ни время, его создавшее.

Для насъ письма изъ-за границы Карамзина имѣютъ еще другое значеніе. Они представляютъ высокій автобіографическій интересъ, единственный памятникъ, въ которомъ въ теченіе полутора года можно слѣдить за Карамзинымъ, за его мыслями и чувствованіями, за его жизнію. Здѣсь, по его собственному выраженію, образъ того, „каковъ онъ былъ, какъ думалъ и мечталъ". Передъ нами теперь тридцать лѣтъ

жизни Карамзина, въ продолженіе которыхъ, до самаго его назначенія исторіографомъ, онъ создалъ почти всѣ свои литературныя произведенія, имѣвшія вліяніе на вкусъ и направленіе публики, доставившія ему славу и извѣстность, образовавшія многочисленную школу учениковъ и подражателей, а между тѣмъ изъ этого долгаго, главнаго періода его дѣятельности, о самомъ Карамзинѣ, объ обществѣ, въ которомъ онъ жилъ, о его отношеніяхъ какъ человѣка, мы имѣемъ самыя скудныя, ничтожныя свѣдѣнія. Карамзинъ весь теряется для біографа; мы не знаемъ тѣхъ необходимыхъ связей между произведеніями его и случаями жизни, которыя должны были вызывать первыя; его личность закрывается для глазъ литературнымъ дѣломъ его, и только въ немъ одномъ мы можемъ слѣдить развитіе Карамзина, какъ человѣка. Невольно находитъ на душу грусть, что такъ мало оказано было современниками участія къ писателю, доставлявшему имъ высокое наслажденіе, настроившему на тонъ своихъ произведеній цѣлое общество. Невольно приходитъ въ голову неотвязно печальная мысль, что удовольствіе, доставляемое нашему обществу чтеніемъ и литературою, есть удовольствіе совершенно случайное, а не необходимая потребность образованія, и печальная мысль становится еще печальнѣе отъ сравненія судьбы нашихъ писателей съ судьбою братьевъ ихъ въ Европѣ, окружающей такимъ уваженіемъ духовныхъ вождей, глубоко цѣнящихъ каждый шагъ ихъ въ жизни и обществѣ и добивающейся открыть необходимую связь жизни и произведеній писателя между собою. Нѣтъ, несмотря на увлеченіе Карамзинымъ, въ пустотѣ жизни, его окружающей, онъ не нашелъ себѣ настоящихъ цѣнителей; современники ничего не сдѣлали для него и не дали намъ средствъ видѣть его посреди людей и общества въ этотъ періодъ его дѣятельности. *Буличъ.*

Повѣсти Карамзина: „Бѣдная Лиза" и „Наталья, боярская дочь".

Бѣдная Лиза. Содержаніе этой знаменитой повѣсти чрезвычайно просто, чтобы не сказать бѣдно. Въ Москвѣ, недалеко отъ Симонова монастыря, подлѣ березовой рощи,

среди зеленаго луга, стояла бѣдная хижина, въ которой жила *прекрасная Лиза* съ своей матерью старушкой. Отецъ Лизы былъ довольно „зажиточный поселянинъ“. Но когда онъ умеръ, то мать и дочь обѣднѣли. Лиза кормила мать своими трудами; она ткала холсты, вязала чулки, весною собирала цвѣты, а лѣтомъ ягоды, и ходила въ городъ продавать ихъ. „Богъ далъ мнѣ руки,—говорила она,—чтобы работать; ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенкомъ; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживятъ батюшки“ (ч. III, 4). Однажды Лиза, продавая въ Москвѣ ландыши, на улицѣ встрѣтила молодого человѣка, который, покупая у нея цвѣты, обратилъ на нее особенное вниманіе и спросилъ, гдѣ она живетъ; вмѣсто пяти копеекъ онъ давалъ ей за цвѣты рубль; но она не взяла его. Молодой человѣкъ такъ ей понравился, что на другой день, нарвавъ самыхъ лучшихъ ландышей, она ужъ искала его въ Москвѣ, другимъ не хотѣла продавать своихъ цвѣтовъ, и когда не нашла его, то бросила ихъ въ рѣку. Между тѣмъ, на другой день вечеромъ, молодой человѣкъ самъ пришелъ въ хижину Лизы и спросилъ напиться; ему принесли молока. Онъ познакомился съ матерью Лизы и понравился ей. „Мнѣ хотѣлось бы, — сказалъ онъ матери,—чтобы дочь твоя никому, кромѣ меня, не продавала своей работы. Такимъ образомъ, ей незачѣмъ будетъ часто ходить въ городъ, и ты не принуждена будешь съ нею разставаться. Я самъ по временамъ буду заходить къ вамъ“. Старушка съ охотою приняла его предложеніе, увѣряя его, что полотно, вытканное, и чулки, связанные Лизой, бываютъ отмѣнно хороши и носятся дольше всякихъ другихъ (стр. 8). Молодой человѣкъ сталъ часто бывать у нихъ. Его звали Эрастомъ. Это былъ „довольно богатый дворянинъ, съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ отъ природы, но слабымъ и вѣтренымъ. Онъ велъ разсѣянную жизнь, думалъ только о своемъ удовольствіи, искалъ его въ свѣтскихъ забавахъ, но часто не находилъ: скучалъ и жаловался на судьбу свою“. Красота Лизы при первой встрѣчѣ сдѣлала впечатлѣніе въ его сердцѣ. Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, чего сердце его давно искало“. Молодые люди сильно полюбили другъ друга, всякій вечеръ видѣлись „или на берегу

рѣки, или въ березовой рощѣ, но всего чаще подъ тѣнію столѣтнихъ дубовъ, осѣнявшихъ глубокій чистый прудъ". Лиза до того увлеклась Эрастомъ, что отказала своему жениху, сыну богатаго крестьянина изъ сосѣдней деревни, а Эрастъ далъ обѣщаніе Лизѣ жениться на ней. Но счастье Лизы продолжалось не долго. Эрастъ, насытившись ея любовью, сталъ посѣщать ее рѣже и рѣже, и однажды объявилъ ей, что онъ служитъ въ военной службѣ и долженъ ѣхать на войну. Лиза повѣрила, и Эрастъ уѣхалъ. Прошло около двухъ мѣсяцевъ; Лиза пошла въ Москву купить розовой воды лѣчить глаза матери. На одной улицѣ вдругъ она увидѣла Эраста въ каретѣ, бросилась за нимъ и прибѣжала въ его домъ; но Эрастъ принялъ ее холодно; объявилъ, что онъ скоро женится на другой. Онъ, дѣйствительно, былъ на войнѣ; но, вмѣсто того, чтобы сражаться съ непріятелемъ, игралъ въ карты и проигралъ почти все свое имѣніе, и чтобы заплатить свои долги, онъ вздумалъ жениться на богатой вдовѣ. Онъ далъ Лизѣ сто рублей и выпроводилъ изъ своего дома. Лиза очутилась на улицѣ въ такомъ положеніи, которого никакое перо описать не можетъ. Съ ней приключился обморокъ. Одна добрая женщина, которая шла по улицѣ, увидѣвъ ее лежащею на землѣ, привела ее въ чувство. Лиза вышла изъ города и вдругъ увидѣла себя на берегу того глубокаго пруда и подъ тѣнію тѣхъ древнихъ дубовъ, которые такъ еще недавно были безмолвными свидѣтелями ея счастія. Встрѣтивъ свою подругу Анюту, она попросила ее отнести матери данные ей Эрастомъ сто рублей, а сама бросилась въ прудъ и утонула. Мать, узнавъ о смерти Лизы, умерла; Эрастъ также былъ несчастенъ; совѣсть не давала ему покоя за то, что онъ сдѣлался убійцей Лизы. „Сердце мое обливается кровію въ сію минуту, — говоритъ авторъ. — Я забываю человѣка въ Эрастѣ — готовъ проклинать его; но языкъ мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ахъ! для чего пишу не романъ, а печальную быль?" (стр. 22). Горячая симпатія, съ какою авторъ изобразилъ эту исторію „Бѣдной Лизы", нѣжный, чувствительный колоритъ, разлитый по всей повѣсти, и, наконецъ, прекрасныя описанія окрестностей Москвы и Симонова монастыря, невообразимо трогали читателей и сдѣлали эту небольшую и простую повѣсть знаменито-исторической. Окрестности Си-

монова монастыря долго были любимымъ мѣстомъ гулянья; прудъ, въ которомъ утопилась Лиза, стали называть „Лизинымъ“ прудомъ; всѣ деревья по берегамъ его были испещрены начальными буквами ея имени, которыя вырѣзывали гуляющіе.

Въ исторіи литературы „Бѣдная Лиза“ имѣетъ значеніе какъ первая повѣсть, сюжетъ которой взятъ изъ простого и притомъ русскаго быта, хотя этотъ простой бытъ изображенъ далеко не такъ просто и не въ русскомъ духѣ, а въ стилѣ западныхъ сентиментальныхъ повѣстей и романовъ. Лиза и мать ея представлены съ воззрѣніями и чувствами героевъ и героинь этихъ повѣстей, а съ не такими, какія свойственны простымъ русскимъ крестьянамъ. Съ настоящей точки зрѣнія эта невѣрность действительности составляетъ ничѣмъ непоправимый недостатокъ; но тогда на поэтическій вымыселъ смотрѣли иначе. Поэтическую творческую фантазію, какъ источникъ этихъ вымысловъ, самъ Карамзинъ называлъ богиней лжи и призраковъ (въ сказкѣ объ Ильѣ Муромцѣ).

Наталія, боярская дочь. „Въ престольномъ градѣ славнаго русскаго царства, въ Москвѣ бѣлокаменной, жилъ бояринъ Матвѣй Андреевъ, человѣкъ богатый, умный, вѣрный слуга царскій, и, по обычаю русскихъ, великій хлѣбосолъ. Царь называлъ его правымъ глазомъ своимъ, и правый глазъ никогда царя не обманывалъ. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себѣ на помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: „сей правъ (не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году), но по моей совѣсти; сей виноватъ по моей совѣсти — и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и совѣстью царскою“ (стр. 81). Въ каждый двунадесятый праздникъ онъ приготовлялъ длинные столы въ своихъ горницахъ, покрытые чистыми скатертями, уставленные чашами и блюдами съ разными кушаньями. Сидя на лавкѣ, подлѣ высокихъ воротъ, онъ звалъ къ себѣ обѣдать мимо ходящихъ бѣдныхъ людей, сколько могло помѣститься въ его боярскомъ жилищѣ. Ласково бесѣдуя съ гостями, онъ узнавалъ ихъ нужды, подавалъ имъ хорошіе совѣты, предлагалъ свои услуги и веселился съ ними, какъ съ друзьями. Любовь народная и милость царская были на-

градою добраго боярина. Но вѣнцомъ его счастія и радости была его единственная дочь, красавица Наталья. Много цвѣтовъ въ полѣ, въ рощахъ и на лугахъ зеленыхъ; но нѣтъ прекраснѣе розы; много было красавицъ въ Москвѣ, но никакая красавица не могла сравниться съ Натальей. Довольно сказать, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обѣдни, забывали класть земные поклоны и самыя пристрастныя матери отдавали ей преимущество предъ своими дочерьми. Далѣе авторъ описываетъ душевныя и тѣлесныя качества древне-русской боярской дочери и то, въ чемъ она проводила время свое зимой и лѣтомъ „отъ восхода до заката краснаго солнца". Проснувшись на восходѣ солнца и перекрестившись, она тотчасъ вставала и начинала собираться „къ обѣднѣ"; только одна жестокая вьюга зимою, а лѣтомъ проливной дождь съ грозою могли удержать древне-русскую дѣвицу отъ исполненія этой обязанности. Становясь всегда въ уголкѣ трапезы, Наталья молилась Богу съ усердіемъ, но въ то же время исподлобья посматривала направо и налѣво. Встарину не было ни клубовъ, ни маскарадовъ, говоритъ авторъ, куда нынѣ ѣздятъ себя казать и другихъ смотрѣть; итакъ, гдѣ же, какъ не въ церкви, любопытная дѣвушка могла поглядѣть тогда на людей? Послѣ обѣдни Наталья всегда раздавала нѣсколько копеекъ бѣднымъ людямъ. Возвратившись отъ обѣдни, она садилась шить въ пяльцахъ, или плести кружево, сучить шелкъ, низать ожерелье. Послѣ сытнаго обѣда бояринъ Матвѣй ложился отдыхать, а дочь свою отпускалъ съ мамой гулять въ садъ или на большой зеленый лугъ у „красныхъ воротъ". Вечеромъ къ Натальѣ собирались молодыя подруги; въ ихъ кружокъ приходилъ иногда побесѣдовать и самъ бояринъ и разсказывалъ имъ „приключенія благочестиваго князя Владимира и могучихъ богатырей россійскихъ". Зимой Наталья каталась въ саняхъ по городу и ѣздила къ подругамъ „на вечеринки", гдѣ играли въ жмурки, прятались, хоронили золото, пѣли пѣсни, рѣзвились, „не нарушая благопристойности, и смѣялись безъ насмѣшекъ". Такъ жила Наталья до 17 лѣтъ. Однажды, по обыкновенію, она была у обѣдни и встрѣтила здѣсь одного прекраснаго молодого человѣка, который произвелъ на нее глубокое впечатлѣніе. Ей представилось, что любезный призракъ, который ночью и днемъ прельщалъ ея воображеніе,

былъ не что иное, какъ образъ сего молодого человѣка. Въ свою очередь и Наталья понравилась молодому человѣку. На другой день Наталья пришла къ обѣднѣ ранѣе всѣхъ и всѣхъ позже вышла изъ церкви, но молодого человѣка не было; то же повторилось на третій день, и только на четвертый день они опять увидѣлись. Спустя нѣсколько времени, когда боярина Матвѣя не было дома, няня ввела молодого человѣка въ теремъ; онъ бросился къ ногамъ Натальи и объявилъ ей, что онъ уже давно влюбленъ въ нее. Наталья также призналась ему въ своей любви. Не надѣясь, что бояринъ Матвѣй согласится на ихъ бракъ, онъ уговорилъ Наталью тайно уѣхать съ нимъ и повѣнчаться. Въ ту же ночь онъ увезъ ее вмѣстѣ съ няней. На пути они остановились въ одной деревянной церкви, гдѣ дожидался ихъ одинъ старый священникъ и обвѣнчалъ ихъ. Послѣ вѣнца они продолжали путь и пріѣхали въ дремучій лѣсъ. Навстрѣчу имъ вдругъ вышло нѣсколько человѣкъ съ зажженными пуками соломы и съ кинжалами. Няня подумала, что они находятся въ рукахъ разбойниковъ; но оказалось, что это люди молодого мужа. Его звали Алексѣемъ Любославскимъ. Онъ былъ сынъ одного опальнаго боярина Любославскаго, который, по ложному подозрѣнію, былъ замѣшанъ въ заговорѣ противъ государя и, чтобы спасти свою жизнь, бѣжалъ изъ Москвы со своимъ 12-лѣтнимъ сыномъ Алексѣемъ и скрылся на берегахъ Волги, въ той странѣ, гдѣ въ эту рѣку вливается Свіяга (значитъ, въ странѣ Казанской). Проживъ здѣсь около 10 лѣтъ, онъ умеръ, поручивъ предъ смертью сына своего одному другу своему въ Москвѣ, который построилъ для его убѣжища уединенный домикъ въ 40 верстахъ, въ дремучемъ, непроходимомъ лѣсу, но самъ тоже вскорѣ послѣ этого умеръ. Алексѣй переселился въ этотъ домикъ уже послѣ его смерти. Это и было то мѣсто, куда онъ привезъ Наталью. Молодые люди устроились хорошо; но Наталья не могла забыть оставленнаго ею отца и постоянно сокрушалась, а Алексѣя тяготила царская опала, вслѣдствіе которой онъ не могъ нигдѣ показаться. Онъ придумывалъ способы испросить прощеніе у боярина Матвѣя и заслужить милость государя. Этому помогъ слѣдующій случай. На Московское царство напали литовцы. Алексѣй вздумалъ отправиться на войну, чтобы подвигами

ѣоими обратить на себя вниманіе; но Наталья никакъ не хотѣла разставаться съ нимъ и рѣшилась сама отправиться на войну: „дай мнѣ только, — сказала она, — мечъ острый и копье булатное, шишакъ, панцырь и щитъ желѣзный, увидишь, что я не хуже мужчины“. Алексѣй выбралъ для нея самое легкое оружіе, нарядилъ ее въ панцырь, сдѣланный изъ мѣдныхъ колецъ (на которомъ было написано: „съ нами Богъ, никто же на ны“), вооружилъ своихъ людей, надѣлъ латы своего отца и съ Натальей отправился на войну. На войнѣ Алексѣй и Наталья такъ отличились своею храбростію, что обратили на себя всеобщее вниманіе. Донося о побѣдѣ, военачальникъ писалъ царю: „Мы не можемъ по достоинству восхвалить того юнаго воина, которому принадлежитъ вся честь побѣды, и который гналъ, разилъ непріятелей и собственною рукою плѣнилъ ихъ предводителя. Повсюду слѣдовалъ за нимъ братъ его, прекрасный отрокъ, и закрывалъ его щитомъ своимъ. Онъ не хочетъ объявить имени своего никому, кромѣ тебя, государь“ (стр. 134). Государь потребовалъ ихъ къ себѣ и спросилъ, кто они такіе, и когда они объявили себя, то простилъ Алексѣя и уговорилъ и боярина Матвѣя простить Наталью и благословить ихъ на супружескую жизнь. И потомъ они жили счастливо до глубокой старости.

Повѣсть написана Карамзинымъ въ 1792 г., когда авторъ уже началъ изучать русскую исторію и хотѣлъ воскресить предъ русскимъ обществомъ древне-русскую жизнь. „Кто изъ насъ, — говоритъ онъ въ самомъ началѣ повѣсти, — не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, т.-е. говорили, какъ думали“ (стр. 81) Онъ относится къ древне-русской жизни съ глубокимъ сочувствіемъ и старается выставить всѣ лучшія ея стороны иногда въ укоръ современной жизни. Говоря о добротѣ, честности и правдивости боярина Матвѣя, о его покровительствѣ и заступничествѣ за своихъ бѣдныхъ сосѣдей, онъ прибавляетъ: „чему въ наши просвѣщенныя времена, можетъ-быть, не всякій повѣритъ, но что въ старину совсѣмъ не по-

читалось рѣдкостью"; говоря о качествахъ его дочери Натальи, онъ замѣчаетъ, что „она имѣла всѣ свойства благовоспитанной дѣвушки, хотя русскіе не читали тогда ни Локка о воспитаніи, ни Руссова Эмиля". Въ бояринѣ представленъ типъ именитаго и богатаго боярина, въ Натальѣ типъ древне-русской боярышни; но черты этихъ типовъ слишкомъ общи и слишкомъ идеализированы, изображены безъ всякихъ тѣней тогдашней дѣйствительности, безъ исторической обстановки; въ характерѣ Натальи авторъ даже отступаетъ отъ исторіи, выводя Наталью изъ замкнутой свѣтлицы или терема на войну, въ военный станъ, съ рыцарскимъ пошибомъ, героиней въ родѣ какой-нибудь Жанны д'Аркъ, для чего примѣровъ древняя исторія русская не представляетъ. *Порфирьевъ.*

Сентиментализмъ, внесенный Карамзинымъ въ нашу литературу.

Господствующій тонъ въ „Письмахъ" Карамзина — сентиментальный, объясняемый, съ одной стороны, природною наклонностью автора ко всему чувствительному, а съ другой подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, на которые въ то время была мода.

Начало сентиментализму въ литературѣ положено Томсоновой поэмой „Времена года" (1726), Ричардсоновымъ романомъ „Кларисса" (1748) и „Чувствительнымъ путешествіемъ" Стерна (1768), которому принадлежитъ и изобрѣтеніе слова „sentimental". Чрезвычайный успѣхъ „Клариссы" объясняется тѣми самыми обстоятельствами, по которымъ мѣщанская трагедія привлекала зрителей въ театръ. Какъ этотъ родъ драмы служилъ реакціей ложно-классическимъ трагедіямъ, такъ Ричардсоновъ романъ былъ поворотомъ отъ романтическихъ сказокъ и героическихъ исторій къ повѣсти о вседневной домашней жизни, съ ея радостями и страданіями, съ ея мелкими случайностями и великими, не всегда и не для всѣхъ замѣтными жертвами. Тамъ и здѣсь поэзія замѣняла холодный идеализмъ истиной и дѣйствительностью, величіе родового или общественнаго положенія лицъ внутреннимъ, человѣческимъ ихъ достоинствомъ, условныя формы и тор-

жественный тонъ простотою и естественностью рѣчи. Карамзинъ понималъ существенное значеніе Ричардсонова романа, какъ видно изъ его извѣстія о русскомъ переводѣ „Клариссы“: „Ричардсонъ — искусный живописецъ моральной натуры человѣка... Въ романѣ его наилучшая философія жизни, предложенная наиприятнѣйшимъ образомъ... Написать романъ въ восьми томахъ, не прибѣгая ни къ чудесамъ, которыми эпическіе поэты стараются возбуждать любопытство въ читателяхъ, ни къ сладострастнымъ картинамъ, которыми многіе изъ новѣйшихъ романистовъ прельщаютъ наше воображеніе, и не описывая ничего, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ сценъ жизни, — не бездѣлица“ [1]. Руссо, почитавшій Клариссу лучшимъ англійскимъ романомъ, подражалъ ему въ „Новой Элоизѣ“ (1761), которая оказала быстрое и могущественное дѣйствіе на европейскія литературы.

Стернъ назвалъ свое путешествіе „чувствительнымъ“ потому, что оно описываетъ не столько внѣшній міръ, имъ видѣнный, сколько его собственный внутренній міръ — его впечатлѣнія и чувства. Это, говоря его словами, „путешествіе сердца къ природѣ и такимъ ощущеніямъ, которыя проистекаютъ изъ нея и побуждаютъ насъ любить ближнихъ и даже цѣлый міръ больше, нежели мы обыкновенно его любимъ“. Между англійскими подражаніями Стерну замѣчателенъ романъ второстепеннаго писателя Макензи: „Чувствительный человѣкъ“. Въ Германіи Стерновскій тонъ былъ доведенъ до крайности Георгомъ Якоби: его „Лѣтнія и зимнія странствованія“ [2]) не описываютъ никакихъ явленій, а выражаютъ только смутныя ощущенія, возбужденныя въ душѣ путешественника природою двухъ противоположныхъ временъ года. По отношенію къ нашей литературѣ, важнѣе путешествія французскаго писателя Верна, котораго соотечественники величали Стерномъ. Ихъ два: „Чувствительный путешественникъ или моя прогулка въ Ивердень“ и „Чувствительный путешественникъ по Франціи во время Робеспьера.“ [3]) Но они имѣли вліяніе не на самого Карамзина, а на его подражателей.

[1]) „Москов. Журналъ“, 1791.
[2]) Winterreise (1769), Sommerreise (1770).
[3]) Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Yverdun (1786); Le Voya-gour sentimental en France sous Robespierre.

Съ Ричардсономъ знакомились мы и чрезъ его собственные романы: „Памелу“ (1787), „Клариссу“ (1791—1792) и „Грандиссона“ (1793—94), и чрезъ французское ему подражаніе: „Новая Памела“ (1788), и чрезъ русское подражаніе французскому подражанію: „Россійская Памела, или исторія Маріи, добродѣтельной поселянки“ (1794). Авторъ послѣдней, Павелъ Львовъ, былъ часто осмѣиваемъ въ журналѣ Крылова „Зритель“, подъ именемъ Антирихардсона. На ряду съ англійскимъ романистомъ ставили у насъ Бакюлара Арно или Арно старшаго, сочиненія котораго носятъ печать меланхолическаго, подчасъ мрачнаго сентиментализма. Его повѣсти начали переходить въ нашу литературу еще съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Особенною извѣстностью пользовались: „Батильда, или торжество любви“, а потомъ „Эльвиръ“, въ переводѣ Кострова. Изъ сочиненій Стерна переведены въ 1789 г. „Письма Іорика“, а въ 1793 — „Путешествіе“; кромѣ того, въ 1801 г. изданы: „Красоты Стерна, для чувствительныхъ сердецъ“ и его же „Нравоучительныя рѣчи и нѣкоторыя нравственныя изреченія“. Другія его сочиненія вышли позже. Уваженіе къ таланту и манерѣ англійскаго юмориста доходило иногда до наивнаго паѳоса. Въ одномъ журналѣ[1]) переводъ отрывка изъ „Новаго Іорика“ сопровождается такимъ замѣчаніемъ: „*Безподобный* Стернъ! ты произвелъ многихъ подражателей, которые и чрезъ то уже имѣютъ въ глазахъ моихъ великую цѣну, что *тебѣ* подражали“. Первая часть „Новой Элоизы“ явилась еще въ 1769 г.[2]); вполнѣ этотъ романъ переведенъ два раза: 1792—93 и 1804 г. Прибавимъ, что Ѳедоръ Эминъ подражалъ „Элоизѣ“ въ „Письмахъ Эрнеста и Доравры“ (1766)[3]).

[1]) „Пріятное и полезное препровожденіе времени“.

[2]) Переводчикъ ея, гр. Павелъ Потемкинъ, перевелъ на русскій языкъ два другія сочиненія Руссо: „Разсужденіе о томъ, [illegible] и художествъ [illegible] къ исправленію нравовъ“ (1768) и „Разсужденіе о началѣ и основаніи неравенства между людьми“ (1770).

[3]) Здѣсь указаны только отдѣльныя изданія переводовъ. Но знакомство съ ними [illegible] началось, разумѣется, раньше. Переходъ чужеземнаго въ отечественную [illegible] можно представить [illegible] сначала [illegible] иностранной литературы доходитъ до свѣдѣнія людей образованныхъ, имѣющихъ возможность знакомиться съ нею на ея языкѣ, потомъ она [illegible] становится журналистикой; далѣе являются переводы ихъ сочиненій.

„Письма русскаго путешественника“, видимо, имѣли передъ собою классическій образецъ въ этомъ родѣ литературы — „Путешествіе Стерна“, котораго Карамзинъ называетъ „оригинальнымъ живописцемъ чувствительности“. Но подражать оригинальному автору возможно только при однородномъ съ нимъ талантѣ. Талантъ же Карамзина вовсе не былъ способенъ къ юмору, „озирающему міръ сквозь смѣхъ и слезы“. Цѣлостное, неразложимое сочетаніе двухъ противоположныхъ элементовъ въ одномъ юмористическомъ потокѣ даже приходилось ему не по сердцу. Онъ осудилъ драму Коцебу: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“, именно за то, что она заставляетъ зрителей въ одно и то же время и плакать и смѣяться. Такой характеръ пьесы онъ объясняетъ или отсутствіемъ вкуса въ авторѣ, или нехотѣніемъ автора подчиняться законамъ вкуса. Вслѣдствіе этого, подражаніе Стерну вышло у Карамзина одностороннимъ и неглубокимъ, хотя и нѣтъ никакого повода заподозрѣвать искренность чувствительности, разлитой по всѣмъ „Письмамъ“, и, напротивъ, есть всѣ основанія утверждать, что она вполнѣ чистосердечна, какъ естественное проявленіе, съ одной стороны, природнаго свойства его души, а съ другой — его понятія о пользѣ и необходимости этого свойства для авторской дѣятельности. Карамзинъ самъ называетъ себя въ письмахъ чувствительнымъ путешественникомъ; самъ говоритъ, что повѣсть: „Наталья боярская дочь“ (1792) написана „для однѣхъ чувствительныхъ душъ, вѣрующихъ въ симпатію сердецъ“. Изъ окончанія статьи: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“ (1793) видно, что лучшимъ качествомъ своихъ сочиненій, достойнымъ памяти потомства, онъ признавалъ отраженіе души и сердца. Однихъ талантовъ и знаній недостаточно писателю: онъ долженъ имѣть и доброе, нѣжное сердце, „если хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей, если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ, если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословенія народовъ“. Назначеніе искусства, по мнѣнію Карамзина, — распространять пріятныя впе-

---

[illegible] Но [illegible] подражаніе превращается въ переводы.

чатлѣнія „въ области чувствительнаго“. Романистъ, историкъ сообщаютъ своимъ повѣствованіямъ прелесть и силу только при дѣйствіи чувствительности: „ты хочешь быть авторомъ? читай исторію несчастій рода человѣческаго: и если сердце твое не обольется кровію — оставь перо, или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей... Однимъ словомъ: дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ“.

Изъ этой-то „области чувствительнаго“ Карамзинъ заимствовалъ сюжетъ своей повѣсти: „Бѣдная Лиза“ (1792). Въ настоящее время трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ разсказомъ, который не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго ни по интригѣ ни по развитію психологическому. Однакожъ, чрезвычайный успѣхъ повѣсти есть несомнѣнный фактъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ для сентиментальныхъ прогулокъ. Посѣтители и посѣтительницы, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибрежныхъ березахъ[1]). Одни ставили себя на мѣстѣ Эраста, другія страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славили автора или сочиняли элегіи „къ праху бѣдной Лизы“. А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! Сколько подражаній ей написано! Одинъ изъ журналовъ замѣтилъ, что, увлекаясь Карамзинымъ, наши авторы не оставили ни одного монастыря въ покоѣ. „Бѣдная Лиза“ стала забываться только съ того времени, какъ явилась Людмила Жуковскаго (1808).

Необыкновенный успѣхъ повѣсти объясняется тѣмъ, что она была первымъ талантливымъ произведеніемъ въ новомъ, сентиментальномъ направленіи повѣствовательной поэзіи. До нея уже многіе виды романа перебывали въ нашей литературѣ, постоянно слѣдовавшей за движеніемъ литературъ европейскихъ; но въ ближайшее къ ней время, какъ мы видѣли изъ отзыва Карамзина о Ричардсоновой „Клариссѣ“, стояли на виду романы героическіе. Идеаломъ ихъ служили баснословныя или, по крайней мѣрѣ, древнеисторическія

[1]) Къ отдѣльному изданію „Бѣдной Лизы“ (1797) приложена картинка, изображающая прудъ и деревья съ вырѣзанными на нихъ вензелями

личности, поднимавшіяся высоко надъ породою обыкновенныхъ смертныхъ. Разсказъ объ ихъ приключеніяхъ большею частію имѣлъ цѣль поучительную; онъ доставлялъ романисту возможность выговаривать, въ бесѣдахъ между дѣйствующими лицами, свои понятія о философіи, политикѣ, морали. Прототипомъ ихъ былъ Фенелоновъ Телемакъ, за которымъ слѣдовали: „Киропедія", „Жизнь Сиоа, царя египетскаго", „Похожденія Неоптолема, Ахиллесова сына", и многіе другіе. Къ числу оригинальныхъ сочиненій въ этомъ родѣ относятся сочиненія Өедора Эмина и Хераскова. Первый написалъ „Приключенія Өемистокла и разные политическіе, гражданскіе, философскіе, физическіе и военные съ сыномъ своимъ разговоры" (1763); второму мы одолжены двумя эпическими повѣствованіями: „Кадмъ и Гармонія" (1789) и „Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи" (1794)[1]. Вслѣдъ за этими прозаическими эпопеями надобно поставить романы, интересъ которыхъ сосредоточивался не на той или другой тенденціи, выступавшей изъ разсказа о приключеніяхъ, а на самыхъ приключеніяхъ, болѣе или менѣе запутанныхъ. Они водили своего героя — не полубога или дѣятеля глубокой старины, а простого смертнаго — по морямъ и по сушѣ, словно хитроумнаго Улисса, или заставляли его перебывать, какъ Жильблаза, въ разныхъ состояніяхъ жизни, чтобы въ первомъ случаѣ познакомить читателя съ природой и жителями чужеземныхъ государствъ, а во второмъ — съ характеромъ общественныхъ разрядовъ и званій. Карамзинъ находилъ эти романы полезными, такъ какъ они сообщаютъ публикѣ энциклопедическія познанія, преимущественно по географіи и натуральной исторіи. Въ разговорѣ съ Каменевымъ онъ утверждалъ, что „ничѣмъ больше нельзя усовершенствовать себя въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ подобныхъ книгъ". Что касается до романовъ соблазнительнаго содержанія, то они, по самому свойству изображаемыхъ лицъ и событій, не допускающихъ идеализаціи, выказывали болѣе правдоподобія, болѣе согласія съ дѣйствительною жизнью, но это достоинство не избавляло ихъ отъ другихъ важныхъ недостатковъ: цинизма сладострастныхъ картинъ, ласкатель-

[1]) [illegible] 1793–96 [illegible] 1798)

стьа животнымъ инстинктамъ и вообще легкомысленнаго отношенія къ нравственному чувству. Повѣсть А. Измайлова: „Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и общества“ (1799—1801) даетъ намъ понятіе о романахъ этого разряда. Ее нельзя пройти молчаніемъ, потому что она во многомъ отражаетъ тогдашнюю русскую жизнь извѣстныхъ классовъ общества: нѣкоторыя лица, ею очерченныя, нѣкоторыя случайности, въ ней разсказанныя, провѣряются и подтверждаются характеристикою нравовъ прошлаго столѣтія въ сатирическихъ журналахъ Екатеринина времени.

Если скандалезная хроника возмущала нравственное чувство читателей, то героическое повѣствованіе не могло вполнѣ удовлетворить ихъ ни выборомъ дѣйствующихъ лицъ, ни диковинными ихъ приключеніями, ни философскими бесѣдами, для которыхъ сюжетъ нерѣдко служилъ только рамкою. Дѣйствующія лица слишкомъ удалены отъ обыкновенной жизни по своей породѣ, общественному положенію, духовнымъ и тѣлеснымъ силамъ. Они были герои и героини, въ высшемъ значеніи этого слова, исключительные счастливцы или несчастливцы, на долю которыхъ выпадало то, что въ насущномъ быту человѣка или вовсе не является, или является какъ чудо. По ихъ чрезвычайнымъ подвигамъ нельзя было измѣрять обыкновенной исторіи человѣка, — того, въ чемъ проходятъ дни и годы цѣлыхъ поколѣній. Они не затрогивали ни чувства народности ни чувства общечеловѣчности, такъ какъ послѣдняя выражается всѣмъ извѣстными и всѣмъ доступными фактами, а не такими, какіе трудно и вообразить себѣ безъ предсказаній оракула. Не встрѣчая въ повѣсти объ ихъ похожденіяхъ близкаго себѣ интереса, читатель оставался къ нимъ равнодушенъ. Отсутствіе возможныхъ съ ними связей не вознаграждалось ни разсужденіями, часто умными и дѣльными, но часто и утомительными, ни разсѣянными по роману историко-географическими указаніями, какъ бы они ни были полезны. Большинство читающихъ ищетъ въ романѣ пріятныхъ впечатлѣній на воображеніе и чувство, а не обогащенія ума идеями и познаніями.

Мѣщанская драма и Ричардсоновы романы низвели поэтическій вымыселъ изъ надземнаго героизма въ среду ежедневно переживаемой нами жизни. Къ этому роду повѣстей относится

и „Бѣдная Лиза“. Она понравилась современному образованному классу не столько сюжетомъ и внѣшнею обстановкой, сколько внутреннимъ содержаніемъ; другими словами: въ ней выраженіе національныхъ особенностей уступаетъ выраженію общечеловѣческаго элемента. Впрочемъ, и мѣстный колоритъ соблюденъ въ ней до извѣстной степени. Мѣсто дѣйствія — Симоновъ монастырь съ его окрестностями — описано вѣрно, о чемъ свидѣтельствуетъ Каменевъ въ письмѣ къ своему казанскому пріятелю. Имя героя (Эрастъ) хотя и звучитъ романически, но взято изъ русскихъ святцевъ. Добросердечный и въ то же время вѣтреный и слабовольный, онъ легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней молодежи, какъ въ кругу молодежи всякаго времени. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что такому человѣку, начитавшемуся идиллій и романовъ и мечтавшему о природной простотѣ, понравилась миловидная крестьянка. Вещь также возможная, что и крестьянка полюбила молодого, привѣтливаго барина. Другое дѣло — образъ мыслей Лизы и ея матери, характеръ ихъ чувствъ, способъ ихъ выраженія: все это, конечно, не соотвѣтствуетъ крестьянскому быту, и съ этой стороны дѣйствующія лица не типы, а идеализація, заимствованная у пасторальной поэзіи. Но строго осуждать за то автора значило бы измѣнять требованіямъ исторической критики литературныхъ произведеній. Въ то время вымыселъ, своимъ близкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительной жизни, даже не понравился бы читателямъ. Если они, наравнѣ съ журналами, одобряли идилліи, выходившія много лѣтъ спустя послѣ „Бѣдной Лизы“ и ничѣмъ не напоминавшія русскихъ поселянъ, то что̀ имѣли возразить они противъ крестьянки, своею рѣчью и манерами напоминавшей барышню? Напротивъ, такое сходство сообщало, въ ихъ представленіи, особенную цѣну героинѣ. Недостатокъ индивидуальнаго колорита закрывался общечеловѣческимъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ повѣсти. Этотъ элементъ — чувство любви, которая отвергаетъ неравенство состояній и для которой пословица: „не въ свои сани не садись“, лишена всякаго значенія. Въ комъ это чувство проявляется естественнѣе, чище и независимѣе, къ тому и стремится симпатія читателя. Состраданіе къ судьбѣ Лизы было состраданіемъ къ человѣку, какъ человѣку, цѣнимому по его внутренней пробѣ, а не по внѣшнему клейму, которое кладутъ

на него генеалогическая роспись, общественное положеніе и другія отличія! Повѣсть возбуждала филантропическое впечатлѣніе, что и служитъ наилучшею ей похвалой. Читатели самовольно становились на сторону Лизы; никто изъ нихъ, съ гуманной точки зрѣнія, не думалъ оправдывать Эраста, хотя съ другихъ точекъ зрѣнія и можно было оправдывать, что онъ не женился на крестьянкѣ. Послѣ „Бѣдной Лизы" сентиментальное направленіе повѣствовательной поэзіи одержало верхъ надъ другими направленіями. Разсуждая о книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802), Карамзинъ говоритъ, что изъ всѣхъ родовъ книгъ больше всего расходились у насъ романы, а изъ разныхъ родовъ романа — чувствительные.

Въ повѣсти: „Наталья боярская дочь" (1792), Карамзинъ обратился за сюжетомъ къ русской старинѣ, показавъ тѣмъ, что патріотическое чувство его давно уже направлялось къ прошлому отчизны, „когда русскіе были русскими, когда они въ собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу". Несмотря, однакожъ, на описаніе нѣкоторыхъ обычаевъ до-петровскаго времени, повѣсть не можетъ быть названа „исторической" въ томъ смыслѣ, какъ теперь понимаютъ это слово. Авторъ ея только въ извѣстной, очень малой мѣрѣ поддѣлывался подъ древній колоритъ. И по характеру любви, и по ея выраженію дѣйствующія лица очень далеко отстоятъ отъ тѣхъ, которыхъ они должны были служить поэтическимъ воспроизведеніемъ, и почти незамѣтной чертой различаются отъ современниковъ и современницъ Карамзина. Повѣсть направлена, главнымъ образомъ, къ возбужденію чувствительности. Предполагая, что читатели усомнятся въ быстро зародившейся „симпатіи сердецъ, другъ для друга сотворенныхъ", Карамзинъ дѣлаетъ оговорку: „кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая назначается для однѣхъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру".

Галаховъ.

Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости.

„Все народное ничто предъ человѣческимъ, — говорилъ Карамзинъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“: — главное дѣло быть людьми, а не славянами; что выдумано французами, нѣмцами и англичанами, то мое, ибо я человѣкъ“. Впослѣдствіи Карамзинъ увидѣлъ, что все человѣческое существуетъ и можетъ обнаруживаться только въ народной формѣ, что для того, чтобы быть людьми, непремѣнно нужно принадлежать къ какому-нибудь народу, къ какому-нибудь обществу, что понятія: человѣкъ и человѣчество, суть понятія отвлеченныя, а въ дѣйствительности существуютъ французы, нѣмцы, англичане, русскіе; что хотя все, пріобрѣтенное разными народами, принадлежитъ всему человѣчеству, но не все, пріобрѣтенное однимъ народомъ, можетъ быть пригодно другому народу, ибо каждый народъ можетъ, кромѣ общихъ потребностей, имѣть другія потребности, возникающія вслѣдствіе разныхъ условій народной жизни, условій климатическихъ, историческихъ и соціальныхъ. Вслѣдствіе этого Карамзинъ, не переставая сочувствовать европейскому образованію, наукѣ, искусству, явился горячимъ проповѣдникомъ патріотизма въ своемъ разсужденіи „О любви къ отечеству и народной гордости“. Здѣсь онъ доказываетъ, что человѣкъ не можетъ жить внѣ своего народа, что онъ связанъ съ нимъ такими узами, разорвать которыя невозможно. Эти узы составляютъ тѣ формы жизни, которыя созданы почвою и климатомъ страны, религіозными и политическими учрежденіями, нравами и обычаями, которые и составляютъ народность. На основаніи этихъ коренныхъ началъ любви къ отечеству, онъ раздѣляетъ ее на три вида: физическую, нравственную и политическую. Любовь физическая есть привязанность къ мѣсту своего рожденія и воспитанія. „Сія привязанность есть общая для всѣхъ людей и народовъ; есть дѣло природы, и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не мѣстными красотами, не яснымъ небомъ, не пріятнымъ климатомъ, а плѣнительными воспоминаніями, окружающими, такъ сказать, утро и колыбель человѣчества... Лапландецъ, рожденный почти во гробѣ природы, несмотря на то, любитъ хладный мракъ земли

своей. Переселите его въ счастливую Италію: онъ взоромъ и сердцемъ будетъ обращаться къ сѣверу, подобно магниту; яркое сіяніе солнца не произведетъ такихъ сладкихъ чувствъ въ его душѣ, какъ день сумрачный, какъ свистъ бури, какъ паденіе снѣга: они напоминаютъ ему отечество! Самое расположеніе нервовъ, образованныхъ въ человѣкѣ по климату, привязываетъ насъ къ родинѣ. Не даромъ медики совѣтуютъ иногда больнымъ лѣчиться ея воздухомъ; не даромъ житель Гельвеціи, удаленный отъ снѣжныхъ горъ своихъ, сохнетъ и впадаетъ въ меланхолію; а возвращаясь въ дикій Унтервальденъ, въ суровый Гларисъ, оживаетъ. Всякое растеніе имѣетъ болѣе силы въ своемъ климатѣ: законъ природы и для человѣка не измѣняется" (166). Нравственная любовь къ отечеству возникаетъ и развивается въ той средѣ, въ которой происходятъ воспитаніе и образованіе человѣка. „Съ кѣмъ мы росли и живемъ, къ тѣмъ привыкаемъ. Душа ихъ сообразуется съ нашею; дѣлается нѣкоторымъ ея зеркаломъ; служитъ предметомъ или средствомъ нашихъ нравственныхъ удовольствій, и обращается въ предметъ склонности для сердца. Сія любовь къ согражданамъ или къ людямъ, съ которыми мы росли, воспитывались и живемъ, есть вторая или нравственная любовь къ отечеству, столь же общая, какъ и первая, мѣстная или физическая, но дѣйствующая въ нѣкоторыхъ лѣтахъ сильнѣе: ибо время утверждаетъ привычку. Надобно видѣть двухъ единоземцевъ, которые въ чужой землѣ находятъ другъ друга: съ какимъ удовольствіемъ они обнимаются и спѣшатъ изливать душу въ искреннихъ разговорахъ!... На берегахъ прекраснѣйшаго въ мірѣ озера, служащаго зеркаломъ богатой натурѣ, случилось мнѣ встрѣтить голландскаго патріота, который, по ненависти къ штатгальтеру и оранистамъ, выѣхалъ изъ отечества и поселился въ Швейцаріи, между Ніона и Роля. У него былъ прекрасный домикъ, физическій кабинетъ, библіотека; сидя подъ окномъ, онъ видѣлъ предъ собою великолѣпнѣйшую картину природы. Ходя мимо домика, я завидовалъ хозяину, не зная его; познакомился съ нимъ въ Женевѣ и сказалъ ему о томъ. Отвѣтъ голландскаго флегматика удивилъ меня своею живостію: „Никто не можетъ быть счастливъ внѣ своего отечества, гдѣ сердце выучилось разумѣть людей и образовало свои любимыя привычки. Никакимъ народомъ нельзя замѣ-

нить согражданъ. Я живу не съ тѣми, съ кѣмъ жилъ 10 лѣтъ, и живу не такъ, какъ 10 лѣтъ: трудно пріучать себя къ новостямъ, и мнѣ скучно!" (166—168). „Но физическая и нравственная привязанность къ отечеству, дѣйствіе натуры и свойствъ человѣка, не составляетъ еще той великой добродѣтели, которою славились греки и римляне. Патріотизмъ есть любовь къ благу и славѣ отечества и желаніе способствовать имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ требуетъ разсужденія, и потому не всѣ люди имѣютъ его. Самая лучшая философія есть та, которая основываетъ должности человѣка на его счастіи. Она скажетъ намъ, что мы должны любить пользу отечества, ибо съ нею неразрывна наша собственная; что его просвѣщеніе окружаетъ насъ самихъ многими удовольствіями въ жизни; что его тишина и добродѣтели служатъ щитомъ семейственныхъ наслажденій; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человѣку называться сыномъ презрѣннаго отца, то не менѣе оскорбительно и гражданину называться сыномъ презрѣннаго отечества. Такимъ образомъ, любовь къ собственному благу производитъ въ насъ любовь къ отечеству, а личное самолюбіе — гордость народную, которая служитъ опорою патріотизма" (468). Затѣмъ онъ указываетъ на главныя эпохи въ древней и новой исторіи Россіи, знаменитыя событія, подвиги и успѣхи въ наукахъ, искусствахъ и цивилизаціи, составляющіе славу Россіи и долженствующіе служить основаніемъ патріотизма, и, наконецъ, очень скромно въ заключеніе упрекаетъ русскихъ людей въ слабости патріотизма, въ недостаткѣ любви къ своему родному, особенно въ области отечественной науки, отечественнаго языка и словесности. „Расположеніе души моей, слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу; но я осмѣлюсь попенять многимъ изъ нашихъ любителей чтенія, которые, зная лучше парижскихъ жителей всѣ произведенія французской литературы, не хотятъ и взглянуть на русскую книгу. Того ли они желаютъ, чтобы иностранцы увѣдомляли ихъ о русскихъ талантахъ? Пусть же читаютъ французскіе и нѣмецкіе критическіе журналы, которые отдаютъ справедливость нашимъ дарованіямъ, судя по нѣкоторымъ переводамъ. Кому не будетъ обидно походить на Даламбертову мамку, которая, живучи съ нимъ, къ изумленію своему, услышала отъ другихъ,

что онъ умный человѣкъ? Нѣкоторые извиняются худымъ знаніемъ русскаго языка: это извиненіе хуже самой вины. Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой, живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣе гармоніею, нежели французскій; способнѣе для изліянія души въ тонахъ: представляетъ болѣе аналогическихъ словъ, т.-е. сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки! Бѣда наша, что все хотимъ говорить по-французски и не думаемъ трудиться надъ обрабатываніемъ собственнаго языка: мудрено ли, что не умѣемъ изъяснять имъ нѣкоторыхъ тонкостей въ разговорѣ? Одинъ иностранный министръ сказалъ при мнѣ, что „языкъ нашъ долженъ быть весьма теменъ, ибо русскіе, говоря имъ, по его замѣчанію, не разумѣютъ другъ друга, и тотчасъ должны прибѣгать къ французскому“. Не мы ли сами подаемъ поводъ къ такимъ нелѣпымъ заключеніямъ? Есть всему предѣлъ и мѣра: какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть самъ собою, чтобы сказать: я существую нравственно!... Патріотъ спѣшитъ присвоить отечеству благодѣтельное и нужное, но отвергаетъ рабскія подражанія въ бездѣлкахъ, оскорбительныя для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!“ (стр. 173—475).

Порфирьевъ.

Нравственное чувство въ „Исторіи“ Карамзина.

Пріятно говорить о томъ произведеніи, съ которымъ связаны для меня, какъ и для многихъ, дорогія воспоминанія дѣтства: по „Исторіи Государства Россійскаго“ мы знакомились съ тѣмъ, что совершалось въ давніе годы; въ ней находили мы уроки высокой нравственности: учились любить родную землю, любить добро, ненавидѣть зло, презирать ложь, лесть и коварство; въ живыхъ образахъ являлись намъ и великіе подвиги и позорныя дѣянія; яркіе образы запечатлѣвались въ памяти и на всю жизнь становились свѣтлыми маяками. Каждый изъ насъ, кто занялся исторіей своей страны, занялся, можетъ-быть, и потому отчасти, что

Впервые онъ познакомился съ нею въ высоко-художественномъ разсказѣ Карамзина, и въ позднѣйшіе годы, много разъ обращаясь къ знакомымъ страницамъ, находилъ здѣсь поученія другого рода: учился, какъ относиться къ источникамъ, какъ ихъ находить, какъ ихъ изучать. Провѣряя Карамзина по источникамъ, каждый убѣждался въ томъ, что если теперь и есть успѣхъ въ занятіяхъ русскою исторіей, то самый успѣхъ этотъ зиждется, какъ на твердомъ основаніи, на великомъ твореніи Карамзина; каждая новая попытка возсоздать въ цѣломъ прошедшую судьбу русскаго народа была только новымъ доказательствомъ недосягаемаго величія „Исторіи Государства Россійскаго" — этой единственной исторіи въ полномъ смыслѣ слова, какую только имѣетъ Русская земля.

Не думая, чтобы кому-нибудь изъ людей, хорошо знающихъ „Исторію Государства Россійскаго (а кто изъ людей сколько-нибудь образованныхъ не знаетъ ея?), показалось страннымъ то мнѣніе, что трудно найти въ какой-либо литературѣ произведеніе болѣе благородное. Оно благородно сочувствіемъ ко всему великому въ природѣ человѣческой, благородно отвращеніемъ отъ всего низкаго и грубаго. IX томъ Исторіи Карамзина служитъ лучшимъ доказательствомъ, что авторъ не останавливался ни передъ какими соображеніями, если хотѣлъ высказать все свое негодованіе: мягкій, снисходительный, любящій, Карамзинъ умѣлъ быть неумолимъ, когда встрѣчался съ явленіемъ, возмущающимъ его душу; вспомните, съ какимъ негодованіемъ онъ относится къ Грозному, съ какимъ презрѣніемъ къ его окружающимъ. Я выбралъ самый рѣзкій примѣръ, а такихъ примѣровъ можно найти множество. Карамзинъ не проходитъ ни одного позорнаго дѣянія, чтобы не выразить къ нему своего отвращенія; зато посмотрите, съ какою любовью онъ останавливается на каждомъ свѣтломъ лицѣ, на каждомъ доблестномъ подвигѣ: какъ ярко выходитъ защита Владиміра отъ татаръ, Куликовская битва; какъ онъ изображаетъ митрополита Филиппа, Владиміра Мономаха и т. д. Въ нравственномъ чувствѣ Карамзина есть одна высокая сторона, доступная немногимъ: для него не существуетъ Бренново „vae victis!"; онъ понимаетъ законность борьбы, историческое значеніе побѣды; но съ сожалѣніемъ, съ участіемъ

останавливается на участи побѣжденнаго его плачь о паденіи Новгорода, по изящному краснорѣчію высокаго нравственнаго чувства, достоинъ стать на ряду съ лѣтописнымъ плачемъ о паденіи Пскова. Карамзинъ, какъ и лѣтописецъ (Карамзинъ, разумѣется, еще больше лѣтописца), понимаетъ нравственную неправду, погубившую Новгородъ и Псковъ; но ни тотъ ни другой не могъ воздержать своего сожалѣнія. Карамзинъ еще, сверхъ того, понимаетъ государственную необходимость; если сердцемъ онъ сожалѣетъ о Новгородѣ, то по разуму онъ на противной сторонѣ. Въ наше время считаютъ, и совершенно основательно, неумѣстнымъ вмѣшательство личнаго чувства; но, вспомнивъ, какое сильное воспитательное дѣйствіе имѣли эти выраженія личнаго чувства на нравственное развитіе нѣсколькихъ поколѣній, удержимся осуждать ихъ. Когда-то было въ модѣ нападать на сентиментализмъ, введенный въ русскую литературу Карамзинымъ; но нападающіе забывали, при какихъ обстоятельствахъ это направленіе зародилось въ Германіи и перешло къ намъ: и тамъ и здѣсь господствовала ужасающая грубость нравовъ (когда-нибудь исторія разберетъ, гдѣ ея было больше, и гдѣ она болѣе извинительна: въ ученой ли Германіи, или на границахъ степей киргизскихъ); поколѣніе, воспитанное Карамзинымъ, уже не могло повторить Куролесова или Салтычиху; по крайней мѣрѣ, оно значительно смягчило эти типы. Извѣстная доля преувеличенія, неизбѣжная у всякаго новообращеннаго, перешедшая у послѣдователей Карамзина въ смѣшную крайность, у него самого съ годами смягчилась, а высокое чувство нравственное оставалось. *Бестужевъ-Рюминъ.*

Самъ авторъ обозначилъ направленіе своей „Исторіи“, поднося ее императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ. Вотъ слова его: „Я писалъ съ любовію къ отечеству, ко благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности“.

Нравственный уставъ господствуетъ у него надъ всѣми другими законами и побужденіями. Онъ проходитъ по всей исторической ткани яркою нитью, не умѣряемый въ строгости даже государственными требованіями. Что въ одина-

ковой силѣ обязательно для каждаго человѣка, къ тому Карамзинъ и питаетъ особенное уваженіе. На этомъ пунктѣ историкъ и публицистъ сошлись въ немъ самымъ дружнымъ образомъ. Какъ „Вѣстникъ Европы“ не признавалъ Наполеона героемъ, потому что не находилъ *героизма добродѣтели* въ его дѣйствіяхъ, такъ и „Исторія“, въ характеристикахъ древне-русскихъ князей и царей, съ особенною любовью останавливается на добродѣтельныхъ подвигахъ, даетъ имъ первое мѣсто, а не подчиняетъ ихъ какимъ-либо инымъ заслугамъ. Только та политика одобряется ею, которая согласна съ чувствомъ естественной справедливости. Хотя Карамзинъ и цитируетъ слова Цицерона: „вѣкъ извиняетъ человѣка“; хотя между апофоегмами, разсѣянными въ его историческомъ трудѣ, мы и встрѣчаемъ мысль, что „самые великіе люди дѣйствуютъ согласно съ образомъ мыслей и правилами вѣка“: однакожъ, призывая мертвыхъ къ суду, онъ выговаривалъ его на основаніи тѣхъ самыхъ положеній, которыя неуклонно примѣнялъ и къ своимъ современникамъ. Передъ его нравственными требованіями были равны всѣ времена и народы, всѣ разряды общества, подвластные и власть имѣющіе. Верховное значеніе этихъ требованій положительно выражено при оцѣнкѣ дѣйствій Калиты. Хваля его за утвержденіе великокняжеской власти, историкъ не прощаетъ ему смерти Александра Тверского: „правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ и служатъ основаніемъ истинной политики“. Съ дурнымъ поступкомъ не мирили его ни похвальная цѣль, ни успѣшное достиженіе цѣли, ибо, говоритъ онъ, „отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствія отъ Бога“, — и потому „судъ исторіи не извиняетъ и самаго счастливаго злодѣйства“. Тѣ же мысли повторены по случаю Казимирова умысла убить или отравить Іоанна III: „никогда выгода государственная не можетъ оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами“.

Итакъ, передъ лицомъ нравственнаго закона всѣ люди равноправны. Исторія, имъ вооруженная, ставитъ важнѣйшимъ величіемъ дѣятелей служеніе добродѣтели, важнѣйшимъ ихъ преступленіемъ измѣну добродѣтели Съ этой

точки зрѣнія Карамзинъ судитъ неуклонно строго. Особенной строгости подвергся Іоаннъ Грозный. По объясненіямъ историка, конецъ счастливыхъ дней Грознаго наступилъ въ то время, когда онъ лишился не только супруги, „но и добродѣтели“: Анастасія, вмѣстѣ съ Сильвестромъ и Адашевымъ, питала въ немъ любовь „къ святой нравственности“. Адашевъ величается мужемъ незабвеннымъ въ нашей исторіи, „красою вѣка и человѣчества“: двоякая похвала — и относительная, воздаваемая человѣку извѣстной эпохи, и безотносительная, сохраняющая свою цѣнность для всѣхъ возможныхъ эпохъ. Подвигъ митрополита Филиппа заслужилъ ему славу такого героя, знаменитѣе котораго, какъ говоритъ историкъ, не представляетъ ни древняя ни новая исторія, ибо „умереть за добродѣтель есть верхъ человѣческой добродѣтели“. Карамзинъ жалѣетъ о Курбскомъ, какъ о злополучномъ мужѣ, лишившемъ себя главнаго утѣшенія въ бѣдствіяхъ — „внутренняго чувства добродѣтели“. Имя же „добродѣтельнаго“ слуги его, Шибанова, сочтено достойною принадлежностію исторіи. Та же мѣрка прилагается къ Годунову, Лжедимитрію, Шуйскому и событіямъ междуцарствія. Ни одно противонравственное дѣло не оставлено безнаказаннымъ. При описаніи блистательныхъ свойствъ Годунова, Карамзинъ даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію, почему проклятіе вѣковъ заглушило въ потомствѣ добрую его славу: „превосходя всѣхъ вельможъ дарованіями, Борисъ *не имѣлъ только... добродѣтели;* видѣлъ въ ней не цѣль, а средство къ достиженію цѣли; не могъ одолѣть искушеній тамъ, гдѣ зло казалось для него выгодою“. Ошибочныя распоряженія Бориса во время успѣховъ самозванца вновь подтверждаютъ извѣстную истину, „сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совѣстію, и какъ хитрость, чуждая добродѣтели, запутывается въ собственныхъ сѣтяхъ“. Ни эта хитрость, ни правительственный умъ не обольщаютъ Карамзина: они были для него темною силой, направленной къ личнымъ интересамъ. Въ Годуновѣ онъ чуялъ нечистую личность, не столько явными уликами, сколько сердечнымъ удостовѣреніемъ открывая въ благовидности его дѣйствій неблагое ихъ значеніе, въ соблюденіи законныхъ формъ беззаконность содержанія. И потому исторія этого царствованія заключена строгимъ приговоромъ: „Имя Годунова, одного изъ разумнѣйшихъ

властителей міра, въ теченіе столѣтій было и будетъ произносимо съ омерзѣніемъ, *во славу нравственнаго, неуклоннаго правосудія*. Потомство видитъ вездѣ личину добродѣтели, — и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здравой? Но *сей яркій для ума блескъ гладенъ для сердца*, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны". Далѣе, измѣна Басманова, „честолюбца безъ чести", его переходъ на сторону „державнаго пришлеца", какъ энергически Карамзинъ называетъ самозванца, даетъ исторіи поводъ заявить нетвердость того, что противно нравственности: „Басмановъ, — говоритъ она, — не зналъ, что сильные духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія". Отъ Шуйскаго историкъ не ожидалъ ничего великаго, потому что онъ могъ быть только вторымъ Годуновымъ: „лицемѣромъ, а не *героемъ добродѣтели, которая бываетъ главною силою и властителей народовъ и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ*". Одна изъ такихъ опасностей наступила для нашего отечества въ междуцарствіе: „Россія гибла и могла быть спасена только Богомъ и собственною *добродѣтелью*".

Галаховъ.

Патріотическое чувство въ „Исторіи" Карамзина.

Любя хорошее вездѣ, Карамзинъ преимущественно любилъ его въ Россіи. „Чувство: *мы, наше*, — говоритъ онъ въ предисловіи къ „Исторіи", — оживляетъ повѣствованіе и какъ грубое пристрастіе, слѣдствіе ума слабаго или души слабой, несносно въ историкѣ, такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души". „Для насъ, русскихъ съ душою, — писалъ онъ къ Тургеневу — одна Россія самобытна, одна Россія истинно существуетъ; все иное есть только отношеніе къ ней, мысль, привидѣніе. Мыслить, мечтать мы можемъ въ Германіи, Франціи, Италіи, а дѣло дѣлать единственно въ Россіи, или нѣтъ гражданина, нѣтъ человѣка, есть

только двуножное животное съ брюхомъ". „Истинный космополитъ, — говоритъ онъ въ предисловіи къ „Исторіи", — есть существо метафизическое, или столь необыкновенное явленіе, что нѣтъ нужды говорить о немъ, ни хвалить ни осуждать его. Мы всѣ граждане, въ Европѣ и въ Индіи, въ Мексикѣ и въ Абиссиніи; личность каждаго тѣсно связана съ отечествомъ: любимъ его, ибо любимъ себя". Слова эти не оставались только *словами:* истинный патріотизмъ, состоящій не въ томъ, чтобы безъ разбора хвалить все, особенно то, что̀ льститъ вкусу дня, не разбирая того, какой день — дни вѣдь бываютъ разные, а въ томъ, чтобы по совѣсти сказать правду, — такой патріотизмъ въ высокой степени отличалъ Карамзина: надо было много любить Россію, чтобы написать обѣ его безсмертныя записки, изъ которыхъ каждая была подвигомъ гражданскаго мужества. Многіе смотрятъ на „Записку о древней и новой Россіи" съ той точки зрѣнія, что Карамзинъ слишкомъ стоитъ за учрежденія, отживавшія свой вѣкъ: въ этомъ винить его нельзя, ибо онъ все-таки былъ человѣкомъ своего времени и тогда уже человѣкъ довольно пожилой (ему было 47 лѣтъ, а въ эти годы люди уже рѣдко мѣняются); да еще надо прибавить, что во многихъ случаяхъ онъ былъ правъ: новыя учрежденія не всегда были лучше старыхъ. Надо помнить также, что *исторія* воспитала въ Карамзинѣ осторожную медленность при всякихъ постройкахъ и ломкахъ.

Въ „Исторіи" патріотическое чувство Карамзина сказалось чрезвычайно ярко, и сказалось такъ, что невольно сообщается читателю: онъ страдаетъ во время ига татарскаго, торжествуетъ освобожденіе отъ него, тяготится временемъ Грознаго, негодуетъ на Шуйскаго. Высокій художественный талантъ Карамзина не подлежитъ никакому сомнѣнію; но никакой талантъ не въ состояніи увлечь до такой степени, если бы писатель самъ не чувствовалъ того, что̀ онъ внушаетъ. Только любви дается эта способность живого представленія, только живя сердцемъ въ изображаемую эпоху, можно перенести въ нее другого.

Конечно, Карамзинъ не всѣ явленія понималъ такъ, какъ ихъ теперь понимаютъ; да все ли хорошо понимаютъ его возражатели, такъ ли они безошибочны, какъ это многимъ кажется? Не надо забывать, какой громадный трудъ принялъ

на себя Карамзинъ и какъ онъ много сдѣлалъ, и много сдѣлалъ именно потому, что *любилъ*. Положимъ, что въ свои лица онъ влагалъ кое-что свое, и что теперь исторія старается и должна стараться представлять то, что было, а не то, что могло быть; но это теперь. А если мы вспомнимъ, что Карамзинъ первый оживилъ столько лицъ, которыя до него казались мрачными тѣнями, и оживилъ именно потому, что въ силу своего патріотическаго чувства отказался отъ прежней мысли сократить древнюю исторію, то и этотъ упрекъ долженъ замереть. Самъ Карамзинъ хорошо понималъ, что первое требованіе отъ историка есть истина. „Не дозволяя себѣ никакихъ изобрѣтеній, — говоритъ онъ, — я искалъ выраженій въ умѣ моемъ, а мыслей единственно въ памятникахъ; искалъ духа и жизни въ тлѣющихъ хартіяхъ", и прибавимъ отъ себя, нашелъ. Но въ пониманіи прошлаго ничто не дается сразу, истина не бываетъ абсолютною: ее достигаютъ постепенно, и каждое новое поколѣніе прикладываетъ свое къ наслѣдству отцовъ.

Бестужевъ-Рюминъ.

Основная идея *Исторіи* Карамзина.

„Исторія Государства Россійскаго" есть исторія государственная, какъ видно изъ самаго ея названія. Она повѣствуетъ объ установленіи государственнаго порядка въ Россіи. По отношенію къ этому предмету и въ связи съ нимъ разсматриваются важнѣйшія явленія древней Руси, какъ послѣдовательныя ступени, ведшія къ рѣшенію главнаго вопроса, къ уразумѣнію того, какъ началась и кончилась наша государственность, какъ въ землѣ русскихъ славянъ, великой и обильной, но не имѣвшей порядка, выработался прочный государственный порядокъ.

Но „порядка нѣтъ безъ власти самодержавной", говоритъ Холмскій новгородцамъ въ „Марѳѣ Посадницѣ". Слова московскаго воеводы выражаютъ мысль Карамзина о направленіи нашей исторіи, указываютъ ту идею, которая, по его взгляду, обнаруживается рядомъ русскихъ событій. Извѣстно, что онъ началъ историческій трудъ свой вскорѣ послѣ упомянутой повѣсти. Къ тому, что имѣли открыть

ему русскія лѣтописи, присоединилось и то, что уже было ему извѣстно изъ современныхъ событій, въ особенности изъ самаго крупнаго — французской революціи. Если, говоря словами автора, „исторія есть изъясненіе настоящаго“, то и настоящее служитъ къ разъясненію исторіи, дополняя собою свѣдѣнія, найденныя въ письменныхъ памятникахъ, и подтверждая вѣрность выводовъ о значеніи прошлаго. Не надобно терять изъ виду, что начало исторической работы Карамзина отдѣляется немногими годами отъ конца французскаго переворота. Онъ самъ хорошо помнилъ это, даже въ то время, когда двѣ трети его труда были совсѣмъ готовы. Излагая пользу исторіи для правителей и законодателей, Карамзинъ пишетъ въ предисловіи (1815): „Должно знать, какъ искони *мятежныя страсти* волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастіе“. Хотя въ этихъ строкахъ и нѣтъ прямого указанія на историческую годину, т.-е. на время революціи, которая явила міру *наибольшій мятежъ страстей,* но оно безспорно подразумѣвается. Прямое указаніе отнесено къ характеристикѣ Грознаго. Здѣсь авторъ, снова касаясь пользы исторіи, говоритъ: „не исправляя злодѣевъ, исторія предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможныя, ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданскаго образованія“. Въ примѣчаніи къ послѣднимъ словамъ читаемъ: „смотри исторію французской республики“.

Итакъ, установленіе порядка невозможно безъ самодержавія. Самодержавіе даруетъ государству единство, могущество, независимость и гражданское образованіе всѣ принадлежности благоустроеннаго общества. Таковъ *государственный уставъ* Карамзина. И его „Исторія“ неотступно слѣдитъ за осуществленіемъ этого устава въ нашемъ отечествѣ. Главными моментами древне-русской жизни служатъ тѣ явленія, которыми выказался наибольшій успѣхъ въ стремленіи къ означенной цѣли. Обозрѣвая ходъ событій съ этой точки зрѣнія, „Записка о древней и новой Россіи“ различаетъ на историческомъ пути нашемъ три періода: „Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спаслась самодержавіемъ“. „Исторія“ въ подробности знакомитъ насъ

съ тѣмъ, что слегка намѣчено сжатою формулою: она излагаетъ содержаніе каждаго періода съ его существенными отличіями. Вотъ какъ развивается свитокъ нашей исторіи. *Первымъ счастливымъ періодомъ* было правленіе Ярослава I, когда „Россія, рожденная, возвеличенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ“. *Несчастнѣйшій* же *періодъ* простирается отъ Василія Ярославича до Калиты, когда Россія утратила главныя государственныя блага — единовластіе и независимость. Имена князей, которыхъ усилія въ это время были направлены къ возвращенію утраченнаго, заслуживаютъ похвалу историка: Андрей Боголюбскій, явно стремившійся „къ спасительному единовластію“; Всеволодъ III, подобно ему напоминавшій Россіи „счастливые дни единовластія“. Іоаннъ Калита указалъ своимъ преемникамъ путь *къ лучшей системѣ правленія*. Усиленіе Москвы возвысило княжескую власть въ отношеніи къ народу, а съ тѣмъ вмѣстѣ понизило прежнюю важность бояръ: *рождалось самодержавіе*. „Глубокомысленная политика князей московскихъ, — замѣчаетъ „Записка“, — не удовольствовалась собраніемъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо и единовластіе усилить самодержавіемъ“. Іоанну III суждено было совершить два великіе подвига: и освободить Россію отъ татаръ, и *водворить единовластіе неограниченное, или самодержавіе*. Съ его времени ведетъ свое начало новый и весьма важный моментъ: „исторія наша принимаетъ достоинство истинно государственной“. Потому-то Карамзинъ изображаетъ Іоанна великимъ монархомъ, „достойнѣйшимъ жить и сіять въ святилищѣ исторіи“.

Безграничное повиновеніе русскихъ своему государю имѣетъ историческія причины: оно, говоритъ Карамзинъ, есть слѣдствіе системы правленія. Приводя слѣдующее мѣсто изъ дневника Герберштейна: „не знаю, свойство ли народа требовало для Россіи такихъ самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство“, „Исторія Государства Россійскаго“ рѣшаетъ недоумѣніе иностранца положительнымъ образомъ: „Безъ сомнѣнія *было*, чтобы Россія спаслась и была великою державою. Два государя, Іоаннъ и Василій, умѣли навѣки рѣшить судьбу нашего правленія и сдѣлать самодержавіе какъ бы необходимою принадлежностію

Россіи, единственнымъ уставомъ государственнымъ, единственною основою цѣлости ея, силы, благоденствія". Возможныя злоупотребленія самодержавной власти не были сокрыты и пощажены Карамзинымъ въ исторіи Грознаго, но не заставили его нимало усомниться въ истинѣ своего убѣжденія. Несчастіе Іоанна IV состояло въ томъ, что онъ лишился добродѣтели. Онъ измѣнилъ свое поведеніе относительно подданныхъ, но они не измѣнились въ отношеніи къ нему: „они гибли, но спасли для насъ могущество Россіи, ибо сила народнаго повиновенія есть сила государственная". Во имя неприкосновенности государственнаго устава нашего (самодержавія), авторъ „Записки" строго осуждаетъ убійство Лжедмитрія: „Самовольныя управы народа бываютъ для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе нравственное къ сану властителей".

Галаховъ.

„Исторія Государства Россійскаго", какъ выразительница народнаго самосознанія.

Всматриваясь внимательнѣе въ нравственный обликъ Ломоносова, мы найдемъ не одну общую черту съ нравстенным̆ъ обликомъ великаго преобразователя и другихъ сильныхъ по своей природѣ людей, которые выдвинулись въ эту эпоху. То было трудное для русскаго человѣка время, когда, схваченный бурей переворота, онъ былъ поднятъ на высоту, съ которой увидѣлъ обширное, прежде неизвѣстное ему пространство, наполненное множествомъ новыхъ для него предметовъ. Съ благородною жадностію, признакомъ народной силы, русскій человѣкъ бросился на всѣ эти предметы, желая все захватить себѣ. Учиться, учиться! Какъ можно скорѣе пріобрѣтать всякаго рода знанія; пріобрѣтать умѣнье, искусство во всемъ, чтобы поскорѣе догнать народы, далеко насъ опередившіе, чтобы не бояться ихъ, удвоивъ свою силу искусствомъ, — вотъ призывъ, который раздавался въ эпоху преобразованія и будилъ русскихъ людей къ дѣятельности; вотъ призывъ, на который отозвался геніальный сынъ хол-

моторскаго рыбака, пришелъ въ Москву и, взрослый, сѣлъ на школьную скамью, несмотря на насмѣшки своихъ маленькихъ товарищей. Здѣсь Ломоносовъ былъ полнымъ представителемъ русскаго народа, который воспитался вдали отъ общества образованныхъ народовъ, въ нуждѣ, въ черномъ тѣлѣ, въ борьбѣ со всевозможными лишеніями и препятствіями, поздно долженъ былъ сѣсть на школьную скамью, но не отчаялся въ успѣхѣ, не смутился отъ недоброжелательства и насмѣшекъ. И какое сходство между этимъ взрослымъ крестьяниномъ, пришедшимъ съ конца свѣта, чтобы сѣсть на школьную скамью, и этимъ русскимъ царемъ, который, притаившись въ углу западной Европы, учится такъ строить корабли! Странны были эти русскіе люди эпохи преобразованія, странны были для современниковъ чужеземныхъ и для своего потомства, когда предстаютъ предъ нимъ въ неукрашенномъ видѣ, предстаютъ съ этою поразительною двойственностію, одинаково рѣзко выдающимися бѣлою и черною стороной своего характера своей дѣятельности, представляютъ очень хорошими и вмѣстѣ очень дурными людьми; но и современниковъ поражали и потомство всего больше поражаютъ въ этихъ людяхъ сила и величіе.

И надобна была этимъ людямъ большая сила, когда работы было такъ много, когда, слѣдствіе отсутствія раздѣленія занятій, одинъ сильный человѣкъ долженъ былъ дѣлать много разныхъ дѣлъ; и вотъ при торжествѣ Ломоносовскаго юбилея два факультета соединенными силами должны были изображать дѣятельность одного человѣка.

Наступила вторая половина XVIII вѣка, и обнаружилась перемѣна, которая незамѣтно приготовилась въ живомъ, постоянно развивающемся обществѣ. Русскіе люди уже успѣли осмотрѣться, разобраться въ томъ, что̀ дала имъ эпоха преобразованія; расширеніе умственной сферы, возбужденіе дѣятельности чрезъ знакомство съ произведеніями духовной дѣятельности другихъ народовъ принесли свои плоды. Явилась литература, въ которой русскій человѣкъ сталъ высказывать свои взгляды на явленія своей и чужой жизни, сталъ высказывать свои потребности. Потребности уже были не тѣ, что въ первую половину вѣка; тогда, въ первую половину вѣка, производилась усиленная первоначальная черная работа подъ предводительствомъ великаго рабочаго,

великаго плотника, у котораго съ рукъ не сходили мозоли. Нуждались въ предметахъ первой необходимости для государственной и общественной жизни. Производились усиленные наборы русскихъ людей во всякаго рода работу; набирали солдатъ, матросовъ, рабочихъ для постройки городовъ, кораблей, для рытья каналовъ; набирались молодые люди въ ученье, однихъ разсылали по внутреннимъ только что заведеннымъ школамъ, другихъ отправляли за границу учиться и правамъ, и торговлѣ, и кораблестроенію и разнымъ ремесламъ. Великіе результаты были достигнуты этою тяжелою работой, этимъ страшнымъ напряженіемъ силъ: среди европейской семьи народовъ явился новый народъ, новое могущественное государство.

„Этого недостаточно!" сказали русскіе люди второй половины XVIII вѣка. Это только первоначальная работа; это остовъ, зданіе вчернѣ, безъ всякой отдѣлки, это только внѣшнее, а намъ нужно внутреннее; это только тѣло, а гдѣ же душа? Насъ учатъ, чтобы хорошо исполнить ту или другую работу, исправлять ту или другую должность; но не учатъ тому, чтобы быть хорошимъ человѣкомъ, гражданиномъ; насъ учатъ, а не воспитываютъ. „Самое надежное средство сдѣлать людей лучшими, это — усовершенствоване воспитанія", объявила Екатерина II въ своемъ наказѣ; и это положеніе преимущественно развивалось въ русской литературѣ второй половины XVIII вѣка. „Одинъ только украшенный или просвѣщенный науками разумъ, — говорилъ Бецкій, — не дѣлаетъ еще добраго, прямого гражданина, но во многихъ случаяхъ паче во вредъ бываетъ, если кто отъ самыхъ нѣжныхъ юности своей лѣтъ воспитанъ не въ добродѣтеляхъ, и твердо оныя въ сердце его не вкорены". Лучшія лица комедій Фонвизина, проводники мыслей автора, повторяютъ основную мысль вѣка: „Имѣй сердце, имѣй душу, и будешь человѣкомъ во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знанія мода. Прямое достоинство въ человѣкѣ есть душа; безъ нея просвѣщеннѣйшій умница — жалкая тварь. Умъ, коль онъ только что умъ, самая бездѣлица. Прямую цѣну уму даетъ благонравіе. Наука въ развращенномъ человѣкѣ есть лютое оружіе дѣлать зло". Какъ обыкновенно бываетъ, высказавши новую потребность, новую цѣль, высказавши, что эта потребность не была удовлетворена, цѣль

не была достигнута въ первую половину XVIII вѣка, нѣкоторые естественно обратились къ предшествовавшему времени съ упрекомъ, съ враждой; не могли понять, что первая половина вѣка удовлетворяла свои потребности и этимъ удовлетвореніемъ дала возможность второй половинѣ вѣка сознать новую потребность и удовлетворять ей; стали упрекать дѣятелей эпохи преобразованія въ торопливости и нетерпѣніи, зачѣмъ захотѣли сдѣлать въ нѣсколько лѣтъ то, на что потребны вѣка. Въ этихъ упрекахъ не замѣчали собственнаго противорѣчія, ибо въ то же время упрекали дѣятелей эпохи преобразованія, зачѣмъ они не поспѣшили удовлетворить двумъ потребностямъ заодно, зачѣмъ они повиновались закону исторической послѣдовательности, начиная со внѣшняго; не замѣчали, что въ созиданіи внѣшняго, въ приготовленіи средствъ матеріальнаго благосостоянія можно торопиться, можно торопиться обученіемъ войска, постройкой кораблей, гаваней, прорытіемъ каналовъ, заведеніемъ фабрикъ, но смягченія нравовъ вдругъ произвести нельзя, для этого потребно продолжительное время; не замѣчали естественнаго и необходимаго преемства задачъ народной жизни, и вступили въ споръ съ предшествовавшимъ временемъ, упрекая его, зачѣмъ оно не сдѣлало всего, зачѣмъ не сдѣлало именно того, что только теперь можно и должно было дѣлать? Но такъ обыкновенно бываетъ при поворотѣ народовъ отъ одного начала къ другому; трудно работать двумъ началамъ: одно возлюбятъ, другое возненавидятъ. Какъ первая половина XVIII вѣка враждебно относилась къ допетровской Руси, такъ вторая половина вѣка стала враждебно относиться къ первой его половинѣ: явленіе тѣмъ болѣе понятное, что исторія, примирительница вѣковъ, не имѣла еще тогда средствъ къ этому примиренію.

Исторія... Какой народъ не хочетъ знать, не хочетъ имѣть своей исторіи? Древняя допетровская Россія оставила много лѣтописей, погодныхъ записокъ о важнѣйшихъ событіяхъ, оставила громадное количество правительственныхъ и судебныхъ актовъ — богатый матеріалъ для исторіи, но не оставила исторіи; были попытки извлечь изъ лѣтописнаго матеріала что-нибудь для удовлетворенія любознательности русскаго человѣка, слышался какой-то безсвязный дѣтскій лепетъ, и только. Петръ, заказывавшій переводить на русскій языкъ книги по

разнымъ отраслямъ знаній, не забывая и книгъ историческихъ, не могъ этого сдѣлать относительно русской исторіи: иностранцы ею не занимались. Петръ заказалъ написать русскую исторію извѣстному въ его время русскому ученому Поликарпову. Поликарповъ написалъ неудовлетворительно. Петръ увидѣлъ, что исторія не корабль, на заказъ не дѣлается. Петръ долженъ былъ обратиться къ лѣтописямъ, читалъ ихъ и спрашивалъ у Ѳеофана Прокоповича: „Когда увидимъ мы полную русскую исторію?“ На этотъ вопросъ Прокоповичъ не могъ дать отвѣта. Въ исторіи выражается народное самопознаніе, а самопознаніе есть вѣнецъ знанія: можно ли же было ожидать вѣнца знанія въ то время, когда знаніе было еще только въ зародышѣ? Нужно было ограничиться приготовленіемъ матеріаловъ къ написанію исторіи. Петръ велѣлъ собрать лѣтописи изъ монастырей; велѣлъ составить и самъ исправлялъ лѣтопись собственнаго царствованія; одинъ изъ птенцовъ Петра, Татищевъ, составилъ сводъ лѣтописи съ обширнымъ введеніемъ и примѣчаніями; ученые иностранцы разрабатывали отдѣльные вопросы и продолжали собирать матеріалы. Но такая послѣдовательная и медленная работа не удовлетворяла: имѣя передъ глазами чужіе образцы, естественно забѣгали впередъ, повторяли вопросъ Петра Великаго: „Когда увидимъ мы полную русскую исторію?“ Шуваловъ заказалъ русскую исторію первому таланту времени — Ломоносову; но, хотя Ломоносовъ и не былъ Поликарповымъ, однако, и тутъ оказалось, что исторія не торжественная ода, на заказъ не пишется.

Сильное движеніе русской мысли, ознаменовавшее вторую половину XVIII вѣка, или, точнѣе, царствованіе Екатерины II, не могло не повести къ возбужденію народнаго самопознанія, не могло не приготовить, такъ сказать, духовныхъ средствъ для исторіи. Мы уже видѣли, какіе вопросы были поставлены лучшими умами, какіе у второй половины вѣка начались счеты съ первою его половиной — ясный признакъ возбужденнаго самопознанія. На этихъ счетахъ не остановились: объявивъ свое несочувствіе къ направленію первой половины XVIII вѣка, люди второй его половины естественно обратили вниманіе на древнюю, допетровскую Россію, что необходимо уничтожало прежнюю односторонность. Русскіе люди первой половины XVIII вѣка говорили, что дѣятельностію преобразователя они

были приведены изъ небытія въ бытіе; русскіе люди второй половины вѣка объявили, что это бытіе ихъ не удовлетворяетъ, и отсюда естественно пришли къ вопросу: то, что называлось небытіемъ, дѣйствительно ли было небытіе? не было ли это бытіе, непризнанное только людьми эпохи преобразованія, и непризнанное несправедливо? Несочувствіе къ эпохѣ преобразованія естественно возбуждало сочувствіе къ тому времени, къ которому эта эпоха была враждебна. Тутъ были увлеченія, ошибки и крайности; но, съ другой стороны, сдѣланъ былъ важный шагъ впередъ: новая Россія уже не заслоняла древней, и движеніе пошло усиленно. Умный, неутомимый и добросовѣстный Щербатовъ прошелъ по древней русской исторіи, прокладывая дорогу послѣдующимъ писателямъ, останавливаясь на каждомъ любопытномъ явленіи, стараясь, иногда въ нѣсколько пріемовъ, уяснить его смыслъ. Даровитый Болтинъ, руководимый господствующимъ взглядомъ времени, поднялъ вопросъ объ отношеніи древней Россіи къ новой; мало того, поднялъ вопросъ объ отношеніи русской исторіи къ исторіи западныхъ европейскихъ государствъ. Если въ первую половину XVIII вѣка было начато матеріальное приготовленіе къ написанію русской исторіи, то во вторую половину вѣка было сдѣлано приготовленіе духовное, и въ первой четверти XIX вѣка явилась *Исторія Государства Россійскаго* Карамзина.

Какъ же выразилось въ этомъ произведеніи русское народное самопознаніе? Какая основная мысль труда?

Мысль русскаго человѣка, мысль славянина, должна была остановиться прежде всего на томъ явленіи, что изъ всѣхъ славянскихъ народовъ народъ русскій одинъ образовалъ государство, не только не утратившее своей самостоятельности, какъ другія, но громадное, могущественное, съ рѣшительнымъ вліяніемъ на историческія судьбы міра. Что такое племя, что такое народъ безъ государства? Матеріалъ нестройный, безформенный матеріалъ (rudis indigestaque moles); только въ государствѣ народъ заявляетъ свое историческое существованіе, свою способность къ исторической жизни, только въ государствѣ становится онъ политическимъ лицомъ, съ своимъ опредѣленнымъ характеромъ, съ своимъ кругомъ дѣятельности, съ своими правами. Первое, драгоцѣннѣйшее благо государства есть независимость, самостоятельность, потомъ

возможность заявить свое существованіе въ болѣе или менѣе широкой дѣятельности, участвовать въ общей жизни значительнѣйшихъ государствъ, лучшихъ представителей человѣчества. Это сознаніе единственнаго славянскаго государства, полноправнаго, пользующагося главными благами историческаго существованія, самостоятельностію и великимъ значеніемъ среди другихъ государствъ, это сознаніе вполнѣ отразилось въ *Исторіи Государства Россійскаго*, которую можно назвать величественною поэмой, воспѣвающею государство. Несмотря на свою неоконченность, *Исторія Государства Россійскаго* представляетъ полноту относительно выраженія главной идеи: авторъ не оставилъ ничего неяснымъ, недоговореннымъ. Его твореніе собственно начинается съ того времени, когда является Русское государство независимымъ, великимъ, сильнымъ; важнаго значенія времени, протекшаго отъ Ярослава I до Калиты или, точнѣе, до Іоанна III, онъ не признаетъ: здѣсь Россія — раздѣленная, слабая, порабощенная. Если авторъ рѣшается описать подробно это печальное время, то единственно изъ патріотическаго чувства: все же это — Россія, все же это — русскіе люди, которыхъ дѣятельности, которыхъ судьбѣ мы не можемъ не сочувствовать. Но вотъ наступаетъ вторая половина XV вѣка, и поэма начинается, торжественная пѣснь государства зазвучала: „Отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно-государственной, описывая уже не безсмысленныя драки княжескія, но дѣянія царства, пріобрѣтающаго независимость и величіе. Разновластіе исчезаетъ вмѣстѣ съ нашимъ подданствомъ; образуется держава, сильная, какъ бы новая для Европы и Азіи, которыя, видя оную съ удивленіемъ, предлагаютъ ей знаменитое мѣсто въ ихъ системѣ политической“.

Главное мѣсто дѣйствія, это — священный городъ, чудеснымъ образомъ начавшій свою великую роль. „Сдѣлалось чудо: городокъ, едва извѣстный до XIV вѣка отъ презрѣнія къ его маловажности, возвысилъ главу и спасъ отечество. Да будетъ честь и слава Москвѣ!“ Герои поэмы — князья московскіе, и первое мѣсто среди нихъ принадлежитъ Іоанну III, величайшему изъ государей, передъ которымъ блѣднѣетъ величавая фигура Петра, ибо Петръ былъ только преобразователемъ государства, а не виновникомъ его силы и величія, какъ Іоаннъ III: „Подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ ино-

земцевъ, и скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей московскихъ, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную!“ Здѣсь мы видимъ взглядъ, противоположный тому, какой господствовалъ въ первой половинѣ XVIII вѣка: тогда говорили, что Петръ Великій призвалъ Россію отъ небытія къ бытію, сдѣлалъ все изъ ничего; теперь, благодаря указанному выше движенію второй половины XVIII вѣка, историкъ приписываетъ иноземцамъ этотъ чисто-русскій взглядъ и говоритъ, что Петръ воспользовался приготовленнымъ, а московскіе князья, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную. Въ наше время наука не можетъ признать вѣрнымъ ни того ни другого взгляда, ибо и московскіе князья не воздвигли державу сильную изъ ничего; но въ наше время наука должна признать важный успѣхъ въ пониманіи хода русской исторіи, когда односторонній взглядъ на дѣятельность преобразователя былъ отвергнутъ и обращено было вниманіе на московскую Россію. Въ ходѣ нашей исторической науки, т.-е. въ постепенномъ уясненіи нашего сознанія о русской исторіи, заключаются соотвѣтствующія явленія съ самимъ ходомъ русской исторіи: постепенному собиранію Русской земли въ нашей исторіи соотвѣтствуетъ постепенное собираніе частей русской исторіи въ сознаніи народномъ, какъ оно отражается въ исторіографіи: въ первую половину XVIII вѣка, русскій человѣкъ, еще только садившійся за азбуку и пораженный новымъ міромъ, предъ нимъ открывшимся, преклонился предъ нимъ, сознавъ себя человѣкомъ совершенно новымъ и провозгласилъ, что онъ приведенъ изъ небытія въ бытіе великимъ преобразователемъ. Благодаря преобразованію, русская мысль работала, сознаніе просвѣтлѣло, московская Россія была присоединена къ Россіи Петровской и, какъ обыкновенно бываетъ при подобныхъ поворотахъ, не безъ ущерба для послѣдней. Это великое движеніе въ русскомъ сознаніи отразилось въ *Исторіи Государства Россійскаго*. Каждому дню его забота, каждому вѣку его трудъ: нашему времени завѣщано собрать воедино всѣ части русской исторіи, найти смыслъ и въ древнѣйшей кіевской и владимирской исторіи и примирить всѣ эпохи.

Сознаніе великаго дѣла собиранія Русской земли и кладки фундамента государственнаго зданія нашло достойнаго выра-

зителя въ Карамзинѣ, который воспитаніемъ своимъ былъ приготовленъ къ выполненію своей задачи. Въ твореніяхъ знаменитыхъ писателей отражается вѣкъ, въ которомъ они живутъ и дѣйствуютъ; но здѣсь нельзя ограничиваться вліяніями только того времени, въ которомъ совершонъ трудъ писателя; важное значеніе имѣетъ то время, въ которое воспитался писатель; часто въ его твореніи преимущественно выражаются господствующія идеи этого времени, а не того, къ которому принадлежитъ, главнымъ образомъ, авторская дѣятельность писателя: иногда писатель въ самое блестящее время своей дѣятельности сдерживаетъ новыя движенія во имя идей, принятыхъ имъ во время его воспитанія. Воспитаніе Карамзина завершилось въ знаменитое царствованіе Екатерины II, когда послѣ тревожной эпохи преобразованія и переходнаго времени Елизаветинскаго царствованія, явились плоды тяжелой черной работы русскихъ людей въ первую половину XVIII вѣка. Благодаря искусной и твердой правительственной рукѣ, движеніе впередъ шло безостановочно, но шло правильно, спокойно и осторожно, при ясномъ сознаніи того, откуда надобно было итти и куда стремиться. Мы видѣли, какая произошла перемѣна въ основномъ взглядѣ русскихъ людей въ царствованіе Екатерины, какъ они заявили свое недовольство однимъ внѣшнимъ и требовали внутренняго, требовали вложенія души въ тѣло, и требованіе было удовлетворено. Повѣрка сказанному легка: стоитъ только вглядѣться въ нравственный образъ человѣка, память котораго мы собрались сюда почтить: вглядимся въ эту мягкость чертъ Карамзина, припомнимъ въ немъ это сочувствіе къ чувству, къ нравственному содержанію человѣка, припомнимъ его выраженіе, что чувствомъ можно быть умнѣе людей, умныхъ умомъ, и признаемъ въ немъ представителя того времени, въ которое твердили: „Безъ души просвѣщеннѣйшая умница жалкая тварь: умъ, коль онъ только что умъ, самая безделица“. Вглядѣвшись въ нравственный образъ Карамзина, сравнимъ его съ нравственнымъ образомъ Ломоносова — и двѣ половины XVIII вѣка предстанутъ предъ нами олицетворенныя со всѣмъ своимъ различіемъ. Усмотрѣвши въ Карамзинѣ полнаго представителя Екатерининскаго времени, спросимъ его мнѣнія объ этомъ времени, и получимъ въ отвѣтъ: „Время счастливѣйшее для гражданина россійскаго“.

счастие для гражданина россійскаго заключается еще въ томъ, что духъ его былъ поднятъ славой народною и завершеніемъ великаго народнаго дѣла, — дѣла собиранія Русской земли: Екатерина была прямою наслѣдницей московскихъ собирателей Русской земли московскихъ Іоанновъ. Въ концѣ Екатерининскаго царствованія на западѣ Европы произошелъ страшный переворотъ, заставившій своею темною стороной еще болѣе цѣнить правильную и спокойную дѣятельность правленія либеральнаго и вмѣстѣ твердаго, какимъ было правленіе Екатерины II.

Подъ такими впечатлѣніями, вынесенными изъ XVIII вѣка, Карамзинъ въ началѣ XIX вѣка приступилъ къ своему историческому труду. Если изъ вѣка Екатерины онъ вынесъ охранительныя стремленія, то они еще болѣе усилились изученіемъ исторіи. Когда вскрылись памятники древности, то глазамъ историка предстала эта медленная и великая работа вѣковъ надъ государственнымъ зданіемъ, и почувствовалъ онъ благоговѣйное уваженіе къ этой работѣ и ея слѣдствіямъ; поспѣшность движенія явилась для него столь же беззаконною, какъ и отсутствіе движенія: „Хотѣть лишняго и не хотѣть нужнаго равно предосудительно“, говорилъ онъ. И во имя исторіи заявилъ онъ протестъ противъ движеній перваго десятилѣтія XIX вѣка, бывшихъ въ его глазахъ слишкомъ быстрыми, не истекавшими изъ существенныхъ потребностей страны: „Къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно, — говорилъ онъ: — Россія существуетъ около 1000 лѣтъ, и не въ образѣ дикой орды, но въ видѣ государства великаго, а намъ все твердятъ о новыхъ уставахъ, какъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ американскихъ“. Воспитанникъ Екатерининскаго вѣка твердилъ людямъ, наклоннымъ ко внѣшнимъ преобразованіямъ, что „не формы, а люди важны“.

Чѣмъ болѣе историкъ вглядывался въ постепенное образованіе великаго государственнаго тѣла Россіи, чѣмъ болѣе вникалъ онъ, какъ присоединялась кость къ кости и суставъ къ суставу, какъ все это облекалось плотію и наполнялось духомъ, тѣмъ яснѣе сознавалъ величие дѣла собиранія Русской земли, тѣмъ яснѣе сознавалъ онъ единство русскаго народа: вотъ почему такъ сильно взволновался историкъ и заявилъ горячій протестъ во имя русской исторіи

и во имя Екатерины II, когда явилась мысль о возможности урѣзать живое тѣло Россіи; подобно древнимъ русскимъ дѣятелямъ, не потерпѣлъ историкъ, чтобъ „разносили розно Русскую землю“, и въ народномъ русскомъ поминаньи о Карамзинѣ напишется то же, что написалось въ лѣтописяхъ о людяхъ, знаменитыхъ обороной родной страны: „онъ постоялъ насторожѣ Русской земли“. *С. Соловьевъ.*

Научное значеніе *Исторіи* Карамзина.

Обращаясь къ чисто научной сторонѣ „Исторіи Государства Россійскаго“, припомнимъ, въ какомъ неудовлетворительномъ состояніи была у насъ наука историческая передъ появленіемъ исторіи Карамзина, и увидимъ, какъ великъ былъ его трудъ: хорошо было работать современнымъ ему историкамъ Запада: у нихъ болландисты и бенедиктинцы, и Дюканжъ, и Муратори, и Монфоконъ; у нихъ и памятники были изданы, и библіотеки и архивы въ большемъ порядкѣ, и пособій больше. Въ предисловіи Карамзинъ какъ бы оправдывается въ обиліи своихъ примѣчаній; онъ говоритъ: „Множество сдѣланныхъ мною примѣчаній и выписокъ устрашаетъ меня самого. Если бы всѣ матеріалы были у насъ собраны, очищены критикою, то намъ оставалось бы единственно ссылаться; но когда бо́льшая ихъ часть въ рукописяхъ, въ темнотѣ, когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено, надобно вооружиться терпѣніемъ.. Для охотниковъ все бываетъ любопытно: старое имя, слово, малѣйшая черта древности даетъ поводъ къ соображеніямъ“. Карамзинъ говоритъ, что читатель воленъ не заглядывать въ примѣчанія; нашлись издатели, которые задумали избавить читателя отъ этихъ хлопотъ: у насъ есть два изданія (3 и 4) съ сокращенными примѣчаніями, а между тѣмъ примѣчанія — одно изъ правъ Карамзина на безсмертіе.

Много памятниковъ уже издано изъ тѣхъ, которые при Карамзинѣ еще были не изданы, а между тѣмъ примѣчанія сохраняютъ еще все свое значеніе и будутъ сохранять его еще долго, если не всегда: сюда будутъ ходить и за справкою и за поученіемъ; здѣсь всего виднѣе, какъ работалъ Карамзинъ и какъ слѣдуетъ работать.

Просматривая примѣчанія Карамзина, нельзя не чувствовать глубокаго уваженія къ громадной его работѣ. Едва ли можно указать большое число памятниковъ, теперь намъ извѣстныхъ, которые были бы неизвѣстны Карамзину; перечислимъ болѣе крупные. Такъ, у него не было „Домостроя“, „Тверской лѣтописи“, „Паннонскихъ житій“, *Несторова* Житія Бориса и Глѣба“, „Слова нѣкоего христолюбца“ и еще немногихъ; но зато какъ громадна масса памятниковъ, которые онъ въ первый разъ нашелъ, или которыми онъ впервые пользовался. Сюда принадлежитъ *Хлѣбниковскій списокъ* (можно считать и *Ипатьевскій), Лаврентьевскій, Троицкій, Ростовскій,* нѣкоторые изъ новгородскихъ лѣтописей и едва ли не обѣ *Псковскія* (впрочемъ, считаю нужнымъ оговориться: Щербатовъ цитуетъ лѣтописи по нумерамъ, и потому трудно сказать, что именно у него въ рукахъ); потомъ *Даніилъ Паломникъ*, Илларіонова „Похвала Владиміру“, множество житій святыхъ, множество грамотъ, сказаній. Важно было бы составить списокъ всѣхъ памятниковъ, которыми пользовался Карамзинъ: можетъ-быть, иные изъ нихъ до сихъ поръ ускользаютъ отъ изслѣдователей. И все это онъ прочелъ, изучилъ, провѣрилъ, изъ всего выписалъ самое любопытное и нигдѣ не спутался. Выписывалъ онъ часто то, что ему не пригодилось бы самому, но могло бы пригодится другому. Выписывая, онъ часто подчеркивалъ слова, особенно любопытныя сами по себѣ или по соединенному съ ними факту. Выписывалъ онъ даже изъ памятниковъ, которые не казались ему достовѣрными: такъ, напримѣръ, у него выписано много изъ сказаній мологскаго іакона *Каменевича-Рвовскаго*, сочиненіе котораго, писанное въ XVII вѣкѣ, онъ нашелъ въ синодальной библіотекѣ, въ книгѣ: „*Древности Россійскаго Государства*: отъ него не ускользнуло и то обстоятельство, что кое-что записано у Каменевича пѣсеннымъ размѣромъ (можетъ-быть, онъ и пользовался пѣснями). Эта любопытная книга, къ сожалѣнію, послѣ ни у кого не была въ рукахъ, а она могла бы, можетъ-быть, повести къ разрѣшенію вопроса о такъ-называемой *Іоакимовской лѣтописи*, напечатанной Татищевымъ по позднѣйшей рукописи, съ весьма странною обстановкою, и до сихъ поръ составляющей предметъ спора между нашими учеными. Карамзинъ выписываетъ также разныя баснослов-

ныя извѣстія о построеніи Новгорода и Москвы, отмѣчаетъ всегда тѣ свѣдѣнія изъ лѣтописей или Татищевскаго свода, которыя онъ считаетъ баснословными. Выписки его такъ точны, что даже имѣющіяся печатныя изданія не всегда въ равной степени удовлетворительны. До него никто (кромѣ Миллера и Успенскаго, котораго книга вышла, впрочемъ, въ 1813 г.) не пользовался такъ много иностранными писателями о Россіи. Встрѣтивъ указанія на неизвѣстный ему матеріалъ, онъ не успокоивался, пока не добывалъ этого матеріала; такъ, съ большимъ трудомъ досталъ онъ себѣ *Баварскаго географа*, но нашелъ недостовѣрнымъ.

Встрѣчающіяся въ памятникахъ слова, вышедшія изъ употребленія, онъ старается объяснить и объясняетъ большею частію вѣрно, для чего ему нужны бываютъ выписки изъ другихъ памятниковъ, совершенно другого времени. Конечно, не будучи филологомъ, Карамзинъ объясняетъ слово только сличеніемъ текстовъ и не прибѣгаетъ къ филологическимъ соображеніямъ, даже не всегда пользуется помощію другихъ славянскихъ нарѣчій.

Каждый памятникъ онъ подвергаетъ критикѣ, и критикѣ удачной; такъ превосходно разобрано „Житіе Константина Муромскаго“, „Дѣяніе собора на Мартина Армянина“. Въ лѣтописяхъ онъ также нерѣдко указываетъ на ихъ составныя части: такъ, въ „Повѣсти временныхъ лѣтъ“ онъ очень основательно подмѣтилъ одно чисто новгородское сказаніе; помощью приписки на Остромировомъ Евангеліи возстановилъ одинъ годъ въ лѣтописи; указываетъ въ Кіевской лѣтописи одно извѣстіе, записанное, вѣроятно въ Черниговѣ, и т. д. Не довольствуясь нашими библіотеками и архивами, ищетъ возможности получать нужные для него документы и изъ архивовъ заграничныхъ: такъ, изъ Кёнигсбергскаго архива ему доставляется много интересныхъ бумагъ, между прочимъ, грамоты Галицкихъ князей, о которыхъ только изъ этихъ грамотъ и можно было получить нѣкоторыя свѣдѣнія; такъ, черезъ *Муравьева* ищетъ возможности добыть переписку папъ изъ Ватиканскаго архива, и т. д.

Памятники вещественные интересуютъ его такъ же, какъ и памятники письменные: онъ собираетъ всѣ извѣстія о святынѣ, хранимой въ ризницахъ, о раскопкахъ, кладахъ, зданіяхъ, словомъ, — обо всемъ, что сохранилось отъ жизни

нашихъ предковъ. Имъ помѣщены рисунки буквъ Десятинной церкви, изображеніе стариннаго рубля, буквы зырянской азбуки Стефана Пермскаго. Когда въ наличныхъ источникахъ онъ не находитъ требуемыхъ свѣдѣній, то вступаетъ въ переписку съ мѣстными жителями и получаетъ нужное свѣдѣніе на мѣстѣ.

Все что возбуждаетъ какой-либо вопросъ касательно древностей, не остается у Карамзина безъ изслѣдованія: какая-нибудь сомнительная дата, генеалогія того или другого князя, банное строеніе, старинный русскій счетъ, вѣсы и монеты, и т. д. Всѣ чужія мнѣнія тщательно разсматриваются и провѣряются. Изслѣдованія Карамзина обыкновенно чрезвычайно точны и могутъ опровергаться только столь же точными изслѣдованіями или новыми памятниками.

Замѣтки, которыя присылали къ нему, онъ всегда вносилъ и всегда указывалъ, кто ихъ доставилъ. Въ 5-мъ изданіи есть нѣсколько такихъ замѣтокъ, найденныхъ на поляхъ его собственнаго экземпляра и написанныхъ уже послѣ выхода второго изданія, послѣдняго при жизни автора.

Словомъ, на пространствѣ времени до 1611 г. немного найдется вопросовъ, которые бы онъ не предвидѣлъ и на которые нельзя было бы найти у него рѣшенія, указанія или, по крайней мѣрѣ, намека. Кто самъ работалъ, тотъ пойметъ, сколько трудовъ нужно было употребить, чтобы собрать такую массу свѣдѣній, тому покажется страннымъ только одно: какъ успѣлъ собрать все это Карамзинъ въ 22 года, если еще припомнимъ притомъ, что въ послѣднее время онъ уже старѣлъ и былъ часто боленъ и что, наконецъ, самое изложеніе требовало много времени; много времени уходило на соображенія. Этою-то своею стороной исторія Карамзина особенно сильна и въ наше время: можно утверждать, что онъ не такъ изобразилъ ту или другую эпоху, то или другое лицо, и быть правымъ, но отвергать въ немъ великаго ученаго, утверждать, что онъ былъ только литераторъ, нельзя. Сюда, въ эти примѣчанія, долженъ ходить учиться каждый занимающійся русскою исторіею, и каждому будетъ чему тутъ поучиться.

Бестужевъ-Рюминъ.

Художественная сторона „Исторіи Государства Россійскаго“ Карамзина.

При разсматриваніи исторіи со стороны изящества, представляются разбору нашему два элемента: *философскій* и *поэтическій*.

Философскій элементъ требуетъ *единства* въ цѣломъ твореніи, *истины* въ событіяхъ, *върности* въ изображеніи дѣйствующихъ лицъ. Поэтическій элементъ состоитъ въ умѣньи излагать всѣ происшествія въ связи и послѣдовательности, въ искусствѣ представлять прошедшее настоящимъ, уловлять рѣзкія черты каждаго лица и дѣйствія, короче, художественная сторона исторіи заключается въ *живописи*, *изящномъ расположеніи* и *выраженіи*.

Православіе, *самодержавіе* и *народные нравы*, какъ жизнь Руси, проникаютъ весь организмъ нашей исторіи. „Успѣхи разума и способностей его, говоритъ Карамзинъ (т. I, стр. 248), — необходимое слѣдствіе гражданскаго состоянія людей, были ускорены въ Россіи христіанскою вѣрою“. Новгородцы (т. I, стр. 234) „хотятъ князя, да владѣетъ и правитъ ими по закону“. „Станемъ крѣпко, не посрамимъ земли русскія“ (т. I, стр. 251): въ этихъ словахъ виденъ характеръ народа, любящаго родину свою и готоваго за нее умереть. Когда въ періодъ удѣловъ предки наши терзали другъ друга и всѣ пали подъ иго монголовъ: тогда не вѣра ли христіанская еще скрѣпляла связь народа, одушевляла его и поддерживала? Освободился духъ народный отъ тягостнаго ига, сложилось одно государство; казалось, никакого бѣдствія нельзя было ожидать: но самозванецъ восходитъ на престолъ, ужасая единственно могуществомъ имени царскаго. Не торжествуетъ ли здѣсь любовь къ государямъ? Что успокоивало народъ подъ скипетромъ Грознаго, какъ не то же святое начало Руси — вѣра и преданность монарху? Тѣ же самыя чувства русскихъ призвали родоначальника той великой династіи, подъ кроткимъ и благодѣтельнымъ самодержавіемъ которой Россія ожила и нынѣ благоденствуетъ? Эти начала государственныя проведены чрезъ всю исторію Карамзина.

Примѣромъ можетъ служить царствованіе Грознаго (И. Г. Р. т. IX, изд. 2-е, стр. 137 и т. д.), когда молитва и лю-

бовь къ самодержавію подкрѣпляли духъ народный. „Между иными тяжкими опытами судьбы, говоритъ историографъ, сверхъ бѣдствій удѣльной системы, сверхъ ига монголовъ. Россія должна была испытать и грозу самодержца-мучителя. устояла съ *любовію къ самодержавію*, ибо вѣрила, что Богъ посылаетъ и язву, и землетрясеніе и тирановъ; не преломила желѣзнаго скипетра въ рукахъ Іоанновыхъ, и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно *молитвою* и терпѣніемъ, чтобы, въ лучшія времена, имѣть Петра Великаго, Екатерину Вторую (исторія не любитъ именовать живыхъ). Въ смиреніи великодушномъ страдальцы умирали на лобномъ мѣстѣ, какъ греки въ Ѳермопилахъ за отечество, вѣру и вѣрность, не имѣя и мысли о бунтѣ. Напрасно нѣкоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Іоаннову, писали о заговорахъ, будто бы уничтоженныхъ ею: сіи заговоры существовали единственно въ смутномъ умѣ царя, по всѣмъ свидѣтельствамъ нашихъ лѣтописей и бумагъ государственныхъ. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызывали бы звѣря изъ вертепа слободы Александровской, если бы замышляли измѣну, взводимую на нихъ столь же нелѣпо, какъ и чародѣйство. Нѣтъ, тигръ упивался кровію агнцевъ — и жертвы, издыхая въ невинности, послѣднимъ взоромъ на бѣдственную землю требовали справедливости, умилительнаго воспоминанія отъ современниковъ и потомства“.

...„Жизнь тирана есть бѣдствіе для человѣчества, но его исторія всегда полезна для государей и народовъ: вселять омерзѣніе ко злу есть вселять любовь къ добродѣтели — и слава времени, когда вооруженный истиною дѣеписатель можетъ, въ правленіи самодержавномъ, выставить на позоръ такого властителя, да не будетъ уже впредь ему подобныхъ. Могилы безчувственны; но живые страшатся вѣчнаго проклятія въ исторіи, которая, не исправляя злодѣевъ, предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможныя; ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданскаго образованія, веля уму безмолвствовать или рабскимъ голосомъ оправдывать свои изступленія“.

...„Добрая слава Іоаннова пережила его худую славу въ *народной памяти*: стенанія умолкли, жертвы истлѣли, и старыя преданія затмились новѣйшими; но имя Іоанново

блистало на „Судебникѣ“ и напоминало пріобрѣтеніе трехъ царствъ монгольскихъ: доказательства дѣлъ ужасныхъ лежали въ книгохранилищахъ, а народъ въ теченіе вѣковъ видѣлъ Казань, Астрахань, Сибирь, какъ живые монументы царя-завоевателя; чтилъ въ немъ знаменитаго виновника нашей государственной силы, нашего гражданскаго образованія, отвергнулъ или забылъ названіе *мучителя*, данное ему современниками, и по темнымъ слухамъ о жестокости Іоанновой донынѣ именуетъ его только *Грознымъ*, не различая внука съ дѣдомъ, такъ называемымъ древнею Россіею болѣе въ хвалу, нежели въ укоризну. Исторія злопамятнѣе народа!“

Въ историческомъ изложеніи, какъ и во всякомъ изящномъ произведеніи, требуется *единство* повѣствованія; оно не слагается изъ частей отдѣльныхъ, не имѣющихъ прямой и вѣрной связи съ главною основною мыслію; необходимо, чтобы эта связь соединяла всѣ частныя событія съ однимъ общимъ основаніемъ и производила на умъ нашъ впечатлѣніе полнаго и органическаго цѣлаго. Послѣдовательность всегда производитъ сильное дѣйствіе: намъ пріятно видѣть постепенное развитіе обширнаго предначертанія и необъятной цѣпи событій изъ одного начала, къ которому относятся всѣ историческія явленія. Такъ въ *Гердеровыхъ* идеяхъ философіи исторіи одна мысль служитъ основаніемъ этому великолѣпному зданію — мысль, что исторія народа есть проявленіе его духа, отражающагося въ религіи, языкѣ, правахъ, обычаяхъ, образованіи общества, въ дѣяніяхъ гражданскихъ и военныхъ. *Въ нашей исторіи всѣ великія событія,* какъ уже мы сказали, *развиваются изъ непоколебимой любви къ православной вѣрѣ, престолу и родной странѣ.*

Повѣствуя о событіяхъ, историкъ открываетъ тайныя пружины дѣйствій и конечныя причины происшествій. Для достиженія этого особенно необходимо глубокое изученіе человѣческой природы и знаніе народной жизни. Безъ этихъ условій можно ли объяснить въ исторіи образъ дѣйствій представителей народа и различные перевороты, какимъ подвергаются государства въ теченіе вѣковъ?

Такъ какъ достовѣрность событій главная цѣль историка, то безпристрастіе, точность — необходимыя его качества. Ему неприличны преувеличенныя прославленія, равно какъ

и ожесточенныя порицанія; чуждый страстей въ отношеніи къ той или другой сторонѣ, не увлекаемый личными видами, но наблюдая прошедшее очами неумытнаго судіи, историкъ представляетъ намъ вѣрное изображеніе жизни человѣческой, какъ философъ изслѣдуетъ истину законовъ природы и человѣка.

Превосходные примѣры этому находимъ въ „Исторіи“ Карамзина въ изображеніяхъ *Грознаго* и *Бориса Годунова*.

Впрочемъ, не всякій разсказъ, хотя и вѣрный касательно событій, можетъ имѣть мѣсто въ исторіи: это — принадлежность собственно такихъ происшествій изъ временъ прошедшихъ, которыя служатъ къ нашему наставленію, занимательны и представляютъ связь причинъ съ послѣдствіями въ ясномъ и разительномъ порядкѣ. Исторія предполагаетъ научить насъ мудрости, а потому она должна служить дополненіемъ нашей опытности. Поучительно для человѣка изображеніе подобныхъ ему во всѣхъ отношеніяхъ; это внушаетъ вѣрныя и здравыя сужденія о всѣхъ превратностяхъ жизни. Такого изображенія нельзя ожидать отъ простого разсказа, занимающаго воображеніе; научить насъ можетъ мудрый и добросовѣстный совѣтъ, не допускающій ни излишнихъ украшеній, ни напыщенности, ни блестокъ безполезнаго остроумія. Историкъ представляется мудрецомъ, говорящимъ въ поученіе потомству, вполнѣ изучившимъ свой предметъ, обращающимся болѣе къ нашему разсудку, нежели къ воображенію.

Въ отношеніи къ пріобрѣтенію свѣдѣній гражданственныхъ, новые писатели пользуются многими преимуществами предъ древними. Въ древности труднѣе было запастись политическими свѣдѣніями, по причинѣ недостаточной сообщительности между сосѣдственными государствами. Историческія событія сохранились, большею частію, въ преданіяхъ. Если важнѣйшія изъ нихъ и повѣрялись письменно, то только для соотечественниковъ; древніе не помышляли писать для чужеземцевъ, и еще менѣе для человѣчества. Оттого рѣдко касались подробностей внутренней жизни, о которой мы желаемъ имѣть извѣстія самыя полныя. Исторія нашей народной жизни представляетъ непрерывный рядъ лѣтописцевъ. Карамзинъ открылъ для себя памятники письменные въ лѣтописяхъ, въ государственныхъ актахъ, въ за-

пискахъ современниковъ, въ устныхъ сказаніяхъ: событія, имъ описанныя, точны и правдивы.

Ожидая отъ историка глубокихъ изслѣдованій описываемаго предмета, мы не требуемъ его собственныхъ размышленій, часто прерывающихъ разсказъ историческій: долгъ его представить намъ событія въ настоящемъ ихъ видѣ для совершеннаго познанія народа. Пусть онъ объяснитъ устройство, силы, степень образованности описываемаго государства, сношенія его съ сосѣдними державами; пусть поставитъ насъ на возвышенное мѣсто, съ котораго можно видѣть всѣ основныя причины происшествій: онъ исполнитъ свое назначеніе; выводъ же заключеній пусть иногда предоставитъ нашему собственному соображенію. Въ этомъ съ *Барантомъ и Гизо* нашъ исторіографъ служитъ образцомъ. Такъ, напр., неимовѣрнымъ кажется ослабленіе власти Годунова послѣ шестилѣтняго славнаго царствованія (1605); но исторіографъ такъ объясняетъ намъ это явленіе, что мы видимъ въ немъ психологическое слѣдствіе всего предыдущаго (XI, 178):

„Душа сего властолюбца жила только ужасомъ и притворствомъ. Обманутый побѣдою въ ея слѣдствіяхъ, Борисъ страдалъ, видя бездѣйствіе войска, нерадивость, неспособность или зломысліе воеводъ, и боясь смѣнить ихъ, чтобъ не избрать худшихъ; страдалъ, внимая молвѣ народной, благопріятной для самозванца, и не имѣя силы унять ее ни снисходительными убѣжденіями, ни клятвою святительскою, ни казнію; ибо въ сіе время уже рѣзали языки нескромнымъ. Доносы ежедневно умножались, и Годуновъ страшился жестокостію ускорить общую измѣну: еще былъ самодержавцемъ, но чувствовалъ оцѣпенѣніе власти въ рукѣ своей, и съ престола, еще окруженнаго льстивыми рабами, видѣлъ открытую для себя бездну! Дума и дворъ не измѣнялись наружно: въ первой текли дѣла, какъ обыкновенно; второй блисталъ пышностію, какъ и дотолѣ. Сердца были закрыты: одни таили страхъ, другіе злорадство; а всѣхъ болѣе долженъ былъ принуждать себя Годуновъ, чтобы уныніемъ и разслабленіемъ духа не предвѣстить своей гибели — и, можетъ-быть, только въ глазахъ вѣрной супруги обнаруживалъ сердце; казалъ ей кровавыя глубокія раны его, чтобъ облегчать себя свободнымъ стенаніемъ. Онъ не имѣлъ утѣшенія чистѣйшаго: не могъ предаться въ волю Святого

Провидѣнія, служа только идолу властолюбія; хотѣлъ еще наслаждаться плодомъ Дмитріева убіенія, и дерзнулъ бы, конечно, на злодѣяніе новое, чтобъ не лишиться пріобрѣтеннаго злодѣйствомъ. Въ такомъ ли расположеніи душа утѣшается смертный вѣрою и надеждою небесною? Храмы были отверсты: *Годуновъ молился Богу, не умолимому для тѣхъ, которые не знаютъ ни добродѣтели ни раскаянія!* Но есть предѣлъ мукамъ въ бренности нашего естества земного".

Вѣрное изображеніе характеровъ въ исторіи есть одно изъ самыхъ блистательныхъ украшеній и труднѣйшихъ для писателя-художника. Нерѣдко отъ частной жизни великихъ людей, отъ самыхъ простыхъ случаевъ, происшествій, повидимому, самыхъ обыкновенныхъ, проливается свѣтъ на цѣлый рядъ событій. Правда, Карамзинъ характеры великихъ князей понималъ по своему вѣку; въ психологическія изслѣдованія этихъ характеровъ онъ не вдавался: оттого у него исторія ихъ нерѣдко остается безъ всякаго объясненія. Такъ превосходно изложенъ удивительный характеръ Іоанна Грознаго, но безъ всякаго указанія на то, что это явленіе естественное: борьбы новаго времени со старымъ. Нѣкоторыя личности, какъ бы у исторіографа, изображены художнически. Таковы характеры: *Владиміра Мономаха* (II, 160), *Александра Невскаго* (IV, 86), *Димитрія Донского* (V, 107), *Іоанна III* (VI, 342), *Бориса Годунова* (XI, 178) *Скопина, Шуйскаго* (XII, 172), *Филиппа митрополита*. (IX, 93).

Когда памятники древности, невѣрные, противорѣчащіе, темные, различены, соглашены, освѣщены критикою; когда историкъ вступаетъ въ область достовѣрныхъ, неумолкающихъ свидѣтельствъ, гдѣ ни одна изъ добычъ ума человѣческаго не гибнетъ — въ періодъ жизни народа, уже отчетливой въ дѣйствіяхъ, когда дѣло исторіи, какъ *науки*, окончено, тогда начинается трудъ *художническій*: исторія должна получить изящную *форму*.

Съ перваго взгляда нѣтъ ничего легче, какъ представить картину жизни, которою мы обыкновенно охотно любуемся; но исполненіе этой живописи принадлежитъ особенному таланту. Сколько любопытныхъ стекается на всякое ежедневное приключеніе: отчего же эти самыя приключенія, пере-

несенныя въ книгу, иногда бываютъ скучны, незанимательны? Именно оттого, что они перестаютъ занимать насъ такъ, какъ занимаютъ живыя и разговаривающія съ нами лица. Все искусство исторической занимательности состоитъ въ живописи, въ представленіи событій предъ нашими глазами, въ расположеніи ихъ и въ изображеніи дѣйствующихъ лицъ, словомъ — въ возсозданіи цѣлаго народа изъ происшествій. Историкъ не лѣтописецъ: онъ долженъ умѣть изъ множества событій избрать то преимущественно, которое состоитъ въ связи и соотношеніи съ природою человѣка вообще и съ природою людей той или другой страны, того и другого времени, выразить, какъ сказали мы выше, жизнь всеобщую человѣчества и жизнь частную народную. Тогда узнаемъ мы въ народѣ членовъ одного большого семейства, или человѣчества; тогда понятно будетъ отношеніе народа къ другимъ народамъ, и всѣ дѣйствія его покажутся вразумительными; тогда частная исторія послужитъ дополненіемъ исторіи всеобщей. Въ этомъ *Плутархъ, Тацитъ, Шиллеръ, Бартелеми и Тьерри* великіе художники. У Карамзина историческая живопись представляется еще въ соединеніи съ очаровательнымъ краснорѣчіемъ. *Монгольскій* періодъ, исторія *Іоанна III* и *Грознаго*, царствованіе *Бориса Годунова* принадлежатъ къ образцовымъ произведеніямъ поэтической, одушевленной прозы. Во всякой литературѣ были бы украшеніемъ живописныя изображенія славной битвы *Липецкой* (III, 157), осады и взятія *Кіева* (IV, 11), *битвы на Калкѣ* (III, 238), *битвы Куликовской* (V, 69), *покоренія Казани* (VIII, 180), *осады Козельска* (III, 287), *осады Пскова* (IX, 325), *осады Троицкой лавры* (XII, 97)) и *Клушинской битвы* (XII, 218). Прочтемъ хотя одно образцовое описаніе *осады* и *взятія Кіева*, въ княженіе в. кн. Ярослава II Всеволодовича, 1240 г.

„Скоро вся ужасная сила Батыева, какъ густая туча, съ разныхъ сторонъ облегла Кіевъ. Скрипъ безчисленныхъ телѣгъ, ревъ верблюдовъ и воловъ, ржаніе коней и свирѣпый крикъ неріятелей, по сказанію лѣтописца, едва дозволяли жителямъ слышать другъ друга въ разговорахъ. Димитрій бодрствовалъ и распоряжалъ хладнокровно... и не зналъ страха. Осада началась приступомъ къ вратамъ Лядскимъ, къ коимъ примыкали дебри. тамъ стѣнобитныя орудія дѣйствовали день и ночь. Наконецъ, рушились ограды,

и кіевляне стали грудью противъ враговъ своихъ. Начался бой ужасный: *стрѣлы омрачали воздухъ, копья трещали и ломались*; мертвыхъ, издыхающихъ попирали ногами. Долго остервенѣніе не уступало силѣ; но татары ввечеру овладѣли стѣною. Еще воины россійскіе не теряли бодрости... никто не думалъ молить лютаго Батыя о пощадѣ, о милосердіи: великодушная смерть казалась *необходимостью, предписанною для нихъ отечествомъ и вѣрою*. Димитрій, исходя кровію отъ раны, еще твердою рукою держалъ свое копіе и вымышлялъ способы затруднить врагамъ побѣду. Утомленные сраженіемъ, монголы отдыхали на развалинахъ стѣны; утромъ возобновили оное, и сломили бренную ограду россіянъ, которые бились съ напряженіемъ всѣхъ силъ, помня, что за ними гробъ св. Владимира, и что сія ограда есть уже послѣдняя для ихъ свободы. Варвары достигли храма Богоматери, но устлали путь своими трупами; схватили мужественнаго Димитрія и повели къ Батыю. Сей грозный завоеватель, не имѣя понятія о добродѣтеляхъ человѣколюбія, умѣлъ цѣнить храбрость необыкновенную и съ видомъ гордаго удовольствія сказалъ воеводѣ россійскому: „Дарую тебѣ жизнь". Димитрій принялъ даръ, ибо еще могъ быть полезенъ для отечества".

„Монголы нѣсколько дней торжествовали побѣду ужасами разрушенія, истребленіемъ людей и всѣхъ плодовъ долговременнаго гражданскаго образованія. Древній Кіевъ исчезъ, и навѣки: ибо сія, нѣкогда знаменитая столица, *мать градовъ россійскихъ*, въ XIV и въ XV вѣкѣ представляла еще развалины; въ самое наше время существуетъ единственно тѣнь ея прежняго величія..."

Перехожу къ историческому *изложенію*, или *слогу*. Главнѣйшее качество историческаго повѣствованія, какъ выше замѣчено — послѣдовательность. Для достиженія этого, историкъ долженъ обладать своимъ предметомъ, обнимать его однимъ взглядомъ, понимать взаимное сцѣпленіе и отношеніе его частей, помѣщать каждый предметъ на своемъ мѣстѣ. Тогда онъ имѣетъ возможность легко слѣдовать за происшествіями и развивать ихъ одно изъ другого.

Занимательность историческаго разсказа зависитъ отъ умѣнья избрать средину между краткимъ, быстрымъ извѣстіемъ и разсказомъ обширнымъ, теряющимся во мно-

жествѣ подробностей. Историкъ слегка касается происшествій неважныхъ и останавливается на тѣхъ, которыя сами собою или по своимъ послѣдствіямъ заслуживаютъ внимательнаго разсмотрѣнія. Здѣсь нуженъ также приличный выборъ обстоятельствъ. Случаи общіе производятъ слабое впечатлѣніе на душу; только разумно избранныя подробности привязываютъ читателя и занимаютъ; онѣ-то разливаютъ въ сочиненіи жизнь и даютъ ему цвѣтность; онѣ представляютъ воображенію происшествія, какъ бы совершающіяся предъ нашими глазами. Въ этомъ нашъ исторіографъ — величайшій художникъ. Какая поразительная и вмѣстѣ занимательная *картина царствованія Бориса!* Ни мудрость правленія, ни благодѣянія, изливаемыя имъ на народъ, ни угрозы — ничто непрочно для спокойствія духа даже и на престолѣ. Это счастіе дается добродѣтелью. Снѣдаемый совѣстью, Борисъ, страхъ всѣхъ и каждаго, устрашился раба, принявшаго могущественное имя царевича. Вотъ художническое изображеніе Бориса (XI, 180): „Къ сожалѣнію, потомство не знаетъ ничего болѣе о кончинѣ (Бориса), разительной для сердца. Кто не хотѣлъ бы видѣть и слышать Годунова въ послѣднія минуты жизни — читать въ его взорахъ и въ душѣ, смятенной незапнымъ наступленіемъ вѣчности? Предъ нимъ были тронъ, вѣнецъ и могила; супруга, дѣти, ближніе, уже обреченныя жертвы судьбы; рабы неблагодарные, уже съ готовою измѣною въ сердцѣ; предъ нимъ и святое знаменіе христіанства: образъ Того, Кто не отвергаетъ, можетъ-быть, и поздняго раскаянія!... Молчаніе современниковъ, подобно непроницаемой завѣсѣ, сокрыло отъ насъ зрѣлище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя дѣйствовать одному воображенію“.

„Имя Годунова, одного изъ разумнѣйшихъ властителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ произносимо съ омерзѣніемъ во славу нравственнаго неуклоннаго правосудія. Потомство видитъ лобное мѣсто, обагренное кровью невинныхъ, св. Димитрія, издыхающаго подъ ножемъ убійцъ, героя Псковскаго, въ петлѣ, столь многихъ вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и кельяхъ; видитъ гнусную мзду, рукою вѣнценосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемѣрія предъ людьми и Богомъ... вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добро-

мысль? Въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здравой? Но сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки своимъ мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны. Онъ не *былъ*, но *бывалъ* тираномъ; не безумствовалъ, но злодѣйствовалъ подобно Іоанну, устраняя совмѣстниковъ или казня недоброжелателей. Если Годуновъ на время благоустроилъ державу, на время возвысилъ ее во мнѣніи Европы, то не онъ ли и ввергнулъ Россію въ бездну злополучія, почти неслыханнаго — предалъ въ добычу ляхамъ и бродягамъ, вызвалъ на осагрь сонмъ мстителей и самозванцевъ истребленіемъ древняго племени царскаго? Не онъ ли, наконецъ, болѣе всѣхъ дѣйствовалъ уничтоженію престола, возсѣвъ на немъ святоубійцею?" *Давыдовъ.*

Взглядъ Карамзина на исторію.

Карамзинъ понималъ исторію какъ художественное изображеніе прошедшей жизни народа (съ его точки зрѣнія) по памятникамъ старины, въ связной, стройной системѣ и въ возможно полной картинѣ. „Не позволяя себѣ, — говоритъ Карамзинъ, — никакого изображенія, я искалъ выраженій въ умѣ своемъ, а мыслей единственно въ памятникахъ; искалъ духа и жизни въ тлѣющихъ хартіяхъ, желалъ переданное намъ вѣками соединить въ систему ясную стройнымъ сближеніемъ частей, изобразя не бѣдствія и славу войны, но все, что входитъ въ составъ гражданскаго бытія людей". Взглядъ Карамзина на исторію несравненно выше взгляда его предшественниковъ, для которыхъ исторія была только поучительною, полезною книгою, предназначеннаго для назиданія современниковъ и потомства, для прославленія великихъ подвиговъ. Научныя требованія исторіи — разъясненіе причинъ, внутренней связи событій, очень слабо высказываются у Щербатова. Карамзинъ ясно сознавалъ эти требованія, и выполнилъ ихъ, насколько это было возможно въ его время. Но главное, чего требовалъ Карамзинъ отъ

историка, это — художественности изложенія. По словамъ Карамзина, „знаніе всѣхъ правъ на свѣтѣ, ученость нѣмецкая, остроуміе Вольтерово, ни самое глубокомысліе Макіавелево въ историкѣ не замѣнятъ таланта изображать дѣйствія“. Предъявивъ такія требованія отъ историка, Карамзинъ находилъ невозможнымъ для себя выполненіе ихъ въ изложеніи событій древней руской исторіи. Удѣльный періодъ представлялся Карамзину печальною эпохою, въ которой по его словамъ, нѣтъ мыслей для прагматика и красокъ для живописца. Древняя Россія, по словамъ исторіографа, погребла съ Ярославомъ свое могущество и благоденствіе. Основанная, возвеличенная единовластіемъ, она утратила силу, блескъ, гражданское счастіе, будучи снова раздроблена на многія области.

Государство, шагнувъ, такъ сказать, отъ колыбели своей до величія, слабѣло и разрушалось болѣе 300 лѣтъ. Для Карамзина руская исторія получаетъ интересъ со времени Іоанна III, когда, по его словамъ, совершилось одно изъ величайшихъ государственныхъ твореній въ свѣтѣ. Приступая къ изображанію княженія Іоанна III, Карамзинъ говоритъ: „отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной, описывая уже не безсмысленныя драки князей, но дѣяній царства, пріобрѣтшаго независимость и величіе; *народъ еще коснѣетъ въ невѣжествѣ, въ грубости, но правительство дѣйствуетъ по законамъ ума просвѣщеннаго*“. Исторія государства — главный предметъ труда Карамзина. Государство это создалось умомъ московскихъ князей, а въ особенности Іоанна III. Для Карамзина главный дѣятель въ исторіи — мудрость правительства. „Государства, — говоритъ онъ, — создаются не механическимъ сцѣпленіемъ частей, какъ тѣла минеральныя, а великимъ умомъ державнымъ“. Приписывая творческую силу мудрости правительства, Карамзинъ не могъ не замѣтить въ руской исторіи печальныхъ явленій, вызванныхъ крупными мѣрами правительства, отсюда требованіе отъ государей и правителей добродѣтели, оцѣнка ихъ дѣяній съ нравственной стороны. Нельзя, впрочемъ, не замѣтить, что исторіографъ не всегда былъ строгимъ судьею поступковъ царствовавшихъ лицъ, дѣлалъ уступки, оправдывалъ жестости то требованіями времени, то пользою государственною и вообще доходилъ въ своихъ приговорахъ

до крайнихъ выводовъ. Впрочемъ, заявляя болѣе широкое пониманіе исторіи, Карамзинъ подобно Татищеву, не отрицаетъ и практической ея пользы, какъ науки опыта: „правители и законодатели дѣйствуютъ по ея указаніямъ; изъ исторіи узнаемъ, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество, и какими способностями благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастіе“. Такой взглядъ на исторію сложился у Карамзина подъ вліяніемъ современныхъ событій. Французская революція произвела глубокое впечатлѣніе на воспріимчивую душу исторіографа; онъ видѣлъ въ ней возвращеніе человѣчества ко временамъ варварства, разрушеніе государственнаго порядка и цивилизаціи; отсюда сильное нерасположеніе исторіографа къ народному республиканскому самоуправленію и къ конституціонной формѣ правленія, единственный лучшій образъ правленія, по взгляду исторіографа — монархическій, неограниченный. „Исторія Государства Россійскаго“ представляетъ оправданіе этого взгляда.

Ташнюковъ.

Заслуги Карамзина по отношенію къ внутреннему содержанію отечественной литературы.

Державинъ замыкаетъ собою исторію нашей поэзіи въ XVIII вѣкѣ. Въ его произведеніяхъ отразилось наше общество того времени, со всѣми своими дурными и хорошими сторонами, съ блескомъ двора Екатерины II, съ громкими побѣдами нашихъ армій и флота, съ неслыханными пирами вельможъ, со всею мраморною славою и мѣдными хвалами, по выраженію Пушкина. Величіе и слава настоящаго постоянно настраивали лиру Державина на торжественный ладъ. Рѣдко спускался онъ на землю, воспѣвая эту блестящую внѣшность, и потому-то въ немъ такъ много общаго съ Ломоносовымъ, хоть онъ далеко ушелъ впередъ отъ послѣдняго, по разнообразію формы. Онъ исчерпалъ, кажется, всѣ элементы поэзіи, доступные его вѣку, не сознавая еще, что пора громкихъ одъ и торжественнаго восторга миновалась невозвратно, что есть начала новыя, до которыхъ не

дотрогивались еще, что есть струны сердца, которыя не звучали еще. Явилось новое направленіе, новое содержаніе въ литературѣ, но оно не оживило старика Державина, который остался вѣренъ Ломоносовскимъ преданіямъ.

Это новое направленіе, столь животворно дѣйствовавшее въ нашей литературѣ, давшее ей новое, богатое содержаніе, давшее ей иной языкъ и слогъ, нашло блестящаго представителя въ Карамзинѣ, именемъ котораго называется цѣлый періодъ русской литературы. Въ Карамзинѣ заключались всѣ данныя для того, чтобы двинуть впередъ литературу. Талантъ его былъ именно такого свойства, чтобъ дѣйствовать на массу. Поэтъ, журналистъ, беллетристъ и историкъ, онъ посвятилъ всю жизнь свою благородной дѣятельности слова; онъ первый у насъ высоко поставилъ званіе писателя, исключительно занимаясь литературою. Его изданія, переводы и повѣсти образовали многочисленную публику читателей, которой давно уже надоѣли напыщенныя оды и холодныя трагедіи, почти исключительно наводнявшія русскую литературу того времени. Въ этомъ отношеніи заслуга Карамзина равняется заслугѣ Новикова, другого знаменитаго литературнаго дѣятеля нашего въ XVIII вѣкѣ, которому самъ Карамзинъ такъ много былъ обязанъ въ своей молодости. Подобно ему, Карамзинъ, подъ конецъ жизни, составлялъ свѣтлое средоточіе, вокругъ котораго собирались друзья его юности: Дмитріевъ, Жуковскій и Тургеневъ, и приходили учиться молодые люди, едва начинавшіе литературное поприще свое. Въ жизни Карамзина было такъ много свѣта, любви и чувства, что онъ внушалъ къ себѣ самыя чистыя привязанности:

> Въ младенческой душѣ его, казалось,
> Небесный ангелъ обиталъ...

говоритъ объ немъ Жуковскій, вспоминая свои отношенія къ Карамзину. Пушкинъ не однимъ своимъ „Борисомъ Годуновымъ“, этимъ совершеннѣйшимъ созданіемъ русской поэзіи, былъ обязанъ Карамзину. Онъ, какъ извѣстно, спасъ его отъ многаго горькаго въ жизни, о чемъ Пушкинъ благодарно вспоминалъ до конца своей жизни. Прекрасно заслужить такую человѣческую славу писателю, независимо отъ заслугъ чисто литературныхъ.

Заслуга Карамзина заключалась въ томъ новомъ содержаніи, которое онъ далъ въ своихъ сочиненіяхъ русской литературѣ. Постепенно вырабатывалось это новое содержаніе въ обществѣ, которое шло, не останавливаясь въ своемъ развитіи. Карамзинъ вполнѣ является выразителемъ этого новаго направленія. Конецъ XVIII вѣка въ европейской литературѣ отличался особеннымъ сентиментальнымъ, идиллическимъ направленіемъ, преимущественно въ литературѣ французской. Такое явленіе мало соотвѣтствовало жизни общества, приближающагося къ страшной катастрофѣ, потрясшей его въ основаніяхъ. Это была тишина передъ бурей. Фонтенель и мадамъ Дезульеръ, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ и Мармонтель писали свои идилліи и нѣжныя повѣсти съ большимъ или меньшимъ талантомъ, не заботясь о настоящемъ. „Новая Элоиза" Руссо, несмотря на огромный талантъ своего автора, принадлежала также къ этому роду произведеній, хотя въ ней слышится уже неподдѣльное чувство. Романы Ричардсона принадлежатъ также къ этому направленію и у насъ имѣли большое вліяніе на публику въ безчисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ. Напыщенность въ одахъ и трагедіяхъ уступила мѣсто этому болѣе живому содержанію. Но, несмотря на всѣ достоинства свои, это новое направленіе въ литературѣ представляется также чѣмъ-то поддѣльнымъ и неестественнымъ. Чувство здѣсь было только чувствительностію; дѣйствительное выраженіе сердца и страсти — нѣсколько холодною и приторною сентиментальностію. Въ нашей литературѣ такое направленіе, несмотря на всю ложь свою, было исторически необходимо и полезно. Этотъ моментъ въ ней былъ отрицаніемъ предшествовавшаго. Онъ былъ большимъ шагомъ впередъ отъ чисто внѣшнихъ напыщенныхъ воспѣваній, вызывая жизнь сердца, далекую, впрочемъ, отъ дѣйствительности. Карамзинъ былъ представителемъ этого направленія, и всѣ его произведенія, какъ прозаическія, такъ и поэтическія, проникнуты одною мыслію. Онъ искалъ сердца и чувства вездѣ. Разсказывалъ ли онъ [illegible] судьбу Лизы, или переводилъ повѣсть о бѣдномъ помѣшанномъ безумномъ, или выводилъ на сцену двухъ несчастныхъ любовниковъ испанскихъ, — вездѣ онъ оставался вѣренъ своему направленію. Несмотря на пустоту содержанія, не[illegible] однообразно, однако, [illegible] и [illegible]

гиолнѣ по вкусу того времени, и общество съ жадностью зачитывалось ими. Напрасно мы будемъ искать въ нихъ народныхъ красокъ и изображеній дѣйствительности, напрасно мы будемъ требовать отъ нихъ художественной формы и выраженія. Все это было невозможно для того времени. Бѣдная Лиза, Юлія, Наталья боярская дочь, Эльвира и Эмилія въ „Рыцарѣ нашего времени" не принадлежатъ никакой опредѣленной національности, не носятъ на себѣ рѣзкихъ чертъ разграничивающихъ одну ступень общества отъ другой. Все это созданія идеальныя, но въ нихъ есть одна общая идея связывающая ихъ — чувство, или чувствительность. Въ чертахъ духовной физіогноміи героевъ и героинь Карамзина слышится человѣческое чувство, о чемъ не было помину до того въ нашей литературѣ, приносившей обществу свои холодныя, безжизненныя созданія. Карамзинъ первый заговорилъ о человѣкѣ, о чувствѣ, о жизни сердца. Онъ, по его собственнымъ словамъ, хотѣлъ быть прежде человѣкомъ, а потомъ уже русскимъ. Нельзя поэтому обвинять его въ ненаціональности созданій. Народность въ литературѣ является тогда, когда общество достигнетъ сознанія, когда народъ воспитается, когда вслѣдствіе исторической жизни изъ общихъ человѣческихъ свойствъ, принадлежащихъ равно всѣмъ народамъ, въ какихъ бы широтахъ и долготахъ ни развивалась ихъ историческая жизнь, не выдѣлятся особенныя свойства народнаго, исключительнаго характера, не похожія на другія. Каждый народъ носитъ на себѣ яркіе знаки отдѣльной жизни, наложенные рукою Провидѣнія и развивающіеся жизнію, но каждый народъ принадлежитъ всему человѣчеству. Чисто народныя черты физіогноміи, особенности выступаютъ уже тогда, когда народъ созналъ свое отдѣльное историческое значеніе, когда яркими событіями вписалъ онъ имя свое на страницы исторіи. У племенъ, находящихся въ младенческомъ состояніи развитія, не можетъ быть народности, какъ мы понимаемъ ее. Какъ въ исторіи, такъ и въ литературѣ, народность является гораздо позже. Нужно было воспитаться въ обществѣ чувству человѣческаго достоинства, а потомъ могло уже оно любоваться народными созданіями, выросшими на его собственной землѣ. Подобно тому, какъ сначала нужно быть человѣкомъ, а потомъ уже воиномъ, гражданскимъ чиновникомъ, попомъ, учителемъ, такъ прежде обще-

ство должно развить въ себѣ человѣческое достоинство, а потомъ уже гордиться національными особенностями. Поэтому на долю Карамзина выпало завидное званіе быть въ литературѣ воспитателемъ человѣческаго чувства въ обществѣ, какъ Пушкинъ былъ воспитателемъ чувства художественнаго. Послѣ Карамзина могли явиться и народно-простодушныя созданія Крылова и величавые, со всею глубиною русскаго чувства, образы Пушкина. Безъ него такія явленія не связывались бы съ предшествовавшимъ развитіемъ литературы и были бы необъяснимы. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Карамзинъ является представителемъ человѣческаго сердечнаго чувства. Вотъ почему и содержаніе его произведеній гораздо глубже, гораздо многостороннѣе всѣхъ предшествовавшихъ литературныхъ явленій. Ни на одномъ прежнемъ писателѣ нашемъ не отразилось такъ могущественно вліяніе европейскихъ литературъ, какъ на Карамзинѣ. Перечтите его „Письма русскаго путешественника“ и вы увидите въ нихъ всѣ его симпатіи и антипатіи, и первыхъ гораздо больше, сравнительно съ послѣдними, ибо онъ особенно отличался любовію ко всему. Тутъ нѣтъ того рѣзкаго желчнаго тона, которымъ проникнуты страницы „Писемъ изъ-за границы“ Фонвизина, тутъ нѣтъ его непримиримаго, охуждающаго взгляда и несправедливыхъ выходокъ противъ славныхъ именъ науки и словесности. Взглядъ Карамзина вполнѣ примирительный, и вотъ почему онъ, даже въ Парижѣ 1790 года, оставался вѣренъ своимъ задушевнымъ идеямъ, вѣренъ религіи чувства, наполнявшей всю жизнь его. Онъ не видѣлъ бездны, разверзающейся подъ его ногами... Русская публика въ произведеніяхъ Карамзина, особенно въ „Письмахъ“ его, познакомилась съ новыми, дотолѣ неизвѣстными ей представителями европейскихъ литературъ. Карамзинъ разсказывалъ про свои свиданія и бесѣды съ Виландомъ, Кантомъ, Шиллеромъ и Гете. Еще прежде, до путешествія, онъ перевелъ „Юлія Цезаря“ изъ Шиллера и первый познакомилъ насъ съ этимъ славнымъ именемъ. Послѣ него понятно, какимъ образомъ Жуковскій могъ внести въ нашу поэзію новые элементы романтизма, принадлежавшіе германскому духу и впервые появившіеся въ нѣмецкой литературѣ... Журналы Карамзина, издаваемые имъ по возвращеніи изъ-за границы, были органами его вліянія на читателей. Карамзинъ первый

пустился въ политическія обозрѣнія и помѣщалъ критическіе обзоры событій въ „Вѣстникѣ Европы“, которыя выражали собою народное чувство, возбужденное начальными войнами съ Наполеономъ. Кромѣ того, журналы Карамзина знакомили публику съ многостороннею жизнію Европы. Ея науки, искусства и литература находили себѣ въ немъ краснорѣчиваго истолкователя. Въ журналахъ его впервые также появились статьи чисто критическаго содержанія, которыхъ не было у насъ до него. Онъ былъ основателемъ нашей критики и проложилъ дорогу Жуковскому, Макарову, Дашкову и другимъ своимъ современникамъ. Правда, его критика истекала изъ того же источника, который виденъ во всѣхъ его произведеніяхъ, а именно изъ чувства, личнаго и безотносительнаго, правда и то, что мы далеко ушли впередъ отъ критическихъ убѣжденій Карамзина, но заслуга его несомнѣнна. Его собственное литературное положеніе, новая форма слога и языка, принесенная имъ въ литературу, вмѣстѣ съ содержаніемъ, борьба старыхъ началъ съ новыми возбудили жаркую критическую дѣятельность, длившуюся нѣсколько лѣтъ и бывшую не безъ послѣдствій въ исторіи русской литературы. Къ защитникамъ Карамзинскихъ нововведеній принадлежитъ и молодой Пушкинъ, вмѣстѣ со всѣмъ живымъ и дѣятельнымъ въ нашей литературѣ. Появленіе „Исторіи Государства Россійскаго“ было рѣшительнымъ торжествомъ Карамзинскихъ идей и началъ, возбужденныхъ имъ въ русской литературной дѣятельности. Вслѣдъ за могущественными событіями войны 12-го года, вслѣдъ за громомъ побѣдъ и свѣжею славою русскаго имени въ Европѣ, эта книга имѣла огромное вліяніе. Но ея появленіе принадлежитъ уже ко времени литературной дѣятельности самого Пушкина.

Такова была заслуга Карамзина по отношенію къ внутреннему содержанію нашей литературы, увеличенной имъ въ объемѣ, расширенной новыми благородными началами.

Буличъ.

Заслуги Карамзина по отношенію къ формѣ выраженія новаго содержанія.

Новое содержаніе требовало и новой формы выраженія. Прежде, при чисто внѣшнемъ стремленіи нашей литературы, можно было довольствоваться тѣми условными формами, которыя, будучи принесены изъ Европы, получили у насъ право гражданства. Ѣдкая сатира друга и товарища въ жизни и литературѣ Карамзина, Дмитріева, убила окончательно форму оды. Драма, съ своей стороны, нанесла тяжкіе удары классической трагедіи, гдѣ являлись подъ именами героевъ жалкія созданія декламаціи и реторики. Новое содержаніе, принесенное Карамзинымъ въ литературу, требовало и новой формы, и онъ представляется у насъ нововводителемъ формы повѣсти и романа, которыхъ не было у насъ до него. Повѣсть вполнѣ удовлетворяла новому содержанію; въ ней свободнѣе и шире могла развернуться игра сердечнаго чувства, и въ ней только могла найти убѣжище простая жизнь, выводимая на сцену. Безспорно, что форма повѣстей Карамзина далека отъ той простой, но художественной формы повѣсти и историческаго разсказа, какія далъ намъ Пушкинъ, но не надобно забывать время ихъ появленія и необходимо отличать *чувствительность* Карамзина отъ глубокаго чувства Пушкина. Форма Карамзина — вообще легкая, приличная содержанію. Въ его стихотвореніяхъ тотъ же простой и естественный складъ рѣчи, какой и въ повѣстяхъ. Заслуга Карамзина особенно достойна глубокаго уваженія по той реформѣ русскаго слога и языка, какую произвелъ онъ своими сочиненіями въ нашей литературѣ, освободивъ прозаическую и стихотворную рѣчь отъ тяжелыхъ церковно-славянскихъ оборотовъ, которыми со времени Ломоносова щеголяли наши поэты и писатели, считая эту церковно-славянскую печать на своихъ произведеніяхъ — признакомъ величія и поэзіи; Карамзинъ первый очистилъ слогъ нашъ отъ этой нестройной пестроты и заговорилъ простымъ человѣческимъ языкомъ, особенно идущимъ къ тому элементу сентиментализма и чувствительности, который онъ выражалъ въ литературѣ. Какъ въ этой чувствительности не могло быть силы и дѣйствительности, какъ въ ней мы видимъ только переходное направленіе, переходное явленіе въ жизни общества,

кой, так и от слога Карамзина нельзя требовать силы и крѣпости, которыхъ съ такою легкостію достигнулъ Пушкинъ, выразитель опредѣленныхъ и твердыхъ началъ въ литературѣ. Въ слогѣ Карамзина, при всѣхъ его прекрасныхъ достоинствахъ, чувствуется что-то чужое, нерусское, и односторонніе нападки на Карамзина Шишкова и его послѣдователей заключаютъ въ себѣ извѣстную долю истины. Но заслуга Карамзина чрезвычайно важна. Безъ нея не могло бы быть никакого дальнѣйшаго движенія въ нашей литературѣ, безъ нея не могъ бы явиться Дмитріевъ, Жуковскій, Крыловъ. Они не могли быть нововводителями или вслѣдствіе условій своей природы и развитія, или вслѣдствіе односторонняго направленія.

То, что проповѣдовалъ въ прозѣ Карамзинъ, то выражалъ стихами Дмитріевъ. Его поэтическія произведенія, его сказки, написанныя простымъ и яснымъ языкомъ, его пѣсни, вполнѣ проникнутыя нѣжностію сентиментальнаго чувства, безъ миѳологическихъ прикрасъ и безъ торжественности, имѣютъ чрезвычайно важное значеніе въ нашей литературѣ. Простая форма ихъ важна исторически, а чувство, дышащее въ нихъ, кажущееся теперь намъ нѣсколько приторнымъ, было отраднымъ явленіемъ послѣ громогласнаго одопѣнія. Но и Дмитріевъ и Карамзинъ заплатили дань вѣку и не вполнѣ могли отрѣшиться отъ прежнихъ вліяній въ литературѣ, хотя многое послѣ нихъ сдѣлалось рѣшительно невозможнымъ. Это были двѣ натуры, дѣйствовавшія въ чисто переходную эпоху, а потому отразившія въ себѣ вліяніе стараго и предчувствіе будущаго. Вотъ почему многіе изъ послѣдователей Карамзина, такъ напримѣръ, Капнистъ, Озеровъ, В. Пушкинъ, заимствуя отъ него форму своихъ произведеній, усвоивая болѣе или менѣе его языкъ, во многомъ другомъ оставались вѣрны преданіямъ докарамзинской эпохи. По той же причинѣ и Карамзинъ писалъ холодныя оды, какъ было то встарину. Но молодая русская словесность развивалась чрезвычайно органически. Вообще всякое явленіе въ ней всегда можно, при болѣе внимательномъ изученіи, связать съ предшествующимъ и послѣдующимъ, и историческая важность Карамзинской эпохи получаетъ въ глазахъ критика огромное значеніе: во время Карамзина является уже сознаніе, что литература есть одна изъ необходимыхъ сторонъ государственной жизни.

но она необходима ей, какъ армія и флотъ, что занятіе литературою гораздо болѣе почтенно, нежели забавно, что она есть дѣло, а не пріятное препровожденіе времени, веселая игра, отъ нечего дѣлать, отъ лишняго досуга. Званіе писателя, столь униженное въ вѣкѣ предшествовавшемъ, когда поэтъ и комедіантъ часто были синонимами, со времени Карамзина получило почтенное мѣсто въ общественной іерархіи. Прежде званіе поэта было побочнымъ. Большая часть поэтовъ, по словамъ Дмитріева была:

. . . . . . лейбъ-гвардіи капралъ,
Ассесоръ, офицеръ, какой-нибудь подьячій,
Иль изъ кунсткамеры антикъ, въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ — народъ все нужный, [illegible]...

Сочиненія ихъ являлись вслѣдствіе разныхъ, чисто внѣшнихъ побужденій, постороннихъ для литературы. Дмитріевъ продолжаетъ:

Къ тому жъ, у древнихъ цѣль была, у насъ другая:
Горацій, напримѣръ, восторгомъ грудь питая,
Чего желалъ? О! Онъ — онъ бралъ не свысока,
Въ вѣкахъ безсмертія, а въ Римѣ лишь вѣнка
Изъ лавровъ иль изъ миртъ, чтобъ Делія сказала:
„Онъ славенъ, чрезъ него и я безсмертна стала!“
А нашихъ многихъ цѣль — награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ,
Который отъ роду не читывалъ другова,
Кромѣ придворнаго подчасъ мѣсяцеслова;
Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ
Печатный всякой листъ быть кажется святымъ.

Карамзинъ создалъ и публику и званіе писателя. Онъ трудовою своею жизнію, посвященною уединеннымъ подвигамъ слова, доказалъ, что можно быть истиннымъ гражданиномъ земли своей, служа ей перомъ и всю жизнь преслѣдуя исключительно только литературныя цѣли. *Галах.*

Заслуги Карамзина въ области языка и слога.

Болѣе полувѣка прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ явились въ свѣтъ „Письма русскаго путешественника“ Карамзина, съ новымъ, какъ тогда его называли русскимъ языкомъ, русскимъ слогомъ, — и между тѣмъ этотъ языкъ

и слогъ не только не забыты, не устарѣли, но, увлекши за собою огромную толпу подражателей, развивались и совершенствовались по данному направленію, постоянно и непрерывно, сами никогда не теряя значеніе образца! Онъ родоначальникъ той изумительной простоты и ясности литературной нашей рѣчи, которая достигла такого недосягаемаго совершенства въ прозаическихъ сочиненіяхъ геніальнаго Пушкина, той гармоніи, плавности, прелести, какими прельщаетъ она насъ въ произведеніяхъ безсмертнаго Жуковскаго той, такъ сказать, желѣзной крѣпости, силы, округленности и пластичности, какимъ удивляемся въ „Героѣ нашего времени“ Лермонтова, наконецъ, той своеобразной смѣны періодичности съ краткостію и лаконизмомъ, такъ мѣтко и рельефно отливающей мысли и предметы со всѣми ихъ мельчайшими оттѣнками, которыми мы восхищаемся, но которымъ не рѣшаемся подражать, въ созданіяхъ Гоголя.

Но эти громадныя послѣдствія возникли единственно изъ фактической авторской дѣятельности Карамзина. Второй преобразователь русскаго слога не писалъ теоріи новаго литературнаго русскаго слога, не объяснялъ и не доказывалъ посредствомъ разсужденій и литературныхъ или журнальныхъ споровъ новыхъ взглядовъ на языкъ и слогъ, на условія и требованія новаго слога, не занимался учеными филологическими изслѣдованіями. И между тѣмъ всѣ знаютъ и повторяютъ единогласно, — и совершенно вѣрно, — что Карамзинъ преобразовалъ нашъ языкъ, нашъ слогъ, что отъ него ведетъ свое начало новый періодъ въ области отечественной литературной рѣчи. Какъ же совершилъ Карамзинъ это поистинѣ великое, по своей сущности и послѣдствіямъ, дѣло? Фактическимъ приложеніемъ на дѣлѣ той теоріи, которая ясно выработалась въ его душѣ, постигнутая вѣрно его геніальнымъ чутьемъ и глубокимъ проникновеніемъ въ сущность строенія русскаго языка, въ его духъ. Онъ достигъ этого „Письмами русскаго путешественника“, повѣстями, наконецъ, „Исторіею Государства Россійскаго“, въ которыхъ, какъ великій учитель соотечественниковъ, на дѣлѣ показалъ истинный духъ русскаго языка, заговорилъ тою родною рѣчью, которая пришлась по сердцу всякому русскому человѣку, затронула душу каждаго, потому что каждый увидѣлъ въ ней свою, родную живую рѣчь.

Велики несомнѣнныя заслуги перваго преобразователя русскаго слова, безсмертнаго Ломоносова. Извѣстно, что въ древнемъ допетровскомъ періодѣ нашей словесности литературнымъ языкомъ нашимъ былъ языкъ церковно-славянскій. Петръ Великій первый началъ писать тѣмъ языкомъ, который употреблялъ и въ разговорѣ. Нѣкоторые писатели и старались вводить въ литературу это разговорное нарѣчіе — русскій языкъ, но, большею частію, неудачно: они не имѣли яснаго понятія о границахъ, отдѣляющихъ одинъ языкъ отъ другого, оттого выраженія церковно-славянскія смѣшивались съ народными русскими. Сверхъ того, вмѣстѣ съ новыми понятіями и предметами, вслѣдствіе реформы Петра Великаго, вошло въ нашъ языкъ множество иностранныхъ словъ: нѣмецкихъ, французскихъ, голландскихъ, итальянскихъ и другихъ. Ломоносовъ отдѣлилъ церковно-славянскій языкъ отъ чисто-русскаго въ отношеніи грамматическомъ и первый составилъ грамматику этого отдѣленія русскаго языка, но не совершенно оставилъ языкъ церковно-славянскій. Раздѣливъ книжный языкъ по слогу на три извѣстные разряда — высокій, средній и низкій, онъ подчинилъ русскій языкъ въ стилистическомъ отношеніи церковно-славянскому и въ представленныхъ образцахъ высокой рѣчи или слога, особенно въ похвальныхъ словахъ, построеніе рѣчи ввелъ не русское, а чуждое, латинское, состоящее изъ длинныхъ періодовъ. Такимъ образомъ Ломоносовъ, по выраженію князя Вяземскаго, „представилъ тѣло, оживленное то германскимъ, то латинскимъ духомъ, коему даны въ пособіе слова славянскія!" Преемники великаго Ломоносова чувствовали, что въ его плавной, благозвучной рѣчи есть что-то искусственно-мертвое, что въ ней слышится чуждый элементъ. И потому, несмотря на множество подражателей Ломоносову, было не мало и такихъ писателей, которые старались очистить русскій языкъ отъ этихъ чуждыхъ ему элементовъ какъ въ матеріальномъ составѣ, такъ и въ строѣ. Уже въ комедіяхъ Фонвизина видимъ смѣлое отступленіе отъ признаннаго законнымъ слога, видимъ языкъ, близкій къ разговорному, въ сочиненіяхъ и переводахъ Подшивалова ту пріятную простоту слога, за которую называютъ его предшественникомъ Карамзина; въ журналѣ „Почта духовъ" сатирическія статьи Крылова отличаются легкимъ

разговорнымъ строеніемъ рѣчи. Но эти попытки къ сближенію книжной рѣчи съ разговорною были робки, медленны, безъ яснаго сознанія сущности дѣла — духа языка. А жизнь кипѣла: новыя идеи, новые предметы входили въ жизнь и требовали для себя соотвѣтственнаго живого выраженія въ словѣ. Франція съ своими идеями, съ своимъ вкусомъ и модами, господствуя въ XVIII вѣкѣ во всей западной Европѣ, законодательствовала и у насъ. Французскій языкъ, французскія идеи, французскія моды царили въ нашемъ высшемъ обществѣ, а за нимъ тянулся и кругъ средній. Фонвизинъ, можетъ-быть, нѣсколько преувеличенно и карикатурно, но ярко рисуетъ это вліяніе на наше общество всего французскаго, въ знаменитой комедіи-сатирѣ „Бригадиръ", въ лицѣ бригадирскаго сына. Для него все несчастіе совѣтницы состоитъ въ томъ только, что она русская; для него, только съѣздивъ въ Парижъ, сколько-нибудь будешь походить на человѣка!! Среди такого положенія дѣлъ выступилъ на литературное поприще Карамзинъ. Смотря на языкъ, какъ на оболочку мысли, какъ на средство для выраженія идей и проведенія ихъ въ массу, онъ сознавалъ несравненно яснѣе, чѣмъ другіе, сознавалъ вполнѣ, что для полнаго успѣха въ этомъ дѣлѣ необходимо сообщить книжной рѣчи ту простоту и краткость, какою отличается рѣчь разговорная, слѣдовательно, необходимо сблизить, подружить ее съ этою послѣднею и въ матеріальномъ отношеніи и въ строѣ. И потому онъ прямо и откровенно принялъ за правило „писать *такъ*, какъ говорятъ", а въ огражденіе языка литературнаго отъ всякой порчи, прибавилъ оговорку „и говорить, какъ пишутъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ тотчасъ же представилъ фактическое доказательство — приложеніе къ дѣлу своей мысли — письма о заграничной жизни, повѣсти. Прочтите нѣсколько страницъ, даже нѣсколько строкъ изъ этихъ писемъ и повѣстей, сравните ихъ языкъ съ языкомъ даже Фонвизина — и вамъ ярко бросится въ глаза огромная разница между тѣмъ и другимъ. Понятно, что новая рѣчь Карамзина должна была пріятно изумить русскую публику, особенно ту часть ея, которая до того времени не читала другихъ книгъ, кромѣ милыхъ французскихъ романовъ, а тѣмъ болѣе не читала русскихъ книгъ, потому что, по преданію, считала родной языкъ грубымъ, необразован

нымъ, бѣднымъ, неспособнымъ къ выраженію моей тонкихъ способомъ пріятнымъ. Самъ Карамзинъ, въ статьѣ „О любви къ отечеству и народной гордости“, такъ говоритъ объ этомъ взглядѣ на родной языкъ: „Оставимъ нашимъ любезнымъ свѣтскимъ дамамъ утверждать, что русскій языкъ грубъ и непріятенъ, что charmant и séduisant, expansion и vapeur не могутъ быть на немъ выражены, и что, однимъ словомъ, не стоитъ труда знать его. Кто смѣетъ доказывать дамамъ, что онѣ ошибаются!“ И, замѣтивъ, что мужчины не имѣютъ права судить такъ ложно, Карамзинъ прибавляетъ: „языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности“.

Въ преобразованіи строенія рѣчи Карамзинъ руководствовался сближеніемъ языка литературнаго съ языкомъ разговорнымъ, что сообщило книжному языку начало жизни, начало движенія.

Кромѣ того, углубляясь въ родную старину, перечитывая старинныя грамоты, договоры, акты и другія государственныя бумаги, изучая народныя пѣсни и сказки, Карамзинъ въ нихъ увидѣлъ духъ русскаго языка, овладѣлъ имъ и въ своей литературной рѣчи, проникнутой этимъ духомъ, воскресилъ множество давно оставленныхъ грамотниками мѣткихъ, живыхъ, наглядно рисующихъ предметъ и мысль народныхъ словъ и оборотовъ, возвратилъ имъ право гражданства въ литературѣ, обогатилъ и украсилъ ими литературную рѣчь. Это же обширное и глубокое знакомство со старинною русскою рѣчью народной литературы открыло ему и истинный духъ ея строя: отсюда особенная любовь Карамзина къ дактилическому окончанію фразъ и предложеній, столь обыкновенному въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, любовь къ нему, такъ ясно высказавшаяся даже въ самомъ заглавіи безсмертнаго памятника исторической дѣятельности Карамзина — „Исторія Государства Россійскаго“. Оттуда — эти прилагательныя и нарѣчія, поставляемыя имъ на концѣ, единственно съ тою цѣлію, чтобы рѣчь оканчивалась любимымъ дактилемъ. Такимъ образомъ, подражание новымъ западнымъ языкамъ, французскому и англійскому, въ складѣ новой рѣчи Карамзина было только слѣдствіемъ краткаго и глубокаго знакомства его съ истинными свойствами, съ духомъ родного языка.

Естественно, впрочемъ, что, преобразуя строеніе рѣчи, самъ преобразователь не могъ вначалѣ избѣжать нѣкоторыхъ недостатковъ. Прибавимъ къ чрезвычайной трудности дѣла тогдашнее французское воспитаніе, господство французскаго языка въ разговорѣ лучшаго общества, множество новыхъ идей и предметовъ, съ которыми познакомился Карамзинъ во время путешествія по Европѣ и которыя, будучи намъ незнакомы, не имѣли соотвѣтственныхъ себѣ выраженій — и намъ будетъ понятно, почему въ первыхъ сочиненіяхъ Карамзина встрѣчаются иностранныя слова и обороты, преимущественно галлицизмы. Если этихъ недостатковъ не могъ избѣгнуть вначалѣ самъ великій преобразователь русскаго слога, то толпа его подражателей, изъ коихъ многіе не имѣли таланта, не понимали сущности преобразованія, а слѣдовали новому направленію единственно потому, что оно было модное и нравилось публикѣ, и должна была дойти, какъ и дошла, до крайности: употребляли безъ малѣйшей нужды французскіе слова и обороты и, такимъ образомъ, наводнили русскую рѣчь выраженіями и оборотами чуждыми. Писатели Ломоносовской школы, эти истинные патріоты, справедливо высоко цѣнившіе чистоту родной рѣчи и съ благоговѣніемъ смотрѣвшіе на церковно-славянскій языкъ, какъ на наше народное достояніе, народную святыню, священный ковчегъ нашей святой вѣры и русской народности, пришли въ понятное патріотическое негодованіе и панически страхъ отъ этого искаженія родной рѣчи. Тогда на защиту и спасеніе ея, отъ лица старой и новой Россіи, возсталъ представитель этой школы, жаркій патріотъ, достопамятный адмиралъ Шишковъ и разразился на нововводителей знаменитымъ своимъ сочиненіемъ: „О старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка“. Закипѣла сильная, ожесточенная литературная война. Со всею силою и энергіею оскорбленнаго патріота, вооруженный крѣпкими фактическими доводами и изъ филологіи и изъ священнаго хранилища чистоты русскаго языка и русской народности — церковно-славянскаго языка, священныхъ книгъ нашей православной вѣры, сочиненій высокихъ отечественныхъ проповѣдниковъ и духовныхъ писателей и безсмертнаго Ломоносова, онъ утверждалъ, что нѣтъ языка русскаго, отдѣльнаго отъ церковно-славянскаго, что есть *одинъ* языкъ русскій — языкъ священныхъ книгъ, сочиненій

Феоф. Прокоповича, Ломоносова, Державина, а языкъ Карамзина есть только слогъ его, нарѣчіе русскаго языка, а не языкъ особый. Напавъ на слѣпое подражаніе иностранцамъ, энергически и рѣзко обвиняя Карамзина и его послѣдователей въ ложности взгляда, въ искаженіи родного языка, Шишковъ утверждалъ догматически, что русская рѣчь — это нарѣчіе единаго славяно-русскаго языка — должна заимствовать и свою силу и свою красоту изъ церковно-славянскаго, а не изъ французскаго языка. Жаркій противникъ Карамзина и карамзинистовъ встрѣтилъ сильное сочувствіе и пріобрѣлъ много приверженцевъ: одни изъ нихъ видѣли въ модномъ пустословіи бездарныхъ послѣдователей Карамзина дѣйствительную опасность, дѣйствительную порчу родного слова, оскорбленіе народнаго чувства и народной гордости; другіе просто рады были возвращенію къ старому слогу, къ старинѣ. Послѣдователи Карамзина, въ свою очередь, возстали на защиту новаго литературнаго направленія и его органа — новаго языка. Поприщемъ этой замѣчательной литературной борьбы были журналы: *Московскій Меркурій*, *Цвѣтникъ* и *С.-Петербургскій Вѣстникъ*. Всѣмъ извѣстно, чѣмъ кончилась эта борьба: побѣда осталась за приверженцами новаго направленія, ибо на сторонѣ его была большая доля справедливости, больше талантовъ, на сторонѣ его была публика.

Но не жарко спорившіе послѣдователи Карамзина одержали эту побѣду, не они нанесли окончательное и рѣшительное пораженіе своимъ противникамъ, заставивъ ихъ смолкнуть и покориться. Вся честь славной побѣды принадлежитъ безсмертному Карамзину. Въ то время, какъ его противники и приверженцы поражали другъ друга критико-сатирическими статьями, горячились и шумѣли, онъ уклонился отъ всякаго состязанія со своими противниками и съ главою ихъ, Шишковымъ. Только по временамъ, самъ [illegible], онъ заявлялъ свои понятія о языкѣ, свои взгляды на него, и заявлялъ спокойно и благородно. Такъ, въ рѣчи, произнесенной въ торжественномъ собраніи Императорской Россійской Академіи 5 декабря 1818 г., указавъ на громадную пользу, которую оказала Академія изданіемъ словаря, Карамзинъ между прочимъ сказалъ: „Лѣтописи [illegible]

ніе языка; непосредственное же его обогащеніе зависитъ отъ успѣховъ общежитія и словесности, отъ дарованія писателей, а дарованія единственно отъ судьбы и природы. Слова не изобрѣтаются академіями; они рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта, *какъ счастливое вдохновеніе*. Самыя правила языка не изобрѣтаются, а въ немъ уже существуютъ: надобно только открыть или показать оныя". Вотъ-то вѣрный и для того времени новый взглядъ на сущность изслѣдованія языка и на самый языкъ и указалъ второму преобразователю русскаго слова на народный языкъ, на русскія народныя пѣсни и сказки, какъ на сокровищницу, изъ которой слѣдовало ему почерпать основанія и матеріалъ для задуманныхъ и начатыхъ имъ преобразованій въ литературномъ языкѣ. И вотъ, не отвѣчая своимъ противникамъ на ихъ критическія, нерѣдко зло-сатирическія нападки ни антикритиками ни филологическими оборонительными статьями, Карамзинъ только собиралъ справедливыя замѣчанія своихъ противниковъ, и, руководствуясь единственно вѣрнымъ и главнымъ критеріемъ — народною рѣчью пѣсенъ и сказокъ, исправлялъ въ своихъ, даже прежнихъ, сочиненіяхъ указанныя ошибки и болѣе и болѣе совершенствовалъ свой литературный языкъ. Какой чудный, высокій примѣръ благородной и безкорыстно-полезной дѣятельности! И какъ благотворно было бы намъ и нашему молодому поколѣнію писателей слѣдовать этому примѣру великаго русскаго человѣка! Да, высоко это гражданское мужество славнаго нашего соотечественника, который презиралъ сатирическія нападки и оскорбленія литературной брани, къ сожалѣнію обратившейся у насъ въ такую любимую моду, и неуклонно и честно работалъ единственно на пользу и славу любимаго отечества! Слава Богу, прошло для насъ, и прошло безвозвратно, время рабскаго поклоненія всему иноземному. Есть у насъ свои великіе люди, свои столбы земли русской: пусть же наше молодое поколѣніе съ открытымъ сердцемъ обратитъ на нихъ свой взоръ и ихъ примѣромъ укрѣпитъ свои юныя силы для служенія вѣрою и правдою тому великому дѣлу святой родины, которому тѣ служили такъ самоотверженно и славно.

Источникъ какой бы то ни было дѣятельности или первоначальное нравственное побужденіе къ ней сообщаетъ цвѣтъ

характеръ и значеніе и самой этой дѣятельности, и нашему сужденію о ней. Чѣмъ выше нравственное побужденіе, изъ котораго возникла дѣятельность историческаго лица, тѣмъ свѣтлѣе и чище эта личность въ глазахъ современниковъ и потомства, тѣмъ возвышеннѣе ея произведенія, ея дѣянія. За величіе и чистоту нравственныхъ побужденій дѣятельности мы миримся съ ошибками, часто невольно и неизбѣжно ей сопутствующими. Какъ ожесточенно нападалъ глубокій патріотъ, адмиралъ Шишковъ, на виновника мнимаго искаженія русскаго языка — Карамзина — и обвинялъ его и его послѣдователей въ неуваженіи къ родной святынѣ, въ пристрастіи къ чужому и пренебреженію своимъ, роднымъ, цитируя, безъ указанія имени автора, цѣлыя мѣста изъ Карамзина! Тѣмъ не менѣе, мы, спокойно озираясь на прошлое, внимательно прослѣдивъ всю славную дѣятельность славнаго преобразователя русскаго слова, съ отрадною гордостію торжественно говоримъ, что Карамзинъ былъ глубочайшій патріотъ Русской земли, что сердце его такъ же сильно и горячо билось за интересы, за славу и процвѣтаніе русскаго народа, русскаго слова, какъ и у Шишкова. Прочитайте его *Письма*, его *Исторію Государства Россійскаго*, его статьи: *Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ*, *О любви къ отечеству и народной гордости* — и вы убѣдитесь въ этомъ.

„Завистники русскихъ говорятъ, что мы имѣемъ только въ высшей степени *переимчивость*... Но успѣхи литературы нашей доказываютъ великую способность русскихъ. Давно ли знаемъ, что̀ такое слогъ въ стихахъ и прозѣ? и можемъ въ нѣкоторыхъ частяхъ уже равняться съ иностранцами... Будемъ только справедливы, любезные сограждане, и почувствуемъ цѣну собственнаго... Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою... Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, и для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣе гармоніею, нежели французскій; способнѣе для изліянія души въ тонахъ, представляетъ болѣе *аналогическихъ* словъ, т.-е. сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки. Бѣда наша, что мы все хотимъ говорить по-французски и не думаемъ трудиться надъ

обрабатываніемъ собственнаго языка... Языкъ важенъ для патріота, и я люблю англичанъ за то, что они лучше хотятъ *свистать* и *шипѣть* по-англійски, нежели говорить чужимъ языкомъ, извѣстнымъ почти всякому изъ нихъ... Есть всему предѣлъ и мѣра; какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобъ сказать: *я существую нравственно!* Теперь мы уже имѣемъ столько знаній и вкуса жизни, что могли бы жить, не спрашивая, какъ живутъ въ Парижѣ и Лондонѣ? Хорошо и должно учиться; но горе человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!... Мы еще въ срединѣ нашего славнаго теченія! Символъ нашъ есть пылкій юноша; сердце его, полное жизни, любитъ дѣятельность; девизъ его есть: *труды и надежда!* Побѣды очистили намъ путь къ благоденствію; слава есть право на счастіе!"

Такъ говорилъ въ 1802 г. преобразователь русскаго слова, славный нашъ исторіографъ, и такъ поступалъ онъ во всемъ, ни на іоту не измѣняя этимъ глубоко-патріотическимъ чувствамъ во всю свою жизнь. Изъ этого-то чистаго и возвышеннаго побужденія возникли и тѣ преобразованія въ русскомъ словѣ, за которыя блюститель чистоты языка Шишковъ обратилъ на него, главнымъ образомъ, всю силу своихъ ожесточенныхъ нападеній. Тѣмъ въ лучшемъ свѣтѣ является теперь эта высоко-нравственная личность безсмертнаго Карамзина намъ, потомкамъ его, пользующимся плодами его патріотическихъ трудовъ. Мы говоримъ, мы пишемъ русскимъ языкомъ, преобразованнымъ трудами и геніемъ славнаго Карамзина.

Линниченко.

Карамзинъ въ исторіи литературнаго языка и Шишковъ.

Попытаюсь расположить въ нѣкоторомъ порядкѣ безсвязныя, безпрестанно повторяющія одно и то же обвиненія Шишкова; можетъ-быть, изъ нихъ уже видно будетъ отчасти, что именно сдѣлалъ Карамзинъ въ отношеніи къ языку.

Первымъ и важнѣйшимъ недостаткомъ *новаго слога* въ глазахъ Шишкова было исключеніе изъ него церковно-славян

скихъ словъ и оборотовъ. Въ самомъ началѣ своего *Разсужденія* онъ жалуется, что *въ большей части нынѣшнихъ нашихъ книгъ* господствуетъ странный слогъ, и главную причину того видитъ въ пренебреженіи къ церковно-славянскому языку, *корню и началу русскаго*. Ошибочное понятіе объ отношеніи между обоими языками и было источникомъ всего неудовольствія Шишкова. Онъ не догадывался, что долговременное преобладаніе перваго надъ послѣднимъ въ литературѣ было явленіемъ, хотя и неизбѣжнымъ, но незаконнымъ игомъ, которое могучій народный языкъ долженъ былъ рано или поздно сбросить съ себя. Проливая свою жалобу, Шишковъ направляетъ первый ударъ не на Фонвизина, не на Крылова или прежнихъ сатириковъ, а прямо на Карамзина. Онъ выписываетъ нѣсколько строкъ изъ *Пантеона россійскихъ авторовъ*, только что изданнаго. Итакъ, вотъ чтеніе, послужившее ему непосредственнымъ поводомъ къ начатію войны противъ новаго слога. Какое же мѣсто болѣе всего обратило на себя его вниманіе? Это слѣдующія слова изъ замѣтки о Кантемирѣ: „Раздѣляя слогъ нашъ на эпохи, первую должно начать съ Кантемира, вторую съ Ломоносова, третью съ переводовъ славяно-русскихъ г. Елагина, а четвертую съ нашего времени, въ которое образуется пріятность слога, *называемая французами élégance*" (послѣднія три слова исключены Карамзинымъ изъ позднѣйшихъ изданій *Пантеона* въ собраніи его сочиненій). Въ этомъ небольшомъ отрывкѣ Шишкову представилась многообразная ересь: 1) неуваженіе къ славяно-русскому языку; 2) мысль, что слогъ нашъ сталъ пріобрѣтать пріятность независимо отъ церковно-славянскаго; 3) означеніе этого новаго свойства французскимъ словомъ; 4) отнесеніе Ломоносова къ законченному уже періоду развитія литературнаго языка. Шишковъ не могъ простить Карамзину, что не видѣлъ у него „краснорѣчиваго смѣшенія славенскаго величаваго слога съ простымъ россійскимъ" и умѣнія „высокій славенскій слогъ съ просторѣчивымъ россійскимъ такъ искусно смѣшивать, чтобы высокопарность одного изъ нихъ пріятно обнималась съ простотою другого". Такое смѣшеніе, какъ выше показано, встрѣчалось у всѣхъ прежнихъ писателей, не исключая Фонвизина и Крылова, когда они сходили съ пера *низкаго штиля*; оно составляло принадлежность

старого слога, переходившаго иногда въ то *славяномудріе*, противъ котораго Карамзинъ первый открыто возсталъ еще въ *Московскомъ Журналѣ*. Шишковъ не забылъ одной сказанной тамъ фразы и теперь повторяетъ ее: „слогъ нашего переводчика (т.-е. переводчика *Неистоваго Роланда*) можно назвать изряднымъ. онъ не надутъ славянщизною и довольно чистъ“. — „Что иное значитъ слово сіе *(славянщизна)* — спрашиваетъ Шишковъ съ негодованіемъ, какъ не презрѣніе ко всему славенскому языку?“

Вторымъ обвинительнымъ пунктомъ его было излишнее употребленіе французскихъ словъ и оборотовъ, какъ то: *моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, катастрофа, серьёзно, меланхолія, миѳологія, рецензія, героизмъ, быть на сценѣ, выходить на сцену* и т. п. Не находя у самого Карамзина довольно словъ и реченій этого рода, онъ отыскиваетъ ихъ у самыхъ плохихъ писакъ и призываетъ своего противника къ отвѣту за всѣ ихъ нелѣпыя заимствованія. Онъ не замѣчаетъ, что самъ часто грѣшитъ галлицизмами, что способенъ, какъ указалъ Дашковъ, соблюсти даже цѣлыми страницами французское словосочиненіе“, и не перестаетъ „вопіять противъ галлицизмовъ“.

Въ связи съ этимъ онъ упрекаетъ Карамзина за его начитанность, за его знакомство съ Боннетомъ, Вольтеромъ, Юнгомъ, Томсономъ, Оссіаномъ, Стерномъ, Лафатеромъ, Кантомъ и другими писателями, которыхъ тотъ будто бы „твердитъ на каждой страницѣ“, выучившись у нихъ русскому, *на бредъ похожему*, языку. Вмѣсто ихъ, критикъ ставитъ въ образецъ, между прочимъ, труды Ломоносова, Сумарокова, Мотониса, Крашенинникова, Полетики, Павла Кутузова и Ивана Захарова. При чтеніи *Пантеона россійскихъ авторовъ*, отъ вниманія Шишкова страннымъ образомъ ускользнуло, что составитель этихъ замѣтокъ также былъ знакомъ съ древнею русскою литературою, что, кромѣ Боннета, Вольтера, Юнга и проч., онъ читалъ Нестора, пѣснь о полку Игоревѣ, Өеофана, Димитрія Ростовскаго, и словомъ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, многое изъ того, что читалъ самъ защитникъ стараго слога, поражающій насъ слабыми познаніями своими въ иностранныхъ языкахъ и литературахъ.

Далѣе новые писатели обвиняются въ составленіи русскихъ словъ и реченій по иностранному образцу (въ *юродивомъ*

переводы и выдуманныя слова и рѣчи), какъ то: *трогатель-ный, занимательная, сосредоточить, представитель, начитанность, обдуманность, оттѣнокъ, сострадательная* роль, *гармоническое* цѣлое и мн. др. При этомъ Шишкова особенно сердитъ, что многимъ словамъ, уже прежде существовавшимъ, придается новое, болѣе духовное значеніе; напримѣръ, что слова *развить, развитіе, утонченный, утонченность, переворотъ* стали употребляться (подобно французскимъ développer, raffiné, révolution). Болѣе всего не нравится ему слово *развитіе*, напримѣръ, въ выраженіи *развитіе страстей*, и онъ считаетъ совершенно равносильнымъ *прозябеніе*, которое и употребляетъ, такимъ образомъ, въ своемъ *Разсужденіи* (напримѣръ, пишетъ „прозябеніе талантовъ“). „Какъ же, — спрашиваетъ онъ, — вводимъ мы съ французскаго языка въ русскій такое выраженіе, которое сами французы на своемъ языкѣ употреблять сочли бы за безобразіе! Поистинѣ разумъ и слухъ мой страдаютъ, когда мнѣ говорятъ: *ночныя бесѣды, въ которыхъ развивались первыя мои метафизическія понятія*. Фраза эта взята изъ статьи Карамзина: *Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона*. „Для чего, — замѣчаетъ критикъ далѣе, — въ вышесказанной рѣчи не сказать: въ которыхъ первыя мои понятія *прозябали*?“ Также строго осуждаетъ онъ выраженіе Карамзина: „когда путешествіе сдѣлалось потребностію души моей“, и спрашиваетъ: „Свойственно ли по-русски говорить: *потребность души моей*, и можно ли путешествіе называть *потребностью, надобностью* или *нуждою* души? Если сочинителю мало показалось сказать: *когда я любилъ путешествовать*, то могъ бы онъ премногими другими сродными языку нашему оборотами рѣчь сію выразить, какъ, напримѣръ: *когда душа моя наиболѣе услаждалась путешествіями*; или *когда я путешествіе почиталъ [illegible] изъ самыхъ пламеннѣйшихъ желаній моихъ*“.

Не менѣе усердно Шишковъ, въ своей книгѣ, преслѣдуетъ неправильное, т.-е. несогласное съ законами русскаго языка образованіе нѣкоторыхъ словъ и реченій, напримѣръ, *[illegible]*, *будущность*; сюда же относитъ онъ сравнительныя: *картиннѣе, плачевнѣе, [illegible]*, а равно несообразное, по его понятіямъ, словосочетаніе, напримѣръ, *[illegible]* самолюбіе (въ чемъ, какъ онъ увѣряетъ, нѣтъ смысла), или *[illegible]* (*„ибо простые и

ныя понятія важнымъ и возвышеннымъ слогомъ описывать неприлично"). Что касается до слова *вліяніе*, то оно употреблялось еще до Карамзина, между прочимъ, въ рѣчахъ московскихъ профессоровъ, но прежде дополнялось различными предлогами: то *въ*, то *надъ*, то *на*.

Совѣтуя, для передачи новыхъ мыслей, держаться исключительно церковныхъ книгъ и старинныхъ писателей, онъ предлагаетъ, между прочимъ, *наитіе* или *наитствованіе* вмѣсто „вліяніе", отвергаетъ *развитіе* только потому, что его нѣтъ въ старыхъ книгахъ, и предпочитаетъ ему *прозябеніе*; далѣе требуетъ удержанія такихъ словъ, какъ *непщевать, гобзованіе, осклабиться, приснотекущій, любомудріе, тмолвіе, ядца* (плоти) и *пійца* (крови). Даже нѣкоторые техническіе термины, по его мнѣнію, прекрасно переведены, какъ, напримѣръ, параллельныя линіи названы *мимоидущими чертами*, хорда — *потягивающею*, діаметръ — *размѣромъ*, центръ — *остію* и проч. „Таковыя и симъ подобныя слова, полагаетъ онъ, — нужны намъ: онѣ обогащаютъ языкъ нашъ и наполняютъ его новыми понятіями.... Бросимъ, — заключаетъ Шишковъ въ одномъ примѣчаніи къ *Разсужденію*, — чужеземный составъ рѣчей, придержимся собственнаго своего слога и станемъ *новыя мысли свои* выражать *старинныхъ предковъ нашихъ складомъ*". Въ концѣ *Разсужденія* помѣщена элегія, представляющая въ каждомъ стихѣ пародію на языкъ Карамзина. Вотъ первые стихи ея:

Потребностей моихъ единственный *предметъ!*
Красотъ твоей души *моральный, милый* свѣтъ
Всю *физику* мою *приводитъ въ содроганье:*
Какое на меня ты дѣлаешь *вліянье!*

Такимъ образомъ, книга о старомъ и новомъ слогѣ начинается и кончается выходками противъ Карамзина.

Карамзинъ озабоченъ былъ прежде всего тѣмъ, чтобъ языкомъ своихъ сочиненій удовлетворять образованному эстетическому чувству: онъ захотѣлъ придать слогу *пріятность*, или изящество (élégance), писать *со вкусомъ*. Онъ находилъ „длинные" ломоносовскіе періоды „утомительными", расположеніе ихъ не „всегда сообразнымъ съ теченіемъ мыслей, не всегда пріятнымъ для слуха". До Карамзина господство ломоносовскаго синтаксиса въ русской прозѣ, за исключеніемъ только нѣкоторыхъ родовъ сочиненій, не прекраща-

лось; иначе и быть не могло. Ломоносовъ еще всѣми былъ признаваемъ за образецъ языка и слога. Карамзинъ первый отнесся къ нему критически и высказалъ неодобреніе его стилистическихъ началъ. Въ противоположность имъ онъ считалъ нужнымъ:

1) Писать *недлинными* *недтомительными* предложеніями;

2) Располагать слова *сообразно съ теченіемъ мыслей* и съ особыми *законами* языка. „Лучшій, т.-е. истинный порядокъ", по замѣчанію Карамзина, „всегда *одинъ* для расположенія словъ; русская грамматика не опредѣляетъ его, тѣмъ хуже для дурныхъ писателей!"

Эти два правила относятся къ синтаксису, котораго упрощеніе, такимъ образомъ, совершилось въ сочиненіяхъ Карамзина вовсе не въ силу подражанія французскому или англійскому языку, а въ силу потребности русскаго ума и вкуса.

Были ли у Карамзина новые обороты? Нынѣшній читатель почти не замѣтитъ ихъ въ его сочиненіяхъ; между тѣмъ мыслящіе люди изъ его современниковъ, Макаровъ, Дашковъ и др., находили у него новизну и въ этомъ отношеніи. Самъ онъ также высказалъ убѣжденіе, что писателю его времени нужно было нѣкоторое творчество въ выраженіяхъ, и, сверхъ того, прямо свидѣтельствовалъ (въ приведенномъ отвѣтѣ Каменеву) о самобытности своихъ оборотовъ. Ключомъ къ уразумѣнію этихъ показаній можетъ служить его же поясненіе, что надобно „предлагать слова въ новой связи, но такъ искусно, чтобъ скрыть отъ читателя необыкновенность выраженія". Величайшее искусство Карамзина, какъ стилиста, въ томъ и обнаружилось, что онъ безъ всякихъ, повидимому, усилій, безъ рѣзкихъ и разительныхъ нововведеній рѣшилъ задачу мыслящаго писателя, имѣющаго дѣло съ неустановившимся и мало разработаннымъ литературнымъ языкомъ. Еще и въ наше время всякій русскій писатель по опыту знаетъ, легка ли борьба мысли съ выраженіемъ на языкѣ, менѣе другихъ развитомъ; а между тѣмъ русскій языкъ послѣ Карамзина, конечно, ушелъ впередъ. Читая Карамзина со вниманіемъ даже въ первоначальныхъ изданіяхъ его сочиненій, мы, по большей части, бываемъ поражены только непринужденною простотою его оборотовъ, почти всегда согласныхъ съ нынѣшнимъ языкомъ.

У него вовсе нѣтъ тѣхъ неловкихъ и странныхъ въ наше время выраженій, о которыя мы безпрестанно спотыкаемся у другихъ тогдашнихъ прозаиковъ. Вотъ почему современники Карамзина и находили его слогъ новымъ. Обыкновенно думаютъ, что въ болѣе раннихъ его сочиненіяхъ много галлицизмовъ. Между тѣмъ у него и въ первое время его журнальной дѣятельности очень рѣдко встрѣтится выраженіе, напоминающее иностранный оборотъ, да и тогда скорѣе замѣтно сходство съ нѣмецкимъ языкомъ, нежели съ французскимъ.

Въ *Вѣстникѣ Европы* успѣхъ языка поразителенъ. Наблюдая характеръ Карамзинской прозы съ синтактической стороны, мы придемъ къ заключенію, что новость ея для современниковъ состояла не столько въ томъ, что мы собственно разумѣемъ подъ *оборотами,* сколько въ цѣломъ строѣ его рѣчи, въ гладкости и чистотѣ ея, въ смѣлыхъ сочетаніяхъ и сопоставленіяхъ словъ, въ живыхъ и яркихъ выраженіяхъ. Все это можно видѣть болѣе изъ совокупности его первыхъ сочиненій, нежели изъ отдѣльныхъ выраженій.

Приведу, однакоже, нѣсколько примѣровъ:

„Пришла весна, и благодѣтельныя *вліянія* сего прекраснаго времени года *возвратили* мнѣ друга; бальзамическія *испаренія* зеленѣющихъ травъ *оживили его сердце;* вмѣстѣ съ цвѣтами *расцвѣтала душа его,* и вмѣстѣ съ нѣжными птенцами слабый *духъ* его *оперялся*“; „*знанія разливаются* какъ волны морскія“; „помнишь, другъ мой, какъ мы нѣкогда... *ловили* въ исторіи всѣ благородныя *черты* души человѣческой“, — „доказательство, что сердца ихъ *отверзались впечатлѣніямъ* изящнаго“; „такія великодушныя, безкорыстныя чувства трогательны для всякаго, еще *не мертваго душою* человѣка. Разныя *обстоятельства* измѣняли нашъ простой, добрый характеръ и *занятнали его* на время; видимъ людей, *углубленныхъ въ свою личность* и *холодныхъ для* всего народнаго“.

Въ отношеніи къ лексическому составу литературнаго языка, у Карамзина замѣчаются слѣдующіе элементы рѣчи:

1) Большее и бóльшее ограниченіе нелюбимыхъ имъ славянизмовъ, рѣдкое заимствованіе изъ *церковно-славянскаго* языка словъ и формъ. Карамзинъ понималъ его отдѣльность отъ другого славянскаго языка, издревле употреблявшагося

.. Россіи и получившаго названіе *русскаго*. Въ доказательство того онъ, еще въ 1803 году, противополагалъ переводъ Библіи языку „Слова о полку Игоревѣ“. Въ прозѣ высшаго настроенія, у самого Карамзина, славянская стихія никогда не исчезаетъ вполнѣ, и какъ не мало онъ ею пользуется уже въ началѣ своего поприща, но въ болѣе раннихъ трудахъ его есть еще такія черты ея, которыя лишь впослѣдствіи пропадаютъ (напр. „осьмой на десять“ вѣкъ, окончаніе *ыя* въ родительномъ падежѣ прилагательныхъ женскаго рода). Задача состояла только въ вѣрномъ проведеніи границы, до которой эта стихія можетъ быть допущена. Удаляя изъ своихъ сочиненій устарѣлыя слова, Карамзинъ еще въ *Московскомъ Журналѣ* порицалъ ихъ, когда они встрѣчались ему у другихъ писателей (доказательство, что исключеніе изъ языка церковно-славянской примѣси не совершилось задолго до Карамзина). Такъ, онъ охуждалъ слова: *лтинать, изрядство, обращенія* (во множественномъ числѣ) и мн. др. Такъ, онъ съ самаго начала пересталъ употреблять въ прежнемъ смыслѣ слова: *изрядный* (вм. превосходный), *подлый*[1]) (вм. низкій по происхожденію), а впослѣдствіи и *довольный* (вм. *достаточный*), *упражняться, упражненіе* (вм. заниматься, занятіе). Это было, конечно, дѣломъ отрицательнымъ, но оно имѣло великую важность для слога, а притомъ сопровождалось и положительною замѣною такихъ словъ другими, болѣе точными или болѣе соотвѣтствовавшими духу новаго времени. Уже тогда Карамзинъ охуждалъ также (хотя еще только въ комедіяхъ) употребленіе мѣстоименій *сей* и *оный*[2]).

2) Введеніе иностранныхъ словъ для новыхъ понятій. „Нѣкоторыя чужестранныя слова“, — объяснилъ Макаровъ, .. совершенно необходимы; ими только не должно пестрить языка безъ крайней осторожности. Взять слово приличное (французское, арабское, нѣмецкое, какое угодно) весьма хорошо; а неприличное весьма дурно... Потерять счастливую мысль или выразить ее слабо, для нѣкоторой чистоты языка.

---

[1]) [illegible] *...нами*. Такъ, въ изданіи *Дѣло отъ бездѣлья* 1792 г. (ч. I, стр. 95) говорится: „..нѣмцовъ, которые знакомы ученому свѣту, а болѣе *подлому* народу“.

[2]) *Моск. Журн.* ч. I, стр. 357

будетъ непростительное педантство"[1]. Впрочемъ, Карамзинъ никогда непозволялъ себѣ необдуманнаго излишества въ употребленіи иностранныхъ словъ. Правда, что въ первыхъ его сочиненіяхъ они попадаются чаще, нежели въ позднѣйшихъ, и даже въ первоначальныхъ ихъ изданіяхъ чаще, нежели въ послѣдующихъ, однакожъ уже въ *Московскомъ Журналѣ* Карамзинъ одобрялъ счастливый *переводъ* научныхъ терминовъ; слѣдовательно, онъ не былъ противъ развитія языка путемъ образованія новыхъ словъ отъ собственныхъ его корней. Иногда онъ предпочиталъ иностранное слово потому, что оно опредѣленнѣе русскаго; такъ, въ одной рецензіи онъ спрашиваетъ, зачѣмъ не сказано *публичный* вмѣсто *всенародный*. Нѣкоторыя французскія слова, встрѣчающіяся у прежнихъ писателей, отвергнуты имъ, напримѣръ: *резонъ, резонма, консидерація, универсальная апробація*, употреблявшіяся Фонвизинымъ. Въ „Письмахъ русскаго путешественника" онъ постоянно пишетъ *приборы* вмѣсто *мебель*, слово, только въ позднѣйшіе годы принятое имъ во французской формѣ (*мебли*, множ. ч.); тамъ же, вмѣсто *меблированный*, онъ пишетъ *прибранный*. Многихъ иностранныхъ словъ, впослѣдствіи вторгнувшихся въ языкъ, Карамзинъ вовсе не допускалъ. Такъ, вмѣсто полюбившагося въ наше время *факта* онъ иногда употреблялъ *случай*. Слова: *моральный, интересный, натура* (которое онъ употреблялъ попеременно съ словомъ „природа", но кажется, отличалъ въ каждомъ особые оттѣнки) и многія другія впослѣдствіи замѣнялись у него русскими: *нравственный, любопытный, занимательный для любопытства* и т. п. Однакожъ, изъ всѣхъ обвиненій Шишкова упрекъ въ употребленіи французскихъ словъ наиболѣе подходитъ къ истинѣ: Карамзинъ принялъ его къ свѣдѣнію и, насколько было возможно, исправился отъ этого недостатка. Галлицизмы, въ которыхъ его укоряли, состояли почти исключительно въ отдѣльныхъ словахъ.

3) Сообщеніе прежнимъ словамъ новаго значенія. Эту сторону обращенія Карамзина съ языкомъ лучше всего объяснилъ самъ Шишковъ, указавъ въ его сочиненіяхъ новое употребленіе словъ *потребность* и *развитіе*. Вмѣстѣ съ первымъ изъ нихъ онъ осудилъ и цѣлое выраженіе, которое

[1]) *Моск. Меркурій*, дек., стр. 166.

оказалось ему не русскимъ: „путешествіе сдѣлалось потребностію души моей“. Что касается до слова *развитіе*, то въ тогдашнемъ академическомъ словарѣ его нѣтъ вовсе, а есть только глаголъ *развиваю* и причастіе *развитый* въ собственномъ, чисто вещественномъ смыслѣ. Примѣровъ употребленія извѣстныхъ словъ въ новомъ, распространенномъ или болѣе опредѣленномъ значеніи можно найти у него не мало. Онъ же первый употребляетъ во множественномъ числѣ слово *вкусъ*, которое Шишковъ такъ преслѣдовалъ, въ смыслѣ разборчивости, потому что наши предки, вмѣсто *имѣть вкусъ*, говорили *толкъ вѣдать, силу знать*.

4) Составленіе новыхъ словъ. Насильственное составленіе новыхъ словъ было несогласно съ характеромъ всего существа Карамзина и могло бы только мѣшать тому дѣйствію, какое онъ стремился сообщить своей рѣчи. Поэтому естественно, что новыя, имъ составленныя слова встрѣчаются у него рѣдко, и наиболѣе смѣлыя изъ нихъ сопровождаются оговоркой. Таковы употребленныя имъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“ *промышленность* и *достигаемая цѣль*; кромѣ того, онъ тамъ же замѣтилъ, что *тротуары* можно по-русски назвать *намостами*.

Какъ смотрѣлъ онъ на творчество въ языкѣ, на „непосредственное обогащеніе“ его, видно изъ собственнаго размышленія его объ изобрѣтеніи словъ. „Они, — говоритъ онъ въ своей академической рѣчи, — рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка, или въ произведеніяхъ таланта, какъ счастливое вдохновеніе. Сіи новыя, мыслію одушевленныя, слова входятъ въ языкъ самовластно“. Чѣмъ безыскусственнѣе новосоставленное слово, чѣмъ оно сообразнѣе съ прежними, чѣмъ менѣе бросается въ глаза, тѣмъ легче оно входитъ въ языкъ и тѣмъ прочнѣе въ немъ утверждается. У Карамзина разсѣяно много новыхъ или, по крайней мѣрѣ, до него не установившихся словъ этого рода, изъ которыхъ одни, по простотѣ своей, остались незамѣченными и не попали въ словари, какъ, напр., *общественность*, *человѣчественный*, *всемѣстный* (вм. повсемѣстный), *со-[illegible]*, *[illegible]*, *живодѣтельный* (вм. животворный); другія сдѣлались общимъ достояніемъ, например: *[illegible]ствовать*, *человѣчный*, *общеполезный*. Для выраженія множества понятій Карамзинъ рано почувствовалъ недостаточ-

ность существующаго запаса словъ русскаго языка. и еще во время своего путешествія, намѣреваясь переводить книгу Боннета, говорилъ въ письмѣ къ автору ея о необходимости составлять притомъ, по примѣру нѣмцевъ, новыя слова. И въ послѣдующихъ переводахъ Карамзина встрѣчаются слова частью новыя, подобныя выписаннымъ, частью прежнія, при чемъ онъ иногда ставитъ въ скобкахъ подлинное слово. Примѣры послѣдняго случая были уже приведены выше; можно прибавить къ нимъ еще нѣсколько: *общія положенія* (въ законодательствѣ, dispositions générales), *отношенія* (raports), *тонкости*, *отвлеченія* и др.

Таковы были неологизмы Карамзина до „Исторіи Государства Россійскаго", въ которой онъ, какъ извѣстно, сталъ болѣе и болѣе оживлять свое изложеніе словами, заимствованными изъ лѣтописей. При всей осмотрительности въ первыхъ своихъ сочиненіяхъ, онъ, однакоже, далъ значительный толчокъ лексическому развитію и обогащенію языка, и Шишковъ въ своемъ *Разсужденіи* съ досадою замѣтилъ: „Академическій Словарь нашъ хотя и недавно сочиненъ, однако послѣ того уже такое множество новыхъ словъ надѣлано, что онъ становится обветшалою книгою, не содержащею въ себѣ новаго языка". Положимъ, что между вновь появившимися словами было большое число неудачно скованныхъ подражателями Карамзина и потому непрочныхъ; однако жалоба Шишкова, какъ и прежде уже произнесенная Подшиваловымъ, показываетъ, какъ сильно было движеніе, возбужденное въ литературѣ примѣромъ „русскаго путешественника".

Итакъ Карамзинъ былъ недоволенъ языкомъ, который онъ засталъ въ литературѣ, приступая къ самостоятельной дѣятельности. Онъ захотѣлъ писать иначе. Онъ захотѣлъ писать такъ же „пріятно", то-есть сообразно съ здравымъ вкусомъ, изящно, какъ пишутъ лучшіе иностранные авторы. Для этого онъ принялъ въ руководство не французскій или англійскій синтаксисъ, а русскій разговорный языкъ, развивая и обогащая его, по возможности, изъ собственныхъ его началъ, но, въ случаѣ надобности заимствуя изъ другихъ языковъ отдѣльныя слова, иногда же и обороты, не противные духу русскаго языка. Устранивъ господствовавшее прежде словосочиненіе съ частыми славянизмами, онъ отбросилъ также все шероховатое, грубое, устарѣлое. Новый, такимъ образомъ.

по своему строю, а отчасти и по составу, языкъ его былъ новъ также по своей строгой правильности логической и грамматической, по точности и опредѣленности словъ и выраженій, по установленію твердыхъ началъ въ словоуправленіи.

Сверхъ того и слогъ Карамзина былъ новъ по своей пластичности, по богатству образовъ и живописи выраженій, въ которыхъ слова являлись въ новой связи, въ новыхъ счастливыхъ сочетаніяхъ.

Такъ возникла въ первый разъ на русскомъ языкѣ проза ровная, чистая, блестящая и музыкальная, въ выразительности и изяществѣ не уступавшая прозѣ самыхъ богатыхъ литературъ Европы. Эта проза имѣла еще свои недостатки, иногда ей вредила нѣкоторая искусственность, имѣвшая цѣлію удовлетворить особеннымъ, своенравнымъ требованіямъ слуха. И замѣчательно, что такой недостатокъ развился наиболѣе въ послѣдній и самый важный періодъ дѣятельности Карамзина. Высшей степени простоты и естественности проза его достигла въ *Вѣстникѣ Европы* (если исключить „Мароу Посадницу").

Карамзинъ далъ русскому литературному языку рѣшительное направленіе, въ которомъ онъ еще и нынѣ продолжаетъ развиваться. *Гротъ.*

Сердечность Карамзина.

Рядомъ съ жизнію мысли и труда какъ богата была его сердечная жизнь! Онъ на дѣлѣ оправдывалъ то, что писалъ однажды къ Батюшкову: „Чувство выше разума: оно есть душа души — свѣтитъ и грѣетъ въ самую глубокую осень жизни". Съ неистощимою любовью и нѣжностью онъ, несмотря на непрерывныя умственныя занятія, удовлетворялъ потребности обмѣна мыслей не только съ своимъ семействомъ и близкими друзьями, но и съ отсутствовавшимъ другомъ своей молодости, Дмитріевымъ. Это самое чувство любви проникало всѣ его отношенія, съ одной стороны, къ собратьямъ его по литературѣ, съ другой къ императорскому семейству. Какъ необычайно было это сближеніе между монархомъ и человѣкомъ, котораго вся жизнь сосредоточивалась въ ка-

бинетѣ, который былъ въ полномъ смыслѣ слова безкорыстнымъ жрецомъ науки. Иногда его самого поражала особенность этого явленія, и онъ писалъ въ 1821 году: „Судьба страннымъ образомъ приближала меня въ лѣтахъ преклонныхъ ко двору необыкновенному и дала мнѣ искреннюю привязанность къ тѣмъ, чьей милости всѣ ищутъ, но кого рѣдко любятъ". По характеру и духу образованія Александра I, насъ не можетъ удивлять взаимное сочувствіе этихъ двухъ историческихъ лицъ. Рожденіе обоихъ принадлежало почти къ одной и той же эпохѣ; они были воспитаны среди одинаковой въ сущности атмосферы идей и понятій. Первыя дѣйствія Александра, по вступленіи его на престолъ, воспламенили въ Карамзинѣ энтузіазмъ къ монарху, „юному лѣтами, но зрѣлому мудростью, который (какъ выражался „Вѣстникъ Европы") открывалъ необозримое поле для всѣхъ надеждъ добраго сердца". Карамзинъ съ полною искренностью заговорилъ въ своемъ журналѣ о его необыкновенной благости, замѣтилъ, что „не только Россія и Европа, но и цѣлый свѣтъ долженъ гордиться монархомъ, который употребляетъ власть единственно на то, чтобы возвысить достоинство человѣка въ неизмѣримой державѣ своей". Александръ, съ своей стороны, конечно, будучи еще великимъ княземъ, зналъ Карамзина по его сочиненіямъ и цѣнилъ его. Въ похвальномъ словѣ Екатеринѣ Второй, 1802 г., будущій историкъ спрашиваетъ: „Унижается ли монархъ, когда онъ сходитъ иногда съ высоты трона, становится на ряду съ людьми и, будучи любимцемъ *судьбы*, платитъ дань уваженія любимцамъ *природы*, отличнымъ дарованіями?" Александръ сдѣлалъ болѣе и тѣмъ поставилъ себя, въ глазахъ потомства, неизмѣримо высоко: вѣчною благодарностью обязана русская литература и наука государю, который, приблизивъ къ престолу писателя, своею личною опорой оградилъ его отъ опасностей этого положенія и далъ ему возможность спокойно и успѣшно продолжать великій трудъ въ тишинѣ уединенія, не нуждаясь въ дворскихъ связяхъ и ненадежномъ покровительствѣ людей случайныхъ. Изъ писемъ исторіографа мы узнаемъ высокій характеръ этихъ необыкновенныхъ отношеній съ обѣихъ сторонъ. Правдивость, откровенность, честность Карамзина во всемъ, что онъ говорилъ и писалъ Александру, равнялась только тому вниманію и великодушію.

съ какимъ выслушивалъ его государь, тому безграничному благоволенію, какое онъ оказывалъ своему *искреннему* (такъ Александръ называлъ Карамзина) — не наградами, не отличіями, но знаками любви и уваженія человѣка къ человѣку. Правда, что „Записка о древней и новой Россіи“, которою исторіографъ ставилъ на карту всю свою будущность или, по крайней мѣрѣ, судьбу своего дорогого историческаго труда, — эта смѣлая записка временно удалила государя отъ ея автора, но то было на самыхъ первыхъ порахъ ихъ сближенія, и впослѣдствіи довѣріе Александра къ Карамзину было тѣмъ полнѣе и тверже. Письмо о Польшѣ хотя также не понравилось государю, однакожъ нисколько не разстроило ихъ прежнихъ отношеній. Александръ говорилъ Карамзину: „Въ нашихъ отношеніяхъ мнѣ особенно пріятно то, что ты ничего отъ меня не ожидаешь, я же знаю, что ты не будешь моимъ историкомъ“. Чувство исторіографа къ императору не было только благоговѣніемъ и благодарностью; это была глубокая, горячая, безкорыстная любовь; всякое сомнѣніе въ томъ исчезаетъ при чтеніи писемъ Карамзина къ Дмитріеву, которыя такъ полны сердечныхъ выраженій преданности къ государю. Таково же было его отношеніе къ обѣимъ императрицамъ и къ великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ, которая первая изъ особъ Императорскаго дома узнала и полюбила Карамзина. Цѣня выше всего умственные интересы, эти царственныя жены умѣли отвести имъ широкое мѣсто въ жизни своей, находили особенное наслажденіе въ частыхъ бесѣдахъ съ писателемъ и своимъ сердечнымъ вниманіемъ украсили его уединенную жизнь въ Петербургѣ и Царскомъ Селѣ. Его переписка съ ними, отличающаяся рѣдкимъ соединеніемъ свободы и простоты съ достоинствомъ тона, остается также краснорѣчивымъ памятникомъ высокаго благородства души его.

Ни разу Карамзинъ не воспользовался своимъ исключительнымъ положеніемъ для своихъ личныхъ выгодъ; но, не признавая за собою права на новыя благодѣянія государя, не позволяя себѣ даже просить его быть воспріемникомъ новорожденнаго сына, постоянно лелѣя завѣтную думу возвратиться въ Москву, онъ радовался, что могъ, живя въ Петербургѣ, дѣлать иногда добро другимъ. Случай къ тому доставляли ему, вообще, его обширныя связи и вѣсъ, кото-

рымъ онъ пользовался. Съ особенною готовностью оказывалъ онъ помощь писателямъ, искавшимъ его покровительства: такъ, онъ исходатайствовалъ пенсіи Владимиру Измайлову и Сергѣю Глинкѣ; такъ, онъ вступился за Пушкина, когда ему угрожало строгое заточеніе за его поэтическія шалости, и достигъ того, что оно было замѣнено удаленіемъ его на службу въ Бессарабію.

Всего возвышеннѣе является Карамзинъ въ отношеніяхъ къ своимъ литературнымъ врагамъ. „Дѣлать зла, — говорилъ онъ, — не желаю и тѣмъ, которые хотятъ сдѣлать его мнѣ". Къ главному изъ нихъ, Шишкову, онъ не питалъ никакой непріязни, находилъ въ немъ доброту и честность и благодушно сознавалъ пользу, какую извлекъ изъ его критики въ искусствѣ писать. Язвительныя рецензіи Каченовскаго онъ также называлъ полезными для себя и поучительными и при избраніи Каченовскаго въ члены Россійской Академіи положилъ ему бѣлый шаръ за себя и за своихъ довѣрителей; Ходаковскому, который съ грубыми насмѣшками разбиралъ его „Исторію", но потомъ прибѣгнулъ къ его помощи, онъ оказалъ услугу не только ходатайствомъ за него передъ правительствомъ, но и денежною поддержкою изъ собственныхъ своихъ средствъ. Съ гордымъ достоинствомъ онъ отзывался о низкихъ на него нападкахъ завистливой посредственности. Его неизмѣннымъ правиломъ съ самой молодости было не отвѣчать на критику; еще путешествуя по Европѣ, онъ восхищался равнодушіемъ Лафатера къ тому, что̀ о немъ писали, видѣлъ въ этомъ знакъ рѣдкой душевной твердости и говорилъ, что человѣкъ, который, поступая по совѣсти, не смотритъ на то, что̀ о немъ думаютъ, есть для него великій человѣкъ. Этому взгляду онъ остался вѣренъ до старости; такъ, онъ однажды писалъ къ А. И. Тургеневу: „истинно ученые презираютъ и хвалу и брань невѣждъ"; когда же Каченовскій нападалъ на него въ „Вѣстникѣ Европы", а Дмитріевъ возбуждалъ его къ полемикѣ, онъ возразилъ ему въ одномъ письмѣ: „А ты, любезнѣйшій, все еще думаешь, что мнѣ надобно отвѣчать на критики! Нѣтъ, я лѣнивъ... Хочу доживать вѣкъ въ мирѣ. Умѣю быть благодарнымъ; умѣю не сердиться и за брань. Не мое дѣло доказывать, что я, какъ папа, безгрѣшенъ. Все это дрянь и пустота".

Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Карамзинъ слѣдовалъ самымъ строгимъ правиламъ чести и нравственности, не позволяя себѣ кривыхъ путей даже и въ добрѣ. Однимъ изъ господствующихъ состояній его души было то высокое страданіе любви, которое свойственно только душамъ избраннымъ; онъ живо принималъ къ сердцу все, что касалось не только близкихъ къ нему, но и постороннихъ. Его глубоко огорчало то, что, по его мнѣнію, не отвѣчало пользамъ Россіи: всякое общественное дѣло, котораго онъ не могъ одобрить, разстраивало его, мѣшало ему работать. „Ты знаешь, кажется, — говорилъ онъ Дмитріеву, что я не очень золъ въ отношеніи къ своимъ личнымъ непріятелямъ; но общественныя злодѣйства, которыя можно назвать язвою государственною, трогаютъ меня до глубины души“. Въ домашнемъ быту никогда не видали его гнѣвнымъ; когда случалось что-либо непріятное, онъ скорбѣлъ, страдалъ, но не сердился. Вообще, въ послѣдніе годы жизни Карамзинъ представляется намъ высокимъ христіаниномъ, мудрецомъ, достигшимъ полнаго мира съ собою, равнодушнымъ къ свѣту и суетѣ его. Славѣ своей онъ не придавалъ большой цѣны и никогда не хвалился ею. Къ концу жизни письма его, всегда полныя достоинства, принимаютъ какой-то особенный оттѣнокъ яснаго и умилительнаго спокойствія. Вопреки обыкновенной человѣческой слабости, онъ уже рано сталъ говорить о приближеніи старости, о смерти; но онъ говорилъ о нихъ безъ страха и горечи, видѣлъ въ нихъ, какъ и во всемъ, одну свѣтлую, примирительную сторону. „Чтобы чувствовать всю сладость жизни, — писалъ онъ къ Дмитріеву за нѣсколько мѣсяцевъ передъ кончиною, — надобно любить и смерть, какъ сладкое успокоеніе въ объятіяхъ отца. Въ мои веселые, свѣтлые часы я всегда бываю ласковъ къ мысли о смерти, мало заботясь о безсмертіи авторскомъ, хотя и посвятивъ здѣсь способности ума авторству“. Въ этомъ отношеніи письма его представляютъ что-то совершенно особенное: какъ будто часъ роковой развязки заранѣе ему извѣстенъ, онъ съ полною увѣренностью предусматриваетъ скорое окончаніе своего земного поприща, и переписка его съ Дмитріевымъ прерывается не внезапно, не неожиданно: онъ самъ съ полнымъ сознаніемъ подготовляетъ и приводитъ ее къ концу ея. То же видимъ и въ перепискѣ его съ госу-

теремъ и съ императрицей Елисаветой Алексѣевной. Въ послѣдніе годы пишущіе какъ бы предчувствуютъ, что смерть постигнетъ ихъ скоро и почти одновременно: они трогательно увѣщаваютъ другъ друга жить долѣе.

Я долженъ, хотя слегка, коснуться еще одной стороны жизни Карамзина, — его положенія въ литературѣ. Пріѣхавъ въ Петербургъ со своей „Исторіей", онъ увидѣлъ вокругъ себя группу молодыхъ даровитыхъ писателей, которые съ восторгомъ привѣтствовали въ немъ своего учителя. Ихъ сочувствіе, ихъ горячая приверженность были для него дороже самой славы, этой холодной невѣрной и часто слишкомъ неразборчивой богини. То были такъ называемые арзамасцы — Тургеневъ, Дашковъ, Блудовъ, Уваровъ, Батюшковъ, Жуковскій и другіе. Празднуя память Карамзина, можемъ ли не посвятить минутнаго воспоминанія и имъ, почти забытымъ въ наше тревожное время и которые лучше всѣхъ поняли Карамзина и усвоили себѣ его литературно-нравственный кодексъ, какъ дорогое завѣщаніе русскимъ писателямъ. По смерти его, Жуковскій, представившій въ себѣ самое полное преемство этихъ убѣжденій, преданный ихъ родоначальнику съ особеннымъ энтузіазмомъ, всѣхъ теплѣе выразилъ отношеніе къ нему арзамасцевъ и въ посланіи къ Дмитріеву такъ заключилъ воспоминаніе о Карамзинѣ:

Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы,
Ей молится Россіи вѣрный сынъ,
И будитъ въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ.

И таково дѣйствительно должно быть для русскихъ значеніе этой дорогой могилы, изъ которой какъ будто слышатся слова, сказанныя Карамзинымъ въ предсмертномъ письмѣ къ гр. Каподистріи: „Милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать". Что въ жизни народовъ, въ исторіи ихъ образованія можетъ быть отраднѣе и многозначительнѣе появленія подобныхъ дѣятелей? Они составляютъ вѣнецъ просвѣщенія. Нація, могущая указать въ своихъ лѣтописяхъ на такія лица, имѣетъ право не отчаиваться въ своемъ будущемъ. Но всѣ усилія передовыхъ ея людей

должны быть направлены къ тому, чтобы явленія этого рода не оставались у насъ одинокими. До тѣхъ поръ, пока воспитаніе и нравы не приготовятъ почвы, благопріятной для развитія личнаго достоинства человѣка, до тѣхъ поръ, пока высокіе характеры не будутъ возникать чаще, — никакіе успѣхи ума и матеріальнаго благосостоянія, никакія общественныя реформы не будутъ имѣть полнаго значенія. Примѣръ Карамзина показываетъ, какъ благотворны такіе дѣятели для всего окружающаго ихъ міра. Еще недостаточно оцѣнено то вліяніе, какое онъ производилъ на современное ему общество не только какъ публицистъ, разсказчикъ, историкъ, но и какъ высокій моралистъ. Но соприкосновеніе съ такими лицами плодотворно не въ одномъ настоящемъ: ихъ духъ, ихъ помыслы и дѣла сохраняютъ свое вліяніе еще и въ потомствѣ. Можно смѣло сказать, что близкое знакомство съ Карамзинымъ сдѣлалось навсегда необходимымъ элементомъ образованія для каждаго русскаго. Пусть же память его живетъ въ уваженіи; пусть его умственное наслѣдіе будетъ не только предметомъ справедливой народной гордости, но и благодатнымъ посѣвомъ для жатвы будущихъ поколѣній.

[illegible]

Личность Карамзина.

Въ Карамзинѣ мы видимъ рѣдкое соединеніе силъ, которыя по большей части встрѣчаются порознь: огромнаго таланта и изумительнаго трудолюбія. Это — ученый; но въ немъ есть еще человѣкъ, а человѣка Карамзинъ цѣнилъ въ себѣ болѣе, чѣмъ историка. „Жить — писалъ онъ къ Тургеневу, — есть не писать исторію, не писать трагедію или комедію, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дѣйствовать, любить добро, возвышаться душою къ его источнику; все другое, любезный мой пріятель, есть шелуха — не исключая и моихъ восьми или девяти томовъ“. Писатель и человѣкъ тѣсно слились въ Карамзинѣ въ одно гармоническое цѣлое; никогда слово его не противорѣчило дѣлу, и этотъ одинъ изъ самыхъ геніальныхъ людей Русской земли былъ если не самый чистый, то одинъ изъ самыхъ чистыхъ. Чѣмъ болѣе узнаемъ мы его, тѣмъ сильнѣе развивается желаніе

еще болѣе познакомиться съ нимъ. Я сказалъ выше, что образы, имъ воссозданные, становились для насъ свѣтлыми маяками; но надъ ними еще ярче горитъ его собственный образъ, высокій образъ благороднаго человѣка, честнаго гражданина и неутомимаго труженика. Въ нашемъ молодомъ, не установившемся обществѣ эти качества всего дороже.

Бестужевъ-Рюминъ.

Значеніе Карамзина не исчерпывается его литературными заслугами, какъ ни важны онѣ, не исчерпываются даже и великимъ трудомъ его жизни, „Исторіей Государства Россійскаго“. Карамзинъ дорогъ для насъ не тѣмъ только, что онъ сдѣлалъ, но и тѣмъ, чѣмъ онъ былъ. Въ исторіи нашего юнаго образованія онъ представляетъ собою одинъ изъ самыхъ привлекательныхъ типовъ, въ которомъ гармонически сочеталось все, что только можетъ быть сочувственно и дорого для просвѣщеннаго и мыслящаго русскаго человѣка. Въ немъ все восполняется одно другимъ и нѣтъ ничего, что искупалось бы какимъ-либо печальнымъ недостаткомъ; въ немъ все поднимаетъ наше чувство, и ничто не роняетъ его; какъ бы вы ни подошли къ нему и чего бы вы ни затребовали, вездѣ и во всемъ, много ли, мало ли онъ дастъ вамъ, но нигдѣ онъ у васъ ничего не отниметъ, нигдѣ и ни въ чемъ не оскорбитъ васъ. Для нашихъ поколѣній, посреди броженія умовъ и сбивчивости направленій, типическій образъ Карамзина не только привлекателенъ, но и весьма поучителенъ.

„Онъ былъ русскій не только по рожденію, но и по чувству; всею жизнію своею и дѣятельностію, столь плодотворною, принадлежалъ онъ Россіи. Но въ своемъ качествѣ русскаго, онъ былъ человѣкъ и ничто человѣческое не считалъ себѣ чуждымъ; онъ былъ сынъ всемірной цивилизаціи. Качество русскаго и качество европейца не были въ немъ двумя чуждыми, другъ друга незнавшими силами, ни двумя противными тяготѣніями; они не только не ссорились въ немъ, не только не отнимали другъ у друга мѣста, но были, какъ и слѣдуетъ, одною и тою же силой, и онъ былъ весь русскій въ своемъ европейскомъ качествѣ, онъ былъ весь европеецъ въ своемъ русскомъ чувствѣ. Онъ сходилъ во глу-

бины нашего прошедшаго, изъ забытыхъ архивовъ воскресилъ онъ для русскаго народа память его давняго, темнаго минувшаго; но онъ остался сыномъ своей эпохи и корни прошедшаго любилъ онъ въ цвѣтѣ настоящаго. Никто изъ его сверстниковъ не сдѣлалъ такъ много для русской народности, но онъ не былъ доктринеромъ какой-либо народной школы. Кто болѣе его любилъ Россію, кто былъ ревнивѣе къ ея достоинству, величію и чести? Въ комъ чище и сильнѣе горѣло святое пламя патріотизма? И однако никто изъ современныхъ ему дѣятелей не былъ болѣе его предметомъ сильной вражды доктринеровъ народности, полагавшихъ ея силу въ скованныхъ ими самими „шаропихахъ“ и „мокроступахъ“. Въ немъ живо на все отзывавшееся политическое чувство, и въ то же время онъ былъ высоко одаренъ здравымъ смысломъ дѣйствительности, и воображеніе мѣрилось въ немъ съ ясностію трезваго ума. Въ вѣкъ вольнодумства и отрицанія онъ былъ христіанинъ, искренно и глубоко убѣжденный; но религіозное чувство было свободно въ немъ отъ фанатизма и нетерпимости, и онъ умѣлъ отличать существенное отъ случайнаго, внутреннее отъ внѣшняго. Человѣкъ свѣтскаго образованія, онъ являетъ собой поучительный примѣръ постояннаго, упорнаго и усидчиваго труда; не будучи ученымъ, ни по приготовленію ни по призванію, онъ въ себѣ являетъ намъ образецъ изслѣдователя, который не останавливается предъ трудностями, и это въ то время, когда дѣло науки въ Россіи было еще такъ скудно и слабо. Онъ былъ писатель, доводившій свое выраженіе до классической оконченности. Онъ былъ политическимъ дѣятелемъ, хотя и не находился на офиціальныхъ поприщахъ государственной службы. Несмотря на то, что его время представляло мало условій для политическаго образованія, онъ обладалъ удивительно зрѣлымъ политическимъ умомъ, который онъ воспиталъ и укрѣпилъ своими историческими изученіями. Онъ не былъ придворнымъ, но находился въ самыхъ близкихъ, можно сказать, дружескихъ отношеніяхъ къ членамъ царской семьи и къ самому государю, который съ нимъ переписывался. Его переписка съ императоромъ Александромъ Павловичемъ, императрицею Елисаветою Алексѣевною и великою княгинею Екатериною Павловною исполнена удивительной искренности, простоты

и человѣчности. И, конечно, изъ числа лицъ, самыхъ приближенныхъ къ императору, никто не былъ преданъ ему болѣе Карамзина, но никакого раболѣпства ни въ дѣйствіяхъ ни въ словахъ его. Чувство подданнаго въ Карамзинѣ, этомъ свѣтломъ представителѣ нашей народности, не было чувствомъ раба. Благоговѣя предъ святынею верховной власти, глубоко чувствуя и ясно разумѣя силу семейныхъ, общественныхъ и государственныхъ уставовъ, Карамзинъ представляетъ собою образецъ характера въ высокой степени независимаго и благороднаго. Онъ разумѣлъ всю цѣну порядка, но точно такъ же понималъ онъ цѣну свободы, и ясно понималъ въ другомъ. Никто болѣе его не былъ чуждъ того поверхностнаго и пошлаго либерализма, который служитъ вѣрнымъ признакомъ умственной незрѣлости людей и политической незрѣлости общества; зато и никто болѣе его не обладалъ тѣмъ святымъ инстинктомъ свободы, безъ котораго человѣкъ не можетъ имѣть никакого нравственнаго достоинства. Независимость его характера восходила до гражданскаго мужества. *Катковъ.*

Въ исторіи русскаго образованія Карамзинъ есть лицо не только необыкновенное, но въ своемъ родѣ единственное. Онъ былъ первымъ у насъ писателемъ, который всю свою жизнь нераздѣльно посвятилъ литературѣ и ею одной создалъ себѣ независимое и блестящее положеніе. Онъ представляетъ разительный примѣръ великаго значенія характера въ дѣятельности писателя. Въ страстномъ Ломоносовѣ намъ понятно необоримое упорство стремленій, но въ кроткомъ Карамзинѣ насъ особенно поражаетъ энергія воли, съ какою онъ неуклонно и неутомимо идетъ къ одной, разъ избранной имъ цѣли. Такая сила характера объясняется только силою внутренняго призванія и таланта. На ихъ сознаніи основывалось то твердое убѣжденіе въ необходимости хранить свою независимость, которое заставляло Карамзина отвергать неоднократныя предложенія почетныхъ мѣстъ по ученой или государственной службѣ. Но къ идеѣ характера принадлежитъ также твердость правилъ и достоинство въ образѣ дѣйствій. Всѣ, лично знавшіе исторіографа, согласны въ томъ, что какъ ни высоко стоялъ Карамзинъ-писатель, еще былъ

выше Карамзина-человѣка. Карамзинъ не только усиливалъ въ современникахъ любовь къ чтенію, не только распространялъ литературное и историческое образованіе, но также возбуждалъ въ массѣ читателей религіозное и нравственное чувство, утверждалъ въ нихъ благородный и честный образъ мыслей, воспламенялъ патріотизмъ. Поколѣніе, къ которому принадлежалъ Карамзинъ, такъ далеко отъ нашего, что многіе могутъ видѣть въ немъ явленіе, для насъ чуждое. Но если станемъ ближе всматриваться въ него, то найдемъ, что онъ по своему образованію, по духу своей дѣятельности, даже по многимъ изъ своихъ взглядовъ и стремленій принадлежалъ болѣе нашей эпохѣ, нежели своей. Самый первый шагъ его въ литературѣ, — усовершенствованіе письменной рѣчи, единогласно одобренное и принятое всѣмъ послѣдующимъ поколѣніемъ, — былъ шагомъ человѣка, идущаго впереди своихъ современниковъ. Такъ шелъ онъ и послѣ: чѣмъ глубже будемъ изучать Карамзина, тѣмъ болѣе будемъ убѣждаться въ томъ.

Сосредоточивъ свое авторство на исторіи, Карамзинъ продолжалъ, однакожъ, вести переписку съ разными лицами. Почти всѣ его письма теперь приведены уже въ извѣстность, они драгоцѣнны для насъ, между прочимъ, тѣмъ, что въ нихъ вполнѣ отразился человѣкъ и писатель, которымъ могли бы справедливо гордиться первые по образованію европейскіе народы. Какъ любопытно слѣдить въ нихъ за нимъ, шагъ за шагомъ, въ его историческомъ трудѣ! Мы видимъ тутъ, какъ развивались его взгляды на разные періоды и характеры русской исторіи, какія впечатлѣнія онъ выносилъ изъ перваго знакомства съ источниками, какъ радовался онъ своимъ ученымъ находкамъ и открытіямъ.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ.

И. А. Крыловъ родился 2 февраля 1768 года, въ Москвѣ. Дѣтство его протекло среди такой обстановки, которая, повидимому, всего менѣе могла содѣйствовать правильному развитію его способностей. Отецъ его, армейскій капитанъ, мужественный защитникъ Яика отъ скопищъ Пугачева, былъ человѣкъ мало образованный. Судя по тѣмъ книгамъ, которыя онъ оставилъ въ наслѣдство сыну, онъ смотрѣлъ на литературу не какъ на образовательное средство, но какъ на средство убивать время. Мать Крылова, женщина не только необразованная, но даже неграмотная, хотя и понимала необходимость образованія, но сама не могла содѣйствовать развитію умственныхъ способностей ребенка. На шестомъ году жизни мы находимъ Крылова въ Оренбургской крѣпости. Не могши взять Яика, Пугачевъ поклялся, что повѣсить и коменданта и все его семейство. Но Провидѣніе спасло маленькаго Крылова для славы Россіи. Послѣ усмиренія мятежа, заслуженный воинъ оставляетъ мечъ и берется за перо: онъ поступаетъ на службу въ тверской магистратъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ измѣняются и условія жизни нашего баснописца. Тутъ пришло время учиться. Его мать, изыскивая средства дать образованіе сыну, нашла возможность посылать его къ губернаторскому гувернеру-французу учиться по-французски. Трудны были первые шаги маленькаго Крылова; но мать умѣла облегчить ихъ: не зная даже русской грамоты, она единственно своимъ здравымъ природнымъ умомъ постигла, гдѣ и въ чемъ ошибается ребенокъ, и помогала ему дѣлать переводы. Здѣсь нѣжная материнская любовь и здравый умъ съ избыткомъ восполнили недостатокъ образованія. Этотъ французскій гувернеръ былъ единствен-

ели учитель, уроками которыхъ пользовался Крыловъ. Вскорѣ умираетъ отецъ.

Со смертью отца наступаетъ періодъ бѣдствій въ жизни Крылова. Нищета, посѣтившая его семейство, заставила мать опредѣлить сына на службу. И вотъ, 14-лѣтній Крыловъ, едва умѣя держать перо въ рукѣ, вмѣсто того, чтобы идти въ школу учиться, начинаетъ въ чинѣ подканцеляриста посѣщать тверской магистратъ. Но скучныя канцелярскія бумаги, въ которыхъ онъ по молодости, вѣроятно, и понимать ничего не могъ, должны были внушить ему одно отвращеніе. Его занимало не канцелярское дѣло — мысли его, по свидѣтельству современника, уносились на рынки, на площади, куда кулачные бои привлекали толпы зрителей, наконецъ — къ плоту, куда со всѣхъ концовъ города собирались прачки и водовозы. Тамъ, въ этихъ сборищахъ, у этого плота, проводилъ онъ цѣлые часы, подслушивалъ разговоры, шутки, остроты, а потомъ бѣжалъ къ товарищамъ своимъ пересказывать то, что поражало его. Тутъ пробудилась его наблюдательность, тутъ онъ изощрилъ ее и, можетъ-быть, уже тогда усвоилъ начало той чисто русской рѣчи, которая дѣлаетъ его басни доступными всѣмъ сословіямъ русскаго народа. Отъ такихъ наблюденій онъ возвращался снова къ канцелярскимъ бумагамъ, отъ которыхъ дышало мертвенностью, формальностью, въ которыхъ отсутствіе жизни а подчасъ и здраваго смысла, почиталось достоинствомъ. Но бѣдность — къ чему она не принудитъ человѣка! Онъ понималъ, что ему нужно добывать насущный хлѣбъ, и служилъ. А въ то самое время когда его дѣтская рука выводила нетвердымъ почеркомъ буквы, въ головѣ его созидалась драма по образцу тѣхъ, какія онъ нашелъ въ сундукѣ отца. У него въ это время созрѣлъ планъ „Кофейницы", видѣлся вдали Петербургъ, театръ, слава... Воображеніе беретъ, наконецъ, верхъ надъ дѣйствительностью: 16-лѣтній мальчикъ просится въ отпускъ на 29 дней и скачетъ въ Петербургъ съ своимъ первымъ произведеніемъ; находитъ великодушнаго книгопродавца (Брейткопфа), который, за его ребяческую работу, предлагаетъ ему 60 рублей. Но онъ не беретъ денегъ — онъ беретъ книги, тѣ именно книги, которыя тогда почитались классическими — Расина, Корнеля и Буало. Такъ велика была въ немъ жажда знанія

За нимъ послѣдовала въ Петербургъ и его мать. Здѣсь, отыскивая средства къ жизни, потому что 24 рублей въ годъ, которые получалъ Иванъ Андреевичъ за свою службу въ губернскомъ правленіи, несмотря на тогдашнюю дешевизну, было недостаточно, — и отыскивая свои права на пенсіонъ за службу мужа, она умерла. „Это, — говорилъ потомъ Крыловъ своимъ друзьямъ, — былъ первый и самый тяжелый ударъ въ моей жизни“. Но онъ перенесъ его мужественно. Бѣдность, одиночество, безпріютная жизнь, — все это могло бы убить всякую слабую натуру, Крылову же дало новыя силы. На двадцать-первомъ году, мы видимъ его уже записнымъ журналистомъ, типографщикомъ, мѣткимъ сатирическимъ писателемъ, поражающимъ порокъ, скрывающійся отъ общественнаго порицанія подъ величественною тогою заслуженнаго гражданина, подъ личиною свѣтской образованности, подъ маскою скромности, подъ покровомъ общественныхъ приличій. Читая его ѣдкія сатирическія статьи, съ трудомъ вѣримъ, что онѣ написаны почти мальчикомъ, и притомъ мальчикомъ, нигдѣ не учившимся, мальчикомъ, подавленнымъ бѣдностью. Но еще удивительнѣе то, что въ то же время онъ находилъ возможность учиться. Онъ научился играть на скрипкѣ и достигъ такого совершенства въ этомъ искусствѣ, что его приглашали участвовать въ квартетахъ вмѣстѣ съ знаменитыми виртуозами. Увлекшись музыкою, онъ увидѣлъ необходимость научиться по-итальянски. Сохранилось свидѣтельство, что и въ живописи онъ достигъ замѣчательнаго совершенства. И всему этому онъ научился одинъ, безъ всякой посторонней помощи. Кажется, для этихъ способностей ничего не было невозможнаго. Богъ знаетъ, куда бы увлекли его первые успѣхи; но какія-то весьма темныя обстоятельства заставили его закрыть типографію и прекратить изданіе журнала.

Около этого времени, онъ снова перемѣнилъ службу, но положеніе его не перемѣнилось. Его занималъ тогда театръ. Онъ старался написать трагедію въ родѣ Корнеля или Расина. Но Дмитревскій, съ которымъ онъ тогда сошелся, разбирая ихъ почти по строкамъ, доказывалъ ему, что онѣ слабы, требуютъ переработки, и убѣждалъ разочарованнаго автора учиться и учиться.

Наконецъ, въ 1801 году, колесо фортуны повернулось

въ его сторону. Онъ поступилъ на службу къ кн. Голицыну, рижскому генералъ-губернатору, домашнимъ секретаремъ. „Я чрезвычайно радъ, милый мой братецъ, — писалъ къ нему его братъ Левъ Андреевичъ, — что вы совершенно счастливы въ домѣ его сіятельства. Но этого, по вашимъ добродѣтелямъ и талантамъ, вполнѣ заслужили“.

Въ домѣ кн. Голицына онъ написалъ пародію трагедію „Трумфъ“, въ своемъ родѣ классическое произведеніе. Здѣсь же онъ, не желая быть безполезнымъ нахлѣбникомъ, сталъ учить дѣтей князя и воспитывавшихся съ ними двухъ мальчиковъ, въ томъ числѣ и Вигеля.

Продолжительная жизнь въ чужомъ домѣ, двусмысленное положеніе домашняго учителя, которое и теперь еще не пріобрѣло права гражданства въ нашихъ высокихъ сферахъ и почитается мало чѣмъ выше камердинера или дядьки, должно было имѣть значительное вліяніе на характеръ Крылова. Можетъ быть, здѣсь научился онъ быть сдержаннымъ, разсудительнымъ, открывать свою прекрасную душу только тѣмъ, кто были равны съ нимъ; можетъ-быть, тутъ онъ узналъ истину, что равенство

Въ любви и дружбѣ вещь святая.

Какъ онъ разстался съ княжескимъ домомъ, какъ попалъ въ Москву, объ этомъ мы ничего не знаемъ.

Умудренный опытомъ, искушенный въ превратностяхъ жизни, онъ въ 1806 году возвратился въ Петербургъ. Проѣздомъ черезъ Москву онъ написалъ три басни въ подражаніе Лафонтену, изъ коихъ одна (*Разборчивая Невѣста*) до настоящаго времени остается образцовымъ произведеніемъ. И. И. Дмитріевъ, которому мы обязаны, можетъ-быть, тѣмъ, что Крыловъ избралъ исключительно этотъ родъ, прочиталъ эти басни, сказалъ ему: „Это — вашъ истинный родъ; наконецъ, вы нашли его“. Но въ Петербургѣ снова вспыхнула въ немъ страсть къ театру, и результатомъ этой вспышки были двѣ комедіи, о которыхъ современники отзывались съ величайшею похвалою. Они называли его русскимъ Аристофаномъ и были увѣрены, что если бы онъ посвятилъ себя театру, то и въ драматическихъ произведеніяхъ достигъ бы той высоты и совершенства, какихъ достигъ въ басняхъ.

Любовь къ театру сблизила его съ кн. Шаховскимъ. Онъ вошелъ въ общество, въ которомъ мѣста распредѣлялись не по происхожденію, но по талантамъ. На вечерахъ у Шаховского (какъ видно изъ записокъ Жихарева), Крыловъ являлся душою общества. При его содѣйствіи предпринято было изданіе журнала „Драматическій Вѣстникъ", лучшимъ украшеніемъ котораго были его басни. У Шаховского же на вечерахъ онъ читалъ первыя свои басни. Хотя эти первыя произведенія начинающаго баснописца и встрѣчали въ этомъ обществѣ единодушное и громкое одобреніе, но, какъ видно, самъ авторъ еще не довѣрялъ своимъ силамъ. Первые его шаги на этомъ поприщѣ были робки, нерѣшительны. Въ 1808 году онъ написалъ только пять оригинальныхъ басенъ изъ двадцати, появившихся въ журналѣ Шаховского, и въ числѣ этихъ пяти — три признаются классическими произведеніями. Такъ истинный талантъ всегда недовѣрчивъ къ себѣ.

Слава драматическаго писателя, успѣхъ первыхъ басенъ, мастерское ихъ чтеніе познакомили Крылова съ семействомъ Олениныхъ, а впослѣдствіи служба въ Публичной библіотекѣ связала его съ нимъ навсегда. Въ этомъ просвѣщенномъ семействѣ, благоволившемъ ко всему, что носило на себѣ отпечатокъ таланта, находили радушный пріемъ и живѣйшее искреннѣйшее участіе всѣ писатели и артисты, прославившіе времена Александра I. Въ этомъ семействѣ Крыловъ нашелъ все: и покровительство, и дружбу, и любовь. А. Н. Оленинъ, его начальникъ по службѣ, былъ его искреннѣйшимъ другомъ и ходатаемъ предъ членами Императорскаго семейства. Елизавета Марковна, это олицетвореніе доброты и участія, была ему второю матерью. Здѣсь онъ пріобрѣлъ ласкательное имя „Крылышки", гордился имъ и любилъ покоиться подъ кровомъ этихъ добрыхъ, благородныхъ людей. Отсюда онъ вынесъ титулъ дѣдушки, который слился навсегда съ его именемъ. Посланіе меценату, заканчивающееся стихами.

. . . . . . На меня
Щедротъ монаршихъ лучъ склоня,
Лѣнивой музѣ и безпечной
Моей ты крылья подвязалъ.
И, можетъ, безъ тебя бъ мой слабый даръ завялъ

Безвѣстенъ, безъ плода, безъ цвѣта.
И я бы умеръ весь для свѣта...

и эпитафія, начертанная на гробѣ Елизаветы Марковны свидѣтельствуетъ о томъ, какъ глубоко онъ уважалъ ихъ, какъ цѣнилъ ихъ любовь къ себѣ и какъ умѣлъ быть благодарнымъ.

Тою же искренностію и чистосердечіемъ запечатлѣна и дружба его съ Гнѣдичемъ. Біографы Крылова разсказываютъ, что для того, чтобы имѣть возможность говорить съ нимъ объ „Иліадѣ", переводъ которой поглотилъ полжизни Гнѣдича, онъ на пятидесятомъ году научился по-гречески.

Съ поступленія на службу въ Публичную библіотеку для Крылова наступаетъ періодъ счастія и славы. Если уваженіе, оказываемое всѣми, отъ членовъ царскаго семейства до простолюдиновъ, если любовь и предупредительность, которую онъ встрѣчалъ повсюду, куда бы ни являлся, если совершенно обезпеченное матеріальное состояніе, пріобрѣтенное честнымъ трудомъ и истинными заслугами, могутъ составить счастіе человѣка: то, конечно, Крыловъ былъ самый счастливый человѣкъ. И все это онъ пріобрѣлъ только баснями. Появленіе каждой новой его басни было событіемъ. Журналисты превозносили ихъ, публика выучивала ихъ наизусть. Новыя изданія раскупались нарасхватъ: Смирдинъ (по свидѣтельству современника) едва успѣвалъ удовлетворять ея требованія. 70 тысячъ экземпляровъ, которые разошлись по Россіи при жизни баснописца, служатъ лучшимъ доказательствомъ того, какъ высоко цѣнили ихъ современники. Крыловъ объяснялъ такой неслыханный запросъ на его книгу тѣмъ, что ее даютъ дѣтямъ, а дѣти рвутъ книги. Но почему же ихъ давали дѣтямъ; почему же и понынѣ многіе негодуютъ на то, что его баснямъ начинаютъ предпочитать какія-то книжонки, сочиненныя по нѣмецкимъ образцамъ, почему даже и въ этихъ книжонкахъ наибольшее мѣсто доставалось все-таки ему, и почему ежегодно требуется новое изданіе его басенъ? На эти вопросы отвѣчаетъ Гоголь: потому что въ этихъ басняхъ великій поэтъ и мудрецъ слились воедино; потому что въ нихъ высказался разумъ, родственный разуму нашихъ пословицъ, потому что онъ умѣлъ сказать въ нихъ правду каждому — умному и глупому, сильному и слабому, и счастливцу, стоящему на вер-

шинѣ общественной лѣстницы и безвѣстному труженику на котораго смотрятъ съ презрѣніемъ; потому что каждая изъ нихъ (по выраженію Гоголя), какъ стоглазый Аргусъ, глядитъ на человѣка и заставляетъ его обращать свой умственный взоръ во внутрь самого себя.

Его занимали всегда важные предметы, и въ своихъ басняхъ онъ давалъ отвѣты на вопросы, которые тревожили его современниковъ. Но, привязывая, такимъ образомъ, свою аллегорію къ извѣстному событію или общественному настроенію, онъ умѣлъ всегда вывести изъ нея такое общее положеніе, которое остается истиною при всѣхъ условіяхъ жизни. Его разсказъ, даже оторванный отъ исторической почвы, понятенъ и нравоучителенъ; онъ всегда выше текущихъ событій и условій времени, и пригоденъ человѣку, на какой бы ступени умственнаго и гражданскаго развитія онъ ни стоялъ. Такъ провелъ жизнь нашъ великій баснописецъ и тихо сошелъ въ могилу (9 ноября 1844 г.), оставивъ потомству свои безсмертныя басни и имя добраго, честнаго человѣка. *Кеневичъ.*

—

Очеркъ литературной дѣятельности Крылова.

Литературная дѣятельность его началась необыкновенно рано. Съ самаго дѣтства чувствовалъ онъ особенную охоту къ драматическому искусству; на оперу смотрѣли тогда, какъ на самое совершенное театральное представленіе, и мальчикъ Крыловъ смѣло принимается за сочиненіе оперы. Потомъ онъ пробуетъ себя въ трагическомъ родѣ и, наконецъ, переходитъ и къ комедіи. Первые драматическіе опыты Крылова, хотя и не имѣвшіе никакого достоинства, были для него тѣмъ важны, что, когда онъ переѣхалъ въ Петербургъ, они открыли ему доступъ въ литературный кружокъ, въ которомъ надолго установилось его авторское направленіе Черезъ Княжнина познакомился онъ съ Дмитревскимъ и явился къ знаменитому актеру съ однимъ изъ своихъ юношескихъ трудовъ. Дмитревскій строго разобралъ незрѣлую пьесу, но обласкалъ начинающаго литератора. Вскорѣ Крыловъ сблизился и съ другими драматическими писателями Между тѣмъ, однакожъ, онъ сталъ искать постоянной лите-

ратурной дѣятельности. Въ этомъ домѣ ему пришлось сблизиться съ другимъ писателемъ, бывшимъ почти 25 годами старше его. Это былъ капитанъ Рахманиновъ, почитатель и переводчикъ Вольтера, издававшій въ 1788 году журналъ *Утреннiе Часы*, который печатался въ собственной его типографіи. Въ слѣдующемъ году Крыловъ самъ затѣялъ журналъ или, вѣрнѣе, ежемѣсячный сатирическій сборникъ *Почта Духовъ*, въ формѣ переписки жителей Плутонова царства. Здѣсь Крыловъ въ первый разъ вступилъ на поприще сатиры, которое послѣ, хотя въ другомъ видѣ, оказалось истиннымъ его призваніемъ. Послѣ басенъ *Почта Духовъ* — любопытнѣйшее и важнѣйшее его произведеніе, показывающее въ двадцатилѣтнемъ авторѣ замѣчательную зрѣлость мысли, наблюдательность и способность къ юмористическому изображенію человѣческихъ слабостей. Вскорѣ послѣ прекращенія Рахманиновъ, какъ тамбовскій помѣщикъ, уѣхалъ на родину, и Крыловъ, спустя два года, самъ является содержателемъ типографіи, вѣроятно, переданной ему этимъ его сотрудникомъ. Она находилась близъ Лѣтняго сада, въ нижнемъ этажѣ дома Бецкаго, что нынѣ дворецъ Его Императорскаго Высочества принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго. Съ наступленіемъ 1792 года Крыловъ сталъ печатать въ ней новый предпринятый имъ журналъ *Зритель*. Главнымъ товарищемъ его по этому изданію сдѣлался армейскій офицеръ и драматическій писатель Клушинъ, сынъ орловскаго помѣщика, умершій въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Другіе сотрудники Крылова по изданію *Зрителя* были: Дмитревскій, Плавильщиковъ, Туманскій и Эминъ. Ихъ всѣхъ, не исключая и Дмитревскаго, какъ писателя, Крыловъ превосходилъ талантомъ и впослѣдствіи переросъ славой. Изъ нихъ одинъ Туманскій, издатель историческихъ актовъ, не посвящалъ трудовъ своихъ драматическому искусству. Дмитревскій, какъ мы видѣли, былъ давно наставникомъ Крылова и на этомъ поприщѣ. Плавильщиковъ, подобно Дмитревскому, превосходный актеръ, писалъ статьи о театрѣ, замѣчательныя по вѣрности литературныхъ взглядовъ. Н. Эминъ, сынъ извѣстнаго своими приключеніями автора и переводчика, писалъ также для сцены. Журналъ *Зритель*, предположивши себѣ, сколько можно разнообразить свое содержаніе, заявилъ, что онъ будетъ, между прочимъ, изображать пороки во всей

его гнусности, избѣгая, однакожъ, всякихъ личныхъ примѣненій, т.-е. одною изъ его задачъ была сатира. Надобно вспомнить, что онъ явился въ важную для русской литературы эпоху, когда *Московскій Журналъ* Карамзина продолжался уже годъ. Дѣятельность этого молодого писателя, пробывшаго полгора года за границею и своими письмами какъ будто поддерживавшаго пристрастіе своихъ соотечественниковъ ко всему иноземному, была недружелюбно встрѣчена крыловскимъ кружкомъ, который особенно заботился о возбужденіи національнаго чувства. Въ сущности Карамзинъ не расходился съ ними въ этомъ стремленіи, но имъ не могли нравиться ни его новый слогъ съ примѣсью чуждыхъ элементовъ, ни извѣстный оттѣнокъ мечтательности или сентиментализма въ его настроеніи, ни, наконецъ, тотъ взглядъ его, который, наперекоръ имъ, ставилъ Шекспира и нѣмецкихъ драматическихъ писателей неизмѣримо выше французскихъ классиковъ. Въ особенности же раздражала крыловскую партію взыскательная въ то время критика Карамзина, не щадившая нѣкоторыхъ изъ этихъ литераторовъ и занимавшаяся часто утонченнымъ разборомъ языка въ ихъ сочиненіяхъ и переводахъ. Извѣстно, что журналъ Крылова, хотя и не могъ въ отношеніи къ языку и къ складу рѣчи похвалиться чисто русскимъ характеромъ, но зато отличался крайнимъ невниманіемъ къ грамматической исправности и къ изяществу выраженія. Оттого *Зритель* сталъ въ непріязненное отношеніе къ *Московскому Журналу*, издѣваясь надъ слогомъ Карамзина и укоряя его за произвольную, привязчивую критику. Карамзинъ не возражалъ, но въ письмахъ къ Дмитріеву говорилъ: „Итакъ Эминъ, Крыловъ, Клушинъ, Туманскій не благоволятъ ко мнѣ! Какое несчастіе!“

Что касается до самого Крылова, то статьи, подписанныя его именемъ въ *Зрителѣ*, имѣютъ опять значеніе сатиры на нравы. Въ отношеніи къ ея формѣ онъ платитъ дань вкусу своего времени, въ содержаніи же обнаруживаетъ много колкаго остроумія и юмора. Въ его сказкѣ *Ночи* происходитъ, на пирушкѣ у бога Момуса, споръ между *Днемъ* и *Ночью*, о томъ, кто изъ нихъ видитъ на свѣтѣ болѣе людскихъ дурачествъ. Для рѣшенія этого вопроса, богиня ночи поручаетъ автору вести записку о томъ, что случается во время ея владычества, и онъ описываетъ ночныя похо-

ленія. Въ восточной повѣсти *Каибъ* разсказывается исторія калифа, который собираетъ свой диванъ, чтобы услышать мнѣніе визирей, какимъ бы образомъ ему совершить далекое странствованіе такъ, чтобы никто изъ подданныхъ не замѣтилъ его отсутствія. Это самое замѣчательное изъ сочиненій Крылова въ *Зрителѣ*. Личность Каиба и его визирей Дурсана, Осламета и Грабилея изображена въ рѣзкихъ чертахъ. При дворѣ Каиба календарь былъ составленъ изъ однихъ праздниковъ, и будни были рѣже, чѣмъ именины Касьяновы. Тѣмъ не менѣе Каибъ всячески старался поощрять науки, и хотя не пускалъ ученыхъ къ себѣ во дворецъ, но изображенія ихъ составляли не послѣднее украшеніе его стѣнъ. Въ нѣкоторыхъ комнатахъ рѣзвились на золотыхъ цѣпочкахъ забавныя обезьяны, которыя кривлялись такъ искусно, что люди ставили за честь подражать имъ, а нерѣдко, по слабости человѣческой, выдумки обезьянъ выдавали за свои, отчего произошли великіе споры, о которыхъ тамошняя академія издала исторію въ 30 фоліантахъ. Описывая диванъ Каиба, Крыловъ говоритъ, что калифъ былъ расчетистъ: обыкновенно одного мудреца сажалъ между десяти дураковъ; умныхъ людей сравнивалъ со свѣчами, которыхъ умѣренное число производитъ пріятный свѣтъ, а слишкомъ большое можетъ причинить пожаръ, и часто говаривалъ, что ему, для сохраненія добраго порядка, дураки, по крайней мѣрѣ, столько же нужны, какъ и умные люди. Въ другихъ сатирическихъ статьяхъ своихъ Крыловъ, слѣдуя примѣру нѣкоторыхъ европейскихъ писателей, избираетъ иногда форму шуточныхъ рѣчей и похвальныхъ словъ.

Зритель издавался только 11 мѣсяцевъ, до конца 1792 года. Тогдашніе журналы соблюдали благое обыкновеніе печатать при своихъ книжкахъ имена постепенно прибывавшихъ подписчиковъ, что въ то время было и легко по ограниченному количеству читающей публики. Нынѣшніе издатели, по разнымъ причинамъ, не объявляютъ числа и именъ своихъ подписчиковъ, хотя такія свѣдѣнія были бы во многихъ отношеніяхъ любопытны и полезны не только для современниковъ, но и для потомства. По спискамъ, приложеннымъ къ *Зрителю*, оказывается, что его разошлось всего 170 экземпляровъ, изъ которыхъ 136 приходилось на Петербургъ, только 12 на Москву и не болѣе 22 на всѣ прочіе города.

Московскій Журналъ Карамзина самое распространенное изъ тогдашнихъ періодическихъ изданій, имѣлъ въ томъ же году только до 300 подписчиковъ; изъ этого числа $^{1}/_{3}$ жили въ Москвѣ, а въ Петербургѣ ихъ было не болѣе 28 человѣкъ. Отсюда видно, какъ мало въ то время обѣ столицы мѣнялись своими литературными произведеніями.

Журналъ Карамзина въ концѣ 1792 г. совсѣмъ прекратился; *Зритель* же Крылова кончился только по имени и преобразился въ *С.-Петербургскаго Меркурія*, который издавался въ продолженіе всего 1793 года. По предисловію, подписанному Крыловымъ и Клушинымъ, видно, что они хотѣли сдѣлать изъ этого изданія то же для Петербурга, чѣмъ былъ журналъ Карамзина для Москвы, т.-е. изданіе въ родѣ иностранныхъ журналовъ съ извѣстіями о новыхъ книгахъ и театрѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однакожъ, издатели, уже при сообщеніи своей программы, косвенно задѣваютъ Карамзина, обѣщая, что ихъ сужденія не будутъ *деспотическія*, и охуждая его обычай не подписывать имени подъ своими статьями. Въ преобразованномъ журналѣ сатирическое направленіе Крылова видимо слабѣетъ. Есть поводъ думать, что это было слѣдствіемъ ропота, который сатира *Зрителя* возбуждала въ нѣкоторыхъ читателяхъ, обвинявшихъ ее въ личностяхъ: въ этомъ журналѣ вся *Рѣчь повѣсы въ собраніи дураковъ* посвящена отраженію такихъ нареканій. Между прочимъ, ораторъ говоритъ отъ имени подобныхъ ему, т.-е. повѣсъ: „Будто разсказывать дурачества разныхъ особъ не есть то же, что выставлять ихъ лица на осмѣяніе? Такъ, государи мои, не выставлены наши имена, но дѣла наши обнаружены". Въ *С.-Петербургскомъ Меркуріи* напечатаны только двѣ сатирическія статьи Крылова, обѣ въ формѣ *похвальныхъ рѣчей:* одна посвящена *наукѣ убивать время;* другая осмѣиваетъ уже не сословные пороки, а новое направленіе въ современной литературѣ. Этой последней статьѣ дано заглавіе: „Похвальная рѣчь Ермалафиду, говоренная въ собраніи молодыхъ писателей". Подъ *Ермалафидомъ*, т.-е. человѣкомъ, который несетъ ермалафію, или чепуху, очевидно, подразумѣвается преимущественно Карамзинъ. Онъ иронически ставится тутъ въ образецъ начинающимъ авторамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ затронута вся его первоначальная литературная дѣятельность: переводы изъ Шекспира

и Лессинга, изданіе журнала, „Письма русскаго путешественника“, литературная критика, стихотворенія въ новомъ вкусѣ, наконецъ, самый слогъ его и нѣкоторые отдѣльные взгляды. Непріязненное отношеніе Крылова къ Карамзину нисколько не удивительно. Если мы перенесемся въ ту эпоху и безпристрастно взглянемъ на разнородную личность обоихъ, на внѣшнія обстоятельства, въ которыхъ тотъ и другой развивались, то для насъ станетъ совершенно ясно, почему они не понимали другъ друга. Крыловъ, какъ талантъ своеобразный, рано усвоившій себѣ народный языкъ вмѣстѣ съ глубокимъ знаніемъ народнаго быта, не могъ сочувствовать особенностямъ другого, хотя и замѣчательнаго, но воспитавшагося на почвѣ иностранныхъ литературъ писателя. Какой-то тверской старожилъ, въ дѣтствѣ учившійся вмѣстѣ съ нашимъ баснописцемъ, разсказывалъ, что Крыловъ уже въ первой молодости любилъ толкаться посреди чернаго народа, на торговыхъ площадяхъ, около качелей и кулачныхъ боевъ, жадно прислушиваясь къ говору простолюдиновъ. Нерѣдко, живя въ Твери, сиживалъ онъ и цѣлыми часами на берегу Волги и потомъ передавалъ своимъ сослуживцамъ забавные анекдоты и поговорки, которые уловилъ въ рѣчахъ словоохотныхъ прачекъ, сходившихся на рѣку съ разныхъ концовъ города. Этимъ объясняется, отчего Крыловъ, рано прочитавъ въ подлинникѣ многихъ французскихъ авторовъ, остался, однакожъ, оригиналенъ не только въ идеяхъ, но и въ языкѣ: онъ развѣ только для шутки употребитъ иногда иностранное слово. Проза перваго періода его авторства не такъ гладка и плавна, какъ многіе думаютъ, судя по неточному тексту послѣдняго изданія его сочиненій, но его языкъ всегда чистъ въ составѣ своемъ, самобытенъ и народенъ въ выраженіяхъ и оборотахъ. Письма *Почты Духовъ* писаны въ томъ же году, какъ и „Письма русскаго путешественника“. Въ отношеніи къ строю и изяществу рѣчи, между тѣми и другими большая разница. Каждый изъ обоихъ писателей имѣлъ свою особую исходную точку; ихъ трудно сравнивать: и кругъ идей, и цѣль и тонъ у обоихъ свои. Слогъ Карамзина, вмѣстѣ съ его настроеніемъ, пришелся болѣе по вкусу современниковъ и надолго одержалъ побѣду. Но тотъ элементъ, который составлялъ отличіе слога Крылова, — элементъ *народности*, взялъ свое и былъ оцѣненъ

впослѣдствіи самимъ его счастливымъ соперникомъ. Крыловъ же, съ своей стороны никогда не перенялъ ни щегольского блеска карамзинской прозы ни музыкальной легкости поэзіи Жуковскаго: онъ въ позднѣйшее время только откинулъ нѣкоторые устарѣлые слова и пріемы рѣчи, но навсегда удержалъ въ своихъ стихахъ, по мѣткому выраженію его біографа, что-то *[illegible]* свойственное и его наружности. Замѣтимъ, что до сихъ поръ языкъ басенъ Крылова, даже и самыхъ давнихъ, почти нисколько не устарѣлъ.

Въ „Похвальной рѣчи Ермалафиду" Крыловъ въ послѣдній разъ явился на полемической аренѣ. Отказавшись на время отъ роли сатирика, онъ преобразился въ поэта. Въ *С.-Петербургскомъ Меркуріи* находимъ довольно много стихотвореній его. Увлекаемый потокомъ времени, онъ не вполнѣ обошелъ и тѣ роды стихотворства, надъ которыми самъ прежде подшучивалъ. Довольно странно читать, подписанную его именемъ, небольшую оду въ ломоносовскомъ вкусѣ: *На фейерверкъ* по случаю ясскаго мира. Но гораздо лучше удалась ему шуточная ода *Къ счастію*, въ державинскомъ родѣ. Оба издателя *Меркурія*, выступивъ на поприще стихотворства, явно пошли по слѣдамъ тогдашняго корифея русскихъ поэтовъ, и каждый взялъ себѣ въ удѣлъ особую сторону таланта Державина: Клушинъ довольно ловко усвоилъ себѣ его стиль въ живописи природы; Крыловъ съ большимъ успѣхомъ воспроизводилъ игриво сатирическій элементъ державинской оды. Такъ свое обращеніе *Къ счастію* онъ начинаетъ стихами:

Богиня рѣзвая, слѣпая,
Худыхъ и добрыхъ дѣлъ предметъ,
Въ которую влюбленъ весь свѣтъ,
Подчасъ некстати слишкомъ злая,
Подчасъ роскошна невпопадъ,
Скажи, фортуна дорогая,
За что у насъ съ тобой неладъ?
За что ко мнѣ ты такъ сурова?
Ни въ путь со мной не молвишь слова,
Не улыбнешься на меня?

Когда впослѣдствіи Крыловъ служилъ при Публичной библіотекѣ, ему вздумалось однажды просмотрѣть свои прежнія сочиненія. Его сослуживецъ Быстровъ принесъ ему жур-

налы: *Почту Духовъ, Зрителя* и *Меркурія*, и, заведя рѣчь объ одѣ „Къ счастью“, спросилъ его: „Иванъ Андреевичъ! за что это вы пеняете на фортуну, когда она такъ милостива къ вамъ?“ — „Ахъ, мой милый, отвѣчалъ онъ: — со мною былъ случай, о которомъ теперь смѣшно говорить, но тогда... я скорбѣлъ и не разъ плакалъ, какъ дитя... Журналу не повезло...“ Въ лирическихъ, довольно многочисленныхъ пьесахъ Крылова, сдѣлавшихся извѣстными послѣ его кончины, есть счастливыя мѣста. Между прочимъ, онъ навсегда возвышается при сравненіи сельскаго быта съ городскимъ, при мысли о страданіяхъ народа подъ гнетомъ помѣщичьей власти, противъ злоупотребленій которой онъ сильно вооружался уже и въ сатирѣ своей. Въ пьесѣ *Уединеніе*, напр., онъ говоритъ о жизни въ городахъ:

Тамъ роскошь, золотомъ блестя,
Зоветъ гостей въ свои палаты
И ставитъ имъ столы богаты,
Изнѣженнымъ ихъ вкусамъ льстя;
Но въ хрусталяхъ своихъ безцѣнныхъ
Она не вина раздаетъ:
Въ нихъ пѣнится кровавый потъ
Народовъ, ею разоренныхъ.

Эти стихи написаны, вѣроятно, уже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ изданія *Меркурія*, именно въ деревнѣ у князя Голицына, такъ какъ и разныя другія стихотворенія Крылова, въ которыхъ рѣчь идетъ о сельской жизни.

Журналъ *Меркурій* опять просуществовалъ только одинъ годъ, имѣвъ немного болѣе 150 подписчиковъ. Оба издателя собирались ѣхать въ чужіе края, какъ видно изъ ихъ обращенія къ публикѣ; послѣдній не успѣлъ, однакожъ, осуществить своего плана и никогда не выѣзжалъ изъ отечества. Вмѣсто того, ему удалось, какъ было сказано, побывать на югѣ Россіи, именно, въ Саратовской и въ Кіевской губерніяхъ. Въ Зубриловкѣ, прекрасномъ имѣніи на Хопрѣ, еще живы воспоминанія о нашемъ поэтѣ. Въ украинскомъ селѣ Казацкомъ написалъ онъ свою шуточную трагедію-карикатуру *Трумфъ*; ее нѣсколько разъ играли тамъ, и самъ авторъ исполнялъ при этомъ роль главнаго героя. О пребываніи Крылова въ Казацкомъ разсказываетъ Вигель, который, бу-

лучи тогда мальчикомъ, находился тамъ же по семейной связи своихъ родителей съ Голицыными и учился вмѣстѣ съ дѣтьми князя.

Отдавая полную справедливость таланту Крылова, Вигель рисуетъ, однакожъ, личность его довольно темными красками: именно, онъ представляетъ его человѣкомъ холоднымъ, себялюбивымъ, равнодушнымъ ко всякому высшему интересу и угодливымъ изъ расчета. Къ этому отзыву одного сатирика о другомъ мы еще возвратимся и посмотримъ, насколько онъ заслуживаетъ довѣрія. Теперь же отмѣтимъ только замѣчательный отзывъ Вигеля о баснописцѣ, какъ педагогѣ. По словамъ Вигеля, Крыловъ, вызвавшись преподавать русскій языкъ сыновьямъ кн. Голицына, „и въ этомъ дѣлѣ показалъ себя мастеромъ. Уроки проходили почти всѣ въ разговорахъ; онъ умѣлъ возбуждать любопытство, любилъ вопросы и отвѣчалъ на нихъ такъ же толковито, такъ же ясно, какъ писалъ свои басни. Онъ не довольствовался однимъ русскимъ языкомъ, а къ наставленіямъ своимъ примѣшивалъ много нравственныхъ поученій и объясненій разныхъ предметовъ изъ другихъ наукъ". Домъ кн. Голицына отличался не только высшимъ свѣтскимъ образованіемъ, но и любовью къ литературѣ. Княгиня, племянница Потемкина, сама занималась переводами и воспѣта Державинымъ, который, бывши тамбовскимъ губернаторомъ, также находилъ дружескій пріемъ въ селѣ Зубриловкѣ. Нѣсколько лѣтъ пребыванія въ такомъ домѣ не могли остаться безъ вліянія на умнаго и даровитаго Крылова. Это обнаружилось вскорѣ послѣ оставленія имъ семейства Голицыныхъ.

Съ самаго появленія своего на журнальномъ поприщѣ онъ пользовался извѣстностью; нѣкоторыя драматическія сочиненія его, написанныя въ концѣ прошлаго столѣтія, нашли мѣсто въ изданномъ Академіею Наукъ *Россійскомъ Ѳеатрѣ*; въ 1802 году явилось въ Петербургѣ, хотя безъ имени его, 2-е изданіе *Почты Духовъ*. Но слава его была еще впереди. По замѣчательному жребію, она должна была возникнуть въ самомъ средоточіи русской народной жизни, въ Москвѣ, гдѣ Крыловъ провелъ нѣсколько времени въ концѣ 1805 года. Какое-то счастливое вдохновеніе побудило его, на 38 мъ году отъ рожденія, написать въ подражаніе Лафонтену три басни: *Дубъ и Трость*, *Разборчивая Невѣста*, *Старикъ и тро-*

Лафонтена. Въ Москвѣ онъ показываетъ свой опытъ знаменитѣйшему въ то время русскому баснописцу Дмитріеву, съ поразительною проницательностью тотчасъ убѣждается, что это истинный родъ Крылова, и, не боясь приготовить себѣ соперника, поощряетъ его продолжать въ этомъ родѣ; полученныя же басни отдаетъ въ журналъ кн. Шаликова *Московскій Зритель*. Литературное призваніе Крылова, наконецъ, найдено и разомъ опредѣлено навсегда. Можно сказать, что онъ, самъ того не зная, съ дѣтства готовился къ этому поприщу. Въ остальныя тридцать лѣтъ своей жизни онъ почти уже и не уклонялся въ сторону отъ избранной имъ литературной дѣятельности. Только въ 1807 году явились двѣ его новыя комедіи противъ ослѣпленія въ пользу всего французскаго. „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“ можетъ быть, вызванныя тогдашнимъ патріотическимъ настроеніемъ русскаго общества въ виду борьбы съ Наполеономъ. Но, несмотря на блестящій успѣхъ этихъ двухъ піесъ на петербургскомъ театрѣ, Крыловъ понялъ, что не драма — его призваніе, и почти не возвращался уже къ этому роду, въ которомъ не произвелъ ничего истинно-замѣчательнаго. Первое небольшое собраніе его басенъ (23-хъ), вышло въ 1809 году. Съ тѣхъ поръ количество ихъ быстро умножалось; изданія слѣдовали одно за другимъ, каждое съ прибавленіемъ новаго отдѣла; послѣднее, сдѣланное при жизни его, было напечатано въ 1843 г. и состояло изъ 9 такихъ отдѣловъ, или книгъ, которыя всѣ вмѣстѣ содержали около 200 басенъ. Съ 1819 г. изданія расходились въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ, которымъ книгопродавцы, противъ обыкновенія, вели счетъ: число экземпляровъ всѣхъ изданій басенъ Крылова дошло при жизни его до 77 т. Многія новыя басни его, еще до ихъ напечатанія, читались имъ самимъ въ частныхъ собраніяхъ, при дворѣ или въ литературныхъ обществахъ. Уже въ 1811 г. онъ былъ избранъ въ члены Россійской Академіи, по преобразованіи которой сдѣлался и членомъ Академіи Наукъ; въ 1813 вступилъ въ учрежденную незадолго передъ тѣмъ въ домѣ Державина „Бесѣду любителей русскаго слова“ и тамъ не разъ читалъ вновь написанныя имъ произведенія. Тогдашніе журналы и сборники старались украшать свои страницы его баснями. Почти каждая изъ нихъ, при появленіи своемъ, возбуждала

вниманіе публики и дѣлалась предметомъ общихъ толковъ. Еще въ 1812 году императоръ Александръ Павловичъ пожаловалъ Крылову пенсію въ 1500 р. асс., которая, при отставкѣ его, по ходатайству Оленина, была возвышена до 5400 р. сер. *Гротъ.*

Общій характеръ морали басенъ Крылова.

Какъ ни язвительна была сатира Крылова, однако онъ самъ видѣлъ, что одною сатирою нельзя исправить людей. Въ комъ найдется столько смиренномудрія, чтобы, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, откровенно сказать самому себѣ: „да, и у меня пушекъ на рыльцѣ есть"? Онъ видѣлъ это, и рядомъ съ баснею о медвѣдѣ, который перетаскалъ весь медъ въ свою берлогу, помѣстилъ *Зеркало и Обезьяна,* которую заключилъ словами:

Такихъ примѣровъ много въ мірѣ:
Не любитъ узнавать никто себя въ сатирѣ.
Я даже видѣлъ то вчера:
Что Климычъ на руку не чистъ, всѣ знаютъ;
Про взятки Климычу читаютъ,
А онъ украдкою киваетъ на Петра.

Спесь, чванство, домогательство незаслуженныхъ почестей и всегда соединенное съ этими пороками отсутствіе истинныхъ достоинствъ, находили въ немъ неумолимаго гонителя. Онъ требовалъ отъ людей правды, искренности, требовалъ, чтобы они казались тѣмъ, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ. Его паукъ, который, уцѣпившись за хвостъ орла, былъ занесенъ имъ на верхъ кавказскихъ горъ и тамъ, возгордившись, задумалъ затмить орлу же солнце, — летитъ внизъ отъ перваго дуновенія вѣтра и служитъ урокомъ тому, кто думаетъ создать свое общественное значеніе только на томъ, что случай доставитъ ему возможность схватиться за хвостъ вельможи.

Онъ мудро совѣтуетъ людямъ держаться той среды, которую имъ опредѣлила судьба, и, утѣшивъ безвѣстнаго труженика, разсказавъ ему о пчелѣ, презрѣнной орломъ, указалъ на примѣръ осла, который, родившись на свѣтъ, почти какъ мошка малъ, сталъ просить у Зевса большого роста,

думая, что если бы онъ былъ ростомъ только съ теленка, „то съ барсовъ и со львовъ онъ спеси бы посбилъ“ и заставилъ бы всѣхъ говорить о себѣ.

. . . . Моленія Осла
Послушался Зевесъ:
И сталъ Оселъ скотиной превеликой,
А сверхъ того ему такой данъ голосъ дикій,
Что нашъ ушастый Геркулесъ
Перепугалъ было весь лѣсъ.

Но не прошло и году, какъ всѣ узнали, кто оселъ:

Оселъ мой глупостью въ пословицу вошелъ,
И на Ослѣ ужъ возятъ воду.

Этотъ разсказъ онъ заключилъ слѣдующимъ четверостишіемъ

Смыслъ басни сей найдемъ,
Когда подумаемъ немножко:
Не лучше ль вѣкъ изжить на свѣтѣ мошкой,
Чѣмъ добиваться быть большимъ осломъ.

При всей своей неподвижности и видимомъ равнодушіи ко всему окружающему, онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ, что происходило внутри государства, не ограничиваясь одною какою-либо сферою. Вопросы литературы, политики, администраціи, явленія жизни частной и общественной равно были ему извѣстны и обо всемъ умѣлъ онъ произнести свое мнѣніе, основанное не на минутномъ увлеченіи извѣстнымъ взглядомъ партіи, модномъ философскомъ ученіи, но на здравыхъ, непоколебимыхъ, вѣчныхъ началахъ. Проницательный взглядъ его не омраченъ никакими увлеченіями: „ни матеріализмъ, ни мистицизмъ, ни либерализмъ (говоритъ Плетневъ) не свели его съ той дороги религіи, философіи и политики, на которой онъ утвердился собственнымъ размышленіемъ и изученіемъ.“ Онъ не учился ни въ какой школѣ; самая жизнь была для него школою; изъ нея черпалъ онъ свою мудрость и освѣщалъ ею путь для заблудившихся и для тѣхъ, которые, по неопытности, вѣтрености или излишней воспріимчивости, могли заблудиться.

Изученіе его басенъ въ связи съ тѣмъ временемъ, когда онѣ являлись въ свѣтъ разрѣшаетъ вопросъ, почему современники прорекли ему безсмертіе. Онъ глубоко понималъ ихъ стремленія, живо чувствовалъ ихъ симпатіи и анти-

патіи, и для всего, что волновало ихъ умы и заставляло биться ихъ сердца, онъ нашелъ выраженіе все это облекъ въ образы, доступные пониманію каждаго. Онъ разрѣшалъ вопросы, приводившіе ихъ въ недоумѣніе, и въ его рѣшеніяхъ „слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ силенъ русскій умъ, когда достигаетъ полнаго своего совершенства“ (Гоголь).

Кеневичъ.

Вопросы воспитанія и образованія въ басняхъ Крылова.

Басня *Воспитаніе Льва* примыкаетъ къ цѣлому разряду другихъ, писанныхъ на тему о правильномъ воспитаніи. Въ своемъ сужденіи о воспитаніи императора Александра Крыловъ вполнѣ раздѣляетъ точку зрѣнія тогдашнихъ консерваторовъ-націоналистовъ, выраженную Вигелемъ, по мнѣнію котораго „его (Александра) воспитаніе было одною изъ великихъ ошибокъ Екатерины: образованіе его ума поручила она женевцу Лагарпу, который, оставляя Россію, столь же мало зналъ ее, какъ въ день своего пріѣзда, и который карманную республику свою поставилъ образцомъ самодержцу величайшей имперіи въ мірѣ“. Крайность взгляда Крылова ярко сказывается въ томъ, что молодой *левъ* въ его баснѣ подъ руководствомъ *орла* изучаетъ *птичьи* нужды и, прошедши свою школу, намѣревается учить своихъ подданныхъ *вить гнѣзда;* слѣдовательно, по мнѣнію Крылова между русскимъ народомъ, его нуждами и потребностями, „пользами и выгодами, и западно-европейскимъ міромъ, представителемъ котораго въ данномъ случаѣ является Лагарпъ, не болѣе общаго, чѣмъ между міромъ звѣрей и пернатыхъ. Несомнѣнно, что идея національной самобытности выражена здѣсь до крайности рѣзко, въ ущербъ мысли о гуманитарныхъ, общечеловѣческихъ началахъ, составляющихъ истинную основу воспитанія. Конечно, Лагарпъ не зналъ и не могъ знать Россіи; но не слѣдуетъ забывать, что онъ не одинъ былъ воспитателемъ будущаго императора, и что, если его питомецъ не вынесъ изъ своей школы точнаго и вѣрнаго понятія о насущныхъ потребностяхъ своего государства и на

рому, но вина въ этомъ падетъ гораздо болѣе на русскихъ наставниковъ Александра, не сумѣвшихъ или не хотѣвшихъ восполнить этотъ важный пробѣлъ. Съ другой стороны, слѣдуетъ принять во вниманіе, что, несмотря на кратковременность обученія у Лагарпа и на нѣсколько двойственное положеніе послѣдняго при дворѣ, вліяніе этого женевца на его воспитанника было и очень сильно и очень продолжительно, что объясняется умственнымъ превосходствомъ Лагарпа надъ прочими наставниками, а главное — самымъ духомъ его уроковъ, отвѣчавшихъ лучшимъ душевнымъ наклонностямъ юнаго Александра. Занятія съ Лагарпомъ расширяли умственный горизонтъ будущаго государя, знакомили его съ жизнью и идеалами древняго міра, съ плодотворными идеями европейскихъ мыслителей и внушали идеалистическую любовь къ свободѣ, гражданскимъ доблестямъ, справедливости, равенству, общему благу, отвращеніе къ деспотизму и рабству, — вообще дѣйствовали возвышающимъ и освѣжающимъ образомъ на воспріимчивую, мечтательную душу порфиророднаго отрока. Вліяніе наставника-республиканца, поскольку оно признавалось нежелательнымъ, сдерживалось и ограничивалось другими воспитателями, но, очевидно, ихъ доводы не въ силахъ были перевѣсить запасъ идей, внушенныхъ Александру Лагарпомъ, тѣмъ болѣе, что, подобно послѣднему, одинъ изъ русскихъ наставниковъ молодого великаго князя, именно М. Н. Муравьевъ, также былъ одушевленъ помыслами объ общественномъ благѣ и ненавистью къ рабству и угнетенію. Во всякомъ случаѣ одно безспорно, что настоящаго, живого знакомства съ положеніемъ и потребностями народа не могли при условіяхъ того времени дать Александру ни туземные, ни иностранные наставники, ни сановники, до тонкости изучившіе придворную науку, ни опытные администраторы, хорошо знавшіе рутину государственнаго механизма, ни люди науки, черпавшіе свои познанія изъ книгъ, главнымъ образомъ, изъ древнихъ и новыхъ европейскихъ классиковъ. Даже знаніе общаго хода историческаго развитія примѣнительно къ родной странѣ, основательное знакомство съ прошлыми судьбами народа, съ его общественною и духовною жизнью въ теченіе ряда вѣковъ, при уровнѣ историческихъ знаній въ концѣ XVIII вѣка должно было носить характеръ неполный, отрывочный, поверхностный и односторонній. Трудно въ виду

всего этого обвинять Екатерину за то, что она, желая поставить на разумныхъ основаніяхъ воспитаніе своего внука, обратилась за помощью къ Западу, къ идеямъ Локка и Руссо, какъ къ лучшимъ результатамъ человѣческаго мышленія, не находя у себя дома ничего, что можно было бы поставить вровень или въ противовѣсъ этому культурному запасу.

Если полученное воспитаніе отрывало будущаго императора отъ реальной почвы, на которой ему впослѣдствіи пришлось работать, не обогатило его необходимыми, насущными свѣдѣніями и вообще носило отпечатокъ идеально мечтательнаго дилетантизма, — оно, по крайней мѣрѣ, способствовало развитію общечеловѣческихъ принциповъ, во исполненіе пожеланія, такъ кратко и ясно выраженнаго Державинымъ въ его знаменитой одѣ: „Будь на тронѣ *человѣкъ!*“ — „Все *народное* ничто передъ *человѣческимъ*. Главное дѣло быть *людьми*, а не *славянами*. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то *мое*, ибо я человѣкъ!“ Такъ писалъ въ свое время Карамзинъ, но не всѣ и не всегда думали и думаютъ такимъ образомъ, не всегда и самъ авторъ этихъ словъ оставался вѣренъ провозглашенному имъ принципу. Въ *Воспитаніи Льва* Крылова мы видимъ выраженіе идеи національной особенности, которая въ крайнемъ развитіи приводитъ къ неменьшимъ несообразностямъ, чѣмъ и абсолютный космополитизмъ.

Вопросу о воспитаніи и просвѣщеніи Крыловъ посвятилъ, какъ извѣстно, еще басни: *Кукушка и Горлинка*, *Крестьянинъ и Змѣя*, *Червонецъ*, *Бочка* и *Водолазы*. Изъ нихъ первыя двѣ написаны на спеціальную тему о вредѣ воспитанія черезъ наемныхъ лицъ, главнымъ образомъ, иностранцевъ; двѣ слѣдующія, хотя также несомнѣнно имѣютъ въ виду то же явленіе въ жизни русскаго общества, ставятъ, однако, проблему нѣсколько шире, особенно *Червонецъ*, прямо начинающійся общимъ вопросомъ: „Полезно ль просвѣщенье?“ Наконецъ, въ *Водолазахъ* мы находимъ еще болѣе принципіальную постановку вопроса — о пользѣ или вредѣ не одного только *просвѣщенія*, болѣе или менѣе внѣшняго, а ученья, науки, знанія вообще, независимо отъ его правильнаго или ложнаго направленія. Въ *Кукушкѣ и Горлинкѣ* выражена

простая и безусловно вѣрная мысль о томъ, что родители, ввѣряющіе своихъ дѣтей „наемничьимъ рукамъ“, не могутъ и не въ правѣ ожидать привязанности отъ нихъ. Вопросъ національный въ этой баснѣ не затрогивается прямо, говорится вообще о „наемникахъ“, кто бы они были, хотя при соображеніи съ тогдашними условіями трудно сомнѣваться, что рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о воспитателяхъ-иностранцахъ. Однако, заключающіяся въ нравоученіи къ баснѣ слова: „но, если выросли они *въ разлукѣ съ вами*..“ могутъ быть приняты также по адресу воспитанія въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ; только едва ли основательно было бы обвинять родителей за отдачу дѣтей въ интернаты въ такое время, когда выборъ между существующими училищами былъ, во всякомъ случаѣ не особенно великъ, и разлука родителей съ дѣтьми представлялась нерѣдко неизбѣжною, если вообще хотѣли дать дѣтямъ какое-нибудь образованіе, не имѣя возможности всецѣло сосредоточить дѣло воспитанія и обученія въ стѣнахъ родного дома. Въ *Бочкѣ* авторъ указываетъ на тлетворное вліяніе „вреднаго ученья“, которымъ стоитъ лишь напитаться съ юныхъ дней, чтобы потомъ отзываться имъ постоянно. Можетъ-быть, такое утвержденіе слишкомъ рѣшительно высказано; но главный вопросъ заключается не въ этомъ: намъ любопытно было бы знать, какія именно вредныя ученія имѣетъ здѣсь Крыловъ въ виду. Понятіе о вредномъ весьма растяжимо, и выясненіе вопроса въ данномъ случаѣ могло бы пролить свѣтъ на отношеніе Крылова къ современнымъ ему умственнымъ теченіямъ въ русскомъ обществѣ. Къ сожалѣнію, прямого отвѣта на интересующій насъ вопросъ мы не имѣемъ и можемъ только предполагать, что рѣчь идетъ или о матеріализмѣ, или о модныхъ въ то время увлеченіяхъ мистицизмомъ, масонствомъ, иллюминатствомъ и т. д., или, наконецъ, о политическомъ вольнодумствѣ, проявленія котораго тѣсно связывались, по убѣжденію консерваторовъ того времени, съ обѣими названными противоположностями.

Басня *Крестьянинъ и Змѣя* принадлежитъ къ числу наиболѣе характерныхъ какъ для самого ея автора, такъ и вообще для той эпохи, когда появилась въ печати (1813 г.). Не даромъ она помѣщена въ *Сынѣ Отечества*, начавшемъ выходить въ свѣтъ въ годину непріятельскаго нашествія и

поставившемъ своею задачею борьбу во имя патріотизма и національности противъ преобладанія иноземныхъ вліяній. Съ возбужденнымъ до крайности настроеніемъ тогдашняго общества вполнѣ гармонируетъ рѣзкій приговоръ, произнесенный Крыловымъ надъ всѣми воспитателями-французами безъ разбора: не подвергая сомнѣнію добрыхъ качествъ змѣи, просящейся къ нему въ домъ, крестьянинъ тѣмъ не менѣе отказывается принять ее изъ опасенія дурного примѣра: за одной доброй змѣей вползутъ сто злыхъ; сверхъ того, и лучшая *змья* все же остается змѣей и *ни къ чорту не годится*. Здѣсь, слѣдовательно, кладется позорное клеймо на цѣлую націю, изображаемую въ видѣ скопища змѣй, отъ которыхъ нельзя ничего ожидать, кромѣ зла. Что въ данномъ случаѣ Крыловъ выражалъ не одно свое личное воззрѣніе, видно уже изъ того, что вмѣсто всякаго разъяснительнаго нравоученія онъ на этотъ разъ ограничился однимъ короткимъ вопросомъ: „Отцы, понятно ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?“ Идея басни, стало-быть, по мнѣнію автора, достаточно ясна сама по себѣ. Въ высшей степени характерны (приведенныя въ примѣчаніяхъ Кеневича)[1] выдержки изъ того же *Сына Отечества* за 1812—1813 г., посвященныя тому же вопросу о тлетворности французскаго духа, французскаго воспитанія, — выдержки, отражающія озлобленіе современнаго общества противъ враговъ, грозившихъ поработить Россію. Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, озлобленіе не знало границъ, обобщалось на весь народъ безъ изъятій; имя „французъ“ являлось синонимомъ чудовища, изверга, варвара; вся нація представлялась лишенною вполнѣ нравственныхъ основъ, безъ религіи, безъ добродѣтели, безъ гражданскихъ доблестей и т. д. Раздавались даже голоса, взывавшіе „delenda Francia!“ и предсказывавшіе французскому народу въ будущемъ участь даже не евреевъ, связанныхъ въ своемъ разсѣяніи тѣсными узами религіи, а бродячихъ цыганъ! Начиная съ офиціальной рѣчи Гнѣдича, читанной при открытіи Публичной библіотеки, и кончая карикатурами Теребенева, предназначенными для народной массы, во всей литературѣ тѣхъ годовъ мы найдемъ яркія проявленія этого безусловно отрицательнаго и непримиримо-

[1]) Стран. 119—123.

враждебнаго отношенія къ „новымъ вандаламъ", по выраженію нашего баснописца (*Ворона и Курица*). Вообще, какъ извѣстно, нападки на господствовавшую въ русскомъ образованномъ или полуобразованномъ обществѣ галломанію не представляли собою новаго сюжета въ русской литературѣ. Напротивъ, эта тема трактовалась нашими сатириками чуть не со времени Кантемира: въ комедіяхъ Сумарокова и въ журналахъ екатерининской эпохи „петиметры" и „щеголихи", не умѣющіе говорить на своемъ родномъ языкѣ, презирающіе все русское и корчащіе изъ себя чистокровныхъ французовъ, пустоголовые, невѣжественные при всемъ внѣшнемъ лоскѣ, легкомысленные и безнравственные — постоянно фигурируютъ на ряду съ доморощенными, первобытными невѣждами. Не менѣе излюбленными персонажами являются эти обезьяны просвѣщенія и въ комедіяхъ Княжнина и Фонвизина: достаточно вспомнить бригадирскаго сына, обучавшагося до поѣздки въ Парижъ у французскаго кучера, и совѣтницу и гувернера Пеликана, умѣющаго „рвать зубы мастерски и вырѣзывать мозоли". Самъ Крыловъ, еще будучи издателемъ „*Почты Духовъ*", затронулъ тотъ же вопросъ о модномъ воспитаніи, замѣнившемъ будто бы прежнюю благочестивую простоту и чистоту нравовъ. „Теперь по прошествіи *варварскихъ* временъ, вздумали, что тотъ не можетъ быть хорошимъ гражданиномъ, кто не умѣетъ танцовать, прыгать, вертѣться, говорить по-французски и болтать цѣлый день, не затворяя рта, въ бесѣдахъ. Къ такому воспитанію необходимо понадобились французы". Также въ комедіи Крылова *Модная Лавка* (1807 г.) выведенъ на сцену французъ — плутъ, ростовщикъ и доносчикъ, другая его комедія, имѣвшая не меньшій успѣхъ у зрителей, — *Урокъ дочкамъ*, — написана опять-таки въ насмѣшку надъ галломаніею. Однако всѣ эти сатирическія вылазки, порою рѣзко саркастическаго оттѣнка, еще весьма далеки отъ того нетерпимаго ожесточенія и патріотически-приподнятаго, проповѣдническаго тона, какіе явились результатомъ отечественной войны и вызванныхъ ею національныхъ страстей. Иностранные воспитатели — и притомъ не одни французы — вообще играли важную и иногда, дѣйствительно, отрицательную роль въ исторіи русскаго просвѣщенія XVIII и начала XIX вѣка, что было и вполнѣ понятно: не имѣя [illegible]

другихъ наставниковъ русскихъ, кромѣ Кутейкиныхъ и Цифиркиныхъ, общество по необходимости должно было прибѣгать и къ иноземнымъ Вральманамъ и Бопре (*Капитанская дочка*), безъ котораго молодой Гриневъ, — правда, ничему не научившійся у своего *мусье*, кромѣ фехтованія, не имѣлъ бы другого ментора, кромѣ патріархально-преданнаго холопа Савельича. Указанные нами экземпляры, выведенные въ литературѣ, были еще далеко не худшими: дѣйствительная жизнь представляла и такихъ субъектовъ, каковы грубый, жестокій невѣжда Миллеръ или еще болѣе жестокій и развратный Іосифъ Розе, съ которыми насъ познакомили записки Болотова и Державина. Не разъ и позднѣйшая русская литература касалась того же вопроса о вліяніи самозванныхъ воспитателей, преимущественно французовъ, на русскихъ питомцевъ, и не разъ Бѣлинскому съ его обычною мѣткостью приходилось указывать на устарѣлость и односторонность такихъ выходокъ, напр., по поводу романа Основьяненка *Жизнь и похожденія Петра Степанова сына Столбикова* (1841), герой котораго провелъ нѣсколько лѣтъ въ пансіонѣ у француза Филу. Говоря объ этомъ произведеніи, Бѣлинскій замѣчаетъ: „По мнѣнію г. Основьяненка, всѣ иностранцы — злодѣи и мерзавцы; отъ нихъ все зло на свѣтѣ... Всѣ иностранцы, выведенные въ его повѣсти, ссылаются въ Сибирь, а иностранки дѣлаются развратницами... Старая пѣсня! Теперь всякому извѣстно, что много было вреда для общества отъ разныхъ выходцевъ, но что между ними бывали и достойные люди, сдѣлавшіе много добра... Кстати: почему авторъ не сказалъ, въ какомъ пансіонѣ воспитывался опекунъ Столбикова, члены суда, которые вопреки законамъ сдѣлали его опекуномъ, и прочія лица, въ такой наготѣ и такъ рѣзко изображенныя въ романѣ?“ Подобное же замѣчаніе дѣлаетъ Бѣлинскій нѣсколько позже (1845 г.) по поводу *Тарантаса* гр. Соллогуба, отмѣчая филиппику автора противъ злополучныхъ воспитателей, поневолѣ осѣвшихъ на Руси послѣ кампаніи 1812 г.: „Всѣмъ извѣстно, что французы долго мстили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые подъ предлогомъ воспитанія испортили на Руси едва ли не цѣлое поколѣніе“. Бѣлинскій находитъ это замѣчаніе

энергическимъ и остроумнымъ, но далеко не новымъ, такъ какъ „оно уже тысячу тысячъ разъ было предметомъ посильныхъ остротъ журналовъ и правоучительныхъ романовъ добраго стараго времени“, и притомъ „едва ли основательнымъ“, такъ какъ „человѣку, несчастною судьбою занесенному въ чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать съ голоду, естественно, не хочется; что же тутъ острить, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобы добыть кусокъ хлѣба?“ (Впрочемъ, въ данномъ случаѣ и самъ авторъ *Тарантаса* не обобщаетъ своей рѣзкой характеристики на иностранцевъ безъ разбора, выключая эмигрантовъ изъ прочей „сволочи“.) Этотъ человѣчный взглядъ на дѣло, затемненный у людей, переживщихъ эпоху 1812 г., національными страстями, проглядывалъ и у гуманиста XVIII вѣка, Фонвизина: его Вральманъ только тогда взялся за учительство, когда прошатался въ Москвѣ три мѣсяца безъ мѣста, вслѣдствіе чего ему и пришлось либо съ голоду умирать, либо быть учителемъ Митрофанушки, и при первой же возможности Вральманъ охотно бросаетъ несвойственное ему шарлатанство, хорошо по тогдашнимъ условіямъ оплачиваемое, чтобы стать попрежнему кучеромъ. Такую же страничку изъ дѣйствительной жизни, исполненную истиннаго трагизма въ смѣшеніи съ неподдѣльнымъ комизмомъ, представляетъ намъ мимоходомъ авторъ *Записокъ Охотника* въ своемъ *Однодворцѣ Овсяниковѣ*, разсказывая о похожденіяхъ барабанщика Леженя, едва не утопленнаго смоленскими мужичками и спасеннаго только увѣреніемъ, что онъ можетъ быть учителемъ музыки. Только писатель новаго поколѣнія, Тургеневъ и его сверстники, усвоили себѣ вполнѣ свободный и безпристрастный тонъ по отношенію къ иностраннымъ просвѣтителямъ русскаго юношества: вспомнимъ добродушнаго, сентиментальнаго нѣмца въ стихотворной поэмѣ Тургенева *Помѣщикъ*, тоскующаго по далекой родинѣ, меланхолика Рикмана въ *Дневникѣ лишняго человѣка*, идеалиста-пѣвца въ *Фаустѣ*, жреца чистаго, возвышеннаго искусства, музыканта Лемма въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*... Въ романѣ *Кто виноватъ?* наше вниманіе приковываетъ къ себѣ благородный мечтатель-женевецъ, гувернеръ Бельтова, имѣвшій такое сильное вліяніе на своего питомца, при чемъ естественная связь идей приводитъ намъ на память другого

историческаго женевца въ отношеніяхъ къ его нареченному ученику. Но именно только лучшіе люди 40-хъ годовъ могли освободиться и отъ фонвизинской комической утрировки и отъ нетерпимой ненависти *Сына Отечества*. Представители эпохи непосредственно предыдущей еще не въ силахъ были стать на объективную точку зрѣнія: даже у Грибоѣдова не только Фамусовъ брюзжитъ противъ „Кузнецкаго моста и вѣчныхъ французовъ“, но и Чацкій, т.-е. самъ авторъ, справедливо негодуя противъ „пустого, рабскаго, слѣпого подражанья“ и „чужевластья модъ“, въ пылу разгоряченія на „французика изъ Бордо“ и „сестрицъ-княженъ“ жалѣетъ о бородахъ и длиннополыхъ кафтанахъ древней Руси и полагаетъ желательнымъ занять у китайцевъ „премудраго незнанья иноземцевъ“. Болѣе спокойный и уравновѣшенный Пушкинъ, рисуя картину воспитанія Гринева или Евгенія Онѣгина, котораго monsieur l'Abbé всему училъ шутя, сохраняетъ гораздо болѣе объективный тонъ бытописателя, „не вѣдающаго ни жалости ни гнѣва“, изображающаго жизнь, какъ она была или есть, безъ своихъ комментаріевъ, хотя преимущественно съ одной стороны. Каковы бы во всякомъ случаѣ ни были monsieur Бопре и monsieur l'Abbé, авторъ не приписываетъ имъ никакого специфически-пагубнаго вліянія на нравственность ихъ воспитанниковъ. Но отголоски прежняго, нетерпимаго отношенія сказывались и въ позднѣйшіе годы, какъ результатъ увлеченія принципомъ народности, окрашиваясь въ оттѣнокъ славянофильства: такъ, самоучка собиратель сказаній русскаго народа, Сахаровъ, видѣлъ особенное свое счастье въ томъ, что надъ его воспитаніемъ не трудилась ни одна иноземная *тварь*. Изъ приведенныхъ выдержекъ и сопоставленій, надѣемся, ясно вытекаетъ тотъ фактъ, что въ баснѣ *Крестьянинъ и Змѣя* Крыловъ вѣрно отразилъ настроеніе своей эпохи, бывшее и его личнымъ убѣжденіемъ: мы не можемъ вполнѣ раздѣлять взгляда баснописца, но не считаемъ себя въ правѣ и упрекать его за рѣзкость вывода, объясняемую особыми условіями времени. Мысль односторонняя все же заслуживаетъ вниманія, именно какъ мысль, прямо и искренно выраженная. Мораль басни *Червонецъ*, по всей вѣроятности, также имѣетъ въ виду иноземное воспитаніе, хотя въ ней вопросъ о пользѣ просвѣщенія поставленъ

въ болѣе общей формѣ и рѣшается въ положительномъ смыслѣ; авторъ предостерегаетъ только отъ ложнаго просвѣщенія, именемъ котораго люди часто зовутъ „роскоши прельщенье и даже нравовъ развращенье"; не имѣя ничего противъ содранія коры грубости", онъ вооружается противъ пустого блеска, замѣняющаго простоту, заглушающаго природныя добрыя свойства, ослабляющаго духъ и портящаго нравы общества. Дидактизмъ этой басни (напечатанной въ 1812 г.) вполнѣ соотвѣтствуетъ точкѣ зрѣнія сатириковъ и моралистовъ XVIII в.: Новиковъ, Щербатовъ, Болтинъ, фонвизинскій Стародумъ могли бы вполнѣ подписаться подъ баснею Крылова, какъ и подъ его (приведенною выше) тирадою въ *Почтѣ Духовъ*; въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, внутренняя преемственная связь между Крыловымъ-журналистомъ и Крыловымъ-баснописцемъ съ полною наглядностью выступаетъ наружу.

Наиболѣе принципіальное рѣшеніе вопроса о пользѣ или вредѣ ученія, знанія съ точки зрѣнія Крылова представляетъ басня „Водолазы". Общественное значеніе этой басни, въ виду высокой важности затрогиваемой ею темы, было причиною того, что, слѣдуя убѣжденіямъ своихъ вліятельныхъ друзей, скромный баснописецъ на этотъ разъ выступилъ въ роли оффиціальнаго публициста и прочелъ свое произведеніе въ торжественномъ собраніи по случаю открытія Императорской Публичной библіотеки 2 января 1814 года. Тонъ басни вполнѣ спокойный, объективный: передавъ довольно обстоятельно доводы царскихъ совѣтниковъ за и противъ ученья, авторъ въ заключеніе первой части своего разсказа говоритъ, что „съ обѣихъ сторонъ, и *дѣла* выводя и *вздору*, бумаги исписали гору, а о наукахъ споръ остался не рѣшенъ", но не даетъ ни малѣйшаго намека на то, что́ именно изъ изложенныхъ имъ мнѣній онъ самъ считаетъ дѣломъ и что́ вздоромъ. Сомнѣнія царя насчетъ пользы наукъ рѣшаетъ мудрецъ-пустынникъ своею притчею о водолазахъ; однако, хотя Плетневъ и находитъ въ этой баснѣ „*рѣшеніе* одного изъ труднѣйшихъ вопросовъ касательно просвѣщенія", едва ли это рѣшеніе въ состояніи удовлетворить кого бы то ни было, разъ вопросъ поставленъ ребромъ, въ формѣ окончательной дилеммы: „*да* или *нѣтъ*?" т.-е. ученымъ вонъ изъ царства убираться, или попрежнему въ томъ царствѣ оставаться?"

Басня оканчивается притчею пустынника и выведенною изъ нея двойною моралью, и мы не знаемъ, какъ поступилъ царь: выслалъ ли онъ ученыхъ изъ своего царства, или нѣтъ; можно даже полагать, что онъ на самомъ дѣлѣ и послѣ разговора съ пустынникомъ остался на прежнемъ распутьи, не подвинувшись къ рѣшенію задачи. Выводъ пустынника напоминаетъ знаменитую формулу: „съ одной стороны должно признаться, а съ другой нельзя не сознаться“, и единственное практическое поученіе, какое царь могъ извлечь изъ разсказанной ему притчи, сводится развѣ къ тому, чтобы поощрять ученье въ извѣстныхъ, правда, весьма трудно опредѣлимыхъ границахъ и не допускать „вольнодумства“ и „суемудрія“, понятій, весьма растяжимыхъ. Вотъ подлинныя слова мудреца: „*Хотя* въ ученьи зримъ мы *многихъ благъ причину*, но *дерзкій умъ* находитъ въ немъ *пучину* и свой погибельный конецъ, лишь съ разницею того, что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою“. Здѣсь вторая половина періода рѣшительнѣе и развита полнѣе, чѣмъ первая, лишь въ формѣ *уступки* признающая ученье источникомъ *многихъ благъ* и по своей неопредѣленности производящая впечатлѣніе общаго мѣста. Конечный выводъ склоняется скорѣе не въ пользу наукъ, если онѣ могутъ являться пучиною, въ которую дерзкій умъ влечетъ другихъ на пагубу. Перевѣшивается ли отрицательное вліяніе ученья пользою, имъ приносимою, или наоборотъ? заключается ли въ самомъ знаніи и въ здравомъ смыслѣ общества надежное противоядіе противъ вредныхъ и опасныхъ увлеченій? — вотъ основные вопросы, представляющіеся уму при рѣшеніи задачи, поставленной въ разбираемой баснѣ. Если на эти вопросы не можетъ быть данъ благопріятный отвѣтъ, тогда, конечно, не можетъ быть рѣчи и о свободѣ и широтѣ научнаго изслѣдованія, всегда связаннаго съ рискомъ увлеченій и заблужденій. Не всякій умѣетъ при исканіи научныхъ жемчуговъ „выбирать себѣ по силѣ глубину“, какъ разумнѣйшій изъ трехъ братьевъ-водолазовъ, а въ случаѣ примѣненія на практикѣ вывода, вытекающаго изъ морали басни, легко можетъ оказаться, что и этотъ разумный искатель истины, умѣющій опредѣлить мѣру своихъ поисковъ, будетъ лишенъ возможности „всечасно богатѣть“ и обогащать другихъ плодами своихъ изысканій, такъ какъ очер-

ченный имъ для своей дѣятельности кругъ можетъ въ глазахъ другихъ представляться слишкомъ обширнымъ. Гдѣ же оканчивается разумная *свобода*, и гдѣ начинается *[illegible]*? Отвѣта на такой вопросъ басня „Водолазы“, конечно, не даетъ, слѣдовательно, не рѣшаетъ спорнаго дѣла такъ же точно, какъ не могли его рѣшить выведенные въ баснѣ царскіе совѣтники съ ихъ противоположными сужденіями.

Нѣтъ сомнѣнія, что Крыловъ не былъ врагомъ просвѣщенія: враждебное отношеніе невѣжества къ знанію, ко всему, что выходитъ за узкіе предѣлы пониманія невѣжды, вредъ, причиняемый знанію невѣждами сильными и вліятельными, дали сатирическій матеріалъ не для одной басни писателя („Мартышка и очки“, „Пѣтухъ и жемчужное зерно“, „Свинья подъ Дубомъ“, „Голикъ“); съ другой стороны, онъ подвергалъ осмѣянію теоретическій педантизмъ, не умѣющій прилагаться къ живой дѣйствительности („Ларчикъ“, „Огородникъ“ и „Философъ“), и нелѣпыя, рискованныя затѣи, прикрывающіяся quasi-научнымъ авторитетомъ („Механикъ“). Едва ли можно согласиться съ мнѣніемъ г. Флери („Journal de St. Petersbourg“, 1867 г., № 219), упрекающаго Крылова по поводу его насмѣшекъ надъ учеными педантами („Любопытный“, „Огородникъ“ и „Философъ“) въ непріязненномъ отношеніи къ научнымъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ, въ пристрастіи къ рутинѣ, зато нельзя отрицать, что разрѣшеніе теоретическихъ вопросовъ высшаго порядка не удавалось Крылову. Мы видѣли на примѣрѣ „Водолазовъ“, насколько неудовлетворительно онъ отвѣтилъ на вопросъ о роли знанія въ жизни человѣческаго общества. Не болѣе удачно рѣшается вопросъ о политической свободѣ въ баснѣ „Конь и Всадникъ“: разнузданный конь сбросилъ сѣдока, а самъ убился до смерти, свалившись въ оврагъ, и басня заключается банальною сентенціею: „Какъ ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда *разумная* ей *мѣра* не дана“. Справедливость этого афоризма не подлежитъ сомнѣнію, но что слѣдуетъ разумѣть подъ *разумною мѣрою* свободы? Гдѣ граница, отдѣляющая свободу отъ анархіи? По этимъ вопросамъ мыслители и общественные дѣятели постоянно расходились и будутъ расходиться во мнѣніяхъ, а живая практика не даетъ возможности установить общее теоретическое правило въ этомъ случаѣ: одинаковая степень свободы

можетъ вести къ неодинаковымъ послѣдствіямъ въ зависимости отъ множества разнородныхъ условій дѣйствительности — племенныхъ, историческихъ, интеллектуальныхъ, экономическихъ и т. д. Вообще подобныя сложныя проблемы, требующія всесторонняго, тщательнаго разсмотрѣнія, представляютъ мало пригодный матеріалъ для обработки въ формѣ басни, одно изъ главныхъ достоинствъ которой составляетъ краткость, и политико-философскія трактаты подъ оболочкою басенъ часто по необходимости грѣшатъ противъ этого обязательнаго качества послѣднихъ и все-таки оставляютъ дѣло недостаточно выясненнымъ. Къ этому разряду принадлежитъ и знаменитая басня „Сочинитель и Разбойникъ“, подобно „Водолазамъ“, отмѣченная штемпелемъ офиціальной публицистики (читана въ торжественномъ собраніи Императорской Публичной библіотеки 2 января 1817 года вмѣстѣ съ двумя другими баснями, съ которыми и напечатана впервые отдѣльною брошюрой). Содержаніе басни хорошо извѣстно: „разбойникъ пера“, по выраженію новѣйшей терминологіи, „славою покрытый сочинитель“, признанъ вреднѣйшимъ, чѣмъ разбойникъ большихъ дорогъ, и подвергнутъ сравнительно съ послѣднимъ гораздо тягчайшему наказанію въ загробной жизни. По характеристикѣ самого автора, этотъ сочинитель, сладкогласный и опасный, какъ сирена, „тонкій разливалъ въ своихъ твореньяхъ ядъ, вселялъ безвѣріе, укоренялъ развратъ“. Понятіе о литературномъ ядѣ, какъ извѣстно, не отличается опредѣленностью; однако въ этомъ случаѣ мы не можемъ сказать, что авторъ оставляетъ насъ въ неизвѣстности насчетъ дѣйствительнаго содержанія зловредныхъ твореній сочинителя: указаніе на безвѣріе и развратъ, укоренявшіеся ими, дополняется подробными разъясненіями самой Мегеры, дающей понять протестующему на жестокость кары сочинителю истинную степень его виновности. Оказывается, что сочинитель величалъ безвѣріе просвѣщеньемъ, облекъ страсти и порокъ въ приманчивый видъ, осмѣялъ, какъ дѣтскія мечты, супружество, начальство, власти, выставляя ихъ источникомъ всѣхъ людскихъ бѣдъ, и чрезъ это стремился „расторгнуть связи общества“, словомъ, „потрясалъ основы“, какъ выражаются иногда въ наше время. Положимъ, не имѣя подъ руками подлинныхъ сочиненій писателя, трудно судить о степени достовѣрности всѣхъ этихъ тяжкихъ обвиненій;

вѣдь, по мнѣнію, напримѣръ, Фамусова, и Чацкій, желающій служить дѣлу, а не лицамъ, также „властей не признаетъ"; однако, такъ какъ въ данномъ случаѣ мы слышимъ непреложный приговоръ загробнаго правосудія, сомнѣнія являются неумѣстными, и намъ остается признать, что мы имѣемъ дѣло съ настоящимъ, профессіональнымъ потрясателемъ основъ. Спрашивается только, насколько умышленны были литературные грѣхи сочинителя? Сознательно ли онъ разсѣвалъ вредныя идеи, желая льстить дурнымъ страстямъ общества и увлекаясь дешевыми лаврами и восторгами толпы, или же онъ искренно, по убѣжденію, слѣдовалъ своему, хотя бы и ложному, направленію и творилъ зло, думая и желая дѣлать добро? Этотъ вопросъ далеко не безразличенъ: конечно, если бы рѣчь шла объ огражденіи общества отъ превратныхъ идей путемъ стѣсненія дѣятельности писателя, вообще о *земныхъ* мѣрахъ обузданія, — тогда можно было бы оставить въ сторонѣ вопросъ о намѣреніяхъ вреднаго автора на основаніи извѣстнаго афоризма, что самый адъ вымощенъ добрыми намѣреніями. Пожалуй, та же нормальная точка зрѣнія была бы понятна и за предѣлами земной жизни, сообразно съ языческими представленіями, по которымъ мстительныя адскія сестры преслѣдовали и терзали не только несознательныхъ, но даже и нечаянныхъ преступниковъ. Но на иномъ принципѣ построена мораль христіанская, провозглашающая: „не судите по наружности, но судите судомъ праведнымъ", допускающая, что даже всякій гонящій и убивающій провозвѣстниковъ истины можетъ быть искренно убѣжденъ, что этимъ служитъ Богу. Это — та высшая, гуманная нравственность, основанная на любви, которая среди смертныхъ мученій молитъ объ отпущеніи грѣха людямъ, *не вѣдающимъ, что творятъ*. Если же, по мысли автора басни, злополучный сочинитель и съ христіанской точки зрѣнія оказался достоинъ жесточайшей кары, приходится предположить, что онъ дѣйствовалъ сознательно и потому осужденъ безъ снисхожденія; онъ и самъ, жалуясь на строгость боговъ и не считая себя виновнѣе разбойника, готовъ признать, что писалъ „*не много смѣло*". Однако, если виновность сочинителя и является неоспоримымъ фактомъ, остается еще возможнымъ спорить о силѣ его вліянія на умы современниковъ и потомковъ. Устами Мегеры Крыловъ вы-

ражаетъ свой собственный взглядъ на этотъ существенно важный вопросъ и преувеличиваетъ до крайней степени силу яда, разлитаго писателемъ въ его твореніяхъ: онъ, *онъ* оказывается виною бѣдствій цѣлой страны, которая, будучи „опоена его ученьемъ“, полна „убійствами и грабежами, раздорами и мятежами“ и именно *имъ* доведена „до *погибели*“. „Въ ней *каждой* капли слезъ и крови — *ты* виной!“ Полагаемъ, преувеличеніе здѣсь до того явно, что не требуетъ доказательствъ. Неужели *связи*, многовѣковые устои общества могутъ быть до того шатки, что произведенія одного писателя, какъ бы онъ ни былъ вліятеленъ, въ состояніи ихъ ниспровергнуть, если для такого ужаснаго переворота не имѣется налицо другихъ, болѣе глубокихъ, органическихъ причинъ въ строѣ самого общества? Обвинять отрицательную литературу во всѣхъ бѣдствіяхъ, не входя въ изслѣдованіе ея внутренней связи съ соціальными явленіями, конечно, легко; но именно писателю не слѣдовало бы забывать, что всякая литература такъ или иначе отражаетъ собою настроеніе общества, и что только тѣ произведенія могутъ оказывать на умы неотразимо сильное вліяніе, которыя отвѣчаютъ этому настроенію, выражаютъ его наиболѣе мѣтко и полно. Спрашивается: какое же *практическое* слѣдствіе можетъ быть выведено изъ басни Крылова? Она караетъ преступнаго сочинителя за предѣлами земного существованія; но если литература представляетъ собою такое опасное, обоюдоострое оружіе и можетъ приводить цѣлыя страны на край погибели, очевидно, что и на землѣ необходимо принимать мѣры къ огражденію общественнаго порядка отъ ея пагубнаго вліянія, т.-е., обуздывать и карать вредныхъ соблазнителей. Но при такомъ искорененіи плевеловъ не пострадаетъ ли и доброкачественная пшеница? Окажется ли литература въ состояніи выполнить свое дѣло служенія правдѣ и развитія общества? не окажется ли она иной разъ въ положеніи соловья, поющаго въ когтяхъ у кошки? Этотъ вопросъ остается открытымъ, и едва ли самъ Крыловъ сумѣлъ бы вполнѣ логически примирить противорѣчивые выводы, вытекающіе изъ его же двухъ произведеній („Кошка и Соловей“, „Сочинитель и Разбойникъ“). Какъ въ „Водолазахъ“, такъ и въ только что разобранной баснѣ указывается на опасность, грозящую отъ ложныхъ ученій, но вполнѣ игнори

руется способность самого общества противостоять этимъ ученіямъ, если только она не коренится въ явленіяхъ самого общественнаго строя, а также свойство научнаго знанія и литературы самимъ обнаруживать и парализовать всякую вредную ложь, выступающую подъ ихъ флагомъ. Возможно, что Крыловъ вовсе не задавался вопросомъ о практическихъ выводахъ изъ его басни: поставивъ дѣло на чисто теоретическую почву, онъ хотѣлъ только выразить мысль, что злоупотребленіе словомъ, особенно печатнымъ, вліяніе котораго не ограничивается ни пространствомъ ни временемъ, можетъ принести больший вредъ, чѣмъ открытый разбой: по тѣмъ же самымъ соображеніямъ на торжествѣ у Вельзевула змѣя, могущая жалить лишь вблизи, должна была уступить первенство клеветнику, язвящему издалека своимъ злымъ языкомъ, отъ котораго нельзя укрыться ни за горами ни за морями („Клеветникъ и Змѣя"). Но при этой параллели между сочинителемъ и разбойникомъ Крыловъ упускалъ, кажется, изъ виду, какъ это упускается нерѣдко, что борьба съ вредными идеями требуетъ для себя иного оружія, чѣмъ борьба съ грубыми преступленіями противъ жизни и собственности.

Мы остановились такъ долго надъ *Водолазами* и *Сочинителемъ и Разбойникомъ* потому, что эти басни затрогиваютъ вопросы старые, но вѣчно остающіеся новыми, далеко не утратившіе животрепещущаго интереса и для нашего времени, постоянно вызывающіе разномысліе и ожесточенные споры. Какъ Крыловъ рѣшаетъ эти вопросы, мы уже видѣли. Намъ остается еще отмѣтить басню *Безбожники*, нравоученіе къ которой въ черновой рукописи поэта представляетъ любопытный вариантъ къ тексту печатныхъ изданій. Изложивъ ту мысль, что стрѣлы дерзкихъ отрицателей, пущенныя на небо, рушатся на ихъ же головы, авторъ обращается къ тѣмъ, кому „Богъ вручилъ о царствахъ попеченье", съ увѣщаніемъ „любить ученье мудрости", ведущее людей къ добру, но бояться невѣрія, которое способно разорвать присягу, и родство и дружбу, и увлечь кромѣшнымъ вождемъ на царство. Здѣсь опять возникаетъ вопросъ о способахъ огражденія человѣческихъ умовъ отъ невѣрія, — вопросъ немаловажный, потому что, если дерзкія стрѣлы и не опасны для неба, то хранителямъ порядка и

землѣ не могутъ относиться равнодушно къ отрицанію, ведущему за собою разрушеніе всѣхъ основъ общежитія.

Аммонъ.

Административные и судебные нравы въ басняхъ Крылова.

Настоящую галлерею чисто русскихъ портретовъ мы находимъ въ басняхъ, рисующихъ современные автору административные и судебные нравы. Здѣсь полное торжество таланта Крылова, его главныя общественно-литературныя заслуги и права на безсмертіе. Сама жизнь, съ ея нелѣпыми противорѣчіями разумному идеалу, въ изобиліи преподносила матеріалъ для сатиры и вызывала смѣхъ сквозь невидимыя слезы. *Лисица* была судьею въ *курятникѣ*; *медвѣдь* выбранъ въ надсмотрщики надъ *пчелами*; *волкъ* просится въ *овечьи* старосты и получаетъ искомое мѣсто, благодаря тому, что „стараньемъ кумушки лисицы словцо о немъ замолвлено у львицы"; для соблюденія приличія созывается звѣриная сходка для опроса относительно нравственныхъ качествъ волка, — и только наиболѣе заинтересованныя въ дѣлѣ овцы отсутствуютъ на сходкѣ! Результаты такой системы ясны сами по себѣ: медвѣдь потаскалъ весь медъ въ свою берлогу и попалъ подъ судъ по всей формѣ, присуждающій его пролежать всю зиму въ берлогѣ, гдѣ онъ, вполнѣ обезпеченный, можетъ спокойно „ждать у моря погоды". Лисица-судья „съ рыльцемъ въ пуху" также выгнана за взятки, но это не мѣшаетъ ей вынырнуть вновь въ качествѣ прокурора, согласно съ заключеніемъ котораго судьи, — два осла, двѣ старыя клячи да два иль три козла, — приговариваютъ къ *потопленію въ рѣкѣ* виновную *щуку*, поставлявшую, по слухамъ, рыбный столъ лисѣ-прокурору (*Лисица и Суркъ. Медвѣдь у Пчелъ. Мірская сходка. Щука*). Та же самая или такая же лисица является и въ роли судьи по дѣлу крестьянина, обвиняющаго овцу въ съѣденіи куръ (*Крестьянинъ и Овца*), и изрекаетъ приговоръ „по совѣсти своей": „не принимая никакихъ резоновъ отъ овцы", казнить ее „и мясо въ судъ отдать, а

шкуру взять истцу". Эта басня, которую Бѣлинскій, какъ мы уже видѣли, признавалъ едва ли не лучшею между всѣми баснями Крылова, дѣйствительно представляетъ собою неподражаемую сатиру на формальное кривосудіе, художественно-реальное и наглядное до осязательности воспроизведеніе старой судебно канцелярской процедуры и подьяческаго стиля. Подвиги лисы этимъ еще не оканчиваются: она нанимается и на частную службу —охранять курятникъ крестьянина отъ своихъ же собратій и благоденствуетъ на этой службѣ (*Крестьянинъ и Лисица*); она же, по порученію льва, охотника до куръ, строитъ для нихъ помѣщеніе на славу, въ которое ни одинъ воръ не можетъ пробраться, и только для себя самой оставляетъ лазейку (*Лиса-Строитель*). Лиса, по совѣту звѣрей, поставлена львомъ въ воеводы надъ рыбами и дѣлитъ свою прибыль съ кумомъ-мужичкомъ до тѣхъ поръ, пока левъ не изобличаетъ на мѣстѣ преступленія своего воеводы и его „главнаго секретаря" и не подвергаетъ ихъ заслуженной карѣ (*Рыбьи пляски*). Однако извѣстно по рукописямъ, что эта басня сперва оканчивалась совершенно иначе, и только вмѣшательство цензуры заставило автора передѣлать ея финалъ въ смыслѣ наказанія порока... Любопытны также сохранившіяся въ черновыхъ спискахъ басни и опущенныя въ печатной редакціи подробности о томъ, что „въ царствѣ льва такъ развратились нравы, что безъ суда и безъ расправы, кто посильнѣй, тотъ слабаго давилъ", вслѣдствіе чего „все народный ропотъ" всякій день доходилъ до льва, и онъ уставалъ слушать прошенья и жалобы. Наконецъ, опять-таки лиса вмѣстѣ съ медвѣдемъ являются совѣтниками у льва, не взлюбившаго пестрыхъ овецъ и не знающаго, какъ отъ нихъ избавиться, и въ то время, какъ медвѣдь простодушно совѣтуетъ „безъ дальнихъ сборовъ" велѣть передушить непріятныхъ льву овецъ, лисица, не желая погибели невинныхъ, рекомендуетъ отвести имъ хорошія пастбища и приставить къ нимъ въ пастухи волковъ. Цѣль вполнѣ достигнута, и звѣри толкуютъ, что „левъ бы хорошъ, да все злодѣи волки". Эта басня (*Пестрыя Овцы*), какъ выше сказано, вовсе не была напечатана при жизни автора и стала извѣстна только въ 1867 г., появившись въ *Русскомъ Архивѣ*. Такое промедленіе едва ли объясняется случайными причинами, хотя

и трудно видѣть въ баснѣ намекъ на какое-нибудь дѣйствительное событіе того времени. Фабула и заключеніе ея напоминаютъ другое, позднѣйшее произведеніе Крылова: богачъ-скряга Миронъ, желая добиться доброй славы, объявляетъ, что будетъ кормить нищихъ по субботамъ, и точно, не запираетъ своихъ воротъ въ этотъ день, но зато спускаетъ съ цѣпи такихъ злыхъ собакъ, которыя вполнѣ ограждаютъ его отъ докучливыхъ посѣтителей (*Миронъ*). Между тѣмъ всѣ говорятъ, что Миронъ радъ послѣднимъ подѣлиться, и только жалѣютъ, что до него трудно дойти, благодаря его злымъ собакамъ. Характерная иллюстрація къ наивности общественнаго мнѣнія!.. Авторъ счелъ нужнымъ еще ближе пояснить свою мысль: „Видать случалось часто мнѣ, какъ доступъ не легокъ *въ высокія палаты*, да только все собаки виноваты, Мироны жъ сами въ сторонѣ". Въ одной изъ рукописныхъ редакцій читаемъ такой варіантъ: „Случалось *въ старину* — и то *едва ли не во снѣ* — *вельможу* видѣть мнѣ: нѣтъ доступа въ его палаты, но все *секретари* его въ томъ виноваты, а самъ онъ вѣчно въ сторонѣ". Къ числу такихъ вельможъ легко могъ принадлежать и тотъ персидскій сатрапъ, который попалъ въ рай за то, что за дѣла не принимался, а предоставилъ за слабостью здоровья всѣ дѣла секретарю, самъ же „пилъ, ѣлъ и спалъ да все подписывалъ, что онъ ни подавалъ" (*Вельможа*). На этотъ разъ Крыловъ заявляетъ, что онъ уже не во снѣ и не въ старину, а наяву и не далѣе, какъ вчера, видѣлъ въ судѣ судью, имѣющаго всѣ шансы попасть въ рай по той же причинѣ, по какой попалъ туда и выведенный имъ въ баснѣ вельможа. Впрочемъ, признавая вполнѣ, что покойникъ „погубилъ бы цѣлый край", если бы, пользуясь данною ему властью, самъ вздумалъ заниматься дѣлами, мы должны предположить, что ему посчастливилось напасть на хорошаго секретаря, вслѣдствіе чего ввѣренный ему край не пострадалъ. Эта мысль о зависимости достоинства администраторовъ и судей отъ личныхъ качествъ приставленныхъ къ нимъ секретарей выражена въ одной изъ раннихъ басенъ Крылова *Оракулъ*: послѣдняя заключается такою моралью: „Я слышалъ — правда ль? — будто *встарь* судей такихъ видали, которые весьма умны бывали, пока у нихъ былъ умный секретарь". Даже въ такой серіозно дидактической

баснѣ, какъ *Водолазы*, Крыловъ замѣчаетъ мимоходомъ, что иные изъ царскихъ совѣтниковъ подавали голосъ *работы секретарской*. При такой зависимости не всякій вельможа, не смыслящій толка въ дѣлахъ, окажется достойнымъ рая, хотя бы лично и не вмѣшивался ни во что: примѣромъ можетъ служить тотъ слонъ-воевода, который приходитъ въ негодованіе, узнавъ изъ поступившаго въ приказъ прошенія овецъ, что имъ нѣтъ житья отъ волковъ, а затѣмъ, удовольствовавшись объясненіемъ послѣднихъ, позволяетъ имъ взять съ овцы по шкуркѣ на тулупы въ видѣ оброка, „а больше ихъ (овецъ) не трогать волоскомъ" (*Слонъ на воеводствѣ*). „Кто знатенъ и силенъ, да не уменъ, такъ худо, ежели и съ добрымъ сердцемъ онъ", заключаетъ Крыловъ по этому поводу, припоминая въ другомъ мѣстѣ „невѣждамъ не во гнѣвъ" старую истину, что, „если голова пуста, то головѣ ума не придадутъ мѣста" (*Парикъ*). Это важный чинъ на *плутѣ*, по словамъ Крылова, „какъ звонокъ звукъ отъ него и громокъ, и далекъ" (*Оселъ*), тогда какъ плутъ въ маломъ чинѣ „не такъ еще примѣтенъ". Въ указанной баснѣ этотъ звонокъ имѣлъ весьма печальныя послѣдствія для его носителя, но что въ жизни это не общее правило, показываетъ самъ же Крыловъ въ другой баснѣ, изображая вороненка, вздумавшаго некстати подражать орлу въ похищеніи изъ стада барана, и замѣчая въ заключеніе своего разсказа: „Нерѣдко у людей то жъ самое бываетъ, коль мелкій плутъ большому плуту подражаетъ: что сходитъ съ рукъ *ворамъ*, за то *воришекъ* бьютъ" (*Вороненокъ*). Правда, левъ поступилъ иначе, покаравъ волка, взявшаго примѣръ хищенія съ маленькой собачонки, простивъ послѣднюю въ виду ея молодости и глупости (*Левъ и Волкъ*). Вопросъ объ отвѣтственности старшихъ за младшихъ, начальствующихъ за подчиненныхъ разсматривается Крыловымъ съ различныхъ сторонъ: крестьяне идутъ жаловаться рѣкѣ на разоренье отъ ручейковъ и мелкихъ рѣчекъ и видятъ, что половина ихъ расхищеннаго добра плыветъ по этой самой рѣкѣ — отсюда выводъ простой: „на младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ, гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ" (*Крестьяне и Рѣка*). Здѣсь круговая порука въ дѣлѣ злоупотребленій, но такой солидарности можетъ и не быть при извѣстныхъ условіяхъ, какъ видно

изъ примѣра воеводы-слона. При недальновидности лицъ высшихъ иногда вполнѣ отсутствуетъ сознаніе собственной отвѣтственности за глупость или безчестность подчиненныхъ: мужикъ, приставившій осла стеречь свой огородъ, обвиняетъ потомъ въ убыткахъ не себя самого, а исключительно своего неудачнаго сторожа (*Оселъ и Мужикъ*). Припомнимъ мысль, выраженную въ *Бритвахъ*: есть люди, предпочитающіе имѣть дѣло съ дураками, чѣмъ держать при себѣ умныхъ людей, но въ указанномъ случаѣ не видно, чтобы мужикъ, нанявшій осла въ сторожа, дѣйствовалъ сознательно, и приходится предположить, что и самъ наниматель не былъ умнѣе наемника. Такая солидарность тупоумія предполагается, какъ общее правило, волкомъ относительно пастуховъ: „гдѣ пастухъ дуракъ, тамъ и собаки дуры" (*Волкъ и Волчонокъ*). Не умнѣе мужика, поручившаго ослу стеречь свой огородъ, или другого, которому Барбосъ нанялся за тройную плату исправлять всѣ работы по дому (*Крестьянинъ и Собака*), оказался и тотъ поваръ, который оставилъ кота стеречь съѣстное отъ мышей, а затѣмъ, заставъ хищника на мѣстѣ преступленія, сталъ „тратить рѣчи по-пустому" вмѣсто того, чтобы „власть употребить" (*Котъ и Поваръ*). Вотъ и еще налицо одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ противорѣчій, которыми такъ изобилуетъ дѣйствительность: глупый, но честно исполнявшій свою службу оселъ наказанъ дубиною, а котъ, хитрый и сознательный воръ, остается безъ наказанія, правда, на этотъ разъ благодаря лишь склонности своего хозяина къ резонерству, а не собственной изворотливости. Во всѣхъ приведенныхъ примѣрахъ мы видѣли или злоупотребленія подчиненныхъ отъ имени добраго, но глупаго воеводы (*Слонъ на воеводствѣ*), или совмѣстное дѣйствіе старшихъ и младшихъ (*Крестьяне и Рѣка*), или переложеніе отвѣтственности съ высшихъ на низшихъ (*Миронъ и Пестрыя Овцы*), или, наконецъ, неумѣніе найти для дѣла подходящаго исполнителя (*Оселъ и Мужикъ*) и принятыя ложныя мѣры противъ злоупотребленій (*Котъ и Поваръ*). Но злоупотребленія нерѣдко исходятъ и непосредственно отъ самихъ старшихъ, совершенно независимо отъ подчиненныхъ, которымъ въ этомъ случаѣ остается только „лежать смирнехонько", подобно собакамъ, видящимъ, какъ пастухъ потрошатъ лучшаго въ стадѣ барана. По адресу этихъ вот

овъ въ одеждѣ пастырей пасущихъ, явный волкъ дѣлаетъ справедливое замѣчаніе: „Какой бы шумъ вы всѣ здѣсь подняли, друзья, когда бы это сдѣлалъ я!“ (*Волкъ и Пастухи*). Итакъ, беззащитнымъ овцамъ подчасъ приходится плохо не отъ однихъ волковъ, а и отъ собственныхъ блюстителей: пастухъ Савва самъ ѣстъ барскихъ овецъ, сваливая вину на небывалаго волка (*Пастухъ*); въ другомъ стадѣ для охраны овецъ отъ волковъ разведено столько собакъ, что онѣ сами подъ конецъ съѣли все стадо, потому что „и собакамъ надо жъ ѣсть“ (*Овцы и Собаки*). Что же должно произойти, когда профессіональный хищникъ является въ роли офиціальнаго охранителя и правителя? Каково должно быть житье тѣхъ овецъ, къ которымъ въ старосты посаженъ волкъ, пчелъ, отданныхъ подъ присмотръ медвѣдя, куръ, подчиненныхъ администраціи лисицы?! Немудрено, что „олени, серны, козы, лани“ являются какъ разъ тѣми *мохнатыми* звѣрями, *почти не платящими дани*, съ которыхъ слѣдуетъ снять шерсть для мягкой постели состарѣвшемуся льву, по совѣту его вельможъ (*Левъ*). Не много утѣшенія приноситъ овцамъ и благодѣтельный законъ, изданный спеціально для ихъ огражденія, въ силу коего овца имѣетъ право всякаго волка, обижающаго ее, „не разбираючи лица, схватить за шиворотъ и въ судъ тотчасъ представить“ (*Волки и Овцы*): есть условія, при которыхъ самыя благія намѣренія остаются только на бумагѣ... При изображеніи разнаго рода хищниковъ Крыловъ иногда касается ихъ психологіи, хотя бы съ какой-нибудь одной стороны: взяточники не любятъ узнавать себя въ сатирѣ и „украдкою киваютъ на Петра“ при чтеніи о взяткахъ (*Мартышка и Зеркало*); крупный воръ искренно негодуетъ на мелкаго воришку, и *судья* Климычъ, у котораго стянули часишки, кричитъ на вора: „караулъ!“ (*Волкъ и Мышонокъ*). Лисица оправдываетъ передъ крестьяниномъ свои воровскія наклонности нуждою, дѣтьми, примѣромъ другихъ, а затѣмъ, получивъ возможность добывать кусокъ хлѣба честнымъ трудомъ, продолжаетъ воровать попрежнему, изъ чего дѣлается выводъ, къ сожалѣнію, справедливый для весьма многихъ случаевъ, что „вору дай хоть милліонъ, онъ воровать не перестанетъ“ (*Крестьянинъ и Лисица*). Не можемъ не отмѣтить еще прекрасной басни о ручьѣ, безобидномъ лишь до тѣхъ поръ, пока онъ не

сдѣлался многоводною рѣкою (*Ручей*). Авторъ правъ тысячу разъ: много на свѣтѣ такихъ сладко журчащихъ ручейковъ, выражающихъ наилучшія намѣренія даже искренно, „лишь только оттого, что мало въ нихъ воды!“

Мы, конечно, далеко не обозрѣли всѣхъ басенъ Крылова, заключающихъ въ себѣ драгоцѣнные, мѣткіе намеки на окружающую жизнь съ ея уклоненіями отъ началъ справедливости и разума: такіе намеки разсѣяны даже мимоходомъ, вскользь, тамъ, гдѣ, повидимому, серіозность тона исключаетъ сатирическія выходки: въ *Сочинитель и Разбойникъ* дѣйствіе происходитъ въ загробномъ мірѣ, но и тутъ именно по этому поводу авторъ вставляетъ такое замѣчаніе: „Въ аду обрядъ судебный скоръ: нѣтъ проволочекъ безполезныхъ“. Также въ *Водолазахъ* для „разумниковъ“, созванныхъ царемъ на совѣтъ, разладъ въ голосахъ былъ настоящимъ кладомъ, и, если бы имъ волю дали, они бъ донынѣ толковали *да жалованье брали*“. А какія мѣткія сатиры представляютъ собою, напримѣръ, *Тришкинъ кафтанъ*, *Мельникъ*, *Мѣшокъ*, *Орелъ и Кротъ*, *Слонъ и Моська*, *Левъ на ловлѣ*, *Музыканты*, *Совѣтъ Мышей*, — это наглядное изложеніе кумовства, торжествующаго надъ всѣми правилами и постановленіями, — и т. д., и т. д. Припомнимъ кстати обрисованнаго Гоголемъ учителя Чичикова, ставившаго поведеніе превыше всѣхъ дарованій и способностей и не могшаго простить Крылову его афоризма „по мнѣ, ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй“ (*Музыканты*): воззрѣнія этого просвѣтителя юношества, особенно въ его эпоху, во всякомъ случаѣ не были исключительно его достояніемъ, а раздѣлялись весьма многими; а въ чемъ иной разъ заключалось и заключается прекрасное поведеніе, доставляющее человѣку благополучіе, объ этомъ свидѣтельствуетъ примѣръ Жужу, кудрявой болонки, ходящей на заднихъ лапкахъ (*Двѣ Собаки*). *Аммонъ.*

Историческія басни Крылова.

Волкъ на псарнѣ. Въ этой баснѣ, какъ извѣстно, Крыловъ представляетъ Наполеона въ Россіи. По словамъ Быстрова, „Крыловъ, собственною рукою переписавъ басню

„Волкъ на псарнѣ“, отдалъ ее княгинѣ Екатеринѣ Ильиничнѣ, а она при своемъ письмѣ отправила ее къ свѣтлѣйшему своему супругу“ [1]), который прочиталъ ее, послѣ сраженія подъ Краснымъ собравшимся вокругъ него офицерамъ и при словахъ: „а я пріятель сѣдъ“, снялъ свою бѣлую фуражку и потрясъ наклоненною головою.

Первая мысль этой басни, какъ видно:

И волчьей клятвой утверждаю,
Что я... „Послушай-ка сосѣдъ“,
Тутъ ловчій перервалъ *и проч.*

могла явиться у Крылова по полученіи извѣстія о попытках Наполеона вступить въ переговоры, т.-е. послѣ 23-го сентября (день свиданія Кутузова съ Лористономъ). Послѣдняя же редакція могла составиться не ранѣе, какъ послѣ тарутинскаго сраженія, бывшаго 6-го октября, потому что до того времени, отъ самаго выступленія нашихъ войскъ изъ Москвы, кромѣ ничтожныхъ стычекъ, не было предпринято никакихъ дѣйствій, которыя бы могли служить Кры-

[1]) Приводимъ вполнѣ разсказъ Быстрова, имѣющій интересъ независимо отъ этой басни. „Иванъ Андреевичъ, какъ и всякій великій геній, былъ не-[illegible] „Русскому Инвалиду“ на 1837 г., въ повѣсти, подъ названіемъ: „Преобразованіе“, разсказанъ былъ весьма любопытный анекдотъ изъ незабвенной эпохи 1812 г. Вотъ онъ: „Наполеонъ послѣ Бородинскаго отпора пошелъ ощупью верстъ [illegible] ему свою басню „Волкъ на псарнѣ“. Кутузовъ, зная ропотъ нетерпѣливой молодежи, призвалъ къ себѣ юныхъ героевъ и прочиталъ имъ басню. Смыслъ басни пояснилъ многимъ то, чего они прежде не понимали, и съ той поры, возложивъ надежду на Бога и опытность сѣдого ловчаго, наши богатыри выжидали въ тарутинскомъ лагерѣ перваго сигнала къ битвѣ и побѣдѣ“.

„Когда я прочелъ это мѣсто Ивану Андреевичу, — продолжаетъ Быстровъ, — то онъ нахмурился и сказалъ: „Все это вздоръ... Я не Богъ!.. Возможно ли, чтобъ я, частный человѣкъ, ни дипломатъ, ни военный, напередъ зналъ, что сдѣлаетъ Кутузовъ?... Смѣшно... Да и гдѣ Кутузовъ читалъ басню? Не въ тарутинскомъ же лагерѣ, а послѣ... Скажите, мой милый, въ какомъ-нибудь журналѣ, что все это было не такъ“. На другой день я отнесъ къ А. О. Воейкову составленныя мною примѣчанія къ баснѣ Ивана Андр. Крылова „Волкъ на псарнѣ“, которыя и были напечатаны въ „Русскомъ Инвалидѣ“. Въ этихъ примѣчаніяхъ Быстровъ разсказываетъ происшествіе, какъ оно было.

тому основаніемъ сказать: „И тутъ же выпустилъ на волка гончихъ стаю“.

Общій планъ военныхъ дѣйствій, сообщенный Кутузову изъ Петербурга еще въ началѣ сентября, заключался въ томъ, чтобы дѣйствовать въ тылъ Наполеону, затрудняя отступленіе. Князь Волконскій, посланный для полученія отъ Кутузова объясненія его дѣйствій, доносилъ государю: „Смѣло можно увѣрить, что Наполеону трудно будетъ выбраться изъ Россіи“ („Полн. собр. соч.“ Мих.-Данилевскаго, т. V, стр. 14). На это Крыловъ намекаетъ стихами:

...Друзья, къ чему весь этотъ шумъ...
Что я...

Рѣчь попавшаго въ безвыходное положеніе волка довольно близка къ тѣмъ выраженіямъ, въ которыхъ раздраженный Наполеонъ высказывалъ свое желаніе мириться: „Пора положить предѣлъ кровопролитію, — говорилъ онъ Яковлеву. Намъ съ вами легко поладить... Мнѣ нечего у васъ дѣлать; я не требую отъ васъ ничего, кромѣ исполненія Тильзитскаго договора... Я готовъ возвратиться...“ Столь же интересны въ этомъ отношеніи и слова Лористона, приведенныя Кутузовымъ въ донесеніи государю: „Государь мой искренно желаетъ положить предѣлъ несогласіямъ между двумя великими народами, и положить его навсегда“. Въ письмѣ, посланномъ черезъ Яковлева, Наполеонъ не преминулъ напомнить о прежнихъ чувствахъ къ нему Александра: „Если ваше величество хотя отчасти сохраняете ко мнѣ прежнія чувствованія...“ *и проч.*

Ты сѣръ, а я, пріятель, сѣдъ.

Этотъ стихъ показываетъ, что Крыловъ въ своемъ ловчемъ цѣнилъ преимущественно и даже исключительно хитрость. Такой взглядъ баснописца на главнокомандующаго вполнѣ оправдывается многими историческими данными. Передъ отъѣздомъ Кутузова въ армію, одинъ изъ его родственниковъ имѣлъ нескромность спросить: „Неужели вы, дядюшка, надѣетесь разбить Наполеона?“ Кутузовъ отвѣчалъ „Нѣтъ! А обмануть надѣюсь“. Почти то же самое сказалъ онъ во время тарутинской стоянки: „Разбить меня можетъ Напо-

леонъ, а обмануть — никогда". Суворовъ, подъ начальствомъ котораго Кутузовъ пріобрѣлъ извѣстность и заслужилъ расположеніе императрицы Екатерины, говаривалъ о немъ: „уменъ, очень уменъ; его и Рибасъ не обманетъ". Въ такомъ же смыслѣ отзывается о немъ и Вильсонъ въ своихъ „Запискахъ": „Bon vivant, утонченно образованный, вѣжливый, хитрый, какъ грекъ, смѣтливый отъ природы, какъ азіатецъ, и просвѣщенный, какъ европеецъ, онъ болѣе былъ склоненъ расчитывать на успѣхъ отъ своей дипломатіи чѣмъ отъ военной отваги..."

Обоз. Цѣль басни — оправдать медлительность дѣйствій Кутузова. Оставленіе въ рукахъ непріятеля Москвы безъ боя, истребленіе ея и вслѣдъ за тѣмъ бездѣйствіе главнокомандующаго — должно было неминуемо возбудить ропотъ и горькія нареканія. Всѣ желали рѣшительнаго боя, ждали его подъ стѣнами Москвы; а между тѣмъ Кутузовъ, никому не открывая своего плана истребленія арміи Наполеона, спокойно и настойчиво приводилъ его въ исполненіе — старался ослабить врага, уклоняясь отъ рѣшительной развязки. Весьма естественно, что общественное мнѣніе вооружилось теперь противъ него, какъ за полтора мѣсяца передъ тѣмъ противъ Барклая-де-Толли. Самъ императоръ поставилъ ему въ вину то, что онъ не далъ вторичнаго сраженія подъ Москвою. Слѣдствіемъ этого былъ рескриптъ на имя главнокомандующаго, полученный имъ за нѣсколько дней до тарутинскаго сраженія. Приводимъ окончаніе его, прямо относящееся къ нашему предмету. „...казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами (раздробленностію силъ Наполеона), могли бы вы съ выгодою атаковать непріятеля слабѣе васъ и истребить онаго, или, по меньшей мѣрѣ, заставя его отступить, сохранить въ нашихъ рукахъ знатную часть губерній, нынѣ непріятелемъ занимаемыхъ, и тѣмъ самымъ отвратить опасность отъ Тулы и прочихъ внутреннихъ городовъ. На вашей отвѣтственности останется, если непріятель въ состояніи будетъ отрядить значительный корпусъ на Петербургъ... ибо съ ввѣренной вамъ арміей *дѣйствуя рѣшительно и дѣятельно*, вы еще обязаны отвѣтомъ оскорбленному отечеству въ потерѣ Москвы... Я и Россія въ правѣ ожидать съ вашей стороны всего *усердія, твердости и успѣховъ*."

и т. д. Но Кутузовъ, сравненный въ баснѣ съ добрымъ конемъ, который понесъ на крестцѣ свой возъ, не измѣнилъ своего плана, несмотря ни на упреки ни на порывы своихъ сподвижниковъ.

Ворона и Курица. Первыя извѣстія о бѣдственномъ состояніи арміи Наполеона могли достигнуть Петербурга не раньше, какъ въ концѣ сентября. Въ „Сынѣ Отечества" находимъ слѣдующую замѣтку: „Очевидцы разсказываютъ, что въ Москвѣ французы ежедневно ходили на охоту стрѣлять воронъ и не могли нахвалиться своимъ soupe aux corbeaux. Теперь можно дать отставку старинной русской пословицѣ: „попалъ, какъ куръ во щи", а лучше говорить „попалъ, какъ ворона во французскій супъ". Къ тому же времени относится и карикатура Ивана Теребенева, *Французскій вороній супъ*, гдѣ представлены четыре французскіе гренадера въ оборванныхъ мундирахъ, расположившіеся въ полѣ: посреди картины стоитъ гренадеръ, раненый въ ногу которая у него совершенно босая, и отрываетъ у воронъ крылья, съ одной стороны, стоя на колѣняхъ на камнѣ товарищъ схватился за воронью ножку и, судя по разинутому рту, готовъ ее проглотить; не менѣе сильный аппетитъ выражается въ фигурѣ третьяго, сидящаго по другую сторону; позади ихъ лежитъ четвертый, обнимающій обѣими руками пустой котелъ. Подъ карикатурою находится слѣдующее четверостишіе:

Бѣда намъ съ нашимъ великимъ Наполеономъ!
Кормилъ насъ въ походѣ изъ костей бульономъ.
Въ Москвѣ попировать свистѣлъ у насъ зубъ:
Не тутъ-то, похлебаемъ же хоть вороній супъ![1])

Можетъ-быть, тогда же и явилась у Крылова первая мысль этой басни; но окончательно редактирована она могла

[1]) Карикатуру И. Теребенева см. въ собраніи карикатуръ, относящихся къ Отечественной войнѣ въ библіотекѣ Имп. Академіи Наукъ. Подобная же картинка приложена къ этой баснѣ въ изданіи Смирдина: „Басни Ивана Крылова", 1834 г. (часть I, кн. I, стр. 9): къ тремъ солдатамъ, расположившимся у треножника, на которомъ виситъ котелъ, подходитъ четвертый съ пучкомъ хворосту въ одной рукѣ и вороною въ другой; въ его лицѣ и фигурѣ видно чувство торжества, а въ лицахъ сидящихъ его товарищей — удовольствіе, вызванное мыслью о предстоящей трапезѣ.

былъ только въ ноябрѣ князь Кутузовъ, названный въ баснѣ Смоленскимъ, получилъ этотъ титулъ послѣ дѣла подъ Краснымъ, окончившагося 6-го ноября.

Какъ голодомъ морить Смоленскій сталъ гостей.

Кутузовъ, дѣйствительно, считалъ голодъ однимъ изъ рѣшительнѣйшихъ средствъ въ борьбѣ съ Наполеономъ. По окончаніи совѣта въ Филяхъ, на вопросъ полковника Шнейдера: „Гдѣ мы остановимся?“ фельдмаршалъ отвѣчалъ: „Это мое дѣло; но ужъ доведу я проклятыхъ французовъ, какъ въ прошломъ году турокъ, до того, что они будутъ ѣсть лошадиное мясо“. Къ этой цѣли Кутузовъ, кажется, направлялъ дѣйствія партизанскихъ отрядовъ.

Такъ часто человѣкъ въ расчетахъ слѣпъ и глупъ...
Попался, какъ ворона въ супъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что эта ворона, погнавшаяся за лакомымъ кускомъ, въ увѣренности, что „воронъ ни жарятъ ни варятъ“,- Наполеонъ, увѣренный въ своей непобѣдимости, погнавшійся за счастіемъ, но обманувшійся въ расчетѣ. Его неудача въ Россіи внушила нашему поэту стихи, составляющіе правоученіе басни.

Щука и Котъ. Поводомъ къ сочиненію этой басни была извѣстная неудача адмирала Чичагова, который долженъ былъ пресѣчь путь Наполеону черезъ Березину. „Нельзя вообразить общаго на него негодованія, — пишетъ Вигель: — всѣ состоянія подозрѣвали его въ измѣнѣ, снисходительнѣйшіе винили его неискусство, и Крыловъ написалъ басню о пирожникѣ, который берется шить сапоги, т.-е. о морякѣ, начальствующемъ надъ сухопутнымъ войскомъ“. Въ современной карикатурѣ[1] сохранилось весьма опредѣленное выраженіе того убѣжденія, что Чичаговъ преднамѣренно упо-

[1] Эта карикатура находится въ сборникѣ карикатуръ, относящихся къ Отечественной войнѣ, подаренномъ П. Л. Лавровымъ Императорской Публичной библіотекѣ. Сборникъ состоитъ изъ 53 каррикатуръ; изъ нихъ 15 Ивана Те-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
усиліемъ затягиваетъ мѣшокъ, а Чичаговъ съ другого конца нерочнымъ

пился отъ общаго плана. Въ ней Кутузовъ скачетъ на конѣ и тянетъ одинъ конецъ сѣти, въ которую долженъ попасть Наполеонъ; а на другомъ концѣ ея Чичаговъ, сидящій на ягорѣ, восклицаетъ: je le sauve! и Наполеонъ въ видѣ зайца проскальзываетъ за его спиною. То же убѣжденіе выразилось и въ слѣдующей эпиграммѣ, найденной Я. К. Гротомъ въ бумагахъ Державина.

Смоленскій князь Кутузовъ
Продерзостныхъ французовъ
И гналъ и билъ,
И, наконецъ, имъ гибельну онъ сѣть связалъ;
Но земноводный генералъ
Приползъ,— да и всю распустилъ.

Характеризуя его, какъ человѣка, Вигель говоритъ, что „въ душѣ онъ былъ англичанинъ, учился въ Англіи мореплаванію и былъ женатъ на англичанкѣ; что съ суровостью моряка онъ соединялъ надменность англичанина, и это сдѣлало его ненавистнымъ для русскихъ; послѣдній же его подвигъ (защита Березины) заставилъ ихъ всѣхъ презирать его“. „Да и не могло быть иначе,“ пишетъ ген. Богдановичъ, „князь Кутузовъ, освободитель Россіи отъ нашествія Наполеона и его полчищъ, Витгенштейнъ, защитникъ нашей сѣверной столицы... оба они стояли такъ высоко въ общемъ мнѣніи, что никто не смѣлъ усомниться въ безошибочности ихъ дѣйствій... Общему порицанію подвергся Чичаговъ, потому что, во-1-хъ, положеніе, занимаемое его арміею, давало ему наиболѣе возможности преградить путь Наполеону; во-2-хъ, потому, что, командуя въ Отечественную войну впервые сухопутными силами, онъ еще не успѣлъ заслужить славы искуснаго военачальника. Къ тому же онъ сдѣлалъ важную ошибку, уклонясь отъ направленія, по которому отступала Наполеонова армія“. Этимъ общимъ мнѣніемъ, котораго не раздѣлять Крыловъ не имѣлъ причины, может быть объяснена рѣзкость выраженій во вступленіи и заключеніи басни.

И крысы хвостъ у ней отъѣли.

[illegible] разрѣзываетъ [illegible] маленькихъ [illegible] отыскать ее остались тщетны.

Въ этомъ стихѣ заключается намекъ на неудачное отступленіе войскъ Чичагова отъ Борисова на правую сторону Березины, при этомъ были потеряны многіе изъ полковыхъ обозовъ, канцелярія главнокомандующаго, большая часть экипажей и въ томъ числѣ фургонъ со столовымъ сервизомъ Чичагова и всѣ наши раненые и больные, изъ коихъ нѣкоторые погибли отъ пожара, опустошившаго городъ.

Кеневичъ.

Басни Крылова, устанавливающія согласіе между отдѣльными группами государства.

Обращая свое заботливое вниманіе на устройство семьи, на установленіе единства и согласія, естественныхъ и разумныхъ отношеній между ея членами, Крыловъ не упускалъ изъ виду и обширной семьи — государства, со свойственною ему простотой и убѣдительностію доказывая въ своихъ басняхъ необходимость и въ немъ той же гармоніи, тѣхъ же естественныхъ и разумныхъ отношеній между всѣми его членами. Высказывая въ своей превосходной баснѣ *Воспитаніе Льва* высокую истину, что важнѣйшая наука для царей: „знать свойства своего народа и выгоды земли своей“, — въ другой баснѣ *Василекъ*, отличающейся еще большими поэтическими достоинствами, неподражаемой по простотѣ изящества, необыкновенной нѣжности и мягкости красокъ, онъ указываетъ на высокую задачу царя въ слѣдующихъ превосходныхъ стихахъ:

О вы, кому въ удѣлъ судьбою данъ
Высокій санъ,
Вы съ солнца моего примѣръ берите!
Смотрите:
Куда лишь лучъ его достанетъ, тамъ оно —
Былинкѣ ль, кедру ли — благотворитъ равно,
И радость по себѣ и счастье оставляетъ;
Зато и видъ его горитъ во всѣхъ сердцахъ —
Какъ чистый лучъ въ восточныхъ хрусталяхъ,
И все его благословляетъ.

Мысль о гармоническомъ, естественномъ и разумномъ отношеніи между всѣми группами, составляющими государ-

ство что „держава всякая сильна, когда устроены въ ней всѣ премудро части“, развита въ баснѣ *Пушки и Паруса* исполненной поэтическихъ картинъ. Написанная въ 1829 году, она указываетъ на ложность господствовавшаго у насъ прежде съ особенной силой убѣжденія въ превосходствѣ пушекъ, военной службы предъ парусами „этимъ ничтожнымъ холстиннымъ твореньемъ“, т. е. гражданской или, точнѣе, всякой другой службы. Развитію той же мысли о необходимости гармоніи между всѣми государственными сословіями посвящена Крыловымъ другая прекрасная басня: *Листы и Корни*, гдѣ доказывается простая истина, что корень въ государствѣ — въ народѣ, и что для жизненныхъ отправленій государства необходимы высшія сословія; живутъ и цвѣтутъ они до тѣхъ поръ, „пока не изсушится корень“. Съ другой стороны, *Конь и Всадникъ* подтверждаетъ столь же простую истину, что для народа необходима разумная мѣра свободы; такъ, конь ретивый, безъ узды, сбросившій сѣдока и самъ „въ оврагъ со всѣхъ махнувшій ногъ“, обличаетъ глубокую думу Крылова надъ свѣжими историческими явленіями.

Установляя согласіе между отдѣльными группами государства, онъ даетъ въ то же время практическій совѣтъ держаться крѣпко каждому своего и не выдавать Матрены за барона, чтобы не вышла Матрена ни пава ни ворона (*Ворона*); совѣтуетъ селянину, солдату или гражданину (т. е. горожанину) не роптать, „кой съ кѣмъ свое сличая состоянье“, потому что и эти *кой-кто* не безъ дѣла для нихъ же (*Колосъ*). Не щадитъ онъ и власти, безъ дѣла и пользы живущей и заѣдающей чужой трудъ. Въ одной изъ послѣднихъ басенъ: *Вельможа* — судья въ жилищѣ тѣней тотчасъ отправляетъ въ рай вельможу, который на службѣ только „пилъ, ѣлъ и спалъ, да все подписывалъ, что секретарь ни подавалъ“, и слѣдующимъ образомъ объясняетъ свой приговоръ Меркурію, который даже вскрикнулъ отъ изумленія, забывши всю учтивость:

Что если бы съ такою властью
Взялся онъ за дѣла, къ несчастью,—
Вѣдь погубилъ бы цѣлый край!

Въ баснѣ *Орелъ и Паукъ* онъ обличаетъ тѣхъ, „кои безъ ума и даже безъ трудовъ тащатся вверхъ, держась за хвостъ

вельможи"; или тѣхъ, которые составляютъ свое счастье „лишь тѣмъ, что хорошо на заднихъ лапкахъ ходить" (*Двѣ Собаки*); тѣхъ, которые судятъ объ умѣ „по платью или по бородѣ", пишутъ по службѣ вверхъ людей безъ ума, какъ крысу безъ хвоста, лишь потому, что эта крыса имъ кума; тѣхъ, которые хвалятся, что ихъ предки Римъ спасли (*Гуси*), или что прослужили безъ проку сорокъ лѣтъ и лежали какъ камень на полѣ — тихо, скромно, смирнехонько (*Камень и Червякъ*). Въ баснѣ *Паукъ и Пчела* Крыловъ вооружается рѣзкою сатирою противъ тѣхъ, кто, какъ завистливый паукъ, „засѣлъ надувшись спесиво, за трудъ, въ которомъ себѣ пользы нѣтъ", который не одѣваетъ и не грѣетъ; въ баснѣ *Бѣлка* противъ пустыхъ дѣльцовъ, которые суетятся день и ночь безъ толку, какъ бѣлка въ колесѣ; въ баснѣ *Пчела и Муха* противъ тѣхъ безполезныхъ гражданъ, которыхъ на родинѣ, какъ мухъ, вездѣ гоняютъ изъ гостей и которые летятъ въ чужіе края, потому что тамъ никому ихъ праздность не досадна; въ баснѣ *[illegible]* — противъ безполезныхъ богачей, которыхъ смерть одна къ чему-нибудь годна".

Лер[illegible]

Басни Крылова, поучающія правиламъ обычной житейской мудрости.

Трудно перечислить тѣ басни, въ которыхъ Крыловъ даетъ намъ правила обычной житейской мудрости, практическіе совѣты, или въ которыхъ просто выражаются отдѣльные частные случаи. Ихъ много и всѣ онѣ такъ извѣстны, что перечислять ихъ значило бы злоупотреблять вниманіемъ. Приглядимся ли къ нашей обычной разладицѣ въ житейскихъ дѣлахъ, мы непремѣнно вспомнимъ басню *Лебедь, Щука и Ракъ*; прислушаемся ли къ нашимъ безполезнымъ рѣчамъ, расточаемымъ часто попусту тамъ, гдѣ нужно дѣло, нашему воображенію тотчасъ представится *[illegible]*, ораторствующій передъ лошадью, или *поваръ*, передъ *котомъ*, спокойно убирающимъ курчонка. Наши пустыя и часто вредныя затѣи напоминаютъ намъ *Синицу*, наша охота браться за дѣло не подъ силу — *Скворца*, задумавшаго пѣть соловьемъ; наше авось успѣю — *Мельника*; наша привычка сваливать вину

на другого *[illegible]*. Нашъ близорукій и [illegible] взглядъ на дѣло представляющій со всѣхъ сторонъ мнимыя опасности, наша охота бить попусту въ набатъ, какъ часто бываетъ и теперь, изображены Крыловымъ въ прекрасной баснѣ „Мыши“; наша привычка, отъ которой мы еще не можемъ отстать — судить и рядить, что и какъ за моремъ, а у себя подъ носомъ не видѣть, изобличается въ столь же прекрасной баснѣ — *Три мужика* и т. д. Въ какіе прекрасные поэтическіе образы облекаются въ басняхъ Крылова самыя простыя истины: быть терпѣливымъ въ трудѣ (*Трудолюбивый Медвѣдь*), не обольщаться обманчивой надеждой (*Пловецъ и Море*), не браться за нѣсколько дѣлъ разомъ (*Крестьянинъ и Собака*), не пренебрегать совѣтомъ, не разсмотрѣвъ его (*Орелъ и Кротъ, Левъ и Мышь*), какой прекрасный памятникъ въ баснѣ *Орелъ и Пчела* безвѣстному, но честному труду и т. д. А *Тришкинъ кафтанъ* и *Демьянова уха*, смерть, явившаяся на зовъ мужика, муха, втаскивающая въ гору возъ, медвѣжья услуга?... сколько картинъ, прелестныхъ и затѣйливыхъ поэтическихъ образовъ возбуждаютъ они въ нашемъ воображеніи! Цѣлыя басни иногда посвящаются Крыловымъ переложенію въ тѣ же поэтическіе образы народныхъ пословицъ: изъ огня да въ полымя (*Госпожа и двѣ служанки*), у страха глаза велики (*Мышь и Крыса*), не смѣйся чужой бѣдѣ (*Чижъ и Голубь*) и др. Извѣстно, что Крыловъ терпѣть не могъ въ литературѣ ни излишней, льстивой похвалы ни бранчивой и придирчивой критики, „лишнія хвалы считаю за отраву“, замѣтилъ онъ, между прочимъ, въ баснѣ *Муравей*. Относительно же наклонности къ осужденію и порицанію, которой такъ легко поддается человѣкъ, онъ руководился старою, но вѣрною истиною, высказанною имъ въ баснѣ *Обозъ*:

Все кажется въ другомъ ошибкой намъ;
А примешься за дѣло самъ,
Такъ напроказишь вдвое хуже.

Критикамъ и цѣнителямъ этого рода онъ посвятилъ нѣсколько прекрасныхъ басенъ: ихъ онъ выводитъ и въ бросающихся на прохожихъ *собакахъ*, которыя, впрочемъ, „полаютъ, да отстанутъ“; въ *ослѣ*, отозвавшемся съ такимъ знаніемъ дѣла о пѣніи *соловья*, въ *моськѣ*, лающей на

свинья въ *грязной свиньѣ* развозившейся по барскому платью; въ *свиньѣ*, роющейся въ навозѣ и сорѣ на заднемъ дворѣ богача. Не любилъ онъ также дешевой и пристрастной критики литературныхъ партій и кружковъ, когда *кукушка* хвалитъ пѣтуха за то, что хвалитъ онъ кукушку, когда бранятъ другихъ только потому, что эти другіе „не нашего прихода“ (*Прихожанинъ*). Но о критикѣ серіозной, основательной и благонамѣренной Крыловъ всегда отзывается съ уваженіемъ и вѣрилъ въ ту пользу, которую она приноситъ истиннымъ талантамъ, которымъ нечего бояться такой критики:

Таланты истинны за критику не злятся:
Ихъ повредить она не можетъ красоты;
Одни поддѣльные цвѣты
Дождя боятся.

[illegible]

Басня Крылова, какъ воплотительница ума и народной мудрости.

Между родами поэзіи, перешедшими на русскую почву съ Запада въ XVIII столѣтіи, *басня* всѣхъ болѣе полюбилась нашимъ писателямъ. Не было почти ни одного русскаго поэта, который бы не писалъ между прочимъ басень. Въ числѣ неизданныхъ сочиненій Державина отыскалось до 25 пьесъ этого рода. Жуковскій и Батюшковъ также испытывали себя въ баснѣ. Успѣхъ Крылова вызвалъ несчетное множество новыхъ баснописцевъ, которые, однакожъ, давно забыты. Правда, что и въ другихъ литературахъ, послѣ счастливаго примѣра, поданнаго Лафонтеномъ, басня, по своей видимой легкости, привлекала множество писателей; но нигдѣ ей такъ не посчастливилось, какъ въ Россіи; нигдѣ не получила она такого глубокаго національнаго значенія. Изъ всѣхъ родовъ поэзіи въ русской литературѣ, до сихъ поръ только басня, благодаря Крылову, сдѣлалась въ полной мѣрѣ органомъ народности и по духу и по языку. Причины такого явленія должно искать въ томъ, что басня и по существу своему и по формѣ особенно соотвѣтствуетъ свойствамъ

народнаго духа. Для нея именно нуженъ и практическій смыслъ, и простодушная замысловатость, и охота объясняться притчами и пословицами, которыя такъ преобладаютъ въ русскомъ народѣ. Если самъ Крыловъ едва не до сорокалѣтняго возраста удерживался отъ художественной басни, то это можно объяснить только его сильнымъ сатирическимъ талантомъ, который долго искалъ себѣ болѣе прямого и открытаго выраженія. Это преобладающее свойство его духа придало и баснямъ его особенное значеніе. Какъ скоро оказалось, что только въ формѣ басни для него возможно вполнѣ успѣшное сочетаніе художественнаго дарованія съ проявленіемъ глубоко-сатирическаго ума, то онъ не могъ не предпочесть ее всякой другой формѣ поэзіи. Изъ всѣхъ русскихъ писателей у одного Крылова соединились въ высшей мѣрѣ тѣ условія, которыя могутъ сообщить баснѣ истинно-глубокое содержаніе. У другихъ писателей басня почти всегда только словесная игрушка; у него она дѣло, полное жизни и значенія. Но потому-то Крыловъ, давъ ей все то развитіе, къ какому она способна на русской почвѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ надолго заградилъ всѣмъ дорогу на этомъ поприщѣ. Ни одинъ русскій писатель не отважится въ скоромъ времени итти по его слѣдамъ.

Говорятъ, что басня есть форма поэзіи, слишкомъ тѣсная для фантазіи и въ наше время устарѣлая; но эта форма пришлась по уму и нраву Крылова, что именно въ ней было ему всего привольнѣе, и только въ ней онъ могъ проявить свой художественно-сатирическій талантъ во всей его силѣ и полномъ блескѣ. Тѣмъ изумительнѣе этотъ талантъ, если онъ въ сухую, повидимому, форму сумѣлъ вложить такъ много жизни и поэзіи, что въ первый разъ представилъ образцы народнаго искусства въ словѣ. Названіе *баснописца*, дѣйствительно, не довольно почетно для Крылова. Онъ выше своего рода и доказалъ, что не мѣсто краситъ человѣка, а наоборотъ. Его басня многозначительна, не какъ басня, а какъ созданіе, въ которомъ художественно воплотился умъ и опытная мудрость цѣлаго народа. Какъ ни высоко нравоописательное и нравоучительное значеніе произведеній Крылова, одного этого достоинства было бы недостаточно, чтобъ доставить имъ безсмертіе: для этого къ нему должны присоединиться эстетическая красота и отра-

леніе народнаго духа. Крыловъ, какъ человѣкъ, могъ имѣть, конечно, свои несовершенства въ частной жизни; но человѣкъ, который является въ его басняхъ, есть высшій мудрецъ, исполненный правилъ чести и добродѣтели, гонитель всякой лжи и низости, защитникъ науки и мысли противъ невѣжества и глупости, наконецъ наставникъ современниковъ и потомства. *Гротъ.*

Педагогическое значеніе басенъ Крылова.

Художественныя достоинства басенъ Крылова придаютъ имъ важное значеніе и въ педагогическомъ отношеніи. Какъ образцовыя въ своемъ родѣ произведенія поэзіи, его басни преимущественно полезны по своему образовательному вліянію на дѣтей. Въ его баснѣ, исполненой жизни и драматизма, дитя начинаетъ знакомиться съ человѣческою жизнію, съ ея доблестями и немощами, и развиваетъ въ себѣ живой смыслъ и живое слово. Но мы не можемъ не коснуться еще двухъ сторонъ въ благотворномъ вліяніи басни, отличающейся такими совершенствами, какъ басни Крылова; одна изъ нихъ теоретическая, другая — практическая.

Изображая въ иносказаніяхъ человѣческій міръ, басня начинаетъ возбуждать въ человѣкѣ ту ему одному только свойственную производительную дѣятельность воображенія, въ которой выражается общее стремленіе человѣка къ непрерывному обновленію и совершенствованію своей дѣйствительности. Въ баснѣ — узелъ, связующій забаву съ серьозными созданіями мысли и представленія, и потому, самая эта забава представленіями уже заключаетъ въ себѣ глубокій и серіозный смыслъ. Низшія животныя знаютъ только забаву тѣлодвиженій, но не представленій; одинъ человѣкъ, съ первыхъ дней младенческаго сознанія, начинаетъ любоваться созданіями представленія и гармоніею въ ихъ сочетаніяхъ. Въ этомъ наслажденіи первыя проблески будущихъ идеаловъ, непрерывно движущихъ и совершенствующихъ и внутреннюю и внѣшнюю жизнь человѣка.

Не менѣе важно и практическое или нравственное значеніе образцовой басни. Таково свойство нашей психической жизни, что общее правило или нравственное требованіе,

особенно на первыхъ порахъ, скорѣе получаетъ въ насъ дѣятельную силу подъ вліяніемъ мысли, перешедшей въ дѣло или представленной въ самомъ фактѣ и дѣлѣ. Даже мышцы своего слова дитя складываетъ для разговора не потому, что оно узнаетъ сперва правила, какъ ихъ складывать, но потому, что внутренній инстинктъ слова, съ соотвѣтственнымъ ему движеніемъ мышцъ, самъ собою пробуждается при видѣ бесѣдующихъ съ нимъ людей. Только позже, на степени высшей душевной зрѣлости, и отвлеченно-сознанная мысль удобно переходитъ въ дѣло и преобразуетъ самую жизнь. Басня, какъ и многія другія художественныя произведенія слова, изображая людскіе недостатки въ непосредственномъ единствѣ ихъ съ фактомъ, не ограничивается сообщеніемъ одному отвлеченному знанію, или памятованію правилъ жизни, но непосредственно возбуждаетъ въ дитяти и знаніе правилъ, и соотвѣтственное имъ настроеніе сердца и воли: дитя разомъ научается какъ понимать, такъ и чувствовать и выражать въ своемъ настроеніи и внутреннюю силу добра и отрицаніе зла. Такъ дѣйствуетъ басня на дѣтей; такъ дѣйствуетъ она и на народъ, близкій, по степени умственнаго развитія, къ дѣтскому возрасту. Въ баснѣ онъ видитъ мелкіе образцы своего ума и слова, и, пользуясь ими, незамѣтно совершенствуетъ и свой смыслъ и свое слово.

Басни Крылова тѣмъ удобопримѣнимѣе къ первоначальному обученію, что содержаніе ихъ всегда просто и доступно пониманію дѣтей. Быть можетъ, оно ограничивается иногда только общими нравственными истинами, не имѣющими близкаго отношенія къ народной жизни; иной разъ его басни не чужды и остатковъ давняго классицизма, таковы, напр., миѳологическія названія Юпитера, Плутона, Парнасса; но такихъ, не гармонирующихъ съ назначеніемъ басни, особенностей въ басняхъ Крылова мало, и, въ общей сложности, его произведенія въ этомъ родѣ поэзіи навсегда останутся памятникомъ рѣдкаго совершенства.

И вотъ почему преимущественно Крылова басни всегда имѣли и долго, долго еще будутъ имѣть не только высокохудожественное, но и педагогическое значеніе, и долго еще цѣлыя поколѣнія будутъ чтить въ памяти Крылова своего общаго учителя.

И всѣ мы можемъ назвать его нашимъ общимъ учителемъ и наставникомъ; потому что воспоминанія нашего дѣтства, нашего первоначальнаго образованія, неразрывны съ памятью Крылова. То, что выработала его душа, что выработала его мысль, стало общимъ нашимъ достояніемъ, и, соединяя съ памятью о Крыловѣ, какъ знаменитомъ дѣятелѣ русскаго слова, памятованіе о немъ, какъ наставникѣ нѣсколькихъ поколѣній, мы только исполняемъ нашъ нравственный долгъ. Въ произведеніяхъ знаменитыхъ дѣятелей русскаго ума и слова заключаются и руководительныя начала народной жизни, и тѣ невидимыя нити, которыми связуются въ одинъ нравственный міръ и ученики и учители, и школа и жизнь, и прежнія и грядущія поколѣнія.

Гогоцкій.

Художественное значеніе басенъ Крылова

Басня, какъ и всякое художественное произведеніе, тѣмъ выше, чѣмъ неразрывнѣе и естественнѣе помыслъ соединенъ съ избранною въ ней образною формою, съ олицетвореннымъ предметомъ, который избирается баснописцемъ изъ окружающаго насъ міра. Чѣмъ задушевнѣе высказывается въ нихъ его мысль и, не нуждаясь въ какихъ-нибудь особенныхъ толкованіяхъ, непосредственно возбуждаетъ въ дѣтской натурѣ соотвѣтственное чувство и настроеніе, тѣмъ выше достоинство басни. По внутренней связи содержанія и образной формы басня уже несравненно выше, нежели символъ и аллегорія, хотя подобно имъ, еще не относится къ высшимъ художественнымъ произведеніямъ. Но и въ этомъ отношеніи басни Крылова, если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, весьма многія, такъ совершенны, что могутъ сравниться съ лучшими въ этомъ родѣ произведеніями всѣхъ временъ и народовъ и далеко превосходятъ басни даже лучшихъ изъ прежнихъ нашихъ баснописцевъ — Хемницера и Дмитріева. У Хемницера есть простота изложенія, иногда и остроуміе, но зато случается растянутость и нѣкоторая доля разсужденія, понятная не представленію въ самомъ образѣ, но внѣ образа — разсудку; у Дмитріева — преобладаетъ нѣкоторая обработанность какъ въ ходѣ всего дѣйствія въ баснѣ,

какъ и въ языкѣ. Въ общемъ выводѣ, помыселъ басни далеко не всегда отливается у нихъ въ такихъ живыхъ оттѣнкахъ образа, которыхъ требовали бы аналогическіе типы народной душевной жизни. Басни Крылова безспорно выше по своему художественному совершенству; въ нихъ мысль, большею частію, до мельчайшихъ индивидуальныхъ изгибовъ выражается въ образахъ, и образы ничего не оставляютъ внѣ себя для отвлеченія или для отдѣльнаго пониманія. Типическіе образы въ басняхъ Крылова, большею частію, какъ нельзя лучше соотвѣтствуютъ и ихъ дѣйствительной натурѣ и народному о нихъ представленію; ихъ положеніе, тонъ, взаимное отношеніе отличаются рѣдкою непринужденностію, и, что также очень важно, самая рѣчь отличается у него тѣми живыми оборотами народной рѣчи, въ которыхъ немногими словами, какъ нѣсколькими ударами кисти, каждое дѣйствующее лицо и каждый моментъ его дѣйствія выражены въ самомъ типическомъ ихъ рельефѣ. Басня, въ сравненіи съ высшими художественными произведеніями вообще страдаетъ еще нѣкоторою отдѣльностію содержанія отъ конкретной формы; потому что не въ вещахъ, не въ растеніяхъ и животныхъ, но только въ движеніяхъ человѣческаго тѣла и слова можетъ выразиться человѣческая душа, но въ борьбѣ съ этимъ-то препятствіемъ и виденъ талантъ Крылова. Во многихъ его басняхъ до такой степени естественны роли выводимыхъ имъ на сцену животныхъ, что читающій или слушающій живое чтеніе его басенъ, весь переносится въ этотъ міръ вымысла и любуется имъ, какъ живою дѣйствительностію. Таковы, напримѣръ, роли въ его басняхъ медвѣдя, волка, осла, лисицы, обезьяны и т. д.

Художественное достоинство басни зависитъ и отъ того, въ какой связи съ нею поставленъ нравоучительный выводъ, если онъ сдѣланъ. Высшее художественное произведеніе не выражаетъ какой-либо отдѣльной отъ себя цѣли; оно вразумляетъ не выступающими изъ цѣльной его сферы правилами, но самыми образами возсозданной имъ жизни. Между тѣмъ, басня нерѣдко прибавляетъ въ началѣ или въ концѣ свою мысль или правило, отдѣльно отъ своего конкретнаго, образнаго содержанія. Въ способѣ этого приложенія или вывода нравоученія заключается пробный камень для таланта баснописца. Часто и въ лучшихъ басняхъ

выводы отличаются дидактическимъ характеромъ и какъ-то, по самому тону, отдѣльностію отъ цѣльнаго ихъ состава; у Крылова же самые выводы, своею непринужденностію и остроуміемъ, нерѣдко даже не даютъ замѣтить, что мы уже вышли изъ художественной сферы басни, а иногда, какъ бы снова, съ новою силою, сосредоточиваютъ въ себѣ, въ нѣсколькихъ словахъ, весь комизмъ, всю иронію разлитые въ баснѣ. Что можетъ быть, напримѣръ, непринужденнѣе дидактическихъ заключеній въ басняхъ о вельможѣ, или о гусяхъ, или о собакахъ, подравшихся изъ-за кости? Лучшимъ доказательствомъ неподражаемой мѣткости, съ которою индивидуализируются у Крылова общая мысль въ типахъ его басенъ, можетъ быть, какъ мы сказали, не одинъ научный анализъ, но и то задушевное наслажденіе, которое чувствуютъ и выражаютъ дѣти. Такова, напримѣръ, басня *Квартетъ* или бесѣда сытой лисы, подъ стогомъ сѣна, съ голоднымъ волкомъ. Нѣкоторыя басни Крылова содержатъ въ себѣ какъ бы маленькія комедіи, въ которыхъ наглядно, какъ бы предъ очами дѣтей, совершается комическое самоуничтоженіе людскихъ недостатковъ съ его результатомъ и отзвукомъ въ дѣтскомъ смѣхѣ.

Гогоцкій.

Родъ произведеній, преимущественно усвоенный себѣ Крыловымъ, не предполагаетъ, повидимому, необходимыхъ условій художественнаго творчества. Не напрасно басню, какъ иносказательное изображеніе извѣстной нравственной истины, относили къ дидактикѣ. И дѣйствительно, по первоначальному своему значенію, она является въ качествѣ особенной діалектической стратагемы, которую авторъ употребляетъ, когда стремится напечатлѣть въ умахъ, какъ бы нехотя, безъ намѣренія, мимоходомъ, такъ сказать, какой-нибудь урокъ житейской мудрости или мысль, почерпнутую изъ наблюденій общественнаго быта. Поучать ироніею, символомъ, притчею, иносказаніемъ всегда и у всѣхъ народовъ было однимъ изъ общеупотребительныхъ пріемовъ, свойственныхъ духу человѣческому, когда онъ, посреди всяческихъ волнующихъ его недоумѣній, не стремится воззрѣній своихъ обратить въ строгій догматъ, а только въ разнообразной

игрѣ жизни ищетъ указаній на высшія ея задачи. Но мысль о художественномъ творчествѣ не входила въ понятіе объ изображеніи, гдѣ должно угадывать какую-либо цѣль внѣ самаго изображенія, гдѣ оно не въ самомъ себѣ носитъ свою убѣждающую или изъяснительную силу, а въ аналогическомъ приспособленіи къ чему-то другому, стороннему. Въ новѣйшія времена Лафонтенъ первый возвысилъ басню, независимо отъ ея аллегорическаго характера, до высокаго художественнаго значенія. И мы, по всей справедливости, въ твореніяхъ Крылова можемъ представить другой самобытный образецъ подобнаго превращенія иносказательнаго изображенія въ поэму. Мудрость жизни ищетъ союза съ красотою, такъ же какъ искусство, съ своей стороны, нимало не теряя своей свободы, въ откровеніяхъ мудрости почерпаетъ долю богатствъ для усиленія своего благотворнаго вліянія на людей. Не даромъ Платонъ совѣтовалъ суровому учителю Киносарга приносить жертву граціямъ. Онъ хотѣлъ этимъ сказать, что ученіе, имѣющее въ виду дѣлать людей лучшими, наиболѣе достигаетъ своей цѣли, когда, съ сознаніемъ истины, оно пробуждаетъ въ нихъ чувство прекраснаго.

Такимъ образомъ поэтическое развитіе по праву принадлежитъ иносказанію въ баснѣ. Мы очень хорошо знаемъ, что, изображая предметы неодушевленные и существа немыслящія съ ихъ природными свойствами и надѣляя ихъ въ то же время атрибутами человѣческими, баснописецъ имѣетъ въ виду что-то другое, а не ихъ самихъ. Искусно развивая нить поэтическаго о нихъ сказанія, онъ постоянно даетъ намъ чувствовать аналогію между вымысломъ и дѣйствительностью. И въ этомъ сближеніи, въ этой чудной игрѣ противоположностей, онъ однако, какъ бы случайно и ненамѣренно, рисуетъ картины, глубоко дѣйствующія на наше эстетическое чувство. Отсюда возникаетъ уже поэзія басни, которая сама въ себѣ носитъ увлекательную прелесть, сдружая насъ съ природою, влагая, такъ сказать, въ ея созданія сердце и языкъ, чтобъ чувствовать съ нами заодно, говорить намъ внятно; все твореніе, такимъ образомъ, проникается однимъ духомъ жизни, повсюду напоминающимъ намъ объ общемъ родственномъ происхожденіи отъ одного всемогущаго Жизнедавца. И когда, наконецъ, поэма басни разрѣшается важ-

ною мыслію или нравственною истиною, мы поражены ими, какъ внезапнымъ свѣтлымъ озареніемъ, которое тѣмъ глубже проникаетъ въ нашу душу, чѣмъ менѣе мы были въ правѣ подозрѣвать автора въ доктринерствѣ, въ намѣреніи сдѣлаться нашимъ учителемъ и располагать нашими убѣжденіями. Баснописецъ принесъ обильную жертву граціямъ. Онъ далъ намъ уроки, какъ мудрецъ, и какъ поэтъ провелъ ихъ въ наше сердце. Онъ доставилъ торжество идеѣ или истинѣ, какое доставляется ей только соединеніемъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ въ пользу ея, на человѣка.

Всѣ эти мысли вытекаютъ не изъ теоріи, — основаніе ихъ лежитъ въ изученіи произведеній нашего великаго баснописца. Взглянемъ же на тѣ силы, какими осуществлялъ онъ свою задачу.

Первое, что̀ представляется намъ въ его басняхъ, самое высокое качество въ нихъ — это умъ. Получивъ въ даръ отъ природы необыкновенный умъ, онъ какъ бы вторично принялъ его изъ богатой сокровищницы народныхъ умственныхъ силъ и сталъ народнымъ писателемъ не потому уже, что того хотѣлъ, а потому, что не хотѣть этого не могъ. Равнодушный ко всѣмъ выспреннимъ утопическимъ и оптимистическимъ міровоззрѣніямъ, тонкій наблюдатель жизни и знатокъ человѣческаго сердца, аналитикъ и немножко скептикъ въ житейской практикѣ, онъ естественно былъ расположенъ къ ироніи; но и ее обнаруживалъ онъ въ народномъ смыслѣ и тонѣ. Эта спокойная, лукавая и вмѣстѣ добродушная иронія, въ которой сквозь незнаніе, ею высказываемое, и отстраненіе себя отъ вопроса свѣтятся, какъ бы вскользь, глубокое и вѣрное пониманіе настоящаго хода вещей и готовность вопросъ разрѣшить по-своему, — это иронія, повсюду разлитая въ басняхъ Крылова, есть одно изъ самыхъ коренныхъ и глубокихъ свойствъ нашей народности. Иронія является и у другихъ писателей-баснописцевъ со свойственнымъ ей сатирическимъ направленіемъ. Но въ томъ-то и состоитъ геніальная черта нашего баснописца, что его иронія вылилась въ форму народнаго духа, получила отъ него особенную физіономію, колоритъ, что ея нельзя ни примѣнить ни къ чему, какъ только посреди насъ и къ намъ. Не будь приправлена она свойственнымъ нашему національному характеру добродушіемъ, она могла бы при

нять видъ болѣе серіозный и даже мрачный. У нашего баснописца этого нѣтъ, потому что если серіозность въ извѣстной степени намъ свойственна, то мрачность уже никакъ къ намъ нейдетъ. Заунывность нашихъ пѣсенъ ничего не доказываетъ; она есть выраженіе историческихъ моментовъ и положеній, а не природы нашей. Мы — народъ жизни и движенія, и если мы иногда унываемъ, то ненадолго и не съ тѣмъ, чтобы погрузиться въ плаксивое бездѣйствіе, которымъ обыкновенно сопровождается уныніе. Съ нашей грустною думой мы не менѣе того способны и готовы дать смѣлый и рѣшительный отпоръ всякой бѣдѣ, откуда бы она намъ ни угрожала. Враги наши думали иногда иначе — но они ошибались.

Нѣтъ никакой надобности приводить въ свидѣтельство сказаннаго здѣсь мѣста изъ самыхъ басенъ, отзывающіяся народностію. Тутъ дѣло не въ частностяхъ, не въ отрывкахъ, не въ языкѣ даже, а въ направленіи, въ тонѣ каждой поэмы, въ цѣлости взятой, и всѣхъ ихъ вмѣстѣ съ первой до послѣдней. Тутъ Русь, тутъ Русью пахнетъ повсюду — въ главныхъ мотивахъ, на которые мѣтитъ авторъ, въ изобрѣтеніи содержанія, въ манерѣ повѣствованія, въ рѣчахъ лицъ повѣствуемыхъ. Что многія выраженія изъ басенъ могли сдѣлаться народными пословицами, это само собою разумѣется. Но всего удивительнѣе то, что всѣ эти лисицы, волки, медвѣди, быки, сурки, тигры, львы, гуси, даже голуби, прилетѣвшіе изъ чужой стороны, какъ будто родились и выросли на поляхъ и въ лѣсахъ нашихъ; они охотно сбѣжались, слетѣлись на зовъ волшебника-поэта, чтобы вмѣстѣ служить ему орудіемъ для изображенія важныхъ истинъ въ нашихъ нравахъ и общественности.

Я сейчасъ говорилъ объ ироніи, это — господствующій тонъ басенъ Крылова. Я позволяю себѣ остановиться еще на минуту на этомъ характеристическомъ качествѣ его ума. Нельзя не восхищаться ея прелестію, несмотря на то, что она колется порядочно. Въ самомъ дѣлѣ, сколько остроумія въ вымыслѣ, въ содержаніи, которыми выражается она, въ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ и положеніяхъ ихъ! Какая простодушная веселость въ изображеніи нравовъ, обычаевъ, всѣхъ странностей звѣринаго и птичьяго міра. Какъ смѣшонъ, напр., хоть бы этотъ слонъ, мечтающій, что онъ поступилъ очень справедливо, позволивъ волкамъ сдирать

кожу съ овецъ, но не трогать ихъ волоскомъ. И много комизма во всей этой исторіи, какимъ образомъ медвѣдь попалъ, по звѣриному выбору, въ надсмотрщики надъ ульями съ медомъ, и что изъ этого произошло. Извѣстно, что медвѣдь натаскалъ весь медъ въ свою берлогу; его отдали подъ судъ, отрѣшили отъ должности и приговорили, какъ знатнаго звѣря, пролежать зиму въ берлогѣ.

По меду все не воротили.
А Мишенька и ухомъ не ведетъ.
Со свѣтомъ Мишка распрощался,
Въ берлогу темную забрался
И лапу съ медомъ тамъ сосетъ,
Да у моря погоды ждетъ.

Крестьяне, претерпѣвъ великое разореніе отъ ручьевъ и рѣчекъ, разыгравшихся во время полноводья, пошли жаловаться на нихъ рѣкѣ, въ которую эти ручьи и рѣчки впадали. Рѣка была почтенная, текла величаво и тихо. Но, пришедши къ ней, просители увидѣли, что все ихъ добро, захваченное ихъ разорителями, по ней же плыветъ.

Тутъ попусту не заводя хлопотъ,
Крестьяне лишь его глазами проводили,
Потомъ взглянулись межъ собой
И, покачавши головой,
Пошли домой,
А уходя проговорили:
На что и время тратить намъ:
На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ,
Гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ.

Мужикъ поручилъ ослу на лѣто охранять его огородъ отъ воронъ и воробьевъ. Оселъ былъ честныхъ правилъ, но за дѣло взялся по-ослиному. Онъ,

Гоняя птицъ со всѣхъ ослиныхъ ногъ
По всѣмъ грядамъ и вдоль и поперекъ,
Такую поднялъ скачку,
Что въ огородѣ все примялъ и притопталъ.

Волкъ искалъ мѣсто овечьяго старосты, и ему сильно покровительствовала лисица. Однако, какъ вообще волки не пользуются хорошей репутаціей, то велѣно было навести о немъ справки, и для этого собранъ былъ звѣриный сходъ. Голоса присутствовавшихъ оказались въ пользу кандидата, и онъ получилъ просимое имъ мѣсто въ овчарнѣ.

Да что же овцы говорили?
На сходкѣ вѣдь онѣ ужъ вѣрно были?
Вотъ то-то нѣтъ! овецъ-то и забыли!
А ихъ-то бы всего нужнѣй спросить.

Иногда баснописецъ оставляетъ звѣрей и содержаніе для своего иносказательнаго разсказа прямо беретъ изъ міра человѣческаго. Такъ, онъ разсказываетъ анекдотъ про одного изъ своихъ пріятелей, который въ присутствіи его брился и терпѣлъ отъ того несказанныя мученія. На замѣчаніе автора, что онъ оттого такъ страдаетъ, что у него бритвы тупы, чудакъ отвѣчалъ:

Охъ, братецъ, признаюсь,
Что бритвы очень тупы!
. . . .
Да острыми-то я порѣзаться боюсь!
— А я, мой другъ, тебя увѣрить смѣю
(отвѣтилъ ему авторъ),
Что бритвою тупой изрѣжешься скорѣй,
А острою обреешься вѣрнѣй:
Умѣй владѣть лишь ею.

Священникъ въ церкви произнесъ удивительную проповѣдь, которая всѣхъ присутствовавшихъ восхитила и разстрогала до глубины сердца; всѣ почти плакали. Оказался, однако, и такой, который обнаружилъ полнѣйшее равнодушіе. Одинъ изъ слушателей обратился къ нему съ упрекомъ, говоря:

„А у тебя, сосѣдъ, знать, черствая природа,
Что на тебѣ слезинки не видать?
Иль ты не понималъ?“ — „Ну, какъ не понимать!
Да плакать мнѣ какая стать!
Вѣдь я не здѣшняго прихода“.

Вы чувствуете, что, изъ-за всѣхъ этихъ искусныхъ прикрытій иносказанія, авторъ бросаетъ стрѣлы свои не куда попало, а туда, гдѣ нужнѣе и общеполезнѣе ихъ уязвляющая сила. Извѣстно, что большая часть басенъ написана Крыловымъ по какому-нибудь поводу или случаю, происшедшему въ современномъ ему обществѣ. Далеко не всѣ эти случаи намъ извѣстны; конечно, любопытно было бы знать ихъ въ біографическомъ интересѣ и въ интересѣ исторіи нравовъ вообще. Но это рѣшительно не прибавило бы никакой цѣны самымъ произведеніямъ. Въ нихъ нѣчто болѣе,

нежели намеки на что-либо или кого-ли, и не бѣда, если они и будутъ забыты. Но не забудутся глубокій всенародный или всечеловѣческій смыслъ и идеи, высказанныя въ твореніяхъ геніальнаго писателя.

Таковъ умъ Крылова въ его басняхъ, но вѣдь это только умъ, — гдѣ же поэзія, гдѣ художественность? могутъ спросить у меня. Конечно, надобно, чтобы басни эти были изящны и художественны, — ибо никакой умъ, ни самая даже народность не могли бы безъ этого возбудить въ сердцахъ такую всеобщую любовь къ нимъ. Любовь только тамъ, гдѣ красота. Таковъ ужъ человѣкъ. Бываютъ исключенія, но они рѣдки. Въ Крыловѣ выразился тотъ непреложный законъ человѣческой природы, по которому высшій умъ, несмотря даже на положительность своего направленія, чѣмъ возвышеннѣе, тѣмъ ближе къ поэзіи, и это, безъ сомнѣнія, потому, что и поэзія есть дѣло умное. Конечно, не всякій, одаренный высшимъ умомъ, способенъ спеціально сдѣлаться поэтомъ, — для того нужна еще сила творчества, геній. Ими-то природа богато одарила Крылова въ дополненіе къ уму. Смотря на цѣли, какія онъ имѣлъ въ виду въ своихъ басняхъ, можно было бы опасаться, что мы увидимъ въ немъ сухого холоднаго моралиста, — этого, какъ извѣстно, не случилось. Такимъ моралистомъ онъ не могъ быть уже потому, что вообще, по свойственной ему ироніи, не очень довѣрялъ возможности водворять мораль между людьми поученіями, а болѣе полагался въ томъ на силу вещей и силу впечатлѣнія, которая не только дѣлаетъ истину извѣстною, но и покоряетъ ей сердца. Въ немъ была какая-то двойственность, — и то, что дѣлало его поучительнымъ, и то, что оставляя въ сторонѣ поучительность, дѣлало его просто привлекательнымъ и милымъ. Моралистъ въ басняхъ спрятался за прекрасными созданными имъ поэтическими образами, мало, кажется, думая о томъ, что отъ нихъ произойдетъ. Здѣсь онъ поэтъ и, повидимому, только поэтъ, въ особенной формѣ. Онъ любитъ природу — и природа раскрыла передъ нимъ міръ своихъ роскошныхъ созданій съ разнообразными оттѣнками ихъ типическихъ свойствъ. Онъ живетъ только этими созданіями. Онъ любуется ими, простосердечно играетъ съ ними, наблюдая въ то же время ихъ нравы и привычки, не какъ натуралистъ, а какъ членъ ихъ обширнаго семейства. Живыя силы природы имѣютъ

неизъяснимую прелесть для поэта, они составляютъ для него неизсякаемый источникъ воодушевленія и поэтическихъ созерцаній. Смотря на Крылова съ этой точки зрѣнія, о немъ можно сказать словами одного изъ извѣстныхъ нашихъ поэтовъ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ
И чувствовалъ травъ прозябанье.

Погруженный весь въ свой особенный міръ, онъ, повидимому, не заботится о людяхъ и обращается къ нимъ только тогда, когда нужно у нихъ позаимствовать что-нибудь изъ ихъ свойствъ и быта, чтобъ надѣлить ими любимыя имъ существа. Въ этомъ странномъ мірѣ господствуетъ своя судьба, совершаются свои эпическія дѣйствія, разыгрываются свои драмы, серьозныя и комическія, съ ихъ характерами и героями. И все это поэтъ передаетъ намъ съ такою прагматическою достовѣрностію, какъ бы тутъ не было ничего несбыточнаго и чрезвычайнаго. Читатель не успѣваетъ опомниться отъ обаянія этихъ волшебныхъ видѣній; онъ подозрѣваетъ, конечно, тутъ хитрый умыселъ вызвавшаго ихъ чародѣя, который не можетъ же по совѣсти считать и самъ всю эту чудесную фантасмагорію мыслящихъ и говорящихъ птицъ, звѣрей, деревьевъ за нѣчто серіозное и дѣйствительное; вы чувствуете, что онъ мѣтитъ на что-то иное и приведетъ васъ непремѣнно къ результату съ другимъ смысломъ и значеніемъ. Однакоже и безъ этого, какъ хороши сами по себѣ эти миніатюрныя, полныя жизни и выразительности изображенія! Какъ отъ нихъ вѣетъ свѣжестію той первобытной силы, какая оживотворяетъ все сотворенное! И какъ въ то же время искусно всѣ эти звѣри, звѣрки, птицы, даже цвѣты и деревья разыгрываютъ роль человѣка! Точно какъ будто бы имъ ничего другого и не приходилось дѣлать, какъ разыгрывать эту роль. Правда, они не всегда отличаются добрыми нравами и большею частію упражняются въ плутовствѣ и обманахъ, но это уже они дѣлаютъ сами отъ себя, не сносясь съ человѣческими обычаями. Такова ихъ собственная натура. Вѣдь авторъ это и хочетъ выразить, не вдаваясь пока ни въ какіе выводы. Смотрите,

съ какимъ невинно-лицемѣрнымъ видомъ эта благоприличная, граціозная плутовка-лисица оправдывается передъ крестьяниномъ, когда тотъ упрекаетъ ее въ страсти красть куръ и представляетъ ей всѣ невыгоды ея хищнической жизни:

Меня такъ все въ ней столько огорчаетъ,
Что даже мнѣ и пища не вкусна.
Когда бъ ты зналъ, какъ я въ душѣ честна!
Да что же дѣлать? нужда, дѣти;
Притомъ же иногда, голубчикъ-кумъ,
И то приходитъ въ умъ,
Что я ли воровствомъ одна живу на свѣтѣ?
Хоть этотъ промыселъ мнѣ точно острый ножъ.

Или та же лисица, съ пушкомъ на рыльцѣ, отвѣчаетъ сурку, на его вопросъ, куда она бѣжитъ такъ безъ оглядки:

Охъ, мой голубчикъ-куманекъ!
Терплю напраслину и выгнана за взятки.
Ты знаешь, я была въ курятникѣ судьей.
Утратила въ дѣлахъ здоровье и покой,
Въ трудахъ куска не поѣдала,
Ночей не досыпала:
И я жъ за то подъ гнѣвъ подпала.
А все по клеветамъ. Ну, самъ подумай ты:
Кто жъ будетъ въ мірѣ правъ, коль слушать клевету?
Мнѣ взятки брать? да развѣ я взбѣшуся?

Волкъ, преслѣдуемый всѣмъ міромъ за его хищничество, задумалъ удалиться въ страну, гдѣ, по его мнѣнію, ему не будетъ такъ худо — въ Аркадію и, прощаясь съ кукушкою, жалуется на оказываемыя ему несправедливости:

Напрасно я себя покоемъ здѣсь манилъ!
Всѣ тѣ жъ у васъ и люди и собаки!
Одинъ другого злѣй, и ты хоть ангелъ будь,
Такъ не минуешь съ ними драки.

Потомъ въ идиллическомъ восторгѣ онъ описываетъ благодатный край — будущее свое убѣжище:

Сосѣдка! точно сторона!
Тамъ, говорятъ, не знаютъ, что война;
Какъ агнцы кротки человѣки,
И молокомъ текутъ тамъ рѣки.
Ну, словомъ, царствуютъ златыя времена!
Какъ братья, всѣ другъ съ другомъ поступаютъ,
И даже, говорятъ, собаки тамъ не лаютъ,
Не только не кусаютъ.

Кукушка ему дѣлаетъ ироническій вопросъ:

А свой ты нравъ и зубы
Здѣсь кинешь, иль возьмешь съ собой?

И на отрицательный отвѣтъ его замѣчаетъ:

Такъ вспомни же меня, что быть тебѣ безъ шубы.

Не могу удержаться, чтобъ не привести еще прелестной поэтической картины изъ басни, гдѣ разсказывается, какъ кроткій, тихій ручеекъ, сдѣлавшійся отъ дождя большимъ потокомъ, не вынесъ своего величія, загордился и забушевалъ. Пастухъ потерялъ ягненка, который утонулъ въ рѣкѣ. Свидѣтель этого печальнаго событія, ручей, вотъ какъ упрекаетъ виновницу его горя:

Рѣка несытая! что если бъ дно твое
Такъ было, какъ мое
Для всѣхъ и ясно и открыто,
И всякій видѣлъ бы на тинистомъ семъ днѣ
Всѣ жертвы, кои ты столь алчно поглотила
Я чай, бы со стыда ты землю сквозь прорыла
И въ темныхъ пропастяхъ себя сокрыла.
Мнѣ кажется, когда бы мнѣ
Дала судьба обильныя столь воды,
Я, украшеньемъ ставъ природы,
Не сдѣлалъ курицѣ бы зла.
Какъ осторожно бы вода моя текла
И мимо хижины и каждаго кусточка!
Благословляли бы меня лишь берега,
И я бы освѣжалъ долины и луга,
Но съ нихъ бы не унесъ листочка.
Ну, словомъ, дѣлая путемъ моимъ добро,
Не приключа нигдѣ ни бѣдъ ни горя,
Вода моя до самаго бы моря
Такъ докатилася чиста, какъ серебро.

Но вотъ:

Туча ливнемъ надъ ближнею горой
Разсѣлась;
Богатеньемъ водъ ручей сравнялся вдругъ съ рѣкой;
Но ахъ! Куда въ ручьѣ смиренность дѣлась?
Ручей изъ береговъ бьетъ мутною волной,
Кипитъ, реветъ, крутитъ нечисту пѣну въ клубы,
Столѣтніе валятся дубы,
Лишь трески слышны вдалекѣ;
И самый тотъ пастухъ, за коего рѣкѣ

Пенялъ недавно онъ такимъ кудрявымъ складомъ,
Погибъ со всѣмъ своимъ въ немъ стадомъ,
А хижины его пропали и слѣды.

Но говоря о богатствѣ, разнообразіи и живости образовъ въ поэмахъ нашего неподражаемаго баснописца, о его творческой силѣ, я еще ничего не сказалъ о томъ, въ какой степени является въ этихъ поэмахъ организующій, распорядительный, вполнѣ художественный геній. Строгая соразмѣрность въ частяхъ каждой поэмы — вотъ что прежде всего представится вамъ, когда вникните въ составъ ея. Характеры, дѣйствія, описанія — все здѣсь опредѣляется значеніемъ основной идеи, и каждый изъ этихъ элементовъ участвуетъ въ общемъ развитіи цѣлаго, не болѣе какъ сколько нужно. Здѣсь нѣтъ ничего случайнаго, такъ же какъ и ничего съ усиліемъ придуманнаго. Крыловъ въ высшей степени одаренъ былъ тѣмъ, что можно назвать силою художественнаго самообладанія — качествомъ чрезвычайно рѣдкимъ, но и весьма важнымъ, особенно въ писателѣ; при легкости орудія, которое ему дано, — слова, качество это служитъ ручательствомъ, что онъ ничего не скажетъ, о чемъ впослѣдствіи будетъ сожалѣть самъ или его читатели. Крыловъ могъ дать отчетъ передъ обществомъ, передъ разумомъ и критикой въ каждомъ образѣ имъ созданномъ, въ каждой мысли, въ каждомъ словѣ. Это родъ доблести эстетической, такъ какъ самообладаніе нравственное составляетъ доблесть воли. Какъ послѣдняя принадлежитъ характерамъ великимъ, такъ первая писателямъ, образцы коихъ особенно завѣщала намъ классическая древность. Обращаясь къ другимъ отличіямъ въ общемъ характерѣ поэмъ Крылова, я уже не говорю объ объективности его изображеній: она составляетъ необходимую принадлежность всякаго истинно художественнаго творчества. Гдѣ нѣтъ ея, тамъ могутъ быть идеи, покушенія реализировать ихъ, можетъ быть какъ бы призывъ къ дѣлу, но самое дѣло оказывается не состоявшимся. Объективность и есть настоящее созданіе; что не объективно, то или нѣтъ, исчезаетъ безразлично въ безконечномъ круговоротѣ представленій. Чувство отражается въ предметѣ, его возбудившемъ, и потому самая лирика имѣетъ свою объективность, безъ чего она превращается въ одни неопредѣленные, хотя гармоническіе звуки: здѣсь она лучше сдѣлаетъ, если

уступить права свои музыкѣ. Та же гармонія и та же мудрая сдержанность, которую мы сейчасъ видѣли у Крылова въ развитіи цѣлаго, простираются и на каждую частность въ его поэмахъ въ особенности. И здѣсь у него нѣтъ изображенія, которое бы не было довершено вполнѣ, такъ какъ это нужно для цѣли и идеи автора, которое бы нуждалось въ поясненіи, изъ котораго бы можно было сдѣлать малѣйшее исключеніе, не уничтожая всей прелести сказаннаго. Все необходимое тутъ прекрасно, и все прекрасное необходимо. Замѣтить, чтобы онъ чего-нибудь не договорилъ или сказалъ что-нибудь лишнее, невпопадъ, что-нибудь ослабилъ или усилилъ вопреки своей задачѣ и потребности, есть чистая невозможность. Его можно было бы развѣ упрекнуть въ одномъ — въ тѣхъ прибавленіяхъ, которыми онъ, по обычаю баснописцевъ, выражаетъ такъ называемую мораль басни. Мораль эта, если можно дать ей это имя, такъ ясно просвѣчиваетъ въ каждомъ изъ его иносказаній, что всякое изъясненіе оказывается излишнимъ. Притомъ и самый смыслъ каждой изъ басенъ гораздо глубже захватываетъ область мыслей и сердца, гораздо обширнѣе того, что можно выразить въ краткой сентенціи. Но мы скажемъ его же словами:

Ужъ коль терпѣть, такъ лучше отъ богатства.

Всѣ эти добавленія до того остроумны, исполнены такихъ глубокихъ истинъ и такъ прекрасно изложены, что, отдѣливъ ихъ, изъ нихъ однихъ можно составить антологію, которая бы послужила украшеніемъ любой литературы.

Удивительная способность собирать себя, сосредоточиваться въ одной мысли или намѣреніи, при необыкновенной раздѣльности и ясности понятій, давала автору возможность группировать и выражать всѣ частности въ самыхъ сжатыхъ и немногихъ чертахъ, а тонкое знаніе языка во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ и формаціяхъ, отъ высшей до самой низшей, надѣляло его способами придавать этимъ чертамъ такую точность и пластическую видимость, какъ будто онѣ были вырѣзаны на мѣди. Часто одного краткаго оборота рѣчи было для него достаточно, чтобъ нарисовать картину, одного слова, или, такъ сказать, удара его кисти, чтобъ картинѣ этой придать извѣстный оттѣнокъ, колоритъ. А какъ онъ думалъ и выражался по думамъ и сердцу своего народа,

то не удивительно, что многіе изъ оборотовъ его рѣчи превращались скоро въ народныя пословицы и поговорки. Кому не извѣстно, кто иногда не прилагалъ къ лицамъ и событіямъ такихъ выраженій, какъ, напримѣръ: *у него пушокъ на рыльцѣ;* или *а ларчикъ просто открывался;* *да чтобъ гусей не раздразнить;* *а жаль, что незнакомъ ты съ нашимъ пѣтухомъ;* *въ комъ нужда, ужъ того мы [illegible], какъ [illegible] услужливый дуракъ опаснѣе врага;* *слона-то я и не примѣтилъ;* *а Васька слушаетъ да ѣстъ;* *еще тарелочку;* *а только кинь имъ кость, такъ что̀ твои собаки.*

При такой строгой экономіи въ употребленіи мыслей и языка, при такой бдительной управѣ надъ ними и контролированіи самого себя, какими отличался Крыловъ, надобно было бояться нѣкотораго охлажденія въ самыхъ процессахъ его живописанія, нѣкоторой искусственности въ манерѣ и принужденности; но вы знаете, что ничего подобнаго и тѣни нѣтъ въ басняхъ Крылова. Напротивъ, его постоянно сопровождаютъ обычныя его спокойное одушевленіе, веселость и простота. Во всемъ ходѣ и развитіи каждой изъ его поэмъ вы не видите также ни малѣйшихъ признаковъ какого-нибудь техническаго затрудненія, никакой пріостановки, спайки между частями и т. п. Изложеніе течетъ, движется до того свободно и легко, переходы отъ одного момента или оттѣнка къ другому такъ естественны, что вамъ кажется, будто авторъ всю эту систему событій, лицъ, положеній произвелъ однимъ пріемомъ, однимъ непрерывавшимся актомъ своей творческой мысли. *Никитенко.*

Естественность и простота, картинность и музыкальность басенъ Крылова.

Всѣмъ извѣстно, что басни Крылова отличаются такою естественностію и простотою содержанія и формы, что невольно чувствуешь себя увлеченнымъ силою поэтической фантазіи въ этотъ своеобразный міръ животныхъ и насѣкомыхъ, присутствуешь при совершающихся въ этомъ мірѣ событіяхъ, которыя, безъ нашего вѣдома, начинаютъ казаться столь же важными, какъ и самому автору, начинаешь серьезно смотрѣть на эти событія и принимать столь же

теплое и живое участіе въ герояхъ этихъ событій. При чтеніи лучшихъ басенъ Крылова и въ голову не приходитъ аллегорія, и нужно сдѣлать нѣкоторое усиліе надъ собою, чтобы освободиться отъ очарованія, произведеннаго фантазіей поэта. Слушая разговоръ двухъ курицъ, собакъ, стрекозы и муравья, повара съ котомъ и т. д. вы замѣчаете, что авторъ серіозно входитъ въ ихъ положеніе, интересы и отношенія разговаривающихъ. Въ этомъ заключается лучшее достоинство басенъ Крылова, сближающее и роднящее ихъ съ ихъ исконнымъ источникомъ того времени, когда не могло быть и рѣчи объ аллегоріи и правоученіи. Этого достоинства вы не встрѣтите у Дмитріева, и только въ слабой степени у Хемницера и Измайлова; оно зависитъ столько же отъ силы дарованія, сколько и отъ его сущности, его спеціальной организаціи. Эта простота и эта естественность разсказа распространяются на всѣ условія, въ которыхъ въ данную минуту совершается разсказъ. Такая точность и естественность передачи всѣхъ условій разсказа, внѣшнихъ и внутреннихъ, сообщаетъ баснѣ необыкновенную картинность и музыкальность, доходящую до звукоподражанія. Нужно ли изобразить зиму — Крыловъ въ трехъ стихахъ легкими, повидимому, небрежными штрихами геніальнаго художника рисуетъ ея картину:

По снѣгу хрупкому скрипятъ обозы.
Изъ трубъ столбами дымъ, въ оконницахъ стекло
Узорами заволокло. *(Мотъ и Ласточка.)*

Понадобилась для его разсказа буря — и она является въ шести стихахъ съ ея шумомъ и трескомъ, громомъ и молніею:

Борей послушался — летитъ, дохнулъ — и вскорѣ
Насушилось и почернѣло море;
Покрылись тучею тяжелой небеса:
Валы вздымаются и рушатся какъ горы;
Громъ оглушаетъ слухъ; слѣпитъ блескъ молніи взоры,
Борей реветъ и рветъ въ лоскутья паруса. *(Пловецъ и Парусъ.)*

Столь же художественно рисуетъ онъ картину бурнаго потока, ниспровергающаго и уносящаго съ собой все, встрѣчающееся ему на пути:

Ручей изъ береговъ бьетъ мутною водой,
Кипитъ, реветъ, крутитъ нечисту пѣну въ клубы,

Столѣтніе валяетъ дубы,
Лишь трески слышны вдалекѣ. *(Ручей.)*

Вотъ тащится въ гору по песку тяжелый рыдванъ — и на самой тяжести и медленности стиховъ, на тяжеловѣсности отдѣльныхъ словъ, не прибранныхъ, а явившихся безъ зова, потому что здѣсь могли быть только они, эти стихи и эти слова, вы чувствуете, такъ сказать, тяжесть колымаги, муку лошадей и палящій зной полуденнаго лѣтняго солнца:

Въ іюлѣ, въ самый зной, въ полуденную пору,
Сыпучими песками, въ гору,
Съ поклажей и съ семьей дворянъ
Четверкою рыдванъ
Тащился. *(Муха и дорожные.)*

И тутъ же передъ вами столь же художественный образъ мухи въ стихахъ легкихъ, летучихъ и суетливыхъ какъ муха: она жужжитъ во всю мушину мочь:

Вокругъ повозки суетится;
То надъ носомъ юлитъ у коренной,
То лобъ укуситъ пристяжной,
То вмѣсто кучера на козлы вдругъ садится,
Или оставя лошадей,
И вдоль и поперекъ шныряетъ межъ людей.

А вотъ легкій и граціозный образъ мухи въ другомъ положеніи:

Въ саду, весной, при легкомъ вѣтеркѣ,
На тонкомъ стебелькѣ
Качалась муха, сидя.

Или образъ лягушки, которая завела домокъ „подъ кустикомъ, въ тѣни, межъ травки, какъ раекъ". А эти неподражаемые стихи, рисующіе старика-крестьянина съ тяжкой ношей дровъ, — стихи, тяжелые и медленные, переносящіе въ душу то физическое и нравственное изнуреніе, которое чувствовалъ бѣдный старикъ:

Набравъ валежнику порой холодной зимней,
Старикъ, изсохшій весь отъ нужды и трудовъ,
Тащился медленно къ своей лачужкѣ дымной,
Кряхтя и охая подъ тяжкой ношей дровъ.
Несъ, несъ онъ ихъ и утомился,
Остановился,
На землю съ плечъ спустилъ дрова долой,
Присѣлъ на нихъ, вздохнулъ и думалъ самъ съ собой.

Чтобы нарисовать истинно-поэтическую картину, для Крылова часто довольно стиха, много двух, и по нимъ вы тотчасъ узнаете его. Вотъ передъ вами медвѣдь „увѣсистый булыжникъ въ лапы сгребъ, присѣлъ на корточки, не переводитъ духу“; или левъ, „когти разминая и озираючи товарищей кругомъ, дѣлежъ располагаетъ“; или ястребъ, спускающійся на бѣднаго голубя, „ужъ холодомъ въ него съ широкихъ крыльевъ пышетъ“; или мужикъ, который „отнесъ полчерепа медвѣдю топоромъ“... И развѣ можно перечислить здѣсь всѣ художественныя описанія, всѣ художественныя картины въ басняхъ Крылова?

Языкъ и стихи въ нихъ, какъ видно и изъ нашихъ примѣровъ, находятся всегда въ полномъ подчиненіи мысли и фантазіи, какъ самыя послушныя ихъ орудія. Высшаго совершенства языкъ достигаетъ тогда, когда присутствіе его совсѣмъ незамѣтно, когда даже достоинства его не обращаютъ на себя вниманія, когда мысль, чувство и образъ воспринимаются непосредственно, въ ихъ чистомъ, духовномъ состояніи, когда самые предметы внѣшней природы являются также непосредственно, со всѣми ихъ качествами и состояніями въ минуту ихъ воспріятія поэтомъ. Языкъ въ басняхъ Крылова именно достигаетъ этого совершенства. Никто съ такою художественностію не опредѣлилъ достоинства этого языка, какъ Гоголь. „Ни одинъ изъ поэтовъ, – говоритъ онъ. — не умѣлъ сдѣлать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всѣмъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плѣнительной, грозной и даже грязной, до передачи малѣйшихъ оттѣнковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мѣтко, такъ замѣчено вѣрно и такъ усвоено крѣпко, что даже опредѣлить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предметъ, какъ бы не имѣя словесной оболочки, выступаетъ самъ собой, натурою, передъ глаза. Стиха его даже не схватишь. Никакъ не опредѣлишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, гдѣ предметъ у него звучитъ; движется, гдѣ предметъ движется; крѣпчаетъ, гдѣ крѣпнетъ мысль, и становится вдругъ легкимъ, гдѣ уступаетъ легковѣсной болтовнѣ дурака. Его рѣчь покорна и послушна мысли и летаетъ

какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ шестистопномъ ямбѣ, то быстромъ одностопномъ; разсчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ онъ ощутительно самую невыразимую ея духовность. *Лавровскій.*

Языкъ басенъ Крылова.

Крыловъ былъ почитаемъ современниками, какъ одинъ изъ лучшихъ писателей; не менѣе чтится онъ дѣтьми и внуками ихъ. И это не то холодное почтеніе, которое остается за уважаемыми писателями и тогда, когда ихъ произведеній не читаетъ уже никто, кромѣ развѣ тѣхъ любознательныхъ людей, которымъ они нужны, какъ памятники времени: уваженіе къ Крылову есть любовь къ нему, какъ къ человѣку, дѣйствующему на душу своею доброю душою, вызывающему простосердечное настроеніе своимъ собственнымъ простосердечіемъ, вызывающему насъ на лучшее, оставляющему въ насъ нравственное спокойствіе. За шестьдесятъ лѣтъ передъ этимъ стали читать и учить его басни; поколѣнія смѣнялись одни другими: для каждаго новаго Крыловъ становился тѣмъ же другомъ, и въ каждомъ прежнемъ, старѣвшемъ, съ лѣтами крѣпла любовь къ нему, какъ къ другу. Уваженіе къ Крылову никогда не уменьшало уваженія къ другимъ писателямъ; но и само не только не уменьшалось отъ этого, а возрастало. Произведенія другихъ писателей нерѣдко перечитывали и выучивали по наказу; къ баснямъ Крылова никогда никого не надобно было приневоливать: онъ былъ и остается каждому нуженъ.

Такое значеніе Крылова зависитъ, кромѣ многаго другого, и отъ языка его. Его басни останутся прекрасными и въ хорошемъ переводѣ на другой языкъ, но ни въ какомъ переводѣ не будутъ такими, какъ въ русскомъ подлинникѣ — въ томъ видѣ, въ какомъ далъ онъ ихъ намъ.

Какъ своей собственною, свободною и самобытною силою Крыловъ владѣлъ роднымъ языкомъ; тѣмъ сильнѣе дѣйствовалъ имъ на другихъ, чѣмъ более вдумывался, чѣмъ более готовъ былъ выразить свою думу и чувство искренно. Отсюда сочувствіе къ нему, ничѣмъ не умаляемое, сочувствіе

всѣхъ возрастовъ, нерѣдко сильнѣйшее по мѣрѣ развитія въ человѣкѣ чутья языка, имъ самимъ въ немъ сѣемаго.

Можно отдѣлить, чѣмъ именно дѣйствовалъ и дѣйствуетъ Крыловъ на своихъ читателей, давая свободу выразительности языка. Можно отдѣлить въ его языкѣ *слова*, какъ вѣрныя изображенія его понятій и образовъ: и прекрасенъ, и разнообразенъ, и богатъ его подборъ словъ, — такъ богатъ, что изъ однѣхъ басенъ Крылова можно выбрать довольно большой словарь русскаго языка, не полный болѣе всего въ предметномъ отношеніи, такъ какъ Крылову не случилось говорить о многихъ предметахъ. Можно отдѣлить въ его языкѣ множество *оборотовъ*, особенныхъ способовъ сочетанія словъ и при этомъ разныхъ видоизмѣненій словъ: въ этомъ отношеніи языкъ Крылова если не богаче, то и не бѣднѣе чѣмъ словами. Можно отдѣлить въ немъ огромное число *выраженій*, тѣхъ связей словъ, которыя для ума нераздѣлимы такъ же, какъ и слоги одного слова: многія изъ нихъ — старое достояніе народа, вытравленное изъ нѣкоторыхъ его слоевъ чужеязычіемъ и чужеобычіемъ; многія возникли изъ души Крылова и дороги своею выразительностью не меньше тѣхъ. Можно отдѣлить въ языкѣ Крылова множество *пословицъ* и *поговорокъ*, и взятыхъ имъ у народа и данныхъ имъ народу, ничѣмъ одна отъ другихъ не отличныхъ, если не не знать, что та или другая изъ нихъ была въ ходу и до Крылова, а та или другая пошла въ ходъ только послѣ Крылова. За всѣмъ этимъ легко отдѣляемымъ остается то, что не выдѣляется никакимъ химическимъ разложеніемъ: связность частей въ одно цѣлое, жизненная сила живого, безъ чего не былъ бы Крыловъ Крыловымъ, безъ чего не замѣнятъ его басенъ никакіе сборники словъ, оборотовъ и выраженій, поговорокъ и пословицъ, вошедшихъ въ его басни, какія обольстительныя формы ни придать имъ. Тѣмъ-то и великъ Крыловъ въ выразительности языка, что для него богатства русской рѣчи не были чужимъ добромъ, такъ или иначе подобраннымъ, а достояніемъ его души.

Сравнивая Крылова съ другими писателями его времени надобно признать, что и онъ иногда подчинялся всѣми принятымъ образцамъ не только въ выборѣ предметовъ, въ расположеніи и въ изложеніи произведеній, но и въ языкѣ и слогѣ, въ поминаніи приличій относительно выбора словъ

и выраженіи и относительно такъ называемой поэтической вольности; но это своевольничанье, заразившее многихъ изъ нашихъ даровитыхъ писателей, было для него не жизненнымъ недугомъ, а временною болѣзнью. Въ большей части басень его вмѣстѣ съ силою соблюдена и чистота языка до мелочей: нѣтъ ни славянскаго выговора словъ, ни неправильныхъ ударений для стиха или для рифмы, ни одночленныхъ прилагательныхъ вмѣсто двучленныхъ, ни неестественнаго расположенія словъ. Менѣе всѣхъ своихъ современниковъ онъ пользовался обычаемъ нарушать чистоту языка, когда оставался самъ собою, когда давалъ себѣ право говорить отъ души, какъ чувствовалъ.

Чутье языка остается для большинства безотчетнымъ. Не отдавая никому отчета въ мелочахъ, оно, повидимому, и не отличаетъ того, что придаетъ выраженіямъ силу, отъ того, что ее ослабляетъ; но при всей своей безотчетности оно не столько снисходительно, какъ можетъ казаться. Не отвергая ничего по мелочамъ, оно караетъ писателей холодностью тѣмъ болѣе, чѣмъ само живѣе и чѣмъ болѣе бываетъ оскорбляемо нарушеніями чистоты и недостаткомъ живой силы языка. Оно покарало холодностью многихъ писателей, достойныхъ лучшей участи, — писателей, для которыхъ русскій языкъ былъ болѣе механическимъ орудіемъ, чѣмъ живою силою, не отдѣлимою отъ мысли и чувства. Не то было съ Крыловымъ. По дарованіямъ, онъ былъ не сильнѣе нѣкоторыхъ изъ писателей забытыхъ, и не только не забытъ, но остается такимъ же живымъ возбудителемъ мысли и чувства, какимъ былъ въ свое время: границы его власти, кажется, даже раздвинулись, и не сдвинутся надолго. Такъ пѣсни пѣвца народнаго вѣрно сбереженныя памятью народа, остаются неизмѣнно свѣжими цвѣтами поэзіи, какъ бы ни были онѣ стары по времени ихъ сложенія. Рядомъ съ этими живыми цвѣтами поэзіи ставятся нерѣдко поддѣльные цвѣты подражаній, и нравятся, нравятся даже болѣе, гораздо болѣе, — на время пока не устарѣли прихоти, силою которыхъ была за ними признаваема поэтичность, — и потомъ дѣлаются они и смѣшны и жалки своею поддѣльностью.

Нельзя отвергать, что Крыловъ заботился о выразительности языка, искалъ въ умѣ выраженій, совпадающихъ вполнѣ съ его мыслію и потому перемѣнялъ ихъ, поправ-

влять себя; но нельзя также отвергать и того, что онъ и въ первыхъ своихъ басняхъ выказалъ ту же свободную силу языка, какъ и въ другихъ, написанныхъ позже и гораздо позже, что не былъ онъ подъ тяготѣніемъ силъ новаго литературнаго языка, а самъ былъ одною изъ этихъ силъ, — силою могучею, хотя и незамѣчаемою. И задолго до того, какъ сталъ онъ писать басни и только басни, владѣлъ онъ выразительностью и плавностью языка всегда, когда хотѣлъ, и могъ оставаться самимъ собою, не надѣвая на себя маски условныхъ приличій и не давая воли пользоваться тѣми отступленіями отъ чистоты языка, которыя были допускаемы навыкомъ и примѣромъ образцовыхъ писателей. Въ этомъ отношеніи литературные труды могутъ наводить внимательнаго наблюдателя на замѣчанія, достойныя соображеній.

Крыловъ оставался дѣятелемъ въ литературѣ русской въ продолженіе слишкомъ пятидесяти лѣтъ: писалъ въ годы славы Державина и Хераскова, продолжалъ при Карамзинѣ, при Жуковскомъ, при ученикѣ своемъ Грибоѣдовѣ, кончилъ вмѣстѣ со своими учениками, Пушкинымъ и Марлинскимъ, при Сенковскомъ, Лермонтовѣ, Гоголѣ и ихъ современникахъ. Кто не знаетъ, что пережила въ продолженіе этихъ многихъ лѣтъ русская литература, а съ нею и русскій литературный языкъ; кто не скажетъ, говоря по совѣсти, что произведенія многихъ, многихъ писателей, когда-то и даже очень недавно знаменитыхъ, любимыхъ, трудно и непріятно читать — болѣе всего потому, что ихъ языкъ не нашъ языкъ?

Мнѣ кажется, что въ то время, когда началъ и продолжалъ писать Крыловъ, Державинъ царилъ въ нашей литературѣ, почти затмевая всѣхъ другихъ писателей или, по крайней мѣрѣ, всѣхъ ихъ увлекая за собою. И Державинъ, сколько ни давалъ онъ себѣ свободы выражаться, какъ пришлось, хоть бы и противъ основныхъ законовъ языка, нерѣдко выражался чисто по-русски, о чемъ бы ни заговорилъ. И Муравьеву, Богдановичу, Майкову, Петрову, даже Хераскову, Кострову, Княжнину удавалось то же. Съ другой стороны и Карамзину, Дмитріеву, Нелединскому и другимъ, еще болѣе позднимъ, часто не удавалось выражаться такъ хорошо по-русски, какъ удавалось Державину и другимъ писателямъ прежняго времени. Удавалось уже вполнѣ тѣмъ комикамъ и сатирикамъ, которые писали не отъ своего лица,

а выводили разныя лица простого быта и смѣшили или забавляли ихъ рѣчью своихъ читателей или слушателей; но удачи этихъ писателей, кажется, надобно брать въ разсчетъ не при разборѣ состоянія литературнаго языка, а при оцѣнкѣ ихъ литературныхъ понятій: они могли умѣть и точно умѣли вѣрно изображать лица разныхъ слоевъ народа съ особенностями ихъ рѣчи, и въ то же время могли не умѣть и точно не умѣли говорить хорошо отъ себя. И имъ, какъ всѣмъ другимъ, удавалось это случайно. Всѣ удачи и неудачи зависѣли отъ однѣхъ и тѣхъ же причинъ, и это бы продолжалось безвыходно, если бы не проникла въ нашу литературу новая струя.

Чувство народности стало все болѣе оживляться въ людяхъ образованнаго общества въ то время, когда это же общество заражалось все болѣе безграничнымъ пристрастіемъ къ чужому, западно-европейскому. Чувство народности сливалось съ любовію къ отечеству, съ силою, которая связывала въ союзъ взаимнаго уваженія людей русскихъ родомъ или домомъ и долгомъ совѣсти, но не нравомъ и обычаемъ, съ людьми русскими, которые не умѣли или не хотѣли быть иными, чѣмъ отъ роду были. Съ чувствомъ народности росло всегда и вездѣ сочувствіе къ народной пѣснѣ, сказкѣ и пословицѣ, сочувствіе къ выразительности простонародной рѣчи и живое чутье родного языка. Литература не могла остаться въ сторонѣ отъ этого движенія общества. Не легко было, однако, дать ему въ ней общее значеніе: закоренѣлыя привычки писателей прежнихъ поколѣній, легко переходившія и къ новымъ, молодымъ поколѣніямъ, искавшимъ себѣ образцовъ въ произведеніяхъ прошлаго времени, необходимость читать и перечитывать произведенія литературъ иноземныхъ, необходимость, которую оправдывали не однѣ привычки, но и чувство правды, влеченіе къ прекрасному, сравнительная бѣдность нашей литературы, необходимость переводами и передѣлками ихъ пополнять наше литературное состояніе, пополнять сколько можно болѣе вѣрно и дословно, удобство выражаться, не вдумываясь въ слова и выраженія, удобство права калѣчить языкъ въ основаніи условія такъ называемой поэтической вольности, права, придуманнаго въ вѣкъ реторическаго безправія, — все вмѣстѣ удерживало нашу литературу на старой дорогѣ. Робко, чуть замѣтною тропинкой, могли

пробираться подлѣ этой большой дороги попытки говорить отъ сердца чисто русскою рѣчью, не смѣша читателей, а вызывая въ нихъ тѣ же думы и чувства, какія, какъ всѣмъ казалось, полновластно были вызываемы искусственнымъ языкомъ большой дороги. Эти попытки, какъ ни были онѣ скромны, были замѣчаемы все болѣе и дѣйствовали на писателей, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько и живой языкъ тѣхъ образованныхъ людей, которые говорили по-русски не по книгамъ. Въ искусственномъ литературномъ языкѣ допущена въ пользу народности одна перемѣна, одна уступка, безъ сомнѣнія, очень важная, но все же только уступка: допущено, а потомъ признано и необходимымъ — подлаживать подъ строй народной логики расположеніе словъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ данъ входъ оборотамъ иноземнымъ, французскимъ. Выгнано было, кромѣ того, изъ языка нѣсколько словъ славянскихъ, но зато принято много словъ, занятыхъ въ подлинникѣ или въ переводѣ изъ того же французскаго языка. Не этого можно было желать тѣмъ, для которыхъ дорога была сила прямо русской рѣчи. Трудно было овладѣть этой силой въ такомъ положеніи дѣла: нужны были твердая рѣшимость и стойкость, дарованія, счастливое умѣнье, знанія. Пытались многіе, иные довольно счастливо, но не долго; несоскучившихся борьбою съ трудностями не остался почти никто.

Крыловъ остался. Съ 1806 года началъ онъ печатать свои басни. Съ пересказами басенъ Лафонтена почти сразу сталъ онъ давать и свои собственныя, — и какія: „Ларчикъ", „Музыканты", „Оракулъ", „Обезьяны" и т. д. Въ 1811 году было у него уже болѣе сорока басенъ и въ томъ числѣ наполовину его собственныхъ. Въ 1816 году — 115, и въ томъ числѣ собственныхъ болѣе 90. Изъ всѣхъ басенъ, написанныхъ Крыловымъ, а ихъ безъ одной 200, занятыхъ отъ другихъ баснописцевъ менѣе 40 И въ занятыхъ, впрочемъ, онъ столько же самобытенъ, какъ въ собственныхъ, — самобытенъ въ разсказѣ, въ подробностяхъ, въ выразительности рѣчи Это отмѣчено уже было Жуковскимъ при разборѣ перваго изданія 1809 года, хотя Жуковскій тогда еще и не понималъ значенія народной выразительности разсказа и языка. Нельзя сказать, что языкъ басенъ Крылова совершенно безъ ошибокъ противъ чистоты и правильности; но

эти ошибки исчезають въ несчетномъ множествѣ разнообразныхъ красотъ чистаго русскаго языка и въ силѣ задушевности, которою онъ проникнуть не менѣе, чѣмъ языкъ народныхъ пѣсенъ и пословицъ. Приводить ли доказательства? Но кто же не знаетъ наизусть басенъ Крылова? Однѣ изъ нихъ, правда, менѣе извѣстны, чѣмъ другія; но кто можетъ поручиться, что какая-нибудь менѣе всѣхъ другихъ извѣстная не памятна большинству? Позволяю себѣ привести всѣмъ памятную, примѣняемую не только къ простой житейской правдѣ и совѣсти, но и къ правдѣ и совѣсти въ языкѣ:

Дитяти маменька расчесывать головку
Купила частый гребешокъ.
Не выпускаетъ вонъ дитя изъ рукъ обновку.
Играетъ иль твердитъ изъ азбуки урокъ,
Свои все кудри золотые,
Волнистые, барашкомъ завитые
И мягкіе, какъ тонкій ленъ,
Любуясь гребешкомъ, расчесываетъ онъ.
И что за гребешокъ! Не только не теребитъ,
Нигдѣ онъ даже не зацѣпитъ,
Такъ плавенъ, гладокъ въ волосахъ.
Нѣтъ гребню и цѣны у мальчика въ глазахъ.
Случись, однакоже, что гребень затерялся.
Зарѣзвился мой мальчикъ, заигрался,
Всклокочилъ волосы копной,
Лишь няня къ волосамъ, дитя подыметъ вой:
„Гдѣ гребень мой?“
И гребень отыскался,
Да только въ головѣ ни взадъ онъ ни впередъ,
Лишь волосы до слезъ деретъ.
„Какой ты злой гребнишка!“
Кричитъ мальчишка.
А гребень говоритъ: „Мой другъ, все тотъ же я,
Да голова всклокочена твоя“.
Однакожъ, мальчикъ мой отъ злости и досады —
Закинулъ гребень свой въ рѣку...
Теперь имъ чешутся наяды.

Крылову болѣе, чѣмъ какому другому писателю, обязана русская литература тѣмъ, что въ языкѣ ея признана необходимость народности, признана не на какихъ-нибудь условныхъ сочетаніяхъ русскаго съ нерусскимъ, а безусловно, настолько же, насколько должна быть признаваема въ словесности народной. *Срезневскій.*

Отношеніе современниковъ къ Крылову.

Причины единодушія въ отзывахъ критиковъ о Крыловѣ заключаются, конечно, прежде всего въ томъ, что достоинства его басенъ: простота, художественность, народность и юморъ ихъ изложенія, мѣткость сатиры, типичность персонажей, доступность для всѣхъ слоевъ общества, наконецъ, благодаря всему сказанному, громадное педагогическое значеніе произведеній Крылова какъ для дѣтей, такъ и для взрослыхъ, — всѣ эти достоинства представлялись безспорными и несомнѣнными въ глазахъ людей самыхъ противоположныхъ литературныхъ лагерей: уже одна популярность басенъ Крылова въ читающей публикѣ, небывало-громадные размѣры ихъ распространенія путемъ печати достаточно краснорѣчиво говорили за себя и давали Крылову преимущество передъ всѣми другими русскими писателями право на званіе всенароднаго поэта. Но, помимо этой основной причины, были налицо и другія условія, въ силу которыхъ имя Крылова не возбуждало такой ожесточенной полемики, какая возгорѣлась при выходѣ на литературную арену Карамзина, Пушкина и особенно Гоголя: Крыловъ не являлся литературнымъ новаторомъ; онъ отмежевалъ въ свое исключительное обладаніе классическій родъ поэзіи, освященный авторитетами Эзопа, Федра, Лафонтена и Дмитріева, — родъ, удобный тѣмъ, что въ его сферѣ даже и старая піитика, уже отжившая свой вѣкъ, допускала наиболѣе *вольностей* и „низкій штиль“, приближающійся къ простонародному способу выраженія, и вольный стихъ, напоминающій обычную разговорную рѣчь. Эти условія дѣлали возможнымъ и самое внесеніе въ басню народнаго элемента, позволяли ей черпать содержаніе изъ дѣйствительной, обыденной жизни, выводить на сцену дѣйствительныхъ, простыхъ людей, хотя бы въ аллегорическомъ образѣ животныхъ. Басня, комедія, сатира подъ перомъ даровитыхъ писателей несравненно легче могли проникнуться реализмомъ, чѣмъ, напримѣръ, ода или трагедія, имѣвшія дѣло съ героями и полубогами, съ ихъ высокими чувствами и выспреннимъ изложеніемъ. Но басня была не только общепризнаннымъ, законнымъ видомъ поэзіи: ея общедоступность дѣлала ее одною изъ любимѣйшихъ литературныхъ формъ, а ея высокая правоописательная и право-

исправительная цѣль внушала собою уваженіе къ дѣятельности баснописца. Въ времена тяжелыя для литературы аллегорическій способъ выраженія, „эзоповскій языкъ“, давалъ возможность общественному мнѣнію, соединяя обличеніе и поученіе съ забавою, выражаться хоть въ половину, говорить „истину съ улыбкою“, при чемъ, конечно, неумѣренная улыбка могла иной разъ заслонять собою самую истину. Басня представлялась разновидностью сатиры забавной и незлобной, но тѣмъ не менѣе дѣйствительной, какъ мы видѣли изъ приведеннаго выше выраженія князя Вяземскаго о Крыловѣ, *исправителѣ* людей *забавою*. Такой взглядъ на характеръ басни выраженъ и Батюшковымъ (*Мои Пенаты*), прославляющимъ Дмитріева за то, что онъ „Парнасскими цвѣтами *скрылъ истину щитя*“, и самимъ Крыловымъ, поясняющимъ баснею общеизвѣстную истину („охотно мы даримъ, что намъ не надобно самимъ“) затѣмъ, „что истина сноснѣе *вполовнкрыта*“ (*Волкъ и Лисица*), и тѣмъ болѣе прибѣгающимъ къ формѣ басни для выраженія мысли, болѣе раздражающей, о томъ, что „у сильнаго всегда безсильный виноватъ“ (*Волкъ и Ягненокъ*). Наиболѣе полно и ясно эта теорія басни въ тогдашней литературѣ выражена Измайловымъ, также въ формѣ басни, поставленной во главѣ его произведеній этого рода и озаглавленной прямо. *Происхожденіе и польза басни.* Къ царю въ чертогъ является нагая истина, и на вопросъ разгнѣваннаго властелина, кто она такова и какъ смѣла войти въ такомъ видѣ, объясняетъ свое званіе и цѣль своего прихода — сказать лишь слова два: „Льстецы престолъ твой окружаютъ; народъ вельможи угнетаютъ; ты нарушаешь самъ нерѣдко свой законъ“. Царь гонитъ истину вонъ и велитъ стражамъ отвести ее въ смирительный или сумасшедшій домъ. Въ другой разъ истина приходитъ къ царю уже не нагая, въ блестящей, дорогой одеждѣ, взятой у *вымысла*, и, смягчивъ свой грубый тонъ, вступаетъ въ почтительный разговоръ.

Царь выслушалъ ее съ великимъ снисхожденьемъ:
Перемѣнился скоро дворъ;
Временщики упали:
Пришелъ на знатныхъ черный годъ;
Вельможи новые не спали;
Царь славу пріобрѣлъ, и счастливъ сталъ народъ.

Заключеніе этой остроумной басни особенно характерно, указывая на то преувеличенное значеніе иносказательныхъ обличеній, какое, по крайней мѣрѣ, на словахъ, склонны были люди той эпохи приписывать баснѣ и сатирѣ вообще: въ самомъ дѣлѣ, басни оказываются способными произвести полную перемѣну придворныхъ и административныхъ нравовъ, искоренить всѣ застарѣлые пороки, сдѣлать цѣлый народъ счастливымъ!

Такое высокое представленіе объ общественномъ значеніи басни въ соединеніи съ ея пріятнымъ, безобиднымъ характеромъ, пожалуй, не менѣе неоспоримаго достоинства самыхъ басенъ Крылова побуждало современниковъ смотрѣть на него съ особымъ уваженіемъ, чему, конечно, не мало также способствовали знаки благоволенія, неоднократно выражавшіеся по адресу баснописца изъ высшихъ сферъ. Правда, даже самыя могущественныя связи не избавляли иногда Крылова отъ цензурныхъ затрудненій, и ему приходилось порою сознавать, что „плохія пѣсни соловью въ когтяхъ у кошки", и высказывать эту мысль „на ушко" читателю, приходилось не пояснять далѣе своей мысли, „чтобъ гусей не раздразнить", *даже передѣлывать заключеніе* своей басни, какъ это случилось съ *Рыбьими плясками*, приключеніе, аналогичное съ гоголевскою *Повѣстью о капитанѣ Копейкинѣ*. Для напечатанія *Вельможи* понадобилось личное вмѣшательство самого императора Николая Павловича; намъ уже пришлось говорить о любопытной баснѣ Крылова (*Пестрыя Овцы*), которая вовсе не увидѣла свѣта при его жизни и, по всей вѣроятности, не случайно. Не всегда, значитъ, басни Крылова представлялись его современникамъ только поучительными и забавными, но вызывали иной разъ неудовольствіе своей мѣткою общественною сатирой: нагая истина просвѣчивала и сквозь одежду, заимствованную у вымысла. Бѣлинскій вѣрно подмѣтилъ, что Крыловъ умѣлъ придать баснѣ жгучій характеръ сатиры и памфлета; но не всѣ обладали проницательностью взора великаго критика: для массы читающаго люда, въ которой такъ часто попадались нечистые на руку Климычи, „украдкою кивающіе на Петра" при чтеніи о взяткахъ и не любящіе узнавать себя въ зеркалѣ сатиры, въ глазахъ этой массы Крыловъ всегда былъ „незлобивымъ поэтомъ", удѣлъ

котораго такъ блаженъ по извѣстному стихотворенію Некрасова, человѣкомъ умѣреннаго образа мыслей, уравновѣшеннымъ, благоразумнымъ и вполнѣ благонамѣреннымъ въ политическомъ и литературномъ смыслѣ. Въ сущности своей оцѣнки масса, какъ мы увидимъ, и не ошибалась: она только не въ состояніи была извлечь изъ произведеній Крылова того общественнаго вывода, какой изъ нихъ проистекалъ, и какого, можетъ-быть, не могъ бы формулировать и самъ баснописецъ. Спокойный, безстрастный, чисто народный юморъ басенъ Крылова не имѣлъ, повидимому, въ себѣ ничего задорнаго, не кусался и не бичевалъ слишкомъ явно, почему люди близорукіе и не могли особенно больно его ощущать, подобно тому, какъ тѣ же люди видѣли только одинъ забавный элементъ въ произведеніяхъ Гоголя, по крайней мѣрѣ, до появленія „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“. Безсмертная выходка Загорѣцкаго противъ басенъ въ самомъ принципѣ, если и является отраженіемъ взгляда нѣкоторой части современнаго ему общества, во всякомъ случаѣ даже и въ глазахъ реакціонеровъ 20-хъ годовъ должна была представляться доведеннымъ до карикатуры и по тому самому подозрительнымъ насчетъ искренности заявленіемъ ультра-благонамѣренности: если цензура и не упускала случая „налечь на басни“, несомнѣнно все-таки, что подъ покровомъ шутливой аллегоріи литература имѣла возможность касаться общественныхъ вопросовъ съ большею для себя безопасностью, чѣмъ въ формѣ открытой сатиры или серіозной публицистики. *Аммонъ.*

Личность Крылова.

О превосходствѣ басенъ Крылова было столько говорено, что едва ли остается что-либо прибавить къ высказаннымъ похваламъ. Но въ чемъ же дѣйствительная заслуга Крылова? Не будетъ ли справедливо, спросятъ иные, притти, наконецъ, къ заключенію что онъ выразилъ общеизвѣстныя истины, хотя и въ художественной формѣ, не сказалъ ничего новаго? Онъ не былъ, могутъ замѣтить, ни ученымъ,

ни даже образованнымъ или особенно-дѣятельнымъ или благоразумно мыслящимъ человѣкомъ. Онъ уже при жизни былъ достаточно вознагражденъ за незначительный трудъ сочиненія басенъ, и не пора ли, наконецъ, забыть увлеченіе, возбужденное въ его современникахъ замысловатыми апологами, которые были въ духѣ той эпохи, но потеряли цѣну для нашего серіознаго времени? Какъ ни странно такое сужденіе, но намъ случалось его слышать, а потому не излишне будетъ распространиться нѣсколько объ умственной и нравственной физіономіи Крылова и о значеніи его басенъ. Точно ли Крыловъ не былъ высокообразованнымъ человѣкомъ? Ученымъ онъ дѣйствительно не былъ, хотя, изучивъ греческій языкъ въ 50-лѣтнемъ возрастѣ, съ цѣлію удивить своего друга, переводчика „Иліады“ Гнѣдича, и показалъ, что, по своимъ способностямъ, могъ бы съ честію посвятить себя наукѣ, если бъ тому не помѣшали обстоятельства и особыя свойства его природы. Во время служенія своего при Публичной библіотекѣ Крыловъ задумалъ было составить библіографическій указатель ко всѣмъ русскимъ журналамъ, но, разумѣется, при непривычкѣ къ подобнымъ трудамъ, остановился въ самомъ началѣ этого предпріятія. Хотя художественное призваніе увлекало его къ дѣятельности другого рода, однакожъ онъ всегда питалъ глубокое уваженіе къ знанію и наукѣ. Еще въ *Почтѣ Духовъ* были цѣлыя письма, посвященныя защитѣ образованія; такова же цѣль и нѣсколькихъ басенъ его; разсказъ о животномъ, которое, напитавшись желудями подъ дубомъ, стало рыломъ подрывать корни его, оканчивается стихами:

Невѣжда такъ же въ ослѣпленьи
Бранитъ науки и ученье
И всѣ ученые труды
Не чувствуя, что онъ вкушаетъ ихъ плоды.

При всей своей видимой наклонности къ бездѣйствію, Крыловъ, въ художественномъ творчествѣ, не гнушался труда. Напрасно многіе думаютъ, что сочиненіе басенъ легко доставалось ему. Возможное совершенство во всякомъ произведеніи искусства рѣдко достигается безъ настойчивыхъ усилій. Такъ было и съ Крыловымъ. Теперь уже несомнѣнно, что онъ долго отдѣлывалъ свои басни, возвра-

щался къ нимъ неоднократно, и многія изъ нихъ совершенно передѣлывалъ по нѣскольку разъ. Природная лѣнь никогда не мѣшала ему сознавать превосходство дѣятельности. Въ образахъ „пруда и рѣки“ онъ наглядно представилъ разницу бездѣйствія и труда, объяснивъ свою мысль такимъ заключеніемъ:

Такъ дарованіе безъ пользы свѣту вянетъ,
Слабѣя всякій день,
Когда имъ овладѣетъ лѣнь,
И оживлять его дѣятельность не станетъ.

Крыловъ обладалъ глубокимъ умственнымъ и нравственнымъ образованіемъ, чему краснорѣчивымъ доказательствомъ служатъ всѣ его литературные труды, въ которыхъ въ самой юности своей онъ выражалъ неизмѣнно-здравыя убѣжденія о святости долга, о высокомъ значеніи гражданской честности, и глубокую ненависть ко всему, что унижаетъ достоинство человѣка, на какой бы общественной ступени онъ ни стоялъ. Всю жизнь онъ преслѣдовалъ корыстолюбіе, лицемѣріе, чванство, лесть, обманъ; всю жизнь онъ старался словомъ своимъ просвѣщать общество и наводить согражданъ на путь истины, долга и чести. Смолоду онъ, подобно Карамзину, отказался отъ всѣхъ приманокъ честолюбія, корысти и тщеславія; смолоду дорожилъ болѣе всего духовными благами и съ жаромъ устремился къ пріобрѣтенію знаній. 15-лѣтнему юношѣ, принужденному отказывать себѣ въ самыхъ невинныхъ удовольствіяхъ своего возраста, петербургскій книгопродавецъ Брейткопфъ предлагаетъ 60 руб. за первый драматическій трудъ его; но начинающій писатель предпочитаетъ получить, вмѣсто денегъ, нѣсколько томовъ знаменитыхъ французскихъ авторовъ, — черта, еще не довольно оцѣненная въ біографіи баснописца. Не получивъ никакого правильнаго образованія, молодой Крыловъ съ жадностію поглощаетъ книги и знакомится съ замѣчательнѣйшими явленіями европейской литературы. Объ этой ранней начитанности свидѣтельствуютъ всѣ его юношескія сочиненія: вотъ еще примѣръ того, что такъ часто поражаетъ насъ при изученіи нашихъ литературныхъ дѣятелей. Сумароковъ, Державинъ, Карамзинъ были въ большей или меньшей степени самоучками. Крыловъ — болѣе нежели кто-либо изъ нихъ. Въ томъ

возрастѣ, когда Ломоносовъ только что начиналъ учиться въ Спасскихъ школахъ, Крыловъ былъ уже писателемъ, обнаруживавшимъ замѣчательную умственную зрѣлость. Онъ имѣлъ предъ Ломоносовымъ и Карамзинымъ великое преимущество, — счастіе провести годы дѣтства подъ надзоромъ заботливой матери, и это преимущество было чрезвычайно плодотворно для его будущности. Почти сверстникъ Карамзина, онъ пошелъ совершенно другою дорогой и сдѣлался, какъ мы видѣли, его противникомъ; ихъ разномысліе еще болѣе поддерживалось различнымъ поприщемъ ихъ дѣятельности. одинъ былъ писатель московскій, другой — петербургскій, — особаго рода антагонизмъ, тогда въ первый разъ рѣзко обозначившійся въ нашей литературѣ. Любопытные факты представляетъ исторія нашей умственной дѣятельности. Новый періодъ ея начался въ Петербургѣ, въ трудахъ питомца европейской науки, академика Ломоносова. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ Москва становится поприщемъ молодого Карамзина, вносящаго въ русскую литературу западно-европейскіе элементы дальнѣйшаго развитія, а противникъ его, Крыловъ, предпочитающій разработку слова въ чисто народномъ духѣ, дѣйствуетъ въ Петербургѣ. Проведя свое дѣтство сперва на южномъ концѣ Россіи, на Уралѣ, а потомъ въ одной изъ приволжскихъ губерній, Крыловъ почерпнулъ первыя умственныя пріобрѣтенія свои почти изъ той же сокровищницы, какъ Ломоносовъ; народный бытъ и народный языкъ сдѣлались для обоихъ источниками драгоцѣнныхъ для будущей ихъ дѣятельности знаній и образовъ.

Въ послѣднемъ періодѣ своего поприща Державинъ, Крыловъ и Карамзинъ сошлись въ Петербургѣ. Между двумя первыми завязались дружескія отношенія; Крыловъ, въ молодости подражавшій Державину, теперь самъ сдѣлался образцомъ для престарѣлаго лирика, который въ свои басни видимо вносилъ нѣкоторыя черты крыловскаго аполога, отдавая полную справедливость уму и тонкости нашего народнаго баснописца. Говорятъ, что положеніе баснописца между шишковской „Бесѣдой“ и „Арзамасомъ“ было нѣсколько двусмысленно; къ сожалѣнію, мы не имѣемъ фактовъ для повѣрки этого преданія; но, судя по частнымъ чтеніямъ Крылова въ „Бесѣдѣ“, онъ примкнулъ къ ней довольно тѣсно Не забудемъ прежнихъ отношеній между нимъ и Карамзи

ными, которыя могли оставить нѣкоторый отстой въ душѣ обоихъ писателей. Нельзя, впрочемъ, думать, чтобъ Крыловъ искренно сочувствовалъ Шишкову и его школѣ; напротивъ, извѣстно, что онъ подшучивалъ надъ „Бесѣдой", и къ ней, по современному свидѣтельству, относится его басня *Квартетъ*, написанная по поводу приготовленій для пріема въ „Бесѣдѣ" государя. Педантизмъ, тупоуміе и спесь, во всѣхъ видахъ, были ненавистны нашему баснописцу. Во второй половинѣ жизни, умудренный опытомъ, осторожный, почти никогда не высказывавшійся искренно, онъ, по самому характеру своему, не могъ быть человѣкомъ партіи и вступилъ въ „Бесѣду" скорѣе по личнымъ, отчасти случайнымъ отношеніямъ своимъ, нежели по убѣжденію. Есть мнѣніе, набрасывающее тѣнь на личный характеръ Крылова: Вигель представляетъ его человѣкомъ холоднымъ, себялюбивымъ, равнодушнымъ ко всякому высшему интересу и угодливымъ изъ расчета. Но сужденія современниковъ о личности всякаго писателя, а тѣмъ болѣе о личности сатирика, требуютъ строгой критической повѣрки: въ настоящемъ случаѣ, надобно принять въ соображеніе, что Крыловъ своею сатирой, очень прозрачной часто и въ басняхъ его, своими остроумными и мѣткими выходками въ свѣтѣ, конечно, возбуждалъ противъ себя нерасположеніе многихъ и не могъ не имѣть враговъ, которые, безъ сомнѣнія, не упускали случая мстить даровитому обличителю пороковъ и странностей. Всѣмъ извѣстенъ пасквиль, въ которомъ баснописецъ знаменательно названъ *волкомъ*. Весьма вѣроятно, что и враждебный ему приговоръ желчнаго Вигеля былъ вызванъ какою нибудь насмѣшкой или горькою правдой, кольнувшей глаза бывшему зубриловскому ученику его. О томъ, что Крыловъ вооружалъ противъ себя бездарность и посредственность, можно судить по его отношеніямъ къ графу Хвостову. Сначала неутомимому стихотворцу очень польстило, что Крыловъ, поступивъ на службу въ Публичную библіотеку, просилъ его прислать свои сочиненія, которыхъ тамъ еще не было. Но потомъ, находя, что осторожный баснописецъ не довольно его хвалитъ и даже иногда тонко издѣвается надъ нимъ, онъ охладѣлъ къ Крылову и не упускалъ случая отплатить ему тою же монетой. Особенно колкую Хвостову одно критическое замѣчаніе остроумнаго поэта

Стихи перваго на отъѣздъ двухъ высокихъ лицъ начинались словами:

Изъ нѣдръ отечества надежда, честь Россіи...

Прочитавъ это, Крыловъ шутя замѣтилъ, что слѣдовательно по отъѣздѣ этихъ особъ Россія остается безъ чести и надежды. Обиженный авторъ написалъ и едва не напечаталъ предлинную антикритику на эту шутку. Въ другой разъ посредственный стихотворецъ Пожарскій принесъ къ Хвостову въ рукописи свой разборъ басенъ Крылова, состоявшій изъ однихъ придирчивыхъ замѣчаній на слова. Забавный отзывъ свой на эту критику самъ Хвостовъ увѣковѣчилъ въ своихъ рукописныхъ тетрадяхъ. „Сіе все справедливо, — отвѣчалъ онъ. — но молодого поэта (т.-е. Крылова), ежели онъ грамматикѣ не учился, не научишь. Лучше бы было, если бъ г. критикъ замѣтилъ, что вообще во всѣхъ басняхъ слогъ Крылова вялъ, растянутъ и гоняется за остротой: Крыловъ у своихъ предшественниковъ лавра не вырветъ“.

Возвращаясь къ обвиненіямъ, взводимымъ на характеръ баснописца, заключимъ замѣчаніемъ, что безъ положительныхъ фактовъ, мы не имѣемъ права обременять упреками частную жизнь писателя, который въ своихъ произведеніяхъ является краснорѣчивымъ проповѣдникомъ добра, чести и правды. Крыловъ еще въ молодости велъ небезопасную войну съ предразсудками и пороками. И если въ позднѣйшемъ возрастѣ онъ прикрылъ свои нападенія не такъ легко проницаемой оболочкой, то не надобно забывать, что къ этому могли побудить его печальные опыты прошлаго. Есть много обстоятельствъ, говорящихъ противъ обвиненія Крылова въ холодности и эгоизмѣ. Извѣстны его нѣжныя отношенія къ отсутствовавшему брату; у него есть басни, дышащія глубокимъ чувствомъ: въ описаніи дружбы двухъ голубей слышится трогательный голосъ сердца, подъ который подделаться невозможно; о томъ же свидѣтельствуютъ его отношенія къ дому Оленинымъ, которымъ онъ за ихъ доброе расположеніе къ нему платилъ горячею благодарностью.

Гротъ.

Изученіе басенъ Крылова въ связи съ исторіею его жизни поселяетъ въ изслѣдователѣ особенно отрадное чувство. Тутъ убѣждаешься, что онъ былъ такимъ же на дѣлѣ, каковъ былъ въ своихъ басняхъ. Выше было сказано, что онъ былъ вполнѣ счастливый человѣкъ. Но, чтобы быть счастливымъ человѣкомъ, чтобы внушать къ себѣ любовь и уваженіе, — „для того талантовъ мало“; нужно другого рода достоинства, — и онъ обладалъ ими въ полной мѣрѣ. Онъ своею жизнью доказалъ старинную истину, что довольство своимъ состояніемъ составляетъ первое условіе счастія. Занимая скромную должность библіотекаря, онъ умѣлъ быть довольнымъ ею и не мечталъ о высшемъ положеніи въ свѣтѣ, хотя имѣлъ на то полное право. Тщеславіе, гордость были ему чужды. Обласканный членами августѣйшаго семейства, онъ возвращался въ кругъ своихъ друзей тѣмъ же простымъ, добродушнымъ дѣдушкою Крыловымъ, какимъ они привыкли его видѣть. Восторженныя похвалы, которыми осыпали его со всѣхъ сторонъ въ продолженіе второй половины его жизни, не породили въ немъ самоувѣренности, свойственной только посредственнымъ натурамъ: въ послѣдніе годы своей блестящей дѣятельности, онъ былъ такъ же скроменъ и недовѣрчивъ къ своимъ силамъ, какъ и при ея началѣ. Когда покойный Плетневъ пріѣхалъ къ нему съ Карлсгофомъ приглашать его на юбилейный обѣдъ, онъ сравнилъ себя съ морякомъ, „съ которымъ потому только не случилось бѣды, что онъ не уходилъ далеко въ море“. Пользуясь всеобщимъ уваженіемъ, видя, какъ его соотечественники гордятся его геніемъ, онъ никогда никому не далъ почувствовать своего превосходства, никого не оскорбилъ высокомѣрнымъ словомъ или поступкомъ.

Справедливость требуетъ сказать, что и въ его сердце однажды закралось унижающее чувство, — когда Гнѣдичу за переводъ „Иліады“ былъ пожалованъ пожизненный пенсіонъ. Крыловъ, который уже давно пользовался такою монаршею милостію, позавидовалъ ему. Онъ даже прервалъ было съ нимъ сношенія. Но глубокое, чистосердечное раскаяніе не только возстановило ихъ прежнія дружескія отношенія, но и послужило Гнѣдичу новымъ доказательствомъ, какъ благородна была душа Крылова.

Въ отношеніяхъ своихъ къ брату, Крыловъ вполнѣ оправдалъ имъ же самимъ высказанную истину:

Кто добръ поистинѣ, не расположая слова,
Въ молчаньи тотъ добро творитъ.

Его младшій братъ, Левъ Андреевичъ (какъ видно изъ писемъ его, сохранившихся въ бумагахъ), началъ службу въ гвардіи, потомъ перешелъ въ армію, затѣмъ по болѣзни — въ гарнизонъ и окончилъ службу и жизнь инвалиднымъ капитаномъ въ Винницѣ, мечтая о счастливой минутѣ свиданія съ братомъ. Время и разстояніе не охладили привязанности, возникшей между братьями еще въ дѣтскіе годы. Ив. Андр. не только исполнялъ его малѣйшія просьбы, но даже предупреждалъ ихъ; онъ облегчалъ ему трудную жизнь, интересовался мельчайшими подробностями его быта; наконецъ, благодаря щедрому содѣйствію брата, Левъ Андреевичъ сдѣлался землевладѣльцемъ и относительно зажиточнымъ человѣкомъ: купилъ хуторъ, сталъ заниматься въ немъ хозяйствомъ и не зналъ нужды. Онъ умеръ въ 1824 г. Владѣльцемъ имѣнія брата долженъ былъ сдѣлаться Иванъ Андреевичъ; но онъ подарилъ это имѣніе денщику, который, по свидѣтельству брата, восемнадцать лѣтъ служилъ при немъ.

Всѣ эти факты при жизни баснописца никому не были извѣстны; но, къ счастію, несомнѣнныя ихъ свидѣтельства сохранились въ многочисленныхъ письмахъ Льва Андреевича На многихъ изъ нихъ рукою Ив. Андр. сдѣланы помѣтки, показывающія, какъ онъ, вообще небрежный и беззаботный, былъ аккуратенъ въ отношеніи къ брату и какъ спѣшилъ выполнять его просьбы и удовлетворять его нуждамъ.

Послѣдніе годы своей жизни онъ провелъ въ кругу семейства своей крестницы, которое усыновилъ и помѣстилъ на квартирѣ съ собою. Веселая болтовня дѣтей, рѣзвая, шумная ихъ жизнь веселили его. Не въ силахъ будучи попрежнему посѣщать общество, онъ нашелъ себѣ занятія въ обученіи своихъ нареченныхъ внуковъ грамотѣ, слѣдилъ за ихъ уроками музыки, любовь къ которой не охладѣла въ немъ съ лѣтами, и восхищался ихъ успѣхами

Кеневичъ.

Крыловъ не отвергалъ отъ себя общаго достоянія людей мыслящихъ знаній и счастливыхъ произведеній, обработанныхъ на другихъ языкахъ. По своимъ понятіямъ, сужденіямъ, по своей жизни, привычкамъ и прекрасно очищенному вкусу, по любви къ талантамъ и личнымъ успѣхамъ въ нѣкоторыхъ художествахъ (напр. въ рисованіи, музыкѣ), онъ былъ равенъ самымъ образованнымъ людямъ высокаго разряда. Еще болѣе скажу: природа надѣлила его способностію быстро и легко усвоивать другіе языки. Слѣдовательно, онъ подобно всѣмъ современникамъ, находился подъ тѣмъ вліяніемъ иноземнымъ, которому не безъ основанія мы приписываемъ частое отсутствіе въ насъ самобытности и народности. Между тѣмъ, онъ духомъ своимъ такъ былъ крѣпокъ и неодолимъ; умъ его такъ былъ строгъ и вмѣстѣ гибокъ, что на соображеніяхъ и исполненіяхъ его не осталось и слѣда подчиненности или увлеченія, ни пріема, заимствованнаго и отзывающагося смѣшеніемъ разнородныхъ движеній, а, напротивъ, каждое вызываемое имъ лицо и складъ его мыслей облекались самымъ разительнымъ образомъ въ русскую физіономію. Народность его произведеній заключается не въ одномъ прекрасномъ употребленіи чисто-русскаго языка, народныхъ поговорокъ, не въ одномъ вѣрномъ описаніи костюмовъ, быта русскаго, нравовъ, привычекъ, добрыхъ и дурныхъ нашихъ качествъ, — нѣтъ: въ его словѣ живо обрисованы полныя сцены нашей духовной жизни съ зародыша идеи, или съ перваго взгляда, молчаливо остановившагося на предметѣ, до конца умственной работы, или до послѣдняго явленія въ дѣйствіи. *Плетневъ.*

Родина Жуковскаго.

Село Мишенское, одно изъ многихъ помѣстій, принадлежавшихъ Аѳанасію Ивановичу Бунину, находится въ Тульской губерніи, въ 3-хъ верстахъ отъ уѣзднаго города Бѣлева. Благодаря живописнымъ окрестностямъ этого имѣнія и близости его къ городу, владѣлецъ избралъ его постояннымъ мѣстопребываніемъ для своего семейства и, по тогдашнимъ обычаямъ, обстроилъ и украсилъ его роскошно. Огромный домъ съ флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, паркомъ и садомъ, придавалъ особенную прелесть этой усадьбѣ; а обстановка — дубовая роща, ручеекъ въ долинѣ, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село съ церковью, настраивали чувства обывателей къ мирному наслажденію красотой природы. Растительность въ этой сторонѣ отличается чѣмъ-то могучимъ, сочнымъ свѣжимъ, чего недостаетъ южнымъ черноземнымъ полосамъ Россіи. Весна, разрѣшающая природу отъ суровой зимы, оживляетъ ее скоро и радуетъ сердце человѣка. Даже самая осень своими богатыми урожаями хлѣбовъ и плодовъ приноситъ такія удовольствія, которыя не могутъ быть испытываемы въ болѣе сѣверномъ, холодномъ климатѣ. Если же мы къ этому припомнимъ старинныя, до нѣкоторой степени патріархальныя, отношенія помѣщиковъ между собою и съ крестьянами, то понятно, что люди, проведшіе вмѣстѣ юность въ селѣ Мишенскомъ, могли еще въ глубокой старости восхищаться воспоминаніями о минувшемъ житьѣ-бытьѣ.

„Здѣсь все напоминаетъ Жуковскаго". — писала Анна Петровна Зонтагъ (внучка Аѳан. Иванов. Бунина) къ князю Вяземскому, — церковь, гдѣ мы вмѣстѣ молились, рощи и садъ, гдѣ мы гуляли вмѣстѣ, любимый его ключъ *Гремучій* и, наконецъ, холмъ, на которомъ было переведено первое его стихотвореніе: „Сельское кладбище", вышедшее въ свѣтъ. Этотъ холмъ сохранилъ названіе: *Греева элегія*.

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки, —
Что вашу прелесть замѣнитъ?

Сколько пѣсенъ Жуковскаго обязаны своимъ существованіемъ воспоминанію объ этомъ мѣстѣ въ пору молодости!

„Все, что на милой родинѣ, здравствуй!“ — пишетъ онъ изъ Дерпта къ Авдотьѣ Петровнѣ Елагиной: „я — было началъ стихи къ родинѣ; въ нихъ „ты“ есть, такъ сказать, Дуняша, и вотъ что ей говорится:

Тамъ небеса и воды ясны!
Тамъ пѣсни птичекъ сладкогласны!
О, родина, всѣ дни твои прекрасны!
Гдѣ бъ ни былъ я, но все съ тобой
Душой.
Ты помнишь ли, какъ подъ горою,
Осеребряемый росою,
Свѣтился лучъ вечернею порою,
И тишина слетала въ лѣсъ
Съ небесъ?
Ты помнишь ли нашъ прудъ спокойный
И тѣнь отъ ивъ въ часъ полдня знойный,
И надъ водой отъ стада гулъ нестройный,
И въ лонѣ водъ, какъ сквозь стекло,
Село?
Тамъ на зарѣ пичужка пѣла,
Даль озарялась и свѣтлѣла,
Туда, туда душа моя летѣла:
Казалось сердцу и очамъ
Все тамъ.

Поэтъ, даже не родной Бунинымъ, князь И. М. Долгорукій воспѣлъ Мишенскую долину въ своей одѣ, которую посвятилъ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ. Обращаясь къ этой долинѣ, Долгорукій оканчиваетъ восклицаніемъ:

Дай, сердце, имя ей: — блаженная долина!

Позже, конечно, Мишенское представляло другое зрѣлище. Деревня послѣ раздѣла между наслѣдниками А. И. Бунина, ничтожнымъ своимъ доходомъ не только не могла поддерживать тѣхъ строеній, оранжерей и прудовъ, но даже и могла

прокормить огромной дворни, при ней находившейся. Строеніе сгнило и развалилось; Анна Петровна жила совершенно одна, подъ скромною соломенною кровлей. Пруды, сорвавъ плотины, утекли, садки поросли камышомъ, ручеекъ наполнился тростникомъ, а въ паркѣ дорожекъ уже нѣтъ. Лишь источникъ, чьи кристально-прозрачныя струи пятнадцатилѣтній Жуковскій сравнивалъ съ безгрѣшнымъ рожденіемъ человѣка, журчитъ попрежнему. *Зейдлицъ.*

Домашнее воспитаніе Жуковскаго.

Воспитаніе Жуковскаго гораздо плодотворнѣе пошло, когда маленькій Жуковскій окончательно поселился въ семействѣ своей крестной матери Варвары Аѳанасьевны Юшковой, которая въ 1785 году вышла замужъ за Юшкова и поселилась въ Тулѣ, гдѣ служилъ ея мужъ. Послѣ неудачныхъ попытокъ въ пансіонѣ и въ училищѣ, Варвара Аѳанасьевна окончательно взяла крестника къ себѣ и рѣшилась дать ему воспитаніе домашнее, въ кругу своихъ дочерей — сверстницъ Жуковскаго. Общество маленькаго поэта теперь состояло исключительно изъ дѣвочекъ — ихъ было много, около 12 человѣкъ, и всѣ онѣ, большею частью, были его сверстницами. Это обстоятельство, замѣтимъ, не могло не имѣть вліянія на развитіе природной мягкости, идеалистичности характера поэта. Среди этого общества закончилось его первое домашнее воспитаніе. Ученье и здѣсь, разумѣется, не могло быть слишкомъ серіознымъ, хотя въ домѣ Варвары Аѳанасьевны было много разныхъ учителей и гувернантокъ; впрочемъ, 12-лѣтній поэтъ не хотѣлъ отставать отъ дѣвочекъ и училъ съ ними одни и тѣ же уроки.

Но если систематическое ученье шло незавидно, то въ домѣ Юшковыхъ были такіе образовательные элементы, которые могли будущему поэту замѣнить многое. Домъ Юшковыхъ былъ центромъ всей провинціальной тульской умственной жизни. Здѣсь собирались всѣ лучшія силы, — литературныя и музыкальныя, — какія только находились въ городѣ. Вокругъ образованной и любезной хозяйки образовался цѣлый литературно-музыкальный кружокъ, преданный вполнѣ литера-

турнымъ и музыкальнымъ интересамъ. Всѣ, кто интересовался современной литературой — русской и иностранной, кто любилъ музыку — всѣ собирались въ домѣ Варвары Аѳанасьевны. Она была душою всего общества. „Варвара Аѳанасьевна, — говоритъ современникъ, — устроила у себя литературные вечера, гдѣ новѣйшія произведенія школы Карамзина и Дмитріева, тотчасъ же послѣ появленія своего въ свѣтъ, дѣлались предметомъ чтеній и сужденій. Романами русская словесность не могла въ то время похвалиться: потребность въ произведеніяхъ этого рода удовлетворялась лишь сочиненіями французскими. Романсы Нелединскаго повторялись съ восторгомъ. Музыкальные вечера у Юшковыхъ скоро превратились въ концерты. Варвара Аѳанасьевна занималась даже управленіемъ тульскаго театра. Тутъ собственно, — прибавляетъ онъ, — литературное настроеніе привилось къ Жуковскому". Литературно-поэтическимъ вкусамъ будущаго поэта, дѣйствительно, было гдѣ развиться. Насколько сильно были привиты къ семейству Юшковыхъ умственные интересы, — отчасти можно видѣть и на собственныхъ дочеряхъ Варвары Аѳанасьевны: изъ нихъ одна (въ замужствѣ Зонтагъ) извѣстна многими прекрасными книгами для дѣтскаго чтенія, особенно прекраснымъ изложеніемъ для нихъ священной исторіи; другая (въ замужствѣ сначала за Кирѣевскимъ, потомъ за Елагинымъ) напечатала нѣсколько переводныхъ статей въ журналахъ. Дѣти послѣдней отъ перваго брака, братья Кирѣевскіе, также слишкомъ извѣстны въ нашей литературѣ.

При такомъ преобладаніи въ семьѣ литературныхъ и эстетическихъ вкусовъ, неудивительно, что маленькій поэтъ очень скоро началъ и самъ пробовать въ этой сферѣ свои силы „Василій Андреевичъ, — разсказываетъ д-ръ Зейдлицъ, — уже на 12-мъ году отъ рожденія отважился на составленіе и постановку какой-то трагедіи. Поводомъ къ этому было обѣщаніе Марьи Григорьевны (мать Варвары Аѳанасьевны) пріѣхать на зиму (1795 г.) въ Тулу погостить у своей дочери. Жуковскій къ этому пріѣзду готовилъ большой праздникъ. Онъ написалъ трагедію: „Камиллъ, или освобожденіе Рима". Избралъ для себя роль героя пьесы, нарядилъ всѣхъ ученицъ домашняго пансіона, отъ 17-ти до 8-лѣтняго возраста, въ одежды римскихъ консуловъ и сенаторовъ и, разумѣется, какъ авторъ и акторъ, увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Общая

восторгъ такъ польстилъ Жуковскому, что онъ немедленно принялся опять за новую пьесу: „Павелъ и Виргинія“. Но ожидавшееся трогательное впечатлѣніе на зрителей не сбылось, — артисты не поняли своихъ ролей, — и вторая трагедія молодого сочинителя потерпѣла fiasco“.

Въ такой обстановкѣ будущій поэтъ провелъ самые первые годы своей жизни. Наступила пора болѣе серіознаго образованія. Въ январѣ 1797 года 14-лѣтняго Жуковскаго отвезли въ Москву и включили въ Московскій благородный университетскій пансіонъ.

Для поэта начался новый періодъ жизни (1797 — 1801). Общество дѣвочекъ замѣнилось кругомъ товарищей. Въ нихъ особенно посчастливилось Жуковскому. Его товарищами по пансіону были: братья Тургеневы, Александръ и Андрей. Блудовъ, Дашковъ, кн. Вяземскій, Уваровъ и др.

Архангельскій.

Ѳ. Г. Покровскій — первый наставникъ Жуковскаго.

Покровскій родился въ 1763 году, съ 1776 года учился въ Сѣвской семинаріи, а съ 1783 года въ Петербургской учительской гимназіи. 22 сентября 1786 года онъ былъ опредѣленъ учителемъ въ Тульское главное народное училище, вскорѣ послѣ учрежденія гимназій, переименованъ въ старшіе учителя Тульской гимназіи (7 августа 1804 года). Онъ не былъ специалистомъ по одной какой-нибудь наукѣ. Въ ноябрѣ 1800 года Покровскій „по ордеру, данному по Высочайшему повелѣнію отъ тульскаго гражданскаго губернатора Томилова, употребленъ былъ для отысканія торфа“. Въ слѣдующемъ году отъ преемника его, генералъ-майора Иванова, вторично предписано Покровскому отыскивать торфъ въ Тульской губерніи. Вслѣдствіе этого Покровскій обозрѣлъ всю Тульскую губернію и нашелъ во многихъ мѣстахъ торфъ и въ нѣкоторыхъ земляной уголь, о чемъ и донесъ упомянутымъ губернаторамъ. При преобразованіи Тульскаго главнаго народнаго училища въ гимназію Покровскій по предписанію тогдашняго попечителя Московскаго учебнаго округа. Михаила Никитича Муравьева, кромѣ своей должности, отпра-

нялъ должность учителя *политической экономіи и россійской словесности* (съ 1804 по 1808 г.). Въ 1812 году, во время вторженія непріятеля въ Москву, отправленъ былъ съ казеннымъ имуществомъ гимназіи въ городъ Данковъ, Рязанской губерніи, и черезъ три мѣсяца благополучно назадъ возвратился. Херасковъ хвалилъ „мысли и чувства Покровскаго". Лучшею для себя похвалою Покровскій считалъ наименованіе филантропа. Онъ восторгался „человѣколюбивымъ и нѣжнымъ", выраженіемъ *Наказа* Екатерины II: „лучше простить десять виновныхъ, нежели наказать одного невиннаго". Въ прозаической статьѣ оплакалъ Покровскій смерть этой „человѣколюбивой и милостивой государыни". Корень всѣхъ человѣческихъ преступленій, по словамъ Покровскаго, — есть „невѣжество со всѣми наперсниками своими". Но одно просвѣщеніе разума (продолжаетъ философъ) не достаточно: „и могутъ ли люди назваться прямо просвѣщенными, ежели не добродѣтельны? Просвѣщенный разумъ, но развращенное пороками сердце пагубнѣе самаго невѣжества... Просвѣщеніе и добродѣтель! — вотъ важнѣйшіе предметы и цѣль истиннаго воспитанія, — воспитанія, толико уважаемаго просвѣщенными народами, колико пренебрегаемаго невѣждами! — цѣль истиннаго благополучія человѣка и всего человѣчества". Улучшеніе правосудія въ Россіи было любимою мечтою филантропа. Провожая въ могилу Екатерину II, Покровскій говорилъ: „Законы всегда составляютъ первое основаніе благополучія народовъ; и они-то суть главнѣйшія черты, открывающія свойства владыкъ сего міра". Въ царствованіе императора Павла I Покровскій опять возвращается къ законамъ, къ правосудію: „Благословенны тѣ нѣжныя и чувствительныя души, тѣ благодѣтельные друзья человѣчества, которые, держа въ рукахъ вѣсы правосудія, не наклоняютъ ихъ по пристрастіямъ, которые всѣмъ сердцемъ защищаютъ невинность, которые стараются не отяготить, но облегчить участь слабаго человѣчества... О исполнители правосудія! что если святая вѣра не напечатлѣваетъ въ вашемъ сердцѣ, душѣ и духѣ сего правосудія; если вы не внемлете божественному гласу законовъ, устами мудрыхъ законодателей къ вамъ вопіющему: горе, горе вамъ! — вы рождены съ слабостьми, общими всѣмъ человѣкамъ, а вы хладнокровно бросаете на нихъ камень, какъ будто сами праведные". Вступленіе на престолъ импе-

ратора Александра I Покровскій привѣтствуетъ такимъ предсказаніемъ: „Онъ побѣдитъ ихъ (свои народы) любовію, кротостію, милосердіемъ. Вѣсы правосудія не будутъ наклоняться по пристрастіямъ. Онъ окончитъ то огромное зданіе законовъ, которому Екатерина сдѣлала чертежъ въ безсмертномъ своемъ проектѣ новаго Уложенія. Она въ немъ оставила неразрѣшимый гордіевъ узелъ потомству, который намъ премудрый Александръ не разсѣчетъ по примѣру Македонскаго Александра, но развяжетъ со всѣмъ искусствомъ безсмертнаго законодателя и тѣмъ пресѣчетъ грубые корни злобы и коварства, препятствующіе распространяться благовоннымъ злакамъ правоты и невинности“. Въ рядѣ небольшихъ статей подъ заглавіемъ *Созерцаніе природы со стороны ея экономіи относительно къ человѣку* Покровскій, на основаніи сочиненія „одного новѣйшаго философа“, разсматриваетъ „ту часть экономіи природы, которая относится собственно къ человѣку, а особливо къ его участи послѣ сей жизни“. Свое *извлеченіе* изъ „новѣйшаго философа“ Покровскій заключаетъ слѣдующими словами: „О вы, которые проливаете слезы въ молчаніи: которыхъ въ смутные часы тревожитъ меланхолія со всѣми слѣдствіями страшныхъ сомнѣній! Я бы желалъ хотя нѣсколько спомоществовать вашему успокоенію. Ежели вы теперь несете обременительную тяжесть, тѣмъ радостнѣе для васъ будетъ, когда ее снимутъ. Но всегдашній отвѣтъ несчастныхъ людей есть: мы бы охотно желали сносить наше страданіе, но уже недостаетъ силъ къ терпѣнію. Хорошо! но... въ то мгновеніе, когда уже нѣтъ больше возможности сносить оную — и кончатся наши страданія. О если бъ я могъ отвлечь хотя единый радостный взглядъ къ будущей жизни отъ вашихъ глазъ, отягченныхъ прискорбіями, и унять ваши слезы, хотя черезъ одну улыбку!... Религія есть превосходнѣйшая утѣшительница: она говоритъ о будущей жизни въ величественныхъ картинахъ. Изслѣдывающій духъ хочетъ также узнать физическую возможность дѣла. Къ сему я столько способствовалъ, сколько могъ“. Но этотъ тульскій педагогъ прошлаго вѣка, геологъ и политико-экономъ, — Покровскій всецѣло принадлежитъ тому направленію литературы, которое охватило Жуковскаго въ классахъ университетскаго благороднаго пансіона. Онъ преданъ прелестямъ сельской жизни. Въ „сельской неприхотливой кущѣ“ своего

друга — въ Н — щевѣ — онъ наслаждается закатомъ солнца, въ пріятныя минуты деревенской жизни — минуты, въ которыя онъ слагаетъ съ себя все бремя бездѣйственной суетности, *онъ чувствуетъ бытие свое...*" „Только въ пріятномъ уединеніи селъ несокрушены еще жертвенники невинности и счастія. Большіе города представляются ему „великолѣпными темницами". Мечтанія въ лунную ночь возбуждаютъ въ Покровскомъ „чувство человѣколюбія" къ преступнымъ узникамъ тюрьмы, а вечерняя прогулка весною по темному лѣсу заставляетъ его чувствовать бѣдствія человѣческія и призывать благотворителей для ихъ исцѣленія. Въ этомъ темномъ лѣсу мечтатель встрѣчаетъ нищаго крестьянина, который „жилъ спокойно въ нѣдрѣ своего семейства до тѣхъ поръ, пока плачевный слухъ, ужаснѣйшій громоваго удара, поразилъ всѣхъ крестьянъ той деревни. Всѣ говорили съ неизъяснимымъ сокрушеніемъ (продолжаетъ разсказывать нищій), что ихъ продали на вывозъ, — ихъ поведутъ на поселеніе въ дикія, пустыя степи въ мѣста, ихъ прадѣдами неслыханныя, куда хищный вранъ утлыхъ костей человѣческихъ никогда не занашивалъ. Ахъ! можно ли изобразить тогдашнее смятеніе ихъ деревни! Когда уже время приближалось почти къ глубокой осени — когда по опредѣленію злобнаго рока должно было оставить свое жилище, тогда всѣ съ неописаннымъ воплемъ, съ унылымъ, удручающимъ душу и сердце, всѣ, какъ будто преступники, осужденные къ смертной казни, отправились въ путь". Тронутый разсказомъ крестьянина, потерявшаго на войнѣ руку и обѣ ноги, мечтатель восклицаетъ: „Человѣки! существа благотворительныя! Съ какимъ чувствованіемъ вы взираете на слезы, вздохи, мученія подобнаго вамъ существа, возсылающаго съ ними свою жалобу Вездѣсущему и Всевѣдущему?... Загляните внутрь сердца вашего: съ какимъ тайнымъ удовольствіемъ оно возбуждаетъ васъ къ священнѣйшей должности — любить. Разсматривайте натуру, сію милостивую мать вашу, и учитесь у нея благотворить. Сія ночь, сіи ароматы, сія роса, сей сонъ (ахъ! можно ли все исчислить!) суть очевидные знаки ея милосердія, которымъ она васъ благословляетъ". Такія картины проходили передъ нашимъ мечтателемъ въ сельскомъ уединеніи: „философъ горы Алаунской" не былъ сентиментальнымъ идилликомъ; тревожное чувство

дѣйствительности не позволяло ему предаваться безпредметнымъ мечтаніямъ романтиковъ и самодовольно растравлять въ себѣ „священную меланхолію“. Пріятель извѣстнаго впослѣдствіи князя П. Шаликова, Покровскій философствовалъ съ нимъ порою надъ могилами сельскаго кладбища, при „томномъ меланхолическомъ свѣтѣ луны“, но „чувствительность его благороднаго сердца“ не имѣла ничего похожаго на болѣзненную слезливость его собесѣдника. „Мысли и чувства“ Покровскаго одобрялись не однимъ Херасковымъ. Въ 1813 г., по предложенію министра народнаго просвѣщенія, сочиненіе Покровскаго подъ названіемъ „*Философъ горы Алаунской*“ напечатано „на казенный коштъ и за вычетомъ издержекъ отдано въ его пользу“. Въ концѣ прошлаго вѣка Покровскій былъ извѣстнѣйшимъ изъ тульскихъ литераторовъ. Онъ, несомнѣнно, являлся на литературные вечера Юшковой въ Тулѣ. Припомнимъ, что въ университетскомъ пансіонѣ сочиненія Покровскаго входили въ кругъ *обязательнаго* внѣкласснаго чтенія воспитанниковъ. Мы сочли необходимымъ возстановить истинныя черты этого филантропа и педагога-писателя, исключившаго Жуковскаго изъ высшаго народнаго училища,— черты, нерѣдко затемняемыя въ біографіяхъ Жуковскаго. Одинъ изъ друзей поэта, П. А. Плетневъ, говоритъ о школьныхъ занятіяхъ его въ Тулѣ: „Первые опыты собственно называемаго ученія не принесли большой пользы Жуковскому, потому что наставники не угадали его призванія. Изъ него хотѣли сдѣлать математика, а онъ все оставлялъ для поэзіи. Страсть къ сочиненіямъ театральнымъ обыкновенно прежде всего раскрывается въ дѣтяхъ съ живымъ воображеніемъ. Она овладѣла и Жуковскимъ, лишь только помѣстили его въ Тульское народное училище. Ревностный къ должности своей учитель, Ѳ. Г. Покровскій, выведенъ былъ изъ терпѣнія *невнимательнымъ* ученикомъ, рѣшился, въ назиданіе товарищамъ Жуковскаго, исключить его изъ училища“. Справедливѣе было бы сказать, что въ Тулѣ, избалованный прелестями дѣтскихъ забавъ дѣвическаго круга, Жуковскій *не внималъ* серіозному ученію общественной школы. Нужно было оторвать его отъ этого очарованія, чтобы заставить его учиться. И въ началѣ 1797 года Жуковскій дѣйствительно оторванъ былъ отъ любимицъ дѣтства, онъ былъ отвезенъ въ Москву и помѣщенъ въ Университетскій благо-

родный пансіонъ: на новой почвѣ началась пора серіознаго ученія, которому отдался Жуковскій со всѣмъ жаромъ юношескаго одушевленія. Новыми симпатіями, новыми сердечными связями согрѣта была эта пора его московской школьной жизни: простое, нѣжное сердце провинціала широко открылось вліянію слова и нравственному обаянію новыхъ друзей и наставниковъ, не дававшихъ классныхъ уроковъ...

Тихонравовъ.

Московскій благородный пансіонъ и его вліяніе на поэтическую дѣятельность Жуковскаго.

Московскій благородный пансіонъ, возникшій въ 1779 г. при Московскомъ университетѣ, представлялъ очень хорошее подготовительное заведеніе къ университету. Впрочемъ, онъ былъ совершенно самостоятельнымъ средне-учебнымъ заведеніемъ, и многіе ограничивались только имъ. Съ образовательнымъ характеромъ и цѣлями этого заведенія насъ нѣсколько знакомитъ *объявленіе, напечатанное въ началѣ 1783 года*, передъ пріемомъ воспитанниковъ. „При семъ университетскомъ, преимущественно для благородныхъ учрежденномъ, вольномъ пансіонѣ, — читаемъ въ объявленіи, — за главную цѣль взяты три предмета: 1) научить дѣтей, просвѣтить ихъ разумъ полезными знаніями, 2) вкоренить въ сердца ихъ благонравіе и 3) сохранить ихъ здравіе...“ Относительно самаго преподаванія, „Импер. Московскій университетъ, — читаемъ далѣе въ объявленіи, — въ пансіонѣ своемъ пріемлетъ на себя обучать питомцевъ, во-первыхъ, основательному познанію христіанскаго закона, потомъ самонужнѣйшимъ свѣтскимъ наукамъ, какъ то: всей чистой математикѣ, т. е. ариѳметикѣ, геометріи, тригонометріи и алгебрѣ, нѣкоторымъ частямъ смѣшанной математикѣ и въ особенности артиллеріи и фортификаціи; тако жъ философіи, особливо нравственной (моральной), исторіи и географіи, и россійскому стилю, присовокупя къ тому искусство рисовать карандашомъ, тушью и сухими красками, танцовать, фехтовать и музыкѣ; а наконецъ и разнымъ языкамъ, яко нужнымъ орудіемъ учености, какъ то: россійскому, нѣмецкому, французскому, англійскому и италіанскому, а кому угодно

будетъ — тако жъ латинскому и греческому". Преподаванiе наукъ въ пансiонѣ было поручено нѣкоторымъ профессорамъ университета и особымъ учителямъ. Въ пансiонѣ вполнѣ окрѣпли и развились литературные вкусы нашего поэта, возникшiе при такой благопрiятной семейной обстановкѣ. Большихъ серiозныхъ познанiй въ пансiонѣ воспитанники, конечно, получить не могли; но обстановка пансiона какъ нельзя лучше способствовала общему развитiю умственныхъ способностей воспитанниковъ. Въ словесномъ отдѣленiи, куда поступилъ Жуковскiй (пансiонъ состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣленiй, хотя и не офицiальныхъ, но существовавшихъ фактически) занятiя литературой были сильно развиты среди учениковъ. Сочиненiя и переводы съ новыхъ иностранныхъ языковъ были любимымъ ихъ занятiемъ. Подъ руководствомъ преподавателей ученики нерѣдко собирались читать свои оригинальные и переводные опыты, подвергая ихъ здѣсь же товарищеской, безпристрастной критикѣ. Лучшiе изъ такихъ опытовъ потомъ печатались въ современныхъ перiодическихъ изданiяхъ. Ученикамъ старшихъ классовъ дозволялось посѣщать университетскiя лекцiи,— это еще более поддерживало и развивало умственные вкусы воспитанниковъ. На второмъ году пребыванiя Жуковскаго въ пансiонѣ, въ 1798 году, здѣсь даже возникло среди воспитанниковъ особое литературное общество — „Собранiе": первымъ предсѣдателемъ его избранъ былъ Жуковскiй. Сохранившiйся уставъ общества весьма любопытенъ. Первый параграфъ устава говоритъ: „Цѣль собранiя — исправленiе сердца, очищенiе ума и вообще обрабатыванiе вкуса". Въ параграфѣ пятомъ о занятiяхъ общества говорится, что въ каждомъ засѣданiи члены будутъ читать, по очереди, рѣчи о разныхъ, большею частью, нравственныхъ (моральныхъ) предметахъ, на русскомъ языкѣ; будутъ разбирать критически собственныя свои сочиненiя и переводы; будутъ судить о примѣчательнѣйшихъ произведенiяхъ историческихъ, а иногда будутъ читать, также по очереди, образцовыя отечественныя сочиненiя въ стихахъ и прозѣ, съ выраженiемъ чувствъ и мыслей авторскихъ и съ критическимъ показанiемъ красотъ ихъ и недостатковъ. Къ такому чтенiю и разбору чередной долженъ предварительно приготовиться". Члены общества должны были имѣть и практическую дѣятельность: „они непремѣннымъ и свя-

нымъ долгомъ своимъ поставлять, — читаемъ въ четырнадцатомъ параграфѣ устава, — непрестанно возбуждать всѣхъ вообще товарищей своихъ, какъ примѣрами, такъ и дружескими совѣтами, къ надлежащему выполненію ихъ обязанностей, т.-е. чтобы они сохранили, какъ драгоцѣнное сокровище, чистоту нравовъ; чтобы всѣ они были прилежны, кротки, учтивы не только къ высшимъ себѣ, но къ равнымъ и низшимъ: словомъ, чтобы благородные воспитанники были прямо благородны и сердцемъ и умомъ.

Умственная обстановка пансіона весьма много способствовала поэтическому развитію Жуковскаго. Съ перваго же года поступленія его въ пансіонъ, въ печати появляются его первые литературные опыты. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда умерла, въ томъ же 1779 году, его крестная мать и воспитательница Варвара Аѳанасьевна Юшкова: подъ вліяніемъ этого горя, Жуковскій написалъ свой первый печатный опытъ: *Мысли при гробницѣ*, которыя и были напечатаны въ томъ же году, въ одномъ журналѣ, съ обстоятельнымъ указаніемъ, что ихъ „сочинилъ благороднаго университетскаго пансіона воспитанникъ Василій Жуковскій". Уже въ этомъ первомъ опытѣ мы встрѣчаемъ первый зародышъ будущаго направленія его поэзіи. „Живо почувствовалъ я, — говоритъ здѣсь 14-лѣтній писатель, — ничтожность всего подлуннаго; вселенная представилась мнѣ гробомъ... Смерть! лютая смерть! — взываетъ онъ, — когда утомится рука твоя, когда притупится лезвее страшной косы твоей, и когда, когда перестанешь ты посѣкать все живущее, какъ злаки дубравные?... Ты неумолима... Все гибнетъ подъ сокрушительными ударами косы твоей..." Впрочемъ, юноша-писатель находитъ себѣ утѣшеніе: „Но почто смущаться сею мыслью — продолжаетъ онъ, — развѣ нѣтъ оплотовъ противъ ужасовъ смерти? Взгляни на сей лазоревый сводъ: тамъ обитель мира, тамъ царство истины, тамъ Отецъ любви... Кто не угнеталъ слабыхъ, кто не притѣснялъ невинныхъ и на кого горькая слеза сироты не вопіяла на небо, кто всѣхъ любилъ, какъ братіи своихъ, всѣмъ по возможности старался дѣлать добро, тому нечего бояться. Смерть для него будетъ торжествомъ...

За первымъ опытомъ непосредственно послѣдовали другіе. Съ 1797 года по 1801 годъ, въ продолженіе пятилѣтней пансіонской жизни, Жуковскимъ были написаны и тогда же

напечатаны: *Майское утро* (1797), *Добродѣтель* (1798), *Миръ* (1800), *Къ Тибуллу* (1800), *Къ человѣку* (1801) и др. Эти первые литературные опыты весьма интересны для изученія только что начинавшагося слагаться міросозерцанія юноши-поэта. Молодую головку начинаютъ все чаще и чаще посѣщать невеселыя мысли.

11-лѣтняго мальчика поражаетъ быстротечность жизни, непрочность всего земного. Въ этомъ, можетъ-быть, отчасти сказалась и неожиданная, какъ громомъ поразившая поэта, смерть его крестной матери, которую онъ такъ любилъ. „Вся наша жизнь, — говоритъ онъ въ посланіи *Къ Тибуллу*! — лишь только мигъ:

Какъ молнья, время скоротечно!
На быстрыхъ крыліяхъ своихъ
Оно летитъ, и все съ нимъ гибнетъ!
Едва на дневный свѣтъ мы взглянемъ,
Едва себя мы ощутимъ
И жизнью радоваться станемъ,—
Уже въ сырой землѣ лежимъ,
Ужъ мы добыча разрушенья!

Жизнь кажется ему бездной слезъ и страданій.

Счастливъ стократъ —

говоритъ онъ въ *Майскомъ утрѣ*—

Тотъ, кто, достигнувъ
Мирнаго брега,
Вѣчнымъ спитъ сномъ.

Но меланхолическая печаль поэта о скоротечности жизни, о ея горестяхъ не переходитъ въ пессимизмъ; въ томъ же посланіи *Къ Тибуллу* поэтъ продолжаетъ:

Тибуллъ, нельзя, чтобы природа
Лишь для червей насъ создала;
Чтобъ мы, проживши два, три года,
Прешедъ сквозь мрачны дебри зла,
Съ лица земли, какъ тѣни скрылись!
На что винить боговъ напрасно?
Себя мы можемъ пережить;
Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями міру быть,
Мы живы въ самомъ гробѣ будемъ!

Въ стихотвореніи „Добродѣтель", указывая на всесильное могущество времени, уничтожающаго все живое, на тлѣнность и разрушаемость самыхъ памятниковъ, воздвигаемыхъ героямъ, поэтъ спрашиваетъ:

Что жъ покажетъ, что мы жили,
Когда все время рушитъ такъ?

и отвѣчаетъ, что не камень и не обелиски прославятъ насъ—

...останутся нетлѣнны
Одни лишь добрыя дѣла.
Ничто не можетъ ихъ разрушить,
Ничто не можетъ ихъ затмить!

Стихотвореніе *Къ человѣку* (1801) хорошо рисуетъ общее міровоззрѣніе 17-лѣтняго поэта:

Ничтожный человѣкъ! Что жизнь твоя? Мгновенье!
Взглянулъ на дневный лучъ — и нѣтъ тебя — пр[illegible]
Изъ тьмы небытія злой рокъ тебя призвалъ
На то лишь, чтобъ предать въ добычу разрушенью;
Какъ быстра тѣнь, мелькаешь ты!
Игралище судьбы, волнуемый страстями...
Что твой парящій умъ? Что замыслы твои?
Дыханье вѣтерка — и гдѣ ты, прахъ надменный,
Гдѣ жизни твоея слѣды?
Чего жъ искать тебѣ въ сей пропасти мученій?
Скорѣй, скорѣй въ ничто!...
Твое убѣжище лишь смерть!..."
Такъ въ гордости своей —

продолжаетъ поэтъ —

безумецъ возстаетъ на небо...

Поэтъ не соглашается съ такимъ пессимистическимъ взглядомъ на судьбу человѣка: при всей скоротечности человѣческой жизни, для человѣка есть высокая цѣль:

Творецъ твой не тиранъ, —

возражаетъ поэтъ пессимисту, —

ты страждешь отъ себя!
Онъ благъ, для счастія онъ въ жизнь призвалъ тебя, —
Изъ чаши радостей ты горесть испиваешь:
Ужели рокъ виновенъ въ томъ?

Безумецъ, пробудись! воззри на міръ пространный.
Все дышитъ счастіемъ, все славитъ жребій свой...
Ужели ты одинъ, природы царь избранный,
    Краса всего, судьбой забвенъ?
Познай себя, познай! Коль въ дерзкомъ ослѣпленьи
Захочешь ты себя за край міровъ вознесть,
Сравниться со Творцомъ,— ты — непримѣтна персть!
Но ты великъ собой, сей міръ твое владѣнье,
    Ты духомъ тварей властелинъ!..
Великимъ, мудрымъ быть — твое опредѣленье!...
Мужайся!...
Твой рай и адъ — въ тебѣ! Брань, брань твоимъ страстямъ!
Передъ тобой безсмертья вѣчный храмъ,
Ты смерти сломишь серпъ могучею рукою:
    Могила — къ вѣчной жизни путь!...

Эти мысли пансіонскихъ стихотвореній уже намѣчали философское міровоззрѣніе будущей поэзіи, только что начинавшаго сознавать себя молодого поэта.

Не безынтересной также чертой въ характеристикѣ 17-лѣтняго поэта можетъ служить его отвращеніе къ военной славѣ, къ войнѣ и всякимъ воинственнымъ подвигамъ; мирное, спокойное процвѣтаніе государства для него дороже всего. Еще въ 1798 году, 15-ти лѣтъ, въ небольшой статейкѣ *Миръ и война* Жуковскій проводитъ параллель между благополучіемъ, счастіемъ перваго и тѣми ужасами и бѣдствіями, которыя влекутся второю. Ту же мысль онъ развиваетъ и въ своемъ пансіонскомъ стихотвореніи *Миръ* (1800).

Тотъ сердца не имѣлъ, — говоритъ онъ здѣсь, — отъ камня,
                                        тотъ родился,
Кто первый съ бѣшенствомъ на брата устремился.

Военную славу, добытую убійствами, поэтъ презираетъ: лишь злодѣй отыскиваетъ ее на поляхъ брани, —

Лишь онъ въ стенаніяхъ побѣдны гимны слышитъ,
Въ кровавыхъ грудахъ тѣлъ — трофеи чести зритъ:
Потомство извергу проклятіе гласитъ,
И лавръ его побѣдный тлѣетъ.

Обращаясь къ Россіи и къ россу и холодно вспоминая о побѣдахъ предшествовавшаго царствованія, поэтъ радуется, что теперь наступаетъ новый вѣкъ, который россу

Миртъ, не лавръ приноситъ...
Возьми сей миртъ и снова будь героемъ,
Героемъ въ тишинѣ, — не въ кроволитномъ боѣ.
Будь міра гражданинъ...
Брось палицу свою
Преобрази во плугъ свой мечь...
Пусть ростъ онъ поля отчизны твоея;
Прямая слава въ ней, лишь въ ней ищи ея,
Лишь въ ней ея обрѣсть ты можешь.

Таковы основные мотивы пансіонскихъ стихотвореній Жуковскаго. Повторяемъ, уже въ нихъ, въ этихъ юношескихъ, почти дѣтскихъ произведеніяхъ поэта, намѣчается направленіе его будущей поэзіи. Нравственное міросозерцаніе поэта начало уже обрисовываться.

Ко времени пребыванія Жуковскаго въ пансіонѣ относится и начало его переводческой дѣятельности. Жуковскій рано научился иностраннымъ языкамъ, и переводы были для него дѣломъ не труднымъ. Первымъ переводомъ Жуковскаго былъ переводъ романа Коцебу, самаго моднаго тогдашняго писателя: „Die jüngsten Kinder meiner Laune“, названный Жуковскимъ въ переводѣ *Мальчикъ у ручья* (4 ч. М. 1801 г.). За свои переводы Жуковскій, кромѣ денегъ, сталъ получать отъ книгопродавцевъ и книги, изъ которыхъ, къ концу пансіонской жизни, у него составилась цѣлая библіотека.

Осенью 1801 года, съ золотою медалью, окончилъ курсъ въ пансіонѣ 18-лѣтній Жуковскій. Пансіону онъ былъ обязанъ очень многимъ. Мы видѣли, уже въ пансіонскихъ опытахъ находились зародыши его будущей поэзіи. Правда, пансіонъ не обогатилъ поэта большими, серьозными знаніями, — но пансіонъ способствовалъ общему развитію его поэтическихъ дарованій; пансіонъ пріохотилъ поэта къ труду, къ занятіямъ, къ чтенію. Кромѣ того, пансіонъ далъ и ему общество молодыхъ даровитыхъ товарищей, со многими изъ нихъ Жуковскій и впослѣдствіи былъ связанъ самыми тѣсными нравственными связями.

Архангельскій.

Кружокъ, подъ вліяніемъ котораго совершалось литературное воспитаніе Жуковскаго.

Судьба, „лучшій нашъ наставникъ", берегла Жуковскаго и окружила его юность людьми, въ которыхъ воплотилось все, что оставалось чистаго и праведнаго отъ екатерининскаго вѣка. Черты нравственной физіономіи Жуковскаго слагались подъ вліяніемъ тѣхъ же людей, которыми образованъ былъ Карамзинъ, и подъ вліяніемъ самого Карамзина. Самое сильное вліяніе на Жуковскаго-пансіонера имѣлъ, несомнѣнно, кружокъ, или, вѣрнѣе, семья И. П. Тургенева. Никогда не могъ забыть Жуковскій этого дорогого для него кружка, столь могущественно повліявшаго на него среди поверхностнаго ученія благороднаго пансіона. Почти черезъ полвѣка по выходѣ изъ этой школы (въ 1844 г.) Жуковскій пишетъ Александру Ивановичу Тургеневу: „Въ твоемъ письмѣ много для меня трогательнаго. Мнѣ, *старику*, удается въ своей семьѣ тебя *на старости* полелѣять, и въ позднія наши годы кажется мнѣ, что жива еще наша молодость. *Было теперь что-то, напоминающее намъ времена Московскаго университета, гдѣ мы собирались около брата Андрея, который мнѣ живо памятенъ.* Кружокъ Андрея Тургенева *лелѣялъ* молодость Жуковскаго, направляемый дружескою рукою старика Ивана Петровича Тургенева. Въ то время, какъ Жуковскій сидѣлъ еще на школьной скамьѣ вмѣстѣ съ Александромъ Тургеневымъ, братъ послѣдняго Андрей не былъ уже пансіонеромъ; въ 1799 г. онъ былъ уже *студентомъ университета* и могъ называться *старшимъ* товарищемъ Жуковскаго. Къ старику-отцу И. П. Тургеневу юноши привязаны были, по словамъ Жуковскаго, свободною довѣренностію, *сходствомъ мыслей и чувствъ* и самою нѣжною благодарностію". Жуковскій не могъ вспомнить объ этомъ старцѣ безъ „сладкаго чувства": онъ *дружилъ и роднилъ съ сыновьями.* Жуковскій вошелъ въ эту благородную семью какъ другъ, какъ братъ и обрѣлъ у старика Тургенева ласки, въ которыхъ отказало ему рожденіе.

Неси жъ туда, гдѣ *нашъ отецъ и братъ*
Спокойнымъ сномъ въ пріютѣ гроба спятъ,
Вѣнки изъ розъ, вино и ароматы...

Надгробіе Ивану Петровичу и Андрею Ивановичу Тургеневымъ начинается такъ:

Судьба на мѣстѣ семъ разрознила нашъ кругъ:
Здѣсь милый нашъ отецъ, здѣсь нашъ любимый другъ.

Почитая масонство „очень хорошимъ дѣломъ", старикъ Тургеневъ открыто признавался, что онъ не имѣлъ способностей пройти всѣхъ градусовъ масонства, ибо вѣрилъ, что великое таинство можетъ получить только тотъ масонъ, который удостоился черезъ *исправленіе пристрастнаго характера сдѣлаться (только) совершеннымъ, сколько человѣку возможно быть*". Но не надъ однимъ исправленіемъ пристрастнаго характера своего работалъ этотъ человѣкъ въ послѣдніе годы XVIII вѣка. „Добрый и самый благонамѣренный пѣстунъ Московскаго университета", И. П. Тургеневъ былъ въ это время центромъ, около котораго группировались тогдашнія литературныя знаменитости, во главѣ со „старостою россійской литературы" Херасковымъ, къ которому стремились молодые литературные таланты. Литературѣ и искусствамъ старикъ Тургеневъ преданъ былъ такъ же горячо, какъ и прежде, когда былъ дѣятельнымъ членомъ „Компаніи Типографической". Онъ умѣлъ замѣтить литературный талантъ и привлечь дарованіе къ дѣлу литературы и просвѣщенія. Жуковскій не одною нитью привязанъ былъ къ семьѣ Тургеневыхъ въ годы своего ученія. „Юшковы и Бунины были дружны съ семействомъ И. П. Тургенева", вниманіе котораго обратилъ на себя Жуковскій прилежаніемъ и даровитостью, — свидѣтельствуетъ Зейдлицъ. Къ старымъ связямъ семейства Буниныхъ съ Иваномъ Петровичемъ присоединилась новая связь: Жуковскій былъ товарищемъ сыновей его, а старикъ жилъ сыновьями. Мало того: въ пансіонномъ другѣ дѣтей своихъ Иванъ Петровичъ уже замѣтилъ и любовь къ литературѣ и дарованія писателя. Нравственное самосовершенствованіе оставалось идеаломъ старика. Одинъ изъ друзей Ивана Петровича отмѣтилъ черты, которыя наиболѣе отличали этого человѣка, — онъ былъ истинно-свободнымъ и истинно-счастливымъ человѣкомъ:

.... счастливъ тотъ и тотъ одинъ свободенъ,
Кто счастья въ крайностяхъ всегда съ собою сходенъ,
Въ сіяніи не гордъ, въ упадкѣ не унылъ,

Въ себѣ самомъ свое достоинство сокрылъ:
Владыка чувствъ своихъ, ихъ бури усмиряетъ,
И скуку житія ученьемъ украшаетъ.

Въ лицѣ И. П. Тургенева предсталъ Жуковскому „истинно-добрый и счастливый“ человѣкъ. Не изъ этой ли семьи идеалистовъ, лелѣявшей юность поэта, вынесенъ имъ идеалъ семейнаго счастія? Изъ посланія М. Н. Муравьева къ И. П. Тургеневу можно дополнить характеристику свободнаго человѣка:

Онъ свято чтитъ родства священные союзы
И, чтобъ свободнымъ быть, пріемлетъ легки узы;
Внимательный супругъ и любящій отецъ,
Онъ властью облеченъ по выбору сердецъ.
Счастливъ, что можетъ быть семейства благодѣтель:
Что нужды, домъ тому иль цѣлый міръ свидѣтель?

На младшихъ братьевъ и на Жуковскаго особенно вліялъ Андрей Тургеневъ, входившій въ ихъ кругъ „съ отцомъ рука съ рукой“. Чему училъ ихъ этотъ юноша, „въ быстромъ взорѣ котораго пылалъ высокій духъ“? Александръ Тургеневъ сохранилъ намъ нѣсколько наставленій, принятыхъ имъ отъ брата Андрея: „И въ самыхъ горестяхъ насъ можетъ утѣшать воспоминаніе минувшихъ дней блаженныхъ“.

Зри духомъ въ вѣчность. Что твой взоръ встрѣчаетъ?
Тамъ лучшій миръ, тамъ Богъ! — страдалецъ! улыбнись.

„Это сказалъ братъ нашъ Андрей для насъ съ тобой“ (обращается Александръ Тургеневъ къ Николаю). Въ минуты душевной невзгоды вспоминались эти наставленія и Жуковскому. Разставаясь съ лучшею надеждой жизни, онъ обращается мыслію къ тому обѣтованному краю, „гдѣ (по выраженію Андрея Тургенева) вѣра не нужна, гдѣ мѣста нѣтъ надеждѣ, гдѣ царство вѣчное одной любви святой“. Лирическое вступленіе къ повѣсти *Вадимъ Новгородскій*, въ которомъ Жуковскій даетъ понять, чѣмъ былъ для него Андрей Тургеневъ: „Тѣнь *веселая* и *мирная!* мы *твои, и вои* несомнѣнно. Тѣнь твоя надо мною: она собесѣдница безмолвныхъ часовъ моихъ, *незримый хранитель моего сердца*. Такъ въ ея священномъ присутствіи, „*клянусь быть другомъ добродѣтели*“. Нельзя не замѣтить, что, для начертанія исторіи внутренней жизни поэта, письма Жуковскаго къ роднымъ, друзьямъ и знакомымъ составляютъ важнѣйшій источ-

никъ. Такъ въ письмѣ отъ 21-го октября 1816 г. Жуковскій напоминаетъ Александру Тургеневу: „Что ты сдѣлалъ для Ковалькова, того молодого человѣка, о которомъ писалъ Иванъ Владиміровичъ (Лопухинъ) къ князю? И сдѣлалъ ли что-нибудь? Братъ! *это — завѣщаніе нашего добраго благодѣтеля:* надо исполнить во всей силѣ его!“ Не ради фразы называетъ Жуковскій знаменитаго масона „своимъ благодѣтелемъ“. Въ самую тяжелую, рѣшительную пору своей жизни, когда разбита была лучшая изъ его надеждъ, Жуковскій, *со страхомъ замѣчая въ себѣ какое-то отдаленіе отъ религіи* обращается за рѣшеніемъ обуревавшихъ его сомнѣній къ Лопухину (старика Тургенева тогда не было въ живыхъ): ему прежде другихъ открываетъ Жуковскій повѣсть своей любви, исповѣдуетъ свои сомнѣнія... И этотъ „истинный христіанинъ“ возвращаетъ его на путь вѣры и надежды. Въ концѣ прошлаго вѣка Лопухинъ жилъ въ Москвѣ или подъ Москвою. Въ литературномъ и семейномъ кружкѣ Ивана Петровича Лопухинъ стоялъ рядомъ съ своимъ старымъ товарищемъ по „Типографической Компаніи“. Авторъ книги „О внутренней церкви“ встрѣчаетъ пансіонера Жуковскаго въ семьѣ старика Тургенева, для дѣтей котораго онъ былъ такимъ же *добрымъ благодѣтелемъ*, какимъ и для Жуковскаго, направляя ихъ къ созиданію своего внутренняго храма... Очень рано стали Жуковскій и Александръ Воейковъ посѣщать Лопухина въ его подмосковной — Савинскомъ. Здѣсь вся обстановка говорила о литературныхъ вкусахъ хозяина. „Я видѣлъ (разсказываетъ Жуковскій) въ саду И. В. (Лопухина), находящемся верстахъ въ 30 отъ Москвы, въ подмосковномъ его селѣ *Савинскомъ*, скромную урну, посвященную памяти Фенелона. На ровномъ мѣстѣ, гдѣ было топкое болото, явились тѣнистыя рощи, пересѣкаемыя прекрасными дорожками и орошенныя чистою, прозрачною, какъ кристаллъ, водою. Расположеніе сада прекрасно; лучшее въ немъ мѣсто есть *Юнговъ островъ*. Вы видите большое пространство воды. Берегъ осѣненъ рощею, въ которой мелькаетъ *Руссова могила!* На самой срединѣ озера *Юнговъ островъ* съ пустынническою хижиною и нѣсколькими памятниками, между которыми замѣтите мраморную урну, посвященную Фенелону. На одной сторонѣ урны изображена госпожа *Гюйонъ*, другъ Фенелона, а на другой Ж.-Ж. Руссо

стоящiй въ размышленiи передъ бюстомъ камбрейскаго архiепископа.. Островъ осѣненъ разными деревьями: елями, осинами, березами и другими: его положенiе чрезвычайно живописно: всего прiятнѣе быть на немъ во время *ночи*, когда сiяетъ полная *луна*, воды спокойны, и рощи, окружающiя берегъ, отражаются въ нихъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ! Это мѣсто невольно склоняетъ насъ къ какому-то *унылому*, прiятному размышленiю". Ясно, къ какимъ предметамъ направлялись унылыя размышленiя Жуковскаго. Этотъ кружокъ Тургенева работалъ прежде всего надъ созиданiемъ человѣка, а не поэта: подъ влiянiемъ этого кружка залегли въ глубину души Жуковскаго тѣ нравственныя начала, тѣ живыя дѣятельныя религiозныя вѣрованiя, которыя такъ осязательно выражаются въ первомъ перiодѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго и вырываются съ новою силою, въ послѣднiе годы его жизни, въ мелкихъ статьяхъ теологическаго характера.

Быть въ кружкѣ Тургенева — значило знать Карамзина, а Дмитрiевъ былъ „вторoю ипостасью" Карамзина. Такъ, поэтическая дѣятельность Жуковскаго, при самомъ началѣ, подъ кровлею директора Московскаго Университета, скрѣпилась тѣсными узами съ карамзинскимъ перiодомъ литературы. Вотъ кругъ, въ которомъ совершилось литературное воспитанiе Жуковскаго.

Литературныя влiянiя, окружавшiя Жуковскаго

Съ половины и особенно съ конца XVIII ст. во всѣхъ литературахъ западной Европы начинается чрезвычайно сложное, богатое самыми разнообразными элементами, движенiе. Исходнымъ пунктомъ этого движенiя была борьба противъ устарѣлыхъ ложно-классическихъ формъ, все еще господствовавшихъ въ литературѣ. Борьба эта рѣзче и сильнѣе всего выразилась въ Германiи, въ дѣятельности Лессинга (1729—1781). Главнѣйшею задачей его поэтической и критической дѣятельности была борьба съ безусловнымъ господствомъ французской литературы, стремленiе прiобрѣсти самостоятельную почву для самобытно-нѣмецкой поэзiи. Лессингъ преимущественно былъ критикомъ; его поэтическiя произведенiя... По поводу малѣйшаго облачка, онъ начинаетъ

лямъ и изслѣдованіямъ. Указывая, какъ на образецъ, на болѣе близкую къ реальной жизни мѣщанскую поэзію англичанъ, на ихъ Шекспира, на творенія самихъ древнихъ классическихъ поэтовъ, наконецъ, на самую природу, Лессингъ объявилъ безпощадную войну бездарному кропанію многочисленныхъ тогдашнихъ нѣмецкихъ піитовъ, риторически-напыщенному, условному содержанію ихъ ложно-классическихъ произведеній, равно и всей нѣмецкой критикѣ, слишкомъ робкой и безпринципной, и тѣмъ самымъ положилъ прочныя теоретическія основы и для новой нѣмецкой поэзіи и для новой критики. Его *Лаокоонъ* (1766) и *Гамбургская Драматургія* (1765—1768) во всей полнотѣ раскрыли глубокое пониманіе авторомъ задачъ и цѣлей поэтическаго творчества, придали пониманію послѣдняго небывалую дотолѣ широту, и черезъ это окончательно свели счеты съ ложно-классической французской драмой и мертвыми, формальными правилами французской піитики. Разомъ и навсегда своей геніальной критикой Лессингъ низвергнулъ французскій классицизмъ изъ его спокойствія и его обезпеченнаго господства.

Одновременно съ критикой Лессинга, въ нѣмецкой литературѣ возникаютъ первые опыты истинной поэзіи. Съ появленіемъ Клопштока (1724—1803) „стало для всѣхъ ясно, что поэзія прежде всего требуетъ геніальнаго дарованія и что ей нельзя научиться съ помощью теоріи". Это былъ первый истинный поэтъ въ нѣмецкой литературѣ. Его *Мессіада* (1748—1773) и нѣкоторыя изъ его одъ совершили въ ней рѣшительную реформу въ смыслѣ искренности и силы поэтическаго творчества. Его „небесная" муза, „серафическій" тонъ его поэзіи позже вызвали утрировку; но въ его собственныхъ рукахъ они были для современниковъ откровеніемъ и встрѣтили общій восторгъ... Что сдѣлалъ Клопштокъ для одной области поэзіи, то сдѣлалъ одновременно Виландъ (1733—1813) для другой. Онъ былъ сначала въ числѣ многочисленныхъ подражателей Клопштока, но скоро перешелъ на самостоятельную дорогу и открылъ совершенно новую сферу поэтическому творчеству. Вмѣсто неба онъ сталъ воспѣвать землю. Переведя Шекспира (въ 1762—1766 г.), онъ сталъ разсказывать въ многочисленныхъ своихъ романахъ, нерѣдко стихотворныхъ, и пересказахъ [illegible], [illegible] взглядъ на жизнь. Тонъ его поэзіи часто дѣлался фриво-

нымъ, иногда даже скабрезнымъ; но вообще здоровая веселость его поэзіи, реальность его картинъ были большой новостью для тогдашней нѣмецкой литературы. Художественное направленіе Клопштока и Виланда поддержано было самимъ Лессингомъ,— предтечею Гете и Шиллера... Почти одновременно въ англійской литературѣ раздаются пѣсни В. Купера (1731—1800), Роберта Бернса (1759—1796), во Франціи Э. Парни (1753—1814), П. Беранже (1780—1859).

Если Германія, въ лицѣ Лессинга, больше всего способствовала выясненію теоретическихъ представленій объ искусствѣ и въ частности о поэтическомъ творчествѣ, о задачахъ и цѣляхъ литературы, то Англія раньше всѣхъ другихъ націй въ Европѣ выступила съ практическимъ осуществленіемъ всего этого. Въ своей критикѣ Лессингъ часто указывалъ, какъ на образецъ, на англійскую мѣщанскую драму и англійскій семейный романъ. Дѣйствительно, въ англійской литературѣ раньше всѣхъ другихъ европейскихъ литературъ пробудилось стремленіе къ большей жизненной правдѣ, къ большей реальности въ литературныхъ произведеніяхъ.

„Искусственность свѣтской жизни, въ томъ видѣ, въ какомъ Людовикъ XIV ввелъ ее въ моду, начинала уже сильно надоѣдать европейскому обществу. Сухость и безсодержательность ея сдѣлались для каждаго очевидны. Общество чувствовало усталость отъ необходимости быть всегда на вытяжкѣ, заботиться о представительности, подчиняться этикету. Люди начали догадываться, что любезность не есть еще любовь, что мадригалъ не исчерпываетъ всей поэзіи, а развлеченіе не составляетъ счастья, стали понимать, что человѣкъ — не элегантная кукла, а свѣтскій петиметръ — не совершенство природы, и что есть свѣтъ внѣ салоннаго міра. И вотъ, является новый типъ, кумиръ и образецъ своей эпохи — чувствительный человѣкъ, по серьезности своего характера и любви къ природѣ, рѣзкая противоположность придворнаго человѣка... Онъ изысканъ и притворенъ, готовъ расчувствоваться при видѣ ягнятъ, пощипывающихъ молодую травку, благословлять птичекъ, празднующихъ свое счастье щебетливымъ пѣніемъ. Онъ напыщенъ и фразеръ, сочиняетъ длинныя тирады о чувствахъ, вопіетъ противъ испорченности вѣка, взываетъ къ „добродѣтели", „добру", „истинѣ". По поводу малѣйшаго облачка, онъ начинаетъ

мечтать о жизни человѣческой, и говорить фразы... Исходя изъ Англіи, по всѣмъ литературамъ Европы быстро разливается широкій потокъ сентиментализма. Возникшее направленіе находитъ для себя выраженіе въ періодическихъ изданіяхъ Аддиссона (1672—1719); въ знаменитомъ *Робинзонѣ* Дефо (1663—1731), въ романахъ Ричардсона (1689—1761), — *Памелѣ* (1740), *Клариссѣ* (1748), *Грандисонѣ* (1753), — появляющихся какъ разъ въ срединѣ столѣтія, — въ *Сентиментальномъ путешествіи* Стерна (1713—1768), давшемъ собою названіе всему направленію, наконецъ и даже, пожалуй, главнымъ образомъ — въ неудержимомъ потокѣ чувствительной лирики. Во главѣ этой послѣдней стоятъ такіе поэты, какъ *Дж. Томсонъ* (1700—1748), *Томасъ Грей* (1716—1771), *Эд. Юнгъ* (1681—1765)... Новыя произведенія англійской литературы быстро облетаютъ всѣ страны Европы и всюду вызываютъ подражанія. Нужно имѣть въ виду характеръ и содержаніе европейской беллетристики до этого времени, чтобы вполнѣ понять тотъ всеобщій восторгъ, съ которымъ встрѣчено было въ Европѣ новое литературное направленіе. Европейское читающее общество слишкомъ ужъ утомлено было безконечными, однообразными исторіями о разныхъ приключеніяхъ и похожденіяхъ принцевъ и принцессъ, странствованіяхъ и подвигахъ многочисленныхъ рыцарей и другихъ подобныхъ великихъ героевъ, которымъ посвящались прежнія беллетристическія произведенія, безконечное число разъ варьировавшіяся и составлявшія чуть не все содержаніе тогдашней европейской поэзіи. Отъ слишкомъ частаго повторенія однихъ и тѣхъ же мотивовъ, поэзія, беллетристика пріобрѣли какой-то шаблонный характеръ, — помимо того, что все это чаще всего писалось необыкновенно вычурнымъ, напыщеннымъ языкомъ. Это была какая-то ходульная литература, безъ малѣйшихъ признаковъ жизни и естественности. Читатель не видѣлъ передъ собой живыхъ чувствъ, живыхъ людей: передъ нимъ двигались маски. Журналы Аддисона, романы Ричардсона, путешествія Стерна, меланхолически-мечтательная, всегда грустная и задумчивая лирика Томсона, Грея ввели европейскаго читателя въ совершенно особый, невѣдомый ему дотолѣ, поэтическій міръ. Новыя произведенія англійской литературы открывали передъ читателями другую невѣдомую страну — внутренній міръ души

міръ сердечныхъ ощущеній и чувствъ. Въ этомъ отношеніи они впервые ставили читателей на почву дѣйствительности. Міръ чуждыхъ рыцарей и принцессъ впервые замѣнялся близкой читателю, тихой семейной обстановкой средняго класса общества. читатель и за книгой оставался въ знакомой его средѣ: и здѣсь его окружили дяди, тетки, братья, кузины, дѣды съ отцовской стороны, дѣды съ материнской стороны разные пріятели и пріятельницы,— словомъ, вся та родня, весь тотъ міръ повседневной будничной жизни, которымъ онъ жилъ и въ дѣйствительности. Читателя поражала эта необычная близость книги къ жизни,— и онъ не могъ оторваться отъ ея чтенія. Онъ не замѣчалъ, что въ новыхъ произведеніяхъ ужъ слишкомъ много мѣста отводится чувству, лиризму, слишкомъ много нравоученія и чувствительности: въ сравненіи съ предшествовавшей вычурностью, все это казалось естественнымъ, живымъ... Мимоходомъ замѣтим: стремленіе литературы къ большей жизненной правдѣ, переселеніе ея изъ міра героевъ-принцевъ въ среду средняго сословія едва ли не было въ извѣстной степени и результатомъ возникновенія около этого времени въ европейскомъ обществѣ буржуазіи, средняго сословія, роста и усиленія его въ общественной жизни. Съ конца XVII и нач. XVIII в. среднее сословіе вездѣ начинаетъ чувствовать могущество своего богатства, своего образованія, сознавать свое государственное, общественное и экономическое значеніе, свою болѣе чистую нравственность,— и все громче начинаетъ требовать себѣ правъ на существованіе. Выросшая буржуазія создаетъ и буржуазную литературу...

Двумя, тремя десятками лѣтъ позже точно такое же, аналогичное явленіе совершилось и въ нашей литературѣ. У насъ, правда, мало было романовъ о рыцаряхъ и принцессахъ,— хотя подобныя произведенія, съ конца XVI вѣка, начинали уже и къ намъ проникать: но зато болѣе чѣмъ съ избыткомъ было всякаго рода торжественныхъ одъ. Эти оды, особенно подъ конецъ, своею крайнею неестественностью, своимъ убійственнымъ языкомъ — производили на русскихъ читателей точно такое же впечатлѣніе, какое испытывали западноевропейскіе отъ своихъ рыцарскихъ романовъ и повѣстей XVI — XVII вѣка. И тамъ и здѣсь въ литературныхъ произведеніяхъ не было жизни: были только — слова, слов:

и слова...“ Оды Ломоносова и Державина исчерпали всю область торжественной лирики: ихъ подражатели начинали уже утомлять. Безчисленный же рой бездарныхъ кропателей-стихоплетовъ, явившихся затѣмъ въ нашей литературѣ, окончательно уничтожили въ ней всякое содержаніе. Поэтическое творчество было низведено на степень ремесла. Литература всецѣло перешла въ вѣдѣніе авторовъ-пиитовъ, высшія, конечныя стремленія которыхъ были—

> награда перстенькомъ,
> Нерѣдко — сто рублей, иль дружество съ князькомъ...
> Иль — похвала своихъ пріятелей...

Литература сдѣлалась какой-то мертвой, деревянной. Таковъ былъ характеръ нашей литературы, когда въ ней явилась *Бѣдная Лиза* (1792) Карамзина. Небольшая повѣсть разомъ создаетъ цѣлую литературную эпоху, — предшествовавшее направленіе исчезаетъ навсегда... Въ литературѣ быстро возникаетъ и развивается новое теченіе...

Для характеристики этихъ, быстро усиливавшихся у насъ къ концу столѣтія литературныхъ вкусовъ, чрезвычайно типичнымъ является направленіе нашей тогдашней только что возникавшей журналистики. Для насъ въ настоящемъ случаѣ особенно важны тѣ періодическіе сборники, которые издаются около этого времени при московскомъ благородномъ пансіонѣ. Журналы эти начальствомъ пансіона рекомендуются для чтенія воспитанникамъ, и ихъ чтеніе, конечно, не могло не имѣть весьма значительнаго вліянія на развитіе вкусовъ и талантовъ питомцевъ. Эта журналистика была здѣсь проводникомъ того новаго могучаго литературнаго потока, который съ такою силою разливается теперь въ нашей литературѣ... Въ этихъ, издаваемыхъ пансіономъ, журналахъ, да и вообще въ лучшихъ изданіяхъ тогдашней періодической печати отмѣтимъ журналы: *Пріятное и полезное препровожденіе времени*, 1791 — 1797; *Ипокрена*, 1798 — 1801; *Утренняя Заря*, 1801 — 1808; *Н[illegible]*, 1804 и т. д. Въ нихъ господствуетъ всецѣло карамзинская сентиментальность. Карамзинъ является здѣсь чувствительнымъ, нѣжнымъ, любезнымъ и привлекательнымъ нашимъ Стерномъ и т. п. Сотрудниками „Пріятнаго и полезнаго препровожденія времени“ и „Ипокрены“ являются сотрудники *Аонидъ* Карамзина

Въ статьѣ „Пріятное и полезное препровожд. времени“, озаглавленной *Сердцу*, авторъ, напр., восклицаетъ: „Виновникъ дѣлъ великихъ, дѣлъ благородныхъ, сердце! Для чего ученые, ищущіе просвѣщенія, съ ущербомъ правъ твоихъ обогащаютъ разумъ! Для чего образуютъ, воспитываютъ болѣе сей послѣдній, нежели тебя?...“ Въ другой, обращенной къ „чувству“, читаемъ: „Какого ангела, какого Бога дѣлаешь ты изъ человѣка, когда онъ въ уединенные часы свои, въ тихомъ кабинетѣ, въ объятіяхъ сельской натуры почерпаетъ божественныя твои вдохновенія въ тайныхъ изгибахъ своего сердца, изливаетъ ихъ на бумагу или читаетъ Геснера, Руссо, Стерна, Петрарку...“ „Уединеніе“ называется „отрадою чистѣйшихъ душъ“, „природа“ — „другомъ, матерью, вождемъ“. Съ идиллическими мечтаніями обращаются сотрудники журнала къ пастушескому вѣку, — передъ нами фигурируютъ имена пастушковъ Аркаса, Дафниса, Палемона и т. д. Рядомъ съ идиллическими картинами сентиментализма, здѣсь же нерѣдко является и кладбище: оно служитъ любимымъ мѣстомъ меланхолическихъ мечтаній.

Чрезвычайно характернымъ является въ нашихъ тогдашнихъ журналахъ выборъ переводовъ. Выборъ этотъ является краснорѣчивымъ показателемъ народившихся въ обществѣ новыхъ вкусовъ. Эти переводы отчасти продолжаютъ Карамзина, отчасти предупреждаютъ Жуковскаго... Переводы берутся изъ всѣхъ литературъ Европы, но на первомъ мѣстѣ стоятъ литература нѣмецкая и англійская.

Тогдашніе журналы наши вообще хорошо знакомятъ своихъ читателей съ лучшими явленіями современныхъ западныхъ литературъ, и въ этомъ отношеніи являются какъ бы ближайшими предвѣстниками дѣятельности Жуковскаго...

Таковы были собственно литературныя вліянія, окружавшія начинавшаго писателя. *Архангельскій.*

Романтизмъ и муза Жуковскаго.

Нѣмецкая литература, по преимуществу, носитъ характеръ космополитизма. Особенными свойствами ея могутъ назваться человѣчность содержанія и примиреніе разнородныхъ началъ. Германія, поставленная природою и исторіею между разно-

образными и часто враждебными несродными началами, представляетъ цѣлый міръ, идей, которому доступно умственное достояніе всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Всеобъемлющая поэзія Гёте, этого прототипа германскаго духа, отозвалась, кажется, на все, что только доступно человѣку и въ природѣ и въ области творчества человѣческаго. Въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка въ Германіи началось такое умственное движеніе, какого не представляетъ ни одна европейская литература. Философія и поэзія шли рядомъ другъ съ другомъ, восполняя другъ друга, и имена Лессинга, впервые освободившаго нѣмецкую литературу отъ французскаго вліянія и давшаго ей самостоятельную національную жизнь, Гердера, Шиллера и Гёте, какъ и имена творцовъ философскихъ системъ, стройно развивающихся одна изъ другой — Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, сдѣлались именами общеевропейскими. Политическій переворотъ во Франціи въ концѣ XVIII вѣка, быстрыя завоеванія французовъ и, наконецъ, войны Наполеона дали огромный толчокъ развитію народнаго духа въ Германіи, сознанію самостоятельности и должны были отразиться и въ умственной сферѣ. Здѣсь-то въ первый разъ, въ эту пору появляется названіе *романтизма* и *романтической школы*. Романтизмъ, какъ современная идея въ литературѣ, долженъ былъ возникнуть совершенно необходимымъ и естественнымъ образомъ. Это была реакція противъ классическаго развитія, начатаго въ вѣкъ возрожденія и реформаціи, въ условіяхъ котораго жила до тѣхъ поръ Германія: это было признаніе правъ національности, народныхъ началъ, отодвинутыхъ въ глубь вѣковъ исторіею. Романтизмъ въ Германіи, какъ и всякое противоисторическое движеніе, имѣлъ только эфемерное существованіе, и возвышенными усиліями Новалиса, братьевъ Шлегелей и другихъ, онъ образовалъ было цѣлую школу искусства, которой заплатили дань даже великіе таланты Шиллера и Гёте, особенно перваго. Эта школа не имѣетъ теперь почти представителей въ Германіи, и здравая нѣмецкая критика ожесточенно преслѣдуетъ романтическія теоріи искусства. Но въ ту пору, какъ реакція противъ классицизма, надоѣвшаго всѣмъ, какъ признаніе народныхъ началъ романтизмъ заслуживалъ полнаго уваженія, особенно по тому вліянію, какое онъ имѣлъ на возрожденіе народныхъ лите-

ратуръ у соседственныхъ народовъ. Онъ открылъ цѣлый міръ искусства, незнаемый или забытый до того времени. Онъ расширилъ предѣлы искусства. Какъ вся литература Германіи, такъ и романтизмъ ея отличался космополитическимъ характеромъ. Романтическіе писатели Германіи познакомили ее съ произведеніями литературъ англійской, итальянской, испанской, португальской, даже сѣверныя литературы не были забыты ими, даже въ глубину индѣйской мудрости проникли пытливыя изслѣдованія Шлегеля. Въ этомъ заключается самая существенная заслуга романтизма. Но преимущественною страною, куда направлены были всѣ задушевныя стремленія романтиковъ, былъ міръ среднихъ вѣковъ, закрытый до сихъ поръ классическимъ воспитаніемъ и реформаціоннымъ движеніемъ, враждебнымъ средне-вѣковому романтизму, на почвѣ котораго выросъ католицизмъ. Вотъ почему, увлекаясь средними вѣками, Шлегель и Штольбергъ совершенно послѣдовательно обратились въ католицизмъ. Признаніе историческихъ правъ за средними вѣками совершенно справедливо, но возрожденіе началъ минувшей жизни, даже въ мірѣ искусства, ложно до крайности. Трудно мужу, искусившемуся жизнью, начать снова мечтательную жизнь юноши, увлекаться вновь давно разлетѣвшимися идеалами, плакать попрежнему горячими слезами молодости. Его положеніе будетъ и ложно и смѣшно. Какъ человѣкъ не возвращается на обратный путь жизни, такъ и народъ не въ состояніи воротить своего минувшаго, отжившихъ и вымершихъ началъ. Средніе вѣка были юношескою порой европейскаго человѣчества; они необходимы были для его воспитанія. Здѣсь, какъ въ юности человѣка, все было нестройно, все было неопредѣленно. Благородный порывъ рыцарскаго уваженія къ женщинѣ, забытой и презрѣнной древнимъ міромъ, смѣнялся грубыми увлеченіями феодальной силы: поэзія трубадуровъ и миннезингеровъ, вся проникнутая стремленіями сердца, раздавалось въ замкахъ бароновъ, передъ которыми дрожали толпы жалкихъ вассаловъ. Самое чувство въ среднихъ вѣкахъ не имѣло опредѣленныхъ и точныхъ границъ; оно было порываніемъ къ чему-то незнаемому и неясно сознанному. Личности человѣка открывался широкій произволъ, и вотъ почему почва среднихъ вѣковъ была такъ плодотворна для поэзіи. Средніе

вѣка имѣли свою собственную могучую поэзію въ гигантской эпопеѣ Данта, которая можетъ быть названа апоѳеозою среднихъ вѣковъ. Суровый флорентинецъ заключилъ въ широкихъ рамахъ своей поэмы все, что составляло сущность этой исторической эпохи. Въ ней и борьба свѣтской и духовной власти, составляющая, большею частію, всю исторію среднихъ вѣковъ; въ ней и энергическія личности гвельфовъ и гибеллиновъ, унесшихъ даже въ могилу свои земныя страсти и политическія убѣжденія; въ ней и нѣжная, мечтательная, безъ всякаго вожделѣнія и раздѣла, любовь къ Беатричѣ; въ ней и наука среднихъ вѣковъ, въ которой ясныя и опредѣленныя категоріи аристотелевой логики встрѣчаются съ туманнымъ мистицизмомъ схоластиковъ. Цѣлый міръ среднихъ вѣковъ, несмотря на дѣйствительную нестройность и безурядицу свою, возникаетъ волшебнымъ образомъ передъ читателемъ въ звучныхъ и гармоническихъ терцинахъ Данта. Поэзія же новой романтической школы взяла изъ жизни среднихъ вѣковъ только то, что доступно нашему времени, — взяла идеальную сторону жизни, отбросивъ историческую основу. Больше всего она разрабатала чувство, неопредѣленное и неясное, лишенное всякой реальности, но прекрасное, какъ юношескій порывъ, какъ легкій куполъ готическаго собора, стрѣлою или молитвою улетающій въ небо. Поэтамъ-романтикамъ не было дѣла до того, что чувство, застывшее въ формѣ и рѣчи, не есть человѣческое чувство, что въ немъ нѣтъ дѣйствительности. Но о дѣйствительности и реальности имъ некогда было думать. Земля уходитъ изъ-подъ ногъ; открываются безпредѣльныя, безграничныя пространства. Передъ ними развертываются фантастическія картины, освѣщенныя блѣдными лучами луны. Едва виднѣются на нихъ башни рыцарскихъ замковъ, безъ рѣзкихъ очертаній, чуть прорѣзываясь въ туманномъ воздухѣ и отражаясь въ волнахъ соннаго озера. Вдали — полуразрушенная готическая колокольня, возлѣ сѣни-ивы, на которыхъ качаются смѣлые бѣлокурые эльфы, съ простодушной улыбкой смотрящіе на каменные кресты кладбища. По кладбищу бродитъ мечтательная дѣва, тонка и стройная, какъ лилія, блѣдная, какъ лучъ луны. Она поетъ пѣсню, грустную и однообразную, какъ звуки эоловой арфы, какъ звонъ по покойникѣ. Она ждетъ возлюблен-

наго, который бьется далеко, далеко, подъ стѣнами своего города. во славу красоты ея, въ честь ея голубыхъ глубокихъ очей. И вотъ передъ нею, на лазурномъ небѣ, подымается знакомая, милая сердцу — тѣнь. *Онъ* — въ бѣлой мантіи, съ краснымъ крестомъ на груди и черною раною подъ крестомъ. Его руки опущены, уста недвижно скованы смертію, и только во взорѣ блеститъ нѣжный пламень любви, мечтательно пережившій земныя страданія. Тоскующая красавица рвется за возлюбленною тѣнью, въ ту незнакомую, но милую сторону, гдѣ нѣтъ разлуки и страданія. Она такъ воздушна, что, кажется, улетитъ сейчасъ и безъ крыльевъ, но земля удерживаетъ ее, и она падаетъ полумертвая у ногъ милаго ей видѣнія. Это на землѣ, а подъ землею какая фантастическая жизнь! Царь гномовъ, въ блестящей коронѣ изъ алмазовъ и изумрудовъ, сидитъ на престолѣ; передъ нимъ вьются маленькіе гномы, владѣтели сокровищъ, зарытыхъ въ нѣдрахъ земли. Въ волнахъ моря плаваютъ нѣжныя, тоскующія по душѣ ундины и со струнами эоловой арфы въ воздухѣ играютъ шаловливые сильфы. Таковъ міръ романтической поэзіи.

Въ этотъ фантастическій, волшебный міръ романтической поэзіи, исполненный грезъ и очарованія, перенесъ нашу поэзію Жуковскій. Его душа какъ будто настроена была къ воспріятію этого міра и къ усвоенію его себѣ. Рано постигнувшій прелесть звуковъ германской поэзіи, Жуковскій посредствомъ нихъ познакомилъ насъ съ поэзіею отдаленныхъ вѣковъ и народовъ. Его муза облетѣла цѣлый міръ, собирая вездѣ, какъ пчела, медъ съ разнообразныхъ цвѣтовъ поэзіи и передавая намъ звуки, родственные душѣ его. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ воспріимчивыхъ талантовъ, которые не творятъ новыхъ путей въ искусствѣ, но принимаютъ въ себя все то, что находитъ созвучіе въ ихъ сердце. Такіе таланты не блестятъ нововведеніями, но чрезвычайно полезны. Вслѣдствіе условій натуры своей, они бываютъ постоянно настроены на одинъ ладъ и передаютъ своими звуками только то, что гармонируетъ съ этимъ ладомъ. Поэтому Жуковскій оставался всегда вѣренъ себѣ, въ какую бы отдаленную и противоположную другой сторону ни увлекъ его геній поэзіи. Передаютъ ли звуки его, полные суровой поэзіи феодальнаго быта, романсы о Сидѣ

или воспѣваютъ мистически страстную, таинственную, какъ природа Индіи, любовь Наля и Дамаянти, или пересказываютъ простую и ясную сказку древняго Гомера, изображающую свѣтлую младенческую пору человѣчества, — они звучатъ какъ-то однообразно, какъ тоны эоловой арфы. На все онъ смотритъ подъ однимъ угломъ зрѣнія. Вся поэзія его была безпрерывнымъ, неумолкаемымъ порывомъ отъ земли къ небу, унылою тоской души по миломъ невозвратномъ быломъ, грустію по далекому, незнаемому небу. Рано полюбилъ Жуковскій романтическихъ поэтовъ Германіи и перенесъ въ русскую поэзію въ гармоническихъ, увлекательныхъ звукахъ всю таинственную прелесть міра, созданнаго ими, этотъ полумракъ, полусвѣтъ, гдѣ все неясно и неопредѣленно, но гдѣ все говоритъ сердцу, эти видѣнія, эти звуки, невѣдомо откуда несущіеся и манящіе въ туманную даль, эту любовь робкую и несчастную, съ мечтою о соединеніи *тамъ*. Земныя радости и земныя страданія не могли вдохновить Жуковскаго. Его счастіе было не на землѣ, и онъ самъ въ стихотвореніи своемъ „Къ Филалету" разсказываетъ неудавшуюся повѣсть своей юности и заставляетъ вѣрить, что эта неудача навсегда отозвалась тоскующими звуками его поэзіи:

Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго — какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не пріучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ своей для дружбы я созрѣлъ —
И что же!.. предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила.
Любовь... но я любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья,
И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эта постоянная скорбь о минувшихъ радостяхъ, которая такъ часто встрѣчается въ поэзіи Жуковскаго есть

Обѣтъ неизмѣнной надежды:
Что гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ,
Погибшее намъ возвратится.

Оттого счастье, говоря словами Жуковскаго, „гнѣздится въ отдаленьи". Это невѣдомое, *магическое тамъ* есть *та сторона очарованья*, по которой тоскуетъ поэтъ. Его блаженство

. . . . там
За синевой небесной,
Въ туманной сей дали, —
Тамъ все, что на земли
И мило и священно,
Вся жизнь, весь жребій твой,
Какъ призракъ оживленный,
Мелькаетъ предъ тобой.

Тамъ вознаградятся и забудутся всѣ земныя страданія человѣка. Туда душа перенесетъ — любовь и образъ милой. Тамъ, въ этой мечтательной загробной странѣ, унылый пѣвецъ Минваны, безотвѣтно и робко любившій прекрасную дочь морвенскаго владыки, вѣритъ своему соединенію съ возлюбленною. Онъ говоритъ ей:

Что, жизнь переживши,
Любовь лишь одна не разсталась съ душой;
Что робко любившій
Безъ радости любитъ и болѣе твой.

Этотъ таинственный, загробный міръ связанъ, однакожъ, съ міромъ дѣйствительнымъ. Часто доносится на землю, страну скорби и изгнанія, голосъ съ того свѣта, зовущій къ себѣ покинутаго друга; часто милый призракъ слетаетъ къ нему съ неба или подаетъ ему вѣсть о себѣ запахомъ цвѣтовъ, выросшихъ на могилѣ, или унылыми звуками, какъ въ „Эоловой арфѣ". Нигдѣ съ такою прелестью не выражена идея романтической любви у Жуковскаго, какъ въ этомъ стихотвореніи, гдѣ обаяніе звуковъ соединяется съ обаяніемъ чувства, понятнымъ только благородному и чистому сердцу юноши, любящему тоскливо и робко, безъ мысли объ обладаніи, о раздѣлѣ. Любовь говоритъ здѣсь не голосомъ земной страсти, жадной и бунтующей, съ пыломъ въ крови и туманомъ въ глазахъ. Нѣтъ, въ этомъ мірѣ все свѣтло и спокойно, все чуждо земли. Но этотъ *край желаннаго*, куда стремится душа поэта, сокрытъ отъ очей его. Поэтъ съ тоскою спрашиваетъ:

Кто жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ! найдется ль, кто мнѣ скажетъ
Очарованное „*Тамъ*".

Поэзія является посредницею между небомъ и землею, между этою невѣдомою, но желанною страною и печальнымъ міромъ, окружающимъ насъ. Источникъ этой поэзіи не земля, а небо: ее посылаетъ человѣку „геній чистой красоты“

Онъ лишь въ чистыя мгновенья
　Бытія слетаетъ къ намъ
И приноситъ откровенья,
　Благотворныя сердцамъ;
Чтобъ о небѣ сердце знало
　Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало
　Онъ даетъ взглянуть порой.

На томъ же основаніи муза Жуковскаго такъ любила и такъ умѣла передавать легенды среднихъ вѣковъ и таинственные разсказы, въ которыхъ народная фантазія выразила понятіе свое о загробной жизни и вѣрованія въ духовъ и мертвецовъ, приносящихъ вѣсти съ того свѣта. Любимою формою поэтическою для Жуковскаго была баллада, вся проникнутая его любимымъ содержаніемъ и, по большей части, передающая намъ повѣсть о сношеніяхъ съ другимъ міромъ. Дѣйствительности и опредѣленности было мало въ поэзіи Жуковскаго. Вся она расплывалась въ неопредѣленные, неясные образы. Очень понятно, что такое содержаніе его поэзіи не могло достигнуть полнаго художественнаго выраженія, доступнаго только той поэзіи, которая знаетъ, чего она хочетъ и о чемъ поетъ. Несмотря на „плѣнительную сладость“ стиховъ Жуковскаго, его поэзіи не доступны были тѣ художественные, законченные и совершенные образы, творцомъ которыхъ является Пушкинъ. Но въ исторіи русской литературы имя Жуковскаго занимаетъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ. Идя вслѣдъ за Карамзинымъ, онъ довершилъ дѣло, начатое имъ, и освободилъ нашу литературу отъ французскаго вліянія, внося въ нее новый, животворный источникъ, познакомя ее съ цѣлымъ кругомъ дотолѣ неизвѣстныхъ ей идей и, наконецъ, усвоивъ ей многія великія созданія чужой поэзіи. Познакомивъ насъ съ поэзіею юности европейскаго человѣчества, онъ какъ бы заставилъ пережить нашу литературу, а вмѣстѣ съ нею и общество, этотъ мечтательный возрастъ, и тѣмъ воспиталъ насъ къ воспріятію другихъ полныхъ, зрѣлыхъ и муже-

ственныхъ образовъ. Всякому человѣку дается пережить жизнію эту пору мечтательныхъ порывовъ и стремленій, пожить жизнію сердца, испытать ту робкую, застѣнчивую любовь, имѣющую такъ много невозвратимой, цѣломудренной прелести. Благо ему, если онъ развивался органически, если онъ не перескочилъ положенныхъ жизнію границъ, былъ съ молоду молодъ и не имѣлъ въ юности той сморщенной преждевременной старостью физіономіи, которая такъ отталкиваетъ отъ себя. Только въ этой школѣ благородныхъ порывовъ и увлеченій, еще съ неясно сознанною цѣлью, зрѣетъ душа для дѣйствительной жизни и опредѣленныхъ стремленій, только благородному, увлекающемуся юношѣ предоставлена жизнь практической дѣятельности, сѣющая кругомъ сѣмена добра, пользы и правды. *Буличъ.*

Отношеніе Жуковскаго къ романтическому движенію.

Дальнѣйшимъ развитіемъ сентиментальнаго направленія европейскихъ литературъ было романтическое движеніе, обнаружившееся въ нихъ въ концѣ прошлаго — началѣ нынѣшняго столѣтія. Движеніе это было явленіемъ чрезвычайно нужнымъ. Исходная точка движенія коренилась въ томъ общеевропейскомъ возбужденіи умовъ, которое наполняло собою вторую половину XVIII вѣка. Возбужденіе XVIII вѣка охватило всю умственную жизнь европейскаго человѣка, — во всѣхъ ея сферахъ: политической, естественно-научной, нравственной, религіозной. При своей всеобщности и всеобъемлимости, движеніе заключало въ себѣ различные, самые противорѣчивые элементы: вся умственная жизнь превратилась въ какой-то хаосъ переходной жизни. Мы видимъ какое-то общее недовольство старымъ порядкомъ вещей, старыми вѣрованіями, убѣжденіями, понятіями и неясное исканіе чего-то новаго, — исканіе, выражавшееся самыми разнообразными стремленіями.

Рядомъ съ Вольтеромъ и энциклопедистами является Руссо; скептицизмъ и самыя грубыя матеріалистическія теоріи высказываются рядомъ съ требованіями идеалистическаго чувства...

Происходило общее броженіе идей и понятій, въ которомъ заключались и элементы будущаго французскаго переворота и элементы будущей реакціи.

Таково было то умственное возбужденіе XVIII вѣка, результатомъ котораго, въ связи съ современными политическими событіями, явилось новое романтическое направленіе европейской мысли. Какъ и самая эпоха, изъ которой онъ вышелъ,— романтизмъ заключалъ въ себѣ массу противорѣчій.

Приближеніе романтическаго направленія выразилось, прежде всего, въ сферѣ литературныхъ идей. Сентиментально-меланхолическое настроеніе европейскихъ литературъ средины прошлаго вѣка было провозвѣстникомъ быстро приближающихся новыхъ литературныхъ идей — и скоро всецѣло слилось съ ними. Наступившее романтическое движеніе выразилось, главнымъ образомъ, въ двухъ формахъ,— въ стремленіяхъ къ новымъ свободнымъ идеямъ и понятіямъ къ свободной философіи, къ свободной поэзіи, выработавшимися французскимъ просвѣщеніемъ XVIII вѣка, и, какъ это на первый взглядъ ни показалось страннымъ, — въ еще болѣе сильномъ стремленіи къ старинѣ, въ стремленіи въ давно прошедшую даль среднихъ вѣковъ, въ давно исчезнувшій міръ средневѣковыхъ сказаній и преданій: а затѣмъ далѣе, въ связи съ этимъ,—въ стремленіи къ своей родной старинѣ, въ стремленіи къ своимъ національнымъ преданіямъ минувшаго прошлаго. Въ одно и то же время романтическое движеніе заключало въ себѣ и мотивы новаго, приближеніе котораго инстинктивно чувствовалось, и симпатіи къ старому, которое навсегда уже исчезало. Европейская мысль, въ одно и то же время, разомъ представляла двѣ противоположныхъ струи, два противоположныхъ теченія. Свободныя идеи XVIII вѣка пошли рядомъ съ возродившимися представленіями среднихъ вѣковъ. Рядомъ съ поклоненіемъ новымъ идеямъ, — передъ нами воскрешается въ поэзіи весь міръ средневѣковыхъ преданій. Поэзія какъ бы переселяется въ средніе вѣка, въ далекую родную даль, хочетъ жить прежнею, уже умершею жизнію. Возникло два направленія, взаимно уничтожающихъ одно другое... Иного результата и не могло получиться. Противорѣчіе романтизма было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ переходности эпохи. Идеи XVIII вѣка, въ своей непосредственной глубинѣ, во всей цѣлости,

слишкомъ крайни, и по тому самому не могли сдѣлаться достояніемъ массы: онѣ могли принадлежать только небольшому кругу смѣлыхъ умовъ, далеко ушедшихъ впередъ. Но, не дѣлаясь убѣжденіями большинства, — новыя идеи не могли не колебать старыхъ вѣрованій этого большинства; очень нерѣдко прежнія понятія падали, не замѣняясь новыми. Не теряя старыя убѣжденія и не пріобрѣтя новыхъ, средній человѣкъ, человѣкъ массы, терялъ подъ собою всякую почву, всякую нравственную опору. Такой результатъ пугалъ его. Невольно хотѣлось насильно удержать исчезавшій старый міръ, — искусственно предохранить себя отъ всемогущаго вліянія новыхъ идей. Человѣкъ съ любовію и грустію обращается назадъ и опять къ родной старинѣ, къ прежнимъ вѣрованіямъ; сердце его невольно стремится туда: возвращеніемъ ихъ онъ хочетъ вернуть свой прежній — теперь утраченный — нравственный покой. Новыя идеи своею крайностію вызываютъ сожалѣніе о старинѣ. Человѣкъ хочетъ опять жить своимъ прежнимъ нравственнымъ міромъ. Онъ отворачивается отъ неизбѣжныхъ результатовъ французской философіи, — онъ хочетъ опять быть религіознымъ, вѣрующимъ... Таковъ былъ источникъ романтическаго обращенія къ идеализированной старинѣ, къ міру поэзіи среднихъ вѣковъ, которые были наиболѣе сильнымъ выраженіемъ исчезавшаго теперь прошлаго. Таковы были причины двухъ противоположныхъ теченій въ европейскомъ романтизмѣ. Въ этомъ движеніи мы видимъ крайне возбужденную, энергически работающую, смѣлую и гордую мысль, которая, въ то же время, пугается своей смѣлости и своихъ порывовъ, смѣющуюся надъ своимъ прежнимъ безмятежнымъ младенчествомъ и вмѣстѣ плачущую о немъ, какъ объ утраченномъ раѣ, гордящуюся своими успѣхами и въ то же время смотрящую на нихъ, какъ на источникъ своей нравственной погибели. Въ „Фаустѣ" Гете и „Манфредѣ" Байрона лучше всего выразился характеръ этого направленія.

Таковы были существенныя черты того направленія европейской мысли, вліянію котораго подпала наша литература съ появленіемъ „Людмилы" Жуковскаго и въ его дальнѣйшей поэтической дѣятельности... Но поэтическая дѣятельность нашего поэта была выраженіемъ только одной стороны романтизма, — стороны обратной, такъ сказать, средне-

вѣковой. Европейскій романтизмъ имѣлъ, какъ мы сейчасъ видѣли, и другую сторону, кромѣ стремленій въ средніе вѣка, въ средневѣковую легенду, — имѣлъ струю новыхъ, свѣжихъ, свободныхъ стремленій. Съ этой стороной романтическаго движенія познакомилъ другой нашъ поэтъ, хотя очень кратковременною дѣятельностію. *Архангельскій.*

Отношеніе Жуковскаго къ философско-психологическому направленію эстетики XVIII—XIX вв.

Рядомъ съ исторической критикой, во главѣ которой стояли Лессингъ и Гердеръ, въ Германіи конца XVIII вѣка и первой половины XIX получаетъ сильное развитіе философско-психологическое направленіе эстетики разныхъ оттѣнковъ: систему философовъ Вольфа, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля популяризируютъ составители многочисленныхъ руководствъ, въ томъ числѣ — Зульцеръ, Эшенбургъ, Энгель, Бутервекъ, поэты Гете, Шиллеръ и писатели романтической школы.

Непосредственно изъ этого нѣмецкаго источника обильно черпалъ и нашъ Жуковскій.

Зульцеръ, Эшенбургъ и Энгель принадлежатъ, въ сущности, къ одной школѣ, ведущей свое начало отъ Баумгартена (1714—1762), которому эстетика обязана и самымъ своимъ именемъ, и опирающейся на ученіе Вольфа и англійскихъ психологовъ-эстетиковъ. Предметомъ искусства, учили они, является красота, какъ соединеніе прекраснаго съ благимъ и истиннымъ. Высшая цѣль искусства—нравственное исправленіе человѣка (die moralische Besserung des Menschen), пробужденіе въ немъ живого чувства правды и добра (die Erweckung eines lebhaften Gefühls des Wahren und des Guten). Великій поэтъ, говоритъ Зульцеръ, стремится къ тому, чтобы кротко направлять людей къ добродѣтели, дѣлая для нихъ пріятнымъ всякій долгъ, показывать имъ ихъ истинные интересы, облегчать неизбѣжные удары судьбы, услаждать горечь печали, укрощать страсти, воспламенять желаніе истинной славы. Религія и здравая политика опредѣляютъ направленіе поэзіи. Дѣло критиковъ — почаще напоминать поэтамъ объ ихъ нравственномъ долгѣ, а не разбирать только форму произведеній.

Итакъ, поэзія не только должна доставлять наслажденіе но и быть полезной, поучительной. Эту мысль Эшенбурга Мерзляковъ формулировалъ въ такихъ выраженіяхъ: „поэтъ тѣмъ удобнѣе поучаетъ, тѣмъ болѣе полезенъ, чѣмъ болѣе умѣетъ онъ нравиться; съ другой стороны, чѣмъ нравственнѣе и поучительнѣе его сочиненіе, тѣмъ оно становится занимательнѣе и пріятнѣе". Уже въ этихъ словахъ заключается попытка примирить требованіе нравственной пользы съ „теоріей стихотворства", или, иначе, разрѣшить очень старую и всегда новую дилемму: искусство для жизни и искусство для искусства?

Дилемма эта составляетъ предметъ особой статьи *Энгеля* „Von dem moralischen Nutzen der Dichtkunst", переведенной Жуковскимъ въ „Вѣстникѣ Европы" за 1809 г. (№ 3) подъ заглавіемъ: „О нравственной пользѣ поэзіи. Письмо къ Филалету". „Правило,— читаемъ здѣсь,— что стихотворецъ долженъ имѣть единственною цѣлію своею усовершенствованіе или образованіе добродѣтелей моральныхъ, не можетъ принадлежать къ теоріи стихотворнаго искусства". Стихи, „противные и непротивные морали", сочиняются по одинаковымъ правиламъ. Всякій критикъ скажетъ, что „Орлеанская дѣва" Вольтера, какъ произведеніе искусства, выше „Религіи", поэмы „Расинова сына", и это потому, что искусство имѣетъ свои законы, безъ соблюденія которыхъ оно перестаетъ быть искусствомъ. Энгель настолько дорожитъ самостоятельностью поэзіи, какъ искусства, что онъ легко прощаетъ стихотворцамъ погрѣшности „противу здравой логики": вѣдь они хотятъ только „веселить наше воображеніе пріятными мечтами, насъ забавлять, привлекать и трогать". Что нужды поэту „до противорѣчій логическихъ, если они не ощутительны для чувства, если не иначе могутъ быть замѣчены, какъ съ сильнымъ и долговременнымъ напряженіемъ мыслящей силы?... Какая нужда стихотворцамъ до истины!" Ни холодный разсудокъ ни мораль не въ правѣ нарушать законовъ искусства, посягать на свободу творчества. Но это нисколько не исключаетъ возможности примѣнять къ произведеніямъ искусства этическую мѣрку. „То, что не входитъ въ теорію военнаго искуства, — говоритъ Энгель, — можетъ быть еще правиломъ для воина; непринадлежащее къ теоріи стихотворства можетъ быть, несмотря на то, закономъ для самого

стихотворца". Вѣдь поэтъ не перестаетъ быть „человѣкомъ", почитателемъ Бога, членомъ общества, сыномъ отечества", и всякій читатель, „будучи критикомъ стихотворца, есть въ то же время и судія человѣка". „Горе поэту, если одобреніе судіи не будетъ для него столь же важно, какъ и одобреніе критика".

Энгель, какъ видимъ, довольно удачно вышелъ изъ затрудненія, и его рѣшеніе какъ нельзя болѣе могло удовлетворить Жуковскаго.

Строго говоря, ученіе Энгеля, Эшенбурга и Зульцера не представляло для Жуковскаго какой-либо новости, а только укрѣпляло и теоретически обосновывало его прежнія воззрѣнія на задачи поэта. Зато эстетика *Бутервека*, несомнѣнно, раскрывала передъ нимъ новые горизонты и подготовляла къ выработкѣ новаго, романтическаго идеала поэзіи. Жуковскій познакомился съ ней не позже 1807 г. Уже въ февралѣ этого года онъ писалъ Ал. Ив. Тургеневу: „Бутервекова эстетика у меня есть: ты можешь свой экземпляръ у себя оставить".

Бутервекъ былъ эклектикомъ, но ближе всего стоялъ къ Канту и романтикамъ. Его взгляды могутъ быть сведены къ слѣдующимъ положеніямъ.

Красота, служащая предметомъ искусства, состоитъ въ гармоніи частей и эстетическомъ характерѣ содержанія. Поэтическимъ можетъ быть только то, что̀ эстетично. Если въ стихотвореніи научные, моральные или религіозные интересы перевѣшиваютъ собственно эстетическіе, то поэзія исчезаетъ, и мы перестаемъ испытывать художественное наслажденіе. Произведенія поэзіи, которыя всего болѣе разсчитаны на поученіе, какъ разъ всего менѣе способны научить. Поэту не слѣдуетъ ограничиваться изображеніемъ внѣшняго міра: онъ долженъ помнить, что родина поэзіи — глубокіе тайники человѣческаго сердца, и никто не въ состояніи съ такой силой освѣтить сокровенный міръ человѣческихъ стремленій, чувствъ и ощущеній, какъ именно поэтъ. Мало того, поэзія, подобно философіи, способна уловить таинственный смыслъ жизни, охватить міровую жизнь, какъ цѣлое, постичь идею міровой гармоніи, идею безконечнаго. Никакую красоту нельзя признать совершенной, если ей чужда эстетическая черта безконечнаго („wenn ihr der ästhetische

Charakter des Unendlichen fehlt"), да и человѣкъ не заслуживалъ бы своего имени, если бы гармонія прекрасного въ природѣ или искусствѣ не напоминала ему, хотя бы смутно, о болѣе высокой гармоніи, которая составляетъ высшій законъ вселенной. Идеально прекрасное обладаетъ какой-то магической силой: оно переселяетъ насъ въ иной міръ, въ который мы беремъ съ собой изъ міра дѣйствительнаго ровно столько, сколько нужно, чтобы воспринимать по человѣчески (um menschlich zu empfinden).

Бутервекъ, такимъ образомъ, высшее значеніе и обаяніе поэзіи видитъ въ способности увлекать людей въ сферу возвышеннаго идеализма и философскаго созерцанія. Это эстетическое ученіе отрывало мысль поэта отъ временнаго и земного, заставляло его выйти на просторъ Божьяго міра и устремить вдохновенный взоръ къ небесамъ.

Вліяніе Бутервека на Жуковскаго могло быть тѣмъ значительнѣе, что оно удачно встрѣтилось со вліяніемъ Шиллера и романтиковъ.

Послѣдователь Канта, *Шиллеръ*, положилъ много труда на уясненіе проблемъ эстетики, и поэтъ представлялся ему мощнымъ чародѣемъ, жрецомъ святого искусства, глубокомысленнымъ созерцателемъ.

Волшебной силой вдохновенья,
Какъ жезлъ посланника боговъ,
Пѣвецъ низводитъ въ царство тлѣнья,
Уноситъ выше облаковъ
И убаюкиваетъ чувства
Святыми звуками искусства.

Художники — величайшіе мыслители; по глубинѣ непосредственной интуиціи они выше ученыхъ, и Шиллеръ обращается къ художникамъ съ слѣдующими крайне лестными словами:

Что въ мірѣ знанія открылъ мыслитель смѣлый,
То завоевано, открыто лишь чрезъ васъ,
Всѣ тѣ сокровища, что собралъ умъ прозрѣвшій,
Изъ вашихъ только рукъ пойметъ мыслитель самъ...
. . . .
Ведите же его таинственной стезей,
Чрезъ формы чистыя, чрезъ звуковъ міръ чистѣйшій,
Все къ высшимъ высотамъ, все къ красотѣ полнѣйшей

По чудной лѣстницѣ поэзіи святой,
Чтобъ на концѣ временъ еще порывъ живой,
Еще одно святое вдохновенье —
И человѣкъ повергся въ упоеньѣ
Въ объятья истины самой.

Восторженныя идеи Шиллера объ искусствѣ горячимъ отзвукомъ отдавались въ сердцѣ Жуковскаго, и онъ переводитъ его стихотвореніе „Die Theilung der Erde" („Раздѣлъ земли"), незамѣтно вставляя его въ свое обширное посланіе къ Батюшкову 1812 г.

Называя поэтовъ счастливѣйшими людьми, Жуковскій, вслѣдъ за Шиллеромъ, припоминаетъ сказаніе о томъ, какъ „преемникъ древній Крона" дѣлилъ землю. Въ этотъ важный моментъ поэтъ, какъ всегда, пребывалъ „въ странѣ воображенія (in Land der Träume) и, конечно, оказался обдѣленнымъ. Но, по милости бога, оплошность поэта послужила къ его же выгодѣ: онъ получилъ въ удѣлъ небеса, свободный доступъ въ страну духовъ, куда нѣтъ дороги непосвященной толпѣ.

Блаженствуя съ богами,
Ты презришь міръ земной,—

добавилъ отъ себя Жуковскій устами Зевса.

Нашъ поэтъ искренно сожалѣетъ, что великодушное обѣщаніе Зевса не можетъ получить реальнаго осуществленія:

Почто мы не съ крылами,
И вольны лишь мечтами,
А наяву въ цѣпяхъ?
Почто сей тяжкій прахъ
Съ себя не можемъ сринуть,
И міръ совсѣмъ покинуть,
И намъ дороги нѣтъ
Изъ мрачнаго изгнанья
Въ страну очарованья?

Жуковскій такимъ образомъ набросилъ на идеи Шиллера легкій флеръ меланхолической мечтательности. ему хотѣлось бы „міръ совсѣмъ покинуть" и жить мечтами воображенія. Это сказано, несомнѣнно, искренно, отъ сердца, но тотчасъ же ограничивается. въ угоду усвоеннымъ ранѣе понятіямъ о литературныхъ правилахъ и вкусѣ. Природа позволяетъ своей дочери, фантазіи-богинѣ, безпечно играть собою, но тѣмъ не менѣе

Велитъ ее хранить
Тремъ чадамъ первороднымъ,
Чтобъ прихотямъ свободнымъ
Ее не заманить
Въ туманы заблужденій:
То — съ пламенникомъ геній,
Наука съ свиткомъ музъ,
И съ легкою уздою
Очами зоркій вкусъ.

Несмотря на это противорѣчіе, видно, что Жуковскій всего болѣе дорожилъ именно свободой творчества, возможностью отдаться возвышеннымъ мечтамъ въ царствѣ небожителей. Въ 1818 г. онъ съ любовью переводитъ тѣ строфы баллады Шиллера „Графъ Габсбургскій", въ которыхъ императоръ Рудольфъ торжественно преклоняется предъ свободнымъ вдохновеніемъ пѣвца, поющаго „о любви благодатной, о всемъ, что святого есть въ мірѣ, что душу волнуетъ, что сердце манитъ".

Основное представленіе Жуковскаго объ актѣ поэтическаго творчества, видимо, эволюціонируетъ: сентиментально-идиллическія черты начинаютъ уступать мѣсто романтическимъ.

Еще шагъ — и метаморфоза закончена.

Шагъ этотъ былъ сдѣланъ при содѣйствіи *нѣмецкихъ романтиковъ*.

Отношеніе Жуковскаго къ нѣмецкой романтической школѣ, къ сожалѣнію, до сихъ поръ остается не вполнѣ выясненнымъ.

Хотя еще въ 1806 г. въ письмѣ къ Ал. Ив. Тургеневу Жуковскій сообщалъ, что онъ начинаетъ больше уважать нѣмецкихъ авторовъ и нѣмецкую философію, которая „возвышаетъ душу, дѣлая ее дѣятельнѣе, больше возбуждаетъ энтузіазмъ", но подъ старость, въ письмѣ къ А. С. Стурдзѣ отъ 1850 г., онъ откровенно признается: „Я совершенный невѣжда въ философіи: нѣмецкая философія была мнѣ доселѣ и неизвѣстна и недоступна; на старости лѣтъ нельзя пускаться въ этотъ лабиринтъ; меня бы въ немъ цѣликомъ проглотилъ минотавръ нѣмецкой метафизики, сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и пр. и пр.". Въ 1821 г. Жуковскій пробовалъ было читать сочиненіе Фихте „Die Bestimmung des Menschen" („Назначеніе человѣка"), но довольно безуспѣшно, если судить по „Дневнымъ замѣткамъ въ Бер-

линѣ". 1 (16) апрѣля онъ долженъ былъ оторваться отъ чтенія, чтобы итти къ великой княгинѣ и вмѣстѣ съ ней присутствовать за заутреней, часами и обѣдней. „Возвратясь, я принялся было читать „Fichte Die Bestimmung des Menschen", но вздумалъ, что теряю времени не для чего, и отправился въ Санъ-Суси смотрѣть галлерею". Черезъ недѣлю, опять вернувшись съ прогулки, онъ еще разъ берется за Фихте: „началъ читать и заснулъ надъ книгою, но не отъ скуки". Такъ и осталось неизвѣстнымъ, дочиталъ ли когда-нибудь нашъ романтикъ сочиненіе Фихте; но, во всякомъ случаѣ, Жуковскій все-таки обнаружилъ къ нему нѣкоторый интересъ. Къ Шеллингу же онъ отнесся уже совершенно неблагосклонно. 6 марта (н. ст.) 1811 г. онъ писалъ изъ Дюссельдорфа Ал. Ив. Тургеневу: „Ты же продолжай читать Библію, а Шеллинга брось: не думаю, чтобъ изъ его философіи откровенія что-нибудь могло выйти".

Очевидно, что философская сторона нѣмецкаго романтизма осталась чужда Жуковскому, какъ и нѣкоторые тезисы литературной теоріи романтиковъ. Извѣстно, напр., что въ 1821 г. онъ вступилъ въ споръ съ Людвигомъ Тикомъ относительно значенія Шекспира. „Я признался ему, — пишетъ Жуковскій, въ грѣхѣ своемъ, сказалъ, что chef-d'oeuvre Шекспира, „Гамлетъ", кажется мнѣ чудовищемъ, и что я не понимаю его смысла. На это сказалъ онъ мнѣ много прекраснаго, но, признаться, не убѣдилъ меня".

То же письмо, однако, свидѣтельствуетъ, что былъ одинъ пунктъ въ ученіи романтиковъ, который казался Жуковскому непреложно справедливымъ: это — мысль о томъ, что истинный геній обладаетъ особымъ даромъ интуиціи, способностью „вдругъ доходить до того, что другіе открываютъ глубокимъ размышленіемъ".

Къ 1817 году Жуковскій уже достаточно зналъ произведенія нѣмецкихъ романтиковъ: какъ видно изъ письма къ Дм. Вас. Дашкову, онъ намѣревался помѣстить въ задуманномъ имъ альманахѣ рядъ произведеній Тика, Ламот-Фуке, Жанъ-Поля, Шлегеля, Новалиса и др., при чемъ въ разсказахъ Фуке онъ находилъ „многое множество прекраснаго", а, упомянувъ о сочиненіи Новалиса „Der Poet Erzählung", не удержался, чтобы не сдѣлать въ скобкахъ помѣтки: „прекрасно".

Намъ вообще думается, что изъ всѣхъ нѣмецкихъ романтиковъ какъ по духу творчества, такъ и по воззрѣніямъ на жизнь и даже по настроенію, особенно близко стоялъ къ нашему Жуковскому именно *Новалисъ:* въ немъ прежде всего онъ могъ открыть „родственную душу". Нѣжный до женственности, мечтательный и религіозный, Новалисъ, подобно Жуковскому, не имѣлъ удачи въ любви: онъ потерялъ невѣсту, опоэтизированную имъ до ангельскаго совершенства, и съ этого момента, по выраженію Гайма, въ немъ начали „развиваться тѣ зародыши благочестія, изъ которыхъ быстро расцвѣтаетъ задушевная благочестивая поэзія". „До сихъ поръ,— говорилъ самъ Новалисъ, потрясенный своимъ горемъ,— я жилъ настоящимъ и надеждой на земное счастье, а впредь я буду жить только будущимъ, вѣрой въ Бога и въ безсмертіе души". Онъ такъ далеко уходитъ отъ дѣйствительной жизни, что готовъ припять ее за какой-то призракъ. „Наша жизнь — не греза, однако она должна превратиться въ нее и, можетъ-быть, превратится", читаемъ въ его фрагментахъ. „Вѣчность съ ея мірами, прошедшее и будущее — въ насъ или нигдѣ. Внѣшній міръ — міръ тѣней (die Schattenwelt), онъ бросаетъ свою тѣнь въ царство свѣта (sie wirft ihren Schatten in das Lichtreich)... Жизнь есть начало смерти. Жизнь существуетъ ради смерти". Несчастія въ сущности не бываетъ въ мірѣ: они — только временныя остановки потока жизни, который, преодолѣвъ ихъ, стремится далѣе. Душа человѣка инстинктивно порывается въ высшій, невидимый міръ: только недостатки нашего физическаго организма виною того, что мы не видимъ себя въ мірѣ фей. „Всѣ сказки суть не что иное, какъ мечты о томъ родномъ мірѣ (Träume von jener heimatlichen Welt), который всюду и нигдѣ". Сказка и есть идеальный видъ поэзіи. Но эта „сказочная" поэзія должна быть полна глубокой философіи. Настоящій поэтъ всезнающъ; поэзія тѣсно связана съ философіей: между философами и поэтомъ не должно быть розни.

Уже сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы видѣть, что Жуковскій и Новалисъ — люди одного психологическаго типа. Развѣ нельзя почти буквально примѣнить къ нашему поэту слѣдующую характеристику Новалиса, данную Карлейлемъ: „Поэзія, добродѣтель и религія, которыя для другихъ людей существуютъ, такъ сказать, лишь по преданію

и въ воображенія, для него — вѣчное основаніе вселенной, а всѣ земныя пріобрѣтенія, все, изъ-за чего честолюбіе, надежда, страхъ побуждаютъ насъ къ труду и грѣху, на самомъ дѣлѣ лишь игра фантазіи, нѣкоторое тѣневое отраженіе на зеркалѣ безконечности, но въ сущности — воздухъ, ничто. Итакъ, жить въ этомъ свѣтѣ разума, имѣть свое жилище въ этомъ вѣчномъ городѣ, въ то время какъ насъ окружаютъ призраки существующаго, — вотъ высокая и единственная обязанность человѣка. Все это Новалисъ рисуетъ себѣ въ разныхъ образахъ".

Указывая на это духовное родство Новалиса и Жуковскаго, что заслуживало бы спеціальнаго изученія, мы не слишкомъ поражаемся тѣмъ обстоятельствомъ, что у нашего поэта совсѣмъ нѣтъ переводовъ изъ Новалиса: нѣмецкій романтикъ своей мистической глубиной или темнотой (какъ хотите), несомнѣнно, долженъ былъ затруднять даже такого переводчика, какъ Жуковскій, а съ другой стороны, мы должны припомнить приведенный выше фактъ, что у Жуковскаго все-таки было намѣреніе перевести изъ Новалиса для своего альманаха. Мало того, мы можемъ указать одинъ драгоцѣнный для насъ слѣдъ вліянія Новалиса на Жуковскаго, какъ разъ относящійся къ области разсматриваемаго нами вопроса.

Въ посланіи къ кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину 1814 г. Жуковскій употребляетъ красивое и оригинально сравненіе поэта съ Мемнономъ.

Одинъ среди песковъ Мемнонъ,
Сидя съ возвышенной главою,
Молчитъ — лишь гордою стопою
Касается ко праху онъ;
Но лишь денницы появленье
Вдали востокъ воспламенитъ, —
Въ восторгѣ мраморъ пѣснь гласитъ.
Таковъ поэтъ, друзья!

Трудно сомнѣваться въ томъ, что это сравненіе было позаимствовано изъ фрагментовъ Новалиса, гдѣ читаемъ: „Духъ поэзіи есть утренній свѣтъ, заставляющій статую Мемнона издавать звуки". Развивая идею, заложенную въ этомъ изреченіи, Жуковскій рѣзкими чертами, совершенно въ духѣ романтиковъ, противопоставляетъ поэта толпѣ:

Другъ Пушкинъ! счастливъ, кто поэтъ;
Его блаженство прямо съ неба;

Онъ имъ не дѣлится съ толпой:
Его судьи лишь чада Феба!
Ему ли съ пламенной душой
Плоды святого вдохновенья
Къ ногамъ холодныхъ повергать,
И на колѣнахъ ожидать
Отъ недостойныхъ одобренья?
. . . .
Презрѣнье
Въ пыли таящимся душамъ!
Оставимъ ихъ попрать стопамъ,
А взоры устремимъ къ востоку.

Оберегая свою независимость, поэтъ „въ тиши уютнаго уединенья" поетъ „для музъ, для наслажденья, для сердца вѣрнаго друзей". Онъ не станетъ прельщаться славой: она — „обвитый розами скелетъ"; будетъ находить наслажденіе въ самомъ трудѣ, ожидая нелицепріятныхъ похвалъ потомства.

О благотворный трудъ,
Души печальныя цѣлитель
И счастія животворитель!
Что передъ тобой ничтожный судъ
Толпы, въ рѣшеніяхъ пристрастной,
И вѣтреной и разногласной!
. . . .
Собою счастливый поэтъ,
Твори, будь твердъ, ихъ зданья ломки,
А за тебя дадутъ отвѣтъ
Необольстимые потомки.

Хотя и прежде у Жуковскаго можно было встрѣтить мысль, что онъ предпочитаетъ пѣть „для нѣкоторыхъ", для избраннаго круга друзей, что его не плѣняютъ похвалы толпы, что онъ мечтаетъ о славѣ въ потомствѣ, но все это было скорѣе проявленіемъ идиллической замкнутости и — главное — никогда еще не отливалось въ форму такого рѣшительнаго пренебреженія къ толпѣ, къ „черни непосвященной", какъ въ этомъ посланіи. По страстности тона и по основной идеѣ оно поразительно напоминаетъ извѣстныя стихотворенія А. С. Пушкина о поэтѣ и поэзіи.

Очевидно, въ сознаніи Жуковскаго все болѣе и болѣе складывается новое представленіе о поэтѣ въ духѣ романтизма, и, изучая его произведенія послѣдующихъ годовъ, мы замѣчаемъ, что ему мучительно хочется *воплотить* въ какой-

нибудь осязательный образъ свои *идеи о поэзіи*, чтобы тѣмъ самымъ лучше уяснить себѣ ея сущность.

Въ 1821 г. по случайнымъ обстоятельствамъ нашъ поэтъ былъ плѣненъ очаровательнымъ образомъ восточной красавицы, *Лалла Рукъ*, героини въ поэмѣ Томаса Мура. Въ ней онъ увидѣлъ „генія чистой красоты", который въ „чистыя мгновенья бытія" приноситъ намъ съ неба „благотворныя откровенья"; въ видѣ Лалла Рукъ явилась ему и поэзія:

Сама гармонія святая
Ея, намъ мнилось, бытіе,
И мнилось, душу разрѣшая,
Манила въ рай она ее.

Образъ „генія чистой красоты" навелъ Жуковскаго на общія *разсужденія о прекрасномъ*. Исходя изъ изреченія Руссо: „il n'y a de beau que ce qui n'est pas", онъ толкуетъ его въ томъ смыслѣ, что „прекрасное существуетъ, но его нѣтъ", т.-е. что мы ощущаемъ его присутствіе въ лучшія минуты нашей жизни (при созерцаніи величественныхъ картинъ природы или величія души человѣческой, при наслажденіи поэзіей, въ моменты сильнаго счастія, а еще болѣе несчастія), но „его ни удержать, ни разглядѣть, ни постигнуть мы не можемъ". Это — какой-то „таинственный посѣтитель" съ небесъ; это — нѣчто „невыразимое", „недоступное" языку земному. Постигая лишь чувствомъ таинственную сущность прекраснаго, „стремишься не къ тому, чѣмъ чувство произведено и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому, что съ нимъ соединяется и чего съ нимъ нѣтъ, и что для тебя гдѣ-то существуетъ. И это стремленіе есть одно изъ невыразимыхъ доказательствъ безсмертія". Въ подобныя мгновенія человѣкъ испытываетъ какую-то животворную, сладкую грусть, „восхитительную тоску по отчизнѣ".

Въ письмѣ къ Гоголю 1848 г., подъ заглавіемъ: „Слова поэта — дѣла поэта", Жуковскій, буквально повторивъ только что приведенныя мысли, дѣлаетъ и дальнѣйшіе выводы собственно по отношенію къ творчеству. „Это прекрасное, котораго нѣтъ въ окружающемъ насъ вещественномъ мірѣ, но которое въ немъ находитъ душа наша, пробуждаетъ ея творческую силу", и тогда „всѣ мелкія, разрозненныя части

видимаго міра сливаются въ одно гармоническое цѣлое, въ одинъ, самъ по себѣ несущественный, но ясно душою нашею видимый образъ. Этотъ образъ есть красота, т.-е. „ощущеніе и слышаніе душою Бога въ созданіи". Художникъ творитъ „по образу и подобію Творца своего", но творитъ „заимствованными изъ созданія средствами", стремясь къ „осуществленію того прекраснаго, котораго тайну душа открываетъ въ твореніи Бога". Истинное творчество — свободное, вдохновенное, ни съ какимъ постороннимъ видомъ не соединенное." Искусство имѣетъ свои градаціи „самое высшее изъ произведеній художества есть то, когда художникъ выражаетъ не только собственную идею, но въ своей идеѣ и самого верховнаго творца; самое низшее то, когда онъ съ рабскою точностью повторяетъ видимое твореніе: между сими двумя крайностями оттѣнки безчисленны, начиная отъ сходнаго во всѣхъ подробностяхъ изображенія насѣкомаго до вдохновеннаго изображенія Троицы.

Въ цитированномъ нами письмѣ Жуковскаго къ Гоголю содержится уже цѣлая эстетическая теорія, выработавшаяся подъ вліяніемъ Бутервека, Шиллера и романтиковъ. Сходство мыслей Жуковскаго съ ихъ ученіемъ очевидно, но нашъ писатель, всегда державшійся того мнѣнія, что „все какъ красное — родня" и „сливается въ одно: Богъ:", внесъ пре видимъ, въ свои разсужденія конкретную идею Бога. Подъ старость, когда, по его собственному выраженію, „мы болѣе обращаемся вовнутрь себя и смотримъ за границу жизни", религіозное чувство всецѣло овладѣваетъ его внутреннимъ міромъ, и поэзію онъ мыслитъ уже не иначе, какъ въ тѣсномъ союзѣ съ вѣрой.

Истинная, высшая поэзія (какъ вообще высшее искусство) есть „откровеніе въ тѣснѣйшемъ смыслѣ", „земная, блестящая риза правды, любви безмятежной, а ея имя — Богъ-Спаситель". Поэтъ — посланникъ Бога; онъ „ищетъ, находитъ и открываетъ другимъ повсемѣстное присутствіе духа Божія". Дѣйствіе поэзіи совершенно особенное: оно „не есть ни умственное, ни нравственное", оно не даетъ душѣ ничего опредѣленнаго: ни „новой, логически обработанной идеи", ни положительнаго нравственнаго правила; нѣтъ,— „это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое дѣйствіе откровенной красоты, которая всю душу обхватываетъ и въ ней оставляетъ

слѣды неизгладимые". Все изложенное до сихъ поръ достаточно убѣждаетъ насъ въ томъ, что Жуковскій вполнѣ усвоилъ себѣ *романтическое пониманіе* процесса поэтическаго творчества; волны романтизма окончательно смыли его идиллическую хижину, и онъ нашелъ себѣ спасеніе въ ковчегѣ вѣры, на высотахъ вдохновенной поэзіи. *Сакулинъ.*

Поэзія Жуковскаго.

Значеніе Жуковскаго въ развитіи русской литературы очень важно: младшій современникъ Карамзина и старшій — Пушкина, дѣйствовавшій рядомъ съ тѣмъ и другимъ, онъ занялъ однако въ литературѣ самостоятельное мѣсто и оказалъ на нее свое особое вліяніе. Принято говорить, что Жуковскій былъ проводникомъ въ нашу словесность романтизма. Конечно, это справедливо; но должно разумѣть это не въ томъ смыслѣ, что Жуковскій былъ прекраснымъ переводчикомъ Шиллера, Бюргера, Грея, Соути и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ конца прошлаго вѣка и начала нынѣшняго, а въ томъ, что онъ сообщилъ русской литературѣ новое настроеніе силой собственнаго дарованія. Въ особенности въ раннюю пору своей поэтической дѣятельности онъ далеко не ограничивался переводами и подражаніями, да изъ переводовъ выбиралъ только такія стихотворенія иностранныхъ поэтовъ, которыя гармонировали съ его собственнымъ поэтическимъ настроеніемъ.

Въ чемъ же заключается особенность поэтическаго настроенія Жуковскаго, которая такъ нравилась его современникамъ и, подъ названіемъ романтизма, создала его славу?

Жуковскій — по преимуществу лирикъ, и лирика его чисто задушевная. Внутренній миръ души поэта составляетъ исключительное содержаніе его поэзіи, и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ заимствуетъ образы не изъ своей личной жизни и обстановки, когда онъ переносится въ чуждую среду или въ иное отдаленное время, онъ вполнѣ подчиняетъ свои созданія своимъ личнымъ впечатлѣніямъ и чувствованіямъ. Естественно, что при такихъ условіяхъ объясненіе поэтическому настроенію Жуковскаго нужно искать не столько въ лите-

ратурномъ вліяніи иностранныхъ поэтовъ извѣстной школы, сколько въ обстоятельствахъ его собственной жизни и развитія.

Извѣстно, что онъ былъ сынъ бѣлевскаго помѣщика Аѳанасія Ивановича Бунина и плѣнной турчанки, что отца своего онъ лишился въ дѣтствѣ и воспитанъ былъ въ семействѣ Бунина, гдѣ послѣ смерти Аѳанасія Ивановича осталась главой его вдова, а мать Жуковскаго жила въ ключницахъ. Въ той исключительно женской семьѣ — впрочемъ, хорошо образованной по тому времени — всѣ ласкали безроднаго юношу; изъ этой обстановки онъ вынесъ мягкость и нѣжную впечатлительность своего характера; но, несмотря на ласковый уходъ, онъ все-таки не могъ не чувствовать себя одинокимъ. „Семейнаго счастія для меня не было, говорилъ онъ объ этомъ времени впослѣдствіи: — всякое чувство надобно было стѣснять въ глубинѣ души; несмотря на нѣкоторые признаки дружбы, я сомнѣвался часто, существуетъ ли дружба, и всегда оставался въ нерѣшимости чрезмѣрно тягостной — сказать себѣ: дружбы нѣтъ. На что было рѣшиться? Скрывать все въ самомъ себѣ и терпѣть, и даже показывать видъ, что всѣмъ доволенъ: принужденіе слишкомъ тяжелое, при откровенности моего характера, который, однако, отъ навыка сдѣлался и скрытнымъ“.

Послѣ окончанія образованія въ благородномъ пансіонѣ Московскаго университета, гдѣ Жуковскій впервые вкусилъ прелесть авторства и увлекался моднымъ тогда сентиментализмомъ, и послѣ недолгой службы въ Москвѣ, молодой человѣкъ возвратился на родину, и въ томъ же домашнемъ кругу, гдѣ онъ воспитался, онъ встрѣтилъ прекрасную молодую дѣвушку, которую полюбилъ всею душой, и которая платила ему полною взаимностью: то была внучка Бунина, дочь Екатерины Аѳанасьевны Протасовой. Марья Андреевна Протасова, равно какъ и сестра ея Александра Андреевна выросли на глазахъ Жуковскаго, и онъ же былъ главнымъ руководителемъ ихъ образованія: единство развитія сблизило молодыхъ людей. Но когда Жуковскій вздумалъ просить руки Марьи Андреевны, ея мать рѣшительно воспротивилась такому браку: опираясь на уставы Церкви, она не соглашалась завѣдомо ихъ нарушить. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Жуковскій возобновлялъ свои попытки, но, несмотря на со-

дѣйствіе нѣкоторыхъ близкихъ людей, всегда встрѣчалъ упорное сопротивленіе со стороны Екатерины Аѳанасьевны. Тяжело ему было переносить эти отказы, но итти наперекоръ имъ, жениться на Марьѣ Андреевнѣ противъ воли ея матери онъ никогда бы и не подумалъ: онъ зналъ, что такое насиліе внесетъ раздоръ въ дорогую ему семью.

Утративъ надежду на брачный союзъ съ племянницей, Жуковскій хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, сохранить права ея дяди, быть прямымъ братомъ ея матери, покровителемъ ея семьи. Онъ рѣшился объясниться о томъ съ Екатериной Аѳанасьевной. На первый взглядъ въ такомъ оборотѣ его намѣреніи можно предположить долю сердечной софистики: быть можетъ, такъ объясняла себѣ намѣреніе Жуковскаго и сама Е. А. Протасова. Но на самомъ дѣлѣ было иначе: идеалистъ-поэтъ дѣйствительно рѣшился пожертвовать всѣмъ, что въ его чувствѣ было эгоистическаго. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ — въ высшей степени характерныхъ для его личности — объяснялъ онъ свой поступокъ самой Марьѣ Андреевнѣ: „Чего я желалъ? Быть счастливымъ съ тобою. Изъ этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все замѣнить. Пусть буду счастливъ тобою! Моя привязанность къ тебѣ теперь точно безъ примѣси собственнаго, и отъ этого она живѣе и лучше. Если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда съ своимъ дурнымъ старымъ товарищемъ — грустью; стоитъ уйти къ себѣ, чтобы опять себя отыскать такимъ, какимъ надобно... Маша моя (теперь моя болѣе, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня рѣшительно отъ тебя отказаться? Ангелъ мой, совсѣмъ не мысль, что я желаю беззаконнаго. Нѣтъ! я никогда не перемѣню на этотъ счетъ своего мнѣнія, и вѣрю, что я былъ бы счастливъ, и что Богъ благословилъ бы нашу жизнь. Совсѣмъ другое и гораздо лучшее побужденіе произвело во мнѣ эту перемѣну: твое собственное счастіе и спокойствіе! Рѣшившись на эту жертву, я входилъ во всѣ права твоего отца. Другая, новѣйшая связь! Право, эти минуты были для меня божественныя: и если можно слышать на землѣ голосъ Божіи, то, конечно, въ ту минуту онъ мнѣ послышался! Съ этимъ чувствомъ все для меня перемѣнилось, всѣ отношенія къ тебѣ сдѣлались другія: я почувствовалъ въ душѣ необыкновенную ясность: то, чего

я никогда не имѣлъ въ жизни, вдругъ сдѣлалось моимъ: я видѣлъ подлѣ себя сестру и сдѣлался другомъ, покровителемъ, товарищемъ ея дѣтей; я готовъ былъ глядѣть на маменьку [1]) другими глазами и, право, восхищался тѣмъ чувствомъ, съ какимъ бы назвалъ ее сестрой. Ничего еще подобнаго не бывало у меня въ жизни! Имя сестры въ первый разъ въ жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готовъ былъ ее обожать; ни въ комъ не имѣла бы она такого неизмѣннаго друга, какъ во мнѣ. До сихъ поръ имя сестра только меня пугало; оно казалось мнѣ разрушителемъ моего счастія; послѣ совершеннаго пожертвованія себя, оно показалось мнѣ самымъ лучшимъ утѣшеніемъ, совершенною всему замѣной. Боже мой, какая прекрасная жизнь мнѣ представилась! Самое дѣятельное, самое ясное усовершенствованіе себя всѣмъ добромъ. Можно ли, милый другъ, измѣнить великому чувству, которое насъ вознесло выше самихъ себя? Жизнь, освѣщенная этимъ великимъ чувствомъ, казалось мнѣ прелестною! Быть вашимъ отцомъ (братъ вашей матери имѣетъ на это имя право), назвать васъ своими и заботиться о вашемъ счастіи — чѣмъ для этого не пожертвуешь? Стоило ей только вообразить, что братъ ея всталъ изъ гроба и просится опять въ ея домъ, или лучше — вообразить, что живъ вашъ отецъ, и что онъ съ полною къ вамъ любовью хочетъ съ вами быть опять на свѣтѣ. Осмотрѣвшись въ Дерптѣ, я увѣренъ, что здѣсь работалъ бы я такъ, какъ нигдѣ нельзя работать: никакого разсѣянія, тьма пособій и ни малѣйшей заботы о томъ, чтобы прожить день, и при всемъ этомъ первое и единственное мое счастье — семья. Съ такимъ чувствомъ пошелъ я къ ней, къ моей сестрѣ. Что же въ отвѣтъ? „Разстаться!“ Она увѣряетъ меня, что не отъ недовѣрчивости, а для сохраненія твоей и ея репутаціи. Нѣтъ, эта причина несправедливая! Но все равно, я не раскаиваюсь въ своемъ пожертвованіи!...“

Исполняя желаніе своей сводной сестры, Жуковскій удалился изъ Дерпта, гдѣ она жила съ Марьей Андреевной при своей младшей замужней дочери, и на прощанье просилъ Марью Андреевну только объ одномъ: „Не позволяй тобою жертвовать, а заботься о своемъ счастіи“. Переѣхавъ

[1]) То-есть, на мать Марьи Андреевны, Екатерину Аѳанасьевну Протасову.

въ Петербургъ, Жуковскій все еще не покидалъ вполнѣ мысли о возможности столь желаннаго брака, какъ вдругъ получилъ изъ Дерпта вѣсть, что Марья Андреевна рѣшилась успокоить мать, выйдя замужъ за другого человѣка. Тяжелъ былъ новый ударъ, нанесенный чувству поэта. Не допуская перемѣны въ привязанности молодой дѣвушки, онъ, однако, поспѣшилъ въ Дерптъ и убѣдился, что Марья Андреевна приняла свое рѣшеніе не по принужденію, а просто по соображеніямъ благоразумія. Тогда Жуковскій вполнѣ присоединился къ этому рѣшенію; мало того: неизмѣнный въ чувствахъ благородства и чести, онъ принялъ самое живое участіе въ томъ, чтобы лучше устроить судьбу той, которую любилъ и которую не могъ назвать своею женой. „Я хочу добра, — писалъ онъ около этого времени (еще до свадьбы Марьи Андреевны) близкимъ ему людямъ, и не только хочу, теперь могу его сдѣлать. Руки развязаны. И какое же добро?... *Устроить* счастіе Маши: я теперь знаю, что она не можетъ и не должна оставаться въ томъ положеніи, въ какомъ она теперь. Что за жизнь, которую она ведетъ! Нѣтъ свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни дѣйствовать! Даже нѣтъ своего угла! Во всемъ тяжелая, убійственная неволя. Какъ не пожелать для нея такого состоянія, въ которомъ она будетъ имѣть все нужное для сердца!" Затѣмъ, обращаясь къ своему личному внутреннему міру, Жуковскій говорилъ: „Что же касается меня самого, то нельзя же вдругъ всего передѣлать. Но вы за меня не бойтесь. Я вообще счастливъ... Тяжелыя минуты были и будутъ; но славное чувство пропасть не можетъ. А въ этомъ [illegible] Вотъ что я за собою замѣтилъ: всякій разъ, когда я бывалъ съ Мойеромъ [1]) одинъ, мнѣ было грустно, но не о себѣ, а о Машѣ. Все приходила въ голову мысль, что съ нимъ она не будетъ имѣть всего и можетъ жалѣть о прошедшемъ. И все, что меня убѣждало въ противномъ, меня радовало. Теперь я увѣренъ и болѣе на этотъ счетъ спокоенъ; а время все сдѣлаетъ, и мы поможемъ времени. Кажись бы [illegible] хорошо, [illegible] нѣтъ? Во мнѣ есть другой человѣкъ, которому бываетъ больно, когда онъ замѣтитъ привязанность Маши къ Мойеру. Этотъ „человѣкъ" (сколько я замѣтилъ) бурлитъ болѣе

[1]) Женихъ Марьи Андреевны.

къ вечеру, и думаю, что онъ живетъ въ желудкѣ! Но онъ связанъ крѣпкими кандалами и осужденъ умереть съ голоду, и онъ умретъ непремѣнно; и если живъ еще, то оттого, что онъ слишкомъ крѣпкаго сложенія. И знаете ли, что будетъ его убійцею? Что-то воздушное, безтѣлесное, живущее въ нижеслѣдующихъ каракуляхъ:

Все въ жизни къ прекрасному средство!
И горесть, и радость—все въ цѣли одной!
Хвала жизнедавцу Зевесу!

„Можно ли измѣнить прекрасной цѣли? Можно ли не остаться вѣрнымъ доброму, высокому чувству? Прекрасное можно назвать жизнію, которая все *жизнь*, несмотря на болѣзни, которыя нарушаютъ ея порядокъ".

Строки эти доказываютъ, что въ самый трагическій моментъ своей жизни Жуковскій нимало не поколебался въ своемъ идеалѣ и, напротивъ, находилъ въ немъ утѣшеніе и успокоеніе.

Замужество Маріи Андреевны было непродолжительно. Жуковскій не разъ навѣщалъ ее въ Дерптѣ, и въ послѣдній— за десять дней до ея кончины (19 марта 1823 года). Не разъ потомъ пріѣзжалъ онъ туда, чтобы поклониться ея могилѣ, и хотѣлъ быть похороненъ на одномъ съ нею кладбищѣ. Вскорѣ послѣ смерти ея онъ писалъ: „Все высокое сдѣлается для меня теперь *втрою:* все стало понятнѣе, но это высокое надобно пріобрѣсти, иначе Маша навсегда потеряна. Жизнь точно святыня. Маша сама меня въ этомъ увѣрила". — „Я остановился на могилѣ Маши, писалъ онъ нѣсколько позже: — чувство, съ какимъ я взглянулъ на ея тихій, цвѣтущій гробъ, тогда было утѣшительнымъ, усмиряющимъ чувствомъ. Надъ ея могилою небесная тишина. Мы провели вмѣстѣ съ Мойеромъ усладительный часъ на этомъ райскомъ мѣстѣ".

„Романъ моей жизни конченъ", говорилъ Жуковскій послѣ брака Марьи Андреевны съ докторомъ Мойеромъ. Мы видѣли, что романъ этотъ продолжался еще нѣкоторое время: совсѣмъ онъ кончился только послѣ смерти какъ Марьи Андреевны, такъ и ея сестры; съ ними Жуковскій похоронилъ самыя дорогія чувства своей молодости. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что этотъ сердечный романъ съ своимъ

естественнымъ прологомъ — сиротствомъ Жуковскаго въ домашнемъ кругу — наполняетъ всю первую половину его жизни и составляетъ главнымъ образомъ ту основу, на которой развилась его лирика.

Жуковскій любилъ называть первымъ своимъ стихотвореніемъ извѣстную элегію „Сельское кладбище", прекрасно переведенную имъ изъ Грея въ 1802 году. На самомъ дѣлѣ онъ началъ писать и даже печатать ранѣе, еще съ 1797 г.; но дѣйствительно „Сельское кладбище" было первымъ стихотвореніемъ, доставившимъ Жуковскому почетную извѣстность въ литературѣ. Уже въ этой пьесѣ замѣтно то грустное настроеніе, которое владѣло душой поэта съ юности, и въ переводѣ 1802 года оно было слышнѣе, чѣмъ въ позднѣйшемъ его же переводѣ 1839 года. За „Сельскимъ кладбищемъ" послѣдовалъ длинный рядъ стихотвореній, содержаніе которыхъ составляетъ, главнымъ образомъ, любовь... „Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени!" писалъ Жуковскій Александру Ивановичу Тургеневу въ 1810 году по поводу своей литературной дѣятельности. Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна... Если романическая любовь можетъ спасать душу отъ порчи, зато она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ, какъ царь, сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время". Такъ говорилъ Жуковскій, собираясь расширить свое образованіе чтеніемъ и этимъ способомъ приготовиться къ большимъ литературнымъ трудамъ. Но любовь, „этотъ убійственный предметъ", противъ котораго онъ хотѣлъ бороться въ 1810 году, напротивъ того, все сильнѣе расцвѣтала въ сердцѣ поэта, и этому обстоятельству мы обязаны тѣми стихотвореніями, въ которыхъ лучше всего выразилось, въ первую половину его жизни, направленіе его поэзіи.

Жуковскій понималъ любовь въ самомъ возвышенномъ смыслѣ. Вотъ какъ изображалъ онъ свой идеалъ любви въ посланіи къ одному изъ своихъ друзей, К. Н. Батюшкову:

Любовь — святой хранитель
Иль грозный истребитель

Душевной чистоты;
Отвергни сладострастья
Погибельны мечты,
И не восторговъ — счастья
Въ прямой ищи любви;
Восторговъ изступленье —
Минутное забвенье;
Отринь ихъ, разорви
Лаисъ коварныхъ узы;
Друзья стыдливыхъ — музы;
Во храмъ священный ихъ,
Прелестницъ записныхъ,
Толпа войти страшится...
И что, мой другъ, сравнится
Съ невинною красой?
При ней цвѣтемъ душой!
Она, какъ ангелъ милый,
Одной явленья силой,
Могущая собой,
Вливаетъ въ сердце радость.
О, скромныхъ взоровъ сладость,
Движеній тишина,
Стыдливое молчанье,
Гдѣ вся душа слышна;
Рѣчей очарованье,
Безпечность простоты,
И прелесть безъ искусства,
Которая для чувства
Прекраснѣй красоты!
Ихъ несказанной властью
Блаженнѣйшею страстью
Душа растворена,
Вкушаетъ сладость рая,
Земное отвергая,
Небеснаго полна.

Это стихотвореніе, еще исполненное свѣтлою надеждой, написано въ 1812 году, въ то время, когда любовныя мечты поэта еще не были ничѣмъ смущены. Но скоро, какъ мы знаемъ, къ любви его примѣшались горькія чувства, и съ тѣхъ поръ всѣ любовныя стихотворенія Жуковскаго принимаютъ оттѣнокъ меланхоліи; годъ спустя послѣ того, какъ были написаны приведенные стихи, разлука внушаетъ ему уже слѣдующія грустныя строки:

О, милый другъ, намъ рокъ велѣлъ разлуку:
Дни, мѣсяцы и годы пролетятъ,

Вотще къ тебѣ простру отъ сердца руку —
Ни голосъ твой ни взоръ меня не усладять.
Но и вдали моя душа съ твоей согласна;
Любовь ни времени ни мѣсту не подвластна;
Всегда, вездѣ ты мой хранитель-ангелъ будь;
Меня, мой другъ, не позабудь.

Отнынѣ стремленіе къ любви, мечты о ней и грусть по не сбывшимся надеждамъ, словомъ любовь неудовлетворенная, становятся обычною темой поэзіи Жуковскаго. По вѣрному замѣчанію его почтеннаго біографа К. К. Зейдлица, въ балладѣ „Эльвина и Эдвинъ" (1814 г.), читаешь какъ будто содержаніе разговоровъ Жуковскаго съ матерью любимой имъ дѣвушки, — только мать замѣнена отцомъ:

Съ холодностью смотрѣлъ старикъ суровый
На ихъ любовь, на счастье двухъ сердецъ.
„Разстаньтесь!" роковое слово
Сказалъ онъ наконецъ.
Увы, Эдвинъ! Въ какой борьбѣ въ немъ страсти!
И ни одной нѣтъ силы побѣдить...
Какъ не признать отцовской власти?
Но какъ же не любить?

То же содержаніе и въ балладѣ „Алина и Альсимъ" (того же года):

Зачѣмъ, зачѣмъ вы разорвали
Союзъ сердецъ?
Вамъ розно быть! вы имъ сказали —
Всему конецъ!
Что пользы въ платье золотое
Себя рядить?
Богатство на землѣ прямое
Одно: любить.

Содержаніе баллады „Эолова арфа" (того же года) — любовь, несчастная по неравенству состояній: здѣсь мысль поэта о вѣчномъ значеніи любви высказывается еще полнѣе и опредѣленнѣе. Онъ —

Пѣвецъ сладкогласный,
Но родомъ не знатный, не княжескій сынъ...

Она — царская дочь. Въ тиши ночи, при свѣтѣ луны, подъ дубомъ вѣтвистымъ происходитъ ихъ свиданіе въ предчувствіи скорой разлуки, конечно — невольной. Пѣвецъ при-

вязываетъ свою арфу подъ наклономъ вѣтвей, чтобъ она была

...для милой
Залогомъ прекрасныхъ минувшаго дней.

Пѣвецъ сосланъ въ изгнанье, но его возлюбленная приходитъ на мѣсто ихъ встрѣчи —

И вдругъ... изъ молчанья
Поднялся протяжно задумчивый звонъ,
И тише дыханья
Играющей въ листьяхъ прохлады былъ онъ.
Въ ней сердце смутилось:
То друга привѣтъ!
Свершилось, свершилось!
Земля опустѣла, и милаго нѣтъ.

Съ тѣхъ поръ Минвана часто ходила подъ завѣтный дубъ мечтать

О миломъ, о свѣтѣ другомъ,
Гдѣ жизнь безъ разлуки,
Гдѣ все не на часъ —
И мнились ей звуки,
Какъ будто летящій отъ родины гласъ.

Глубокою задушевностью и мечтательностью исполнены послѣднія строки баллады:

И нѣтъ ужъ Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей,
Восходятъ туманы,
И свѣтитъ, какъ въ дымѣ, луна безъ лучей,
Двѣ видятся тѣни:
Слівшись летятъ
Къ знакомой имъ сѣни,
И дубъ шевелится и струны звучатъ.

Баллада эта — одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній Жуковскаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, одно изъ лучшихъ его поэтическихъ созданій. Стихъ въ ней музыкаленъ и красивъ, образы живописны; настроеніе поэта выражается въ ней чрезвычайно полно. Содержаніе баллады опять — союзъ сердецъ, разорванный людьми. Но любовь, не нашедшая себѣ удовлетворенія въ условіяхъ времени и мѣста, не пробуждаетъ жесткаго чувства въ сердцѣ поэта; противо-

дѣйствіе судьбы не представляется ему препятствіемъ для душевнаго счастія, или, лучше сказать, онъ находитъ счастіе въ самомъ несчастіи; воображеніе его переступаетъ за предѣлы земной жизни, въ иной, лучшій міръ, гдѣ возстановляется нарушенное на землѣ блаженство любви. Такое представленіе чувства вѣчнаго, неизмѣннаго и составляетъ сущность романтическаго направленія, которое Жуковскій внесъ въ нашу словесность. Для читателей это было цѣлымъ откровеніемъ: была найдена прямая связь между жизнью и поэзіей; поэтому-то вліяніе Жуковскаго было чрезвычайно сильно, и даже самыя романтическія его произведенія — какъ вѣрно указалъ Бѣлинскій — „были важны для воспитанія въ обществѣ человѣческихъ чувствъ и не могли не дѣйствоватъ на нравственное развитіе новыхъ поколѣній".

Есть у Жуковскаго еще одно стихотвореніе, въ которомъ очень ярко выразилось его міросозерцаніе. Это — баллада „Теонъ и Эсхинъ". Эсхинъ долго бродилъ по свѣту за счастіемъ; но оно убѣгало его. И вотъ онъ возвратился на родину къ своему другу Теону. Кругомъ природа все та же, —

Но гдѣ жъ озарявшая ихъ
Волшебнымъ сіяньемъ надежда?

Разочарованный жизнью Эсхинъ находитъ Теона со взоромъ грустнымъ, но яснымъ. Эсхинъ говоритъ другу, что надежда обманула его: онъ презираетъ жизнь. Теонъ указываетъ на гробъ, близъ котораго нашелъ его Эсхинъ, и говоритъ, что онъ не ропщетъ на законъ боговъ:

„Я видѣлъ земное блаженство.
„Что можетъ разрушить въ минуту судьба,
„Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;
„Но сердца нетлѣнныя блага: любовь
„И сладость возвышенныхъ мыслей—
„Вотъ счастье!..."

Теонъ зналъ эту любовь: та, которую онъ любилъ, теперь въ могилѣ, но онъ счастливъ прошедшимъ, онъ живетъ воспоминаніемъ, и потому онъ примирился съ жизнью и спокойно смотритъ въ даль иного бытія:

„Съ сладкой надеждой я выше судьбы,
„И жизнь мнѣ земная священна;

„При мысли великой, что я — *человѣкъ*,
„Всегда возвышаюсь душою...
„Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,
„Все въ жизни къ великому средство,
„И горесть, и радость — все къ цѣли одной;
„Хвала жизнедавцу Зевесу!“

Всѣ эти стихотворенія написаны задолго до конца сердечнаго романа Жуковскаго; но, очевидно, въ немъ рано сложилось то воззрѣніе, которое подымало его духъ надъ случайнымъ оборотомъ жизни. Тѣ самыя слова, которыми Теонъ возражаетъ противъ ропота Эсхина, служили самому поэту путеводною истиной, когда надъ нимъ разразился тяжелый ударъ судьбы, и только свято храня это убѣжденіе, нашелъ онъ въ себѣ силы перенести его. До какой степени тѣсно было связано его поэтическое настроеніе съ его жизнью, всего лучше доказываетъ одно небольшое стихотвореніе, написанное имъ уже послѣ кончины Марьи Андреевны. Въ немъ Жуковскій уже отъ своего лица высказываетъ то самое примиреніе съ горестями жизни во имя безконечнаго блаженства, о которомъ въ балладѣ говоритъ Теонъ. Вотъ эти глубоко прочувствованныя строки:

9-го марта 1823.

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взоръ унылый
Былъ полонъ чувствъ;
Онъ мнѣ напомнилъ
О миломъ прошломъ;
Онъ былъ послѣдній
На здѣшнемъ свѣтѣ.
Ты удалилась,
Какъ тихій ангелъ;
Твоя могила,
Какъ рай, спокойна.
Тамъ всѣ земныя
Воспоминанья,
Тамъ всѣ святыя
О небѣ мысли.
Звѣзды небесъ!
Тихая ночь!

Романтическое направленіе упрекали въ неопредѣленности чувства, въ ублаженіи себя возвышенными мечтами, въ рав-

подушіи къ дѣйствительнымъ интересамъ жизни. Это справедливо въ отношеніи къ людямъ, для которыхъ романтизмъ былъ настроеніемъ только навѣяннымъ, вычитаннымъ изъ книгъ. Но это нисколько не можетъ относиться къ Жуковскому. Меланхолія его поэзіи прямо вытекла изъ обстоятельствъ въ его жизни, изъ исторіи его сердца, въ которомъ любовь замерла въ формѣ неудовлетвореннаго стремленія, восполненнаго надеждой вѣчнаго загробнаго союза. Что же касается отзывчивости его къ дѣйствительнымъ интересамъ жизни, то біографія его доказываетъ, какъ высоко-благородна была его личность, какъ онъ чутокъ былъ ко всякому чужому горю и какъ всегда готовъ былъ помочь всякому несчастному: мало найдется людей, которые такъ умѣли воплотить въ жизни свой идеалъ.

Нѣсколько патріотическихъ стихотвореній, написанныхъ Жуковскимъ по случаю событій Отечественной войны и слѣдующихъ годовъ, въ томъ числѣ знаменитый „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ", этотъ первый русскій опытъ романтической варіаціи на патріотическую тему, — обратили на поэта вниманіе двора еще въ то время, когда сердечный романъ Жуковскаго былъ въ полномъ разгарѣ. Его другъ Ал. Ив. Тургеневъ, близко знавшій обстоятельства его жизни, едва ли не болѣе всѣхъ хлопоталъ о томъ, чтобъ отвлечь Жуковскаго отъ поглощавшей его сердечной точки. Это не легко было сдѣлать по самому характеру Жуковскаго: онъ чувствовалъ всегда слишкомъ искренно и глубоко. Но, дѣйствительно, уступая убѣжденіямъ друзей, поэтъ рѣшился позаботиться объ улучшеніи своего общественнаго положенія или, лучше сказать, согласился предоставить друзьямъ заботы о томъ. Въ маѣ 1815 года онъ былъ представленъ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и вскорѣ назначенъ при ней чтецомъ. Приглашенный вслѣдъ за тѣмъ преподавать русскій языкъ великимъ княгинямъ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и Еленѣ Павловнѣ, онъ, по восшествіи императора Николая на престолъ, былъ избранъ въ наставники къ великому князю наслѣднику. Нужно ли говорить о томъ, съ какимъ пламеннымъ усердіемъ взялся онъ за это великое дѣло! Романтикъ въ любви, онъ проявилъ себя возвышеннымъ романтикомъ и на поприщѣ воспитателя. Его преданность обязанностямъ наставника не знала предѣловъ, онъ исполнялъ

свой долгъ какъ бы по предопредѣленію. „Работы у меня много, — писалъ онъ въ началѣ 1828 года изъ-за границы, куда онъ уѣхалъ, чтобы укрѣпиться здоровьемъ и въ то же время приготовиться къ новымъ своимъ обязанностямъ; — на рукахъ моихъ важное дѣло! Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имѣю права и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое... По плану ученія великаго князя, мною сдѣланному, все главное лежитъ на мнѣ. Всѣ его лекціи должны сходиться въ моей, которая есть для всѣхъ пунктъ соединенія; другіе учителя должны быть только дополнителями и репетиторами... У меня въ душѣ одна мысль, все остальное — только въ отношеніи къ этой царствующей. Могу сказать, что настоящая, положительная моя дѣятельность считается только съ той минуты, въ которую я вошелъ въ тотъ кругъ, въ которомъ теперь заключенъ. Прежде моя жизнь была dans le vague. Теперь я знаю, къ чему ведетъ она. Поэзія мною не покинута, хотя я и пересталъ писать стихи, хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механическими. Есть въ душѣ какая-то полнота, которая животворитъ ее. Я могъ бы назвать себя счастливымъ (ибо никакого положенія въ свѣтѣ не предпочту моему теперешнему и нахожу его достойнымъ меня). Но для счастія нужно не одно свое; но и счастію я давно далъ другое имя. Я называю его — *должность*. Подъ этимъ именемъ она всегда сильна противъ судьбы.

Изъ этихъ строкъ видно, впрочемъ, что новыя обязанности, возложенныя на Жуковскаго, были ему дороги не только сами по себѣ, но и потому еще, что исполненіе ихъ облегчало исцѣленіе его наболѣвшаго сердца. Исцѣленіе это шло медленно, и въ теченіе всего времени, проведеннаго Жуковскимъ въ званіи наставника великаго князя, онъ нерѣдко возвращался къ грустному настроенію и горестнымъ воспоминаніямъ своей молодости. Въ особенности видно это въ нѣкоторыхъ, написанныхъ имъ въ это время, произведеніяхъ — въ прекрасной поэмѣ „Ундина" и въ драмѣ „Камоэнсъ". По обыкновенію, то были не переводы, а передѣлки съ иностранныхъ подлинниковъ, и въ такихъ переработкахъ мы нерѣдко встрѣчаемъ оригинальныя вставки, въ которыхъ, какъ вѣрно замѣтилъ Зейдлицъ, выражается личное душевное настроеніе нашего поэта. Такъ, въ напи-

санной въ 1839 году драмѣ „Камоэнсъ“ (подражаніе Фридриху Гальму), вмѣсто словъ героя, описывающаго счастіе первой любви къ знатной особѣ при португальскомъ дворѣ, Жуковскій заставляетъ Камоэнса говорить такъ:

О, святая
Пора любви! Твое воспоминанье
И здѣсь, въ моей темницѣ, на краю
Могилы, какъ дыханіе весны,
Мнѣ освѣжило душу! Какъ тогда,
Все было въ мірѣ отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! Какимъ сіяньемъ райскимъ
Блистала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страданіемъ, блаженствомъ, съ настоящимъ,
Прошедшимъ, будущимъ!.. О, Боже, Боже!..

Гальмовъ Камоэнсъ, котораго разлучили съ его возлюбленною, удаленною въ монастырь, грустно говоритъ: „Екатерина скончалась, и мой Гассанъ погибъ!“ А Камоэнсъ Жуковскаго горько жалуется:

Всѣхъ я схоронилъ;
Все, что любилъ я, что меня любило,
Давно во гробѣ... Я стою одинъ
Передъ своею могилою, одинъ!...
И не протянетъ мнѣ никто руки
Чтобы помочь въ нее сойти; свалюся
Туда, какъ чумный трупъ, рукой наемной
Толкнутый въ общій гробъ...

Затаивая въ глубинѣ души эти вѣчные стоны своего сердца, Жуковскій между тѣмъ достойно совершалъ свой великій воспитательный подвигъ. Въ 1818 году онъ привѣтствовалъ явленіе милаго пришельца въ Божій свѣтъ слѣдующими стихами, обращенными къ его царственной матери:

Прекрасное Россія упованье
Тебѣ въ твоемъ младенцѣ отдаетъ.
Тебѣ его младенческія лѣта!
Отъ ихъ пеленъ ко входу бури свѣта
Пускай тебѣ вослѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой,
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.

Лѣта пройдутъ; подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ!*
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага *всѣхъ* — *свое* позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.

Въ 1839 году, когда дѣло воспитанія наслѣдника было окончено, Жуковскій могъ, съ сознаніемъ свято исполненнаго долга, привести эти самые стихи въ своемъ описаніи празднованія Бородинской годовщины. „Мнѣ, однако, уже не видать совершенія всѣхъ надеждъ, стихами моими изображенныхъ“, говорилъ онъ тогда. Но Россія знаетъ, что слова Жуковскаго были поистинѣ высокимъ пророчествомъ, и не можетъ она забыть того, кто вложилъ столько *человѣчности* въ воспріимчивую душу своего питомца, увѣнчаннаго именемъ Царя-Освободителя.

Окончивъ свое служеніе при наслѣдникѣ престола, Жуковскій мечталъ провести свои послѣдніе годы на родинѣ, въ столь любимомъ имъ сельскомъ уединеніи. Но судьба рѣшила иначе. Въ его жизни совершилось событіе — не только неожиданное для его друзей, но не совсѣмъ непонятное съ психологической точки зрѣнія: Жуковскій сталъ семейнымъ человѣкомъ, вступилъ въ бракъ съ дѣвицей Е. А. Рейтернъ и — остался за границей, куда уѣхалъ было ненадолго.

Было ли то измѣной прежнему романтическому идеалу поэта, поколебался ли Теонъ въ своей вѣрѣ, что одна мечта, одно воспоминаніе о счастіи быломъ можетъ удовлетворить человѣка, и не погнался ли онъ, подобно Эсхину, за наслажденіемъ настоящей минуты — мы не знаемъ. Но вѣрно то, что потребность мирнаго успокоенія на лонѣ семейной жизни никогда не покидала души поэта, и съ годами его вѣчное одиночество все сильнѣе угнетало его: вспомнимъ страхъ Камоэнса, что никто не протянетъ ему руки даже для того, чтобы помочь сойти въ могилу, — и мы поймемъ,

почему поэтъ, уже старикомъ, такъ радостно встрѣтилъ любящее молодое существо, готовое сдѣлаться спутницей послѣднихъ лѣтъ его жизни. Онъ увѣрялъ себя и другихъ, что нашелъ, наконецъ, то, чего жаждалъ такъ долго. „За четверть часа до рѣшенія судьбы моей, — писалъ тогда Жуковскій, — у меня и въ умѣ не было почитать возможнымъ, а потому и желать того, что теперь составляетъ мое истинное счастіе. Оно подошло ко мнѣ безъ моего знанія, послано свыше, и я съ полною вѣрою, безъ всякаго колебанія, подалъ ему руку“. Жуковскій всегда былъ глубоко религіознымъ человѣкомъ; поэтому во внезапномъ оборотѣ своей жизни онъ не могъ не видѣть прямого вмѣшательства высшихъ силъ: въ этомъ нашелъ онъ успокоеніе и примиреніе своего настоящаго съ прошлымъ.

Однако семейная жизнь поэта на склонѣ его дней дала ему не однѣ радости. Супруга его часто хворала, и ея болѣзнь препятствовала возвращенію Жуковскаго въ Россію, къ прежнимъ близкимъ ему людямъ. Среда, въ которой жили Жуковскіе за границей, была проникнута піэтизмомъ: это направленіе нѣкоторое время увлекало и супругу Василія Андреевича, и самъ поэтъ не остался чуждъ его вліянію и заплатилъ ему дань нѣсколькими стихотворными повѣстями, написанными въ то время. Но къ счастію, послѣ нѣкоторой борьбы съ проявленіями религіозной нетерпимости, онъ имѣлъ радость услышать отъ своей супруги-лютеранки, что она готова принять православіе. Среди этихъ, послѣднихъ уже, душевныхъ бурь Жуковскій находилъ отдыхъ въ переводѣ Гомера; онъ подарилъ русской литературѣ „Одиссею“ и приготовилъ изданіе своихъ сочиненій. Религіозная поэма „Странствующій жидъ“ была послѣднимъ его произведеніемъ и осталась неоконченною.

Послѣдніе годы своей жизни, уже немощный и лишенный зрѣнія, но спокойный духомъ и твердо перенесшій свои тѣлесные недуги, Жуковскій провелъ въ Баденъ-Баденѣ и здѣсь же скончался 24 апрѣля 1852 года. Тѣло покойнаго было перевезено въ Петербургъ и покоится въ Александро-Невской лаврѣ.

Съ Жуковскимъ сошелъ въ могилу отецъ русскаго романтизма и въ то же время, можно сказать, послѣдній крупный представитель его: поэтъ пережилъ почти всѣхъ своихъ

сверстниковъ. Съ тѣхъ поръ литература наша еще дальше отошла отъ романтическаго направленія; забыты и самыя нападки, которымъ подвергался романтизмъ отъ критики сороковыхъ годовъ. Но зато теперь ярче представляется намъ его историческое значеніе. Явившись на смѣну псевдо-классическому направленію и тѣсно связанному съ нимъ вольтеріанству, романтизмъ открылъ русскимъ читателямъ цѣлый міръ новыхъ образовъ, оживилъ чувство простыхъ красотъ природы, возстановилъ связь между стремленіями высшей культуры и наивными вѣрованіями и преданіями старины и вообще освѣжилъ русскую поэзію живымъ и чистымъ чувствомъ. Задушевность и человѣчность романтической поэзіи имѣли огромное воспитательное вліяніе на наше общество. Въ этомъ заключается высокая художественная и нравственная заслуга Жуковскаго въ развитіи русскаго сознанія. *Майковъ.*

Идеалы Жуковскаго.

Въ исторіи человѣческаго сознанія есть эпохи, когда, при упадкѣ общественности, личная жизнь получаетъ особую цѣнность и требованія разсудка уступаютъ вожделѣніямъ сердца. Сентиментальныя эпохи — эпохи общественнаго затишья, ожиданія или реакціи; широкія цѣли дѣятельности заказаны или еще не раскрылись, прогрессъ ограниченъ предѣлами личности. Идеаломъ каждаго становится развитіе въ себѣ „человѣка", присущихъ ему нравственныхъ началъ; для этого не надо общества: подальше отъ людей — въ себя, изъ городовъ въ деревню, гдѣ царитъ мирный трудъ, въ природу. Вмѣсто общества — семья, построенная на чистой привязанности, на культѣ чувства, которое питаетъ религію; то и другое настраиваетъ и поэзію; рядомъ съ семьей — тѣсный кружокъ друзей, совопросниковъ въ дѣлѣ самоусовершенствованія человѣчности, взаимно связанныхъ одною задачей, поддерживающихъ другъ друга въ стремленіи къ общей цѣли. Чувство, любовь, дружба, вѣра, поэзія — вотъ что воспитываетъ семьянина; семья готовитъ и „публичнаго человѣка", дѣятеля, но эта дѣятельность не такъ существенна. Внѣшній міръ мѣряется спросами вну-

треннаго, пейзажъ привлекаетъ не столько самъ по себѣ, сколько по размышленіямъ о Божіемъ величіи, о тлѣнности жизни, которыя онъ вызываетъ; реальныя черты народности, народной особи расплываются въ отвлеченіяхъ гуманизма. Интересуетъ вопросъ: что такое добродѣтельный человѣкъ? Настроеніе сентименталиста піэтистическое.

Такова программа „чувствительности", — программа Карамзина. Жуковскій вырабатываетъ ее серьезно: его юношескій дневникъ полонъ наблюденій надъ самимъ собою, надъ своимъ характеромъ, надъ слабостями, которыя слѣдуетъ устранить либо направить къ лучшему, обративъ, напримѣръ, чувство зависти въ соревнованіе. Распорядокъ его дня примѣненъ къ цѣлямъ самовоспитанія, даже поэзіи отведены особые часы.

Эта черта за нимъ осталась. Какъ систематически онъ себя изучалъ, такъ совѣтовалъ дѣлать и другимъ, ему близкимъ и милымъ: даритъ графинѣ Самойловой „бѣлую книгу", въ которой набросалъ нѣсколько назидательныхъ мыслей, съ тѣмъ, чтобы она наполнила ее своими собственными, о себѣ и для себя; подноситъ цесаревичу альбомъ, подаренный ему наслѣдникомъ прусскаго престола, и проситъ: заносите въ него „мысли, кои могутъ быть вамъ полезны и изъ коихъ можете со временемъ составить себѣ коренныя, но необходимыя правила поступковъ, какъ нравственныхъ, такъ и государственныхъ". У него ранняя любовь къ „таблицамъ", что пригодилось ему, какъ воспитателю, но знаменательно и для поэта: у него есть порядокъ и въ фантазіи. Романтики любили безпорядокъ.

Съ этой мечтательной и вмѣстѣ педантичной программой онъ вступилъ въ жизнь, съ рѣшимостью заработать себѣ скромное счастье, съ требованіями возвышающей любви и той особой дружбы, чуткой, женственно отдающейся и взыскательной, которая колеблется на порогѣ любви и пріязни. Такое чувство связало молодого поэта еще на школьной скамьѣ съ Андреемъ Тургеневымъ, но онъ скончался юношей, и Жуковскій чувствуетъ себя одинокимъ, тревожно оглядывается въ кружкѣ товарищей, ищетъ въ нихъ опоры чувству, воспитываетъ ихъ въ идеальной дружбѣ, какъ воспитываетъ въ себѣ вѣру, сознаваясь, что для той и другой онъ и самъ еще не созрѣлъ. А тамъ на смѣну дружбѣ

явилась привязанность къ дѣвочкѣ, племянницѣ по отцу, М. А. Протасовой, которой онъ давалъ уроки; къ этому зародившемуся чувству онъ относится цѣломудренно-пугливо, а оно росло съ годами, становилось взаимнымъ, и онъ бережетъ его, чистое и не страстное, сдержанно млѣя. Ему уже мерещится, что призракъ любви въ семьѣ станетъ былью, но мать Протасовой отказала въ рукѣ дочери подъ предлогомъ близкаго родства, и въ теченіе семи лѣтъ Жуковскій борется съ препятствіями, которыя стали ему поперекъ на пути къ счастью. Онъ такъ полонъ сознаніемъ правъ своего сердца, что заражаетъ этой увѣренностью и другихъ, заинтересовалъ своей любовью друзей и всѣхъ, кто входилъ въ кругъ его отношеній и могъ повліять въ его пользу. Порой онъ хватается за несбыточную надежду и дѣтски гонится за ней, чаще опускаетъ руки, утѣшаясь воспоминаніемъ о всемъ прекрасномъ, что̀ пережито чувствомъ. Воспоминаніе и чаяніе — вотъ что становится его девизомъ, основными мотивами его поэтики; они подсказаны жизнью; воспоминанія онъ любитъ называть „фонарями“, освѣщающими для него ночную дорогу жизни; чаянія распространялись на мечтательную даль, гдѣ для человѣка добродѣтельнаго сбудется неудавшееся на землѣ: соединеніе съ друзьями, свиданіе съ милыми сердцу. Такъ выступало на смѣну настоящаго, гдѣ царитъ меланхолія и душа зрѣетъ страданіемъ, таинственное „тамъ“, населенное милыми тѣнями прошлаго. „И много милыхъ тѣней возстаетъ“, повторяетъ Жуковскій за Гёте; онѣ-то спускаются къ намъ, напоминая о себѣ звуками „Эоловой арфы“, но изъ той же безвѣстной дали являются порой и грозные, пугающіе призраки. Это настроеніе и вызывало балладные мотивы, видѣнія кладбища при невѣрномъ свѣтѣ луны, тѣхъ чертей и вѣдьмъ, нѣмецкихъ и англійскихъ, которыхъ у насъ, вмѣстѣ съ мечтательностью и меланхоліей, считали признакомъ романтизма; считалъ и Жуковскій. Но это не романтизмъ, а автобіографическія признанія сердца, шедшаго навстрѣчу сентиментальнымъ теченіямъ литературы и созвучнаго оссіановскаго настроенія.

Въ этой-то атмосферѣ сложились любимые образы, общія мѣста, эпитеты — все, что̀ дѣлаетъ лирику Жуковскаго своеобразной; сложился его стиль. Онъ надолго связалъ его

Случалось ли ему забыть пережитое, забыться въ минутномъ увлеченіи чувства, или, скорѣе, „сердечнаго воображенія“, онъ настраивался на старое, говорилъ о воспоминаніяхъ и чаяніяхъ, мечталъ и улеталъ — туда. Въ такой лирикѣ нѣтъ жизнерадостнаго подъема, надъ нею лишь „рѣзвая *задумчивая* радость“. У Жуковскаго какъ-то разъ сорвалось признаніе: настоящей молодости я не зналъ, „свободной, живой, окруженной прекрасными для меня, новыми впечатлѣніями“; не зналъ и страсти, а лишь страдательную, неосуществленную любовь, позже — любовь, какъ пристань къ небу. „Желать чего-нибудь страстно — значитъ мѣшаться въ дѣло Провидѣнія, рваться за будущимъ вслѣдъ за надеждою и забывать настоящее“, вписалъ онъ въ 1815 году въ альбомъ А. А. Воейковой. А между тѣмъ, по природѣ, онъ былъ человѣкъ веселый, охочъ на шутки и проказы; такимъ знали его друзья: вспышки темперамента, подавленнаго недочетами сердца и манерой сентиментализма; противорѣчія сливались въ вѣрѣ, не въ юморѣ. C'est le poète de la passion, сказалъ о немъ въ 1819 году кн. Вяземскій; „сохрани Богъ ему быть счастливымъ: съ счастіемъ лопнетъ прекраснѣйшая струна его лиры“. Съ начала 20-хъ годовъ Пушкинъ замѣчаетъ, что слогъ Жуковскаго сильно возмужалъ, но утратилъ первоначальную прелесть: „ужъ онъ не напишетъ ни Свѣтланы, ни Людмилы, ни прелестныхъ элегій первой части Спящихъ Дѣвъ“. „Поэзія, идущая рядомъ съ жизнью — товарищъ несравненный“, говорилъ Жуковскій въ 1816 году; въ 1822 она уже „перестала быть отголоскомъ сердца“:

Бывалыхъ нѣтъ въ душѣ видѣній
И голосъ арфы замолчалъ,
Его желаннаго возврата
Дождаться ль мнѣ когда опять,
Или на вѣкъ его утрата
И вѣчно арфѣ не звучать?

Но онъ надѣялся, что очарованье не умерло, что „былое сбудется опять“; надѣялся и Пушкинъ, но вышло иное: изъ „мечтательнаго романтика“, какъ самъ онъ себя называлъ, Жуковскій становился эпикомъ, „большимъ сказочникомъ“, перестаетъ служить рифмѣ, увлеченъ „Одиссеей“,

переводъ которой онъ считалъ лучшей изъ своихъ „поэтическихъ дочекъ". Для послѣднихъ его лѣтъ это такой же автобіографическій фактъ, какъ его лирика для молодой поры. Онъ успокоился въ „своей" семьѣ, которой такъ долго искалъ; не было молодости, зато есть идиллическая старость, окруженная любовью, и ему теперь по сердцу и античная простота гомеровскаго быта, отданная настоящему, и протяжно звучащій стихъ „Одиссеи". Таинственное „тамъ" уступило мѣсто очарованному „здѣсь", за „живой заборъ" семьи „не залетаетъ воспоминаніе о прошедшемъ", въ крайнемъ случаѣ „милое минувшее дружится съ настоящимъ". Онъ счастливъ, но въ письмахъ звучитъ новая нота страданія: не по томъ, что не сбылось, а по томъ, что привязало его къ настоящему и можетъ быть отнято. Въ такія минуты онъ снова обращался вѣрой къ грядущему: онъ ждетъ покорно, готовится, но не приготовленъ. „Земная жизнь — страданія питомецъ", писалъ онъ „На кончину е. в. королевы Виртембергской" (1819); тридцать лѣтъ спустя онъ повторитъ за Гольмомъ: „страданіемъ душа поэта зрѣетъ".

Передъ нами весь кругозоръ интимной лирики Жуковскаго, онъ ограниченъ личной жизнью, и въ ней уголкомъ чувства: тихо волнующагося, призывнаго, грѣющаго, томящагося по чемъ-то реальномъ или не здѣшнемъ. Нѣтъ отзвуковъ волненій жизни, патріотическіе мотивы „Пѣвца" и посланія къ „Императору Александру" стоятъ особо; гражданскія темы, къ которымъ призывалъ его кн. Вяземскій, отсутствуютъ, поэтъ не отзывался на нихъ. На все кругомъ себя онъ смотрѣлъ сквозь сонъ поэтическій", все идеализовалъ, и друзья боялись роковаго дара Мидаса — обращать въ золото все, до чего бы онъ ни дотронулся. У Жуковскаго „все поэзія — царскія двери, дьячки, понамари", трунилъ въ 1819 г. кн. Вяземскій; „все для души", повторялъ поэтъ за Карамзинымъ и самъ всюду искалъ и находилъ „душу". „На землѣ все для души, — писалъ онъ въ 1843 году государынѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, — царства и родъ человѣческій суть только явленія, существуетъ одна душа, и каждая отдѣльная душа на своемъ мѣстѣ значитъ болѣе, чѣмъ всѣ царства земныя, взятыя вмѣстѣ". Такой взглядъ застилъ пониманіе реальности, и когда судьба привела Жуковскаго быть наставникомъ наслѣдника престола, ему пришлось

пожалѣть, что практика общественной жизни ему почти незнакома. „Общее дѣло никогда мнѣ не было чуждо, — писалъ онъ въ 1827 году Ал. Ив. Тургеневу, — я не занимался современнымъ, какъ бы было должно, эта правда, и теперь вижу, что мнѣ многаго недостаетъ въ моемъ теперешнемъ званіи.... На внѣшнее могу только заглядывать изрѣдка урывками. А знакомство съ нимъ необходимо для вѣрности, солидности и теплоты идей". Въ этой „теплотѣ идеи" — весь Жуковскій. Его гуманизмъ былъ гуманизмъ жалости и благотворенія; носитель добра и помощи всюду, гдѣ въ нихъ сказывалась нужда, онъ не рѣшался теоретически распространить то и другое на болѣе широкіе горизонты. Культъ воспоминанія связывалъ его личное чувство, какъ культъ преданія его оцѣнку историческихъ явленій. Но онъ умѣлъ любить и дружить; онъ дѣятельно искалъ дружбы. „чистая душа" какъ звалъ его въ письмахъ къ нему Александръ Михайловичъ Тургеневъ; „единственный изъ насъ, который умѣетъ любить", выразился о немъ Пушкинъ въ салонѣ Смирновой.

И въ этомъ бѣдномъ по содержанію районѣ онъ совершилъ чудеса: въ немъ онъ полный хозяинъ, знаетъ въ немъ всякій закоулокъ, неуловимыя движенія чувства, неслышныя колебанія настроенія. Все это для него дорого, и онъ хочетъ схватить это невѣдомое, бѣгущее, ускользающее отъ глаза и слуха; хочетъ выразить „невыразимое", и въ извѣстной мѣрѣ это ему удается. Въ этомъ очарованіе его стиха. Какъ онъ достигъ его, — въ эту тайну мы можемъ заглянуть лишь стороною. Говорятъ, онъ обогатилъ нашу лирику новыми метрическими формами, это справедливо, но почипъ въ этомъ смыслѣ принадлежитъ Карамзину. Дѣло и не въ изобразительности, не въ вѣрности пейзажа, хотя Жуковскій рисовальщикъ и природа для него уже не только объектъ для размышленія, какъ для сентименталиста: онъ любитъ зачерчивать виды, горы, кресты надъ могилами, рѣже людскія фигуры. Въ его поэзіи есть нѣчто другое, что поддавалось карандашу; въ этомъ отношеніи интересенъ подчасъ контрастъ его рисунковъ съ тѣми отдѣлами его дневника, которые можно назвать походными этюдами художника: тамъ ничего не говорящій силуэтъ Монблана, здѣсь образы гигантскихъ головъ съ развѣвающимися на

племахъ шишаками, облака-привидѣнія, цвѣтъ воды и неба во всѣхъ его переливахъ, полутонахъ. Не разъ говорится, что все дѣло въ освѣщеніи; „die Aussendinge sind die Farbe des Geistes" (внѣшній міръ лишь окраска духовнаго), писалъ Жуковскому въ 1803 году его пріятель Андрей Тургеневъ, приводя слова Шиллера; Жуковскій доскажетъ остальное, толкуя въ письмѣ къ Рейтерну слова Boileau (Rien n'est beau que le vrai): природу не слѣдуетъ украшать, но всякій художникъ понимаетъ ее по-своему, отражая въ ней свою душу, — душу вообще въ душѣ природы; что насъ привлекаетъ въ природѣ — это слѣды человѣческой души.

Что въ живописи освѣщеніе, то въ поэзіи настроеніе, Stimmung, слѣдъ души; въ поэзіи Жуковскаго настроеніе цвѣтовое, и, вмѣстѣ, мелодическое: особая прелесть стиха, подборъ поэтическаго языка, въ которомъ словарь чувствительности сосѣдитъ съ элементами церковно-славянскими и народными, мѣрное теченіе рѣчи обрывается порой лирически вопросомъ, плодятся анаколюты и встрѣчаются сочетанія, выходившія изъ нормъ господствовавшей тогда литературной рѣчи. Кто не ощущалъ внутренней поэзіи стиля, тотъ упрекалъ Жуковскаго въ неправильностяхъ языка, въ германизмахъ. На нихъ онъ учился, не предвзято, теоретически, а ощупью, ища выраженій для своего „невыразимаго". Особенно въ началѣ онъ не боится не русской конструкціи, въ родѣ „шатра кругомъ", вмѣсто „кругомъ шатра"; въ „Вадимѣ" герой готовъ забыться съ красавицей княжной, но раздался призывный звонокъ, чудилось, кто-то летѣлъ, не зримый, но извѣстный,

И взоръ, наполненый тоской,
Мелькалъ сквозь покрывало,
И подъ воздушной пеленой
Печальное вздыхало.

„Печальное" не понять, не припомнивъ нѣмецкое das Schöne, das Ewigweibliche и т. п.

Не безъ борьбы дался Жуковскому его стиль: его школа — переводы. Они составили ему репутацію: „въ бореньи съ трудностью силачъ необычайный", сказалъ о немъ Пушкинъ, сѣтуя, что переводческая дѣятельность отвлекла его отъ творчества. Но его переводы были тѣмъ же творче-

ствомъ, и мы не ошибемся, сказавъ, что въ томъ отдѣлѣ его поэзіи, почипъ котораго принадлежитъ ему, пересказъ, подражаніе и усвоеніе играли видную роль. Начать съ переводовъ: онъ не столько переводилъ, сколько воспроизводилъ, спускаясь къ оригиналу, чаще поднимая его до своего пониманія. Его понятіе о любви было нѣсколько отвлеченное, я сказалъ бы безплотное, безъ налета даже той chasteté lascive, которая встрѣчается у сантименталистовъ и у Шатобріана, — и онъ удаляетъ изъ „Орлеанской дѣвы" то, что ему кажется слишкомъ откровеннымъ, земнымъ; не даромъ кн. Вяземскій боялся, что, переводя Байрона, Жуковскій будетъ „дѣвствовать": наоборотъ, кое-гдѣ, какъ, напр., въ переводѣ Гольмовой драмы, онъ усиливаетъ краски, иное развиваетъ, чтобы оттѣнить элементъ автобіографическаго сочувствія. Въ переводѣ Шиллеровской „An Minna" онъ опускаетъ строфы, конецъ стихотворенія принадлежитъ ему, онъ его передѣлалъ подъ стать своему настроенію: въ ту пору онъ самъ былъ влюбленъ безъ надежды. Отъ безнадежной любви его тянетъ въ деревню, онъ дышитъ воздухомъ родныхъ полей, передъ вами русскій пейзажъ, — но поэтъ вдохновился пьесой Шатобріана въ „Le dernier Abencerrage" и ея лирической формой. Въ альбомъ графинѣ Самойловой за которой ухаживалъ онъ и его другъ Перовскій, онъ вписываетъ въ 1819 году гетевское стихотвореніе „An Lottchen", къ Шарлоттѣ Буффъ, невѣстѣ Кестнера, по которой вздыхалъ и его другъ Гете, — и Жуковскій откровенно опускаетъ стихи, гдѣ говорилось о двухъ влюбленныхъ; онъ желалъ бы быть одинъ. Это — наивный приступъ къ передѣлкѣ на свой ладъ.

Все это крайне характерно для Жуковскаго-поэта: у него чисто женская воспріимчивость, способность возгорѣться у всякаго огня, усвоивать и развивать родственныя теченія, образы: онъ самъ знаетъ себѣ цѣну. Въ 1809 году (ему было 26 лѣтъ) онъ говорилъ о задачахъ переводчика, отличая поэта, самостоятельнаго творца, отъ поэта другого рода, живущаго поэтическимъ зараженіемъ, способнаго подражать готовому цѣлому, творца лишь въ подробностяхъ, деталяхъ. Онъ опредѣлилъ себя самъ. Много лѣтъ спустя онъ указалъ этому второстепенному творчеству цѣли, и мы дорожимъ этимъ признаніемъ, оно даетъ намъ мѣру поэта

и его значенія въ развитіи нашей лирики. „У меня почти все *чужое*, —писалъ онъ о себѣ, — и все однакожъ *мое*"; въ этомъ смыслѣ на склонѣ дней, онъ просилъ у Гоголя палестинскихъ впечатлѣній, чтобы они зажгли въ немъ искру творчества. Но онъ давалъ не только *свое*, но и самого *себя*, потому что процессы его чувства были для него дѣломъ важнымъ, ложились въ основу его міросозерцанія, которымъ онъ дорожилъ. Стремленіе схватить ихъ невыразимость было поэтическимъ актомъ той же искренности; таково впечатлѣніе стиля Жуковскаго тамъ, гдѣ онъ не шалилъ стихомъ, а былъ поэтомъ.

Какъ-то разъ, защищая его отъ критиковъ, кн. Вяземскій выразился, что стихъ его можетъ устарѣть, останется — поэзія; я прибавилъ бы: устарѣетъ ея содержаніе, въ болѣе широкихъ перспективахъ потонетъ его крохотный личный кругозоръ, останется правдивость настроенія и прелесть овладѣвшаго имъ стиха. Можетъ-быть, его поэзія и не переживетъ завистливую даль вѣковъ, но въ перебоѣ поколѣній и вкусовъ къ ней будутъ возвращаться, когда жизнь мечты и довлѣющаго самому себѣ чувства будетъ брать перевѣсъ надъ массовыми тревогами дня и спросами, поглощающими вопросъ о личномъ счастьѣ. „Когда-то вся природа была мнѣ пѣсней, моя душа поэзіей цвѣла" —говорилъ онъ въ посвященіи „Ундины":

Оно прошло, то время золотое,
Съ природы снятъ магическій вѣнецъ;
Свѣтъ узнанный свое лицо земное
Разоблачилъ, и призракамъ конецъ.

Но магическій вѣнецъ не будетъ снятъ съ природы свѣтъ не узнанъ, и нѣтъ конца мечтамъ-призракамъ и днямъ „восторженныхъ видѣній" — поэзіи. *Веселовскій.*

Мотивы поэзіи Жуковскаго.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и коснѣлости. Въ ней всегда было движеніе впередъ, даже въ ломоносовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ

не только не подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще и отстали отъ него, хотя явились и послѣ, зато какая же чудовищная разница между Ломоносовымъ и Державинымъ, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между комедіями Сумарокова и комедіями Фонвизина, между прозой не только Сумарокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Княжнинымъ! Карамзинскій періодъ ознаменовался несравненно сильнѣйшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже знаемъ о Крыловѣ, какъ о поэтѣ карамзинской эпохи, внесшемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементъ — народность, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзіи Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было бы достаточно для того, чтобъ ему самому быть главой и представителемъ цѣлаго періода литературы; но ограниченность рода поэзіи, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творенія Карамзина: онѣ будутъ читаться до тѣхъ поръ, пока русское слово не перестанетъ быть живой рѣчью живого народа; но, несмотря на то, въ исторіи русской литературы Крыловъ всегда будетъ занимать свое мѣсто между замѣчательнѣйшими дѣятелями того періода русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи такова же была въ исторіи русской литературы и роль Жуковскаго. Таланта Жуковскаго также стало бы, чтобъ явиться главой и представителемъ цѣлаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можетъ-быть, еще болѣе важный элементъ въ русскую поэзію, чѣмъ элементъ, внесенный Крыловымъ: Жуковскій проложилъ себѣ собственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковскаго возросла, воспиталась на почвѣ, въ то время никому изъ русскихъ невѣдомой и недоступной, — и, несмотря на то, было бы дѣломъ чистаго произвола отмѣтить именемъ Жуковскаго какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видѣть въ немъ опять-таки одного изъ знаменитѣйшихъ или даже и самаго знаменитѣйшаго дѣятеля въ томъ періодѣ русской литературы, главой и представи-

телемъ котораго былъ Карамзинъ. Вѣнецъ поэзіи Жуковскаго составляютъ его переводы и заимствованія изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моментъ самаго сильнаго и плодовитаго движенія впередъ русской литературы карамзинскаго періода. Но у Жуковскаго есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того, онъ былъ знаменитъ еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозѣ. И вотъ съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзина, во многихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковскаго (въ особенности патріотическія пьесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе — все это нисколько не отступаетъ отъ идеала поэзіи XVIII вѣка, — идеала поэзіи, который такъ присущъ и родственъ былъ карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковскаго, онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношеніи къ стилистикѣ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на предметы, складъ ума, характеръ слога и языка — все это чисто карамзинское. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть критическіе разборы Жуковскаго сатиръ Кантемира и басенъ Крылова, статьи его: „Марьина роща", „Три сестры", „Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ", „Писатель въ обществѣ" и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозѣ у Жуковскаго тоже отличается совершенно карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что многія статьи переведены съ нѣмецкаго. Намъ, можетъ-быть, возразятъ, что „Рафаэлева Мадонна" есть тоже оригинальная статья въ прозѣ Жуковскаго, но что въ ней уже нѣтъ ничего Карамзинскаго. Правда, но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году, въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабѣло съ одной стороны, усиливщись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще въ это время Жуковскій сталъ дѣйствовать какъ-то самостоятельнѣе, освободившись отъ вліянія Карамзина. Надобно

еще замѣтить, что въ это время вліяніе на литературу и слава Жуковскаго достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до этого времени Жуковскій былъ какъ-будто въ тѣни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писалъ для „немногихъ“. И какъ тогда понимали его! Его называли „балладистомъ“, въ немъ видѣли пѣвца могилъ и привидѣній. Ему подражали, но въ чемъ? — въ формѣ, а не въ духѣ, — и рядъ безсмысленныхъ и нелѣпыхъ балладъ былъ плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пѣвцу народной славы, — и „Пѣвцы во станѣ“ и „На Кремлѣ“ доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія Жуковскій получилъ именно то значеніе, какое онъ всегда имѣлъ. Тогдашняя молодежь, развившаяся подъ вліяніемъ великихъ событій 1814 года, съ жадностью бросилась на нѣмецкую литературу, съ которой Жуковскій давно уже породнилъ русскій умъ и русскую музу. Всѣ заговорили о романтизмѣ, о новой теоріи поэзіи: всѣ возстали противъ владычества псевдо-классической французской поэзіи. Въ поэзіи русской явились луна и туманы, унылые и грусть, смерть и гробъ. Но въ это время уже кончился карамзинскій періодъ русской литературы. Лучезарная звѣзда поэтической славы Жуковскаго вспыхнула и загорѣлась ярко уже въ новомъ періодѣ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковскаго, еще во всей порѣ его дѣятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературѣ... И однакожъ необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзіи и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Заслуга Жуковскаго состоитъ въ томъ, что онъ ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ. Что же такое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковскаго въ особенности? Вотъ вопросъ, отъ рѣшенія котораго зависитъ опредѣленіе значенія, какое имѣетъ Жуковскій въ русской литературѣ... У насъ много говорили, толковали и спорили о романтизмѣ. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ попрежнему остался таинственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоположность французскому псевдо-классицизму. Отсюда естественно вышла ошибка: какъ подъ классицизмомъ разумѣли

извѣстную условную форму искусства, такъ подъ романтизмомъ стали разумѣть нарушеніе правилъ этой условной формы. И потому кто соблюдалъ въ трагедіи знаменитыя три единства, героями ея дѣлалъ только царей и ихъ наперсниковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, — тотъ считался классикомъ; кто же въ своей драмѣ переносилъ дѣйствіе изъ одного мѣста въ другое, на нѣсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершившееся въ промежуткѣ не одного десятка лѣтъ, число актовъ своей драмы не хотѣлъ ограничивать завѣтной суммой пяти, а дѣйствующими лицами въ ней позволялъ быть людямъ всякаго званія, — тотъ считался ультра-романтикомъ.

Дѣйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть своя форма, не похожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имѣетъ свою, ей присущую, оригинальную форму, всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однакожъ какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда нельзя постичь заключеннаго въ ней духа; наоборотъ, только отправляясь отъ духа, можно постичь и самый духъ, и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается въ его идеѣ, а не въ произвольныхъ случайностяхъ внѣшней формы.

Романтизмъ — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства, и поэзіи — въ жизни. Жизнь тамъ, гдѣ — человѣкъ, а гдѣ человѣкъ, такъ и романтизмъ. Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть не что̀ иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таинственный источникъ романтизма: чувство, любовь есть проявленіе или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ — романтикъ. Исключеніе остается только или за эгоистами, которые кромѣ себя никого любить не могутъ, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатіи и антипатіи задавлено и заглушено или нравственной неразвитостью, или матеріальными нуждами бѣдной и грубой жизни. Вотъ самое первое, естественное понятіе о романтизмѣ.

Хотя романтизмъ есть общее духу человѣческому явленіе,

во всѣ времена и для всѣхъ народовъ присущее, но онъ считается исключительной принадлежностью среднихъ вѣковъ и даже носитъ на себѣ имя народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль въ эту великую и мрачную эпоху человѣчества. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвятителя въ таинства романтизма среднихъ вѣковъ. Назначеніе сантиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было — расшевелить общество и приготовить его къ жизни сердца и чувства. Поэтому явленіе Жуковскаго вскорѣ послѣ Карамзина очень понятно и вполнѣ согласно съ законами постепеннаго развитія литературы, а черезъ нее — общества. Равнымъ образомъ понятенъ путь, которымъ Жуковскій привелъ къ намъ романтизмъ. Это былъ путь подражанія и заимствованія — единственный возможный путь для литературы, не имѣвшей и не могшей имѣть корня въ общественной почвѣ и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобъ поэтическая натура Жуковскаго носила въ себѣ сильную родственную симпатію къ музѣ Шиллера и въ особенности къ ея романтической сторонѣ. Жуковскій познакомился съ своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкѣ, — и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертью Шиллера. Хотя Жуковскій всегда дѣйствовалъ какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотрѣть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо то, что гармонировало съ внутреннею настроенностью его духа, и въ этомъ отношеніи бралъ свое вездѣ, гдѣ только находилъ его — у Шиллера, по преимуществу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и у Гете, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ-Скотта, Томаса Мура, Грея и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многое онъ даже не столько переводилъ, сколько передѣлывалъ: иное заимствовалъ мѣстами и вставлялъ въ свои оригинальныя пьесы. Однимъ словомъ Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ не Шиллера или другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германіи и Англіи: нѣтъ, Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ вѣковъ, воскрешеннаго въ началѣ XIX вѣка нѣмецкими и англійскими поэтами, преимущественно же Шиллеромъ. Вотъ значеніе Жуковскаго и его заслуга въ русской литературѣ.

Жуковскій началъ свое поэтическое поприще балладами. Этотъ родъ поэзіи имъ начатъ, созданъ и утвержденъ на Руси: современники юности Жуковскаго смотрѣли на него преимущественно какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланіи Батюшковъ назвалъ его „балладникомъ". Подъ балладою тогда разумѣли краткій разсказъ о любви, большею частью несчастной; могилу, крестъ, привидѣніе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и вѣдьмъ считали принадлежностью этого рода поэзіи, — больше же ничего не подозрѣвали. Но въ балладѣ Жуковскаго заключался болѣе глубокій смыслъ, нежели могли тогда думать. Баллада и романсъ — народная пѣсня среднихъ вѣковъ, прямое и наивное выраженіе романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по-преимуществу романтическія. Первой балладой, обратившей на Жуковскаго общее вниманіе, была „Людмила", передѣланная имъ изъ Бюргеровой „Леноры", которую онъ впослѣдствіи перевелъ. „Ленора" доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себѣ славу! Такое время миновалось даже для Россіи. Но „Людмила" Жуковскаго явилась кстати: она имѣла успѣхъ въ родѣ того, какимъ пользовались „Душенька" Богдановича и „Бѣдная Лиза" Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладѣ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ рѣшительно нѣтъ въ другихъ балладахъ Жуковскаго; но и „Людмила" въ то время могла быть написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всѣхъ своей легкостью, звучностью, а главное — своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады — самое романтическое, во вкусѣ среднихъ вѣковъ: дѣвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полѣ битвы, ропщетъ на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый пріѣзжаетъ за нею на конѣ и увозитъ ее — въ могилу. Сверхъ того романтизмъ этой баллады состоитъ не въ одномъ нелѣпомъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта, но въ фантастическомъ колоритѣ красокъ, которыми оживлена мѣстами эта дѣтски-простодушная легенда и которыя свидѣтельствуютъ о талантѣ автора. Такіе стихи, какъ, напримѣръ, слѣдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

Слышу шорохъ тихихъ тѣней:
Въ часъ полуночныхъ видѣній,
Въ дымѣ облака, толпой,
Прахъ оставя гробовой
Съ позднимъ мѣсяца восходомъ,
Легкимъ, свѣтлымъ хороводомъ,
Въ цѣпь воздушную свились —
Вотъ за ними понеслись;
Вотъ поютъ воздушны лики:
Будто въ листьяхъ повилики
Вьется легкій вѣтерокъ,
Будто плещетъ ручеекъ.

Или вотъ эта фантастическая картина ночной природы:

Вотъ и мѣсяцъ величавый
Всталъ надъ тихою дубравой:
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зерцало зыбкихъ водъ,
И небесъ далекій сводъ
Въ *свѣтлый сумракъ* облечены...
Спятъ пригорки отдалены,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу!... полночный часъ звучитъ.
Потряслись дубовъ вершины;
Вотъ повѣялъ отъ долины
Перелетный вѣтерокъ...
Скачетъ по полю ѣздокъ...

Такіе стихи вполнѣ оправдываютъ восторгъ и удивленіе, которыми была нѣкогда встрѣчена „Людмила“ Жуковскаго: тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой балладѣ новый духъ творчества, новый міръ поэзіи — и общество не ошиблось.

„Свѣтлана“, оригинальная баллада Жуковскаго, была признана за его chef-d'oeuvre, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 году) титуловали Жуковскаго „пѣвцомъ Свѣтланы“. Въ этой балладѣ Жуковскій хотѣлъ быть народнымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послѣ. Содержаніе „Свѣтланы“ извѣстно всѣмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критика, какая когда-либо написана была

о „Свѣтланѣ", заключается въ посвятительномъ куплетѣ баллады:

Въ ней большія чудеса,
Очень мало складу.

Въ собственно лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и передѣланныхъ Жуковскимъ съ нѣмецкаго языка, открывается еще болѣе, чѣмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что такое этотъ романтизмъ? Это — желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ; жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастьи, которое, Богъ знаетъ, въ чемъ состояло; это — міръ, чуждый всякой дѣйствительности, населенный тѣнями и призраками, конечно очаровательными и милыми, но тѣмъ не менѣе неуловимыми; это — уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собой будущаго; наконецъ, это — любовь, которая питается грустью и которая безъ грусти не имѣла бы, чѣмъ поддержать свое существованіе. Поищемъ въ стихахъ Жуковскаго оправданія нашего неопредѣленнаго и туманнаго опредѣленія его поэзіи. Подробный разборъ каждаго стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его поэзіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковскаго не что иное, какъ разныя варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко всѣмъ имъ идутъ какъ эпиграфъ два послѣдніе стиха, которыми оканчивается пьеса „Тоска по миломъ":

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Одна о минувшемъ тоска мнѣ осталась.

„Таинственный посѣтитель" есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковскаго. Прочтемъ его:

Кто ты, призракъ, гость прекрасный?
  Къ намъ откуда прилеталъ?
Безотвѣтно и безгласно
  Для чего отъ насъ пропалъ?
Гдѣ ты? Гдѣ твое селенье?

Что съ тобой? Куда исчезъ?
И зачѣмъ твое явленье
Въ поднебесную съ небесъ?
Не *Надежда ль* ты младая,
Приходящая порой
Изъ невѣдомаго края
Подъ волшебной пеленой?
Какъ она, неумолимо
Радость милую на часъ
Показалъ ты, съ нею мимо
Пролетѣлъ и бросилъ насъ.
Не *Любовь* ли намъ собою
Тайно ты изобразилъ?
Дни любви, когда одною
Міръ одной прекрасенъ былъ?
Ахъ! тогда сквозь покрывало
Неземнымъ казался онъ...
Снятъ покровъ; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье — сонъ.
Не волшебница ли *Дума*
Здѣсь въ тебѣ явилась намъ?
Удаленная отъ шума,
И мечтательно къ устамъ
Приложивши перстъ, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ минувшее уводитъ
Насъ безмолвно за собой.
Иль въ тебѣ сама святая
Здѣсь *Поэзія* была?...
Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покрова принесла:
Для небесъ — лазурно ясный,
Чистый, бѣлый — для земли;
Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.
Иль *Предчувствіе* сходило
Къ намъ во образѣ твоемъ
И понятно говорило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свѣтлый подлетитъ
И подыметъ покрывало
И въ далекое манитъ.

Поняли ль вы, кто такой этотъ „таинственный посѣтитель"? Самъ поэтъ не знаетъ, кто онъ, и думаетъ видѣть въ немъ то надежду, то любовь, то думу, то поэзію, то предчувствіе... Но эта-то неопре-

дѣленность, эта-то туманность и составляетъ главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Попытаемся объяснить ее.

Есть въ человѣкѣ чувство безконечнаго: оно составляетъ основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной дѣятельности. Безъ стремленія къ безконечному нѣтъ жизни, нѣтъ развитія, нѣтъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ стремленіи и достиженіи. Но когда человѣкъ чего-нибудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется имъ вполнѣ; напротивъ, торжество достиженія бываетъ въ его душѣ непродолжительно и скоро побѣждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, неудовлетворенія ничѣмъ въ жизни: отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человѣкъ бываетъ счастливѣе, пока онъ борется съ препятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побѣдой борьбы, праздникомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ сильнѣе въ немъ стремленіе, и тѣмъ менѣе способенъ онъ къ удовлетворенію.

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ —
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть.
И въ нѣжномъ сѣмени сокрытый,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ...
Но, ахъ, сколь мало въ немъ развито!
И малое — сколь бѣдный цвѣтъ!

говоритъ Шиллеръ. Таково свойство безконечнаго: духъ человѣка въ состояніи охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявленіи, въ условіяхъ временной послѣдовательности, и потому, достигая чего-нибудь, онъ тотчасъ же видитъ, что не достигнулъ всего. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ нѣчто, какъ не выражающее безконечнаго, и думаетъ достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ безпрерывнаго развитія, безпрерывнаго движенія впередъ. И когда это стремленіе осуществляется въ сферѣ практическаго міра, когда оно есть вѣчное дѣланіе, безпрерывное творчество, тогда стремленіе это есть дѣйствительная сила человѣка, тогда для него есть цѣль, и если достиженіе не удовлетворяетъ такого человѣка, тѣмъ

не менѣе оно для него — прогрессъ, и новое стремленіе его выше предшествовавшаго, новая цѣль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла дѣйствительности, чуждыя практическаго міра дѣятельности, живущія въ отвлеченной идеѣ: такія натуры стремленіе къ безконечному принимаютъ за одно съ безконечнымъ и хотятъ во что бы то ни стало найти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дѣятельныхъ, незнакомыхъ съ стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цѣлями житейскими. Но тѣмъ не менѣе они — люди односторонніе, ибо пружину дѣйствія принимаютъ за само дѣйствіе и за цѣль дѣйствія: это такая же ошибка, какъ если бъ кто, желая узнать, который часъ, вмѣсто того, чтобъ посмотрѣть на циферблатъ, открылъ внутренность часовъ и началъ смотрѣть на спиральную пружинку.

Итакъ, содержаніе поэзіи Жуковскаго, ея паѳосъ составляетъ стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу — за цѣль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вѣчно стремится, никогда не достигая, вѣчно спрашиваетъ самое себя, никогда не давая отвѣта:

Иль опять отъ вышины
Вѣсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины?
Или тамъ, куда летитъ
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей неизвѣстный
Край *желаннаго* сокрытъ?...
Кто жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
  Ахъ! найдется, кто мнѣ скажетъ
Очарованное *тамъ*?

Озарися, долъ туманный;
Разступися, мракъ густой;
Гдѣ найду исходъ желанный?
Гдѣ воскресну я душой?

Испещренные цвѣтами,
Красны холмы вижу тамъ...
Ахъ, зачѣмъ я не съ крылами!
Полетѣлъ бы я къ холмамъ.

Вотъ два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній: не варіаціи ли это на мотивъ „Таинственнаго посѣтителя"?...

Есть въ жизни человѣка время, когда онъ бываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человѣкъ можетъ потомъ сдѣлаться способнымъ къ стремленію дѣйствительному, имѣющему цѣль и результатъ, онъ этимъ будетъ обязанъ тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и безсознательныхъ порывовъ была и у человѣчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ вѣковъ. Если въ романтизмѣ современной Европы нѣтъ мрака и много свѣта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ вѣковъ. И если мы въ поэзіи Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредѣленнаго содержанія, больше зрѣлости и мужественности мысли, чѣмъ въ поэзіи Жуковскаго, — это потому, что Пушкинъ имѣлъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій своей поэзіей пополнилъ въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ вѣковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ вѣковъ и романтическая поэзія начала XIX вѣка. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда — не простое упоминовеніе въ исторіи отечественной литературы, но вѣчное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметъ имѣетъ двѣ стороны, и находить въ немъ не одно хорошее — совсѣмъ не значитъ осуждать его. Романтизмъ среднихъ вѣковъ, разумѣется, не годится для нашего времени: теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ былъ истиной. Былъ и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моментъ, когда для нихъ романтизмъ среднихъ вѣковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ сѣменемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзіи. Великъ подвигъ того, кто удовлетворилъ этой потребности: но тѣмъ не менѣе мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу, — должны сознать его въ настоящемъ его

значенія, увидѣть всѣ его стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію, надо показать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видѣ.

Любовь играетъ главную роль въ поэзіи Жуковскаго. Какой же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность? — Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорѣе потребность, жажда любви, стремленіе къ любви, и потому любовь въ поэзіи Жуковскаго — какое-то неопредѣленное чувство. Это

Унылія прелесть, волненье надежды,
И радость и трепетъ при встрѣчѣ очей,
Ласкающій голосъ — души восхищенье,
Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ,
Присутствія радость, томленье разлуки.

Мы слышимъ въ поэзіи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ, — и сочувствуемъ этому горю безъ утѣшенія, этой скорби безъ выхода, этому страданію безъ исцѣленія; но не видимъ живого голоса, столь дорогому сердцу поэта для насъ, это — видѣніе, призракъ...

Мы сдѣлали бы большой недосмотръ, если бы, говоря о поэзіи Жуковскаго, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главнѣйшихъ элементовъ всякой романтической поэзіи, и поэзіи Жуковскаго въ особенности. Посмотрите, какія мечты и образы вѣчно занимаютъ ее! Тамъ „дѣва въ черной власяницѣ" молится на кладбищѣ передъ образомъ Богоматери и непремѣнно отходитъ въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполнѣ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родѣ:

Дорогой шла дѣвица;
    Съ ней другъ ея младой:
Болѣзненны ихъ лица,
    Наполненъ взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
    И въ очи и въ уста —
И снова расцвѣтаютъ
    Въ нихъ жизнь и красота.
Минутное веселье!
    Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ *кельѣ;*
    Въ *тюрьмѣ* проснулся онъ.

Такое направленіе поэзіи Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человѣчества, — то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ исцѣленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. Поэтому въ поэзіи Жуковскаго вопли сердечныхъ мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихою сердечною музыкою, и его поэзія любитъ и голубитъ свое страданіе, какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать пѣвцомъ сердечныхъ утратъ, — и кто не знаетъ его превосходной элегіи на „Кончину королевы Вюртембергской" этого высокаго католическаго реквіема, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и таинства утратъ?... Это въ высшей степени романтическое произведеніе въ духѣ среднихъ вѣковъ. Оно всегда прекрасно: но если вы хотите насладиться имъ вполнѣ и глубоко — прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себѣ друга, который раздѣлитъ съ вами ваше страданіе и дастъ ему языкъ и слово...

Всѣ сочиненія Жуковскаго можно раздѣлить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы и оригинальныя, которыхъ не много, и не столько переведенныя, сколько усвоенныя его музой; потомъ собственно переводы и, наконецъ, оригинальныя произведенія, которыя не могутъ быть названы романтическими.

Къ послѣднимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія пьесы, писанныя на извѣстные случаи. Это самая слабая сторона поэзіи Жуковскаго; въ ней онъ не вѣренъ своему призванію, и потому холоденъ и исполненъ реторики. Прочтите его „Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей", „На смерть графа Каменскаго", „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ", „Пѣвца въ Кремлѣ" и проч. — и вы не узнаете Жуковскаго. Несмотря на звучный и крѣпкій стихъ, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Жуковскій по натурѣ своей — романтикъ, и ничто такъ не внѣ его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвѣ основанныя. „Пѣвцу во станѣ русскихъ воиновъ" Жуков-

скій обязанъ своей славой: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта: и это произведеніе было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываетъ это? — только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понимаютъ ее теперь (а понимали ее тогда, какъ реторику въ стихахъ). Въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“ нѣтъ даже чувства современной дѣйствительности. въ этой пьесѣ вы не услышите ни одного выстрѣла изъ пушки или изъ ружья, въ ней нѣтъ и признаковъ порохового дыма. въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрѣлы, генералы являются воинами не въ киверахъ или фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершенію этой пародіи на древность, всѣ они — съ щитами... Все это признакъ реторики, ибо поэзія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметовъ дѣйствительности, не боится сдѣлаться отъ нихъ прозой, но поэтизируетъ самыя прозаическія вещи. И неужели жерла пушекъ, изрыгающія огонь и смерть тысячамъ; неужели дула ружей, посылающія издалека вѣрную смерть; неужели трехгранный штыкъ, стальною стѣной низлагающій сомкнутые ряды, — неужели все это имѣетъ въ себѣ менѣе поэзіи, чѣмъ кольчуги, щиты, стрѣлы и копья древности?.. Напротивъ, послѣдніе — дѣтскія игрушки въ сравненіи съ первыми, блѣдная проза въ сравненіи съ страшной и грандіозной поэзіей. И потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ дрались совсѣмъ не славяне, а русскіе! Скажутъ: но развѣ русскіе не славянскаго племени народъ? — Положимъ, что и такъ: но развѣ всѣ народы Западной Европы не тевтонскаго племени: а кто скажетъ, что русскіе дрались подъ Бородинымъ съ тевтонами, на томъ основаніи, что Галлія нѣкогда была завоевана франками, а франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у славянъ? Да сверхъ того бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще ничего не чужда до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національныхъ элементовъ. Можетъ-быть, это недостатокъ, но въ то же время и достоинство если бъ національность составляла основную стихію поэзіи Жуковскаго, — онъ не могъ бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими

элементами. Поэтому всѣ усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство, какъ зрѣлище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится идти по чуждому ему пути.

Лучшія мѣста въ нѣкоторыхъ патріотическихъ пьесахъ Жуковскаго — тѣ, въ которыхъ онъ является вѣрнымъ своему романтическому элементу. Таково, напримѣръ, въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“:

Любви сей полный кубокъ въ даръ!
  Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жаръ:
  Любовь одно со славой.
Кому здѣсь жребій удѣленъ
  Знать тайну страсти милой,
Кто сердцу сердцемъ обреченъ,
  Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летитъ;
  Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего не совершитъ
  Для сладостной награды?
Ахъ, мысль о той, кто все для насъ,
  Намъ спутникъ неизмѣнный:
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,
  Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ,
  Она въ пылу сраженья;
И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ
  Веселыхъ сновидѣнья.
Отвѣдай врагъ исторгнуть щитъ,
  Рукою данный милой;
Святой обѣтъ на немъ горитъ:
  Твоя и за могилой!
О, сладость тайныя мечты!
  Тамъ, тамъ за синей далью,
Твой ангелъ, дѣва красоты,
  Одна съ своей печалью
Груститъ, о другѣ слезы льетъ;
  Душа ея въ молитвѣ,
Боится вѣсти, вѣсти ждетъ:
  „Увы! не палъ ли въ битвѣ?“
И мыслитъ: „Скоро ль, дружній *гласъ*,
  Твои мнѣ слушать звуки?
Лети, лети свиданья часъ,
  Смѣнить тоску разлуки“.
Друзья! блаженнѣйшая часть

Любезнымъ быть спасеньемъ.
Когда жъ предѣлъ нашъ въ битвѣ пасть —
  Погибнемъ съ наслажденьемъ:
Святое имя призовемъ
  Въ минуту смертной муки;
Кѣмъ мы дышали въ мірѣ семь,
  Съ той нѣтъ и тамъ разлуки;
Туда душа перенесетъ
  Любовь и образъ милой...
О, други, смерть не все возьметъ;
  Есть жизнь и за могилой.

Слѣдующее мѣсто есть не что иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ вѣковъ, какъ будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?... Довѣренность Творцу!
  Что бъ ни было, незримый
Ведетъ насъ къ лучшему концу
  Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно въ слѣдъ!
  Прочь низкое! прочь злоба!
Духъ бодрый на дорогѣ бѣдъ.
  До самой двери гроба;
Въ высокой долѣ — простота,
Нежадность въ наслажденьи,
Въ союзѣ съ равнымъ — правота,
  Въ могуществѣ — смиренье;
Обѣтамъ — вѣрность; чести — честь;
  Покорность — правой власти;
Для дружбы все, что въ мірѣ есть:
  Любви — весь пламень страсти;
Утѣха — скорби; просьбѣ — дань;
  Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань,
  Безсильному — презрѣнье:
Неправдѣ — грозный правды гласъ;
  Заслугѣ — воздаянье;
Спокойствіе — въ послѣдній часъ;
  При гробѣ — упованье.

Посланія — странный родъ, бывшій въ большомъ употребленіи у русской поэзіи до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главная характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковскаго отличаются отъ другихъ хорошими стихами и не чужды прекрасныхъ мѣстъ въ романтическомъ

духѣ. Таковы, напримѣръ, слѣдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу ль? мнѣ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семъ мірѣ бременился,
Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златитъ.
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго — какъ мало!
Нѣтъ счастье къ бытію меня не пріучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ моей для дружбы я созрѣлъ —
И что же! предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила:
Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья
И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнѣ замѣчательны: они исполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится вопль души, и они доказываютъ фактически, что не Пушкинъ, а Жуковскій первый на Руси выговорилъ элегическимъ языкомъ жалобы человѣка на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковскій былъ первымъ поэтомъ на Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. До Жуковскаго на Руси никто и не подозрѣвалъ, чтобъ жизнь человѣка могла быть въ тѣсной связи съ его поэзіей, и чтобъ произведенія поэта могли быть вмѣстѣ и лучшей его біографіей. Тогда люди жили весело, потому что жили внѣшней жизнью и въ себя не заглядывали глубоко.

Пой, пляши, кружись, Параша!
Руки въ боки подпирай!

восклицалъ Державинъ.

Прочь отъ насъ, Катонъ, Сенека,
Прочь, угрюмый Эпиктетъ!
Безъ утѣхъ для человѣка
Пустъ, несносенъ былъ бы свѣтъ!

восклицалъ Дмитріевъ. Эти пѣвцы и тогда умѣли плакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковскій, какъ поэтъ, по преимуществу, романтическій, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ

скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣной тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на днѣ своего растерзаннаго сердца, въ глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланіи къ Тургеневу мы встрѣчаемъ столь же поразительное мѣсто, какъ и то, которое сейчасъ выписали изъ посланія къ Филалету:

. . . И мы въ сей край незримый
Летимъ душой за милыми во слѣдъ;
Но къ намъ отъ нихъ желанной вѣсти нѣтъ;
Лишь тайное живетъ въ насъ ожиданье...
Когда жъ, когда?.. Другъ милый, упованье!
Гробами ихъ рубежъ означенъ тотъ,
На коемъ насъ свободы геній ждетъ
Съ спокойствіемъ, безчувствіемъ, забвеньемъ.
Пришедъ туда, о другъ, съ какимъ презрѣньемъ
Мы бросимъ взоръ на жизнь, на гнусный свѣтъ,
Гдѣ милому одинъ минувшій цвѣтъ,
Гдѣ доброму слѣдовъ ко счастію нѣтъ,
Гдѣ мнѣніе надъ совѣстью властитель,
Гдѣ все, мой другъ, иль жертва, иль губитель!..
Дай руку, братъ! какъ знать, куда нашъ путь
Насъ приведетъ и скоро ль онъ свершится,
И что еще во мглѣ судьбы таится. —
Но дружба намъ звѣздой отрады будь;
О прочемъ здѣсь останемся безпечны;
Намъ счастья нѣтъ: зато и мы не вѣчны.

Въ посланіяхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встрѣчаются, кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ, напр., въ посланіи 121-мъ встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бѣдствія земныя положилъ
Онъ свѣтлозарную печать благотворенья!
Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенья
Взрываетъ, какъ бразды, земныя племена,
Въ нихъ жизни свѣжія бросаетъ сѣмена,
И, обновленныя, пышнѣе расцвѣтаютъ!
Какъ бури въ зной поля, бѣды ихъ возрождаютъ!

Въ слѣдующемъ за тѣмъ посланіи встрѣчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россіи:

Тебѣ его младенческія лѣта.
Отъ нихъ неленъ ко входу съ бури свѣта
Пускай тебѣ во слѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ!*
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага *всѣхъ* — *свое* позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.
Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго особенно замѣчательны „Теонъ и Эсхинъ" и баллада „Узникъ", если только они — его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи „Сочиненій Жуковскаго" только при немногихъ переводныхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ-подъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродилъ по свѣту за счастьемъ — оно убѣгало его.

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ —
Лишь сердце они изнурили;
Цвѣтъ жизни былъ сорванъ; увяла душа:
Въ ней скука смѣнила надежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ —

Все тѣ жъ берега, и поля, и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но гдѣ жъ озарявшая нѣкогда ихъ
Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходитъ онъ къ другу своему, Теону: тотъ сидѣлъ въ раздумьѣ на порогѣ своей хижины, въ виду гроба изъ бѣлаго мрамора; друзья обнялись; лицо Эсхина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбенъ, но ясенъ. Эсхинъ говоритъ

объ обманывающей сердце мечтѣ, о счастіи, и спрашиваетъ друга — не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указалъ, вздыхая, на гробъ. .
„Эсхинъ, вотъ безмолвный свидѣтель,
Что боги для счастья послали намъ жизнь, —
Но съ нею печаль неразлучна.
О, нѣтъ, не ропщу на Зевесовъ законъ;
И жизнь, и вселенна прекрасны,
Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ ложныхъ мечтахъ
Я видѣлъ земное блаженство.
Что можетъ разрушить въ минуту судьба;
Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;
Но сердца нетлѣнныя блага: любовь
И сладость возвышенныхъ мыслей —
Вотъ счастье; о, другъ мой, оно не мечта.
Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ;
Любовью моя освѣтилась душа,
И жизнь въ красотѣ мнѣ предстала.
При блескѣ возвышенныхъ мыслей я зрѣлъ
Яснѣе великость творенья:
Я вѣрилъ, что путь мой лежитъ по землѣ
Къ прекрасной возвышенной цѣли.
Увы! я любилъ... и ея уже нѣтъ!
Но счастье, вдвоемъ столь живое,
Навѣки-ль исчезло? И прежніе дни
Вотще ли столь были прелестны?
О, нѣтъ: никогда не погибнетъ ихъ слѣдъ;
Для сердца прошедшее вѣчно;
Страданье въ разлукѣ есть та же любовь;
Надъ сердцемъ утрата безсильна.
И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ,
Обѣтъ неизмѣнной надежды:
Что гдѣ-то, въ знакомой, но тайной странѣ,
Погибшее намъ возвратится;
Кто разъ полюбилъ, тотъ на свѣтѣ, мой другъ,
Уже одинокимъ не будетъ...
Ахъ, свѣтъ, гдѣ она предо мною цвѣла —
Онъ тотъ же: все *ею* онъ полонъ.
По той же дорогѣ стремлюся одинъ,
И къ той же возвышенной цѣли,
Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ, —
Сихъ узъ не разрушитъ могила.
Сей мыслью высокой украшена жизнь;
Я взоромъ смотрю благодарнымъ
На землю, гдѣ столько разсыпано благъ,
На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я съ земли рубежа
  На стороны лучшія жизни;
Сей сладкой надеждою міръ озаренъ,
  Какъ небо сіяньемъ авроры.
Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы,
  И жизнь мнѣ земная священна;
При мысли великой, что *я человѣкъ*,
  Всегда возвышаюсь душою.
А этотъ безмолвный, таинственный гробъ...
  О, другъ мой, онъ вѣрный свидѣтель,
Что лучшее въ жизни еще впереди,
  Что *вѣрно* желанное будетъ;
Сей гробъ, затворенная къ счастію дверь
  Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
  На мигъ мнѣ явившійся въ жизни.
О, другъ мой, искавъ измѣняющихъ благъ,
  Искавъ наслажденій минутныхъ,
Ты вѣрныя блага утратилъ свои —
  Ты жизнь презирать научился.
Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свѣтъ;
  Дай руку: близъ вѣрнаго друга,
Съ природой и жизнью опять примирись;
  О, вѣрь мнѣ, прекрасна вселенна!
Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,
  Все къ жизни — къ великому средство:
И горесть, и радость — все къ цѣли одной:
  Хвала Жизнедавцу-Зевесу.

На это стихотвореніе можно смотрѣть, какъ на программу всей поэзіи Жуковскаго, какъ на положеніе основныхъ принциповъ ея содержанія. Всѣ блага жизни невѣрны: стало-быть, благо внутри насъ; здѣсь все проходитъ и измѣняетъ намъ: стало-быть, неизмѣнное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого слѣдуетъ, чтобъ мы з д ѣ с ь сидѣли сложа руки, ничего не дѣлая, питаясь высокими мыслями и благородными чувствованіями?.. Это односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблужденіе ультра-романтизма... Какимъ образомъ человѣкъ можетъ итти „къ прекрасной, возвышенной цѣли", стоя на одномъ мѣстѣ и бесѣдуя съ самимъ собою о лучшей жизни на порогѣ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?... И неужели эта „прекрасная, возвышенная цѣль" есть только личное счастье человѣка, а личное счастье человѣка только въ любви къ женщинѣ?... О, если такъ, то, по закону совпаденія

крайностей, эта любовь есть величайшій эгоизмъ!.. Смерть дѣло слѣпого случая — похитила у насъ ту, которой обязаны были мы нашимъ земнымъ счастьемъ: не будемъ приходить въ отчаяніе — да и для чего? Вѣдь это только временная разлука, вѣдь скоро мы опять женимся на ней — тамъ; сядемъ же на порогѣ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться исполнымъ славы твореніемъ, красотой вселенной и будемъ утѣшать себя мыслію, что все дано намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизни — средство къ великому, и что горе и радость все къ одной цѣли!" Нѣтъ, и еще разъ — нѣтъ! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и правильно требованіе человѣка на личное счастье: разумно и естественно его стремленіе къ личному счастью: но въ одномъ ли сердцѣ долженъ заключаться весь міръ его счастья? Вотъ вопросъ, на который не даетъ намъ рѣшенія поэзія Жуковскаго. Если бъ вся цѣль нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастіи, а наше личное счастье заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дѣйствительно мрачной пустыней, заваленной гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшной существенностью котораго поблѣднѣли бы поэтическіе образы земного ада, начертанные геніемъ сурового Данте... Но — хвала Вѣчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человѣка и еще великій міръ жизни, кромѣ внутренняго міра сердца, — міръ историческаго созерцанія и общественной дѣятельности, — тотъ великій міръ, гдѣ мысль становится дѣломъ, а высокое чувствованіе — подвигомъ, и гдѣ два противоположные берега жизни — здѣсь и тамъ — сливаются въ одно реальное небо историческаго прогресса, историческаго безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго дѣланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, — и надъ этимъ міромъ носится Духъ Божій, оглашающій хаосъ и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: „да будетъ!" и вызывающій имъ свѣтлое торжество настоящаго — радостные дни новаго тысячелѣтняго царства Божія на землѣ... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрѣлъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизни, кто видѣлъ въ немъ не одни обломки кораблей, яростно

вздымающіяся волны да мрачную, лишь молніями освѣщенную ночь, кто слышалъ въ немъ не одни вопли отчаянія и крики гибели, но кто не терялъ при этомъ изъ вида и путеводной звѣзды, указывающей на цѣль борьбы и стремленія, кто не былъ глухъ къ голосу свыше: „борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты — братья твои насладятся имъ и восхвалятъ вѣчнаго Бога силъ и правды!". Благо тому, кто, не довольствуясь настоящей дѣйствительностью, носилъ въ душѣ своей идеалъ лучшаго существованія, жилъ и дышалъ одной мыслью — споспѣшествовать, по мѣрѣ данныхъ ему природой средствъ, осуществленію на землѣ идеала, — рано поутру выходилъ на общую работу и съ мечомъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлой, смотря по тому, что̀ было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братіямъ не на одни пиры веселія, но и на плачъ и сѣтованія... Благо тому, кто, падая въ борьбѣ за свѣтлое дѣло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успокоительное лоно силы, вызывавшей его на дѣло жизни, и восклицалъ въ священномъ восторгѣ: „все Тебѣ и для Тебя, а моя высшая награда — да святится имя Твое и да пріидетъ царствіе Твое!..."

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической дѣятельности, источникъ которой заключался бы въ пафосѣ къ идеѣ, самый богато надѣленный дарами природы человѣкъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустотѣ мечтательныхъ ожиданій и дѣйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

„Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ-царевичѣ, о хитростяхъ Кощея-безсмертнаго и о премудростяхъ Марьи-царевны, кощеевой дочери" и „Сказка о спящей царевнѣ" были весьма неудачными попытками Жуковскаго на русскую народность. О нихъ никакимъ образомъ нельзя сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Вообще быть народнымъ — значило бы для Жуковскаго отказаться отъ романтизма, а это для него было бы все

равно, что отказаться отъ своей натуры, отъ своего духа словомъ — отъ самого себя. Въ „Громобоѣ" Жуковскій тоже хотѣлъ быть народнымъ, но, наперекоръ его волѣ, эта русская сказка у него обратилась какъ-то въ нѣмецкую — что-то въ родѣ католической легенды среднихъ вѣковъ. Лучшія мѣста въ ней — романтическія.

Содержаніе „Ундины" взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота Фукэ: но въ стихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. „Ундина" одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея — олицетвореніе стихійной силы природы. Ундина — дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ искусно нашъ поэтъ умѣлъ слить фантастическій міръ съ дѣйствительнымъ міромъ, и сколько заповѣдныхъ тайнъ сердца умѣлъ онъ разоблачить и высказать въ такомъ сказочномъ произведеніи. Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ долженъ поставить переводъ балладъ Шиллера: „Рыцарь Тогенбургъ", „Ивиковы журавли", „Кассандра", „Графъ Габсбургскій", „Поликратовъ перстень", „Кубокъ", и пьесы Шиллера же „Горная дорога"; все это переведено превосходно. Но если что составляетъ истинный ореолъ Жуковскаго, какъ переводчика, это — его переводъ слѣдующихъ трехъ пьесъ Шиллера: „Торжество побѣдителей", „Жалоба Цереры" и „Элевзинскій праздникъ". Если бъ, кромѣ этихъ пьесъ, Жуковскій ничего не перевелъ, ничего не написалъ, — и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

„Торжество побѣдителей" есть одно изъ величайшихъ и благороднѣйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ геній этого поэта является съ лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствіе ея было воспитано и развито на исторической почвѣ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ краснорѣчиво оплакалъ паденіе ея боговъ, онъ съ такою страстью говорилъ объ ея искусствѣ, ея гражданской доблести, ея мудрости.

„Жалоба Цереры" — тоже одно изъ величайшихъ созданій Шиллера — передана по-русски Жуковскимъ съ такимъ же

изумительнымъ совершенствомъ, какъ и „Торжество побѣдителей“. Въ этой піесѣ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ элевзинской Цереры — нѣжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкой подземнаго царства суровымъ Аидомъ:

Сколь завидна мнѣ, печальной,
Участь смертныхъ матерей!
Легкій пламень погребальный
Возвращаетъ имъ дѣтей;
А для насъ, боговъ нетлѣнныхъ,
Что̀ усладою утратъ?
Насъ, безрадостно блаженныхъ,
Парки строгія щадятъ...
Парки, парки, поспѣшите
Съ неба въ адъ меня послать;
Правъ богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

Въ поэтическомъ образѣ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стиксовой струей, а листъ выходитъ въ область неба и живетъ лучами Аполлона, — въ этомъ дивно поэтическомъ образѣ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сдѣлалъ самый поэтическій намекъ на скорбь и утѣшеніе божественной матери: этотъ корень, ищущій ночной тьмы и питающійся стиксовой водой, и этотъ листъ, радостно рвущійся на свѣтъ и подымающійся къ небу, —

Ими таинственно слита
Область тьмы съ страною дня,
И приходятъ отъ Коцита
Милой вѣстью для меня;
И ко мнѣ въ живомъ дыханьѣ
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признанье,
Гласъ родной изъ глубины;
Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Сколько скорбной и умилительной любви въ этомъ обращеніи романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго сердца — къ цвѣтамъ:

О, привѣтствую васъ, чада
Расцвѣтающихъ полей!
Вы тоски моей услада,
Образъ дочери моей!
Васъ палью благоуханьемъ,
Напою живой росой
И съ аврориньмъ сіяньемъ
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенній мракъ полей
И мою вѣщаетъ радость
И печаль души моей!

Въ „Элевзинскомъ праздникѣ“ Шиллера есть опять поэтическая апоѳеоза Цереры; но здѣсь эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ „Жалобѣ Цереры“ эта богиня является представительницей греческаго романтизма: въ „Элевзинскомъ праздникѣ“ она является божествомъ благотворно дѣятельнымъ — очеловѣчиваетъ и одухотворяетъ подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледѣлію, соединяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, низводитъ къ нимъ ремесла и искусства и посѣваетъ между ними сѣмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковскаго, еслибъ не упомянули о дивномъ искусствѣ этого поэта живописать картины природы и влагать въ нихъ романтическую жизнь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, ночь ли, вёдро ли, буря ли, или пейзажъ, все это дышитъ въ яркихъ картинахъ Жуковскаго какой-то таинственной, исполненной чудныхъ силъ жизнію... Примѣры лучше всего объяснятъ нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвѣтущія равнины
Старинный Ирлингфоръ,
И пышныя съ высотъ его картины
Повсюду видѣлъ взоръ.
Авонъ, шумя подъ древними стѣнами,
Ихъ пѣной орошалъ,
И низкій брегъ съ лѣсистыми холмами
Въ струяхъ его дрожалъ.
Тамъ пламенѣлъ бреговъ на тихомъ склонѣ
Закатъ сквозь рѣдкій лѣсъ;

И трепеталъ во дремлющемъ Авонѣ
  Съ звѣздами сводъ небесъ.
Вдали, вблизи разсыпанныя села
  Дымились по утрамъ,
Отъ рѣзвыхъ стадъ долина вся шумѣла,
  И вторилъ лѣсъ рогамъ.
Спѣшилъ съ пути прохожій совратяся
  На Ирлингфоръ взглянуть,
И, красотой его плѣняся,
  Онъ забывалъ свой путь.

(„Варвикъ".)

Владыка Морвены,
Жилъ въ дѣдовскомъ замкѣ могучій Ордалъ.
  Надъ озеромъ стѣны
Зубчатыя за̀мокъ съ холма возвышалъ.
  Прибрежны дубравы
  Склонились къ водамъ,
  И стлался кудрявый
Кустарникъ по злачнымъ окрестнымъ холмамъ.
  Спокойствіе сѣней
Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ нарушалъ;
  Рогатыхъ оленей
И вепрей и ланей могучій Ордалъ
  Съ отважными псами
  Гонялъ по холмамъ;
  И долы съ холмами
Шумя отвѣчали зовущимъ рогамъ.
  . . . .
  На темные своды
Багрянымъ щитомъ покатилась луна,
  И озера воды
Струистымъ сіяньемъ покрыла она;
  Отъ за̀мка, отъ сѣней
  Дубравъ по брегамъ
  Огромные тѣней
Легли великаны по гладкимъ водамъ.
  . . . .
  Прохладно дышитъ
Тамъ вѣтеръ вечерній и въ листьяхъ шумитъ,
  И вѣтки колышетъ,
И арфу лобзаетъ... но арфа молчитъ.
  Творенія радость,
  Настала весна —
  И въ свѣжую младость,
Красу и веселье земля убрана.
  И яркимъ сіяньемъ

Холмы осыпалъ вечерѣющій день;
  На землю съ молчаньемъ
Сходила ночная росистая тѣнь;
  Ужъ синіе своды
  Блистали въ звѣздахъ;
  Сравнялися воды,
И вѣтеръ улегся на спящихъ листахъ.
(„Эолова Арфа“.

И вотъ... насталъ послѣдній день;
  Ужъ солнце за горою;
И стелется вечерня тѣнь
  Прозрачной пеленою;
Ужъ сумракъ... смерклось. . вотъ луна
  Блеснула изъ-за тучи;
Легла на горы тишина,
  Утихъ и лѣсъ дремучій;
Рѣка сравнялась въ берегахъ.
  Зажглись свѣтила ночи;
И сонъ глубокій на поляхъ;
  И близокъ часъ полночи...
  . . . .
И все въ ужасной тишинѣ;
  Окрестность, какъ могила;
Вотъ... каркнулъ воронъ на стѣнѣ;
  Вотъ... стая псовъ завыла;
И вдругъ... протяжно полночь бьетъ:
  Нашли на небо тучи;
Рѣка надулась; боръ реветъ,
  И мчится прахъ летучій...
Напрасно вѣетъ вѣтерокъ
  Съ душистыя долины;
И свѣтъ луны сребритъ потокъ
  Сквозь темны липъ вершины;
И ласточка зари восходъ
  Встрѣчаетъ щебетаньемъ;
И роща въ тѣнь свою зоветъ
  Листочковъ трепетаньемъ;
И шумъ бѣгущихъ съ поля сталъ
  Съ пастушьими рогами
Вечерній мракъ животворятъ,
  Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и послѣдній день
  Край неба озлащаетъ;
Сквозь темную дубравы сѣнь
  Блистанье проникаетъ;

Все тихо, весело, свѣтло;
Все нѣгой сладкой дышитъ;
Рѣка прозрачна, какъ стекло;
Едва, едва колышетъ
Листами легкій вѣтерокъ;
Въ поляхъ благоуханье;
Къ цвѣтку прилипнулъ мотылекъ
И пьетъ его дыханье...

(„Громобой“.)

И воцарилась всюду тишина;
Все спитъ... лишь изрѣдка въ далекой мглѣ промчится
Невнятный гласъ... или колыхнется волна...
Иль сонный листъ зашевелится.
Я на брегу одинъ... окрестность вся молчитъ...
Какъ привидѣніе, въ туманѣ предо мною
Семья младыхъ березъ недвижимо стоитъ
Надъ усыпленною водою.
Вхожу съ волненіемъ подъ ихъ священный кровъ;
Мой слухъ въ сей тишинѣ привѣтный голосъ слышитъ:
Какъ бы эфирное тамъ вѣетъ межъ листовъ,
Какъ бы невидимое дышитъ;
Какъ бы сокрытая подъ юныхъ древъ корой,
Съ сей очарованной мѣшаясь тишиною,
Душа незримая подъемлетъ голосъ свой
Съ моей бесѣдовать душою.
И нѣкто урнѣ сей безмолвный присѣдитъ:
И, мнится, на меня вперилъ онъ томны очи;
Безъ образа лицо, и зракъ туманный слитъ
Съ туманнымъ мракомъ полуночи.
Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лѣтъ,
Опять въ видѣніи прекраснымъ воскресаетъ;
И все, что жизнь сулитъ, и все, чего въ ней нѣтъ,
Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ...

(„Славянка“.)

Этихъ примѣровъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа — романтическая природа, дышащая таинственной жизнью души и сердца, исполненная высшаго смысла и значенія.

Стихъ Жуковскаго неизмѣримо выше стиха всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодіи и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то сжатой крѣпости и энергіи. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіи Жуковскаго. И, несмотря на то, еще многаго недоставало этому стиху: онъ еще далеко не совсѣмъ свободенъ, не совсѣмъ глубокъ. Содержаніе по-

зія Жуковскаго было такъ одностороннее, что стихъ его не могъ отразить въ себѣ всѣ свойства и все богатство русскаго языка.

Кромѣ односторонности содержанія поэзіи Жуковскаго, не должно еще забывать, что поэтическая дѣятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой — подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и особенно подъ вліяніемъ идеи Карамзина. Правда, онъ и въ патріотическія стихотворенія и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-таки отзывается болѣе или менѣе фактурой старыхъ мастеровъ нашей поэзіи. Къ общимъ недостаткамъ поэзіи Жуковскаго принадлежитъ часто невыдержанность въ цѣломъ: рѣдкая пьеса его не теряетъ многаго изъ своего достоинства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія „На смерть королевы Вюртембергской" можетъ служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своей растянутой прозаичностью ослабляющіе впечатлѣніе цѣлаго.

Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинской богиней Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія „въ оный таинственный свѣтъ", которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротой смѣняютъ одно другое, и сердце, желая многаго, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свѣтлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ

сердца, и за ней непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того чтобъ человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственной красотой, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобъ онъ могъ понять, что вѣчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа — въ тѣлѣ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка. — и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душой по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ Западной Европы, а слѣдовательно — всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступной для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое усло-

вливается чуждой національностью. Еще въ дѣтствѣ мы черезъ Жуковскаго пріучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русской рѣчью. *Бѣлинскій*

Сельское кладбище. (Элегія Грея.)

Описаніе сельскаго вечера. Поэтъ въ особенности старается выставить одну сторону его — общую тишину, изрѣдка по мѣстамъ прерываемую то жужжаньемъ жука, то звукомъ рога, то крикомъ совы. Эта тишина, располагая къ мечтанію, въ то же время гармонируетъ съ тѣмъ вѣчнымъ покоемъ кладбища, гдѣ спятъ непробуднымъ сномъ праотцы села. Они-то теперь и занимаютъ воображеніе поэта. Онъ *отрицательно* описываетъ прошлую ихъ жизнь, т.-е. показываетъ, что прежде пробуждало ихъ отъ сна и что теперь не можетъ пробудить, что прежде привлекало ихъ къ дому и что теперь не можетъ привлекать. Въ этомъ отрицательномъ описаніи поэтъ изображаетъ противоположность между міромъ живыхъ и міромъ мертвыхъ. Далѣе показывается значеніе скромной жизни поселянина: вся она заключается въ непрерывномъ трудѣ и въ борьбѣ съ природою. Труды эти полезны всѣмъ, а между тѣмъ иные смотрятъ на нихъ высокомѣрно и съ холоднымъ презрѣніемъ, и такіе люди, которые сами *рабы суетъ*, т.-е. своею жизнію далеко не приносятъ той пользы, какую приноситъ убогій своими дѣлами, таящимися во тьмѣ. Пускай они, говоритъ поэтъ, унижаютъ жребій поселянина, но это нисколько не измѣнитъ дѣйствія смерти: она сравниваетъ всѣхъ: законы природы для всѣхъ одни и тѣ же: путь величія ведетъ къ тому же гробу, къ которому пришли и эти убогіе праотцы села. Правда, гробы ихъ не пышны и забвенны, на могилахъ ихъ не воздвигнуты алтари, какіе воздвигаются на могилахъ „ослѣпленныхъ наперстниковъ фортуны“: но напрасно спѣшить презирать спящихъ на этомъ скромномъ кладбищѣ: смерть не возвращаетъ своей добычи, съ какими бы почестями ни погребли умершаго; подъ мраморной доской сонъ его не будетъ слаще, а богатый и тяжелый памятникъ, свидѣтельствующій только о людской надменности, лишь болѣе ба-

детъ придавливать ихъ персть. Показавъ общее равенство передъ смертію, поэтъ далѣе показываетъ что точно такъ же и природа сравниваетъ всѣхъ. Для этого онъ перебираетъ отдѣльныя могилы и предполагаетъ, кто въ каждой могъ быть погребенъ: въ одной человѣкъ съ нѣжнымъ чувствительнымъ сердцемъ, въ другой — съ способностями править народомъ, въ третьей — съ умомъ, который могъ бы доставить славу великаго ученаго. Природа одинаково даетъ свои дары всѣмъ, не разбирая мѣста рожденія. Но если въ жизни они не могли выказать этихъ даровъ, то виновата не она, виноваты обстоятельства жизни и жалкая обстановка, среди которой имъ приходилось выростать и развиваться. Угрюмая судьба не отворила имъ храма просвѣщенья: цѣпи убожества обременили ихъ, строгая нужда умертвила въ нихъ геній. Поэтъ сравниваетъ такой непроявившійся геній съ рѣдкимъ перломъ, скрытымъ въ волнахъ моря, но и тамъ онъ остается все же перломъ; или съ полевой лиліей, запахомъ которой никто не наслаждается. Такимъ образомъ и изъ этихъ безвѣстныхъ людей при другихъ обстоятельствахъ могъ явиться второй Гампденъ или второй Кромвель, или Мильтонъ. Но если они не могли отличиться тѣми доблестями, которыми отличаются люди съ высшими интересами жизни; то не могли прославиться и тѣми злодѣйствами, жестокостями, безсовѣстностью и низостью, какими прославлялись люди въ другихъ, высшихъ сферахъ. Вотъ выгода тѣхъ, которые безвѣстно идутъ своей тропинкою: въ долинѣ этой жизни у нихъ нѣтъ блистательныхъ надеждъ, зато нѣтъ и страха, нѣтъ сильныхъ наслажденій, нѣтъ и сильныхъ горестей. Эти-то люди и спятъ здѣсь подъ гробовою сѣнью, они-то и привлекаютъ вниманіе поэта. Ихъ скромные памятники говорятъ совсѣмъ не то, что пышные мавзолеи. Они свидѣтельствуютъ о той любви, какую покойники оставили послѣ себя въ сердцахъ близкихъ; безъ нея никто бы не подумалъ позаботиться начертить на надгробномъ камнѣ ихъ лѣта и имена, никто бы не сталъ придумывать библейскую мораль, „по коей мы должны учиться умирать“.

Далѣе поэтъ представляетъ значеніе любви для умирающаго. Человѣку трудно разставаться съ жизнію, тяжело думать что онъ скоро обратится въ ничто, какъ будто бы никогда не существовалъ, быстро забытый всѣми. Но душа

нѣжная, умѣвшая любить, слѣдственно вызывать и въ другихъ любовь къ себѣ, покидая жизнь, утѣшается тѣмъ, что не совсѣмъ умретъ, что останется еще жить въ памяти друзей, на которыхъ и останавливается послѣдній тусклый взоръ умирающаго. Легче ему умирать съ думою, что его сердце будетъ слышать и въ могилѣ милый ихъ голосъ, что нашъ гробовой камень будетъ имъ казаться одушевленнымъ, что нашъ мертвый прахъ для нихъ будетъ дышать, воспламененный огнемъ любви.

Изъ всего этого вытекаетъ, что истинное значеніе жизни человѣка должно заключаться въ развитіи любви его къ другому, что только одна она и облегчаетъ горькія минуты кончины, слѣдовательно о ней и слѣдуетъ прежде всего заботиться человѣку. Поэтъ называетъ себя другомъ почившихъ, потому что они оставили послѣ себя любовь, которая и поставила на ихъ могилахъ скромные памятники. Онъ представляетъ тотъ часъ, когда и его будутъ погребать здѣсь и когда селянинъ съ почтенной сѣдиною, быть можетъ, будетъ разсказывать о немъ чувствительному пришельцу. И, пользуясь этимъ разсказомъ, поэтъ рисуетъ идеалъ поэта: онъ любитъ природу и среди ея уединеніе, любитъ грустить, предаваться своимъ чувствамъ, смотритъ уныло на жизнь. кротокъ сердцемъ, чувствителенъ, сострадателенъ къ несчастью другихъ, печать меланхоліи отличаетъ его отъ прочихъ. Всѣ эти черты дѣйствительно можно видѣть въ тогдашней романтической поэзіи; онѣ не чужды и самому Жуковскому, который такъ любилъ это стихотвореніе, находя въ немъ, конечно, много родственнаго съ своей душою.

Все произведеніе можно раздѣлить на слѣдующія части: 1) описаніе вечера, 2) изображеніе скромной и трудовой сельской жизни и отношеніе къ ней рабовъ суетъ, 3) общее равенство передъ смертію, 4) равенство всѣхъ предъ природою, 5) различіе людей по обстоятельствамъ и обстановкѣ жизни, 6) дурная и хорошая сторона убогаго состоянія, 7) значеніе любви для умирающаго, 8) мысль поэта о собственной смерти и изображеніе идеала поэта.

Изъ всего этого видно, что цѣль поэта представить человѣческую сторону жизни независимо отъ всякихъ случайностей, въ какомъ бы состояніи ни находился человѣкъ. Случайности иногда возносятъ одного человѣка надъ другими; но

ему нѣтъ причины тщеславиться этимъ, потому что природа и смерть ко всѣмъ относятся одинаково, уравнивая всѣхъ. Только одна любовь къ людямъ нравственно возвышаетъ человѣка и облегчаетъ переходъ его въ загробный міръ; только одна нѣжная душа, умѣвшая сострадать несчастнымъ, оставитъ по себѣ добрую память и будетъ привлекать къ своей могилѣ каждаго чувствительнаго человѣка, хотя бы эта могила была самая бѣдная: память добраго благословляется слезою, а быть чувствительнымъ, добрымъ не могутъ помѣшать никакія обстоятельства. Такимъ образомъ весь интересъ жизни полагается въ чувствѣ; изъ него и развивается самый идеалъ человѣка и поэта. Все это изображается въ связи съ идеей о смерти, и потому стихотвореніе проникнуто грустью. *Стоюнинъ.*

Людмила и ея первоисточникъ.

Поэтическій сюжетъ извѣстенъ въ нашей литературѣ уже давно. Въ первый разъ въ художественной обработкѣ онъ появился на страницахъ „Вѣстника Европы" за 1808 г.; журналъ, основанный Карамзинымъ, издавался тогда В. А. Жуковскимъ, и въ немъ самъ издатель помѣстилъ одну изъ интереснѣйшихъ своихъ балладъ: „Людмилу". Необыкновенной прелестью стиха и новизною своего романтическаго содержанія, якобы почерпнутаго изъ исторіи славянства, баллада эта произвела сильное впечатлѣніе на читающую публику, впечатлѣніе, какое произвелъ Карамзинъ своей „Бѣдной Лизой". Людмила, говоритъ поэтъ, поджидая возвращенія своего возлюбленнаго изъ далекой стороны,

> На распутіи вздыхала.
> „Возвратится ль онъ, — мечтала, —
> Изъ далекихъ, чуждыхъ странъ
> Съ грозной ратію славянъ?"...

Съ полнымъ правомъ поэта авторъ „Людмилы" могъ отправить героя баллады на войну со „славянской ратію", не нарушая этимъ поэтической правды, такъ какъ разсказъ развиваетъ содержаніе общечеловѣческой жизни, захватываетъ отношенія повсюду одинаковыя, присущія всему че-

ловѣчеству, а не одной какой-либо народности. Между тѣмъ „Людмила" оказывается не инымъ чѣмъ, какъ передѣлкой нѣмецкой баллады, именно той, которую нѣсколько позже, въ 1829 г., Жуковскій перевелъ съ большимъ искусствомъ, и притомъ близко къ подлиннику, и издалъ подъ ея настоящимъ именемъ: „Ленора". Подлинникомъ для Жуковскаго послужила превосходная нѣмецкая баллада „Lenore". Авторомъ этой знаменитой баллады былъ Готфридъ Августъ Бюргеръ, одинъ изъ первыхъ нѣмецкихъ писателей, взявшихся за обработку балладъ и романсовъ. Родился онъ въ горахъ Гарца, въ семьѣ деревенскаго пастора, росъ въ близкомъ соприкосновеніи съ природой и народной средой, чѣмъ отчасти и объясняется его раннее влеченіе къ сюжетамъ безыскусственной поэзіи.

Живое воображеніе мальчика съ ранняго періода находило богатую пищу въ мѣстныхъ романтическихъ сказаніяхъ о рыцарскихъ замкахъ и чудныхъ преданіяхъ о горныхъ духахъ; на родинѣ онъ познакомился также съ живой народной пѣснью, которая на ряду съ Библіей и старыми церковными гимнами уже рано подѣйствовала возбуждающимъ образомъ на восприимчивую душу ребенка. Другимъ болѣе важнымъ условіемъ, давшимъ направленіе таланту Бюргера, было то обстоятельство, что поэтическое развитіе его совершалось въ то знаменательное время нѣмецкой жизни, которое обыкновенно называется „геніальнымъ" періодомъ, или „періодомъ бурныхъ стремленій" („Kraftgenialische" или „Sturm und Drang-Periode").

Послѣ продолжительной и упорной работы многихъ тружениковъ, — работы направленной къ пробужденію самостоятельности и правдивости въ литературѣ, послѣ блестящей и въ высокой степени плодотворной дѣятельности такихъ корифеевъ, какъ Клопштокъ, Лессингъ и Виландъ, — на литературное поприще выступаетъ цѣлый рядъ многочисленныхъ, хотя и мало извѣстныхъ писателей, подготовившихъ собою настоящую умственную революцію, охватившее нѣмецкое общество въ концѣ 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Подъ вліяніемъ популярныхъ тогда въ Германіи идей Руссо, провозглашавшихъ свободу личности, поклоненіе природѣ и непосредственность чувства, не стѣсняемаго никакими формальностями и условностью, среди молодежи всѣхъ классовъ

общества пробудилась страстная потребность въ сильныхъ ощущеніяхъ и въ болѣе глубокомъ пониманіи жизни. Литература призвана была давать удовлетвореніе новымъ запросамъ жизни, разрушать старые предразсудки, бороться за свободу личнаго права, за широко понимаемое просвѣщеніе. Мало-по малу новые идеалы вытѣсняютъ старые, просвѣщеніе широкой волной разливается по Германіи, въ литературѣ пріобрѣтаетъ полное гражданство свобода творчества и смѣлый полетъ воображенія, остающіеся съ тѣхъ поръ руководящими принципами для дальнѣйшаго развитія поэзіи.

Въ этомъ періодѣ, продолжавшемся не болѣе четверти столѣтія, слѣдуетъ искать зародыши будущихъ литературныхъ и общественныхъ направленій въ Германіи; подъ его вліяніемъ возникъ цѣлый рядъ великихъ произведеній и выработались такіе писатели, какъ Гердеръ и Фоссъ, Гете и Шиллеръ, Шлегель и Бюргеръ и цѣлая плеяда второстепенныхъ литераторовъ, поэтовъ, критиковъ и мыслителей.

Самымъ законченнымъ и многостороннимъ выразителемъ этой знаменитой эпохи по своему универсальному уму, громаднымъ познаніямъ и по рѣдкой душевной отзывчивости былъ Гердеръ. Геніальный мыслитель и вдохновенный провозвѣстникъ идеаловъ будущаго, онъ близко подходилъ къ Руссо, но охватывалъ болѣе широкій кругъ интересовъ. Онъ искалъ и любилъ прекрасное во всѣхъ формахъ и видахъ проявленія жизни, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ религіяхъ, во всѣхъ искусствахъ и наукахъ; вся его жизнь была проникнута идеаломъ и знаніемъ.

При такомъ возвышенномъ взглядѣ на жизнь и при такомъ широкомъ умственномъ кругозорѣ, произведенія его отличались отрывочностью и неполнотою, но вліяніе ихъ было полное и безусловное, особенно въ первый періодъ его дѣятельности.

Молодежь чутко прислушивалась къ новому ученію Гердера о народности и поэзіи; среди отзывчивыхъ на это ученіе молодыхъ людей былъ и Бюргеръ, уже съ дѣтства обнаруживавшій рѣдкій поэтическій талантъ.

Юношей, проходя университетскій курсъ въ Галле, а затѣмъ въ Геттингенѣ, онъ увлекается тогдашней нѣмецкой лирикой въ духѣ Глейша и Гаггедорна, преклоняется предъ Клопштокомъ и съ увлеченіемъ изучаетъ Оссіана и Шек-

спира, которыми бредила и вся тогдашняя бурная молодежь. Въ кругу своихъ молодыхъ друзей, составлявшихъ союзъ такъ называемыхъ „бардовъ" — Göttinger Hainbund — онъ является соучастникомъ всѣхъ ихъ страстныхъ порывовъ и крайнихъ увлеченій, но все еще не успѣваетъ попасть на настоящій путь своего призванія.

Зачитываясь Шекспиромъ и Оссіаномъ, геніальнымъ истолкователемъ которыхъ былъ въ то время Гердеръ, Бюргеръ ищетъ сюжетовъ для себя въ безыскусственной поэзіи и попадаетъ на сборникъ англійскихъ балладъ Percy: „Reliques of Ancient english Poetry" (1723). Сборникъ этотъ дѣлается для него настольною книгой, онъ тщательно изучаетъ его въ теченіе довольно продолжительнаго времени и подъ воздѣйствіемъ его переживаетъ третій важный моментъ въ развитіи своего поэтическаго таланта.

Впослѣдствіи ему дѣлается извѣстнымъ и второй сборникъ англійскихъ балладъ — „Old ballads, Evans edition" (1777); изъ нихъ онъ почерпаетъ сюжеты для лучшихъ своихъ переводныхъ произведеній и на нихъ же воспитываетъ свой литературный вкусъ, съ такимъ изяществомъ отразившійся затѣмъ на его самостоятельныхъ балладахъ. Итакъ, усвоивъ уже съ дѣтства любовь къ народной поэзіи и воспитавъ затѣмъ свое предрасположеніе къ такого рода произведеніямъ чтеніемъ восторженныхъ статей Гердера о безыскусственномъ творчествѣ, Бюргеръ подъ вліяніемъ англійскихъ балладъ съ большимъ успѣхомъ и самъ начинаетъ обрабатывать народные сюжеты и почти одновременно выпускаетъ въ свѣтъ двѣ баллады: „Der Raubgraf" и „Lenore".

Послѣдняя баллада появилась въ томъ же году, когда Гете напечаталъ свою драму: „Götz von Berlichingen", бывшую знаменіемъ времени, а Гердеръ — свое изслѣдованіе: „Über Ossian und die Lieder alter Völker", явившееся страстнымъ, воодушевленнымъ диѳирамбомъ безыскусственному творчеству.

Такимъ образомъ теоретическія требованія Гердера встрѣтились съ двумя замѣчательными произведеніями, одновременно отвѣтившими на новыя вѣянія, чувствовавшіяся въ литературѣ и поэзіи.

Прочитавъ статью Гердера, Бюргеръ пишетъ къ своему другу Бойе отъ 18 іюня 1773 года: „О, какое счастье!

такой человѣкъ, какъ Гердеръ, учитъ о народной пѣснѣ, точно такъ же, какъ я давно уже въ глубинѣ души своей думалъ и чувствовалъ. Я думаю, что „Ленора" въ нѣкоторомъ отношеніи должна соотвѣтствовать ученію Гердера.

И дѣйствительно, эта баллада на ряду съ появившимся въ 1775 году „Der Wilde Jäger" служитъ высшимъ проявленіемъ таланта Бюргера: ни раньше ни позже онъ не могъ уже достигнуть того совершенства формы, реальности картинъ и силы выраженія, какія удалось ему представить въ названныхъ балладахъ. Обѣ баллады написаны въ духѣ народной поэзіи, и особенно послѣдняя доставила автору **широкую европейскую популярность.**

Свою „Ленору" написалъ Бюргеръ въ 1773 году. Появленіе ея было настолько новымъ и неожиданнымъ событіемъ въ нѣмецкой поэзіи, что она тотчасъ же привлекла къ себѣ всеобщее вниманіе. Но не всѣ были ею довольны.

Представители ложно-классическаго направленія въ литературѣ, какъ Клопштокъ, порицали ее за новизну формы и содержанія; консерваторы были ею недовольны съ религіозной точки зрѣнія, усматривая въ ней легкомысленное отношеніе къ вопросамъ вѣры. Такъ профессоръ Рейнгардтъ заявлялъ: „Не то удивительно, что находятся люди, способные писать такія вещи, а другіе восторгаться ими, но то, что цензура пропускаетъ такія скандальныя пѣсни".

Однако, эти отдѣльные неодобрительные отзывы были заглушены всеобщимъ восторгомъ: балладу читали во всей Германіи, самъ Гёте любилъ декламировать ее, композиторы перекладывали ее на музыку, живописцы иллюстрировали ее, а два французскихъ художника выбрали моменты изъ **„Леноры" для своихъ картинъ.**

Въ теченіе короткаго времени Ленора дѣлается извѣстной во всей Европѣ: ее переводятъ, передѣлываютъ и подражаютъ ей.

Вскорѣ послѣ своего выхода она появилась въ переводѣ на датскій, шведскій и голландскій языки. Въ теченіе немногихъ лѣтъ вышло семь англійскихъ переводовъ; одинъ изъ нихъ былъ сдѣланъ Вальтеръ-Скоттомъ, который познакомилъ англичанъ также въ своемъ переводѣ и съ драмой Гете „Götz von Berlichingen". Англійскіе переводчики поступили съ подлинной „Ленорой" весьма свободно и придали разсказу мѣстный, національный характеръ.

Были также переводы „Леноры“ на португальскій, фламандскій, латинскій и французскій языки. M-me de Staël помѣстила въ своей книгѣ „De l'Allemagne“ изложеніе баллады и эстетическій разборъ ея, исполненный лестныхъ отзывовъ о произведеніи Бюргера.

На русскомъ языкѣ она появилась, какъ указано выше, сперва въ высоко художественной передѣлкѣ Жуковскаго подъ именемъ Людмилы, а позже въ его же точномъ переводѣ подъ своимъ заглавіемъ — „Ленора“. На польскомъ языкѣ въ подражаніе „Ленорѣ“ Бюргера Ляхъ-Ширма пишетъ свою обширную балладу „Kamilla i Leon“, позже Мицкевичъ, зная балладу Бюргера, избираетъ сюжетъ изъ польской народной поэзіи для своей баллады „Ucieczka“, а затѣмъ Одынецъ даетъ близкій переводъ ея.

Остается указать еще на переводъ малорусскій, чтобы имѣть точное представленіе о широкой извѣстности „Леноры“, пріобрѣтенной ею въ короткое время послѣ своего появленія въ печати за предѣлами Германіи.

Но этимъ еще не исчерпывается литературное значеніе „Леноры“. Въ Англіи она вызвала не только цѣлый рядъ переводовъ, но во весь періодъ увлеченія романтикой оказывала живое воздѣйствіе на художественное творчество: она послужила тамъ сюжетомъ для новыхъ балладъ, фабула ея клалась въ основу романовъ и поэмъ, пластичность формъ и живость картинъ дѣйствовала на воображеніе такихъ поэтовъ, какъ Кольриждъ, Вордсвортъ, Шелли и другіе. Біографъ Шелли говоритъ, будто бы „Ленора“ Бюргера впервые пробудила поэтическую силу этого поэта.

Такая популярность „Леноры“ въ Англіи была подготовлена тамъ, съ одной стороны, Оссіановской поэзіей, а съ другой — старыми балладами на тему о привидѣніяхъ и мертвецахъ; Бюргеръ явился въ данномъ случаѣ только сильнымъ художникомъ формы, и эта сила привлекла къ нему всеобщее вниманіе.

По собственнымъ словамъ своимъ Бюргеръ получилъ первоначальную идею для своей баллады отъ народной сказки, случайно слышанной, въ сказкѣ этой его особенно поразили стихи:

„Der Mond der scheint so helle,
Die Todten reiten schnelle“.

и потомъ слова разговора: „Graut liebchen auch vor toten? Wie solte mir grauen? Ich bin ja bei dir“. Этого было достаточно, чтобы дать тему для поэта; остальное онъ создалъ самъ, удерживая, однако, ходъ дѣйствія народнаго разсказа, и притомъ такъ мастерски, что А. В. Шлегель нашелъ возможнымъ сказать: „если бъ Бюргеръ ничего больше не написалъ, то и это обезпечило бы для него безсмертіе“. Поэтому неудивительно, что „Ленора“ въ скоромъ времени послѣ своего появленія въ печати пріобрѣла, какъ мы видѣли, широкую популярность, и сюжетъ, ею развиваемый, сдѣлался предметомъ научныхъ изысканій.

„Ленора“ обратила на себя всеобщее вниманіе, не только благодаря новизнѣ и оригинальности своего сюжета и высокаго поэтическаго совершенства, достигнутаго Бюргеромъ въ ея обработкѣ, но также и тому обстоятельству, что содержаніемъ своимъ она входитъ въ кругъ сказаній, распространенныхъ въ огромномъ количествѣ среди всѣхъ европейскихъ народовъ.

Содержаніе баллады настолько общеизвѣстно, что приводить его здѣсь не представляется никакой надобности, и я ограничусь указаніемъ лишь важнѣйшихъ моментовъ разсказа.

Возлюбленный „Леноры“ ушелъ на войну, о немъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній, „а самъ онъ къ ней не пишетъ“. Насталъ миръ, войска возвращаются назадъ, „всѣмъ радость, а Ленорѣ отчаянное горе“: нѣтъ ея возлюбленнаго, и ничего никто о немъ не знаетъ. Ленора тоскуетъ и плачетъ, и ропщетъ на Бога, не слушая увѣщаній матери. И вотъ разъ ночью, когда она терзалась, рвала волосы, раздался конскій топотъ: подъѣхалъ къ крыльцу всадникъ и постучалъ въ дверь. „Ждешь ли ты меня, или уже забыла?“ спрашиваетъ гость; но медлить некогда: „путь нашъ дологъ, мало срока, сто миль намъ до ночлега, собирайся поскорѣе“. „А гдѣ жъ твой домъ?“ говоритъ дѣвушка. „Онъ далеко... пять, шесть досокъ.. прохладный, тихій, темный“, отвѣчаетъ гость. Ленора вышла; вскочила на коня, прижалась къ своему возлюбленному, и они помчались. „Не страшно ль тебѣ? — спрашиваетъ онъ свою спутницу и продолжаетъ: „мѣсяцъ свѣтитъ намъ! Гладка дорога мертвецамъ“, а мимо нихъ мелькали окрестныя поля, холмы, ряды кустовъ. „Мой конь, несись быстрѣй, пѣтухъ кричитъ“, говоритъ мертвецъ.

и вотъ они примчались къ воротамъ кладбища. Кругомъ однѣ могилы, конь грянулъ и исчезъ, а Ленора очутилась въ рукахъ скелета и полумертвая упала на землю.

Таково содержаніе баллады въ главныхъ чертахъ. По сравненію съ другими, чисто народными варіантами того же сюжета здѣсь окажется недостаточно ясно очерченной причина, заставившая мертвеца встать изъ гроба и явиться за своей возлюбленной. Очевидно, слезы Леноры принудили его покинуть могилу, хотя конецъ баллады даетъ возможность видѣть въ этомъ, какъ бы кару Бога за ропотъ Леноры на Провидѣніе; но эта черта привнесена сюда поэтомъ и для сюжета она оказывается не важной, не существенной. Напротивъ того, если разложить самый разсказъ на составляющіе его основные мотивы, то таковыми окажутся, во-первыхъ, вѣра въ возможность возвращенія мертвыхъ на землю въ прежнемъ своемъ видѣ, во-вторыхъ, убѣжденіе, что къ этому побуждаетъ мертвыхъ неутѣшная скорбь ихъ близкихъ. Вотъ эти общія идеи и обусловили возникновеніе самаго сюжета „Леноры". *Созоновичъ.*

Ивиковы журавли.

Даже въ далеко отступившемъ отъ подлинника переводѣ Жуковскаго такъ и вѣетъ поэтической стихией греческой жизни; оригиналъ же еще крѣпче и выдержаннѣе: художественность и историческія достоинства его стоятъ внѣ всякихъ пререканій.

I. Кратко и превосходно введеніе въ дѣйствіе. Въ простомъ и спокойномъ разсказѣ, которымъ начинается баллада, мы быстро знакомимся съ временемъ и личностью, около которыхъ все совершается: мы застаемъ пѣвца на пути къ великому національному празднику наиболѣе поэтическаго народа земли. И хотя названіе игръ пока прямо не означено, но и описательная форма произведенія не оставляетъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что цѣлью стремленій Ивика были соединявшія грековъ веселыя истмійскія игры. Внѣшній видъ пѣвца — скромный, и это, по видимому, только для того, чтобы ярче свѣтились его высокія свойства души. Странникъ — поэтъ, въ особенномъ греческомъ смыслѣ. Въ отличіе

отъ обыкновенныхъ смертныхъ онъ очень близокъ къ богамъ, ихъ другъ и посланникъ его воодушевляющаго бога. свой даръ онъ получилъ отъ Аполлона, который щедро наградилъ его поэтическимъ дарованіемъ и способностью выражать свой внутренній міръ въ пріятныхъ слушателямъ пѣсняхъ: источникъ его пѣсенъ, такимъ образомъ, — даръ божественнаго происхожденія. Полный высшаго вдохновенія, Ивикъ стремился, чтобы излить его, принявъ участіе въ предстоящихъ въ Истмѣ состязаніяхъ, конечно, не безъ надежды выйти побѣдителемъ и тѣмъ прославить себя и другихъ. А между тѣмъ этотъ необыкновенный человѣкъ, державшій путь отъ Регіума, по Истмійскому перешейку шелъ пѣшкомъ, безъ имущества, съ однимъ посохомъ въ рукѣ — какъ бы въ знакъ, что люди, богатые духомъ, рѣдко бываютъ богаты имуществомъ. Поэтъ не изображаетъ дальнѣйшихъ внѣшнихъ чертъ Ивика. На этотъ разъ онъ близокъ былъ ко взгляду Лессинга, по которому рисовать предметы — дѣло живописи, область же поэзіи — явленія, событія; и предметовъ необходимо касаться настолько, насколько они обнаруживаютъ себя въ дѣйствіи; потому онъ, давши нѣсколько штриховъ, тотчасъ же, не останавливаясь, и продолжаетъ свою повѣсть.

II. Путешествіе близится къ концу. Вонъ уже виднѣются Коринѳскія высоты, до цѣли остается пройти только Посейдонову сосновую рощу. Отъ представленія святости мѣста, съ благоговѣніемъ и почтительнымъ страхомъ, вступаетъ въ него Ивикъ. Никто не нарушаетъ царствующей кругомъ тишины; его сопровождаютъ одни стаи журавлей, которыя неслись на теплый югъ. Этотъ переходъ отъ изображенія одиночества и ничѣмъ не нарушаемой тишины къ описанію единственно живого существа журавлей, здѣсь кстати и естественъ. Журавли сравниваются съ частью коннаго войска, пепельно-сѣрымъ эскадрономъ, — по сходству формы полета стаи въ видѣ впереди сходящихся линій. Ихъ видъ до того привлекаетъ наше вниманіе, что насъ ни мало не смущаетъ допущенное авторомъ совмѣщеніе никогда въ дѣйствительности не совпадавшихъ явленій: игры совершались то лѣтомъ, то весной, а полетъ журавлей чрезъ Грецію бываетъ позже, въ глубокую осень. Но если для насъ появленіе журавлей составляетъ предметъ простого эстетическаго удо-

вольствія, то для Ивика оно имѣло особенное значеніе. Въ глазахъ дѣтски-наивнаго грека птицы, особенно большія, были вѣстниками Зевса, и ихъ внезапное появленіе всегда считалось знакомъ чего-то необычнаго, по ихъ полету гадали о судьбѣ. Такъ и Ивикъ. Признавъ въ неожиданно появившихся журавляхъ часть тѣхъ станицъ, которыя сопровождали его во время морского пути отъ Нижней Италіи до Коринѳской земли, онъ видитъ въ нихъ доброе для себя предзнаменованіе: какъ счастливо было морское плаваніе, таково же, повидимому, мелькаетъ у него въ головѣ, будетъ и его прибытіе; свой жребій онъ находилъ сходнымъ съ ихъ долей: одинаково они стремятся издалека и ищутъ безопаснаго крова, и высказываетъ желаніе, чтобы покровитель каждаго чужестранца, высшій гостепріимецъ — Зевсъ, отвратилъ отъ нихъ всякое несчастіе и одинаково пребылъ къ нимъ благосклоненъ.

До сихъ поръ все шло спокойно: тонъ свѣтлый и радужный. Признаки нѣкотораго колебанія можно подмѣтить развѣ въ обращеніи Ивика къ Зевсу. Обращеніе звучитъ нѣсколько пророчески и какъ бы даетъ поводъ предчувствовать опасность, которая тотчасъ и возникаетъ, и притомъ въ самомъ, повидимому, свободномъ отъ нея мѣстѣ.

IV—V. Ободренный предзнаменованіемъ, Ивикъ ускоряетъ шаги и скоро достигаетъ средины лѣса. Тутъ внезапно двое убійцъ преграждаютъ ему путь. Уклониться отъ нихъ некуда: путь узокъ и стѣсненъ. Завязывается борьба; но не Ивику одолѣть двоихъ. Поэтъ — не воинъ. Его рука, привычная къ лирѣ, а не къ оружію, въ изнеможеніи скоро опускается. Не надѣясь на себя, онъ думаетъ найти помощь въ другихъ. Взываетъ къ людямъ и богамъ — напрасно! его мольбы никто не слышитъ; какъ ни возвышаетъ онъ свой голосъ, вокругъ не видно ничего живого. Въ сознаніи, что спасенья нѣтъ, Ивикъ горько жалуется на свою печальную участь. Въ его жалобѣ слышится, что увеличиваетъ горечь его смерти. Онъ долженъ умереть здѣсь, въ священной рощѣ, гдѣ всего менѣе можно было ожидать убійства на чужбинѣ, безъ послѣдней чести, не оплаканный и безъ погребенія, погибнуть отъ руки злодѣевъ, и притомъ безъ надежды, что злодѣйство будетъ открыто и что кто-нибудь — правительство ли, родные или почитатели — отомстятъ за

него. Едва ли кому хотѣлось бы лишиться жизни при подобныхъ обстоятельствахъ: людямъ вообще свойственно желаніе мирно почивать въ своей землѣ: Ивику же, какъ греку, такая смерть была тяжела до крайности. По тогдашнимъ понятіямъ, души, тѣла которыхъ не погребены, не могутъ войти въ адъ и обречены на вѣчное скитаніе, и грекъ готовъ былъ на все, чтобы только предотвратить подобный позоръ. Тяжелый ударъ, межъ тѣмъ, кладетъ Ивика на землю. Вверху шумитъ полетъ журавлей — конечно, не тѣхъ, которыхъ видѣлъ Ивикъ прежде, — это было другое отдѣленіе несущейся къ югу большой стаи; надъ сосновой рощей они пролетали случайно. Ивикъ слышитъ — видѣть онъ уже не можетъ — слышитъ, страшно кричатъ близкіе голоса. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Своимъ крикомъ журавли направляютъ свой полетъ, и во время полета они кричатъ постоянно: ихъ крикъ громкій, подобно трубѣ, вблизи страшнѣе. Но почему онъ кажется страшнымъ пѣвцу, который видѣлъ въ нихъ дружественныхъ себѣ спутниковъ, а не убійцамъ, для которыхъ опасенъ каждый свидѣтель? Разгадка въ томъ, что Ивикъ былъ болѣе чутокъ къ явленіямъ природы. Для поэта полетъ и крикъ — не случайность, напротивъ, ему сдается, что журавли какъ бы чувствуютъ всю святотатственность преступленія, что они возмущены безславнымъ дѣломъ, ихъ пронзительные голоса кажутся ему воплемъ, жалобой, предвозвѣщающей убійцамъ. И въ полной увѣренности призываетъ ихъ поднять за него свой голосъ.

Вы, журавли подъ небесами,
Я васъ въ свидѣтели зову;
Да грянетъ, привлеченный вами,
Зевесовъ громъ на ихъ главу!

сказалъ онъ — и это было послѣдней волей умирающаго: въ глазахъ его помрачилось, и онъ скончался. Безъ сомнѣнія, убійцы слышали его послѣднія слова.

VII—XXIII. Пѣвецъ убитъ, — убитъ коварно, въ священномъ мѣстѣ, среди его свѣтлыхъ надеждъ, — убитъ безоружный, потому что не имѣлъ никакого другого оружія, кромѣ своихъ сладкихъ пѣсенъ; но это оружіе, безсильное для физической борьбы, сильно въ борьбѣ духовной — и оно-то

служитъ причиною мести за своего владѣтеля. Ивикъ палъ физически — съ тѣмъ, чтобы тотчасъ же встать духовно въ памяти своего народа; палъ обнаженный, обезображенный ранами — всталъ въ полномъ сіяніи своей прекрасной духовно-поэтической натуры. Сила его духа тѣмъ ярче отразилась надъ его обезображеннымъ тѣломъ. За него воспрянулъ весь народъ, показавъ примѣръ, какъ онъ цѣнитъ и умѣетъ защищать своихъ поэтовъ.

VII—X. Слѣдуетъ вторая часть произведенія. Въ первой мы узнали объ личности поэта и его печальной судьбѣ; здѣсь слышимъ объ открытіи убійства — пока безъ открытія убійцъ, и о поражающемъ впечатлѣніи, которое производитъ на собравшійся народъ извѣстіе о смерти всѣми любимаго поэта. Переходъ отъ одной части къ другой сдѣланъ поэтомъ почти не замѣтно. Дѣйствіе передвигается къ мѣсту игръ. Объ этомъ поэтъ не говоритъ; характеръ событія, однако, не оставляетъ въ томъ ни малѣйшаго сомнѣнія: вмѣсто молчаливой рощи мы видимъ шумный народъ.

VII. Трупъ найденъ, и въ самомъ позорномъ видѣ. Онъ обнаженъ — снято все, даже платье; искаженъ ранами — слѣдъ борьбы и желанія убійцъ лучше скрыть свое преступленіе. Что могло теперь изобличить ихъ? И все же коринѳскій другъ Ивика скоро узнаетъ дорогія ему черты лица. Пораженный, онъ громко высказываетъ свое горе. Печаль его коренится не въ однихъ общихъ мотивахъ. Гостепріимство составляло религіозно-общественную обязанность грековъ, и не одно то смущало друга, что онъ лишенъ теперь возможности выполнить этотъ долгъ: нѣтъ, его горе ближе. Онъ надѣялся видѣть Ивика и принять его въ другомъ видѣ, цѣлымъ, невредимымъ, прославленнымъ, вмѣстѣ съ другими обвить его голову побѣднымъ сосновымъ вѣнкомъ и самому погрѣться въ лучахъ его славы. Если слава побѣдителя распространялась у Грековъ на цѣлый народъ и на весь отечественный городъ, то отблескъ ея еще ярче падалъ на близкихъ къ нему лицъ и на того, въ чьемъ домѣ гостилъ онъ.

VIII. Плачъ друга находитъ общій откликъ. Пѣсни Ивика, оказывается, были извѣстны и любимы въ цѣлой греческой землѣ, и всякій могъ надѣяться видѣть его побѣдителемъ. Погибъ поэтъ, всѣми любимый, и возможный

побѣдитель на играхъ — горе двойное, всеобщее. И сердце всѣхъ, кто только ни присутствовалъ на играхъ, чувствуетъ глубокую потерю. Не медля ни минуты, народъ приступаетъ къ мѣстному верховному властителю — пританy и яростно требуетъ отъ него примирить оскорбленный духъ самымъ сильнымъ средствомъ — кровію убійцы.

IX X. Но какъ было это сдѣлать? Требовать легче, чѣмъ исполнить. Недоставало признаковъ, по которымъ можно было бы въ народной массѣ отличить чернаго злодѣя. Загадоченъ даже поводъ къ убійству: истинную причину знаетъ одинъ всепроникающій богъ солнца — Геліосъ: людямъ же не извѣстно былъ ли то грабежъ разбойниковъ, или месть дѣйствовавшаго по зависти тайнаго врага. Вообще скупой на мотивировку поступковъ дѣйствующихъ лицъ, Шиллеръ, по нашему мнѣнію, допустилъ здѣсь излишекъ. Прежде было сказано, что трупъ найденъ обнаженнымъ — можно догадываться, что онъ былъ ограбленъ, и, слѣдовательно, убійство совершено изъ-за грабежа и разбойниками. Впрочемъ, отъ того не легче судьямъ. Имъ не извѣстно, гдѣ искать убійцу. Быть можетъ, въ то время, какъ его разыскиваетъ месть, онъ, пользуясь плодами своего злодѣйства, спокойно ходитъ среди собравшихся грековъ, или, не боясь ни бога ни людей, находится на порогѣ храма или же, вмѣстѣ съ толпой, дерзко тѣснится къ самому театру.

Десятая строфа вводитъ насъ въ греческій театръ и самымъ непринужденнымъ образомъ связываетъ послѣдующую часть произведенія съ предыдущимъ разсказомъ.

XI—XXIII. Начинается третья часть. Она представляетъ открытіе и наказаніе убійцъ, катастрофу, и есть главная, эффектная. Повѣствованіе обращается въ драму. Языкъ мгновенно становится возвышеннѣе, звучитъ торжественно, праздничнѣе. Поэтъ обнаруживаетъ все свое могущество. Блестящее изображеніе греческаго театра съ его глубокимъ религіозно-національнымъ значеніемъ, какое онъ имѣлъ въ греческой жизни, затѣмъ образцовое изображеніе греческаго хора, по живописности, изящности и силѣ, это — лучшіе перлы не только въ этой балладѣ, но и вообще во всей нѣмецкой поэзіи: изъ извѣстныхъ уже намъ мѣстъ съ ними можетъ быть сопоставлено только изображеніе Харибды въ „Кубкѣ“.

XI—XII. Вся сцена совершается въ театрѣ. Зданіе до того громадно, что верхнія его сидѣнья какъ бы теряются въ синевѣ небесъ. Садясь на скамьѣ за скамьей, зрители жмутся другъ къ другу и, въ ожиданіи представленія, глухо шумятъ, точно волны великаго моря. И откуда ихъ нѣтъ! Они сошлись и изъ Аѳинъ, Беотіи, Фокиды, Спарты, и изъ малоазіискихъ прибрежныхъ колоній, и изъ всѣхъ многочисленныхъ острововъ. Поэтъ не перечисляетъ всѣхъ земель. Дѣло поэта всегда указать главное, выдающееся, чтобы по указанному составить представленіе и о всемъ остальномъ. Онъ такъ и поступилъ. Видно, что здѣсь были представители самыхъ различныхъ греческихъ мѣстъ и племенъ, и въ распорядкѣ ихъ можно видѣть преднамѣренность. Между ними первое мѣсто отведено аѳинянамъ: устроитель ихъ города, Тезей, установилъ въ честь Посейдона истмійскія игры; затѣмъ, по нисходящей степени въ ихъ значеніи, указаны жители другихъ центральныхъ мѣстностей, потомъ посѣтители съ малоазійскихъ колоній и, наконецъ, населеніе острововъ. Но выступаетъ ожидаемый хоръ, и смолкнувъ, всѣ прислушиваются къ его страшной мелодіи.

XIII—XIV. Хоръ идетъ по древнему обычаю — строго и важно, медленнымъ и мѣрнымъ шагомъ выступаетъ онъ изъ-за „сцены" и по оркестру обходитъ вкругъ „театра". На видъ это что-то особенное, не изъ рода обыкновенныхъ смертныхъ. Походка ихъ не простая — такъ не могутъ ходить земныя женщины; ростъ ихъ — гигантскій, несравненно выше человѣческаго; одежда — черная мантилья, она бьется о бедра; руки — сухія, тощія, махаютъ факелами съ темнокраснымъ свѣтомъ, въ щекахъ ни кровинки, и гдѣ обыкновенно пріятно для глазъ развѣваются волосы, тамъ, на головѣ, змѣи и эхидны раздуваютъ свои пучащіяся отъ яда чрева.

„Во всѣхъ греческихъ сагахъ, — говоритъ Шиллеръ, — нѣтъ болѣе страшнаго и вмѣстѣ безобразнаго образа, какъ эти фуріи, когда онѣ выходятъ изъ подземнаго царства, чтобы преслѣдовать преступника. Отвратительно искаженное лицо, худощавая фигура, голова, вмѣсто волосъ, покрытая змѣями, и т. д. И свое представленіе о внѣшнемъ видѣ Эринній Шиллеръ всецѣло воплотилъ въ данномъ мѣстѣ баллады, употребивъ самыя яркія краски. При высокомъ ростѣ духо-

щаростъ, при черной мантіли свѣтъ факеловъ, тощія руки, блѣдныя щеки, и въ заключеніе прямое противоположеніе вьющимся прекраснымъ волосамъ ядовитыхъ змѣй — это такія черты, которыя какъ нельзя болѣе рѣзко обрисовываютъ этихъ страшныхъ богинь мщенія, и однако какъ ни ужасенъ выходитъ образъ, онъ доставляетъ удовольствіе самому развитому эстетическому чувству. Почему такъ? Потому, что, при яркости и обиліи красокъ, соблюдена поэтомъ должная мѣра, нѣтъ ни излишества ни напыщенности. Онъ самъ утверждалъ: „Напыщенное смѣшеніе красокъ привлекаетъ и ослѣпляетъ въ особенности читателей, понимающихъ только чувственное и, подобно дѣтямъ, восхищающихся пестротой. Но какъ мало говорятъ образы подобнаго рода тонкому чувству изящнаго, которое удовлетворяетъ не богатство, а благоразумная бережливость, не матерія, а красота формъ, не смѣсь, а тонкое разнообразіе!" „Истинно прекрасное основывается на строжайшей опредѣленности, на полнѣйшемъ отвлеченіи, на совершеннѣйшей внутренней необходимости".

XV—XVII. Если страшенъ внѣшній видъ исчадій, то еще ужаснѣе ихъ внутренній обликъ. Вотъ онѣ, вертясь вокругъ, начинаютъ свою торжественную пѣснь. Ихъ пѣніе насквозь пронизываетъ сердце, раздирая его; помрачаетъ умъ, проникаетъ до мозга костей, злодѣя опутываетъ крѣпкими узами, смущаетъ его. Пѣснь такъ громка, нечеловѣчна, страшна, что, противъ обычая, не сопровождается игрой лиры — пріятные звуки послѣдней не согласовались бы съ этимъ, возбуждающимъ ужасъ, пѣніемъ Эриній. Онѣ поютъ:

Блаженъ, кто незнакомъ съ виною,
Кто чистъ младенчески душою!
Мы не дерзнемъ ему во слѣдъ:
Ему чужда дорога бѣдъ...
Но вамъ, убійцы, горе, горе!
Какъ тѣнь, за вами всюду мы,
Съ грозою мщенія во взорѣ,
Ужасныя созданья тьмы.

Не мните скрыться — мы съ крылами;
Вы въ лѣсъ, вы въ бездну — мы за вами,
И, спутавъ васъ въ своихъ сѣтяхъ,
Растерзанныхъ бросаемъ въ прахъ.

Вамъ покаянье — не защита;
Вашъ стонъ, вашъ плачь — веселье намъ;
Терзать васъ будемъ до Конца,
Но не покинемъ васъ и тамъ.

Пѣснь грозная, роковая. Онѣ возвѣщаютъ свободу отъ Эриннiй только тѣмъ, кто сохранилъ безпорочною свою дѣтски-чистую душу: его жизненный путь безпрепятственъ, Эриннiи не смѣютъ приближаться къ нему, схвативъ его; но горе, невыносимое горе, кто втайнѣ совершилъ тяжкое убiйство. онѣ, это страшное отродье темной ночи, слѣдуютъ ему по пятамъ, и куда бы ни бѣжалъ онъ, — точно крылатыя, онѣ уже въ томъ мѣстѣ и бросаютъ въ ноги ему путы, такъ что онъ долженъ, наконецъ, упасть на землю. Отъ нихъ ему спасенья нѣтъ — никакое раскаянiе его не можетъ примирить съ ними; не отставая ни на мгновенье, онѣ преслѣдуютъ его безъ отдыха, безъ перерыва, до самаго подземнаго царства, гдѣ находятся тѣни мертвыхъ, но и тамъ не освобождаютъ его.

XVIII. Такъ пѣли онѣ, сопровождая свое пѣнiе танцами, а все собранiе мертвая гнела тишина, какъ будто бы было вблизи божество. И торжественно, по старому обычаю, обходя окружность театра, медленнымъ и мѣрнымъ шагомъ удаляются онѣ и опять исчезаютъ въ заднемъ планѣ строенья, тамъ, откуда пришли.

XIX. Хоръ выполнилъ свою роль до того искусно, что произвелъ полную иллюзiю: зрители недоумѣвали, видѣли ли они дѣйствительныхъ Эриннiй, или только прекрасныхъ театральныхъ актеровъ, и каждый, подъ влiянiемъ впечатлѣнiя, чувствовалъ присутствiе страшной высшей силы, той, которая, подготовляя преступнику гибель —

Вьетъ нити роковыхъ сѣтей,
Въ глубинѣ лишь сердца зрима,
Но скрыта отъ дневныхъ лучей.

Эта сила — неподкупная Немезида, вѣстницы которой Эриннiи, — мифическое олицетворенiе мученiй преступной совѣсти человѣка. Какъ бы глубоко ни палъ человѣкъ, въ тайникахъ его сердца всегда живетъ сознанiе справедливаго возмездiя, совѣсть его упрекаетъ и наказываетъ его, хотя бы преступленiе и не было открыто, постоянно страшитъ и тревожитъ его.

хотя для постороннихъ глазъ онъ можетъ казаться совершенно спокойнымъ.

Чувствуя наитіе высшей силы, всѣ въ оцѣпенѣніи и страхѣ трепещутъ ея, безпрекословно и безмолвно покоряются ей — таково дѣйствіе сценическаго представленія!

Театръ для грековъ не былъ простой забавой: онъ имѣлъ у нихъ смыслъ серіозный, облагораживающій. Уже однимъ хоромъ драма возносилась надъ обиходною жизнью въ идеальную сферу искусства; она была частью богослуженія, религіозно-общественнымъ дѣломъ. Потому видѣнное въ театрѣ и напоминаетъ зрителямъ о Немезидѣ, и поэзія производитъ такое же впечатлѣніе, какъ и самая жизнь, дѣйствительность.

Девятнадцатая строфа чрезвычайно возвышаетъ достоинство хора, между тѣмъ она также прибавлена Шиллеромъ уже по совѣту Гете, который писалъ ему: „Послѣ 14-й (теперь 18-й) строфы, гдѣ удаляются Эринніи, я помѣстилъ бы еще одну, чтобы представить произведенное хоромъ настроеніе народа и чтобы отъ серіозныхъ разсужденій честныхъ гражданъ перейти къ изображенію одновременной разсѣянности преступниковъ, и затѣмъ заставилъ бы убійцу произнести свое необдуманное замѣчаніе глупо, грубо и внятно только для его круга сосѣдей; отсюда между нимъ и близко сидящими возникъ бы споръ, послѣдній привлекъ бы вниманіе народа, и т. д. Этимъ путемъ, а равно и полетомъ журавлей, все разыгралось бы совершенно естественно, и, на мой взглядъ, дѣйствіе возвысилось бы, между тѣмъ какъ теперь 15-я (т.-е. 20-я) строфа начинается слишкомъ громко и значительно, и почти ожидаешь чего-то другого". Оставивъ безъ удовлетворенія вторую часть предложенія, Шиллеръ воспользовался первой половиной и составилъ 19-ю строфу, чѣмъ, возвысивъ дѣйствіе хора, вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ понятнымъ естественность послѣдовавшаго восклицанія убійцы и того, что оно привлекло къ себѣ всеобщее вниманіе.

XX—XXIII. Немезида при посредствѣ поэзіи совершаетъ свой праведный судъ.

XX. Во время тишины и все еще длившагося тяжелаго, серьезнаго настроенія вдругъ съ верхнихъ ступеней слышится чей-то голосъ: „Смотри, смотри, Тимоѳей, вонъ журавли Ивика!" Это — голосъ одного изъ убійцъ. Сидя на самыхъ высокихъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно помѣщался про-

стой народъ, разбойникъ увидалъ журавлей прежде другихъ: журавли летѣли по направленію къ театру, и изъ-за сцены пока еще не были видны тѣмъ, кто сидѣлъ ниже. Что заставляетъ убійцу произнести восклицаніе?.. Самъ Шиллеръ въ письмѣ къ Гете такъ объясняетъ душевное настроеніе убійцы: „Убійца между зрителями: пьеса, правда, не особенно тронула и подавила его, это не мое мнѣніе; но она напоминала ему о его дѣлѣ, а слѣдовательно, и о томъ, что при этомъ случилось: его душа поражена, явленіе журавлей должно застигнуть его въ это время такимъ образомъ врасплохъ, онъ человѣкъ грубый и глупый, надъ которымъ моментальное впечатлѣніе имѣетъ полную власть — и громкое восклицаніе при этихъ обстоятельствахъ естественно". Если пьеса лишь „напоминала ему", то, значитъ, она подѣйствовала не столько на его сердце, сколько на его голову, память. Подлетающую стаю журавлей онъ счелъ за ту, къ которой обращался Ивикъ о мщеніи: ему показалось, что она какъ будто бы летитъ выполнить порученіе Ивика. Точно не сообразивши, онъ произноситъ слово, и, слѣдовательно, восклицаніе — не плодъ сокрушеннаго признанія, а скорѣе — невольное выраженіе боязливаго замѣшательства, смущенія, которое произошло отъ неожиданнаго совпаденія полета журавлей и появленія Эринній.

Вслѣдъ за восклицаніемъ помрачается небо: надъ театромъ черноватою толпою медленно проносится большая стая журавлей.

Вплетеніе въ канву событія жителей воздуха у поэта красиво и совершенно естественно. Этихъ вѣстниковъ боговъ народъ считалъ знающими открывателями преступленій, и ихъ появленіе надъ театромъ должно было произвести сильное впечатлѣніе не только на убійцъ, но и на остальныхъ зрителей.

XXI—XXII. Моментъ для произнесенія имени Ивика выбранъ поэтомъ необыкновенно удачно. Въ другое время народъ могъ бы не разслышать или пропустить мимо ушей, но теперь, когда онъ находился подъ вліяніемъ пѣнія и загадочно-неожиданнаго полета журавлей, когда его молчаніе было похоже на затишье передъ бурей, въ это время онъ жадно схватываетъ случайное слово. Дорогое имя снова болѣзненно тронуло каждое сердце, и, какъ въ морѣ волна за

волной, бѣжитъ изъ устъ въ уста вопросъ о томъ, что значитъ это восклицаніе? Вопросъ произносится все громче, и у всѣхъ, точно подъ наитіемъ свыше, въ предчувствіи чего-то страшнаго, необыкновеннаго, съ быстротою молніи мелькаетъ грандіозная мысль: догадываются, что здѣсь проявленіе божественнаго возмездія, и требуютъ схватить подозрѣваемыхъ.

Убійца тутъ!
То Эвменидъ ужасныхъ судъ!
Отмщенье за пѣвца готово:
Себѣ преступникъ измѣнилъ...
Къ суду и тотъ, кто молвилъ слово,
И тотъ, кѣмъ онъ внимаемъ былъ!

громко произносятъ всѣ присутствующіе.

Шиллеръ съ тактомъ не воспользовался здѣсь совѣтомъ Гете относительно изображенія того способа, какъ народъ обращаетъ вниманіе на убійцъ и нападаетъ на слѣдъ преступленія. „Если я, — отвѣчалъ онъ Гете, — восклицаніе убійцы заставлю услышать только ближайшихъ зрителей и между ними дамъ возникнуть движенію, которое, какъ погодъ, сообщается и всему цѣлому, то отягощу себя деталью, которая, при такомъ напряженности ожиданіи, слишкомъ затруднитъ меня, ослабитъ цѣлое и раздвоитъ вниманіе". Нѣсколько позже онъ прибавилъ: „Впечатлѣнію, произведенному восклицаніемъ, я посвятилъ еще одну (теперь 22-ю) строфу; по дѣйствительное открытіе преступленія, какъ слѣдствіе крика, изобразить пространнѣе я не пожелалъ". Такимъ образомъ, вопреки настояніямъ Гете, отъ гнетущей тишины къ всеобщему волненію, Шиллеръ употребилъ быстрый переходъ, и изображеніе дѣйствія, какое произведено восклицаніемъ, кажется теперь гораздо эффектнѣе.

XXIII. Едва сорвалось съ языка слово, убійца, подмѣтивъ результатъ, сильно желалъ бы, чтобы оно не вылетало, мысль хранилась бы въ груди — но уже поздно! Поблѣднѣвшее отъ ужаса лицо выдаетъ виновныхъ; ихъ схватываютъ, влекутъ, представляютъ къ судьѣ, — и театръ превращается въ судъ: и сознаются виновные, застигнутые лучомъ мести.

На этомъ сравненіи, взятомъ отъ молніи, и обрывается разсказъ — кратко и сильно. На обвиненіе Гете что заключеніе употреблено „совсѣмъ поспѣшное", Шиллеръ возразилъ: „какъ скоро путь къ открытію убійцъ найденъ — баллада

оканчивается, другого болѣе нѣтъ ничего для поэта". Послѣ блестяще выполненной катастрофы всякое промедленіе было бы излишне: оно ослабило бы только интересъ. И безъ того ясно, что поэтическое представленіе кары Эвменидъ становится дѣйствительностію, что судъ постигаетъ убійцъ тутъ же, въ театрѣ; гдѣ чистая душа находитъ высшее наслажденіе, тамъ преступнику угрожаетъ опасность.

Отсюда понятна идея, какую хотѣлъ выразить Шиллеръ. Для грековъ, въ глазахъ которыхъ поэтъ былъ лицомъ священнымъ, и театръ имѣлъ религіозное значеніе, главной рѣшающей силой въ событіи могла показаться карающая Немезида, произносящая свой приговоръ при помощи поэзіи и устами суда.

Внемлите,
То сила Эвменидъ!

восклицаютъ они, угадавъ убійцу.

Напрасно было бы въ современной намъ жизни искать чего-нибудь тождественнаго съ общественными играми, сопровождавшими религіозныя празднества грековъ. Возникшія изъ мѣстныхъ, нѣкоторыя изъ нихъ — олимпійскія, истмійскія, пиѳійскія и немейскія — возвысились до торжествъ общенаціональныхъ. На нихъ собирались греки отовсюду — метрополіи и колоніи, со всѣхъ береговъ и многочисленнѣйшихъ острововъ Средиземнаго моря, изъ Европы, Азіи и Африки. Разъединенные громаднымъ пространствомъ, мѣстными и племенными особенностями, соперничествомъ, иногда открытой войной, они сознавали себя здѣсь однимъ народомъ: привлеченные желаніемъ участвовать въ общемъ жертвоприношеніи, жаждой зрѣлищъ и удовольствій, являлись по побужденіямъ торговымъ, научнымъ, художественнымъ и политическимъ, всѣ присутствующіе жили интересами общими высшими, и вкупѣ представляли изъ себя прекрасную картину, кромѣ религіозно-національнаго, питавшую и эстетическое чувство грековъ. „Кто, — пѣлъ о нихъ хіосскій поэтъ, — кто увидитъ ихъ собравшимися на такой праздникъ, тотъ сочтетъ ихъ, пожалуй, свободными отъ старости и смерти, и радостно встрепенется его сердце при видѣ этого сонма мужчинъ и прекрасно опоясанныхъ женщинъ, при видѣ ихъ богатствъ и кораблей".

Состязаніе на играхъ производилось въ спорѣ за первенство въ томъ, что для грека было всего дороже: въ силѣ, ловкости, красѣ. Продолжительный и быстрый бѣгъ, со щитомъ и безъ щита, борьба, прыганье, метаніе диска или копья, скачка верхомъ или на колесницахъ, на нѣкоторыхъ играхъ, выполненіе музыкальныхъ пьесъ, пѣніе, декламація, составленіе поэтическихъ и историческихъ произведеній — все находило свое мѣсто, чередовалось и могло доставить побѣдителю почетный призъ: лавровый, масличный или сосновый вѣнокъ. Насколько ничтожна награда, настолько велика была почесть. Земляки побѣдителя, осчастливленные его побѣдой, вели его къ алтарю. Здѣсь, въ присутствіи и при радостныхъ крикахъ всего собравшагося народа, палагался на него вѣнокъ, затѣмъ въ честь его давались пиры, составлялись гимны. Вся Греція славила его имя. При возвращеніи въ родной городъ жители встрѣчали его со всевозможнымъ тріумфомъ, жизнь его окружалась всеобщимъ почетомъ, приравнивалась къ божественной, самъ Платонъ видѣлъ въ ней образецъ земного благополучія. Хотя эти почести относились, главнымъ образомъ, къ побѣдителямъ въ Олимпіи, все же не мала была слава и остальныхъ. Недаромъ каждый грекъ, даже знатнѣйшій по рожденію или личнымъ заслугамъ, горѣлъ самымъ пламеннымъ желаніемъ участвовать въ играхъ и считалъ величайшимъ для себя счастьемъ получить на нихъ побѣдный вѣнокъ.

Понятны теперь чувства, съ какими шли сюда греки, и то состояніе, въ какомъ стремился въ Истму Ивикъ! Тѣмъ трепетнѣе было состояніе Ивика, что онъ, по Шиллеру, имѣлъ въ виду не просто только лично присутствовать на играхъ, но и вступить въ состязаніе о первенствѣ въ сложеніи пѣсенъ.

Истмійскія игры, куда стремился онъ, занимали первое мѣсто послѣ олимпійскихъ и отличались отъ нихъ тѣмъ, что, кромѣ тѣлесныхъ, на нихъ допускались и поэтическія состязанія. Учрежденіе ихъ теряется въ глубокой древности, приписывается основателю Коринѳа Сизифу, возобновленіе аѳинскому герою Тезею; ко времени Ивика достигли высшей славы. Онѣ праздновались въ честь морского бога Посейдона, въ живописной мѣстности, на Истмійскомъ, лежавшемъ между двумя морями и соединившемъ Пелопонесъ и Элладу, перешейкѣ, у сосновой, посвященной Посейдону, рощи, близъ

богатаго Коринеа. Необходимо являлся вѣнокъ изъ сельдерея (растеніе), въ римскія времена — изъ сосновыхъ вѣтвей.

Самъ Ивикъ — лицо историческое. Это былъ странствующій лирическій поэтъ, родомъ изъ Регіума, города Великой Греціи (нынѣ южная Италія); онъ много путешествовалъ, долго жилъ при дворѣ Поликрата, считался изобрѣтателемъ самбуки, древней цитры въ формѣ треугольника, но главную славу составляли его звучныя эротическія пѣсни, въ которыхъ, сообразно необычайному уваженію грековъ къ красотѣ, онъ прославлялъ красивыхъ мальчиковъ и юношей. Въ одной изъ такихъ дошедшихъ до насъ пѣсенъ, онъ, рисуя образъ молодого человѣка, въ увлеченіи его красотой называетъ его [illegible] нѣжныхъ грацій, вскормленныхъ Кипридой среди розъ. Эти волненія любви и обращеніе къ древнимъ миѳамъ — главныя свойства его поэзіи. Современники имѣли отъ него семь книгъ, но намъ остались отъ его произведеній одни небольшіе отрывки. Смерть его украшена различными преданіями. Ихъ, съ значительными дополненіями и измѣненіями, превосходно и воспроизвелъ Шиллеръ въ своей, подлежащей нашему разбору, балладѣ. *Ал. Н[illegible]*

Теонъ и Эсхинъ.

Первая часть стихотворенія изображаетъ возвращеніе Эсхина на родные берега Алфея. Долго бродя по свѣту, онъ искалъ счастія, но не нашелъ его. Роскошь, слава, всѣ чувственныя удовольствія, которымъ онъ предавался, думая, что въ нихъ-то и заключается счастіе жизни, только иссушили его сердце. Онѣ пресытили его, но не удовлетворили: въ душѣ, наконецъ, явилась пустота, а съ нею и скука, надежда найти счастіе погасла. Съ такой безнадежностью возвращается онъ на родину; знакомыя мѣста напоминаютъ ему молодые и лучшіе дни; здѣсь все осталось по-прежнему, только онъ является не тѣмъ, что былъ прежде. Во второй части изображается встрѣча двухъ друзей. Въ то время какъ Эсхинъ странствовалъ по свѣту, Теонъ оставался на родинѣ; скромныя [illegible] не [illegible] На берегу [illegible] у моря [illegible]

природы, была смиренная хижина Теона. Освѣщенная розовымъ блескомъ заходящаго солнца, она представилась взорамъ Эсхина, а близъ нея средн мирты бѣломраморный гробъ, надъ которымъ сплетались вѣтви душистыхъ розъ и гибкаго ясмина. На порогѣ хижины сидѣлъ Теонъ въ размышленіи, смотря на багряное море. Вдругъ онъ видитъ передъ собою Эсхина, съ радостью обнимаетъ его и привѣтствуетъ именемъ Зевеса мирное его возвращеніе. Оба смотрятъ другъ на друга: у одного лицо скорбно и мрачно, у другого взоръ прискорбный, но ясный.

Въ третьей части — бесѣда друзей. Эсхинъ винитъ надежду на счастье, которая была причиной ихъ разлуки; теперь опытъ убѣдилъ его, что надежда лукавый предатель. Судя по задумчивому взгляду Теона, онъ думаетъ, что и другъ его дошелъ до того же убѣжденія, оставаясь на родныхъ берегахъ, что мирная домашняя жизнь принесла ему такую же печаль. Теонъ со вздохомъ указалъ ему на гробъ, но не для того, чтобы подтвердить догадку друга. Изъ жизни онъ вынесъ совсѣмъ другое убѣжденіе: гробъ только безмолвный свидѣтель, что и боги посылаютъ намъ жизнь для счастья; но съ нею все же неразлучна и печаль. Это законъ жизни, но онъ не долженъ мѣшать сознанію, что и жизнь и вселенная прекрасны. Теонъ видѣлъ земное блаженство, только нашелъ его не тамъ, гдѣ искалъ Эсхинъ — не въ быстрыхъ радостяхъ, не въ ложныхъ мечтахъ. Онъ понялъ, что то на свѣтѣ не наше, что можетъ въ минуту разрушить посторонняя сила, слѣдственно тамъ нечего и искать счастья. Нетлѣнныя блага только въ сердцѣ — любовь и сладость возвышенныхъ мыслей: ихъ не въ состояніи разрушить никакая сила; они и должны составить источникъ счастія. Что этотъ выводъ не мечта, Теонъ представляетъ въ примѣръ себя: онъ любилъ и былъ счастливъ. Онъ испыталъ правственную силу любви: лишь только ею освятилась его душа, какъ жизнь предстала ему въ красотѣ. Онъ испыталъ и силу возвышенныхъ мыслей: при ихъ блескѣ онъ яснѣе видѣлъ великость творенья. Изъ всего этого явилась вѣра, что земной путь его ведетъ къ прекрасной возвышенной цѣли. Но испыталъ онъ, что съ земнымъ счастьемъ неразлучна и печаль: кого любилъ онъ, того теперь уже нѣтъ. При этомъ слѣдуетъ вопросъ: совершенно ли уничтожается счастье этой

печально, и остаются ли безслѣдными прежніе счастливые дни? Теонъ отвѣчаетъ отрицательно и опредѣляетъ значеніе проходящаго, настоящаго и будущаго: для сердца прошедшее вѣчно: въ немъ остается небесное и послѣ утраты любимаго существа; она переходитъ въ настоящемъ въ страданіе, въ скорбь; но и самая скорбь есть не что иное, какъ голосъ неизмѣнной надежды, что въ будущемъ погибшее нами со-хранится гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ. Любовь навсегда уничтожаетъ чувство одиночества: съ утратою милаго существа воспоминаніе переноситъ прошедшее въ настоящее; свѣтъ остается все такимъ же, полнымъ ею, хотя ея уже и нѣтъ тамъ; та возвышенная цѣль жизни, къ которой бодро стремились вдвоемъ, остается и для одного; дорога къ ней не измѣняется. Все это такія узы, которыхъ не разрушитъ могила. Для жизни остается еще украшеніе высокой мысли; на землѣ представляется много разсыпанныхъ благъ, тво-реніе является подвигомъ славы, — все это привлекаетъ къ себѣ благодарный взоръ. Міръ озаряется сладкою надеждою на лучшую жизнь, гдѣ произойдетъ соединеніе съ утраченнымъ милымъ существомъ; а эта надежда ставитъ выше судьбы, и земная жизнь дѣлается священна. Здѣсь жизнь сердца соединяется съ жизнью ума — съ сознаніемъ своей *вѣч-ности*, что и возвышаетъ душу. Безмолвный же таинственный гробъ только болѣе убѣждаетъ, что лучшее въ жизни еще впереди, что ожидаемое будетъ навѣрно; тамъ ждетъ со-путникъ, на мигъ явившійся въ жизни.

Передавъ Эсхину свои убѣжденія, Теонъ указываетъ, въ чемъ ошибся другъ его: онъ искалъ благъ внѣ себя, а не въ самомъ себѣ, и утратилъ эти послѣднія, которыя только и могутъ назваться вѣрными. Вмѣсто нихъ развилось въ немъ только одно чувство — презрѣніе къ жизни; но съ этимъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и самый свѣтъ. Противъ него Теонъ предлагаетъ Эсхину свою дружбу, примиреніе съ природою и жизнью и вѣру въ красоту вселенной. Небо вмѣстѣ съ жизнью дало намъ *все*, какъ средство къ великому:

И горе и радость — все къ цѣли одной:
Хвала жизнодавцу — Зевесу.

Въ этомъ стихотвореніи излагаются тѣ идеи, которыя обык-новенно развивались романтическими поэтами и которыя по-

вторяются у Жуковскаго во многихъ его произведеніяхъ. Здѣсь всѣ онѣ сгруппированы вмѣстѣ: изображеніе духовной стороны жизни человѣка, независимо отъ времени и мѣста его существованія, исканіе идеала въ самомъ себѣ, а не во внѣшнемъ мірѣ, что, между прочимъ, представлялъ и Шиллеръ, вѣчность чувства любви, въ чемъ и должно искать счастія: для сердца прошедшее вѣчно, страданье въ разлукѣ есть та же любовь, надъ сердцемъ утрата безсильна: отсюда сладость воспоминанія, прелесть грусти въ настоящемъ, надежда на загробное соединеніе съ своимъ идеаломъ въ будущемъ, безпрестанные порывы души къ небу, увѣренность, что земной путь лежитъ къ прекрасной возвышенной цѣли; сознавшему эту цѣль вселенная кажется прекрасною, жизнь священною. Все это составляло темы романтическихъ поэтовъ, и хотя иногда они представляли лица изъ міра древне-классическаго, но съ нимъ очень мало вяжутся всѣ эти идеи. Такъ и въ этомъ стихотвореніи Жуковскаго мы слышимъ имена: Зевеса, Вакха, Эрота, Авроры, пенатовъ; но напрасно будемъ искать дѣйствительно классическаго міра; здѣсь мы видимъ міръ, которому невозможно подыскать національное названіе; здѣсь *человѣкъ*, а не житель извѣстной земли и извѣстнаго времени; отсюда и нѣкоторая отвлеченность въ самыхъ образахъ, даже въ описаніи природы и очень часто преобладаніе идеи надъ формою. Смѣшеніе міровъ римскаго и греческаго, особенно въ миѳологіи, также очень обыкновенно у романтическихъ поэтовъ; а это показываетъ, что ни тотъ ни другой міръ не представляется имъ въ ясныхъ и живыхъ образахъ. Такъ, у Жуковскаго съ греческими Зевесомъ, Вакхомъ, Эротомъ соединяются римскіе пенаты, Аврора. У такихъ поэтовъ идея важнѣе всего: она по своей общности требовала и соотвѣтственныхъ образовъ, т.-е. изображенныхъ только въ общихъ чертахъ, а не въ подробностяхъ при исторической обстановкѣ. *Стоюнинъ.*

Торжество побѣдителей.

Нигдѣ съ такою полнотою и такою силою не выразилъ Шиллеръ, не воспроизвелъ поэтическаго образа Эллады, какъ въ „Торжествѣ побѣдителей". Эта пьеса есть апоѳеоза всей

жизни, всего духа Греціи: эта пьеса — вмѣстѣ и поэтическая тризна и побѣдная пѣснь въ честь отечества, боговъ и героевъ. Она написана въ греческомъ духѣ, облита свѣтомъ мірообъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говоритъ не отъ себя: онъ воскресилъ Элладу и заставилъ ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедіи слиты въ этой пьесѣ Шиллера съ возвышенною и кроткою скорбью греческой элегіи. Въ ней видится и свѣтлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Аида, и земля, съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностію, — и царящая надъ всѣми ими мрачная Судьба, верховная владычица боговъ и смертныхъ... Нельзя шире и вѣрнѣе воспроизвести нравственной физіономіи народа, уже не существующаго столько тысячелѣтій!

Побѣдоносные греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трои въ свое отечество и собрались къ остроогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувшаго. Калхасъ приноситъ жертву богамъ.

Судъ оконченъ; споръ рѣшился;
Прекратилася борьба;
Все исполнила судьба:
Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событіи паденія „священнаго Пріамова града", высказывается какимъ-нибудь сужденіемъ, примѣненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится миромъ, возвратившись въ свой домъ, и, пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвою вѣроломства жены. Менелай говоритъ о неизбѣжномъ судѣ всевидящаго Кроніона, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Олеида:

Пустъ веселый взоръ счастливыхъ
(Оилеевъ сынъ сказалъ)
Зритъ въ богахъ боговъ правдивыхъ.
Судъ ихъ часто слѣпъ бывалъ:
Сколькихъ бодрыхъ жизнь поблекла!
Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ!...
Нѣтъ великаго Патрокла;
Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчасъ же, по свойству всеобщаго и многосторонняго духа греческаго, разрѣшается въ веселое и свѣтлое созерцаніе:

Смертный! царь Зевесъ Фортунѣ
Своенравной предалъ насъ:
Уловляй же быстрый часъ,
Не тревожа сердца втуне.

Вообще, эти четверостишія, слѣдующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собою хоръ изъ греческой трагедіи. Олендъ продолжаетъ:

Лучшихъ бой похитилъ ярый!
Вѣчно памятенъ намъ будь,
Ты, мой братъ, ты, подъ удары
Подставлявшій твердо грудь,
Ты, который насъ, пожаромъ
Осажденныхъ, защитилъ...
Но коварнѣйшему даромъ
Щитъ и мечъ Ахилловъ былъ.

Миръ тебѣ во тьмѣ Эрева,
Жизнь твою не врагъ отнялъ:
Ты своею силой палъ,
Жертва гибельнаго гнѣва.

Воспоминаніе объ Ахиллѣ дышитъ всею полнотою греческаго созерцанія героизма:

О, Ахиллъ! о, мой родитель!
(Возгласилъ Неоптолемъ)
Быстрый міра посѣтитель,
Жребій лучшій взялъ ты въ немъ.
Жить въ любви племенъ дѣлами —
Благо первое земли;
Будемъ вѣчны именами
И сокрытые въ пыли!

Слава дней твоихъ нетлѣнна;
Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
Жизнь живущихъ невѣрна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго (du sublime) въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ:
(Діомедъ провозгласилъ)
Слава Гектору во гробѣ!
Онъ краса Пергама былъ;
Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Веледушно пролилъ кровь;
Побѣдившимъ — честь побѣды!
Охранявшему — любовь!

Кто, на судъ явясь кровавый,
Славно палъ за отчій домъ:
Тотъ, почтенный и врагомъ,
Будетъ жить въ преданьяхъ славы.

Но что́ можетъ сравниться съ этою трогательною, тою умиляющею душу картиною „убѣленнаго жизнію" Нестора, съ словами кроткаго утѣшенія подающаго кубокъ страждущей Гекубѣ! Здѣсь въ рѣзкой характеристической чертѣ схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторъ, жизнью убѣленный,
Нацѣдилъ вина фіалъ
И Гекубѣ сокрушенной
Дружелюбно выпить далъ.
Пей страданій утоленье;
Добрый Вакховъ даръ вино:
И веселость и забвенье
Проливаетъ въ насъ оно.

Пей, стадалица! печали
Услаждаются виномъ:
Боги жалостные въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.

Вспомни матерь Ніобею:
Что извѣдала она!
Сколь ужасная надъ нею
Казнь была совершена!
Но и съ нею, безотрадной,
Добрый Вакхъ не даромъ былъ:
Онъ струею виноградной
Въ мигъ тоску въ ней усыпилъ.

Если грудь виномъ согрѣта,
И въ устахъ вино кипитъ:
Скорби наши быстро мчитъ
Ихъ смывающая Лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: пророчество Кассандры намекаетъ на перемѣнчивость участи всего подлуннаго и на горе, ожидающее самихъ побѣдителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра,
Внявъ шепнувшимъ ей богамъ,
На пустынный брегъ Скамандра,
На дымящійся Пергамъ.
Все великое земное
Разлетается, какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Трои,
Завтра выпадетъ другимъ...

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать высокую пѣснь раздирающимъ душу диссонансомъ: богатая и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себѣ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонію и примиреніе съ жизнью, — и потому пьеса Шиллера достойно заключается утѣшительнымъ обращеніемъ отъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный силѣ насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи:
Спящій въ гробѣ, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущій.

Такой былъ греческій романтизмъ: на гробахъ и могилахъ загоралась для него вѣчная заря жизни, несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывала отъ его глубокаго и широкаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей полноты общаго; на веселыхъ пиршествахъ ставилъ онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти, и, глядя на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробѣ, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущій.

Смерть для грека являлась не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, но прекраснымъ, тихимъ, успокоительнымъ геніемъ сна, кротко и любовно смежавшимъ навѣки утомленныя страданіемъ и блаженствомъ жизни очи.

Переводъ Жуковскаго „Торжества побѣдителей“ есть образецъ превосходныхъ переводовъ, — такъ что если, при тщательномъ сравненіи, иныя мѣста окажутся не вполнѣ вѣрно,

или не вполнѣ сильно переданными, [т]акъ еще больше найдется мѣстъ, которыя въ переводѣ сильнѣе и лучше выражены. Такъ, напримѣръ, у Шиллера сказано просто: „И въ дикое празднество ликующихся примѣшивали онѣ (плѣнныя жены и дѣвы троянскія) плачевное пѣніе, оплакивая собственныя страданія и паденіе царства“. У Жуковскаго это выражено такъ:

И съ побѣдной пѣснью дикой
Ихъ сливался тихій стонъ.
По тебѣ святой, великой,
Невозвратный Иліонъ.

[illegible].

Жуковскій, какъ переводчикъ Шиллера. Особенности перевода баллады „Торжество побѣдителей“.

За Жуковскимъ прочно установилась слава лучшаго русскаго поэта-переводчика, но до послѣдняго времени русская литературная критика не указывала: какими именно качествами переводовъ Жуковскаго обусловливается эта слава? Детальное сравненіе этихъ переводовъ съ подлинниками представляетъ не одинъ научно-литературный интересъ. Уклоненіе переводчика въ ту или другую сторону отъ подлинника можетъ служить масштабомъ для опредѣленія поэтической индивидуальности Жуковскаго. Въ виду психологическихъ основъ современной эстетики, сравненіе переводовъ Жуковскаго съ подлинниками представляетъ интенсивно-живой, современный интересъ. Такой сравнительно-психологическій методъ представляетъ удобства и чисто-литературнаго свойства: выдѣляя на первый планъ именно *содержаніе* изучаемаго произведенія, онъ облегчаетъ пониманіе и оцѣнку *формы*, въ которую облеклось это содержаніе. Вотъ почему именно этотъ методъ мы примѣнили къ разсмотрѣнію поэтической дѣятельности Жуковскаго, какъ переводчика Шиллера.

Эту дѣятельность можно раздѣлить на три періода: первый включаетъ переводы Жуковскаго, начиная отъ перваго подражанія въ 1805 г., до 1821 г.; центральнымъ моментомъ втораго періода является 1821 годъ, когда былъ законченъ капитальнѣйшій переводъ изъ Шиллера „Ор-

леаnская дѣва"; третій періодъ продолжается отъ 1821 г. до 1833 года, когда былъ сдѣланъ послѣдній поэтическій переводъ изъ Шиллера — баллады „Элевзинскій праздникъ". Такого рода дѣленіе имѣетъ за собою не одни основанія удобства: каждому изъ нихъ присуще развитіе особыхъ литературныхъ и вообще художественыхъ качествъ переводчика.

Въ 1828 г. Жуковскій перевелъ балладу „Торжество побѣдителей" (Das Siegesfest) точнымъ размѣромъ и съ сохраненіемъ числа стиховъ подлинника.

Переводъ отличается обычными достоинствами и недостатками Жуковскаго. Прежде всего замѣтно свойственное переводчику уклоненіе отъ всѣхъ простѣйшихъ жизненныхъ явленій и ощущеній. Четвертый стихъ первой строфы у Шиллера гласитъ:

Reich beladen mit Raub —

то-есть:

(Побѣдители,) обремененные богатымъ грабежомъ.

Стихъ этотъ въ переводѣ пропущенъ. Зато въ той же строфѣ прекрасно передано выраженіе auf den hohen Schiffen" — „*острогрудые* корабли": этотъ эпитетъ, принадлежащій всецѣло Жуковскому, въ особенности умѣстенъ по отношенію къ военнымъ кораблямъ, которые какъ бы готовы врѣзаться въ бортъ вражескаго судна. Во второй строфѣ ослаблено описаніе несчастныхъ троянокъ. У Шиллера:

Und in langen Reihen, klagend
Sass der Trojerinnen Schaar,
Schmerzvoll an die Brüste schlagend,
Bleich, mit aufgelöstem Haar.

То-есть:

И длинными рядами плача,
сидѣла толпа троянокъ;
онѣ били себя въ грудь, въ печали,
блѣдныя, съ распущенными волосами.

У Жуковскаго:

Брегомъ шла толпа густая
Иліонскихъ дѣвъ и женъ:
Изъ отеческаго края
Ихъ вели въ далекій плѣнъ.

Сравнительно съ подлинникомъ, ослабленъ и конецъ четвертой строфы. У Шиллера:

Drum erhebe frohe Lieder,
Wer die Heimat wieder sieht,
Wem noch frisch das Leben blüht!
Denn nicht Alle kehren wieder!

То-есть:

Итакъ, пусть затянетъ веселую пѣсню,
кто снова увидитъ отчизну,
кому еще цвѣтетъ свѣжая жизнь!
Ибо не всѣ вернутся домой!

У Жуковскаго выраженное въ переводѣ чувство болѣе отвлеченно и вычурно:

Счастливъ тотъ, кому сіянье
Бытія сохранено —
Тотъ, кому вкусить дано
Съ милой родиной свиданье!

Красивъ и близокъ переводъ пятой строфы. У Шиллера:

Alle nicht, die wieder kehren,
Mögen sich des Heimzugs freun.
An den häuslichen Altären
Kann der Mord bereitet seyn.
Mancher fiel durch Freundestücke,
Den die blut'ge Schlacht verfehlt!
Sprach's Ulyss mit Warnungsblicke,
Von Athenens Geist beseelt.
Glücklich, wem der Gattin Treue
Rein und keusch das Haus bewahrt!
Denn das Weib ist falscher Art,
Und die Arge liebt das Neue.

У Жуковскаго:

И не всякій насладится
Миромъ, въ свой пришедши домъ:
Часто злобный ковъ таится
За домашнимъ алтаремъ;
Часто Марсомъ пощаженный
Погибаетъ отъ друзей!
(Рекъ, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей.)

Счастливъ тотъ, чей домъ украшенъ
Скромной вѣрностью жены!
Жены алчутъ новизны;
Постоянный миръ имъ страшенъ.

Въ слѣдующей затѣмъ (шестой) строфѣ смягчены краски поэтическаго образа. У Шиллера:

Und des frisch erkämpften Weibes
Freut sich der Atrid, und strickt
Um den Reiz des schönen Leibes
Seine Arme hochbeglückt.

То-есть:

И Атридъ (т.-е. Менелай) радуется
вновь завоеванной женѣ (Еленѣ) и обвиваетъ
прелесть прекраснаго тѣла
своею рукою, въ высшемъ блаженствѣ.

Жуковскій, опасаясь фривольности, перевелъ это мѣсто двумя строками:

И стоящій близъ Елены
Менелай тогда сказалъ.

Въ седьмой строфѣ сохранена афористическая манера стиха — пріемъ, рѣдко удававшійся переводчику. У Шиллера:

Ohne Wahl vertheilt die Gaben,
Ohne Billigkeit das Glück;
Denn Patroklus liegt begraben,
Und Thersites kommt zurück!

Жуковскій:

Сколькихъ бодрыхъ жизнь поблекла!
Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ!...
Нѣтъ великаго Патрокла,
Живъ презрительный Терситъ!

Конецъ той же строфы, близкій къ подлиннику, замѣчателенъ рѣдкой рифмой и бойкостью стиха:

Смертный! Царь Зевесъ *фортунѣ*
Своенравной предалъ насъ:
Уловляй же быстрый часъ,
Не тревожа сердца *втуне*.

Въ восьмой строфѣ опущена красивая деталь. Шиллеръ говоритъ про Аякса:

> Der ein Thurm war in der Schlacht, —

то-есть:

> Онъ былъ башнею въ бою.

Жуковскій переводитъ проще и слабѣе:

> ... подъ удары
> Подставлявшій твердо грудь.

Девятая строфа замѣчательна слѣдующимъ отступленіемъ отъ подлинника. Неоптолемъ Шиллера, вспоминая своего отца, убитаго безвременно Ахилла, утѣшается на мысли:

> Von des Leben Gütern allen
> Ist der Ruhm das höchste doch

То-есть:

> Изъ всѣхъ жизненныхъ благъ
> высшее — все-таки *слава*.

Жуковскій, очевидно, съ этимъ несогласенъ, потому что переводитъ:

> Жить въ *любви племенъ* дѣлами —
> Благо первое земли.

Вмѣсто славы, такимъ образомъ, появляется народная любовь — гуманный сантиментализмъ, характерный для славянина-Жуковскаго, но не для эллина-Неоптолема и даже не для нѣмца-Шиллера.

Удалось Жуковскому очень трудное для перевода послѣднее четверостишіе той же строфы. Шиллеръ:

> Tapfrer, deines Ruhmes Schimmer
> Wird unsterblich seyn im Lied;
> *Denn das ird'sche Leben flieht,*
> *Und die Todten dauern immer.*

Буквально:

> Храбрецъ! Сіянье твоей славы
> будетъ безсмертно черезъ пѣсню;
> *ибо земная жизнь убываетъ,*
> *мертвые же не имѣютъ конца.*

Жуковскій:

> Слава дней твоихъ нетлѣнна,
> Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
> *Жизнь живущихъ невѣрна,*
> *Жизнь отжившихъ неизмѣнна.*

Послѣдніе два стиха удивительно красивы по изяществу антитезы. Превосходно переведенъ тостъ Діомеда за Гектора (въ десятой строфѣ). Шиллеръ:

Der für seine Hausaltäre
Kämpfend ein Beschirmer fiel —
Krönt den Sieger grössre Ehre,
Ehret ihn das schönre Ziel.

Буквально:

За домашніе алтари
боролся онъ, ихъ защитникъ:
если побѣдителя вѣнчаетъ большая честь,
то ему дѣлаетъ честь лучшее намѣреніе.

Простота, съ которой Жуковскій перевелъ это отвлеченное разсужденіе на языкъ чувствъ, всѣмъ сразу понятный, по истинѣ геніальна. Въ его переводѣ эта строфа читается:

Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Великодушно пролилъ кровь.
Побѣдившимъ — честь побѣды!
Охранявшему — любовь!

Слѣдующія двѣ строфы (одиннадцатая и двѣнадцатая) не передаютъ одного, очень оригинальнаго и реалистическаго, Шиллеровскаго пріема. Несторъ, какъ старикъ патріархъ, не выходящій изъ тона поученія, любитъ повторяться. Протягивая бокалъ Гекубѣ, этотъ „старый кутила“ („der alte Zecher“ — эпитетъ, пропущенный переводчикомъ) повторяетъ ей дважды одно и то же:

Trink ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiss den grossen Schmerz!
Wundervoll ist Bacchus Gabe,
Balsam für's zerrissne Herz.
    Trink ihn aus, den Trank der Labe,
    Und vergiss den grossen Schmerz!
    Balsam für's zerrissne Herz,
    Wundervoll ist Bacchus Gabe.

У Жуковскаго этого повторенія нѣтъ; онъ переводитъ:

Пей страданій утоленье;
Добрый Вакховъ даръ — вино:
И веселость и забвенье
Проливаетъ въ насъ оно.

Пей, страдалица! печали
Услаждаются виномъ:
Боги жалостные въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.

Тотъ же пріемъ, намѣренно незамѣченный Жуковскимъ, употребленъ Шиллеромъ и въ двѣнадцатой строфѣ. Можетъ-быть, Жуковскій хотѣлъ идеализировать мудраго Нестора и немного скрасить его болтливость. Послѣдняя строфа, въ первой ея половинѣ, передана не особенно удачно для Жуковскаго. У Шиллера:

Rauch ist alles ird'sche Wesen;
Wie des Dampfes Säule weht,
Schwinden alle Erdengrössen,
Nur die Götter bleiben stät.

То-есть:

Дымъ — все земное бытіе;
такъ, какъ дымный столбъ,
таетъ и исчезаетъ все земное величіе;
только боги остаются вѣчно.

Послѣдней, оптимистической мысли Жуковскій не замѣчаетъ и переводитъ пессимистически:

Все великое, земное
Разлетается, какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Троѣ,
Завтра выпадетъ другимъ.

Такой же, черезчуръ ноющей, нотой отзывается переводъ и начала заключительнаго четверостишія. У Шиллера:

Um das Ross des Reiters schweben,
Um das Schiff die Sorgen her.

То-есть:

Надъ конемъ всадника
и надъ кораблемъ (морехода) витаютъ заботы.

Жуковскій:

Смертный, силѣ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи!

Но съ неожиданною силою весь талантъ Жуковскаго проявляется въ переводѣ послѣднихъ двухъ, и самыхъ важныхъ, стиховъ всей баллады. Шиллеръ:

Morgen können wir's nicht mehr,
Darum lasst uns heute leben!

То-есть:

Завтрашняго дня мы вовсе не знаемъ —
будемъ же жить сегодня!

У Жуковскаго несравненно глубже, поэтичнѣе и сильнѣе:

Спящій въ гробѣ, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущій.

Этимъ послѣднимъ двустишіемъ переводчикъ превосходно передалъ идею автора — изобразить примирительное настроеніе побѣдителя (вообще, всякаго человѣка, достигшаго цѣли и потому склоннаго къ гордости), при мысли о тщетѣ земныхъ успѣховъ. Въ эти два стиха свободно улеглась вся эллинская житейская философія, гармонически-уравновѣшенная, просвѣщенная и культурная. Мысль переводчика оказалась гораздо глубже мысли автора, эпикуреизмъ котораго, высказанный въ двухъ послѣднихъ стихахъ подлинника, кажется, въ сравненіи съ философіей перевода, болѣе поверхностнымъ.

Въ общемъ баллада „Торжество побѣдителей", благодаря отдѣльнымъ геніальнымъ штрихамъ, можетъ вполнѣ замѣнить подлинникъ, благодаря тому, что въ третьемъ періодѣ (1821—1833 гг.) переводческой дѣятельности Жуковскаго замѣчается развитіе новаго качества — проникновенія въ самую глубь авторской идеи. *Чешихинъ.*

Жалоба Цереры.

Древніе греки представляли творческую силу природы въ видѣ богини земныхъ плодовъ, Цереры. Вмѣстѣ съ Зевсомъ, богомъ неба, Аполлономъ, означавшимъ солнце, и другими олимпійскими богами, она обитала въ свѣтломъ эфирѣ и изображала собою творческое начало жизни. Въ противоположность этимъ богамъ, Плутонъ, богъ тьмы, или Эреба, властвовалъ въ подземномъ царствѣ, Аидѣ, куда челнъ Харона перевозилъ души умершихъ черезъ рѣку Стиксъ и озеро Ахеронъ. По рѣшенію паркъ, богинь судьбы, туда отправлялись послѣ опредѣленнаго срока только смертные: богамъ же свѣтлаго Олимпа были недоступны берега подземныхъ водъ. Греческое преданіе сообщаетъ, что под-

земный богъ Плутонъ похитилъ дочь Цереры, Прозерпину, и она стала царицею Аида, — олицетвореніе того, что всѣ растенія увядаютъ, тлѣютъ, мѣшаются съ землею; но Церера нашла средство сообщаться съ дочерью, бросивъ въ землю зерно: изъ тлѣнія, подъ грѣющими лучами солнца, возникла новая жизнь, изъ подземнаго мрака пришелъ на свѣтъ въ новыхъ, весеннихъ цвѣтахъ отвѣтъ Прозерпины на любящее слово матери. Такъ, по подобію возрожденія природы весною, составилось у грековъ понятіе о жизни души послѣ смерти. На все это въ греческихъ преданіяхъ мы находимъ только намеки, съ полною же ясностью изложена идея, скрытая въ поклоненіи Церерѣ нѣмецкимъ поэтомъ Шиллеромъ въ его балладѣ: „Жалоба Церерѣ", переведенной на русскій языкъ Жуковскимъ. Въ стихотвореніи „Жалоба Цереры" выведена сама богиня, тоскующая о дочери. Порядокъ мыслей слѣдующій. „Вновь повѣялъ геній жизни, безоблачный Зевесъ (небо) глядится въ зеркальныя воды, все расцвѣло, радуется — лишь со мною нѣтъ моей Прозерпины. Вездѣ я ее искала, гдѣ только свѣтятъ лучи Аполлона (солнца): всевидящее солнце не нашло ее подъ небомъ: она тамъ, въ Аидѣ, который недоступенъ олимпійскимъ богамъ. Живому не проникнуть въ подземный мракъ, а умершій не возвратится на свѣтъ, — и некому принести мнѣ вѣсть отъ дочери. Смертныя матери счастливѣе меня, безсмертной богини; на погребальномъ кострѣ сгоритъ ихъ тѣло, а душа полетитъ на свиданіе съ дѣтьми... Парки! дайте мнѣ умереть. Легкой тѣнью сошла бы я въ Аидъ, гдѣ подлѣ своего супруга Плутона сидитъ на престолѣ моя грустная дочь: она меня узнала бы, самъ богъ смерти былъ бы тронутъ нашимъ свиданьемъ. Напрасная мечта! Геліосъ (солнце) ходитъ все тѣмъ же путемъ; Зевесъ все также безвластенъ надъ тѣнями умершихъ. Неужели же нѣтъ для насъ никакой связи, нѣтъ никакого сближенія между мертвыми и живыми? Да, я найду средство повести бесѣду съ дочерью. Когда Борей (сѣверный вѣтеръ) сгубитъ всѣ растенія, я сберу ихъ сѣмена, данныя Вертумномъ (осенью), и брошу ихъ въ землю, на жертву водамъ Стикса, на попеченіе дочери. Съ весною заиграетъ жизнь во всемъ, что умерло: солнце согрѣетъ сѣмена, и они вырвутся на свѣтъ изъ подземнаго затвора: они дадутъ корень, который будетъ питаться под-

земной влагой, и стебель, живущій лучами Феба (солнца). Такъ соединится умершее съ живымъ, придутъ ко мнѣ вѣсти изъ-за Коцита, подземной рѣки: дочь въ весеннихъ цвѣтахъ скажется матери. О цвѣты! въ васъ я вижу образъ дочери и сравняю васъ красотою съ Авророй (богинею зари).

Здѣсь выраженіе чувства, лиризмъ, выходитъ изъ самаго положенія Цереры, какъ матери. Конечно, въ томъ, что Шиллеръ далъ чувству Цереры тотъ, а не другой оттѣнокъ, мы видимъ отчасти личный взглядъ поэта. Шиллеръ проникнутъ болѣе возвышеннымъ, идеальнымъ настроеніемъ, какого не имѣли греки. Это выражается въ утонченныхъ описаніяхъ природы, въ исключительномъ анализѣ чувства и особенно въ изображеніи нѣжныхъ, идеальныхъ стремленій сердца. Таковы, напримѣръ, слова Цереры:

Нѣтъ ли жъ мнѣ чего отъ милой,
Въ *сладкопамятный завѣтъ:*
Что осталось все, какъ было,
Что для насъ разлуки нѣтъ?
Нѣтъ ли *тайныхъ узъ*, чтобъ ими
Снова сблизить мать и дочь,
Мертвыхъ съ милыми живыми,
Съ свѣтлымъ днемъ подземну ночь?...

Церера въ живомъ дыханьи весеннихъ цвѣтовъ слышитъ голосъ дочери:

Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что *любовь не умираетъ*
И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Однако, эта идея о творческой силѣ природы уже заключается въ греческомъ преданіи: Шиллеръ только обратилъ болѣе вниманія на связанную съ нею идею любви, которая естественно возникаетъ въ сердцѣ человѣка при взглядѣ на красоту творенія. И та и другая идея представлены пластично въ живомъ вымыслѣ, который совершенно переноситъ насъ въ кругъ греческихъ вѣрованій; оттого встрѣчается столько греческихъ названій: Зевесъ, Аидъ, Плутонъ, Харонъ, Аполлонъ, Фебъ, парки и проч. Тутъ выступаетъ передъ нами греческая жизнь, греческія понятія. Кромѣ того, какъ мы уже замѣтили, общечеловѣческое чувство матери пред-

ставлено въ цѣльномъ образѣ и сообразно съ тѣмъ, какъ это чувство могло выразиться въ олимпійской богинѣ. Все это даетъ намъ поводъ сказать, что въ произведеніи Шиллера много объективнаго, эпическаго характера.

Водовозовъ

„Жалоба Цереры" въ переводѣ Жуковскаго.

Къ 1829 году относится переводъ Шиллеровой баллады „Жалоба Цереры" (Klade der Ceres) — чисто-лирическая вещь, вполнѣ удавшаяся Жуковскому.

Даже въ этой балладѣ замѣтна разница между Шиллеромъ, идеалистомъ-классикомъ, и Жуковскимъ, идеалистомъ-романтикомъ: любви къ внѣшнему міру, къ непосредственнымъ, реальнымъ впечатлѣніямъ и къ жизненнымъ, яркимъ краскамъ у Шиллера несравненно болѣе, чѣмъ у Жуковскаго. Поэтому переводчикъ всегда находитъ у автора рѣзкости, нуждающіяся, по его мнѣнію, въ смягченіи. Это замѣтно даже въ переводѣ „Жалобы Цереры".

Въ первой строфѣ, при всей неопредѣленности Шиллеровскаго пейзажа, мы все таки найдемъ болѣе реалистическихъ красокъ, чѣмъ въ переводѣ. У Шиллера:

Ist der holde Lenz erschienen?
Hat die Erde sich verjüngt?
Die besonneten Hügel grünen,
Und des Eises Rinde springt.
Aus der Ströme blauem Spiegel
Lacht der unbewölkte Zeus,
Milder wehen Zephyrs Flugel,
Augen treibt das junge Reis.
In dem Hain erwachen Lieder,
Und die Oreade spricht:
Deine Blumen kehren wieder,
Deine Tochter kehret nicht.

То-есть:

Возвратилась ли милая весна?
помолодѣла ли земля?
зеленѣютъ облитые солнцемъ холмы,
и лопается ледяная кора.
Изъ голубого зеркала потоковъ
смѣется безоблачный Зевесъ,

мягче вѣютъ крылья Зефира,
юная лоза пустила почки.
Въ рощѣ звучатъ пѣсни,
и Ореада говоритъ (мнѣ):
твои цвѣты вернутся,
но дочь твоя не вернется.

Въ переводѣ нѣтъ ни „лопающагося льда“, ни „почекъ лозняка“, ни „пѣсенъ въ рощахъ“, а вмѣсто наивно-вопросительныхъ начальныхъ строкъ появляется отвлеченный философскій терминъ: „геній жизни“. Жуковскій переводитъ:

Снова геній жизни вѣетъ;
Возвратилася весна;
Холмъ на солнцѣ зеленѣетъ;
Ледъ разрушила волна;
Распустившійся дымится
Благовоніями лѣсъ,
И безоблаченъ глядится
Въ воды зеркальны Зевесъ;
Все цвѣтетъ — лишь мой единый
Не взойдетъ прекрасный цвѣтъ:
Прозерпины, Прозерпины
На землѣ моей ужъ нѣтъ.

Такимъ образомъ, Жуковскій, ослабляя краски (какъ романтиченъ этотъ дымящійся „благовоніями“ лѣсъ!), соблюдаетъ лишь настроеніе подлинника, которое (повтореніемъ возгласа „Прозерпины“) къ концу строфы даже усиливаетъ.

Переводъ очень близокъ къ подлиннику. Жуковскій съ особеннымъ стараніемъ передаетъ строфу, изображающую стремленіе къ страданію, особенно таинственное со стороны безсмертной и блаженной богини: на подобныя ощущенія онъ отзывается всею своею душою романтика по призванью, по рожденью. У Шиллера (четвертая строфа):

Mütter, die aus Pyrrha's Stamme
Sterbliche geboren sind,
Dürfen durch des Grabes Flamme
Folgen dem geliebten Kind;
Nur was Jovis Haus bewohnet,
Nahet nicht dem dunkeln Strand.
Nur die Seligen verschonet,
Parcen, eure strenge Hand.

Stürzt mich in die Nacht der Nächte
Aus des Himmels goldnem Saal!
Ehret nicht der Göttin Rechte;
Ach, sie sind der Mutter Qual.

У Жуковскаго:

Сколь завидна мнѣ, печальной,
Участь смертныхъ матерей!
Легкій пламень погребальный
Возвращаетъ имъ дѣтей;
А для насъ, боговъ нетлѣнныхъ,
Что усладою утратъ?
Насъ, безрадостно-блаженныхъ,
Парки строгія щадятъ...
Парки, парки, поспѣшите
Съ неба въ адъ меня послать;
Правъ богини не щадите:
Вы обрадуете мать!

Призывъ къ паркамъ, т.-е. къ страданію, въ переводѣ сильнѣе, чѣмъ въ подлинникѣ.

Жуковскому на этотъ разъ вполнѣ удается и афористическая манера Шиллера. Церера, въ похвалу цвѣтка, какъ посредника между небомъ и землею, говоритъ у Шиллера:

Wenn der Stamm zum Himmel eilet,
Sucht die Wurzel scheu die Nacht;
Gleich in ihre Pflege theilet
Sich des Styx, des Aethers Macht.

У Жуковскаго:

Листъ выходитъ въ область неба,
Корень ищетъ тьмы ночной;
Листъ живетъ лучами Феба,
Корень — Стиксовой струей.

Изъ передачи этихъ, и тому подобныхъ, мѣстъ подлинника видно, что Жуковскій вполнѣ усвоилъ настроеніе баллады (мистическое предчувствіе связи между жизнью земною и загробною). *Чешихинъ.*

Элевзинскій праздникъ.

Призывъ на праздникъ богини земледѣлія, Цереры, и значеніе его, какъ воспоминанія тѣхъ благъ, которыми богиня осчастливила человѣка. Церера сдружила враждебныхъ людей, жестокіе нравы смягчила и въ домъ постоянный межъ

нивъ и полей шатеръ подвижной обратила". Здѣсь представляется, что первое основаніе цивилизаціи было земледѣліе: она начинается съ той минуты, какъ человѣкъ перешелъ отъ бродячей жизни къ осѣдлой, связалъ свой трудъ съ землею и составилъ общество. Чтобы вполнѣ оцѣнить благодѣяніе Цереры, поэтъ изображаетъ то дикое состояніе, въ какомъ человѣкъ находился вначалѣ, ведя кочевую; въ пещерахъ скалъ скрывался троглодитъ, по полямъ скитался номадъ, по лѣсамъ бѣгалъ звѣроловъ. Они-то своею дикостью и кровожадностью и поразили мать Цереру, когда она впервые сошла съ Олимпа на землю, отыскивая свою похищенную дочь Прозерпину. Нигдѣ богиня не находитъ себѣ пріюта, нигдѣ не видитъ храма, по которому бы можно было заключить, что люди знаютъ и почитаютъ боговъ: человѣкъ повсюду представляется ей въ *глубокомъ униженіи*, а между тѣмъ онъ сотворенъ Зевесовой рукою, онъ облеченъ въ олимпійскую красоту, онъ владѣлецъ всего земного міра, и для чего же? Для того, чтобы въ этомъ мірѣ онъ страдалъ, какъ узникъ, брошенный въ заточенье. Богиня сожалѣетъ, что къ богамъ еще не дошла земная скорбь, что никто изъ нихъ до сихъ поръ не сжалился надъ людьми и не вырвалъ ихъ изъ бездны бѣдъ. Но чтобы понимать горе другого, нужно самому чувствовать его въ собственномъ сердцѣ. Изъ боговъ только она одна узнала горе, потерявъ дочь: одна она и поняла его огорченнымъ сердцемъ. Она-то и задумала возвысить человѣка *душою* изъ такой низости. Для этого ему должно было вступить въ *вѣчный* союзъ съ древней матерью — землею, узнать законы времени, познакомиться съ природою. Съ такими намѣреніями богиня является передъ дикарями въ своей небесной красотѣ:

Кончивъ бой, они, какъ тигры,
Изъ черепьевъ вражьихъ пьютъ,
И ее на звѣрски игры
И на страшный пиръ зовутъ.

При этомъ приглашеніи Церера содрогается, объявляя, что богамъ кровь противна, что въ такомъ состояніи люди не выше звѣрей, которые чужды богамъ; *чистымъ угодно только чистое:*

Даръ достойнѣйшій небесъ:
Нивы колосъ первородный,
Сокъ оливы, плодъ древесъ,

слѣдовательно, то, что земля можетъ давать человѣку отъ его трудовъ. Тутъ богиня научаетъ человѣка земледѣлію и первый снопъ приноситъ въ жертву Зевесу съ молитвою просвѣтить незнающихъ его. Вѣчный богъ не отринулъ жертвы и своимъ громомъ зажегъ снопъ въ знакъ того, что жертва ему угодна. Это чудо проникло въ сердца дикарей, смягчило ихъ, и съ той минуты начинается ихъ нравственное возвышеніе: является вѣра, богопочтеніе, покорность передъ божествомъ. Съ этимъ вмѣстѣ всѣ божества сходятъ съ Олимпа на землю къ человѣку и для его возвышенія передаютъ ему разныя познанія: въ борьбѣ Ѳемиды является между людьми сознаніе правды и права собственности, какъ первое основаніе общества; являются ремесла, строятся города для безопаснаго пріюта, плотины въ защиту отъ морскихъ приливовъ, развивается кораблестроеніе, разныя искусства, создаются храмы, утверждается бракъ, какъ союзъ священный и прочное основаніе семейной жизни. Изъ всего этого создается *гражданство*. Теперь богиня Церера обращается уже не къ дикарямъ, а къ гражданамъ, съ цѣлью опредѣлить имъ свободу, какъ нравственное основаніе жизни:

Въ лѣсѣ ищетъ *звѣрь* свободы,
Правитъ всѣмъ свободно *богъ*,
Ихъ законъ — законъ природы.

Человѣку не можетъ принадлежать ни дикая свобода звѣря, безсознательно живущаго по закону своей природы, ни творческая свобода божества, выказывающагося также въ законахъ природы. Онъ, своимъ зоркимъ умомъ, составляя звено между обѣими крайностями свободы, созданъ для гражданства, для жизни въ обществѣ себѣ подобныхъ.

Здѣсь лишь правами одними
Можетъ быть свободенъ онъ.

Эта нравственная свобода составляетъ благородство жизни. оно могло развиться только въ союзѣ человѣка съ человѣкомъ, въ союзѣ, который могъ совершиться посредствомъ связи человѣка съ землею. Этою мыслію и оканчивается стихотвореніе. Главныя его части: 1) дикое состояніе человѣка до земледѣлія; 2) явленіе земледѣлія; 3) развитіе цивилизаціи, какъ его слѣдствія; 4) нравственное благородство

человѣка. Несмотря на то, что поэтъ развиваетъ здѣсь миѳъ изъ классической древности, самыя идеи, выраженныя въ немъ, не могли принадлежать той древности, которая признавала рабство, какъ явленіе законное. Здѣсь имѣется въ виду возвысить человѣка, какъ существо нравственно свободное, которое дошло до сознанія своей свободы черезъ цивилизацію, развившуюся изъ связи человѣка съ землею. Это одна изъ прекрасныхъ идей, развиваемыхъ романтизмомъ, который стремился разъяснить нравственныя достоинства человѣка и ими возвысить его природу, что можно встрѣтить особенно у Шиллера и что Пушкинъ, говоря о Ленскомъ, назвалъ *вольнолюбивыми мечтами*.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ идей и развилась большая часть нашихъ писателей, начавшихъ настоящій періодъ русской литературы, который обыкновенно называютъ народнымъ. *Стоюнинъ*.

Кубокъ.

I—III. Начало баллады построено драматически, безъ эпическихъ подготовленій. Вопросомъ короля: „кто, рыцарь ли знатный, иль латникъ простой въ ту бездну прыгнетъ съ высоты?“ — предъ читателемъ сразу эффектно открывается дѣйствіе въ его сценически-исторической обстановкѣ. Вверху, на живописномъ обрывѣ высокой и дикой скалы, круто спустившейся въ море, стоитъ король, въ правой рукѣ его — золотой кубокъ, за нимъ — блестящая свита изъ рыцарей, оруженосцевъ и дамъ; внизу, въ чудный контрастъ этой безмолвно-чинной средневѣковой аристократической группѣ, оглушительно-дико грохочетъ съ древности извѣстная Харибда, вѣчно-бѣснующаяся, неспокойная пучина Средиземнаго моря. Всѣ смотрятъ на пучину, любуются ею. У короля рождается желаніе испробовать мужество его окружающихъ; быть можетъ, въ немъ заговорило и любопытство узнать, что̀ кроется въ безднѣ. Желаніе до того живо, что король немедля выражаетъ его въ формѣ вопроса къ рыцарямъ и ихъ оруженосцамъ, и тотчасъ же бросаетъ въ море свой драгоцѣнный кубокъ, съ обѣщаніемъ подарить его въ качествѣ побѣднаго трофея тому, кто бы изъ нихъ ни досталъ его.

Обратиться къ тѣмъ и другимъ безъ различія для него было совершенно естественно. Въ средніе вѣка оруженосцы набирались изъ дѣтей благородныхъ дворянъ: семи лѣтъ, а иногда и ранѣе, поступая въ чужіе знатные дома, въ прислуживаніи старымъ рыцарямъ и дамамъ, учились они всѣмъ рыцарскимъ обязанностямъ, пока, съ ихъ возрастомъ и успѣхами, руководитель не удостоивалъ ихъ рыцарскаго посвященія (la réception d'un chevalier, Ritterschlag). И рыцари не обижались за подобное приравниваніе: напротивъ, это равенство, открывая доступъ всѣмъ — старымъ и молодымъ, заслуженнымъ и выслуживающимся, сильнѣе побуждало каждаго изъ нихъ ко взаимному соревнованію. Съ другой стороны — заманчива и награда. Не то, конечно, особенно важно, что кубокъ — золотой, драгоцѣнный, а то, что онъ подарокъ изъ собственныхъ рукъ короля, что онъ пріятный памятникъ совершоннаго предъ всѣми подвига, краснорѣчивый свидѣтель полученной чести. И, однакожъ, въ отвѣтъ на королевскій вызовъ рыцари и оруженосцы молча лишь смотрятъ внизъ за брошенной чашей: никто изъ нихъ не тронется съ мѣста, чтобы пріобрѣсть ее, а съ ней громкую славу и честь: такъ, значитъ, трудно было дѣло, на которое призывалъ король.

Иначе смотрѣлъ на это послѣдній. Ему казалось, что своимъ вызовомъ на борьбу съ грозною стихіей онъ не требовалъ никакого подвига и ничего болѣе не затѣвалъ, кромѣ какъ будто своеобразной гимнастической забавы, гдѣ могъ отмѣтить самаго отважнаго изъ свиты. Сопротивленіе возбуждаетъ въ немъ настойчивость, и онъ первно повторяетъ свой вызовъ, выражая надежду, что кто-нибудь изъ нихъ да откликнется же. И опять напрасно: снова пауза, снова выжидательное молчаніе. Возможность удачи была слишкомъ ничтожна въ сравненіи съ необходимой отвагой, и потому, какъ ни затрогивалось честолюбіе свиты, взглядъ на волнующееся море парализуетъ въ ней всякую рѣшимость. Задѣтый ли за живое, или, быть можетъ, въ силу стариннаго обычая, король вызываетъ въ третій разъ, вопросъ уже ставитъ въ упоръ, прямо подвергаетъ сомнѣнію рыцарскій гоноръ. „Такъ неужели среди васъ нѣтъ никого, кто бы отважился броситься внизъ?" съ укоромъ и ироніей произноситъ властитель. Тяжесть томительнаго положенія короля и его свиты, усили-

вающаяся съ каждымъ новымъ повтореніемъ вопроса, теперь становится невыносимой: еще мгновеніе, и королю съ горечью придется отказаться отъ своего требованія, остаться безъ удовлетворенія желанію — тогда ужъ лучше бы и не начинать дѣла, рыцарямъ же, людямъ славы и тщеславья, торжественно приходилось обнаружить свое малодушіе, не знать, куда отъ стыда дѣть свои глаза; самое же дѣло, по опасности его выполненія, невольно возвышается до подвига, и сильнѣе заинтриговывается наше вниманіе, ожиданіе, какъ разразится наэлектризованная атмосфера — вотъ смыслъ, почему здѣсь употребленъ троекратный вызовъ, который, какъ всякая вообще тавтологія, казалось бы, долженъ принести одно утомленіе и безъ нужды замедлить разсказъ. Неоспоримо, авторъ поступилъ здѣсь мастерски.

IV—V. Все разрѣшаетъ одинъ юноша. Въ критическую минуту, когда стало ясно, что никто не рѣшается откликнуться на призывъ короля, вдругъ изъ среды пристыженной и какъ бы окаменѣвшей отъ смущенія свиты, чтобы выручить ее, выступаетъ молодой оруженосецъ. Дѣйствительно, только юношеская натура, еще неохлажденная расчетливымъ разсудкомъ и поддерживаемая надеждой удачи, можетъ отважиться на выполненіе такого опаснаго дѣла, отъ чего боязливо удержался каждый пожилой человѣкъ. Юность — періодъ жизни, попреимуществу, богатый избыткомъ силъ, нерѣдко бьющихъ черезъ край идеалами, мечтами, дорогими заблужденіями, готовностью пролить избытокъ своей крови за идею всеобщую, міровую, богатый порывами, самопожертвованіемъ — иногда безъ подозрѣнія, что эта жертва можетъ оказаться напрасной: природа и обстоятельства еще не вывели юношу изъ туманнаго царства всеобщности въ ясно очерченный и опредѣленный кругъ, какъ-то обыкновенно бываетъ въ зрѣломъ возрастѣ. Оруженосецъ выходитъ скромно и смѣло, молча приготовляется къ прыжку: снимаетъ мѣшающія ему части платья: поясъ и епанчу, — его красивая наружность поражаетъ зрителей, дивившихся его красотѣ и и рѣшимости; но онъ, какъ бы ничего не замѣчая, безъ всякой эффектаціи подступаетъ къ краю обрыва и броcаетъ свой взглядъ на пучину. Эти подробности въ описаніи появленія юноши привнесены далеко не безъ цѣли: выходъ изъ толпы на свободное мѣсто, раздѣваніе, впечатлѣніе зрителей, входъ

на обрывъ, гдѣ фигура пажа, такъ возвышаясь предъ всѣми другими, ставится какъ бы на пьедесталѣ, — все яснѣе и яснѣе обрисовываютъ прекрасно сложившійся станъ, его внѣшнюю фигуру; спокойствіе же, рѣшительность и скромность въ движеніяхъ бросаютъ нѣкоторый свѣтъ и на его симпатичныя душевныя свойства. Въ его движеніяхъ нѣтъ ни бѣшенной не знающей удержу отваги и ни тѣни робости: ни одной чертой не давалъ повода къ предположенію, чтобы онъ могъ воротиться назадъ. И если онъ замедлилъ выходомъ, то развѣ потому, что не желалъ задѣвать чье-нибудь самолюбіе — предвосхищать честь подвига, очевидно, совсѣмъ не было въ его расчетахъ. Онъ дѣйствуетъ больше въ интересахъ другихъ, чѣмъ невольно подкупаетъ доброе участіе къ нему. Конечно, тутъ еще нѣтъ полнаго образа: онъ обрисуется лишь впослѣдствіи; но вѣдь въ истинно-поэтическихъ произведеніяхъ каждое новое лицо никогда не выводится вдругъ со всѣми существенными чертами, а освѣщается постепенно, по мѣрѣ вновь создающихся внѣшнихъ положеній, среди которыхъ оно должно дѣйствовать, по мѣрѣ его дѣятельности, что искусно поддерживаетъ и усиливаетъ непрерывный интересъ къ произведенію и личности. Юноша еще только приступаетъ къ дѣйствію, и пока видны его первыя черты.

V—VII. Предъ глазами пажа открылись страшные ужасы клокочущей бездны. Харибда, точно какое живое чудовище, бурно изрыгала изъ своей глубины мощныя воды свои.

Изъ чрева пучины бѣжали валы,
Шумя и гремя въ вышину:
А волны спирались, и пѣна кипѣла:
Какъ будто гроза, наступая, ревѣла.

И воетъ, и свищетъ, и бьетъ, и шипитъ,
Какъ влага, мѣшаясь съ огнемъ,
Волна за волною; и къ небу летитъ.
Дымящимся пѣна столбомъ;
Пучина бунтуетъ, пучина клокочетъ...
Не море ль изъ моря извергнуться хочетъ?
И вдругъ, успокоясь, волненье легло;

И грозно изъ пѣны сѣдой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощеннаго чрева
И глубь застонала отъ грома и рева.

Воды отхлынули назадъ, въ открывшуюся бездонную пасть сильно забились о встрѣчавшіяся на пути скалы, производя подземные, чисто громовые раскаты: пасть опять поглощала свои воды. Картина грандіозная, потрясающая! Какое требовалось мужество, чтобы не устрашиться ея, и зато какъ же возвышала она подобный подвигъ! Человѣческій духъ, съ его нетеряющимся сознаніемъ, волей и дѣятельностью, съ его готовностью къ рѣшительной борьбѣ, поднимается теперь на идеальную высоту прямо, и притомъ по мѣрѣ своей стойкости и превосходства предъ ужасной въ своемъ величіи природѣ, предъ которой вполнѣ ничтожна тѣлесная сила человѣка. Величіе и слава побѣды всегда обезусловлены могуществомъ противника. „Чѣмъ страшнѣе противникъ, тѣмъ славнѣе побѣда: только сопротивленіе дѣлаетъ силу наглядной". Но это пространное описаніе внѣшняго вида прилива и отлива Харибды, какъ ни важно въ интересахъ правильной оцѣнки подвига юноши, все же наполовину не произвело бы подобнаго дѣйствія, если бы оно помѣщено было прежде. Явленіе природы, интересное само по себѣ, становится еще внушительнѣе, что оно не замкнуто въ самомъ себѣ, но представлено въ самомъ тѣсномъ отношеніи къ оруженосцу, къ его рѣшенію. Мы смотримъ на явленіе глазами очевидца, ощущенія послѣдняго передаются и намъ. Совсѣмъ иныя, болѣе тревожныя чувства постигаютъ читателя, когда онъ знаетъ, что съ этими губительными силами природы должно вступить въ борьбу извѣстное ему, дорогое для него существо.

VIII. Не замедлила и самая борьба. Препятствіямъ не парализировать рѣшимости пажа. Его отношеніе къ нимъ лишь яснѣе освѣщаетъ его внутренній обликъ. Неустрашимо смотритъ онъ всѣмъ опасностямъ въ лицо, искусно съ полнымъ сознаніемъ, пользуется благопріятными обстоятельствами, временемъ отлива, и въ тихой молитвѣ поручаетъ себя, и однако не фатально, покровительству всесильнаго Бога: въ груди его бьется вѣрующее сердце: при беззавѣтной храбрости и находчивости ему свойственны христіанское сознаніе недостаточности своихъ собственныхъ силъ и вѣра въ высшую помощь. Поэтъ умалчиваетъ о томъ, что сдѣлалъ потомъ юноша; но невольный крикъ испуганной толпы, о которомъ упоминаетъ онъ,—свидѣтель, что уже „бездна надъ отрокомъ челюсть свела, его болѣе не видно".

IX—XI. Дѣйствіе кончилось, занавѣсъ упалъ, скрывъ отъ насъ главнаго героя, и напередъ трудно угадать, пришелъ ли конецъ, или наступила только томительная пауза послѣ перваго акта смѣло задуманной драмы: потому что можно ли сказать навѣрное, что отважный герой опять явится на сцену? Гоцшнеръ (Deutsche Dichter. Leipz. 1870. I, 277) думаетъ, что здѣсь удобны три пути для исхода: или прямо продолжать: „и воетъ, и свищетъ, и бьетъ, и кипитъ", или же, по обычаю поэтовъ, создать изъ матеріала двѣ или три баллады, или же, наконецъ, ходъ исторіи пріостановить, а стихотвореніе продолжать. Поэтъ выбралъ послѣдній путь, художественно воспользовавшись ролью хора древнихъ трагедій, гдѣ хоръ имѣлъ значеніе совсѣмъ не то, какое имѣетъ замѣнившій его въ нашихъ драматическихъ театрахъ оркестръ, которымъ обыкновенно играются мотивы безъ всякаго отношенія къ представляемой пьесѣ, лишь бы занять чѣмъ-нибудь публику во время антракта. Подобно тому, какъ въ трагедіяхъ Эсхила и Софокла, послѣ каждаго акта выступалъ на театральные подмостки находившійся въ „оркестрѣ" хоръ и, въ качествѣ близкихъ герою современниковъ, въ своихъ пѣсняхъ произносилъ свое сужденіе о случившемся, и тѣмъ приготовлялъ зрителей къ послѣдующему акту: такъ и здѣсь, совершенно въ духѣ этого хора, оставшіеся на скалѣ зрители, которые до сихъ поръ были нѣмыми свидѣтелями, теперь, когда послѣ первой паники, едва открылась возможность словами выразить имъ свои мысли и чувства, высказываютъ то, что ихъ волновало въ данное время, чѣмъ вполнѣ кстати занимается являющаяся вмѣсто антракта пауза. Рѣшившись на подвигъ, юноша заслужилъ симпатіи всѣхъ присутствующихъ, и первое слово зрителей естественно было слово горькаго прощанія и неподдѣльнаго благожеланія: „юноша высокоблагородной души, будь благополученъ!" восклицаютъ они. Блестящая свита въ лицѣ одного изъ своихъ членовъ сознавалась, что никто изъ нея не отважился бы на подобное дѣло ни за какія блага міра, даже за корону: о скрытомъ въ глубинѣ не въ состояніи разсказать ни одна живая душа. Ужъ если морскіе корабли, сколько ихъ ни попадало въ пучину, вылетали разбитыми вдребезги, то выйти ли оттуда живымъ человѣку?

Признаніе очевидцевъ если, съ одной стороны, бросаетъ

тѣнь на короля за его безчеловѣчное требованіе и возвышаетъ геройство юноши, то, съ другой, обыкновенно усиливаетъ опасеніе за судьбу послѣдняго. Умолчи о немъ поэтъ, и отъ разсказа о прыжкѣ юноши въ пучину перейди прямо къ описанію возвращенія прилива, опасеніе было бы несравненно слабѣе. Въ признаніи слышится какъ бы пророческій голосъ о неизбѣжности гибели пажа, почему ожиданіе становится все мучительнѣе, а надежды невѣроятнѣе. Томительность поддерживаютъ дѣйствія пучины. На поверхности воды — тишина, лишь изъ глубины слышенъ глухой шумъ: воды еще несутся внизъ; но и вой слышится все глуше и глуше, и какъ бы совсѣмъ замираетъ: вмѣстѣ съ нимъ почти исчезаетъ и всякая надежда увидѣть героя... по крайней мѣрѣ живого, развѣ трупъ или, подобно обломкамъ кораблей, его жалкіе остатки.

XI XII. XIII XIV. Въ это самое время вдругъ снова ясно послышался многозначительный шумъ въ глубинѣ: то знакъ возвращающагося прилива, и голосъ толпы смолкъ: нѣтъ мѣста словамъ, когда наступаетъ самое дѣйствіе. Явленіе природы удивительнымъ образомъ переплетается вообще здѣсь съ ходомъ исторіи, и, нѣтъ сомнѣнія, значительная доля очаровательности стихотворенія основывается на счастливомъ сплетеніи явленія съ фабулой произведенія. Приливъ наступаетъ во всемъ своемъ грандіозномъ величіи: безчисленныя волны бьютъ одна за другой, идутъ безпрерывно, безъ перерыва, шумятъ, брызжутъ, шипятъ, точно смѣшавшаяся съ огнемъ влага; летитъ къ небу обильная пѣна, за ней изъ зѣва бездны хлынулъ неистощимый потокъ съ оглушительнымъ, приводящимъ въ ужасъ ревомъ... Глаза всѣхъ приковываются къ водовороту, вниманіе напрягается, лихорадочная нетерпѣливость возрастаетъ до невѣроятныхъ предѣловъ... И вотъ — какой моментъ! — что-то поразительно бѣлое промелькнуло въ черномъ лонѣ: ясно, что воды идутъ не однѣ... но не обманъ ли это не въ мѣру напряженныхъ чувствъ? — нѣтъ! вотъ показалась рука, блеститъ плечо — но это, быть можетъ, только печальные остатки разбитаго трупа? — нѣтъ! онъ уже изъ всей силы правитъ волной, машетъ чашей съ радостнымъ за жизнь и побѣду привѣтомъ, онъ дышитъ — о радость! — онъ живъ! И томительный страхъ зрителей быстро смѣняется невыразимымъ вос-

торгомъ. Каждый изъ присутствующихъ въ неподдѣльномъ веселья —

„Онъ живъ! — повторялъ: —
Чудеснѣе подвига нѣтъ!
Изъ темнаго гроба, изъ пропасти влажной
Спасъ душу живую красавецъ отважный!"

Велико искусство поэта. Усиливъ предъ тѣмъ напряженіе ожиданія фигуры, онъ вдругъ, въ моментъ ея появленія, употребляетъ контрастъ, и контрастъ самый яркій: темному лону противополагается что-то бѣлизны лебединой; въ появленіи — постепенность: сначала показываются части тѣла, потомъ уже вся фигура, живая, дѣйствующая, торжествующая — въ иномъ видѣ, неподвижная, она была бы выставлена менѣе ясно; въ избыткѣ отъ наплыва радостныхъ чувствъ всѣ зрители громко привѣтствуютъ красавца, — и мы какъ будто видимъ все это своими глазами и, сами того не замѣчая принимаемъ участіе и въ трепетномъ ожиданіи и въ неподдѣльной радости всѣхъ присутствующихъ.

XV. Подобное счастье хоть кому вскружило бы голову. Между тѣмъ, въ то время, какъ всѣ встрѣчаютъ пажа съ полнымъ тріумфомъ, онъ скромно подходитъ къ королю, почтительно, но безъ униженія, по долгу подданнаго, склоняется предъ нимъ на колѣни и съ достоинствомъ героя кладетъ къ его ногамъ добытый кубокъ, чтобы изъ рукъ своего господина получить его обратно, какъ побѣдный трофей, и разсказать ему о страшныхъ ужасахъ подземелья. Тутъ неожиданно происходитъ небольшая, успокаивающая душу, пріятная сцена, которая, на нѣкоторое время отстраняя мрачную повѣсть, вмѣстѣ съ предыдущей встрѣчей отнимаетъ у произведенія однообразно-тяжелый тонъ. Король даетъ знакъ своей дочери: она наливаетъ кубокъ искрившимся виноградныхъ виномъ и подаетъ его юношѣ, чтобы тотъ подкрѣпилъ свои упавшія силы. Разумѣется, дороже вина была почесть, что такъ и такая рука возвращаетъ кубокъ. Такимъ образомъ, здѣсь совершенно кстати и вполнѣ въ духѣ рыцарства вводится въ дѣйствіе новое лицо, которое будетъ имѣть важное значеніе для дальнѣйшаго развитія событія. То же, откуда взялось вино, поэта не затрудняетъ. Само собою возникаетъ предположеніе, что по морскому берегу была устроена ве-

селая прогулка, где, на эффектныхъ берегахъ Харибды, но въ веселую минуту и разыгралось все событіе.

XV—XXII. Въ разсказѣ сообщаются болѣе цѣльныя свѣдѣнія о пучинѣ: отважность подвига увеличивается почти до невѣроятныхъ предѣловъ. До сихъ поръ читатель былъ знакомъ съ однимъ внѣшнимъ видомъ Харибды, теперь живописно рисуется предъ нимъ ея внутренность.

XVI. Впрочемъ, свѣдѣнія объ ужасахъ Харибды начинаются не тотчасъ. Какъ чудомъ спасеннаго, видитъ себя пажъ на Божьемъ свѣтѣ, и онъ прежде всего всецѣло отдается своему радостному чувству, что такъ счастливо избѣжалъ опасности: королю желаетъ долгой жизни, веселья всѣмъ, живущимъ на землѣ, такъ какъ, по его сознанію, счастье возможно только здѣсь, въ дневномъ свѣтѣ, тамъ же, въ темной глубинѣ, скрыты одни ужасы: его прежняя отвага ему кажется уже дерзкимъ искушеніемъ божественныхъ силъ, и онъ въ порывѣ лиризма, какъ бы по вдохновенію, трагически произноситъ глубокія по смыслу слова:

Смертный, предъ Богомъ смирись,
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, Имъ мудро отъ насъ сокровенной.

Это — не взятый напрокатъ афоризмъ, не правило житейской мудрости, а высокая нравственная идея, къ которой пришелъ герой, испытавъ всѣ ужасы бездны, идея, которая говоритъ за свѣтлый кругозоръ юноши, за его образованный умъ, если онъ такъ выражается объ ужасахъ бездны.

XVII—XXII. И были же основанія притти къ ней! Чего-чего не видалъ и не испыталъ въ безднѣ разсказчикъ! Чуть не съ быстротою молніи рвануло его внизъ, когда онъ бросился съ крутизны. Тамъ попалъ въ необычный потокъ: вода шла въ глубину и сбоку, изъ скалы, и сверху. Противостоять было нельзя. Въ вихрѣ водорота повлекло юношу въ пропасть, гдѣ его кружило и било, точно кубарь. Въ неминуемой опасности онъ, какъ и прежде, обратился къ помощи Божіей, и, когда ему грозило уже самое худшее, спасеніе явилось: онъ былъ занесенъ на выдающійся изъ бездны высокій утесъ, за который и ухватился; тутъ же, на остроконечномъ кораллѣ, нашелся и кубокъ.

Мѣсто, куда поэтъ помѣстилъ водолаза, выбрано очень удачно. На срединѣ пропасти самая удобная и безопасная точка для наблюденія; рельефнѣе обнаруживается безпомощное одиночество пажа; въ виду же того, что осмотрѣть всего, не побывавъ на днѣ, невозможно, давался поводъ къ новому вызову на подвигъ.

Юноша увидѣлъ, что ниже, въ мрачно-пурпуровомъ сумракѣ, зіяла бездонная, чисто-адская пропасть. Двигалась, и все двигалось въ ней отъ страшныхъ чудищъ изъ чудищъ, извѣстныхъ по однимъ сагамъ: отъ ядовитыхъ саламандръ, пятнистыхъ черныхъ великановъ — ящерицъ, губительныхъ драконовъ; все мѣшалось —вилось въ громадную, безобразную глыбу: и неповоротливое чудовище-скатъ, точно громадныя, набитыя гвоздями, ворота, и свирѣпая молотъ-рыба, и хищный щетинозубъ; ненасытная акула-людоѣдъ, замѣтивъ пришлеца, разинула пасть и уже начала яростно грозить ему своими вострыми зубами. Жизнь на волоскѣ. Гибель близка, почти неминуема, а помощи нѣтъ и не видно. Люди, съ ихъ рѣчью, полной участія, далеко, вверху; протянуть руку они не въ силахъ. Вмѣсто добраго человѣческаго лица, глаза водолаза видятъ одни безчувственныя маски ужасныхъ чудовищъ; ухо, привыкшее къ благодѣтельной рѣчи, ничего не слышитъ, кругомъ его тѣснящая душу тишина: морскія чудовища не имѣютъ голоса. Онъ здѣсь одинъ, вдали отъ всякаго участья, безпомощный, безоружный; въ немъ одномъ бьется сердце посреди безчувственныхъ массъ — и страшно ему, мучительно страшно сознавать опасность, безпомощность и одиночество въ этой нѣмой, точно мертвой пустынѣ. Но вотъ изъ темноты движется что-то ужъ совсѣмъ необычайное, громадное, слоногое... вѣроятно, полипъ, руки котораго, по разсказамъ, достигаютъ до 30 футовъ длины.. Оно готово уже схватить, совлечь его; прикрывавшія коралловыя вѣтви не могутъ долго служить препятствіемъ. Всѣ чувства героя потрясъ смертельный ужасъ... Тогда инстинктивно, не понимая зачѣмъ, пажъ выпустилъ изъ рукъ коралловую вѣтвь, и это было ему спасеніемъ: начавшійся приливъ быстро подхватилъ и съ шумомъ вынесъ его на поверхность.

Припомнимъ впечатлѣніе, какое прежде произвели слова короля на веселыхъ доселѣ зрителей. Кругомъ безмолвное молчаніе; на лицахъ каждаго изъ присутствующихъ выра-

жалось тяжелое чувство: стыдъ и боязнь; каждый желалъ, чтобы лучше совсѣмъ не было подобныхъ словъ. Не то теперь, послѣ рѣчи пажа. Съ какимъ напряженіемъ должно было слушаться его живое, превосходное изображеніе внутренностей бездны и его ужаснаго положенія! Совсѣмъ противоположной королю обрисовывается и личность разсказчика. Въ своей повѣсти онъ далекъ отъ тщеславныхъ похвалъ и прикрасъ: представляетъ дѣло такъ, какъ было, все приписываетъ обстоятельствамъ и помощи Божіей. Это именно — hochherzig, личность чистая, свѣтлая, идеальная, сила не столько физическая, сколько нравственно-религіозная: его мужество коренится въ высшихъ побужденіяхъ.

Что возбуждало наше участіе, прекратилось. Кубокъ добытъ, свѣдѣнія о сокровенныхъ тайнахъ пропасти слышали отъ очевидца, самъ разсказчикъ возвратился цѣлъ и невредимъ; нашъ интересъ удовлетворенъ, далѣе... чего-же еще ожидать болѣе?!.. Но тогда какой смыслъ этого поэтическаго созданія?... Шиллеръ же всегда чрезвычайно дорожилъ идеей. Живописныя картины, величественные образы, создаваемые имъ, онъ цѣнилъ, какъ прекрасное тѣло для живущей въ нихъ вѣчно бодрствующей, вѣчно трепетной души. Едва ли въ комъ полнота образующаго поэтическаго творчества такъ тѣсно соединялась съ глубиной выработаннаго философскаго созерцанія. Фантазія, все соединяющая, пылкая, почти неудержимая, въ пору полнаго развитія поэта, всегда шла рука объ руку съ все раздѣляющимъ и умѣряющимъ разсудкомъ. Натура субъективная, созерцательная, онъ былъ художникъ-философъ, по-преимуществу; поэтическія изображенія всегда проникались добытымъ въ упорныхъ философскихъ размышленіяхъ, всегда составляли съ ними одно изящное цѣлое, эстетически-прекрасное. „Сила воображенія, — утверждалъ онъ, — сообразно ея природѣ, безпрерывно занята тѣмъ, чтобы представлять общее въ частномъ случаѣ, ограничить его въ пространствѣ и времени, индивидуализировать понятія, дать тѣло отвлеченному". Естественно, что и на этотъ разъ поэтъ не останавливается на полупути, снова, непосредственно послѣ разсказа, какъ бы не желая дать отдыха, тревожитъ наше любопытство, поднимаетъ его, и притомъ на такую высоту, на какой оно еще не было до сихъ поръ, и тамъ, на этой высотѣ, такъ и оставляетъ насъ, давая чувствовать

и неотразимое могущество глубокой идеи, лежащей въ основѣ его даннаго творенія.

XXIII. Причина въ томъ, что интересный разсказъ далъ королю больше, чѣмъ онъ, очевидно, могъ ожидать и, подстрекнувъ въ немъ любопытство, довелъ его до страстнаго влеченія. Заинтересованный, король хочетъ знать уже всѣ мелочи Харибды до самаго дна. И хотя онъ только что слышалъ о препятствіяхъ и возможныхъ несчастіяхъ, онъ глухъ къ нимъ вполнѣ. Не надѣясь на рыцарей и не теряя времени, онъ прямо обращается къ пажу и вмѣстѣ съ кубкомъ обѣщаетъ ему драгоцѣнный перстень, если онъ снова бросится въ глубину и принесетъ ему извѣстіе о томъ, что увидитъ на днѣ.

Напрасная надежда! Отъ его предложенія легко можно было отказаться. Мѣря, такъ сказать, на свой аршинъ, повелитель чрезвычайно плохо понималъ высокую душу героя. Не корыстолюбіе руководило имъ прежде, а побужденія идеальныя: затронутая рыцарская честь. На золотой кубокъ онъ смотрѣлъ, какъ на символъ. Честь другихъ онъ спасъ. Собственное его мужество также не нуждалось ни въ какихъ новыхъ доказательствахъ: онъ сдѣлалъ то, на что не рѣшался ни одинъ рыцарь. Чтобы побудить на повтореніе подвига, требовался другой мотивъ, болѣе сильный, который бы превосходилъ всѣ матеріальныя сокровища короля, и, по своей идеальности и близости къ пажу, заставилъ его забыть всѣ опасности и высказанное имъ предостереженіе, чтобы человѣкъ не искушалъ высшія силы, слѣдовательно, побѣдилъ въ немъ даже религіозное чувство. На бѣду, такой мотивъ нашелся: обстоятельства подставили его.

XXIV. За пажа вступается, пока дѣло не приняло несчастнаго исхода, свидѣтельница сцены, дочь короля. Смѣлое дѣло и нѣжный взглядъ юнаго героя, видно, воспламенили ея доброе чистое сердце. Въ ея сознаніи онъ становится выше всѣхъ, видѣвшихъ его, мужчинъ: естественно желаніе спасти его отъ неминуемой гибели. Она обращается къ отцу съ ласкающейся улыбкой и настойчиво. Его желаніе называетъ прямо жестокой игрой: возвышая подвигъ пажа, тонко, какъ бы мимоходомъ, затрогиваетъ честолюбіе рыцарей: никто де еще не совершилъ подобнаго дѣла, и пусть рыцари превзойдутъ оруженосца. Смыслъ просьбы ясенъ: отецъ во всякомъ случаѣ долженъ оставить пажа въ покоѣ.

XXV. Но такой способъ ходатайства царевны, помимо и противъ ея воли, приблизилъ роковую развязку: онъ выдалъ ея тайну — вспыхнувшую въ ней любовь къ пажу. Король, едва догадался, пользуется этимъ средствомъ. Обѣщаетъ пажу, буде онъ повторитъ подвигъ, нынѣ же поставить его первымъ изъ рыцарей и отдать ему руку своей дочери.

> И будешь здѣсь рыцарь любимѣйшій мой...
> И дочь моя, нынѣ твоя предо мною
> Заступница, будетъ твоею женою,

говоритъ онъ ему.

Предложеніе неожиданное и, какъ, повидимому, ни странно, совершенно въ духѣ рыцарства, и вполнѣ гармонируетъ съ страстнымъ характеромъ короля, возбужденное любопытство котораго едва ли и можно выразить яснѣе. Тѣмъ не менѣе отъ большинства нѣмецкихъ комментаторовъ за это предложеніе достаются королю самыя рѣзкія порицанія: укоряютъ его въ грубости, суровости, даже жестокости. Ихъ мнѣніе должно принять съ большими ограниченіями. Король, по замыслу поэта, безспорно, противоположенъ пажу, все же не до той крайней степени, до какой довели критики. Ихъ король — чистая фурія, личность неестественная, дѣланная фиктивная. Противополагать воплощенное зло воплощенному добру было въ обычаѣ однихъ ложно-классиковъ. Шиллеръ же держался иного мнѣнія. „Если я, — говорилъ онъ еще въ предисловіи къ „Разбойникамъ", — задался мыслію представить человѣка во всей его полнотѣ, то долженъ указывать и на хорошія его стороны, которыхъ не лишенъ и самый отъявленный злодѣй... Не можетъ быть предметомъ искусства человѣкъ, который есть одно зло: онъ не привлечетъ къ себѣ вниманіе читателя, въ немъ будетъ только сила отталкивающая: непрочтенными останутся его рѣчи". Поэтому, при всей любви Шиллера къ контрастамъ, его лица, несмотря на ихъ идеализированность, всегда похожи на дѣйствительныхъ, возможны. Ближе къ правдѣ сравнить короля съ шекспировскимъ Лиромъ. Подобно ему, впечатлительный, живой, причудливый, избалованный низкопоклонствомъ „боязливой" толпы, неразборчивый въ средствахъ, безъ строгаго контроля надъ своими дѣйствіями, онъ привыкъ безотчетно исполнять всѣ свои капризы, доставлять минутныя щекотанія своему

эгоизму, слушаться только голоса своихъ прихотей, едва ли подчасъ хорошо сознавая, какъ жестоко его требованіе, его необдуманность, страстность, любовь къ торжественности и эффектамъ. Ниоткуда не видно, что онъ желалъ разрушить счастье дочери: или, не одобряя ея выборъ, сознательно хотѣлъ погубить ея пажа. Его предложеніе скорѣе вытекало изъ желанія, чтобы пажъ предъ всѣми придворными показалъ себя, дѣйствительно ли стоитъ онъ руки королевской дочери. Первая удача казалась случайной. Что не увлекло его въ бездну, или не разбило о скалы, что онъ очутился на утесѣ и нашелъ тамъ кубокъ, что не схватило его какое-нибудь чудовище, и потокъ вынесъ его, едва живого отъ страха, на поверхность пучины вмѣстѣ съ кубкомъ, — это не было его личной заслугой: ему помогала какая-то посторонняя сила. Второй подвигъ долженъ подтвердить первый, показать, что пажъ можетъ сдѣлать это и не по милости благопріятствующей судьбы, показать себя дѣйствительно храбрѣйшимъ, словомъ — такимъ, который въ состояніи взять руку царевны съ бою, послѣ побѣды въ жаркомъ сраженьи.

XXVI. Что же юноша? Онъ слышитъ и видитъ, о чемъ прежде не смѣлъ и мечтать. Слышитъ предложеніе короля, смотритъ на царевну, которая предъ тѣмъ, въ удивленіи къ его подвигу, съ такимъ чувствомъ просила за него своего отца, а теперь назначена призомъ... То дѣвственно-счастливымъ румянцемъ зардѣется она — въ радостномъ трепетѣ отъ выполненія таившагося въ сердцѣ чистаго желанія, то моментально смертельная блѣдность покроетъ ея щеки — при ужасной мысли о почти неизбѣжной гибели ею любимаго существа. Она потупила взоръ... Ясно, ея сердце бьется въ любви къ нему: въ ея любви онъ увѣренъ: и ему ли, мощному юношѣ, бывавшему герою, рыцарю въ душѣ, малодушно устоять теперь, показать, что онъ не достоинъ ея? Ему ли помнить о прежнихъ, испытанныхъ имъ, страхахъ и о своихъ предостереженіяхъ. И неужели, отказавшись, отравить всю свою жизнь и жизнь любимаго существа?! Нѣтъ, если ужъ онъ ставилъ жизнь на карту ради чести, то какъ удержаться ему, когда къ чести присоединилась еще любовь, — любовь самая пылкая, возвышенная!...

Любовь, по выраженію Шиллера, не въ состояніи ни совѣтовать человѣку, ни сражаться вмѣстѣ съ нимъ, ни

исполнять за него какую бы то ни было другую работу; но она можетъ воспитать въ немъ героя, возбуждать его на подвиги, надѣлить его силою и энергіею для всего, чѣмъ онъ долженъ быть". Она — сила влекущая, обаятельная. Подъ ея вліяніемъ для любимаго существа человѣкъ готовъ отважиться на все, идти наперекоръ естественнымъ инстинктамъ, даже голосу совѣсти, рѣшиться на гигантское самопожертвованіе, которое въ холодную пору счелъ бы безуміемъ. Во времена же рыцарства любовь къ женщинѣ служила однимъ изъ принциповъ жизни. Рыцарскіе романы и кодексы прямо утверждали: „въ женщинѣ все благо и счастье міра"; „кто хочетъ жить достойно, долженъ отдать себя женщинѣ". Съ ранняго дѣтства внушалось рыцарю, что „онъ долженъ выбрать себѣ благородную госпожу, которая могла бы руководить его своими совѣтами и помогать ему, а онъ обязанъ вѣрно служить ей и непремѣнно любить ее". „Еще мальчикомъ слышалъ я, — говоритъ о себѣ одинъ изъ штирійскихъ рыцарей, — какъ безпрестанно вокругъ меня говорили о женщинахъ и расточали имъ похвалы, и тогда же рѣшился я служить имъ, такъ какъ только ихъ вниманіе можетъ дать человѣку достоинство, отраду, счастіе". И эти слова не были фразой. „Герои среднихъ вѣковъ, — характеризуетъ ихъ Шиллеръ, — жертвовали ради мечты (которую принимали за мудрость; и которая дѣйствительно была для нихъ мудростью) своею кровію, жизнію и имуществомъ". Во имя любви они обязательно совершали всевозможные подвиги и похожденія.

Нашъ пажъ — ихъ яркій представитель. Естественно, лишь убѣдился онъ въ любви къ нему царевны, какъ „въ немъ жизнью небесной душа зажжена": внушенія разсудка оказались безсильны, забыта опасность, ужасы, предостереженія: въ глазахъ — смѣлость; нѣтъ охоты къ дальнѣйшимъ отлагательствамъ — до того ли ему теперь! Онъ ничего не видитъ, кромѣ обожаемаго существа, и, охваченный одной мыслію, однимъ чувствомъ, въ порывѣ аффекта, не дождавшись благопріятнаго момента отлива,

На жизнь и погибель онъ бросился въ волны...

XXVII. Исходъ ясенъ, хоть и не говори о немъ поэтъ. Побѣдить ли тому, кто предпочитаетъ земное небесному, сознательно и безъ предосторожностей вступаетъ въ борьбу

съ высшей силой? Было бы совершенно невѣроятно возвращеніе его по пути, какой предъ тѣмъ имъ самимъ признанъ непреодолимымъ и какъ бы преступнымъ. И вотъ, слышится приливъ и отливъ, а юноши не видно... Поэтъ на этомъ и останавливается. Давая понять всю необходимость погибели героя, онъ ни однимъ словомъ не промолвился о ней прямо, не рисуетъ этого несчастія, потому что, по его мнѣнію, патетично и достойно художественнаго изображенія „исключительно сопротивленіе страданію...; само же страданіе никогда не составляетъ конечной цѣли изображенія и никогда не можетъ быть непосредственнымъ источникомъ удовольствія, доставляемаго намъ трагическими предметами". Тѣмъ не менѣе мысль о погибели, хотя прямо и не означенной, дѣйствуетъ на читателя болѣзненно. Шиллеръ безподобно смягчаетъ это грустное впечатлѣніе приложеніемъ своей теоріи о патетичности сопротивленія страданію. Онъ упоминаетъ о любящемъ нѣжномъ взглядѣ сверху — чьемъ? очевидно, царевны. Она одна, полная участія и горя, какъ Текла въ „Валленштейнѣ" или Навзикая въ „Одиссеѣ", могла послать герою въ качествѣ какъ бы награды подобный нѣжный взглядъ, который, при всемъ безсиліи извлечь оттуда юношу, былъ свѣтлымъ лучомъ среди мрака, такъ сказать, пріятнымъ звукомъ среди ужаснаго рева пучины. Благодаря ему, стихотвореніе уничтожаетъ въ нашемъ сердцѣ всякій диссонансъ: несмотря на то, что страстное увлеченіе, приведшее героя къ гибели, бросаетъ нѣкоторую тѣнь на самую его личность, всемогущество борющейся любви теперь примиряетъ насъ съ отчаяннымъ рискомъ юноши и приближаетъ обоихъ — и пажа и царевну — къ нашему сердцу. Можно считать юношу счастливымъ, что онъ, въ цвѣтѣ силъ и чувствъ, пожертвовалъ жизнію за такое существо: разъединенные, душой они соединены навсегда. Пусть внизу морскія волны держатъ въ себѣ пажа и, какъ греческій хоръ, бурно ропщутъ на заблужденіе юноши и короля; вверху, на скалѣ, точно божественный ликъ ангела, неподвижно стоитъ чистый образъ царевны, и своимъ опущеннымъ книзу мягкимъ взглядомъ связываетъ міръ нижній и верхній, подземный и надземный...

Прекраснѣе, даже величественнѣе едва ли и возможно окончить эту повѣсть: въ заключеніи въ противоположность рас-

ладу нравственныхъ принциповъ, такъ много эстетическаго. Нравственная оцѣнка, давая душевному состоянію иное, иногда обратное направленіе, не всегда идетъ рука объ руку съ эстетической: а „потому если при оцѣнкѣ нравственной чувствуемъ себя сдерживаемыми и стѣсненными, то при оцѣнкѣ эстетической мы ощущаемъ внутренній просторъ, подъемъ свободы человѣческаго духа" (Шиллеръ, II, 675).

Дм. Цвѣтаевъ.

Перчатка.

I. Въ первой строфѣ, составляющей какъ бы вступленіе къ послѣдующему, авторъ ведетъ читателя на мѣсто дѣйствія, во Францію, ко двору Франциска I (1515—1547). Король сидѣлъ предъ своимъ звѣринцемъ, около него высшіе государственные сановники — герцоги, графы, рыцари, за нимъ, на высокомъ балконѣ, точно вѣнецъ, прекрасный кругъ придворныхъ дамъ. Ожидали боя королевскихъ звѣрей.

II—IV. Ознакомивъ съ мѣстомъ, временемъ и зрителями происшествія, поэтъ изображаетъ появленіе боевыхъ звѣрей, при чемъ надѣляетъ ихъ такими характеристическими, соотвѣтствующими дѣйствительнымъ, чертами, что каждый изъ выступающихъ словно живой выростаетъ передъ нами

II. Выпущенный на арену, по данному Францискомъ знаку, громадный левъ, какъ и слѣдуетъ царю звѣрей, является съ внушительнымъ, поистинѣ царскимъ видомъ и достоинствомъ. Выходитъ молча, спокойно, не торопясь и увѣренно, точно сознавая свои могучія силы; съ протяжнымъ густымъ воемъ оглядывается кругомъ и, не видя ни одного животнаго, невозмутимо-спокойно ложится. Весь его видъ, весь его образъ дѣйствій такъ и выдаетъ въ немъ дѣйствительнаго царя мрачныхъ лѣсовъ, повелителя, который не знаетъ страха, не знаетъ, что значитъ отступать, поступаться, молить. „Этимъ медленнымъ выступаніемъ, этимъ спокойнымъ и нѣмымъ озираніемъ и тѣмъ, какъ онъ величественно ложится, превосходно обрисованъ свободный отъ заботъ, невозмутимый нравъ, которымъ левъ отличается отъ природы остальныхъ животныхъ семейства кошекъ, живо представлена его необычайная неустрашимость, не свойственная ни одному

изъ другихъ звѣрей въ такой высокой степени, что, вмѣстѣ съ формой изложенія, сообщаетъ картинѣ поразительную наглядность“.

III. Повторяется знакъ короля, и выпущенъ тигръ, звѣрь иного разряда. Въ противоположность мощно-спокойному, флегматичному льву тигръ сразу же обнаруживаетъ свою необычайную дикость, свой холерическій, неуживчивый, но и доступный страху нравъ. Быстро, легкимъ и гибкимъ прыжкомъ выскакиваетъ онъ на открытую арену и, усмотрѣвъ льва, громко заревѣлъ. Привыкнувъ во всемъ видѣть себѣ жертву, кровожадный тиранъ по природѣ, которому однако свойственна ярость, а не смѣлое, безбоязненное мужество, въ лютой дикости выкручиваетъ кругъ, бьетъ себя своимъ грознымъ хвостомъ, вытягиваетъ свой алчный до крови языкъ, точно хочетъ вступить съ нимъ въ бой. Невозмутимое спокойствіе льва тѣмъ не менѣе сдерживаетъ кровожадность тигра въ границахъ, и онъ, какъ бы какая большая кошка крадется, боязливо и коварно, съ яростнымъ рычаніемъ обходитъ льва и, чувствуя недостатокъ силъ, но и не желая уронить своего достоинства, ворча ложится съ нимъ рядомъ.

IV. Король даетъ знакъ въ третій разъ — и очутились на сценѣ два леопарда. Уже по ихъ, какъ стрѣла, быстрому скачку можно видѣть рѣзко выдѣляющее ихъ изъ породы кошекъ проворство, подвижность корпуса, ловкость, любовь къ свободѣ, ихъ злобу и неудовольствіе. Тотчасъ смѣло и жадно нападаютъ они на тигра; но этотъ хватаетъ ихъ яростными лапами, и едва было завязалась борьба, подымается съ грознымъ рычаніемъ левъ, и бой прервался. Когда мощный царь мрачныхъ лѣсовъ заговорилъ, когда раздался „голосъ пустыни и лѣсовъ“, въ паническомъ страхѣ молчатъ всѣ другія существа. Невольно они пятятся назадъ, становятся въ кружеченьку и ложатся, очевидно, крайне недовольныя помѣхой. Это — не миръ, а перемиріе. Хотя и стоитъ левъ, будто въ ожиданіи наказать нарушителя, тигръ и леопарды съ нетерпѣніемъ ждутъ перваго удобнаго мгновенія, чтобы броситься въ общую, роковую свалку, представился бы только поводъ.

V—VI. Вдругъ, совершенно неожиданно и какъ бы случайно, прямо между свирѣпымъ тигромъ и грознымъ львомъ,

съ балкона, гдѣ сидѣли зрители, къ общему недоумѣнію падаетъ женская перчатка. Тотчасъ же оказывается, что это и не пустая случайность, а сдѣлано съ ехиднымъ намѣреніемъ. Одна изъ дамъ, Кунигунда, насмѣшливо предлагаетъ своему рыцарю де-Лоржу достать ей ея перчатку и тѣмъ на самомъ дѣлѣ представить несомнѣнное доказательство своихъ, часто повторяемыхъ имъ, увѣреній въ любви къ ней.

Требованіе — прекрасное, почти безумное. „Для Кунигунды бои звѣрей еще не достаточно страшенъ. Въ ея требованіи проскальзываетъ не столько желаніе получить неопровержимое доказательство въ любви къ ней своего рыцаря, сколько стремленіе блеснуть предъ собраніемъ своей надъ нимъ властью и усилить ужасъ устроеннаго королемъ представленія. Чтобы достигнуть своей цѣли, она не дорожитъ даже своимъ возлюбленнымъ, который, конечно, всего менѣе можетъ отказать ея просьбѣ, а это говоритъ за нравственную дикость и испорченность ея сердца, очень недалекую отъ жестокости дикихъ звѣрей и достойную должной кары. Конечно, въ тѣ времена любовныя ухаживанія и испытанія въ любви мало походили на наши. Тогда, когда физической силѣ придавали больше значенія, чѣмъ теперь, благосклонность женщинъ пріобрѣталась и удерживалась выдающейся мощью и неустрашимостью (доказательство тому — сватовство Зигфрида и Гунтера, Геттеля и Гервига, Гамурета и Перцеваля). Турниры въ средніе вѣка были, по преимуществу, мѣстомъ, гдѣ рыцарь пріобрѣталъ сердце дамы... Но Кунигунда безчеловѣчно посылаетъ своего рыцаря не на сраженіе съ людьми, но на неравный бой съ дикими звѣрями". Подобное порученіе могла дать одна воплощенная кокетка — существо, способное даже высокое чувство любви обратить въ предметъ забавы и искренней преданностью питать свое мелкое тщеславіе.

Всю ничтожность мотивовъ, всю опасность и унизительность борьбы ясно видѣлъ и де-Лоржъ, и все же не счелъ возможнымъ отказаться: предложеніемъ подвергнуто сомнѣнію его мужество, затронута рыцарская честь. Чтобы спасти ее отъ оскорбительныхъ подозрѣній, немедля встаетъ онъ съ своего мѣста, молча — теперь не до словъ — безъ признаковъ смущенія, твердо сходитъ къ разъяреннымъ и готовымъ

къ бою страшнымъ животнымъ, изъ которыхъ каждый могъ растерзать его: смѣло поднимаетъ перчатку, ни однимъ движеніемъ не обнаруживаетъ радости о счастливомъ исходѣ предпріятія и съ прежнимъ невозмутимо-величавымъ спокойствіемъ возвращается назадъ.

Его безусловное мужество и непоколебимая честность ясны, какъ день. Онъ — мужъ, передъ нравственной мощью котораго стушевались даже сами дикіе звѣри: застигнутые врасплохъ, они не нашлись, какъ имъ поступить, и оставили его въ покоѣ. Свидѣтели подвига, рыцари и дамы, опомнившись отъ страха, всѣ въ удивленіи наперерывъ громко привѣтствуютъ его. Сама Кунигунда, тщеславіе которой было удовлетворено, и ей не оставалось ни малѣйшей возможности сомнѣнію послѣ такъ блестяще доказанной преданности, — сама она, дама сердца, въ награду даритъ его нѣжно-любящимъ и еще болѣе обѣщающимъ взглядомъ. Таково на всѣхъ впечатлѣніе отъ его отважнаго поступка! Герой на верху славы, и полное счастіе отъ него уже близко.

А онъ? Въ благородномъ гнѣвѣ за попранное въ немъ рыцарское достоинство, де-Лоржъ, не обращая вниманія на любезные и многозначительные взгляды красавицы, холодно смотритъ на нее, презрительно бросаетъ ей въ лицо перчатку и съ словами: „въ благодарности я не нуждаюсь!" отходитъ отъ нея, какъ предъ тѣмъ отошелъ отъ звѣрей, оставивъ ее съ ея перчаткой. Въ сознаніи своихъ собственныхъ силъ онъ довольствуется одной моральной побѣдой — тѣмъ, что „ему раздалась хвала изъ каждыхъ устъ", и лицемѣрную любовь предаетъ публичному позору. Этимъ онъ отомстилъ за свое униженіе.

Какъ въ „Кубкѣ" мы не поняли бы всѣхъ сторонъ подвига юноши, если бы поэтъ не примѣнилъ своего взгляда на зависимость великаго дѣла отъ трудностей его выполненія и не сообщилъ намъ о всѣхъ ужасахъ Харибды: такъ точно и здѣсь потому только и открывается намъ возможность оцѣнить поступокъ де-Лоржа, что, благодаря предшествовавшему изображенію выхода животныхъ, знаемъ, какой опасности подвергала дама своего рыцаря. Каждая черта изображенныхъ животныхъ образовъ непремѣнно возвышаетъ какую-нибудь черту нравственнаго облика рыцарской неустрашимости и самопожертвованія. Его расправа съ Куни-

гундой, которая безъ того могла бы показаться грубою и несправедливою, теперь является совершенно заслуженной. Все произведеніе построено такъ, что первая половина состоитъ какъ бы изъ трехъ актовъ небольшой звѣриной драмы: a) выхода льва, b) выхода тигра и c) выхода леопардовъ, а вторая изъ трехъ актовъ уже человѣческой драмы: a) насмѣшливаго обращенія Кунигунды, b) выполненія де-Лоржемъ порученія и c) расправы рыцаря съ дамой, при чемъ бросаніе перчатки составляетъ между ними какъ бы непосредствующее звено, но при этомъ каждый изъ предшествующихъ актовъ способствуетъ къ должному пониманію послѣдующихъ. Такимъ образомъ роль первой половины чисто служебная. То же обстоятельство, что вторая часть начата, когда не кончена первая драма, насъ нимало не смущаетъ; напротивъ, намъ несравненно пріятнѣе и интереснѣе видѣть, что борьба изъ сферы животныхъ переходитъ въ сферу человѣческую, съ почвы матеріальной — на почву чисто нравственную. Чего стоитъ одно то, что происходитъ въ душѣ героя! Мы опасаемся за его судьбу, и, однако, наша боязнь должна уступить удивленію его мужественной рѣшимости, съ которой онъ совершаетъ дѣло. И затѣмъ, когда мы настроены на веселый ладъ при видѣ удачи предпріятія, при видѣ похвалъ, какія раздаются герою со всѣхъ сторонъ, когда сама Кунигунда даритъ его самымъ нѣжнымъ взглядомъ: храбрый рыцарь совершаетъ еще болѣе внушительное дѣло — отвергаетъ любовный взглядъ да съ корнемъ вырываетъ и самую любовь. Въ моментъ предъявленія Кунигундой своего требованія, у него, конечно, не было сознательнаго желанія такъ наказать ее за ея безсердечность: тогда въ немъ должно было говорить чувство оскорбленнаго достоинства, желаніе на дѣлѣ доказать все ничтожество сомнѣній въ его мужествѣ и честности. Справедливый гнѣвъ не могъ быть силенъ и когда де-Лоржъ смотрѣлъ въ лицо смерти. Но теперь, едва побѣждена опасность, негодованіе выступаетъ во всемъ напряженіи — и въ этомъ чувствѣ онъ бросаетъ ей въ лицо перчатку.

Неожиданность развязки — полная. Трагическое внезапно разбилось о комическое: потому что смѣлое дѣло героя превратилось въ совершенно противоположное той цѣли, для которой, повидимому, оно предпринималось. Тѣмъ не менѣе этотъ переходъ и исходъ находимъ вполнѣ естественнымъ:

зазнавшееся лицо требовало должнаго наказанія. Въ свою очередь и пріятное чувство, испытываемое при видѣ удовлетворенія, остается недолго, отступаетъ предъ другимъ, болѣе здоровымъ. Въ той же мѣрѣ, въ какой поэтъ возстановилъ насъ противъ Кунигунды, онъ привлекъ всѣ наши симпатіи на сторону де-Лоржа. Мы чувствуемъ высокое уваженіе къ присущей силѣ героя, съ которою онъ, отказываясь отъ мишурнаго, временнаго и условнаго, входитъ въ святилище нравственнаго благородства, какъ бы въ область неизмѣннаго, абсолютнаго. Не тотъ еще высокъ, кто при опасности не чувствуетъ страха — его мужество можетъ напоминать безумную смѣлость или излишнюю увѣренность въ избыткѣ силъ; не продолжительно реноме и того, кто свои подвиги приноситъ на службу наслажденіямъ, или не сумѣетъ выйти изъ заколдованнаго круга обычаевъ среды — будутъ поняты его мотивы, минуютъ обычаи, минуетъ и слава; но постоянно симпатиченъ тотъ, того образъ стоитъ, какъ скала, кто всѣмъ жертвуетъ неизмѣнному, всегда уважаемому! И де-Лоржу, несмотря на доказанное мужество, многаго бы недоставало, если бы онъ не сбросилъ съ себя прежнихъ оковъ. Своимъ же разрывомъ де-Лоржъ доказалъ, что онъ натура мощная, готовая, чтобы отстоять свое нравственное достоинство, жертвовать, когда то нужно, своею жизнію, ея благами и обычаями — чувства и поступки людей малодушныхъ и узкихъ совершенно иные. Въ его лицѣ виденъ не столько рыцарь, сколько уже мужчина, человѣкъ, — въ немъ рыцарство возвышается до человѣчности. Съ отрицательнымъ результатомъ въ концѣ концовъ соединяется такимъ образомъ и положительный.

Дм. Цвѣтаевъ.

„Кубокъ“ и „Перчатка“ въ переводѣ Жуковскаго.

Въ 1829 же году Жуковскій перевелъ балладу Шиллера „Кубокъ“ (собственно: „Водолазъ“ — Der Taucher). Размѣръ соблюденъ точно. Впрочемъ, у Шиллера второй стихъ каждой строфы — 3-стопный и четвертый — 4-стопный, у Жуковскаго и второй и четвертый стихъ — 3-стопные. Шиллеръ стремился къ разнообразію ритма; Жуковскій — къ тихой плавности стиха; даже въ этой мелочи сказы-

ляется различіе индивидуальности автора и переводчика: ритмъ — мужественъ, мелодія — женственна.

Переводъ баллады — верхъ совершенства по силѣ и точности выраженія. Описаніе водоворота, самое сильное по картинности мѣсто баллады, нисколько не потеряло въ переводѣ: У Шиллера.

Und wie tritt an des Felsen Hang
Und blickt in den Schlund hinab.
Die Wasser, die sie hinunter schlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoosse.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohn' Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt,
Und schwarz aus dem weissen Schaum
Klafft hinunter ein gähnender Spalt,
Grundlos, als ging's in den Höllenraum,
Und reissend sieht man die brandenden Wogen
Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Жуковскій:

И онъ подступаетъ къ наклону скалы
И взоръ устремилъ въ глубину...
Изъ чрева пучины бѣжали валы,
Шумя и гремя, въ вышину;
И волны спирались, и пѣна кипѣла:
Какъ будто гроза, наступая, ревѣла.

И воетъ, и свищетъ, и бьетъ, и шипитъ,
Какъ влага, мѣшаясь съ огнемъ,
Волна за волною; и къ небу летитъ
Дымящимся пѣна столбомъ;
Пучина бунтуетъ, пучина клокочетъ...
Не море-ль изъ моря извергнуться хочетъ?

И вдругъ, успокоясь, волненье легло;
И грозно изъ пѣны сѣдой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратной толпой
Помчались во глубь истощеннаго чрева;
И глубь застонала отъ грома и рева.

Красиво переданъ въ подлинникѣ трепетъ ожиданія толпы, глядящей вослѣдъ водолазу. Шиллеръ:

Und hohler und hohler hört man's heulen,
Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem
Weilen.

Жуковскій:

Все тише и тише на днѣ ея (пучины) воетъ...
И сердце у всѣхъ ожиданіемъ поетъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переводъ сильнѣе подлинника. Такъ гибель судовъ въ водоворотѣ у Жуковскаго картиннѣе чѣмъ у Шиллера. У Шиллера (одиннадцатая строфа):

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefasst
Schoss gäh in die Tiefe hinab;
Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast
Hervor aus dem Alles verschlingenden Grab.

То-есть:

Уже не одно судно, подхваченное водоворотомъ,
летѣло стремглавъ въ глубину;
раздробленные киль и мачта только и спасались
изъ всепоглощающей могилы.

Жуковскій:

Не мало судовъ, закруженныхъ волной,
Глотала ея глубина:
Всѣ мелкой назадъ вылетали щепой
Съ ея неприступнаго дна.

Не передана сентенція, ставшая поговоркой. У Шиллера:

Und der Mensch versuche die Götter nicht,
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.

То-есть:

Человѣкъ не долженъ искушать боговъ
и никогда, никогда да не глядитъ на то,
что они милостиво покрыли мракомъ и ужасомъ.

По мысли автора, милосердные боги скрываютъ отъ человѣка только тѣ тайны, познаніе которыхъ наполнило бы ихъ сердце ужасомъ (такова мысль и другой баллады Шиллера: „Завѣшанная статуя въ Саисѣ"). По переводу же Жуковскаго выходитъ, что боги окружили человѣка тайнами

которыя всѣ неразрѣшимы, что боги требуютъ смиренія (о которомъ — ни слова у Шиллера). Жуковскій перевелъ вышеприведенную сентенцію такъ:

И смертный предъ Богомъ смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, Имъ мудро отъ насъ сокровенной.

Неточная передача шиллеровскихъ стиховъ тѣмъ болѣе досадна, что въ нихъ заключена вся идея пьесы, отнюдь не піэтистическая, какъ выходитъ по Жуковскому: не во имя страха должны люди избѣгать нѣкоторыхъ тайниковъ жизни, а во имя собственнаго своего блага: этого оттѣнка переводчикъ въ настроеніи баллады не подмѣтилъ. Зато ни одна изъ балладъ Жуковскаго не отличается такой силой красокъ, какъ „Кубокъ". Кромѣ приведеннаго описанія водоворота, укажемъ на описаніе чудовищъ морской пучины (отъ строфы девятнадцатой по двадцать-вторую). Переводъ подобныхъ мѣстъ такъ безукоризненъ, что „Кубокъ" можетъ считаться лучшимъ переводомъ Жуковскаго, среди всѣхъ остальныхъ, и шиллеровскихъ и иныхъ балладъ.

Къ 1829 г. относится переводъ другой баллады Шиллера — „Перчатка" (Der Handschuh), написанная въ подлинникѣ свободнымъ, неравностопнымъ амфибрахіемъ вперемежку съ ямбами. Жуковскій перевелъ ее свободнымъ ямбомъ.

Въ этой балладѣ Жуковскій позволяетъ себѣ отступленія въ числѣ стиховъ, и потому лаконизмъ подлинника остается невоспроизведеннымъ въ переводѣ. Начало, напримѣръ, у Шиллера кратко и сильно:

Vor seinem Löwengarten,
Das Kampfspiel zu erwarten,
Sass König Franz,
Und um ihn die grossen der Krone,
Und rings auf hohem Balcone
Die Damen in schönem Kranz.

У Жуковскаго близко къ подлиннику, но растянуто и почти водянисто:

Передъ своимъ звѣринцемъ,
Съ баронами, съ наслѣднымъ принцемъ,
Король Францискъ сидѣлъ;
Съ высокаго балкона онъ глядѣлъ

На поприще, сраженья ожидая:
За королемъ, обворожая
Цвѣтущей прелестію взглядъ,
Придворныхъ дамъ являлся пышный рядъ".

Съ такимъ же многословіемъ, хотя точно передано изображеніе звѣрнаго боя, изложенное у Шиллера краткимъ и сильнымъ стихомъ. Слабо переданъ конецъ баллады (благодаря некстати сдѣланному enjambement). Шиллеръ:

Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht:
„Den Dank, Dame, begehr' ich nicht",
Und verlässt sie zur selben Stunde.

Тоесть:

И онъ бросаетъ ей перчатку въ лицо:
„вашей благодарности, дама, мнѣ не надо!"
И тотчасъ же отходитъ отъ нея.

Жуковскій:

. . . . Въ лицо перчатку ей
Онъ бросилъ и сказалъ: „не требую награды!"

Этотъ заключительный, длинный шестистопный ямбъ совсѣмъ не у мѣста: у Шиллера стихъ энергичный и короткій.

Поликратовъ перстень.

Стихотвореніе состоитъ изъ 2 сценъ: одна изъ 13 строфъ, другая изъ остальныхъ 3.

I. Поэтъ прежде всего знакомитъ насъ съ мѣстомъ, гдѣ происходитъ большая часть событія, и дѣйствующими лицами. На дворцовой кровлѣ, самомъ удобномъ пунктѣ для осмотра окрестностей, откуда виденъ Самосъ, пристань и облегающее море, стояли два друга — Поликратъ, единодержавный повелитель Самоса, и пріѣхавшій къ нему въ гости Амазисъ, царь Египта. При взглядѣ на подчиненный и роскошно расцвѣтающій Самосъ, Поликратъ, вышедшій изъ низшихъ слоевъ общества, невольно испытываетъ сладкое чувство власти, и, не зная большаго счастія, какъ быть и сознавать себя повелителемъ, не безъ тщеславія указываетъ гостю на свои владѣнія и вынуждаетъ его, чтобы онъ призналъ его счастливымъ. Очень можетъ статься, что они оба только-что разсуждали объ этомъ вопросѣ, и теперь Поликратъ лишь пользуется удобнымъ случаемъ, чтобы при видѣ

влатѣнія, какъ фактическаго подтвержденія его словъ, лучше заставить своего упорствующаго собесѣдника согласиться съ нимъ.

II—X. Амазисъ, между тѣмъ, не соглашается, держится противоположнаго взгляда. Не отрицая того, что Поликратъ испыталъ благоволеніе боговъ, что въ жизни ему были однѣ удачи, онъ, однако, не находитъ возможнымъ признать такое счастіе совершеннымъ, постояннымъ, полнымъ, и, въ подтвержденіе своего мнѣнія, приводитъ, одно за другимъ, цѣлый рядъ различныхъ доказательствъ.

II. Пусть самосцы, прежде равные Поликрату, въ настоящее время подчинены его скипетру: но вѣдь это домашнее торжество еще сомнительное: одинъ изъ соперниковъ не умеръ — и въ немъ врагъ счастія и возможный мститель за себя и покоренныхъ. Таковъ первый, приведенный Амазисомъ, доводъ.

III. Въ это время, прежде чѣмъ успѣлъ Амазисъ перейти къ другимъ своимъ доказательствамъ, представляется посланный изъ Милета полководцемъ Полидоромъ гонецъ, съ радостнымъ извѣстіемъ о погибели соперника; гонецъ, къ ужасу обоихъ властителей, изъ черной чаши вынимаетъ еще кровавую, хорошо имъ знакомую голову, очевидно, только-что предъ тѣмъ убитаго врага.

Не вѣрить вѣстнику нѣтъ основаній. Поликратъ можетъ считать себя свободнымъ отъ всякихъ соперниковъ: его господство внутри владѣній обезпечено. Что же скажетъ Амазисъ, когда такъ быстро и наглядно опровергнутъ первый его доводъ? Не оставитъ ли въ сторонѣ свои сомнѣнія и не поспѣшитъ ли согласиться съ Поликратомъ?

V. Нѣтъ, въ страхѣ отступаетъ онъ назадъ, въ страхѣ не только физическомъ, при видѣ внезапно открытой знакомой головы, но и религіозномъ, какъ предъ знакомъ необыкновеннаго счастія, и затѣмъ, поспѣшно, немедля ни минуты, высказываетъ другое доказательство: указываетъ Поликрату на опасности его торговому флоту. Съ причудливаго моря флотъ еще не воротился, онъ можетъ погибнуть отъ волнъ, скалъ, бурь, и счастіе нарушится, довѣряться ему пока нельзя.

VI. И опять напрасны старанія Амазиса. Фактъ еще съ большею скоростію опровергаетъ его. Въ разговорѣ съ вѣстникомъ друзья, стоя въ противоположную сторону отъ моря, и не замѣтили, какъ влетѣлъ въ пристань, легкій на

поминѣ, торговый самосскій флотъ: онъ былъ полонъ чуже-земными сокровищами. Самосцы радостно привѣтствуютъ его благополучное возвращеніе, и эти крики торговаго народа долетаютъ до собесѣдниковъ еще раньше, чѣмъ Амазисъ вполнѣ высказалъ свое предположеніе, а Поликратъ понялъ что говоритъ ему другъ.

Возможность опасности удалена. Владѣніямъ Поликрата ничто не мѣшаетъ процвѣтать чрезъ широкую внѣшнюю торговлю.

VII. Сильнѣе прежняго смущенный Амазисъ еще настойчивѣе убѣждаетъ Поликрата бояться непостоянства счастія и указываетъ ему на новую опасность — отъ воинственныхъ критянъ, которые — это было извѣстно въ Самосѣ — снарядили большую экспедицію противъ Поликрата, ихъ военный флотъ на пути, уже близокъ къ самосскимъ берегамъ.

VIII. Слово не успѣло сорваться, какъ уже готова его опровергающая вѣсть. Все пришло въ движеніе, точно волны несется къ дворцу отъ кораблей... какихъ? въ интересахъ краткости, не упомянуто, но, очевидно, военныхъ своихъ, которые прибыли вмѣсто ожидаемыхъ критскихъ. Тысячи голосовъ съ радостью кричатъ о новой побѣдѣ. Внѣшній врагъ разбитъ — и кѣмъ? — не полководцами Поликрата, а морскою бурей, погубившею непріятельскій флотъ. За властителя стоитъ сама природа.

Самосъ безопасенъ, никто не грозитъ ему со-внѣ. Боги покровительствуютъ Поликрату даже безъ всякихъ стараній и заслугъ съ его стороны.

IX—XII. Какія доказательства ни были взяты изъ жизни Поликрата и его отношеній къ окружающему, разбиты. Амазисъ побѣжденъ. Онъ больше не противорѣчитъ Поликрату, торжественно называетъ его счастливымъ; но тутъ же въ своемъ религіозномъ ужасѣ, объясняетъ всю ненормальность подобнаго явленія. Египтянинъ по рожденію, но эллинъ по образованію, основаніе находитъ онъ въ греческихъ вѣрованіяхъ, точнѣе, — во всеобщемъ опытѣ, облеченномъ греками въ религіозную форму:

Ты счастливъ; но судьбины (боговъ) лестью —
Такое счастье мнится мнѣ.
Здѣсь вѣчны блага не бывали,
И никогда намъ безъ печали
Не доставалися онѣ.

Какъ на препятствіе совершенному благополучію, онъ прямо указываетъ на зависть боговъ, которые смотрятъ на него, какъ на преступленіе противъ ихъ величія, и никогда не допустятъ его; поэтому никто изъ людей вполнѣ и не пользовался имъ въ своей жизни, да, конечно, и не будетъ. Невозможность безграничнаго счастія Амазисъ обосновываетъ и ссылкой на свой собственный опытъ. Въ своей судьбѣ онъ находитъ много сходнаго съ судьбой Поликрата. И ему, какъ правителю, все удавалось; но боги покарали его въ семейной жизни: отняли у него дорогаго наслѣдника — и съ тѣхъ поръ онъ не безпокоится за свое непрерывно продолжающееся счастіе: тяжелой потерей сына высшимъ силамъ долгъ (Schuld) уплаченъ. Отсюда онъ приходитъ къ такому заключенію: Поликратъ долженъ позаботиться, чтобы умилостивить боговъ. Онъ совѣтуетъ ему обратиться къ нимъ съ усердной молитвой объ уменьшеніи ему благополучія какимъ-нибудь несчастнымъ случаемъ и тѣмъ предотвратить печальный конецъ, который обыкновенно бываетъ съ тѣми, кому все удается въ жизни. Если же боги не услышатъ его, пусть онъ самъ добровольно станетъ виновникомъ несчастія: изъ всѣхъ своихъ сокровищъ выберетъ самое драгоцѣнное и броситъ его въ море.

XIII. Замѣчательно, что теперь, когда узнана причина тревогъ Амазиса, своимъ непрерывнымъ счастіемъ поражается и самъ Поликратъ и спѣшитъ избавиться отъ него. Привыкшій къ рѣшительности и собственной иниціативѣ въ своихъ дѣйствіяхъ, онъ пользуется второй половиной совѣта: въ расчетѣ, что боги простятъ ему его счастіе, съ сожалѣніемъ, но добровольно бросаетъ въ море свой шлифованный алмазный перстень, какъ лучшую для него, знатока искусствъ, драгоцѣнность.

XIV —XVI. Удовлетвореніе дано. За будущее, казалось, бояться нечего, и въ пріятной на него надеждѣ друзья сошли съ дворцовой кровли во внутренніе покои. Напрасно! Съ перемѣной мѣста не измѣнился ходъ событій. Противъ воли счастье не покидало Поликрата.

XIV. На слѣдующее утро, едва лишь „лучъ денницы озолотилъ верхи столицы", самосскій рыбакъ приноситъ Поликрату въ даръ только-что пойманную имъ въ морѣ чудную рыбу, какой еще никому не приходилось изловить.

Добровольная почесть пріятна Поликрату, и, однако, вскорѣ оказывается, какъ много далъ бы онъ, если бы не было ея!

XV. Поваръ, которому отдана была рыба, когда сталъ разрѣзать ее, замѣтилъ въ ней наканунѣ брошенный перстень и, пораженный неожиданностью, спѣшитъ возвратить его своему господину. „Перстень, который ты носилъ, я нашелъ въ этой рыбѣ: о, безъ границъ твое счастье!“ — восклицаетъ слуга. Ничего не подозрѣвая о цѣли потери онъ и не чувствовалъ, какое, на взглядъ царственныхъ собесѣдниковъ, глубокое несчастіе кроется въ этомъ счастіи.

XVI. Въ возвращеніи перстня египетскій гость усматриваетъ несомнѣнный признакъ, что боги не удовлетворяются добровольною жертвою его друга и хотятъ его гибели. Онъ уже какъ бы предчувствуетъ приближеніе ничѣмъ неотвратимой высшей кары, и, чтобы не быть ею застигнутымъ и не погибнуть вмѣстѣ съ Поликратомъ, въ трепетѣ тотчасъ отказывается отъ дружбы и немедленно отплываетъ на готовыхъ къ тому корабляхъ, очевидно, съ намѣреніемъ никогда больше не быть на Самосѣ.

Логическій строй стихотворенія теперь ясенъ.

I. Первая сцена: на кровлѣ (I—XIII).

1. Мнѣніе Поликрата о совершенствѣ своего счастія (строфа I).
2. Сомнѣніе въ томъ Амазиса и опроверженіе его самимъ [illegible] (II—VIII):
   - А. а. Утвержденіе: напоминаніе о соперникѣ (II).
     - б. Опроверженіе: извѣстіе о смерти врага (III—IV).
   - Б. а. Утвержденіе: указаніе на опасности торговому флоту (V).
     - б. Опроверженіе: извѣстіе о благополучномъ возвращеніи флота (VI).
   - В. а. Утвержденіе: обращеніе вниманія на возможныя военныя невзгоды отъ приближающихся Критянъ (VII).
     - б. Опроверженіе: извѣстіе о побѣдѣ надъ Критянами (VIII).
3. Признаніе Амазисомъ Поликрата счастливымъ и совѣтъ [illegible] отказаться отъ счастія (IX—XII):
   - А. а. Доказательство невозможности полнаго счастія, почерпнутое изъ всеобщей исторіи (IX).
     - б. Доказательство изъ собственной жизни (X).
   - Б. Выводъ: цѣнный совѣтъ, какъ предотвратить несчастіе (XI—XII)—
     - а. или молитвой къ богамъ (XI),
     - б. или добровольнымъ выборомъ (XII).
4. Выполненіе Поликратомъ второй половины совѣта (XIII).

II. Вторая сцена: во дворцѣ (XIV—XVI).

1. Подарокъ Поликрату (XIV).
2. Возвращеніе перстня (XV).
3. Разрывъ дружбы и отъѣздъ Амазиса (XVI).

При созданіи этого произведенія Шиллеръ воспользовался Геродотомъ, хотя его знанія древнихъ языковъ не шли далѣе обыкновенныхъ, но стараніемъ и геніальною прозорливостью художника былъ вполнѣ вознагражденъ этотъ недостатокъ. Частію въ подлинникахъ, частію въ переводахъ Шиллеръ чрезвычайно внимательно изучалъ произведенія греко-римскихъ поэтовъ и историковъ, стараясь проникнуться ихъ духомъ, усвоить ихъ изящество, соразмѣрность, величіе и простоту. Геродотъ стоялъ у него рядомъ съ Гомеромъ (Hirzl. Über Schillers Beziehung zum Alterthume, Aarau, 1872).

Въ „Исторіи" Геродота, кн. III, гл. 39-43, передается:

„Когда Камбизъ отправился въ походъ на Египетъ, въ это время лакедемоняне воевали съ Самосомъ и Поликратомъ, сыномъ Эака, который овладѣлъ Самосомъ чрезъ возмущеніе. Сначала онъ раздѣлилъ государство на три части и подѣлилъ съ своими братьями, Пантагнотомъ и Силозономъ; но потомъ, убивъ одного изъ нихъ и выгнавъ младшаго, Силозона, онъ овладѣлъ всѣмъ Самосомъ. Какъ его владѣтель, онъ заключилъ дружественный союзъ съ Амазисомъ, царемъ египетскимъ, обмѣнявшись съ нимъ подарками. Въ короткое время могущество Поликрата быстро возросло, и слава о немъ распространилась по Іоніи и остальной Элладѣ: ибо куда бы онъ ни обращалъ свое оружіе, все выходило по его желанію. У него было 100 пятидесяти-весельныхъ кораблей и 1000 стрѣлковъ, онъ грабилъ и обиралъ всѣхъ безъ различія: потому что, говорилъ онъ, больше сдѣлаетъ удовольствія другу, если возвратитъ, что взялъ, чѣмъ если не возьметъ сначала. Онъ захватилъ много островов и много городовъ на материкѣ. Между прочимъ, онъ побѣдилъ въ морской битвѣ и взялъ въ плѣнъ лесбосцевъ, которые помогали милезійцамъ; они-то во время своего плѣна выкопали весь ровъ вокругъ самосской городской стѣны.

„Амазисъ зналъ о необыкновенномъ счастіи Поликрата и былъ озабоченъ этимъ; и какъ его счастіе возрастало все больше и больше, Амазисъ, написалъ слѣдующее письмо и прислалъ къ нему въ Самосъ: „Амазисъ такъ говоритъ Поликрату: пріятно узнать, что другъ и союзникъ имѣетъ успѣхъ въ своихъ дѣлахъ; но мнѣ это необыкновенное счастіе не нравится, ибо я знаю, какъ завистливы боги. Я лучше желаю

и для себя и для тѣхъ, о комъ забочусь, чтобы одни дѣла имѣли успѣхъ, другія — неудачу, и чтобы такимъ образомъ въ продолженіе всей жизни встрѣчать поперемѣнно то одно, то другое, чѣмъ быть счастливымъ во всемъ. Я не слыхалъ ни о комъ, кто, имѣя во всемъ успѣхъ, не потерпѣлъ бы подъ конецъ полнаго несчастія. Поэтому послушайся меня и сдѣлай противъ своего великаго счастія: подумай, что ты считаешь самымъ дорогимъ для себя, и потеря чего наиболѣе огорчитъ тебя, забрось это туда, чтобы оно никогда не попадало къ людямъ. Если съ этихъ поръ къ твоему счастію не будутъ примѣшиваться неудачи, то помогай себѣ предлагаемымъ мною способомъ".

„Прочитавъ это, Поликратъ понялъ, что Амазисъ далъ ему хорошій совѣтъ, и сталъ обдумывать, какая изъ его драгоцѣнностей наиболѣе огорчитъ его своей потерей. Онъ пришелъ къ такому рѣшенію. Былъ у него перстень, который онъ носилъ, изъ смарагда, обдѣланный въ золото, работы самосца Ѳеодора, сына Телекла. Итакъ, онъ рѣшилъ бросить этотъ перстень и сдѣлалъ слѣдующее: велѣлъ снарядить пятидесяти-весельный корабль, взошелъ въ него самъ и приказалъ выплыть въ открытое море. Отдалившись отъ острова, онъ снялъ съ пальца перстень и на глазахъ своихъ спутниковъ бросилъ его въ море.

„На пятый или шестой день послѣ того случилось съ нимъ слѣдующее: одинъ рыбакъ поймалъ прекрасную большую рыбу и счелъ достойнымъ подарить ее Поликрату. Съ нею онъ отправился къ дверямъ дворца и сказалъ, что желаетъ быть допущеннымъ къ Поликрату. Получивъ позволеніе, онъ поднесъ Поликрату рыбу и сказалъ: „государь, поймавъ эту рыбу, я не разсудилъ нести ее на рынокъ, хотя живу своими трудами, но счелъ ее достойною тебя и твоей власти; итакъ, приношу ее тебѣ въ подарокъ". На это Поликратъ, очень довольный, отвѣчалъ: „ты прекрасно сдѣлалъ, и вотъ тебѣ двойная благодарность за твои слова и за твой подарокъ: мы приглашаемъ тебя на пиръ". Обрадованный рыбакъ пошелъ домой. Слуги разрѣзали рыбу и нашли въ ея кишкахъ перстень Поликрата; увидавъ его, они тотчасъ же взяли и съ большою радостью принесли къ Поликрату; отдавая ему перстень, они разсказали, какъ онъ нашелся. Поликратъ подумалъ, что это дѣло божеское, написалъ въ письмѣ обо

всемъ, что дѣлалъ и что изъ этого вышло, и это письмо отослалъ въ Египетъ.

„Прочтя письмо Поликрата, Амазисъ понялъ, что человѣкъ не можетъ избавить другого человѣка отъ грозящаго ему несчастія и что не кончитъ добромъ Поликрату, ибо онъ успѣваетъ во всемъ и даже находитъ то, что бросилъ. Поэтому Амазисъ прислалъ въ Самосъ вѣстника съ объявленіемъ, что уничтожаетъ союзъ; онъ сдѣлалъ это ради того, чтобы не огорчиться за своего друга, когда на Поликрата обрушится великое и ужасное несчастье".

Далѣе съ 44-й по 60-ю гл. Геродотъ ведетъ рѣчь объ удачной осадѣ Самоса лакедемонянами и выгнанными Поликратомъ самосцами, съ 61-й по 116-ю гл. — о персахъ, а въ 117—120 главахъ снова возвращается къ Поликрату и передаетъ объ его несчастной смерти. Его погубилъ Оритъ, персидскій правитель въ малоазіатскомъ городѣ Сардахъ. Подъ мнимымъ предлогомъ, что будто бы, вслѣдствіе замысловъ на него Камбиза, онъ проситъ Поликрата взять его къ себѣ вмѣстѣ съ своими громадными сокровищами, Оритъ заманилъ его въ Сарды и, измучивъ, позорно распялъ на крестѣ. „До этого довело Поликрата его необыкновенное счастіе, какъ предсказывалъ ему египетскій царь Амазисъ", такъ заключаетъ свою повѣсть о немъ Геродотъ.

Геродотъ передаетъ, такимъ образомъ, вообще о насильственномъ захватѣ Поликратомъ единодержавной власти въ Самосѣ, массы острововъ и приморскихъ городовъ, о его дружескихъ сношеніяхъ съ Амазисомъ, о судьбѣ перстня, отказѣ Амазиса отъ союза, удачныхъ войнахъ и позорномъ концѣ.

Общность содержанія поэтическаго созданія Шиллера съ этимъ разсказомъ, кромѣ различныхъ частностей, прежде всего проглядываетъ въ одной и той же основной идеѣ. Поэтъ воплотилъ найденное имъ у Геродота, своеобразное воззрѣніе грековъ на общую всѣмъ временамъ мысль о непостоянствѣ земного счастія.

Всегда сознавали или, по крайней мѣрѣ, чувствовали, что счастіе, какъ и все земное, имѣетъ свои предѣлы, и что поэтому ни одному человѣку не свойственно полное благополучіе. Въ жизни человѣка радость мѣняется горемъ и уравновѣшивается имъ. Даже въ наши дни мы часто замѣ-

чаемъ, какъ тревожатся за того, кто быстро идетъ въ гору. Но теперь понимаютъ дѣйствительную причину опасеній. Въ счастіи человѣкъ легко способенъ забываться и не думать о зависимости; самомнѣніе, тщеславіе и гордость ослѣпляютъ его. Подобно Поликрату онъ начинаетъ считать себя какимъ-то особеннымъ избранникомъ: становится глухъ къ совѣтамъ близкихъ, начинаетъ смотрѣть на окружающее презрительно, надменно; не хочетъ знать ни дѣйствительности, ни возможныхъ опасностей, въ своей жизни мечтаетъ руководствоваться одной своей силой и волей, и при такомъ ослѣпленіи, естественно, не можетъ удержаться на прежней высотѣ. Несчастье является необходимой и полезной школой для облагороженія сердца человѣка, отрезвленія его взгляда. Человѣкъ самъ въ себѣ носитъ небо и адъ, и своимъ несчастіемъ бываетъ обязанъ чаще всего самому себѣ. Если же посылается оно свыше, то или въ наказаніе за преступленія, или для прощенія, или же, если не за вину, то для того, чтобы путемъ страданія довести человѣка до еще большаго нравственнаго совершенства и духовнаго просвѣтленія. По современному воззрѣнію, Божество — существо совершеннѣйшее, которому въ отношеніяхъ къ людямъ свойственна одна благость, благоволеніе; страданія же посылаетъ въ случаяхъ, когда они лучше, нежели само счастіе, могутъ служить средствомъ для блага людей.

Греки поняли дѣло по-своему. Не умѣя объяснить изъ психологическихъ основаній или общественныхъ отношеніи и приписывая богамъ всѣ хорошія и дурныя свойства людей, они, сообразно своему наивному характеру, всю вину свалили на боговъ. Боги, по ихъ вѣрованію, не всесильны, не законодатели, но ограничены высшей Судьбой и во многомъ зависятъ отъ нея; они не избавлены отъ страстей и даже отъ страданій: полное блаженство имъ не принадлежитъ. Они или сами другъ-другу наносятъ оскорбленіе, или же огорчаютъ ихъ люди. Особенно непріятно имъ, когда видятъ необычно возвышающееся счастіе какъ называемаго человѣка. Они опасаются за униженіе своего достоинства, за то, чтобы смертный не сравнялся съ ними или даже не превзошелъ ихъ, чтобы онъ не достигъ такого совершеннаго благополучія, какого лишены они въ своей божественной жизни. Такой счастливецъ возбуждаетъ въ нихъ непримиримую за-

висть. Поэтому, едва замѣчают они его, тотчасъ стараются мѣшать ему, и чѣмъ выше взобрался было онъ, тѣмъ ниже опускаютъ они его, тѣмъ ужаснѣе бываетъ наказаніе: большое счастіе считали они преступленіемъ, достойнымъ наказанія. Возраженіе, что боги вѣдь, однако, сами посылали то счастіе, которое потомъ возбуждало ихъ зависть, не безпокоило грековъ: положеніе, что безпрерывно возрастающаго счастія не существуетъ, что громадное счастіе разбивается о равносильную бѣду, и разбивается именно вслѣдствіе зависти боговъ, держалось у нихъ крѣпко. И Геродотъ, историкъ національный, высказывая подобныя мысли, вполнѣ удовлетворялъ своей средѣ и эпохѣ, когда греки, подобно ему, еще были проникнуты неподдѣльною вѣрою въ реальность миѳической древности, когда вѣра еще была неразрывна съ патріотизмомъ и всею публичною жизнію эллинскаго міра. Ту же идею о непостоянствѣ счастія выражаетъ здѣсь и Шиллеръ, какъ онъ высказывалъ ее и другихъ произведеніяхъ „Колоколъ", „Смерть Валленштейна". такъ какъ это древнегреческое воззрѣніе вплоть до зависти боговъ, по замѣчанію гофмейстера, было его собственнымъ чувствомъ и ученіемъ. „Глубокое, постоянное сознаніе зависимости отъ высочайшей силы, въ которой мы тогда бываемъ всего менѣе увѣрены, когда находимся на верху могущества, — вотъ тотъ религіозный духъ, который вѣетъ въ нравственно-поэтическомъ мірѣ Шиллера".

Идея — общее; отъ нея, точно отъ стебля, тянутся, выросшія по различнымъ направленіямъ, двѣ вѣтви, изъ которыхъ одна росла сама собою, почти подъ однимъ вліяніемъ природы, а другая — подъ зоркимъ уходомъ искуснаго садовника. Всегда и во всемъ объективный и спокойный, Геродотъ передавалъ событіе, какъ оно было, или по крайней мѣрѣ, какъ ему было извѣстно. Его прямая задача — дѣйствительность, фактъ, передѣлывать который, ради идеи, ему не представлялось надобности. Идею онъ нашелъ въ самомъ фактѣ, отъ котораго она не отдѣлялась, и записалъ, какъ подходящее народное объясненіе событія. Иныя требованія долженъ былъ выполнить Шиллеръ. Онъ — не бытописатель, а поэтъ; его дѣло не въ томъ, чтобы разсказывать событіе по порядку, а въ томъ, чтобы художественно олицетворить идею въ формѣ греческаго міровоззрѣнія. И сообразно съ этимъ,

то же самое повѣствованіе Геродота, само по себѣ цѣльное и изящное, является для него уже сырымъ, подлежащимъ серіозной обработкѣ, матеріаломъ.

Съ истиннымъ пониманіемъ интересовъ поэзіи Шиллеръ, прежде всего, отсѣкъ изъ разсказа, что не подходило къ идеѣ. Онъ опустилъ все его начало — извѣстіе о насильственныхъ и преступныхъ средствахъ, употребленныхъ Поликратомъ для своего возвышенія: убійствѣ одного брата, изгнаніи другого и т. д. Сохраненіе этихъ подробностей оставило бы идею недоказанной. Если бы хотя одинъ темный фактъ былъ сообщенъ читателю, то гибель Поликрата ему могла бы показаться не слѣдствіемъ зависти боговъ, а заслуженной божественною карой за преступленіе или справедливой местью со стороны оскорбленныхъ. Обрывая стихотвореніе на возвращеніи перстня и отъѣздѣ Амазиса, Шиллеръ не воспроизводитъ и конца разсказа — извѣстія о печальной смерти Поликрата. Нѣкоторые изъ критиковъ (Gotzinger I, 316, и др.) сочли это недостаткомъ въ произведеніи. Напрасно. Картина бѣдствій въ значительной степени заслонила бы идею. Читатель былъ бы пораженъ фактомъ, но затѣмъ могъ бы и остановиться, нейти далѣе. Теперь же, и безъ картины бѣдствій, въ немъ не остается ни малѣйшаго сомнѣнія въ ихъ необходимости, и возбужденное его воображеніе рисуетъ ему всевозможныя бѣды, имѣвшія постигнуть Поликрата, заставляетъ его предчувствовать ихъ и серіознѣе вдуматься въ роковую силу основной мысли. Таинственныя ожиданія всегда гнетутъ сильно и продолжительно: поневолѣ задумаешься о причинѣ бѣдъ. Вниманіе погружено теперь въ сферу идеи. Но не нанесено ли тѣмъ ущерба факту, образу? Нимало. „Тайна художника — посредствомъ вображенія возжечь воображеніе", сказалъ Гумбольдтъ. И мы видѣли, какой широкій просторъ отведенъ воображенію читателя въ рисованіи бѣдствій; картина опредѣленнаго несчастія много стѣснила бы его дѣятельность. Важно также и то, что авторъ имѣлъ своей задачей представить идею о непостоянствѣ счастія не въ фактахъ, а въ томъ чувствѣ ужаса, которое охватываетъ человѣка при видѣ возрастающаго благополучія своего ближняго. Какой бы смыслъ изображать теперь бѣдствія? Не нарушилась ли бы тѣмъ цѣльность образа? Соотвѣтствовалъ ли бы онъ своей идеѣ? Нѣтъ, тре-

бовать отъ Шиллера, чтобы онъ сохранилъ вѣсть о несчастной смерти, значитъ — не понять поэта и его произведенія.

Уже второе измѣненіе разсказа въ значительной степени относится къ индивидуальнымъ особенностямъ Шиллера: изображеніе страданія онъ и самъ не считалъ конечной цѣлью искусства: все же это болѣе отрицательныя свойства: тотъ и другой пропускъ могъ учинить каждый истинный поэтъ. Не то приходится сказать о прямой обработкѣ взятаго имъ матеріала: это — исключительно продуктъ его своеобразнаго поэтическаго дара.

Поэтъ-философъ, онъ самъ называлъ исторію магазиномъ для своей фантазіи, говоря, что предметы должны довольствоваться у него той обдѣлкой, какую онъ вздумаетъ имъ дать. Сообразно съ этимъ онъ слишкомъ мало позаботился здѣсь объ историческихъ деталяхъ и внѣшней обстановкѣ. Свое поклоненіе идеѣ простеръ до того, что, при изображеніи дѣйствующихъ лицъ онъ ограничился однимъ ихъ нарицательнымъ именемъ: тиранъ самосскій, властитель, царь Египта, или просто мѣстоименіемъ: онъ, этотъ и т. п. Для него безразлично, какъ бы ни назывались они. Они важны для него не сами по себѣ, а какъ подходящія орудія для выраженія взятой имъ идеи. Еще оригинальнѣе онъ обошелся съ другими особенностями разсказа. У Геродота всѣ сношенія между Поликратомъ и Амазисомъ ведутся письменно и чрезъ вѣстниковъ, на дальніе переходы тратится много времени; счастливыя обстоятельства жизни Поликрата раздѣлены другъ отъ друга цѣлыми годами. Не такъ поступилъ Шиллеръ. Натура стремительная, поэтъ-драматургъ, онъ всѣ разъединенныя между собой обстоятельства чисто-сценически соединилъ на небольшомъ мѣстѣ и времени. Художественный пріемъ его замѣчательно простъ. Поэтъ пожелалъ иллюстрировать идею на невольномъ чувствѣ ужаса при видѣ возвышающагося счастія и сообразно съ этимъ онъ сводитъ друзей въ одно мѣсто, при чемъ Амазиса переноситъ на Самосъ, гдѣ онъ становится очевидцемъ быстро возрастающаго могущества и удивительнаго счастія своего друга; замедляющую ходъ событія переписку замѣняетъ непосредственной личной бесѣдой. Отсюда произошло то, что все у него пріобрѣтаетъ сконцентрированность, подвижность, скорость и наглядность: время ограничивается двумя днями, вѣрнѣе, вечеромъ пер-

ваго и раннимъ утромъ второго: дѣйствіе, соотвѣтственно времени, совмѣщается лишь въ двухъ небольшихъ сценахъ.

Первая сцена — на кровлѣ королевской палаты (I—XIII). Отсюда оба владѣтеля, а вмѣстѣ съ ними какъ бы и читатели, осматриваютъ живописный Самосъ, богатую пристань и необъятное море; сюда приноситъ вѣстникъ голову убитаго врага; отсюда виденъ прибывшій въ пристань флотъ — торговый, вслѣдъ за нимъ и военный; отсюда Поликратъ бросаетъ свой перстень. Рядъ счастливыхъ случаевъ (III—VIII) какъ бы мелькаетъ предъ нашими глазами. Счастіе Поликрата представляется не готовымъ уже и окончившимся, какъ у Геродота, но, какъ въ драмѣ, совершающимся и оканчивающимся, не прошедшимъ, но настоящимъ. Еще живъ соперникъ, не прибылъ еще торговый флотъ, еще грозятъ воинственные критяне — сколько возможныхъ опасностей! но все одно за другимъ быстро превращается въ счастіе, благословеніе и побѣду. Нѣтъ больше соперника Поликрату: его владѣнія процвѣтаютъ внутри, безопасны со-внѣ. Чего же болѣе? И вдругъ къ этой прелестной, полной движенія, поэтической картинѣ, какъ разъ въ срединѣ стихотворенія (VIII—XIII) вставляется рѣзкая, но и подготовленная, противоположность — выраженіе Амазисомъ основной идеи и дѣйствіе ея на Поликрата. Оказывается, насколько выше поднималось счастіе Поликрата, настолько сильнѣе тревожился его другъ, настолько мрачнѣе становился его внутренній міръ. Амазиса постигаетъ удивленіе, страхъ, затѣмъ ужасъ, и когда онъ высказываетъ причину тревогъ, пораженъ своимъ счастіемъ и самъ Поликратъ. Съ возвышеніемъ внѣшняго благополучія въ одинаковой степени понижалось внутреннее: чѣмъ выше счастіе, тѣмъ ниже человѣкъ падаетъ духомъ — контрастъ неожиданный, поразительный, полный. И только теперь, узнавъ въ чемъ дѣло, поймешь всю естественность опасеній Амазиса, всю подготовленность этой части стихотворенія, ея связь съ предыдущимъ; а ниже, при развязкѣ, открывается ея внутреннее значеніе и для послѣдующаго.

Во второй сценѣ — во внутреннихъ покояхъ дворца — дѣйствіе идетъ къ своему концу еще быстрѣе, чѣмъ въ предыдущей: подарокъ рыбака, возвращеніе перстня и разрывъ дружбы обнимаютъ всего три строфы (XIV—XVI). Дружба — истинно тѣсная, основанная всегда на общности стремленій,

пониманія, продолжительномъ обмѣнѣ мыслей и чувствъ, она, по преимуществу, предъ другими чувствами отличается твердостію и продолжительностью, разорвать ее нелегко, иногда тяжелѣе, чѣмъ раздѣлить съ другомъ приключившіяся ему бѣды. И, однако, когда предчувствіе приближающейся грозной божественной силы получаетъ явное доказательство, когда, съ возвращеніемъ перстня, зависть боговъ несомнѣнна,— чувство страха въ Амазисѣ доходитъ до зенита — и дружба съ человѣкомъ, не только несчастнымъ, но и противнымъ богамъ невозможна. Разорвать ее — полное основаніе, прямая необходимость. И Амазисъ поспѣшно удаляется, и вмѣстѣ съ тѣмъ оканчивается и самое произведеніе.

Амазисъ — главное лицо въ стихотвореніи. Онъ наиболѣе полный носитель идеи; на немъ, на его чувствѣ, главнымъ образомъ, Шиллеръ олицетворилъ ее. Поликратъ же — герой пассивный. Онъ, только что съ необыкновеннымъ удовольствіемъ хвалившійся предъ другомъ своимъ счастіемъ въ Самосѣ, теперь, послѣ бесѣды съ нимъ, самъ испуганъ своимъ благополучіемъ и боязливо смотритъ въ свое будущее.

Конецъ, такимъ образомъ, полонъ печали и неожиданно представляетъ рѣзкій контрастъ отрадному началу.

При этомъ насъ не смущаетъ то, что поэтъ чрезвычайно много отступилъ отъ исторіи, представилъ событіе въ иной формѣ. По Геродоту, Амазисъ никогда не бывалъ на Самосѣ, а здѣсь, между тѣмъ, друзья ведутъ личную бесѣду, выдуманъ полководецъ Полидоръ. Милетъ изъ враждебнаго сталъ союзнымъ, вмѣсто спартанцевъ являются критяне. Амазисъ упоминаетъ о мнимой смерти сына, перстень брошенъ не съ корабля, а съ кровли. Амазисъ отъѣзжаетъ отъ Поликрата, і не просто только отказывается отъ союза съ нимъ, и т. д. и т д..— все это мы видимъ и, вмѣстѣ съ Амазисомъ, дивимся необыкновенному счастію Поликрата, въ быстромъ слѣдованіи счастливыхъ случаевъ готовы подозрѣвать что-то таинственное... Стихотвореніе оставляетъ сильное впечатлѣніе; раздумья о неправдоподобіи или абстрактности почти нѣтъ и слѣда. Въ противоположность спокойному разсказу Геродота мы видимъ живую драму; вмѣсто повѣсти о тянувшихся цѣлые годы событіяхъ — волшебную, быстро промелькнувшую и исчезнувшую картину...

И именно — волшебную. Чтобы показаться вполнѣ реаль-

ной, она требуетъ отъ читателя многихъ дополненій изъ его собственнаго запаса историко-географическихъ знаній. Она едва ли бы не выиграла, если бы Шиллеръ ближе держался къ мѣстной почвѣ, внесъ въ стихотвореніе нѣсколько лишнихъ чертъ и не допустилъ нѣкоторыхъ, вызывающихъ недоразумѣніе, выраженій. Мѣсто дѣйствія указано слишкомъ общо — Самосъ, кровля и т. п.; безъ знанія о мѣстности изъ другихъ источниковъ не легко составить себѣ цѣльное и близкое къ дѣйствительности представленіе. Дѣйствующія лица здѣсь не названы — не всякій можетъ догадаться, о комъ идетъ рѣчь. Индивидуальныя особенности характеровъ почти не обрисованы. Единственно, что рельефнѣе выступаетъ у Амазиса, это — возрастающее опасеніе близкой перемѣны. У Поликрата — сначала гордое самомнѣніе, потомъ, подъ вліяніемъ словъ друга, опасеніе и желаніе избѣгнуть бѣдствія посредствомъ добровольной жертвы. Не всякому также покажется правдоподобнымъ, чтобы Поликратъ до такой степени забылся и чтобы Амазисъ пріѣхалъ на Самосъ, когда такъ много грозило опасностей. Особенно ставятъ въ затрудненіе нѣкоторыя своеобразныя выраженія. 1. „Живетъ одинъ" (Einer lebt, II, 4) — какой врагъ: внутренній или внѣшній, братъ Поликрата или чужой ему? 2. „Твой флотъ" (deiner Flotte, V, 6) — торговый или военный? 3. Es wallen (IX, 2) — люди или побѣдные флаги? Даже спеціалисты отвѣтили совершенно различно[1]). Глаголъ „возразилъ" (versetzt, V, 4) указываетъ, что рѣчь Амазиса какъ будто относилась къ вѣстнику, между тѣмъ она, очевидно, направлялась къ Поликрату. Выраженіе: „богатый мачтами лѣсъ кораблей" (Der Schiffe mastenreicher Wald, VI, 6) — ясно только благодаря указанію на мачты. Сказуемое: „сорвалось" (entfallen, VIII, 1) — можетъ быть отнесено лишь къ необдуманной рѣчи, къ словамъ Амазиса приложить его трудно. Эпитеты къ повару: „смущенный" (bestürzt, XV, 2) и къ его взгляду: „удивленный" (mit hocherstauntem Blick) — неправдоподобны: „въ первомъ случаѣ было бы умѣстнѣе вмѣсто смущенія — *удивленіе*, во второмъ вмѣсто удивленія — *радость*, такъ какъ поваръ ничего не зналъ о потерѣ дорогого перстня" (Düntzer, VI—VII, 168).

[1]) См. выше примѣч. 6, 12, 15.

Таковы положительныя и отрицательныя стороны произведенія. Какое же вообще мнѣніе произнести теперь о немъ?

Общая точка зрѣнія всегда обусловливалась тѣмъ, какой кто держался теоріи баллады и поэзіи. Другъ, совѣтникъ и постоянный критикъ Шиллера, Кернеръ, прочитавъ „Перстень Поликрата", отвѣтилъ, что въ немъ хороши одни стихи, но въ цѣломъ произведеніе сухо и не соотвѣтствуетъ задачѣ баллады. Единство здѣсь лежитъ въ абстрактной идеѣ, но въ балладѣ, какъ произведеніи повѣствовательномъ, господство сверхчувственнаго не должно быть допущено. Настоящая задача этого вида поэзіи — представленіе въ дѣйствіи высшей человѣческой натуры, которая должна или побѣдить послѣ труднаго сраженія, или пасть въ неравной борьбѣ съ превышающей ее внѣшнею силой. „Судьба никогда не можетъ стать героемъ стихотворенія, но только человѣкъ, который борется съ судьбой, какъ, напр., Прометей". Совершенно противоположный взглядъ высказалъ Гёте: онъ остался вполнѣ доволенъ произведеніемъ, особенно концомъ его; нашелъ, что оно много выигрываетъ при перечитываніи и что его нельзя, подобно Кернеру, смѣшивать съ тѣми, которыя только символизируютъ абстрактную идею. Поэтъ нимало не нарушилъ правъ поэзіи, не перешелъ ея границъ: напротивъ, съ даннымъ произведеніемъ получается новый, расширяющій права поэзіи, способъ выраженія идеи. Самъ Шиллеръ нашелъ мнѣніе Кернера „не безосновательнымъ", но больше склонился къ сужденію Гёте. Послѣднее мнѣніе восторжествовало. Отдать ему преимущество, дѣйствительно, слѣдуетъ, но нельзя не принять въ расчетъ и положеніи Кернера. Если было бы большой ошибкой назвать это произведеніе сухимъ и абстрактнымъ, символомъ или аллегоріей, то все же то, чѣмъ подкупаетъ оно, — не пластика, не рельефность образа — твердыхъ очертаній и достаточной ясности красокъ глазъ не находитъ: произведеніе поражаетъ широтой своей идеи, фантастичностью картины, цѣльностью образа, подвижностью и необычайно логически-стройной композиціей. Это не просто поэтическое произведеніе, но поэтически-философское. Его могъ создать только одинъ Шиллеръ.

Дмитрій Цвѣтаевъ.

„Поликратовъ перстень“ въ переводѣ Жуковскаго

Не во всѣхъ произведеніяхъ послѣдняго періода сказывается въ одинаковой мѣрѣ это проникновеніе въ глубь авторской идеи: въ нѣкоторыхъ переводахъ авторская идея передается далеко не со всѣми частностями и оттѣнками. Примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить переводъ баллады Шиллера „Поликратовъ перстень“ („Der Ring des Polykrates“), 1892 г.

Переводъ, съ внѣшней стороны (размѣра), сдѣланъ тщательно, точно и умѣло. Уже изъ перевода первыхъ строфъ видно, что Жуковскій обратилъ мало вниманія на часто встрѣчающіяся слова „счастье“, „счастливый“, тѣсно связанныя съ идеей произведенія. Первая строфа баллады кончается обращеніемъ Поликрата къ Амазису:

Gestehe, dass ich glücklich bin,

то-есть:

Сознайся, что я счастливъ.

Въ этихъ словахъ какъ бы заключенъ планъ всей дальнѣйшей баллады, въ которой трактуется вопросъ о счастьѣ *человѣка* вообще. Понятно поэтому, какъ неточно выразилъ Жуковскій, переведя упомянутый стихъ:

Сколь счастливъ я между *царями*.

Во второй строфѣ Амазисъ отвѣчаетъ на похвальбу Поликрата:

Doch kann mein Mund nicht glücklich sprechen,
So lang des Feindes Auge wacht.

То-есть:

Языкъ мой не повернется назвать тебя *счастливымъ*,
пока бодрствуетъ око врага.

Жуковскій пропускаетъ слово „счастіе“ и вводитъ слово „судьба“:

Пока онъ (врагъ) дышитъ... побѣдитель,
Не довѣряй своей судьбѣ.

Въ четвертой строфѣ ослаблены краски картины, показавшейся Жуковскому слишкомъ грубою. Гонецъ приноситъ Поликрату вѣсть о побѣдѣ надъ врагомъ:

Und nimmt aus einem *schwarzen* B...
Noch blutig, zu der Beiden Schrecken,
Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

То-есть:

> И вынимаетъ изъ *чернаго таза*,
> къ ужасу обоихъ, еще *капающую кровью*,
> хорошо знакомую голову (врага).

Жуковскій:

> Рука гонца сосудъ держала;
> Въ сосудѣ голова лежала;
> Врага узналъ въ ней царскій взоръ.

Въ пятой строфѣ баллады Амазисъ опять упоминаетъ о счастьѣ:

> Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen,

то-есть:

> Все же я остерегаю тебя — не довѣрять счастію.

Жуковскій, съ самаго начала баллады сдѣлавшій ошибку, принужденъ нести всѣ ея послѣдствія, и снова переводитъ вмѣсто „счастья“ — „судьба“:

> Страшись! Судьба очарованьемъ
> Тебя къ погибели влечетъ!

Зато великолѣпно, лучше чѣмъ въ подлинникѣ, въ шестой строфѣ изображена картина побѣдоноснаго флота. Шиллеръ:

> Und eh er noch das Wort gesprochen,
> Hat ihn der Jubel unterbrochen,
> Der von der Rhede jauchzend schallt.
> Mit fremden Schätzen reich beladen,
> Kehrt zu den heimischen Gestaden
> Der Schiffe mastenreicher Wald.

Жуковскій:

> Еще слова его звучали...
> А клики брегъ ужъ оглашали,
> Народъ на пристани *кипѣлъ*;
> И въ пристань, *царь морей крылатый*,
> Дарами дальнихъ странъ богатый,
> Флотъ *торжествующій влетѣлъ*.

„Морей царь крылатый“, „торжествующій“, „влетѣлъ“ — всѣхъ этихъ эпитетовъ нѣтъ въ подлинникѣ, а они-то и придаютъ жизнь всей картинѣ: шиллеровское сравненіе „густой мачтовый лѣсъ судовъ“ (der Schiffe mastenreicher Wald) слишкомъ мало говоритъ воображенію

Въ седьмой строфѣ Амазисъ опять заговариваетъ о счастіи, и опять въ переводѣ неточность. У Шиллера:

> Dein Glück ist heute gut gelaunet,

то-есть:

> Счастіе сегодня къ тебѣ благосклонно.

Жуковскій перевелъ:

> Тебѣ Фортуна благодѣетъ.

Переводъ девятой строфы указываетъ на источникъ главнѣйшей ошибки Жуковскаго. Въ этой строфѣ впервые дѣлается намекъ на „зависть боговъ" — вѣрованіе, смущавшее древняго эллина: по представленію этого эллина, чрезмѣрное счастье человѣка возбуждало зависть въ богахъ, мстившихъ за избытокъ блаженства. Именно этотъ намекъ, несмотря на его важность, Жуковскій оставилъ безъ вниманія. Амазисъ у Шиллера говоритъ Поликрату:

> Mir grauet vor der Götter Neide.
> Des Lebens ungemischte Freude
> Ward keinem Irdischen zu Theil.

То-есть:

> Страшусь я зависти боговъ;
> неподмѣшанная радость жизни
> не была удѣломъ ни одного смертнаго.

Вмѣсто этого, чисто-античнаго воззрѣнія, въ переводѣ Жуковскаго — общее мѣсто:

> Здѣсь вѣчны блага не бывали
> И никогда намъ безъ печали
> Не доставалися онѣ (они).

Отсюда ясно, какъ проигрываетъ въ настроеніи баллада, если ея закулисными героями являются не боги, представляющіе подобіе человѣческихъ силъ и стремленій, а бездушная, безформенная судьба. Въ десятой строфѣ опять пропущено слово „счастье", находящееся въ подлинникѣ. Амазисъ жалуется на завпсть боговъ:

> Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld.

То-есть:

> Я заплатилъ свой долгъ счастью (кончиною сына).

У Жуковскаго:

> Я долгъ мой сыномъ заплатилъ.

и по связи съ предыдущимъ видно, что долгъ „судьбинѣ“. Въ одиннадцатой строфѣ — та же ошибка. Амазисъ опять твердитъ о завистливыхъ богахъ:

So flehe zu den Unsichtbaren,
Dass sie zum Glück den Schmerz verleihn.

То-есть:

Моли незримыхъ,
чтобы они къ счастью придали горя.

Жуковскій опять упоминаетъ о судьбѣ:

Моли невидимыя власти
Подлить печали въ твой фіалъ.
Судьба и въ милостяхъ — мздоимецъ.

Въ тринадцатой строфѣ Поликратъ говоритъ про свой перстень:

Ihn will ich den Erinnen weihen,
Ob sie mein Glück mir dann verzeihen.

То-есть:

Я посвящу его Эринніямъ (богинямъ возмездія):
быть можетъ, *онѣ простятъ мнѣ мое счастье.*

У Жуковскаго — опять общее мѣсто:

Но я готовъ властямъ незримымъ
Добромъ пожертвовать любимымъ.

Въ предпослѣдней строфѣ поваръ, нашедшій перстень въ рыбѣ, восклицаетъ:

O, ohne Gränzen ist dein Glück!

То-есть:

О, счастіе твое безмѣрно!

Въ переводѣ Жуковскаго этотъ стихъ пропущенъ. Въ послѣдней строфѣ Амазисъ, ужасаясь постоянству Поликратова счастья, восклицаетъ:

Die Götter wollen dein Verderben!

То-есть:

Боги желаютъ твоей гибели!

У Жуковскаго онъ восклицаетъ:

На смерть ты обреченъ *судьбою*!

Въ идеѣ о „зависти боговъ“ — такой страстный и убѣжденный пессимизмъ, какого нѣтъ въ мысли о безличной

судьбѣ. Очевидно, неудачною замѣною словъ „счастья" и „боги" — „судьбою", Жуковскій обезличилъ все стихотвореніе. Вотъ почему, не взирая на многія интересныя части перевода, мы причисляемъ балладу „Поликратовъ перстень" къ числу слабыхъ произведеній Жуковскаго.

Чешихинъ.

Патріотическія стихотворенія Жуковскаго

Отечественный періодъ поэзіи Жуковскаго, совпадая съ славнѣйшими годами русской жизни нашего столѣтія, является съ перваго взгляда чѣмъ-то случайнымъ въ ряду его произведеній; но, вникнувъ глубже, мы увидимъ, что онъ также связанъ съ внутреннимъ существомъ его искусства. До Жуковскаго, русская поэзія носила всего болѣе современный характеръ и откликалась на громкія событія государства. Міръ души, открытый Жуковскимъ для поэзіи, разрушилъ эту связь ея съ случайными отношеніями времени: не можетъ быть годовъ и чиселъ на тѣхъ пѣсняхъ, которыя „зарождаетъ глубина души". Но событія 12-го года потрясли всѣ чувства въ душѣ русской и взворошили со дна ея все, что хранилось въ ней отъ самыхъ дальнихъ вѣковъ завѣтнаго и священнаго. Церковь, царь, народъ, воинство слились въ одну душу; вся Россія, поднявшаяся, какъ одинъ человѣкъ, съ глаголомъ Божіимъ въ устахъ, съ мечомъ правды и свободы въ рукѣ, лицомъ къ лицу, предстала поэту, и сама жизнь явилась ему въ то время, какъ высокая поэзія. Тогда ударила не случайная, но вѣчная минута въ жизни народа русскаго — и ей откликнулась чистая душа пѣвца — и чудо! въ мягкихъ и нѣжныхъ звукахъ его лиры сказалась сила, до той поры не бывалая.

Поразительны эти событія, которыми западъ вызывалъ насъ къ сознанію внутреннихъ основъ нашей жизни. Мы, новобранцы въ дѣлѣ его наукъ и искусствъ, простирали къ нему, во имя просвѣщенія, самыя полныя и искреннія объятія. Все поколѣніе [illegible] предшествовавшими царствованіями воспитано было въ духѣ свободнаго общенія съ нимъ, — и вотъ этому самому поколѣнію суждено встрѣтить грубое *[illegible]* просвѣщенныхъ *[illegible]*

съ геніемъ Европы во главѣ ихъ, несущихъ мечъ и огонь въ наши предѣлы на мѣсто добра и мысли, которыхъ мы отъ нихъ ждали „Пожаръ Москвы былъ заревомъ свободы всѣхъ царствъ земныхъ“; въ немъ же засіяла заря и нашего народнаго самопознанія.

Пѣвецъ въ станѣ, Пѣвецъ въ Кремлѣ и *Посланіе къ Императору Александру* — памятники слова этого незабвеннаго времени, дѣла поэта-воина, съ честью сражавшагося подъ Бородинымъ и подъ Краснымъ. *Пѣвецъ въ станѣ* есть пѣснь не одной строгой любви къ отечеству, какова была римская: здѣсь затронуты всѣ живѣйшія струны души человѣческой; здѣсь, вмѣстѣ съ отечествомъ, царемъ, предками, вождями, подняты кубки въ честь любви, дружбы и поэзіи! Но надъ всѣми чувствами сіяетъ вѣра. Изъ вождей рати спасенія, воспѣтыхъ пѣвцовъ, немногіе озаряютъ насъ еще дивной памятью 12-го года и его пламенной пѣсни. Въ ней пѣлъ онъ славную рану Воронцова, теперь смирителя Кавказа, тогда встрѣтившаго весь первый натискъ непріятеля на полѣ Бородинскомъ, ту рану, которая изъ вождей, на первомъ на немъ, засіяла передъ воинами и зажгла въ нихъ сильнѣе духъ мщенія и мужества. Онъ пѣлъ и Чернышева, однимъ взглядомъ бросавшаго дружину на мечъ и громъ. Онъ пѣлъ и маститаго исполина, вблизи насъ говорящаго намъ живой памятью исполинской брани 12-го года. Къ нему, послѣ „вождя вождей, героя подъ сѣдинами“, неслись первые звуки славнаго ихъ величанья на кровавомъ пирѣ.

Хвала сподвижникамъ-вождямъ!
Ермоловъ, витязь юный,
Ты ратнымъ братъ, ты жизнь полкамъ,
И страхъ твои перуны.

Въ этихъ достопамятныхъ герояхъ и во всемъ молодомъ поколѣніи ихъ сподвижниковъ олицетворялись не однѣ богатырскія силы нашего народа, но и всѣ нравственныя основы души, всѣ священныя убѣжденія ума и сердца, воспитанныя нашею доброю жизнію и такъ прекрасно выраженныя пѣвцомъ героическаго поколѣнія:

Въ высокой долѣ — простота;
Надежность — въ наслажденьи;
Въ союзѣ съ равнымъ — правота;
Въ могуществѣ — смиренье.

Обѣтамъ — вѣчность; чести — честь;
Покорность — правой власти;
Для дружбы — все, что въ мірѣ есть;
Любви — весь пламень страсти;
Утѣха — скорби; просьбѣ — дань;
Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань;
Безсильному — презрѣнье;
Неправдѣ — грозный правды гласъ;
Заслугѣ — воздаянье;
Спокойствіе — въ послѣдній часъ;
При гробѣ — упованье.

Пѣснь въ станѣ возмущается иногда неизбѣжными чувствами войны и поднимаетъ еще кубокъ мщенію. Но пѣснь въ Кремлѣ, въ обновленномъ нашемъ Сіонѣ, прекрасно восполняя предыдущую, дышитъ однимъ примиреніемъ и любовью. Она — отголосокъ на тѣ священныя слова, которыми благословенный побѣдитель призывалъ народъ свой и воинство къ христіанскому подвигу: „При толь бѣдственномъ состояніи всего рода человѣческаго не прославится ли тотъ народъ, который перенеся всѣ неизбѣжныя съ войною разоренія, наконецъ терпѣливостію и мужествомъ своимъ достигнетъ до того, что не токмо пріобрѣтаетъ самъ себѣ прочное и ненарушимое спокойствіе, но и другимъ державамъ доставитъ оное, и даже тѣмъ самымъ, которыя противъ воли своей съ нимъ воюютъ? — Пріятно и свойственно доброму народу за зло воздавать добромъ. — „Гнѣвъ Божій поразилъ ихъ. Не уподобимся имъ; человѣколюбивому Богу не можетъ быть угодно безчеловѣчіе и звѣрство. Забудемъ дѣла ихъ; понесемъ къ нимъ не месть и злобу, но дружелюбіе и простертую для примиренія руку. Слава россіянина низвергать ополченнаго врага и, по исторженіи изъ рукъ его оружія, благодѣтельствовать ему и мирнымъ его собратіямъ". Но силу на такой подвигъ внушила намъ, какъ сказалъ самъ же царь, къ нему призывавшій: „свято почитаемая въ душахъ нашихъ православная вѣра", которая говоритъ: „любите враги ваша, и ненавидящимъ васъ творите добро". Ею одушевленный, могъ пѣвецъ на развалинахъ Кремля воскликнуть:

И за развалины Кремля
Парижу мзда: спасенье.

Подъ ея святымъ внушеніемъ, онъ покрывалъ такими словами любви и мира всѣ крики и вопли неистовой брани

О, совершись, святой завѣтъ!
Въ одну семью, народы!
Цари, въ одинъ отцовъ совѣтъ.
Будь, сила, щитъ свободы!
Духъ благодати, пронесись
Надъ мирною вселенной,
И вся земля совокупись
Въ единый градъ нетлѣнный!
Въ совѣтъ къ царямъ, небесный Царь
Символъ имъ: Провидѣнье!
Тронъ власти, обратись въ алтарь!
Въ любовь — повиновенье!

*

Утихни, ярый духъ войны;
Не жизни истребитель,
Будь жизни благъ и тишины
И вѣчныхъ правъ хранитель.
Ты, мудрость смертныхъ, усмирись
Предъ мудростію Бога,
И въ мракѣ жизни озарись,
Къ небесному дорога.
Будь, вѣра, твердый якорь намъ
Средь волнъ безвѣстныхъ рока,
И ты, въ нерукотворный храмъ
Свѣти, звѣзда востока!

Но для совершенія этого подвига, неслыханнаго въ исторіи, для того, чтобы русскій могъ пропѣть на площади Парижа святую пѣснь воскресную и предложить братскій поцѣлуй врагу своему, необходимо было, чтобы весь народъ единодушно предалъ волю, мысль, силы, имущества единому, и чтобы этотъ единый, заключивъ въ себѣ народъ и вложивъ его въ руку Божію, вынесъ изъ основъ его жизни любовь и смиреніе, которыми посрамилъ побѣжденную имъ злобу и гордость. Величайшая минута въ жизни императора Александра проистекла изъ взаимной вѣры царя и народа другъ къ другу и вѣры обоихъ въ Бога. Посланіе Жуковскаго къ императору Александру начинается робкимъ голосомъ пѣвца и оканчивается общимъ голосомъ всего народа: „все въ жертву за царя!“ Это — зеркало прекрасной души царской и, возчувствованный живѣе, въ минуту славы и счастія,

всегдашній обѣтъ царю отъ народа, поднесенный ему свободнымъ голосомъ поэта —

За вѣру въ страшный часъ къ народу своему!

Весело было русскому пѣвцу, искреннимъ голосомъ чистой души своей, славить царя и благодарить Бога

За царственную высоту
Его души благія,
За чистой славы красоту,
Въ какой имъ днесь Россія,

когда чуждые пѣвцы гордаго Альбіона гремѣли ему хвалою, когда Соути въ извѣстной одѣ императору Александру такъ говорилъ Россіи: „Воздвигай, Россія, изъ добычъ твоихъ, изъ орудій смерти, покинутыхъ бѣглецомъ-тираномъ, монументъ, котораго благороднѣе и Римъ не воздвигалъ на всей высотѣ своей гордости и могущества. Но Александръ, на берегахъ Сены, уже поставилъ для всѣхъ вѣковъ твой благороднѣйшій монументъ — *Парижъ взятый и пощаженный*“. Другой поэтъ, Вальтеръ Скоттъ, въ 1816 году, привѣтствуя на пиру отъ имени Эдинбурга царственнаго гостя, послѣ императора Россіи, призывалъ благословеніе Божіе на наше отечество, на брата его, умѣвшаго какъ побѣждать, такъ и прощать враговъ своихъ, и приглашалъ оба великіе народа къ рукопожатію во время мира, къ товариществу на полѣ брани. *Шевыревъ.*

Два произведенія Жуковскаго заслуживаютъ, по нашему мнѣнію, особеннаго изученія, произведенія, которыя не забудутъ наша литература и потомство. Это „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“ и „Пѣвецъ на Кремлѣ“. Міръ колебался въ самыхъ основаніяхъ своихъ; едва утихнулъ страшный волканъ внутреннихъ потрясеній, какъ надъ Европою простерлась гроза, готовая измѣнить древній союзъ народовъ, низложить династіи царей и монархіи съ ихъ самобытностью и славою. Казалось, настало роковое, послѣднее мгновеніе, когда рука Провидѣнія поставила Россію лицомъ къ лицу съ этимъ неожиданно взросшимъ разрушительнымъ могуществомъ; великая драма должна была разыграться катастрофой — быть или не быть не для ней одной, но для всѣхъ

обществъ первенствующей, образованнѣйшей части міра. И Россія за себя и за нихъ приняла на себя страшную отвѣтственность этого великаго мгновенія. Благочестивая, единодушная, преданная Благословенному вождю своей судьбы, съ оружіемъ въ рукахъ и оружіемъ нравственной силы въ сердцѣ, она стала мужественно на встрѣчѣ своего жребія, облеченнаго зловѣщею таинственностью и ужасомъ для всѣхъ, кромѣ ея вѣры. Уже драгоцѣнныя жертвы были принесены — опустошенныя родныя поля были смочены нашею кровью; день Бородина сіялъ безсмертіемъ на страницахъ нашей исторіи, но Москва дымилась въ развалинахъ. Все возвѣщало благость минуты рѣшительной и важной для всего человѣчества. Ее-то избралъ поэтъ для своего величественнаго народнаго гимна и воспользовался своимъ предметомъ не только какъ гражданинъ, полный глубокаго сочувствія къ судьбѣ отечества, но и какъ геніальный художникъ. Какая дивная поэзія въ самомъ положеніи вещей! Жуковскій обнялъ ее со свойственной ему высоты воззрѣнія: „Когда рокъ беретъ ужъ жребій изъ таинственной урны", онъ становится въ кругу воиновъ истолкователемъ задачи, переданной судьбою на рѣшеніе ихъ доблести; отъ лица ихъ онъ произноситъ священные обѣты, обращается ко всѣмъ вѣрованіямъ и побужденіямъ, которыя даютъ предстоящей борьбѣ глубокое нравственно-національное значеніе. Основная идея раскрывается во всемъ богатствѣ сокрытыхъ въ ней животрепещущихъ моментовъ и явленій. Но величіе идеи и самое обиліе содержанія не составляютъ еще всего поэтическаго достоинства „пѣвца русскихъ воиновъ"; талантъ автора выказывается съ самой блестящей стороны въ томъ драматическомъ движеніи, какое умѣлъ онъ сообщить своему творенію отъ начала до конца. Этотъ полетъ духа почти видимый и слышимый — до такой степени онъ полонъ жизни, силы и дѣйствія. Стремителенъ, важенъ, нѣженъ и мужественъ, гибокъ и быстръ, погружаясь въ глубину своей идеи, или паря надъ вещами и лицами, онъ свободно, безъ малѣйшихъ усилій вскрываетъ предъ вами великолѣпную трагическую драму внутреннихъ состояній, предшествующую и служащую основаніемъ драмѣ дѣлъ. Здѣсь не забыто ни одно благородное побужденіе, ни одна дѣйствующая пружина, ни одна личность изъ тѣхъ, которымъ суждено

участвовать въ грядущемъ днѣ: каждой изъ этихъ силъ дано приличное, естественное положенiе, каждая отмѣчена свойственными ей красками, все стремится къ возбужденiю одного общаго впечатлѣнiя. Съ трепетомъ въ сердцѣ вы проходите по всѣмъ направленiямъ великой дѣйствующей здѣсь мысли; одно глубокое ощущенiе смѣняется другимъ, и сумма всѣхъ ихъ

Сразить иль пасть — нашъ роковой
Обѣтъ предъ Богомъ брани!

Нѣкоторые находили, что лица, выведенныя авторомъ, очерчены единообразно и краски ихъ блѣдны. Можетъ-быть, это справедливо въ отношенiи къ лицамъ второстепеннымъ; но портреты главныхъ дѣятелей войны 12-го года начертаны кистью вѣрною и мастерскою. Кому не извѣстна, напримѣръ, слѣдующая характеристика Кутузова:

Хвала тебѣ, нашъ бодрый вождь,
Герой подъ сѣдинами!
Какъ юный ратникъ, вихрь и дождь
И трудъ онъ дѣлитъ съ нами.
О, сколь съ израненнымъ челомъ
Предъ строемъ онъ прекрасенъ!
И сколь онъ хладенъ предъ врагомъ,
И сколь врагу ужасенъ!
О, диво! се орелъ пронзилъ
Надъ нимъ небесъ равнины...
Могучiй вождь главу склонилъ;
Ура! кричатъ дружины.
Лети ко прадѣдамъ, орелъ,
Пророкомъ славной мести!
Мы тверды: вождь нашъ перешелъ
Путь гибели и чести!
Съ нимъ опытъ, сынъ труда и лѣтъ;
Онъ бодръ и съ сѣдиною;
Ему знакомъ побѣды слѣдъ...
Довѣренность къ герою!
Нѣтъ, други, нѣтъ! не предана
Москва на расхищенье!
Тамъ стѣны... въ россахъ вся она;
Мы здѣсь — и Богъ намъ мщенье.

Или кто въ слѣдующемъ изображенiи не признаетъ главныхъ отличительныхъ свойствъ нашего достославнаго войска донского:

Хвала нашъ вихорь-атаманъ!
Вождь невредимыхъ, Платовъ!

Твой очарованный арканъ
Гроза для супостатовъ,
Летаешь страхомъ въ тылъ врагамъ,
Бѣдой имъ въ уши свищешь.
Они лишь къ лѣсу — ожилъ лѣсъ,
Деревья сыплютъ стрѣлы;
Они лишь къ мосту — мостъ исчезъ;
Лишь къ селамъ — пышутъ селы.

„Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ" изображаетъ напряженіе и сосредоточеніе народныхъ силъ, предшествовавшія великому роковому событію; „Пѣвецъ на Кремлѣ" есть разрѣшеніе, исполненіе того трепетнаго ожиданія, какимъ проникнуто было сердце великаго народа въ рѣшительную, достопамятнѣйшую минуту его жизни. Это звучный голосъ спасенія, это произнесеніе перваго за событіемъ слова: *свершилось*, предъ лицомъ міра и потомства, произнесеніе, полное ликованія, восторга и славы. Здѣсь авторъ съ такимъ же искусствомъ воспользовался всѣми поэтическими внушеніями своей идеи, какъ въ первой пьесѣ. Изобрѣтеніе его свободно и стройно; предметы и понятія, введенныя имъ въ содержаніе, не придуманы; они естественно, сами собою вытекаютъ изъ основной мысли, которая вся, такъ сказать, трепещетъ отъ полноты радостнаго, удовлетворительнаго патріотическаго чувства. Общій тонъ пьесы обозначается особенностью самаго момента: въ ней господствуютъ какое-то тихое, величавое успокоеніе — плодъ исполнившихся обѣтовъ и надеждъ. Тутъ нѣтъ той энергіи, тѣхъ быстрыхъ переливовъ чувства, какъ въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ"; это понятно. Въ одномъ произведеніи представляются силы въ движеніи, готовыя устремиться на открытое передъ ними кровавое поприще; здѣсь все какъ-будто стремятся изъ своихъ убѣжищъ, чтобъ стать передъ судьбою лицомъ къ лицу. Въ „Пѣвцѣ на Кремлѣ" буря сокрушительныхъ движеній утихла; встревоженный океанъ, такъ сказать, вступилъ въ свои предѣлы — на немъ воцарилась та торжественная тишина, которая позволяетъ взору спокойно устремиться въ даль безконечнаго. Грудь воздымается еще скорбью при воспоминаніи жертвъ, какихъ стоилъ намъ этотъ прекрасный день славы, который никогда не будетъ знать заката. Но слѣды опустошенія изгладятся скоро, Москва встанетъ изъ своихъ развалинъ. Исторія наша не разъ ужъ была тому

свидѣтелемъ; павшіе въ битвахъ умерли лучшею смертью, какую немногіе [illegible]. Между тѣмъ принесенныя нами жертвы дорогія и намъ одно изъ драгоцѣннѣйшихъ благъ, представленныхъ [illegible] заслугѣ и чести — право называть самихъ себя. Поэтому „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ останется навсегда у насъ лучшею пѣснью россіи, произведеніе это [illegible] съ „Пѣвцомъ во станѣ русскихъ воиновъ“, составляетъ лучшую неизгладимую память 12-го года. Когда, [illegible] въ историческую [illegible], онъ [illegible] [illegible] потомствомъ въ своемъ [illegible] величіи, оно прислушается съ умиленіемъ гимнамъ поэта, какъ [illegible] исторіи: она раскажетъ ему великія дѣла, други передадутъ ему великія чувствованія, произведшія ихъ. Такъ искусство не даетъ умирать ничему, что составляетъ честь и достоинство человѣческаго сердца.

Никитенко.

Жуковскій, какъ наставникъ Александра II.

Съ 1815 года начинаются близкія отношенія Жуковскаго къ царской семьѣ: онъ былъ назначенъ сначала чтецомъ при императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, а затѣмъ преподавателемъ русскаго языка великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ (1817 г.). „Романъ моей жизни оконченъ, — писалъ онъ по этому случаю Тургеневу. — теперь начинается исторія“... Жуковскій, однакоже, не сразу рѣшился занять предложенное ему мѣсто при дворѣ: онъ медлилъ и колебался, опасаясь потерять независимость положенія, безъ которой онъ считалъ невозможнымъ оставаться писателемъ, и только совѣты друзей (гр. Уварова, Тургенева и др.) склонили его сдѣлать рѣшительный шагъ, а познакомившись съ условіями его служебныхъ отношеній и придворной среды, нашелъ, что онъ можетъ оставаться тѣмъ же, чѣмъ былъ и къ чему стремился въ продолженіе всей его предшествующей дѣятельности. „Должность, мнѣ порученная, есть счастливая должность, — писалъ онъ, — счастливая не по тѣмъ выгодамъ, которыя могутъ быть соединены съ нею, но по той дѣятельности, которой она меня подчиняетъ. Для поэта это главное“. Его царственная ученица, будущая мать

Царя-Освободителя, была талантливая, образованная, одаренная богатымъ художественнымъ вкусомъ женщина и, конечно, могла оказать лишь самое благородное вліяніе на его поэтическую дѣятельность. „Знакомство в. к. Александры Өеодоровны съ нѣмецкою литературой, — по словамъ покойнаго Грота, — ея любовь къ поэзіи, ея тонкій вкусъ, ея рѣдкая любознательность и сочувствіе ко всему прекрасному послужили для счастливаго наставника ея сильнымъ побужденіемъ къ продолженію его поэтической дѣятельности по тому же пути, на которомъ онъ давно стоялъ. Можно даже сказать, что обученіе сдѣлалось взаимнымъ: безъ просвѣщенныхъ указаній и внушеній своей высокой ученицы Жуковскій не перевелъ бы многаго, что составило лучшіе цвѣтки въ вѣнкѣ его славы“.. Такимъ образомъ, никакого перерыва въ художественно-поэтической дѣятельности Жуковскаго, при его новомъ и высокомъ служебномъ положеніи, не было и не могло быть. Главнѣйшей задачей его въ занятіяхъ съ августѣйшей ученицей-нѣмкой было познакомить ее съ красотою, богатствомъ и разнообразіемъ русскаго языка, который долженъ былъ сдѣлаться для нея роднымъ, открыть для нея въ языкѣ и литературѣ такія же сокровища и красоты, какія она находила въ своемъ родномъ. И онъ, какъ никто другой тогда въ Россіи, дѣйствительно, могъ взять на себя и съ полнымъ успѣхомъ выполнить такое важное и трудное дѣло, и выполнилъ его съ полной любовью и увлеченіемъ, какъ поэтъ и какъ сердечнѣйшій человѣкъ, который вскорѣ сдѣлался въ полномъ смыслѣ „своимъ“ и въ царской семьѣ. Занятія его носили характеръ живыхъ, полныхъ интереса бесѣдъ, а не школьныхъ уроковъ, хотя имъ и была составлена для уроковъ русская граматика (на франц. яз.: „Esquisse de grammaire russe. S.-Peters. 1818“). По желанію своей ученицы, Жуковскій переводилъ на русскій многія стихотворенія Шиллера, Гёте, Уланда, Гебеля, которыя сперва были напечатаны маленькими тетрадями на двухъ языкахъ, съ надписью на обертке: „Für Wenige — Для немногихъ“. Онъ былъ просто „очарованъ“ своей воспитанницей, какъ писалъ Карамзину (въ мартѣ 1818 г.), найдя въ ней родственную ему романтическую душу. Подъ впечатлѣніемъ ея душевной красоты и сердечнаго пріема, котораго онъ былъ удостоенъ при дворѣ, даже и сердечное

горе поэта, которое онъ переживалъ въ то время, повидимому, начинало умолкать. Онъ такъ описываетъ свою ученицу и ея отношенія къ нему въ одномъ изъ стихотвореній, относящихся къ тому времени:

Смотритъ... ангеломъ прекраснымъ
Кто-то свѣтлый прилетѣлъ,
Улыбнулся, взоромъ яснымъ
Подарилъ и въ лодку сѣлъ:
И запѣлъ онъ пѣснь надежды...
... проникла радость,
Прежней вѣры тишина,
И какъ будто снова младость
Съ упованьемъ отдана. (Стих. „Жизнь“.)

Вступленіе въ придворныя сферы и высокое положеніе, занятое Жуковскимъ, нисколько не измѣняли его прежнихъ постоянно любовныхъ, высоко-благородныхъ и гуманныхъ отношеній къ людямъ, къ ближнимъ и дальнимъ, ко всѣмъ, кто имѣлъ случай или надобность обращаться къ нему, и напрасно его друзья выражали опасеніе, что онъ „превратился въ придворнаго“. „Жуковскій не сдѣлался придворнымъ въ дурномъ смыслѣ этого слова, пишетъ его біографъ и другъ Зейдлицъ, — но сохранилъ свою высокую нравственность, свое прямодушіе и благородство. Онъ остался вѣрнымъ другомъ для старыхъ и новыхъ друзей; вліяніями новыхъ знакомствъ пользовался онъ не для своихъ выгодъ, но чтобы помочь бѣднымъ, дать дорогу молодымъ талантамъ, распространить вкусъ къ изящному и къ наукамъ. Можно составить не малый списокъ лицъ, которымъ онъ оказывалъ важныя услуги словомъ и дѣломъ“. А по воспоминаніямъ Смирновой, въ „Запискахъ“ которой Жуковскому отведено самое видное мѣсто, на ряду съ Пушкинымъ, — на лѣстницѣ, ведущей къ его квартирѣ, ежедневно толпилась масса просителей, и онъ не отказывалъ ни одному; достаточно сказать, что въ одинъ годъ онъ роздалъ бѣднымъ 18.000 руб. ассигнаціями. Словомъ, Жуковскій и во дворцѣ всегда оставался такимъ же прекраснѣйшимъ и добрымъ человѣкомъ, какимъ былъ на родинѣ, въ Бѣлевѣ, когда отдалъ въ приданое своей племянницѣ А. А. Протасовой, выходившей замужъ за Воейкова, всѣ имѣвшіяся у него деньги, и потому князь Вязем-

скій совершенно справедливо писалъ объ немъ въ своихъ стихахъ, что онъ —

Во дворѣ былъ отрокомъ Бѣлева,
Онъ вѣру и мечты и кротость сохранилъ,
И дѣвственной души онъ ни лукавствомъ слова
Ни тѣнью трусости, дитя, не пристыдилъ...

Такимъ былъ поэтъ Жуковскій, когда 17 апрѣля 1818 года кремлевскія пушки извѣстили жителей первопрестольной столицы о рожденіи первенца у великаго князя Николая Павловича — о рожденіи Царя-Освободителя, и когда тотъ же Жуковскій, преподававшій русскій языкъ его матери и при посредствѣ русскаго слова вводившій ее въ русскую жизнь и въ міръ русской души, привѣтствовалъ его появленіе на свѣтъ извѣстными стихами, пророчески возвѣстившими о его высокомъ и славномъ призваніи, въ подготовленіи къ которому самому поэту пришлось принять ближайшее, непосредственное и благотворное участіе, — тогда уже, въ этихъ привѣтственныхъ стихахъ, онъ напутствовалъ его появленіе въ свѣтъ въ Москвѣ — сердцѣ Россіи — такими „поучительными“ стихами:

Пускай тебѣ (матери высоконоворожденнаго
во слѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ на путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: человѣкъ.
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага всѣхъ — свое позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Смиреніемъ дѣла свои читать...

Черезъ семь лѣтъ послѣ этого, при вступленіи на престолъ императора Николая Павловича, Жуковскій былъ избранъ и назначенъ наставникомъ этого царственнаго младенца, котораго при рожденіи встрѣтилъ такимъ привѣт-

ствіемъ, и потому, можно сказать, что съ первыхъ же минутъ жизни Царя-Освободителя и во всѣ годы его ученія и обученія Жуковскій находился при немъ, былъ съ нимъ или вблизи него всей душою.

В. Н. Карамзинъ, въ запискѣ, поданной Императору Александру I, выразилъ горячее желаніе русскихъ людей того времени: „О, дай Богъ, чтобы когда-нибудь русскіе воспитывали великихъ князей нашихъ! Желаю сего счастія милому Александру Николаевичу!“ И это желаніе исполнилось, когда Жуковскій, а съ нимъ Арсеньевъ и нѣкоторые другіе изъ русскихъ были назначены (въ 1825 г.) наставниками наслѣдника престола, будущаго царя Александра II. Жуковскій, независимо отъ того положенія, какое онъ занималъ при государынѣ, былъ уже до нѣкоторой степени подготовленъ къ принятію предложеннаго ему новаго высокаго назначенія. Въ письмѣ къ императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ изъ Дрездена, отъ 2 окт. 1827 г., онъ писалъ: „Вамъ извѣстно, Государыня, что я никогда не думалъ искать того мѣста, которое я занимаю нынѣ при великомъ князѣ. Вашему Величеству угодно было сперва возложить на меня обязанность передать нѣкоторыя первоначальныя познанія Вашему сыну, во время Вашего послѣдняго путешествія изъ Россіи. Я слѣдовалъ извѣстной опредѣленной системѣ, которую съ тѣхъ поръ усовершенствовалъ; мои старанія увѣнчались успѣхомъ, и я убѣдился, что обладаю нѣкоторой способностью преподавать такимъ образомъ, чтобы привязывать воспитанника къ труду, развивать его умъ и внушать ему охоту къ занятіямъ“. Тѣмъ не менѣе, съ трепетомъ и съ глубокой обдуманностію рѣшился онъ принять сдѣланное ему предложеніе, сознавая со всею ясностію и отчетливостію великую отвѣтственность, какая имъ возлагалась на него. „Помолитесь за меня, — писалъ онъ А. П. Елагиной, — на рукахъ моихъ теперь важное и прекрасное дѣло, и ему одному посвящены всѣ минуты и мысли. Стихамъ нѣтъ некогда“... „Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно [illegible] не думавши, не гадавши, я сдѣлался наставникомъ Наслѣдника Престола. Какая забота и отвѣтственность (ре[illegible]: *наставникомъ*, а не воспитателемъ. За не[illegible] я никогда бы не позволилъ себѣ взяться.) Цѣль [illegible] цѣлой остальной жизни. Чувствую ея важность и всѣми

мыслями стремлюсь къ ней. До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но кругъ дѣйствій постоянно будетъ расширяться. Занятій множество. Надобно учить и учиться, и время захвачено. Прощай навсегда поэзія съ рифмами. Поэзія другого рода со мною, мнѣ одному знакомая, понятная для одного меня, но для свѣта безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь". „Работы у меня много, — писалъ онъ изъ-за границы въ 1827 году, куда ѣздилъ лѣчиться, — на рукахъ моихъ важное дѣло. Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имѣю права и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое. По плану ученія великаго князя, *мною составленному*, все лежитъ на мнѣ. *Всѣ соображенія должны сходиться съ моею*, которая есть пунктъ соединенія; другіе учители должны быть только дополнителями и репетиторами. Можете изъ этого заключить, сколько мнѣ нужно приготовиться, чтобы лекціи могли итти безъ всякой остановки. Съ этой стороны болѣзнь моя (для излѣченія отъ которой онъ и ѣздилъ за границу) есть для меня благодѣяніе: она дала мнѣ цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ свободныхъ, и я провелъ ихъ... посвятивъ свои мысли одной главной, около которой вся моя дѣятельность вертѣлась. И теперь — это рѣшено на весь остатокъ жизни. У меня въ душѣ одна мысль, все остальное къ этой царствующей. Могу сказать, что настоящая положительная моя дѣятельность считается только съ той минуты, въ которую я вошелъ въ тотъ кругъ, въ который теперь заключенъ. Прежде моя жизнь была dans la vague; теперь я знаю, къ чему ведетъ она. Поэзія мною не покинута, хотя я пересталъ писать, хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механическими"... Воспитателемъ цесаревича Жуковскій предлагалъ назначить гр. Каподистріо, между прочимъ, и потому, что „онъ нашего вѣроисповѣданія, а это предметъ весьма существенный", но Николай Павловичъ предпочелъ ему Мердера, и Жуковскій писалъ государынѣ-матери (1 іюля 1827 г.): „Вашъ сынъ, Государыня, переданъ нынѣ на попеченіе двухъ лицъ, изъ которыхъ каждому предназначена особенная обязанность. На Мердера возложено нравственное воспитаніе; мнѣ поручено наблюденіе за учебною частью... Мердеру хорошо знакомъ дѣтскій міръ: онъ самъ отецъ, онъ имѣлъ уже надзоръ за чужими

дѣтьми; у него характеръ твердый и, что весьма важно, чрезвычайно ровный, такъ что онъ въ состоянiи выполнять свой долгъ съ постоянствомъ и выполнять его такъ, чтобы онъ не былъ ни тягостенъ для него ни обременителенъ для его воспитанника. Такой человѣкъ драгоцѣненъ, и мы весьма счастливы, что имѣемъ его"...

Жуковскiй дѣлалъ и сдѣлалъ, кажется, рѣшительно все, что возможно было при тогдашнихъ условiяхъ и въ его положенiи... Имъ былъ составленъ „Планъ обученiя", въ первыхъ же пунктахъ котораго онъ указываетъ, въ какомъ духѣ и направленiи онъ ставилъ его. „Цѣль *воспитанiя* вообще, — читаемъ здѣсь, — и *ученiя*, въ особенности, есть *образованiе для добродѣтели*. *Воспитанiе* образуетъ для добродѣтели: 1) пробужденiемъ, развитiемъ и сбереженiемъ *добрыхъ* качествъ, данныхъ природою, дѣйствуя на умъ и сердце и заставляя ихъ дѣйствовать; 2) образованiемъ изъ сихъ качествъ *характера нравственнаго*, обращая добро въ привычку и прикрѣпляя привычку правилами разума, воспламененiемъ сердца и силою религiи; 3) *предохраненiемъ отъ зла*, устраняя все вредное, могущее ослабить естественную склонность къ добру, и содержа душу, сколько возможно, въ спасительной неприкосновенности ко злу; 4) искорененiемъ злыхъ побужденiй и наклонностей, препятствуя имъ обратиться въ привычку и побѣждая вредныя привычки добрыми. *Ученiе образуетъ для добродѣтели*, знакомя питомца: 1) съ тѣмъ, что окружаетъ его; 2) съ тѣмъ, что онъ есть; 3) съ тѣмъ, что онъ быть долженъ, какъ существо нравственное; 4) съ тѣмъ, для чего онъ предназначенъ, какъ существо безсмертное. Въ постепенномъ расширенiи сихъ четырехъ вопросовъ заключается весь планъ ученiя"... Представляя свой „Планъ" на Высочайшее разсмотрѣнiе, Жуковскiй открыто и прямо просилъ только одного — „право и полную свободу дѣйствовать", заявляя, что — „не отвѣчая за свои способности, отвѣчаетъ за любовь къ дѣлу" и что задача его скромная — „дѣйствовать на нравственность великаго князя однимъ только образованiемъ его мыслей"...

Въ высокой степени интересны и важны мысли и взгляды Жуковскаго, выраженные имъ въ дополненiе и въ поясненiе его „Плана". Это, въ нашей литературѣ прямо „перлы",

драгоцѣнности и золотыя слова, — слова мысли, чувства, желаній и... идеаловъ русской народной души. Послушайте...

„Его Высочеству нужно быть не ученымъ, а просвѣщеннымъ. Просвѣщеніе должно познакомить его со всѣмъ тѣмъ, что въ его время необходимо для общаго блага и, въ благѣ общемъ, для его собственнаго. Просвѣщеніе въ истинномъ смыслѣ есть многообъемлющее знаніе, соединенное съ нравственностію. Человѣкъ знающій, но не нравственный — будетъ вредить, ибо худо употребитъ извѣстные ему способы дѣйствія. Человѣкъ нравственный, но невѣжда — будетъ вредить, ибо и съ добрыми намѣреніями не будетъ знать способовъ дѣйствія. Просвѣщеніе соединитъ знанія съ правилами. Оно необходимо для частнаго человѣка, ибо каждый на своемъ мѣстѣ долженъ знать, что дѣлать и какъ поступать. Оно необходимо для народа, ибо народъ просвѣщенный болѣе привязанъ къ закону, въ которомъ заключается его нравственность и къ порядку, въ которомъ заключается его благоденствіе и безопасность. Оно необходимо для народоправителя, ибо одно оно даетъ способы властвовать благотворно... Сокровищница просвѣщенія царскаго есть исторія, наставляющая опытами прошедшаго и предсказывающая будущее. Она знакомитъ Государя съ нуждами его страны и его вѣка. Она должна быть главною наукою Наслѣдника Престола. Исторія, освѣщенная религіей, воспламенитъ въ немъ любовь къ великому, стремленіе къ благотворной славѣ, уваженіе къ человѣчеству, и дастъ ему высокое понятіе о его санѣ... Уважай законъ и научи уважать его своимъ примѣромъ: законъ, пренебрегаемый Царемъ, не будетъ хранимъ и народомъ. Люби и распространяй просвѣщеніе: оно — сильнѣйшая подпора благонамѣренной власти; народъ безъ просвѣщенія есть народъ безъ достоинства; имъ кажется легко управлять только тому, кто хочетъ властвовать для одной власти, — но изъ слѣпыхъ рабовъ легче сдѣлать свирѣпыхъ мятежниковъ, нежели изъ подданныхъ просвѣщенныхъ, умѣющихъ цѣнить благо порядка и законовъ. Уважай общее мнѣніе: оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его, ибо строжайшій и безпристрастный судія исполнителей его воли; мысли могутъ быть мятежны, когда правительство притѣснительно или безпечно; общее мнѣніе всегда на сто-

ронѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе, ибо въ немъ и милосердіе царей и свобода народовъ; свобода и порядокъ — одно и то же; любовь Царя къ свободѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ. Владычествуй не силою, а порядкомъ: истинное могущество Государя не въ числѣ его воиновъ, а въ благоденствіи народа. Будь вѣренъ слову: безъ довѣренности нѣтъ уваженія, неуважаемый безсиленъ. Окружай себя достойными помощниками: слѣпое самолюбіе Царя, удаляющее отъ него людей превосходныхъ, предаетъ его на жертву корыстолюбивымъ рабамъ, губителямъ его чести и народнаго блага. Уважай народъ свой: безъ любви Царя къ народу нѣтъ любви народа къ Царю. Не обманывайся насчетъ людей и всего земного, но имѣй въ душѣ идеалъ прекраснаго — вѣру добродѣтели! Сія вѣра есть вѣра въ Бога"...

Жуковскій весь въ этихъ словахъ — и какъ поэтъ, и какъ человѣкъ, и какъ наставникъ будущаго великаго царя, русскаго царя...

Изложить начало, веденіе и общій ходъ всего педагогическаго дѣла, въ которомъ выступалъ и выступилъ Жуковскій при воспитаніи и обученіи наслѣдника престола, будущаго государя Александра II, — дѣло исторіи, для которой еще, можетъ-быть, не наступило время. Но одинъ эпизодъ изъ этой исторіи, хотя также ожидающій большихъ разъясненій, считаемъ возможнымъ указать: это отношеніе къ Г. П. Павскому, законоучителю, профессору нашей академіи, замѣненному потомъ Бажановымъ. Выборъ преподавателей и всѣ отношенія къ дѣлу ученія и обученія находились въ зависимости отъ Жуковскаго, и онъ всей душой былъ радъ, когда въ лицѣ Павскаго усмотрѣлъ онъ человѣка, въ которомъ думалъ найти и сердце... и все святое для предназначавшагося ему великаго дѣла. Въ 1827 г. Павскій представилъ свой планъ „Обученія Закону Божію", и Жуковскій писалъ по этому случаю: „Сердце мое сильно билось при чтеніи его сочиненія, изложеннаго съ ясностью, простотою и послѣдовательностью. Въ немъ сіяетъ свѣтъ прекрасной души. Мы можемъ поздравить себя съ сдѣланнымъ выборомъ (писано къ Государынѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ). Павскій кажется мнѣ человѣкомъ способнымъ имѣть прекрасное вліяніе на нашего дорогого отрока. Если искать

только ученаго богослова, учителя въ наукѣ, мы ничего въ немъ не найдемъ. Для вѣроученія, для нашего отрока, для будущаго его жребія, нужна сердечная вѣра, нужна высокая идея о Промыслѣ, управляющемъ его жизнію, просвѣщенная вѣра и терпимость, сохраняющая уваженіе къ человѣчеству... Павскій кажется мнѣ обладающимъ всѣмъ, что нужно для внушенія подобной идеи нашему дорогому ученику. Чтеніе записки исполнило меня почтеніемъ къ нему, завоевало у меня ему дружбу. Его знанія кажутся мнѣ чрезвычайно выгодными самому мнѣ". Свой личный взглядъ по вопросу о „законоучительствѣ" онъ тогда же прямо и опредѣленно высказывалъ, какъ человѣкъ глубоко вѣрующій и убѣжденный... „Для его будущей судьбы (судьбы Государя) требуется религія сердца. Ему необходимо имѣть высокое понятіе о Промыслѣ, чтобы оно могло руководить всею его жизнію, религію просвѣщенную, благодушную, проникнутую уваженіемъ къ человѣчеству... Понятіе о верховномъ судилищѣ, объ отвѣтственности предъ Верховнымъ Судіею, неразлучное съ уваженіемъ къ мнѣнію человѣческому, которое въ общемъ своемъ значеніи есть не что иное, какъ то же божественное судилище, — это понятіе должно всецѣло овладѣть душою будущаго Государя. Оно одно можетъ возвысить Его призваніе... научить его царствовать для блага народа, а не ради Своего могущества"...

Изъ отдѣльныхъ предметовъ, назначенныхъ для прохожденія съ наслѣдникомъ престола, Жуковскій въ своей „Запискѣ" къ „Плану" обученія обращалъ особенное вниманіе, кромѣ Закона Божія и исторіи, на необходимость изученія латинскаго языка, какъ потому, что „латинскій языкъ есть отецъ большей части европейскихъ" (языковъ), такъ и потому, что въ немъ, по его мнѣнію, „одно изъ дѣйствительныхъ средствъ для развитія умственныхъ способностей, а въ классикахъ латинскихъ источникъ истиннаго просвѣщенія". Самъ Жуковскій изучалъ латинскій языкъ уже по выходѣ изъ школы, когда занялся изученіемъ исторіи и задумалъ было написать историческую поэму „Владиміръ" (подъ вліяніемъ историческихъ работъ Карамзина); но всегда признавалъ за классическими языками важное образовательное значеніе, имѣя въ виду, конечно, литературу и школу на Западѣ...

Обученіе велось по методѣ Песталоцци, съ которой Жуковскій основательно познакомился за границей, подготовляясь къ порученному ему великому дѣлу, и Жуковскій, всей душой отдавшись этому дѣлу, руководилъ и направлялъ его къ достиженію — во всѣхъ отношеніяхъ — самыхъ наилучшихъ результатовъ. При этомъ обученіе находилось или, по крайней мѣрѣ, онъ постоянно стремился вести его въ тѣсной, органической связи съ воспитаніемъ, въ которомъ полагалъ онъ основу и корень настоящаго христіански-гуманнаго образованія. Воспитателемъ былъ Мердеръ, дѣйствовавшій въ полномъ согласіи и единодушіи съ Жуковскимъ, какъ наставникомъ и руководителемъ обученія. Когда Мердеръ умеръ, за нѣсколько дней до принесенія присяги ихъ царственнымъ ученикомъ и воспитанникомъ (22 апр. 1831 г.). Жуковскій далъ такой отзывъ объ немъ и о той образовательно-воспитательной обстановкѣ, въ которой проходили годы обученія Царя-Освободителя. „Десять лѣтъ, проведенныхъ имъ (Мердеромъ) при великомъ князѣ (съ 1824 г.), пишетъ онъ, — конечно, оставили глубокіе слѣды на душѣ его воспитанника; но въ данномъ имъ воспитаніи не было ничего искусственнаго: вся тайна состояла въ благодѣтельномъ, тихомъ, но безпристрастномъ дѣйствіи души его, — дѣйствіи, которое можно сравнить съ благорастворенiемъ воздуха, необходимымъ для жизни и полнаго развитія растеній. Его питомецъ былъ любимъ нѣжно, жилъ подъ святымъ вліяніемъ прямодушія, честности, благородства; онъ окруженъ былъ порядкомъ; самая строгость съ нимъ принимала выраженіе нѣжности; онъ слышалъ одинъ голосъ правды, видѣлъ одно безкорыстіе, — могла ли душа его, отъ природы благородная, не сохраниться свѣжею и непорочною, могла ли не полюбить добра, могла ли въ то же время не пріобрѣсти уваженія къ человѣчеству, столь необходимаго во всякой жизни, особливо въ жизни близъ трона?... Будемъ же радоваться, что душа Наслѣдника Россіи на разсвѣтѣ своемъ встрѣтилась и *породнилась съ прекрасною душою* Мердера..." Но, безъ сомнѣнія, еще большее вліяніе въ этомъ направленіи имѣла, поистинѣ, „прекрасная душа" самого Жуковскаго — его идеально-возвышенная личность и тѣ основныя воззрѣнія на человѣка, въ духѣ которыхъ онъ не только руководилъ обученіемъ — умственнымъ развитіемъ, путемъ

пріобрѣтенія и усвоенія познаній, и прямо воспитывалъ своего ученика. Еще въ своей школьной „Рѣчи на акты" (1798 г.) съ юношеской страстностію начинающаго поэта-романтика взывалъ онъ о необходимости соединять „просвѣщеніе съ добродѣтелью": „Просвѣщеніе и добродѣтель! — восклицаетъ онъ въ этой рѣчи, — соединимъ ихъ неразрывнымъ союзомъ, да царствуютъ они совокупно въ душахъ нашихъ. Къ сему должны стремиться всѣ мысли и дѣла наши". Быть совершеннымъ въ нравственномъ отношеніи, быть нравственно-прекраснымъ и стремиться ко всему высокому и прекрасному въ мысляхъ, въ чувствахъ и дѣйствіяхъ — вотъ къ чему должно вести настоящее христіанское просвѣщеніе. Но для этого прежде всего требуется искренняя и глубокая вѣра въ Бога, которую человѣкъ долженъ воспитать и непрестанно воспитывать и имѣть въ себѣ. Въ статьѣ „Аксіомы" относительно „вѣры и знанія", относящейся къ 1846 г., Жуковскій пишетъ: „Основная истина, корень всѣхъ истинъ, которой мы ни постигнуть, ни указать умомъ, ни вполнѣ выразить словомъ не можемъ: *Богъ существуетъ*. Богъ — самостоятельное, личное, самосознающее бытіе, источникъ всякаго бытія, невидимый видимаго создатель... Богь есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота; все противорѣчащее добру, правдѣ, истинѣ, красотѣ, есть отрицаніе Бога. Основаніе всякаго добра, всякой правды, истины и красоты въ душѣ человѣка есть вѣра въ Бога. Изъ вѣры въ Бога исходитъ всякое добро, всякая истина, всякая правда и красота. Сія вѣра, выражаемая словомъ: *Богъ существуетъ*, есть основная аксіома, главное передовое положеніе, первая точка отбытія, съ которой долженъ начинаться путь нашихъ умствованій, дабы мы могли достигнуть до вѣрнаго результата". „Цѣль воспитанія, — говоритъ онъ въ другой статьѣ, относящейся къ тому же времени, — есть та же, какъ и цѣль жизни человѣческой. Сама жизнь здѣшняя не иное что, какъ воспитаніе для будущей, а вся будущая — не иное что, какъ безконечное воспитаніе для Бога. Что есть назначеніе человѣка на землѣ? Въ одномъ словѣ: возстановленіе падшаго въ немъ образа Божія. Воспитаніе должно въ первые годы жизни сдѣлать его способнымъ пройти нѣсколько шаговъ впослѣдствіи для достиженія этой цѣли

Итакъ, человѣкъ образуется здѣсь воспитаніемъ не для ученія, не для успѣха въ обществѣ, не для особеннаго какого-нибудь званія *или не для богатства*; онъ образуется для вѣры въ Бога (для вѣры христіанской) и *[illegible] примѣненія [illegible]* (въ чемъ истинная человѣческая свобода). И изъ этого истекаетъ всякое другое счастіе, успѣхъ, нравственность, добродѣтель... Воспитаніе должно образовать человѣка, гражданина, христіанина. Человѣкъ — здоровая душа въ здоровомъ тѣлѣ. Гражданинъ — нравственность, просвѣщеніе, искусства, самостоятельность. Христіанинъ — подчиненіе всего человѣка вѣрѣ" (тамъ же, стр. 944)... А вотъ какъ Жуковскій смотрѣлъ на значеніе науки, знанія и умственнаго развитія: „Все здѣсь, — пишетъ онъ въ статьѣ — „Наука" (1846—47 г.), — отъ высокаго, многообъемлющаго знанія, пріобрѣтеннаго дѣятельностію испытующаго генія, до мелкаго, мгновеннаго удовольствія чувственности — принадлежитъ скоропреходящему (называя это скоропреходящее мгновеніемъ или вѣкомъ). Душѣ (я говорю о душѣ, взятой отдѣльно) принадлежитъ одно *[illegible] вѣчное*, то, что существуетъ внѣ пространства и времени, что, будучи извлечено изъ науки, остается въ душѣ ея самобытною, неотъемлемою, съ нею слитною существенностію, независимо какъ отъ самой науки, такъ и отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, временную нашу жизнь составляющихъ. Это вѣчное есть Богъ, источникъ и предметъ великаго знанія. Всякій шагъ впередъ науки долженъ быть шагомъ, приближающимъ къ Богу, новымъ откровеніемъ въ таинствѣ нашихъ вѣчныхъ къ нему отношеній. Все, что мы *здѣсь* знаемъ, принадлежа здѣшней жизни и изъ нея истекая, здѣсь съ нею и остается, но итогъ нашихъ знаній, элементъ ихъ животворящій, то, что въ нихъ принадлежитъ исключительно душѣ и съ нею вмѣстѣ уйдетъ изъ здѣшней жизни, это есть наше *знаніе Бога и знаніе нашихъ къ Нему* отношеній"...

Изъ этихъ разсужденій, передающихъ задушевныя убѣжденія и взгляды Жуковскаго, вполнѣ видно, что составляло основное, руководящее начало въ его учебно-педагогической дѣятельности при воспитаніи и обученіи цесаревича, наслѣдника престола. Къ этому нужно прибавить горячую любовь, которою онъ былъ проникнутъ въ отношеніяхъ къ своему царственному ученику и при которой единственно

читалъ возможнымъ достигнуть успѣшнаго выполненія пред начертаннаго имъ „плана“. И успѣхъ оправдалъ пламенныя желанія и надежды Жуковскаго: Царь-Освободитель, по своей возвышенно-благородной душѣ, исполненной просвѣщенно-гуманныхъ чувствъ и стремленій, во всей его царственной жизни былъ истиннымъ и достойнымъ ученикомъ столь горячо любившаго его наставника и поэта — христіанина.

Въ 1834 г., на Пасхѣ, послѣдовало въ Москвѣ торжество присяги наслѣдника. Объ этомъ событіи сохранилось воспоминаніе ближайшаго очевидца, митрополита московскаго Филарета. „Какъ теперь еще вижу я, пишетъ онъ, сей прекрасный вечеръ, поистинѣ достойный дня Христова. Среди величественнаго храма, среди пѣснопѣній и молитвъ предъ открытымъ алтаремъ Воскресшаго, на минуту прерванныхъ, къ открытому слову жизни, къ спасительному кресту Христову, царь настоящій ведетъ юнаго царя будущаго, между тѣмъ, какъ вѣнецъ, и скипетръ, и держава, какъ знаменія будущаго, покоятся о страну. Сколько важныхъ мыслей можно прочитать въ семъ зрѣлищѣ, когда оно еще безмолвствуетъ!... Могу вамъ свидѣтельствовать, что... сладостно-чудною явилась наша безцѣнная жертва, орошенная всеобщими слезами любви, радости и молитвы, дабы нисшелъ на нее животворный огнь благословенія свыше“... Жуковскій написалъ къ этому дню „Народный гимнъ“ (въ томъ именно видѣ, въ какомъ мы имѣемъ его теперь), „Многолѣтіе“ и „Пѣснь на присягу“, при чемъ съ сердечной радостію обращался къ своему питомцу:

„Смѣнялся быстро годомъ годъ:
Онъ бросилъ дѣтскую одежду,
И въ Немъ привѣтствуетъ народъ
Россіи свѣтлую надежду...
Въ храмъ Божій входитъ царскій Сынъ,
И руку къ небесамъ подъемлетъ!
Предъ Нимъ Отецъ и Властелинъ;
Присягу Сына Царь пріемлетъ;
Съ благословеніемъ вонми
Словамъ души его младыя,
И къ небу руку подыми
Съ нимъ вмѣстѣ, вѣрная Россія!

Спустя нѣсколько дней послѣ этого торжества, въ письмѣ къ Дмитріеву. Жуковскій говорилъ, что „это была возвы-

шенная, трогательная минута. *Имъ* всѣ радуются, и это глубоко меня радуетъ. Дай Богъ, чтобы Его жизнь вся была похожа на этотъ первый важный день Его дѣйствительной жизни". Но всего лучше видно, чѣмъ былъ онъ для своего ученика, какъ любилъ Его и чему наставлялъ на своихъ урокахъ, — видно изъ нижеслѣдующаго „разсужденія" Жуковскаго, написаннаго имъ въ альбомѣ, который былъ подаренъ ему наслѣдникомъ прусскимъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, а имъ былъ подаренъ и поднесенъ цесаревичу Александру Николаевичу въ торжественный день его совершеннолѣтія на Пасхѣ, 22 апрѣля 1834 г. Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ этого, только-что обнародованнаго въ „Русской Старинѣ", интереснѣйшаго „разсужденія" — документа...

„Христосъ воскресе! Въ этомъ словѣ заключается вся судьба человѣка, и то, что онъ нѣкогда былъ, и то, что онъ можетъ быть на землѣ, и то, къ чему предназначенъ за гробомъ. Всякое земное величіе исчезаетъ предъ величіемъ этого слова, всякое земное несчастіе уничтожается передъ его небеснымъ утѣшеніемъ, всякое истинное сокровище души становится въ немъ неизмѣннымъ, прямо нашимъ, на всю жизнь и далѣе жизни. Оно возвышаетъ нашъ умъ въ вѣру, наше чувство въ надежду, нашу волю въ любовь, оно даруетъ человѣку его прямое достоинство: смиреніе.

„Христосъ воскресе! Этимъ благовѣстительнымъ словомъ встрѣтилъ васъ народъ московскій въ минуту вашего рожденія. То былъ день прекрасный.

„Христосъ воскресе! Это благовѣстительное слово встрѣтило васъ при входѣ вашемъ въ храмъ, гдѣ надлежало совершиться вашему первому рѣшительному дѣйствію, вашей присягѣ. — Но что же и весь міръ, какъ не храмъ Божій? Что наша жизнь, какъ не всегдашняя присяга передъ Богомъ? А въ жизни не все ли, безпрестанно, вездѣ и явно и тайно повторяетъ намъ: Христосъ воскресе!

„Ваша присяга произнесена, Богъ васъ слышитъ, теперь все свойство вашей жизни должно перемѣниться. Беззаботное ребячество кончилось, время спокойной безусловной покорности чужому руководству прошло, и хоть вамъ еще нельзя обойтись безъ помощи руководителей, но уже для васъ настала болѣе трудная пора произвольной покорности долгу; совѣсть вступила для васъ въ строгія права свои,

отвѣтственность за себя теперь вы приняли на самого себя, ибо вы ясно понимали то, что говорили передъ святымъ Евангеліемъ, въ присутствіи Государя и отца, передъ надѣющимся на васъ отечествомъ... Но вамъ остается еще нѣсколько лѣтъ свободныхъ, и ваша существенная теперь обязанность, ваша вѣрность данной присягѣ должна состоять единственно въ томъ, чтобы по совѣсти воспользоваться остающимися годами свободы, чтобы утвердить свой характеръ, дать зрѣлость ему, скопить необходимыя для будущаго знанія и правила поступковъ, чтобы, однимъ словомъ, приготовиться къ высокому своему назначенію..."

Жуковскій оставался наставникомъ цесаревича до самаго окончанія обученія, завершившагося образовательнымъ путешествіемъ вмѣстѣ съ нимъ и другими избранными лицами, сначала по Россіи, а потомъ за границей (въ 1841 г.). Послѣ этого онъ считалъ свое дѣло оконченнымъ и, осыпанный царскими милостями, уѣхалъ за границу, гдѣ — несмотря на преклонные годы — женился и остался до конца жизни, хотя душою постоянно былъ въ царской семьѣ и при своемъ ученикѣ, „миломъ Александрѣ Николаевичѣ", ведя съ нимъ и съ другими членами царской семьи сердечно-дружескую переписку. *Пономаревъ.*

Прежде чѣмъ приступить къ своему великому дѣлу, поэтъ-наставникъ представилъ государю планъ, раскрывая въ немъ не только пріемы, но и самую душу своего преподаванія. Какая тутъ разница съ тѣмъ, что заключалось въ инструкціи для воспитанія великихъ князей Александра и Константина Павловичей! Тамъ вполнѣ отразился сухой разсудочный духъ XVIII стол.: „Понеже дѣтямъ надлежитъ быть щедрыми, для того поваживать ихъ къ дѣлежу... увѣряя, что щедрый не останется безъ награжденія, и въ самомъ дѣлѣ щедрѣйшему дать вдвое"... „Да будетъ то, что̀ бабушка приказала, непрекословно исполнено; что̀ запретила... то чтобы казалось столько же трудно нарушить, какъ перемѣнить погоду по ихъ хотѣнью". У идеалиста Жуковскаго въ основу положено *сердце*, и самый авторитетъ отца опирается на *любовь*: „Его Высочество, — пишетъ онъ, — долженъ пріучиться дѣйствовать безъ награды: мысль объ отцѣ должна быть

его тайною совѣстью". Понятно, что отецъ, при такомъ взглядѣ наставника, долженъ былъ заранѣе знать все то, что̀ будетъ наставникъ внушать его сыну. Вотъ что̀ онъ будетъ ему внушать устами исторіи: „уважай народъ свой — тогда онъ сдѣлается достойнымъ уваженія. Люби народъ свой: безъ любви Царя къ народу нѣтъ любви народа къ Царю. Не обманывайся на счетъ людей и всего земного, но имѣй въ душѣ идеалъ прекраснаго — вѣрь добродѣтели! Сія вѣра есть вѣра въ Бога. Она защититъ душу твою отъ презрѣнія къ человѣчеству, столь пагубнаго въ правителѣ людей".

Ученіе выставляется въ планѣ Жуковскаго святымъ, ничѣмъ никогда ненарушимымъ дѣломъ. „Дверь учебной горницы, пишетъ онъ, — въ продолженіе лекцій должна быть неприкосновенна... изъ этого правила не должно быть ни для кого исключенія". Будущій наставникъ находитъ, что военныя упражненія могли бы „мѣшать и вредить ученію", если бы были соединены съ нимъ во всякое время; но они могли бы сдѣлаться новымъ, весьма дѣйствительнымъ средствомъ образованія, когда бы отдѣлились совершенно отъ остальнаго ученія и имъ бы отведено было лѣтнее время. „Чтобы военныя упражненія получили образовательное значеніе, — говоритъ нашъ поэтъ, — въ нихъ не должна быть одна механическая экзерциція солдата, безплодная, если не убійственная для нравственнаго человѣка... Наставникъ долженъ понимать, что здѣсь въ забавѣ дѣтской таится героизмъ мужа... Самъ онъ (это касается, конечно, уже другого — военнаго наставника великаго князя) долженъ быть не простымъ знатокомъ фронта, привыкшимъ видѣть въ солдатѣ одну машину, но просвѣщеннымъ знатокомъ военнаго дѣла, способнымъ понимать, что во власти его душа будущаго повелителя милліоновъ, можетъ-быть, назначеннаго нѣкогда стать передъ русскою арміею и рѣшить судьбу народовъ".

Въ письмѣ къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ Жуковскій высказывается въ томъ отношеніи еще съ большею откровенностью: „боюсь, чтобы пристрастіе къ военному не зашло къ намъ въ душу и многому не помѣшало. А *хорошія книги* вѣрнѣйшіе друзья частнаго человѣка и настоящіе совѣтники государей; онѣ не льстятъ, а заставляютъ мыслить и возбуждаютъ уваженіе ко всему человѣческому".

Но Жуковскій, кромѣ избытка военнаго духа, боялся еще и другого: того, правда, временнаго, но зато сильнаго впечатлѣнія, какое должна была произвести на наслѣдника коронація государя со всѣмъ ея блескомъ. Самъ Жуковскій не былъ въ то время въ Москвѣ, а лѣчился и готовился къ будущимъ трудамъ за границею. Вотъ что писалъ онъ оттуда Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ про своего питомца: „Свидѣтель этихъ народныхъ поклоненій, принимая въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти личное въ нихъ участіе, Онъ легко бы могъ себѣ усвоить нѣкоторыя незрѣлыя понятія о величіи, которыя, какъ несвоевременныя, могутъ вредить развитію свойствъ исключительно человѣческихъ, самыхъ драгоцѣнныхъ, единственныхъ, которыя, составляютъ истинное достоинство человѣка. Воспитаніе должно возвысить Его до предстоящаго Ему величія, но это будетъ возможно лишь тогда, когда Онъ будетъ въ состояніи понять, что это величіе, чтобы не быть прозрачнымъ, должно казаться Ему не правомъ Его, а долгомъ, священною религіею, великими узами, приковывающими человѣка, подобно Прометею, къ высокой скалѣ, откуда онъ можетъ ближе созерцать сводъ небесный, но гдѣ также существуетъ и коршунъ-мститель, готовый растерзать того, кто дерзнетъ посягнуть на права небесныя". Но Жуковскій успокоиваетъ себя тѣмъ, что если питомецъ его „видѣлъ великолѣпныя картины, то онъ видѣлъ также и простую любовь народа; она оставила глубокій слѣдъ въ его душѣ, поистинѣ чувствительный; не слѣдуетъ давать этому впечатлѣнію возможности изгладиться! На этой основѣ можно многое создать въ будущемъ".

Составленныя Жуковскимъ для своего августѣйшаго ученика „Черты исторіи Государства Россійскаго", конечно, навѣяны Карамзинымъ, но проводимая въ нихъ воспитательная идея прошла сквозь душу Жуковскаго. Исторія у него говоритъ *властителямъ*: „Будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ, идите съ нимъ вмѣстѣ: впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете — онъ васъ покинетъ; повлечете его быстро впередъ — низвергнете все и себя; осмѣлитесь преградить ему дорогу, онъ васъ раздавитъ. Ваша сила не въ вашей верховной власти и великихъ правахъ ея — она въ достоинствѣ вашего народа: униженъ онъ, унижены и вы; онъ страждетъ — вы ненавистны; тогда могущество ваше на пескѣ —

первый вѣтеръ его опрокинетъ". Но та же исторія говоритъ у нашего поэта *народамъ:* „Покорствуйте порядку; сносите съ достойною твердостью бремя настоящаго; свергнуть его силою — есть произвольно отворить жерло вулкана; лава его можетъ быть плодотворна, но для временъ отдаленныхъ; губить настоящее для пользы грядущаго есть преступленіе безумства, которое прихотливо зажигаетъ домъ свой въ надеждѣ, что изъ пепла его воздвигнется лучшій".

Разстроенное здоровье заставило нашего поэта въ 1832 г. на время прервать свое великое учебное дѣло. Привѣтствуя наслѣдника престола изъ-за границы съ новымъ 1833 г., онъ говоритъ: „Мы не знаемъ, какую судьбу приготовило намъ Провидѣніе въ здѣшнемъ свѣтѣ; но это не главное. Случаи жизни принадлежатъ одному Богу, наша душа принадлежитъ Ему и намъ; отъ насъ зависитъ, чтобы наша душа, посреди этихъ событій, посылаемыхъ намъ Создателемъ, сдѣлалась такою, какова она должна быть согласно со своимъ высокимъ происхожденіемъ и съ предназначенною ей цѣлью. Итакъ, поздравляю васъ съ новымъ годомъ, съ первымъ *годомъ надежды*". (Наслѣдникъ достигъ уже тогда перехода отъ отрочества къ юности.)

Незадолго до совершеннолѣтія наслѣдника, не стало у Жуковскаго главнаго его сотрудника въ дѣлѣ воспитанія, генерала Мердера. „Въ данномъ имъ воспитаніи, — писалъ тогда глубоко тронутый Жуковскій, — не было ничего искусственнаго; вся тайна состояла въ благодѣтельномъ, тихомъ, но безпрестанномъ дѣйствіи прекрасной души его, дѣйствіи, которое можно сравнить съ благорастворенiемъ воздуха"...

Точно будто Жуковскій писалъ тутъ и о самомъ себѣ!

Страшное горе постигло Жуковскаго передъ окончаніемъ его великаго наставническаго подвига. То было горе и цѣлой Россіи. Въ самый день своего рожденія — 29 января 1837 г., должно быть, только что закрывъ глаза нашему безвременно погибшему генію, Жуковскій послалъ своему царственному питомцу эти простыя, эти страшныя своей простотой строки:

„Пушкина нѣтъ на свѣтѣ. Въ два часа и три четверти пополудни онъ кончилъ жизнь тихо, безъ страданія, точно угаснулъ".

О. Миллеръ.

Родственныя черты музы Жуковскаго и Пушкина.

Не разсматривая всей дѣятельности Жуковскаго, пережившаго А. С. Пушкина и издававшаго его сочиненія съ собственными поправками, мы считаемъ необходимымъ остановиться на параллельномъ изложеніи жизни и дѣятельности В. А. Жуковскаго съ жизнію и дѣятельностью А. С. Пушкина. Здѣсь было много и общаго и противоположнаго, — что, какъ извѣстно, сближаетъ нерѣдко людей и образуетъ друзей.

Оба выдающіеся поэта первой половины настоящаго столѣтія одинаково были связаны по происхожденію съ Востокомъ — съ Турціей. Мать Жуковскаго была плѣнною турчанкой, занимавшей въ семействѣ тульскаго помѣщика Бунина, — отца Жуковскаго, получившаго отчество и фамилію отъ бѣднаго кіевскаго дворянина Андрея Жуковскаго, — положеніе ветхозавѣтной Агари. Но добрыя чувства соединяли эту старую русскую семью Буниныхъ, давшую, кромѣ нашего поэта такихъ литературныхъ дѣятелей, какъ Кирѣевскіе, Зонтагъ. Жуковскій такъ же, какъ и Пушкинъ, съ дѣтства былъ привязанъ къ женскому обществу; но школа не испортила его, не вызвала тѣхъ нечистыхъ увлеченій, какія пережилъ Пушкинъ. Въ душѣ Жуковскаго и въ московскомъ благородномъ пансіонѣ продолжала жить чистая нравственная привязанность къ тѣмъ „дѣвочкамъ“ — родственницамъ, съ которыми юный поэтъ провелъ дѣтство въ деревнѣ „въ златыхъ играхъ“. Быть можетъ, это была и та нравственная, философская атмосфера, которой недоставало въ замкнутомъ Царскомъ Селѣ, среди талантливыхъ знатныхъ юношей, явившихся изъ объятій домочадцевъ подъ сѣнь удаленнаго отъ столицы и надзора лицея. Въ Москвѣ же, напротивъ того, юноши окружены были преданіями Дружескаго общества, масоновъ, такихъ философовъ-педагоговъ, какъ Прокоповичъ-Антонскій, Тургеневъ и др. Въ этой атмосферѣ выросъ и молодой Карамзинъ, возбуждавшій въ концѣ XVIII в. и въ началѣ XIX, до переѣзда въ Петербургъ (1816 г.), вниманіе московскаго общества и молодежи своими журналами, сентиментальными нѣжными повѣстями, историческими воспоминаніями и множествомъ полезныхъ литературныхъ занятій. Жуковскій выросъ и развился въ школѣ

Карамзина и былъ его ближайшимъ преемникомъ, какъ въ литературѣ (баллады, изданіе „Вѣстника Европы“, литературныхъ сборниковъ, повѣстей, критическихъ статей и проч.), такъ и въ жизни (меланхолія и кротость, страсть къ литературному труду, самообразованію, патріотизмъ). И Карамзинъ велъ свой родъ съ Востока, какъ его современникъ пѣвецъ „Фелицы“ — Державинъ. Оба поэта XVIII в. были потомками татаръ Казанскаго царства. Кто ищетъ природныхъ національныхъ наклонностей, тотъ не упуститъ отмѣтить въ лицѣ четырехъ названныхъ русскихъ поэтовъ восточную мечтательность, силу слова и стиха, выражающихъ всю пылкость человѣческихъ страстей и всю глубину смиренія и упованія. Величайшіе русскіе писатели, каждый въ свое время, создали эпохи въ развитіи русскаго слова и поэзіи. Не будемъ упрекать родную дѣйствительность съ ея ограниченностью въ области духовныхъ интересовъ, съ преобладаніемъ влеченій къ матеріальной, такъ сказать, растительной дѣятельности, съ бѣдностью средствъ для внутренняго умственнаго развитія, но съ преданіями о высокихъ нравственныхъ и патріотическихъ подвигахъ — единственной почвой для самобытнаго духовнаго развитія. Отсюда такая зависимость и, можетъ-быть, неполнота литературнаго западно-европейскаго вліянія на Державина, Карамзина, Жуковскаго и даже Пушкина. И здѣсь опять черты различія между Жуковскимъ и Пушкинымъ. Жуковскій, какъ и Карамзинъ, отъ подражанія французскимъ писателямъ — баснописцамъ и лирикамъ — перешелъ къ поэтамъ нѣмецкимъ и англійскимъ; между тѣмъ какъ Пушкинъ глубоко всосалъ въ себя начала французской литературы съ ея философскимъ раціоналистическимъ направленіемъ, съ ея легкой эротической формой. Отсюда веселость, шутка Жуковскаго являлись въ глазахъ Пушкина наивностью, и самая грусть по утраченному счастью земли — прелестною ложью. Что касается отношеній къ Востоку, то только у Карамзина надо искать ихъ въ „Исторіи Государства Россійскаго“, а Державинъ, Жуковскій и Пушкинъ дали великолѣпные образцы восточнаго міровоззрѣнія и поэзіи въ своихъ безсмертныхъ твореніяхъ. Вспомните музу въ „Фелицѣ“, „Видѣніе Мурзы“, „Персидскую повѣсть, Рустемъ и Зорабъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, „Подражаніе Ко-

рану“, „Талисманъ“, „Анчаръ“, „Калмычка“, „Изъ Гафиза“, „Подражаніе арабскому“, — и вамъ не покажутся преувеличеніемъ пророческія слова нашего славнаго поэта въ „Памятникѣ“ 1836 года.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгусъ, и другъ степей калмыкъ.

Извѣстно, что Жуковскій измѣнилъ, по цензурнымъ условіямъ, по смерти Пушкина его „Памятникъ“ и отнесъ къ великому другу то, что Пушкинъ написалъ „Къ портрету Жуковскаго“ за 20 лѣтъ до своей смерти:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ.
Ср. Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль, и проч.

Думаемъ, что не преувеличимъ, если отнесемъ къ вліянію Жуковскаго и Пушкина „пробужденіе лирой добрыхъ чувствъ въ народѣ“, вниманіе къ сельской простотѣ, къ деревнѣ. Первая элегія Жуковскаго, доставившая ему славу, „Сельское кладбище“ 1802 г., уже посвящена похвалѣ почтеннымъ трудамъ простого селянина и его предполагаемой скорби надъ могильнымъ камнемъ поэта съ меланхоліей. Жуковскій, какъ и въ дальнѣйшей своей переводческой дѣятельности, измѣнилъ Грееву элегію: его поэтъ не только „душой откровененъ и добръ“, какъ въ англійскомъ подлинникѣ, но и

Онъ кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою—
Чувствительнымъ Творецъ награду положилъ.

Мысли о ранней могилѣ разочарованнаго душой поэта, поглощеннаго воспоминаніями о нетлѣнности братскихъ узъ въ кругу своихъ друзей, прекрасно выражаются въ элегіи „Вечеръ“ 1806 г.:

Ужель красавицъ взоръ иль почестей исканье,
Иль суетная честь — пріятнымъ въ свѣтѣ слыть
Загладятъ въ сердцѣ вспоминанье
О радостяхъ души, о счастьѣ юныхъ дней,

И дружбѣ, и любви и музамъ посвященныхъ?...
Мнѣ рокъ сулилъ брести невѣдомой стезей,
Быть другомъ *мирныхъ селъ*, любить красы природы...
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать. (I, 52-84).

Съ увлеченіемъ сельской простотой и тишиной у Жуковскаго соединяется влеченіе къ исторіи русскихъ и славянъ. Оставивши службу, поэтъ поселяется въ родномъ Бѣлевѣ и предается самообразованію, читаетъ лѣтописи и создаетъ „Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ побѣдителей“, „Людмилу“ 1808 г. — балладу, имѣвшую важное значеніе въ русской литературѣ, и другую большую „Старинную повѣсть“ въ двухъ балладахъ: „Громобой“ и „Вадимъ“, подъ общимъ заглавіемъ: „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ 1810 г. Наконецъ, въ 1811 г. Жуковскій возвысился до воспроизведенія народныхъ святочныхъ гаданій и создалъ „Свѣтлану“. Тревоги войны 1812 года отвлекли поэта, написавшаго „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, послѣ котораго слѣдуетъ непрерывная переводная дѣятельность, посвященная такимъ сюжетомъ, какъ „Орлеанская дѣва“, „Жалоба Цереры“ Шиллера, „Путешественникъ и поселянка“, „Лѣсной царь“ Гете, народныя произведенія Гебеля. съ 1816 по 1830 г., сказки и др. Чтобъ показать отраженіе настроенія Жуковскаго въ элегіяхъ Пушкина, приведу нѣсколько выдержекъ изъ раннихъ произведеній Жуковскаго. Въ посланіи „Къ Филлету“ 1807 г. заключаются уже чудныя раздумья „Стансовъ“ Пушкина 1829 года:

Повсюду вѣстники могилы предо мной.
Смотрю ли, какъ заря съ закатомъ угасаетъ —
Такъ, мнится, юноша цвѣтущій исчезаетъ;
Внимаю ли рогамъ пастушьимъ за горой,
Иль вѣтра горнаго въ дубравѣ трепетанью,
Иль тихому ручья въ кустарникѣ журчанью,
Смотрю ль въ туманну даль вечернею порой, —
Во всемъ печальныхъ дней конецъ воображаю...
Или сулилъ мнѣ рокъ весенни жизни годы,
Сокрывшись въ мракѣ гробовомъ,
Покинуть и поля, и отческія воды,
И міръ, гдѣ жизнь моя безплодно расцвѣла?

Не приводя далѣе образцовъ изъ поэзіи Жуковскаго, такъ или иначе пересозданныхъ въ сжатыхъ, сильныхъ, но и нѣжныхъ стихахъ Пушкина, отмѣтимъ необыкновенную изобра-

зительность въ стихахъ Жуковскаго, когда онъ описываетъ природу („Людмила“, „Свѣтлана“ и др.), таинственность видѣній, ужасовъ, мученій любви. Элегіи, баллады, переводы Жуковскаго произвели глубочайшее впечатлѣніе на русскихъ читателей всѣхъ классовъ и, безъ сомнѣнія, подняли ихъ высоко въ образовательномъ отношеніи. Пушкинскіе герои, Татьяна и Ленскій, впервые познали міръ, жизнь сердца, свободную мечтательную даль изъ поэзіи Жуковскаго. Татьяна едва ли не прямая ученица Жуковскаго. Она не покинула мечтанья юныхъ лѣтъ, свою безнадежную любовь; но и не уступила давленію обстоятельствъ: возможности нарушить выбранный путь, стремленью постороннихъ подглядѣть ея волненья или паденью духа до отчаянія. Въ поэзіи Жуковскаго проходитъ повтореніе мотива насильственной разлуки любящихъ сердецъ, и это не подражаніе, а живой голосъ пережитаго поэтомъ страстнаго чувства любви къ своей племянницѣ, которую Жуковскій видѣлъ и выданной за другого и, наконецъ, умершей. Но поэтъ продолжалъ свои занятія, свое нравственное усовершенствованіе. Высокое положеніе,— также болѣе нравственнаго, чѣмъ искательнаго направленія, — какое занялъ Жуковскій при дворѣ съ 1816 года, приводило поэта къ служенію народному воспитанію. Вотъ что онъ писалъ изъ Дерпта по поводу своего новаго положенія: „Вниманіе Государя есть святое дѣло. Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часъ отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія!“ (Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, 1895 г., стр. 163.) „Она (поэзія) должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе... Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію“. Въ этомъ письмѣ Жуковскій впервые сообщаетъ о своемъ знакомствѣ съ народной поэзіею Гебеля, которой восторгался и Гёте: „написалъ, т.-е. перевелъ съ нѣмецкаго піесу, подъ титуломъ „Овсяной кисель“... Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ неизвѣстнаго поэта, ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и *для поселянъ*. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“ (тамъ же, стр. 164).

Прослѣдимъ эти переводы Жуковскаго изъ Гебеля. Переводчикъ старался приблизить къ русской жизни не только имена нѣмецкихъ поселянъ (особенно въ простонародной швабской формѣ), но и подробности, передѣлывая и опуская нѣкоторыя частности. Въ „Овсяномъ киселѣ“ у него являются „и Иванъ, и Лука, и Дуняша“, опущено заключеніе о необходимости деревенскимъ дѣтямъ идти въ школу (Und jetzt geht in die Shul', dort hängt am Gesimse die Mappe! Fall mir Keins, gebt Achtung, und lernt hübsche, was man euch aufgiebt. Kommt ihr wieder nach Haus'; dann giebt es getrochnete Pflaumen). Замѣчательны народныя выраженія: „заскородилъ овесъ, колосъ оброшенный“. Въ такомъ же родѣ и остальные переводы: гнѣдко — Esel, „гнѣдко нужливъ“ (Hust, Laubi, Merz-Hott Schimmel, Fuchs!); въ „Утренней звѣздѣ“ Жуковскій ввелъ поэтическое изложеніе молитвы Господней, вмѣсто разсказа о молитвѣ вообще[1]). Отъ содержанія деревенскихъ сказокъ и пѣсенъ изъ Гебеля вѣетъ непосредственной вѣрой въ загробную жизнь, въ будущій судъ, въ добрыя дѣла, въ значеніе труда и — легендой о козняхъ дьявола, о привидѣніяхъ. Вечерніе и ночные образы этихъ страстей изъ міра духовныхъ средневѣковыхъ легендъ смѣняются у Жуковскаго свѣтлыми, добрыми картинами „Воскреснаго утра въ деревнѣ“, „Утренней звѣзды“. Нельзя не отмѣтить, что изъ небольшаго числа всѣхъ произведеній Гебеля Жуковскій выбралъ подходившія къ его настроенію и опустилъ бойкія пѣсни торговокъ, рабочихъ и т. п.

[1]) So helf' uns Gott, und geb' uns Gott
'wen güten Tag, und b'hüt uns Gott',
Wir beten um ein christlich Herz.
Es that uns Noth in Freud' und Schmerz;
Wer christlich lebt, hat frohen Muth;
Der lieb' Gott steht für alles gut.

Въ виду точной передачи подлинника ограничиваемся приведеннымъ переводомъ. У Жуковскаго иначе:

Вездѣ молитва началась:
„Небесный Царь! услыши насъ;
Твое владычество прiиди;
Насъ въ искушенье не введи;
На путь спасенія наставь,
И отъ лукаваго избавь“.

Въ началѣ 30-хъ годовъ Жуковскій съ особеннымъ увлеченіемъ переводилъ „Ундину“, въ которой выразилось настроеніе поэта: „испытали всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья... счастливъ еще, когда при раздѣлѣ житейскаго былъ ты самъ назначенъ терпѣть, а не мучить; на свѣтѣ семъ доля жертвы блаженнѣй, чѣмъ доля губителя. Если сей лучшій жребій былъ твой, читатель, то, можетъ-быть, слушая нашу повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ миновавшемъ, и тихо милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова то, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья бросишь“. Если мы обратимся къ переводамъ Жуковскаго изъ Шиллера, то и здѣсь увидимъ, какую видную роль играютъ женскіе типы: „Кассандра“ 1809 г., „Жалоба Цереры“ 1831 г., „Орлеанская дѣва“ 1821 г. Все это матеріалы, безъ сомнѣнія, отражавшіеся и въ жизни русской женщины 20—30-хъ годовъ и въ литературѣ. Опять черта, не лишенная значенія для пушкинской Татьяны, которую поэтъ готовъ сравнить съ „Свѣтланой“ Жуковскаго (т. III, гл. V, § 326). Вольный переводъ изъ Шиллера „Голосъ съ того свѣта“ 1815 г., начинающійся словами почившей — „Не узнавай, куда я путь склонила, въ какой предѣлъ изъ міра перешла“... — можетъ-быть, сближенъ съ чудными элегіями Пушкина на кончину госпожи Ризничъ и др.

Итакъ, въ области поэмы („Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, и др.) и элегіи Жуковскій прямой предшественникъ Пушкина, въ особенности по глубокому выраженію женской души. Сюда надо присоединить и баллады Пушкина („Утопленникъ“, „Женихъ“, и др.), которыя отличаются отъ балладъ Жуковскаго бо́льшей вѣрностью русской народной легендѣ. Творчество Пушкина иногда такъ совпадало съ переводами и подражаніями Жуковскаго, что Пушкинъ долженъ былъ оправдываться въ независимости своихъ трудовъ отъ воздѣйствій Жуковскаго, какъ, напримѣръ, во время появленія „Шильонскаго узника“ и „Братьевъ разбойниковъ“.

Поэзія Пушкина въ этомъ новомъ направленіи, близкомъ къ возвышенному настроенію Жуковскаго, развернулась на югѣ. Герой поэмъ Пушкина столько же подражаніе Байрону, сколько и — рыцарской романтической поэзіи Жуковскаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, результатъ думъ Пушкина о пережитомъ. Рыцарь Жуковскаго, страдающій отъ несчастной

любви, холоденъ къ настоящему: въ его душѣ „къ далекому стремленью, минувшаго привѣтъ“ („Невыразимое“ 1818 г.); онъ смотритъ недовѣрчиво на все земное, такъ какъ здѣсь не суждено сбыться мечтамъ. Это возвращеніе къ направленію Жуковскаго послѣдовало въ Пушкинѣ послѣ легкой сатирической дѣятельности въ Петербургѣ, смѣлой и рѣзкой до крайности, и послѣ увлеченія театромъ, свѣтской жизнью. *Владимировъ.*

Многолѣтняя и глубокая дружба Жуковскаго и Пушкина.

Вся жизнь, вся литературная дѣятельность Пушкина прошли на глазахъ Жуковскаго. Жуковскій былъ старше Пушкина на 16 лѣтъ, хорошо былъ знакомъ съ его родителями и стоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ къ дядѣ его, В. Л. Пушкину. Онъ полюбилъ Александра Пушкина съ малыхъ его лѣтъ, былъ для него образцомъ на школьной скамьѣ, ввелъ его, по окончаніи лицея, въ кругъ друзей общества „Арзамасъ“, познакомилъ съ выдающимися литературными дѣятелями, выслушивалъ, исправлялъ нѣкоторые стихи и, вообще, въ первое время былъ его руководителемъ преимущественно на своихъ субботнихъ литературныхъ вечерахъ. Жуковскій выручалъ Пушкина изъ опасныхъ и затруднительныхъ положеній, отстаивалъ его передъ властями и литературными противниками, присутствовалъ при кончинѣ, написалъ прочувствованный некрологъ и редактировалъ нѣкоторыя его печатныя произведенія. Такая связь и долголѣтняя дружба заключаетъ въ себѣ много литературныхъ и филантропическихъ элементовъ.

По разсказамъ младшаго брата Пушкина Льва Сергѣевича, дружба А. С. Пушкина съ Жуковскимъ началась по выходѣ Пушкина изъ лицея и продолжалась до послѣдней его минуты. Въ 17 лѣтъ Пушкинъ ужъ бойкій „Сверчокъ“ Арзамаса. На „бесѣдистовъ“ градомъ сыпались остроты и эпиграммы. Въ посланіи къ Жуковскому 1817 г. Пушкинъ говоритъ:

Благослови, поэтъ! Въ тиши парнасской сѣни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ музами колѣни.

Юный поэтъ обѣщаетъ итти прямой дорогой, при друже-

ской поддержкѣ Жуковскаго. Юноша-поэтъ говоритъ, что онъ пустится въ путь

...Смѣло вдаль дорогою прямою...
. . . . поддержанный тобою.

Карамзинъ и Жуковскій — вотъ образцы Пушкина на зарѣ его поэтической дѣятельности. „Мнѣ ты примѣръ!“ говоритъ Пушкинъ обращаясь къ Жуковскому. Въ томъ же стихотвореніи отражается признательность Пушкина за оказанное на него доброе вліяніе. Къ Жуковскому обращены стихи:

Не ты ли мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой,
Безмолвный, я стоялъ и молніиной струей
Душа къ возвышанной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ, рѣшился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.

„Воспоминанія о Царскомъ Селѣ“ Пушкина (1814 г.) было тѣмъ стихотвореніемъ, которое закрѣпило симпатіи Жуковскаго. Въ началѣ 1815 г. Жуковскій съ восхищеніемъ говорилъ объ этихъ стихахъ: „Вотъ у насъ настоящій поэтъ!“

Вскорѣ Жуковскій посѣтилъ молодого поэта въ лицеѣ и подарилъ ему экземпляръ только что вышедшаго въ свѣтъ изданія своихъ стихотвореній. Этотъ подарокъ былъ для юноши столь важнымъ событіемъ, что онъ тогда же записалъ о немъ въ своемъ лицейскомъ дневникѣ.

Поэзія Жуковскаго, его личность были примѣромъ для Пушкина; такъ смотрѣлъ самъ Пушкинъ. Нравственно чистая, мягкая, мечтательная муза Жуковскаго вносила кротость и примиреніе въ бурную, страстную душу Пушкина, что прекрасно выражено въ извѣстномъ стихотвореніи Пушкина „Къ портрету Жуковскаго“ 1818 г.

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Подражаніе Пушкина Жуковскому обнаруживается во многихъ его раннихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ.

Одно изъ раннихъ большихъ произведеній Пушкина „Русланъ и Людмила“ было по частямъ прочитано авторомъ на литературныхъ вечерахъ Жуковскаго.

Жуковскій здѣсь оцѣненъ такъ:

Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,

а относительно самой музы Пушкина, по его словамъ, Жуковскій —

И музы вѣтренной моей
Наперсникъ, пѣстунъ и хранитель.

Какъ извѣстно, тогда же Жуковскій подарилъ Пушкину свой портретъ съ надписью: „ученику отъ побѣжденнаго учителя“. Но тутъ скромный Жуковскій нѣсколько поспѣшилъ. Пушкинъ всю жизнь свою открыто признавалъ въ немъ своего учителя.

Въ началѣ 20-хъ годовъ творчество Пушкина иногда такъ было близко къ переводамъ и подражаніямъ Жуковскаго, что Пушкинъ долженъ былъ оправдываться въ независимости, какъ это было, напримѣръ, во время появленія „Шильонскаго узника“ и „Братьевъ-Разбойниковъ“. И въ годы полнаго расцвѣта духовныхъ силъ Пушкинъ всегда подчеркивалъ свою литературную связь съ Жуковскимъ. Окончивши драму „Борисъ Годуновъ“, Пушкинъ хотѣлъ сначала посвятить ее Жуковскому и писалъ ему по этому поводу.

„Отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой!... Трагедія моя идетъ и думаю къ зимѣ (письмо отъ 17 августа 1825 г.) ее окончить“. Но въ томъ же году скончался Карамзинъ, и Пушкинъ посвятилъ драму его памяти „съ благоговѣніемъ и благодарностью“.

Выдѣляя отдѣльно характеристику личныхъ отношеній Жуковскаго и Пушкина, независимо отъ ихъ тѣсной литературной связи, нужно принять къ свѣдѣнію переписку поэтовъ и многочисленныя указанія въ запискахъ и мемуарахъ современниковъ.

Пушкинъ-лицеистъ былъ уже знакомъ съ Жуковскимъ и его поэзіей, подражалъ ему, бесѣдовалъ съ нимъ, получалъ отъ него въ даръ его произведенія, чѣмъ гордился и заносилъ въ свой дневникъ. Стихотворное посланіе къ Жуков-

скому 1817 г. представляетъ много цѣнныхъ автобіографическихъ признаній. „Русланъ и Людмила“ 1817—1820 гг. даетъ дополнительныя къ нимъ черты; но при всемъ этомъ, при всемъ уваженіи Пушкина къ Жуковскому, онъ съ раннихъ лѣтъ обнаружилъ самостоятельное и критическое отношеніе къ его поэзіи. По разсказамъ брата, Льва Сергѣевича, Пушкинъ въ юности иногда посмѣивался надъ нѣкоторыми стихами Жуковскаго; такъ онъ пародировалъ „Тлѣнность“ слѣдующимъ образомъ;

Послушай, дѣдушка, мнѣ каждый разъ,
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ,
Приходитъ въ мысль: что, если это проза,
Да и дурная?

Лѣтомъ 1819 г. въ Царскомъ Селѣ проживали Н. М. Карамзинъ съ семействомъ, В. А. Жуковскій и А. С. Пушкинъ. Памятникомъ дружескаго отношенія Пушкина къ Жуковскому можетъ служить его пріятельская записка. Здѣсь Пушкинъ говоритъ, что заѣзжалъ къ нему съ Н. Н. Раевскимъ:

Къ тебѣ, Жуковскій, заѣзжали,
Но, къ неописанной печали,
Поэта дома не нашли
И, увѣнчавшись кипарисомъ,
Съ французской повѣстью „Борисомъ“,
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведетъ Жуковскаго со мной?
Скажи: не будешь ли сегодня
Съ Карамзинымъ, съ Карамзиной?...

Въ ссылкѣ въ Кишиневѣ Пушкинъ внимательно слѣдилъ за литературными работами Жуковскаго. Въ письмѣ къ князю Вяземскому 1822 г. онъ говоритъ: „Жуковскій меня бѣситъ. Что ему понравилось въ этомъ Мурѣ, чопорномъ подражателѣ безобразному воображенію?“ Въ письмѣ къ брату того же года Пушкинъ говоритъ: „Что Жуковскій и зачѣмъ онъ ко мнѣ не пишетъ?“ Въ письмѣ къ Гнѣдичу онъ очень хвалитъ переводъ „Шильонскаго узника“: слогъ Жуковскаго ужасно возмужалъ, хотя утратилъ первоначальную прелесть“. Въ кишиневскихъ письмахъ Пушкина 1822 г. и въ письмахъ его изъ Одессы 1823—1824 гг. часто высказываются жалобы, что Жуковскій лѣнивъ на переписку.

Въ концѣ 1824 г. произошло одно событіе, важное въ жизни Пушкина, - событіе, тѣсно связанное съ именемъ Жуковскаго. Вотъ что Пушкинъ писалъ Жуковскому изъ Михайловскаго 31-го октября вскорѣ послѣ своей ссылки подъ родительскій кровъ: „Милый, прибѣгаю къ тебѣ. Посуди о моемъ положеніи! Пріѣхавъ сюда, былъ я всѣми встрѣченъ, какъ нельзя лучше; но скоро все перемѣнилось. Отецъ, испуганный моей ссылкой, безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та же участь. Пещуровъ, назначенный за мною смотрѣть, имѣлъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать переписку, короче — быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мнѣ съ нимъ объясниться; я рѣшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вывести себя изъ тягостнаго положенія, прихожу къ отцу моему и прошу позволенія говорить искренно — болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Отецъ призываетъ брата и повелѣваетъ ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé. Жуковскій, думай о моемъ положеніи и суди. Голова моя закипѣла, когда я узналъ все это. Иду къ отцу, нахожу его въ спальнѣ и высказываю все, что у меня было на сердцѣ цѣлыхъ три мѣсяца; кончаю тѣмъ, что говорю ему въ послѣдній разъ... Отецъ мой, воспользовавшись отсутствіемъ свидѣтелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я его билъ, потомъ, что хотѣлъ бить!... Передъ тобой не оправдываюсь. Но чего же онъ хочетъ для меня съ уголовнымъ обвиненіемъ? Рудниковъ сибирскихъ и лишенія чести? Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебѣ о томъ, что терпятъ за меня братъ и сестра. Еще разъ — спаси меня. Поспѣши: обвиненіе отца извѣстно всему дому. Никто не вѣритъ, но всѣ его повторяютъ. Сосѣди знаютъ. Я съ ними не хочу объясняться. Дойдетъ до правительства; посуди, что будетъ. А на меня и суда нѣтъ. Я hors de loi".

Сгоряча Пушкинъ написалъ къ псковскому губернатору прошеніе о переводѣ его въ крѣпость. Жуковскій не медлилъ. Онъ поспѣшилъ успокоить обѣ стороны, прочелъ нотацію легкомысленному родителю. Вскорѣ семья поэта уѣхала изъ

Михайловскаго; остался здѣсь поневолѣ только А. С. Пушкинъ со старухой няней.

Уже въ началѣ ноября успокоившійся Пушкинъ писалъ брату: „скажи отъ меня Жуковскому, чтобы онъ молчалъ о происшествіяхъ, ему извѣстныхъ; я рѣшительно не хочу выносить сóру изъ Михайловской избы — и ты, душа, держи языкъ на привязи“.

Въ половинѣ ноября Пушкинъ уже начинаетъ свое письмо брату такими словами: „Скажи моему генію-хранителю, моему Жуковскому, что, слава Богу, все кончено. Письмо мое къ Адеркасу (губернатору) у меня; наши уѣхали, а я живъ и здоровъ“.

24-го ноября Пушкинъ писалъ Жуковскому: „Мнѣ жаль, милый, почтенный другъ, что я надѣлалъ эту всю тревогу; но что мнѣ было дѣлать! Я сосланъ за строчку глупаго письма. Что было бы, если бы правительство узнало обвиненіе отца? Отецъ говорилъ послѣ: „Дуракъ! Въ чемъ оправдывается! Да я бы связать его велѣлъ!“ Зачѣмъ же обвинять было сына? „Да какъ онъ осмѣлился, говоря съ отцомъ, непристойно размахивать руками!“ Это дѣло десятое. „Да онъ убилъ отца словами“... Каламбуръ и только. Воля твоя, тутъ и поэзія не поможетъ?“

Послѣдняя фраза представляетъ краткій отвѣтъ на успокоительное письмо Жуковскаго, въ которомъ Жуковскій говорилъ: „На все, что съ тобой случилось и что ты самъ на себя навлекъ, у меня одинъ отвѣтъ — поэзія. Ты имѣешь не дарованіе, а геній. Ты — богачъ; у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженнаго несчастья и обратить въ добро заслуженное; ты болѣе, нежели кто-нибудь, можешь и обязанъ имѣть нравственное достоинство. Ты рожденъ быть великимъ поэтомъ; будь же этого достоинъ... Обстоятельства жизни счастливой или несчастной — шелуха. Ты скажешь, что я проповѣдую съ спокойнаго берега утопающему. Нѣтъ, я стою на пустомъ берегу, вижу въ волнахъ силача, и знаю, что онъ не утонетъ, если употребитъ силу . Плыви, силачъ!“ Этотъ отрывокъ письма ясно показываетъ, какъ высоко Жуковскій цѣнилъ Пушкина, но Жуковскій въ то же время отлично понималъ, что однихъ словесныхъ утѣшеній мало; онъ снабжалъ ссыльнаго силача-поэта книгами, исполнялъ въ Петербургѣ его порученія, ходатайствовалъ за него передъ властными людьми. Онъ какъ бы принимаетъ на себя

обязанности отца. Когда Пушкинъ вообразилъ, что заболѣлъ аневризмомъ, и увѣрилъ въ томъ своихъ друзей, Жуковскій принялъ близко къ сердцу его здоровье и настойчиво совѣтовалъ обратиться къ дерптскому профессору Мойеру: „Прошу не упрямиться, не играть безразсудно жизнью и не сердить дружбы, которой твоя жизнь дорога“. Пушкинъ не хотѣлъ ѣхать въ Псковъ на операцію. 17 августа 1825 г. онъ писалъ Жуковскому: „Отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой! Мнѣ, право, совѣстно, что жилы мои всѣхъ такъ безпокоятъ. Въ Псковъ поѣду не прежде, какъ въ глубокую осень: оттуда буду тебѣ писать, свѣтлая душа“. Но Жуковскій настаивалъ и писалъ Пушкину: „Ты, какъ вижу, передалъ въ руцѣ мои только духъ свой, любезный сынъ. А мнѣ до духа твоего нѣтъ дѣла; онъ живъ и будетъ живъ, ибо весьма живучъ. Подавай-ка мнѣ свое грѣшное тѣло, т.-е. свой аневризмъ, при которомъ не уцѣлѣетъ и духъ твой, нужный для твоего Годунова, для твоихъ десяти будущихъ поэмъ, для твоей славы и для исправленія свѣтлымъ будущимъ своего темнаго прошедшаго... Слава побѣдитъ обстоятельства, въ этомъ я увѣренъ. Твое дѣло теперь одно: не думать нѣсколько времени ни о чемъ, кромѣ поэзіи. Создай что-нибудь безсмертное, и тогда бѣды твои (которыя самъ же состряпалъ) разлетятся въ прахъ. Дай способъ друзьямъ твоимъ указать на что-нибудь твое превосходное, великое: тогда имъ будетъ легко поправить судьбу твою; тогда они будутъ имѣть на это неотъемлемое право...“

Нельзя не удивляться той заботливости, какую проявляетъ Жуковскій къ Пушкину со времени его Михайловскаго заточенія. Пушкинъ захворалъ, или ему показалось, что онъ боленъ, и Жуковскій стремится ему помочь, выписываетъ опытнаго врача, добивается разрѣшенія выѣхать для лѣченія. По временамъ Пушкинъ, тяготясь ссылкой, высказываетъ неудовольствіе по адресу Жуковскаго; когда Жуковскій долго не писалъ, тогда Пушкинъ называлъ его „покойникъ Жуковскій, царство ему небесное“, „господинъ Жуковскій“, но Жуковскій обращается съ Пушкинымъ, какъ съ несчастнымъ, больнымъ ребенкомъ, успокоиваетъ, утѣшаетъ. „Отче, — пишетъ къ нему Пушкинъ, — не брани и не сердись, когда я бѣшусь. Подумай о моемъ положеніи: вовсе незавидное, что ни толкуютъ. Хоть кого съ ума сведетъ“.

Тяготило Пушкина сельское одиночество, тяготило сознаніе лишенія свободы, тягостно было отсутствіе друзей, отсутствіе столичнаго шума, отсутствіе культурной среды, и потому онъ съ 1825 г. начинаетъ настойчиво просить Жуковскаго похлопотать о немъ передъ государемъ. Въ письмѣ къ Плетневу отъ 26 мая 1826 г. Пушкинъ говоритъ: „Не смѣю надѣяться, но мнѣ было бы сладко получить свободу отъ Жуковскаго, а не отъ кого другого". Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому Пушкинъ высказываетъ ту же мысль: „отъ тебя благодѣяніе мнѣ не тяжело, а отъ другого не хочу, будь онъ тебѣ распріятель, будь онъ сынъ Карамзина". Умоляя Жуковскаго похлопотать объ освобожденіи, Пушкинъ въ то же время вовсе не хотѣлъ связывать его какими-либо обѣщаніями или обязательствами. Онъ даже просилъ „не отвѣчать и не ручаться за него". Онъ не сознавалъ за собой какой либо вины, кромѣ неосторожнаго выраженія объ атеизмѣ. „Нельзя ли сказать царю, писалъ онъ Жуковскому, что такъ какъ Пушкинъ не замѣшанъ въ заговорѣ 14-го декабря, то нельзя ли, наконецъ, позволить ему возвратиться". Жуковскій приложилъ всѣ старанія, но сначала его хлопоты были безуспѣшны. Въ апрѣлѣ 1826 г. онъ просилъ Пушкина повременить, нѣкоторое время не напоминать о себѣ. Обстоятельства были неблагопріятны. Хотя Пушкинъ и не былъ замѣшанъ въ заговорѣ, но по рукамъ ходило не мало его стихотвореній свободолюбиваго характера и прямо „возмутительныхъ для порядка и нравственности", какъ объяснилъ ему Жуковскій. „Не просись въ Петербургъ, — такъ кончаетъ свое письмо Жуковскій, — еще не время. Пиши „Годунова" и подобное; они отворятъ дверь свободы".

Въ томъ же 1826 г., въ августѣ мѣсяцѣ, хлопоты Жуковскаго и Карамзина увѣнчались успѣхомъ. Пушкинъ былъ вызванъ въ Москву, представился императору Николаю Павловичу. Окончательно опала снята была лишь въ маѣ 1827 г., и Пушкинъ немедленно переѣхалъ въ Петербургъ. Жуковскій все это время находился за границей, и свиданіе друзей поэтовъ могло состояться лишь въ концѣ 1827 года. Съ этого времени и до конца жизни Пушкина между ними царствовала самая нѣжная дружба, поддерживаемая частыми свиданіями. Во время одного кратковременнаго выѣзда, въ августѣ 1830 г., Пушкинъ въ письмѣ къ Жуковскому,

вспоминаетъ, что своей свободой обязанъ „Богу и тебѣ“ (т.-е. Жуковскому).

Въ 1831 г. Жуковскій и Пушкинъ, въ то время уже женатый, проживали въ Царскомъ Селѣ. Они вмѣстѣ работали надъ сказками. Въ письмѣ къ Данилевскому отъ 2 ноября 1831 г. Гоголь говоритъ: „Все лѣто я прожилъ въ Павловскѣ и Царскомъ Селѣ. Почти каждый вечеръ собирались мы: Жуковскій, Пушкинъ и я. О, если бы ты зналъ, сколько прелести вышло изъ-подъ пера сихъ мужей! У Пушкина сказки русскія, народныя, не то, что „Русланъ и Людмила“, но совершенно русскія; одна писана безъ размѣра, только съ риѳмами и прелесть невообразимая! У Жуковскаго тоже русскія народныя сказки, однѣ экзаметрами, другія просто четырехстопными стихами, и — чудное дѣло — Жуковскаго узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэтъ, и уже чисто русскій, ничего германскаго и прежняго“.

Отношенія Жуковскаго и Пушкина въ тридцатыхъ годахъ, т.-е. въ послѣдніе годы Пушкина (1831 — 1837), ярко обрисованы въ запискахъ А. С. Россетъ-Смирновой. Правда, попадаются тутъ кое-какія фактическія неточности, что въ свое время и было ярко подчеркнуто въ періодической печати, но общія характеристики такъ жизненны, обставлены такими бытовыми подробностями, что записки Смирновой все-таки остаются драгоцѣннымъ пособіемъ для изученія литературныхъ нравовъ того времени, въ особенности для изученія личныхъ отношеній Жуковскаго къ Пушкину. Въ одномъ мѣстѣ Смирнова говоритъ (годовъ у нея нигдѣ нѣтъ), что Жуковскій такъ любитъ Пушкина, что „похожъ на курицу, высидѣвшую утенка“. Сравненіе характерно. Извѣстно, какъ волнуются и любовно суетятся куры, высидѣвшія утятъ, когда утята, не ограничиваясь землей, спускаются на болѣе широкую міровую стихію — воду. Въ другомъ мѣстѣ „Записокъ“ Смирнова отвѣчаетъ: „Пушкинъ разрѣшилъ мнѣ записать все, что онъ сообщилъ о своемъ разговорѣ съ Государемъ, прося никому объ этомъ не говорить, кромѣ Жуковскаго, которому онъ самъ все говоритъ“. Однажды, въ гостиной Смирновой зашелъ споръ о литературномъ наслѣдствѣ:

— А кому достанутся твои стихотворенія? спросилъ Вяземскій Пушкина.

— Жуковскому, отцу-кормильцу моей юной музы, — таковъ былъ отвѣтъ Пушкина.

Изъ тѣхъ же „Записокъ“ Смирновой видно, что Жуковскій, совмѣстно съ Пушкинымъ, былъ руководителемъ Смирновой и Гоголя при выборѣ книгъ для чтенія, при чемъ Пушкинъ давалъ лучшихъ французскихъ, а Жуковскій — лучшихъ нѣмецкихъ авторовъ.

Въ гостяхъ у Смирновой, въ присутствіи Александра Тургенева, Хомякова, Соболевскаго, Крылова, кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Полетики, Вяземскаго, самого Жуковскаго, Пушкинъ, говоря о русскихъ писателяхъ, упомянулъ и Жуковскаго, назвавъ его своимъ учителемъ. „Жуковскій что-то проворчалъ, а Тургеневъ сказалъ: „Онъ такъ скроменъ, что покраснѣлъ... Пушкинъ! пощади его скромность“. Всѣ засмѣялись.

Въ одномъ мѣстѣ „Записокъ“ находится такая замѣтка: „Вчера вечеромъ у Карамзиныхъ Орестъ и Пиладъ (Ж. и П.) болтали въ углу, а я училась у нихъ, записывала то, что они говорили. Они говорили о Лессингѣ, о Гете, о Шиллерѣ“...

Въ другомъ мѣстѣ „Записокъ“ находится сообщеніе о томъ, какъ Софи Карамзина, найдя Смирнову въ бесѣдѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, въ шутку спросила: „что это: заговоръ или вы втроемъ исповѣдуетесь“. Пушкинъ отвѣтилъ: „Да. Я признаюсь въ моихъ большихъ грѣхахъ, а Донна Соль (т.-е. Смирнова) — въ своихъ маленькихъ. У нея ихъ больше; но мои грѣхи тяжелѣе, и это возстановляетъ равновѣсіе. Мы позвали Жуковскаго, у котораго нѣтъ никакихъ грѣховъ, ни большихъ ни малыхъ, затѣмъ, чтобы онъ отпустилъ намъ наши грѣхи“.

Тутъ же Смирнова сообщаетъ одну черту, мелкую, но весьма характерную для заботливости Жуковскаго о Пушкинѣ: Жуковскаго тревожили споры Пушкина съ цензоромъ, такъ какъ онъ любилъ своего феникса, какъ сына. Послѣдняя мысль была высказана Смирновой Пушкину, и онъ добавилъ: „какъ блуднаго сына“.

„Онъ вамъ совершенно преданъ, у него небесная душа, у этого Жуковскаго“ сказалъ однажды А. О. Россетъ Пушкинъ, а Россетъ добавила: „Да, хрустальная душа; онъ гораздо лучше меня“. Пушкинъ воскликнулъ: „А я-то, вы

обо мнѣ забыли! Всякій разъ, какъ мнѣ придетъ дурная мысль, я вспоминаю о немъ и спрашиваю себя: что сказалъ бы Жуковскій? И это возвращаетъ меня на прямой путь". Замѣчательно, что подобное замѣчаніе встрѣчается и въ письмѣ Гоголя о Жуковскомъ, какъ нравственномъ коррективѣ.

Любопытно, что, по словамъ Смирновой, Пушкинъ составилъ планъ воспитанія своихъ дѣтей, „одобренный Жуковскимъ", и въ этомъ семейномъ дѣлѣ онъ положился на педагогическій авторитетъ своего стараго друга.

„Жуковскій смотритъ на Пушкина съ нѣжностью; онъ наслаждается всѣмъ, что говоритъ его фениксъ: есть что-то трогательное, отеческое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, братское въ его привязанности къ Пушкину, а въ чувствѣ Пушкина къ Жуковскому — оттѣнокъ уваженія даже въ тонѣ его голоса, когда онъ ему отвѣчаетъ. У него совсѣмъ другой тонъ съ Тургеневымъ и Вяземскимъ, хотя онъ ихъ очень любитъ".

При такой дружбѣ, Жуковскій дорожилъ хорошими отзывами о Пушкинѣ. Когда Смирновъ сказалъ, что у Пушкина, несмотря на увлеченія въ молодости, душа осталась чистой и совѣсть чуткой, „безупречный Жуковскій, по свидѣтельству Смирновой, всталъ и поцѣловалъ моего мужа, сказавъ: вы хорошо его понимаете, я васъ за это благодарю". „Онъ былъ растроганъ, этотъ добрый Жуковскій", добавляетъ Смирнова.

Когда Пушкинъ прочелъ переложеніе молитвы Ефрема Сирина, которымъ, впрочемъ, самъ былъ недоволенъ, Жуковскій пришелъ въ восторгъ до такой степени, что поцѣловалъ Пушкина и сказалъ ему: „Ты, ты мое неоцѣненное сокровище!"

Но вотъ подходили послѣдніе дни жизни Пушкина, и Жуковскій съ тревогой слѣдилъ за его семейными неурядицами. По свидѣтельству Смирновой, „Жуковскій былъ недоволенъ всѣми окружающими Пушкина, его семьей, отцомъ поэта, который гордился, но не понималъ сына, и братомъ его Львомъ, котораго считалъ недалекимъ мальчишкой, и сестрой Ольгой, и мужемъ ея Павлищевымъ, который „не могъ быть полезнымъ" поэту, и въ особенности женой и ея родней, которые третировали Пушкина, какъ работника и чиновника и требовали отъ него денежнаго прибытка и притворнаго карьеризма. Пушкина постоянно критиковали и

осуждали съ узкой, базарной точки зрѣнія. Жуковскій все это видѣлъ, и все это его сильно огорчало и озабочивало.

Но вотъ произошла катастрофа. Умирая, Пушкинъ просилъ повидаться съ Жуковскимъ, и послѣдній не замедлилъ прибыть. Пушкинъ скончался на его рукахъ въ январѣ 1837 г. Жуковскій распорядился снять съ умершаго маску, своими руками положить ее въ гробъ, принялъ на себя хлопоты о похоронахъ и написалъ прекрасную статью о послѣднихъ его минутахъ.

Въ 1839 г. Гоголь, послѣ встрѣчи съ Жуковскимъ въ Римѣ, писалъ, что первымъ словомъ ихъ при встрѣчѣ былъ Пушкинъ, и что Жуковскій еще весь полонъ Пушкинымъ.

Въ 1845 г. Жуковскій, въ письмѣ къ наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу, мимоходомъ замѣтилъ „Я отъ Государя принесъ умирающему Пушкину вѣсть о царской милости его семейству“.

Такъ закончилась многолѣтняя свѣтлая дружба двухъ великихъ дѣятелей русской литературы. Какъ въ Германіи глубоко изучается дружба Гёте и Шиллера, какъ здѣсь высоко цѣнится ихъ дружба, такъ среди русскаго образованнаго общества должна изучаться и цѣниться дружба Жуковскаго и Пушкина. *Сумцовъ.*

Духовная организація Жуковскаго и Гоголя и ихъ взаимное литературное вліяніе.

Отношенія Гоголя къ Жуковскому являются въ общемъ непрерывными, со времени ихъ знакомства въ концѣ 1830 г. и кончая смертью Гоголя, т.-е. въ теченіе почти 22 лѣтъ, обнимающихъ всю литературную жизнь великаго юмориста, — вотъ почему разсказъ объ этихъ отношеніяхъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и краткій очеркъ цѣлой половины жизни Гоголя, всего зрѣлаго ея періода. Мѣсто, занимаемое Гоголемъ въ жизни Жуковскаго, не можетъ быть соизмѣримо съ тѣмъ значеніемъ, которое имѣлъ Жуковскій въ жизни Гоголя уже по одному тому, что начало ихъ личныхъ отношеній совпало для юнаго тогда Гоголя съ первыми шагами его литературной карьеры, между тѣмъ какъ Жуковскій, бывшій въ то время на склонѣ пятаго десятка лѣтъ, являлся писате-

лемъ признаннымъ, опредѣлившимся и обладавшимъ независимымъ и вліятельнымъ положеніемъ. Но разница ихъ взаимныхъ отношеній не ограничивалась этими внѣшними и хронологическими данными; она имѣла и глубокія внутренія основанія. Жуковскій обладалъ отъ природы значительнымъ физическимъ и духовнымъ здоровьемъ, которое, въ связи съ условіями его воспитанія и жизненной обстановки, обезпечило ему не только долгую жизнь, но и непрерывную свѣжесть мысли, живую способность къ работѣ, душевную уравновѣшенность и свѣтлый оптимистическій взглядъ на жизнь; и на этой основной почвѣ ни тяжелыя душевныя испытанія, выпавшія на долю Жуковскаго, ни глубокія впечатлѣнія отъ литературныхъ вліяній не могли произвести въ его духовномъ складѣ существенныхъ колебаній или отклоненій. Гоголь не обладалъ этими счастливыми данными. При неособенно здоровой физической организаціи, нервный и самолюбивый, принужденный самъ пробивать себѣ дорогу въ жизни съ большимъ трудомъ и не безъ лишеній, Гоголь въ теченіе своего жизненнаго и литературнаго поприща не мало колебался, падалъ и вставалъ, торжествовалъ и впадалъ въ уныніе; разъ вступивъ на литературную дорогу и найдя на ней свое подходящее мѣсто, Гоголь, при тогдашнихъ условіяхъ литературнаго труда и при своей болѣзненной и дорого стоившей страсти къ перемѣнѣ мѣстъ, постоянно нуждался въ средствахъ и болѣе или менѣе находился въ зависимости отъ тѣхъ лицъ, которыя могли ихъ ему предоставить; хотя въ ту пору царскими щедротами, въ видѣ подарковъ, пользовались, помимо Гоголя, и многіе другіе, въ томъ числѣ и самъ Жуковскій, но у Гоголя это пользованіе было обставлено разнаго рода случайностями, постоянными опасеніями за неудачу и посредничествомъ друзей, что до извѣстной степени осложняло и увеличивало его нравственную зависимость передъ другими.

Гоголь не разъ называлъ Жуковскаго: „мой истинный наставникъ и учитель", „близкій душѣ человѣкъ", „благодѣтель". Къ чести Жуковскаго слѣдуетъ отмѣтить, что не только два первыя обращенія къ нему Гоголя являются искреннимъ выраженіемъ ихъ духовныхъ отношеній, но и третье не заключало въ устахъ его ни горечи, ни чувства оскорбленнаго самолюбія, ни унизительнаго подчиненія; свои

„благодѣянія“ Гоголю, которыя, будучи въ Россіи, устраивалъ Жуковскій самъ, а по выѣздѣ за границу черезъ своихъ друзей, особенно черезъ А. О. Смирнову, обставлялъ онъ такой неподдѣльной деликатностью и благодушіемъ, столь очевиднымъ и искреннимъ дружескимъ участіемъ къ Гоголю и уваженіемъ къ его таланту, что у послѣдняго не оставалось мѣста ни для какого дурного чувства или недоразумѣній; эти отношенія Жуковскаго къ Гоголю особенно выигрываютъ по сравненію ихъ съ отношеніями на той же почвѣ нѣкоторыхъ его московскихъ друзей. Во взглядѣ Жуковскаго на Гоголя постоянно было что-то отеческое, хотя ихъ взаимныя отношенія въ послѣднее десятилѣтіе жизни ихъ обоихъ и окончательно уравнялись. Едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, что если въ этотъ періодъ жизни обоихъ писателей Жуковскій находилъ въ Гоголѣ желанный и сочувственный откликъ на свои нравственно-религіозныя воззрѣнія, то Жуковскій для Гоголя и въ первую половину ихъ личнаго знакомства былъ важной и существенной опорой жизни не въ одномъ только матеріальномъ, но еще болѣе въ нравственномъ, душевномъ смыслѣ. Въ собственно литературной карьерѣ Гоголя Жуковскій также принималъ постоянное участіе. Онъ первый доставилъ ему доступъ въ петербургскіе литературные кружки и въ среду просвѣщенныхъ цѣнителей литературы и искусства, онъ его познакомилъ съ Пушкинымъ, который до конца своей жизни былъ для Гоголя какъ бы путеводной звѣздой въ его поэтическихъ трудахъ; онъ встрѣчалъ съ одобреніемъ и восторгомъ первые литературные успѣхи Гоголя, который именно въ кружкѣ Жуковскаго читалъ, до напечатанія, многія изъ своихъ литературныхъ произведеній, въ томъ числѣ и „Ревизора“, который былъ поставленъ на сцену, несмотря на запрещеніе цензуры, главнымъ образомъ, именно благодаря предстательству объ этой пьесѣ передъ государемъ со стороны Жуковскаго; даже живя за границей, онъ слѣдилъ за литературнымъ поприщемъ Гоголя, обсуждая съ нимъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“ и откликаясь на нихъ своимъ словомъ послѣ появленія этой книги въ печати. Разумѣется, всего этого Гоголь съ своей стороны не могъ предоставить Жуковскому, и въ этомъ смыслѣ ихъ отношенія, на протяженіи всего времени, носятъ такой ха-

рактеръ, что Жуковскому принадлежала въ нихъ болѣе активная роль, а Гоголю — болѣе пассивная, хотя, быть можетъ, въ субъективномъ смыслѣ активная роль, при нѣсколько иныхъ обстоятельствахъ, скорѣе могла бы достаться именно Гоголю, при его большей сосредоточенности, глубинѣ самоанализа и поэтическомъ талантѣ.

Говоря о разницѣ взаимнаго положенія относительно другъ друга Гоголя и Жуковскаго, я имѣлъ въ виду пояснить характеръ той неодинаковой роли обоихъ писателей, которая вытекала наглядпымъ образомъ изъ представленнаго фактическаго разсказа ихъ отношеній между собою. Но, рядомъ съ этимъ, конечно, было въ нихъ кое-что и общее, явившееся подкладкой и извѣстнымъ оправданіемъ сложившихся позже тѣсныхъ отношеній. Почвой этой, главнымъ образомъ, была преданность ихъ обоихъ литературѣ и вообще то, что прежде всего были они именно писатели. Въ частности, несмотря на явное различіе характера литературныхъ заслугъ и значенія великаго изобразителя пошлости и другихъ отрицательныхъ явленій въ руской жизни, съ одной стороны, и идеалиста-романтика, съ другой, въ талантѣ Жуковскаго были черты того юмора, который у Гоголя явился основнымъ тономъ его поэтическаго творчества; но юморъ Жуковскаго не получилъ развитія, въ виду совершенно чуждыхъ ему литературныхъ вліяній и преобладавшаго надъ нимъ возвышеннаго настроенія въ его поэтическихъ трудахъ; разумѣется, это былъ юморъ, такъ сказать, примитивный, непосредственный, очень близкій къ обычной веселости здороваго человѣка; онъ выразился у Жуковскаго въ его литературныхъ „шалостяхъ“ въ періодъ „Арзамаса“, забавно-юмористическіе протоколы котораго и разныя другія затѣи того же характера были, главнымъ образомъ, дѣломъ Жуковскаго, также въ его сказкахъ, въ переводной „Войнѣ мышей и лягушекъ“ и въ нѣкоторыхъ письмахъ къ друзьямъ, напр. къ А. О. Смирновой, Д. В Дашкову, И. И. Козлову или неизвѣстному лицу (Соч., изд. 7, т. VI, стр. 653—656). Конечно, нѣтъ нужды говорить, что отъ этого юмора еще очень далеко до осмѣянія и обличенія широкихъ общественныхъ недостатковъ, но не надо забывать, что эти послѣднія качества и Гоголемъ пріобрѣтены были не сразу, хотя, конечно, у Жуковскаго отсутствовали многія другія данныя,

которыя, даже при иныхъ условіяхъ, могли бы поставить его на литературную колею, избранную для себя Гоголемъ. Замѣчательно, что эту черту веселой шутливости Жуковскій сохранилъ и въ старости, и въ болѣзняхъ, тогда какъ Гоголь къ концу жизни все болѣе и болѣе ее утрачивалъ. Это замѣчается, между прочимъ, и на ихъ взаимной переписке: письма Жуковскаго, особенно въ первую половину ихъ дружескихъ связей, отличаются бодростью, веселымъ тономъ и простотой, а письма Гоголь серіозны и иногда раздражительно-напряженны. Юморъ свой Жуковскій пускалъ въ оборотъ жизни и иногда литературы, какъ веселую забаву, какъ игру ума и воображенія, для безобиднаго наслажденія самому и другимъ; тогда какъ юморъ Гоголя, сдѣлавшійся серіознымъ и могучимъ орудіемъ его литературнаго выраженія, нервомъ его обличительнаго негодованія и спутникомъ его горькаго душевнаго идеализма, былъ для него забавой развѣ лишь въ пору юности, а затѣмъ получилъ совершенно другое назначеніе и подъ конецъ исчезъ при формированіи въ немъ новыхъ воззрѣній на свое поэтическое призваніе.

Приблизительно то же можно сказать и о религіозномъ мистицизмѣ Гоголя и Жуковскаго. Задатки его лежали, безспорно, у обоихъ изъ нихъ въ натурѣ, но выраженіе свое получили они у того и другого уже въ позднѣйшую эпоху ихъ жизни. Однако тутъ опять-таки, рядомъ съ основнымъ фактомъ сходства, находимъ и существенное различіе. Религіозный мистицизмъ Жуковскаго былъ свѣтлымъ и радостнымъ, наполнявшимъ его душу тѣмъ душевнымъ удовлетвореніемъ, при которомъ онъ смирялся передъ волей Провидѣнія, любовно смотрѣлъ на здѣшнюю жизнь и спокойно ожидалъ перехода за ея предѣлы; мистицизмъ его былъ тѣсно связанъ съ глубокимъ идеализмомъ и оптимистической вѣрой въ лучшее будущее; онъ приводилъ въ воззрѣніяхъ Жуковскаго всѣ элементы духовной жизни человѣка къ тому единому началу, которое обезпечивало сущность, смыслъ и гармонію земного и небеснаго существованія. Между тѣмъ, мистицизмъ Гоголя, явившійся у него не результатомъ естественнаго развитія первоначальныхъ элементовъ юношескаго міровоззрѣнія, какъ у Жуковскаго, а скорѣе тяжелымъ нравственнымъ переломомъ, хотя и на основѣ уже лежавшихъ

въ природѣ его задатковъ, было мрачнымъ, тревожнымъ и напряженнымъ; это былъ трагическій мистицизмъ аскета, отрѣшившагося отъ жизни и въ то же время привязаннаго къ ней всѣми нитями своего существованія; въ его воззрѣніяхъ лежала, какъ и у Жуковскаго, вѣра въ конечное руководительство Провидѣнія судьбою человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ вѣра эта осложнялась страхомъ передъ неизвѣстнымъ будущимъ; къ этому присоединялась страстная потребность въ самобичеваніи и самообличеніи. Для характеристики разницы въ религіозныхъ воззрѣніяхъ Гоголя и Жуковскаго вообще весьма цѣннымъ представляется разногласіе, возникшее между ними въ вопросѣ о молитвѣ. Въ „предисловіи“ къ „Выбраннымъ мѣстамъ изъ переписки съ друзьями“ Гоголь, передъ путешествіемъ въ Іерусалимъ, проситъ всѣхъ за него молиться: „Прошу молитвы какъ у тѣхъ, которые смиренно не вѣруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ея нужною; но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу молиться обо мнѣ этою самою безсильной и черствою ихъ молитвой“. Жуковскій на это ему возражалъ: „Ты просишь отъ нихъ (т.-е. отъ тѣхъ, которые бы молились не вѣруя вовсе въ молитву) невозможнаго, — того, что имъ вовсе чуждо, чего они ни имѣть ни дать не могутъ, чего даже отъ нихъ и просить не должно, потому что въ томъ видѣ, въ какомъ бы они его дали, если бы дать могли, оно не можетъ быть никѣмъ желаемо и не принесетъ желающему никакой пользы. Можетъ ли быть молитва безъ вѣры въ молитву? И для кого можетъ быть дѣйствительна подобная молитва? Что же хотѣлъ ты сказать? Не понимаю. Молитва не можетъ существовать безъ молящагося; она тогда только получаетъ жизнь, когда слова, ее выражающія, выражаютъ въ то же время и душу ихъ произносящаго: тогда совершается таинство смиренія передъ Богомъ въ душѣ человѣческой, — таинство, для насъ непостижимое, — таинство, силою котораго Всемогущій, всякое добро творящій по одной своей мудрости и благости, такъ сказать, покоряется бѣдному слову человѣка. Въ чемъ же это таинство, въ чемъ его сила? Въ вѣрѣ, приводящей въ движеніе горы, въ смиреніи, предающемъ насъ безъизъятно въ сильную десницу Бога“.

Въ этомъ разногласіи по основному вопросу религіознаго вѣрованія, самымъ яснымъ образомъ выразился суровый, требовательный и какъ бы формальный взглядъ Гоголя на молитву, рядомъ со свободнымъ и глубокимъ воззрѣніемъ Жуковскаго.

Съ другой стороны, въ поэтической душѣ Гоголя жилъ, особенно въ первую половину его литературнаго пути, тотъ возвышенный романтизмъ, который лежалъ въ основѣ всей жизни и поэтическаго міросозерцанія Жуковскаго.

Скажемъ еще два слова о взаимномъ отношеніи другъ къ другу Гоголя и Жуковскаго, какъ писателей. Намъ уже приходилось указывать на то вниманіе, съ которымъ постоянно относился Жуковскій къ литературнымъ успѣхамъ Гоголя; но мы затруднились бы категорически утверждать, что Жуковскій понималъ въ полной мѣрѣ все значеніе его, какъ геніальнаго изобразителя отрицательныхъ сторонъ русской дѣйствительности, какъ, быть можетъ, онъ не представлялъ себѣ во всемъ объемѣ и великаго историческаго смысла дѣятельности Пушкина; поэтому намъ кажется нелишеннымъ извѣстнаго основанія замѣчаніе С. Т. Аксакова, что хотя Жуковскій „восхищался талантомъ Гоголя въ изображеніи пошлости человѣческой, его неподражаемымъ искусствомъ схватывать вовсе незамѣтныя черты“ и придавать имъ выпуклость, внутреннее значеніе и жизнь, однако „серіознаго значенія“ дѣятельности Гоголя онъ не придавалъ и „не понималъ Гоголя вполнѣ“. Но нѣкоторымъ оправданіемъ Жуковскому въ данномъ случаѣ можетъ служить то, что онъ покинулъ Россію и непосредственное наблюденіе надъ ея жизнью именно въ тотъ моментъ, когда и въ средѣ лучшихъ представителей русской критики того времени дѣятельность Гоголя только что начинала получать надлежащее освѣщеніе и оцѣнку; да и вообще должно замѣтить, что литературная дѣятельность Гоголя, вплоть до изданія перваго тома „Мертвыхъ душъ“, принадлежитъ именно къ числу такихъ, полная историческая цѣнность которыхъ выступаетъ только съ теченіемъ времени.

Для Гоголя оцѣнить дѣятельность Жуковскаго было гораздо легче не только потому, что Жуковскій былъ значительно старше его и, какъ писатель, при выступленіи Гоголя на литературное поприще, имѣлъ уже довольно опредѣленное

мѣсто въ литературѣ, но и потому, что самая дѣятельность Жуковскаго не заключала въ себѣ такихъ новыхъ элементовъ, для полнаго уясненія и оцѣнки которыхъ необходимъ былъ значительный промежутокъ времени.

Жуковскаго, какъ поэта, Гоголь ставилъ высоко и охотно читалъ его произведенія. Особенно значительнымъ представлялся ему Жуковскій, конечно, какъ переводчикъ, и въ этомъ отношеніи онъ предсказывалъ ему даже „значеніе всемірное“. Вообще, главной и отличительной чертой Жуковскаго, какъ поэта, Гоголь считалъ изящную поэтизацію чужихъ сюжетовъ, но вполнѣ себѣ присвоенныхъ, то-есть претворенныхъ чрезъ собственное поэтическое сознаніе и облеченныхъ въ художественный русскій стихъ: „Передъ другими нашими поэтами, — говоритъ Гоголь въ статьѣ „Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность“, — Жуковскій то же, что ювелиръ передъ прочими мастерами, то-есть мастеръ, занимающійся послѣднею отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добыть въ горахъ алмазъ — его дѣло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ заигралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполнѣ свое достоинство всѣмъ. Появленіе такого поэта могло произойти только изъ русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, можетъ-быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами“; въ этой же статьѣ Гоголь припоминаетъ, что Пушкина изумляло „тонкое критическое чутье“ Жуковскаго; о стихѣ его онъ говоритъ: „этотъ легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій какъ неясный звукъ эоловой арфы“. Но особенное сочувствіе Гоголя вызвалъ переводъ „Одиссеи“, выполненный Жуковскимъ, этимъ — по выраженію Гоголя — „патріархомъ нашей поэзіи“, уже въ старости. Высоко цѣня эстетическій вкусъ Жуковскаго, Гоголь охотно ссылался на него какъ на авторитетъ, напр., при оцѣнкѣ поэтической дѣятельности Н. М. Языкова, въ которой Жуковскій былъ первоначально несогласенъ съ Гоголемъ и самъ печатно заявлялъ свою благодарность Жуковскому за строгія и справедливыя указанія на его, Гоголя, литературные промахи.

Таковы были, въ общихъ чертахъ, взаимныя отношенія Гоголя и Жуковскаго, объединенныхъ, при всѣхъ ихъ лич-

ныхъ особенностяхъ, тѣмъ высокимъ, хотя и неодинаковымъ, положеніемъ, которое каждый изъ нихъ занимаетъ въ исторіи нашей литературы. *Пѣтуховъ.*

Неразрывныя узы дружбы, связывавшія Жуковскаго и Гоголя.

Въ 1830 и 1831 годы, т.-е. первые годы знакомства Гоголя съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, и Жуковскій и Пушкинъ находились въ полномъ расцвѣтѣ своихъ силъ. Литературный ихъ характеръ вполнѣ выяснился. Слава была уже прочно завоевана. Современники, за исключеніемъ темной булгаринской клики, признали уже въ Жуковскомъ и Пушкинѣ выдающихся литературныхъ корифеевъ. У Жуковскаго къ литературной славѣ присоединялось еще крупное его придворное положеніе, какъ воспитателя наслѣдника цесаревича, какъ человѣка, къ которому императоръ Николай Павловичъ и императрица Александра Ѳеодоровна относились съ большимъ личнымъ расположеніемъ. Поддержка со стороны Жуковскаго и Пушкина, по условіямъ того времени, имѣла огромное значеніе, нравственное и матеріальное.

Для оцѣнки отношеній Гоголя къ Жуковскому и Пушкину важное значеніе имѣютъ „Записки“ Алекс. Осип. Россетъ-Смирновой, умной и образованной фрейлины императрицы Маріи Ѳеодоровны. Какъ бы ни было велико недовѣріе къ отдѣльнымъ фактамъ въ „Запискахъ“ А. О Смирновой, нельзя не признать, что въ нихъ много схвачено и передано вѣрно, съ тонкой женской наблюдательностью, въ частности очень жизненно обрисовано положеніе Гоголя въ кружкѣ Жуковскаго и Пушкина. „Я непремѣнно хочу видѣть этого упрямаго хохла, поговорить съ нимъ объ Украйнѣ, обо всемъ, что мнѣ такъ дорого“, говоритъ Смирнова въ своемъ дневникѣ, и вскорѣ ея желаніе было исполнено ея литературными друзьями: Пушкинымъ, котораго она запросто величала Сверчкомъ и Искрой, и Жуковскимъ, для котораго у Смирновой было нѣсколько ласкательныхъ прозвищъ: Бычокъ, Sweet William. Вскорѣ Смирнова вноситъ въ свой дневникъ такую замѣтку: „Наконецъ-то, Сверчокъ и Бычокъ, мои два арзамасскіе звѣря, привели ко мнѣ Гоголя-Яновскаго. Я была

въ восторгѣ отъ того, что могла говорить о Малороссіи, и онъ также оживился... Я замѣтила, что достаточно Пушкину обратиться къ Гоголю, чтобы тотъ просіялъ... Сверчокъ очень добръ онъ быстро приручилъ бѣднаго хохла — грустнаго, робкаго и упрямаго; онъ такъ же добръ, какъ Sweet William, милый мычащій Бычокъ... Жуковскій въ высшей степени добръ... Онъ въ восторгѣ отъ того, что ему удалось притащить упиравшаго хохла... Мы говорили о гнѣздахъ аистовъ на крышахъ Малороссіи, о чумакахъ, о кобзаряхъ... Я обѣщала Пушкину бранить бѣднаго хохла, если онъ будетъ слишкомъ грустить въ Сѣверной Пальмирѣ... Они (т.-е. Жуковскій и Пушкинъ) такъ дразнили Гоголя за его дикость и застѣнчивость, что онъ, наконецъ, пересталъ стѣсняться и самъ очень доволенъ тѣмъ, что пришелъ ко мнѣ съ конвоемъ".

Въ другомъ мѣстѣ Смирнова говоритъ, что Сверчокъ приходилъ къ ней поговорить о Гоголѣ. Онъ провелъ у Гоголя нѣсколько часовъ, просматривалъ его тетради, его замѣтки и пораженъ его наблюдательностью.

Въ одномъ мѣстѣ „Записокъ" Смирновой ярко выражено покровительственное и учительное отношеніе Жуковскаго и Пушкина къ Гоголю. На обычномъ у Смирновой литературномъ собраніи „Гоголь слушалъ молча, время отъ времени занося слышанное въ карманную книжку. Жуковскій сказалъ ему: „Ты записываешь, что говоритъ Пушкинъ, и прекрасно дѣлаешь. . потому что каждое слово Пушкина драгоцѣнно .. Онъ думалъ о столькихъ предметахъ и такъ свѣдущъ въ иностранной словесности". Далѣе Жуковскій спросилъ Гоголя, прочтетъ ли онъ то, что ему совѣтовалъ Пушкинъ. Гоголь отвѣтилъ, что онъ, по указанію Пушкина, прочиталъ „Essais" Монтеня, „Мысли" Паскаля, „Персидскія письма" Монтескье, „Les Caractères" Ла-Брюйера, „Мысли" Вовенарга, басни Лафонтена. Кромѣ того, Пушкинъ еще рекомендовалъ Корнеля, Расина, Мольера, Сервантеса. „Затѣмъ, — добавилъ Гоголь, — я прочелъ нѣмецкія книги, что вы мнѣ дали, и переводы Шекспира". „Это похвально, – правоучительно сказалъ ему Жуковскій, — читай только то, что есть лучшаго въ нѣмецкой и англійской литературѣ. Что ты думаешь о Фаустѣ, о Вильгельмѣ Мейстерѣ?"

Гоголь. Я совершенно пораженъ геніемъ Гете. Шиллеръ,

съ которымъ я довольно хорошо знакомъ, кажется мнѣ теперь совсѣмъ другимъ. Я началъ читать „Гамбургскую Драматургію“ и прочелъ „Натана Мудраго“. Я сдѣлаю извлеченія изъ этихъ книгъ.

Жуковскій. Можешь оставить ихъ себѣ... Не благодари, потому что у меня ихъ нѣсколько изданій. Шиллеръ — великій поэтъ; но Гёте и великій мыслитель...

Можетъ быть, діалоги эти переданы не совсѣмъ точно. Важно основное указаніе, что Жуковскій совмѣстно съ Пушкинымъ руководилъ самообразованіемъ Гоголя, что они рекомендовали ему, что читать, снабжали его книгами Одновременно Жуковскій руководилъ чтеніемъ талантливой А. О. Смирновой.

Гоголь довѣрялся вполнѣ Жуковскому, а послѣдній платилъ ему живымъ сочувствіемъ, покровительствомъ и ходатайствами въ его пользу передъ высшей властью, вообще, самой широкой нравственной и матеріальной поддержкой.

Пушкинъ, Гоголь и Жуковскій тѣсно сошлись въ 1831 году. Гоголь, уже авторъ своего „поросенка“, какъ онъ называлъ „Вечера на хуторѣ“, жилъ лѣтомъ 1831 г. въ Павловскѣ и въ Царскомъ Селѣ. „Почти каждый вечеръ собирались мы, Жуковскій, Пушкинъ и я“, писалъ впослѣдствіи Гоголь. Онъ былъ въ восторгѣ отъ этой высокой дружбы, въ восторгѣ отъ поворота Жуковскаго и Пушкина къ народной поэзіи. „Жуковскаго узнать нельзя, писалъ Гоголь. — Кажется, появился новый обширный поэтъ, и уже чисто русскій“.

Въ письмѣ къ Жуковскому 22 декабря 1847 г. Гоголь оставилъ такое воспоминаніе объ ихъ первой встрѣчѣ: „Вотъ ужъ скоро двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, едва вступившій въ свѣтъ юноша, пришелъ въ первый разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцѣ. Комнаты этой уже нѣтъ. Но я ее вижу, какъ теперь, всю до малѣйшей мебели и вещицы. Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!... Что насъ свело, неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство. Отчего? Оттого, что оба чувствовали святыню искусства“.

Гоголь придавалъ огромное значеніе первой встрѣчѣ съ Жуковскимъ. Онъ пріурочивалъ къ этому времени коренное

измѣненіе въ направленіи своей творческой дѣятельности. „И едва ли не со времени этого перваго свиданія нашего, — писалъ Гоголь Жуковскому въ 1847 г., — искусство стало главнымъ и первымъ въ моей жизни, а все прочее вторымъ. Мнѣ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землѣ, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба“.

Такъ Гоголю казалось, и, говоря это, онъ былъ искренен для извѣстнаго момента, но были отступленія, были неудачныя попытки служебной дѣятельности, напр., его кратковременная профессура. Жуковскій былъ въ числѣ тѣхъ оптимистовъ, которые вѣрили въ научную пригодность Гоголя, которые хлопотали о прикрѣпленіи его къ университету. Извѣстно, что Жуковскій и Пушкинъ посѣтили, однажды, лекцію Гоголя, которую онъ приготовилъ старательно для этого частнаго посѣщенія, какъ поэтическое угощеніе знаменитымъ гостямъ, его доброжелателямъ.

Гоголь дѣлился съ Жуковскимъ литературными новостями, напр., русскимъ переводомъ малорусскихъ пѣсенъ, Пушкинскими сказками. Въ 1831 г. онъ писалъ Жуковскому: „Мнѣ кажется, что теперь воздвигается огромное зданіе чисто русской поэзіи. Страшные граниты положены въ фундаментъ“.

Жуковскій просилъ своего пріятеля Плетнева оказать Гоголю поддержку, и Плетневъ въ 1831 г. пристроилъ Гоголя учителемъ исторіи въ Патріотическомъ институтѣ, гдѣ Плетневъ былъ инспекторомъ, и, кромѣ того, доставилъ ему частныя занятія у Лонгиновыхъ, Балабановыхъ, Васильчиковыхъ. Но Гоголь неохотно исполнялъ служебныя обязанности, часто бралъ отпуски, и учебное начальство нашло нужнымъ, въ интересахъ учрежденія, пригласить другого преподавателя. 15 іюля 1835 г. Гоголь писалъ Жуковскому изъ Полтавы: „Вчера я получилъ извѣщеніе изъ Петербурга о странномъ происшествіи, что мѣсто мое въ Патріотическомъ институтѣ долженствуетъ замѣститься другимъ господиномъ. Это для меня крайне прискорбно, потому что, какъ бы то ни было, это мѣсто доставляло мнѣ хлѣбъ, и притомъ мнѣ было очень пріятно заниматься; я привыкъ считать чѣмъ-то роднымъ и близкимъ“. Гоголь проситъ Жуковскаго

устроить такъ, чтобы императрица не утвердила новаго учителя, и мѣсто осталось за нимъ, Гоголемъ.

Жуковскій и Пушкинъ принимали близкое участіе во всѣхъ литературныхъ предпріятіяхъ Гоголя, то въ формѣ предложенія темы, то въ формѣ обсужденія деталей, то въ формѣ обузданія цензуры.

Въ 1831 и 1832 годахъ вышли знаменитые, положившіе прочное основаніе для славы Гоголя „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки", подъ псевдонимомъ пасѣчника Рудаго Панька. Въ запискахъ Смирновой сохранилось любопытное извѣстіе, что Жуковскій и его друзья принимали живое участіе въ обсужденіи самаго псевдонима. Плетневъ находилъ, что „Рудый Панько" звучитъ хорошо и что это вполнѣ „хохлацкое имя". А. О. Россетъ-Смирнова находила, что и Гоголь-Яновскій достаточно „хохлацкое имя" и въ псевдонимѣ нѣтъ надобности. Жуковскій держался того мнѣнія, что Гоголю удобнѣе выступить подъ псевдонимомъ, потому что, говорилъ онъ, авторъ молодъ, а наша критика возмутительно относится къ начинающимъ, и булгаринская клика будетъ извергать свой ядъ. Лучше избѣжать того, что можетъ обезкуражить начинающаго автора. Замѣчательная предупредительность и чисто отеческая, гуманная заботливость о поддержаніи молодого дарованія! Мнѣніе Жуковскаго взяло верхъ. Другой покровитель и другъ Гоголя -Пушкинъ, судя по словамъ Смирновой, заранѣе подготовилъ статью въ защиту Гоголя, на случай рѣзкой критики. „Если Булгаринъ позволитъ себѣ что-нибудь, возраженія Пушкина будутъ полны не только соли, но и перцу"... Смирнова тутъ же замѣчаетъ, что она какъ-то видѣла Булгарина, что у него „препротивная физіономія".

Въ 1836 г. на сценѣ появился „Ревизоръ". Жуковскій и Пушкинъ были литературными воспріемниками этого славнаго въ лѣтописяхъ русскаго театра произведенія. Они привлекли къ нему вниманіе и сочувствіе государя Они поддерживали самолюбиваго автора въ горькія минуты сомнѣній и огорченій. На первомъ представленіи „Ревизора" Гоголь сидѣлъ въ ложѣ съ гр. Віельгорскимъ, кн. Вяземскимъ и Жуковскимъ. Благодаря ходатайству Жуковскаго и Віельгорскаго, рукопись „Ревизора" была прочитана императору Николаю Павловичу, и получено Высочайшее разрѣшеніе на

изданіе и представленіе комедіи. По словамъ очевидца барона Розена, „на блистательныхъ литературныхъ вечерахъ Жуковскаго (по субботамъ) Гоголь частенько читалъ свою комедію „Ревизоръ“ въ кругу именитѣйшихъ литераторовъ и почетнѣйшихъ, образованнѣйшихъ особъ... Гоголь, зная наизусть свою комедію, не всегда глядѣлъ въ рукопись и часто прогуливался геніальнымъ взглядомъ по рядамъ дышащихъ живѣйшимъ участіемъ слушателей .. Весь блистательный соборъ слушателей расходился перекатнымъ смѣхомъ“. . Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ „Ревизора“. Молчалъ и хмурился лишь одинъ завистливый и недоброжелательный баронъ Розенъ. Жуковскій наблюдалъ за своими гостями. Онъ однажды наединѣ сказалъ барону Розену, что Гоголь замѣтилъ сдержанное его отношеніе, выразившееся въ отсутствіи одобреній или порицаній.

„Ревизоръ“ вызвалъ въ публикѣ чрезвычайно разнообразные сужденія. Небольшая группа передовой интеллигенціи, имѣя во главѣ Жуковскаго, Пушкина и Бѣлинскаго, была въ восторгѣ. Большинство, сѣрое большинство, было недовольно, что уже обнаружилось на первомъ представленіи знаменитой комедіи. Одинъ изъ современниковъ прямо говорилъ, что не могъ же въ самомъ дѣлѣ вызвать сочувствіе спектакль, осмѣивающій взяточничество, въ такомъ зрительномъ залѣ, гдѣ половина публики была дающей, а другая половина берущей. Въ одной газетѣ писали: „Имена дѣйствующихъ лицъ изъ „Ревизора“ обратились на другой день въ собственныя названія: Хлестаковы, городничіе, Земляники, Тяпкины-Ляпкины пошли подъ руку съ Фамусовымъ, Молчалинымъ, Чацкимъ. Посмотрите: они, эти господа и госпожи, гуляютъ по Тверскому бульвару, въ паркѣ, по городу. Вездѣ, вездѣ, гдѣ есть десятокъ народу, навѣрно одинъ выходитъ изъ комедіи Гоголя.

„Мочи нѣтъ, — писалъ Гоголь Щепкину 29 апр. 1836 г. Дѣлайте, что хотите съ моею пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мнѣ она надоѣла такъ же, какъ и хлопоты о ней. Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники, пожилые и почтенные, кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня, купцы противъ меня, литераторы противъ меня. Бра-

пять и ходятъ на пьесу. На четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя ни за что не была бы на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій признакъ истины, и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ человѣкъ, а цѣлыя сословія".

Отъѣздъ Гоголя за границу въ половинѣ 1836 г. ставится въ самую тѣсную связь и прямую зависимость отъ служебныхъ неудачъ и литературныхъ огорченій. „Лишившись каѳедры въ университетѣ и учительскаго мѣста въ Патріотическомъ институтѣ и измученный неистовыми воплями негодованія, возбужденнаго въ нѣкоторыхъ слояхъ общества появленіемъ на сценѣ „Ревизора", Гоголь двинулся, въ сообществѣ своего неразлучнаго друга Данилевскаго, за границу. Оба свободные, оба молодые и жадно стремящіеся окунуться въ столь заманчивый и еще незнакомый имъ западно-европейскій міръ, они весело бросились навстрѣчу привѣтливой будущности.

Можно думать, что поѣздка Гоголя за границу обусловлена была многими причинами. При всемъ своемъ недовольствѣ обществомъ, Гоголь мотивировалъ иначе свой отъѣздъ. Въ письмѣ къ Погодину въ маѣ 1836 г. онъ говоритъ: „Ѣду за границу; тамъ размыкаю ту тоску, которую нагоняютъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ быть подальше отъ родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ... Я не смущаюсь, но какъ-то тягостно, грустно... Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ, тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „Мы не плуты"! Но Богъ съ ними! Я не оттого ѣду за границу, чтобы не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ обдумать хорошенько труды будущіе.

Къ неудовольствіямъ на общество и къ заботамъ о здоровьѣ нужно присоединить еще прямые совѣты и указанія Жуковскаго, Пушкина и ихъ друзей. Заграничная поѣздка Гоголя входила въ ихъ цѣли для расширенія его образованія. Пушкину самому очень хотѣлось побывать за границей.

но его не пускали. Жуковскій уже бывалъ въ западныхъ странахъ и сильно тяготѣлъ къ западной культурѣ. И Гоголю хотѣлось отвѣдать этого міра; друзья его поддержали, направили, указали маршруты, снабдили рекомендательными письмами, обѣщали матеріальную поддержку. Гоголь какъ-то читалъ у Россеть-Смирновой „Тараса Бульбу“. По окончаніи чтенія Пушкинъ поцѣловалъ его и сказалъ: „Пиши, пиши, думай, работай... Ты будешь путешествовать, ты увидишь, что Западъ создалъ въ мірѣ искусства...“ Въ другомъ мѣстѣ Смирнова говоритъ прямо: „обсуждали планы хохла“ и далѣе подробно излагается тотъ маршрутъ, который мужъ ея, Смирновъ, въ присутствіи Пушкина начерталъ относительно Италіи, которую Смирновъ зналъ хорошо. Смирновъ обѣщалъ рекомендательныя письма къ Бутурлинымъ, Воронцовымъ, Орловымъ, Пушкинъ — къ Зинаидѣ Волконской и т. д. Предполагалось, что Гоголь основательно ознакомится со страной и художниками, съ профессорами академій Флоренціи и Рима

Во время своего перваго заграничнаго путешествія, Гоголь, переносясь безпрестанно съ мѣста на мѣсто, слишкомъ мало заботился о подробностяхъ будущаго устройства своей жизни, хотя въ главныхъ своихъ потребностяхъ ему удалось, благодаря содѣйствію Жуковскаго, обезпечить себя еще до выѣзда изъ Петербурга. Въ письмѣ къ Жуковскому, написанному вскорѣ послѣ отъѣзда за границу, Гоголь говоритъ: „не знаю, какъ благодарить васъ за хлопоты ваши доставить мнѣ отъ Императрицы на дорогу“. Гоголь просилъ Прокоповича передать Плетневу, что „деньги получены съ невѣроятной исправностью“. Должно-быть, и тутъ дѣйствовало бдительное око Жуковскаго.

Гоголь выѣхалъ за границу въ іюнѣ моремъ на Гамбургъ. Пробывъ немного времени въ Баденъ-Баденѣ и Франкфуртѣ на Майнѣ, онъ поселился въ Швейцаріи, въ Веве, гдѣ ранѣе уже бывалъ Жуковскій. „Сначала было мнѣ нѣсколько скучно, — писалъ Гоголь къ Жуковскому 12 ноября 1836 г., — потомъ я привыкъ и сдѣлался совершенно вашимъ наслѣдникомъ: завладѣлъ мѣстами вашихъ прогулокъ, мѣрилъ разстояніе по назначеннымъ вами верстамъ, нацарапалъ даже свое имя русскими буквами въ Шильонскомъ подземельѣ... Внизу послѣдней колонны когда-нибудь русскій путешественникъ разберетъ мое птичье имя“... Въ это время Гоголь усердно

работалъ надъ „Мертвыми душами“, начатыми въ Петербургѣ. Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ: „все начатое передѣлалъ я вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись. Швейцарія сдѣлалась мнѣ съ тѣхъ поръ лучше; сѣро-лилово-голубо-сине-розовыя ея горы легче и воздушнѣе. Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ. Это будетъ первая моя порядочная вещь, — вещь, которая вынесетъ мое имя. Каждое утро въ прибавленіе къ завтраку вписывалъ я по три страницы въ мою поэму, и смѣху отъ этихъ страницъ для меня было достаточно, чтобы усладить мой одинокій день“. Вскорѣ въ Веве наступили холода. Гоголь захандрилъ и уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ, по его словамъ, „Богъ простеръ надъ нимъ свое покровительство и сдѣлалъ чудо: указалъ ему теплую квартиру, на солнцѣ, съ печкой“. „Снова веселъ,—писалъ согрѣвшійся Гоголь Жуковскому. — „Мертвыя“ текутъ живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ Веве, и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словомъ — вся православная Русь... Огромно велико мое твореніе, и не скоро конецъ его... Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки... съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни...“ Въ концѣ письма Гоголь проситъ Жуковскаго и Пушкина сообщать ему какіе-нибудь казусы, могущіе случиться при покупкѣ мертвыхъ душъ. „Хотѣлось бы мнѣ страшно, — добавляетъ онъ, — вычерпать этотъ сюжетъ со всѣхъ сторонъ“.

Съ 1837 г. Гоголь писалъ Жуковскому: „Я получилъ данное мнѣ великодушнымъ нашимъ Государемъ вспоможеніе. Благодарность сильна въ груди моей; но изліяніе ея не достигнетъ къ Его Престолу... Но до васъ можетъ достигнуть моя благодарность. Вы, все вы, вашъ исполненный любви взоръ бодрствуетъ надо мною!“.

Въ это время Гоголь усиленно работалъ надъ „Мертвыми душами“: въ Швейцаріи, въ Парижѣ, въ Италіи вездѣ настойчиво обдумывалъ и обрабатывалъ это капитальное произведеніе. „Тружусь и спѣшу всѣми силами совершить трудъ

мой, — писалъ онъ Жуковскому изъ Рима въ 1837 г. — Жизни, жизни, еще бы жизни! Я ничего еще не сдѣлалъ, чтобы было достойно вашего трогательнаго расположенія. Но можетъ быть это, которое пишу нынѣ, будетъ достойно его. По крайней мѣрѣ, мысль о томъ, что вы будете читать его нѣкогда, была одна изъ первыхъ, оживлявшихъ меня во время бдѣнія надъ нимъ. Храни Богъ долго, долго прекрасную жизнь вашу".

Наканунѣ новаго 1839 года Гоголь писалъ изъ Рима Данилевскому, что туда пріѣхалъ Жуковскій: „Онъ все такъ же бодръ, такъ же любитъ меня". Между двумя поэтами еще стояла дружественная тѣнь Пушкина. „Онъ весь полонъ Пушкинымъ", добавляетъ Гоголь о Жуковскомъ.

Въ письмѣ къ кн. Репниной, написанномъ вскорѣ по пріѣздѣ Жуковскаго въ Римъ, Гоголь говоритъ: „Я теперь такъ счастливъ пріѣздомъ Жуковскаго, что это одно наполняетъ меня всего. Свиданіе наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, былъ Пушкинъ. Понынѣ чело его облекается грустью при мысли объ этой утратѣ. Мы почти весь день осматривали Римъ съ утра до ночи". Г. Шенрокъ отмѣтилъ, что „письма Гоголя къ Жуковскому послѣ ихъ встрѣчи въ Римѣ носятъ явные слѣды происшедшаго болѣе тѣснаго сближенія между ними... Жуковскій съ Гоголемъ дѣлилъ отъ души самыя высокія наслажденія прекраснымъ въ продолженіе всего его пребыванія въ Римѣ.

Гоголь и Жуковскій осматривали вмѣстѣ вѣчный городъ, вмѣстѣ рисовали лучшіе его виды. Мѣсяцъ съ небольшимъ пролетѣлъ незамѣтно. Жуковскій уѣхалъ въ Германію; Гоголь остался въ Римѣ. „Это былъ какой-то небесный посланникъ ко мнѣ, — вспоминалъ онъ о Жуковскомъ, — какъ тотъ мотылекъ, имъ описанный, влетѣвшій къ узнику".

Въ февралѣ 1839 г. Гоголь былъ еще полонъ воспоминаніями о пребываніи Жуковскаго въ Римѣ. Въ веселомъ весеннемъ настроеніи Гоголь писалъ Жуковскому: „Чудное время! Слышите ли и видите ли эти божественные дни, которые теперь настали, передовые гонцы несущейся уже недалеко весны. Какъ я ихъ люблю! Боже, если бы вы встрѣтили ихъ еще здѣсь; но кто знаетъ, можетъ-быть, вы тогда не захотѣли бы выѣхать изъ Рима... Теперь жаль на минуту оставить Римъ: такъ онъ хорошъ, и такая бездна предме-

товъ для рисованія. Доживу ли я до того времени, когда мы вновь сядемъ вмѣстѣ, оба съ кистями? Вѣрите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдругъ оборачиваюсь, чтобы сказать слово вамъ и, оборотившись, вижу и какъ будто слышу пустоту, по крайней мѣрѣ, на нѣсколько минутъ...

При нѣкоторыхъ преувеличеніяхъ, обычныхъ у Гоголя, какъ человѣка гиперболическаго настроенія, въ словахъ его нельзя не признать искренняго выраженія его привязанности къ Жуковскому.

Въ апрѣлѣ 1839 г. Гоголь обратился изъ Рима къ Жуковскому съ просьбой выхлопотать для него пенсіонъ. „Меня страшитъ мое будущее. Здоровье мое, кажется, съ каждымъ днемъ становится хуже и хуже. Я былъ недавно очень боленъ... Я послалъ въ Петербургъ за послѣдними моими деньгами, и больше ни копейки: впереди не вижу никакихъ средствъ добыть ихъ. Заниматься какимъ-нибудь журнальнымъ мелочнымъ вздоромъ не могу, хотя бы умиралъ съ голоду. Я долженъ продолжать мною начатый большой трудъ („Мертвыя души“), который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе, и который обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе...“ „Вы одни въ мірѣ, котораго интересуетъ моя участь. Вы сдѣлаете все то, что только въ предѣлахъ возможности... Не въ первый разъ я обязанъ многимъ, многимъ вамъ, чего сердце не умѣетъ высказать... Если бы мнѣ такой пенсіонъ, какой дается воспитанникамъ академіи художествъ, живущимъ въ Италіи, или хоть такой, какой дается дьячкамъ, находящимся здѣсь при нашей церкви“...

Жуковскій не рѣшился хлопотать, въ виду того, что императрица была больна. Вскорѣ въ концѣ 1839 г. Гоголь пріѣхалъ въ Россію и изъ Москвы послалъ Жуковскому въ Петербургъ просьбу такого рода: „Я придумалъ вотъ что: сдѣлайте складку, сложитесь всѣ тѣ, которые питаютъ ко мнѣ истинное участіе, составьте сумму въ 4000 руб. и дайте мнѣ взаймы на годъ“. Просьба эта была удовлетворена. Гоголь получилъ отъ Жуковскаго 4000 руб. „Что я могу написать вамъ,—говоритъ Гоголь въ письмѣ къ Жуковскому по этому поводу,—только благодарить васъ за ваши заботы, за ваше рѣдкое участіе“. Далѣе онъ высказываетъ надежду снова уѣхать въ излюбленный Римъ.

Въ 1839 г. идутъ просьбы Гоголя о томъ, чтобы сестры его были обезпечены, въ 1840 и 1841 г. просьбы объ опредѣленіи его на службу въ Римъ.

Въ письмѣ къ художнику А. Иванову 16 мая 1842 г. Гоголь, совѣтуя написать вторично просьбу къ Жуковскому, для возбужденія ходатайства о продленіи пенсіи, говоритъ, что „Жуковскому никогда нельзя наскучить въ справедливомъ дѣлѣ". И нужно сознаться, что самъ Гоголь часто обращался съ личными просьбами къ Жуковскому и др. лицамъ, напримѣръ, въ письмахъ къ Плетневу 1842 г., гдѣ онъ настойчиво напоминаетъ, чтобы его „не исключили изъ круга писателей, которымъ изъявляется царская милость за поднесенные экземпляры". Любопытно при этомъ замѣчаніе: „когда былъ въ Петербургѣ Жуковскій, мнѣ обыкновенно что-нибудь слѣдовало". Въ письмѣ къ Шевыреву 1843 г. Гоголь, по повода выходу „Мертвыхъ душъ", между прочимъ, писалъ: „Изъ Петербурга я не получалъ ни одного изъ тѣхъ подарковъ, которые я получалъ прежде, когда былъ тамъ Жуковскій". Въ томъ же письмѣ Гоголь разъясняетъ, что ему для проживанія за границей, по самой, какъ онъ выражается, „строгой смѣтѣ", нужно „по 6 тысячъ рублей въ продолженіе трехъ лѣтъ на всякій годъ", и что тогда „благодарность его будетъ такъ безконечна, какъ безконечна къ намъ любовь Христа Спасителя нашего". Къ Жуковскому, проживавшему за границей, также шли просьбы Гоголя, то за себя, то за Иванова, просьбы столь частыя и настойчивыя, что Жуковскій, при всемъ его благодушіи, обнаружилъ недовольство и долгое время не отвѣчалъ Гоголю, такъ что послѣдній въ письмѣ 1842 г. даже спрашивалъ его. „Или вы разлюбили меня?", а въ письмѣ того же 1842 г. у Жуковскаго, вмѣсто обычнаго дружескаго обращенія: „Гоголекъ", находится церемонное оффиціальное обращеніе „Николай Васильевичъ". Гоголь почувствовалъ холодъ и укоръ и въ письмѣ 1843 г. заявилъ, что пріѣдетъ къ Жуковскому для личнаго свиданія, не спрашивая, желательно или нежелательно Жуковскому „видѣть его физіономію".

Но добродушный Жуковскій не могъ долго сердиться. Онъ принялъ Гоголя съ искреннимъ радушіемъ и неизмѣнно поддерживалъ ласковыя отношенія Гоголь въ 1843 г. гостилъ у Жуковскаго въ Дюссельдорфѣ. Здѣсь онъ, какъ писалъ

Плетневу, „воспринималъ отъ купели „Матео Фалконе“ и торопилъ къ появленію въ свѣтъ“. Въ 1844 г. Гоголь переѣхалъ съ Жуковскимъ во Франкфуртъ. Въ письмѣ къ Языкову изъ Франкфурта 1844 г. Гоголь говоритъ, что онъ „подзадорилъ Жуковскаго, и онъ въ три дня съ небольшимъ хвостикомъ четвертаго отмахнулъ славную вещь“ („Двѣ повѣсти“ изъ Шамиссо и Рюккерта написаны для „Москвитянина“).

Въ 1841 г. Гоголь, привлекая Жуковскаго къ ходатайству въ пользу извѣстнаго художника А. Иванова, писалъ, что „помочь таланту значитъ помочь не одному ближнему, но двадцати ближнимъ вдругъ“. Слова эти примѣнимы къ самому Гоголю. Ему нужно было помочь, и учетъ помощи тутъ нельзя произвести съ математической аккуратностью. Лично Гоголь тяготился своими долгами. „Если бъ вы знали,— писалъ онъ Жуковскому 3 мая 1840 г., — какъ мучается моя бѣдная совѣсть, что существованіе мое повисло на плечи великодушныхъ друзей моихъ“. Онъ уплачивалъ долги по частямъ; но, важнѣе, что онъ съ лихвой покрылъ свои долги своимъ геніемъ, оцѣнка котораго стоитъ и нынѣ выше матеріальныхъ соображеній.

Въ началѣ 40-хъ годовъ усиливается крайнее самомнѣніе Гоголя наряду съ частыми перемежающимися пароксизмами искусственнаго самоуниженія, покаянія и самобичеванія. Въ іюнѣ 1842 г. Гоголь писалъ Жуковскому изъ Берлина: „Съ каждымъ днемъ становится свѣтлѣй и торжественнѣй въ душѣ моей. Не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленья и отлученья отъ міра; въ нихъ незримо совершалось воспитаніе души моей. Скажу только, что я сталъ далеко лучше того, какимъ запечатлѣлся въ священной для меня памяти друзей моихъ, что чаще и торжественнѣе льются душевныя слезы мои и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ мнѣ взойти на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горнаго снѣга и свѣтлѣй небесъ должна быть душа моя, и тогда только я прійду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрѣшится задача моего существованія“.

Болѣзни со всѣхъ сторонъ обступили бѣднаго Гоголя, вопреки тому, что онъ говорилъ о свѣтѣ и торжественности

своей души. Въ 1845 г. Гоголь, замѣтивъ, что Жуковскій началъ за него безпокоиться и побаиваться, сталъ иногда скрывать отъ него состояніе своей болѣзни; но прозорливый въ этомъ отношеніи Жуковскій видѣлъ хорошо плохое состояніе его здоровья. „Здоровье Гоголя требуетъ рѣшительныхъ мѣръ, — писалъ Жуковскій къ Смирновой въ 1845 г. — Ему надо имъ заняться исключительно, бросивъ на время перо“.

Въ концѣ 1846 г. скончался другъ Гоголя и Жуковскаго, поэтъ Языковъ, и больной уже въ то время Гоголь писалъ Жуковскому, что „небесная родина наполняется близкими сердцу“. „Братъ мой прекрасный, отнынѣ мы должны быть еще ближе другъ къ другу“.

Гоголь и Жуковскій нѣсколько разъ съѣзжались вмѣстѣ и проводили время въ дружеской бесѣдѣ. Такъ было во Франкфуртѣ, въ Римѣ, въ Эмсѣ. Лѣтомъ 1847 г. Жуковскій жилъ въ Эмсѣ въ одномъ домѣ съ Хомяковымъ, котораго называлъ „поэтической библіотекой, добродушнымъ и пріятнымъ собесѣдникомъ“. Когда къ нимъ на короткое время присоединился еще Гоголь, Жуковскій писалъ: „мы на досугѣ тріумвиратствуемъ“.

На почвѣ физическаго и нравственнаго упадка выросла въ 1847 г. „Переписка“ Гоголя. Книга это произвела тяжелое впечатлѣніе даже на близкихъ друзей Жуковскаго. Крайне непріятное впечатлѣніе произвелъ общій учительскій тонъ, искусственное смиреніе, скрытое самомнѣніе. Бѣлинскій написалъ громкое письмо. Аксаковы (С. Т. и Конст. Серг.), Погодинъ, архіеп. харьковскій Иннокентій были недовольны и осуждали книгу съ разныхъ точекъ зрѣнія. Даже Жуковскій отнесся съ порицаніемъ къ нѣкоторымъ статьямъ въ „Перепискѣ“.

Суровые и, главное, справедливые и основательные отзывы о „Перепискѣ“ людей, которыхъ Гоголь не могъ не уважать, какъ, напримѣръ, С. Т. Аксакова, глубоко задѣли самолюбіе Гоголя. Онъ пробовалъ оправдываться, какъ показываетъ его письмо къ Аксакову отъ 28 августа 1847 г., гдѣ онъ признаетъ, однако, свое сочиненіе „недодѣланнымъ“, но передъ Жуковскимъ Гоголь не могъ лицемѣрить; въ трехъ замѣчательныхъ письмахъ къ нему отъ 4-го марта, 6-го марта и 22-го декабря Гоголь окончательно сознается въ недостаткахъ „Переписки“.

4-го марта Гоголь писалъ: „Мнѣ случилось получить много пораженій... и какъ все это нужно было. Я и подумать еще не могъ, какъ много во мнѣ еще осталось гордости, самонадѣянности, самолюбія, самонадменности (sic) и высокомѣрія... Мнѣ кажется, какъ будто послѣ всего этого я сталъ теперь проще и какъ будто ровнѣе; сужу потому, что мнѣ теперь тяжело взглянуть на мою книгу; мнѣ кажется въ ней все такъ напыщенно, неумѣренно, невоздержно, что отъ стыда закрываю лицо. О, какъ мнѣ трудно управляться въ моемъ душевномъ хозяйствѣ! Имѣнье дано въ управленіе большое, а самъ управитель слишкомъ плохъ и слишкомъ не наученъ, какъ привести имѣніе въ стройность. Какъ мнѣ трудно достигнуть той простоты, которая уже при самомъ рожденіи влагается другому въ душу".

Въ письмѣ, написанномъ черезъ два дня, Гоголь еще съ большей откровенностью сообщаетъ Жуковскому, что онъ точно „проснулся" и чувствуетъ себя „какъ провинившійся школьникъ". „Я размахнулся въ моей книгѣ,—говоритъ Гоголь,—такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее... Стыдно, что возмнилъ о себѣ, будто мое школьное воспитаніе уже кончилось, и могу я стать наравнѣ съ тобою. Право, есть во мнѣ что-то хлестаковское. А ты кротко, безъ негодованія подаешь мнѣ братскую руку свою ..."

Въ письмѣ 22-го декабря находится замѣчательное по основательности замѣчаніе Гоголя: „Несмотря на пристрастіе сужденій объ этой книгѣ и разномысліе ихъ, въ итогѣ послышался общій голосъ, указавшій мнѣ мѣсто мое и границы, которыя я, какъ писатель, не долженъ переступать Въ самомъ дѣлѣ, не мое дѣло поучать проповѣдью. Искусство и безъ того уже поученіе. Мое дѣло говорить *живыми образами*, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни".

С. Т. Аксаковъ обвинялъ Жуковскаго, что онъ допустилъ изданіе „Переписки" Гоголя,—такъ въ обществѣ сильна была вѣра во всемогущее вліяніе Жуковскаго на Гоголя. Когда Аксаковъ предложилъ Плетневу, завѣдывавшему изданіемъ книги, прекратить ея печатаніе, Плетневъ не согласился, сославшись на то, что „Жуковскій одобрилъ всѣ намѣренія Гоголя". Въ своемъ суровомъ письмѣ къ Гоголю, Аксаковъ, намекая, очевидно, на Жуковскаго, писалъ: „И-

дутъ Богу отвѣтъ эти друзья ваши, слѣпые фанатики и знаменитые Маниловы, которые не только допустили, но и сами помогали вамъ запутаться въ сѣти собственнаго ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христіанское смиреніе".

Жуковскій не былъ повиненъ въ появленіи „Переписки" Гоголя, и указаніе Плетнева, что „всѣ намѣренія Гоголя были одобрены Жуковскимъ", не вполнѣ основательно. Хотя Гоголь и прочелъ часть своей книги Жуковскому до изданія ея въ печати, между прочимъ, завѣщаніе и предисловіе къ перепискѣ, но Жуковскій, повидимому, не предполагалъ, что все прочитанное ему появится въ печати и вызоветъ почти всеобщее осужденіе. Въ письмѣ къ Гоголю отъ 12 марта 1847 г. Жуковскій говоритъ: „Тебѣ крѣпко досталось отъ нашихъ строгихъ критиковъ, и я, признаться, попенялъ самому себѣ за то, что въ одномъ случаѣ не предохранилъ тебя отъ ихъ ударовъ, тѣмъ болѣе чувствительныхъ, что они подѣломъ тебѣ достались; виню себя въ томъ, что не присовѣтовалъ тебѣ уничтожить твое завѣщаніе и многое переправить въ твоемъ предисловіи".

Чтобы поддержать пріунывшаго друга и внести нѣкоторыя поправки въ его неудачную „Переписку", Жуковскій въ „Москвитянинѣ" 1848 г. помѣстилъ большую статью: „О поэтѣ и современномъ его значеніи". Статья появилась въ то время, когда Гоголь былъ въ Палестинѣ. Ознакомившись съ нею, по возвращеніи въ Россію, Гоголь въ іюнѣ 1848 г. писалъ Жуковскому, что статья написана „очень дѣльно, многимъ понравилась и его освѣжила".

Кромѣ того, Жуковскій предполагалъ еще издать свои замѣчанія по поводу „Переписки" особой статьей, подъ заглавіемъ „Отрывки изъ писемъ къ Гоголю, писанныхъ къ нему о его книгѣ".

Въ 1849 г. Жуковскій просилъ Гоголя, предпринявшаго путешествіе въ Палестину, дать ему описаніе страны, со всѣми ея мѣстными красками, въ такомъ видѣ, чтобы оно могло послужить для „Агасфера". Гоголь отчасти выполнилъ эту просьбу въ письмѣ отъ 28 февраля 1850 г., гдѣ набросана яркая картина „безглагольной, недвижимой, Богомъ проклятой мертвой страны".

Наступилъ послѣдній годъ въ жизни Гоголя и Жуковскаго.

Гоголь въ краткомъ письмѣ поздравилъ Жуковскаго съ наступающимъ 1852 г.

Послѣднее письмо Гоголя къ Жуковскому 2 февраля 1852 г.; написано оно недѣли за двѣ съ небольшимъ до кончины, и это письмо благодарственное: „Много благодарю за книги и за доброе письмо". Далѣе Гоголь говоритъ, что молится за Жуковскаго, и добавляетъ: „горячѣй бы гораздо мнѣ слѣдовало о тебѣ молиться, какъ о человѣкѣ, которому я много, много долженъ".

Далѣе Гоголь сердечно соболѣзнуетъ о слѣпотѣ Жуковскаго и препровождаетъ ему медицинскій рецептъ одного народнаго средства. Письмо кончается словами: „Будь здоровъ и Богъ тебѣ въ помощь, милый, близкій душѣ братъ!".

Черезъ 19 дней, 21 февраля 1852 г., Гоголь скончался, къ великому огорченію его стараго друга. Въ письмѣ къ Плетневу отъ 5 марта 1852 г. Жуковскій говоритъ: „Недавно я получилъ письмо отъ Гоголя и хотѣлъ дать ему отчетъ въ моей теперешней стихотворной работѣ „Агасферъ", занимаясь которой, я особенно думалъ о Гоголѣ... Я жалѣю его несказанно... Я потерялъ въ немъ одного изъ самыхъ симпатичныхъ участниковъ моей поэтической жизни, и чувствую свое сиротство въ этомъ отношеніи. Теперь мой литературный міръ состоитъ изъ 4 лицъ, изъ 2 — мужскаго пола и изъ 2 — женскаго; къ первой половинѣ принадлежите вы и Вяземскій, къ послѣдней двѣ старушки — Елагина и Зонтагъ. Какое пустое мѣсто оставилъ въ этомъ маленькомъ мірѣ мой добрый Гоголь".

Такъ горевалъ Жуковскій о своемъ другѣ, а смерть незамѣтно подступала къ нему самому. Черезъ мѣсяцъ съ небольшимъ, 12 апрѣля 1852 г. Жуковскій скончался на 69-омъ году жизни.

Гоголь похороненъ въ Москвѣ, Жуковскій — въ Петербургѣ. Смерть и пространство раздѣлили друзей навсегда; но исторія навсегда соединила ихъ неразрывными узами литературной дружбы и высокихъ національныхъ заслугъ.

Сумцовъ.

Жуковскій и Державинъ.

Жуковскій внесъ въ русскую поэзію именно тотъ самый элементъ, котораго не доставало поэзіи Державина: мечтательная грусть, унылая мелодія, задушевность и сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженнаго въ самомъ себѣ, — вотъ преобладающій характеръ поэзіи Жуковскаго, составляющій и ея непобѣдимую прелесть и ея недостатокъ, какъ всякой неполноты и всякой односторонности. Жуковскій діаметрально противоположенъ Державину, — и хотя содержаніе и тонъ поэзіи Жуковскаго суть экзотическія растенія въ отношеніи къ руской поэзіи, переселенцы съ чуждой почвы, изъ-подъ чуждаго неба, однако, вопреки толкамъ и крикамъ поборниковъ народности въ поэзіи, Жуковскій поэтъ не одной своей эпохи, его стихотворенія всегда будутъ находить отзывъ въ юныхъ поколѣніяхъ, приготовляющихся къ жизни и еще только мечтающихъ о жизни, но не знающихъ ея. Не можемъ сказать, способствовало ли какое-нибудь внѣшнее обстоятельство къ обращенію юнаго Жуковскаго, еще ученика въ Благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, къ нѣмецкой и англійской поэзіи; но, во всякомъ случаѣ, духъ времени былъ главною причиной этого обращенія. Псевдоклассическая поэзія Франціи XVII и XVIII вѣковъ уже не могла безусловно нравиться юному поколѣнію XIX вѣка, и оно должно было искать другихъ источниковъ эстетическаго наслажденія. Нѣмецкая литература тогда уже дѣлалась извѣстною самой Франціи; въ Россіи она могла плѣнять только немногихъ юношей, знакомыхъ съ ея языкомъ. Не знаемъ, къ сожалѣнію, когда написана Державинымъ его передѣлка одной Шиллеровой пьесы (вѣроятно, съ французскаго перевода или подражанія), названная имъ „Арфою", не знаемъ также и времени передѣлки извѣстной пьесы Гете Дмитріевымъ (тоже, должно-быть, съ французскаго перевода или подражанія), названной имъ „Размышленіемъ по случаю грома": знакъ, что темные слухи о Шиллерѣ и Гете доходили еще и до патріарховъ нашей поэзіи, и что въ лицѣ Жуковскаго, съ малолѣтства знакомаго съ нѣмецкимъ языкомъ, наша литература сдѣлала естественный шагъ впередъ, обратившись къ новому и болѣе жизненному источнику ин-

ганія къ нѣмецкой поэзіи. Что же касается до англійской литературы, съ нею наша была знакома еще до Жуковскаго; самъ Карамзинъ писалъ о ней въ своемъ путешествіи, даже перевелъ монологъ Лира во время бури и отрывокъ изъ Оссіана; но о Шекспирѣ, несмотря на то, знали черезъ французовъ, какъ о варварѣ, и почетными именами англійской литературы считались: Попъ, Аддисонъ, Драйденъ, Томсонъ, Грей, Юнгъ, Мильтонъ, Фильдингъ, Ричардсонъ, Стернъ. Жуковскій первый перевелъ, своимъ крѣпкимъ и звучнымъ стихомъ, нѣсколько (впрочемъ, очень мало) англійскихъ баллядъ и написалъ въ ихъ духѣ свою („Эолову Арфу“), чѣмъ вѣрно передалъ романтическій характеръ англійской поэзіи. Когда уже англійская поэзія сдѣлалась знакома русской публикѣ и черезъ журнальные толки и прозаическіе переводы, Жуковскій далъ большую прочность и дѣйствительность этому знакомству своими переводами изъ Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура, Сутэя и пр. Это оригинальное (уже по одному тому, что новое) направленіе, эта обаятельная сила и богатство содержанія, заимствованныя Жуковскимъ у его нѣмецкихъ и англійскихъ образцовъ, поставили его на высокую чреду между русскими поэтами, какъ самобытнаго поэта, а не переводчика. Прибавьте къ этому неизмѣримое пространство, раздѣляющее языкъ и стихъ Жуковскаго отъ языка и стиха Державина. Причина этого явленія заключается не въ одной силѣ превосходнаго таланта пѣвца Минваны, но и въ историческомъ развитіи русской литературы: между Державинымъ и Жуковскимъ стоятъ Карамзинъ и Дмитріевъ, которымъ такъ много обязанъ русскій языкъ и русская версификація.

Бѣлинскій.

Доброжелательныя отношенія Жуковскаго къ писателямъ.

Когда Жуковскій сталъ придворнымъ педагогомъ, очень умѣренный Дмитріевъ (самъ бывшій министръ) писалъ къ А. Тургеневу: „Кажется, поэтъ мало-по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его“. Тогда же былъ

написана Пушкинымъ и слѣдующая злая эпиграмма — пародія на элегію Жуковскаго „Пѣвецъ", въ которой каждая строфа оканчивается восклицаніемъ: „Бѣдный пѣвецъ!"

Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею,
На лиру промѣнялъ лавровый свой вѣнецъ;
Не подражая больше Грею,
Съ указкой втерся во дворецъ.
И что же вышло наконецъ?
Предъ знатными сгибая шею,
Онъ руку жметъ камеръ-лакею.
Бѣдный пѣвецъ!

Біографія Жуковскаго, пожалуй, показываетъ, что наблюденіе Дмитріева было до извѣстной степени справедливо, но, вспоминая происхожденіе Жуковскаго и зная взгляды, господствующіе въ обществѣ, именно Жуковскому скорѣе всего можно простить увлеченіе придворными отношеніями и всѣмъ тѣмъ, что съ ними связано; притомъ же и отношенія эти были очень своеобразны. Вступивъ въ придворный кругъ, „Жуковскій не измѣнилъ себѣ нисколько, оставаясь, какъ и всегда доселѣ, добрымъ членомъ семьи въ той средѣ, которой отдавалъ свое сердце". Онъ не задумывается въ письмѣ къ государынѣ обращаться съ просьбами, имѣющими характеръ порученій относительно ожидающей его въ Петербургѣ квартиры, входя даже въ нѣкоторыя подробности, онъ проситъ, напр., государыню пріютить его скудныя богатства во дворцѣ и ввѣрить ихъ надзору какого-нибудь честнаго истопника. Вполнѣ можно согласиться съ кн. Вяземскимъ, что

Жуковскій во дворцѣ былъ отрокомъ Бѣлева:
Онъ вѣру и мечты и кротость сохранилъ
И дѣвственной души онъ ни лукавствомъ слова,
Ни тѣнью трусости, дитя, не пристыдилъ.

Если же Жуковскій „втерся" (вѣрнѣе, его „втерли" друзья) съ указкой во дворецъ, — это, какъ извѣстно, имѣло для Россіи чрезвычайно важныя послѣдствія; но я здѣсь приведу лишь одну небольшую выдержку изъ письма Жуковскаго къ имп. Николаю, чтобы показать, какъ поставилъ себя Жуковскій относительно своей указки: „Ученіе тогда только можетъ имѣть успѣхъ, когда ничто, ни въ какомъ случаѣ не будетъ нарушать порядка, разъ навсегда установленнаго. Когда и особа, и время, и все окружаю-

щіе в. Князя будутъ, безъ всякаго ограниченія, подчинены тѣмъ людямъ, коимъ Его Высочество будетъ порученъ. Государь Императоръ, конфирмовавшій сей планъ (воспитанія Цесаревича), да благоволитъ быть первымъ безпрекословнымъ его исполнителемъ... Дверь учебной комнаты въ продолженіе лекцій должна быть неприкосновенна; никто не долженъ себѣ позволить въ нее входить въ то время, которое Великій Князь будетъ посвящать занятіямъ: изъ этого правила не должно быть никакихъ исключеній... Его Высочество въ продолженіе своего воспитанія долженъ привыкнуть не почитать ничего выше своихъ обязанностей" и т. д.

Можно согласиться и съ тѣмъ, что поэзія Жуковскаго, со времени перехода его на придворно-педагогическое поприще, начинаетъ оскудѣвать, и особенно терять „Греевскій" характеръ, что и вызвало извѣстный отзывъ о ней приписываемый Воейкову (или Милонову):

Державинъ спитъ въ сырой могилѣ,
Жуковскій пишетъ чепуху;
И ужъ Крыловъ теперь не въ силѣ
Сварить Демьянову уху.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ возрастать услуги, оказываемыя Жуковскимъ писателямъ и артистамъ, и, кто знаетъ, что въ то время было нужнѣе для нашей литературы!

Императоръ Николай, облекшій себя въ ледяной покровъ величія и, подъ видомъ грозной внѣшности, какъ бы недоступный обычнымъ человѣческимъ увлеченіемъ, самъ признавался, что онъ не могъ сопротивляться просьбамъ Жуковскаго. Онъ, отъ взгляда котораго падали въ обморокъ люди слабонервные, не могъ вынести кроткаго и глубокаго взора Жуковскаго, заставлявшаго его быть гуманнымъ, конечно — согласно съ своими чувствами, но — вопреки своей системѣ.

Въ случаѣ необходимости, для осуществленія благотворительныхъ проектовъ, Жуковскій дѣйствовалъ черезъ важныхъ придворныхъ дамъ: Ю. О. Баранову или г-жу Вильдерметъ, или бралъ себѣ въ союзники фрейлину Россети (позже Смирнову), пользовавшуюся, благодаря своему уму, образованію, красотѣ и тѣмъ качествамъ, которыя вообще

отличаютъ царицъ салоновъ огромнымъ при дворѣ вліяніемъ, наконецъ, въ очень рискованныхъ случаяхъ Жуковскій прибѣгалъ къ помощи цесаревича, отказать которому было трудно даже для государя или самой императрицы.

Разсказъ о покровительствѣ Жуковскаго, вслѣдствіе этого, писателямъ и артистамъ начнемъ съ того, кто былъ наставникомъ, а затѣмъ долго и покровителемъ Жуковскаго — съ Карамзина. Конечно, Карамзинъ въ такомъ покровительствѣ мало нуждался, ибо въ концѣ жизни самъ пользовался немаловажнымъ значеніемъ при дворѣ; Жуковскій постоянно переписывался съ Карамзинымъ, выхлопоталъ ему лѣтнее помѣщеніе при дворцѣ въ Царскомъ Селѣ, часто посѣщалъ Карамзина, особенно во время послѣдней его болѣзни; съ Жуковскимъ совѣщался императоръ Николай о томъ, что сдѣлать для Карамзина; Жуковскимъ же написанъ рескриптъ государя Карамзину (отъ 13 мая 1826 г.) и указъ министру финансовъ о производствѣ ему 50000 р. въ годъ. Послѣ смерти Карамзина Жуковскій хлопочетъ о царскихъ милостяхъ къ его семьѣ, въ письмахъ къ близкимъ людямъ съ благоговѣніемъ вспоминаетъ о немъ, мечтаетъ написать его біографію и, наконецъ, въ стихотворномъ посланіи къ Дмитріеву, такъ говоритъ о Карамзинѣ:

Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ...

. . . .

Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы;
Ей молится Россіи вѣрный сынъ;
И будитъ въ наши дни для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ.

Оказать какую-либо услугу другу Карамзина Дмитріеву, кажется, Жуковскому не удалось: тотъ тоже былъ важнымъ лицомъ, и Жуковскій относился къ нему съ благоговѣніемъ. Когда Дмитріевъ прислалъ ему въ 1831 г. стихи, начинающіеся словами: „Жуковскій! дай мнѣ руку", онъ принялъ эту честь съ гордостью и писалъ: „Въ этихъ словахъ такъ много магическаго, они мнѣ кажутся надписью всей прошедшей моей жизни, въ лучшихъ годахъ которой Дмитріевъ и Карамзинъ играютъ такую свѣтлую роль". Въ 1837 г. Жуковскій завезъ цесаревича въ с. Богородское, родину Дмитріева, и, конечно, по его указаніямъ цесаревичъ въ бытность тогда въ Москвѣ обласкалъ стараго поэта

Покровительство Жуковскаго Воейкову было безконечнымъ; Мерзлякову въ 1825 г. исходатайствовалъ онъ 5000 р. на изданіе сочиненій; за кн. Вяземскаго „рыцарскимъ перомъ воевалъ съ Бенкендорфомъ" (шефомъ жандармовъ) въ 1828 г., когда на кн. Вяземскаго пало обвиненіе въ распущенной жизни; точно также же хлопоталъ онъ въ 1826 г. о чемъ-то для Прокоповича-Антонскаго; къ нему обращался съ какой-то просьбой Карамзинъ; Жуковскій былъ ею недоволенъ; но, вѣроятно, ее исполнилъ. Когда Павскій, какъ преподаватель великаго князя, подвергся нареканіямъ со стороны московскаго митрополита Филарета, Жуковскій вмѣшался въ эту исторію съ цѣлью ослабить значеніе ея для Павскаго и сильно помогъ ему выйти болѣе или менѣе благополучно изъ этой передряги.

Покровительство, оказанное Жуковскимъ давнему другу-арзамасцу Батюшкову, тоже было весьма существенно. Еще въ 1818 г. Жуковскій выхлопоталъ ему мѣсто при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ съ отправкою въ Италію. Батюшковъ переписывался съ нимъ, подвергалъ его критикѣ свои произведенія и въ припадкахъ душевнаго разстройства постоянно искалъ опоры въ Жуковскомъ. Когда же Батюшкова постигло помѣшательство, и родные поэта не обнаружили особеннаго о немъ попеченія, Жуковскій (лѣтомъ 1824 г.) отвезъ его въ Дерптъ къ докторамъ и затѣмъ, по совѣту ихъ, отправилъ его въ спеціальную больницу въ Пирнѣ, близъ Дрездена, поручивъ больного попеченію здѣсь своей хорошей знакомой, которую смѣнила сестра Батюшкова. Цѣлый рядъ писемъ свидѣтельствуетъ, какъ Жуковскаго интересовала судьба Батюшкова, который звалъ его къ себѣ въ Пирну; Жуковскій былъ тамъ, чтобы посмотрѣть, какими заботами окруженъ поэтъ, но, кажется, лично съ нимъ не видѣлся; онъ постоянно посылалъ ему деньги, а въ заключеніе исходатайствовалъ ему ежегодную пенсію въ 2000 руб.

Козловъ былъ не менѣе близокъ къ Жуковскому, чѣмъ Батюшковъ; Жуковскій тоже оживленно съ нимъ переписывался, въ теченіе 20 лѣтъ заботился о немъ и помогалъ ему, постоянно посѣщалъ его передъ смертью, похоронилъ и затѣмъ, чтобы помочь семьѣ слѣпца-поэта, принялъ на себя изданіе его сочиненій, которому предпослалъ сердечно написанное предисловіе. Онъ просилъ Баранову устроить,

у кого она знаетъ, конечно, изъ лицъ царской фамилiи, вкладъ въ сборъ на подписку на эти сочиненiя. Какъ цѣнилъ Козловъ дружбу Жуковскаго, видно изъ тѣхъ стихотворныхъ посланiй, которыя Козловъ ему писалъ; Жуковскому же посвятилъ онъ „Наталью Долгорукую“.

Пушкинъ въ раннихъ стихотворенiяхъ подражаетъ Жуковскому, считаетъ себя его ученикомъ, а Жуковскiй весьма сочувственно встрѣчаетъ первые опыты поэзiи Пушкина. Знакомятся они въ 1815 г., когда Пушкинъ былъ еще лицеистомъ, и Жуковскiй вводитъ его въ „Арзамасъ“; въ 1817 г. Пушкинъ обратился къ Жуковскому съ стихотворенiемъ „Благослови, поэтъ“, прося благословенiя стать поэтомъ и выражая свои тогдашнiе литературные взгляды, а о первомъ знакомствѣ съ Жуковскимъ говоря слѣдующее:

И ты, природою на пѣсни обреченный,
Не [illegible] мнѣ руку [illegible] въ завѣтъ [illegible] священный?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молнiйной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?

Въ арзамасской же рѣчи Пушкинъ такъ иронически, по обычаю „Арзамаса“ вспоминаетъ о Жуковскомъ:

. . . . О, дивный „Арзамасъ“,
Гдѣ слышалъ [illegible] Тиртея [illegible] [1]) и [illegible].

Когда Пушкинъ окончилъ лицей, Жуковскiй радовался такъ, „какъ будто самъ Богъ послалъ ему милое чудо“; а Пушкинъ привѣтствовалъ его сразу двумя стихотворенiями; при чемъ первое — „Къ портрету Жуковскаго“ [2]) — заключаетъ знаменитый отзывъ о его поэзiи:

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Хотя въ четвертой пѣсни „Руслана и Людмилы“ Пушкинъ и пародировалъ поэму Жуковскаго „Двѣнадцать спя

[1]) Имѣется въ виду „Овсяный кисель“, перев. Жуковскаго.
[2]) Это [illegible] стихотворенiе [illegible] было передѣлано Пушкинымъ въ 18[illegible].

щихъ дѣвъ" (называя его, впрочемъ, сѣвернымъ Орфеемъ), но тотъ не только не обидѣлся, а подарилъ Пушкину свой портретъ съ надписью „Ученику отъ побѣжденнаго учителя"; Жуковскій же принималъ участіе и въ допечатаніи этой поэмы послѣ выѣзда автора изъ Петербурга.

Когда Пушкину грозило заключеніе въ Соловки, Жуковскій, вмѣстѣ съ другими, устроилъ высылку его на югъ подъ опеку Инзова. Съ юга и изъ Михайловскаго Пушкинъ неоднократно писалъ къ Жуковскому — своему „генію-хранителю" — и искалъ его заступничества передъ государемъ, особенно когда ссорился съ отцомъ; на просмотръ Жуковскому посылалъ онъ свои прошенія на Высочайшее имя; Жуковскій выпросилъ позволеніе ему ѣхать въ Псковъ для лѣченія и направлялъ туда Мойера, что въ сущности было вовсе не нужно, ибо у Пушкина были иные планы, и такъ какъ они не удались, и Пушкинъ въ Псковъ не переѣхалъ, то онъ извѣстилъ Жуковскаго письмомъ, которое начиналось словами: „Отче! въ руцѣ твои предаю духъ мой!" Такъ и не разъ называлъ онъ Жуковскаго въ письмахъ. Въ другомъ письмѣ къ нему Пушкинъ такъ отказывается пользоваться безплатными совѣтами Мойера: „Отъ тебя благодѣяніе мнѣ не тяжело, а отъ другого не хочу". Жуковскій тогда торопилъ Пушкина кончать „Бориса Годунова", надѣясь, что царь послѣ этого проститъ его, и Пушкинъ желалъ посвятить эту трагедію Жуковскому, хотя и уступилъ просьбамъ дочерей Карамзина и посвятилъ ее его памяти.

По освобожденіи изъ ссылки отношенія Пушкина къ Жуковскому продолжаютъ оставаться очень близкими; нерѣдко они переписываются, иногда живутъ вмѣстѣ, постоянно встрѣчаются у близкихъ знакомыхъ (Карамзиныхъ, кн. Вяземскихъ, Россети-Смирновой); Пушкинъ читаетъ у Жуковскаго свои сочиненія. Случается имъ составлять одно стихотвореніе, или писать конкурирующія произведенія, издавать вмѣстѣ стихи, передавать одинъ другому подходящія сюжеты; Пушкинъ даже пишетъ стихи отъ имени Жуковскаго, который, въ свою очередь, исправляетъ стихи Пушкина въ силу цензурныхъ соображеній и постоянно принимаетъ участіе въ изданіи его сочиненій. Пушкинъ съ нетерпѣніемъ ждетъ выхода произведеній Жуковскаго, восхищается ими; Жуковскій также точно относится къ Пушкину, который и позже счи-

таетъ себя ученикомъ Жуковскаго, интересуется его отзывами о своихъ сочиненіяхъ, высоко ставитъ его личность, называя его „святымъ“; онъ поручаетъ Жуковскому хлопотать о сироткѣ-грѣшникѣ и т. д. Жуковскій продолжаетъ оберегать Пушкина въ его отношеніяхъ къ лицамъ, власть имѣющимъ („Подалъ я въ отставку, но получилъ отъ Жуковскаго такой нагоняй“... „Жуковскій, надѣюсь, все уладитъ“), и, по словамъ Смирновой, такъ любитъ Искру Пушкина, что похожъ на курицу, высидѣвшую утенка; помогаетъ ему въ изданіи журнала. Наконецъ Пушкинъ пишетъ къ нему посланія, то шуточныя, то серіозныя, и говоря о немъ въ Онѣгинѣ:

И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекраснаго пѣвецъ,
Ты, идолъ дѣвственныхъ сердецъ!
Не ты ль, пристрастьемъ увлеченный,
Не ты ль мнѣ руку подавалъ
И къ славѣ чистой призывалъ?

Былъ Жуковскій и при смерти Пушкина, который пожелалъ его видѣть, закрылъ ему глаза, долго сидѣлъ передъ его тѣломъ въ глубокой скорби, въ стихахъ изобразилъ его уже мертвымъ и описалъ послѣднія минуты его въ письмѣ къ его отцу, а затѣмъ принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ матеріальнаго положенія семьи Пушкина. Къ нему перешелъ на память и знаменитый пушкинскій талисманъ.

Какъ извѣстно, Жуковскій близокъ былъ и ко всѣмъ лицамъ Пушкинскаго кружка: къ бар. Дельвигу, Плетневу, Баратынскому. Плетнева онъ избралъ въ преподаватели цесаревичу, съ чего и началось возвышеніе Плетнева, который писалъ ему: „всѣмъ своимъ нынѣшнимъ счастьемъ обязанъ я единственно хорошему обо мнѣ вашему мнѣнію“. Еще важнѣе была услуга, оказанная Жуковскимъ Баратынскому. Когда послѣдній былъ исключенъ изъ Пажескаго корпуса, а затѣмъ опредѣлился въ солдаты и не могъ уже выйти изъ солдатской лямки, онъ обратился къ Жуковскому съ чистосердечною исповѣдью; тогда Жуковскій сталъ энергично ходатайствовать о немъ у кн. А. Н. Голицына и настоялъ, чтобы тотъ показалъ письмо поэта государю. „Смѣю думать, — писалъ онъ, — что Государь, знающій человѣческое сердце, легко распознаетъ языкъ истины, если удостоитъ

своего милостиваго вниманія строки Баратынскаго, которыя вся будущая жизнь, можно сказать, зависитъ теперь отъ тѣхъ немногихъ минутъ, которыя Его Величество употребитъ на прочтеніе прилагаемаго здѣсь письма его. Прибавлю: отъ этихъ минутъ зависитъ, можетъ-быть, жизнь его матери". Ходатайство Жуковскаго было уважено; Баратынскаго произвели въ офицеры.

Въ то же время поэтъ снова писалъ Жуковскому, называя его „геніемъ-покровителемъ".

Въ 1832 г., по доносу Булгарина, была захвачена книжка Даля „Русскія сказки изъ преданія народнаго" и арестованъ авторъ. Жуковскій разъяснилъ, что въ книгѣ нѣтъ ничего возмутительнаго и выручилъ Даля, а затѣмъ, рекомендовалъ его своему другу оренбургскому военному губернатору В. Перовскому, который и принялъ Даля къ себѣ на службу. Во время поѣздки 1837 г. съ цесаревичемъ Жуковскій почти все время своего пребыванія въ Оренбургѣ и Уральскѣ провелъ съ Далемъ.

Такимъ же баловнемъ Жуковскаго, какъ Пушкинъ, былъ и Гоголь; онъ воспитался, между прочимъ, на сочиненіяхъ Жуковскаго и подражалъ его стилю, а затѣмъ среди первыхъ петербургскихъ неудачъ въ 1830 г. съ нимъ лично познакомился. Жуковскій отнесся къ нему очень тепло, принялъ его подъ свое покровительство, рекомендовалъ Плетневу, который вслѣдствіе этого доставилъ Гоголю хорошіе частные уроки и службу въ Патріотическомъ институтѣ. О первой встрѣчѣ съ Жуковскимъ Гоголь позже вспомнилъ слѣдующимъ образомъ: „Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему твоему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!" Затѣмъ Жуковскій знакомитъ Гоголя съ Пушкинымъ и другими литераторами, втягиваетъ его въ салонъ Россети, посѣщаетъ Гоголя, который бываетъ на его литературныхъ вечерахъ и читаетъ при немъ или даже у него свои произведенія, которыми Жуковскій очень интересуется. Онъ слѣдитъ за чтеніемъ Гоголя и экзаменуетъ его насчетъ прочтенныхъ имъ книгъ. Гоголь знакомитъ Жуковскаго съ планомъ замышляемыхъ имъ работъ, напр. „Мертвыхъ Душъ", и читаетъ ихъ ему раньше, чѣмъ другимъ, уничтожаетъ или измѣняетъ тѣ, которыя Жуковскому не нравятся, и всегда на-

зываетъ его своимъ истиннымъ наставникомъ и учителемъ. Гоголь высоко цѣнитъ (и въ печатныхъ отзывахъ) сочиненія Жуковскаго и постоянно съ нимъ переписывается. Вслѣдствіе хлопотъ Жуковскаго у Уварова, Гоголь получаетъ каѳедру исторіи въ Петербургскомъ университетѣ, и Жуковскій посѣщаетъ его лекціи; онъ пытается защитить Гоголя, когда тотъ былъ вынужденъ оставить занятія въ Патріотическомъ институтѣ. Жуковскій, вмѣстѣ съ другими, устраиваетъ, чтобы „Ревизоръ“ былъ прочтенъ государемъ, и тѣмъ достигаетъ разрѣшенія поставить его на сцену.

Когда Гоголь въ 1836 г. собирается ѣхать за границу, не имѣя на то достаточныхъ средствъ, онъ обращается къ помощи Жуковскаго, какъ и всегда въ трудныя минуты жизни, и тотъ выпрашиваетъ для него у императрицы денежное на дорогу пособіе. Послѣ этого, въ бытность Гоголя за границей, Жуковскій, узнавая о частыхъ денежныхъ его затрудненіяхъ, нерѣдко добываетъ для Гоголя довольно крупныя суммы, то выпрашивая ихъ у государя (напр. за поднесеніе сочиненій Гоголя), или у цесаревича, то занимая собственныя деньги, то собирая ихъ между друзьями. И Гоголь пишетъ ему: „Вы, все вы! Вашъ исполненный любви взоръ бодрствуетъ надо мною.. На Бога и Васъ моя надежда“. Къ Жуковскому обращается Гоголь съ просьбой выхлопотать ему мѣсто, которое доставило бы ему, наконецъ, необходимыя опредѣленныя средства. Переселясь изъ Петербурга за границу, Жуковскій не перестаетъ заботиться о Гоголѣ, который продолжаетъ нуждаться и съ грустью пишетъ Плетневу: „Изъ Петербурга я не получилъ ни одного изъ тѣхъ подарковъ, которые я получалъ прежде, когда былъ тамъ Жуковскій“. Но послѣдній упрашиваетъ Смирнову выхлопотать Гоголю опредѣленное ежегодное содержаніе; вслѣдствіе чего онъ получилъ въ видѣ пенсіи на 3 года по 1000 р. ежегодно, да у цесаревича Жуковскій выпросилъ для Гоголя значительную сумму, и сконфуженный Гоголь тогда писалъ ему: „Вы меня любите еще сильнѣе, чѣмъ прежде, несмотря на то, что я бы былъ долженъ вамъ надоѣсть сильно“.

При отъѣздѣ за границу Гоголь получаетъ отъ Жуковскаго указанія относительно тѣхъ мѣстностей, которыя онъ посѣщалъ нѣкогда, и Гоголь тоже посѣщаетъ ихъ; онъ про-

должаетъ переписываться съ Жуковскимъ, и переписка ихъ уже начинаетъ носить религіозный оттѣнокъ. Въ 1838 г. Жуковскій пріѣзжаетъ въ Римъ и основательно осматриваетъ его, при чемъ Гоголь служитъ ему путеводителемъ, когда же Жуковскій уѣхалъ изъ Рима, Гоголь чувствуетъ нравственное одиночество и томительную пустоту и ему безпрестанно вспоминаются ихъ совмѣстныя прогулки. Бывая въ Петербургѣ, Гоголь останавливается у Жуковскаго во дворцѣ. Когда Жуковскій поселился за границей, переписка его съ Гоголемъ учащается, при чемъ они переходятъ на ты; а Жуковскій называетъ Гоголя ласкательнымъ „Гоголекъ“ и дѣлаетъ ему маленькіе подарки. Гоголь постоянно посѣщаетъ его, подолгу живетъ у него, работаетъ одновременно съ нимъ, утѣшаетъ его въ горькія минуты. Жуковскій чувствуетъ необходимость въ обществѣ Гоголя, во время разлуки скучаетъ безъ него, снова зоветъ его къ себѣ („У насъ ждетъ васъ пріютъ родной“), или назначаетъ гдѣлибо свиданіе; Гоголю первому читаетъ онъ свои произведенія, и тотъ даже переписываетъ ихъ для печати. Гоголь печатно заявляетъ, что появленіе „Одиссеи“ въ переводѣ Жуковскаго представляется исключительно выдающимся по своей важности событіемъ. Особенно сближаютъ въ это время Гоголя и Жуковскаго сходные религіозные взгляды, и, кто знаетъ, насколько благопріятнымъ было тогда вліяніе Жуковскаго, который одобрялъ „Переписку съ друзьями“, хотя только ему одному и покаялся правдиво Гоголь въ этомъ литературномъ промахѣ. Можетъ-быть, впрочемъ, и Гоголь вліялъ уже въ то время на религіозные взгляды Жуковскаго, какъ онъ вліялъ на его литературный вкусъ, убѣдивъ его напр., въ достоинствѣ стихотвореній Языкова. Наконецъ, для послѣдняго сочиненія Жуковскаго „Агасферъ“ Гоголь описываетъ ему только что посѣщенную имъ Палестину и ему въ числѣ очень немногихъ лицъ пишетъ письмо незадолго до смерти.

Указавъ на то, что Жуковскій хлопоталъ о доставленіи Гоголю университетской каѳедры, можно прибавить, что тогда же хлопоталъ онъ и о назначеніи профессоромъ Кіевскаго университета М. А. Максимовича, что и удалось; расположенный къ нему вообще, Жуковскій читалъ изданныя имъ малорусскія пѣсни цесаревичу, которому многія и понравились.

Разъ я коснулся участія Жуковскаго въ судьбѣ [illegible] умѣстно указать еще и на Погодина, „Москвитянинъ“ котораго Жуковскій постоянно поддерживалъ[1]), и на Полевого, который хотя по направленію и не сходился съ Жуковскимъ и даже написалъ пародію на его стихи (въ чемъ, впрочемъ, извинился), тѣмъ не менѣе Жуковскій поддерживалъ „Телеграфъ“, склонивъ къ тому и весь свой кружокъ, и жалѣлъ, когда этотъ журналъ былъ запрещенъ, хотя ему и не сочувствовалъ.

Въ 1830 годахъ Жуковскій является ходатаемъ передъ Уваровымъ относительно просьбы С. Н. Глинки, „чтобы ему помогли своими трудами поддерживать семью свою“; повидимому, дѣло шло о позволеніи ему продолжать изданіе журнала „Русскій Вѣстникъ“.

И. В. Кирѣевскій, родственникъ Жуковскаго, котораго онъ же ввелъ въ литературные кружки, въ половинѣ 1840 годовъ получилъ репутацію неблагонадежнаго человѣка; издаваемый имъ „Европеецъ“, гдѣ Жуковскій печаталъ свои сказки, за статью о XIX вѣкѣ подвергся преслѣдованію, а за пропускъ шуточной поэмы Кирѣевскаго „Двѣнадцать спящихъ будочниковъ“ цензоръ С. Т. Аксаковъ долженъ былъ выйти въ отставку. Кромѣ запрещенія журнала Кирѣевскому угрожало удаленіе изъ Москвы, и онъ спасенъ былъ только благодаря заступничеству Жуковскаго, который поддерживалъ его и въ то время, когда онъ принялъ на себя редакцію „Москвитянина“. Гоголь писалъ тогда Шевыреву, что онъ заставилъ Жуковскаго сдѣлать для „Москвитянина“ великое дѣло; но въ чемъ оно состояло, я пока не знаю, если не считать того, что онъ напечаталъ здѣсь свои стихотворныя повѣсти. Кирѣевскій же такъ выражался о Жуковскомъ: „Удивительный человѣкъ этотъ Жуковскій. Хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышенность его души, однако при каждомъ новомъ случаѣ узнаешь, что сердце его еще и выше и прекраснѣе, чѣмъ предполагалъ“.

Жуковскій отстоялъ существованіе „Отечественныхъ Записокъ“ изд. Краевскимъ, которымъ грозила бѣда, кажется, за статьи Бѣлинскаго; слѣдовательно, хоть косвенно помогъ и Бѣлинскому.

[1]) Въ 1837 г. Жуковскій устроилъ подачу цесаревичу записки Погодина о Москвѣ, и Погодинъ былъ награжденъ перстнемъ.

По его просьбѣ гр. Шереметевъ выпустилъ изъ крѣпостной зависимости своихъ крестьянъ мать и брата профессора Никитенко.

Его хлопотами принятъ былъ на казенный счетъ въ учебное заведеніе В. Межовъ, ставшій извѣстнымъ библіографомъ.

Онъ склонилъ писателей составить литературный сборникъ въ помощь обѣднѣвшему книгопродавцу издателю Смирдину и хлопоталъ объ устраненіи цензурныхъ затрудненій для Плюшара.

Въ 1837 г. Жуковскій въ свитѣ цесаревича пріѣхалъ въ Вятку и явился на выставку произведеній Вятскаго края, устроенную чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, сосланнымъ въ Вятку, Герценомъ. Онъ показалъ цесаревичу выставку и заинтересовалъ Жуковскаго, который сталъ разспрашивать, какъ онъ попалъ сюда, и, узнавъ, въ чемъ дѣло, доложилъ объ этомъ цесаревичу, сдѣлавшему представленіе о разрѣшеніи Герцену ѣхать въ Петербургъ. Государь разрѣшилъ лишь переѣздъ Герцена во Владиміръ, что для Герцена оказалось очень счастливымъ обстоятельствомъ.

Во время этой же поѣздки цесаревича Жуковскій познакомился въ Тобольскѣ съ молодымъ поэтомъ Милькѣевымъ, стихотворенія котораго ему понравились; онъ устроилъ поѣздку ему въ Петербургъ, автобіографическую записку его немедленно напечаталъ въ „Современникѣ" и ходатайствовалъ у гр. Строгонова (попечителя Московскаго учебнаго округа) и у Шевырева о покровительствѣ ему, которое и было оказано. Когда Милькѣевъ, скоро стосковавшись, уѣхалъ на родину, Жуковскій продолжалъ о немъ заботиться и, кажется, его попеченіемъ въ 1843 г. въ Москвѣ были изданы стихотворенія Милькѣева.

Едва ли не самая важная услуга, которую Жуковскій оказалъ какому бы то ни было писателю или артисту, была оказана имъ знаменитому малорусскому поэту Шевченкѣ, впрочемъ, въ то время, когда онъ былъ еще только живописцемъ. Знакомые украинцы въ Петербургѣ надумались устроить его освобожденіе изъ крѣпостной зависимости и обратились къ К. Брюлову, у котораго нерѣдко бывалъ Жуковскій (плакавшій у него въ мастерской, смотря на го-

лову плачущей Маріи Магдалины; онъ обласкалъ представленнаго ему Шевченка и, желая всесторонне ознакомиться съ его способностями, заказалъ ему написать „Жизнь художника“. Повидимому, это первое произведеніе пера Шевченка удовлетворило Жуковскаго, и онъ, вмѣстѣ съ Брюловымъ, принялся за хлопоты по его освобожденію. Такъ какъ за него нужно было уплатить его барину 2500 р., то Брюловъ нарисовалъ портретъ Жуковскаго, который и былъ разыгранъ въ лотерею въ этой суммѣ. Изъ недавно напечатанныхъ будто бы комическихъ писемъ Жуковскаго къ Барановой, съ каррикатурными его рисунками (Шевченко мететъ полъ, когда идутъ о немъ переговоры, онъ и Жуковскій кувыркаются на радостяхъ, что дѣло благополучно кончилось, и т. п.), видно, что лотерея была устроена Барановою, розыгрышъ происходилъ во дворцѣ, билеты вынималъ Жуковскій, выигрышъ достался государынѣ. Баранова передала деньги Жуковскому, который 22 апрѣля 1838 г. выкупилъ Шевченка. Изъ писемъ къ Барановой видно и то, какъ радовался Жуковскій благополучному исходу дѣла; Шевченко же посвятилъ Жуковскому свою „Катерину“. Впослѣдствіи онъ относился къ Жуковскому съ величайшимъ уваженіемъ.

Менѣе важное, но все же значительное покровительство оказано было Жуковскимъ и Кольцову. Онъ ласково принималъ его въ Петербургѣ въ 1836 г., помогалъ въ устройствѣ дѣлъ, готовилъ для него мѣсто, когда Кольцовъ ссорился съ отцомъ, а пріѣхавши въ Воронежъ, такъ рекламировалъ Кольцова, что чрезвычайно поднялъ его значеніе въ глазахъ его семьи и мѣстнаго общества; онъ проводилъ въ Воронежѣ съ Кольцовымъ все свое свободное время. Кольцовъ посвятилъ ему нѣсколько своихъ стихотвореній.

Кончимъ обзоръ отношеній Жуковскаго къ нашимъ поэтамъ тѣмъ, что онъ заботился о первыхъ литературныхъ шагахъ Лермонтова и уговорилъ его отдать въ печать „Пѣснь про Царя Ивана Васильевича“, съ чего началась извѣстность автора; утѣшалъ въ тяжелыя минуты жизни Тютчева, едва ли не первый поощрялъ къ занятіямъ литературой Майкова и Некрасова, и почти всѣ эти наши поэты (какъ и многіе другіе) почтили Жуковскаго стихотвореніями, посвященными или ему, или его памяти. Я читалъ гдѣ-то,

что онъ оказалъ покровительство и Н. С. Тургеневу; но память мнѣ относительно этого измѣнила; близкія же отношенія ихъ доказываются тѣмъ, что Тургеневу Жуковскій подарилъ такое сокровище, какъ Пушкинскій талисманъ.

Не поручусь, что этимъ огромнымъ перечисленіемъ я исчерпалъ покровительство Жуковскаго даже нашимъ замѣтнымъ писателямъ; о мелкихъ же я и не упоминаю: подсчетъ ихъ чрезвычайно затруднителенъ.

Выдѣляю въ особую группу заступничество Жуковскаго за литераторовъ-декабристовъ, хотя буду говорить лишь вкратцѣ, въ виду того, что этотъ вопросъ пока исчерпанъ г. Дубровинымъ въ статьѣ, напечатанной въ „Русской Старинѣ“ за настоящій годъ, № 1. Остановлюсь я на отношеніяхъ Жуковскаго къ Н. Тургеневу, Кюхельбекеру, Ѳ. Глинкѣ и Фонъ-деръ-Бригену[1]).

Въ заговорѣ, приведшемъ къ 14 декабря 1825 г., Жуковскій, конечно, не участвовалъ. Въ 1819 г. кн. Трубецкой предложилъ ему вступить въ союзъ „Благоденствія“; но онъ отклонилъ это предложеніе. Вѣроятно, это было извѣстно, и слѣдствіе не затронуло Жуковскаго, что и дало ему смѣлость заступиться за осужденныхъ.

Во время 14-го декабря Н. Тургеневъ былъ за границей, не явился къ слѣдствію и заочно былъ приговоренъ къ смертной казни. Когда Жуковскій спросилъ государя, нужно ли Тургеневу возвратиться въ Россію? Государь отвѣтилъ: если спрашиваешь меня, какъ Императора, скажу, нужно, если спрашиваешь, какъ частнаго человѣка, то скажу: лучше ему не возвращаться. Н. Тургеневъ и поступилъ согласно съ послѣднимъ совѣтомъ. Старшій братъ его А. Тургеневъ, немедленно вышедшій тогда въ отставку, убѣдилъ его, однако, составить оправдательную записку, которую и представилъ кн. А. Н. Голицыну, обсуждавшему вопросъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ и кн. Вяземскимъ и все же отклонившему просьбу передать эту записку государю; тогда А. Тургеневъ самъ писалъ къ государю — и тоже безуспѣшно. Н. Тургеневъ поселился въ Англіи; но заступничество за него предъ государемъ, и притомъ упорное, хотя и безуспѣшное, принялъ на себя Жуковскій и въ апрѣлѣ 1829 г. передалъ государю

[1] Въ статьѣ Дубровина говорится еще объ отношеніяхъ Жуковскаго къ Якушкину, но онъ не былъ писателемъ.

оправдательное письмо Н. Тургенева, при чемъ приложилъ и свое, въ которомъ на колѣняхъ просилъ оказать ему монаршую милость позволить Н. Тургеневу оставить Англію, не опасаясь никакого преслѣдованія. Хлопоталъ Жуковскій тогда же и у шефа жандармовъ. Колебанія государя вызвали со стороны Жуковскаго рядъ новыхъ ходатайствъ, при чемъ ему удалось добиться заступничества императрицы. Онъ предполагалъ просить государя объ амнистіи всѣмъ декабристамъ, но не рѣшился, такъ какъ хлопоты его за Тургенева навлекли нерасположеніе къ нему въ высшихъ сферахъ: на почтѣ даже прочитывались его письма. Тогда Жуковскій рѣшился объясниться съ императоромъ и не избѣжалъ грознаго упрека въ дружбѣ съ Тургеневымъ и вообще т[illegible]мойки: „Тебя, — говорилъ государь, — называютъ главою партіи защитниковъ всѣхъ тѣхъ, кто худъ съ правительствомъ“; и высказать государю все то, что Жуковскій желалъ сказать ему, при этомъ свиданіи не удалось. Послѣ этого онъ снова продолжалъ хлопоты за Тургенева — и все же безуспѣшно и ему оставалось лишь письменно утѣшить его. Только и это: Тургеневу разрѣшено было жить на континентѣ. Интересно однако, что будучи эмигрантомъ и политическимъ преступникомъ, Н. Тургеневъ по порученію Жуковскаго выбиралъ въ Лондонѣ англійскія книги для библіотеки цесаревича.

Защищая передъ государемъ Н. Тургенева, Жуковскій распространялъ свою защиту и на его братьевъ Александра и Сергѣя, на судьбѣ которыхъ тяжело отразилось обвиненіе брата. С. Тургенева Жуковскому пришлось везти больного въ Парижъ, гдѣ онъ и умеръ на его рукахъ.

Кюхельбекера, друга Пушкина, Жуковскій зналъ въ лицеѣ съ 1817 г., ободрялъ его при первыхъ поэтическихъ опытахъ, переписывался съ нимъ по разнымъ литературнымъ вопросамъ, читалъ ему и посылалъ свои сочиненія. Въ 1825 г., по словамъ Кюхельбекера (мнѣ пока не яснымъ[1]), онъ нашелъ въ Жуковскомъ тоже сердце, столь благородное, столь ему знакомое. Въ 1837 г. цесаревичъ со свитой, въ которой былъ и Жуковскій, проѣхалъ по Сибири, разспрашивалъ о декабристахъ и обратился съ письмомъ къ отцу, прося объ

[1]) Не намекается [illegible] Кюхельбекеръ [illegible] 18[illegible] [illegible] „[illegible] Дерев[illegible]“ [illegible] скоой дѣвы“ въ перев. Жуковскаго?

облегченія ихъ судьбы. Съ такимъ же письмомъ обратился Жуковскій сперва къ императрицѣ, а затѣмъ и къ самому государю, прося декабристамъ амнистіи. Письма эти вызвали различныя облегченія декабристамъ. Рескриптъ о томъ встрѣтилъ цесаревича на обратномъ пути изъ Сибири[1] и, узнавъ его содержаніе, цесаревичъ и Жуковскій стали подъ открытымъ небомъ цѣловаться, о чемъ Жуковскій сообщилъ тотчасъ же восторженнымъ письмомъ императрицѣ. Въ числѣ прочихъ облегчена была участь и Кюхельбекера, который сталъ писать къ Жуковскому, прося выхлопотать разрѣшеніе ему печатать свои сочиненія, хотя бы безъ подписи своего имени. Въ этомъ, однако, Кюхельбекеру было отказано; но Жуковскій не побоялся отвѣчать Кюхельбекеру, что того сильно растрогало. Послѣ того онъ написалъ Жуковскому: „Благородный, единственный Василій Андреевичъ! Я знавалъ людей съ талантомъ, людей съ геніемъ, но Богъ свидѣтель! никто не убѣдилъ меня такъ живо въ истинѣ, высказанный вами же, что поэзія есть добродѣтель“.

Замѣшанный въ дѣло декабристовъ Ѳ. Глинка былъ отправленъ въ Петрозаводскъ сперва на жительство, потомъ на службу; жилось ему очень плохо, и онъ просилъ Гнѣдича устроить ему переводъ въ мѣста, болѣе культурныя. Гнѣдичъ обратился къ Жуковскому, по ходатайству котораго Глинка въ 1830 г. былъ переведенъ на службу въ Тверь, гдѣ Жуковскій черезъ годъ съ нимъ увидѣлся; а въ 1838 г. выхлопоталъ, по его просьбѣ (Глинка писалъ ему тогда: „Привыкнувъ полагаться во всѣхъ моихъ бѣдахъ на васъ, какъ на добраго генія моего“), разрѣшеніе напечатать одно изъ его сочиненій.

Декабристъ фонъ-деръ-Бриггенъ въ 1845 г. сдѣлалъ переводъ на русскій языкъ, Записокъ Юлія Цезаря, и желалъ его напечатать, посвятивъ Жуковскому; онъ обратился за разрѣшеніемъ къ шефу жандармовъ и написалъ объ этомъ Жуковскому, котораго онъ въ сущности почти не зналъ (разъ видѣлъ въ 1838 г. въ Курганѣ[2]), гдѣ впрочемъ Жуковскій брался хлопотать за него); Жуковскій поддержалъ это ходатайство и предлагалъ взять на себя изданіе

[1]) 23-го іюля у г. Буинска.

[2]) Жуковскій видѣлся въ Сибири со многими декабристами; см. его дневникъ за это время.

труда ф.-д.-Бриггена, ассигновавъ на пріобрѣтеніе рукописи 2500 руб., которые онъ покроетъ выручкой отъ продажи книги; чистый же барышъ онъ будетъ высылать автору. Хлопоталъ онъ о Бриггенѣ у цесаревича. Государь разрѣшилъ изданіе съ тѣмъ, чтобы на книгѣ не было означено имени переводчика. При перепискѣ съ Дуббельтомъ по поводу этого изданія Жуковскій за одно просилъ вообще его о покровительствѣ Бриггену; деньги онъ Бриггену посылалъ, но „Записки" остались ненапечатанными и хранятся нынѣ въ Императорской публичной библіотекѣ, имѣя на себѣ такую надпись: „Посвящаю В. А. Жуковскому душою и стихами поэту и другу человѣчества, въ знакъ личнаго уваженія и преданности нелицемѣрной"[1]).

Все это факты достовѣрные: но Смирнова сообщаетъ и еще любопытныя свѣдѣнія относительно заступничества Жуковскаго предъ государемъ за декабристовъ: онъ познакомилъ государя съ стихотвореніями декабристовъ, вызвалъ у него сожалѣніе по поводу смерти Рылѣева. „Я жалѣю, — говорилъ императоръ Николай, — что не зналъ о томъ, что Рылѣевъ талантливый поэтъ: мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять ихъ". Но — дѣло было непоправимое. Зато знакомство съ стихотвореніями кн. А. Е. Одоевскаго облегчило его участь: государь послалъ его вмѣсто Сибири на Кавказъ. Кажется, стихи же облегчили и участь Бестужевыхъ-Рюминыхъ; по крайней мѣрѣ, Жуковскій познакомилъ съ ними государя. *Маркевичъ.*

Жизнь и поэзія, по воззрѣнію Жуковскаго.

Для Жуковскаго были, какъ онъ самъ сказалъ,

Жизнь и поэзія одно.

Ломоносова отвлекала отъ поэзіи наука, Державина — юридическое поприще, Карамзина — лѣтописи отечества. Жуковскій, первый, всего себя отдалъ своему прекрасному призванію. Для него слово поэта было дѣломъ его жизни

[1]) Вообще Жуковскому посвящали свои труды и малоизвѣстные, нынѣ забытые [illegible] де-ла-Мельтьеръ.

Но чтобы не превратно понять отношенія, въ какихъ поставилъ онъ поэзію къ жизни, надобно досказать недосказанное въ словахъ его. Самая жизнь не была для него поэзіею, но поэзія была для него жизнію; не жизнь вносилъ онъ въ поэзію, но поэзію хотѣлъ внести въ жизнь. Что же разумѣлъ онъ подъ именемъ поэзіи? Для другихъ художниковъ, какъ, напримѣръ, для Гёте, поэзія была искусствомъ; для Жуковскаго болѣе нежели искусствомъ. Еще въ ранніе годы своихъ вдохновеній онъ называлъ ее добродѣтелью. Еще тогда онъ желалъ, чтобы лира его имѣла силу проливать звуки, на утоленіе мукамъ, на миръ сердцамъ. Еще тогда, обращаясь къ собрату своему, поэту, онъ говоритъ:

Сліявъ душѣ спокойной
Младенца чистоту
Съ величіемъ свободы,
Боготворя природы
Простую красоту,
Лишь благамъ неизмѣннымъ,
Пѣвецъ-любимецъ мой,
Доступенъ будь душой.

Позже, вѣрный одной и той же мысли, принесши ее въ ненарушимой цѣлости сквозь полустолѣтіе времени самаго переходчиваго, Жуковскій, устами вдохновеннаго юноши передъ умирающимъ Камоэнсомъ, призывалъ поэта „быть могучимъ крыломъ, подъемлющимъ сердца на высоту, глаголомъ правды, лѣкарствомъ душъ, крушимыхъ безвѣріемъ, сторожемъ нетлѣнной завѣсы горняго міра“. И сама поэзія, передъ угасавшими взорами поэта, преображенная, соединяла въ своемъ образѣ все, что есть на землѣ прекраснаго, великаго, святого, сіяла вѣрой, надеждой и любовію, являлась ему „Богомъ въ святыхъ мечтахъ земли“.

Можетъ-быть, такая задача, наложенная поэтомъ на его искусство, свыше земныхъ силъ его; но кто же не согласится, что, только такъ высоко, свято и чисто понявши задачу поэзіи, можно было поставить ее наравнѣ съ жизнью и сказать непогрѣшимо:

Жизнь и поэзія одно.

Но такая задача, такая мысль искусства, превосходящая силы самаго искусства, не нарушала ли поэтическаго призванія поэта, не сковала ли свободу творческихъ силъ его вдохновенія? Нѣтъ: потому что она открылась душѣ, имѣвшей дѣйствительное призваніе къ поэзіи. Она могла бы обличиться ложью во всякой другой, лишенной этого призванія; но

здѣсь отъ самой колыбели она свѣтила въ душѣ поэта, какъ живая, сознанная прочувствованная истина. Отсюда могло произойти только и произошло то, что рѣдко бываетъ: человѣкъ и поэтъ слились въ одно нераздѣльное существо, и высота человѣка подняла поэта. Художникъ сроднился полнѣе съ своимъ созданіемъ и глубже проникъ его. Чистота мысли озаряла лучами своими идеалъ, и красота души отражалась непорочною красотою въ каждомъ его словѣ.

Все это могло совершиться, какъ сказали мы, при дѣйствительномъ призваніи поэта. Но въ чемъ же оно обнаружилось? Поэтъ, прежде всего, сказывается намъ въ томъ, какъ онъ понимаетъ и чувствуетъ природу. Только въ наше время, поднявшее вмѣстѣ съ многими великими вопросами множество и безплодныхъ, истощившихъ попусту богатыя силы человѣка, ложная мудрость могла задать вопросъ о томъ, что выше: природа или искусство? Одинъ холодный умозритель, равнодушный и къ природѣ и къ искусству, могъ такимъ празднымъ и хитрымъ вопросомъ завлечь въ споръ и враждѣ то, что отъ Самого Творца предназначено къ единомыслію и сочувствію. Не началъ бы этой вражды никогда истинный поэтъ и художникъ. Еще младенцемъ онъ сосетъ грудь у природы и кормится млекомъ ея живыхъ впечатлѣній. Еще въ младенчествѣ между поэтомъ и природой, какъ между младенцемъ и кормилицей его, матерью, ведется та непонятная для другихъ бесѣда, которая позже выскажется всѣмъ въ новыхъ картинахъ его поэзіи. Поэтамъ, какъ любимцамъ своимъ, говоритъ природа при ихъ колыбели:

Для васъ взойдетъ краснѣе день,
И будетъ лугъ душистѣй,
И сладостнѣй дубравы тѣнь,
И птичка голосистѣй.

Утратившая красоту въ своихъ частяхъ вмѣстѣ съ человѣкомъ, природа хранитъ идею красоты, неизмѣнно напечатлѣнную отъ Создателя на своемъ цѣломъ, и таинственно открываетъ ее только душамъ избранныхъ своихъ любимцевъ. Имъ однимъ только слышится эта гармонія цѣлаго, гдѣ самый безобразный визгъ, самый нестройный крикъ — странные звуки необходимые, безъ которыхъ неполна бы была торжественная симфонія мірозданія. Во всѣхъ стр-

нахъ свѣта своими разнообразными красотами, и нецѣлымъ солнца и всемъ метели, природа пробуждала въ человѣкѣ одну полную идею красоты, предлагала для нея милліоны различныхъ образовъ, и воспитывала въ немъ, во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ, поэта и художника.

Способъ, какимъ поэты у разныхъ народовъ понимали и чувствовали природу, опредѣлялся всего болѣе отношеніемъ, въ какомъ разумѣли они человѣка къ природѣ, а это отношеніе еще глубже опредѣлялось отношеніемъ обоихъ къ божеству. Религія вездѣ преимущественно направляла взглядъ поэта на природу, за исключеніемъ развѣ новаго времени, когда религіозныя вѣрованія народовъ начали смѣняться личными убѣжденіями писателей.

Въ священно-еврейской поэзіи природа повсюду символъ Бога, намекъ на Его присутствіе, слѣдъ Его шествія въ твореніи. Боговдохновенные пѣвцы слышатъ Бога и въ грозѣ небесной, и въ трясеніи земли, и въ тонкомъ дыханіи вѣтерка. Молніи — вѣстники воли Его, заря — край Его ризы, небеса повѣдаютъ Его славу, и вся красота созданій служитъ къ тому только, чтобы отъ ея величества Самъ Творецъ познавался.

Въ поэзіи языческой, у грековъ и римлянъ, природа неразлучная спутница красоты внѣшняго человѣка. Она облекаетъ его какъ чудотворное покрывало Ино Левкоеи плывущаго въ волнахъ Одиссея. Всѣ явленія ея, и страшныя и милыя, намеки на человѣческій образъ. Небесныя тучи — брови Зевесовы, лучи солнца — пряди золотыхъ волосъ Феба, заря розовые персты Эоса; снѣгъ падаетъ изъ облаковъ какъ пожка Ириды, посланной Зевсомъ на землю, и самыя силы животныхъ служатъ безпрерывно къ изображенію борющихся силъ враждующаго человѣка. Словомъ, здѣсь природа и человѣкъ влюблены другъ въ друга — и на брачномъ своемъ пиршествѣ у поэзіи обручаются взаимными дарами прелести и величія.

Другое отношеніе природы къ человѣку въ поэзіи народовъ христіанскихъ. Вѣра Христова открыла намъ тайны міра духовнаго, и въ поэзіи, озаренной ею, природа стала символомъ души человѣческой. Въ безконечность увлекла она поэта-христіанина своимъ небомъ, звѣздами, моремъ, степью; разнообразнымъ чувствамъ души его вторитъ она

и ропотомъ дробимой волны, и шумомъ дубравы, — и всѣми явленіями своими окружаетъ его, какъ безчисленными зеркалами, чтобы отразить ему въ нихъ всѣ безчисленныя движенія души его. Каждое изъ этихъ явленій возбуждаетъ въ насъ сочувствіе въ той мѣрѣ, поскольку мы видимъ въ немъ часть образа души своей, намекъ на нашу мысль страсть, чувство, слѣдъ внутренней жизни нашей.

Такимъ воззрѣніемъ опредѣляется и взглядъ Жуковскаго на природу. Онъ виденъ и въ большихъ и въ малыхъ его картинахъ, въ произведеніяхъ оригинальныхъ и переводныхъ. Изображаетъ ли ему море — онъ не отлучитъ его отъ неба, а сливъ ихъ въ одинъ образъ, въ таинственной бесѣдѣ ихъ, намекнетъ намъ на бесѣду души, бьющейся въ оковахъ земной жизни, съ безпредѣльною вѣчностью. Взглянетъ ли онъ на небо весною: тамъ ему

Облака, летя, сіяютъ
И, сіяя, улетаютъ
За далекіе лѣса.

Бѣлоснѣжный голубокъ, обнявшій крыльями дрожащую грудь испуганной Свѣтланы во время страшнаго сна ея — русскій образъ утѣшенія и чистоты душевной. Луна милѣе поэту, чѣмъ солнце, какъ воспоминаніе объ немъ въ ночи, какъ его отблескъ: она своими измѣненіями сочувствуетъ его поэтическимъ думамъ и видѣніямъ и является ему на небѣ гостиницей душъ, спокойно взирающихъ оттуда на минувшія тревоги земного. Въ другихъ поэтахъ Жуковскій сочувствуетъ тому же воззрѣнію на природу. Ему нравятся болѣе поэты сѣвера, чѣмъ юга, болѣе Шиллеръ, чѣмъ Гете; онъ любитъ особенно простонароднаго поэта Германіи, Гебеля, у котораго всякое явленіе природы исполнено таинственнаго смысла, и былинка, младенцемъ растущая изъ зерна, и солнце — неутомимый благодѣтель созданія, и ночь передъ разсвѣтомъ, предвѣстница вѣчнаго дня. Изъ произведеній языческой поэзіи Жуковскій предпочиталъ „Одиссею" „Иліадѣ", потому что въ первой раскрыта болѣе душа древняго человѣка; ему сроднѣе Виргилій и Овидій, какъ поэты чувства между древними, по преимуществу, особенно первый въ слезномъ разсказѣ объ разрушеніи Трои, и второй въ трагическомъ эпизодѣ „Цеикса и Гальціоны"

Такъ въ каждой картинѣ природы у Жуковскаго сквозитъ душа; вездѣ взглядъ на даль, на безконечность: ни одна всего не доказываетъ, что въ ней кроется, и пророчитъ еще болѣе, чѣмъ обнаруживаетъ. Эта душа, стремящаяся встрѣтить и обнять себѣ близкое и родное въ природѣ, эта душа, ищущая сама себя во всемъ созданіи Божіемъ и обрѣтающая искомое только въ таинственномъ присутствіи Самого Создателя, есть то *несыразимое*, которое такъ глубоко созналъ и такъ прекрасно воспѣлъ самъ же поэтъ въ извѣстномъ отрывкѣ:

Но то, что слито съ сей блестящей красотою, —
Сіе столь смутное, волнующее насъ,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающаго гласъ,
Сіе къ далекому стремленье,
Сей миновавшаго привѣтъ.
. . . .
Сіе шепнувшее душѣ воспоминанье
О миломъ радостномъ и скорбномъ старины,
Сія сходящая святыня съ вышины,
Сіе присутствіе Создателя въ созданьѣ, —
Какой для нихъ языкъ?...

Многіе поэты, безсознательно принадлежа христіанству, пользовались преимуществами его глубокомысленнаго воззрѣнія на природу точно такъ, какъ и многіе люди безсознательно пользуются спасительными его истинами, безъ которыхъ въ прахъ разрушилась бы жизнь ихъ. Не таковъ былъ, конечно, Жуковскій. Союзъ поэзіи съ религіей былъ для него святъ и ненарушимъ — и этой мысли онъ пребылъ вѣренъ, начиная отъ первыхъ звуковъ своей лиры до послѣднихъ. Замѣчательны эти явленія въ исторіи мысли русскаго человѣка. Ломоносовъ связалъ науку съ религіею, оградивъ первую отъ безбожія, а вторую отъ суевѣрія ихъ священнымъ союзомъ. Онъ сказалъ: „Правда и вѣра двѣ родныя сестры, дщери одного Всевышняго Родителя“. Державинъ соединилъ съ религіею правду дѣлъ жизни, сказавъ о Богѣ:

Онъ совѣсть внутрь, Онъ правда внѣ.

Жуковскій укрѣпилъ тотъ же союзъ между религіей и поэзіею, когда сказалъ:

Поэзія небесной
Религіи сестра земная.

Этимъ тремъ роднымъ мыслямъ въ душѣ русскаго человѣка одинъ источникъ, таящійся въ недосягаемыхъ глубинахъ древней его жизни. Одно изъ условій высшаго призванія къ поэзіи для Жуковскаго заключено было въ *чистотѣ сердца*:

Клянуся, ты назначенъ быть поэтомъ.
Не своелюбіе, не тщетный призракъ
Тебя влекутъ — тебя зоветъ самъ Богъ;
Къ великому стремишься ты смиренно,
И ты дойдешь къ нему — *ты сердцемъ чистъ.*

Религія христіанская, озаривъ поэта своими истинами, открыла ему многія свѣтлыя мысли, лежащія въ глубинѣ содержанія его произведеній. Одна изъ такихъ любимыхъ, плодотворныхъ его мыслей, есть мысль о страданіи, котораго святая, безконечная тайна уяснена была человѣку только чашею геосиманскою. Для Жуковскаго „страданіе творецъ великаго, оно знакомитъ насъ съ тѣмъ, чего мы никогда въ безмятежномъ нашемъ блаженствѣ не узнаемъ: съ таинственнымъ вдохновеніемъ вѣры, съ утѣхою надежды, съ сладостнымъ упоеніемъ любви". Для Жуковскаго страданіе есть „таинство, образующее душу". Для него:

Земная жизнь — страданія питомецъ!
И сколь душа велика симъ страданіемъ!
Сколь радости при немъ помрачены!

Онъ самъ сказалъ устами поэта, славнаго страданіями своей жизни:

Неправедно роптал я на страданье;
Мнѣ въ душу Богъ вложилъ его.

Онъ правъ:

Страданіемъ душа поэта зрѣетъ,
Страданіе — святая благодать.

Религія научила его быть равнодушнымъ къ минутнымъ наслажденіямъ настоящаго, въ которыхъ скрывается цвѣтъ жизни, увядаетъ душа, скука смѣняетъ надежду, и остается только одно презрѣніе къ истраченной по мгновеніямъ жизни. Мысль поэта не признавала счастія въ настоящемъ, потому что оно конечно, и душа уловить его не можетъ. Она съ любовью носилась всегда между прошедшимъ и будущимъ, между воспоминаніемъ и надеждою, потому что прошедшее вѣчно для сердца, надъ которымъ утрата безсильна, а бу-

дущее неистощимо надеждой для того, кто вѣруетъ. Таковъ жизнь души, свыше просвѣтленной, души, которая жаждетъ безконечнаго и смотритъ на тѣло, какъ на временную свою оболочку. Этимъ мыслямъ источникъ не въ очарованномъ романтизмѣ Запада, но въ глубинѣ вѣрованій самой жизни. Для нихъ языкъ русскаго народа далъ поэту свои живыя и точныя слова: прошедшее у Жуковскаго наше русское *завѣтное*, будущее наше *желанное*, — слова, имъ столько любимыя. При такомъ благоговѣніи къ завѣту прошедшаго и къ желанному будущему, само настоящее получаетъ свою истинную цѣну, и душа печатлѣетъ на его летучей минутѣ только то, что достойно вѣчности, чего не захотѣла бы изгладить она въ воспоминаніи, что свято и чисто сіяетъ для нея въ прошедшемъ:

Прекрасному — *текущее мгновенье!*

При такомъ только воззрѣніи на время, поэтъ могъ свѣтло и радостно взглянуть на міръ, и сказать всѣмъ то, что Теонъ говоритъ Эсхину:

О, вѣрь мнѣ, прекрасна вселенна!

*

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ;
Все въ жизни къ великому средство;
И горесть и радость — все къ цѣли одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!

Религія воспитала въ нашемъ поэтѣ еще одно свойство, рѣдкое между поэтами, — свойство простоты, доступной всякому возрасту. Матери — воспитательницы дѣтей своихъ — сколько благодарности принесутъ Жуковскому за тѣ многія произведенія, которыя, будучи прекрасны для всѣхъ возрастовъ, доступны и для младенческаго. Не мало поэтовъ, говорящихъ страстямъ и воображенію юноши, рѣшительной предпріимчивости мужа, глубокомысленному спокойствію или равнодушію старца; но какъ мало такихъ, которые чистымъ свѣтомъ душевнаго огня зажигаютъ глазки дѣтей. По инымъ не велика слава открывать прекрасное для этого возраста, но замѣтимъ, что поэтъ эту славу заимствуетъ изъ того источника всеобщей истины, куда равно глядѣться могутъ, и мужъ, искушенный опытомъ жизни, и невинный сердцемъ младенецъ. Добро живѣе коренится въ сердцѣ и милѣе для

насъ, когда мы рано приучились роднить его съ чувствомъ красоты. Если ни одно впечатлѣніе не пропадаетъ для души даромъ, то счастливъ русскій ребенокъ, съ удовольствіемъ лепечущій стихи изъ *Пѣсни бѣдняка:*

Въ селеньи каждомъ есть Твой храмъ
Съ сіяющимъ крестомъ,
Съ молитвой сладкой и съ Твоимъ
Доступнымъ алтаремъ.

Это живое пониманіе связи между религіею и поэзіею, это высокое воспитаніе души поэта въ святынѣ чистоты и цѣломудрія, не ограничило его дѣятельности одними гимнами къ Богу. Нѣтъ, онъ пѣлъ наше земное, житейское, человѣческое; онъ черпалъ вдохновеніе у поэтовъ нехристіанскихъ; но, скажемъ его же словами: „онъ зналъ Его, онъ вѣрилъ Ему, онъ шелъ къ Нему, онъ велъ къ Нему, и все, что ни встрѣчалось на пути его откровенному оку, — все оно, прошедъ черезъ его душу, пріобрѣтало ея характеръ, не измѣнивъ въ то же время и собственнаго“.

Жуковскій всегда оставался вѣренъ своему назначенію, какъ поэта, потому что свободно служилъ красотѣ. Красота была главною мыслію всѣхъ его вдохновеній; но чистота сердца осіяла и освятила эту мысль въ душѣ его. Выразимъ теперь ее его же словами:

Но все, что отъ временъ прекрасныхъ,
Когда онъ[1]) мнѣ доступенъ былъ,
Все, что отъ милыхъ, темныхъ, ясныхъ,
Минувшихъ дней я сохранилъ —

Цвѣты мечты уединенной
И жизни лучшіе цвѣты —
Кладу на твой алтарь священный,
О геній *чистой красоты.*

Не знаю, свѣтлыхъ вдохновеній
Когда воротится чреда —
Но ты знакомъ мнѣ, чистый геній
И свѣтитъ мнѣ твоя звѣзда.

Пока еще ея сіянье
Душа умѣетъ различать,
Не умерло очарованье;
Былое сбудется опять.

Въ другой разъ, передъ Рафаэлевой Мадонной, онъ вспомнилъ о томъ же, ему столько знакомомъ, *Геніи чистой красоты,* и такъ сказалъ объ немъ:

Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ,
И приноситъ откровенья,
Благодатныя сердцамъ.

[1]) Дарователь пѣснопѣній.

Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлетъ онъ порой.

А когда насъ покидаетъ,
Въ даръ любви, у насъ въ виду
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ прощальную звѣзду.

Замѣчательно, что поэтъ не счелъ излишнимъ обозначить эпитетомъ *чистаго*, этотъ геній красоты, которому обрекъ себя на служеніе. Но развѣ есть, развѣ можетъ быть геній красоты *нечистой*? Видно, поэтъ предчувствовалъ, что въ его же время образъ красоты затемнится и потускнѣетъ отъ дыханія дѣйствительности житейской, что люди вѣка, назвавшаго себя положительнымъ, потеряютъ вѣру въ красоту и поэзію. Вотъ почему, конечно, создавая не для одной минуты вѣка, онъ ограждалъ чистотою души и жизни мысль о красотѣ, какъ ввѣренное ему отъ Бога сокровище, какъ предметъ и цѣль своего непорочнаго служенія.

Эта мысль поэта, имъ же самимъ выраженная, какъ свѣтильникъ, озаритъ для насъ весь обширный кругъ его произведеній и соберетъ ихъ въ храмину одного стройнаго цѣлаго. Давно уже сказано и сдѣлалось общимъ мѣстомъ у насъ въ литературѣ, что Жуковскій и въ переводахъ своихъ былъ оригиналенъ. Обновимъ теперь кстати эту мысль его собственными словами, которыя сказалъ онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Гоголю: „Я часто замѣчалъ, что у меня наиболѣе свѣтлыхъ мыслей тогда, какъ ихъ надобно импровизировать въ возраженіе или въ дополненіе чужихъ мыслей; мой умъ, какъ огниво, которымъ надобно ударить объ кремень, чтобы изъ него выскочила искра — это вообще характеръ моего авторскаго творчества; у меня почти все чужое или по поводу чужого — и все, однако, мое“.

Жуковскій переводилъ только то, чему сочувствовала душа его, что̀ было ей родственно, что согласовалось съ любимою его мыслію, для него:

Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что̀ вдали.

Геній чистой красоты, озарявшій внушенія его музы, не былъ такъ исключителенъ, и умѣлъ открывать ему прекрасное и около себя, и у всѣхъ народовъ міра, и во всѣ времена. Но, разъ привлѣвъ живымъ сочувствіемъ это чужое, геній Жуковскаго съ любовью предавался ему и возсоздавалъ его какъ свое — и русскій языкъ, свободно покоряясь

данію усвоеннаго имъ вдохновенія, не носилъ никакихъ слѣдовъ подражательности, а блисталъ всѣми красотами, свойственными силѣ творца-поэта. *Шевыревъ.*

Историческое значеніе поэзіи Жуковскаго.

Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературѣ.[1] Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богинею Церерой: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія „въ оный таинственный свѣтъ“, которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротою смѣняютъ одно другое, и сердце, желая многаго, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свѣтлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Въ эту пору жизни человѣка любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаетъ полнаго обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ сердца, и за нею непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобы человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобы онъ могъ понять, что вѣчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, идея въ фактахъ, душа въ тѣлѣ. Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка, и кто не мечталъ, не

порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни: вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душой по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а слѣдовательно, всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національностью. Еще въ дѣтствѣ мы, черезъ Жуковскаго, пріучаемся любить и понимать Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рѣчью...

Какъ не любить Жуковскаго, котораго каждый изъ насъ съ благодарностью признаетъ своимъ воспитателемъ, развившимъ въ его душѣ всѣ благородныя сѣмена высшей жизни, все святое и завѣтное бытія? Это безпрерывное

стремленіе куда-то, это томительное порываніе въ какую-то туманную даль, за которою тускло мерцаетъ заря лучшей жизни; эта вѣчная грусть по какомъ то недостижимомъ идеалѣ блаженства, тоскливое воспоминаніе о миломъ „прежде“, въ которомъ жизнь была такъ прекрасна, такъ полна надеждъ и удовлетворенія; это всегдашнее недовольство настоящимъ, которое богато только утратами и страданіемъ; эта благородная покорность волѣ Провидѣнія; эта гордая и твердая вѣра въ вѣчность любви и жизни — непреходящность того, что выражается въ преходящихъ явленіяхъ міра, это грустное наслажденіе роскошью прекрасной природы, это всегдашнее прощаніе съ обаятельными радостями земного и перенесеніе всѣхъ упованій по ту сторону жизни, туда, гдѣ свершеніе всѣхъ обѣтованій души и мистическихъ предчувствій полнаго любви и страданія сердца, гдѣ вѣчная весна, неувядающіе цвѣты радости, гдѣ нѣтъ разлуки съ милымъ, — что это такое, какъ не первое пробужденіе духа, сознавшаго себя духомъ?... И въ какихъ дивныхъ образахъ, прозрачно сотканныхъ изъ волнующихся тумановъ, вечерняго сумрака и алой зари, въ какихъ мелодическихъ звукахъ, — похожихъ то на звуки эоловой арфы, пробуждаемыхъ дуновеніемъ зефира, то на ропотъ гремучаго ручья, — передалъ намъ ихъ нашъ унылый пѣвецъ?..

Горе тому, кому не мила была мысль о смерти, кто не любилъ для того, чтобы только любить, чья любовь къ женщинѣ не была только грустью, только молитвою, робкая, стыдливая, дѣвственная, безмолвная, чуждая всякаго желанія, смущающаяся отъ встрѣчи съ милымъ взоромъ, отъ тихаго пожатія руки! Да, горе ему: онъ никогда не будетъ человѣкомъ, онъ никогда не узнаетъ дѣйствительности, какъ откровенія таинства жизни, какъ ощущенія безконечнаго блаженства: его дѣйствительность будетъ грубая, матеріальная, практическая, полезная, понятная, какъ 2 × 2 = 4, сухая и пошлая. *Бѣлинскій.*

Воспитательное значеніе поэзіи Жуковскаго.

Въ предлагаемомъ небольшомъ очеркѣ я постараюсь показать, какое воспитательное вліяніе должно имѣть Жуков-

скій по природѣ своей, какъ она сложилась подъ вліяніемъ обстоятельствъ, и по своимъ произведеніямъ, которыя у него больше, чѣмъ у кого бы то ни было изъ его предшественниковъ, являются полнымъ и искреннимъ выраженіемъ этой природы.

Жуковскій прежде всего обладаетъ способностью передавать другимъ свою горячую любовь къ поэзіи, которая для него вовсе не была однимъ изъ искусствъ, *украшающимъ* жизнь, а самою *сущностью* жизни, безъ которой эта жизнь была бы чѣмъ-то безсодержательнымъ, безсмысленнымъ. Изъ сочиненія Жуковскаго мы не найдемъ *опредѣленія* понятія поэзіи или художественнаго творчества вообще; но изъ нихъ можно собрать цѣлую хрестоматію восторженныхъ, почти молитвенныхъ восклицаній, изъ которыхъ напомню одно, наиболѣе извѣстное:

Поэзія есть Богъ во святыхъ мечтахъ земли.

Это обоготвореніе поэзіи, отожествленіе ея со всѣмъ, что есть самаго высокого въ жизни, не было исключительно *личной* чертой Жуковскаго: это проявленіе духа времени, основная идея литературной школы, къ которой принадлежалъ онъ; но о немъ, въ его личности, эта идея, по особымъ обстоятельствамъ, достигла самаго полнаго, *идеальнаго* своего осуществленія.

Мягкій, нѣжный, мечтательный мальчикъ получаетъ въ родномъ домѣ воспитаніе женственное, исключительно эстетическое. 14 лѣтъ онъ попадаетъ въ учебное заведеніе, гдѣ изученіе такъ называемой изящной словесности было въ сущности единственнымъ учебнымъ предметомъ, а собственныя попытки творчества — единственнымъ проявленіемъ самостоятельности учениковъ.

Когда 22-лѣтнимъ юношей Жуковскій беретъ на себя обученіе своихъ племянницъ, онъ изъ своего плана исключаетъ всѣ положительныя науки и строитъ его только на изученіи поэтовъ; даже теологія и нравственность сводятся у него къ чтенію *классиковъ*.

Правда, онъ придаетъ огромное значеніе *исторіи*, готовъ поставить ее даже на *первомъ* мѣстѣ, но изъ разъясненій его оказывается, что и исторія для него, главнымъ образомъ, есть исторія поэзіи, исторія художественныхъ идеи и формъ.

Черезъ 3 года, въ то время, какъ все русское общество ожидало и жаждало отчаянной политической борьбы, Жуковскій принимаетъ на себя редакцію литературнаго и *политическаго* журнала „Вѣстникъ Европы" и въ первомъ же №, смѣло, я сказалъ бы даже дерзко, если бы понятие дерзости не противорѣчило въ такой степени его голубиной природѣ, — заявляетъ читателямъ, что для его безпристрастнаго и миролюбиваго ума *политика* не имѣетъ ни малѣйшей привлекательности. И дѣйствительно, предоставивъ ее Каченовскому, онъ самъ работаетъ надъ журналомъ только какъ надъ сборникомъ изящной прозы и стиховъ.

Когда онъ дѣлается учителемъ великой княгини Александры Өеодоровны, онъ, какъ извѣстно, сводитъ все обученія русскому языку къ поэзіи и сухое преподаваніе грамматики превращаетъ въ сравнительное изученіе нѣмецкаго и русскаго поэтическаго слога.

Когда Жуковскому было поручено воспитаніе и образованіе наслѣдника русскаго престола, будущаго Царя Освободителя, этотъ идеально-честный человѣкъ будто отрекся отъ собственной личности, чтобы всецѣло отдаться исполненію высокой задачи, и засѣлъ за учебники по всѣмъ самымъ несимпатичнымъ ему, но полезнымъ для его ученика предметамъ, не исключая даже и ненавистной ему математики; но все же въ исторіи его великаго труда нельзя не видѣть явныхъ указаній на то исключительное значеніе, какое придавалъ Жуковскій-воспитатель эстетической сторонѣ образованія вообще и поэзіи въ частности. Да и въ послѣдніе годы жизни, когда онъ снова вернулся къ педагогіи уже ради своихъ собственныхъ дѣтей, онъ пишетъ Гоголю, что изобрѣтенная имъ метода обученія дочери грамотѣ вполнѣ „имѣетъ характеръ поэтическаго изданія".

Обоготвореніе поэзіи, отожествленіе прекраснаго съ нравственнымъ, какъ я уже упомянулъ, есть одинъ изъ базисовъ романтизма, но ни у кого изъ нѣмецкихъ романтиковъ теорія не сливалась до такой степени съ жизнью, какъ у Жуковскаго. Нѣмецкіе романтики, заплативъ дань крайнему идеализму въ юношескихъ статьяхъ и драмахъ, успѣвали своевременно привести въ порядокъ свои дѣла: занимали мѣста, устраивались въ популярныхъ журналахъ и пред- [illegible]

избрания карьеры живетъ, какъ птица небесная, ежедневно путешествуетъ по 5 верстъ изъ Мишенскаго въ Бѣлевъ и обратно, бросаетъ безъ всякаго основанія изданіе журнала, который приносилъ ему извѣстность и выгоды, и пишетъ, повидимому, только для себя и для своихъ близкихъ. Полюбивъ одну изъ ученицъ своихъ, онъ изливаетъ свое чувство въ прелестныхъ стихахъ, а хлопотать, подвигать дѣло, ломая препятствія, предоставляетъ друзьямъ своимъ; получивъ отказъ отъ суровой своей сестрицы-тетушки, онъ почти не пытается бороться и будто спѣшитъ и самъ примириться съ нимъ и примирить возлюбленную. Когда вторая его ученица стала невѣстой его эгоистичнаго друга-предателя Воейкова, который, пріобрѣтя расположеніе будущей тещи своей, немедленно началъ куражиться надъ Жуковскимъ самымъ наглымъ образомъ, а на свадьбу по помѣщичьему обычаю не оказалось наличныхъ денегъ, Жуковскій, ни минуты не задумываясь, продаетъ небольшую деревеньку, единственное свое достояніе, чтобы всѣ деньги вручить матери своихъ ученицъ, виновницѣ своего несчастія, и еще „съ восторгомъ" благодаритъ Екатерину Аѳанасьевну за принятіе этого подарка.

Увязавшись за семьей Протасовыхъ, при ея отъѣздѣ въ Дерптъ, гдѣ при его же содѣйствіи Воейковъ получилъ каѳедру русской словесности, Жуковскій не только съ радостнымъ увлеченіемъ снова усаживается на ученическую скамью вмѣстѣ съ 17-лѣтними студентами, но и съ такимъ же увлеченіемъ участвуетъ въ ихъ фуксъ-комерщахъ и съ серіознымъ лицомъ исполняетъ всѣ обряды студенческихъ попоекъ! Самихъ нѣмецкихъ профессоровъ поражаетъ онъ своею наивностью и непрактичностью.

Это все, конечно, проявленіе идеальной душевной простоты и доброты, но такое проявленіе, за которое общественное мнѣніе иногда называетъ дурачками и зелеными юношами; а Жуковскому въ это время было около тридцати лѣтъ, когда, по словамъ Пушкина, всякому русскому дворянину, чтобы не считаться неудачникомъ, необходимо быть „или полковникомъ, или коллежскимъ совѣтникомъ". Вотъ что пишетъ о Жуковскомъ въ 1813 году одинъ изъ лучшихъ его друзей другому, кн. Вяземскій А. И. Тургеневу: „Жуковскаго надо освѣжить: онъ теперь вянетъ, и я, ей

боту, борясь, чтобъ онъ вовсе не увялъ... Нельзя жить въ *матеріальномъ мірѣ*, и не надобно забывать что мы хотя и одарены *божественнымъ началомъ* но все-таки немного причастны *скотству, а можетъ быть и очень*. Жуковскій же пренебрегаетъ вовсе скотствомъ: *это глупо*.

Хорошіе, но крайне непрактичные люди, которые не умѣютъ заботиться о себѣ, невольно заставляютъ другихъ хорошихъ людей играть для нихъ роль доброй волшебницы въ сказкахъ: тѣ же друзья Жуковскаго все яснѣе и яснѣе сознаютъ, что *они должны* позаботиться о немъ. 22 марта 1815 года тотъ же Вяземскій пишетъ тому же Тургеневу: „Съ вами ли Жуковскій? Поручаю его тебѣ. На зло ему сдѣлай ему добро. Нужно непремѣнно обезпечить его судьбу, утвердить его состояніе. Такой человѣкъ, какъ онъ, не долженъ быть рабомъ обстоятельствъ. Слава царя, отечества и вѣка требуютъ, чтобы онъ былъ независимъ. Друзьями его надобно подумать объ его счастіи и, какъ я сказалъ, на зло ему сдѣлать ему добро“.

Счастья не могли ему доставить, тѣмъ болѣе, что скоро онъ самъ добровольно повѣнчалъ свою невѣсту съ дерптскимъ профессоромъ Мойеромъ; но Тургеневъ съ братіей доставили ему, по крайней мѣрѣ, благосостояніе; его придвинули ко двору, сблизили съ императрицей Маріей Ѳеодоровной и устроили ему хорошую пожизненную пенсію. Тогда начинается петербургскій періодъ жизни Жуковскаго, не менѣе юношескаго плодотворный въ смыслѣ творческомъ и самый вліятельный въ смыслѣ историко-литературномъ; достаточно сказать, что въ этотъ періодъ онъ и воспиталъ, и въ „Арзамасъ“ ввелъ, и спасалъ много разъ, и, наконецъ, въ гробъ положилъ Пушкина.

Сталъ ли *теперь* Жуковскій практичнѣе, живя среди высшихъ чиновниковъ и ловкихъ придворныхъ обоего пола? Имѣлъ ли онъ право *теперь* говорить о себѣ:

Я все дитя, и буду вѣчно
Дитя, жилецъ земли безпечный?

Ради этого *сына и друга своего* природа будто измѣнила свой обычный ходъ: меланхоликъ-юноша черезъ 50 лѣтъ превратился въ жизнерадостнаго, дѣтски веселаго старца, и его оптимистическое міросозерцаніе, его вѣра въ Бога и

человѣка, въ поэзіи и жизни оставались неизмѣнными цѣлое полустолѣтіе.

„Все въ жизни къ великому средство!“ — восклицалъ Жуковскій въ 30 лѣтъ, переживая тяжелое душевное горе, съ тѣмъ же утѣшительнымъ девизомъ въ мысляхъ разставался онъ въ 69 лѣтъ съ молодою женою и крошками-дѣтьми!

Какъ поэтъ глубокой задушевной правды, Жуковскій проводилъ это міросозерцаніе во всѣхъ своихъ *субъективныхъ* произведеніяхъ; нужно ли говорить о томъ, насколько оно *воспитательно*, какъ благотворно должно вліять оно особенно въ наше далеко не жизнерадостное время?!

Но на массу читателей, особенно на читателей юныхъ, Жуковскій имѣетъ еще большее вліяніе своими объективными, лиро-эпическими стихотвореніями: переводными и оригинальными балладами, поэмами и сказками.

Было бы слишкомъ долго перечислять не только самыя эти стихотворенія, но даже главныя группы ихъ, такъ много поработалъ Жуковскій на этомъ высоко-полезномъ поприщѣ; такъ много сдѣлалъ онъ для ознакомленія русскихъ съ литературой всемірной. Куда только не заводилъ онъ своего читателя: Иранъ, древняя Индія, Греція, Ирландія, средневѣковая Испанія и пр. и пр., и всюду показываетъ своеобразныя прелестныя картинки.

Чтобы опредѣлить, каково воспитательное значеніе ихъ, мы должны на минуту заглянуть въ исторію романтизма.

Почему романтизмъ такъ быстро завоевалъ себѣ симпатію большой публики и особенно молодежи, мало интересовавшейся теоретическими вопросами по искусству? Именно потому, что онъ вернулъ человѣчество отъ классическаго формализма и разсудочности и отъ сухой тенденціозности литературы просвѣщенія къ живымъ, вѣчно юнымъ продуктамъ первобытной *народной* поэзіи.

Всѣ баллады основаны на народомъ созданныхъ и народомъ усвоенныхъ старыхъ сказаніяхъ или вымышлены въ духѣ ихъ; а народная поэзія всегда проникнута наивною, но здоровою моралью. Эту народную мораль, естественно, усвоили и учителя Жуковскаго — романтики; но она осложнилась у нихъ такъ называемой романтической *ироніей*, средневѣковою мечтательностью и мистицизмомъ. Къ романтической иронiи Жуковскій не наклоненъ, а мечтательность и мистицизмъ,

сами по себѣ черты не особенно симпатичныя, едва ли кому принесутъ вредъ въ томъ видѣ, въ какомъ они предлагаются у Жуковскаго. Пускай реалистическая критика издѣвается надъ любовью рыцаря Тогенбурга, умирающаго на камнѣ передъ окномъ возлюбленной: все лучше, если подростокъ плѣнится *такою* любовью, нежели сразу начнетъ съ противоположной ей. Наконецъ, если развитіе мечтательности было опасно въ тѣ годы, когда воспитывались Рудины и Райскіе, едва ли такая опасность существуетъ теперь. Но, главное, такіе спеціально-романтическіе сюжеты составляютъ у Жуковскаго меньшинство; большинство же его произведеній проникнуто здоровою и высокогуманною нравственностью если не русскихъ, то, во всякомъ случаѣ, обще-европейскихъ сказокъ. Правда, все это только сказки, *побасенки*; но, какъ говоритъ Гоголь, „міръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обмелѣла бы жизнь, плѣсенью и тиной покрылись бы души". Кто сумѣлъ эти *побасенки* пересказать такъ красиво и вложить въ нихъ столько добраго чувства, тотъ много сдѣлалъ для блага родины.

Кирпичниковъ.

Значеніе Жуковскаго въ исторіи развитія литературнаго языка.

Сколько бы мы ни находили красотъ въ писателѣ со стороны его творчества и художественной распорядительности, всѣ онѣ довершаются его языкомъ. Но въ чемъ состоитъ достоинство писателя въ этомъ отношеніи? Намъ кажется, что способности его обнаруживаются двумя способами: или онъ пользуется готовыми ужъ, такъ сказать, наличными средствами языка, какъ знатокъ и мастеръ, выражаясь на нихъ вѣрно и изящно, или онъ достигаетъ этихъ самыхъ совершенствъ, проникая до сокровенныхъ тайнъ языка, развертывая его силы, приводя въ извѣстность невѣдомыя до того богатства, и такимъ образомъ дѣлаетъ достояніемъ литературы и общества то, что безъ него осталось бы надолго, а можетъ-быть, навсегда безъ употребленія и пользы. Одинъ способъ свойственъ, какъ мы сказали, знатоку и мастеру, другой — великому дарованію, богатому новыми литератур-

ными идеями. Говорятъ, что такой-то писатель обогатилъ языкъ, внеся въ него слова и обороты; это выраженіе очень неточно, какъ будто писатель въ состояніи добавлять языкъ своими изобрѣтеніями. Положимъ, что у него есть слогъ; но слогъ есть не болѣе, какъ особенный слѣдъ, оставляемый на готовомъ ужъ составѣ языка его личностью, оригинальностью его мысли. Геній писателя смиряется предъ геніемъ языка: онъ не властенъ измѣнить его основныхъ законовъ или придать ему совершенства, съ ними несовмѣстныя. Но онъ можетъ постигать его тайны лучше многихъ, лучше всѣхъ другихъ; онъ можетъ, не спрашиваясь мелочной лингвистики, дѣлать открытія, быть Колумбомъ и давать самому народу понять, какими сокровищами онъ надѣленъ отъ природы, ввести его, такъ сказать, во владѣніе ими, какъ геній, открывшій Америку, ввелъ человѣчество во владѣніе цѣлою частью свѣта. Что сдѣлалъ Ломоносовъ, установляя языкъ нашей литературы и науки? Изобрѣталъ ли онъ слова, съ ихъ формами, устройство рѣчи? Или перемѣнялъ значеніе однихъ и составъ другой? Нѣтъ! онъ только воспользовался готовымъ запасомъ словъ и привилъ, такъ сказать, къ нимъ новыя понятія, потому что эти слова, по свойству широкаго отразившагося въ нихъ національнаго духа и свойственной ему силы движенія, оставаясь точными на своемъ мѣстѣ, въ употребленіи, не были закованы въ цѣпи неподвижнаго и тѣснаго спеціализма и способны были развиваться съ новыми идеями жизни и образованности, принимать въ себя свѣтъ и теплоту живаго дѣйствующаго ума. Когда же, впослѣдствіи, не доставало запаса словъ существующихъ, писатели обращались къ другому свойству русскаго языка, къ его гибкости, его богатому словопроизводству, и тотъ же геній языка помогалъ имъ съ честію выходить изъ затрудненія. Такъ и въ архитектоникѣ рѣчи Ломоносовъ и слѣдующіе за нимъ лучшіе писатели употребляли, сколько требовалъ ходъ нашего образованія, новыя словосочетанія, извлекая ихъ изъ общихъ свойствъ нашего богатаго синтаксиса и логики языка, столь здравой и естественной. Языкъ литературный совершенствовался по мѣрѣ того, какъ писатели покидали искусственныя формы, лучше постигали духъ выраженія общенароднаго и приближались къ нему оборотами рѣчи. Но, не считая никого изобрѣтателемъ въ дѣлахъ

языка, мы тѣмъ не менѣе должны признать высокую заслугу писателей, которые подвигаютъ его впередъ, испытывая и употребляя его природныя средства. Здѣсь каждое слово, удачно употребленное для обозначенія новаго оттѣнка понятія, каждый оборотъ, впервые выражающій новое направленіе мысли или ея смѣлый, оригинальный порывъ, каждая капля свѣжей краски, очутившаяся на палитрѣ поэта-живописца, все важно, все дорого, какъ проявленіе его жизненныхъ силъ, какъ новое орудіе для распространенія и утвержденія образованности и истины. Такимъ образомъ, мы будемъ благодарны и Богдановичу, нашедшему впервые возможность дать нѣкоторый просторъ игривой и легкой мысли въ неуклюжемъ до того построеніи стиха, и Хемницеру, вызвавшему изъ мрака на литературное употребленіе нѣкоторыя общенародныя формы и краски, не говоря ужъ о Державинѣ, извлекавшемъ изъ нетронутыхъ рудниковъ слова цѣлые куски самороднаго золота для ковки своей могучей и блистательной рѣчи, ни о Карамзинѣ, который произвелъ такое рѣшительное измѣненіе литературнаго языка нашего возвращеніемъ его къ собственной живой логикѣ и художественной обработкѣ готовыхъ матеріаловъ.

Поэтическій языкъ нашъ до Жуковскаго находился на той же степени, какъ самая литература. Мы видѣли, что въ этой послѣдней эстетическій элементъ еще не обозначился вѣрно и точно и что въ ней преобладали воззрѣнія и идеи, возбужденныя не природою и жизнью, а духомъ французской искусственной школы. Поэтому, хотя на поэтическій языкъ имѣли благотворное вліяніе такіе писатели, какъ Карамзинъ и Дмитріевъ, однакожъ общій его характеръ не отличался разнообразіемъ и естественностью красокъ. Въ немъ было что-то внѣшнее, мало истинное, что-то сдѣланное, а не создавшееся; обороты его были похожи на формулы, которыя только прилаживались къ мыслямъ, видно было, что ихъ производило преднамѣренное искусство, а не свободная творческая сила возбужденной души. Тогда внѣшнее риторическое убранство рѣчи считали за краснорѣчіе, не понимая самой простой и очевидной истины, что идея, лишенная внутренней силы, сухая, тощая, чрезвычайно смѣшна, когда ее стараются выставить въ красивомъ и великолѣпномъ видѣ, что она похожа на старуху, наряженную къ вѣнцу. Одно

и тотъ же привычный ходъ мыслей, одни и тѣ же воззрѣнія на вещи удерживали языкъ въ тѣсныхъ границахъ и не позволяли ему выказать своихъ богатствъ. Съ Жуковскимъ наступилъ для него новый періодъ. Идеи, которыми овладѣлъ онъ въ литературахъ германской и англійской, требовали новыхъ формъ выраженія; Жуковскій нашелъ матеріалы для нихъ въ русскомъ языкѣ и создалъ изъ нихъ эти формы съ искусствомъ необычайнымъ. Чѣмъ разнообразнѣе были самыя идеи, тѣмъ болѣе развивался языкъ подъ перомъ его. Живыя и нѣжныя ощущенія сердца съ ихъ едва уловимыми оттѣнками, красоты природы, открывающіяся взору, прямо и съ любовью на нихъ устремленному, чистые идеальные образы съ ихъ неземною таинственною прелестію все это облеклось въ выраженія, краски, вполнѣ ему соотвѣтствующія, цвѣтущія, осязательныя, изящныя. Никогда еще русскій языкъ не обнаруживалъ столько гибкости, благородства, граціи въ поэтическомъ изложеніи мысли, какъ теперь. Сколько словъ представилось намъ, получившихъ новый оттѣнокъ выразительности и силы или чрезъ аналогическое сближеніе понятій, или посредствомъ удачнаго и вѣрнаго распредѣленія ихъ въ рѣчи! Сколько видоизмѣненій ея, словосочетаній, оборотовъ, доказывающихъ такую же воспріимчивость и многосторонность языка, какими одарены умъ и чувство народа, его создавшаго! Въ немъ явились пособія, тонкости, оттѣнки, прежде несуществовавшія, явился новый колоритъ живописи. Неудивительно, что, при этихъ средствахъ языка, изображенія Жуковскаго получили особенный плѣнительный характеръ свѣжести и естественности; холодное реторическое расцвѣчиваніе мысли, уступило мѣсто выраженію истинному, существенному, почерпающему въ ней и въ вещахъ свою силу и прелесть; въ изображеніяхъ этихъ мы увидѣли природу безъ суетныхъ прикрасъ, съ ея собственною физіономіею, и ея вѣчная красота перестала обезображиваться словомъ надутымъ и изысканнымъ, лишеннымъ духа ея и жизни. Это ужъ были цвѣты не изъ воску сдѣланные, раскрашенные заказнымъ и жалкимъ малярствомъ, а живые, роскошные цвѣты, сорванные на поляхъ и въ садахъ, полные благоуханія и блеска, которые даритъ одно солнце.

Жаркіе поборники народности языка спрашивали, почему Жуковскій, раскрывшій въ немъ такъ много изящныхъ

свойствъ, не пользоваться ресурсами, какія представляетъ писателю идіотизмъ въ обширнѣйшемъ смыслѣ, хорошо понятый и разработанный? Значитъ ли это, однакожъ, что онъ не обращалъ на него вниманія, или что ему не были извѣстны его красоты? Конечно, нѣтъ! Отсутствіе ихъ въ стихахъ [illegible] прямо проистекало изъ духа его поэзіи. Усвоивъ себѣ возвышенное, идеальное направленіе съ его общечеловѣческимъ значеніемъ, проводя въ литературу и общество идеи новыя, онъ долженъ былъ искать для нихъ выраженій и красокъ болѣе въ цѣломъ составѣ языка, чѣмъ въ частныхъ и особенныхъ его проявленіяхъ, руководствоваться болѣе его духомъ, чѣмъ установившимися опредѣленными формами. Ему очень хорошо были знакомы его особенности и силы, готовыя ко всему прекрасному, истинному и логическому, но онъ естественно обращался къ тѣмъ изъ его способовъ, какіе ближе подходили къ характеру его мыслей и образовъ. И отъ того, однакожъ, языкъ Жуковскаго не менѣе есть нашъ чистый родной языкъ. Народность рѣчи не состоитъ въ однихъ идіотизмѣ, а въ оборотахъ, устройствѣ, красотахъ, самостоятельно употребленныхъ писателемъ и сообразныхъ съ духомъ и логикою послѣдняго. Идіотизмъ составляетъ часть языка, конечно, ближайшую къ кореннымъ стихіямъ народности, но онъ не исчерпываетъ всѣхъ свойствъ и богатствъ его точно такъ, какъ пословицы не заключаютъ въ себѣ всего здраваго смысла и практической мудрости, какіе народъ способенъ раскрыть въ своей исторической жизни. Языкъ раздвигаетъ свои предѣлы по мѣрѣ расширенія круга самыхъ понятій; онъ не отступаетъ отъ своихъ коренныхъ основаній; однакожъ, онъ не тотъ ужъ въ періодъ умственной зрѣлости, какой мы слышимъ въ изустномъ употребленіи простого народа или находимъ въ пѣснѣ, сказкѣ, легендѣ литературы первоначальной; онъ становится полнѣе, многостороннѣе; идіотизмъ, какъ частное проявленіе, какъ оттѣнокъ языка, уступаетъ мѣсто выраженію общенародному и вмѣстѣ художественному. Таковъ языкъ и Жуковскаго. Языкъ этотъ принадлежитъ націи по своей неукоризненной чистотѣ и правильности, а искусству — по своимъ первоклассным красотамъ, способнымъ выдержать самый строгій судъ литературной критики. Сладость и благозвучіе стиха, доведенныя авторомъ до высокой степени совершенства, оригинальна

рѣчи, всегда довершенная и стройная, искусство слаживать ея части безъ малѣйшаго затрудненія и усилій, что даетъ такую легкость ея движеніямъ, такую естественность и свободу ея переходамъ, блескъ и мягкость его красокъ — все это важныя достоинства, изобличающія въ Жуковскомъ мастера, который постигъ тайну, какъ обращаться съ матеріей стиха. Но здѣсь нѣтъ еще полной художественной красоты выраженія, это только внѣшняя сторона его. На слово нельзя смотрѣть, какъ на матерію, изъ которой искусная рука художника лѣпитъ какія угодно формы, оно есть живая сила, участвующая въ самыхъ процессахъ нашей мысли, и должна исходить наружу изъ глубины духа вмѣстѣ съ ней, какъ одно нераздѣльное цѣлое. Нерѣдко слово бываетъ въ борьбѣ съ мыслью; настойчивость и искусство писателя могутъ, наконецъ, покорить одно другой, могутъ установить между ними внѣшнее отношеніе и согласіе, по которымъ мы справедливо слово называемъ представителемъ мысли. Но высшее совершенство выраженія тамъ, гдѣ изглаживаются всѣ слѣды этой борьбы, гдѣ зиждущая сила распоряжается безпрепятственно, уничтожая всякій антагонизмъ внѣшняго, гдѣ задача ея разрѣшается таинственнымъ актомъ осуществленія идеи въ словѣ, а не механическимъ подчиненіемъ одной силы другой. Здѣсь такъ называемая стилистика, всякая другая красота исчезаетъ, кромѣ красоты предмета, кромѣ самой жизни съ ея разгаданнымъ смысломъ, исторгнутымъ геніемъ изъ пучины всеобщаго бытія и переданнымъ сознанію нашему, въ его собственность. Такъ въ прекрасномъ лицѣ человѣческомъ плѣняетъ насъ не цвѣтъ лица, не гармоническое сочетаніе линій, не изящество облика, а оно *само* и *оно все*. Конечно, характеръ языка, какой мы представляемъ здѣсь, есть совершенство не для многихъ доступное, но онъ доступенъ былъ высокому дарованію Жуковскаго. Припомнить какое-нибудь мѣсто изъ его произведеній; вотъ, напримѣръ, монологъ Анны д'Аркъ въ началѣ IV акта „Орлеанской Дѣвы“:

Молчитъ гроза военной непогоды;
Спокойствіе на полѣ боевомъ;
Вездѣ шумятъ по стогнамъ хороводы;
Алтарь и храмъ блистаютъ торжествомъ;
И зиждутся изъ вѣтвей пышны входы;
И гордый столбъ обвитъ живымъ вѣнцомъ;

И гости ждутъ вѣнчательнаго пира:
Готовы тронъ, корона и порфира.
И все горитъ единымъ вдохновеньемъ;
И груди всѣхъ подъемлетъ мысль одна;
И счастіе волшебнымъ упоеньемъ
Сдружило все, что рознила война;
Гордится Франкъ своимъ происхожденьемъ:
Какъ будто всѣмъ отчизна вновь дана;
И съ честію примирена корона;
Вся Франція въ собраніи у трона.
Лишь я одна, великаго свершитель,
Ему чужда безчувственной душой;
Ихъ счастія, ихъ славы хладный зритель,
Я прочь отъ нихъ лечу моей мечтой;
Британскій станъ, любви моей обитель,
Ищу враговъ желаньемъ и тоской;
Таюсь друзей, бѣгу въ уединенье
Сокрыть души преступное волненье.
Какъ, мнѣ любовію пылать?
Я клятву страшную нарушу?
Я смертному дерзну отдать
Творцу обѣщанную душу?
Мнѣ, усладительницѣ бѣдъ,
Вождю спасенья и побѣдъ,
Любить врага моей отчизны?
Снесу ли сердца укоризны?
Скажу ль о томъ сіянью дня?
И стыдъ не истребитъ меня!

Передъ вами мученица великой идеи, открывающая тайныя глубины своего сердца. Мы видимъ ее, мы чувствуемъ ея муки и забываемъ о языкѣ, которымъ все это выражено. Что намъ за дѣло до того, какіе способы употреблены, чтобъ передать намъ одно изъ роковыхъ мгновеній жизни? Передъ вами бьется, трепещетъ сердце изнемогающее въ борьбѣ его нѣжныхъ влеченій съ строгою задачею, павшею на эту слабую женственную грудь съ высоты самаго неба. Анализируйте, если вамъ угодно, всю картину, чтобъ опредѣлить степень ея художественнаго достоинства, изучайте эту удивительную стройность въ движеніи рѣчи, эту мягкость кисти, которая краскамъ даетъ такіе бархатные отливы, ея легкость и непринужденность, съ которыми она, какъ бы едва дотрогиваясь до полотна, оставляетъ на немъ такіе полные, законченные, дышащие образы — все это хорошо и нужно; но лучше всего то, что, увлеченные непреодолимою прелестью

изображенія, вы забываете его анализировать и не знаете на что дающее ему эффектъ указать въ языкѣ. Надобно согласиться, что до Жуковскаго никто не давалъ намъ чувствовать, до какой степени языкъ нашъ способенъ къ выполненію самой трудной задачи въ искусствѣ — угашать въ себѣ искусство предъ естественнымъ могуществомъ мысли и истины. Кто усомнится послѣ этого въ обиліи его жизненныхъ силъ, въ его возможности извлекать изъ самого себя всѣ нужныя пособія для осуществленія всего, что есть глубокаго, истиннаго и прекраснаго въ стремленіяхъ человѣческой души? *Никитенко.*

Особенности таланта и поэтическаго творчества Жуковскаго.

Жуковскій вездѣ вѣренъ однѣмъ и тѣмъ же основнымъ идеямъ своей школы; при всемъ томъ содержаніе произведеній его весьма разнообразно. Гибкость его таланта неоспорима; онъ способенъ ужиться со всѣми поэтическими преданіями, со всѣми предметами, достойными художественнаго воззрѣнія. Для ума его и воображенія не было, повидимому ни высоты недоступной, ни граціи, которая бы не привѣтствовала его улыбкою, какъ близкаго себѣ, какъ своего кровнаго. Разность мѣста, времени, разнообразные характеры, оттѣнки чувствованій — ничто его не затрудняло въ той области, какая соотвѣтствовала его направленію; во всемъ онъ могъ усвоить себѣ поэтическую сущность, духъ, все перечувствовать и все высказать съ увлекательною прелестью слова. Что общаго между германскими *средневѣковыми* легендами и русскимъ писателемъ XIX вѣка? А онъ постигъ совершенно эту разцвѣтавшую жизнь, полную героической силы и таинственныхъ видѣній. Поднятую изъ могилы геніемъ новѣйшихъ германскихъ поэтовъ, онъ для насъ вторично оживилъ ее въ изящно-фантастическихъ образахъ. И отсюда съ легкостью, неизмѣненною лѣтами, онъ перенесся подобно Гетеву Фаусту, въ другой міръ, гдѣ предстали ему и возродились въ его духѣ созданія съ другою физіономіею — созданія прекрасной Греціи съ своимъ античнымъ, спокойнымъ величіемъ и умилительною патріархальною простотою

Сначала онъ, повидимому, любилъ пути, на которыхъ встрѣчаются предметы, сильно потрясающіе душу; онъ восходитъ на скалы, одѣтыя мохомъ, погружается въ глубину дремучихъ лѣсовъ, отдыхаетъ на кладбищѣ, или у воротъ опустѣлаго замка гдѣ, въ полуночномъ мракѣ, сверкаетъ мгновенный, неизъясненный свѣтъ, мелькаютъ роковыя видѣнія. Тогда все это считали принадлежностью романтизма, между тѣмъ, какъ это было просто влеченіе поэтической души ко всему таинственному и чудесному въ природѣ, овладѣвающее ею преимущественно въ лѣта юности. Послѣ Жуковскій исполняется болѣе мыслительнаго начала поэзіи. Каждое произведеніе позднѣйшаго періода уже ознаменовано у него основною идеей много значительною и обдуманною; онъ ищетъ не однихъ внѣшнихъ явленій природы или исторіи, не снимаетъ ихъ вновь; въ цвѣтущихъ и богатыхъ образахъ его благоухаетъ мысль иногда неуловимая, какъ запахъ цвѣтка, но всегда дающая чувствовать свое присутствіе, наполняющая душу если не разрѣшеніемъ истины, то предчувствіемъ ея. Вообще содержаніемъ своихъ произведеній онъ раздвинулъ предѣлы нашей поэзіи и обогатилъ ее предметами, понятіями, чувствованіями, совершенно для ней новыми; съ нимъ ей сдѣлались близкими всѣ великія откровенія природы и жизни человѣческой и тѣмъ самымъ она пріобрѣла свойства, отличающія вообще поэзію новѣйшихъ образованныхъ народовъ. Въ этомъ-то особенно состоитъ важное значеніе того перехода, какой сдѣланъ Жуковскимъ отъ французской школы къ школѣ такъ называемой романтической.

Лиризмъ Жуковскаго, эта исповѣдь поэтической души, по содержанію своему, столько же отличается отъ лиризма, господствовавшаго въ русской поэзіи, какъ и по направленію. Наши лирики, кромѣ Державина, составляющаго явленіе исключительное, которое не можетъ быть измѣряемо общимъ мѣриломъ современной ему литературы, наши лирики, говоримъ мы, съ какимъ-то простодушіемъ устраняли вовсе изъ своихъ произведеній мысль и чувство. Воспаривъ на крылахъ какого-нибудь тропа и фигуры къ Геликону и музамъ и воззвавши къ нимъ громкимъ гласомъ съ мольбою о вдохновеніи, они скоро убѣждались, что вдохновеніе къ нимъ уже послано, что теперь они уволены отъ всякой личной дѣятельности, что общія мѣста, всегда готовыя къ услугамъ каждаго,

кто пишеть, отвѣчають за все остальное, что стоить ихъ перебрать всѣ, или главныя, въ извѣстномъ лирическомъ порядкѣ или безпорядкѣ — и процессъ созданія, изобрѣтеніе кончены. Снисходительные друзья, критика и публика были въ восторгѣ, когда лирику удавалось все это высказать стихами сколько-нибудь гладкими, непротивными слуху. Болѣе всего нравились и творцамъ и читателямъ торжественность тона, бряцаніе лирныхъ струнъ. Дмитріевъ, писатель съ замѣчательнымъ дарованіемъ, очень остроумно осмѣялъ безжизненный реторизмъ нашей лирики; въ его собственныхъ стихотвореніяхъ мы видимъ ужъ мысль и признаки чувства, но и то и другое есть не плодъ непосредственнаго возбужденія духа, а произведеніе тонкаго отражающаго ума, его ловкой изворотливости, которая умѣетъ содѣлать все кстати, не выходя изъ круга принятыхъ и установившихся понятій и воззрѣній. Совсѣмъ не то мы видимъ въ Жуковскомъ: онъ далъ нашей лирикѣ *поэтическій смыслъ*, а это очень важно, ибо лирика въ каждой литературѣ есть пульсъ, которымъ означается движеніе ея жизненныхъ силъ. Онъ показалъ, что за вдохновеніемъ надобно обращаться не къ музамъ, а къ природѣ жизни; уничтожилъ машины, помощью которыхъ наши пѣснопѣвцы поднимались наверхъ, чтобъ оттуда возглашать *во вся предѣлы міра* большею частію то о своихъ меценатахъ, то о своихъ возлюбленныхъ, хотя одни ихъ вовсе не знали, а другихъ они не знали сами. Всѣ піитическіе снаряды, всѣ мучительскія орудія тщетнаго добыванія мыслей, всѣ общія мѣста пали предъ могуществомъ его живой, естественной, истинной поэзіи.

Переворотъ къ лучшему, конечно, произошелъ не вдругъ: бездарные піиты продолжали по временамъ смущать образующійся вкусъ „шумнымъ гласомъ своихъ гортаней, поя великихъ честь именъ", какъ выражается Петровъ въ одной изъ своихъ одъ; но рубежъ между прошедшимъ и настоящимъ ужъ былъ проведенъ, ужъ чувствовали разницу между тѣмъ, что было и между тѣмъ, что должно и можетъ быть. Самъ Жуковскій составлялъ начало лучшаго направленія, но не осуществилъ всѣхъ его послѣдствій, потому что всякое начало истины есть животворное сѣмя будущаго, а не само будущее. Такъ его собственнымъ лирическимъ созданіямъ не доставало анализа. Въ немъ больше чувства, нежели

наблюдательности, онъ больше знакомъ съ природою предметовъ, чѣмъ съ ихъ бытомъ и исторіей; больше даетъ имъ нежели заимствуетъ отъ нихъ. Правда, то, что онъ переноситъ на нихъ отъ себя, не противорѣчитъ ихъ сущности, но оно болѣе достояніе ихъ рода, чѣмъ ихъ личная собственность. Ему доступнѣе поэзія жизни, нежели поэзія ея мгновеній, эпохъ. Разности предметовъ у него нерѣдко сливаются и подводятся подъ точки зрѣнія слишкомъ общія. Оттого его поэтическія представленія разрѣшаются иногда понятіями вмѣсто образовъ, или на высотѣ, въ кругу ихъ, мелькаютъ неясныя, неуловимыя полувидѣнія; отъ нихъ вѣетъ жизнью прекрасною, но смутною и неразгаданною. При всемъ томъ было бы непростительно грубою ошибкою ставить дарованію въ вину отсутствіе такихъ совершенствъ, какія не вытекаютъ изъ его художественнаго характера. Вопросъ состоитъ въ томъ, согласуется ли способъ его дѣятельности съ законами искусства, а не въ томъ, успѣлъ ли онъ овладѣть всѣми способами? Жуковскій могъ начать путь, могъ идти по немъ, но не пройти весь. То, чего ему недостаетъ, не есть его ошибка, а новый шагъ въ искусствѣ, который предоставлено было сдѣлать другимъ, какъ ему въ свое время предоставлено было сдѣлать такой же. Сравнивая, напримѣръ, Пушкина и Лермонтова съ Жуковскимъ, вы чувствуете, что этотъ шагъ дѣйствительно сдѣланъ. Жуковскій постоянно пребываетъ въ высотѣ своего идеальнаго синтетическаго воззрѣнія; обоимъ послѣднимъ доступна эта высота, она родная имъ по ихъ внутреннему влеченію: иначе они не были бы поэты. Но она не есть ихъ единственное жилище; часто видите вы ихъ посреди житейскихъ треволненій, на шумныхъ людскихъ сборищахъ. По ихъ гордому виду, по ироническій улыбкѣ на устахъ, вы тотчасъ узнаете, что они не здѣшніе, что это путники, зашедшіе сюда съ какими-то особенными намѣреніями; они скоро потомъ и уходятъ, унося съ собою богатыя добычи дѣяній и страстей человѣческихъ. Этого они и хотѣли; они воспользовались для своихъ созданій всѣмъ видѣннымъ въ этой лабораторіи судебъ, — и созданія ихъ получили крѣпость золота, къ которому примѣшана лигатура. Одинъ какою-то волшебною силою отторгаетъ насъ отъ нашихъ ежедневныхъ тревогъ и заботъ и возноситъ ко всему лучшему и прекрасному.

другие — это лучшее и прекрасное вносять въ среду налу или заставляють насъ отыскивать, такъ сказать, что-нибудь изъ нихъ у себя дома, въ забытомъ углу сердца. Когда Жуковскій изображаетъ великіе національные предметы — это жрецъ, облеченный въ торжественныя одежды своего сана, совершающій свои действія во храме впереди сонма народнаго, объятаго важною и благоговейною думою, какую онъ ей внушаетъ. Онъ воспламенитель сердецъ и вместе прорицатель въ стане русскихъ воиновъ, на Кремле онъ хореографъ великолепной процессіи на праздникъ избавленія. Пушкинъ и Лермонтовъ не отделяются въ важный поэтическій моментъ отъ массы людей; они, повидимому, не внушаютъ ей чувствованій, а почерпаютъ ихъ въ ея же сердце, чтобъ очистить ихъ въ своемъ духе, развить и выразить образомъ достойнымъ ея, себя и событія. Таковъ Пушкинъ, напримеръ, въ своихъ пьесахъ: „Къ Полководцу", „Клеветникамъ Россіи", „Пиръ Петра Великаго" и проч., таковъ Лермонтовъ въ „Бородинской годовщине". Можно ли въ подобныхъ сравненіяхъ говорить о превосходстве однихъ талантовъ передъ другими? Нетъ! Здесь различны не степени, занимаемыя ими въ искусстве, и направленія, различны самыя эпохи искусства, которыхъ они были представителями. Идеализмъ Жуковскаго былъ потребностью литературы, которая чрезъ него, сопряглась съ основнымъ, высшимъ началомъ искусства: подобною же потребностью въ свое время вызванъ идеализированный реализмъ Пушкина и писателей его эпохи. Они должны были сблизиться теснее идеализмъ съ жизнью, придавая ему некоторую положительность вещей, а вещамъ сообщая его многозначительный смыслъ и выразительность. Это значило дополнить одну сторону поэзіи другою и сомкнуть сферу ея сближеніемъ действительности идеальной и действительности вещественной.

Въ искусстве, какъ и въ практическомъ міре, успехъ начинаній зависитъ не отъ благородныхъ и прекрасныхъ предначертаній, не отъ богатства и достоинства самыхъ идей, а отъ силы, осуществляющей намеренія и идеи. Все составляющее предварительный матеріалъ, дается намъ умомъ, опытомъ, вернымъ взглядомъ на вещи: приведеніе всего этого къ желаемой цели, исполненіе есть дело таланта, и оно одно только окончательно решитъ судьбу нашихъ

помышленіи, потому что оно одно даетъ имъ дѣйствительное бытіе. Поэту предоставлено могущественное орудіе для совершенія его духовнаго подвига — слово. Но прежде, чѣмъ онъ ввѣритъ ему свою идею, она должна въ его сознаніи отрѣшиться всего отвлеченнаго и принять на себя живой, чувственный образъ. Этотъ процессъ поэтическаго творчества подчиненъ извѣстнымъ условіямъ, отъ соблюденія которыхъ зависитъ совершенство созданія. Какъ мысль образуется въ человѣческомъ сознаніи по своимъ логическимъ законамъ, такъ образъ слагается по законамъ вещественной природы, потому что все, принадлежащее къ его организаціи, заимствуется изъ нея. Очевидно, что первое условіе въ его устройствѣ и движеніи есть согласіе съ законами природы. Это не иное что, какъ вещественная правильность. Но есть другое условіе, другая правильность, проистекающая уже изъ требованій искусства. Она состоитъ въ равновѣсіи, въ гармоніи всѣхъ частей произведенія, всѣхъ его подробностей и положеній съ основною идеей. Такъ трудъ человѣческаго генія, явленіе изящное становится правильнымъ, законнымъ. Поставленное въ срединѣ между дѣйствительностью мысли и дѣйствительностью вещей, оно своею идеальною стороною удовлетворяетъ требованіямъ духа, вещественно требованіямъ природы; оно уже не мечта, но дѣяніе, истина; оно получаетъ право жизни и мѣсто въ исторіи. Все неправильное, незаконное, осуждено быть или бременемъ самому себѣ, или гибнуть. Геній, талантъ, одни имѣющіе право дѣйствовать въ области искусства, одни признанные граждане его, не затрудняются исполненіемъ этихъ условій. Будучи сами выраженіемъ высшаго закона человѣческой природы, они въ собственномъ сознаніи носятъ все, что она возлагаетъ на каждаго изъ уполномоченныхъ ею дѣятелей. Избытокъ чувства, роскошь фантазіи, вдохновеніе, служатъ только залогомъ, что повелѣнія разума въ предстоящемъ подвигѣ будутъ выполнены дѣйствительнѣе, вѣрнѣе и блистательнѣе; ибо посредственность лишена способовъ въ дѣлахъ важныхъ, даже слѣдовать указаніямъ какъ должно. Мы приводимъ здѣсь эти понятія потому, что, опредѣляя достоинство произведеній Жуковскаго съ важнѣйшей ихъ стороны — со стороны художественнаго исполненія, полагаемъ, что наши сужденія должны быть основаны на причинахъ

Поэтическое проявленіе его мысли совершается легко и свободно. Образы его раскидываются въ своихъ подробностяхъ, какъ въ вѣтвяхъ, съ непринужденностью и непрерывностью, которыя свидѣтельствуютъ о богатствѣ и плодотворной силѣ фантазіи. Но часто мысль, обращенная къ предметамъ внутренняго созерцанія, требуетъ не столько органически-цѣлаго изображенія, сколько вѣрнаго пластическаго обозначенія своихъ движеній. Поэту было бы, безъ сомнѣнія, легче описывать, чѣмъ схватывать эти летучія драматическія мгновенія возбужденной души, эти переливы неуловимой, то парящей, то извивающейся мысли, которые составляютъ прямое богатство нашего внутренняго бытія. Жуковскій одинаково превосходенъ и тогда, когда изображаетъ поэтическое настроеніе сердца, и тогда, когда живописуетъ. Живопись его отличается полнотою и вѣрностью рисунка; онъ не довольствуется тѣмъ, чтобъ нѣсколькими чертами намекнуть о предметѣ; онъ ставитъ его весь передъ вашими глазами съ той стороны, какая нужна для возбужденія предполагаемаго впечатлѣнія. Онъ не излагаетъ тамъ, гдѣ надобно представлять, изображать. Слабая фантазія, не умѣя управиться съ цѣлостью предмета, лишенная силы сосредоточивать разсѣянныя черты и организовать ихъ, даетъ вамъ, такъ сказать, одни обломки вещей, призраки или полупризраки, оставляя въ душѣ смутное *нѣчто* вмѣсто яснаго, опредѣленнаго созерцанія. Картина Жуковскаго есть не покушеніе, а созданіе, она полна и окончена, какъ полно и окончено твореніе, вышедшее изъ рукъ природы. Въ пріемахъ его кисти вы не замѣчаете той игривости, быстроты, того, такъ сказать, молнійнаго удара, какимъ по-справедливости удивляемся мы въ Пушкинѣ. Манера его рисовки степеннѣе, осторожнѣе, обдуманнѣе. Онъ слишкомъ далекъ отъ того, чтобъ подчинять свое вдохновеніе какимъ-нибудь стѣснительнымъ правиламъ; но онъ повѣряетъ его тѣмъ тонкимъ внутреннимъ инстинктомъ красоты, который столько ему свойственъ и который составляетъ совѣсть художника; по крайней мѣрѣ, онъ всегда въ согласіи съ этою совѣстью, какъ бы она слѣдила за каждымъ порывомъ его фантазіи. Въ изображеніи природы нѣтъ у него ни рѣзкихъ противоположностей, ни быстрыхъ и смѣлыхъ переходовъ, ни сближеній, поражающихъ своею неожиданностью; но онъ пре-

восходно схватываетъ гармоническое соотношеніе подробностей, какимъ природа плѣняетъ наблюдателя, независимо отъ самаго характера вещей. Чтобъ почувствовать это, взгляните, напр., хоть на эту картину:

И вотъ... насталъ послѣдній день;
    Ужъ солнце за горою;
И стелется вечерня тѣнь
    Прозрачной пеленою;
Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна
    Блеснула изъ-за тучи;
Легла на горы тишина,
    Утихъ и лѣсъ дремучій;
Рѣка сравнялась въ берегахъ;
    Зажглись свѣтила ночи;
И сонъ глубокій на поляхъ;
    И близокъ часъ полночи...

Въ группировкѣ предметовъ у него столько поэтическаго такта, столько знанія приличія положеній, что этого одного ужъ достаточно, чтобъ поставить его, какъ художника, на высокую степень въ самой образованной литературѣ. Можетъ-быть, отъ этого на васъ болѣе дѣйствуетъ общій тонъ его картинъ, чѣмъ ярко и рельефно выдвинутыя части. Въ колоритѣ ихъ чувствуешь что-то мягкое, южное, весеннее; онъ свѣжъ, какъ румянецъ только-что распустившейся розы, и тепелъ, живителенъ, какъ воздухъ лучшей поры года. Погруженіе духа въ общія красоты природы и преобладаніе въ немъ идеальнаго настроенія не допускали Жуковскаго всматриваться въ тѣ особенности, какими она ознаменовываетъ себя въ данномъ пространствѣ или при извѣстныхъ условіяхъ; оттого изображеніямъ его недостаетъ мѣстной физіономіи и колорита. Для поясненія нашей мысли, мы опять ставимъ въ параллель съ нимъ Пушкина: послѣдній довершаетъ то, что первый, какъ-бы углубленный въ господствующія идеи своей школы, не успѣлъ выполнить. Общій характеръ красоты обозначается у Пушкина всегда яснѣе, чѣмъ у него, подробностями и оттѣнками, почерпнутыми непосредственно въ свойствахъ и положеніи самаго предмета. Онъ не портретистъ въ ограниченномъ, обыкновенномъ смыслѣ слова, не списчикъ съ природы: онъ очень хорошо знаетъ, что вещи, взятыя сами по себѣ, безъ отношенія къ высшему значенію жизни, въ которомъ каждая

изъ нихъ призвана участвовать по-своему, не могутъ составлять задачи и цѣли художественнаго созданія, что ихъ изображеніе безъ этого будетъ одинъ натурализмъ, пошлый и безсмысленный. Но ему также извѣстна тайна, какими личными свойствами предметъ состоитъ въ связи съ высшею идеей и какими нѣтъ, какія изъ нихъ принадлежатъ общему закону и порядку вещей и какія суть только условія его домашней, такъ сказать, экономіи. Пушкинъ обладалъ удивительною мѣткостью въ различеніи этихъ тонкостей; мѣсто, время и обстоятельства для него всегда очень много значили; онъ изучалъ ихъ съ такимъ тщаніемъ, какъ будто готовился писать о нихъ статистическій отчетъ. Онъ зналъ, что и въ прозаическомъ быту вещей иногда сверкаютъ искры удивительнаго изящества, какъ крупинки золота въ грудахъ безобразныхъ, постороннихъ веществъ; онъ мастерски пользовался этими отрадными минутами просвѣтленія, которыми вещь, какъ бы она ни была забыта и ничтожна, свидѣтельствуетъ, что и ея касается божественный духъ жизни, что и она имѣетъ свой праздничный день въ своей убогой долѣ, свой участокъ въ неистощимыхъ дарахъ Божіихъ. Оттого красота его созданій, при ихъ стройности и граціи, отличается какою-то особенною осязательностью формъ. Вы чувствуете, какая свѣжая юношеская кровь протекаетъ въ ихъ жилахъ; въ румянцѣ ихъ цвѣтетъ роскошно жизненная сила; они похожи на тѣхъ красавицъ, у которыхъ воспитаніе и образъ жизни не отняли удовольствія быть здоровыми. Они до того дѣйствительны, существенны, что, кажется, будто въ нихъ присутствуетъ и управляетъ всѣми ихъ движеніями сама природа, а не мысль человѣческая, изображающая ихъ въ своемъ отраженіи. Впечатлѣніе, производимое Жуковскимъ, похоже на то свѣтлое и отрадное чувство, которое вкушаемъ мы, когда въ какомъ-нибудь уединенномъ убѣжищѣ любуемся прекрасными видами, разстилающимися передъ нами на необъятное пространство; впечатлѣніе, возбуждаемое Пушкинымъ, подобно радостнымъ ощущеніямъ, наполняющимъ грудь нашу во время прогулки посреди очаровательной мѣстности, гдѣ мы останавливаемся передъ каждымъ занимательнымъ предметомъ, черпаемъ изъ ручья воду, чтобъ освѣжить свое лицо, наклоняемъ къ себѣ стебель роскошнаго цвѣтка, чтобъ насладиться его благоуханіемъ.

или слѣдимъ за извилистымъ полетомъ птички, спорхнувшей съ куста отъ шелеста нашихъ шаговъ, гдѣ мы чувствуемъ, что живемъ за одно со всѣмъ окружающимъ насъ. Одинъ настраиваетъ насъ на извѣстнаго рода мысли; другой, кажется, гонитъ изъ нашей души всякую мысль, кромѣ одной мысли о томъ, какъ близка къ намъ, хороша и богата изображаемая имъ природа. Жуковскій любитъ созерцать природу въ ея великолѣпномъ убранствѣ, когда она празднуетъ дни своего возрожденія и когда она вездѣ и для всякаго плѣнительна. Пушкинъ не чуждается и нашего мутнаго неба, нашего осенняго ненастья, земныхъ вьюгъ и трескучихъ морозовъ; онъ улавливаетъ глубокій смыслъ каждаго изъ ея превращеній и заставляетъ сладко биться наше русское сердце тѣмъ, что только ему одному и можетъ-быть понятно и дорого.

Художественный характеръ изображеній Жуковскаго довершается вполнѣ тамъ, гдѣ содержаніемъ служатъ предметы внутренняго созерцанія. Высокое эстетическое наслажденіе слѣдовать за движеніемъ его поэтической мысли, мысли, когда она погружается въ глубину духовнаго, человѣческаго міра. Какъ величественъ, смѣлъ, упругъ и гибокъ полетъ ея! Какъ онъ ровенъ и естественно-граціозенъ при всей своей стремительности, при всей свободѣ тамъ, гдѣ она преслѣдуетъ великую идею! Какъ въ движеніи она умѣетъ остановиться на самомъ важномъ или на самомъ изящномъ проявленіи человѣческаго сердца, и какъ вѣрно и стройно развиваетъ его въ подробностяхъ, овладѣвая въ то же время послушнымъ ей словомъ. *Никитенко.*

Жуковскій, какъ писатель и человѣкъ.

Ни въ одной литературѣ не было поэта, съ которымъ можно бы сравнить Жуковскаго. Большую часть своихъ стихотвореній онъ перевелъ съ иностранныхъ языковъ. Но эти переводы вполнѣ равняются оригинальнымъ сочиненіямъ, какъ по свободному ихъ изложенію на русскомъ языкѣ, такъ и по силѣ ихъ дѣйствія на читателя. Самые извѣстные и болѣе другихъ уважаемые переводчики достигали только до того, что со всею вѣрностію передавали на своемъ языкѣ

значеніе подлинника; Жуковскій сообщилъ переводамъ своимъ жизнь и вдохновеніе оригиналовъ. Оттого каждый переводъ его получалъ на нашемъ языкѣ цѣну и силу самобытнаго сочиненія. Этотъ необыкновенный талантъ доставилъ ему средство къ великому преобразованію литературы нашей. До него она была однообразна и почти безцвѣтна. Жуковскій расширилъ область ея, далъ лучшіе образцы различныхъ тоновъ поэзіи, усвоилъ намъ первоклассныя произведенія древнихъ и новыхъ стихотворцевъ и поравнялъ насъ въ поэзіи съ образованнѣйшими современными народами.

Отличительная черта таланта Жуковскаго состояла въ удивительномъ чувствіи ко всему прекрасному въ изящныхъ искусствахъ. Этою способностью онъ превышалъ всѣхъ извѣстнѣйшихъ поэтовъ. Но она одна не возвела бы его на ту высоту, на которой онъ стоитъ въ русской литературѣ. Его нужно назвать творцомъ новаго русскаго языка, котораго особенности состоятъ у него въ самыхъ вѣрныхъ выраженіяхъ для каждой черты описываемаго предмета, въ необыкновенной благозвучности рѣчи, въ свободномъ, но всегда правильномъ ея теченіи; въ сочетаніи словъ и ихъ украшеніи, столь неожиданномъ и увлекательномъ, что каждая мысль является новымъ созданіемъ, наконецъ въ искуснѣйшемъ употребленіи то краткости, то обилія предметовъ, смотря по свойству излагаемыхъ идей. Въ нашемъ языкѣ болѣе нежели въ какомъ-нибудь другомъ разныхъ словъ, изображающихъ одинъ и тотъ же предметъ. Одни изъ нихъ составляютъ принадлежность языка церковно-славянскаго, другія — собственно называемаго русскаго, третьи образовались въ какомъ-нибудь отдѣльномъ періодѣ исторіи, четвертыя въ особомъ сословіи. До Жуковскаго писатели предпочитали слова избранныя, т.-е. употребленіемъ утвердившіяся въ общемъ книжномъ языкѣ, что сообщало литературѣ одноцвѣтность и принужденность. Живо сочувствуя безконечно-разнообразнымъ красотамъ природы и красотѣ образцовъ всемірной поэзіи, Жуковскій воспользовался сокровищами нашего языка и внесъ въ свои стихотворенія это разнообразіе выраженій, которое необходимо для красокъ и живости передаваемыхъ имъ безконечно-разнообразныхъ образовъ.

Есть другая черта въ его талантѣ, свидѣтельствующая, что онъ, какъ поэтъ, достигнулъ бы необыкновенной высоты и тогда, когда бы ограничился сочиненіемъ однихъ собственныхъ стихотвореній, не увлекаясь совершенствами другихъ поэтовъ. Въ талантѣ его надъ всѣми качествами преобладало самобытное стремленіе къ осуществленію идеальной красоты, граціи, мысли возвышенной. Оно безотлучно сопровождаетъ его и видимо въ каждой чертѣ его труда. Самые переводы его потому и дѣйствуютъ на читателя, какъ оригинальныя сочиненія, что творящая сила переводчика глубоко проникаетъ въ его чувства, въ его пониманіе подлинника и въ выраженія его. Она, подобно солнечному лучу, ничего не отнимаетъ у предметовъ, на которые дѣйствуетъ, ничего имъ не прибавляетъ, но въ то же время наводитъ тотъ восхитительный свѣтъ, отъ котораго всѣ они становятся пріятнѣе и блистаютъ равно озаренные. Въ этой силѣ самобытности заключается изъясненіе того вліянія которымъ Жуковскій произвелъ эпоху въ нашей словесности.

Къ довершенію столь прекрасныхъ способностей, Жуковскій воспиталъ въ душѣ своей религіозное чувство, чистѣйшую нравственность и высокое понятіе о достоинствѣ человѣка. Ими онъ былъ руководимъ въ теченіе всей жизни, и они составляютъ незыблемое основаніе его поэзіи. Какъ ни разнообразны стихотворенія по содержанію своему, по формамъ, краскамъ и тону, всѣ они сохраняютъ какой-то семейный отпечатокъ въ общемъ своемъ направленіи: вездѣ присутствіе чистоты, любви къ природѣ, къ нравственному порядку; вездѣ успокоеніе духа, вѣрованіе въ лучшія качества человѣческаго сердца; вездѣ ожиданіе тѣхъ утѣшительныхъ обѣтованій, которыми жизнь и смерть примирены и равно освящены для души христіанина. Жуковскій, казалось, избралъ девизомъ своей поэзіи только три слова: вѣра, надежда и любовь. Онъ прошелъ все возрасты жизни, вытерпѣлъ различныя измѣненія судьбы, вслушался во всѣ ученія — и остался вѣренъ тому, что выражаютъ эти всеобъемлющія слова. Они внушили ему то увлекательное красноречіе, то могущественное убѣжденіе, которому такъ отрадно покоряться и съ которымъ чувствуешь въ себѣ и силу и отраду. Человѣкъ, глубоко принявшій въ сердце поэзію его, не только сохраняетъ благородный энтузіазмъ къ славѣ чи-

стой, къ дѣятельности безкорыстной, къ мыслямъ возвышеннымъ и къ чести непреклонной, но и самое понятіе объ искусствахъ, и въ особенности о поэзіи, у него неразлучно съ представленіемъ совершенства нравственно идеальнаго, а въ идеяхъ, образахъ, положеніяхъ и въ самомъ слогѣ онъ всему предпочитаетъ силу истины, поэтическое созданіе, голосъ чувства и вѣрность выраженія. Посреди явленій господствующаго нынѣ вкуса, увлекаемаго яркими, но жирными красками, напыщенностью фразъ и своеволіемъ воображенія, еще сильнѣе отзываются въ чистомъ сердцѣ святыня дѣйствительнаго вдохновенія, картины, списанныя съ природы и гармоническіе звуки — дружные спутники поэзіи Жуковскаго...

Жуковскій цѣлую жизнь посвятилъ трудамъ умственнымъ. Отдавшись имъ съ первой молодости, онъ до послѣдняго дня своего считалъ ихъ главнымъ своимъ призваніемъ. Рукописи его какъ у всѣхъ лучшихъ писателей, сохраняютъ слѣды глубокаго вниманія и самой строгой отдѣлки, что видно и въ рукописяхъ Пушкина. Одна посредственность довольствуется первымъ выраженіемъ, первымъ словомъ, попавшимся подъ перо. Что въ теоріи называютъ слѣдами быстраго вдохновенія, то на практикѣ оказывается неумолимостію вкуса и непреклонностію воли геніальнаго ума. Любовь къ искусству, какъ и всякая страсть, жертвуетъ всѣми своими силами для достиженія цѣли.

Какимъ привыкли мы видѣть Жуковскаго въ его стихахъ, таковъ онъ былъ и въ отношеніи ко всему, окружавшему его въ кабинетѣ. Безвкусія или безпорядка онъ не могъ видѣть предъ собою. У него все приготовлено было съ опредѣленною цѣлью, всему назначалось мѣсто, на всемъ высказывалась отдѣлка. Чистыя тетради, перья, карандаши, картоны, книги въ пріятномъ размѣщеніи ожидали руки его. Огромный, высокій столъ, у котораго работалъ онъ стоя, установленъ былъ со всевозможными прихотями для авторскаго занятія Куда бы онъ ни переселился, даже на нѣсколько недѣль, первою его заботою было устроеніе такого стола. Самую большую и удобнѣйшую изъ своихъ комнатъ онъ всегда выбиралъ для кабинета, который особенно любилъ убирать бюстами.

Люди, отличавшіяся какими бы то ни было талантами, даже

только рѣдкими способностями ума, составляли его общество, когда онъ былъ свободенъ. Но утро, какъ драгоцѣнность, онъ охранялъ для своихъ трудовъ. Въ дружескомъ собраніи вечеромъ, когда душа поэта ничѣмъ не была тревожима, онъ являлся, по большей части, веселымъ и шутливымъ. Забавные разсказы, самъ ли онъ предавался имъ, или слушалъ другихъ, долго и живо могли занимать его. Сколько вѣренъ былъ онъ своему призванію въ уединенные часы занятій, столько же казался не похожимъ въ дружескомъ развлеченіи. Но такъ какъ размышленіе и опыты жизни, рано или поздно, оказываютъ свое дѣйствіе, то и въ характерѣ поэта постепенно являлось возобладаніе той мудрости, которая положила такой чистый вѣнецъ на послѣдніе его годы. Пушкинъ говаривалъ: „одинъ глупецъ ни въ чемъ не перемѣняется". Спокойное, даже строгое воззрѣніе на жизнь въ эпоху зрѣлости ума не есть утрата душевныхъ силъ, изумлявшихъ насъ въ юношѣ, а естественное возвышеніе его духа. *Плетневъ.*

Эпоха чувствительности.

Съ первой трети XVII вѣка въ европейскихъ литературахъ начинаетъ водворяться новый стиль; тамъ, гдѣ онъ зародился, ему предшествовало и соотвѣтственное настроеніе общественной психики, какъ отраженіе совершившагося соціальнаго переворота. Такъ было въ Англіи; этимъ объясняется ея передовая роль въ послѣдующихъ теченіяхъ европейской мысли, вліяніе ея нравоучительной и слезной комедіи, ея романистовъ, которыми зачитывались Руссо и Дидро. Вліяніе сказывалось неравномѣрно, смотря по тому, насколько тамъ и здѣсь общественная почва была приготовлена къ воспріятію новыхъ сѣмянъ: во Франціи оно поддержало соціальное движеніе, въ Германіи отложилось въ литературныя школы.

Сущность водворившагося настроенія состояла въ переоцѣнкѣ разсудка и чувства и ихъ значенія въ жизни личности и общества. Первый создалъ искусственную культуру, съ ея законами, устоями нравственности и салоннымъ этикетомъ, обузалъ чувство требованіями обрядоваго приличія, связалъ его стѣснительными литературными формами; и

вѣрилъ въ свою непререкаемость, въ просвѣтительную силу своей логики, своей науки, ея же положеній не прейдеши. Все это связывало свободу личности, и протестъ растетъ; условной разсудочной культурѣ противополагается идеалъ человѣка, какимъ онъ вышелъ изъ рукъ Творца, — человѣка, добраго по природѣ, неиспорченнаго цивилизаціей: идеалъ поставленный еще въ XVII вѣкѣ (Aphra Behn 1640—89) и развитый Руссо. Чувство ставится выше разсудка. „Разумъ нашъ наполовину чувство“ заявляетъ Стернъ; „не надменный разумъ отверзаетъ врата неба, любовь находитъ доступъ туда, гдѣ гордой наукѣ нѣтъ хода“, писалъ Юнгъ; для Гамана чувство — непосредственное, первичное откровеніе истины, начало человѣческаго сознанія, изъ котораго, должно развиться всеобъемлющее знаніе; для Якоби непосредственное пониманіе чувствомъ, вѣрой, выше науки, открываемой разумомъ; единственная мудрость — познать свое сердце, слѣдовать ему, не препятствовать развитію всѣхъ наклонностей и вожделѣній — единственная добродѣтель. Надо вѣрить внутреннему чувству, вѣрить въ свое сердце; въ этомъ человѣкъ обрѣтетъ свободу. Мерсье скажетъ то же: въ сердцѣ каждаго человѣка кроется священный огонь чувствительности, надо слѣдить, чтобы огонь не погасъ, имъ освѣщается наша нравственная жизнь. „Сила ума отрицательна, ограничена невѣріемъ, непониманіемъ, твердитъ въ началѣ нѣмецкаго романтизма“ M-me de Staël: нужна философія вѣры, энтузіазма, философія, подтверждающая путемъ разума откровенія чувства; Saint Simon назоветъ этихъ энтузіастовъ чувства les passionnés. Явилась „философія чувства“, явились и литературные представители чувства и чувствительности; они читали Ричардсона и Фильдинга, Юнга и Стерна; Руссо систематизировалъ для нихъ разбросанныя и неясныя черты постепенно выяснявшагося ученія о чувствѣ и сердцѣ, о природѣ и естественности, природѣ — наставницѣ добру, милосердію, нравственности; о свободѣ страстей и идеалѣ демократіи.

Программа принималась и исполнялась различно. Психологически можно различать двѣ группы исполнителей; онѣ смѣшивались; переходы изъ группы „чувствительниковъ“ къ „бурнымъ геніямъ“ были возможны; автобіографическій романъ К. Ф. Морица Anton Reiser это доказываетъ.

Одна группа характеризуется ярче всего дѣятелями нѣмецкаго Sturm-und Drang'a 60 — 80 годовъ XVIII вѣка. Они отличаютъ науку отъ геніальнаго прозрѣнія, энтузіазма, съ которымъ люди родятся. Геніальность можетъ дремать въ каждомъ изъ насъ, подсказалъ имъ Юнгъ, надо только умѣть ее открыть и воспитать, и геній вспорхнетъ, „вдохновенный энтузіастъ“. Юнговскій трактатъ On original composition былъ показателемъ времени. Ученіе о прирожденной геніальности поддержанное Стерномъ и культомъ Фильдинга къ непосредственной здоровой натурѣ, всецѣло отдающейся порывамъ чувства, создало породу нѣмецкихъ Kraftgenies, геніевъ мощи, съ ихъ призваніемъ къ дѣятельному подвигу, къ борьбѣ. Они сознаютъ себя свободными отъ всѣхъ разсудочныхъ суевѣрій, которыя до тѣхъ поръ считались нормой жизни; изъ мѣщански-растворенной условной культуры ихъ тянетъ къ природѣ, къ народу и его пѣснѣ, къ идеализованной народной старинѣ, въ просторъ всемірной поэзіи, къ обновленію литературныхъ формъ. Во всемъ этомъ вліяние Англіи несомнѣнно; англичане въ это время вновь открыли Шекспира-Прометея, оттуда начало его популярности во Франціи (Мерсье) и Германіи Требованіе свободы чувствъ распространилось и на область нравственныхъ вопросовъ: ставятся новыя рѣшенія, потому что „геніямъ“ противенъ всякій догматизмъ, они жаждутъ простора, полны самосознанія, хотятъ взять жизнь полностью и любить реально. „Мы боги, мы свободны“ говоритъ Ленцъ. Ардингелло Гейнзе такой же „геній“, какъ Карлъ Моръ; у юнаго Шиллера пристрастіе къ доблестнымъ, величественнымъ преступникамъ, которые спустятся со временемъ къ низменному типу Rinaldo Rinaldini и разбойничьихъ романовъ. На очереди фигуры Прометея, Фауста, Магомета; „Kerl“ становится типическимъ словомъ для человѣка бурныхъ стремленій.

Рядомъ съ этой группой людей „страстнаго чувства“ другая: это — мирные энтузіасты чувствительности, ограниченные стѣнками своего сердца, убаюкивающіе себя до тихихъ восторговъ и слезъ анализомъ своихъ ощущеній, которыя за жизненной тщетой давали предчувствовать небо. Они боготворятъ Клопштока, піэтисты и мистики, могутъ пристроиться ко всякой церковно-религіозной реакціи, ужиться и съ политической ибо отошли отъ общественности въ міръ сво-

его крошечнаго „я“, въ абстракцію „человѣчности“, внутренней „свободы“, въ уединеніе, въ природу, вѣщающую о благости Творца. И на природу они смотрять, какъ на объектъ чувствительныхъ и религіозныхъ изліяній — по поводу; избытокъ чувства не изощряетъ глаза, сентименталисты не visuels; все дѣло въ настроеніи; оттого они такъ любятъ музыку; самонаблюдение доходитъ до болѣзненной щепетильности. Такъ воспитываютъ они „добродѣтель“ и зрѣетъ ихъ „человѣчность“, ихъ schöne Seele, âme Руссо, „душа“ Карамзина.

У Kraftgenies и Schöne Seelen (le genre furibond et le genre lamentable Шлегеля) [1]) одинъ общій психологическій субстратъ: гипертрофія чувства, но сентименталисты любуются своимъ сердцемъ, ухаживаютъ за нимъ, „слабымъ“ „изнѣженнымъ“, „больнымъ“ (Донъ Карлосъ), „выплакавшимся, полнымъ отчаянія“ (Stella). „Ахъ! то, что я знаю, можетъ каждый знать, но мое сердце у одного меня“ говоритъ Вертеръ. Являются Вертеры и Сигварты, Réne и Valerie, демоническіе эгоисты чувства, какъ Allvill, представители безысходнаго Schwermuth, какъ Woldemar, разслабленные, какъ герой романа Мэккензи (Man of Feeling), умирающій отъ чахотки и отъ — признанія въ любви, на которое рѣшился лишь при смерти.

Въ такой средѣ любовь принимаетъ особый оттѣнокъ: она жалостливая, печалующаяся, сумрачная, не знающая смѣха; St Preux любитъ трогательную блѣдность, залогъ любви, и ненавидитъ назойливое здоровое. Оттуда пристрастіе къ контрастамъ: утра и вечера, весны и осени; именно весна вызываетъ нерѣдко печальныя чувства; питаются картинами унылой, дикой природы, полутонами и полусвѣтомъ: заходящее солнце, сумерки, настраивающія на грустный ладъ, луна, прячущаяся за полныя слезъ облака. Поэтическій словарь отвѣчаетъ настроенію: вѣять, обвѣять, шептать, божественный, небесный; говорится о мерцающемъ мѣсяцѣ — и о мерцающей (dämmernde) душѣ, мерцающихъ мысляхъ. Такая любовь сосѣдитъ съ идеей смерти, любви за гробомъ, гдѣ встрѣтятся стремившіяся другъ къ другу души, въ чувствѣ которыхъ здоровый реальный порывъ терялся въ новомъ обоб

1) A. W. Schlegel, Sur le triomphe de la sentimentalité.

щенія, въ томъ, что назвали впослѣдствіи amitié amoureuse. Это нѣчто колеблющееся на раздѣлѣ страсти и пріязни, не удовлетворяя ни той ни другой; но M-me Roland знала, повидимому, въ чемъ дѣло, и не колебалась. „У тихой, святой дружбы есть стрѣлка, правящая вѣсами (un point d'appui qui tient toujours la balance)“, писала она Bosc'у, дружба котораго къ ней грозила перейти въ страсть: „прелестныя, но жестокія страсти выводятъ насъ изъ себя, чтобы впослѣдствіи покинуть, но честность души и поступковъ, довѣріе прямого, чувствительнаго сердца, умѣренность характера, разумно установившагося въ добрыхъ правилахъ, — вотъ что упрочиваютъ связь, какимъ бы охлажденіямъ она ни подвергалась. Въ этомъ порука, другъ мой, что вы найдете меня всегда одной и той же“.

Вмѣстѣ съ amitié amoureuse развилось особое чувство дружбы, также смѣшанное изъ любви и пріязни и невольно вызывающее на сравненіе съ такимъ же психологическимъ явленіемъ Renaissance'a. „Намъ нуженъ другъ, чтобы мы сами себѣ нравились и сами собой наслаждались“, говорилъ Юнгъ. Нѣмецкіе сентименталисты, начиная съ Клопштока, лелѣютъ это чувство, ревнивое, тревожное и взыскательное, какъ будто дѣло идетъ о любимой женщинѣ. Въ литературѣ являются Позы и Донъ-Карлосы, Ксаверы и Кронгельмы (Миллеръ и Ф. Штольбергъ въ романѣ Миллера, „Зигвартъ“), въ жизни — дружба Neuffer'a и Hölderlin'a, въ періодъ романтиковъ — Тика и Ваккенродера, Фридриха Шлегеля и Новалиса и др.; съ примѣрами изъ древности: Давида и Іонафана, Ореста и Пилада, Низа и Евріала, Ахилла и Патрокла. Серъ Чарльзъ Грандисонъ затѣваетъ построить храмъ Дружбы на мѣстѣ, гдѣ влюбленная въ него miss Harriett обняла свою соперницу, его жену.

Показатель чувствительнаго благоустроеннаго сердца — способность проливать слезы. Стернъ говоритъ объ упоеніи слезъ, joy of grief, и самъ плакалъ надъ встрѣченнымъ осломъ и птичкой-узникомъ; Юнгъ открылъ „философію слезъ“, а сентименталистамъ торный путь: полились слезы, явился даръ безпечальныхъ слезъ. Удольфскія тайны (1794) Mrs. Радклифъ наводнены ими; героиня романа, Эмилія, не можетъ видѣть мѣсяца, слышать звона гитары, органа, шелеста сосенъ, чтобы не поплакать; Теккерей не помнитъ ни о чемъ

романа, гдѣ бы такъ много плакали, какъ въ Thaddeus of Warsaw. Мать Генриха Штиллинга обладала этой драгоцѣнной способностью: весною, когда все расцвѣтало, ей было не по себѣ, точно она изъ другого міра, но стоило ей увидѣть поблекшій цвѣтокъ, сухую былинку, она принималась плакать, и было ей такъ хорошо, такъ хорошо, что и сказать нельзя, а не весело.— Вертеръ и Лотта любуются удалившейся грозой; ея глаза полны слезъ: „Клопштокъ!" сказала она, положивъ руку на руку Вертера; онъ вспомнилъ чудесную оду Клопштока и поцѣловалъ руку дѣвушки съ блаженными слезами на глазахъ. Эта сцена скопирована Миллеромъ въ его „Сигвартѣ:" Тереза наклонилась надъ Мессіадой и Кронгельмъ слышитъ, какъ слезы дѣвушки капаютъ на страницы; онъ беретъ ее за руку, она отводитъ его руку на книгу, и онъ чувствуетъ, что страница омочена. Тогда онъ поклялся въ своемъ сердцѣ вѣчно быть вѣрнымъ Терезѣ; громъ и вѣтеръ стали въ это время сильнѣе. „Священная, торжественная ночь!" говоритъ Кронгельмъ. Сигвартъ и Маріанна въ томъ же романѣ слушаютъ пѣніе кузнечика и плачутъ. Въ Вильгельмѣ Мейстерѣ пѣвецъ поетъ: Kennst du das Land — и слушатели взволнованы, женщины бросились другъ другу на шею, мужчины обнялись, и луна была свидѣтельницей благороднѣйшихъ, цѣломудренныхъ слезъ. При разставаніи друзья пили поочередно изъ стакана, въ который каждый изъ нихъ пролилъ нѣсколько слезъ; поэтическимъ эффектомъ считалась игра мѣсячнаго луча на навернувшейся слезѣ; съ этимъ эффектомъ знакомъ былъ кн. Шаликовъ.

Эта сфера чувствительности воспитала свою музу: задумчивую Меланхолію, обитательницу развалинъ, старыхъ келій и тѣней, не оглашенныхъ весельемъ. Ея прелести воспѣлъ 17-лѣтній Warton (The pleasures of melancholy 1745): онъ любитъ сидѣть въ сумеркахъ подъ мшистыми сводами разрушеннаго аббатства, когда мѣсяцъ бросаетъ въ окно свой долгій, прямой лучъ, и священная тишина нарушается лишь крикомъ совы, гнѣздящейся въ затхломъ склепѣ, или игрой вѣтерка въ зелени плюща, окутавшаго развалившуюся башню; любитъ прислушаться, вдали отъ неистовыхъ кликовъ Веселья, къ соннымъ трелямъ сверчка, вечеромъ, въ полусвѣтѣ гаснувшихъ углей Грей въ послѣднемъ изъ своихъ стихотвореній (1769 г.) помѣщаетъ нѣжноокую (Softeyed) Мелан-

холію рядомъ со Свободой, въ томъ же печальномъ пейзажѣ, но онъ же обогатилъ его въ своей извѣстной элегіи (1751 г.) образами „Кладбища“. Юнгъ картиною ночи и идеей загробности. Его „Ночныя думы“, внушенныя дѣйствительной, тяжелой утратой, ею полны. Онъ не можетъ отъ нея отвязаться, упивается ею. Смерть царитъ въ мірѣ, уйти отъ нея нельзя, но въ ней же и утѣшеніе: она вѣнецъ жизни, даетъ человѣку крылья, чтобы взлетѣть въ горныя области, гдѣ онъ обрѣтетъ болѣе того, что утратилъ въ раю. Апоѳеозъ смерти среди глухой безмолвной ночи, вѣщающей о безсмертіи и вѣчномъ днѣ, въ освѣщеніи блѣдной Цинтіи — Луны. До тѣхъ поръ она рѣдко показывалась для выраженія печальныхъ или таинственныхъ настроеній, какой-то сечентистъ XVII вѣка даже дерзнулъ назвать ее „небесной яичницей“; Юнгъ изобрѣлъ ее снова, ея грядущую популярность поддержалъ Макферсоновскій Оссіанъ, Клопштокъ пустилъ ее въ оборотъ. Виргиліевскія amica silentia lunae стали лозунгомъ новаго поэтическаго настроенія у Zachariä, Гесснера, Кронегка, Виланда и отъ молодого Гете до Longfellow и далѣе: мѣсяцъ: — „божество цѣломудренныхъ душъ“, онъ блѣденъ, какъ боязливая, отринутая любовь; говорилось о меланхолическомъ мѣсяцѣ, простирающемъ въ лѣсахъ великую тайну меланхоліи, которую онъ любитъ нашептывать старымъ дубамъ (Шатобріанъ); о „мѣсяцѣ въ сердцѣ“ (Mondschein im Herzen.) Въ связи съ нимъ входитъ въ моду у поэтовъ „Геттингенскаго кружка“ эпитетъ „серебряный“ о свѣтѣ и звукѣ; серебристый голосъ и даже silbernes Klavier. У поэтовъ псевдоклассическихъ вкусовъ, напр. у Попе и его школы, такому же обобщенію подвергся эпитетъ „золотой“; но они любили солнце, теперь оно зашло. Кардуччи видитъ въ лунѣ символъ романтической поэзіи въ противоположность съ классическимъ солнцемъ, вмѣсто романтизма поставимъ сентиментализмъ. Присоединимъ къ таинственному пейзажу, который мы пытались нарисовать, Оссіановскіе туманы и міръ экзотическихъ призраковъ — и у насъ подъ руками цѣлая система представленій и образовъ, питавшихъ балладу, въ которой видѣли продуктъ романтической фантазіи. Но это не романтизмъ съ его теоретической обоснованностью, а до-романтизмъ (итальянцы называли его preromanticismo) на почвѣ чувствительности.

Такъ создалось литературное теченіе, вызвавшее къ бытію груды череповъ и скелетовъ, сонмы призраковъ и мыслей на кладбищѣ, все это закутанное ночью или освѣщенное задумчивой луною. Къ могиламъ паломничали неудачно влюбленныя барышни, любили рисовать могильный холмъ, на которомъ выписывали свое имя. Слезы и мысли о смерти, безотчетное уныніе стали литературною манерой, въ меланхолію играли („мрачныя удовольствія меланхолическаго сердца" Шатобріана); у чувствительниковъ явился свой этикетъ, наслажденіе своимъ сердцемъ нормировалось разсудкомъ, и новый флагъ нерѣдко прикрывалъ вожделѣнія старой, чувствительной эклоги. Настроеніе охватило не только молодое поколѣніе Франціи и Италіи, но и стариковъ: галантная Аркадія перестала ворковать и настроилась на слезы; такой эклектикъ, какъ Monti, пишетъ Entusiasmo malinconico, Пиндемонте чувствителенъ въ своихъ Poesie campestri; одинъ итальянскій журналистъ изъ іезуитовъ водитъ насъ въ сопутствіи Юнга по Campo-Santo въ Бергамо; пьеса озаглавлена „Красоты кладбища" (Il bello sepolcrale).

Недавно найденные отрывки дневника 16-лѣтняго Маттиссона, сентиментальная поэзія котораго увлекала Жуковскаго и юныхъ Тургеневыхъ [1]), даютъ намъ понятіе о нравственной атмосферѣ, въ которой складывалось міросозерцаніе поэта. Обложка расписана имъ самимъ: внизу и вверху волнообразныя, синія по бѣлому полю полосы, посрединѣ на красномъ фонѣ гирлянды изъ цвѣтовъ. Это дневникъ самонаблюденія, тайной исповѣди самому себѣ (geheimes Tagebuch); авторъ, еще школьникъ, счастливъ, что надумался снова приняться за него, ибо дѣло это серіозное, и онъ горько упрекаетъ себя, что какъ-то забылъ про него, увлекшись интересной книгой: „Господь, да проститъ мое прегрѣшеніе". Ни одинъ день не проходитъ безъ помѣты „Нынѣшній день прошелъ для меня въ перебоѣ радости и горя, а никогда не ощущалъ я такого благодатнаго, тихаго душевнаго спокойствія: сладкая, унылая меланхолія (wehmüthiger Schwermuth), настроившая меня къ пріятнымъ и серіознымъ чувствованіямъ, была мнѣ источникомъ размышленій о моей будущей судьбѣ, и всѣ они сходились къ одному,

1) Письма А. И. Тургенева къ Н. И. Тургеневу, стр. 86, 147.

что безъ добродѣтели и страха Божія мнѣ не быть счастливымъ". Онъ молитъ Господа послать ему силы для борьбы съ чувственностью, пылкимъ темпераментомъ, недѣятельностью, легкомысліемъ; зорко наблюдаетъ за собою, ликуетъ, когда день прошелъ незазорно, и сѣтуетъ, когда однажды въ день рожденія короля выпилъ нѣсколько стакановъ вина — за день до причастія. Все это перемежается молитвенными обращеніями и укорами совѣсти. Мальчикъ-піэтистъ цитируетъ одну изъ духовныхъ пѣсенъ Штурма, съ мистическими сочиненіями котораго Жуковскій познакомился въ Московскомъ благородномъ университетскомъ пансіонѣ, но онъ прочелъ и „Сигварта", желалъ бы быть на его мѣстѣ, встрѣтить такое же небесное созданіе, какъ Маріанна; бесѣдуетъ съ товарищами объ облагораживающемъ вліяніи чистой, цѣломудренной любви, затѣваетъ съ ними нѣчто въ родѣ дружескаго ученаго общества; вырываясь изъ объятій „нѣжнѣйшаго друга", проливаетъ сладкія слезы и на весь день погружается въ меланхолію. „Тихая, покойная жизнь, далекая отъ всякой сутолоки, въ кругу нѣжныхъ друзей, при этомъ чистая совѣсть, — вотъ что готовитъ человѣку тайныя радости". А затѣмъ природа; авторъ хочетъ пойти къ ней въ науку, она будетъ руководить его. „Какъ часто глядѣлъ я, сегодня на луну, и мною овладѣлъ трепетъ, мысли о смерти и вѣчности освящали душу, души усопшихъ друзей, казалось, рѣяли вокругъ меня; все было такъ грустно, такъ торжественно, что я забылъ все на свѣтѣ и въ этотъ священный часъ раздумья съ распростертыми объятіями устремился бы къ смерти. Пусть явится она скорѣе... тогда моя просвѣтленная душа возлетитъ къ Господу, я не буду знать нужды и печали, а мои дорогіе скоро послѣдуютъ за мной". Онъ любуется заходомъ солнца, отраженіемъ багроваго неба въ прудѣ, хочетъ взять съ собою Клейста и Виргилія, чтобы лучше прочувствовать то, что описали эти славные; самъ ощущаетъ себя геснеровскимъ пастушкомъ. Недостаетъ любви, которая скрасила бы для него весну, заставила бы его еще болѣе полюбить Творца въ каждомъ цвѣткѣ (при этомъ рисунокъ: покачнувшаяся урна, изъ которой сыплется пепелъ, и цвѣтокъ). Сердце какъ-то усиленно бьется, и авторъ успокаиваетъ его, вступаетъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ любитъ ангела, — Божья ангела; смотритъ издали на деревья

гдѣ живетъ его милая, вечерняя звѣзда для него — звѣзда любви, онъ даетъ себѣ обѣщаніе смотрѣть на мѣсяцъ: можетъ-быть, и она любуется имъ съ думою о юношѣ. Въ бурную погоду онъ вырѣзаетъ ея имя на корѣ бука. Но почему онъ думаетъ только о ней? „Если это грѣхъ, то прости мнѣ, Боже! Но гдѣ же она, святая, гдѣ она?“ Онъ увидѣлъ ее; она будетъ его навѣки. „А какъ подумаю о разставаніи, горькія слезы увлажняютъ мои ланиты“ [1]).

Гете, Шиллеръ, Жанъ Поль Рихтеръ пережили въ юности сентиментальный періодъ, чтобы выйти каждый на свой путь. У Шиллера настроеніе это звучитъ дольше; „Гимны къ ночи“ Новалиса, пережитые „воображеніемъ сердца“, отзываются чтеніемъ юнговскихъ думъ: разница между тѣми и другими въ поэзіи и новой стилистикѣ; мы на почвѣ романтизма. Манія слезъ и печали не только создала поэтовъ, но и типы безпредметныхъ меланхоликовъ, разновидность „проблематическихъ натуръ“; они, какъ и бурные геніи, влились въ теченія романтизма и байронизма.

И у насъ обнаружились теченія чувствительности, и у насъ они смѣнили вліяніе просвѣтительной, разсудочной литературы XVIII вѣка. Въ силу историческихъ условій мы не могли не подражать, но подражали, не переживъ того общественно-психическаго процесса, который дѣлаетъ такого рода вліянія жизнеспособными. Мы не такъ болѣли умомъ, чтобы искать спасенія въ чувствѣ; на западѣ протестъ во имя его былъ принципіальный, — у насъ онъ обратился противъ уродливыхъ явленій нашей просвѣтительности съ ея упрощеннымъ матеріализмомъ, наивной игрой въ невѣріе и увлеченіемъ западной салонной культурой. Явились разсужденія „о злоупотребленіяхъ разума нѣкоторыми новыми писателями“ (Лопухинъ), „умственность родила зло“, писалъ Херасковъ, а Сумароковъ могъ сказать, что съ развитіемъ наукъ „погибла естественная простота, а съ нею и чистота сердца“.

Наступилъ періодъ сердца. Серіозный въ піэтистическомъ Новиковскомъ кружкѣ, онъ сказался въ легкой литературѣ наплывомъ чувствительности. Противорѣчія сентиментализма и классицизма ощущались, какъ литературныя, не какъ внутреннія; сентиментальная литература и не подняла чувства,

[1]) Holm, Ein Tagebuch aus Mattisson's Jugend, Neue Heidelberger Jahrbücher, Jahr X. Heft 1, стр. 81, слѣд.: дневникъ съ 13 января по 10 апр. 1777 года.

а лишь открыла новые источники чувствительности; она пріучила къ извѣстному поэтическому шаблону и не открывала глаза на русскую природу и русскую дѣйствительность. Юнгъ и Оссіанъ коснулись уже Державина; Болотовъ читаетъ Зульцера (Moralische Betrachtungen über die Werke der Natur 1775 г.) и у него впервые открываются глаза на природу, какъ на источникъ „непорочныхъ увеселеній" и піэтистическихъ восторговъ. Для Карамзина Юнгъ „несчастныхъ другъ, несчастныхъ утѣшитель" (Поэзія 1787 г.), а пѣсни Оссіана, „нѣжнѣйшую тоску вливая въ томный духъ, настроиваютъ насъ къ печальнымъ представленіямъ, но скорбь сія мила и сладостна душѣ" (тамъ же). Въ библіотекѣ Карамзина мы найдемъ Руссо, Бернардена de St. Pierre, Ричардсона, Томсона, Стерна, его французскихъ подражателей и нѣмецкихъ сентименталистовъ. Карамзинъ — организаторъ нашего литературнаго сентиментализма. Схема міросозерцанія намъ извѣстна: природа, славящая Творца, чувствительное сердце („Богъ — отецъ чувствительныхъ сердецъ", „Пѣснь Божеству" 1793 г.; святая поэзія — „Богиня чувствительныхъ сердецъ", „Дарованія" 1795 г.), прославленіе добродѣтели и дружбы; общественный идеалъ — человѣкъ, который

.... Малымъ можетъ быть доволенъ,
Не скованъ въ чувствахъ, духомъ воленъ....
Душою тихъ же прямъ, какъ станомъ,
Не ищетъ благъ за океаномъ
И съ моря кораблей не ждетъ,
Шумящихъ вихровъ не робѣетъ,
Подъ солнцемъ уголокъ свой имѣетъ,
Въ кой [illegible]
И [illegible]
Кто смотритъ прямо всѣмъ въ глаза,
Кому [illegible]
Отравы въ пищу не вливаетъ;
Кому работа не трудна,
Прогулка въ полѣ не скучна
И отдыхъ въ [illegible] любезенъ;
Кто ближнимъ иногда полезенъ
Рукой своей или умомъ;
Кто можетъ быть пріятнымъ другомъ,
Любимымъ, счастливымъ супругомъ,
И добрымъ милыхъ чадъ отцомъ;
Кто музъ отъ скуки призываетъ
И нѣжныхъ Грацій, спутницъ ихъ;
Стихами, прозой забавляетъ
Себя, домашнихъ и чужихъ;
Отъ сердца часто смѣется
(Смѣяться, право, не грѣшно
Надъ тѣмъ, что кажется смѣшно) —
Тотъ въ мірѣ съ міромъ уживется.

(Посланіе къ Александру Алексѣевичу Плещееву 1794 г.).

Такого человѣка, „въ комъ духъ и совѣсть безъ пятна“ (Посланіе къ Дмитріеву 1793 г., сл. письмо Филалета къ Мелодору 1793 г.), смерть не страшитъ: она — „пристань и покой“, гдѣ снова соединятся разлученные („Берегъ“ 1803 г.), гдѣ для умѣвшихъ любить „любовь будетъ вѣчна“ („Мысли о любви“ 1797 г.); „Кладбище“ (1793 г.) — „обитель вѣчнаго міра“, — все это создаетъ атмосферу меланхоліи, она „мрачная“, ее не разгонитъ даже улыбка весны („Весенняя пѣснь меланхолика“ 1788 г.), но въ ней есть и своеобразное наслажденіе: она — „нѣжнѣйшій переливъ

Отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденья!
Веселья нѣтъ еще, и нѣтъ уже мученья;
Отчаянье прошло.... но, слезы осушивъ,
Ты радостно взглянуть на свѣтъ еще не смѣешь,
И матери своей, печали, видъ имѣешь.
(„Меланхолія“, подражаніе Делилю 1800 г.).

Либо говорится о „флерѣ“, „прозрачной завѣсѣ чувствительности“, сквозь которую сіяютъ глаза героя („Рыцарь нашего времени“).

У Карамзина явилась школа; самъ онъ шелъ по чужимъ слѣдамъ, но его школа всего лучше выдастъ слабость ремесла. „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ и „Иппокрена“ полны юнговскихъ и оссіановскихъ мотивовъ, извлеченій и подражаній. Здѣсь подвизался О. Г. Покровскій (философъ горы Алаунской), случайный учитель мальчика Жуковскаго: его меланхолія настраивается порой реально-альтруистически на тему „бѣдствій человѣческихъ и благотворенія“ [1]); зато князь Сибирскій — сытый сентименталистъ, которому московскіе пейзажи напоминаютъ описанія въ одномъ романѣ Радклифъ [2]), который любитъ „заняться“ меланхоліей, сидя у малаго огня и вспоминая объ отсутствующихъ друзьяхъ и любезной“ [3]). Въ меланхолію онъ играетъ: вообразилъ себя однимъ изъ чадъ Оссіановской фантазіи, погружается въ унылую задумчивость, но спохватился: къ чему слезы и печаль, когда человѣка съ чистой душой ждутъ послѣ юдоли плача цвѣтущія долины Эдема и пѣсни ангеловъ?

[1]) Пріятное и полезное препровожденіе времени, ч. 12, 1796 г., стр. 3. Ibid.: „Темный лѣсъ или чувство бѣдствій человѣческихъ и благотворенія“.
[2]) „Мои желанія при наступающей веснѣ“, Иппокрена 1799 г., ч. 2, стр. 260.
[3]) Тамъ же ч. 4-я стр. 255—6: Меланхолія.

Противорѣчіе разрѣшается — сномъ, потому что авторъ „ощутилъ бремя свинцоваго скипетра Морфея“ [1]).

Особенно показателенъ для игры въ сентиментализмъ князь Шаликовъ: „въ немъ есть нѣчто тепленькое“, писалъ о немъ Карамзинъ, защищая его отъ нападокъ Дмитріева [2]). Весна наводитъ на него меланхолію и слезы; въ хрусталѣ глазъ играетъ солнечный лучъ, но „часто кроткое сіяніе луны перемѣняетъ его (хрусталь? лучъ?) на бирюзовомъ небѣ передъ глазами моими“. Стихотвореніе „Кладбище“ обращается въ гимнъ „кроткой, священной меланхоліи“, въ посланіи къ „Философу горы Алаунской“ поэтъ вспоминаетъ, какъ они философствовали надъ могилами подъ старымъ развѣсистымъ дубомъ, тогда какъ „меланхолическій свѣтъ луны увеличивалъ меланхолію мѣста и предметовъ“; на возвратномъ пути ихъ вниманье остановилъ печальный готическій замокъ; это острогъ „Москва-рѣка“ и „Днѣпръ“ вызываютъ грустныя мысли по поводу, котораго мы не видимъ; объектъ исчезаетъ, только за Днѣпромъ „небольшія рощицы, убѣжища любви и блаженства“ и т. д. „О, природа! О, чувствительность!“ Русскій пейзажъ, мѣстныя впечатлѣнія цѣнятся поскольку они подсказаны западными впечатлѣніями и чтеніями. У путешественника Карамзина западный „стихотворецъ всегда „въ мысляхъ и рукахъ“ — или въ карманѣ для справки: онъ любуется видами и сентиментальничаетъ тамъ, гдѣ до него прошли Галлеръ, Геснеръ, Руссо, и въ ихъ стилѣ. Шаликовъ переноситъ этотъ пріемъ на русскій пейзажъ: „весна не была бы для меня такъ прекрасна, если бы Томсонъ и Клейстъ не описали бы мнѣ всѣхъ красотъ ея“, признается Карамзинъ (Соч. II, 71);

Ламберта, Томсона читая,
Съ рисункомъ подлиннымъ сличая,
Я міръ сей лучшимъ нахожу;
Тѣнь рощи для меня свѣжѣе,
Журчанье ручейка нѣжнѣе;
На все съ веселіемъ гляжу,
Что Клейстъ, Делиль живописали;
Стихи ихъ въ памяти храня,
Гуляю, гдѣ они гуляли,
И слѣдъ ихъ радуетъ меня!

(„Деревня“ 1795 г.).

[1]) Тамъ же ч. 3-я стр. 202, слѣд.: „Подражаніе Оссіану“.
[2]) Дмитріевъ, „Мелочи изъ запаса моей памяти“, 1869 г., стр. 93.

Въ подмосковномъ имѣніи Лопухина, Жуковскій видѣлъ въ саду Юнговъ островъ и на немъ урну, посвященную памяти Фенелона, съ изображеніемъ г-жи Гюйонъ и Руссо. „Это мѣсто невольно склоняетъ насъ къ какому-то унылому, пріятному размышленію" [1]).

Кн. Шаликову предсказываетъ нѣчто подобное — воспоминаніе: „Майское утро" навѣваетъ образы Вертера и Элоизы, „Монастырь" — память „о таинствахъ священнодѣйствія друидовъ", „о грозныхъ оракулахъ" — и автору хотѣлось бы проникнуть въ сокровенность сердца монаха, ибо исторія каждаго изъ нихъ есть цѣпь горестей. Въ Малороссіи онъ открылъ гдѣ-то оттѣнокъ Швейцаріи; „имѣя нѣкоторую живость воображенія, чувствительность сердца, можно ли не знать Швейцаріи и, не бывъ въ ней, не знать прекраснѣйшей въ мірѣ природы ея? Кто не читалъ „Новой Элоизы", „Писемъ русскаго путешественника?" Переходя затѣмъ къ разстилавшемуся передъ нимъ ландшафту, онъ спрашиваетъ себя: „Не маленькая ли это Юра? Не маленькая ли Кларанъ?" Онъ пытается подражать русской народной пѣснѣ („Долго ли мнѣ, молодой, кручиниться"; „Нынче былъ я на почтовомъ на дворы), но, переводя Tableau slave (Paris 1824 года) кн. Зинаиды Александровны Волконской („Славянская картина пятаго вѣка"), не замѣтилъ, что помѣщенная тамъ брачная пѣсня — передѣлка русской народной, и снова перевелъ ее съ французскаго, на этотъ разъ не въ народномъ стилѣ („Молодая сосна стояла на дворѣ возлѣ шалаша") [2]). Описаніе „сельскаго праздника" открывается признаньемъ: „Для друга *человѣчества* и природы есть неизъяснимое удовольствіе въ *чистомъ* веселіи *чистосердечныхъ* поселянъ". — А вотъ и праздникъ Купалы: „Ввечеру, по захожденіи солнца, на *зеленомъ* лугу и *маленькихъ* островкахъ, *свѣтлой* рѣчки, подлѣ сосновой рощи и во внутренности ея запылали смоленыя бочки... Нетерпѣливые поселяне потекли со всѣхъ сторонъ на мѣсто веселія; сель-

[1]) О Фенелонѣ 1809 г.; Воейковъ перепечаталъ [illegible] замѣтку и стихи, ст. 30. Описаніе русскихъ садовъ", „Вѣстникъ Европы", 1813 г., № 7 и 8, стр. 191.

[2]) Начало пѣсни въ Tableau slave: Un jeune pin s'élevait sur les monts auprès d'une [illegible]; въ „Olga" той же [illegible] также встрѣчаются передѣлки народныхъ пѣсенъ: 1) Assise dans un [illegible] j'entends la voix [illegible]; 2) O fleuve fleuve chéri; 3) Bon foyer [illegible]; 4) Dans la prairie est un joli tilleul.

скіе *Лицы* ударили въ смычки свои; тамъ раздались *пѣжныя* свирѣли, здѣсь громкія пѣсни; молодыя крестьянки и крестьяне составили *рѣзвыя* пляски; пожилые сѣли за столы, на которыхъ изъ большихъ сосудовъ благоухалъ *нектаръ и амброзія* ихъ — горѣлка и свѣжій хлѣбъ; иные бросились на качели... прочіе разсѣялись по рощѣ и лугу; мы ходили и веселились съ счастливыми поселянами. Добрый ихъ помѣщикъ радовался искренно счастію ихъ и раздѣлялъ его съ нами въ *чувствительномъ* своемъ сердцѣ. Все, что Виргилій, Геснеръ, Флоріанъ, Делиль воспѣли на безсмертныхъ свирѣляхъ своихъ, *ожгвилось въ памяти, въ душѣ моей... Люблю поля, люблю добродѣтель, люблю и тебя Делиль*".

Юнговская меланхолія на кладбищѣ — и народная жизнь, видѣнная изъ оконъ помѣщичьяго дома, съ чистосердечными, счастливыми поселянами, нѣжными свирѣлями, рѣзвыми плясками на зеленомъ лугу, у свѣтлой рѣчки, съ водкой амброзіей. Дѣйствительность могла подсказывать другое, но нельзя было отдѣлаться отъ Юнга и Делиля, не припомнить „обманы и Ричардсона и Руссо" („Евг. Онѣгинъ"). Это — сентиментализмъ для развлеченія, допускавшій и нѣкоторую долю похотливости. Въ ту пору, когда Жуковскій вступилъ въ его атмосферу, русское общество переживало реакцію, самое слово „общество" изъято было изъ литературнаго обращенія, но сентиментальничать не воспрещалось. Мать Карамзина обнаруживала удивительную склонность къ меланхоліи, просиживала цѣлые дни въ глубокой задумчивости; ея любимое чтеніе — чувствительные романы [1]). Екатерина Аѳанасьевна Протасова, впослѣдствіи строгая ригористка, зачитывалась въ молодости „Новой Элоизой" и сентиментальной книгой о воспитаніи: Adele et Théodore [2]). Отецъ Гоголя любилъ заниматься разбивкой садовъ и для каждой аллеи подыскивалъ особое названіе; въ сосѣднемъ лѣсу у него была „Долина спокойствія",— запрещено было стучать и даже колотить бѣлье на пруду, чтобы не разогнать соловьевъ [3]). Лѣтомъ 1810 года Гнѣдичъ засталъ Батюшкова больнымъ, „кажется, отъ московскаго воздуха, зараженнаго чувствительностью, сырого отъ слезъ, проливаемыхъ авто-

[1]) Карамзинъ, Соч. III, стр. 242, 253—5.
[2]) Зейдлицъ, „Жизнь и Поэзія В. А. Жуковскаго", стр. 13, прим. 1.
[3]) Щеголевъ, „Историческій Вѣстникъ" 1902 г., февраль, стр. 661.

рами, и густого отъ ихъ воздыханій"[1]). И Батюшковъ шутитъ надъ „модными писателями, которые проводятъ цѣлыя ночи на гробахъ и бѣдное человѣчество пугаютъ привидѣніями, духами, страшнымъ судомъ, а болѣе всего своимъ слогомъ", предаваясь „мрачнымъ разсужденіямъ о бренности вещей, которыя позволено дѣлать всякому въ нынѣшнемъ вѣкѣ меланхоліи". („Прогулка по Москвѣ" 1810 г.).

Засентиментальничалъ и Жуковскій, единственный настоящій поэтъ эпохи нашей чувствительности, единственный, испытавшій ея настроеніе не литературно только, но страдой жизни, въ ту пору, когда сердце требуетъ опеки любви и позже, когда оно ищетъ взаимности. И этотъ опытъ оставилъ глубокіе слѣды на человѣкѣ, далъ особый поворотъ его чувству, навсегда связавъ его „воспоминаніями"; мотивы сентиментальной поэзіи поддержали его настроеніе, но оно наложило на нихъ печать искренности, изящной задумчивости, которая перебиваетъ условность голосомъ сердца. Этотъ поэтическій cliché, отзвукъ испытаннаго и выстраданнаго, связалъ его: настали иныя времена, проглянуло и позднее счастье, а печальное cliché повторяется среди шалостей „Арзамаса" и новыхъ увлеченій, „Отчетовъ о лунѣ" и эпитафіи „бѣлки". Точно Leitmotiv, отъ котораго поэтъ не можетъ отвязаться. *Веселовскій.*

Поэтика романтиковъ и поэтика Жуковскаго.

Если проводить связь между „душой Жуковскаго" и тѣми направленіями западной литературы, которыя она отразила, то намъ нечего выходить изъ теченій сентиментализма, въ которыя поэтъ вступилъ въ началѣ своей дѣятельности. До конца онъ піэтистъ съ идеаломъ Schöne Seele и выспренной дружбы; поэзія для него религіозное откровеніе являющее „святость жизни... во всей ея красѣ небесной"; слова поэта — дѣла поэта; до шиллеровское отождествленіе поэзіи и добродѣтели замѣняется требованіемъ, что поэтъ долженъ быть чистъ душой, тогда только его слово будетъ благодатно. Изъ сферы сентиментализма перешло къ Жуковскому

[1]) Тихановъ, Ник. Ник. Ив. Гнѣдичъ, стр. 40.

пристрастіе къ мечтательности, загробнымъ образамъ и таинственной лунѣ и то настроеніе меланхоліи, которое онъ тщился превратить въ понятіе — христіанской грусти.

Поэзія Sturm und Drang'а, бурныхъ стремленій и геніальничанья, съ ея энергическими заявленіями личности и протестомъ противъ всякихъ условностей, коснулась Жуковскаго не своей психологіей, а литературной стороной: интересомъ къ народной старинѣ (Бюргеръ), міровой литературѣ и поэтическому экзотизму (Гердеръ, Фоссъ).

Гёте и Шиллеръ пережили стадію чувствительности и бурнаго чувства, Вертера и Мора, погрузились въ созерцаніе античной красоты, вынесли изъ нея понятіе о высокомъ назначеніи искусства и стали поодаль на высотахъ веймарскаго Парнасса. Кругомъ нихъ кипитъ молодое поколѣніе, не остывшее еще отъ волненій періода бури и натиска, и ищетъ пути; тамъ, гдѣ Гёте остановился въ величавой Entsagung, они строятъ систему. Есть между ними люди восторженные и скептики, теоретики и эстеты, вѣрующіе и фантасты мистицизма: Тикъ, Ваккенродеръ, Новалисъ, Шлегели и др. Время въ общественномъ смыслѣ было глухое, подавленное сознаніемъ несбывшихся надеждъ и подкошенныхъ стремленій: чувствительность стала сосѣдить съ филистерствомъ, титаны чувства сгорѣли и обратятся въ героевъ байроновскаго пессимизма. Оставалось уйти въ себя, удалиться отъ дѣйствительности въ область искусства, раскрытаго веймарскими классиками; въ тѣсный кружокъ друзей-поэтовъ, въ родѣ кружка іенскихъ романтиковъ, или того, фантастическаго, который Ла-Мотъ-Фукэ собралъ въ какомъ-то замкѣ въ Пиренеяхъ (Alwin); погрузиться въ недѣятельное прозябаніе, Müssiggang, возведенное въ идеалъ, поскольку оно соединено съ экстазомъ поэзіи и „божественнымъ эгоизмомъ" и ему одному довлѣетъ. Такое пониманіе искусства, поэзіи, повторяетъ воззрѣнія сентиментализма и Sturm und Drang'а, но ведетъ ихъ дальше, обобщаетъ, обосновываетъ *теоретически* Чувство подчиняется рефлексіи, безсознательное анализу сознанія. У англійскихъ писателей XVII и XVIII вѣковъ романтическимъ называлось то, что выходило за границы привычной дѣйствительности и уравновѣшенной культуры, и встрѣчалось развѣ въ старыхъ рыцарскихъ романахъ: дикая мѣстность, темные гроты, мечтательная.

несущественная любовь. Все это получить мѣсто въ новомъ синтезѣ: мы на почвѣ романтической школы.

Съ ея воззрѣніями, пріемами, программой надо познакомиться въ виду того, что у насъ говорено было о „романтизмѣ“ — и романтизмѣ Жуковскаго 20-хъ годовъ.

Что такое поэзія, искусство? Жизнь, природа — отраженіе безконечнаго, но отраженіе неполное, призрачное; угадать полноту идеала въ оболочкѣ конечнаго можетъ лишь мистически вдохновенное чувство поэта; Шеллингъ назоветъ его интеллектуальнымъ прозрѣніемъ; романтику припоминали выраженіе стараго мистика Бёме: Der Blitz, молніеносное откровеніе. Оно-то и раскрываетъ смыслъ реальности, которая сама по себѣ мертва; „абсолютно-реальна поэзія“, философія — ея теорія, „совершенная форма науки должна быть поэтической“; „настоящій поэтъ всезнающъ, онъ свѣтъ въ маломъ видѣ“ (Новалисъ). Но это восторженное сознаніе чередуется съ другимъ, ироническимъ: сознаніемъ противорѣчій идеала и его земныхъ формъ. Такое воспріятіе дѣйствительности, полное контрастовъ и грустно-веселаго юмора, и есть прекрасное, оно даетъ цѣнность жизни, какъ символа невыразимаго, недоступнаго намъ, совершеннаго. Поэзія настраиваетъ насъ благоговѣйно, ведетъ къ религіи; „есть особый умственный, поэтическій органъ для познанія божественнаго, которое становится непосредственнымъ достояніемъ чувства, чаянія, совѣсти“, говоритъ Новалисъ: „поэзія — продуктивная религія“. И, наоборотъ: религіозное настроеніе — „высшее и чистѣйшее художественное наслажденіе“ (Тикъ). Идеаломъ является проникновеніе поэзіи въ природу, въ практику личной и общественной жизни, развитой новыми спросами культуры. Періодъ „геніевъ“ поставилъ на очередь вопросъ о значеніи чувства, до тѣхъ поръ сжатаго, упорядоченнаго требованіями традиціонной нравственности въ вопросахъ любви и брака, и рѣшилъ ихъ въ смыслѣ широкой свободы. Къ отождествленію: религія — поэзія (философія) присгали другіе: когда сердце, отвлекаясь отъ всей дѣйствительности, становится самому себѣ идеальнымъ объектомъ, зарождается религія, говоритъ Новалисъ; всѣ частныя вожделѣнія сплываются въ одно, цѣлью котораго становится высшее существо, Богъ, и страхъ Божій объемлетъ всѣ чувствованія и стремленія. „Если та

кимъ объектомъ будетъ любимая женщина — это будетъ прикладная религія".

„Жизнь и поэзія — одно", пѣлъ и Жуковскій; какъ и романтики, онъ пренебрегъ и позабылъ „низость настоящаго", но для него жизнь наполнялась сентиментальной семьей, уютной меланхоліей. И для него поэзія — сестра религіи, но какъ ея призракъ и отраженіе, не какъ настроеніе, которое привело романтиковъ изъ безформенности піэтизма, гётевскаго пантеизма, абстрактнаго религіознаго чувства (Шлегель), къ историческому и философскому обоснованію религіи, какъ необходимой формѣ сознанія, и художественному католицизму. Исканіе кончилось, жажда положительной вѣры нашла успокоеніе, при воздѣйствіи raisons poétiques, raisons de sentiment; первое заглавіе Шатобріановскаго Génie de Christianisme было: „Красоты христіанской религіи". Шли отъ искусства къ религіи, Жуковскій въ ней выросъ лишь и старается проработаться отъ убѣжденія къ благодати непосредственной вѣры.

Романтики — символисты (къ символизму спустился и реалистъ Гёте — въ Пандорѣ, во второй части „Фауста"); символисты по призванію и теоріи. Конечное кругомъ насъ — лишь символъ безконечнаго; поэзія прозрѣваетъ соотвѣтствія неба и земли, духовнаго и вещественнаго, интеллекта и чувства, сознательнаго и безсознательнаго, чудеснаго и раціональнаго, жизни и смерти, Аполлона и Діониса. Во всемъ раскрывается единая органическая сущность міра, полярныя противорѣчія мирятся, потому что одна и та же сила бьется въ человѣческомъ пульсѣ и управляетъ вращеніемъ свѣтилъ: классическій образъ „андрогина" оживаетъ, съ таинственнымъ значеніемъ, въ фантазіи романтиковъ.

   Was in den Himmelskreisen sich bewegt,
Das muss auch bildlich auf der Erden walten,
Das wird auch in des Menschen Brust erregt.
   Natur kann nichts in engen Grenzen halten,
Ein Blitz, der aufwärts aus dem Centro dringet,
Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten,
   Und sicht Gestirn und Mensch und Erde schwinget
Gleichmässig fort und eins des andern Spiegel.
Der Ton durch alle Creaturen klinget.

Tieck, Genoveva. [illegible]

Какъ чаровница Винфреда въ Genoveѣ, такъ и романтики чуютъ внутреннюю связь явленій, видимо раздѣленныхъ въ природѣ:

Wie Stern' im Abgrund die Metalle formen,
Wie Geister die Gewächse figurieren,
Wie sich Gedank' und Wille korporieren,
Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt,
Durch Einbildung Unmögliches gelingt,
Wie jeder Stein uns stumme Grüsse beut,
Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid.

Единство міра не только въ органическомъ сосуществованіи настоящаго, но настоящаго и прошедшаго: новое можетъ быть только обновленіемъ, развитіемъ стараго, ибо общество, государство — живой, самъ себя обусловливающій организмъ; возвращеніе къ народной старинѣ и идеаламъ средневѣковаго уклада было у романтиковъ не однимъ только поэтическимъ спросомъ, а исканіемъ органической связи съ прошлымъ, нарушенной посторонними вліяніями. Прошлое обязываетъ. Игра таинственныхъ созвучій и соотвѣтствій обнимаетъ всю исторію человѣчества: мы когда-то уже были, чьи-то двойники, идущіе навстрѣчу другимъ, Суане у Новалиса та же Матильда (Heinrich von Ofterdingen), Изида та же Rosenblüthe (Die Lehrlinge von Sais).

Und was man glaubt es sei geschehn,
Kann man von weitem erst kommen sehn
(Heinrich v. Ofterdingen).

Старые мотивы метемпсихозы и двойничества являлись въ новомъ освѣщеніи, связывая личность идеей атавизма, прирожденности, унаслѣдованной доли. Романтическая драма рока не наслѣдіе классической, обновленной Шиллеромъ, а звено того мірового синтеза, который грезился романтикамъ, который питалъ ихъ Sehnsucht. Ваккенродеръ и Брентано сравнивали себя съ инструментами, на струнахъ котораго играетъ судьба.

Такое міросозерцаніе должно было создавать новое „чудесное", отмѣнявшее старыя, неподвижныя рамки классическаго. Въ два послѣднихъ десятилѣтія XVIII вѣка протестъ противъ его разсудочной цивилизаціи выразился поднятіемъ интереса ко всему духовному, сверхъестественному: къ магіи и жизненному элексиру, къ вызыванію духовъ и всему де-

моническому, Фаустамъ и Мефистофелямъ. На первыхъ порахъ даже такія реальныя завоеванія науки, какъ открытіе кислорода (1774 г.) и гальванизма (1789 г.), послужили матеріаломъ для спиритуалистическихъ построеній. Животный и земной магнетизмъ представился той силой, которая связываетъ органическое и неорганическое, духовное и тѣлесное въ одно живое цѣлое. Отсюда увлеченіе астрологіей, она также раскрывала единство міра; „я совершенно увѣренъ, что наша судьба привязана къ небу и звѣздамъ“, писалъ брату Вильгельмъ Гриммъ.

Шиллеръ пишетъ своего Geisterseher, романы Шписа и Cº спустили на площадь новомодную фантастику, тогда какъ народная фантастика сказокъ и преданій проходила въ поэзію съ Виландомъ и балладами Бюргера.

Такъ собирались матеріалы для романтическаго чудеснаго и сложилась его теорія. Шлегель поставитъ требованія новой „миѳологіи“, которой христіанство и его легенды, Кальдеронъ и народныя сказки и восточная фантазія отдадутъ свои мотивы. И сказка, легенда, забытое народное преданіе подымаются въ цѣнѣ. „Невидимое дитя“ Гофмана явится къ дѣтямъ бѣднаго дворянина Бракеля, которыхъ учитель Тинте душилъ чернильной мудростью, и будетъ играть съ ними, сказывать сказки, учить наслаждаться въ полѣ каждой былинкой, въ небѣ каждой звѣздой. Въ сущности, все въ здѣшнемъ мірѣ иносказаніе, сказка, понять и изобразить которую можно только, какъ сказку, говоритъ Новалисъ. Для него она „канонъ поэзіи“, она, „какъ сновидѣніе, безъ связи, смѣсь чудесныхъ фактовъ и созвучій, какъ музыкальная фантазія, гармоническіе отголоски эоловой арфы, какъ сама природа“.

Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht.

(Tieck, Octavian, Prolog).

Соотвѣтствія безконечны, и фантазія работаетъ: у романтиковъ все wunderbar, wundervoll, wundersam, wunderlich, seltsam, все чудо, вызываетъ предчувствіе о чемъ-то неуловимомъ, настраиваетъ на идею безконечнаго. Но чудесное не въ одномъ таинственномъ, освѣщенномъ луною, и не

въ загробныхъ образахъ; оно повсюду: у Гофмана оно дѣется среди бѣла дня, изъ каждаго повседневнаго, видимо филистерскаго акта выглядываетъ змѣйка-фея, точно поверхъ жизни невидимо идетъ какая-то другая, подсказывая и отрицая, вызывая поочередно приливы пантеистическихъ восторговъ и юмора. Чувствительный Стернъ былъ въ модѣ у сентименталистовъ, Стернъ-юмористъ нашелъ признаніе у романтиковъ.

Когда за объективной видимостью таится другая, незримая, она не описательна, не вызываетъ непосредственно и на рефлексію; надо чтобы въ читателѣ явилось то особое расположеніе чувства, то настроеніе (Stimmung), которое сдѣлало бы его внутренне зрячимъ, способнымъ угадывать безконечное въ конечномъ, *невыразимое* въ призрачномъ. Поэты-описатели рисовали природу, сентименталисты размышляли надъ нею, у романтиковъ-символистовъ она не реальна: Новалисъ желалъ бы изобразить ее въ видѣ дріады или ореады; у Гофмана художникъ пишетъ съ натуры группу деревьевъ, а зрителю кажется, „что изъ-за густыхъ листьевъ выглядываютъ разнообразнѣйшія фигуры, то геніи, то странныя животныя, то цвѣты“, — и художникъ поясняетъ, что именно этотъ способъ писать этюды и вноситъ въ пейзажъ поэтическій, фантастическій элементъ, элементъ неуловимыхъ ассоціацій, втягивающихъ человѣческую жизнь въ тѣсное единеніе съ окружающею ее живою и живущею реальностью. У Тика слагаются причудливые образы: изъ весеннихъ облаковъ киваютъ ручки, на каждомъ пальцѣ по розѣ („Frühling und Leben“: Aus den Wolken winken Hände, — An jedem Finger rote Rose), смѣются алыя уста смѣются розы; далѣе фантастическое перенесеніе: розы выростаютъ на стеблѣ, „поцѣлуями, поцѣлуями любви осыпанъ кустъ“ (mit Küssen, mit Liebesküssen der Busch bestreut. „Frühlings- und Sommerluft“); золотыя полосы стелятъ по голубому небу путь солнцу (Magelone), а восторгъ, въ который приводитъ лѣсное приволье, выражается такъ, какъ будто самъ поэтъ былъ частью лѣса, обвѣяннаго вѣтромъ и птичьей пѣсней:

Mit Fingern, mit Zweigen, mit Aesten,
Durchrauscht vom spielenden Westen,
Durchsungen von Vögelein,
Freun wir uns frisch in die Wurzeln hinein.
(Wald, Garten und Berg).

Начиная съ романтиковъ, которымъ вторилъ Гете, наивный психологическій параллелизмъ народной пѣсни началъ раскрываться новому спросу: выразить невыразимое.

Это требовало и новыхъ средствъ языка и стиха. Уже движеніе Sturm und Drang'а поставило задачей созданіе „геніальнаго" стиля, сильнаго и вещественнаго, черпавшаго изъ Ганса Сакса и народной рѣчи, не боявшагося новообразованій и свободной конструкціи, элизій и инверсій. Таковъ стиль молодого Гете. Романтики пошли далѣе. Дѣло не въ рисункѣ, а въ возбужденіи настроенія; здѣсь почины романтиковъ неистощимы въ опытахъ. Новые эпитеты: обновляется потускнѣвшій у сентименталистовъ эпитетъ „золотой"; рядомъ съ нимъ „красный" и „зеленый": rotes Leben, rote Sehnsucht; grüne Flammen — весенняя листва (Тикъ). Синкретизмъ и символизмъ чувственныхъ ощущеній: звуки свѣтятся, птицы — оперенные звуки, синій цвѣтъ — цвѣтъ страданія и ревности, красный — дѣятельности и любви; у Гофмана запахъ темно-красной гвоздики вызываетъ мечтательность, точно слышишь издалека набѣгающіе и сливающіе звуки англійскаго рожка (Kreisleriana, 5); А. В. Шлегель изобрѣлъ скалу соотвѣтствій между гласными и рядомъ вызываемыхъ ими ощущеній: а — красный цвѣтъ, юность, радость, блескъ, о — пурпуръ, благородство, великолѣпіе, солнце, і — небесно-голубой цвѣтъ, глубокая любовь и т. д. При этомъ игра въ архаизмы языка, не всегда удачные, но возбуждающіе представленіе чего-то не своего, далекаго, стариннаго, легендарнаго, туманнаго; любовь къ созвучіямъ, риѳмы ради созвучія и риѳмы; если-бы ихъ изобиліе и затемняло смыслъ, оно мелодически настраиваетъ. „Почему именно содержаніе должно быть содержаніемъ поэтическаго произведенія?" спрашивалъ Тикъ (Sternbald's Wanderungen). „Можно представить себѣ разсказы безъ связи, но въ ассоціаціи, какъ сновидѣнія; стихотворенія, полныя красивыхъ словъ, но безъ всякаго смысла и связи, развѣ та или другая строфа будутъ понятны; точно разнородные отрывки" (Новалисъ).

Романтики — музыкальные импрессіонисты; не даромъ ихъ ... и, трафы или бродяги, не мыслимы безъ арфы или ... будь они въ Италіи или въ Пеланіи. Языкъ ... отказался отъ своей ... и разрѣшился въ ...

новенie—выразился А. В. Шлегель о Тикѣ, слово будто не произносится и звучитъ нѣжнѣе пѣнія".

. . . dass alle Pulse zu Klängen werden,
Dass alle Gedanken in Tönen irren,
Gefühl und Wunsch und Wahnsinn durcheinander wirren
(Tieck, Genoveva).

Звучныя слова неопредѣленнаго значенія производятъ то же впечатлѣніе, что и музыка, говоритъ Новалисъ; въ жизни души опредѣленныя мысли и чувства — согласныя, неясныя чувствованія — гласные звуки. „Музыка потому выше другихъ искусствъ, что въ ней ничего не понять, что она, такъ сказать, ставитъ насъ въ непосредственныя отношенія къ міровой жизни (Universum); сущность новаго искусства можно бы такъ опредѣлить: оно стремится облагородить поэзію до высоты музыки" (Захарія Вернеръ въ письмѣ 1803 года). Для Гофмана музыка — самое романтическое изъ всѣхъ искусствъ; ея объектъ — безконечное, это праязыкъ природы, на которомъ одномъ можно уразумѣть пѣсню пѣсней деревьевъ и цвѣтовъ, животныхъ, камней и водъ. Какъ музыка — праязыкъ природы, такъ въ другомъ мѣстѣ образный языкъ поэзіи и религіи приравнивается къ языку первобытнаго человѣка, отвѣтившему дѣйствительности, утраченной nами съ переходомъ безсознательнаго въ область сознанія, но вѣчно истинной и еще живой, которую человѣку предстоитъ снова открыть.

И еще одна старая тема обновилась въ сюжетности романтиковъ: миѳъ объ Аріонѣ и чудодѣйственной, зиждущей силѣ его пѣсни.

Исканію настраивающей выразительности отвѣтило и разнообразіе лирическихъ формъ, введенныхъ въ оборотъ, романскихъ и восточныхъ и навѣянныхъ народной пѣсней; романтики мастера терцины и сонета. Преобладаніе импрессіонизма надъ рисункомъ сказалось въ свободномъ отношеніи Тика къ вопросамъ синтаксиса, у романтиковъ вообще такимъ же отношеніемъ къ формамъ традиціонной поэтики, различавшей извѣстные роды, сценическіе пріемы; они, казалось, связывали своей излишней опредѣленностью, тѣлесностью: надо смѣшать ихъ, играть ими, тогда только они будутъ „подсказывать". Арабеска, эта наивно-музыкальная,

въ самой себѣ вращающаяся линія, представлялась Фр. Шлегелю древнѣйшей формой человѣческой фантазіи.

Отъ романтиковъ перейдемъ еще разъ къ Жуковскому. Онъ не символистъ ихъ стиля, въ сравненіи съ ними его можно бы назвать классикомъ; онъ простъ: его чудесное носитъ спеціальный характеръ „Юнговыхъ ночей" и Оссіана: оно либо лунное, загробное, либо просто сказачно-страшное. И его протягиваетъ „невыразимое", „неизреченное", оно и есть прекрасное: не даромъ онъ такъ часто возвращался къ толкованію афоризма Руссо: il n'y a de beau que ce qui n'est pas. Есть слова для „блестящей красоты", говоритъ онъ,

Но то, что слито съ сей блестящей красотою,
Сіе столь смутное, волнующее насъ,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающаго гласъ,
Сіе къ далекому стремленье,
Сей миновавшаго привѣтъ
(Какъ прилетѣвшее внезапно дуновенье
Отъ луга родины, гдѣ былъ когда-то цвѣтъ,
Святая молодость, гдѣ жило упованье),
Сіе шепнувшее душѣ воспоминанье
О миломъ радостномъ и скорбномъ старины,
Сія сходящая святыня съ вышины,
Сіе присутствіе Создателя въ созданьѣ, —
Какой для нихъ языкъ?... Горѣ душа летитъ,
Все необъятное въ единый вздохъ тѣснится,
И лишь молчаніе понятно говоритъ.
(„Невыразимое").

„Прелесть природы въ ея невыразимости", писалъ въ 1821 г. Жуковскій [1]), но средства выраженія у него не тѣ, что у романтиковъ. Я сказалъ выше, что сентименталисты, по существу не зрячи (visuels), но къ сентименталисту Жуковскому мы поставили бы иныя требованія: онъ не только любитель и знатокъ живописи, но смолода и страстный рисовальщикъ [2]). Для него, какъ поэта, это не безразлично. На этомъ слѣдуетъ остановиться.

Зонтагъ разсказываетъ, какъ, будучи 4 — 5-лѣтнимъ мальчикомъ, онъ забрался въ пустую комнату и мѣломъ срисо-

[1]) Къ вел. кн. Александрѣ Ѳедоровнѣ, Карлсбадъ 17/29 іюня 1821 г. („Русская Старина", октябрь, 1901 г., стр. 232) — „Путешествіе по Саксонской Швейцаріи".

[2]) Сл. Сумцевъ, l. c., стр. 106 слѣд.

валъ на полу стоявшій тамъ образъ Боголюбской Божьей Матери; его картина, написанная по 14-му году, осталась въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ[1]). Въ 1815 году, въ Дерптѣ, онъ учится гравировать въ мастерской профессора живописи Зенфа; за границей усердно посѣщаетъ музеи; картины занимаютъ не малое мѣсто въ его дневникѣ. Онъ водится съ художниками, Фридрихомъ, Рейтерномъ, Кларой и другими, поддерживаетъ ихъ, толкуетъ объ искусствѣ, покупаетъ и собираетъ[2]). Въ 1838 году дѣлаетъ государю наслѣднику предложеніе „о составленіи собранія памятниковъ искусства среднихъ вѣковъ“ [3]); въ 1840 г пишетъ императору Николаю Павловичу, что желалъ бы употребить свое трехлѣтнее пребываніе за границей на ознакомленіе съ тѣми способами, какіе тамъ въ ходу для „успѣшнаго образованія“ художниковъ, чтобы приложить эти способы на пользу Россіи[4]); въ 1845 году принимаетъ участіе въ дѣлѣ пріобрѣтенія въ Нюрнбергѣ и пересылки въ Россію готическаго алтаря съ живописными копіями рисунковъ Дюрера[5]).

Его художественные вкусы выясняются постепенно. Въ 1821 г. онъ видѣлъ не вѣсть что въ Мадоннѣ Рафаэля; въ 1840 г. онъ еще находится подъ ея обаяніемъ[6]); въ 1838 г. онъ такъ судитъ о современной живописи: „Германская (школа); правильность, мысль, Gemüth, правда, иногда сухость. У италіанцевъ школа и преданіе безъ жизни. У англичанъ экзажерація и въ то же время, правда, много поэзіи. Французы — пріятность, безъ правды, манерность и аффектація; отсутствіе мысли или ея неглубокость“[7]). Правда и Gemüth, „душа“ вотъ чего онъ будетъ требовать отъ художника. „Die Aussendinge sind die Farbe des Geistes“, писалъ ему въ 1803 г. Андрей Тургеневъ[8]); настоящій художникъ повсюду находитъ въ природѣ „символъ человѣческой жизни“, скажетъ Жу-

¹) Шевыревъ, „Исторія Имп. Московскаго Университета“, стр. 306.
²) Ср. его письма къ Сѣверину 1839 г. „Русская Старина“ 1902 г., апрѣль, стр. 154, 155; письма Н. М. Смирнова къ Жуковскому, „Русскій Архивъ“ 1899 г., стр. 623—7.
³) Дневникъ 1838 г., 29 ноября / 11 декабря.
⁴) Изъ Эмса 1840 г., іюль, не издано.
⁵) Письмо къ Сѣверину, „Русская Старина“ 1902 г., апрѣль, стр. 162
⁶) Ср. его письмо къ роднымъ о бракѣ.
⁷) Дневникъ 1838 г. 25 декабря — 6 января 1839 г.
⁸) Ср. выше стр. 58.

ковскій о Фридрихѣ: красота природы въ нашей душѣ", „главный живописецъ — душа", запишетъ онъ въ своемъ дневникѣ (1821 года, 25 іюля и 7 сентября) и разовьетъ эту мысль въ письмѣ къ Рейтерну: не слѣдуетъ украшать природу, потому что rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable (Boileau), но художникъ схватываетъ ее индивидуально, il la saisit de son propre *sentiment*, car il ajoute à ce qu'elle donne ce qui est dans son âme. Mais cette individualité ne sera autre chose que *l'âme humaine dans celle de la nature;* elle sera pour nous une voix qui parle dans le désert, qui l'embellit et l'anime. Une ruine, p. e., est belle par elle même, mais le *souvenir* d'un homme, qu'elle a vu passer, ce souvenir, qui s'y attache vaguement, lui donne un charme indéfinissable... C'est donc l'âme humaine que nous aimons à retrouver partout. Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ, что Рейтернъ умѣетъ выражать l'extérieur природы „donnez nous à présent l'intérieur, la nature invisible et grande [1]). Это отчасти воззрѣніе Гёте въ замѣткѣ, которую Жуковскій читалъ: на низшей степени стоитъ подражаніе природѣ, выше художникъ, умѣющій вложить въ предметы свое личное художественное пониманіе; выше всего тотъ, кто сумѣетъ извлечь изъ предметовъ ихъ сущность (Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil). Въ 1838 году Жуковскій судилъ о Брюлловѣ, что у него рѣшительно болѣе творческаго генія, нежели у всѣхъ современныхъ живописцевъ, „не выключая и Горація Вернета"; если бы „онъ къ своему италіанскому мастерству (Meisterchaft) присоединилъ и идеальность и глубокое чувство религіозности живописцевъ германскихъ", онъ сталъ бы наряду съ первыми живописцами всѣхъ вѣковъ [2]). Картины его кажутся ему „слишкомъ матеріальными, подавляющими къ грѣшной землѣ божественное высшее искусство". Такъ разсказываетъ Шевченко: онъ и Штейнбергъ учились въ мастерской Брюллова; Жуковскій, только что вернувшійся въ 1839 году изъ-за границы, предложилъ имъ зайти къ нему „полюбоваться и поучиться отъ великихъ учителей Германіи. Мы не преминули воспользоваться симъ счастливымъ случаемъ и на другой же день явились въ кабинетъ германофила. Но, Боже! что мы уви-

[1]) Gerhard von Reutern l. c. стр. 63 слѣд., стр. 104.
[2]) Къ вел. кн. Марьѣ Николаевнѣ 1838 г., 2—14 іюля.

дѣли въ этомъ огромномъ, развернувшемся передъ нами портфёлѣ: длинныхъ, безжизненныхъ мадоннъ, окруженныхъ готическими, тощими херувимами, и прочихъ, настоящихъ мучениковъ живого, улыбающагося искусства. Увидѣли Гольбейна, Дюрера, но никакъ не представителей XIX вѣка .. Разсматривая эту коллекцію идеальнаго безобразія, мы высказывали вслухъ свои мнѣнія и своимъ простодушіемъ довели такого кроткаго и деликатнаго Василія Андреевича до того, что онъ назвалъ насъ испорченными учениками Карла Павловича (Брюллова) и хотѣлъ закрыть портфёль передъ нашими носами"[1]).

Жуковскаго-поэта нельзя представить себѣ безъ карандаша: гдѣ бы онъ ни былъ, куда бы ни являлся,— онъ всюду брался за него и рисовалъ, въ Мишенскомъ и Муратовѣ, въ Швейцаріи, Римѣ, Швеціи; мѣстами его дневникъ имъ же иллюстрированъ. „Путешествіе (1821 года) сдѣлало меня и рисовщикомъ,— писалъ онъ Зонтагъ: — я нарисовалъ au trait около 80 видовъ, которые самъ выгравировалъ также au trait. Чтобы дать вамъ понятіе о моемъ искусствѣ, посылаю вамъ мои гравюры павловскихъ видовъ; такъ же будутъ сдѣланы и швейцарскіе, только при нихъ будетъ описаніе"[2]). Въ 1837 году, когда Жуковскій сопровождалъ наслѣдника цесаревича въ его путешествіи по Россіи, онъ любовался вмѣстѣ съ Александромъ Михайловичемъ Тургеневымъ окрестностями Москвы и рисовалъ; рисовалъ на всемъ пути. сохранилось два альбома такихъ рисунковъ, одинъ съ 176, другой съ 93-я видами, кое-гдѣ обведенными чернилами. Въ 1839 году Жуковскій налету зачерчиваетъ лучшіе виды Рима; „онъ въ одну минуту рисуетъ ихъ по десяткамъ, и чрезвычайно вѣрно и хорошо", писалъ Гоголь[3])

Лишь немногіе изъ этихъ этюдовъ стали достояніемъ публики; образцами могутъ служить павловскіе виды и изданіе „Сельскаго кладбища" 1839 года съ видами, снятыми поэ-

[1]) „Основа", 1861 г., августъ, стр. 5.

[2]) Сл. Плетневъ, „О жизни и сочиненіяхъ Жуковскаго". Соч. и переписка П. А. Плетнева, III, стр. 87; сл. „Русская Старина" 1883 г., № 2, стр. 185—188. „Павловскіе виды", награвированные Жуковскимъ и Кларою въ Дерптѣ, изданы были въ 1824 году въ Петербургѣ въ пользу одного несчастнаго семейства. Брошюра Шторха „Путеводитель по саду и городу Павловску" С.-Пб. 1843 г. также украшена была гравюрами Жуковскаго.

[3]) Письмо къ Данилевскому 5 февраля 1839 г., сл. письма къ Жуковскому февраля и 12 сентября того же года.

томъ на кладбищѣ Stock Poges подъ Виндзоромъ. О виньеткѣ передъ „Пѣвцомъ во станѣ русскихъ воиновъ" въ изданіи 1848 года мы говорили выше.

Рисунки Жуковскаго, когда они не наброски, вычерчены обстоятельно и нѣсколько сухо; его привлекали виды, Kleinleben и далекія перспективы; рѣже фигуры и лица; видно исканіе выразительности въ позѣ, исканіе правды; недостаетъ красокъ, освѣщенія. Здѣсь дополненіемъ служитъ текстъ дневниковъ; особенно дневникъ 1821 года представляетъ рядъ красочныхъ этюдовъ съ натуры, зачерченныхъ словомъ, нерѣдко до мелочей. Мы знаемъ, что многое изъ этихъ замѣтокъ нашло потомъ литературную обработку и попало въ печать, но въ дневникѣ впечатлѣнія наскоро, повторяясь, — свѣжѣе, сочнѣе, ярче; присутствуешь при моментѣ, когда видѣнное не только зарисовывается, но и вызываетъ цвѣтовые образы, сравненія и — размышленія, когда на смѣну художника является, съ его рефлексіей, печальный сентименталистъ [1]).

„Вечеръ на Lago Maggiore: *полумѣсяцъ* надъ холмомъ, *какъ колесница*. Востокъ и Западъ. Радужныя небеса... Звѣзды на горахъ. Вѣтеръ. Воды, измѣняющіяся вмѣстѣ съ небомъ. Тихія облака. Одно облако на небѣ. Цвѣтъ Альповъ и горъ отъ розоваго къ голубому" (1821 г. 16 августа). „Во весь день Mont-Blanc въ клубящихся облакахъ. Въ часъ заката облака вспыхнули и разошлись, и выступила *пламенная голова* великана. Теперь ночь, передовыя головы черны, надъ ними рядъ черныхъ головъ и звѣздное небо; Арва шумитъ; прекрасная сельская картина; исчезаніе предметовъ" (21-го августа). Образъ громадной головы не покидаетъ насъ и позже. Видъ изъ С.-Мартина: „необыкновенная яркость *полумѣсяца* (полумѣсяцъ пріятнѣе полной луны); *туманъ, какъ дымъ, и звѣзды какъ искры отъ пожара*. Сходъ въ долину. *Кладбище. Одинъ крестъ. Маленькая церковь.* Нѣсколько домовъ. Дорожки. Мѣсяцъ. Летучая мышь. Пѣтухъ. Огромные Альпы. Востокъ чистъ и ясенъ; на немъ формы Альповъ. Всѣ прочія вершины только темныя, а Mont-Blanc уже свѣтелъ. Отъ луны

[1]) Ср. въ дневникѣ подъ 30 сентября 1821 года описаніе Рейнскаго водопада съ обработкой въ „Отрывкахъ письма изъ Швейцаріи". Недавно изданный дневникъ Гете въ этомъ случаѣ гораздо обстоятельнѣе, ср. Reise in der Schweiz 1797 bearb. von J. P. Eckermann въ веймарскомъ изданіи 34 B., 1-e Abth. стр. 350 слѣд., ср. ib. p. 378 (письмо къ Шиллеру 25 сентября 1797 г.).

около вершины тѣнь, а на вершинѣ нѣтъ; развѣ снизу... Вершины озаряются, все неодинаковаго цвѣта съ прочимъ, розово-свѣтлыя, а другія голубовато-цвѣтныя. Роса пала, облака вились и перевивались около вершинъ, съ однихъ дымомъ, а съ другихъ *хвостомъ шлема, покрываломъ, всклокоченною бородою*, часть точно *летающія головы опрокинутыхъ великановъ*, какъ гиганты, упавшіе навзничь съ прикованными къ грудямъ руками и ногами, остатки древняго боя гигантовъ". И далѣе то же: облака, „какъ головы", „бороды по скаламъ; въ этотъ вечеръ точно собраніе *духовъ*", „на Монбланѣ вихорь пламенныхъ тучъ. *Лица опрокинутыхъ великановъ впереди: поле сраженія*"; „вихорь облаковъ словно *духи*. Нѣсколько темныхъ облаковъ у ступеней *прокрадываются*. Между тѣмъ кузнечики, свѣжій воздухъ, яркія звѣзды, посреди неба нѣсколько парящихъ летучихъ облаковъ, стукъ цѣповъ, шумъ воды, уединеніе, колоколъ. Все точно въ тонкомъ, свѣтломъ покровѣ" (22-го августа); „надъ Тунскимъ озеромъ оссіановская картина: точно группы туманныхъ воиновъ съ *дымящимися головами*" (9-го сентября). Огромное дерево, какъ *призракъ съ раскинутыми руками*; „туманы въ разныхъ видахъ, словно *привидѣнія*... облако, *какъ привидѣніе къ каскаду, какъ двѣ руки*; „выходъ луны изъ-за утесовъ, словно *голова* на „огромномъ туловищѣ" (10-го и 11-го сентября). Описаніе водопадовъ — фотографическое: сколько струй, какія бьются, а не бросаются; надъ ними радуга-красавица (22-го августа; сл. 10-го и 16-го сентября). „Удивительный вечеръ на берегу озера, *тронувшій душу до слезъ*: игра на водахъ, чудесное измѣненіе; неизъяснимость" (27-го августа); „*грусть отъ прелести и одиночества*" (28-го августа). Еще сравненія для облаковъ: „бѣлыя облака, какъ *вата* или *пухъ* на синихъ горахъ" (2-го сентября), „какъ взбитая *пѣна* или вата", „какъ *кудри*". Вмѣсто образа — рефлексія: „рѣка, тихо сходящая по плотинѣ — *образъ мудраго правленія*; плотина, стоячая вода, прососы — *разрушеніе*" (6-го сентября): „смотря на Аарскую долину, мысль о нынѣшнихъ правителяхъ: они стоятъ не за себя, а за министровъ". Удивительная магія разоблаченія горной вершины при восходѣ солнца, „точно какъ *посвященіе въ какое-нибудь таинство: богиня-природа*": „*вечеръ облачный едва ли не прелестнѣе яснаго. Душа и несчастіе, душа и счастіе. Революція и*

порядокъ. Вечеръ облачный и лунный" (9-го сентября). *Затменіе горъ* вызываетъ *сравненіе съ смертью* (17-го сентября), другое *заходъ солнца: Богъ покидаетъ на время видимое твореніе*: „видя угасающую природу приходишь въ мысль, что душа и жизнь есть что-то не принадлежащее тѣлу, а высшее: пока онѣ въ немъ, по тѣхъ поръ и красота; удалились формы тѣ же, но красоты уже нѣтъ; ничто такъ не говоритъ о смерти въ величественномъ смыслѣ, какъ угасающія горы (21-го и 22-го сентября). „Красота не въ природѣ, а въ душѣ человѣка; свѣтъ и душа; революція и горы"; по этому поводу размышленіе о грекахъ, сражавшихся за освобожденіе" (23-го сентября)[1]. 24-го сентября: „Плаванье въ дождь съ сильнымъ попутнымъ вѣтромъ. Шумъ дождя и отъ разрѣзыванія волнъ лодкою. Впереди волны надуваются, иногда рвы, изрѣдка пѣна; сзади какъ будто преслѣдуютъ, и большія струи пѣны. Сзади дождь, впереди пристань, сбоку небо! Колыханье. Въ сильный вѣтеръ и въ бурю весло и руль но когда все напрасно, брось все: есть доска. Il y a du sublime à être debout sur une nacelle et s'avancer au milieu des vagues". Человѣческая жизнь показывается въ этихъ пейзажахъ лишь урывками, не нарушая общаго впечатлѣнія мечтательнаго покоя и „одиночества", плодящаго „грусть". „Послѣ обѣда прелестная прогулка берегомъ Рейссы; крестъ, старикъ и лодка; на мосту несравненное захожденіе солнца; зеленая роща въ огнѣ... утки, рыбакъ, тростникъ" (20-го сентября).

Пройдетъ десять слишкомъ лѣтъ, и мы встрѣтимъ тѣ же характерныя черты и пріемы въ дневникѣ и письмахъ 1832 и 1833 годовъ. „Башни, какъ *привидѣнія*. Облака, пожираемыя горами" (29 августа 1832 года); „*чувство великаго и прекраснаго оттого такъ мучительно, что желалъ бы съ нимъ слиться*: жажда при видѣ Рейна, стремленіе при видѣ Альповъ — музыка, поэзія" (5-го сентября). „Прелестный вечеръ: янтарное западное небо: *Яркая звѣзда, какъ глазъ, не омоченный слезою*" (29-го сентября — 11-го октября); „пѣсни горніе крики" (20-го ноября — 2-го декабря); *сравненіе со-*

[1] „Le grec est coquin par ce qu'il a beaucoup d'esprit et est esclave; laissez-le [illegible], rendez-le libre, il sera héros; faites-le esclave, il vous trompera. Il est toujours le plus fort. Les ultras et les libéraux sont tous les deux ennemis de l'ordre, les uns veulent pour leur profit maintenir le désordre existant, les autres veulent le remplacer par un autre désordre qui leur profite. Il vaut mieux attendre que mal commencer, car recommencer est presque impossible".

свѣтной и откровенной религіи съ утесомъ безъ дороги и съ дорогою (13-го декабря); „нижніе пологіе *берега, какъ призраки, черное облако, какъ орелъ* посреди свѣта. Золотые края облаковъ надъ Юрою; *снѣжная тонкая бахрама на ближнихъ облакахъ, какъ складки занавѣса*“ (12—24 марта 1833 года); „небо и озеро слиты прозрачнымъ туманомъ, сквозь который *снѣжныя горы, какъ волшебный міръ*“ (14-го — 26-го марта); „облако надъ Юрою *съ золотою гривою*“ 16-го 28-го марта). „Горная философія“ письма изъ Швейцаріи[1]) — образчикъ рефлексій, разбросанныхъ въ дневникѣ.

Италіанскія впечатлѣнія Жуковскаго сдержаннѣе, Италія не претворила его, какъ Гёте и, хотя и въ другомъ направленіи, романтиковъ. Онъ не того въ ней искалъ, хотя писалъ Козлову, что покидаетъ Италію, какъ любовникъ невѣсту, которую любитъ страстно. „Все это можетъ обдѣлаться въ стихи или хоть въ прозу, ибо, какъ говоритъ Гёте, Lied und Freude wird Gesang“. Но италіанцы ему не понравились, они — „природные актеры. И что за языкъ! Одушевительная живость, но мало привлекательнаго для сердца, которое не можетъ быть притянуто безъ простоты и чистосердечія“. Въ Венеціи его обуяли историческія воспоминанія, и башня въ лунную ночь показалась ему призракомъ.

Передъ нами вся палитра Жуковскаго-художника; его „описанія“ любили, и онъ грѣшилъ ихъ изобиліемъ. Пейзажъ набросанъ au trait, наложены краски; художникъ озабоченъ освѣщеніемъ, игрой цвѣта и тѣни, чутокъ къ переливамъ отъ „розоваго къ голубому“, отъ „розово-свѣтлаго“ къ „голубовато-цвѣтному“. Это сторона *правды*, едва ли впрочемъ, такъ ярко отразившаяся „въ его живописныхъ описаніяхъ природы“, какъ говорилъ Гоголь; самъ Гоголь, Марлинскій куда какъ цвѣтнѣе. Жуковскому удается кроткій лирическій пейзажъ съ „дышащимъ“ озеромъ, по которому лодка оставляетъ серебряныя струи, либо съ тѣнью, идущею по слѣдамъ пѣшехода, или пейзажъ съ вѣчнымъ противорѣчіемъ, вносимымъ въ него человѣкомъ, какъ, напр., изобра-

[1]) Ср. письмо къ наслѣднику изъ Берне близъ Веве 1 января 1833 года. „Русскій Архивъ“ 1882 года, I стр. XVI слѣд. Общая часть печатается какъ „Отрывки изъ письма о Швейцаріи“ 4—16 января 1833 года.

женіе Бородинской ночи. Таковъ отвѣтъ Жуковскаго-поэта на требованіе sentiment, Gemuth, выраженія de l'âme humaine dans celle de la nature. При этомъ его фантастика старая, временъ Громобоя: попрежнему свѣтитъ луна или полумѣсяцъ, который еще пріятнѣе, а въ его свѣтѣ, горы, облака, деревья обращаются въ гигантскія головы, пламенныя или дымящіяся, въ хвостатые шлемы, духи и привидѣнія съ простертыми руками. Нѣтъ богатства ассоціацій, пантеистически обнимающихъ весь міръ, вездѣ раскрывающихъ символы — подъ опасеніемъ заслонить живую природу дріадами и ореадами. Не въ нѣмецкихъ ли романтиковъ мѣтитъ Жуковскій, когда въ дневникѣ 1839 года (23 апрѣля — 5 мая) ставитъ вопросъ: „отчего живописная поэзія въ особенности принадлежитъ Англіи, нѣсколько Швейцаріи, мало Италіи и Франціи, Германія — болѣе *фантастическая? Искусство украшать природу особенно въ томъ, чтобы ее прятать*". — Размышленія по *поводу* (тихо сходящая рѣка — и мудрое правленіе, революція — и горы и т. д.), разсыпанныя въ дневникахъ, стоятъ какъ бы на порогѣ того поэтическаго отождествленія, гдѣ чувственное и мысленное, природный и волевой акты сливаются — въ параллелизмахъ народной пѣсни и въ пантеистическихъ формулахъ романтиковъ. И Жуковскій чувствуетъ мучительное желаніе слиться съ прекраснымъ и великимъ въ природѣ, но останавливается передъ ней въ сентиментальной рефлексіи, въ грусти „отъ прелести и одиночества", и ставитъ вопросы о „душѣ и счастьѣ" и жизни, угасающей, какъ гаснутъ горы, когда „Богъ покидаетъ на время видимое твореніе".

Слышится старая, грустно-баюкающая, младенчески-задушевная дума Жуковскаго. Она невольно просилась на музыку; не даромъ музыка была для него чѣмъ-то „божественнымъ", несущественнымъ, манящимъ на воспоминанія, открывавшимъ „тотъ неземный край", откуда ему „свѣтится издали радостно, ярко звѣзда упованья".

Веселовскій.

Домашняя среда и первоначальное образованіе Грибоѣдова.

Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ родился въ Москвѣ 4 января 1795 года. Съ ранняго дѣтства его окружала обстановка стараго русскаго барства. Семья его вела свой родъ отъ выѣзжаго изъ Польши дворянина; помнила, что еще въ до петровскую пору многіе ея предки занимали важныя государственныя должности; гордилась заключенными впослѣдствіи связями со многими аристократическими родами и вообще любила тянуться за старой знатью. Домъ, въ которомъ жили Грибоѣдовы, и который сохранился до сихъ поръ въ томъ же видѣ, въ какомъ былъ при нихъ, находился въ той части Москвы, которая и теперь еще не совсѣмъ утратила характеръ барскаго квартала и своими старинными фасадами, фронтонами и львами на воротахъ, домами-особняками, назначенными для одного лишь семейства и окруженными многочисленными службами, напоминаетъ о старомъ бытѣ богатаго помѣщичества. Въ этомъ московскомъ Сенъ-Жерменскомъ предмѣстьѣ встарину сложились свои особые нравы и порядки: въ то время, какъ въ другихъ частяхъ города лишь изрѣдка виднѣлись дворцы магнатовъ, воздымавшіеся изъ нестройныхъ группъ болѣе мѣщанскихъ построекъ, здѣсь селились одни столбовые, составляя особой мірокъ, связанный неразрывными узами родства, свойства, дружбы и сплетенъ. Себя только и свою жизнь эти люди считали *свѣтомъ*: у нихъ были свои мудрецы, законодатели и законодательницы свѣтскихъ приличій, свои esprits forts. Родовыя и общественныя традиціи свято наблюдались, и самостоятельная мысль гасла и замирала въ этомъ заколдованномъ кругу.

Вотъ среда, въ которой очутился ребенкомъ Грибоѣдовъ; вотъ тѣ люди, съ которыми ему пришлось впослѣдствіи имѣть

дѣло. Среда эта и мнѣніе этихъ людей оказывали обаятельное вліяние на мать его, Настасью Ѳедоровну Грибоѣдову: родовитость, связи, приличія имѣли для нея громадное значеніе. Играя въ домѣ первенствующую роль, вслѣдствіе безучастности ея мужа (секундъ-майора Сергѣя Ивановича) въ семейныхъ дѣлахъ, она старалась во всемъ не отставать отъ передовыхъ людей своего кружка, прислушивалась къ ихъ сужденіямъ объ ея семейныхъ отношеніяхъ и свято слѣдовала ихъ совѣтамъ. Пока дѣти ея были еще малы, имъ, повидимому, давали полный просторъ рѣзвиться и шалить, сколько хотѣлось. Устами Чацкаго Грибоѣдовъ не разъ съ глубокимъ чувствомъ вспоминаетъ о „невинномъ возрастѣ" своемъ, проведенномъ хотя и въ мірѣ Фамусовыхъ, но привольно, безпечно и счастливо. Люди, впослѣдствіи ставшіе ему ненавистными, были имъ еще вовсе неразгаданы, и онъ, какъ Чацкій съ Софьей-ребенкомъ, весело игрывалъ въ домѣ Фамусова, скакалъ и шумѣлъ съ друзьями и подругами дѣтства, „по стульямъ и столамъ, являясь, исчезая, то тутъ, то тамъ". Лучшимъ другомъ его рано сдѣлалась его старшая сестра Марья Сергѣевна (впослѣдствіи г-жа Дурново), въ которой онъ всегда встрѣчалъ сочувствіе ко всѣмъ его замысламъ и къ его борьбѣ противъ свѣтскаго гнета. Мать, по-своему, сильно любила его, но, одержимая сильнымъ честолюбіемъ, мысленно начертила ему карьеру по собственному ея вкусу, съ той же минуты, какъ въ состояніи была разгадать необыкновенныя способности въ своемъ сынѣ. Оракуломъ для нея былъ братъ ея, Алексѣй Ѳедоровичъ Грибоѣдовъ (родители писателя принадлежали къ двумъ различнымъ вѣтвямъ того же рода), являвшійся въ ея глазахъ образцомъ знатнаго барина, въ совершенствѣ обладающаго знаніемъ свѣта и людей. Ничего не дѣлала она, не спросивъ его совѣта, — и раннее деспотическое вмѣшательство этого человѣка во всѣ мелочи домашняго быта чужой семьи скоро возстановило противъ него Александра Сергѣевича. Дядя придумывалъ сестрѣ и ея дѣтямъ разные необходимые визиты къ сильнымъ людямъ, визиты, которые впослѣдствіи могли имъ пригодиться, и чѣмъ дальше, тѣмъ самовольнѣе складывалъ ту среду, въ которой они должны были вращаться. Чацкій, вспоминая дѣтство, говоритъ о „Несторѣ негодяевъ знатныхъ", къ которому Фамусовъ еще съ пеленъ, для замысловъ какихъ-то непо-

нятныхъ, дитятею возилъ его на поклонъ: это — черта, взятая изъ жизни самого Грибоѣдова.

Впрочемъ, не въ одной этой насильственной дрессировкѣ молодого барича для будущей свѣтской карьеры, основанной въ фамусовскомъ духѣ на искательствѣ и низкопоклонствѣ, проходило все дѣтство Грибоѣдова. Мать его хотя и тянулась за аристократіей, однако имѣла, тѣмъ не менѣе, нѣкоторыя поползновенія къ своеобразному воспитательному плану, шедшему даже нѣсколько въ разрѣзъ съ принятыми взглядами. Она постаралась сдѣлать воспитаніе дѣтей по преимуществу домашнимъ, поручая главный надзоръ педагогамъ-иностранцамъ. Первый изъ нихъ былъ Петрозиліусъ, человѣкъ чрезвычайно ученый, впослѣдствіи извѣстный изданіемъ перваго обстоятельнаго каталога московской университетской библіотеки. Онъ готовъ былъ привить своему воспитаннику серіозное отношеніе къ знанію и отнестись къ принятому на себя дѣлу добросовѣстно. Но, насколько можно догадываться, онъ не могъ отрѣшиться отъ извѣстной доли педантизма, который отшатнулъ отъ него живой и пытливый умъ его молодого воспитанника. Научныя занятія пошли еще болѣе систематическимъ путемъ съ тѣхъ поръ, какъ Петрозиліуса замѣнилъ случайно встрѣтившійся гувернеръ Богданъ Ивановичъ Іонъ, которому суждено было сдѣлаться не только руководителемъ воспитанія Грибоѣдова, но и близкимъ другомъ и совѣтникомъ его. Когда судьба ни приводила Грибоѣдова снова въ родную обстановку, одною изъ первыхъ его заботъ бывала отыскать Іона; на предполагавшейся дуэли съ Якубовичемъ секундантомъ былъ тотъ же Іонъ; когда Грибоѣдова не стало, старикъ-гувернеръ любилъ сходиться съ другомъ покойнаго, Бѣгичевымъ, и вспоминать о Грибоѣдовѣ и добрыхъ старыхъ дняхъ, и тогда слезы виднѣлись на глазахъ обоихъ собесѣдниковъ.

Грибоѣдову удалось получить основательное образованіе. Рано пріобрѣлъ онъ знаніе нѣсколькихъ иностранныхъ языковъ, открывшее ему богатыя литературы Запада, рано привыкъ къ усидчивому труду, къ изслѣдованію мельчайшихъ подробностей чисто научныхъ вопросовъ, поражающему впослѣдствіи въ его записныхъ и черновыхъ тетрадяхъ, рисующихъ его какъ человѣка, въ которомъ были задатки для замѣчательнаго ученаго. Іону, по спеціальности своей юристу, обла-

давшему основательнымъ знаніемъ классическихъ языковъ, содѣйствовали избранные преподаватели, дававшіе мальчику уроки на дому. Рядомъ съ научными занятіями рано началось изученіе музыки, вообще процвѣтавшей въ домѣ Грибоѣдовыхъ. Въ тогдашнемъ московскомъ обществѣ домъ этотъ имѣлъ репутацію артистическаго центра, гдѣ можно услышать дѣйствительно хорошую музыку. По вечерамъ подъ Новинское съѣзжались иногда охотники помузицировать, и дѣти рано наслушались лучшихъ музыкальныхъ произведеній. Вскорѣ и Александръ Сергѣевичъ и его сестра были уже хорошими піанистами; для нихъ фортепіано было не орудіемъ пытки, а средствомъ достиженія поэтическихъ наслажденій, товарищемъ мечтательныхъ часовъ. Впослѣдствіи, войдя въ кружокъ молодыхъ русскихъ музыкантовъ, Алябьева, Верстовскаго и др., Грибоѣдовъ перешелъ отъ простой виртуозной ловкости къ изученію самыхъ законовъ музыки и, подъ вліяніемъ извѣстнаго петербургскаго профессора гармоніи, Іоганна Миллера, овладѣлъ ими въ такой степени, что могъ считаться даже опытнымъ теоретикомъ. Любовь къ музыкѣ сдѣлалась скоро неотъемлемой, жизненной чертой его характера: гдѣ бы онъ ни былъ, онъ остается ей вѣренъ: о своемъ фортепіано вздыхаетъ онъ заброшенный въ Грузію, къ нему кидается, лишь только снова (хотя бы при тревожнѣйшихъ обстоятельствахъ) возвращается на родину. Увлекаясь въ безконечныя импровизаціи, прелести которыхъ удивлялись всѣ слышавшіе ихъ, онъ забывалъ весь міръ и не отрывался отъ инструмента по цѣлымъ днямъ. Тонкая, впечатлительная артистическая натура складывалась у молодого человѣка, и чѣмъ шире развивался полетъ его фантазіи и возрастали его научныя познанія, тѣмъ вѣрнѣе подготовлялся разладъ съ окружающей средой, въ которой не было мѣста для человѣка съ такимъ направленіемъ. *Веселовскій.*

Грибоѣдовъ въ Московскомъ университетѣ.

Іону пришлось руководить воспитаніемъ Грибоѣдова уже съ опредѣленной цѣлью. Настасья Ѳедоровна рѣшила дать сыну университетское образованіе, которое, дополнивъ пріобрѣтенныя уже свѣдѣнія, должно было дать ему возможность полу-

чить степень кандидата, устроить ему положеніе въ свѣтѣ и облегчить первый шагъ на службѣ. Университетъ являлся въ глазахъ ея, какъ и вообще и въ глазахъ ея общества, лишь средствомъ для устройства первоначальной судьбы молодого дворянскаго поколѣнія: все подгонялось къ кандидатскому экзамену, что сейчасъ давало классный чинъ и извѣстную рекомендацію. Изъ-за такихъ-то надеждъ на устройство карьеры Грибоѣдову дали возможность пройти въ университетъ (1810 г.), который долженъ былъ возымѣть на него сильное вліяніе. Для обереганія его отъ дурного общества приняты были предосторожности: его опредѣлили вольнымъ слушателемъ, продержали въ университетѣ менѣе обыкновеннаго и посылали въ университетъ въ сопровожденіи гувернера; несмотря на то, что онъ никакого особаго расположенія къ юридическимъ наукамъ не имѣлъ, выбрали для него такъ называемое этико-политическое отдѣленіе, какъ наиболѣе пригодное для дальнѣйшей служебной карьеры. Но существовавшій тогда въ университетѣ порядокъ дозволялъ студентамъ извѣстнаго факультета посѣщать въ свободное время лекціи, читаемыя на другихъ факультетахъ. Это дало Грибоѣдову возможность посѣщать лекціи лучшихъ тогдашнихъ представителей литературной и философской школы наравнѣ съ чтеніями теоретиковъ юристовъ.

Хотя московскій университетъ находился въ то время въ состояніи переходномъ, и отголоски предшествовавшаго періода встрѣчались въ немъ съ стремленіемъ къ новымъ путямъ въ наукѣ, тѣмъ не менѣе въ немъ было нѣсколько достойныхъ спеціалистовъ, у которыхъ было чему поучиться. Это были въ особенности ветераны западной науки, вѣрные преданіямъ просвѣтительнаго вѣка и продолжавшіе и въ Россіи свою энергическую пропаганду знаній. Имъ подражали молодые русскіе профессора̀. Общеніе преподавателей съ студентами было общимъ правиломъ. Дома̀ многихъ профессоровъ были открыты для студентовъ, которыхъ они называли своими друзьями; они входили во всѣ мелочи ихъ быта и потребностей и помогали, чѣмъ могли. Профессоръ Страховъ любилъ руководить обыкновенными студенческими спектаклями, наполнявшими собой зимнюю вакацію. Здѣсь въ Грибоѣдовѣ могла легко зародиться та, часто переходившая въ энтузіазмъ, любовь къ театру, которая служила характеристической чертой его вкусовъ, и рано направила его

литературную дѣятельность на любимую форму комедіи. Среди этого общенія студентовъ съ профессорами особенно выдавалась личность профессора исторіи и эстетики. Іоганна Теофила Буле, превосходившаго, вѣроятно, и познаніями своихъ товарищей. Онъ перенесъ въ Москву свою дѣятельность, имѣя уже за собую ученую репутацію на Западѣ и профессорскій опытъ въ Геттингенѣ. Въ Москвѣ онъ остался тѣмъ же неутомимо-дѣятельнымъ поклонникомъ и распространителемъ науки. Онъ читаетъ публичныя лекціи, издаетъ нѣсколько періодическихъ изданій, читаетъ курсы философіи, устраиваетъ на нѣмецкій ладъ у себя на дому частные курсы, гдѣ отдѣльные вопросы исторіи, эстетики и философіи подвергались подробному изученію.

Слѣды вліянія многихъ профессоровъ долго сказываются у Грибоѣдова. Любовь къ изученію русской исторіи пріобрѣтена имъ въ это время; знакомство съ молодой тогда статистикой и политической экономіей, которую читалъ Шлецеръ-сынъ, отразилось даже въ позднѣйшіе годы на заботахъ Грибоѣдова о составленіи статистическихъ таблицъ и описанія Кавказа. Но всего болѣе вліянія возымѣлъ на него Буле, о которомъ онъ всегда вспоминалъ съ благодарностью. Есть основаніе думать, что и до университета онъ посѣщалъ частные его курсы, вслѣдствіе чего вліяніе его было еще продолжительнѣе. Буле былъ поклонникомъ Аристотеля и любилъ въ своихъ разсужденіяхъ изучать сущность и основы драмы. Здѣсь Грибоѣдову представлялась возможность теоретическаго изученія любимаго рода поэзіи. Буле притомъ особенно предпочиталъ комедію, и цѣлое сочиненіе посвятилъ душевной веселости и средствамъ поддерживать и развивать ее. Образцовъ онъ искалъ въ классическихъ литературахъ, и Грибоѣдовъ слѣдомъ за нимъ вначалѣ съ особой любовью относился къ комическимъ писателямъ древности, предпочитая Плавта и Теренція. Буле, оцѣнивъ его способности, часто одному ему посвящалъ продолжительныя философскія и эстетическія бесѣды, рано пріучившія его къ отвлеченному мышленію. Грибоѣдовъ не остановился на псевдо-классицизмѣ своего учителя; мысли про себя, наблюденія и разностороннее чтеніе скоро побудили его пойти неизмѣримо дальше ученія, принятаго вначалѣ на вѣру, и дойти до отрицанія обязательности всякой незыблемой теоріи драмы. Тѣмъ не

менѣе онъ многимъ обязанъ Буле, давшему прочную подкладку его литературному образованію. Къ общему обаянію атмосферы науки присоединялся и увлекательный примѣръ нравственной силы и самостоятельности. Сравненіе этой среды, гдѣ возможны такіе люди, съ тою, въ которой придется вращаться молодому человѣку, напрашивалось само собою. Подымались отовсюду вопросы, догадки, сомнѣнія, начинался роковой анализъ.

Онъ долженъ былъ прятать въ себѣ начинавшуюся мучительную работу сомнѣвающагося ума. Ни въ комъ онъ не могъ встрѣтить сочувствія своимъ стремленіямъ. Сестра, раздѣлявшая съ нимъ любовь къ музыкѣ и поддерживавшая его въ научныхъ занятіяхъ, не шла въ уровень съ нимъ въ критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Въ матери онъ встрѣчалъ постоянно хотя и дружелюбное, но неумолимо-сдерживающее начало. Она составила себѣ опредѣленный планъ его карьеры, въ который, разумѣется, отнюдь не входила дѣятельность ученаго или литератора. Первые литературные опыты сына она встрѣтила съ презрѣніемъ, которое однажды выразила публично въ кругу товарищей Александра Сергѣевича. Еще строже относилась она къ юношеской вѣтрености и шаловливости сына, не подходившей къ сложившемуся у нея идеалу образцоваго молодого человѣка. А въ юношѣ кипѣли силы, которыя, слишкомъ долго сдерживаемыя и подавляемыя, впослѣдствіи не скоро улеглись и перебродили, вовлекая его въ различныя излишества, пока раздумье и нравственная реакція не переродили его окончательно. Чѣмъ сознательнѣе становился молодой студентъ, тѣмъ для него тяжелѣе казался семейный гнетъ, которому долго не было конца. Въ письмахъ его разсѣяны протесты противъ этого нестерпимаго гнета, противъ непрестанныхъ заботъ о порядочности сына, противъ посягательствъ на его свободу. Въ письмѣ къ Одоевскому онъ доходитъ до печальнаго убѣжденія, „что истиннымъ художникомъ можетъ быть только человѣкъ безродный“. Поэтому позднѣйшія выходки противъ неограниченнаго господства родственной клики, разсѣянныя въ „Горѣ отъ ума“, были дѣйствительно выстраданы авторомъ. Онъ терпитъ не только отъ вмѣшательства матери, но и отъ встававшей за нею грозной силы родни и великосвѣтскихъ знакомыхъ съ ихъ установившимися па-

всегда воззрѣніями и дружной круговой порукой. Борьба его одного противъ этой сплошной стѣны противниковъ была слишкомъ неровна, и онъ въ душѣ затаивалъ мщеніе. Тотъ деспотъ-дядя, который, какъ мы видѣли, съ ранняго дѣтства Грибоѣдова считалъ нужнымъ заботиться о направленіи его воспитанія, сдѣлался еще попечительнѣе относительно молодого человѣка, готоваго вступить въ свѣтъ. Постепенно разгадывая характеры и нравственное значеніе окружающихъ его людей, Грибоѣдовъ скоро научился презирать Алексѣя Ѳедоровича, характеръ котораго впослѣдствіи воплотилъ въ своемъ безсмертномъ Фамусовѣ. Вотъ какимъ онъ изобразилъ его въ одномъ недавно открытомъ черновомъ наброскѣ, могущемъ служить матеріаломъ для пониманія характера Фамусова. „Вотъ характеръ, который почти исчезъ въ наше время, но двадцать лѣтъ тому назадъ былъ господствующимъ, — характеръ моего дяди. Историку предоставляю объяснить, отчего въ тогдашнемъ поколѣніи развита была повсюду какая-то смѣсь пороковъ и любезности; извнѣ рыцарство въ нравахъ, а въ сердцахъ отсутствіе всякаго чувства. Тогда уже многіе дуэлльровались, но всякій пылалъ непреодолимою страстью обманывать женщинъ въ любви, мужчинъ въ карты или иначе; по службѣ начальникъ уловлялъ подчиненнаго въ разныя подлости обѣщаніями, которыхъ не могъ исполнить, покровительствомъ, не основаннымъ ни на какой истинѣ; но зато какъ и платили ихъ свѣтлостямъ мелкіе чиновники, вѣрные рабы-спутники до перваго затменія! Объяснимся круглѣе: у всякаго была въ душѣ безчестность и лживость на языкѣ. Кажется, нынче этого нѣтъ, а можетъ-быть, и есть, но дядя мой принадлежитъ къ той эпохѣ. Онъ какъ левъ дрался съ турками при Суворовѣ, потомъ пресмыкался въ переднихъ всѣхъ случайныхъ людей въ Петербургѣ, въ отставкѣ жилъ сплетнями. Образецъ его нравоученій *я*, братъ!"

Такимъ образомъ, окружавшая среда разоблачалась передъ юношей во всей своей наготѣ. Онъ узнавалъ закулисную исторію передовыхъ людей своего общества, и чувство нравственной брезгливости овладѣвало имъ. Подъ вліяніемъ этого возрастающаго недовольства жизнью первыя же произведенія носятъ на себѣ характеръ сатирическій, обличительный.

Веселовскій

Жизнь и дѣятельность Грибоѣдова, послѣ выхода изъ университета.

Шестнадцатилѣтнимъ юношей Грибоѣдовъ вступилъ въ военную службу для защиты отечества. Но самая военная жизнь не привлекла его, и черезъ четыре года онъ вышелъ въ отставку. Сблизившись съ нѣкоторыми молодыми людьми, занимавшимися литературой, въ особенности же драматической поэзіей, онъ и самъ сталъ пробовать свои силы, упражнялся въ стихотворствѣ и передѣлывалъ на русскіе нравы небольшія французскія комедіи. Друзья поощряли его, и надо сказать, что его горячее и нѣжное сердце особенно раскрывалось для дружбы: съ другомъ онъ готовъ былъ раздѣлить все. И нѣкоторые даровитые друзья его въ самомъ дѣлѣ имѣли вліяніе на развитіе его таланта. Поселившись въ Петербургѣ, Грибоѣдовъ обращалъ на себя вниманіе образованнаго общества умомъ, образованіемъ, веселымъ нравомъ и въ особенности благородствомъ характера. Онъ пристрастился къ театру, сблизился съ лучшими тогдашними актерами, что еще болѣе привязало его къ драматической поэзіи. Но разсѣянная свѣтская жизнь дозволяла ему только урывками заниматься ею. Вступивъ въ службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ, онъ противъ своей воли въ 1818 году былъ опредѣленъ секретаремъ персидской миссіи. Въ Персіи онъ занялся изученіемъ персидскаго языка и, благодаря своимъ способностямъ, сталъ не только свободно объясняться съ персіянами, но и читать ихъ лучшихъ поэтовъ. Своимъ поведеніемъ и характеромъ онъ всегда умѣлъ привлекать къ себѣ людей; такъ и здѣсь лучшіе персидскіе сановники съ уваженіемъ относились къ нему, что, говорятъ, способствовало согласію между обоими правительствами. Но въ то же время онъ сдѣлался предметомъ злобы низшаго класса персіянъ, когда въ русское посольство стали являться бывшіе русскіе подданные, попавшіе въ Персію по разнымъ обстоятельствамъ, и просили о своемъ возвращеніи на родину. Грибоѣдовъ принималъ участіе въ ихъ судьбѣ, а въ 1822 году ему поручено было проводить ихъ до русскихъ границъ. На пути онъ не разъ подвергался опасности лишиться жизни отъ озлобленныхъ персіянъ.

Но жизнь вдали отъ друзей, среда чужого, невѣжествен-

наго народа томила его. Еще въ 1820 году онъ задумалъ оставить службу и выразилъ свое намѣреніе въ коротенькой запискѣ, которая прекрасно изображаетъ его прямой, откровенный характеръ и его стремленія: „Познанія мои заключаются въ изученіи языковъ — славянскаго, русскаго, французскаго, англійскаго, нѣмецкаго".

„Въ бытность мою въ Персіи я занялся персидскимъ и арабскимъ. Для того, кто хочетъ быть полезенъ обществу, еще недостаточно имѣть нѣсколько реченій для выраженія одной мысли; чѣмъ мы болѣе просвѣщены, тѣмъ полезнѣе можемъ быть своему отечеству. И я именно для того, чтобъ пріобрѣсть свѣдѣнія, прошу объ увольненіи отъ службы, или объ отозваніи изъ грустной страны, гдѣ не только ничему не научишься, а еще забудешь то, что знаешь. Я предпочелъ сказать вамъ истину вмѣсто того, чтобъ выставлять причиной нездоровье или разстройство домашнихъ дѣлъ — обыкновенныя уловки, которымъ никто не вѣритъ".

Итакъ, самообразованіе и наука занимали мысль Грибоѣдова; свѣтская жизнь перестала привлекать его. Еще на пути въ Персію писалъ онъ къ одному пріятелю: „Въ Москвѣ все не по мнѣ — праздность, роскошь, не сопряженныя ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему; прежде тамъ любили музыку, нынче и она въ пренебреженіи; ни въ комъ нѣтъ любви къ чему-нибудь изящному... Всѣ тамошніе помнятъ во мнѣ Сашу, милаго ребенка, который, теперь выросъ, много повѣсничалъ, наконецъ становится къ чему-то годенъ, опредѣленъ въ миссію и можетъ современемъ попасть въ статскіе совѣтники, а больше во мнѣ ничего видѣть не хотятъ".

Сознаніе въ себѣ силъ на трудъ, важный и полезный отечеству, не разъ высказывалъ Грибоѣдовъ и всегда останавливался на мысли, что необходимо приготовить себя къ этому.

Въ 1822 году Грибоѣдовъ былъ переведенъ къ главноуправляющему въ Грузіи Ермолову, по дипломатической части. Еще въ Персіи онъ развилъ планъ комедіи „Горе отъ ума", а здѣсь занялся его обработкою. Но онъ остался недоволенъ ею, когда въ слѣдующемъ году, получивъ отпускъ, пріѣхалъ въ Москву и сталъ ближе приглядываться къ московскому обществу. Здѣсь многіе типы представились ему

яснѣе и живѣе; онъ прилежно принялся за передѣлку комедіи. Каждый выѣздъ въ свѣтъ, говоритъ одинъ изъ его пріятелей, представлялъ ему новые матеріалы, и часто случалось, что, возвратясь поздно домой, онъ писалъ по ночамъ цѣлыя сцены въ одинъ присѣстъ. Горячіе монологи Чацкаго ясно говорятъ, въ какомъ настроеніи въ это время былъ онъ самъ: сколько патріотизма, сколько любви къ европейскому просвѣщенію, сколько ненависти къ врагамъ его и къ ложному образованію было въ душѣ его. Съ рукописью комедіи Грибоѣдовъ отправился въ Петербургъ; здѣсь послѣ каждаго чтенія тому или другому изъ своихъ друзей онъ продолжалъ передѣлки и въ то же время хлопоталъ о дозволеніи напечатать комедію и поставить на сцену. Но она казалась столь рѣзкою и непривычною для слуха людей, имѣвшихъ власть, что онъ не могъ получить цензурнаго разрѣшенія. Все это крайне ему наскучило. Чрезмѣрныя заботы о томъ, чтобъ напечатать комедію, казалось ему, ставили его въ противорѣчіе съ лучшими и высшими стремленіями его души:

„Не могу въ эту минуту оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія, — писалъ онъ пріятелю. Грому, шуму, восхищенію, любопытству конца нѣтъ... Ты насквозь знаешь твоего Александра; подивись гвоздю, который онъ вбилъ себѣ въ голову, мелочной задачѣ, вовсе не сообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ, къ новымъ познаніямъ, къ перемѣнѣ мѣстъ и занятій, къ людямъ и дѣламъ необыкновеннымъ. И смѣю ли здѣсь думать и говорить объ этомъ? Могу ли прилежать къ чему-нибудь высшему? Какъ притомъ, съ какой стати сказать людямъ, что грошевыя ихъ одобренія, ничтожная славишка въ ихъ кругу не могутъ меня утѣшать? Ахъ, прилична ли спесь тому, кто хлопочетъ изъ дурацкихъ рукоплесканій!“

Но комедія, помимо типографій, быстро стала расходиться въ публикѣ въ рукописяхъ, и въ короткое время вся читающая Россія чуть не наизусть знала ее. Цѣлый годъ провелъ Грибоѣдовъ въ Петербургѣ и, ничего не добившись, рѣшился возвратиться въ Грузію черезъ Кіевъ и Крымъ. Въ какомъ настроеніи въ это время была душа его, мы видимъ изъ его писемъ съ дороги:

„Ты хотѣлъ знать, что я съ собой намѣренъ сдѣлать,

а я самъ еще не зналъ... Ну, вотъ почти три мѣсяца я провелъ въ Тавридѣ, а результатъ нуль. Ничего не написалъ. Не знаю, не слишкомъ ли я отъ себя требую? Умѣю ли писать? Право, для меня все еще это загадка. Что у меня съ избыткомъ найдется что сказать — за это ручаюсь: отчего же я нѣмъ? нѣмъ, какъ гробъ! Еще игра судьбы нестерпимая: весь вѣкъ желаю гдѣ-нибудь найти уголокъ для уединенія, и нѣтъ его для меня нигдѣ... Наѣхали путешественники, которые меня знаютъ по журналамъ: сочинитель Фамусова и Скалозуба, слѣдовательно, человѣкъ веселый. Тьфу, злодѣйство!... Да, мнѣ невесело, скучно, отвратительно, несносно!... Вѣрь мнѣ, чудесно всю жизнь свою прокатиться на 4 колесахъ: кровь волнуется, высокія мысли бродятъ и мчатъ далеко за обыкновенные предѣлы пошлыхъ опытовъ, воображеніе свѣжо, какой-то бурный огонь въ душѣ пылаетъ и не гаснетъ... Но остановки, отдыхи двухнедѣльные, двухмѣсячные для меня пагубны; задремлю, либо завьюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною; часто же они дураки набитые. Подожду, авось, придутъ въ равновѣсіе мои замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности".

Изъ этихъ строкъ видно, что Грибоѣдовъ чувствовалъ въ себѣ много душевныхъ силъ, но не находилъ имъ исхода. Окружающая дѣйствительность была такъ пуста, что не могла привлечь его къ какой-либо дѣятельности; отсюда недовѣріе къ самому себѣ, безпокойное состояніе духа, цѣль жизни теряется, и даже приходитъ мысль о смерти.

„Мнѣ такъ скучно, такъ грустно, — писалъ онъ въ другомъ письмѣ, — скажи мнѣ что-нибудь въ отраду: я съ нѣкоторыхъ поръ мраченъ до крайности. Пора умереть! Не знаю, отчего это такъ долго тянется. Тоска неизвѣстная! Воля твоя, если это такъ долго меня промучитъ, я никакъ не намѣренъ вооружиться терпѣніемъ, пускай оно останется добродѣтелью тяглаго скота! Представь себѣ, что со мной повторилась та ипохондрія, которая выгнала меня изъ Грузіи, но теперь въ такой усиленной степени, какъ еще никогда не бывало. Сдѣлай одолженіе, подай совѣтъ, чѣмъ мнѣ избавить себя отъ сумасшествія или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди".

Возвратясь въ Грузію, Грибоѣдовъ искалъ развлеченія

въ военныхъ экспедиціяхъ противъ чеченцевъ. Но въ слѣдующемъ 1826 году онъ былъ вызванъ въ Петербургъ, гдѣ долженъ былъ оправдываться отъ разныхъ подозрѣній со стороны правительства. Здѣсь лично узналъ его императоръ Николай Павловичъ и, по его просьбѣ, снова отпустилъ его въ Грузію. Небольшая статейка Грибоѣдова „Загородная прогулка", напечатанная въ петербургской газетѣ, знакомить насъ съ тѣми мыслями, которыя въ это время занимали его. Изображая хороводы парголовскихъ крестьянъ, онъ прибавляетъ:

„Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полу-европейцевъ, къ которому и я принадлежу. Имъ казалось дико все, что слышали, что видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки не внятны, эти наряды для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужими между своими? Финны и тунгусы скорѣй пріемлются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами; а народъ единокровный, нашъ народъ, разрозненъ съ нами и навѣки! Если бы какимъ-нибудь случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно бы, заключилъ изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами".

Пріѣхавъ снова въ Грузію, Грибоѣдовъ нашелъ себѣ много работы. Началась война съ Персіей подъ предводительствомъ графа Паскевича, родственника Грибоѣдова. Нашъ писатель былъ безотлучно при немъ, перенося всѣ военные труды и занимаясь офиціальною перепиской. Но въ то же время ему мечталась и другая жизнь:

„Буду ли когда-нибудь независимымъ отъ людей, — писалъ онъ. — Зависимость отъ семейства, другая отъ службы, третья отъ цѣли въ жизни, которую себѣ назначилъ и, можетъ статься, на перекоръ судьбѣ. Поэзія! люблю ее безъ памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобъ себя прославить? И наконецъ, что слава? По словамъ Пушкина: яркая заплата на ветхомъ рубищѣ пѣвца. Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно-вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ

достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира. Мученіе быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ. Холодъ до костей проникаетъ, равнодушіе къ людямъ съ дарованіемъ... Кончится кампанія, и я откланяюсь. Въ обыкновенныя времена никуда не гожусь, и не моя вина: люди мелки, дѣла ихъ глупы, душа черствѣетъ, разсудокъ затмевается, и нравственность гибнетъ безъ пользы ближнему. Я рожденъ для другого поприща".

Не удалось Грибоѣдову выйти на другое поприще. По заключеніи міра въ 1827 году, въ чемъ онъ принималъ самое дѣятельное участіе, онъ былъ отправленъ съ трактатомъ въ Петербургъ. Здѣсь онъ былъ щедро награжденъ и назначенъ полномочнымъ министромъ при персидскомъ дворѣ, отличенный отъ другихъ, какъ человѣкъ, знающій персидскій языкъ, страну, нравы и обычаи, характеръ двора и главнѣйшихъ сановниковъ Такимъ образомъ, вмѣсто отставки, о которой мечталъ, чтобы совершенно посвятить себя наукѣ и литературѣ, онъ долженъ былъ снова ѣхать въ Персію. Непріятное впечатлѣніе отъ прежней жизни его въ этой странѣ, отъ непріязненнаго отношенія къ нему народа еще живо сохранилось въ его памяти. При сильномъ воображеніи ему уже представлялось, что не сдобровать ему въ Персіи, и эту мысль принималъ онъ за предчувствіе, повторяя друзьямъ: „Тамъ моя могила, чувствую, что не увижу болѣе Россіи". По странному стеченію обстоятельствъ, такъ и случилось. По неосмотрительности онъ составилъ себѣ посольскую свиту въ Тифлисѣ изъ армянъ и грузинъ, изъ которыхъ одни были нравственно распущенные и расчитывали на незаконныя поживы подъ покровительствомъ сильнаго русскаго посланника; другіе же шли отыскивать своихъ родственниковъ, захваченныхъ въ плѣнъ персіянами, которые по трактату должны были возвращать ихъ. За всей этой свитой былъ крайне дурной присмотръ, такъ что она еще на пути въ Тегеранъ позволяла себѣ злоупотребленія, которыя скрывались отъ посланника. Въ Тегеранѣ же, въ то время какъ Грибоѣдова принимали съ большимъ почетомъ при дворѣ, она дѣлала розыски о русскихъ плѣнныхъ, не заботясь о томъ, чтобы согласоваться съ нравами, обычаями и религіей народа, многихъ брали даже силою на посоль-

скій дворъ и представляли посланнику дѣла въ превратномъ видѣ. Мусульманское духовенство, считая оскорбленною свою религію и народную честь, легко вызвало городскую чернь къ мятежу. Она окружила русскій посольскій домъ, перестрѣляла посольскую свиту въ числѣ двадцати шести человѣкъ и изрубила самого посланника. Трупъ его былъ такъ обезображенъ, что его едва могли узнать между другими трупами по лѣвому мизинцу[1]). Онъ былъ перевезенъ въ Тифлисъ и тамъ погребенъ.

При жизни Грибоѣдову не удалось видѣть въ печати свою комедію. Ее стали давать на сценѣ и печатать ужъ въ тридцатыхъ годахъ и то съ большими сокращеніями и даже измѣненіями, въ то время какъ по распространившимся рукописямъ ее знала вся читающая Россія.

Связь комедіи Грибоѣдова съ ея временемъ представляется въ изображеніи тѣхъ новыхъ стремленій, которыя развивались въ молодомъ поколѣніи въ царствованіе императора Александра I. Въ началѣ они были вызваны самимъ царемъ, вступившимъ на престолъ съ самыми искренними желаніями осчастливить народъ уничтоженіемъ тѣхъ коренныхъ золъ, которыхъ много накопилось въ администраціи, въ судахъ и, особенно, въ помѣщичьемъ правѣ. Онъ и началъ съ преобразованія разныхъ государственныхъ учрежденій. Но успѣху помѣшали тѣ особыя условія, въ которыхъ было воспитано русское образованное общество. Въ идеалъ образованнаго человѣка у него не входило представленіе національности и нравственной связи этого человѣка съ массою народа. Воспитаніе отрывало юношу отъ народа и образовывало космополита или иначе человѣка безъ національности. Это исключительное стремленіе къ космополитизму не требовало близкаго знакомства съ отечествомъ и народомъ: родной языкъ, русская географія, исторія русскаго народа и все, что развиваетъ національное чувство и сближаетъ съ народомъ, устранялось изъ воспитательныхъ программъ. Изъ такого воспитанія выходили часто добрые люди, съ европейскими идеалами, съ честными стремленіями, съ новыми идеями, заимствованными изъ современ-

[1]) Въ 1818 году въ Тифлисѣ Грибоѣдовъ дрался на дуэли съ Якубовичемъ, оскорбившимъ его, и былъ раненъ въ лѣвый мизинецъ, который съ тѣхъ поръ онъ не могъ разгибать.

ныхъ европейскихъ литературъ, но съ полнымъ отчужденіемъ отъ русскаго народа, съ полнымъ незнаніемъ ни его прошедшаго ни его настоящаго. Все народное въ ихъ глазахъ являлось только невѣжественнымъ. А между тѣмъ они думали о будущемъ этого народа и замышляли его устроить лишь на основаніи новыхъ политическихъ идей, составляли планы преобразованій у себя въ кабинетахъ, какъ бы тайкомъ отъ той среды, для которой они назначались. Конечно, изъ замышляемыхъ преобразованій не могло выходить того, что отъ нихъ ожидали. Къ этому же присоединилось и противодѣйствіе того большинства, которое не сочувствовало новѣйшимъ стремленіямъ космополитовъ, кто изъ личныхъ расчетовъ, кто изъ пристрастія къ странѣ, кто изъ сознанія несвоевременности замысловъ. Хотя впослѣдствіи императоръ Александръ, видя неудачу своихъ плановъ, охладѣлъ къ нимъ и остановилъ дальнѣйшее свободное общественное развитіе, подобно императрицѣ Екатеринѣ, но остановить развитіе самыхъ идей и съ ними стремленій, съ которыми онъ началъ свое царствованіе, было очень трудно. Они продолжали развиваться и въ поколѣніи Грибоѣдова, но среди него сталъ высказываться и протестъ противъ космополитизма русскихъ образованныхъ людей, между которыми большинство являлось не гражданами русской земли, а скорѣе какими-то колонистами среди чуждаго ему населенія.

Вопросъ о русской народности связывается у Грибоѣдова съ идеаломъ новаго европейскаго человѣка, возвышеннымъ нравственными достоинствами вмѣстѣ съ гражданскимъ чувствомъ. Правда, этотъ вопросъ разрѣшается у него довольно односторонне: національность ставится во враждебное отношеніе ко всему иноземному, чего не должно быть; она же опредѣляется болѣе внѣшними формами жизни и старыми обычаями, которые на самомъ дѣлѣ не должны оставаться неприкосновенными. Но этотъ вопросъ въ то время былъ далеко не выясненъ. Ошибался не одинъ Грибоѣдовъ-Чацкій. Для насъ важенъ здѣсь задушевный искренній голосъ, поднявшійся среди русскаго общества, противъ тѣхъ устарѣлыхъ идеаловъ, развившихся на почвѣ космополитизма прошедшаго столѣтія и русскаго крѣпостного права и воспитавшихъ Фамусова, Загорѣцкаго, Скалозубовъ, Хлестовыхъ, Хрюминыхъ и др. Всѣ эти типы московскаго обще-

ства первой четверти настоящаго столѣтія составляютъ другую связь комедіи Грибоѣдова съ его временемъ. Благодаря той правдѣ и жизненности, какія въ нихъ выразились, комедія и во вторую четверть столѣтія сохранила интересъ современности, да не совсѣмъ утратила его и въ наше время.

Стоюнинъ.

Жизненность комедіи „Горе отъ ума".

Комедія „Горе отъ ума" держится какимъ-то особнякомъ въ литературѣ и отличается моложавостью, свѣжестью и болѣе крѣпкой живучестью отъ другихъ произведеній слова. Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умираютъ и валятся, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда-нибудь и его чередъ.

Всѣ знаменитости первой величины, конечно, не даромъ поступили въ такъ называемый „храмъ безсмертія". У всѣхъ у нихъ много, а у иныхъ, какъ, напримѣръ, у Пушкина, гораздо болѣе правъ на долговѣчность, нежели у Грибоѣдова. Ихъ нельзя близко и ставить одного съ другимъ. Пушкинъ громаденъ, плодотворенъ, силенъ, богатъ. Онъ для русскаго искусства то же, что̀ Ломоносовъ для русскаго просвѣщенія вообще. Пушкинъ занялъ собою всю свою эпоху, самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ — взялъ себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что̀ успѣлъ взять Грибоѣдовъ, и до чего не договорился Пушкинъ.

Несмотря на геній Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Геніальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству — сами становятся исторіей. Мы изучили Онѣгина, его время и его среду, взвѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа остается неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ, лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онѣгинъ, свою эпоху, каменѣютъ, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ

о явившихся позже ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ нѣкоторыя права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедію „Недоросль" Фонвизина,— и основательно — ея живая, горячая пора продолжалась около полувѣка: это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намека въ „Недорослѣ" на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

„Горе отъ ума" появилось раньше Онѣгина, Печорина, пережило ихъ, прошло невредимо черезъ гоголевскій періодъ, прожило эти полвѣка со времени своего появленія и все живетъ своею нетлѣнною жизнью, переживетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это „Горе отъ ума"?

Критика не трогала комедію съ однажды занятаго ею мѣста, какъ будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оцѣнила ее фактически. Сразу понявъ ея красоты и не найдя недостатковъ, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишія, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи, точно обратила милліонъ въ гривенники, и до того испестрила грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія.

Но пьеса выдержала и это испытаніе — и не только не опошлилась, но сдѣлалась, какъ будто, дороже для читателей, нашла себѣ въ каждомъ изъ нихъ покровителя, критика и друга, какъ басни Крылова, не утратившія своей литературной силы, перейдя изъ книги въ живую рѣчь.

Печатная критика всегда относилась съ большею или меньшею строгостью только къ сценическому исполненію пьесы, мало касаясь самой комедіи, или высказываясь въ отрывочныхъ, неполныхъ и разнорѣчивыхъ отзывахъ. Рѣшено разъ всѣми навсегда, что комедія — образцовое произведеніе — и на томъ всѣ помирились.

Одни цѣнятъ въ комедіи картину московскихъ нравовъ извѣстной эпохи, созданіе живыхъ типовъ и ихъ искусную группировку. Вся пьеса представляется какимъ-то кругомъ знакомыхъ читателю лицъ, и притомъ такимъ опредѣлен-

нымъ и замкнутымъ, какъ колода картъ. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другія врѣзались въ память такъ же твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ, и у всѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласное понятіе о всѣхъ лицахъ, кромѣ одного — Чацкаго. Такъ всѣ они начерчаны вѣрно и строго и такъ примелькались всѣмъ. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: что онъ такое? Онъ какъ будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ. Если было мало разногласія въ пониманіи другихъ лицъ, то о Чацкомъ, напротивъ, разнорѣчія не кончились до сихъ поръ и, можетъ-быть, не кончатся еще долго.

Другіе, отдавая справедливость картинѣ нравовъ, вѣрности типовъ, дорожатъ болѣе эпиграмматической солью языка, живой сатирой-моралью, которою пьеса до сихъ поръ, какъ неистощимый колодецъ, снабжаетъ всякаго на каждый обиходный шагъ жизни.

Но и тѣ и другіе цѣнители почти обходятъ молчаніемъ самую „комедію", дѣйствіе и многіе даже отказываютъ ей въ условномъ сценическомъ движеніи.

Несмотря на то, всякій разъ, однако, когда мѣняется персоналъ въ роляхъ, и тѣ и другіе судьи идутъ въ театръ, и снова поднимаются оживленные толки объ исполненіи той или другой роли и о самыхъ роляхъ, какъ будто въ новой пьесѣ.

Всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія и на нихъ основанная своя точка зрѣнія у всѣхъ и у каждаго служатъ лучшимъ опредѣленіемъ пьесы, т.-е., что комедія „Горе отъ ума" есть и картина нравовъ, и галлерея живыхъ типовъ, и вѣчно-острая, жгучая сатира, и вмѣстѣ съ тѣмъ и комедія, и, скажемъ сами за себя, — больше всего комедія, какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять совокупность всѣхъ прочихъ высказанныхъ условій. Какъ картина, она, безъ сомнѣнія, громадна. Полотно ея захватываетъ длинный періодъ русской жизни — отъ Екатерины до императора Николая. Въ группѣ двадцати лицъ отразилась, какъ лучъ свѣта въ каплѣ воды, вся прежняя Москва, ея рисунокъ, тогдашній ея духъ, историческій моментъ и нравы. И это съ такою художественною, объективною законченностью и опредѣленностью, какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю.

въ картинѣ, гдѣ нѣтъ ни одного блѣднаго пятна, ни одного посторонняго, лишняго штриха и звука, зритель и читатель чувствуютъ себя и теперь, въ нашу эпоху, среди живыхъ людей. И общее и детали — все это не сочинено, а такъ цѣликомъ взято изъ московскихъ гостиныхъ и перенесено въ книгу и на сцену, со всей теплотой и со всѣмъ „особымъ отпечаткомъ“ Москвы, — отъ Фамусова до мелкихъ штриховъ, до князя Тугоуховскаго и до лакея Петрушки, безъ которыхъ картина была бы неполна.

Однако, для насъ она еще не вполнѣ законченная историческая картина: мы не отодвинулись отъ эпохи на достаточное разстояніе, чтобы между ею и нашимъ временемъ легла непроходимая бездна. Колоритъ не сгладился совсѣмъ: вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть: мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и пр. видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу грибоѣдовскихъ типовъ. Рѣзкія черты отжили, конечно: никакой Фамусовъ не станетъ теперь приглашать въ шуты и ставить въ примѣръ Максима Петровича, по крайней мѣрѣ, такъ положительно и явно. Молчалинъ даже передъ горничной, втихомолку, не сознается теперь въ тѣхъ заповѣдяхъ, которыя завѣщалъ ему отецъ; такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможны даже въ далекомъ захолустьѣ. Но пока будетъ существовать стремленіе къ почестямъ помимо заслуги, пока будутъ водиться мастера и охотники угодничать и „награжденья брать и весело пожить“, пока сплетни, бездѣлье, пустота будутъ господствовать не какъ пороки, а какъ стихіи общественной жизни, — до тѣхъ поръ, конечно, будутъ мелькать и въ современномъ обществѣ черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ и другихъ, нужды нѣтъ, что съ самой Москвы стерся тотъ „особый отпечатокъ“, которымъ гордился Фамусовъ.

Общечеловѣческіе образцы, конечно, остаются всегда, хотя и тѣ превращаются въ неузнаваемые отъ временныхъ перемѣнъ типы, такъ что на смѣну старому художникамъ иногда приходится обновлять, по прошествіи долгихъ періодовъ, являвшіяся уже когда-то въ образахъ основныя черты нравовъ и вообще людской натуры, облекая ихъ въ новую плоть и кровь въ духѣ своего времени. Тартюфъ, конечно, вѣчный типъ, Фальстафъ — вѣчный характеръ, но и тотъ

и другой, и многіе еще знаменитые подобные имъ первообразы страстей, пороковъ и проч., исчезая сами въ туманѣ старины, почти утратили живой образъ и обратились въ идею, въ условное понятіе, въ нарицательное имя порока, и для насъ служатъ уже не живымъ урокомъ, а портретомъ исторической галлереи.

Это особенно можно отнести къ грибоѣдовской комедіи. Въ ней мѣстный колоритъ слишкомъ ярокъ, и обозначеніе самыхъ характеровъ такъ строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловѣческія черты едва выдѣляются изъ-подъ общественныхъ положеній, ранговъ, костюмовъ и т. п.

Какъ картинка современныхъ нравовъ, комедія „Горе отъ ума" была отчасти анахронизмомъ и тогда, когда въ 30-хъ годахъ появилась на московской сценѣ. Уже Щепкинъ, Мочаловъ, Львова-Синецкая, Ленскій, Орловъ и Сабуровъ играли не съ натуры, а по свѣжему преданію. И тогда стали исчезать рѣзкіе штрихи. Самъ Чацкій гремитъ противъ „вѣка минувшаго", когда писалась комедія, а она писалась между 1815 и 1820 годами.

Какъ посравнить да посмотрѣть (говоритъ онъ)
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ *минувшій*,
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ,—

а про свое время выражается такъ:

Теперь вольнѣе всякій дышитъ—

или:

Бранилъ *вашъ* вѣкъ я безпощадно,

говоритъ онъ Фамусову.

Слѣдовательно, теперь остается только немногое отъ мѣстнаго колорита: страсть къ чинамъ, низкопоклонничество, пустота. Но съ какими-нибудь реформами чины могутъ отойти, низкопоклонничество до степени лакейства молчалинскаго уже прячется и теперь въ темноту, а поэзія фронта уступила мѣсто строгому и раціональному направленію въ военномъ дѣлѣ.

Но все же еще кое-какіе живые слѣды есть, и они пока мѣшаютъ обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этотъ разговорный стихъ, кажется, никогда не умретъ, какъ и самъ разсыпанный въ нихъ острый и ѣдкій, живой русскій умъ, который Грибоѣдовъ заключилъ, какъ волшебникъ духа какого-нибудь въ свой замокъ, и онъ разсыпается тамъ злобнымъ смѣхомъ. Нельзя представить себѣ, чтобы могла явиться когда-нибудь другая, болѣе естественная, простая, болѣе взятая изъ жизни рѣчь. Проза и стихъ слились здѣсь во что-то нераздѣльное, за тѣмъ, кажется, чтобы ихъ легче было удержать въ памяти и пустить опять въ оборотъ весь собранный авторомъ умъ, юморъ, шутку и злость русскаго ума и языка. Этотъ языкъ также дался автору, какъ далась группа этихъ лицъ, какъ дался главный смыслъ комедіи, какъ далось все вмѣстѣ, будто вылилось разомъ, и все образовало необыкновенную комедію — и въ тѣсномъ смыслѣ, какъ сценическую пьесу, и въ обширномъ, какъ комедію жизни. Другимъ ничѣмъ, какъ комедіей, она и не могла бы быть.

Оставя двѣ капитальныя стороны пьесѣ, которыя такъ явно говорятъ за себя и потому имѣютъ большинство почитателей,— т.-е. картину эпохи, съ группой живыхъ портретовъ, и соль языка,— обратимся къ комедіи, какъ къ сценической пьесѣ.

Давно привыкли говорить, что нѣтъ движенія, т.-е. нѣтъ дѣйствія въ пьесѣ. Какъ нѣтъ движенія? Есть — живое, непрерывное, отъ перваго появленія Чацкаго на сценѣ до послѣдняго его слова: „Карету мнѣ, карету!“.

Это — тонкая, умная, изящная и страстная комедія въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ, вѣрная въ мелкихъ психологическихъ деталяхъ,— но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героевъ, геніальной рисовкой, колоритомъ мѣста, эпохи, прелестью языка, всѣми поэтическими силами, такъ обильно разлитыми въ пьесѣ. Дѣйствіе, т.-е. собственно интрига въ ней, передъ этими капитальными сторонами кажется блѣднымъ, лишнимъ, почти ненужнымъ.

Только при разъѣздѣ, въ сѣняхъ, зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между главными лицами, и вдругъ припоминаетъ комедію-интригу. Но и то не надолго. Передъ нимъ уже выростаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи. *Гончаровъ.*

Среда, изображаемая комедією „Горе отъ ума".

Несомнѣнно, конечно, что къ барской средѣ принадлежатъ всѣ типы, выведенные въ комедіи Грибоѣдова. Сколько бы ни указывали намъ на живые оригиналы въ роднѣ самого поэта, его лица отъ этого не перестанутъ быть *типами*. Если это портреты, то подобные тѣмъ художественнымъ портретамъ, которые надолго останавливаютъ передъ собою на выставкѣ и людей, никогда не знававшихъ подлинника. При изученіи Грибоѣдовскихъ типовъ надобно постоянно прибѣгать къ тому *обобщенію*, которое имѣлъ въ виду Гоголь, говоря о своемъ Хлестаковѣ: „и ловкій гвардейскій офицеръ окажется иногда Хлестаковымъ, и государственный мужъ окажется иногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, грѣшный литераторъ, окажется подчасъ Хлестаковымъ". Тотъ же способъ обобщенія вполнѣ примѣнимъ и къ Фамусовымъ, Молчалинымъ, Скалозубамъ, Репетиловымъ, Загорѣцкимъ. Въ этомъ-то и заключается настоящая психологическая глубина и высокое художественное достоинство.

Много заботились у насъ и о томъ, чтобы отыскать въ живомъ же лицѣ прототипъ Чацкаго. Одни указывали (весьма неудачно) на Чаадаева, другіе, слѣдуя Пушкину, видѣли въ Чацкомъ самого Грибоѣдова. Послѣднее очень правдоподобно, но это вовсе не заставляетъ согласиться съ мнѣніемъ Пушкина, что Чацкій уменъ только умомъ Грибоѣдова. Нѣтъ, Чацкій такъ же самостоятельно уменъ, какъ и самъ Грибоѣдовъ: онъ такъ же горячъ, иногда можетъ показаться золъ, но, въ сущности, добръ и довѣрчивъ, постоянно склоненъ къ беззавѣтному увлеченью. Чацкій совсѣмъ не резонеръ, не ходячая грибоѣдовская мораль въ формѣ, подготовленной ложно классическою теоріей. Всѣ путы старой школы, въ сущности, совершенно порваны Грибоѣдовымъ. И типы и построеніе комедіи у него совершенно оригинальны. Если Чацкій прослылъ у насъ живой выставкой очень умной сатирической морали, а вовсе не живымъ лицомъ, то это много зависѣло отъ неумѣлаго изображенія его на сценѣ. Но при безталанной игрѣ не одинъ Чацкій, а также и Фамусовъ, Молчалинъ и т. д. могутъ представиться, да отчасти и представлялись у насъ, не совсѣмъ правдоподобными. Всего же болѣе тутъ повліяла эстетическая геге-

левщина — допуская даже, что она была у насъ недурно переварена. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что если бы Бѣлинскій подробно изслѣдовалъ „Горе отъ ума" въ позднѣйшій періодъ своей критической дѣятельности, то онъ бы уже не нашелъ въ этой образцовой комедіи столько психологическихъ и эстетическихъ промаховъ. Вѣрное пониманіе ея, пониманіе прямое, не черезъ очки, сильно сказывалось, благодаря оригинальному складу его ума, у Аполлона Григорьева.

У насъ находили, что отрицательныя лица Грибоѣдова неправдоподобно обличаютъ самихъ себя тою остроумной сатирой, которая вложена въ ихъ же уста безпощаднымъ авторомъ. На самомъ же дѣлѣ критики только не хотѣли стать на ту почву чисто искусственныхъ взглядовъ, вполнѣ условной морали, на которой стоятъ у Грибоѣдова всѣ эти герои служилой барствующей среды: Фамусовы, кандидаты въ Фамусовы и Фамусовы-неудачники. Къ этимъ тремъ видоизмѣненіямъ одного и того же типа сводятся, можно сказать, всѣ отрицательныя лица комедіи. Фамусовъ, Павелъ Аѳанасьевичъ, при своемъ характерномъ міросозерцаніи не можетъ не быть увлеченъ тѣмъ, что въ Москвѣ и живутъ и умираютъ тузы, что въ ней никогда не переводятся благовоспитанныя невѣсты, а равно и женихи съ двумя тысячами душъ, вознаграждающими за отсутствіе прочихъ достоинствъ. Онъ не можетъ не вѣровать въ верховное блаженство „ѣды на золотѣ", а потому и фанатически пропагандируетъ ведующее къ тому битье объ полъ лбомъ и искренно сожалѣетъ объ опасномъ „вольнодумствѣ" сына своего друга. Онъ совершенно спокойно, какъ объ истинно добромъ дѣлѣ, заявляетъ вслухъ: „какъ станешь представлять къ крестишку иль къ мѣстечку, — ну, какъ не порадѣть родному человѣчку". Его удивляетъ слабое развитіе этой черты въ предметѣ его ухаживанія, Скалозубѣ, да оно и въ самомъ дѣлѣ объясняется только тѣмъ, что Скалозубъ гораздо ограниченнѣе Фамусова. Но не это дѣлаетъ понятною ту откровенность, съ какою Скалозубъ сознается, что онъ самъ хорошенько не знаетъ, за что собственно данъ ему послѣ дѣла 3-го августа орденъ. И изъ этого вовсе не слѣдуетъ такого сатирическаго преувеличенія, чтобы онъ ни разу не получалъ ордена за дѣйствительную храбрость

слѣдуетъ только, что „нахватываніе знаковъ отличія“ и безъ особенныхъ даже заслугъ вовсе не представлялось удивительнымъ и непохвальнымъ ему, какъ и другимъ „созвѣздіямъ маневровъ и мазурки“, собирающимся не то въ шутку, а не то и въ серіозъ дать всѣмъ такъ называемымъ вольнодумцамъ „фельдфебеля въ Вольтеры“. Скалозубъ, этотъ Фамусовъ въ армейскомъ мундирѣ, вполнѣ натурально удивляется тому, какъ это его братъ, набравшійся какихъ-то новыхъ правилъ, вышелъ въ отставку въ то время, когда ему слѣдовалъ чинъ.

Молчалинъ открытымъ заявленіемъ о своихъ двухъ талантахъ — умѣренности и аккуратности — совершенно правдоподобенъ въ своей средѣ, гдѣ именно „безсловесностью“ и можно было безродному человѣку пробиться въ Фамусовы, съ тѣмъ, чтобы потомъ преобразить свою *лесть въ спесь*. При этомъ онъ даже вовсе не ограниченъ, а скорѣе уменъ въ своемъ родѣ, — уменъ, примѣняя отцовское завѣщаніе всѣмъ подслуживаться къ ухаживанію за дочкой начальника — настолько, чтобы это не компрометировало его, а даже содѣйствовало его служебнымъ видамъ. Молчалинъ совершенно серіозно считаетъ и не можетъ не считать Чацкаго чуть не дуракомъ послѣ его пренебрежительнаго отзыва о Татьянѣ Юрьевнѣ. Предметъ совершенно искренняго и вполнѣ практичнаго уваженія для Молчалина составляетъ, да и не можетъ не составлять для такихъ людей, именно эта дама, доставляющая мѣста, а равно и Ѳома Ѳомичъ, сумѣвшій остаться начальникомъ отдѣленія *при трехъ министрахъ*. Столько же возможенъ, или, лучше сказать, неизбѣженъ въ этой средѣ и Репетиловъ — съ его совершенно даже прямымъ самооплеваніемъ. Репетилову только не удалось добиться какого-нибудь дѣйствительнаго служебнаго проку отъ женитьбы на дочери вліятельнаго фонъ-Клока — и вотъ онъ ударился въ либеральное краснобайничанье въ полусекретныхъ кружкахъ. Но Репетиловъ не совсѣмъ глупъ — а потому и чувствуетъ нѣкоторую фальшивость въ своемъ положеніи и старается выкупить ее тѣмъ „самобичующимъ протестомъ“, который, по выраженію поэта, „съ Ивана Грознаго до переписки Гоголя есть русскихъ граждан достояніе“. Въ сущности, не повези по службѣ самому Фамусову, и онъ бы могъ перейти въ Репетиловы, но вышелъ бы менѣе заб.

вень при совсѣмъ уже незначительной долѣ ума. Вѣдь и Фамусовъ не хуже Репетилова хвалится Скалозубу задоромъ московскихъ старичковъ, у которыхъ „что ни слово, то приговоръ", хотя и то правда, что эти „прямые канцлеры въ отставкѣ по уму", безъ которыхъ „не обойдется дѣло", обыкновенно только „придерутся къ тому-сему, а больше ни къ чему, поспорятъ, пошумятъ — и разойдутся". Въ словахъ этихъ Фамусовъ, опять-таки совершенно натурально, обнаруживаетъ то пока еще благонамѣренное фрондерство, которое какъ бы служитъ ему про запасъ, — чтобы, въ случаѣ какой-нибудь невзгоды, завернуться въ него, какъ въ либеральную мантію.

Нимало не раздутымъ въ своемъ нравственномъ убожествѣ является, наконецъ, и Загорѣцкій. И онъ нисколько не карикатура — особенно въ сравненіи съ соотвѣтственными гоголевскими двойниками — Бобчинскимъ и Добчинскимъ, переходящими въ самомъ дѣлѣ въ карикатуру. Загорѣцкій, только бы повезло, могъ бы, пожалуй, пробраться и въ Фамусовы, но обстоятельства сложились иначе — и вотъ онъ иными путями удитъ рыбу, — удитъ ее уже прямо въ мутной водѣ. Это всѣмъ хорошо извѣстно, но онъ вездѣ принятъ въ качествѣ всеобщаго прислужника и угодника. Это своего рода всѣмъ необходимый Молчалинъ. Не даромъ же Чацкій и говоритъ про послѣдняго, что въ немъ не умретъ Загорѣцкій, хотя ему пока еще не достаетъ способности не связаннаго дѣловымъ поприщемъ Антона Антоновича служить живою газетою, сообщающею всякія сплетни и новости — безъ утомительнаго процесса чтенія. Благодаря всего болѣе этому, Загорѣцкій по своему сдѣлалъ карьеру, хотя не прочь считать себя и либераломъ a la Репетиловъ. Когда же ему прямо въ глаза говорятъ, что онъ мошенникъ, Загорѣцкій, хорошо зная, что это не закроетъ ему доступа на обѣды и балы, самымъ натуральнымъ образомъ притворяется, что принимаетъ это за шутку.

Гораздо болѣе чѣмъ въ отрицательныхъ типахъ драмы находили у насъ драматически неправдоподобнаго въ Чацкомъ. Находили прежде всего неумѣстнымъ для умнаго человѣка постоянное проповѣдничество въ пустынѣ. Но критики забывали при этомъ, что и умный человѣкъ состоитъ не изъ одного же ума: что въ немъ можетъ быть вмѣстѣ

съ тѣмъ и страстный характеръ, которому не подъ силу сдерживать накипѣвшую желчь. Но ненадобно забывать и того, что Чацкій сначала расчитываетъ встрѣтить лицо, которому онъ можетъ не даромъ повѣрить свои задушевные взгляды, — въ этой дѣвушкѣ, выроставшей вмѣстѣ съ нимъ, и, конечно, еще не успѣвшей тогда окунуться въ тотъ житейскій омутъ, въ которомъ съ такимъ смакомъ вращается ея почтенный отецъ. Но въ три года путешествія Чацкаго много воды утекло, а онъ, очарованный чистой дѣвочкой, при всемъ своемъ умѣ, не предвидѣлъ этого.

Софья успѣла набраться фамильной фамусовской закваски и дошла, такимъ образомъ, до того, что полюбила Молчалина — за его смиреннѣйшее ухаживаніе. Самъ Грибоѣдовъ горячо защищалъ Чацкаго передъ первымъ своимъ критикомъ, Катенинымъ, говоря: „дѣвушка, сама не глупая, предпочитаетъ дурака умному человѣку не потому, чтобы умъ у насъ, грѣшныхъ, былъ обыкновененъ: нѣтъ, и въ моей комедіи 25 глупцовъ на одного здравомыслящаго человѣка; и этотъ человѣкъ, разумѣется, въ противорѣчіи съ обществомъ, его окружающимъ, его никто не понимаетъ, никто простить не хочетъ, зачѣмъ онъ немножко повыше прочихъ; сначала онъ веселъ — и это порокъ: „шутить и вѣкъ шутить, какъ васъ на это станетъ!" Слегка перебираетъ странности прежнихъ знакомыхъ... „не человѣкъ — змѣя"... А послѣ, когда вмѣшивается личность, нашихъ затронули, предается анаѳемѣ... „унизить радъ, кольнуть, завистливъ, гордъ и золъ". Не терпитъ подлости: „ахъ, Боже мой, онъ карбонарій!" Кто-то со злости выдумалъ объ немъ, что онъ сумасшедшій; никто не повѣрилъ, и всѣ повторяютъ голосъ общаго недоброхотства"... Но всего замѣчательнѣе, скажемъ мы, что наши критики прямо повѣрили — конечно, не сумасшествію, а непонятной странности Чацкаго и стали выставлять его самого лицомъ крайне комическимъ противъ воли автора. Но если тутъ и есть комизмъ, то онъ пошекспировски совпадаетъ у Грибоѣдова съ высокимъ трагизмомъ. Окончательное одиночество Чацкаго въ своемъ обществѣ — это превосходное драматическое изложеніе той самой темы, которая была такъ трогательно намѣчена въ лирическомъ стихотвореніи поэта той же эпохи:

Не сбылись, мои друзья, пророчества
Пылкой юности моей:
Горькій жребій одиночества
Мнѣ сужденъ въ кругу людей!..
Страшно дней не вѣдать радостныхъ,
Быть чужимъ среди своихъ;
Но ужасны — истинъ тягостныхъ
Быть сосудомъ съ дней младыхъ.
Всюду встрѣчи, безотрадныя!
Ищешь, суетный, людей:
А встрѣчаешь трупы хладные,
Иль безсмысленныхъ дѣтей...

Но у насъ не обращали вниманія на то, что Чацкій, повидимому, возвращается изъ путешествія уже отчасти разочарованнымъ. На слова Софьи: „гоненье на Москву! Что значитъ видѣть свѣтъ! Гдѣ жъ лучше?“ Онъ, какъ извѣстно, отвѣчаетъ: „гдѣ насъ нѣтъ!“ Иногда объясняютъ это такимъ образомъ: „гдѣ русскихъ нѣтъ“. Но проще понимать въ буквальномъ смыслѣ, довольно близкомъ къ поговоркѣ: „славны бубны за горами“.

Вспомнимъ, что̀ слѣдуетъ далѣе? „Когда постранствуешь, воротишься домой, — и дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ“. На теперешней нашей сценѣ Чацкій говоритъ это съ глубокимъ презрѣніемъ. Но это совершенно невѣрно. Чацкій, несмотря на сознаваемые имъ изъяны въ барской московской средѣ, горячо любитъ свое отечество. „И вотъ та родина!“ съ отчаяніемъ восклицаетъ онъ послѣ милліона терзаній, постигшихъ его на балу у Фамусова, хотя не можетъ, конечно, впить въ этомъ „умный и добрый народъ“, о которомъ съ такимъ сочувствіемъ отзывается онъ передъ московскими grandseigneur'ами. Вспомнимъ, для сравненія, стихи Батюшкова о возвращающемся Одиссеѣ, написанные имъ по прибытіи домой изъ Парижскаго похода и кончающіеся словами „очнулся онъ, и что жъ? отчизны не узналъ!“ Поэтъ, очевидно, возлагалъ на нее упованія, соотвѣтствовавшія ея выдающемуся положенію въ событіяхъ времени; эти патріотическія упованія невольно вызывались и тѣмъ, что нельзя было быть довольнымъ тогдашней Европой. Другой поэтъ, — тотъ, стихи котораго не разъ приводились выше, — писалъ изъ Парижа въ 1815 году: „Наши союзники надменностію и жестокостію своею скоро выведутъ изъ терпѣнія народъ, въ сердцахъ котораго еще съ прежнею горячностію кипитъ любовь къ независимости“. „Ваши офицеры, ваши солдаты не такъ обходятся съ нами“, говорили ему французы: „вашъ Александръ покровитель намъ, онъ нашъ

благодѣтель; но союзники его кровопійцы". Между тѣмъ, эти союзники сумѣли распорядиться такимъ образомъ, что Россіи навязано было главенство въ томъ дѣлѣ *реакціи*, которое было такъ нужно Австріи и быстрые успѣхи котораго во всей Европѣ заставили Байрона въ озлобленіи обозвать ее нашею *изношенною Европой*. Вотъ въ какую пору путешествовалъ Чацкій. Собственно только Пруссія умѣла умно ухватиться за внутреннія преобразованія, какъ за вѣрнѣйшее средство возстановленія своего политическаго значенія. Не пустить на подобный путь Россію — стало завѣтною цѣлью политики Меттерниха, а она нашла себѣ въ этомъ поддержку съ различныхъ сторонъ. Остановка внутренняго роста Россіи должна была подкопать ея черезчуръ уже выдвинувшееся впередъ политическое могущество. Торжественно вручить этой, какъ ее называли, освободительницѣ Европы два тормаза — одинъ для ея внутреннихъ дѣлъ, другой — для внѣшней политики, значило — и скорѣе достигнуть ея стараніемъ своихъ собственныхъ реакціонныхъ цѣлей, и обратить на нее ожесточенные взоры народовъ. Эта „послѣдняя лесть была горше первой" — даже горше того, что и такіе европейскіе люди, какъ пылкій республиканецъ Лагарпъ, становились у насъ на сторону остзейскихъ бароновъ въ дѣлѣ задержки освобожденія крестьянъ и, такимъ образомъ, прямо попадали въ ряды тѣхъ „кліентовъ-иностранцевъ", которые не только не истребляли, но даже поддерживали у насъ „прошедшаго житья подлѣйшія черты". Еще задолго до Грибоѣдова, при Екатеринѣ, лучшіе русскіе люди, и именно ревнители *просвѣщенія*, хорошо понимали, какъ мало было настоящаго проку, отъ нашего „европеизма" для нашего *народа*. Грибоѣдовъ еще въ программѣ своей ненаписанной драмы спрашивалъ устами Наполеона: „самъ себѣ преданный, — чтобы онъ могъ произвести"? А глазами Чацкаго Грибоѣдовъ искалъ и не находилъ у насъ той печати истиннаго европеизма, которая заключается въ этой „преданности себѣ". Какъ ни мало привлекательнаго представляла Чацкому современная ему полоса въ европейской жизни, все же въ каждомъ народѣ находилъ онъ тамъ характерность, ясно сознанную потребность стоять на своихъ ногахъ. Не встрѣтивъ, по возвращеніи въ отечество, „ни звука русскаго, ни русскаго лица", не только что рѣши-

мости" „смѣть свое сужденіе имѣть", — мудрено ли, если онъ молитъ, чтобы Господь истребилъ у насъ этотъ нечистый молчалинскій духъ „пустого, рабскаго, слѣпого подражанья", доходя въ пылу увлеченія до того, что готовъ сочувствовать даже китайцамъ въ ихъ „премудромъ незнаньи иноземцевъ". Чацкому стыдно за нашу безхарактерность передъ „добрымъ и умнымъ русскимъ народомъ", который давно уже сочувственно рисовался поэту со всѣми своими *особенностями*. Грибоѣдовъ не даромъ изучалъ лѣтописи своего отечества. Онѣ выдвинули передъ нимъ не только его *исполиновъ*, но и ту сплошную земскую силу, которая завершила свою расправу съ татарщиной самовольнымъ покореніемъ Сибири и спасла отъ крушенія расшатанное, казалось, въ конецъ государственное зданіе Россіи въ 1613 г., когда большинство служилыхъ верховъ и тѣломъ и душой отдалось врагамъ. Она вывезла насъ и въ Отечественную войну, несмотря на всѣ тѣ „отличія и искательства", которыя, по выраженію Грибоѣдова, „уничтожали всю поэзію великихъ подвиговъ". Передъ историческимъ взглядомъ поэта наше военное и политическое торжество въ его время вполнѣ объяснялись характеромъ русскаго народа. Тѣмъ оскорбительнѣе долженъ былъ представляться ему тотъ способъ объясненія современныхъ событій *чудомъ*, который, сложившись въ мистической головѣ какой-нибудь M-me Крюднеръ, оказывался весьма пригоднымъ для того, чтобы отводить кому нужно, глаза отъ простого русскаго человѣка. Вспомнимъ, что въ старомъ грибоѣдовскомъ планѣ драмы онъ имѣлъ своего представителя, возвращающагося, послѣ величайшихъ подвиговъ, подъ отеческую палку (а вмѣстѣ съ тѣмъ и цивилизованную бритву) помѣщика. Лучшіе русскіе люди того времени, которыхъ представителемъ и является Чацкій, не были совершенно удовлетворены и исторіей Карамзина, потому что въ ней, по ихъ мнѣнію, все же недостаточно выдвигалось впередъ самодѣятельное значеніе русскаго народа. Онъ, этотъ „умный и добрый" (а по нѣкоторымъ грибоѣдовскимъ рукописямъ *бодрый*) народъ представлялся имъ не безроднымъ бѣднякомъ-неудачникомъ, постоянно ждущимъ какой-то милостивой подачки, а имѣвшимъ свое многотрудное прошлое и уже своимъ умѣньемъ все перебыть и все перемочь предъявляющимъ свои неоспоримыя права на

историческое совершеннолѣтіе. Такими отношеніями къ родному народу и родной странѣ окончательно выясняется образъ Чацкаго, какъ представителя тѣхъ людей эпохи, которые переросли цѣлою головой не только тогдашнее, но и позднѣйшее образованное большинство. Очень недостаточное пониманіе этого возвышеннаго лица проявилъ даровитый современный сатирикъ, заставляя его завершить свое поприще поступленіемъ въ директоры „департамента умопомраченій". Кто другой, а не герой Грибоѣдова кандидатъ на такое мѣсто!

Не сдавать его въ этотъ смѣшной архивъ должны мы, а желать и въ то же время бояться его возрожденія между нами. Да, *бояться* — потому что онъ бы навѣрное захотѣлъ и словомъ своимъ и примѣромъ — насъ подстегнуть, „какъ крѣпкою вожжей". А что если бы ему представились и теперь тамъ и сямъ дополненныя и исправленныя изданія тѣхъ же типовъ: Фамусовы разныхъ сортовъ, проводящіе всѣми мѣрами на всевозможныхъ поприщахъ себя и своихъ, руководясь, за неимѣніемъ какой-либо ясной идеи, мнѣніемъ той или другой Марьи Алексѣевны; Скалозубы, готовые проводить въ Вольтеры все того же, хотя, можетъ-быть, и довольно грамотнаго фельдфебеля; Репетиловы, воображающіе себя „охранителями": Молчалины, видящіе въ себѣ „либераловъ"; Загорѣцкіе всѣхъ видовъ и размѣровъ въ рядахъ и такъ называемыхъ консерваторовъ и такъ называемыхъ прогрессистовъ. Что если за встрѣчу съ подновленными экземплярами его старыхъ знакомыхъ ему бы пришлось расплатиться тѣмъ же милліономъ терзаній — да еще съ процентами?...

Но какое бы тяжкое новое горе ни ожидало его у насъ, всѣ мы должны быть исполнены того чаянья, о которомъ говоритъ поэтъ:

Какъ часто, безсильемъ томимый,
Съ глубокой и тяжкой тоской,
Молю Тебя дать имъ пророка
Съ горячей и крѣпкой душой!...
Молю Тебя въ часъ полуночи
Пророку дать силу рѣчей,
Чтобъ міръ оглашалъ онъ далеко
Глаголами правды Твоей!

Подобнымъ пророкомъ являлся не разъ вдохновенный сатирикъ, — сатирикъ съ пламенемъ въ душѣ, съ безстрашіемъ мысли и права, съ упорною непоколебимостью во всемъ.

Но, оставаясь въ томительномъ ожиданіи новыхъ вдохновенныхъ сатириковъ, вспомнимъ сердечный совѣтъ другого поэта:

Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ!
А съ благодарностію: были!

Пусть же окажутся у насъ хоть на это и *единыя* уста и *единое* сердце. Скажемъ же всѣ въ одинъ голосъ: великому русскому писателю-гражданину и дипломату-мученику Александру Сергѣевичу Грибоѣдову вѣчная память и вѣчная слава!

О. Миллеръ.

Комедія Грибоѣдова есть единственное произведеніе, представляющее художественно сферу нашего, такъ называемаго, свѣтскаго быта, а съ другой стороны, Чацкій Грибоѣдова есть единственное истинно героическое лицо нашей литературы...

Постараюсь пояснить два этихъ положенія. Всякій разъ, когда великое дарованіе, носитъ ли оно имя Гоголя или имя Островскаго, открываетъ новую руду общественной жизни и начнетъ увѣковѣчивать ея типы (Гоголь — типы малороссійскіе, Островскій — типы великорусскіе), всякій разъ въ читающей публикѣ, а иногда даже и въ критикѣ (къ большему, впрочемъ, стыду сей послѣдней), слышатся возгласы о низменности избранной поэтомъ среды жизни, объ односторонности направленія и т. п., всякій разъ высказываются наивнѣйшія ожиданія, что вотъ-вотъ явится писатель, который представитъ намъ типы и отношенія изъ высшихъ слоевъ жизни.

Ни мѣщанская часть публики, ни мѣщанское направленіе критики, въ которыхъ слышатся подобные возгласы и которые живутъ подобными ожиданіями, не подозрѣваютъ въ наивности своей, что если только какой-либо слой общественной жизни выдается своими типами, если отношенія, его отличающія, состоятъ на одномъ изъ первыхъ плановъ въ движущейся картинѣ жизни народнаго организма, то искусство непремѣнно отразитъ и увѣковѣчитъ его типы, анализируя и осмысливъ его отношенія. Великая истина шеллингизма, что

„гдѣ жизнь, тамъ и поэзія“ — истина, которую проповѣдовалъ нѣкогда такъ блистательно нашъ глубокомысленный Надеждинъ, какъ-то не дается до сихъ поръ въ руки ни нашей публикѣ ни нѣкоторымъ направленіямъ нашей критики. Эта истина или вовсе не понята, или понята очень поверхностно. Не все то есть жизнь, что называется жизнію, какъ не все то золото, что блеститъ. У поэзіи вообще есть великое, только ей данное чутье на различеніе жизни настоящей отъ миражей жизни: явленія первой она увѣковѣчиваетъ, ибо они суть типическія, имѣютъ корни и вѣтви; къ миражамъ она относится и можетъ относиться только комически, — да и комическаго отношенія удостоиваетъ она ихъ только тогда, когда они соприкасаются съ жизнію дѣйствительною. Какъ можетъ художество, имѣющее вѣчною задачею своею правду, и одну только правду, создавать образы, не имѣющіе существеннаго содержанія, анализировать такого рода исключительныя отношенія, которыхъ исключительность есть нѣчто произвольное, условное, натянутое?... Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій или какой-нибудь Китъ Китычъ Брусковъ суть лица, имѣющія свое собственное, имъ только свойственное, типическое существованіе: но какой-нибудь Чельскій, въ романѣ „Племянница“, какой-нибудь Сафьевъ, въ повѣсти „Большой свѣтъ“, взяты на прокатъ изъ другой, французской или англійской жизни. Пусть они въ такъ называемой великосвѣтской жизни и встрѣчаются, — да художеству-то нѣтъ до нихъ никакого дѣла, ибо художество не воссоздаетъ повтореній: а въ самомъ повтореніи, если таковое попадается въ жизни, ищетъ чертъ существенныхъ, самостоятельныхъ. Такъ, напримѣръ, если бы неминуемо пришлось искусству настоящему имѣть дѣло съ однимъ изъ упомянутыхъ мною героевъ, оно отыскало бы въ нихъ ту тонкую черту, которая отдѣляетъ эти копіи отъ французскихъ или англійскихъ оригиналовъ (какъ Гоголь отыскалъ тонкую черту, отдѣляющую художника Пискарева отъ художниковъ другихъ странъ, его жизнь отъ ихъ жизни), и на этой чертѣ основало бы свое созданіе: естественно, что созданіе вышло бы комическое, да инымъ оно и быть не можетъ, инымъ ему и не зачѣмъ быть! Художество есть дѣло серіозное, дѣло народное. Какая ему нужда до того, что въ извѣстномъ господинѣ или въ извѣстной госпожѣ разви-

ліся чрезъ мѣру утонченныя потребности? Если онѣ комичны передъ судомъ христіанскаго и человѣчески-народнаго созерцанія — казни ихъ комизмомъ безъ всякаго милосердія, какъ казнитъ комизмомъ то, что стоитъ такой казни, Грибоѣдовъ, какъ казнитъ Гоголь Марью Александровну, въ „Отрывкѣ", какъ казнитъ Островскій Мерича, Писемскій — пь-ше Манилову. Все, что само по себѣ глупо или безправственно съ высшихъ точекъ жизни, кольми наче глупо и безнравственно передъ искусствомъ, да и знаетъ очень хорошо въ этомъ случаѣ свои задачи искусство: все глупое и безнравственное въ жизни оно казнитъ, какъ только глупое и безнравственное рельефно выставится на первый планъ.

Не за предметъ, а за отношеніе къ предмету долженъ быть хвалимъ или порицаемъ художникъ. Предметъ почти не зависитъ даже отъ его выбора: вѣроятно, графъ Толстой, напримѣръ, болѣе всѣхъ другихъ былъ способенъ изображать великосвѣтскую сферу жизни и выполнить наивныя ожиданія многихъ, страдающихъ тоскою по этимъ изображеніямъ, но высшія задачи таланта влекутъ его не къ этому дѣлу, а къ искреннѣйшему анализу души человѣческой.

Но, прежде всего, что разумѣть подъ сферой большого свѣта? Принадлежатъ ли къ ней весь міръ, созданный безсмертной комедіей Грибоѣдова? Почему жъ бы имъ, кажется, и не принадлежать? Павелъ Аѳанасьевичъ Фамусовъ —

англійскаго клоба
Старинный, вѣчный членъ до гроба

и находится въ извѣстномъ близкомъ отношеніи, можетъ-быть, даже родственномъ съ „княгиней Марьей Алексѣевной"; Репетиловъ, безъ сомнѣнія, большой баринъ; графиня Хрюмина и княгиня Тугоуховская, равно какъ и фонвизинская княгиня Халдина, суть несомнѣнно лица, ведущія роды свои весьма издалека; а между тѣмъ, скажите-ка, что Фонвизинъ и Грибоѣдовъ изображали большой свѣтъ, — въ отвѣтъ вы получите презрительно-величавую улыбку!

Съ другой стороны, почему какой-либо офицеръ Печоринъ у Лермонтова или офицеръ Сережа у графа Соллогуба — люди большого свѣта и принадлежатъ несомнѣнно къ сферѣ этого свѣта? Неужели оттого только, что они принадлежатъ

Къ любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ,

о которыхъ съ такою досадою говоритъ Скалозубъ? Отчего несомнѣнно же принадлежитъ къ сферѣ большого свѣта княгиня Лиговская, которая, въ сущности, есть та же фонвизинская княгиня Халдина? Отчего несомнѣнно же принадлежатъ къ этой сферѣ всѣ скучныя лица скучныхъ романовъ г-жи Евгеніи Туръ? Ясно, что не сфера родовыхъ преимуществъ, не сфера бюрократическихъ верхушекъ разумѣются въ жизни и въ литературѣ подъ сферею большого свѣта. Багровы, напримѣръ, никакъ уже не люди большого свѣта да едва ли бы и захотѣли принадлежать къ нему. Фамусовъ и его міръ — не тотъ міръ, въ которомъ сіяетъ Воротынская, въ которомъ проваливается Леонинъ и безнаказанно кобенится Сафьевъ, и дѣйствуютъ въ такомъ же духѣ другіе герои графа Соллогуба или г-жи Евгеніи Туръ. Да ужъ полно, не воображаемый ли только этотъ міръ?—спрашиваете вы себя съ нѣкоторымъ изумленіемъ! Не одна ли мечта литературы,— мечта, основанная на двухъ-трехъ, много десяти домахъ въ той или другой столицѣ? Въ жизни вы встрѣчаете или міры, которыхъ существенные признаки сводятся къ чертамъ уважаемыхъ и любимыхъ вами Багровыхъ, или съ дикими и, въ сущности, всегда одинаковыми понятіями Фамусовыхъ и гоголевской Марьи Андреевны.

А между тѣмъ въ мѣщанскихъ кругахъ общежитія и литературы (вотъ эти круги такъ ужъ несомнѣнно существуютъ) вы только слышите, что слова: большой свѣтъ, comme il faut, высокій тонъ. Вы подходите къ явленіямъ, на которыя мѣщанство указываетъ какъ на представителей того и другого и третьяго, и простымъ глазомъ видите или Багровыхъ или міръ Фамусова; первыхъ вы уважаете за возвышенность ихъ взгляда, хотя можете и не дѣлить съ ними нѣкоторой упорной ихъ закоренѣлости; къ послѣднимъ и не можете и не должны отнестись иначе, какъ отнесся къ нимъ великій комикъ. Тотъ или другой міръ хотятъ, правда, выдѣлать себя иногда на англійскій или французскій манеръ; но при великой способности къ выдѣлкѣ, въ русскомъ человѣкѣ совершенно недостаетъ выдержки. Какая-нибудь значительная графиня Воротынская, того и гляди, кончитъ какъ грибоѣдовская Софья Павловна; какой-нибудь князь Чельскій можетъ съ теченіемъ временъ дойти до метеорскаго состоянія, хотя до легонькаго. Это и бываетъ зачастую. Одни Багровы оста-

ются всегда себѣ вѣрными, потому что въ нихъ есть крѣпкія, коренныя, хотя и узкія начала.

Вотъ почему леденящій иронической тонъ слышенъ во всемъ томъ, въ чемъ Пушкинъ касался такъ называемаго большого свѣта, отъ „Пиковой дамы" до „Египетскихъ ночей" и другихъ отрывковъ, — вотъ почему никакой ироніи у него не слышно въ изображеніяхъ старика Гринева и Кириллы Троекурова; иронія не приложима къ жизни, хотя бы жизнь и была груба до звѣрства. Иронія есть нѣчто неполное, состояніе духа несвободное, нѣсколько зависимое, слѣдствіе душевнаго раздвоенія, слѣдствіе такого состоянія души, въ которомъ и сознаешь ложь обстановки, и давитъ вмѣстѣ съ тѣмъ обстановка, какъ давитъ она пушкинскаго Чарскаго. Едва ли бы нашъ великій учитель и окончилъ когда-нибудь эти многіе отрывки, оставшіеся намъ въ его сочиненіяхъ. Настоящій тонъ его свѣтлой души былъ не ироническій, а душевный и искренній.

Та же иронія, только ядовитѣе, злѣе, и въ Лермонтовѣ. Когда Печоринъ замѣчаетъ въ княгинѣ Лиговской наклонность къ двусмысленнымъ анекдотамъ, — передъ зрителемъ поднимается задняя занавѣсь, и за этой занавѣсью открывается давно знакомый міръ, — міръ фонвизинскій и грибоѣдовскій. И поднимать эту занавѣсь есть настоящее дѣло серіозной литературы. Его поднимаетъ даже и графъ Соллогубъ, какъ писатель все-таки даровитый, но поднимаетъ какъ-то невзначай, безъ убѣжденія, тотчасъ же опять вѣря и желая другихъ заставить вѣрить въ свою кукольную комедію. Въ его „Львѣ", напримѣръ, есть страница, гдѣ онъ очень смѣло приступаетъ къ поднятію задней занавѣси, гдѣ онъ прямо говоритъ о томъ, что за выдѣланными, взятыми на прокатъ формами большого свѣта, кроются часто черты совершенно простыя, даже пошлыя, — но вся бѣда въ томъ, что только эти черты кажутся ему пошлыми, тогда какъ выдѣланныя гораздо пошлѣе. Возьмемъ самый крайній случай: положимъ, что подкладка (тщательно скрытая) какого-нибудь свѣтскаго господина, усвоившаго себѣ и англійскій флегматизмъ и французскую наглость, есть просто натура избалованнаго барченка, или положимъ, что одна изъ блестящихъ героинь графа Соллогуба, въ родѣ графини Ворганской, вся сдѣланная, вся выдѣланная, наравнѣ съ своей

горничной выскажетъ тоже натуру обыкновенной и по-русски избалованной барышни, — настоящая натура героя или героини все-таки лучше (пожалуй, хоть только въ художественномъ смыслѣ) ея или его дѣланной натурѣ: ужъ потому только, что дѣланная натура есть всегда повторенная.

Къ сожалѣнію, изо всѣхъ нашихъ писателей, принимавшихся за сферу большого свѣта, одинъ только художникъ сумѣлъ удержаться на высотѣ созерцанія — Грибоѣдовъ. Его Чацкій былъ, есть и долго будетъ непонятенъ — именно до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ окончательно въ нашей литературѣ несчастная болѣзнь, которую назвалъ я однажды, и назвалъ, кажется, справедливо: болѣзнью моральнаго лакейства. Болѣзнь эта выражалась въ различныхъ симптомахъ, но источникъ ея былъ всегда одинъ: преувеличеніе призрачныхъ явленій, обобщеніе частныхъ фактовъ. Отъ этой болѣзни былъ совершенно свободенъ Грибоѣдовъ; отъ этой болѣзни свободенъ Толстой; но, — хотя это и страшно сказать, — отъ нея не былъ свободенъ Лермонтовъ. Возвышенная натура Чацкаго, который ненавидитъ ложь, зло и тупоуміе, какъ человѣкъ вообще, а не какъ условный порядочный человѣкъ, и смѣло обличаетъ всякую гадость, хотя бы его и не слушали; менѣе сильная, но не менѣе честная личность героя „Юности“, который, при встрѣчѣ съ кружкомъ умныхъ и энергическихъ, хотя и непорядочныхъ, хотя даже и пьющихъ молодыхъ людей, вдругъ сознаетъ всю свою мелочность предъ ними и въ нравственномъ и въ умственномъ развитіи, — явленія, смѣю сказать, болѣе жизненныя, т.-е. болѣе идеальныя, нежели натура господина, который, изъ-за какого то условнаго, натянутаго взгляда на жизнь и отношенія, едва подаетъ руку Максиму Максимовичу, хотя и дѣлилъ съ нимъ когда-то радость и горе! Будетъ ужъ намъ подобныя явленія считать за живыя и пора отречься отъ дикаго мнѣнія, что Чацкій — „Донъ-Кихотъ“. Пора намъ убѣдиться въ противномъ, т.-е. въ томъ, что наши львы, фешенебли, какъ взятые на прокатъ, — „Донъ-Кихоты“: что собственная, тщательно ими скрываемая натура ихъ самихъ — и добрѣе и лучше той, которую берутъ они взаймы.

Самое представленіе о сферѣ большого свѣта, какъ о чемъ-то давящемъ, гнетущемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обаятельномъ, — родилось, не въ жизни, а въ литературѣ, и литературѣ

взято на прокатъ изъ Франціи и Англіи. Звонскіе, Гремины и Лидины являвшіеся въ повѣстяхъ Марлинскаго, конечно, очень смѣшны, но графы Славачинскіе, гг. Бондаревскіе и иные, даже самые Печорины, съ тѣхъ поръ, какъ Печоринъ появился во множествѣ экземпляровъ, — смѣшны точно такъ же, если не больше! Серіозной литературѣ до нихъ еще меньше дѣла, чѣмъ до Звонскихъ, Греминыхъ и Лидиныхъ. Въ нихъ нельзя ничего принимать взаправду; а изображать ихъ такими, какими они кажутся, значитъ только угождать мѣщанской части публики, той самой „ки э валю авекъ ле Чуфыринъ э ле Курмицынъ" и вздыхаетъ о вечерахъ графини Воротынской.

Другое отношеніе возможно еще къ сферѣ большого свѣта и выразилось въ литературѣ — желчное раздраженіе. Имъ проникнуты, напримѣръ, повѣсти Н. Ф. Павлова, въ особенности его „Милліонъ", но и это отношеніе есть точно также слѣдствіе преувеличенія и обличало недостатокъ сознанія собственнаго достоинства. Это крайность, которая, того и гляди, перейдетъ въ другую, противоположную: борьба съ призракомъ, созданнымъ не жизнію, а Бальзакомъ, борьба и утомительная и безплодная, — хожденіе на муху съ обухомъ.

Рѣшительно можно сказать, что представленіе о большомъ свѣтѣ не есть нѣчто рожденное въ нашей литературѣ, а, напротивъ, занятое ею, и притомъ занятое не у англичанъ, а у французовъ. Оно явилось не ранѣе тридцатыхъ годовъ, не ранѣе и позже Бальзака. Прежде общественные слои представлялись въ иномъ видѣ простому, ничѣмъ непомраченному взгляду нашихъ писателей. Фонвизинъ, человѣкъ высшаго общества, не видитъ ничего грандіознаго и поэтическаго — не говорю уже въ своей совѣтницѣ или въ своемъ Иванушкѣ (къ бюрократіи и наша современная литература умѣла относиться комически), но въ своей княгинѣ Халдиной и въ своемъ Сорванцовѣ — хотя и та и другой, безъ сомнѣнія, принадлежатъ къ числу des gens comme il faut ихъ времени. Сатирическая литература временъ Фонвизина (и до него) казнитъ невѣжество барства, но не видитъ никакого особаго comme il faut'наго міра, живущаго, какъ status in statu, по особеннымъ, ему свойственнымъ, имъ и другими признаваемымъ законамъ. Грибоѣдовъ казнитъ не-

вѣжество и хамство, но казнитъ ихъ не во имя сопшие-
шаго условнаго идеала, а во имя высшихъ законовъ
христіанскаго и человѣчески-народнаго взгляда. Фигуру
своего борца, своего Яфета, Чацкаго, онъ оттѣнилъ фигурою хама Репетилова, не говоря уже о хамѣ Фамусовѣ и хамѣ Молчалинѣ. Вся комедія есть комедія о хамствѣ, къ которому равнодушнаго или даже нѣсколько болѣе спокойнаго отношенія незаконно и требовать отъ такой возвышенной натуры, какова натура Чацкаго. Говорятъ обыкновенно, что свѣтскій человѣкъ въ свѣтскомъ обществѣ, во-первыхъ, не позволитъ себѣ говорить того, что говоритъ Чацкій, а во-вторыхъ, не станетъ сражаться съ вѣтреными мельницами, проповѣдовать Фамусовымъ, Молчалинымъ и инымъ. Да съ чего вы взяли, господа, говорящіе такъ, что Чацкій свѣтскій человѣкъ, въ вашемъ смыслѣ, что Чацкій похожъ сколько-нибудь на разныхъ князей Чельскихъ, графовъ Славачинскихъ, графовъ Воротынскихъ, которыхъ вы напустили впослѣдствіи въ литературу съ легкой руки французскихъ романтистовъ? Онъ столько же не похожъ на нихъ, сколько не похожъ на Звонскихъ, Греминыхъ и Лидиныхъ. Въ Чацкомъ только правдивая натура, которая никакой мерзости не спуститъ — вотъ и все; и позволитъ онъ себѣ все, что позволитъ себѣ его правдивая натура. А что правдивыя натуры есть и были въ жизни — вотъ вамъ налицо доказательства: старикъ Гриневъ, старикъ Багровъ, старикъ Дубровскій. Такую же натуру наслѣдовалъ, должно-быть, если не отъ отца, то отъ дѣда или прадѣда, Александръ Андреевичъ Чацкій... Другой вопросъ, сталъ ли бы Чацкій говорить такъ съ людьми, которыхъ онъ презираетъ?... А вы забываете при этомъ вопросѣ, что Фамусовъ, на котораго изливаетъ онъ „всю желчь и всю досаду", для него не просто такое-то или такое-то лицо, а живое воспоминаніе дѣтства, „когда его возили на поклонъ" къ господину, который

Согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей

А вы забываете, какая сладость есть для энергической души въ томъ, чтобы, по слову другого поэта,

Тревожить язвы старыхъ ранъ.

или

Смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью.

Успокойтесь: Чацкій менѣе, чѣмъ вы сами, вѣритъ въ пользу своей проповѣди; но въ немъ желчь накипѣла, въ немъ чувство правды оскорблено. А онъ еще, кромѣ того, влюбленъ: знаете ли вы, какъ любятъ такіе люди? Не этою подлою (извините за прямоту выраженія) и недостойную мужчины любовью, которая поглощаетъ все существованіе въ мысль о любимомъ предметѣ и приноситъ въ жертву этой мысли все, даже идею нравственнаго совершенствованія. Чацкій любитъ со страстію, безумно, и говоритъ правду Софьѣ, что

Дышалъ я вами, жилъ, былъ занятъ безпрерывно:

но это значитъ только, что мысль о ней сливалась для него съ каждымъ благороднымъ помысломъ или дѣломъ чести и добра. Правду же говоритъ онъ, спрашивая ее о Молчалинѣ:

Но есть ли въ немъ та страсть, то чувство,
пылкость та,
Чтобы, кромѣ васъ, ему міръ цѣлый
Казался прахъ и суета?

И подъ этою правдою кроется мечта о его Софьѣ, какъ способной постичь, что „міръ цѣлый" есть „прахъ и суета" предъ идеей правды и добра, или, по крайней мѣрѣ, способной оцѣнить это вѣрованіе въ любимомъ ею человѣкѣ, способной любить за это человѣка. Такую только идеальную Софью онъ и любитъ: другой ему не надобно: другую онъ отриметъ и съ разбитымъ сердцемъ пойдетъ

...искать по свѣту,
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!

Посмотрите, съ какой глубокой психологической вѣрностію веденъ весь разговоръ Чацкаго съ Софьею въ третьемъ актѣ. Чацкій все допытывается, чѣмъ Молчалинъ его выше и лучше; онъ съ нимъ даже вступаетъ въ разговоръ, стараясь отыскать въ немъ

умъ бойкій, геній смѣлый,

и все-таки не можетъ, не въ силахъ понять, что Софья лю-

битъ Молчалина именно за свойства, противоположныя свойствамъ его, Чацкаго, за свойства мелочныя и пошлыя (подлыхъ чертъ Молчалина она еще не видитъ). Только убѣдившись въ этомъ, онъ покидаетъ свою мечту, но покидаетъ, какъ мужъ, безповоротно! — видитъ уже ясно и безтрепетно правду. Тогда онъ говоритъ ей:

Вы помиритесь съ нимъ по размышленьи зрѣломъ.
Себя крушить — и для чего?
Подумайте: всегда вы можете его
Беречь и пеленать и посылать за дѣломъ.
Мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, изъ жениныхъ пажей —
Высокій идеалъ московскихъ всѣхъ мужей!

Вы господа, считающіе Чацкаго Донъ-Кихотомъ, напираете, въ особенности, на монологъ, которымъ кончается третье дѣйствіе? Но, во-первыхъ, самъ поэтъ поставилъ здѣсь своего героя въ комическое положеніе и, оставаясь вѣрнымъ высокой психологической задачѣ, показалъ, какой комическій исходъ можетъ принять энергія несвоевременная; а во-вторыхъ, опять-таки, вы, должно-быть, не вдумались въ то, какъ любятъ люди, подобные Чацкому, въ то, какъ вообще любятъ люди съ задатками даже какой-нибудь нравственной энергіи. Все, что говоритъ онъ въ этомъ монологѣ, онъ говоритъ для Софьи: всѣ силы души онъ собираетъ, всею натурою своей хочетъ раскрыться, все хочетъ передать ей разомъ, какъ въ „Доходномъ мѣстѣ" Ждановъ своей Полинѣ, въ послѣдніе минуты своей, хотя и слабой (по его натурѣ), но благородной борьбы. Тутъ сказывается послѣдняя вѣра Чацкаго въ натуру Софьи (какъ у Жданова, напротивъ, послѣдняя вѣра въ силу и дѣйствіе того, что считаетъ онъ своимъ убѣжденіемъ), тутъ для Чацкаго вопросъ о жизни и смерти цѣлой половины его нравственнаго бытія. Что этотъ личный вопросъ слился съ общественнымъ вопросомъ — это опять-таки вѣрно натурѣ героя, который является единственнымъ типомъ нравственной и мужественной борьбы въ той сферѣ жизни, которую избралъ поэтъ, — единственнымъ до сихъ поръ даже человѣкомъ съ плотію и кровію посреди всѣхъ этихъ князей Чельскихъ, графовъ Воротынскихъ и другихъ господъ, расхаживающихъ съ англійскою важностію по мечтательному міру нашей великосвѣтской литературы.

Да! Чацкій есть — повторяю — опять нашъ единственный

герои, т.-е. единственный положительно борющійся въ той средѣ, куда судьба и страсть его бросили. Другой отрицательно борющійся герой нашъ явился въ неполномъ художественно, но глубоко прочувствованномъ образѣ, господина, который 14 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки. Но никакимъ образомъ уже русская жизнь не признаетъ своимъ героемъ дѣятельнаго господина Калиновича въ „Тысячѣ душъ" Писемскаго, да мы желаемъ думать, что и самъ Писемскій не считаетъ его такимъ. *Григорьевъ.*

Чацкій.

Главная роль въ комедіи, конечно, роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина нравовъ.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, польстилъ ему въ заглавіи, какъ будто предупредивъ читателя, что герой его уменъ, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій не только умнѣе всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ — это человѣкъ не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомендуетъ его горничная Лиза, онъ „чувствителенъ и веселъ и остеръ". Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его игралъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между тѣмъ, Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣе Онѣгина и лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненныя порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинаетъ новый вѣкъ — и въ этомъ все его значеніе и весь „умъ".

И Онѣгинъ и Печоринъ оказались неспособны къ дѣлу, къ активной роли, хотя оба смутно понимали, что около

нихъ все истлѣло. Они были даже „озлоблены", носили въ себѣ и „недовольство" и бродили, какъ тѣни, съ „тоскующею лѣнью". Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться съ нимъ ни бѣжать окончательно. Недовольство и озлобленіе не мѣшали Онѣгину франтить, „блестѣть" и въ театрѣ, и на балѣ, и въ модномъ ресторанѣ, кокетничать съ дѣвицами и серіозно ухаживать за ними въ замужествѣ, а Печорину блестѣть интересной скукой и мыкать свою лѣнь и озлобленіе между княжной Мери и Бэлой, а потомъ рисоваться равнодушіемъ къ нимъ передъ тупымъ Максимомъ Максимычемъ: это равнодушіе — считалось квинтъ-эссенціей донъжуанства. Оба томились, задыхались въ своей средѣ и не знали, чего хотѣть. Онѣгинъ пробовалъ читать, но зѣвнулъ и бросилъ, потому что ему и Печорину была знакома одна наука „страсти нѣжной", а прочему всему они учились „чему-нибудь и какъ-нибудь" — и имъ нечего было дѣлать.

Чацкій, какъ видно, напротивъ, готовился серіозно къ дѣятельности. „Онъ славно пишетъ, переводитъ", — говоритъ о немъ Фамусовъ, и всѣ твердятъ о его высокомъ умѣ. Онъ, конечно, путешествовалъ не даромъ, учился, читалъ, принимался, какъ видно, за трудъ, былъ въ сношеніяхъ съ министрами и разошелся — не трудно догадаться почему:

Служить бы радъ, прислуживаться тошно,

намекаетъ онъ самъ. О „тоскующей лѣни, о праздной скукѣ" и помину нѣтъ, а еще менѣе о „страсти нѣжной", какъ о наукѣ и о занятіи. Онъ любитъ серіозно, видя въ Софьѣ будущую жену.

Между тѣмъ, Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу — не найдя ни въ комъ „сочувствія живого", и уѣхать, увозя съ собой только „мильонъ терзаній".

Ни Онѣгинъ ни Печоринъ не поступили бы такъ неумно вообще, въ дѣлѣ любви и сватовства особенно. Но зато они уже поблѣднѣли и обратились для насъ въ каменныя статуи, а Чацкій остается и останется всегда въ живыхъ за эту свою „глупость".

Роль и физіономія Чацкихъ неизмѣнна. Чацкій больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушаетъ новую жизнь, „жизнь свободную". Онъ знаетъ, за что онъ

вокуетъ и что должна принести ему эта жизнь. Онъ не теряетъ земли изъ-подъ ногъ и не вѣритъ въ призракъ, пока онъ не облекся въ плоть и кровь, не осмыслился разумомъ, правдой, словомъ — не очеловѣчился.

Передъ увлеченіемъ неизвѣстнымъ идеаломъ, передъ обольщеніемъ мечты, онъ трезво становится, какъ остановился передъ безсмысленнымъ отрицаніемъ „законовъ, совѣсти и вѣры" въ болтовнѣ Репетилова, и скажетъ свое:

Послушай, ври, да знай же мѣру.

Онъ очень положителенъ въ своихъ положеніяхъ и заявляетъ ихъ въ готовой програмѣ, выработанной не имъ, а уже начатымъ вѣкомъ. Онъ не гонитъ съ юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцѣлѣло, что, по законамъ разума и справедливости, какъ по естественнымъ законамъ въ природѣ физической, осталось доживать свой срокъ, что можетъ и должно быть терпимо. Онъ требуетъ мѣста и свободы своему вѣку: проситъ дѣла, но не хочетъ прислуживаться, и клеймитъ позоромъ низкопоклонство и шутовство. Онъ требуетъ „службы дѣлу, а не лицамъ", не смѣшиваетъ „веселья или дурачества съ дѣломъ", какъ Молчалинъ, онъ тяготится среди пустой, праздной толпы „мучителей, зловѣщихъ старухъ, вздорныхъ стариковъ", отказываясь преклоняться передъ ихъ авторитетомъ дряхлости, чинолюбія и проч. Его возмущаютъ безобразныя проявленія крѣпостнаго права, безумная роскошь и отвратительные нравы „разливанья въ пирахъ и мотовствѣ" — явленія умственной и нравственной слѣпоты и растлѣнія.

Его идеалъ „свободной жизни" опредѣлителенъ: это — свобода отъ всѣхъ этихъ исчисленныхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество, а потомъ свобода — „вперить въ науки умъ, алчущій познаній", или безпрепятственно предаваться „искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ", свобода „служить или не служить", „жить въ деревнѣ, или путешествовать", не слывя за то ни разбойникомъ ни зажигателемъ, — и рядъ дальнѣйшихъ очередныхъ подобныхъ шаговъ къ свободѣ — отъ несвободы.

И Фамусовъ и другіе знаютъ это и, конечно, про себя всѣ согласны съ нимъ, но борьба за существованіе мѣшаетъ имъ уступить.

Отъ страха за себя, за свое безмятежно-праздное существованіе, Фамусовъ затыкаетъ уши и клевещетъ на Чацкаго, когда тотъ заявляетъ ему свою скромную программу „свободной жизни". Между прочимъ —

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ,

говоритъ онъ, а тотъ съ ужасомъ возражаетъ:

Да онъ властей не признаетъ!

Итакъ, лжетъ и онъ, потому что ему нечего сказать, и лжетъ все то, что жило ложью въ прошломъ. Старая правда никогда не смутится передъ новой — она возьметъ это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное боится ступить очередной шагъ впередъ.

Чацкій сломленъ количествомъ старой силы, нанеся ей, въ свою очередь, смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей.

Онъ вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: „Одинъ въ полѣ не воинъ". Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, но передовой воинъ, застрѣльщикъ и — всегда жертва.

Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у грибоѣдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе, но всѣмъ имъ достается въ удѣлъ свой „мильонъ терзаній", и никакая высота положенія не спасетъ отъ него. Очень немногимъ, просвѣтленнымъ Чацкимъ, дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились, хотя и безкорыстно, но не для себя и не за себя, а для будущаго, и за всѣхъ и успѣли.

Кромѣ крупныхъ и видныхъ личностей, при рѣзкихъ переходахъ изъ одного вѣка въ другой, Чацкіе живутъ и не переводятся въ обществѣ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домѣ, гдѣ подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ, гдѣ два вѣка сходятся лицомъ къ лицу въ тѣснотѣ семействъ, — все длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ, и все бьются въ поедин-

кахъ, какъ Гораціи и Куріаціи, миніатюрные Фамусовы и Чацкіе.

Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго — и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла, будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ, — ни группировались люди — имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта „учиться, на старшихъ глядя", съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ „свободной жизни" впередъ и впередъ — съ другой.

Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ и едва ли состарѣется когда-нибудь грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ и вся комедія. И литература не выбьется изъ магическаго круга, начертаннаго Грибоѣдовымъ, какъ только художникъ коснется борьбы понятій, смѣны поколѣній. Онъ или дастъ типъ крайнихъ, несозрѣвшихъ передовыхъ личностей, едва намекающихъ на будущее и потому недолговѣчныхъ, какихъ мы уже пережили не мало въ жизни и въ искусствѣ, — или создастъ видоизмѣненный образъ Чацкаго, какъ послѣ сервантесовскаго Донъ-Кихота и шекспировскаго Гамлета являлись и являются безконечныя ихъ подобія.

Въ честныхъ, горячихъ рѣчахъ этихъ позднѣйшихъ Чацкихъ будутъ вѣчно слышаться грибоѣдовскіе мотивы и слова, и если не слова, то смыслъ и тонъ раздражительныхъ монологовъ его, Чацкаго. Отъ этой музыки здоровые герои въ борьбѣ со старымъ не уйдутъ никогда.

И въ этомъ безсмертіе стиховъ Грибоѣдова! Много можно бы привести Чацкихъ — являвшихся на очередной смѣнѣ эпохъ и поколѣній — въ борьбахъ за идею, за дѣло, за правду, за успѣхъ, за новый порядокъ, на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ слояхъ русской жизни и труда — громкихъ, великихъ дѣлъ и скромныхъ кабинетныхъ подвиговъ. О многихъ изъ нихъ хранится свѣжее преданіе, другихъ мы видѣли и знали, а иные еще продолжаютъ борьбу. Обратимся къ литературѣ. Вспомнимъ, не повѣсть, не комедію, не художественное явленіе, а возьмемъ одного изъ позднѣйшихъ бойцовъ съ старымъ вѣкомъ, напримѣръ, Бѣлинскаго. Многіе изъ насъ знали его лично, а теперь знаютъ его всѣ. Прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ — и въ нихъ звучатъ тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у грибоѣдовскаго

Чацкаго. И такъ же онъ умеръ, уничтоженный „милльономъ терзаній“, убитый лихорадкой ожиданія и не дождавшійся исполненія своихъ грезъ, которыя теперь уже не грезы больше.

Оставя политическія заблужденія Герцена, гдѣ онъ вышелъ изъ роли нормальнаго героя, изъ роли Чацкаго, этого съ головы до ногъ русскаго человѣка, — вспомнимъ его стрѣлы, бросаемыя въ разные темные, отдаленные углы Россіи, гдѣ онѣ находили виноватаго. Въ его сарказмахъ слышится эхо грибоѣдовскаго смѣха и безконечное развитіе остротъ Чацкаго.

И Герценъ страдалъ отъ „милльона терзаній“, можетъ-быть всего болѣе отъ терзаній Репетиловыхъ его же лагеря, которымъ у него при жизни не достало духа сказать: „ври, да знай же мѣру!“

Но онъ не унесъ этого слова въ могилу, сознавшись по смерти въ „должномъ стыдѣ“, помѣшавшемъ сказать его.

Наконецъ, послѣднее замѣчаніе о Чацкомъ. Дѣлаютъ упрекъ Грибоѣдову въ томъ, что будто Чацкій не облеченъ такъ художественно, какъ другія лица комедіи, въ плоть и кровь, что въ немъ мало жизненности. Иные даже говорятъ, что это не живой человѣкъ, а абстрактъ, идея, ходячая мораль комедіи, а не такое полное и законченное созданіе, какъ, напримѣръ, фигура Онѣгина и другихъ, выхваченныхъ изъ жизни типовъ.

Это несправедливо. Ставить рядомъ съ Онѣгинымъ Чацкаго нельзя: строгая объективность драматической формы не допускаетъ той широты и полноты кисти, какъ эпическая. Если другія лица комедіи являются строже и рѣзче очерченными, то этимъ они обязаны пошлости и мелочности своихъ натуръ, легко исчерпываемыхъ художникомъ въ легкихъ очеркахъ. Тогда какъ въ личности Чацкаго, богатой и разносторонней, могла быть въ комедіи рельефно взята одна господствующая сторона, — а Грибоѣдовъ успѣлъ намекнуть и на многія другія.

Потомъ, если приглядѣться вѣрнѣе къ людскимъ типамъ въ толпѣ, то едва ли не чаще другихъ встрѣчаются эти честныя, горячія, иногда желчныя личности, которыя не прячутся покорно въ сторону отъ встрѣчной уродливости, а смѣло идутъ навстрѣчу ей и вступаютъ въ борьбу, часто не

равную, всегда со вредомъ себѣ и безъ видимой пользы дѣлу. Кто не зналъ или не знаетъ, каждый въ своемъ кругу, такимъ умныхъ, горячихъ, благородныхъ сумасбродовъ, которые производятъ своего рода кутерьму въ тѣхъ кругахъ, куда ихъ занесетъ судьба, за правду, за честное убѣжденіе?

Нѣтъ, Чацкій — по нашему мнѣнію — изъ всѣхъ наиболѣе живая личность, и какъ человѣкъ и какъ исполнитель указанной ему Грибоѣдовымъ роли. Но, повторяемъ, натура его сильнѣе и глубже прочихъ лицъ, и потому не могла быть исчерпана въ комедіи. *Гончаровъ.*

Среди этихъ людей, среди этого міра глупости, пошлости, низости, сплетенъ, низкопоклонничества, униженія и высокомѣрія, ненависти къ свѣту, мысли и вражды ко всему честному — поставилъ Грибоѣдовъ благородную личность своего Чацкаго.

Много общаго между этою личностью и самимъ поэтомъ; устами Чацкаго высказываетъ Грибоѣдовъ свои задушевныя убѣжденія. Тотъ же идеализмъ (въ возвышенномъ смыслѣ этого слова), который побуждаетъ Чацкаго такъ непрактично и такъ благородно возставать противъ всякой низости и пошлости, громя ихъ словомъ негодованія, тотъ же идеализмъ слышится въ недовольствѣ Грибоѣдова земною жизнью, нашею обыденною дѣйствительностью:

„Мнѣ такъ скучно, такъ грустно! (пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей уже послѣ сочиненія комедіи). Скажи мнѣ что-нибудь въ отраду: я съ нѣкоторыхъ поръ мраченъ до крайности. Пора умереть! Не знаю, отчего это такъ долго тянется. Тоска неизвѣстная?"

Въ пути, въ дорогѣ, въ движеніи находитъ только поэтъ нѣкоторую отраду:

„Вѣрь мнѣ (говоритъ онъ въ другомъ письмѣ), чудесно всю жизнь свою прокатиться на 4 колесахъ: кровь волнуется, высокія мысли бродятъ и мчатъ далеко за обыкновенные предѣлы пошлыхъ опытовъ, воображеніе свѣжо, какой-то бурный огонь въ душѣ пылаетъ и не гаснетъ... Но остановки, отдыхи двухнедѣльные, двухмѣсячные для меня пагубны, задремлю, либо завѣюсь чужимъ вихремъ,

живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые".

И Чацкій, непонятый, осмѣяный, оскорбленный, также думаетъ искать успокоенія въ дорогѣ, наединѣ съ своими думами:

Пойду искать по свѣту —
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ.

И онъ, какъ его авторъ, сочувственно вспоминаетъ о путешествіи, когда ѣдешь „необозримой равниной", и —

Все что-то видно впереди:
Свѣтло, сине, разнообразно.

Свое недовольство земною жизнью съ ея пошлостью Грибоѣдова прекрасно выразилъ въ одномъ (не особенно блестящемъ, но прочувствованномъ) стихотвореніи „Душа":

Жива ли я?
Мертва ли я?
И что за чудное видѣнье!
Надзвѣздный домъ,
Заря кругомъ,
Рождало міръ мое велѣнье!
И вотъ отъ сна
Привлечена
Къ землѣ ветшающей и тѣсной:
Гдѣ рой подругъ,
Тьма рѣзвыхъ слугъ?
О, хоръ воздушный и прелестный!
Нѣтъ! поживу
И наяву
Я лучшей жизнію, безпечной:
Туда хочу
Туда лечу,
Гдѣ надышусь свободой вѣчной.

Свобода! Грибоѣдовъ, съ его независимымъ, твердымъ и самостоятельнымъ характеромъ, горячо любилъ ее, какъ любитъ и Чацкій. И крѣпостное право, съ такой еще силой царившее въ его время, глубоко его возмущало, какъ всякого рода „рабство".

По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово — рабъ,

сказалъ онъ, и во всѣхъ дошедшихъ до насъ отрывкахъ изъ его задуманныхъ и неоконченныхъ произведеній мы видимъ вражду его къ крѣпостничеству: оно оттѣнено было (говорятъ) довольно рѣзкими чертами въ личности Звѣздова, въ его комедіи „Студентъ", набросанной еще въ студенческіе годы, но теперь утраченной. Трагическая, ужасная сторона его показана въ дошедшемъ до насъ „Планѣ изъ драмы 1812": М., совершившій великіе подвиги, находится въ пренебреженіи у военачальниковъ, потому что онъ крѣ-

постной человѣкъ; его отсылаютъ во-свояси „подъ палку господина", съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію; и онъ, въ отчаяніи, прибѣгаетъ къ самоубійству. Отчаяніе доводитъ (въ „Грузинской ночи") кормилицу княжеской дочери до союза съ нечистою силой, чтобы отомстить своему господину за отдачу въ рабство ея сына.

Ненависть къ рабству всюду пробивается у Грибоѣдова: „Кто (пишетъ онъ Бѣляеву), кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно-вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ. Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира...

Эта ненависть вдохновила поэта создать образъ Молчалина, съ его безсмертнымъ правиломъ:

Не должно смѣть свое сужденіе имѣть.

Вражду къ крѣпостому праву вложилъ Грибоѣдовъ и въ характеръ героя своей комедіи. Съ глубокимъ негодованіемъ говоритъ Чацкій о томъ „Несторѣ негодяевъ знатныхъ", который промѣнялъ слугъ своихъ, не разъ спасавшихъ ему и жизнь и честь, на борзыхъ собакъ. Къ этому „столпу отечества" возили Чацкаго въ дѣтствѣ на поклонъ, — обстоятельство, взятое Грибоѣдовымъ изъ своей собственной жизни. Съ еще большимъ одушевленіемъ возвышеннаго гнѣва говоритъ Чацкій о томъ помѣщикѣ, который свезъ къ себѣ въ Москву изъ деревень

От матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей,

превративъ ихъ въ „амуровъ" и „зефировъ" своего театра и потомъ распродалъ поодиночкѣ.

Серіозно и притомъ европейски образованный человѣкъ, Чацкій въ то же время патріотъ, съ славянофильскимъ оттѣнкомъ воззрѣній, — и точно таковъ былъ самъ Грибоѣдовъ.

Чацкій не врагъ всего иностраннаго: онъ самъ ѣздилъ за границу учиться, „ума искать", по выраженію Софьи. Но его возмущаетъ рабская подражательность русскаго общества всему иностранному. На балу Фамусова онъ вслухъ возсылаетъ моленья —

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ
Пустого, рабскаго, слѣпого подражанья;
Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,

Кто могъ бы словомъ и примѣромъ
Насъ удержать, какъ крѣпкою вожжей,
Отъ жалкой тошноты по сторонѣ чужой.

Онъ горячо желаетъ, чтобъ мы (русское общество) воскресли отъ „чужевластья модъ", чтобы „умный и добрый" народъ нашъ не считалъ насъ за иностранцевъ.

Нѣтъ (говоритъ онъ), хуже для меня нашъ Сѣверъ во сто кратъ,
Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ обмѣнъ на новый ладъ.

Эти чувства и желанія Чацкаго — чувства и желанія самого Грибоѣдова. Поэта тяготило сознаніе глубокаго разлада между нашимъ обществомъ и народомъ. Изображая въ статьѣ „Загородная прогулка" хороводы крестьянъ, онъ говоритъ:

„Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самыхъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полуевропейцевъ, къ которому и я принадлежу. Имъ казалось дико все, что слышали, что видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки не внятны, эти наряды для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужими между своими? Финны и тунгусы скорѣе пріемлются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами; а народъ единокровный, нашъ народъ, разрозненъ съ нами и навѣки!"

Такъ близки воззрѣнія поэта и его героя. Грибоѣдовъ, очевидно, раздѣляетъ и взгляды Чацкаго на образованіе, на службу. Просвѣщенный умъ и гражданская честность писателя отразились на поэтическомъ лицѣ.

Но отнюдь не должно думать, что Чацкій только носитель идей автора, „резонеръ" старинныхъ комедій. Онъ — живое лицо, типъ. Онъ не только говоритъ передъ нами: онъ живетъ, страдаетъ и радуется, увлекается, сомнѣвается, ошибается.

Онъ громитъ фамусовское общество словомъ негодованія; но ему невесело, ему тяжело одиночество на высотѣ его свѣтлыхъ идей; онъ бы желалъ иныхъ, невраждебныхъ отношеній съ людьми. Возвращаясь въ Москву, онъ смутно надѣялся встрѣтить сочувствіе къ себѣ въ обществѣ. Эти надежды окончательно разлетѣлись на балѣ Фамусова и съ сердечной грустью говоритъ онъ, уѣзжая съ этого бала:

Ну, вотъ и день прошелъ, и съ нимъ
Всѣ призраки, весь чадъ и дымъ
Надеждъ, которыя мнѣ душу наполняли.
Чего я ждалъ? Что думалъ здѣсь найти?
Гдѣ прелесть этихъ встрѣчъ? Участье въ комъ живое?
Крикъ, радость, обнялись!... Пустое!...

Чацкій не золъ, какъ думаетъ Софья, и вовсе не презираетъ людей. Онъ вѣритъ въ человѣка. Есть моментъ въ комедіи, когда Чацкій пытается и надѣется даже въ Молчалинѣ пробудить благородство, сознаніе своего человѣческаго достоинства. Иронически начинаетъ онъ разговоръ съ Алексѣемъ Степанычемъ, встрѣтившись съ нимъ передъ баломъ; но когда тотъ высказываетъ свою задушевнѣйшую мысль о „неимѣніи сужденія“, — онъ вдругъ измѣняетъ тонъ и серіозно говоритъ:

Помилуйте, мы съ вами не ребята:
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?

Но для голоса чести ухо Молчалина глухо и сердце закрыто, —

Вѣдь надобно жъ зависѣть отъ другихъ,

скромно возражаетъ онъ.

Какъ всѣ живые люди, Чацкій способенъ увлекаться, впадать, въ первыя минуты увлеченія, въ крайности. Такъ, негодуя на наше рабство передъ всѣмъ инозимнымъ, онъ находитъ, что надобно бы намъ:

Если рождены мы все перенимать,

занять хоть у китайцевъ ихъ „премудраго незнанья иноземцевъ“... Но это показываетъ только, что Чацкій — человѣкъ, у котораго нравственные и умственные вопросы волнуютъ кровь и потрясаютъ нервы, и онъ не сразу можетъ отнестись къ нимъ спокойно.

А отношенія его къ Софьѣ Павловнѣ? Сколько любви, страданія и участія къ ней въ его мучительныхъ сомнѣніяхъ о ней, въ его страстномъ желаніи — узнать, что съ нею сталось, что значитъ ея перемѣна! Какою задушевною и грустною искренностью вѣетъ отъ его, неоцѣненнаго Софьею, обращенія къ ней, какъ къ другу и сестрѣ, за разрѣшеніемъ своихъ недоумѣній; какъ благородна его попытка объяснить ей Молчалина! — все это черты живого лица.

И живой же человѣкъ, но слишкомъ молодой, неустановившійся, слишкомъ увлекающій, сказался въ немъ, когда онъ не во-время поспѣшилъ разорвать всякія связи съ Софьей, не во-время потому, что какъ разъ въ эту минуту у Софьи стали раскрываться глаза на окружающую ее пошлость, и она прервала было начавшуюся филиппику Чацкаго словами симпатіи къ нему:

Не продолжайте — я виню себя кругомъ...

Чацкій только вслухъ высказываетъ то, что каждому тайно говоритъ его совѣсть. Скажутъ: „Чацкій всѣмъ показался сумасшедшимъ". Не правда! Софья сознательно такъ назвала его, и только послѣ этого всѣ стали утверждать, будто давно замѣтили его помѣшательство; за идею Софьи (иначе сказать) просто ухватились, какъ за якорь спасенія, какъ за средство успокоить взволнованную его рѣчами совѣсть.

Чацкій говоритъ, говоритъ горячо и много: но какъ же иначе: въ немъ оскорблено чувство правды, въ немъ ключомъ кипитъ негодованіе. Въ немъ дѣйствуетъ то же самое чувство, которое побудило Лермонтова, въ стихотвореніи „1-ое января", сказать:

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью.

Наконецъ, тутъ Софья; многое и именно самые длинные и горячіе монологи назначены для нея. Онъ любитъ Софью, онъ видитъ, что она на краю пропасти: неужели же онъ не обязанъ сдѣлать все для ея спасенія? И Софья, конечно, способна понять если не все, то многое изъ того, что говоритъ онъ,— по уму своему и сердцу она стоитъ выше окружающихъ ее людей. *Незеленовъ.*

Вопросъ о томъ, насколько Чацкій есть „точный портретъ" Грибоѣдова или кого-либо изъ современниковъ, имѣетъ, конечно, нѣкоторое значеніе для біографіи автора „Горе отъ ума" и для историко-литературныхъ изысканій о тогдашнемъ обществѣ, но не имѣетъ рѣшительно никакого значенія для опредѣленія личности Чацкаго. Эта личность существовала, существуетъ и будетъ существовать, какъ самостоятель-

ный лиц, внѣ личной жизни Грибоѣдова, въ которой и не было случая, положеннаго въ основу комедіи. Грибоѣдовъ вложилъ въ уста Чацкаго свои любимыя идеи, свой взглядъ на общество — это безспорно и безъ всякихъ указаній всѣмъ понятно, но никакимъ образомъ изъ этого не слѣдуетъ, что Чацкій есть „лучшій выразитель надеждъ и стремленій либерализма двадцатыхъ годовъ".

Монологъ 3-го дѣйствія имѣетъ большое значеніе въ личности героя безсмертной комедіи. Чацкаго продолжаютъ мучить, его возбуждаютъ болѣе и болѣе. Какъ живой человѣкъ, онъ не можетъ молчать, какъ не смолчалъ бы на его мѣстѣ всякій живой и правдивый человѣкъ, среди его обстановки и отношеній къ нему всѣхъ этихъ лицъ.

Въ любви предателей, въ враждѣ неутомимыхъ,
Разсказчиковъ неукротимыхъ,
Нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простаковъ,
Старухъ зловѣщихъ, стариковъ,
Дряхлѣющихъ надъ выдумками, вздоромъ!...

Развѣ вся эта орда, усвоившая себѣ лоскъ европейскаго образованія, воображающая себя просвѣщенной, обрившая бороды, одѣвшаяся по-французски, — развѣ она не въ состояніи возбудить желаніе поучиться у китайцевъ? Вся сатирическая литература XVIII столѣтія возставала противъ этого внѣшняго лоска, противъ пристрастія къ иностранцамъ еще съ меньшимъ разборомъ. Развѣ изъ Европы мы беремъ то, что слѣдуетъ брать; только то, что достойно войти въ плоть и кровь всякаго великаго народа? Развѣ исторія не доказываетъ намъ, что даже и послѣ появленія „Горе отъ ума" мы брали изъ Европы много незрѣлаго, даже совсѣмъ дурного, брали по привычкѣ, по традиціямъ, по модѣ, брали съ легкомысліемъ, которое всею тяжестію ложилось на судьбы народа. Развѣ предубѣжденіе въ пользу иностраннаго не существуетъ и теперь, въ наши дни, хотя и въ меньшихъ размѣрахъ? Примѣровъ приводить нечего, — они многочисленны и всѣмъ извѣстны. Ограничимся однимъ, такъ какъ онъ имѣетъ связь съ тѣмъ обществомъ, которое изображалъ Грибоѣдовъ: развѣ доступъ въ большой свѣтъ какому-нибудь иностранному проходимцу не легче, чѣмъ вполнѣ порядочному русскому человѣку? Развѣ тамъ не смотрятъ съ благо-

расположеніемъ на всякую иностранную дрянь, а вѣдь оттуда идетъ направленіе, тамъ связи и власть.

У Пушкина въ письмѣ къ князю Вяземскому (іюнь 1826 г.) находимъ слѣдующее любопытное мѣсто: „Мы въ отношеніяхъ къ иностранцамъ не имѣемъ ни гордости ни стыда. При англичанахъ дурачимъ Василія Львовича (Пушкина; передъ m-me Staël заставляемъ Милорадовича отличаться въ мазуркѣ. Русскій баринъ кричитъ: „Мальчикъ! забавляй Гекторку" (датскаго пуделя). Мы хохочемъ и переводимъ эти барскія слова любопытному путешественнику. Все это попадаетъ въ его журналъ и печатается въ Европѣ. *Это мерзко*. Я, конечно, презираю отечество мое, съ головы до ногъ, но мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ со мною это чувство". Чувство Чацкаго въ данномъ случаѣ по отношенію къ тому обществу, среди котораго онъ находится, сходно съ чувствомъ Пушкина, хотя оно гораздо выше, какъ Грибоѣдовъ въ то время былъ, по своему развитію или, вѣрнѣе, по цѣльности своего характера, выше Пушкина. Можно презирать общество и въ то же время не хотѣть, чтобъ оно унижалось передъ иностранцами и иностраннымъ, ибо это оскорбляетъ русскаго человѣка, оскорбляетъ народное чувство.

Кстати. Въ массѣ записокъ Грибоѣдова есть язвительныя и мѣткія выходки противъ идола либераловъ, Петра, именно противъ его презрѣнія къ обычаямъ Руси, къ ея исторіи, къ русскому народу. Въ Петрѣ Грибоѣдовъ видѣлъ именно излишества того поклоненія передъ Западомъ, которое создало безпочвенную, международную интеллигенцію, готовую ломать все родное, обезличивая русскаго человѣка и пригоняя его въ ранжиръ европейца. Слѣдующія строки Грибоѣдова объясняютъ монологъ Чацкаго и его характеръ: „Петръ вводилъ чужія новизны. Царевичъ Алексѣй могъ любить отечество и пользу народа и славу, и потому пустыхъ нѣмецкихъ нововведеній могъ не желать. „Преображеніе думы въ сенатъ. Отмѣна формулы: государь указалъ, бояре приговорили". Чтобы русскихъ пріохотить къ чтенію, Петръ велѣлъ перевести Пуфендорфа, который *русскихъ не на животъ, а на смерть бранитъ*. Это оскорбляло Грибоѣдова[1]) какъ русскаго, и это чувство онъ вложилъ и въ сво-

[1]) Вотъ слова современника, очень близко знавшаго Грибоѣдова: „Мнѣ не случалось въ жизни ни въ одномъ народѣ видѣть человѣка, который бы

его героя, который возмущается послѣдствіями того ненужнаго излишества въ петровскихъ реформахъ, безъ котораго дѣло реформы могло стоять лучше и правильнѣе.

Наблюдая эти типы, которые тѣснились вокругъ Чацкаго, какъ было не сказать: хотя у китайцевъ бы намъ *нѣсколько занять* премудраго у нихъ *незнанья иноземцевъ*.

„Нѣсколько занять у китайцевъ незнанья иноземцевъ“ — совсѣмъ не значитъ обратиться въ китайцевъ или отвернуться отъ Европы. Это значитъ только, что надо быть самостоятельными, надо переваривать европейское просвѣщеніе, а не холопствовать передъ иноземцами, передъ всей совокупностію ихъ жизни, ихъ быта, ихъ исторіи, а не заимствовать все безъ разбору. „Идеализмъ двадцатыхъ годовъ живучъ: потерявъ много въ своемъ наружномъ блескѣ, онъ выигралъ относительно глубины по мѣрѣ нашего знакомства съ народомъ и съ тѣми нашими допетровскими учрежденіями (боярская дума, земскіе соборы, начатки самоуправленія, судъ и проч.), которыя имѣли всѣ права на развитіе и жизнь, а не на смерть насильственную. Слова Чацкаго объ одеждѣ, съ выводомъ изъ нихъ —

Какъ платья, волосы, такъ и умы коротки

независимо отъ степени раздраженія Чацкаго, вполнѣ понятны и естественны въ устахъ его и нисколько не противорѣчатъ сущности его самостоятельной и правдивой натуры. Они даютъ ему характеръ смѣлаго русскаго человѣка, который такъ увѣренъ въ умѣ и способностяхъ русскаго и такъ прочно убѣжденъ въ силѣ науки и просвѣщенія, что ни бороды ни длинное платье нашихъ предковъ не могли бы помѣшать нашему развитію. Въ самомъ дѣлѣ, неужели слѣдовало прежде всего стричь, брить и одѣвать, а потомъ ужъ просвѣщать? Кто возьметъ на себя вычислить, сколько труда, денегъ, заботъ, административной энергіи, вниманія, времени, даже крови, — да, крови и жестокихъ безчеловѣчныхъ преслѣдованій было потрачено на одежды по европейскому образцу! Кто это вычислитъ? Кто серіозно станетъ доказывать, что все это потраченное вознаграждено этими оде-

такъ пламенно, такъ страстно любилъ свое отечество, какъ Грибоѣдовъ. Каждый благородный поступокъ, каждое высокое чувство, каждая мысль приводили его въ восторгъ. Грибоѣдовъ чрезвычайно любилъ простой русскій народъ“.

ждами, введенными къ намъ, какъ начало яко бы просвѣтительное. Вѣдь прогрессировали же и прогрессируетъ въ просвѣщеніи духовенство, оставшееся въ древнихъ одеждахъ.

Изъ предисловія къ „Горю отъ ума“, изд. Суворина 1886 г.

Альцестъ и Чацкій.

Орудіемъ обличительной пропаганды у Чацкаго является насмѣшка, часто легкая и бойкая, лишь по временамъ принимающая суровый оттѣнокъ и проникающаяся паѳосомъ. У Альцеста негодованіе строгое, улыбка рѣдко показывается на его устахъ, и тонъ его рѣчей почти вездѣ однороденъ. Въ неумѣніи сдерживать себя, промолчать гдѣ нужно, они опять сходятся. Фамусовъ напрасно проситъ своего молодого гостя „завязать на память узелокъ“, слушая похвалы Москвѣ и прославленія старины, Чацкій не выдерживаетъ и горячо вмѣшивается въ разговоръ. Точно такъ же и Альцестъ, присутствуя (актъ II, сц. V) въ салонѣ Селимены на пріемѣ ея свѣтскихъ поклонниковъ, слушаетъ, съ трудомъ удерживая негодованіе, какъ всѣ они, слѣдомъ за хозяйкой, перебираютъ общихъ знакомыхъ, съ наслажденіемъ сплетничаютъ и клевещутъ, и, наконецъ, внѣ себя, прерываютъ ихъ восклицаніемъ: „allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour“, etc. — и осыпаетъ ихъ рѣзкими эпитетами, прямо обвиняя ихъ льстивость и поддакиванье необдуманному злорѣчію Селимены въ порчѣ ея характера. Но въ отношеніяхъ обоихъ героевъ къ любимой женщинѣ и въ самой личности ея мы видимъ опять разнородные оттѣнки, свидѣтельствующіе о самостоятельности русскаго поэта. Чацкаго связываютъ съ Софьей свѣтлые дѣтскіе воспоминаніе и первые проблески молодого чувства; она въ теченіе очень еще недолгой дѣвической жизни не успѣла, думается ему, узнать свѣтъ и людей. Онъ страшится соперника въ любви, который могъ замѣнить его въ ея сердцѣ во время его отсутствія, но не можетъ допустить мысли о Молчалинѣ, хотя на него указываютъ прямо весьма недвусмысленные признаки. Смутно что-то подозрѣвая, онъ клеймитъ, въ глаза Софьѣ, Молчалина насмѣшками, удивляясь, чѣмъ онъ могъ плѣнить ее (то же дѣлаетъ Альцестъ, въ первой сценѣ второго акта, осмѣивая всю внѣшность и пріемы Клитандра).

Но у Мольера Селимена уже вдовушка, хотя и очень молодая (ей всего двадцать лѣтъ), но опытная въ житейскомъ отношеніи, независимо поставленная въ свѣтѣ, окруженная роемъ поклонниковъ; она постигла въ совершенствѣ тайны кокетства и тѣшится тѣмъ, что кружитъ головы и такимъ вертопрахамъ, какъ Акастъ или Клитандръ, и такимъ уже пожилымъ селадонамъ, какъ придворный поэтъ Оронтъ, и такому ворчуну и брюзгѣ, какъ Альцестъ. Тутъ уже бѣдному мизантропу трудно заблуждаться, какъ это дѣлаетъ Чацкій: кокетство слишкомъ явно, вѣтреность и другія слабости Селимены ему хорошо извѣстны, и любовь поддерживается въ немъ не невѣдѣніемъ, а обманчивою надеждой, что его честное чувство и энергическія совѣты когда-нибудь вырвутъ эту женщину изъ пошлой среды и сдѣлаютъ ее вѣрной его подругой. Такимъ образомъ, сходныя сначала по общимъ чертамъ, характеристики обѣихъ героинь расходятся существенно, и типъ заскучавшей московской барышни съ ея закулисной, будничной интригой и лакействующимъ героемъ ея взятъ прямо изъ жизни.

Ни Мольеръ ни Грибоѣдовъ не думали выставлять центральное лицо въ своихъ произведеніяхъ безусловно образцовымъ во всѣхъ отношеніяхъ, какъ бы идеальнымъ и по направленію и по образцу дѣйствій. Грибоѣдовъ заставляетъ Чацкаго сдѣлать довольно умѣренную оцѣнку и себя самого и подобныхъ ему людей (въ пятомъ явленіи 2-го дѣйствія въ монологѣ конца третьяго акта); передъ нами не всеобъемлющій умъ, не цѣльная натура: у Чацкаго много чистыхъ стремленій, къ искусствамъ: творческимъ, высокимъ и прекраснымъ, къ наукѣ, у него „найдется пять, шесть мыслей здравыхъ", и онъ смѣло и гласно объявляетъ ихъ, — но еще вопросъ, только ли въ формѣ протеста, усвоеннаго Чацкимъ, представлялась широко образованному Грибоѣдову общественная дѣятельность людей выдающихся. Точно такъ же и Мольеръ не хочетъ закрывать глаза на извѣстныя слабости своего героя, на излишнюю его горячность и запальчивость, которая разгорается иногда отъ незначительныхъ поводовъ, на нетерпимость, отзывающуюся иногда чуть не доктринерствомъ. Въ запальчивости оба склонны къ крайнимъ выходкамъ, которыхъ нельзя принимать буквально, а объяснить можно лишь раздраженіемъ, выходящимъ изъ предѣловъ. Альцестъ въ состояніи

сгоряча сказать Селименѣ, что „ни судьба, ни демоны, ни разгнѣванное небо не въ состояніи были создать такое злое существо, какъ она“; онъ обзываетъ общество „разбойничьей берлогой“, „лѣсомъ, гдѣ люди живутъ настоящими волками“; изъ-за малѣйшей уступки общей безнравственности онъ „готовъ съ горя повѣситься сейчасъ же“. Чацкій также не обходится безъ такихъ излишествъ; изъ-за Софьи готовъ сейчасъ же броситься въ огонь и т. д. И при всей этой горячности, безпокойной, неудобной въ житейскомъ отношеніи, при всей назойливой ревности, которою оба они преслѣдуютъ любимую женщину, она, несмотря на свое кокетство, вѣтреность или же зарождающуюся пошлость, инстинктивно отгадываетъ большія достоинства характера и ума. Софья, даже разлюбивъ Чацкаго, не можетъ не найти, что онъ остеръ, уменъ, краснорѣчивъ; въ послѣдней сценѣ съ нимъ она доходитъ даже до того, что передъ нимъ обвиняетъ себя кругомъ. Селимена внутри себя полупрезрительно относится ко всѣмъ своимъ поклонникамъ, кромѣ Альцеста; ей смутно нравится его „суровая добродѣтель“, его неукротимый духъ; придавая своему кокетству съ другими видъ забавы, она очень заботится о томъ, чтобы не потерять въ глазахъ Альцеста; она искусно отводитъ всѣ подозрѣнія, дѣлаетъ ему уступки и подъ конецъ тоже кается передъ нимъ; въ письмѣ, гдѣ она осмѣяла своихъ обожателей, она пощадила только его, ограничившись мелкой выходкой противъ надоѣдливой его ворчливости. Въ этомъ отношеніи московская барышня значительно уступаетъ ей; она способна на время возненавидѣть Чацкаго, отдаться низкой мстительности и сознательно распространять про него нелѣпую сплетню; все это — опять черты правдивыя, вытекающія изъ бытовой постановки этого характера у Грибоѣдова.

Мы уже сказали, что Альцестъ умышленно не лишенъ слабостей и излишествъ. Для противовѣса ему поставленъ рядомъ съ нимъ представитель сдержанной умѣренности и практической житейской мудрости въ лицѣ Филэнта; который время отъ времени, какъ Санчо Панса относительно Донъ-Кихота, долженъ охлаждать непомѣрные порывы своего друга, истолковывать ему жизненныя отношенія въ ихъ обыкновенномъ свѣтѣ и помогать ему въ затруднительныхъ обстоятельствахъ имъ же самимъ вызванныхъ. Продолжая нашу параллель обѣихъ

пьесъ, мы, конечно, станемъ искать русскаго Филэнта, тѣмъ болѣе, что вообще въ пьесахъ, созданныхъ подъ вліяніемъ *Мизантропа*, безъ такой личности дѣло не обходится. На первый взглядъ что-то подобное Филэнту (по крайней мѣрѣ, по отношенію къ главной его сторонѣ — умѣренности и аккуратности) намъ представится въ характерѣ Молчалина, составляющемъ умышленный рѣзкій контрастъ съ порывистымъ Чацкимъ; Молчалинъ проникнутъ такимъ же убѣжденіемъ въ необходимости вполнѣ ладить съ дѣйствительностью принимать господствующія мнѣнія. Но провѣряя это общее сходство, мы снова найдемъ живые признаки самостоятельности обоихъ авторовъ. Такое лицо, какъ Молчалинъ-Филэнтъ, было имъ одинаково нужно, какъ ходячее олицетвореніе общепринятой житейской морали, — но каждый изъ нихъ придалъ своему проповѣднику умѣренности особый отпечатокъ. Отнесясь къ Филэнту безъ предвзятой мысли, мы найдемъ, что онъ, въ сущности, далеко не такъ дуренъ, какъ его вообще изображаютъ. Прежде всего, онъ не подначальное лицо, которое, запомнивъ на всю жизнь, каково было „корпѣть въ Твери“, изо всѣхъ силъ рвется къ обезпеченности и служебной карьерѣ, подавляетъ въ себѣ чуть не всѣ человѣческія стремленія и способно „любить по должности“. Филэнтъ выросъ и воспитывался вначалѣ вмѣстѣ съ Альцестомъ (nous deux, *sous mêmes sommes nourris*, актъ I, сц. 1, стр. 99); онъ, повидимому, человѣкъ состоятельный и не изъ нужды выработалъ себѣ примирительную тактику, а послѣ зрѣлаго наблюденія надъ жизнью и людьми. Альцесть долго не подозрѣвалъ въ немъ измѣнившихся убѣжденій и, только замѣтивъ и въ немъ ту же позорную уступчивость, которая возмущаетъ его въ другихъ, хочетъ сразу разорвать съ нимъ *дружбу*:

Moi, votre, ami? Rayez cela de vos papiers.
J'ai fait jusques ici profession de l'être;
Mais, après ce qu'en vous je viens de voir paraître,
Je vous déclare net que je ne le suis plus.

Къ горячности Альцеста онъ относится большею частью саркастически, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ извѣстной степени уважаетъ честность его убѣжденій, лишь находя ихъ непрактическими и подчасъ даже просто забавными. Онъ не только *смѣетъ* свое сужденье имѣть, но, когда его другу грозитъ опасность или даже хоть мелкая непріятность,

онъ по-своему волнуется и смѣшивается. На многія вещи онъ, пожалуй, смотритъ такъ же, какъ и Альцестъ, но знаетъ и то, что эти взгляды нужно высказывать умѣючи и кстати, и что есть мѣста, гдѣ полная откровенность мнѣнін показалась бы смѣшной или прямо непозволительною (il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule, et serait peu permise). Онъ не филантропъ, какъ его хотѣли выставить нѣкоторые и какъ, пожалуй, сгоряча обозвалъ его однажды самъ Альцестъ (l'ami du genre humain), и въ то же время не безнравственный софистъ, у котораго найдется оправданіе для каждой темной продѣлки, — онъ представляетъ собою мастерское и широко задуманное олицетвореніе идеи компромисса, царящей испоконъ вѣка надъ человѣчествомъ.

Рядомъ съ нимъ Молчалинъ является гораздо точнѣе обрисованнымъ развѣтвленіемъ того же родового типа. Въ комедіи, впрочемъ, онъ не одинъ служитъ представителемъ морали въ филэнтовскомъ вкусѣ: тѣ же взгляды высказываютъ, кромѣ него, при разныхъ случаяхъ и Софія и Фамусовъ; къ тому же Чацкаго связываетъ съ Софьей такая же близость съ дѣтства, какъ двухъ друзей въ мольеровской пьесѣ, и совершившаяся въ ней перемѣна такъ же глубоко поражаетъ его. Взятый же отдѣльно, характеръ Молчалина опять выкажетъ намъ такое же своеобразное чисто-русское объясненіе общаго типа, какое мы видѣли въ Софьѣ. Это русскій *чиновникъ*, съ глубоко усвоеннымъ имъ съ дѣтства (эта черта живо приводитъ на память отцовскія наставленія Чичикову), совсѣмъ заматерѣвшимъ въ немъ кодексомъ лакейскихъ убѣжденій. Такую форму низкопоклонство способно было принимать въ особенности у насъ, вслѣдствіе различныхъ историческихъ вліяній. Это своего рода *дворовый*, для котораго важно было пріобрѣсти съ „чиномъ ассесора“ дворянство, но который остался навсегда съ типическими особенностями крѣпостного слуги, съ его наружнымъ раболѣпіемъ и потаеннымъ обманомъ. Если онъ чему-нибудь удивляется въ Чацкомъ, позволяя себѣ въ этомъ отношеніи имѣть свое сужденіе, то именно отсутствію въ немъ дѣловой, чиновничьей практичности, которая доставляетъ человѣку возможность „служить, и награжденья брать, и весело пожить“. Наконецъ, онъ способенъ притворяться влюбленнымъ въ Софью, увѣрять въ сильной любви и Лизу, съ ко-

торую на дѣлѣ просто хочетъ завязать мелкую интригу, тогда какъ спокойный и разсудочный Филэнтъ, почувствовавъ привязанность къ кроткой и искренней Эліантѣ, откровенно проситъ ея согласія на бракъ по разсудку, безъ особой страсти, но съ взаимнымъ уваженіемъ.

За изученными нами тремя главными дѣйствующими лицами обѣихъ комедій, которыми исчерпывается существенное сродство пьесъ (для Фамусова нѣтъ прототипа у Мольера), выступаетъ множество личностей аксессуарныхъ, особенно многочисленныхъ у Грибоѣдова. Но тутъ уже открывается широкое раздолье для бытовыхъ, нравоописательныхъ картинъ, которыя, по справедливости говоря, гораздо полнѣе въ сатирическомъ освѣщеніи „Горе отъ ума", чѣмъ въ грозно-обличительномъ тонѣ *Мизантропа*. Русскій писатель, въ такой степени умѣвшій отстоять свою независимость при обрисовкѣ положеній и характеровъ, общихъ съ его стариннымъ образцомъ, здѣсь является уже полнымъ неограниченнымъ властелиномъ, увѣковѣчивъ живыя черты русскаго общества начала текущаго вѣка, съ его мутными и здоровыми течепіями, и на этомъ преимущественно основавъ соціальное значеніе своей комедіи.

Кончаемъ нашъ обзоръ, и намъ кажется, что результатъ его можно назвать утѣшительнымъ. Въ виду несомнѣннаго сходства двухъ произведеній, пришлось провѣрить главныя ихъ черты, одну за другой, — и, когда постепенно отпадали случайные, наружные признаки этой близости, обнаруживалось все яснѣе, высшее духовное сродство двухъ писателей съ одинаковыми задатками характера, одинаковымъ положеніемъ среди общества и типической субъективностью творчества. Потомокъ прошелъ по пути, проложенному его великимъ предкомъ, но на основѣ, завѣщанной ему, сумѣлъ возвести свое самобытное зданіе; и русскій человѣкъ, сознавая это, можетъ только добромъ помянуть мольеровскаго Альцеста, безъ котораго, кто знаетъ, не было бы, можетъ-быть, и Чацкаго, по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сталъ дорогъ всѣмъ намъ. *Веселовскій.*

Фамусовъ.

Куда какъ чуденъ созданъ свѣтъ!
Пофилософствуй — умъ вскружится!
То бережешься, то обѣдъ;
Ѣшь три часа, а въ три дня не сварится.

Такъ разсуждаетъ Павелъ Аѳанасьевъ Фамусовъ. И эта животная философія есть рычагъ всей его дѣятельности.

Нравственной стороны жизни Павелъ Аѳанасьевичъ не понимаетъ; не понимаетъ ея и все его общество: Молчалины, Загорѣцкіе, Скалозубы, Хлестовы, — эти представители идей и чувствъ отжившаго XVIII вѣка.

Павелъ Аѳанасьевичъ Фамусовъ изображенъ въ комедіи какъ общественный дѣятель. чиновникъ и какъ отецъ. Какъ общественный дѣятель, онъ стоитъ очень низко. Онъ служитъ не „дѣлу", а „лицамъ" (по выраженію Чацкаго). Онъ учитъ Чацкаго, во второмъ актѣ, какъ надо служить. Идеалъ служащаго человѣка для него — только что умершій дядя его Максимъ Петровичъ. камергеръ двора императрицы Екатерины, знатный и богатый, тщеславный и высокомѣрный съ низшими, униженный предъ высшими.

На куртагѣ ему случилось оступиться (разсказываетъ про Максима Петровича Фамусовъ):

Упалъ, да такъ, что чуть затылка не пришибъ.
  Старикъ заохалъ... голосъ хрипкой...
Былъ высочайшею пожалованъ улыбкой —
  Изволили смѣяться... Какъ же онъ?
Привсталъ, оправился, хотѣлъ отдать поклонъ,
  Упалъ вдругорядъ, уже нарочно;
А хохотъ пуще, — онъ и въ третій такъ же точно!
  А! ка́къ по-вашему? По-нашему — смышленъ:
Упалъ онъ больно — всталъ здорово.

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ,

замѣчаетъ Чацкій,

Какъ тотъ и славился, чья чаще гнулась шея,
Какъ не въ войнѣ, а въ мирѣ брали лбомъ,
  Стучали объ полъ, не жалѣя.

Дѣломъ Фамусовъ не занимается: для этого у него есть секретарь Молчалинъ; онъ только подписываетъ бумаги. У меня, — говоритъ онъ, —

Что дѣло, что не дѣло —
Обычай мой такой:
Подписано, такъ съ плечъ долой.

Мѣста у себя раздаетъ онъ только своимъ родственникамъ. Въ поговорку вошли его слова:

Какъ станешь представлять къ крестишку ль, къ мѣстечку,
Ну, какъ не порадѣть родному человѣчку!

Какъ отецъ, Павелъ Аѳанасьевичъ тоже стоитъ низко. Онъ не понимаетъ родительскихъ чувствъ:

Мать умерла — умѣлъ я принанять,
Въ мадамъ Розье, вторую мать!

Попрекаетъ онъ Софью Павловну, убѣжденный, что родительскія чувства можно купить за деньги. Онъ воспитываетъ и учитъ свою дочь, но потому только, что этого требуетъ свѣтъ, и притомъ совершенно внѣшнимъ образомъ. Какъ всѣ московскіе отцы его общества, онъ (по выраженію Чацкаго) хлопочетъ

Набирать учителей полки,
Числомъ поболѣе, цѣною подешевле.

Эти дешевые педагоги обучаютъ Софью Павловну (по его собственнымъ словамъ)

И танцамъ, и пѣнью, и нѣжностямъ, и вздохамъ.

Благовоспитанная дѣвица, по его мнѣнію, должна только умѣть не уронить себя въ гостиной, понравиться свѣтскому обществу. Онъ въ восторгѣ отъ московскихъ барышень:

Умѣютъ же себя онѣ принарядить
Тафтицей, бархатцемъ и дымкой;
Словечко въ простотѣ не скажутъ — все съ ужимкой!
Французскіе романсы вамъ поютъ
И верхнія выводятъ нотки;
Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ,
А потому, что патріотки.

Павелъ Аѳанасьевичъ заботился и о замужествѣ дочери. Но не за того хочетъ онъ отдать ее, кто могъ бы составить

ея счастье, кого она могла бы полюбить. Онъ прочитъ ей въ женихи полковника Скалозуба, потому что такой выборъ одобритъ свѣтъ. А Софья Павловна терпѣть не можетъ Скалозуба, что ей все равно, что за него, что въ воду, до этого Павлу Аѳанасьевичу нѣтъ дѣла, — важно только то, что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣевна.

Незеленовъ.

Павелъ Аѳанасьевичъ Фамусовъ очень кратко характеризуется авторомъ. Онъ — *управляющій казеннымъ мѣстомъ*, то-есть *высокопоставленное чиновное лицо*.

Характеристика эта была бы слишкомъ неопредѣленна, если бы самъ Грибоѣдовъ не дополнилъ ее устными поясненіями. Онъ подробно разсказывалъ многимъ, въ томъ числѣ и М. С. Щепкину, на копію съ какого именно лица писалъ онъ роли своей комедіи, каковы были привычки и пріемы каждаго изъ его дѣйствующихъ лицъ. Въ Фамусовѣ выведенъ родной дядя автора, Алексѣй Ѳедоровичъ Грибоѣдовъ. Онъ состоялъ начальникомъ Московскаго архива, въ которомъ гг. N. и D. служили чиновниками. А. Ѳ. Грибоѣдовъ былъ женатъ на княжнѣ Александрѣ Сергѣевнѣ Одоевской и задавалъ балы и маскарады, на которые приглашалась вся московская знать. М. С. Щепкинъ зналъ, что онъ дѣлаетъ, когда игралъ Фамусова со звѣздой на фракѣ и изображалъ въ немъ „московскаго барина, со всею его важностью“ Любопытно, что М. С. Щепкинъ, бывшій, какъ утверждаютъ, лучшимъ Фамусовымъ, самъ считалъ себя неспособнымъ создать эту роль. Онъ говорилъ: „ну, какой я Фамусовъ? Фамусовъ — *баринъ*, а я что?“

Такимъ образомъ, довольно неопредѣленное выраженіе: *управляющій казеннымъ мѣстомъ* — вполнѣ уясняется. Фамусовъ — важный московскій баринъ, занимающій почетное мѣсто въ служебной іерархіи Москвы. Было бы большою ошибкой представлять себѣ Фамусова чиновникомъ. По рожденію и по родству онъ принадлежитъ къ высшему московскому обществу. Онъ сталъ бы давать балы и маскарады, пользовался бы извѣстностью и почетомъ, даже если бы совсѣмъ не служилъ, не былъ бы управляющимъ казеннымъ мѣстомъ. Это совсѣмъ не человѣкъ, обязанный службѣ тѣмъ,

что вышелъ въ люди, обязанный своимъ способностямъ тѣмъ, что составилъ себѣ хорошую карьеру, обязанный этой карьерѣ тѣмъ, что его принимаютъ въ высшемъ обществѣ. Почетная должность является какъ бы чѣмъ-то подразумѣвающимся по себѣ при родствѣ, связяхъ и происхожденіи Фамусова. Его „покойникъ дядя“, Максимъ Петровичъ, былъ „весь въ орденахъ“, ѣздилъ „вѣчно цугомъ“, зналъ „передъ всѣми почетъ“, выводилъ въ чины и давалъ пенсіи. Если Фамусовъ не могъ не порадѣть „родному человѣчку“, какъ скоро дѣло шло о представленіи къ ордену или мѣсту, то само собою разумѣется, что Максимъ Петровичъ точно такъ же радѣлъ о племянникѣ. Молчалинъ получилъ, состоя при Фамусовѣ, три награды въ продолженіе трехъ лѣтъ, а между тѣмъ Молчалинъ былъ ему не свой. Можно представить себѣ, во сколько разъ легче и успѣшнѣе доставались самому Фамусову повышенія и производства, приведшія его, наконецъ, къ занимаемой имъ теперь должности. Если должность до извѣстной степени украшала Фамусова звѣздами и титулами, то онъ въ такой же степени украшалъ занимаемый имъ постъ своею родовитостью и своимъ представительствомъ. Онъ былъ извѣстенъ всей Москвѣ, какъ важный баринъ, столбовой дворянинъ и радушный хлѣбосолъ.

Чтобъ уяснить себѣ, что Фамусовъ совсѣмъ не чиновникъ, полезно собрать въ одно цѣлое все, что онъ говоритъ о своемъ отношеніи къ службѣ:

Я, Софья Павловна, разстроенъ самъ: день цѣлый
Нѣтъ отдыха, мечусь какъ словно угорѣлый;
По должности, по службѣ хлопотня,
Тотъ пристаетъ, другой, — всѣмъ дѣло до меня!

Правда ли это? Нѣтъ ли значительнаго преувеличенія, когда Фамусовъ утверждаетъ, что онъ цѣлый день не имѣетъ отдыха отъ хлопотни по службѣ? По крайней мѣрѣ то, что мы видимъ предъ собою, совершенно противорѣчитъ представленію относительно обремененности Фамусова служебными занятіями. Когда Молчалинъ говоритъ, что несетъ бумаги для доклада, Фамусовъ задаетъ ему вопросъ:

Что это вдругъ припало
Усердье къ письменнымъ дѣламъ?

Ежедневный докладъ бумагъ секретаремъ начальнику если

такое обычное дѣло, что вопросъ Фамусова можно объяснить себѣ лишь тѣмъ, что бумаги докладывались ему далеко не каждый день. На это предположеніе прямо наводитъ его восклицаніе:

Да, ихъ недоставало!

Такому угодливому секретарю, какъ Молчалинъ, должно было давно быть извѣстнымъ, что Фамусовъ не любитъ бумагъ. По всей вѣроятности, онъ лишь изрѣдка носилъ ихъ къ своему начальнику, выбравъ время, когда тотъ былъ въ духѣ, или когда онъ могъ поднести ему для подписи что-нибудь пріятное для него: представленіе родного человѣка, опредѣленіе на службу сына, сестры и т. д. Вслѣдъ за этими бумагами Фамусовъ подписывалъ и всѣ остальныя, разумѣется, не читая ихъ. За дѣловитость ручалась скрѣпа секретаря. Не даромъ же Фамусовъ держалъ при себѣ „дѣлового" Молчалина. Фамусовъ слѣдовалъ въ этомъ отношеніи лишь обычному въ то время порядку. Дѣловой секретарь былъ всѣмъ не только у отдѣльныхъ лицъ, но и въ цѣлыхъ коллегіальныхъ присутствіяхъ. Онъ наблюдалъ „форму", выписывалъ законы, подводилъ справки, составлялъ заключеніе. Начальнику оставалось только подписывать. Формально все было въ порядкѣ, а въ формѣ заключалось главное дѣло. Соотвѣтственно духу времени онъ только пользовался своимъ положеніемъ, чтобъ устраивать родныхъ:

При мнѣ служащіе *чужіе* очень рѣдки:
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.
Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой,
И то затѣмъ, что дѣловой.
Какъ станешь представлять къ крестишку иль къ мѣстечку,
Ну, какъ не порадѣть родному человѣчку!

И Фамусовъ не былъ въ этомъ отношеніи исключеніемъ. Вслѣдъ за только что произнесенными словами онъ говоритъ, обращаясь все къ тому же Скалозубу:

Однако *братецъ вашъ* мнѣ другъ и говорилъ,
Что *вами выгодъ тьму по службѣ получилъ.*

Скалозубъ точно такъ же *доставлялъ выгоды по службѣ* своему двоюродному брату, какъ дѣлалъ это Фамусовъ по отношенію къ своимъ родственникамъ и свойственникамъ, какъ дѣлалъ это Максимъ Петровичъ по отношенію къ Фамусову.

Какъ начальникъ, какъ управляющій казеннымъ мѣстомъ, Фамусовъ лишь эпизодически задѣваетъ дѣйствіе комедіи. Изъ этихъ эпизодовъ перваго и второго актовъ мы узнаемъ, что Фамусовъ, какъ начальникъ, любитъ навести страхъ на подчиненныхъ:

Дай волю вамъ, — оно бы и засѣло,

говоритъ онъ Молчалину. Софья ставитъ въ особую заслугу Молчалину то обстоятельство, что онъ три года безпрекословно терпитъ всѣ придирки ея отца, какъ начальника:

При батюшкѣ три года служитъ,
Тотъ часто безъ толку сердитъ,
А онъ безмолвіемъ его *обезоружитъ,*
Отъ доброты души *проститъ.*

На Фамусова, безъ сомнѣнія, часто находили полосы *безтолковой* сердитости. По словамъ той же Софьи, онъ былъ *неугомоненъ* и *скоръ.* Этими двумя послѣдними опредѣленіями вполнѣ объясняется, въ чемъ состояла его *безтолковая сердитость,* какъ начальника. Онъ былъ *начальникомъ вообще.* Онъ обособлялъ должность *начальника* въ какое-то особое призваніе, свойственное только людямъ его происхожденія, родства и связей. Отъ начальника совсѣмъ не требовалось, по мнѣнію Фамусова, знанія дѣла. Дѣло должны были знать секретари, чиновники, носившіе спеціальное прозвище „дѣловыхъ". Начальники должны были только начальствовать, наблюдать за тѣмъ, чтобы бюрократическая машина вертѣлась, не останавливалась. У Фамусова былъ лишь *одинъ* страхъ, по отношенію къ службѣ, но зато — *смертельный:*

Боюсь, сударь, я *одного смертельно,*
Чтобъ *множество не накопилось ихъ;*
Дай волю вамъ, — оно бы и засѣло...

Онъ смертельно боится, чтобы не накопилось *неисполненныхъ бумагъ,* т.-е., говоря другими словами, что его можно будетъ упрекнуть въ бездѣятельности власти. Отсюда знаменитое: *подписано — и съ плечъ долой.* Фамусовъ часто сердился *безъ толку,* ибо не имѣлъ понятія о существѣ дѣла. Представительный и важный въ смыслѣ внѣшней, показной

стороны начальника. Фамусовъ былъ *вспыльчивый* и *безтолковый торопыга* по отношенію къ своимъ подчиненнымъ. Но вспыльчивость его скоро проходила. Не нужно было только противорѣчить ему, подливать масла въ огонь. Молчалинъ быстро *обезоруживалъ* его своимъ молчаніемъ.

Для характеристики Фамусова, какъ управляющаго казеннымъ мѣстомъ, важенъ порядокъ того дня, который проходитъ предъ нами. Фамусовъ встаетъ очень рано. Для чего дѣлаетъ онъ это? Чтобы заниматься дѣлами? Нѣтъ. Онъ бродитъ по дому, болтаетъ съ Лизой и лишь случайно встрѣчаетъ своего секретаря, который, только чтобы вывернуться изъ бѣды, утверждаетъ, что несъ ему бумаги для доклада. Разборъ бумагъ занимаетъ не болѣе получаса. Весь остальной день Фамусовъ проводитъ въ пріемѣ гостей, а вечеромъ у него балъ. Чацкій застаетъ его вносящимъ въ книгу на память „разныя дѣла". Но въ чемъ состоятъ они? Во вторникъ Фамусовъ званъ на форели къ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ, въ четвергъ онъ званъ на погребенье, въ четвергъ же, а можетъ-быть, въ пятницу или субботу, онъ долженъ крестить у докторши.

Фамусовъ — не чиновникъ. Онъ — московскій баринъ и такъ называемый *тузъ* той пограничной эпохи, когда преданія „золотого вѣка" Екатерины еще смѣшивались, какъ живыя воспоминанія, съ новыми теченіями и направленіями. Корни Фамусова лежатъ еще въ XVIII вѣкѣ, въ царствованіи Екатерины.

Отсюда всѣ идеалы Фамусова. Онъ выросъ и воспитывался въ вѣкъ Екатерины, — вѣкъ барства, роскоши и случайныхъ людей, по преимуществу. Это былъ удивительный вѣкъ, поразительно картинный, — вѣкъ удивительныхъ удачъ, — вѣкъ, создавшій цѣлую плеяду блестящихъ людей, блестящихъ предпріятій, блестящихъ подвиговъ. Все было велико вокругъ Великой Екатерины. Когда происходила закладка собора во вновь создавшемся городѣ Екатеринославѣ, то Потемкинъ приказалъ архитектору „пустить на аршинчикъ длиннѣе, чѣмъ соборъ св. Петра въ Римѣ". Кто выросъ въ этомъ вѣкѣ, тотъ навсегда оставался подъ его впечатлѣніями и вліяніями. Особенно если это былъ человѣкъ темперамента. Такъ было и съ Фамусовымъ. Ему пришлось въ лицѣ дяди, Максима Петровича, придти въ ближайшее соприкосновеніе

съ екатерининскимъ вельможей Максимъ Петровичъ навѣкъ остался для него идеаломъ:

. . . . . онъ не то *на серебрѣ*,
На *золотѣ* ѣдалъ; сто человѣкъ къ услугамъ;
Весь въ орденахъ; ѣзжалъ-то *вѣчно цугомъ;*
Вѣкъ при дворѣ, да при *какомъ дворѣ!*
Тогда не то, что нынѣ, —
При государынѣ служилъ Екатеринѣ.
А въ *тѣ поры* всѣ важны, *въ сорокъ пудъ!...*
Раскланяйся — *тупеемъ не кивнутъ.*
Вельможа въ случаѣ, тѣмъ паче,
Не какъ другой, и *пилъ и ѣлъ иначе.*
А дядя! Что твой князь, что графъ!
Серіозный взглядъ, надменный нравъ!
. . . .
. . . . . Въ вистъ кто чаще приглашенъ?
Кто слышитъ при дворѣ привѣтливое слово?
Максимъ Петровичъ! Кто предъ всѣми зналъ почетъ?
Максимъ Петровичъ! Шутка!
Въ чины выводитъ кто и пенсіи даетъ?
Максимъ Петровичъ! Да... Вы, *нынѣшніе*, нутка!

Это цѣлая картина, прямо напоминающая описаніе сказокъ. Возьмемъ *Сказку о сѣромъ волкѣ* Жуковскаго:

Карета въ восемь лошадей (трубачъ
Съ трубою впереди) къ крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачетъ;
И та карета золотая; козлы
Съ подушкою и бархатнымъ покрыты
Наметомъ; позади шесть гайдуковъ;
Шесть скороходовъ по бокамъ; ливреи
На нихъ изъ сѣраго сукна, по швамъ
Басоны; на каретныхъ дверцахъ гербъ;
Въ червленомъ полѣ волчій хвостъ подъ графской
Короною.

Аналогія поразительна. Въ парадной каретѣ, запряженной цугомъ, съ форейторами впереди и гайдуками на запяткахъ, ѣдетъ Максимъ Петровичъ, весь осыпанный орденами, и не киваетъ тупеемъ на расточаемые ему поклоны. Не знаешь, дѣйствительность ли дала матеріалъ для сказочной картины, или же сказка послужила оригиналомъ для воспроизведенія ея въ дѣйствительной жизни. По свидѣтельству Грибов-скаго, статсъ-секретаря Екатерины, графъ Иванъ Андреевичъ Остерманъ выѣзжалъ въ торжественные дни ко двору и

въ Святую недѣлю къ качелямъ одинъ въ одноместной *позолоченной* каретѣ съ большими спереди и по сторонамъ стеклами, на *шести бѣлыхъ лошадяхъ:* сзади стояли два гайдука въ голубыхъ епанчахъ, подъ которыми были казакины съ серебряными шнурками, похожіе на венгерки, а на головахъ высокіе картузы съ перьями и серебряными бляхами спереди, на которыхъ видно было вензелевое имя; передъ лошадьми же шли два скорохода въ обыкновенномъ своемъ нарядѣ, съ булавчатыми тростями и въ башмакахъ, несмотря ни на какую грязь". Графъ Безбородко въ торжественные праздники пріѣзжалъ ко двору въ великолѣпной позолоченной четвероместной осьмистекольчатой каретѣ. Такъ же ѣздилъ и Максимъ Петровичъ. Впечатлѣніе, производимое Максимомъ Петровичемъ, такъ величественно, что онъ даже физически вырастаетъ изъ пропорцій обыкновеннаго человѣка. Въ немъ „сорокъ пудъ". Онъ вѣкъ при дворѣ, „да при какомъ дворѣ?" При самомъ великолѣпномъ изъ когда-либо существовавшихъ, при дворѣ наиболѣе могущественной государыни цѣлой Европы. Но даже среди этого двора Максимъ Петровичъ выдѣляется и пользуется вниманіемъ самой Екатерины. Онъ чаще всѣхъ другихъ слышитъ отъ нея „привѣтливое слово", онъ чаще всѣхъ приглашается играть въ вистъ въ партіи самой императрицы. Кому же подражать, какъ не Максиму Петровичу: съ кого же брать примѣръ, какъ не съ него? Если даже Максимъ Петровичъ умѣлъ „сгибаться въ перегибъ", когда ему нужно было „подслужиться", то можетъ ли для Фамусова оставаться сомнѣніе въ томъ, что слѣдуетъ „подслуживаться" и „сгибаться", разумѣется — когда нужно и передъ кѣмъ нужно. Одни Молчалины одинаково угождали всѣмъ и гнулись передъ всѣми. Фамусовъ былъ человѣкъ другой породы. Онъ былъ столбовой дворянинъ. Въ силу своего происхожденія онъ, Чацкій, Скалозубъ, — всѣ они являлись на свѣтъ уже людьми, тогда какъ Молчалинымъ еще нужно было „выйти въ люди", послѣ того какъ каждый изъ нихъ только родился человѣкомъ. Столбовое дворянство не освобождало человѣка отъ подслуживанія и сгибанія, составлявшихъ въ то время принадлежность каждой службы. Но оно вносило оттѣнокъ. Кругъ „подслуживанія" суживался, а самый характеръ его нѣсколько измѣнялся. Само собою разумѣется, что „дѣтки" сестры и свояченицы, служившіе при

Фамусовѣ, „подслуживались" къ нему иначе, нежели Молчалинъ. Они обязательно являлись къ нему для поздравленія съ торжественными и семейными праздниками, не пропускали ни одного изъ его баловъ, къ которымъ были приглашены разъ навсегда, пріѣзжали навѣщать его и справляться объ его здоровьи при малѣйшемъ недомогательствѣ Фамусова. Какое различіе въ отношеніяхъ Фамусова къ Молчалину и къ Чацкому, молодымъ людямъ *одинаковаго* возраста.

„*Дай волю вамъ*, оно бы и засѣло", — говоритъ Фамусовъ Молчалину.

„Эхъ, Александръ Андреевичъ! Дурно братъ"! — говоритъ онъ Чацкому, послѣ того какъ выслушалъ наединѣ „безпощадную брань" на вѣкъ, въ которомъ лежатъ корни и идеалы Фамусова.

Фамусовъ никогда не сталъ бы такъ разговаривать съ Молчалинымъ, хотя онъ также говоритъ ему *ты* и *братъ*. И въ этомъ состоитъ оттѣнокъ. Молчалины искали чиновъ. Чины сами искали Фамусовыхъ и Чацкихъ. Но для этого необходимо было служить. Въ прохожденіи службы опять-таки было существенное различіе. Въ то время, когда Молчалины обязаны были быть дѣловыми, то-есть дѣйствительно нести на себѣ всю работу, Фамусовымъ нужно было соблюдать лишь одно этикетную сторону службы, составляющую, въ сущности, лишь усиленное примѣненію свѣтскихъ приличій, обязательствъ и отношеній.

Если служба кормила подьячихъ и „выводила въ люди" извѣстную часть „крапивнаго сѣмени", то по отношенію къ столбовымъ дворянамъ она доставляла почетъ, чины, ордена, титулы, вліяніе, власть. Фамусову непонятно, какимъ образомъ можно отказаться отъ пріобрѣтенія всѣхъ этихъ отличій, которыя достигаются такъ легко: простымъ подслуживаніемъ. Его идеалъ, Максимъ Петровичъ, даже „сгибался въ перегибъ", когда это было нужно. Ужели же, въ виду такого примѣра, подаваемаго старикомъ и вліятельнымъ вельможей, могло еще оставаться сомнѣніе въ томъ, что смышленый человѣкъ долженъ ему подражать? Разсказавъ Чацкому извѣстный анекдотъ о томъ, какъ Максиму Петровичу „на куртагѣ случилось оступиться", Фамусовъ спрашиваетъ:

А? какъ по-вашему? По-нашему — *смышленъ*:
Упалъ онъ больно, всталъ здорово.

Это выраженіе *смекнулъ* представляетъ геніальную черту со стороны Грибоѣдова. Все это „подслуживаніе“ было результатомъ простой смышлености, такъ называемой смѣтливости, приложенной къ разрѣшенію мудреной житейской задачи: какъ подступиться къ человѣку, который, не въ примѣръ другимъ людямъ, вѣситъ сорокъ пудовъ и даже „ѣстъ и пьетъ иначе“? Что нужно дѣлать, чтобъ обратить на себя вниманіе такого человѣка, когда онъ даже не киваетъ на вашъ поклонъ, а между тѣмъ ваша судьба, такъ или иначе, зависитъ отъ него? Русскій человѣкъ „смекнулъ“, что къ такимъ людямъ нужно было „подслуживаться“. Въ этомъ „подслуживаніи“ вся дѣловая часть службы была исключена напередъ, исключена по принципу. Дѣло шло совсѣмъ не о службѣ, какъ о таковой. Служба шла своимъ чередомъ. Она совершалась людьми крапивнаго сѣмени, секретарями, повытчиками, копіистами, канцелярскими служителями, совершалась въ канцеляріяхъ, куда начальство заглядывало одинъ разъ въ нѣсколько лѣтъ. Дѣло шло о снисканіи *личнаго* благоволенія начальствующаго лица къ извѣстной *личности*. Для этого нужно было *личное* угожденіе: сначала оказаніемъ усиленнаго *личнаго* почтенія вообще, потомъ изысканіемъ спеціальныхъ и частныхъ случаевъ сдѣлать нѣчто *лично* пріятное извѣстному лицу и тѣмъ обратить на себя его вниманіе и поощреніе, которое могло выразиться не иначе, какъ въ формѣ награжденія по службѣ. Въ этомъ отношеніи необыкновенно характеренъ для міросозерцанія Фамусова тотъ случай, какой онъ разсказываетъ Чацкому про Максима Петровича. Случай этотъ представляетъ наглядный образецъ того, что Фамусовъ понимаетъ подъ словомъ *подслуживаніе*, а отецъ Молчалина подъ словомъ *угожденіе*. И вотъ почему Фамусовъ прямо видитъ *гордость* въ томъ, что Чацкому *тошно прислуживаться*, хотя бы онъ и радъ былъ служить. Угожденіе начальнику нераздѣльно для Фамусова съ понятіемъ о службѣ. Онъ не понимаетъ служенія дѣлу, а не лицамъ. Только лица, а не дѣло выводятъ въ чины и даютъ пенсіи.

Фамусовъ въ непосредственной близости видалъ дядю Максима Петровича, достигшаго вершины почестей, къ какимъ только можетъ привести служба, а между тѣмъ Максимъ Петровичъ „сгибался въ перегибъ“, даже когда стоялъ

уже на этой вершинѣ. Ничто не дѣйствуетъ такъ сильно, какъ примѣръ, ничто не врѣзывается въ память такъ ярко и прочно, какъ картина. Молодой Фамусовъ безсознательно слѣдовалъ общему теченію, когда, при вступленіи на службу, оказывалъ угодливость начальству: онъ поступалъ какъ всѣ, не мудрствуя и не разсуждая. Максимъ Петровичъ первый подѣйствовалъ на его воображеніе, запечатлѣлся въ немъ картиной и примѣромъ. Только въ этомъ человѣкѣ, бывшемъ для него идеаломъ, для Фамусова внезапно открылась руководящая нить въ тѣхъ поступкахъ, какіе онъ прежде совершалъ безсознательно. Только Максимъ Петровичъ открылъ Фамусову *смышленость*, принципъ, заключавшійся въ „подслуживаніи“. Эта смышленость поразила Фамусова. Она не могла не сдѣлать этого, ибо для Фамусова, человѣка темперамента и практическаго здраваго смысла, того, что французы называютъ *gros bon sens*, человѣка мало образованнаго и презиравшаго идеологію, для Фамусова *смышленость* была высшимъ выраженіемъ ума. И съ этой минуты „прислуживаніе“ сложилось для него въ убѣжденіе. Онъ совершенно искренно хочетъ обратить Чацкаго на путь, который считаетъ истиннымъ, разсказывая ему случай о томъ, какъ поступилъ Максимъ Петровичъ, когда ему „на куртагѣ случилось оступиться“. Его поражаетъ находчивость дяди. Другой, менѣе смышленый, навсегда сталъ бы смѣшнымъ, послѣ того какъ поскользнулся и упалъ на придворномъ паркетѣ. Максимъ Петровичъ не потерялся. Онъ сознательно сталъ *смѣшить*, послѣ того какъ безсознательно оказался *смѣшнымъ*. Онъ быстро овладѣлъ положеніемъ и вышелъ изъ него побѣдителемъ. И Фамусовъ съ глубочайшимъ убѣжденіемъ восклицаетъ:

А? какъ по-вашему?... По-нашему, *смышленъ*.

Человѣкъ екатерининскаго времени, столбовой дворянинъ, баринъ и хлѣбосолъ, Фамусовъ не могъ не сочувствовать Москвѣ, бывшей въ ту эпоху дворянскимъ городомъ по преимуществу. Вотъ что пишетъ Пушкинъ (*Мысли на дорогѣ*):

„Нѣкогда въ Москвѣ пребывало богатое неслужащее дворянство, вельможи, оставившіе дворъ, люди независимые, безпечные, страстные къ безвредному злорѣчію и къ деше-

вому хлѣбосольству. Нѣкогда Москва была сборнымъ мѣстомъ для всего русскаго дворянства, которое изо всѣхъ провинцій съѣзжалось въ нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда же изъ Петербурга. Во всѣхъ концахъ древней столицы гремѣла музыка, и вездѣ была толпа. Въ залѣ Благороднаго Собранія, два раза въ недѣлю, было до пяти тысячъ народу. Тутъ молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невѣстами, какъ Вязьма пряниками. Московскіе обѣды вошли въ пословицу. Невинныя странности москвичей были признакомъ ихъ независимости. Они жили по-своему, забавлялись, какъ хотѣли, мало заботясь о мнѣніи ближняго. Бывало, богатый чудакъ выстроитъ себѣ на одной изъ главныхъ улицъ китайскій домъ съ зелеными драконами, съ деревянными мандаринами подъ золочеными зонтиками. Другой выѣдетъ въ Марьину рощу въ каретѣ изъ чистаго серебра 84-й пробы. Третій на запятки четвероместныхъ саней поставитъ человѣкъ пять арабовъ, егерей и скороходовъ и цугомъ тащится по лѣтней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургскія моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербургъ издали смѣялся и не вмѣшивался въ затѣи старушки-Москвы".

Это — картина Москвы, какою была она въ эпоху Фамусова, Москвы — дворянской. Отсюда становится понятнымъ все, что говоритъ Фамусовъ про Москву, все, что онъ подчеркиваетъ въ своемъ знаменитомъ описаніи ея. Онъ восхищается и гордится Москвой, какъ средоточіемъ дворянства, какъ оплотомъ его правъ. Когда онъ говоритъ *мы, наши, у насъ*, онъ подразумѣваетъ исключительно дворянъ. Если „съ головы до пятокъ на всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ", то это—отпечатокъ особенностей, свойственныхъ дворянству.

Вотъ, напримѣръ, у насъ ужъ изстари ведется,
Что по отцу и сыну честь;
Будь плохонькій, да если наберется
Душъ тысячки двѣ *родовыхъ*,
Тотъ и женихъ.
Другой хоть *прытче* будь, надутый всякимъ чванствомъ,
Пускай себѣ разумникомъ слыви,
А въ семью не включатъ, на насъ не подиви.
Вѣдь *только здѣсь* еще и *дорожатъ дворянствомъ!*...

А наши старички? Какъ ихъ возьметъ задоръ,
Засудятъ о дѣлахъ: что слово — приговоръ!
Вѣдь *столбовые всѣ: въ усъ никому не дуютъ...*
Прямые канцлеры въ отставкѣ по уму!
Я вамъ скажу, *знать время не приспѣло,*
Но что безъ нихъ не обойдется дѣло.

Даже женщины круга Фамусова, московскія дворянки, и тѣ отличаются необычайными достоинствами и качествами ума и характера. Имъ можно поручить „командованіе передъ фрунтомъ“, ихъ можно „послать для присутствованія въ сенатѣ“. Происходитъ это оттого, что женщины эти тѣснѣйшимъ образомъ прикасаются ко всѣмъ дѣламъ. Объ одной изъ нихъ, Татьянѣ Юрьевнѣ, мы знаемъ, что

Чиновные и должностные
Всѣ ей друзья и всѣ родные.

Вся Москва ѣздила на поклонъ къ Татьянѣ Юрьевнѣ, Пульхеріи Андревнѣ, Иринѣ Власьевнѣ. Гостиныя ихъ пользовались такою же извѣстностью и такимъ же значеніемъ, какія имѣли въ Парижѣ такъ называемые *политическіе салоны*. Тамъ и здѣсь одинаково выводили въ люди, устраивали назначенія, повышенія, награжденія, складывали или уничтожали репутаціи, давали тонъ. Естественно, что сыны дворянъ также должны были чѣмъ-нибудь отличаться. Фамусовъ называетъ дочерей *патріотками*, а юношей, *сынковъ и внучатъ*, находитъ способными въ пятнадцатилѣтнемъ возрастѣ *учить своихъ учителей*. Почему? Потому что учителя были *побродяги*, тогда какъ юноши, ввѣренные ихъ воспитанію, были всѣ столбовые, носили въ себѣ унаслѣдованные идеалы.

Не *лиризмъ пошлости*, а глубокое и искреннее убѣжденіе вызываетъ у Фамусова его монологъ Москвѣ. Человѣкъ темперамента, онъ рисуетъ въ этомъ монологѣ Москву въ радужныхъ краскахъ идеала. Наединѣ съ собою Фамусовъ остается того же мнѣнія о Москвѣ:

Что за *тузы* въ *Москвѣ живутъ* и умираютъ!

Это восклицаніе вырывается у него, когда онъ разсуждаетъ съ самимъ собою о смерти Кузьмы Петровича. Оно совершенно искренно, какъ искрененъ весь Фамусовъ.

Фамусовъ дорожитъ *почтеннымъ житіемъ* и высказываетъ совершенно опредѣленный идеалъ такого житія.

Но память по себѣ намѣренъ кто оставить
Житьемъ похвальнымъ — вотъ примѣръ:
Покойникъ былъ *почтенный камергеръ*,
Съ ключомъ и *сыну ключъ умѣлъ доставить*;
Богатъ, и на богатой былъ женатъ;
Переженилъ дѣтей, внучатъ;
Скончался — всѣ о немъ прискорбно поминаютъ.

Васильевъ.

Женское общество въ комедіи „Горе отъ ума“.

Очень ярко обрисовано въ 3-мъ актѣ комедіи женское общество съ его страстью къ нарядамъ, сплетнямъ, пересудамъ.

Воспитанныя по-модному, съ дѣтства съ чужого голоса восторгающіеся невиданною ими Франціей, княжны Тугоуховскія, какъ только вошли въ залъ Фамусова, сейчасъ же съ увлеченіемъ и даже вдохновеніемъ заболтали съ Натальей Дмитріевной о фасонѣ платья, о фальбалахъ, эшарпахъ, „пор-люлю“. Уѣзжая съ бала, онѣ удивленнымъ хоромъ напускаются на Репетилова, какъ это онъ не вѣритъ сумасшествію Чацкаго, когда уже это „старыя вѣсти“, когда объ этомъ говорятъ всѣ.

Всѣ — магическое слово, — ему подчиняется и благородный, неглупый, но безхарактерный, слабый, пустоватый Платонъ Михайловичъ Горичевъ, этотъ —

Мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, изъ жениныхъ пажей.

Властительница его — Наталья Дмитріевна — любитъ его и заботиться, чтобъ онъ не простудился; но едва ли онъ для нея дороже комнатной собачки; она развозитъ его по ненавидимымъ имъ баламъ, какъ Хлестова своего „шпица“.

„Мой мужъ — прелестный мужъ!“ отзывается она о немъ, какъ о туалетной бездѣлушкѣ. Сверстница Натальи Дмитріевны и княженъ — Софья — стоитъ несомнѣнно выше ихъ по уму и сердцу.

Платонъ Михайловичъ не единственный примѣръ покорнаго и безгласнаго передъ женою мужа, — таковъ и князь

Тугоуховскій передъ своею супругою, этою расторопною маменькой, безустанно ловящей жениховъ для своихъ дочекъ и стремящейся при этомъ соблюсти свое аристократическое достоинство, заманивая на вечера только людей съ достаткомъ или камеръ-юнкерскимъ званіемъ.

Добрая знакомая княгиня, ея партнерша въ карточной игрѣ, свояченица Фамусова, Хлестова, занимаетъ въ обществѣ видное мѣсто, какъ это замѣтно изъ самоувѣренности ея сужденій и рѣчей, изъ ухаживаній за нею Молчалина. Сплетня — ея сфера: никто лучше ея не знаетъ всей подноготной каждаго члена фамусовскаго міра. Споря съ Фамусовымъ о числѣ душъ въ имѣніи Чацкаго, она съ пафосомъ вдохновенія восклицаетъ:

Нѣтъ, триста! ужъ чужихъ имѣній мнѣ не знать!

Очень характерно въ сознаніе своихъ дворянскихъ привилегій: крѣпостные для нея стоятъ на одной доскѣ со звѣрями:

От скуки я взяла съ собой
Арабку-дѣвку да собачку;
Вели ихъ накормить ужо, дружочекъ мой,
Отъ ужина сошли подачку.

При томъ, однако, Хлестова не лишена нѣкоторыхъ добрыхъ качествъ (признакъ художественности изображенія характера): такъ, она жалѣетъ Чацкаго

По-христіански, такъ онъ жалости достоинъ:
Былъ острый человѣкъ, имѣлъ душъ сотни три.

Правда, не имѣй Чацкій 300 душъ, она, можетъ, и не пожалѣла бы, но все-таки... Она способна и сказать правду вслухъ и въ глаза человѣку:

Лгунишка онъ, картежникъ, воръ,

громогласно отзывается она о Загорѣцкомъ.

Загорѣцкій вертится преимущественно среди женской половины фамусовскаго общества, угождая дамамъ сообщеніемъ новостей, подарочками и т. п., чтобы обезпечить себѣ доступъ въ дома, нужные ему для его шулерскихъ операцій.

[illegible]

Софья.

Смѣсь хорошихъ инстинктовъ съ ложью, живого ума съ отсутствіемъ всякаго намека на идеи и убѣжденія, — путаница понятій, умственная и нравственная слѣпота — все это не имѣетъ въ Софьѣ характера личныхъ пороковъ, а является, какъ общія черты ея круга. Въ собственной, личной ея физіономіи прячется въ тѣни что-то свое, горячее, нѣжное, даже мечтательное. Остальное принадлежитъ воспитанію.

Французскія книжки, на которыя сѣтуетъ Фамусовъ, фортепіано (еще съ аккомпаниментомъ флейты), стихи, французскій языкъ и танцы — вотъ что считалось классическимъ образованіемъ барышни. А потомъ „Кузнецкій Мостъ и вѣчныя обновы": балы, такіе, какъ этотъ балъ у ея отца, и это общество — вотъ тотъ кругъ, гдѣ была заключена жизнь „барышни". Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпала онѣ изъ романовъ, повѣстей — и оттуда инстинкты развивались въ уродливыя, жалкія или глупыя свойства: мечтательность, сентиментальность, исканіе идеала въ любви, а иногда и хуже.

Въ снотворномъ застоѣ, въ безвыходномъ морѣ лжи, у большинства женщинъ снаружи господствовала условная мораль, а втихомолку жизнь кипѣла, за отсутствіемъ здоровыхъ и серіозныхъ интересовъ, вообще всякаго содержанія, тѣми романами, изъ которыхъ и создалась „наука страсти нѣжной". Онѣгины и Печорины — вотъ представители цѣлаго класса, породы ловкихъ кавалеровъ, jeunes premiers. Эти передовыя личности въ high life — такими являлись и въ произведеніяхъ литературы, гдѣ и занимали почетное мѣсто со временъ рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Самъ Пушкинъ, не говоря о Лермонтовѣ, дорожилъ этимъ внѣшнимъ блескомъ, этою представительностію du bon ton, манерами высшаго свѣта, подъ которою крылось и „озлобленіе", и „тоскующая лѣнь", и „интересная скука". Пушкинъ щадилъ Онѣгина, хотя касается легкой ироніи его праздности и пустоты, но до мелочи, и съ удовольствіемъ описываетъ модный костюмъ, бездѣлки туалета, франтовство и ту напущенную на себя небрежность и невниманіе ни

къ чему, эту tenue, кокетированье, которымъ щеголяли денди. Духъ позднѣйшаго времени снялъ романтическую драпировку съ его героя и всѣхъ подобныхъ ему „кавалеровъ“ и опредѣлилъ истинное значеніе такихъ господъ, согнавъ ихъ съ перваго плана.

Они и были героями и руководителями этихъ романовъ, и обѣ стороны дрессировались до брака, который поглощалъ всѣ романы почти безслѣдно, развѣ попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сантиментальная, словомъ дурочка, или героемъ оказывался такой искренній „сумасшедшій“, какъ Чацкій.

Но въ Софьѣ Павловнѣ, спѣшимъ оговориться, т.-е. въ чувствѣ ея къ Молчалину, есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладетъ „московскій отпечатокъ“, потомъ бойкость, умѣнье владѣть собой, которое явилось въ Татьянѣ при встрѣчѣ съ Онѣгинымъ уже послѣ замужества, а до тѣхъ поръ она не сумѣла солгать о любви даже нянѣ. Но Татьяна — деревенская дѣвушка, а Софья Павловна — московская, по-тогдашнему развитая.

Между тѣмъ въ любви своей точно такъ же готова выдать себя, какъ Татьяна: обѣ, какъ въ лунатизмѣ, бродятъ въ увлеченіи съ дѣтской простотой. И Софья, какъ Татьяна же, сама начинаетъ романъ, не находя въ этомъ ничего предосудительнаго, даже не догадываясь о томъ. Сперва удивляется хохоту горничной при разсказѣ, какъ она проводитъ съ Молчалинымъ всю ночь: „Ни слова вольнаго — и такъ вся ночь проходитъ!“ „Врагъ дерзости, всегда застѣнчивый стыдливый!“ Вотъ чѣмъ она восхищается въ немъ!

Это смѣшно, но тутъ есть какая-то почти грація — и куда далеко до безнравственности, нужды нѣтъ, что она проговорилась словомъ: хуже — это тоже наивность. Громадная разность не между ею и Татьяной, а между Онѣгинымъ и Молчалинымъ. Выборъ Софьи, конечно, не рекомендуетъ ея, но и выборъ Татьяны былъ случайный, да едва ли ей и было изъ кого выбирать.

Вглядываясь глубже въ характеръ и обстановку Софьи видишь, что не безнравственность (но и не „Богъ“ конечно, свели ее съ Молчалинымъ. Прежде всего, влеченіе покровительствовать любимому человѣку, бѣдному, скромному

не смѣющему поднять на нее глаз, — возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейныя права. Безъ сомнѣнія ей въ этомъ улыбалась роль властвовать надъ покорнымъ созданіемъ, сдѣлать его счастье и имѣть въ немъ вѣчнаго раба. Не ея вина, что изъ этого выходилъ будущій „мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга — идеалъ московскихъ мужей". На другіе идеалы негдѣ было наткнуться въ домѣ Фамусова.

Вообще къ Софьѣ Павловнѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотѣ, куда не проникалъ ни одинъ лучъ свѣта, ни одна струя свѣжаго воздуха. Не даромъ любилъ ее Чацкій. Послѣ него, она одна изъ всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и въ душѣ читателя противъ нея нѣтъ того безучастнаго смѣха, съ какимъ онъ разстается съ прочими лицами. Ей, конечно, тяжелѣе всѣхъ, тяжелѣе даже Чацкаго, и ей достается свой „милліонъ терзаній".

Гончаровъ.

Софья.

Софья — единственная дочь Фамусова. Ей 17 лѣтъ. По понятіямъ настоящаго времени семнадцатилѣтняя дѣвушка еще не невѣста. Она еще только что кончаетъ курсъ, еще учится. Въ эпоху 20-хъ годовъ нашего столѣтія выходили замужъ гораздо раньше. Фамусовъ не спѣшитъ отдавать дочь замужъ, ибо выбираетъ ей подходящаго жениха, богатаго и чиновнаго, но и онъ самъ и всѣ родные смотрятъ уже на Софью, какъ на невѣсту.

Софья рано лишилась матери.

Дѣвочка выросла подъ наблюденіемъ старушки-француженки, m-me Rosier. По словамъ Фамусова, это была старушка-золото, имѣвшая рѣдкій нравъ. Но мадамъ Розье „сманили" въ другой домъ, и Софья осталась одна при отцѣ.

Такимъ образомъ, Софья лѣтъ съ 14 была предоставлена сама себѣ. Хозяйствомъ она, разумѣется, не занималась и ни во что не входила. На то были дворецкіе, экономка, разные старики и старухи изъ крѣпостныхъ. Хозяйство шло

само собою, какъ заведенная машина. Занятіе хозяйствомъ не входило въ планъ тогдашняго воспитанія. Фамусовъ очень точно опредѣляетъ, въ чемъ заключалась въ то время *воспитанность*, какъ результатъ воспитанія:

И точно, можно ли воспитаннѣе быть!
Умѣютъ же себя принарядить
Тафтицей, бархатцемъ и дымкой;
Словечка въ простотѣ не скажутъ, все съ ужимкой;
Французскіе романсы вамъ поютъ
И верхнія выводятъ нотки;
Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ...

Оставшись одна, Софья бросилась на чтеніе французскихъ романовъ и мало-по-малу начала вести жизнь „барышни“: выѣзжать, танцовать, заниматься модами, брать, ради моды, уроки пѣнія и музыки у модныхъ учителей. Отецъ, безъ сомнѣнія, баловалъ единственную дочь. То же, несомнѣнно и еще въ большей степени, дѣлала старуха Хлестова. Цѣлый ареопагъ женской родни съ наслажденіемъ взялъ на себя руководствованіе молоденькою дѣвочкой въ дѣлѣ посвященія ея въ тайны модныхъ лавокъ. Дѣвочка быстро росла и обращалась въ дѣвушку. Оставалось влюбиться.

И Софья влюбилась въ Молчалина. Первымъ увлеченіемъ ея былъ Чацкій. Увлеченіе это существовало несомнѣнно:

А вы! о, Боже мой! *кого* себѣ избрали?
Когда подумаю, *кого* вы *предпочли?*
Зачѣмъ меня надеждой завлекли?
Зачѣмъ мнѣ прямо не сказали,
Что *все прошедшее* вы обратили въ смѣхъ,
Что *память* даже вамъ постыла
Тѣхъ *чувствъ* въ обоихъ насъ, *движеній сердца* тѣхъ,
Которыя во мнѣ ни даль не охладила,
Ни развлеченія ни перемѣна мѣстъ.

Но Чацкій былъ далеко и въ продолженіе *трехъ лѣтъ* не написалъ *двухъ словъ*. А Молчалинъ былъ здѣсь, налицо, жилъ въ томъ же домѣ, по нѣскольку разъ въ день имѣлъ случай оказывать разныя услуги и внимательности дочери своего начальника. Молчалинъ былъ не дуренъ собой, съ румянцемъ въ лицѣ, тихъ, скроменъ, услужливо [illegible]. Старуха Хлестова его хвалила и называла „мой родной“

Фамусовъ на глазахъ молодой дѣвушки, безъ-толку придирался къ Молчалину, а тотъ все переносилъ съ кротостью:

Смотрите, *дружбу всѣхъ* онъ *въ домѣ пріобрѣлъ.*
При батюшкѣ *три года* служитъ,
Тотъ *часто безъ толку сердитъ,*
А онъ *безмолвіемъ его обезоружитъ.*
Отъ *доброты души проститъ;*
И между прочимъ
Веселостей искать бы могъ —
Ничуть: отъ старичковъ не ступитъ за порогъ;
Мы рѣзвимся, хохочемъ, —
Онъ съ ними цѣлый день засядетъ, радъ не радъ,
Играетъ...

Сначала Молчалинъ возбудилъ своею услужливостію любопытство Софьи. Онъ, безъ сомнѣнія, обращался съ нею, какъ со взрослою дѣвушкою, оказывалъ ей такое же вниманіе, какое другіе, на ея глазахъ, оказывали барышнямъ старѣйшимъ ея по возрасту, „настоящимъ" барышнямъ. Ничто такъ не льститъ подросткамъ, какъ именно такого рода вниманіе къ нимъ. Софья втайнѣ начала чувствовать къ нему благодарность. Благодарность вызвала симпатію, участливость, сожалѣніе. Молчалинъ такъ кротко все переносилъ! Онъ былъ внимательнѣе всѣхъ къ Софьѣ, онъ одинъ не принималъ участія въ веселостяхъ другихъ молодыхъ людей, собиравшихся въ домѣ Фамусова. Софья стала жалѣть Молчалина. Въ сердцѣ женщины одинъ шагъ отъ жалости къ любви. Софья не могла представить себѣ, что Молчалинъ притворяется. Ей просто не приходила въ голову эта мысль. Она совершенно искренно начала видѣть въ немъ совершенство:

Чудеснѣйшаго свойства
Онъ, наконецъ, *уступчивъ, скроменъ, тихъ.*
Въ лицѣ ни тѣни безпокойства
И на душѣ проступковъ никакихъ;
Чужихъ и вкривь и вкось не рубитъ—
Вотъ я за что его люблю.

Въ разговорѣ съ Чацкимъ у Софьи прорывается даже, въ пользу Молчалина, аргументъ, который, очевидно, не принадлежитъ ей самой, а просто повторяется ею, какъ

нѣчто слышанное отъ другихъ, вѣроятно, отъ старухъ и стариковъ:

Конечно, нѣтъ въ немъ этого ума,
Что геній для иныхъ, а для иныхъ — *чума*,
Который скоръ, блестящъ и скоро опротивитъ,
Который свѣтъ ругаетъ наповалъ,
Чтобъ свѣтъ о немъ хоть что-нибудь сказалъ.
Да этакій ли умъ *семейство осчастливитъ?*

На этомъ послѣднемъ выраженіи стоитъ остановиться. Если присоединить къ нему слова Лизы къ Молчалину, сказанныя въ отвѣтъ на его восклицаніе: «[illegible] время проволочимъ»:

Что вы, сударь! да мы кого жъ
Себѣ въ мужья другого прочимъ?

то получается необыкновенно характерный взглядъ Лизы на Софью. Софья какъ будто готовитъ себѣ Молчалина въ мужья: она не просто влюблена въ него, но очень разсудительно цѣнитъ въ немъ качества, необходимыя для семейнаго счастія. На самомъ дѣлѣ, Софья совсѣмъ не «прочитъ» Молчалина себѣ въ мужья. Лиза забѣгаетъ въ этомъ случаѣ впередъ. Она заботится о концѣ романа, тогда какъ Софью интересуетъ его начало, первыя его главы: она сама не знаетъ, чѣмъ кончится этотъ романъ, и совсѣмъ не думаетъ про окончаніе. Она не прочь выйти за Молчалина, только для того, чтобы это случилось, необходимо такое стеченіе обстоятельствъ, которое вывело бы Софью изъ области сентиментальнаго романа на почву дѣятельной рѣшимости. Рѣшимость эта могла бы явиться, когда бы Софьѣ нужно было сказать *да* или *нѣтъ* на предложеніе Скалозуба, или когда Фамусовъ внезапно накрылъ бы свиданіе дочери съ Молчалинымъ. Пока ничего такого еще нѣтъ. Софью интересуетъ не будущее, а настоящее. По всей вѣроятности, свиданія съ Молчалинымъ только что начались. Лишь годъ тому назадъ Софьѣ минуло 16 лѣтъ, и она вступила офиціально въ возрастъ и права дѣвушки-невѣсты. До того времени она все еще была дѣвочкой. Молчалинъ три года живетъ въ домѣ Фамусова. Когда онъ вступилъ туда, Софьѣ только минуло 14 лѣтъ. При этомъ условіи возраста Софьи, при характерѣ Молчалина и страхѣ его передъ Фа-

мусовымъ, сближеніе Софьи и Молчалина могло итти лишь очень медленно. Романъ еще въ самомъ началѣ. Активную роль исполняетъ въ немъ Софья, тогда какъ Молчалинъ застѣнчивъ и не смѣлъ. Мы знаемъ, что онъ играетъ въ любовь лишь „въ угоду дочери такого человѣка“, каковъ Фамусовъ, что онъ лишь по должности принимаетъ видъ любовника и немедленно „простываетъ“, когда остается наединѣ съ Софьей, хотя передъ этимъ „готовился быть нѣжнымъ“. Лизѣ дѣлается смѣшно, и она не утерпѣвъ, начинаетъ смѣяться, когда Софья разсказываетъ ей, какъ проводитъ она время съ Молчалинымъ цѣлыя ночи до бѣла свѣта:

> Возьметъ онъ руку, къ сердцу жметъ,
> Изъ глубины души вздохнетъ,
> Ни слова вольнаго — и такъ вся ночь проходитъ,
> Рука съ рукой, и глазъ съ меня не сводитъ...

Софьѣ очень нравится такое время провожденіе. У нея совсѣмъ нѣтъ страстнаго чувства къ Молчалину. Молчалинъ самъ по себѣ былъ не изъ такихъ людей, которые способны возбудить страсть. Къ этому присоединилась еще атмосфера времени, вліяніе которой не могло пройти безслѣдно для Софьи. Атмосфера эта сохранилась для насъ въ беллетристикѣ тѣхъ годовъ, гдѣ главнымъ образомъ находятъ себѣ выраженіе „движенія сердца“ и идеалы героевъ, вызывавшихъ такія движенія. Такими героями были байроническіе мужчины молодыхъ и неопредѣленныхъ лѣтъ, съ одной стороны: красавцы-военные — съ другой стороны. Особую группу героевъ составляли молодые аристократы: князья Гремины, графы Зорины и т. д. Эта группа стояла *hors concours*. Если молодой дѣвушкѣ еще можно было колебаться въ выборѣ между героями двухъ первыхъ категорій, то при встрѣчѣ съ Гремиными и Зориными она обязана была немедленно влюбиться по уши безо всякихъ разсужденій. Нѣтъ сомнѣнія, что Софья, въ смыслѣ чтенія, питалась исключительно беллетристикою. Если даже допустить, что она преимущественно читала французскіе романы (*„все по-французски* вслухъ читаетъ запершись“), то это не исключаетъ обязательнаго ея знакомства съ современною ей русскою беллетристикой, — знакомства, которое совершалось посредствомъ обмѣна книгъ между подругами. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы Молчалинъ не поступилъ въ домъ Фамусова какъ разъ на

смѣну Чацкому, то Софья перенесла бы „движенія своего сердца“ на другого человѣка изъ круга знакомыхъ, влюбилась бы подъ вліяніемъ описаній романовъ. Молчалинъ спуталъ линіи. Онъ возбудилъ въ сердцѣ Софьи совершенно самостоятельный, оригинальный романъ, бывшій слишкомъ сложнымъ, чтобы привести къ страсти. Софья думаетъ, что любитъ, въ то время, какъ, въ сущности, только играетъ въ романъ. Она „открыла“ Молчалина и, сама того не сознавая, пѣстается со своимъ открытіемъ. Не самъ Молчалинъ приблизился къ ней, покорилъ ее себѣ. Она подняла его до себя. Ей нравится его застѣнчивость и робость. Эти свойства неразлучны для Софьи въ ея представленіяхъ о Молчалинѣ. Она, вѣроятно, удивилась и разсердилась бы каждой „вольности“ съ его стороны, ибо Молчалинъ выпалъ бы тогда изъ тона, пересталъ бы быть, какимъ создала его фантазія Софьи. Изъ-подъ Тартюфа выглянулъ бы сатиръ и сразу разсѣялъ бы всю иллюзію. Кто разъ видѣлъ изнанку Тартюфа, для того уже нѣтъ возврата къ прежнему самообману. Съ другой стороны, Софья, сама того не сознавая, чувствуетъ себя польщенною робостію и застѣнчивостію Молчалина. Первая роль въ романѣ принадлежитъ ей. Она, дочь Фамусова, не только открыла и оцѣнила качества Молчалина, но и взяла на себя исправлять несправедливости отца, который постоянно попрекаетъ Молчалина своими благодѣяніями:

Безроднаго пригрѣлъ и ввелъ въ мое семейство,
Далъ чинъ асессора и взялъ въ секретари;
Въ Москву переведенъ черезъ мое содѣйство,
И будь не я, — коптѣлъ бы ты въ Твери.

Софьѣ кажется, что Молчалина, пріобрѣтшаго дружбу всѣхъ въ домѣ, не цѣнятъ по достоинству. Ея отношенія къ нему очень сложны. Тутъ смѣшиваются сожалѣніе, покровительство, любопытство молодого чувства къ первому интимному сближенію съ мужчиной, романтизмъ, пикантность домашней интриги, представляющей такъ много удобства и такъ много опасностей. Но опасности только подзадориваютъ любовь. Къ тому же онѣ чисто внѣшнія. Нужно только беречься, чтобы отецъ не открылъ свиданій между Софьей и Молчалинымъ. Во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ Софья вполнѣ безопасна и чувствуетъ себя хозяйкою поло-

женія. Въ чемъ проходятъ ея свиданія съ Молчалинымъ? Они занимаются музыкою:

Забылись музыкой, и время шло такъ плавно...

Вѣроятно Молчалинъ читалъ Софьѣ стихи: по словамъ Чацкаго, онъ —

Бывало, пѣсенокъ гдѣ новенькихъ тетрадь
Увидитъ — пристаетъ: пожалуйте списать.

Молчалинъ, очевидно, могъ списывать лишь произведенія русской литературы: въ эпоху, гдѣ происходитъ дѣйствіе комедіи *Горе отъ ума*, списываніе стиховъ было въ большомъ ходу: Пушкинъ и Лермонтовъ пріобрѣли извѣстность, по крайней мѣрѣ — популярность, только черезъ списываніе ихъ произведеній. *Васильевъ.*

Общественное значеніе Грибоѣдова, какъ писателя.

Въ комедіи „Горе отъ ума" — одна только мысль, одна идея, проникающая ее отъ начала до конца и сообщающая ей единство, какъ истинно художественному произведенію. Мысль эта — борьба новаго со старымъ, свѣтлаго въ нашей жизни съ темнымъ. Изъ темной стороны нашей жизни, изображенной въ комедіи, одно уже отжило тогда свой вѣкъ и лишь держалось въ памяти и рисовалось въ воображеніи стариковъ, какъ идеалъ, съ которымъ тяжело имъ было разстаться. Другое стояло прочно и нескоро уступило свое мѣсто новому, а третье продолжаетъ держаться и теперь. Свѣтлое въ тогдашней жизни тоже не ново было тогда, оно проявлялось и прежде: и прежде раздавались голоса передовыхъ людей и противъ низкопоклонничества, и противъ злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ, и противъ рабскаго преклоненія предъ иноземнымъ, противъ рабства во всѣхъ его видахъ. Противъ этого ратовала сатирическая литература XVIII вѣка. Во времена Грибоѣдова свѣтлое вступило смѣлѣе въ борьбу съ темнымъ и постепенно начало вытѣснять послѣднее. Этотъ процессъ вытѣсненія продолжается и теперь. Оттого-то и представитель свѣтлой стороны Чацкій не терялъ значенія и доселѣ. Онъ боецъ за одну великую

идею, — идею самостоятельнаго развитія всего русскаго народа, развитія его въ связи съ общеевропейскимъ просвѣщеніемъ, но безъ рабскаго преклоненія предъ иностраннымъ.

Во времена Грибоѣдова отжило свой вѣкъ только то, что вспоминаетъ Фамусовъ, говоря о Максимѣ Петровичѣ. Это — безумная роскошь, безмѣрное важничанье предъ низшими и сгибанье въ перегибъ передъ высшими, шутовство, прошедшаго житья подлѣйшія черты.

Когда не въ войнѣ, а въ мирѣ брали лбомъ,
Стучали объ полъ, не жалѣя.

Хотя были „охотники поподличать“ и въ вѣкъ Грибоѣдова

Да нынче смѣхъ страшитъ и держитъ стыдъ въ уздѣ;
Не даромъ жалуютъ ихъ скупо государи.

Но это низкопоклонничество не столь грубое, какъ прежде, угодничество передъ нужными людьми, безчестное наживаніе состоянія, роскошь, мотовство, важничанье дворянствомъ, злоупотребленіе крѣпостнымъ правомъ, погоня за чинами и орденами, низменные интересы, пустота жизни, небрежное воспитаніе дѣтей, пристрастіе къ иностранцамъ, духъ слѣпого рабскаго подражанья имъ — все это и многое другое держалось твердо во времена Грибоѣдова.

Чацкій, желая блага своему отечеству, больше всего клеймитъ позоромъ тѣ безобразія, которыя жили въ его время, и въ этомъ его гражданскій подвигъ. Въ этомъ же гражданскій подвигъ и самого Грибоѣдова, творца Чацкаго. Задача Грибоѣдова была не смѣшить, чтобы доставить удовольствіе зрителямъ, — нѣтъ! Онъ добра хотѣлъ Русской землѣ. Своею комедіею, этимъ острымъ словеснымъ оружіемъ, направленнымъ противъ всего суетнаго и закоснѣлаго въ тогдашней жизни, Грибоѣдовъ много содѣйствовалъ и развитію нашего самосознанія и поступательному движенію въ нашей жизни. Послѣ Грибоѣдова стало падать то, что при немъ стояло твердо. Лѣтъ черезъ сорокъ пало крѣпостное право, а съ нимъ и разныя злоупотребленія въ родѣ обмѣна вѣрныхъ слугъ на борзыхъ собакъ, насильственное отторженіе дѣтей отъ родителей и продажа съ аукціона амуровъ и зефировъ.

Скалозубовская похвальба обмундированіемъ первой арміи по модному образцу, съ узкими таліями, обхватомъ въ плечахъ

и т. п.[1]) теперь всякому кажется смѣшною. Прежняя стѣснительная форма уступила мѣсто формѣ болѣе свободной, удобной, подходящей къ климату. Борода едва ли уже кѣмъ-либо у насъ считается, какъ во времена Бѣлинскаго, помѣхой просвѣщенію и образованности. Борода, какъ невозможное, чтобы появиться ей въ московскомъ благородномъ собраніи, какъ писалъ Бутырскій классикъ по поводу появленія въ печати „Руслана и Людмилы“ Пушкина, теперь пріобрѣла у насъ права гражданства повсюду. Настанетъ, несомнѣнно, время, когда и вся высказанная въ монологѣ правда восторжествуетъ, и изъ нашей жизни исчезнетъ и остальное чужевластье модъ, исчезнетъ то, что разсудку вопреки и наперекоръ стихіямъ,— исчезнетъ презрительное отношеніе верхняго слоя общества къ народу, къ его правамъ, обычаямъ, языку и одеждѣ.

Въ лицѣ Чацкаго Грибоѣдовъ далъ намъ положительный типъ русскаго человѣка, героя, смѣлаго, энергическаго бойца за правду, за водвореніе въ русской жизни новыхъ началъ свѣта, вытѣсняющаго гнѣздящіеся въ ней мракъ и темноту. Какъ лицо живое, взятое изъ дѣйствительной русской жизни, а не созданное по отвлеченнымъ началамъ добра и справедливости, Чацкій имѣетъ и долго будетъ имѣть важное значеніе и въ нашей литературѣ и въ жизни. Своимъ образованіемъ, своею любовію къ просвѣщенію, своимъ теплымъ отношеніемъ къ народу, искреннимъ желаніемъ ему блага, своимъ отвращеніемъ отъ всего дурного, пошлаго, низкаго, отъ рабства всякаго рода, онъ указывалъ и указываетъ намъ, чѣмъ долженъ быть просвѣщенный, самостоятельно мыслящій русскій человѣкъ. Созданіемъ Чацкаго Грибоѣдовъ сослужилъ великую службу своему отечеству — Россіи. И эта служба, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ при-

---

[1]) Въ послѣдней редакціи Скалозубъ говоритъ только:

„А въ первой арміи когда отстали? въ чемъ?
Все такъ прилажено и тальи всѣ такъ узки...“

Въ первоначальной, вмѣсто двухъ стиховъ, было четыре:

„А въ первой арміи .. какъ выправленъ солдатъ?
Мундиры пригнаны по тальямъ; всѣ въ обхватъ,
И платья нижнія облѣплены, такъ узки,
Въ шагу доходятъ, какъ ни въ чэмъ“.

Это — яркія черты, схваченныя съ тогдашняго военнаго обмундированія, [illegible] казались тогда слишкомъ рѣзкими, и потому для печати Грибоѣдовъ передѣлалъ первоначальные стихи.

обрѣтать значеніе. Чѣмъ шире будетъ распространяться геніальная комедія, чѣмъ глубже будетъ она проникать въ умы и сердца русскихъ людей, тѣмъ ярче будетъ блистать въ нашей жизни тотъ свѣтъ, за водвореніе котораго всю жизнь усиленно работалъ, боролся, страдалъ и безвременно погибъ нашъ великій писатель и доблестный гражданинъ А. С. Грибоѣдовъ.

А. Смирновъ.

Семьдесятъ пять лѣтъ какъ русское общество не перестаетъ смотрѣть „Горе отъ ума“ въ театрѣ; семьдесятъ пять лѣтъ не перестаетъ читать его; семьдесятъ пять лѣтъ изучаетъ его въ школахъ; семьдесятъ пять лѣтъ обогащаетъ изъ него разговорный языкъ: кому изъ насъ не приходилось прибѣгать къ неистощимому запасу мѣткихъ словъ и характеристикъ знаменитаго произведенія?... Все это указываетъ на его великое историческое значеніе. Но въ чемъ собственно причина живучести и долговѣчности произведенія? Заключается ли она въ созданныхъ образахъ, зависитъ ли отъ силы языка, отъ близости изображеннаго общества съ нашею современностью? Все это вмѣстѣ остается не безъ значенія, но не исчерпываетъ всей сущности дѣла. Для разъясненія вопроса намѣтимъ общія черты изъ біографіи Грибоѣдова.

Грибоѣдовъ родился въ семьѣ, жившей преданіями старины XVIII вѣка: въ ней дѣйствовали тѣ же мысли и чувства, которыя потомъ широкою кистью изображены въ „Горе отъ ума“. Артистическая натура Грибоѣдова не находила въ семьѣ поддержки къ образованію, а встрѣчала противодѣйствіе: въ университетъ онъ былъ отданъ не столько для образованія, сколько для чиновъ, для карьеры... Московскій университетъ того времени на ряду съ посредственностью представлялъ уже и много отрадныхъ явленій: можно вспомнить о краснорѣчивомъ Мерзляковѣ, хотя и послѣдователѣ ложноклассической школы, но одаренномъ необыкновеннымъ поэтическимъ чувствомъ и любовью къ поэзіи, воспитавшемъ ихъ и въ своихъ слушателяхъ...

На Грибоѣдова, однако, повліялъ не столько Мерзляковъ, сколько менѣе извѣстный Буле, типъ профессора-гуманиста, рѣдкій даже въ западной Европѣ, соединявшій въ себѣ многостороннія познанія въ классической литературѣ, въ фило-

софія и въ исторіи искусствъ (подобно Лессингу, Гердеру и др.): каталогъ лекцій показываетъ, что Буле читалъ нравственную философію, эстетику, исторію всеобщую, исторію искусствъ, нигдѣ не являясь верхоглядомъ. На Грибоѣдова Буле имѣлъ рѣшающее и опредѣленное вліяніе: онъ заронилъ въ немъ уваженіе и любовь къ наукѣ, къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова... Заброшенный службою на дальній востокъ, Грибоѣдовъ вспоминаетъ объ этомъ времени своихъ ученыхъ занятій и возвращается къ нимъ. Любитель науки и изящныхъ искусствъ, знатокъ въ музыкѣ, которая не была исключена изъ предметовъ обученія его семейной среды, Грибоѣдовъ считалъ себя кабинетнымъ ученымъ и тяготился дипломатической карьерой въ Персіи и, конечно, могъ тяготиться только, благодаря вынесенной изъ университета любви къ знанію... Случайно не удалось Грибоѣдову окончить университетъ: пока шло снаряженіе его въ дѣйствующую армію, война кончилась, и онъ попалъ въ западный край... Этотъ періодъ жизни Грибоѣдова ознаменованъ многими странностями: молодому вину надо было выбродиться. Онъ принималъ участіе во многихъ военныхъ проказахъ, но тогда же познакомился съ военной сферой, въ которой, правда, встрѣчались люди образованные, но не было недостатка и въ такихъ, которыхъ Грибоѣдовъ обезсмертилъ въ образѣ Скалозуба... Въ Петербургѣ водоворотъ жизни захватилъ Грибоѣдова и едва не поглотилъ всецѣло. Но петербургская жизнь — съ ея театрами, дуэлями, балами, кутежами — утомила его. Ему хотѣлось уйти въ науку и литературу... Къ этому времени относится начало его знаменитаго произведенія... А между тѣмъ семья требовала отъ Грибоѣдова службы, и онъ принялъ мѣсто секретаря посольства въ Тегеранѣ, гдѣ очутился среди „дикарей", по его выраженію. Здѣсь онъ окончилъ „Горе отъ ума," начатое гораздо раньше... Мы видимъ Грибоѣдова опять въ Петербургѣ, гдѣ онъ хлопочетъ о постановкѣ комедіи, но неудачно, и готовъ бросить все... Подоспѣло между тѣмъ „14-е декабря", изъ котораго Грибоѣдовъ вышелъ чистъ, и мы снова видимъ его на Кавказѣ, а потомъ и въ Персіи, куда онъ назначенъ былъ въ качествѣ полномочнаго министра. Здѣсь и былъ убитъ. Вотъ послужной, такъ сказать, списокъ дѣятельности Грибоѣдова. Изъ университета онъ вынесъ любовь къ знанію, къ наукѣ; изъ

жизни — знаніе людей. Фамусовы московскаго общества, Скалозубы, Репетиловы, Загорѣцкіе, да и почти всѣ лица комедіи живьемъ выхвачены изъ жизни. Наука дала Грибоѣдову идеалъ стремленіе къ наукѣ — руководящее начало въ идеалѣ человѣка. Какъ поэтъ, Грибоѣдовъ понялъ свою задачу въ смыслѣ *гражданина*; онъ не хотѣлъ смѣшить, но „добра хотѣлъ Русской землѣ“: а въ этомъ — тайна великаго значенія и жизненности его комедіи: прямымъ слѣдствіемъ дѣйствія науки на человѣка была выработка въ немъ чувства правды. Только выработавъ въ себѣ сознательное чувство *человѣка* и *гражданина*, только стоя на этой широкой основѣ могъ онъ вступить на борьбу съ растлѣннымъ обществомъ и могъ поразить его съ такой силой. Типы его комедіи еще понынѣ имѣютъ живое соотношеніе съ нашимъ нынѣшнимъ обществомъ; со временемъ это соотношеніе исчезнетъ, за комедіей останется, повидимому, только историческое, а не жизненное значеніе: но въ поэтическихъ образахъ эта жизненность ея не исчезнетъ, никогда не потеряетъ своего значенія, ибо міровой законъ борьбы гражданской правды съ отходящимъ порядкомъ вещей, пошлостью и рутиной никогда не потеряетъ силы, пока будетъ жить сознаніе и чувство гражданскаго долга! Въ этомъ смыслѣ произведеніе Грибоѣдова не умретъ никогда! Его идеалъ — *человѣкъ* и русскій *гражданинъ*

Посредствомъ поднятія чувства человѣческаго достоинства въ русскомъ человѣкѣ поэтъ стремится поднять и укрѣпить его чувство гражданина, стремленіе къ наукѣ и правдѣ, его вѣру въ исторію самостоятельной силы русскаго народа. Въ этомъ историческое значеніе произведенія Грибоѣдова и причина его долговѣчности.

А. Котляревскій

Дѣтство Батюшкова и первыя его литературныя занятія.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился въ Вологдѣ 18 мая 1787 года. Онъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода и былъ сынъ помѣщика Новгородской, Вологодской и Ярославской губерній Николая Львовича Батюшкова, служившаго сперва въ военной, а потомъ въ гражданской службѣ. Николай Львовичъ былъ женатъ дважды: Константинъ Николаевичъ былъ послѣднимъ изъ дѣтей его перваго брака — съ Александрою Григорьевною Бердяевою. Единственный ея сынъ, онъ почти не зналъ матери: въ послѣдніе годы жизни она находилась въ душевной болѣзни и скончалась въ то время, когда ребенку не было еще и восьми лѣтъ отъ роду.

Дѣтскіе годы свои Константинъ Николаевичъ провелъ въ родовомъ помѣстьи своего отца, сельцѣ Даниловскомъ (Устюженскаго уѣзда, Новгородской губерніи), еще въ XVI вѣкѣ пожалованномъ одному изъ его предковъ. Здѣсь онъ получилъ первоначальное образованіе, подъ руководствомъ своихъ старшихъ сестеръ. Затѣмъ онъ былъ помѣщенъ въ Петербургѣ въ пансіонъ, содержавшійся французомъ Ос. П. Жакино. Это былъ опытный педагогъ, умѣвшій внушить своимъ ученикамъ уваженіе къ себѣ и любовь къ образованію. Курсъ учебныхъ предметовъ въ его пансіонѣ былъ довольно разнообразенъ и преподавался большею частью на французскомъ языкѣ. Пробывъ въ пансіонѣ Жакино около четырехъ лѣтъ, Батюшковъ, не извѣстно по какимъ причинамъ, былъ переведенъ въ другой пансіонъ, который содержалъ учитель морского корпуса Ив. Ант. Триполи. Въ его заведеніи учебный курсъ былъ едва ли полнѣе, чѣмъ въ пансіонѣ Жакино: зато Батюшковъ и пробылъ здѣсь не болѣе двухъ лѣтъ; въ это время онъ, между прочимъ, и познакомился съ италіянскимъ

языкомъ, занятія которымъ не покидалъ и впослѣдствіи. Еще съ отроческихъ лѣтъ Батюшковъ пополнялъ пробѣлы школьнаго ученія обширнымъ и разнообразнымъ чтеніемъ; въ особенности близко познакомился онъ съ французскою литературой XVII и XVIII вѣковъ.

Батюшковъ оставилъ пансіонъ 16 лѣтъ. Его первые шаги на самостоятельномъ жизненномъ поприщѣ были направляемы однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени, родственникомъ и пріятелемъ отца его, Михаиломъ Никитичемъ Муравьевымъ, человѣкомъ высокой души и большого образованія, бывшимъ наставникомъ великаго князя Александра Павловича, а съ его воцареніемъ занявшимъ должность попечителя Московскаго университета и товарища министра народнаго просвѣщенія. Вліяніе Муравьева на Батюшкова выразилось, главнымъ образомъ, въ томъ, что Константинъ Николаевичъ занялся латинскимъ языкомъ (который не преподавался въ пансіонахъ Жакино и Триполи) и познакомился съ поэзіей классической древности; изъ латинскихъ поэтовъ полюбилъ онъ въ особенности Горація и Тибулла. Въ домѣ Муравьева, гдѣ собирались лучшіе писатели того времени, развилась въ Батюшковѣ любовь къ словесности. Но, кромѣ того, общеніе съ Муравьевымъ и пребываніе въ его семействѣ воспитали Константина Николаевича и въ нравственномъ отношеніи: онъ вынесъ оттуда твердыя, ясно сознанныя правила честности, благородства и любви къ ближнему.

Служебная карьера Батюшкова также началась при ближайшемъ содѣйствіи его почтеннаго родственника: въ 1802 году Батюшковъ былъ опредѣленъ на службу въ канцелярію Муравьева письмоводителемъ по Московскому университету. Впрочемъ, эта служба мало привлекала молодого человѣка. Его интересы сосредоточивались въ области литературы, чему способствовалъ и составъ его сослуживцевъ, между которыми было нѣсколько молодыхъ писателей, а именно: Ив. П. Пнинъ, Дм. Ив. Языковъ, Н. И. Гнѣдичъ; этотъ послѣдній вскорѣ сталъ близкимъ другомъ Константина Николаевича.

Еще будучи въ пансіонѣ Триполи, Батюшковъ сдѣлалъ переводъ на французскій языкъ слова, произнесеннаго митрополитомъ Платономъ по случаю коронованія императора Александра, и этотъ первый литературный опытъ его былъ

тогда же напечатанъ. Къ 1802 году относятся первыя стихотворныя попытки Константина Николаевича; изъ числа ихъ въ элегіи „Мечта“ уже обнаруживаются проблески большого дарованія: юный поэтъ умѣлъ придать своей пьесѣ тотъ характеръ меланхоліи, который начиналъ въ то время господствовать въ литературѣ. Эта элегія осталась всегда любимымъ произведеніемъ Батюшкова, и онъ неоднократно передѣлывалъ ее; послѣдняя передѣлка относится къ 1817 году, когда талантъ его достигъ уже полнаго развитія. Если элегія „Мечта“ отличается меланхолическимъ характеромъ, то другія раннія произведенія Батюшкова свидѣтельствуютъ о томъ, что молодая жизнь его текла мирно и пріятно. Мало отдаваясь службѣ, онъ охотнѣе дѣлилъ свое время между литературными занятіями и свѣтскими развлеченіями. Успѣхи словесности возбуждали въ немъ живѣйшій интересъ, и еще въ то время онъ былъ однимъ изъ горячихъ поклонникахъ Озерова, восхищался прозой Карамзина, негодовалъ на литературное старовѣрство Шишкова и посмѣивался надъ бездарными писателями, которымъ покровительствовалъ авторъ книги „О старомъ и новомъ слогѣ“. Большое вліяніе на Батюшкова оказало также его сближеніе съ извѣстнымъ любителемъ литературы Алексѣемъ Николаевичемъ Оленинымъ; въ его гостепріимномъ домѣ молодой человѣкъ встрѣчался со многими писателями стараго и новаго поколѣнія, а бесѣды съ самимъ хозяиномъ были для него такою же школою изящнаго вкуса, какъ общеніе съ М. Н. Муравьевымъ.

Изъ предисловія къ изданію сочиненій Батюшкова 1898.

Михаилъ Никитичъ Муравьевъ и его вліяніе на Батюшкова.

По шестнадцатому году Батюшковъ оставилъ пансіонъ Триполи. По существовавшему въ то время обычаю, въ этомъ возрастѣ кончалось обученіе дворянскаго юноши. Но, по счастію, не такъ рано завершилось образованіе Константина Николаевича: пробужденныя способности уже сами искали себѣ пищи и дальнѣйшаго развитія.

Прежде всего къ пополненію образованія Батюшкова послужило его обширное чтеніе. Читать онъ полюбилъ еще на школьной скамьѣ. Еще 14 лѣтъ изъ пансіона писалъ онъ отцу: „Сдѣлайте милость, пришлите мнѣ Геллерта — у меня ни одной нѣмецкой книги нѣтъ; также лексиконы, сочиненія Ломоносова и Сумарокова, „Кандида“, сочиненія Мерсье, „Путешествіе въ Сирію“, и попросите у Анны Николаевны какихъ нибудь французскихъ книгъ и оныя всѣ... пришлите и еще 15 руб. на другія нужныя книги. Вы, любезный папенька, обѣщали мнѣ подарить вашъ телескопъ: его можно продать и купить книги. Онѣ, по крайней мѣрѣ, безъ употребленія не останутся“. Этотъ перечень книгъ, которыя желалъ имѣть нашъ юноша, очень любопытенъ: онъ поражаетъ, съ одной стороны, серіозностію нѣкоторыхъ поименованныхъ сочиненій, а съ другой — своею чрезвычайною пестротою: тутъ и благочестивый Геллертъ, и злая насмѣшка Вольтера надъ оптимизмомъ, и положительный наблюдатель Вольней, и восторженный республиканецъ-мечтатель Мерсье, и два русскіе автора, столь несходные между собою. Очевидно, юноша былъ въ той порѣ, когда проснувшаяся любознательность жадно бросается на всякія книги и читаетъ все безъ разбора. Въ одной позднѣйшей своей статьѣ Батюшковъ изображаетъ эту страстную любознательность, и въ его словахъ, даже сквозь украшенія цвѣтистаго слога, нельзя не подмѣтить автобіографическихъ чертъ. Въ юности, говоритъ онъ, человѣкъ особенно доступенъ всевозможнымъ увлеченіямъ: „Тогда все дѣлается страстью, и самое чтеніе... Каждая книга увлекаетъ, каждая система принимается за истину, и читатель не руководимый разумомъ, подобно гражданину въ бурныя времена безначалія, переходитъ то на одну, то на другую сторону“. Все это, безъ сомнѣнія, переживалъ самъ Батюшковъ на порогѣ жизни, и нужно сказать, что текущая литература того времени, по преимуществу литература всевозможныхъ доктринъ, системъ и философскихъ построеній, предоставляла множество соблазновъ для молодого, неустановившагося ума.

Какъ бы то ни было, но кругъ чтенія Батюшкова былъ очень великъ. Изъ французской литературы онъ знакомился не только съ главными ея представителями двухъ послѣднихъ столѣтій, но и съ разными писателями второстепен-

ными и третьестепенными; напротивъ, изъ нѣмецкихъ писателей, онъ, очевидно, читалъ въ то время очень немногихъ и, во всякомъ случаѣ, не читалъ еще тѣхъ своихъ современниковъ, которые составляли уже лучшее украшеніе германской литературы. Произведенія послѣднихъ едва проникали тогда въ Россію, между тѣмъ какъ сочиненія французскихъ писателей вѣка Людовика XIV и затѣмъ XVIII столѣтія были, такъ сказать, ходячею монетой въ русскомъ обществѣ, и знакомство съ ними признавалось непремѣннымъ и главнымъ условіемъ образованности. На этой-то почвѣ и предстояло воспитаться дарованію нашего поэта.

Но, кромѣ книгъ, доверппенію образованія Батюшкова содѣйствовало живое слово — совѣты и указанія Михаила Никитича Муравьева, родственника и пріятеля его отца.

Извѣстны прекрасныя слова, сказанныя о Муравьевѣ Карамзинымъ: „Страсть его къ ученію равнялась въ немъ со страстью къ добродѣтели.“ И дѣйствительно, Муравьевъ былъ человѣкъ необыкновенный. Сынъ умнаго и просвѣщеннаго отца, питомецъ Московскаго университета, онъ всю жизнь не переставалъ обогащать свой умъ разнообразнымъ чтеніемъ, а съ образованіемъ соединялъ высоко-нравственный характеръ: это былъ человѣкъ поистинѣ чистый сердцемъ и великій радѣтель о нуждахъ ближняго. Патріотъ въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова, онъ всего болѣе желалъ развитія серіознаго образованія въ нашемъ отечествѣ, и много заботъ положилъ онъ на это дѣло, когда волею императора Александра, своего бывшаго питомца, былъ призванъ занять должность попечителя Московскаго университета и товарища министра народнаго просвѣщенія. Онъ былъ идеальнымъ попечителемъ, сказалъ о немъ Погодинъ. Муравьевъ питалъ глубокое уваженіе къ классическому образованію и притомъ уваженіе вполнѣ сознательное, ибо самъ обладалъ прекраснымъ знаніемъ древнихъ языковъ и литературы и въ этомъ знаніи почерпнулъ благородное гуманное направленіе своей мысли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ знакомъ съ лучшими произведеніями новыхъ литературъ, также въ подлинникахъ. Мягкости и благожелательности его личнаго характера соотвѣтствовалъ свѣтлый оптимизмъ его философскихъ убѣжденій, и тою же мягкостью, въ связи съ обширнымъ литературнымъ образованіемъ, объясняется

замѣчательная по своему времени широта его литературнаго сужденія: не будучи новаторомъ въ литературѣ, онъ, однако, съ сочувствіемъ встрѣчалъ новыя стремленія въ области словесности.

Первыя указанія на сношенія Батюшкова съ Муравьевымъ мы имѣемъ только отъ 1802 года; но, безъ сомнѣнія, и раньше того Михаилъ Никитичъ зналъ даровитаго юношу, цѣнилъ его способности и принималъ участіе въ заботахъ о его воспитаніи и образованіи. Современники утверждали, что „Батюшковъ взросъ подъ его надзоромъ“, а самъ Константинъ Николаевичъ говорилъ, что образованіемъ своимъ онъ обязанъ этому „рѣдкому человѣку“. Объясняя въ 1814 году Жуковскому, съ какимъ удовольствіемъ писалъ онъ статью о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева, Батюшковъ замѣтилъ: „Я говорилъ о нашемъ Фенелонѣ съ чувствомъ: я зналъ его, сколько можно знать человѣка въ мои лѣта. Я обязанъ ему всѣмъ, и тѣмъ, можетъ-быть, что умѣю любить Жуковскаго“. Въ рѣчи, которую Батюшковъ написалъ въ 1816 году для произнесенія въ Обществѣ любителей россійской словесности при Московскомъ университетѣ, онъ сдѣлалъ слѣдующую характеристику Муравьева: „Подъ руководствомъ славнѣйшихъ профессоровъ московскихъ, въ нѣдрахъ своего отечества, онъ пріобрѣлъ свои обширныя свѣдѣнія, которымъ нерѣдко удивлялись ученые иностранцы; за благодѣянія наставниковъ онъ платилъ благодѣяніями сему святилищу наукъ: имя его будетъ любезно всѣмъ сердцамъ добрымъ и чувствительнымъ: имя его напоминаетъ всѣ заслуги, всѣ добродѣтели. Ученость обширную, утвержденную на прочномъ основаніи, на знаніи языковъ древнихъ, рѣдкое искусство писать — онъ умѣлъ соединить съ искреннею кротостію, съ снисходительностію, великому уму и добрѣйшему сердцу свойственною. Казалось, въ его видѣ посѣтилъ землю одинъ изъ сихъ геніевъ, изъ сихъ свѣтильниковъ философіи, которые нѣкогда рождались подъ счастливымъ небомъ Аттики, для развитія практической и умозрительной мудрости, для утѣшенія и назиданія человѣчества краснорѣчивымъ примѣромъ“. Въ этой характеристикѣ вполнѣ обнаруживается то глубокое уваженіе, какое благодарный ученикъ питалъ къ своему благородному руководителю. Муравьевъ былъ для Батюшкова своего рода университетомъ. Посмотримъ же, въ чемъ именно состояло это руководство.

Прежде всего вліянію Муравьева слѣдуетъ приписать то, что Батюшковъ обратился къ занятіямъ классическимъ. Въ пансіонахъ Жакино и Триполи ему не удалось пріобрѣсти знанія древнихъ языковъ; а между тѣмъ онъ видѣлъ, что Муравьевъ даже среди важныхъ государственныхъ заботъ удѣлялъ „нѣсколько свободныхъ минутъ на чтеніе древнихъ авторовъ въ подлинникѣ, и особенно греческихъ историковъ, ему отъ дѣтства любезныхъ,“ и еще находилъ себѣ достойнаго товарища въ этихъ занятіяхъ въ лицѣ своего родственника и друга, Ивана Матвѣевича Муравьева-Апостола, человѣка столь же образованнаго, какъ самъ Михаилъ Никитичъ, но съ умомъ болѣе смѣлымъ, болѣе предпріимчивымъ и пытливымъ. По ихъ примѣру, Батюшковъ, принялся за изученіе латинскаго языка и скоро овладѣлъ имъ настолько, что могъ болѣе или менѣе свободно читать римскихъ авторовъ. Кто именно былъ его учителемъ неизвѣстно: быть можетъ, самъ Михаилъ Никитичъ, а вѣроятнѣе—Николай Ѳедоровичъ Кошанскій[1]), который по окончаніи курса въ Московскомъ университетѣ, былъ вызванъ Муравьевымъ въ 1805 году въ Петербургъ и подъ его ближайшимъ руководствомъ занимался изученіемъ древностей и исторіи искусства. Съ изученіемъ латинскаго языка Батюшкову открылся способъ къ непосредственному знакомству съ древнимъ міромъ, и особенно съ его литературными богатствами. Судя по сочиненіямъ Батюшкова, почти всѣ значительные римскіе поэты были прочтены имъ не только въ переводахъ, но и въ подлинникѣ; знакомство съ ними уяснило ему, что истинный классицизмъ заключается прежде всего въ изяществѣ формы, въ отдѣлкѣ слога, въ совершенствѣ изложенія. Эту точку зрѣнія Батюшковъ примѣнялъ впослѣдствіи къ оцѣнкѣ явленій руской литературы. Изъ римскихъ поэтовъ Горацій и Тибуллъ сдѣлались его любимцами, и онъ охотно бралъ ихъ себѣ въ образецъ.

Затѣмъ, вліяніемъ Муравьева объясняется въ Батюшковѣ раннее развитіе здраваго литературнаго вкуса. Какъ мы сказали, Муравьевъ не стремился къ нововведеніямъ въ словесности, но при богатствѣ своего литературнаго образованія не могъ быть одностороннимъ и слѣпымъ послѣдователемъ

[1]) См. о Кошанскомъ въ Сокращенной истор. хрестоматіи, ч. V.

псевдоклассической теоріи Хотя смутно, онъ однако сознавалъ искусственность ея требованій. „Краснорѣчіе, — говорилъ онъ — не есть уединенная наука, одними словами занимающаяся... Скудно будетъ краснорѣчіе, когда умъ не пріученъ думать, сердце не испытало сладостнаго удовольствія быть тронутымъ“. Въ такомъ смыслѣ высказывается и Батюшковъ, едва оставивъ школьную скамью: „Если вы найдете переводъ мой слишкомъ буквальнымъ, обращается онъ къ Н. А. Соколову, посвящая ему „Платоново слово“, — пусть послужитъ тому оправданіемъ моя ранняя молодость: да и возможно ли на чужомъ языкѣ передать паѳосъ, благородную простоту и то выраженіе искренности, которыя господствуютъ въ подлинникѣ? Высокопреосвященный Платонъ, имя котораго стало въ Россіи синонимомъ краснорѣчія, обладаетъ своимъ особымъ слогомъ. Всѣ красоты его творенія непосредственны и не носятъ на себѣ печати труда“. Такимъ образомъ, едва прошедши курсъ школьной риторики, юноша хвалилъ оратора не за блескъ его метафоръ, не за смѣлость противоположеній, эти обычные пріемы стараго ораторскаго искусства, а за благородную простоту, за искренность чувства, за непосредственность творчества, которыя находилъ въ его произведеніяхъ. Подобныя сужденія не совсѣмъ были обычны въ старое время, и не въ школѣ, конечно, а въ бесѣдахъ съ такимъ образованнымъ человѣкомъ, какъ Муравьевъ, могли они сложиться у Батюшкова.

Но, что еще важнѣе, Муравьевъ возбудилъ въ своемъ питомцѣ потребность поработать надъ самимъ собою и установить свои нравственные идеалы. Раннее чтеніе безъ разбора ставило предъ юношей такой рядъ ученій и системъ, что разобраться въ немъ было ему, очевидно, не по силамъ. Въ эту-то пору умственнаго развитія Батюшкова явился передъ нимъ, въ лицѣ Муравьева, руководитель, который могъ дать кипучей работѣ юношескаго ума болѣе правильное теченіе. „Счастливъ тотъ, — говоритъ еще нашъ авторъ, продолжая свое разсужденіе о страсти къ чтенію въ упомянутой выше статьѣ, — счастливъ тотъ, кто найдетъ наставника опытнаго въ оное опасное время, коего попечительная рука отклонитъ отъ заблужденій разсудка, ибо сердце въ юности есть лучшая порука за разсудокъ.“ Такимъ именно наставникомъ былъ для Батюшкова незабвенный идеалистъ Муравьевъ.

со своимъ ученіемъ о врожденномъ нравственномъ чувствѣ, о судѣ своего сердца или совѣсти, который для человѣка долженъ быть выше всѣхъ возможныхъ наградъ. Разбирая впослѣдствіи сочиненія Муравьева, Батюшковъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на его разсужденіяхъ о нравственности. „Часто, — говоритъ онъ, — облако задумчивости осѣняетъ его душу; часто углубляется онъ въ самого себя и извлекаетъ истины, всегда утѣшительныя, изъ собственнаго своего сердца. Тихая, простая, но веселая философія, неразлучная подруга прекрасной, образованной души, исполненной любви и доброжеланія ко всему человѣчеству, съ неизъяснимой прелестью дышитъ въ сихъ письмахъ: „Никакое непріятное воспоминаніе не отравляетъ моего уединенія" (здѣсь видна вся душа автора). „Чувствую сердце мое способнымъ къ добродѣтели. Оно бьется съ сладостною чувствительностію при единомъ помышленіи о какомъ-нибудь дѣлѣ благотворительности и великодушія. Имѣю благородную надежду, что, будучи поставленъ между добродѣтели и несчастія, изберу лучше смерть, нежели злодѣйство. И кто въ свѣтѣ счастливѣе смертнаго, который справедливымъ образомъ можетъ чтить себя?" „Прекрасныя, золотыя слова?!" прибавляетъ Батюшковъ. — Кто, кто не желалъ бы написать ихъ въ изліяніи сердечномъ".

Таковы были нравственные уроки, которые Муравьевъ завѣщалъ Батюшкову въ своихъ бесѣдахъ, и которые благодарный его питомецъ находилъ впослѣдствіи въ его сочиненіяхъ. Какъ у Муравьева, эти принципы были плодомъ его образованія, такъ и Батюшковъ, выходя на жизненную борьбу, старался чтеніемъ и размышленіемъ воспитать себя и выработать свои нравственныя убѣжденія. Мы не станемъ утверждать, чтобъ отъ самой юности онъ всегда оставался вѣренъ нравственному ученію Муравьева; но сущность этого ученія была имъ усвоена отъ молодыхъ ногтей и съ годами все глубже внѣдрялась въ его душу: потому-то впослѣдствіи онъ часто — и въ радости и, особенно, въ горѣ — обращался мыслью и сердцемъ къ памяти своего благороднаго наставника. Въ прежнее время люди выходили въ жизнь моложе, чѣмъ нынѣ, когда школа, съ многочисленными предметами ученія, вынуждена долго задерживать молодежь въ своихъ стѣнахъ, но выходили не съ ограниченностью дѣтскаго кру-

говора, а съ извѣстною зрѣлостью понятій, потому что тогда было больше нравственной связи между поколѣніями, и выработанное старшими довѣрчивѣе усвоивалось младшими. Поэтому не слѣдуетъ удивляться, что и Батюшковъ, потерявши своего ментора всего на двадцатомъ году жизни, успѣлъ много вынести изъ его нравственной школы.

Майковъ.

Оленинскій кружокъ.

Мы должны упомянуть объ одномъ семействѣ, гдѣ Батюшковъ былъ принятъ какъ родной, и гдѣ любили и цѣнили его зарождающееся дарованіе. То былъ гостепріимный домъ извѣстнаго археолога и любителя художествъ Алексѣя Николаевича Оленина.

Оленинъ принадлежалъ къ тому же кругу просвѣщенныхъ людей въ Петербургѣ, что и М. Н. Муравьевъ, а по супругѣ своей могъ даже причесться ему въ свойство. Пріятели Муравьева, Державинъ и Н. А. Львовъ, были друзьями и Оленина. Капнистъ, свойкъ Державина и Львова, также былъ дорогимъ гостемъ у него, когда пріѣзжалъ въ Петербургъ изъ своего деревенскаго уединенія въ Малороссіи. Въ молодости своей Алексѣй Николаевичъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ Дрезденѣ; тамъ онъ пристрастился къ пластическимъ искусствамъ и воспиталъ свой вкусъ на произведеніяхъ лучшихъ художниковъ древности и періода Возрожденія, какъ они были истолкованы Винкельманомъ и Лессингомъ. Онъ былъ хорошій рисовальщикъ и, кромѣ того, занимался гравированіемъ; завѣдуя съ 1797 года монетнымъ дворомъ, онъ познакомился съ медальернымъ искусствомъ. „Можетъ быть, — говоритъ одинъ изъ современниковъ, коротко его знавшій, — ему недоставало вполнѣ этой быстрой наглядной смѣтливости, этого утонченнаго, проницательнаго чувства, столь полезнаго въ дѣлѣ художествъ; но пламенная любовь его ко всему, что клонилось къ развитію отечественныхъ талантовъ, много содѣйствовала успѣхамъ русскихъ художниковъ". То же должно сказать и относительно словесности. По вѣрному замѣчанію С. Т. Аксакова, имя Оленина не должно быть забыто въ исторіи русской литературы:

„всѣ безъ исключенія русскіе таланты того времени собирались около него, какъ около старшаго друга“. Озеровъ, Крыловъ, Гнѣдичъ нашли въ Оленинѣ горячаго цѣнителя своихъ дарованій, который усердно поддерживалъ ихъ литературную дѣятельность; И. М. Муравьевъ-Апостолъ и С. С. Уваровъ встрѣтили въ немъ живое сочувствіе своимъ занятіямъ въ области классической древности; А. И. Ермолова и А. Х. Востокова онъ направлялъ и укрѣплялъ въ ихъ изысканіяхъ по древностямъ русскимъ.

Пользуясь расположеніемъ графа А. С. Строганова, просвѣщеннаго вельможи Екатерининскихъ временъ, доживавшаго свой вѣкъ среди общаго уваженія при Александрѣ, умѣя ладить и съ тѣми людьми, которые возвысились въ царствованіе молодого государя, Оленинъ быстро подвигался въ это время на служебномъ поприщѣ, „однако, никогда не измѣняя чести“. Знающій и дѣловитый, Алексѣй Николаевичъ всѣмъ умѣлъ сдѣлаться нужнымъ: самъ императоръ Александръ прозвалъ его Tausendkünstler, тысячеискусникъ. Но если служебными успѣхами своими Оленинъ былъ обязанъ не только своему образованію и трудолюбію, а также нѣкоторой уступчивости и искательности передъ сильными міра сего, зато пріобрѣтеннымъ значеніемъ онъ пользовался для добрыхъ цѣлей. Онъ былъ отзывчивъ на всякое проявленіе русской даровитости и охотно шелъ ему на помощь. „Его чрезмѣрно сокращенная особа, — говоритъ Вигель, — была отмѣнно мила: въ маленькомъ живчикѣ можно было найти тонкій умъ, веселый нравъ и доброе сердце“.

„Дому Оленина, — скажемъ еще словами Уварова — служила украшеніемъ его супруга Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая. Образецъ женскихъ добродѣтелей, нѣжнѣйшая изъ матерей, примѣрная жена, одаренная умомъ яснымъ и кроткимъ нравомъ, она оживляла и одушевляла общество въ своемъ домѣ“.

За обѣденнымъ столомъ или въ гостиной Олениныхъ, въ ихъ городскомъ домѣ или въ подгородной дачѣ Пріютинѣ „почти ежедневно встрѣчалось нѣсколько литераторовъ и художниковъ русскихъ. Предметы литературы и искусствъ занимали и оживляли разговоръ... Сюда обыкновенно привозились всѣ литературныя новости: вновь появившіяся стихотворенія, извѣстія о театрахъ, о книгахъ, о картинахъ,

словомъ — все, что могло питать любопытство людей, болѣе или менѣе движимыхъ любовью къ просвѣщенію. Не взирая на грозныя событія, совершавшіяся тогда въ Европѣ, политика не составляла главнаго предмета разговора: она всегда уступала мѣсто литературѣ".

Не станемъ утверждать, чтобы тотъ кружокъ, который собирался въ Оленинскомъ салонѣ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, далеко опередилъ свое время въ пониманіи вопросовъ искусства и литературы. Уровень господствовавшихъ тамъ художественныхъ и литературныхъ понятій все-таки опредѣлялся псевдоклассицизмомъ, который стѣснялъ свободу и непосредственность творчества и удалялъ его отъ вѣрнаго, но подкрашеннаго воспроизведенія дѣйствительности. Но вкусъ Оленина, воспитанный на классической красотѣ и на возсозданіи ея Рафаэлемъ, уже не дозволялъ ему удовлетворяться изысканными и вычурными формами искусства XVIII вѣка и стремился къ большей строгости и простотѣ. Лучше всего объ этомъ свидѣтельствуютъ извѣстныя иллюстраціи къ стихотвореніямъ Державина, исполненныя по мысли и большею частію трудами Оленина. Точно такъ же и въ отношеніи къ литературѣ. Въ Оленинскомъ кружкѣ не было упрямыхъ поклонниковъ нашей искусственной литературы прошлаго вѣка: очевидно, содержаніе ея находили тамъ слишкомъ фальшивымъ и напыщеннымъ, а формы — слишкомъ грубыми. Зато въ кружкѣ этомъ съ сочувствіемъ встрѣчались новыя произведенія, хотя и написанныя по старымъ литературнымъ правиламъ, но представлявшія большее разнообразіе и большую естественность въ изображеніи чувствъ и отличавшіяся большею стройностью, большимъ изяществомъ стихотворной формы; въ этомъ видѣли столь желанное приближеніе нашей поэзіи къ классическимъ образцамъ древности. Но, кромѣ того, въ кружкѣ Оленина замѣтно было стремленіе сдѣлать самую русскую жизнь, новую и особенно древнюю, предметомъ поэтическаго творчества: героическое, возвышающее душу присуще не одному классическому — греческому и римскому — міру: оно должно быть извлечено и изъ преданій русской древности и возведено искусствомъ въ классическій идеалъ. Присутствіе такихъ требованій ясно чувствуется въ литературныхъ симпатіяхъ Оленина и его друзей. Въ этомъ сказалось и

его любовь къ археологіи и его горячее патріотическое чувство.

Нужно согласиться, что такія стремленія Оленинскаго кружка имѣли жизненное значеніе для своего времени. Молодой Батюшковъ, воспитанный отчасти въ подобныхъ же идеяхъ М. Н. Муравьевымъ, легко могъ освоиться въ домѣ Оленина и съ пользой проводить здѣсь время. Въ одномъ изъ раннихъ писемъ своихъ къ Алексѣю Николаевичу онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ свои бесѣды съ нимъ, въ которыхъ они усердно „критиковали проклятый музскій народъ". Изъ дома Оленина Батюшковъ вынесъ живой интересъ къ пластическимъ художествамъ: Оленинъ, безъ сомнѣнія, обратилъ его вниманіе на историка древняго искусства Винкельмана. Здѣсь укрѣплялась его любовь къ классической поэзіи.

Въ первые годы текущаго столѣтія крупнымъ событіемъ въ жизни Оленинскаго кружка было появленіе трагедій Озерова. Еще въ послѣднія десятилѣтія прошлаго вѣка, рядомъ съ трагедіями псевдоклассическаго типа, появились на русской сценѣ пьесы иного рода, такъ называемыя мѣщанскія драмы. Написанныя въ духѣ моднаго тогда сентиментализма, но по содержанію своему болѣе близкія къ житейской дѣйствительности, чѣмъ произведенія классическаго репертуара, пьесы эти пріобрѣли явное сочувствіе публики, чѣмъ не мало смущались присяжные литературы, хранители традиціонныхъ правилъ. Въ домѣ Оленина, хотя и сознавали недостатки устарѣвшихъ трагедій Сумарокова, Княжнина и другихъ писателей, ихъ современниковъ, тѣмъ не менѣе не могли помириться съ обращеніемъ общественнаго вкуса къ сентиментальной мѣщанской драмѣ: столь нравящіяся въ то время большинству публики пьесы Коцебу подвергались тамъ строгому осужденію. Поэтому-то появленіе новаго русскаго драматурга, который сумѣлъ примирить возвышенный характеръ старый мнимо-классической трагедіи съ кое-какими нововведеніями сцены, который притомъ владѣлъ красивымъ, звучнымъ стихомъ, — появленіе Озерова встрѣчено было въ домѣ Оленина, какъ настоящее обновленіе русской драматургіи. Въ 1804 году Озеровъ читалъ у Олениныхъ своего „Эдипа въ Афинахъ" и привелъ въ восторгъ своихъ слушателей: ему, однако, было сдѣлано одно замѣ-

чаніе: „Строгій классицизмъ не допустилъ одного — чтобъ Эдипъ пораженъ былъ громомъ (такъ было въ трагедіи Дюси, которому подражалъ Озеровъ, и который, въ свою очередь, замѣнилъ ударомъ грома таинственную смерть Эдипа въ храмѣ Эвменидъ, какъ у Софокла). Требовали, чтобы, по принятому порядку, порокъ былъ наказанъ, торжествовала добродѣтель, и чтобы погибъ Креонъ. Озеровъ долженъ былъ подчиниться этому приговору и передѣлалъ пятый актъ". Такъ и въ Оленинскомъ кружкѣ сохранились предписанія псевдоклассической піитики; однако не всѣ: Дюси и Озеровъ не соблюдаютъ правилъ о единствѣ мѣста дѣйствія, и слушатели трагедіи въ домѣ Олениныхъ не осудили автора за такое поведеніе. „Эдипъ" имѣлъ блестящій успѣхъ. Черезъ день по его представленіи (25 ноября 1804 года) Державинъ писалъ Оленину: „Я былъ во дворцѣ, и государь императоръ, подошедъ ко мнѣ, спрашивалъ: былъ ли я вчерась въ театрѣ, и какова мнѣ кажется трагедія. Я и прочіе отвѣтствовали, что очень хороша, и онъ отозвался, что непремѣнно поѣдетъ ее смотрѣть; мы отвѣтствовали, что „ваше величество ободрите (автора) своимъ благоволеніемъ, которому подобнаго прежде въ Россіи не видали". — Я радъ, сказалъ". „Вотъ, что ко мнѣ пишетъ Гаврила Романовичъ", прибавлялъ Оленинъ, посылая Озерову копію съ этой записки. Въ домѣ Оленина рѣшено было ознаменовать торжество Озерова выбитіемъ медали; но кажется, что мысль эта не была приведена въ исполненіе.

Еще ближе было участіе Оленина въ созданіи другой трагедіи Озерова „Фингалъ", поставленной въ 1805 году. Оленинъ указалъ поэту на сюжетъ въ одной изъ поэмъ Оссіана, и потомъ составилъ рисунки костюмовъ и аксессуарныхъ вещей для постановки этой пьесы. Какъ извѣстно, „Фингалъ" имѣлъ такой же, если не большій, успѣхъ среди публики, какъ и „Эдипъ въ Аѳинахъ".

Батюшковъ, безъ сомнѣнія, принималъ живое участіе въ этихъ торжествахъ Оленинскаго кружка, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ были торжествами для всѣхъ просвѣщенныхъ любителей литературы. Когда, въ началѣ 1807 года, вскорѣ послѣ перваго представленія третьей трагедіи Озерова „Димитрій Донской", нашему молодому поэту пришлось оставить Петербургъ, то и среди новыхъ своихъ заботъ продолжалъ

интересоваться успѣхами талантливаго трагика. Оленина просилъ онъ прислать ему экземпляръ только что отпечатаннаго „Дмитрія". а Гнѣдича спрашивалъ, какъ ведетъ себя противная Озерову партія. Дѣйствительно, блестящими успѣхами своими Озеровъ скоро нажилъ себѣ враговъ въ литературѣ. Еще послѣ постановки „Эдипа" трагедію эту предполагали разсмотрѣть въ домѣ Державина, гдѣ собирались преимущественно литераторы стараго поколѣнія. Самъ Державинъ хотя и признавалъ въ ней „несравненныя красоты", однако усмотрѣлъ ея нѣкоторыя погрѣшности". „Фингалъ", несмотря на восторженный пріемъ публики, также подалъ поводъ къ „невыгоднымъ" о немъ сужденіямъ — безъ сомнѣнія, тоже со стороны старыхъ словесниковъ: Державинъ и въ этой трагедіи нашелъ „дурныя мѣста". Когда же появился и произвелъ громадное впечатлѣніе „Дмитрій Донской", старый лирикъ сталъ открыто высказывать неодобреніе этой пьесѣ и вздумалъ самъ вступить въ соперничество съ Озеровымъ на поприщѣ драматургіи. Впрочемъ, самымъ враждебнымъ Озерову критикомъ былъ не Державинъ, а Шишковъ, горою стоявшій за старыхъ нашихъ трагиковъ. Счастливое совмѣстничество съ нимъ Озерова было просто невыносимо для этого яраго, но нѣсколько безтолковаго ревнителя старины. Подобно Державину, онъ еще снисходительно отзывался о первыхъ двухъ трагедіяхъ Озерова, но на „Дмитрія Донского" нападалъ съ ожесточеніемъ. Онъ „принималъ за личную обиду искаженіе характера славнаго героя Куликовской битвы, искаженіе старинныхъ нравовъ, русской исторіи и высокаго слога", увѣренно предпочиталъ плавности Озеровскаго стиха жестокіе стихи Сумарокова и въ особенности вооружался противъ той чувствительности, которою Озеровъ собиралъ

невольны дани
народныхъ слезъ, рукоплесканій,

и въ которой адмиралъ-писатель видѣлъ развращеніе добрыхъ нравовъ. Державину и Шишкову подобострастно вторили окружавшія ихъ бездарности — по выраженію Озерова въ письмѣ Оленину — „послѣдователи стараго слога, стараго Сумароковскаго вкуса, выдающіе себя, съ своимъ школярнымъ ученіемъ сороколѣтней давности, за судей всѣхъ сочинителей". Мало того, противъ счастливаго драматурга были

пущены въ ходъ интриги и клеветы, которыя подѣйствовали на него такъ, что онъ вздумалъ было бросить литературную дѣятельность, тѣмъ болѣе для него пріятную, что онъ обратился къ ней уже въ зрѣломъ возрастѣ, увлекаемый неодолимою потребностью творчества. Дружескія настоянія Оленина, указывавшаго ему для новой трагедіи Гомеровскій сюжетъ „Поликсены", удержали его отъ этого шага.

Къ убѣжденіямъ Оленина присоединилъ свой голосъ и Батюшковъ. Оставивъ Петербургъ весною 1807 года подъ впечатлѣніемъ блестящаго успѣха „Дмитрія Донского", онъ вскорѣ прислалъ попечителямъ Озерова посвященное ему стихотвореніе, въ которомъ „безвѣстный пѣвецъ" выражалъ ему свое сочувствіе и убѣждалъ его „не разставаться съ музами".

Такъ обозначилась рознь между старыми писателями и тѣмъ кружкомъ образованныхъ людей, который группировался около Алексѣя Николаевича. Горячо поддерживая Озерова, несмотря на свои личныя близкія отношенія къ Державину и Шишкову, Оленинъ засвидѣтельствовалъ самостоятельность своихъ литературныхъ мнѣній и еще разъ доказалъ изящество своего вкуса. Это обстоятельство могло только усилить уваженіе Батюшкова къ Алексѣю Николаевичу, такъ какъ онъ самъ, съ первыхъ шаговъ своихъ на поприщѣ словесности, высказался противъ писателей старой школы, противъ литературныхъ вкусовъ Шишкова и его послѣдователей. Дружба съ семействомъ Оленина сдѣлалась для Батюшкова съ этихъ же поръ одною изъ самыхъ отрадныхъ сторонъ его жизни. *Майковъ.*

Остальные годы жизни Батюшкова.

Въ 1807 году Батюшковъ вступилъ въ милицію и принялъ участіе въ прусскомъ походѣ. Въ битвѣ подъ Гейльсбергомъ онъ былъ раненъ и долженъ былъ отправиться лѣчиться въ Ригу. Въ слѣдующемъ 1808 году Батюшковъ принялъ участіе въ войнѣ со Швеціей, по окончаніи которой вышелъ въ отставку и поѣхалъ къ роднымъ (1809), но не къ отцу, а въ село Хантоново, Нижегородской губерніи, гдѣ жили и хозяйничали его старшія сестры. Это было вызвано

тѣмъ, что еще въ 1807 году Николай Львовичъ вступилъ во второй бракъ, а такъ какъ его взрослыя дочери не хотѣли жить вмѣстѣ съ мачехой, то переселились въ деревню, которая имъ досталась по наслѣдству отъ матери.

Въ деревнѣ Константинъ Николаевичъ началъ скучать и рваться въ городъ: впечатлительность его сдѣлалась болѣзненною, все больше и больше овладѣвала имъ хандра и предчувствіе будущаго сумасшествія.

Въ самомъ концѣ 1809 года Батюшковъ пріѣхалъ въ Москву и скоро, благодаря своему таланту, свѣтлому уму и доброму сердцу, сыскалъ себѣ добрыхъ друзей въ лучшихъ сферахъ тогдашняго московскаго общества. Изъ тамошнихъ литераторовъ наиболѣе сблизился онъ съ В. Л. Пушкинымъ, В. А. Жуковскимъ, кн. П. А. Вяземскимъ и Н. М. Карамзинымъ. Эти новые друзья настолько привязали Батюшкова къ Москвѣ, что, несмотря на увѣщанія петербургскихъ друзей и недостатокъ средствъ, онъ не хотѣлъ оставить „столицы русскаго дворянства", какъ ее назвалъ Карамзинъ, и ѣхать въ Петербургъ, чтобы тамъ выхлопатать себѣ государственную должность, которая дала бы ему матеріальное обезпеченіе. Годы 1810 и 1811 прошли для Батюшкова отчасти въ Москвѣ, отчасти въ Хантоновѣ, гдѣ онъ хандрилъ. Наконецъ, получивъ отставку отъ военной службы, онъ въ началѣ 1812 года отправился въ Петербургъ и, при помощи Оленина, поступилъ на службу въ Публичную библіотеку; жизнь его устроилась довольно хорошо, хотя его постоянно тревожила мысль о судьбѣ его семейства и его самого: скораго повышенія по службѣ нельзя было ожидать, а хозяйственныя дѣла шли все хуже и хуже. Не забывая своихъ московскихъ друзей, Батюшковъ завязалъ новыя знакомства въ Петербургѣ и сблизился съ И. И. Дмитріевымъ, А. И. Тургеневымъ, Д. Н. Блудовымъ и Д. В. Дашковымъ.

Между тѣмъ армія Наполеона вступала въ предѣлы Россіи и стала приближаться къ Москвѣ. Батюшковъ отправился туда, чтобы проводить вдову Муравьеву въ Нижній Новгородъ. Затѣмъ онъ снова вступилъ въ военную службу и, въ качествѣ адъютанта генерала Раевскаго, вмѣстѣ съ русской арміей совершилъ походъ 1813—1814 гг., окончившійся взятіемъ Парижа. Пребываніе за границей имѣло большое вліяніе на Батюшкова, который тамъ впервые по-

знакомился съ нѣмецкой литературой и полюбилъ ее. Парижъ и его памятники, библіотеки и музеи тоже не прошли безслѣдно для впечатлительной натуры Батюшкова; но скоро онъ почувствовалъ тоску по родинѣ, и, посѣтивъ Лондонъ, возвратился въ Петербургъ. Но тутъ, помимо служебныхъ непріятностей, его ждала серіозная неудача: онъ влюбился въ жившую у Оленина молодую дѣвушку Анну Федоровну Фурманъ, которая, однако, не отвѣтила чувствомъ Батюшкову. Съ страшнымъ отчаяніемъ въ душѣ онъ уѣхалъ на службу въ Каменецкъ-Подольскъ, гдѣ стоялъ его полкъ. Черезъ годъ онъ окончательно бросилъ военную службу, поѣхалъ въ Москву, затѣмъ въ Петербургъ, гдѣ онъ сдѣлался членомъ „Арзамаса" и вошелъ въ близкія сношенія со всѣмъ этимъ кружкомъ и въ особенности съ Пушкинымъ, который называлъ его своимъ учителемъ. Въ 1818 году онъ поступилъ въ неаполитанскую русскую миссію. Поѣздка въ Италію была всегда любимою мечтою Батюшкова; но, отправившись туда, онъ почти сейчасъ же почувствовалъ невыносимую скуку, хандру и тоску. Къ 1821 году ипохондрія приняла такіе размѣры, что онъ долженъ былъ оставить службу и Италію. Въ 1822 году разстройство умственныхъ способностей выразилось вполнѣ опредѣленно, и съ тѣхъ поръ Батюшковъ въ продолженіи 34 лѣтъ мучился, не приходя почти никогда къ сознанію и, наконецъ, скончался 7 іюля 1855 года.

Изъ пред. къ соч. Батюшкова 1898 г.

Обзоръ поэтической дѣятельности Батюшкова и характеръ его поэзіи.

Батюшковъ далеко не имѣетъ такого значенія въ русской литературѣ, какъ Жуковскій. Послѣдній дѣйствовалъ на нравственную сторону общества посредствомъ искусства: искусство было для него какъ бы средствомъ къ воспитанію общества. Заслуга Жуковскаго собственно передъ искусствомъ состояла въ томъ, что онъ далъ возможность содержанія для русской поэзіи. Батюшковъ не имѣлъ почти никакого вліянія на общество, пользуясь великимъ уваженіемъ только со стороны записныхъ словесниковъ своего времени, и хотя заслуги его передъ русской поэзіей велики, однакожъ онъ оказалъ ихъ совсѣмъ иначе чѣмъ Жуковскій. Онъ успѣлъ

написалъ только небольшую книжку стихотвореній, и въ этой небольшой книжкѣ не всѣ стихотворенія хороши, и даже хорошія далеко не всѣ равнаго достоинства. Онъ не могъ имѣть особенно сильнаго вліянія на современное ему общество и современную ему русскую литературу и поэзію: вліяніе его обнаружилось на поэзію Пушкина, которая приняла въ себя или, лучше сказать, поглотила въ себя всѣ элементы, составлявшіе жизнь твореній предшествовавшихъ поэтовъ. Державинъ, Жуковскій и Батюшковъ имѣли особенно сильное вліяніе на Пушкина: они были его учителями въ поэзіи, какъ это видно изъ его лицейскихъ стихотвореній. Все, что было существеннаго и жизненнаго въ поэзіи Державина, Жуковскаго и Батюшкова, — все это присуществилось поэзіи Пушкина, переработанное ея самобытнымъ элементомъ. Пушкинъ былъ прямымъ наслѣдникомъ поэтическаго богатства этихъ трехъ маэстро русской поэзіи, — наслѣдникомъ, который собственною дѣятельностію до того увеличилъ полученные имъ капиталы, что масса пріобрѣтеннаго имъ самимъ подавила собой полученную и пущенную имъ въ оборотъ сумму. Какъ умѣли и могли, мы старались показать и открыть существенное и жизненное въ поэзіи Державина и Жуковскаго; теперь остается намъ сдѣлать это въ отношеніи къ поэзіи Батюшкова.

Направленіе поэзіи Батюшкова совсѣмъ противоположно направленію поэзіи Жуковскаго. Если неопредѣленность и туманность составляютъ отличительный характеръ романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ, — то Батюшковъ столько же классикъ, сколько Жуковскій романтикъ: ибо опредѣленность и ясность — первыя и главныя свойства его поэзіи. И если бъ поэзія его при этихъ свойствахъ обладала хотя бы столь же богатымъ содержаніемъ, какъ поэзія Жуковскаго, — Батюшковъ, какъ поэтъ, былъ бы гораздо выше Жуковскаго. Нельзя сказать, чтобъ поэзія его была лишена всякаго содержанія, не говоря уже о томъ, что она имѣетъ свой совершенно самобытный характеръ; но Батюшковъ какъ-будто не сознавалъ своего призванія и не старался быть ему вѣрнымъ, тогда какъ Жуковскій, руководимый непосредственнымъ влеченіемъ своего духа, былъ вѣренъ своему романтизму и вполнѣ исчерпалъ его въ своихъ произведеніяхъ. Свѣтлый и опредѣленный міръ изящной, эстетической древности — вотъ что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ

изъ русскихъ поэтовъ художественный элементъ явился преобладающимъ элеменомъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но видимъ глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драппировки. Жуковскій только черезъ Шиллера познакомился съ древней Элладой. Шиллеръ, смотрѣлъ на Грецію преимущественно съ романтической стороны ея, — и руская поэзія не знала еще Греціи съ ея чисто художественной стороны, не знала Греціи, какъ всемірной мастерской, черезъ которую должна пройти всякая поэзія въ мірѣ, чтобъ научиться быть изящною поэзіей. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескиваютъ черты художественнаго рѣзца древности, но только проблескиваютъ, сейчасъ же теряясь въ грубой и неуклюжей обработкѣ цѣлаго; и эти проблески античности тѣмъ больше дѣлаютъ чести Державину, что онъ по своему образованію и по времени, въ которое жилъ, не могъ имѣть никакого понятія о характерѣ древняго искусства, и если приближался къ нему въ проблескахъ, то не иначе, какъ благодаря только своей поэтической натурѣ. Это показываетъ, между прочимъ, чѣмъ бы могъ быть этотъ поэтъ и что бы могъ онъ сдѣлать, если бъ явился на Руси въ другое, болѣе благопріятное для поэзіи время. Но Батюшковъ сблизился съ духомъ изящнаго искусства греческаго сколько по своей натурѣ, столько и по большему или меньшему знакомству съ нимъ черезъ образованіе. Онъ былъ первый изъ русскихъ поэтовъ, побывавшій въ этой міровой студіи мірового искусства: его перваго поразили эти изящныя головы, эти соразмѣрные торсы — произведенія волшебнаго рѣзца, исполненнаго благородной простоты и спокойной пластической красоты. Батюшковъ, кажется, зналъ латинскій языкъ и, кажется, не зналъ греческаго; неизвѣстно, съ какого языка перевелъ онъ двѣнадцать пьесъ изъ греческой антологіи: этого не объяснено въ коротенькомъ предисловіи къ изданію его сочиненій, сдѣланномъ Смирдинымъ; но приложенные къ статьѣ „О Греческой антологіи“ французскіе переводы этихъ же самыхъ пьесъ позволяютъ думать, что Батюшковъ перевелъ ихъ съ французскаго. Это послѣднее обстоятельство разительно показываетъ, до какой степени натура и духъ этого поэта были родственны эллинской музѣ.

Для тѣхъ, кто понимаетъ значеніе искусства, какъ искусства, и кто понимаетъ, что искусство, не будучи прежде всего искусствомъ, не можетъ имѣть никакого дѣйствія на людей, каково бы ни было его содержаніе, — для тѣхъ должно быть понятно, почему мы приписываемъ такую высокую цѣну переводамъ Батюшкова двѣнадцати маленькихъ пьесокъ изъ греческой антологіи. Приведемъ, для примѣра, одну самую короткую:

Сокроемъ навсегда отъ зависти людей
Восторги пылкіе и страсти упоенья;
Какъ сладокъ поцѣлуй въ безмолвіи ночей,
Какъ сладокъ тайное любови наслажденье!

Такого стиха, какъ въ этой пьескѣ, не было, до Пушкина, ни у одного поэта, кромѣ Батюшкова: мало того: можно сказать рѣшительнѣе, что до Пушкина ни одинъ поэтъ, кромѣ Батюшкова, не въ состояніи былъ показать возможности такого русскаго стиха. Послѣ этого Пушкину стоило не слишкомъ большого шага впередъ начать писать такими антологическими стихами, какъ вотъ эти:

Я вѣрю: я любимъ; для сердца нужно вѣрить.
Нѣтъ, милая моя не можетъ лицемѣрить;
Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ,
Стыдливость робкая, харитъ безцѣнный даръ,
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность
И ласковыхъ именъ младенческая нѣжность.

Вообще надо замѣтить, что антологическія стихотворенія Батюшкова уступятъ антологическимъ пьесамъ Пушкина только развѣ въ чистотѣ языка, чуждаго произвольныхъ усѣченій и всякой неровности и шероховатости, столь извинительныхъ и неизбѣжныхъ въ то время, когда явился Батюшковъ. Совершенство антологическаго стиха Пушкина — совершенство, которымъ онъ много обязанъ Батюшкову — отразилось вообще на стихѣ его. Приводимъ здѣсь снова два послѣдніе стиха выписанной нами антологической пьесы:

Какъ сладокъ поцѣлуй въ безмолвіи ночей,
Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Вспомните стихотвореніе Пушкина: „Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю“. Стихотвореніе это нисколько не антологическое, но посмотрите, какъ послѣдніе стихи

его напоминаютъ своей фактурой антологическую пьесу Батюшкова.

И дѣва въ сумерки выходитъ на крыльцо:
Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо!
Но бури сѣвера не вредны русской розѣ.
Какъ жарко поцѣлуй пылаетъ на морозѣ!
Какъ дѣва русская свѣжа въ пыли снѣговъ!

Благодаря Пушкину, тайна антологическаго стиха сдѣлалась доступна даже обыкновеннымъ талантамъ: какъ, напримѣръ, многія антологическія стихотворенія Майкова не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, между тѣмъ какъ Майковъ не обнаружилъ никакого дарованія ни въ какомъ другомъ родѣ поэзіи, кромѣ антологическаго. Послѣ Майкова встрѣчаются превосходныя стихотворенія въ антологическомъ родѣ у Фета. Майковъ нашелъ себѣ подражателя въ Крешевѣ, антологическія стихотворенія котораго не совсѣмъ чужды поэтическаго достоинства, и явись такія стихотворенія въ началѣ второго десятилѣтія настоящаго вѣка, они составили бы собой эпоху въ русской литературѣ; а теперь ихъ никто не хочетъ и замѣчать, — что̀ не совсѣмъ неосновательно и несправедливо. Какого же удивленія заслуживаетъ Батюшковъ, который первый на Руси создалъ антологическій стихъ, только развѣ по языку, и то весьма немногимъ, уступающій антологическому стиху Пушкина? И не въ правѣ ли мы думать, что Батюшкову обязанъ Пушкинъ своимъ антологическимъ, а вслѣдствіе этого и вообще своимъ стихомъ? Жуковскій не могъ не имѣть большого вліянія на Пушкина: кому неизвѣстно его обращеніе къ нему, какъ къ своему учителю въ „Русланѣ и Людмилѣ“.

Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,
Могилъ и рая вѣрный житель,
И музы вѣтреной моей
Наперсникъ, пѣстунъ и хранитель!

Дальнѣйшіе стихи этого отрывка, несмотря на ихъ шуточный тонъ, показываютъ, какъ сильно дѣйствовали на дѣтское воображеніе Пушкина даже и „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“. Но вліяніе Жуковскаго на Пушкина было больше нравственное, чѣмъ артистическое, и трудно было бы найти и указать въ сочиненіяхъ Пушкина слѣды этого вліяні

исключая развѣ лицейскія его стихотворенія. Пушкинъ рано и скоро пережилъ содержаніе поэзіи Жуковскаго, и его ясный, опредѣленный умъ, его артистическая натура гораздо болѣе гармонировали съ умомъ и натурой Батюшкова, чѣмъ Жуковскаго. Поэтому вліяніе Батюшкова на Пушкина виднѣе, чѣмъ вліяніе Жуковскаго. Это вліяніе особенно замѣтно въ стихѣ, столь артистическомъ и художественномъ: не имѣя Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себѣ такой стихъ.

Батюшкову по натурѣ его было очень сродно созерцаніе благъ жизни въ греческомъ духѣ. Въ любви онъ совсѣмъ не романтикъ. Изящное сладострастіе — вотъ паѳосъ его поэзіи. Правда, въ любви его, кромѣ страсти и граціи, много нѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементъ ея всегда — страстное вожделѣніе, увѣнчиваемое всею нѣгой, всѣмъ обаяніемъ исполненнаго поэзіи и граціи наслажденія. Есть у него пьеса, которую можно назвать апоѳеозой чувственной страсти, доходящей въ неукротимомъ стремленіи вожделѣнія до бѣшенаго и въ то же время въ высшей степени поэтическаго и граціознаго безумія. Этимъ страстнымъ вдохновеніемъ обязанъ нашъ поэтъ самой древности, и содержаніе взято имъ изъ ея миѳологической жизни: оно въ яркихъ краскахъ рисуетъ веселое празднество и обаятельно-буйныхъ, очаровательно-безстыдныхъ жрицъ Вакха:

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ и стоны.
Въ чащѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за нею — она бѣжала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвѣвали,
Перевитые плющомъ,
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.
Стройный станъ, кругомъ обвитый
Хмеля желтаго вѣнцомъ,
И пылающи ланиты
Розы яркимъ багрецомъ,
И уста, въ которыхъ таетъ
Пурпуровый виноградъ —
Все въ неистовой прельщаетъ.
Въ сердце льетъ огонь и ядъ!
Я за ней... она бѣжала
Легче серны молодой, —
Я настигъ: она упала!
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались
Съ громкимъ воплемъ мимо насъ;
И по рощѣ раздавались
„Эвое!“ и нѣги гласъ.

Такіе стихи и въ наше время превосходны: при первомъ же своемъ появленіи они должны были поразить общее внима-

ніе, какъ предвѣстіе скораго переворота въ русской поэзіи. Это еще не пушкинскіе стихи, но послѣ нихъ уже надо было ожидать не другихъ какихъ-нибудь, а пушкинскихъ... Такъ все готово было къ явленію Пушкина, — и, конечно, Батюшковъ много и много способствовалъ тому, что Пушкинъ явился такимъ, какимъ явился дѣйствительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобъ имя его произносилось въ исторіи русской литературы съ любовью и уваженіемъ.

Судя по родственности натуры Батюшкова съ древней музой и по его превосходному поэтическому таланту, можно было бы подумать, что онъ обогатилъ нашу литературу множествомъ художественныхъ произведеній, написанныхъ въ древнемъ духѣ, и множествомъ мастерскихъ переводовъ съ греческаго и латинскаго: — ничуть не бывало! Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи, Батюшковъ ничего не перевелъ изъ греческихъ поэтовъ; а съ латинскаго перевелъ три элегіи изъ Тибулла — и то вольнымъ переводомъ. Переводъ Батюшкова мѣстами слабъ, вялъ, растянутъ и прозаиченъ, такъ что тяжело прочесть цѣлую элегію вдругъ; но мѣстами этотъ же переводъ такъ хорошъ, что заставляетъ сожалѣть, зачѣмъ Батюшковъ не перевелъ всего Тибулла, этого латинскаго романтика. Каковъ бы ни былъ переводъ этотъ въ цѣломъ, но мѣста, подобныя слѣдующимъ, выкупили бы его недостатки:

Единственный мой богъ и сердца властелинъ,
Я былъ твоимъ жрецомъ, Киприды милый сынъ!
До гроба я носилъ твои оковы нѣжны,
И ты, Амуръ, меня въ жилища безмятежны,
Въ Элизій приведешь таинственной стезей,
Туда, гдѣ вѣчный май межъ рощей и полей;
Гдѣ расцвѣтаетъ нардъ и киннамона лозы
И воздухъ напоенъ благоуханьемъ розы;
Тамъ слышно пѣнье птицъ и шумъ біющихъ водъ;
Тамъ дѣвы юныя, сплетяся въ хороводъ,
Мелькаютъ межъ древесъ, какъ легки привидѣнья;
И тотъ, кого постигъ, въ минуту упоенья,
Въ объятіяхъ любви неумолимый рокъ,
Тотъ носитъ на челѣ изъ свѣжихъ миртъ вѣнокъ.

. . . .

Но ты, мнѣ вѣрная, другъ милый и безцѣнный,
И въ мирной хижинѣ, отъ взоровъ сокровенной,
Съ наперсницей любви, съ подругою твоей,

На мигъ не покидай домашнихъ алтарей.
При шумѣ зимнихъ вьюгъ, подъ сѣнью безопасной,
Подруга въ темну ночь затеплитъ свѣтильникъ ясной
И, тихо веретено кружа въ рукѣ своей,
Разскажетъ повѣсти и были старыхъ дней.
А ты, склоняя слухъ на сладки небылицы,
Забудешься, мой другъ; и томныя зеницы
Закроетъ тихій сонъ, и прялица изъ рукъ
Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ,
Какъ небомъ посланный внезапно добрый геній.
Бѣги навстрѣчу мнѣ, бѣги изъ мирной сѣни,
Въ прелестной наготѣ явись моимъ очамъ,
Власы разсѣянны небрежно по плечамъ,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда жъ Аврора намъ, когда сей день блаженный
На розовыхъ коняхъ, въ блистаньи принесетъ
И Делію Тибуллъ въ восторгѣ обойметъ?

Элегія, изъ которой сдѣлали мы эти выписки, не означена никакой цифрой. Она вся переведена превосходно, и если въ ней много незаконныхъ усѣченій и есть хотя одинъ такой стихъ, какъ:

Богами свержены во области бездонны, —

то не должно забывать, что все это принадлежитъ болѣе къ недостаткамъ языка, чѣмъ къ недостаткамъ поэзіи; а во время Батюшкова никто не думалъ видѣть въ этомъ какіе бы то ни было недостатки. Если переводъ III элегіи Тибулла и уступитъ въ достоинствѣ переводу первой, тѣмъ не менѣе онъ читается съ наслажденіемъ; но XI элегія переведена Батюшковымъ болѣе неудачно, чѣмъ удачно: немногіе хорошіе стихи затоплены въ ней потокомъ вялой и растянутой прозы въ стихахъ.

Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи и трехъ элегій изъ Тибулла, памятникомъ сочувствія и уваженія Батюшкова къ древней поэзіи остается только переведенная имъ изъ Мильвуа поэма „Гезіодъ и Омиръ, соперники“. Не имѣя подъ руками французскаго подлинника, мы не можемъ сравнить съ нимъ русскаго перевода; но немного нужно проницательности, чтобъ понять, что подъ перомъ Батюшкова эта поэма явилась болѣе греческой, чѣмъ въ оригиналѣ. Вообще эта поэма не безъ достоинствъ, хотя въ то же время и не отличается слишкомъ большими достоинствами, какъ бы этого можно было ожидать отъ ея сюжета.

Что мѣшало Батюшкову обогатить русскую литературу превосходными произведеніями въ духѣ древней поэзіи и превосходными переводами, мы скажемъ объ этомъ ниже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась родственно не къ одной Элладѣ: ей, какъ южному растенію, еще привольнѣе было подъ благодатнымъ небомъ роскошной Авзоніи. Отечество Петрарки и Тасса было отечествомъ музы русскаго поэта. Петрарка, Аріостъ и Тассо, особливо послѣдній, были любимѣйшими поэтами Батюшкова. Смерти Тассо посвятилъ онъ прекрасную элегію, которую можно принять за апоѳеозу жизни и смерти пѣвца „Іерусалима“: стихотвореніе „къ Тассу“ — родъ посланія, довольно большого, хотя и довольно слабаго, также свидѣтельствуетъ о любви и благоговѣніи нашего поэта къ пѣвцу Готфреда; сверхъ того, Батюшковъ перевелъ, впрочемъ, довольно неудачно, небольшой отрывокъ изъ „Освобожденнаго Іерусалима“. Изъ Петрарки онъ перевелъ только одно стихотвореніе — „На смерть Лауры“, да написалъ подражаніе его IX канцонѣ — „Вечеръ“. Всѣмъ тремъ поэтамъ Италіи онъ посвятилъ по одной прозаической статьѣ, гдѣ излилъ свой восторгъ къ нимъ, какъ критикъ. Особенно замѣчательно, что онъ какъ-будто гордится, словно заслугой, открытіемъ, которое удалось ему сдѣлать при многократномъ чтеніи Тассо: онъ нашелъ многія мѣста и цѣлые стихи Петрарки въ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“, что, по его мнѣнію, доказываетъ любовь и уваженіе Тассо къ Петраркѣ. И при всемъ томъ Батюшковъ такъ же слишкомъ мало оправдалъ на дѣлѣ свою любовь къ италіанской поэзіи, какъ и къ древней. Почему это — увидимъ ниже.

Страстность составляетъ душу поэзіи Батюшкова, а страстное упоеніе любви — ея паѳосъ. Онъ и переводилъ Парни и подражалъ ему; но въ томъ и другомъ случаѣ оставался самимъ собою. Слѣдующее подражаніе Парни — „Ложный Стыдъ“, даетъ полное и вѣрное понятіе о паѳосѣ его поэзіи:

Помнишь ли, мой другъ бесцѣнный,
Какъ съ амурами, тишкомъ,
Мракомъ ночи окруженный,
Я къ тебѣ прокрался въ домъ?
Помнишь ли, о другъ мой нѣжной!
Какъ дрожащая рука
Отъ побѣды неизбѣжной
Защищалась, — но слегка?
Слышенъ шумъ — ты испугалась;
Свѣтъ блеснулъ и вмигъ погасъ;
Ты къ груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный часъ!

Ты пугалась; я смѣялся.
„Намъ ли вѣдать, Хлоя, страхъ?
„Гименей за все ручался,
„И амуры на часахъ.
Все въ безмолвіи глубокомъ.
„Все почило сладкимъ сномъ!
„Дремлетъ Аргусъ томнымъ окомъ
„Подъ морфеевомъ крыломъ!“
Рано утреннія розы
Запылали въ небесахъ ..
Но любви безцѣнны слезы,
Но улыбка на устахъ;
Томно персей волнованье
Подъ прозрачнымъ полотномъ,
Молча новое свиданье
Обѣщали вечеркомъ.

Если бъ Зевсова десница
Мнѣ вручила ночь и день:
Поздно бъ юная денница
Прогоняла черну тѣнь!
Поздно бъ солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло бъ, и сокрыло
За лѣсъ рдяное лицо;
Долго бъ тѣни пролежали
Влажной ночи на поляхъ;
Долго бъ смертные вкушали
Сладострастіе въ мечтахъ.
Дружбѣ дамъ я часъ единый,
Вакху часъ и сну другой;
Остальною жъ половиной
Подѣлюсь, мой другъ, съ тобой!

Въ прелестномъ посланіи къ Ж*** и В*** „Мои пенаты“ съ такой же яркостью высказывается преобладающая страсть поэзіи Батюшкова. Окончательные стихи этой прелестной пьесы представляютъ изящный эпикуреизмъ Батюшкова во всей его поэтической обаятельности:

Пока бѣжитъ за нами
Богъ времени сѣдой
И губитъ лугъ съ цвѣтами
Безжалостной косой,
Мой другъ, скорѣй за счастьемъ
Въ путь жизни полетимъ;
Упьемся сладострастьемъ
И смерть опередимъ;
Сорвемъ цвѣты украдкой
Подъ лезвеемъ косы,
И лѣнью жизни краткой
Продлимъ, продлимъ часы!
Когда же Парки тощи
Нить жизни допрядутъ
И насъ въ обитель нощи
Ко прадѣдамъ снесутъ —
Товарищи любезны!
Не сѣтуйте о насъ!

Къ чему рыданья слезны,
Наемныхъ ликовъ гласъ?
Къ чему сіи куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопѣнья
Надъ хладною доской?
Къ чему?.. но вы толпами
При мѣсячныхъ лучахъ
Сберитесь, и цвѣтами
Усѣйте мирный прахъ;
Иль бросьте на гробницы
Боговъ домашнихъ ликъ,
Двѣ чаши, двѣ цѣвницы,
Съ листами павиликъ;
И путникъ угадаетъ
Безъ надписей златыхъ,
Что прахъ тутъ почиваетъ
Счастливцевъ молодыхъ!

Нельзя согласиться, что въ этомъ эпикуреизмѣ много человѣчнаго, гуманнаго, хотя, можетъ-быть, въ то же время много и односторонняго. Какъ бы то ни было, но здравый эстетическій вкусъ всегда поставитъ въ большое достоинство поэзіи Батюшкова ея опредѣленность. Вамъ можетъ не

понравится ея содержаніе, такъ же какъ другого можетъ оно восхищать: но оба вы, по крайней мѣрѣ, будете знать — одинъ, что онъ не любитъ, другой — что онъ любитъ. И ужъ, конечно, такой поэтъ, какъ Батюшковъ — больше поэтъ, чѣмъ, напримѣръ, Ламартинъ съ *его медитаціями и гармоніями*, сотканными изъ вздоховъ, оховъ, облаковъ, тумановъ, паровъ, тѣней и призраковъ... Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется въ словахъ, не кружится на одной ногѣ вокругъ самого себя, но движется, растетъ само изъ себя, подобно растенію, которое, проглянувъ изъ земли стебелькомъ, является пышнымъ цвѣткомъ, дающимъ плодъ. Можетъ быть немного найдется у Батюшкова стихотвореній, которыя могли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до нашей цѣли — познакомить читателей съ Батюшковымъ, если бъ не указали на это прелестное его стихотвореніе — „Источникъ“:

Буря умолкла, и въ ясной лазури
Солнце явилось на западѣ намъ:
Мутный источникъ, слѣдъ яростной бури,
Съ ревомъ и шумомъ бѣжитъ по полямъ!
Зафна! приближься: для дѣвы невинной
Пальмы подъ тѣнью здѣсь роза цвѣтетъ;
Падая съ камня источникъ пустынный
Съ ревомъ и пѣной сквозь дебри течетъ!
  Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ.
Пѣсни любови ты мнѣ повторила —
Вѣтеръ унесъ ихъ на тихихъ крылахъ!
Голосъ твой, Зафна, какъ утра дыханье,
Сладостно шепчетъ, несясь по цвѣтамъ:
Тише, источникъ, прерви волнованье,
Съ ревомъ и съ пѣной стремясь по полямъ!
  Голосъ твой, Зафна, въ душѣ отозвался;
Вижу улыбку и радость въ очахъ!
Дѣва любви! я къ тебѣ прикасался,
Съ медомъ пилъ розы на влажныхъ устахъ!
Зафна краснѣетъ?.. О другъ мой невинный,
Тихо прижмися устами къ устамъ!
Будь же ты скроменъ, источникъ пустынный,
Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!
  Чувствую персей твоихъ волнованье,
Сердца біенье и слезы въ очахъ,
Сладостно дѣвы стыдливой роптанье!
Зафна, о Зафна! смотри, тамъ, въ водахъ

Быстро несется цвѣтокъ розмаринный;
Воды умчались, — цвѣточка ужъ нѣтъ!
Время быстрѣе, чѣмъ токъ сей пустынный,
Съ ревомъ который сквозь дебри течетъ.
Время погубитъ и прелесть и младость!..
Ты улыбнулась, о дѣва любви!
Чувствуешь въ сердцѣ томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень въ крови!..
Зафна, о Зафна! — тамъ голубь невинный
Съ страстной подругой завидуютъ намъ...
Вздохи любви — источникъ пустынный
Съ ревомъ и шумомъ умчитъ по полямъ!

Нужно ли объяснять, что лежащее въ основѣ этого стихотворенія чувство, вначалѣ тихое и какъ бы случайное, съ каждой новой строфѣ все идетъ crescendo, разрѣшаясь гармоническимъ аккордомъ вздоховъ любви, унесенныхъ пустыннымъ источникомъ... И сколько жизни, сколько граціи въ этомъ чувствѣ!...

Но не однѣ радости любви и наслажденія страсти умѣлъ воспѣвать Батюшковъ: какъ поэтъ новаго времени, онъ не могъ, въ свою очередь, не заплатить дани романтизму. И какъ хорошъ романтизмъ Батюшкова: въ немъ столько опредѣленности и ясности! Элегія его — это ясный вечеръ, а не темная ночь, — вечеръ, въ прозрачныхъ сумеркахъ котораго всѣ предметы только принимаютъ на себя какой-то грустный оттѣнокъ, а не теряютъ своей формы и не превращаются въ призраки... Сколько души и сердца въ стихотвореніи „Послѣдняя Весна“, и какіе стихи!

Въ поляхъ блистаетъ май веселый!
Ручей свободно зажурчалъ,
И яркій голосъ филомелы
Угрюмый боръ очаровалъ:
Все новой жизни пьетъ дыханье!
Пѣвецъ любви, лишь ты унылъ!
Ты смерти вѣрной предвѣщанье
Въ печальномъ сердцѣ заключилъ;
Ты бродишь слабыми стопами
Въ послѣдній разъ среди полей,
Прощаясь съ ними и съ лѣсами
Пустынной родины твоей.
„Простите, рощи и долины,
Родныя рѣки и поля!
Весна пришла, и часъ кончины
Неотразимой вижу я.

Такъ Эпидавра прорицанье
Вѣщало мнѣ: въ послѣдній разъ
Услышишь горлицъ воркованье
И гальціоны тихій гласъ;
Зазеленѣютъ гибки лозы,
Поля одѣнутся въ цвѣты,
Тамъ первыя увидишь розы
И съ ними вдругъ увянешь ты.
Ужъ близокъ часъ... цвѣточки милы,
Къ чему такъ рано увядать?
Закройте памятникъ унылый,
Гдѣ прахъ мой будетъ истлѣвать;
Закройте путь къ нему собою
Отъ взоровъ дружбы навсегда,
Но если Делія съ тоскою
Къ нему приблизится: тогда
Исполните благоуханьемъ
Вокругъ пустынный небосклонъ
И томнымъ листьевъ трепетаньемъ
Мой сладко очаруйте сонъ!"
Въ поляхъ цвѣты не увядали,
И гальціоны въ тихій часъ
Стенанья рощи повторяли,
А бѣдный юноша... погасъ!
И дружба слезъ не уронила
На прахъ любимца своего;
И Делія не посѣтила
Пустынный памятникъ его:
Лишь пастырь въ тихій часъ денницы,
Какъ въ поле стадо выгонялъ,
Унылой пѣснью возмущалъ
Молчанье мертвое гробницы.

Грація — неотступный спутникъ музы Батюшкова, что бы она ни пѣла — буйную ли радость вакханаліи, страстное ли упоеніе любви, или грустное раздумье о прошедшемъ, скорбь сердца, оторваннаго отъ милыхъ ему предметовъ. Что можетъ быть граціознѣе этихъ двухъ маленькихъ элегій:

О, память сердца! ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня въ странѣ плѣняешь дальной.
Я помню голосъ милыхъ словъ,
Я помню очи голубыя,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власовъ.
Моей пастушки несравненной

Я помню весь нарядъ простой,
И образъ милой, незабвенной,
Повсюду странствуетъ со мной.
Хранитель геній мой — любовью
Въ утѣху данъ разлукѣ онъ:
Засну ль — приникнетъ къ изголовью
И усладитъ печальный сонъ.

Зефиръ послѣдній свѣялъ сонъ
Съ рѣсницъ, окованныхъ мечтами;
Но я — не къ счастью пробужденъ
Зефира тихими крылами.
Ни сладость розовыхъ лучей
Предтечи утренняго Феба,
Ни кроткій блескъ лазури неба,
Ни запахъ, вѣющій съ полей,
Ни быстрый летъ коня ретива
По скату бархатныхъ луговъ,
И гончихъ лай, и звонъ роговъ
Вокругъ пустыннаго залива; —
Ничто души не веселитъ,
Души встревоженной мечтами,
И гордый умъ не побѣдитъ
Любви холодными словами.

Замѣчательно, что у Батюшкова есть прекрасная небольшая элегія, которая не что иное, какъ очень близкій и очень удачный переводъ одной строфы изъ четвертой пѣсни Байронова „Чайльдъ-Гарольда". Вотъ, по возможности, близкая передача въ прозѣ этой строфы (CLXXVIII): „Есть удовольствіе въ непроходимыхъ лѣсахъ, есть прелесть на пустынномъ берегу, есть общество вдали отъ докучныхъ въ сосѣдствѣ глубокаго моря, и ропотъ волнъ его есть своя мелодія. Я тѣмъ не менѣе люблю человѣка, но я тѣмъ болѣе люблю природу вслѣдствіе этихъ свиданій съ ней, на которыя я спѣшу, забывая все, чѣмъ бы я могъ быть или чѣмъ былъ прежде, для того, чтобы сливаться со вселенной и чувствовать то, что я никогда не въ состояніи выразить, но о чемъ, однакожъ, не могу и молчать". — Вотъ переводъ Батюшкова:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
  Есть радость на приморскомъ брегѣ,
И есть гармонія въ семъ говорѣ валовъ,
  Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ.

Я ближняго люблю — но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ,
Тобою въ чувствахъ оживаю:
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать объ нихъ, не знаю.

Козловъ перевелъ и слѣдующія пять строфъ и выдалъ это за собственное произведеніе: по крайней мѣрѣ, въ третьемъ изданіи его сочиненій не означено, откуда взято первое стихотвореніе во второй части „Къ морю", посвященное Пушкину. Къ довершенію всего переводъ такъ воденъ, что въ немъ нѣтъ никакихъ признаковъ Байрона. Сравните три послѣдніе стиха перваго куплета съ переводомъ Батюшкова:

Природу я душою обнимаю,
Она милѣй; *постичь стремлюся я*
Все то, чему нѣтъ словъ, но что таить нельзя.

То ли это?..

Безпечный поэтъ-мечтатель, философъ-эпикуреецъ, жрецъ любви, нѣги и наслажденія, Батюшковъ не только умѣлъ задумываться и грустить, но зналъ и диссонансы сомнѣнія и муки отчаянія. Не находя удовлетворенія въ наслажденіяхъ жизни и нося въ душѣ страшную пустоту, онъ восклицалъ въ тоскѣ своего разочарованія:

Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ,
Всѣ дни утратами считаемъ;
На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ,
И что жъ? — ихъ урны обнимаемъ!

. . . .

Такъ все здѣсь суетно въ обители суетъ!
Пріязнь и дружество непрочно!
Но гдѣ, скажи, мой другъ, прямой сіяетъ свѣтъ?
Что вѣчно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошалъ я опытность вѣковъ
И Кліи мрачныя скрижали;
Напрасно вопрошалъ всѣхъ міра мудрецовъ, —
Они безмолвны пребывали.
Какъ въ воздухѣ перо кружится здѣсь и тамъ,
Какъ въ вихрѣ тонкій прахъ летаетъ,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ
И вѣчно пристани не знаетъ:

Тамъ умъ мой посреди волненій погибалъ.
Всѣ жизни прелести затмились;
Мой геній въ горести свѣтильникъ погашалъ
И музы свѣтлыя сокрылись.

Бросая общій взглядъ на поэтическую дѣятельность Батюшкова, мы видимъ, что его талантъ былъ гораздо выше того, что сдѣлано имъ, и что во всѣхъ его произведеніяхъ есть какая-то недоконченность, неровность, незрѣлость. Съ превосходнѣйшими стихами мѣшаются у него иногда стихи старинной фактуры, лучшія пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаическихъ и растянутыхъ мѣстъ. Въ его поэтическомъ призваніи Греція борется съ Италіей, югъ съ сѣверомъ, ясная радость съ унылой думой, легкомысленная жажда наслажденія вдругъ смѣняется мрачнымъ, тяжелымъ сомнѣніемъ, и тирская багряница эпикурейца робко прячется подъ власяницу суроваго аскета. Отсюда происходитъ, что поэзія Батюшкова лишена общаго характера, и если можно указать на ея паѳосъ, то нельзя не согласиться, что этотъ паѳосъ лишенъ всякой увѣренности въ самомъ себѣ и часто походитъ на контрабанду, съ опасеніемъ и боязнью провозимую черезъ таможню піэтизма и морали. Батюшковъ былъ учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имѣлъ на него такое сильное вліяніе, онъ передалъ ему почти готовый стихъ. — а между тѣмъ, что представляютъ намъ творенія самого этого Батюшкова? Кто теперь читаетъ ихъ, кто восхищается ими? Въ нихъ все принадлежитъ своему времени, и почти ничего нѣтъ для нашего. Артистъ, художникъ по призванью, по натурѣ и по таланту, Батюшковъ неудовлетворителенъ для насъ и съ эстетической точки зрѣнія. Откуда же эти противорѣчія? Гдѣ причина ихъ? — Не трудно дать отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Творенія Жуковскаго — это цѣлый періодъ нашей литературы, цѣлый періодъ нравственнаго развитія нашего общества. Ихъ можно находить односторонними, но въ этой-то односторонности и заключается необходимость, оправданіе и достоинство ихъ. Съ произведеніями музы Жуковскаго связано нравственное развитіе каждаго изъ насъ въ извѣстную эпоху нашей жизни, и потому мы любимъ эти произведенія, даже и будучи отдѣлены отъ нихъ неиз-

мѣримымъ пространствомъ новыхъ потребностей и стремленій: такъ возмужалый человѣкъ любитъ волненія и надежды своей юности, надъ которыми самъ же уже смѣется. Жуковскій весь отдался своему направленію, своему призванію. Онъ — романтикъ во всемъ, что есть лучшаго въ его поэзіи, и не романтикъ только въ неудачныхъ своихъ опытахъ, число которыхъ, впрочемъ, уступаетъ числу лучшихъ, т.-е. романтическихъ его произведеній. Батюшковъ написалъ по нѣскольку пьесъ на нѣсколько мотивовъ — и вотъ все. Мы въ этой статьѣ выписали почти все лучшее изъ произведеній Батюшкова: такъ немного у него лучшаго! Направленіе и духъ поэзіи его гораздо опредѣленнѣе и дѣйствительнѣе направленія и духа поэзіи Жуковскаго: а между тѣмъ, кто изъ русскихъ не знаетъ Жуковскаго, и многіе ли изъ нихъ знаютъ Батюшкова не по одному только имени?

Главная причина всѣхъ этихъ противорѣчій заключается, разумѣется, въ самомъ талантѣ Батюшкова. Это былъ талантъ замѣчательный, но болѣе яркій, чѣмъ глубокій, болѣе гибкій, чѣмъ самостоятельный, болѣе граціозный, чѣмъ энергическій. Батюшкову немногаго не доставало, чтобъ онъ могъ переступить за черту, раздѣляющую большой талантъ отъ геніальности. И вотъ почему онъ всегда находился подъ вліяніемъ своего времени. А его время было странное время — время, въ которое новое являлось, не смѣняя стараго, и старое и новое дружно жили другъ подлѣ друга, не мѣшая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому, и на вѣру, по преданію благоговѣло передъ его богами. Посмотрите, какъ безсознательно восхищался Батюшковъ представителями русскаго Парнаса:

Пускай веселы тѣни
Любимыхъ мнѣ пѣвцовъ,
Оставя тайны сѣни
Стигійскихъ береговъ,
Иль области эѳирны,
Воздушною толпой
Слетятъ на голосъ лирный
Бесѣдовать со мной!..
И мертвые съ живыми
Вступили въ міръ единый!..
Что вижу? ты предъ ними
Парнасскій исполинъ,
Пѣвецъ героевъ, славы,
Вслѣдъ вихрямъ и громамъ,
Нашъ лебедь величавый,
Плывешь по небесамъ.
Въ толпѣ и музъ и грацій
То съ лирой, то съ трубой,
Нашъ *Пиндаръ*, нашъ *Горацій*,
Сливаетъ голосъ свой.
Онъ громокъ, быстръ и силенъ
Какъ Суна средь степей,

И нѣженъ, тихъ, умиленъ,
Какъ вешній соловей.
Фантазіи небесной
Давно любимый сынъ (?),
То повѣстью прелестной
Плѣняетъ Карамзинъ,
То мудраго Платона
Описываетъ намъ,
И ужинъ Агатона,
И наслажденья храмъ;
То древню Русь и нравы
Владимира времянъ,
И въ колыбели славы.
Рожденіе славянъ.
За ними *сильфъ прекрасный*
Богдановичъ Харитъ,
На цитрѣ сладкогласной
О „Душенькѣ" бренчитъ;
Мелецкаго съ собою
Улыбкою зоветъ,
И съ нимъ, рука съ рукою,
Гимнъ радости поетъ...
Съ эротами играя,
Философъ и піитъ,
Близъ Федра и Пильпая
Тамъ Дмитріевъ сидитъ;
Бесѣдуя съ звѣрями,
Какъ счастливый дитя,
Парнасскими цвѣтами
Скрылъ истину шутя.
За нимъ въ часы свободы
Поютъ среди цвѣтовъ
Два баловня природы,
Хемницеръ и Крыловъ.
Наставники-піиты,
О, фебовы жрецы!
Вамъ, вамъ плетутъ Хариты
Безсмертные вѣнцы!
Я вамъ здѣсь вкушаю
Восторги піэритъ,
И въ радости взываю:
О музы! я піитъ!

Что такое эти стихи, если не крикъ безотчетнаго восторга? Для Батюшкова всѣ писатели, которыми привыкъ онъ восхищаться съ дѣтства, равно велики и безсмертны. Державинъ у него — „нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій", какъ будто бы для него мало чести быть только нашимъ Пиндаромъ или только нашимъ Гораціемъ. Если Батюшковъ тутъ же не назвалъ Державина еще и нашимъ Анакреономъ, — это, вѣроятно, потому, что Анакреонъ, какъ длинное имя, не пришлось въ мѣру стиха. Батюшковъ съ Гораціемъ былъ знакомъ не по слуху и не видѣлъ, что между Гораціемъ — поэтомъ умиравшаго, развратнаго языческаго общества, — и между Державинымъ — поэтомъ, для котораго еще не было никакого общества, — нѣтъ рѣшительно ничего общаго! Если Батюшковъ и не зналъ по-гречески, — онъ могъ имѣть понятіе о Пиндарѣ по латинскимъ и нѣмецкимъ переводамъ; но это, видно, не помогло ему понять, что еще менѣе какого бы то ни было сходства между Державинымъ и Пиндаромъ, — Пиндаромъ, котораго вдохновенная, возвышенная поэзія была голосомъ цѣлаго народа — и какого еще народа!.. Если Батюшковъ не упомянулъ въ этихъ стихахъ о Херасковѣ и Сумароковѣ, это, вѣроятно, потому, что первому изъ нихъ были уже нанесены страшные удары Мер-

Мерзляковымъ и Строевымъ (П. М.), а второй мало-по-малу какъ-то самъ потерялся въ общественномъ мнѣніи. Впрочемъ, это не мѣшаетъ Батюшкову титуловать Хераскова громкимъ именемъ „пѣвца Россіады" и приписывать ему какую-то „славу писателя". Разсуждая о такъ называемой „легкой поэзіи", Батюшковъ такъ разсказываетъ ея исторію на Руси:

„Такъ называемый эротическій и вообще легкій родъ поэзіи ведетъ у насъ начало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихъ предшественниковъ были маловажны: языкъ и общество еще не были образованы. Мы не будемъ исчислять всѣхъ писателей, раздѣленныхъ и измѣнившихъ легкой поэзіи, которая менѣе или болѣе принадлежитъ къ важнымъ родамъ; но замѣтимъ, что на поприщѣ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ нравственномъ мірѣ, ничто прекрасное и доброе не теряется, приноситъ со временемъ пользу и дѣйствуетъ непосредственно на весь составъ языка. Стихотворная повѣсть Богдановича, первый и прелестный цвѣтокъ легкой поэзіи на языкѣ нашемъ, ознаменованный истиннымъ и необыкновеннымъ талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Дмитріева, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украсила разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія (?) оживилась неувядаемыми цвѣтами выраженія; басни его, въ которыхъ онъ боролся съ Лафонтеномъ и часто побѣждалъ его; басни Хемницера и оригинальныя басни Крылова, которыхъ остроумные, счастливые стихи сдѣлались пословицами, ибо въ нихъ виденъ и тонкій умъ наблюдателя свѣта, и рѣдкій талантъ; стихотворенія Карамзина, исполненныя чувства, образецъ ясности и стройности мыслей; горацiанскія оды Капниста, вдохновенныя страстью пѣсни Нелединскаго; прекрасныя подражанія древнимъ Мерзлякова; баллады Жуковскаго, сіяющія воображеніемъ, часто своенравнымъ (?), но всегда пламеннымъ, всегда сильнымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, напитаннаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей; наконецъ, стихотворенія Муравьева, гдѣ изображается, какъ въ зеркалѣ, прекрасная душа его, посланія князя Долгорукова, исполненныя живости; нѣкоторыя посланія Воейкова, Пушкина и другихъ новѣйшихъ стихотворцевъ, писанныя слогомъ чистымъ и всегда благороднымъ: всѣ сіи блестящія произведенія дарованія и остроумія менѣе или болѣе приближались къ желанному совершенству, и всѣ — нѣтъ сомнѣнія — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили".

Такъ! скажемъ мы отъ себя, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: сочиненія всѣхъ этихъ поэтовъ принесли свою пользу въ дѣлѣ образованія стихотворнаго языка; но нѣтъ и въ томъ сомнѣнія, что между ихъ стихомъ и стихомъ Жуковскаго и Батюшкова легло цѣлое море разстоянія, и что „Душенька" Богдановича, сказки Дмитріева, горацiанскія оды Капниста, подражанія древнимъ Мерзлякова, стихотворенія Востокова, Муравьева, Долгорукова, Воейкова и Пушкина (Василія) только до появленія Жуковскаго и Батюшкова могли счи-

таться образцами легкой поэзіи и образцами стихотворнаго языка. Батюшковъ ни однимъ словомъ не даетъ чувствовать, что прославляемыя имъ сочиненія любимыхъ имъ писателей принадлежатъ извѣстному времени и носятъ на себѣ, какъ необходимый отпечатокъ, его недостатки. И потомъ, что за взглядъ на относительную важность каждаго изъ нихъ: Дмитріевъ у него выше Крылова, народнаго русскаго баснописца, котораго многіе стихи обратились въ пословицы, какъ и многіе стихи изъ „Горя отъ ума“, тогда какъ басни Дмитріева, несмотря на ихъ неотъемлемое достоинство, теперь совершенно забыты. И немудрено: въ нихъ Дмитріевъ является не болѣе какъ счастливымъ подражателемъ и переводчикомъ Лафонтена: но онъ чуждъ всякой оригинальности, самобытности и народности. Стихотворенія Карамзина, которыя гораздо ниже стихотвореній Дмитріева и которыя послѣ стихотвореній Жуковскаго тотчасъ же сдѣлались невозможными для чтенія, Батюшковъ находитъ „исполненными чувства и образцами ясности и стройности мыслей“. Кто теперь знаетъ стихотворенія Муравьева? — Батюшковъ въ восторгѣ отъ нихъ. Ломоносовъ для него былъ однимъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Опыты въ легкой поэзіи предшественниковъ Ломоносова и Сумарокова были маловажны, по словамъ Батюшкова: стало-быть, опыты Ломоносова и Сумарокова были уже не маловажны. Но что же легкаго написалъ Ломоносовъ и что же порядочнаго сочинилъ Сумароковъ?.. Итакъ смотрѣлъ на русскую литературу человѣкъ, знакомый съ французской, нѣмецкой, италіанской, англійской (?) и латинской литературами, въ подлинникѣ читавшій Руссо, Шенье, Шиллера, Петрарку, Тасса, Аріоста, Байрона (?), Тибулла и Овидія!.. Но всего поразительнѣе въ этомъ отношеніи „Письмо“ Батюшкова „къ И. М. М. А. о сочиненіяхъ г. Муравьева“. Дѣло идетъ о сочиненіяхъ Михаила Никитича Муравьева, бывшаго товарища министра народнаго просвѣщенія, попечителя Московскаго университета; онъ родился въ 1757, а умеръ въ 1827 году, и оставилъ послѣ себя память благороднаго человѣка и страстнаго любителя словесности. Какъ писатель, М. Н. Муравьевъ принадлежалъ къ Ломоносовской школѣ. Слогъ и языкъ его не карамзинскій, хотя и казался для своего времени образцовымъ. Въ сочиненіяхъ его дѣйствительно видно много любви

къ просвѣщенію, душа добрая и честная, характеръ благородный; но особеннаго литературнаго или эстетическаго достоинства они не имѣютъ. Когда вышли въ свѣтъ сочиненія Муравьева, изданныя послѣ смерти его подъ титуломъ: „Опыты исторіи, словесности и нравоученія", — Батюшковъ написалъ письмо, о которомъ мы упомянули выше. Въ этомъ письмѣ онъ горько упрекаетъ тогдашнихъ журналистовъ за ихъ молчаніе о такой превосходной книгѣ, каковы сочиненія Муравьева. Въ числѣ этихъ сочиненій, состоящихъ изъ отдѣльныхъ статей, есть нѣсколько такъ называемыхъ „разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ", въ которыхъ авторъ преназиво сводитъ Ромула съ Кіемъ, Карла Великаго — съ Владиміромъ, Горація — съ Кантемиромъ и заставляетъ ихъ спорить, а къ концу спора согласиться, что Россія не уступаетъ въ силѣ и просвѣщеніи ни одному народу въ мірѣ... Батюшковъ въ восторгѣ отъ этихъ мертвыхъ разговоровъ: онъ отдаетъ имъ преимущество даже передъ разговорами Фонтенеля. „Французскій писатель (говоритъ онъ) гонялся единственно за остроуміемъ: дѣйствующія лица въ его разговорахъ разрѣшаютъ какую-нибудь истину блестящими словами: они, кажется намъ, любуются сами тѣмъ, что сказали. Подъ перомъ Фонтенеля нерѣдко древніе герои преображаются въ придворныхъ Людовикова времени и напоминаютъ намъ живо учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ недостаетъ парика, манжетъ и красныхъ каблуковъ, чтобъ шаркать въ королевской передней, какъ замѣчаетъ Вольтеръ — не помню въ которомъ мѣстѣ. Здѣсь совершенно тому противное: всякое лицо говоритъ приличнымъ ему языкомъ, и авторъ знакомитъ насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемиромъ, съ Горацiемъ и проч." — Но, увы! — именно этого-то и нѣтъ въ разговорахъ Муравьева. Историческіе собесѣдники Фонтенеля похожи, по крайней мѣрѣ, хоть на придворныхъ Людовика XIV, а герои Муравьева рѣшительно ни на кого не похожи, даже просто на людей. Вообще Батюшковъ прославляетъ Муравьева какъ-то реторически: иначе чѣмъ объяснить эту схоластическую фразу „онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ". Есть еще у Муравьева рядъ стиховъ нравственнаго содержанія, названныхъ у него общимъ именемъ „Обитатель предмѣстія". Языкъ этихъ статей

довольно чисть и ближе подходить къ карамзинскому, чѣмъ къ ломоносовскому; содержаніе много говоритъ въ пользу автора, какъ человѣка съ самыми добрыми расположеніями души и сердца; но и все тутъ: ни идей, ни воззрѣній, ни картинъ, ни слога. Батюшковъ говоритъ: „Сіи разговоры (мертвыхъ) и „Письма Обитателя предмѣстія" могутъ замѣнить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія иностранныхъ писателей". Вотъ какъ!.. Вообще давно уже замѣчено, что у насъ на святой Руси не умѣютъ въ мѣру ни похвалить ни похулить: если превозносить начнутъ, такъ уже выше лѣса стоячаго, а если бранить, такъ уже прямо втопчутъ въ грязь... „Другіе отрывки (продолжаетъ Батюшковъ) принадлежатъ къ высшему роду словесности. Между ними повѣсть „Оскольдъ", въ которой авторъ изображаетъ походъ сѣверныхъ народовъ на Царьградъ, блистаетъ красотами". Какими же?—Красотами самой натянутой и надутой реторики. Къ числу такихъ повѣстей-поэмъ принадлежатъ: „Кадмъ и Гармонія", „Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи" Хераскова, „Марѳа Посадница" Карамзина. Самъ Батюшковъ написалъ пренелѣпую вещь въ такомъ же духѣ: она называется „Предславъ и Добрыня, старинная повѣсть". Въ заключеніе статьи своей о сочиненіяхъ Муравьева, Батюшковъ выписываетъ эти стихи разбираемаго имъ автора:

Ты (муза) утро дней моихъ прилежно посѣщала,
Почто жъ печальная распространилась мгла,
И ясный полдень мой покрыла черной тѣнью!
Иль лавровъ по слѣдамъ твоимъ не соберу,
И въ пѣсняхъ не прейду къ другому поколѣнью,
Или я весь умру?

„Нѣтъ (восклицаетъ Батюшковъ), мы надѣемся, что сердце человѣческое безсмертно. Всѣ пламенные отпечатки его въ счастливыхъ стихахъ поэта побѣждаютъ свое время. Музы сохраняютъ въ своей памяти пѣсни своего любимца, и имя его перейдетъ къ другому поколѣнію съ именами, съ священными именами мужей добродѣтельныхъ". Увы! предсказаніе критика не сбылось: восхваляемый имъ авторъ былъ уже забытъ еще въ то время, какъ онъ сулилъ ему безсмертіе... Что это означаетъ: односторонность ума, недостатокъ вкуса?—Нисколько! Не много людей, столь богатыхъ счастливыми дарами духовной природы, какъ Батюш-

ковъ. Онъ былъ сыномъ своего времени, — вотъ гдѣ причина его недостатковъ. Средствами своей натуры онъ былъ уже далѣе своего времени; но мыслью, сознаніемъ онъ шелъ за нимъ, а не впереди его. Онъ зналъ много языковъ и много читалъ на нихъ, но смотрѣлъ на вещи глазами „Вѣстника Европы“ блаженной памяти и даже современной исторіи учился по газетнымъ реляціямъ, а потому Наполеонъ въ глазахъ его былъ не болѣе, какъ новый Атилла, Омаръ, всесвѣтный зажигатель и разбойникъ. Еще страннѣе его взглядъ на Руссо: этотъ взглядъ до нелѣпости близорукъ и подслѣповатъ. Батюшковъ видѣлъ въ Руссо только мечтателя и софиста. Странное дѣло! Наши русскіе поэты, даже не обдѣленные образованіемъ, знакомые съ Европой черезъ ея языки, почти всегда отличались какой-то ограниченностью взгляда и понятія при замѣчательномъ, а иногда великомъ талантѣ... Это мы еще будемъ имѣть случай замѣтить...

Но едва ли не жесточе всѣхъ постигла эта участь Батюшкова. Онъ весь заключенъ во мнѣніяхъ и понятіяхъ своего времени, а его время было переходомъ отъ карамзинскаго классицизма къ пушкинскому романтизму (Пушкина вѣдь считали первымъ русскимъ романтикомъ!). Батюшковъ съ уваженіемъ говоритъ даже о меценатствѣ и замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ, что одинъ вельможа удостоиваетъ музъ своимъ покровительствомъ, вмѣсто того, чтобъ сказать, что онъ удостоивается чести быть полезнымъ музамъ.

Какъ на самую рѣзкую, на самую характеристическую черту эстетическаго и критическаго образованія Батюшкова, укажемъ на статью его „Аріостъ и Тассъ“. Это нѣчто въ родѣ критическихъ статей нашихъ старинныхъ аристарховъ о „Россіадѣ“ Хераскова. Какъ хорошо это мѣсто! какой чудесный стихъ! какое живое описаніе представляетъ собой эта глава — вотъ характеръ критики Батюшкова. Объ идеяхъ, о цѣломъ, о вѣкѣ, въ которомъ написана поэма, о ея недостаткахъ — ни слова, какъ будто бы ничего этого въ ней и не бывало! Больше всего восхищается Батюшковъ описаніемъ одной битвы, которое, судя по его же прозаическому переводу, довольно надуто. Эта картина напоминаетъ ему стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены тѣла:
Иный съ размаха мечь занесъ на сопостата,

Но прежде прободенъ, удара не скончалъ.
Иный, забывъ врага, прельщался блескомъ злата;
Но мертвый на корысть желанную упалъ.
Иный, отъ сильнаго удара убѣгая,
Стремглавъ на низъ слетѣлъ и *стонетъ* подъ конемъ.
Иный пронзенъ, *угасъ*, противника сражая,
Иный врага повергъ и *умеръ* самъ на немъ.

Кромѣ того, что Батюшковъ эти дебелые и безобразные стихи находитъ прекрасными, онъ еще видитъ въ разстановкѣ словъ: *стонетъ, угасъ* и *умеръ*, какую-то особенную силу. „Замѣтимъ мимоходомъ для стихотворцевъ (говоритъ онъ), какую силу получаютъ самыя обыкновенныя слова, когда они поставлены на своемъ мѣстѣ".

Таковы были литературныя и эстетическія понятія и убѣжденія Батюшкова. Они достаточно объясняютъ, почему такъ нерѣшительно было направленіе его поэзіи и почему написанное имъ такъ далеко ниже его чудеснаго таланта. Превосходный талантъ этотъ былъ задушенъ временемъ. При этомъ не должно забывать, что Батюшковъ слишкомъ рано умеръ для литературы и поэзіи. Кажется, его литературная дѣятельность совершенно прекратилась съ 1819 годомъ, когда онъ былъ въ самой цвѣтущей порѣ умственныхъ силъ — ему тогда было только 32 года отъ роду (онъ родился въ 1787 году). Мы не знаемъ даже, прочелъ ли Батюшковъ хотя одно стихотвореніе Пушкина. „Русланъ и Людмила" появилась въ 1820 году. Такъ Пушкинъ, въ свою очередь, не прочелъ ни одного стихотворенія Лермонтова. И можетъ быть для Батюшкова настала бы новая пора лучшей и высшей дѣятельности, если бъ враждебная русскимъ музамъ судьба не отняла его такъ рано отъ ихъ служенія. Появленіе Пушкина имѣло сильное вліяніе на Жуковскаго: можетъ-быть, еще сильнѣйшее вліяніе имѣло бы оно на Батюшкова. Выходъ въ свѣтъ „Руслана и Людмилы" и возбужденные этой поэмой толки и споры о классицизмѣ и романтизмѣ были эпохой обновленія русской литературы, ея окончательнаго освобожденія изъ-подъ вліянія Ломоносова и началомъ эманципаціи изъ-подъ вліянія Карамзина... Несмотря на всю свою поверхность, эта эпоха развязала крылья генію русской литературы и поэзіи. И, вѣроятно, талантъ Батюшкова въ эту эпоху явился бы во всей своей силѣ, во всемъ своемъ блескѣ.

Но не такъ угодно было судьбѣ. И потому намъ лучше говорить о томъ, что было, нежели о томъ, что могло быть. Написанное Батюшковымъ, какъ мы уже сказали, — далеко ниже обнаруженнаго имъ таланта, далеко не выполняетъ возбужденныхъ имъ же самимъ ожиданій и требованій. Неопредѣленность, нерѣшительность, неоконченность и невыдержанность борются въ его поэзіи съ опредѣленностью, рѣшительностью и выдержанностью. Прочтите его превосходную элегію „На развалинахъ замка въ Швеціи": какъ все въ ней выдержано, полно, окончено! Какой роскошный и вмѣстѣ съ тѣмъ упругій, крѣпкій стихъ!

Тамъ воинъ нѣкогда, Одена храбрый внукъ,
  Въ бояхъ приморскихъ посѣдѣлый,
Готовилъ сына въ брань, и стрѣлъ пернатыхъ пукъ.
  Броню завѣтну, мечъ тяжелый
Онъ юношѣ вручилъ израненной рукой,
  И громко восклицалъ, поднявъ дрожащи длани:
„Тебѣ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани,
  Всегда и всюду твой!
А ты, мой сынъ, клянись мечомъ твоихъ отцовъ
  И Геллы клятвою кровавой,
На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ,
  Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!"
И пылкій юноша мечъ прадѣдовъ лобзалъ
  И къ персямъ прижималъ родительскія длани,
И въ радости, какъ конь, при звукѣ новой брани,
  Кипѣлъ и трепеталъ!
Война, война врагамъ отеческой земли!
  Суда на утро восшумѣли,
Запѣнились моря, и быстры корабли
  На крыльяхъ бури полетѣли!
Въ долинахъ Нейстріи раздался браней громъ,
  Туманный Альбіонъ изъ края въ край пылаетъ.
И Гелла день и ночь въ Валгаллу провожаетъ
  Погибшихъ блѣдный сонмъ.
Ахъ, юноша! спѣши къ отеческимъ брегамъ,
  Назадъ лети съ добычей бранной;
Ужъ вѣетъ кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ судамъ,
  Герой, побѣдою избранный.
Ужъ скальды пиршества готовятъ на холмахъ,
  Ужъ дубы въ пламени, въ сосудахъ медъ сверкаетъ,
И вѣстникъ радости отцамъ провозглашаетъ
  Побѣды на моряхъ.
Здѣсь, въ мирной пристани, съ денницей золотой
  Тебя невѣста ожидаетъ,

Къ тебѣ, о юноша, слезами и мольбой,
Боговъ на милость преклоняетъ...
Но вотъ, въ туманѣ тамъ, какъ стая лебедей,
Бѣлѣютъ корабли, несомые волнами;
О, вѣй, попутный вѣтръ, вѣй тихими устами
Въ вѣтрила кораблей!
Суда у береговъ, на нихъ уже герой
Съ добычей женъ иноплеменныхъ;
Къ нему спѣшитъ отецъ съ невѣстою *младой* [1])
И лики скальдовъ вдохновенныхъ.
Красавица стоитъ безмолвствуя, въ слезахъ,
Едва на жениха взглянуть украдкой смѣетъ,
Потупя ясный взоръ, краснѣетъ и блѣднѣетъ.
Какъ мѣсяцъ въ небесахъ.

Не такова другая элегія Батюшкова — „Тѣнь Друга" начало ея превосходно —

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона;
Казалось, онъ въ волнахъ свинцовыхъ утопалъ,
За кораблемъ вилася гальціона,
И тихій гласъ ея пловцовъ увеселялъ.
Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,
Однообразный шумъ и трепетъ парусовъ,
И кормчаго на палубѣ взыванье
Ко стражѣ, дремлющей подъ говоромъ валовъ,—
Все сладкую задумчивость питало.
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ
И, сквозь туманъ и ночи покрывало,
Свѣтила сѣвера любезнаго искалъ.

Повторимъ уже сказанное нами разъ: послѣ такихъ стиховъ нашей поэзіи надобно было или остановиться на одномъ мѣстѣ, или, развиваясь далѣе, выражаться въ пушкинскихъ стихахъ: такъ естественъ переходъ отъ стиха Батюшкова къ стиху Пушкина. Но окончаніе элегіи „Тѣнь друга" не соотвѣтствуетъ началу: отъ стиха —

И вдругъ... то былъ ли сонъ? предсталъ товарищъ мнѣ,

начинается громкая декламація, гдѣ не замѣтно ни одного истиннаго, свѣжаго чувства и ничего не потрясаетъ сердца внезапно охлажденнаго и постепенно утомленнаго читателя, особенно, если онъ читаетъ эту элегію вслухъ.

[1]) Поэтъ нашего времени вмѣсто „съ невѣстою *младой*" сказалъ бы „съ невѣстой *молодой*", — и оно, разумѣется, было бы лучше; но во время Батюшкова большую полагали красоту въ славянизмѣ словъ, считая его особенно приличнымъ для такъ называемаго „высокаго слога".

Этимъ же недостаткомъ невыдержанности отличается и знаменитая его элегія „Умирающій Тассъ". Начало ея отъ стиха: „Какое торжество готовитъ древній Римъ" до стиха: „Тебѣ сей даръ... пѣвецъ Іерусалима!" — превосходно: слѣдующіе затѣмъ двѣнадцать стиховъ тоже прекрасны; но отъ стиха: „Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ" начинаются риторика и декламація, хотя мѣстами и съ проблесками глубокаго чувства и истинной поэзіи. Чудесны эти стихи:

И ты, о вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племенъ,
  Засѣянный[1]) костьми гражданъ вселенной,
Васъ, васъ привѣтствуетъ изъ сихъ унылыхъ мѣстъ
  Безвременной кончинѣ обреченный!
Свершилось! Я стою надъ бездной роковой
  И не вступлю при плескахъ въ Капитолій;
И лавры славные надъ дряхлой головой
  Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли.

Но что такое, если не пустое разглагольствіе, не надутая риторика и не трескучая декламація — вотъ эти стихи?

  Увы! съ тѣхъ поръ добыча злой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія;
  Фортуною изрытыя пучины
Разверзлись подо мной и громъ не умолкалъ!
  Изъ веси въ весь, изъ *странъ* (?) въ страну гонимый,
Я тщетно на землѣ пристанища искалъ:
  Повсюду перстъ ея неотразимый!
Повсюду молніи *карающей* (?) пѣвца!

Такая же риторическая шумиха и отъ стиха: „Друзья, но что мою стѣсняетъ страшно грудь?" до стиха: „Рукою музъ и славы соплетенный". Слѣдующіе затѣмъ шестнадцать стиховъ очень не дурны, а отъ стиха: „Смотрите! онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ" до стиха: „Средь ангеловъ Элеонора встрѣтитъ" — опять звучная и пустая декламація. Заключеніе превосходно, подобно началу:

И съ именемъ любви божественной погасъ;
  Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали,
День тихо догоралъ... и колокола гласъ
  Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали.

[1]) Эпитетъ „засѣяннаго костьми" не точенъ въ отношеніи къ Тибру: это можно было сказать только о холмахъ, на которыхъ построенъ Римъ, или о землѣ Италіи вообще.

„Погибъ Торквато нашъ!“ воскликнулъ съ плачемъ Римъ,
„Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!“
На утро факеловъ узрѣли мрачный дымъ
И трауромъ покрылся Капитолій.

Въ отношеніи къ выдержанности, какая разница между „Умирающимъ Тассомъ“ Батюшкова и „Андреемъ Шенье“ Пушкина, хотя обѣ эти элегіи въ одномъ родѣ!

Послѣ Жуковскаго Батюшковъ первый заговорилъ о разочарованіи, о несбывшихся надеждахъ, о печальномъ опытѣ, о потухающемъ пламенникѣ своего таланта...

Я чувствую, — мой даръ въ поэзіи погасъ,
И муза пламенникъ небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глазъ;
Туда влечетъ меня осиротѣлый геній,
Въ поля безплодныя, въ непроходимы сѣни,
Гдѣ счастья нѣтъ слѣдовъ,
Ни тайныхъ радостей неизъяснимыхъ сновъ,
Любимцамъ фебовымъ отъ юности извѣстныхъ,
Ни дружбы, ни любви, ни пѣсней музъ прелестныхъ,
Которыя всегда душевну скорбь мою,
Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали.
Нѣтъ, нѣтъ! себя не узнаю
Подъ новымъ бременемъ печали.

Что Жуковскій сдѣлалъ для содержанія русской поэзіи, то Батюшковъ сдѣлалъ для ея формы: первый вдохнулъ въ нее душу живу, второй далъ ей красоту идеальной формы. Жуковскій сдѣлалъ несравненно больше для своей сферы, чѣмъ Батюшковъ для своей, — это правда: но не должно забывать, что Жуковскій, раньше Батюшкова начавъ дѣйствовалъ, и теперь еще не сошелъ съ поприща поэтической дѣятельности, а Батюшковъ умолкъ навсегда съ 1819 года, тридцати двухъ лѣтъ отъ роду... Заслуги Жуковскаго и теперь передъ глазами всѣхъ и каждаго: имя его громко и славно и для новѣйшихъ поколѣній; о Батюшковѣ большинство знаетъ теперь по наслышкѣ и по воспоминанію: но если немногія прекрасныя стихотворенія его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина въ поэзіи достаточно для его славы: а если въ двухъ томахъ его сочиненій еще нѣтъ его безсмертія, — оно тѣмъ не менѣе сіяетъ въ исторіи русской поэзіи.

Замѣчательнѣйшими стихотвореніями Батюшкова считаемъ мы слѣдующія: „Умирающій Тассъ", „На развалинахъ замка въ Швеціи", три „Элегіи изъ Тибулла", „Воспоминанія" (отрывокъ), „Выздоровленіе", „Мои пенаты", „Тѣнь друга", „Веселый часъ", „Пробужденіе", „Таврида", „Послѣдняя Весна", „Къ Г—чу", „Источникъ", „Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ", „О, пока безцѣнна младость", „Гезіодъ и Омиръ — соперники", „Къ другу", „Мечта", „Бесѣда музъ", „Карамзину", „Мои пенаты", „Отвѣтъ Г—чу", „Къ Н—ну", „Посланіе И. М. М. А.", „Къ N. N.", „Пѣснь Гаральда Смѣлаго", „Вакханка", „Ложный страхъ", „Радость" (подражаніе Касти), „Къ Н.", „Подражаніе Аріосту", „Изъ Антологіи" двѣнадцать пьесъ изъ греческой антологіи. Мы означили здѣсь всѣ пьесы, по чему-либо и сколько-нибудь замѣчательныя и характеризующія поэзію Батюшкова, но не упомянули о двухъ, которыя въ свое время производили, какъ говорится, фуроръ, — это: „Плѣнный" („Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ") и „Разлука" („Гусаръ на саблю опираясь"). Обѣ онѣ теперь какъ-то странно опошлились, особенно послѣдняя — безъ улыбки нельзя читать ихъ. И между тѣмъ обѣ онѣ написаны хорошими стихами, какъ бы для того, чтобъ служить доказательствомъ, что не можетъ быть прекрасна форма, которой содержаніе пошло, не могутъ долго нравиться стихи, которыхъ чувства ложны и приторны. Прекрасными стихами написана моральная пьеса „Счастливецъ" (подражаніе Касти); но мораль сгубила въ ней поэзію. Сверхъ того въ ней есть куплетъ, который разсмѣшилъ даже современниковъ этой пьесы, столь снисходительныхъ въ дѣлѣ поэзіи:

Сердце наше кладезь *мрачной:*
Такъ покоенъ сверху видъ;
Но пустись ко дну... *ужасно!*
Крокодилъ на немъ лежитъ!

Какъ прозаикъ, Батюшковъ занимаетъ въ русской литературѣ одно мѣсто съ Жуковскимъ. Это превосходнѣйшій стилистъ. Лучшія его прозаическія статьи, по нашему мнѣнію, слѣдующія: „О характерѣ Ломоносова", „Вечеръ у Кантемира", „Нѣчто о Поэтѣ и Поэзіи", „Прогулка въ Академію художествъ", „Путешествіе въ замокъ Сирей". Также очень интересны всѣ его статьи, помѣщенныя во второмъ изданіи

общимъ именемъ „Писемъ и Отрывковъ“: онѣ знакомятъ съ личностью Батюшкова, какъ человѣка. Статья „Двѣ Аллегоріи“ характеризуетъ время, въ которое она написана: авторъ начинаетъ ее признаніемъ, что всѣ аллегоріи вообще холодны, но что его аллегоріи говорятъ разсудку, а потому и хороши. Онъ забылъ, что всѣ аллегоріи потому-то и нелѣпы и холодны, что говорятъ одному разсудку, претендуя говорить сердцу и фантазіи... „Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи“ показываетъ, что фантазія Батюшкова была поражена двумя крайностями — югомъ и сѣверомъ, свѣтлой, роскошной Италіей и мрачной, однообразной Скандинавіей. Эта статья написана какъ будто бы въ соотвѣтствіе элегіей „На развалинахъ замка въ Швеціи“. Языкъ и слогъ этой статьи слыли за образцовые, и вообще она считалась лучшимъ произведеніемъ Батюшкова въ прозѣ. А между тѣмъ она есть не что иное, какъ переводъ изъ „Harmonies de la Nature“ Ласепеда; отрывокъ, переведенный Батюшковымъ, можно найти въ любой французской хрестоматіи, подъ названіемъ: „Les forêts et les habitants des règions glaciales“. Сказанное Ласепедомъ о Сѣверной Америкѣ, Батюшковъ храбро приложилъ къ Финляндіи — и дѣло съ концомъ! Удивляться этому нечего: въ тѣ блаженныя времена подобныя заимствованія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились... Въ статьяхъ своихъ: „Прогулка въ Академію художествъ“ и „Двѣ аллегоріи“, Батюшковъ является страстнымъ любителемъ искусства, человѣкомъ одареннымъ истинно артистической душой.

Бѣлинскій.

Значеніе поэзіи Батюшкова.

Батюшковъ пережилъ большую часть своихъ сверстниковъ на поприщѣ словесности; но остановленный въ своемъ развитіи тяжкимъ недугомъ, онъ прекратилъ литературную дѣятельность раньше всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ вмѣстѣ началъ ее. Въ тридцатичетырехлѣтній періодъ его душевной болѣзни русская литература совершенно преобразилась; первые дѣйствительные успѣхи того славнаго генія, которому она обязана этимъ переворотомъ, совпадаютъ съ концомъ творческой жизни

Батюшкова. Въ этомъ случанномъ совпаденіи есть, однако, тѣсная внутренняя связь: Батюшковъ былъ ближайшимъ предшественникомъ Пушкина въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Совершенство пушкинскаго стиха было подготовлено мастерскимъ стихомъ Батюшкова. Скажемъ болѣе: не равняя дарованія обоихъ поэтовъ, нельзя не признать нѣкоторыхъ общихъ чертъ въ характерѣ ихъ творчества. „Пушкинъ — говорятъ намъ — внесъ въ наше образованіе начало художественное, начало чистой поэзіи... Пушкинъ... впервые въ исторіи нашего умственнаго образованія коснулся того, что составляетъ основу жизни, — коснулся индивидуальнаго, личнаго существованія. Русское слово, въ лицѣ Пушкина, нашло путь къ жизни и пріобрѣло способность выражать дѣйствительность въ ея внутреннихъ источникахъ. До него поэзія была дѣломъ школы, послѣ него она стала дѣломъ жизни, ея общественнымъ сознаніемъ". Но еще до Пушкина Жуковскій и Батюшковъ выходили уже на тотъ путь, по которому такъ побѣдоносно прошелъ онъ. Оба они также стремились освободить нашу поэзію отъ вліянія школы, и оба не безъ успѣха. Вспомнимъ, что нѣкоторые мотивы поэзіи Жуковскаго, его романтическій идеализмъ увлекали читателей довольно долго даже и въ пушкинскій періодъ. Но Жуковскій въ своемъ творчествѣ былъ менѣе самостоятеленъ, чѣмъ Батюшковъ: міросозерцаніе Жуковскаго, очень рано сложившееся, очень опредѣленное въ своемъ содержаніи, слишкомъ отзывалось своимъ происхожденіемъ съ чужой почвы. У Батюшкова нѣтъ такой цѣльности міросозерцанія: въ немъ, въ извѣстную пору, виденъ крутой поворотъ поэтической мысли; но самое это развитіе свидѣтельствуетъ о большей самобытности и большей силѣ его таланта. Батюшковъ, какъ позже Пушкинъ, стремился найти основу для своего творчества въ дѣйствительности, въ непосредственномъ кругѣ своихъ впечатлѣній. Свойство его таланта было исключительно лирическое, и въ этомъ заключается и слабость его и сила: слабость — потому, что лирическимъ отношеніемъ къ дѣйствительности не исчерпывается воссозданіе жизни въ поэзіи; сила — потому, что въ сферѣ лирики онъ сумѣлъ коснуться самыхъ глубокихъ, самыхъ чувствительныхъ струнъ сердца; сила его таланта сказалась и въ его объективности: поэтъ, раскры-

шій намъ тайну своего разочарованія въ элегіяхъ 1815 года и въ „Умирающемъ Тассѣ", могъ въ то же время проникнуться свѣтлымъ міросерцаніемъ древности и написать „Вакханку" и подражанія греческой антологіи.

Говорятъ, что поэзія Батюшкова „почти лишена содержанія" и что она „безлична въ смыслѣ народности". Поэтъ нашъ, конечно, не задавался намѣреніемъ развивать въ своихъ стихахъ какіе-нибудь философскіе тезисы: но отрицать присутствіе живой мысли въ его произведеніяхъ — несправедливо: если въ пьесахъ молодой поры онъ нейдетъ далѣе выраженія ходячихъ въ его времени понятій горацiанскаго эпикуреизма, то въ стихотвореніяхъ своего зрѣлаго періода изображаетъ страданія своей надломленной жизнью души: обманувшія его мечты о счастіи вызвали его горькое разочарованіе, и это тяжелое душевное состояніе, это сознаніе разлада между идеаломъ и дѣйствительностью — впервые сказалось въ русской поэзіи — въ стихахъ Батюшкова. Въ молодости онъ обнаруживалъ нѣкоторую наклонность къ сатирѣ; но онъ отказался отъ нея, когда талантъ его освободился отъ подражательности, и, конечно, былъ правъ: сознательно ограничивъ предѣлы своего творчества, онъ создалъ лучшія свои произведенія. Горе художнику, который ищетъ мотивовъ для своихъ произведеній внѣ своей души и своего внутренняго настроенія!

Упрекъ въ недостаткѣ народности можетъ быть обращенъ къ Батюшкову не въ большей мѣрѣ, чѣмъ къ другимъ современнымъ ему поэтамъ: попытки Жуковскаго затронуть народные мотивы имѣютъ чисто внѣшній характеръ, и, можетъ-быть, Батюшковъ сознательно воздерживался отъ соблазна ступить на этотъ скользкій путь; русскія бытовыя черты чрезвычайно рѣдки въ его поэзіи; напомнимъ, однако, очень удачный — и смѣлый для своего времени — образъ „калѣки-воина" въ посланіи „Мои пенаты". Зато непосредственное хранилище народности, русскій языкъ, является въ его рукахъ послушнымъ уже орудіемъ: искусство владѣть имъ никому изъ современниковъ, кромѣ Крылова, не было доступно въ такой мѣрѣ, какъ Батюшкову, и только послѣ него доведено было до высшей степени совершенства Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ. Упоминаемъ имя автора „Горя отъ ума" потому, что до него только сказка Батюшкова

„Странствователь и домосѣдъ“, вмѣстѣ съ баснями Крылова, можетъ быть приведена въ образецъ простой поэтической рѣчи. Другого характера поэтическій слогъ и языкъ — въ элегіяхъ, посланіяхъ и антологическихъ пьесахъ Батюшкова — подготовилъ способъ выраженія въ подобныхъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Какъ въ дѣйствительной жизни Батюшковъ обнаружилъ способность только къ поэтическому творчеству, такъ и въ искусствѣ онъ былъ чистымъ художникомъ. Онъ не хотѣлъ знать за собою никакого другого призванія, а за искусствомъ не признавалъ практическихъ цѣлей, но ясно понималъ его высокое, облагораживающее и потому полезное значеніе. Сознательность поэтическаго творчества составляетъ его отличительную черту. И въ этомъ отношеніи Батюшковъ стоялъ впереди большинства литературныхъ дѣятелей своего времени и былъ ближе, чѣмъ къ нимъ, къ слѣдующему поколѣнію писателей.

Такимъ образомъ, и въ разработкѣ внѣшней поэтической формы, и въ дѣлѣ внутренняго развитія поэтическаго творчества, и, наконецъ, въ отношеніяхъ поэзіи къ обществу — художественная дѣятельность Батюшкова представляетъ счастливые начатки того, что̀ получило полное осуществленіе въ дѣятельности геніальнаго Пушкина; потому-то Пушкинъ и признавалъ такъ открыто свое духовное родство съ Батюшковымъ. Великій преемникъ заслонилъ собою даровитаго предшественника; но Батюшковъ не можетъ быть забытъ въ исторіи русской художественной словесности. При блескѣ солнца меркнетъ блѣдная луна; но въ Божьемъ мірѣ всему есть свой часъ и свое мѣсто. *Майковъ*

Батюшковъ и Жуковскій.

Почти въ одно время явились Жуковскій и Батюшковъ, какъ двѣ яркія звѣзды, на горизонтѣ нашей литературы, и дружно совершали по немъ свое, полное тихаго свѣта, шествіе, пока горестная судьба не остановила одну изъ нихъ на полдорогѣ и не велѣла другой продолжать уже одинокій путь по новымъ и чуждымъ для нея пространствамъ, при ослѣпительномъ свѣтѣ вновь взошедшаго солнца... Жуковскій и Батюшковъ — оба поэты и оба прозаики; оба они двинули впередъ и версификацію и прозу русскую. Проза ихъ богата

содержаніемъ прозы Карамзина, а оттого кажется лучше и по формѣ своей, которая, въ сущности, не болѣе, какъ усовершенствованная стилистика Карамзина, чуждая своеобразнаго, національнаго колорита и больше искусственная и щеголеватая, чѣмъ живая и сросшаяся съ своимъ содержаніемъ, какъ, напримѣръ, проза Пушкина и другихъ даровитыхъ писателей послѣдняго времени. Ученики побѣдили учителя: проза Жуковскаго и Батюшкова единодушно была признана „образцовою", и всѣ силились подражать ей.. Въ наше время, уже никому не придетъ въ голову потратить столько труда, хлопотъ, времени, искусства и прекрасной прозы на повѣсть въ родѣ „Марьиной Рощи", или „Преславы и Добрыни", и если бы кто написалъ ихъ въ наше время, никто бы не сталъ читать.. Это оттого, что въ наше время не дорожатъ однимъ языкомъ, а требуютъ „слога", разумѣя подъ этимъ словомъ живую, органическую соотвѣтственность формы съ содержаніемъ и, наоборотъ, умѣніе выразить мысль тѣмъ словомъ, тѣмъ оборотомъ, какіе требуются сущностью самой мысли, для которой всякое другое слово и другой оборотъ были бы неопредѣленны и неясны. Тогда „стилистика" годилась не для однихъ этюдовъ, но считалась искусствомъ, а этюды были не исключительнымъ упражненіемъ учениковъ, но и дѣломъ мастеровъ... Это очень естественно: чтобы выучиться писать, надо сперва овладѣть формой: грамматика всегда предшествуетъ логикѣ. Наша литература была до Пушкина ученицею, особенно въ прозѣ: вотъ причина исключительнаго владычества стилистики, убитой Пушкинымъ и уступившей свое мѣсто „слогу". Со стороны поэзіи заслуги Жуковскаго и Батюшкова были несравненно выше и дѣйствительнѣе, чѣмъ со стороны прозы. Но здѣсь оба поэта совершенно расходятся и въ направленіи, и въ сущности, и въ результатахъ своей поэтической дѣятельности: Жуковскаго нельзя назвать „поэтомъ" въ смыслѣ свободной, творческой натуры, которая въ разнообразныхъ и роскошныхъ художественныхъ созданіяхъ исчерпываетъ самобытную, ей собственно сродную и принадлежащую сферу міросозерцанія. Оригинальныхъ произведеній Жуковскаго немного, да и тѣ нейдутъ ни въ какое сравненіе съ его же собственными переводами изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Между его оригинальными произведеніями есть

небольшія (величина въ лирическихъ произведеніяхъ часто есть признакъ отсутствія поэзіи и присутствія реторики, отсутствія мысли и присутствія разсужденій), проникнутыя чувствомъ, плѣняющія мелодіею звуковъ, красивостью стиховъ, звучностью и яркостью языка, но чуждыя художественной формы. Самое чувство ихъ однообразно-уныло и нерѣдко походитъ на чувствительность. Что же касается до его большихъ лирическихъ произведеній, какъ то: многочисленныхъ посланій „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ", „Пѣвца на Кремлѣ", „Пѣсни Барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей", „Отчета о лунѣ", „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ", „Вадима" и пр., ихъ можно считать образцами изящной реторики и стихотворнаго краснорѣчія... Въ нихъ чувство пробуждается рѣдко — именно, когда поэтъ изъ чуждой ему сферы торжественной поэзіи входитъ въ свой элементъ и сладкими стихами говоритъ о красѣ-дѣвицѣ, тоскующей надъ гробомъ милаго, гдѣ для нея и зелень ярче, и цвѣты ароматнѣе, и небо свѣтлѣе... Оригинальныя произведенія Жуковскаго представляютъ собою великій фактъ и въ исторіи нашей литературы и въ исторіи эстетическаго и нравственнаго развитія нашего общества: ихъ вліяніе на литературу и публику было безмѣрно велико и безмѣрно благодѣтельно. Въ нихъ, еще въ первый разъ, русскіе стихи явились не только благозвучными и поэтическими по отдѣлкѣ, но и съ содержаніемъ. Они шли изъ сердца и къ сердцу; они говорили не о яркомъ блескѣ иллюминацій, не о громѣ побѣдъ, а о таинствахъ сердца, о таинствахъ внутренняго міра души... Они исполнены были тихой грусти, кроткой меланхоліи, а это — элементы, безъ которыхъ нѣтъ поэзіи. Правда, въ стихахъ Жуковскаго, то, что бы должно оставаться только элементомъ, было, напротивъ, и альфою и омегою его поэзіи, но таково было требованіе времени, таковъ былъ ходъ историческаго развитія нашей литературы: Жуковскій, въ этомъ случаѣ, думая служить искусству, служилъ обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство и приготовляя его къ принятію истинной поэзіи. Державина тогда превозносили; но стихотворенія его не были настольною книгою у молодого человѣка и не прятались подъ изголовье красавицы. Стихи Карамзина и Дмитріева удовлетворяли не всѣхъ, и ими восхищались только записные любители литературы, а прочіе превозносили ихъ болѣе

изъ приличія. Отъ торжественныхъ одъ у публики уже заложило уши, и она сдѣлалась глуха для нихъ. Всѣ ждали чего-то новаго, а между тѣмъ къ воспріятію истинной поэзіи, въ смыслѣ искусства, еще далеко не были готовы. Тогда явился Жуковскій съ своими унылыми и задушевными стихотвореніями, которыя всѣ сдѣлала свое дѣло, принесли свою пользу. Кто теперь будетъ читать или, читая, восхищаться такими пьесами, какъ „Надъ прозрачными водами", или „Мой другъ, хранитель ангелъ мой"? А тогда!... Да, я еще самъ помню, что такое были они для меня, послѣ стиховъ Державина и его подражателей... Здѣсь я долженъ сдѣлать оговорку, чтобы вы меня не поняли ложно и не приняли моихъ словъ за униженіе Державина въ пользу Жуковскаго. До Жуковскаго наша поэзія лишена была всякаго содержанія, потому что наша юная, только что зарождавшаяся гражданственность не могла собственною самодѣятельностію національнаго духа выработать какое-либо общечеловѣческое содержаніе для поэзіи: элементы нашей поэзіи мы должны были взять въ Европѣ и передать ихъ на свою почву. Этотъ великій подвигъ совершенъ Жуковскимъ. Въ его натурѣ есть какая-то родственность съ музами Германіи и Альбіона, — и ему, при такомъ высокомъ талантѣ, легко было, въ превосходныхъ переводахъ, усвоить намъ многія изъ ихъ прекраснѣйшихъ пѣсенъ. Мы еще въ дѣтствѣ, не имѣя опредѣленнаго понятія о томъ, что переводъ, что оригинальное произведеніе, заучиваемъ ихъ, какъ сочиненія Жуковскаго. Это сродняетъ насъ съ нѣмецкою и англійскою поэзіею, и мы потомъ входимъ въ ихъ святилище уже не какъ профаны, но какъ уже рожденные посвященными... Оттого-то въ Россіи такъ рано сдѣлались возможными и переводы съ этихъ языковъ и изученія этихъ литературъ въ ихъ собственныхъ звукахъ: тогда какъ, напримѣръ, для французовъ и теперь еще закрыто печатью тайны святилище, особенно, германской поэзіи. Черезъ это же мы пришли въ состояніе усвоить себѣ германское созерцаніе искусства, германскую критику, германское мышленіе. И все это сдѣлалъ Жуковскій одними своими переводами! Онъ ввелъ къ намъ романтизмъ, безъ элементовъ котораго, въ наше время, невозможна никакая поэзія. Пушкинъ, при первомъ своемъ появленіи, былъ оглашенъ романтикомъ. Поборники новизны называли его такъ

въ похвалу, староверы — въ порицаніе; но ни тѣ ни другіе не подозрѣвали въ Жуковскомъ представителя истиннаго романтизма. Причина очевидна: романтизмъ полагали въ формѣ, а не въ содержаніи. Правда, романтическое содержаніе не можетъ укладываться въ опредѣленныя по самому объему и соразмѣрныя формы древней поэзіи; оно требуетъ простора и часто, такъ сказать, нарушаетъ въ свою пользу права формы. Но не въ этомъ сущность романтизма. Романтизмъ — это міръ внутренняго человѣка, міръ души и сердца, міръ ощущеній и вѣрованій, міръ порываній къ безконечному, міръ таинственныхъ видѣній и созерцаній, міръ небесныхъ идеаловъ... Почва романтизма не исторія, не жизнь дѣйствительная, не природа и не внѣшній міръ, а таинственная лабораторія груди человѣческой, гдѣ незримо начинаются и зрѣютъ всѣ ощущенія и чувства, гдѣ неумолкаемо раздаются вопросы о мірѣ и вѣчности, о смерти и безсмертіи, о судьбѣ личнаго человѣка, о таинствахъ любви, блаженства и страданія... Обаятеленъ этотъ фантастическій, запертый въ самомъ себѣ міръ; средніе вѣка жили въ немъ безвыходно; наше время, выступившее изъ него же, не отрѣшилось отъ него, но расширило его новыми элементами и уравновѣсило ихъ, помирило его и съ исторіею и съ практическою дѣятельностію. Горе тому, кто, соблазненный обаяніемъ этого внутренняго міра души, закроетъ глаза на внѣшній міръ и уйдетъ туда, въ глубь себя, чтобъ питаться блаженствомъ страданія, лелѣять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!... Люди съ сильными натурами, погружаясь въ эту пучину внутренняго созерцанія, могутъ дѣлаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тѣнями въ чуждомъ и страшномъ для нихъ мірѣ дѣйствительности. Люди недалекіе и неглубокіе дѣлаются піэтистами, мистиками и моралистами; они толкуютъ и понимаютъ себя и все внѣ ихъ находящееся задомъ напередъ и вверхъ ногами. Но горе и тому, кто, увлеченный одною внѣшностію, дѣлается и самъ внѣшнимъ человѣкомъ: нѣтъ ему вѣрнаго убѣжища въ самомъ себѣ отъ бурь жизни; нѣтъ въ немъ ни глубокихъ нравственныхъ началъ ни вѣрнаго взгляда на дѣйствительность: внутри его и холодно, и сухо, и жестко; онъ не можетъ любить: онъ гражданинъ, онъ воинъ, онъ купецъ, онъ все, что хотите, но онъ никогда —

не „человѣкъ“, и вы никогда ему не ввѣритесь, не будете его другомъ, не откроете ему никакого внутренняго человѣческаго чувства, боясь опрофанировать это чувство... Итакъ, оба эти міра, внутренній и внѣшній — крайности: равно опасно предаваться одной изъ нихъ исключительно; но оба эти міра равно нуждаются одинъ въ другомъ, и въ возможномъ проникновеніи одного другимъ заключается дѣйствительное совершенство человѣка. Міръ внѣшній встрѣчаетъ насъ при самомъ рожденіи нашемъ и уловляетъ насъ: чтобъ избавиться отъ его ложныхъ и нечистыхъ обаяній, прежде всего нужно развить въ себѣ романтическіе элементы. Пусть они возобладаютъ надъ нашимъ духомъ, возбудятъ въ насъ восторженность и фанатизмъ: въ сильной натурѣ, одаренной тактомъ дѣйствительности, они уравновѣсятся въ свое время съ другою стороною нашего духа, зовущею ихъ въ міръ исторіи и дѣйствительности; что же до натуръ одностороннихъ, исключительныхъ, или слабыхъ — имъ вездѣ грозитъ равная опасность — и во внутреннемъ и во внѣшнемъ мірѣ. Итакъ, развитіе романтическихъ элементовъ есть первое условіе нашей человѣчности. И вотъ великая заслуга Жуковскаго! Трепетъ объемлетъ душу при мысли о томъ, изъ какого ограниченнаго и пустого міра поэзіи въ какой безконечный и полный міръ ввелъ онъ нашу литературу; какимъ содержаніемъ обогатилъ и оплодотворилъ онъ ее посредствомъ своихъ переводовъ!... Трагедіи Озерова — и „Орлеанская Дѣва“ Шиллера; анакреонтическія стихотворенія Державина, чувствительныя пѣсни и романсы Карамзина, Дмитріева, Капниста, Нелединскаго-Мелецкаго — и „Пѣсня Миньоны“, „Голосъ съ того свѣта“, „Утѣшеніе въ слезахъ“, „Горная дорога“, „Мечты“, „Элизіумъ“, „Элегія на кончину королевы виртембергской“, „Сельское кладбище“, „Три путника“, „Теонъ и Эсхинъ“, „Старый рыцарь“ и проч.; торжественныя оды — и такія баллады, какъ „Рыцарь Тогенбургъ“, „Ивиковы журавли“, „Лѣсной царь“, „Кассандра“, „Графъ Габсбургскій“, „Узникъ“, „Эолова арфа“, „Ахиллъ“, „Торжество побѣдителей“, „Жалобы Цереры“, „Кубокъ“, „Замокъ Смальгольмъ“!... А тамъ еще остаются переводы: „Шильйонскій узникъ“, „Пери и Ангелъ“, сельскія стихотворенія, „Ундина“ — эта благоуханная, мелодическая и фантастическая повѣсть сердца, это оригинально-переведенное

творенiе Жуковскаго — лучше всего поясняетъ, почему его не хотятъ называть переводчикомъ, а смотрятъ на него, какъ на самостоятельнаго поэта. Дѣйствительно, Жуковскаго нельзя назвать собственно переводчикомъ: въ выборѣ пьесъ для перевода онъ руководствовался не однимъ безотчетнымъ влеченiемъ, но какъ будто началомъ: онъ вездѣ искалъ своего и, находя, переводилъ; всѣ переводы его носятъ на себѣ какой-то общiй отпечатокъ, всѣ они образуютъ собою какой-то особенный мiръ поэзiи — поэзiи Жуковскаго. Самыя оригинальныя произведенiя — какъ будто переводы, а переводы — какъ будто оригинальныя произведенiя. Онъ не случайно перевелъ „Орлеанскую Дѣву", а не „Донъ Карлоса", не „Валленштейна", не „Вильгельма Телля": историческая сфера — не его сфера; ему родственнѣе этотъ мiръ чудесъ внутренняго духа, ему болѣе по душѣ вдохновенная таинственнымъ дубомъ героиня... Да, велика, неизмѣримо велика заслуга Жуковскаго русской литературѣ, русскому обществу! Это не временная, не относительная заслуга: многiе, или, лучше сказать, большая часть его переводовъ будутъ вѣчными памятниками его огромнаго таланта, неувядаемыми цвѣтами русской литературы. Поколѣнiе отъ поколѣнiя будетъ воспитываться ими на служенiе духу жизни... Я не имѣю ничего лучше представить себѣ его переводовъ: „Торжество побѣдителей" и „Жалобы Цереры"; если бъ Жуковскiй перевелъ только ихъ — и тогда бы онъ составилъ себѣ имя въ нашей литературѣ. Если между его переводами есть слабые — причина въ неудачномъ выборѣ, а не въ недостаткѣ таланта. Таковы: „Королева Урака", „Долина", отрывки изъ „Камоэнса" и т. п. Но и его неудачныя пьесы, какъ оригинальныя, такъ и переводныя, однѣ уже сдѣлали свое дѣло, другiя еще будутъ его дѣлать: ихъ содержанiе для неразвитаго еще эстетическаго вкуса всегда будетъ замѣнять недостатокъ формы. Объ образцовыхъ переводахъ его я уже все сказалъ, что хотѣлъ сказать; о полномъ же циклѣ его поэзiи заключаю свое сужденiе стихами Пушкина:

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль;
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость;
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Батюшковъ болѣе поэтъ, чѣмъ Жуковскій; Батюшковъ былъ одаренъ отъ природы художественными силами. Въ стихѣ его есть упругость и пластика: о гармоніи нечего и говорить: до Пушкина у насъ не было поэта со стихомъ столь гармоническимъ. Батюшковъ сочувствовалъ древнему міру; въ натурѣ его были элементы эллинскаго духа. И между тѣмъ, онъ прошелъ почти незамѣченнымъ явленіемъ, тогда какъ Жуковскаго знала наизусть вся Россія: причина — недостатокъ, если не отсутствіе содержанія въ поэзіи Батюшкова. Родиною его музы должна была быть Эллада, а посредникомъ между его музою и геніемъ Эллады — Германія; и между тѣмъ, талантъ Батюшкова развился на безплодной для искусства почвѣ французской литературы XVIII вѣка: онъ не почиталъ для себя униженіемъ переводить и подражать даже какому-нибудь сладенькому Парни. Итальянская поэзія тоже не могла быть ему особенно полезною, и скорѣе была вредна. Одно изъ лучшихъ его произведеній — „Элегія на развалинахъ замка въ Швеціи“ - внушено ему дикимъ геніемъ мрачнаго сѣвера; антологическія стихотворенія — эти драгоцѣнные брильянты въ его поэтическомъ вѣнцѣ подарены ему геніемъ родной ему Эллады. Все прочее занимаетъ у него середину между скандинавскою элегіею и антологическими стихотвореніями, и потому — все это какъ-то нерѣшительно, болѣе сверкаетъ превосходными частностями, красотою пластически-художественной формы, но не цѣлымъ, которое по недостатку содержанія, не могло являться въ художественной замкнутости и оконченности.

Батюшковъ явился въ такое время нашей литературы, когда ни у кого не было и предчувствія о томъ, что̀ такое искусство со стороны формы. Поэтому, онъ заботился больше о гладкости и правильности того, что̀ называли тогда „слогомъ“, и мало заботился о виртуозности своего художественнаго рѣзца, такъ что его пластическіе стихи были безсознательнымъ результатомъ его художнической натуры, — и вотъ почему въ его стихотвореніяхъ такъ много неточныхъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, а иногда онъ не чуждъ и растянутости и реторики. Батюшковъ самъ чувствовалъ недостатокъ въ содержаніи для своей поэзіи, и потому переходилъ изъ крайности въ крайность: изъ свѣтлаго, поэтическаго эпикуреизма къ какому-то строгому и прозаическому

мистицизму. Поэзія его всегда нерѣшительна, всегда что-то хочетъ сказать и какъ-будто не находитъ словъ. Впрочемъ, чтобы сдѣлать вѣрную и полную оцѣнку Батюшкову, надо много говорить, надо безпрестанно цитировать его стихи. Батюшковъ не принадлежитъ къ числу геніальныхъ творческихъ натуръ: но талантъ его до того великъ, что, не будь его поэзія лишена почти всего содержанія, родись онъ не передъ Пушкинымъ, а послѣ него, — онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательныхъ поэтовъ, которато имя было бы извѣстно не въ одной Россіи.

Душа Батюшкова была, по преимуществу, артистическая. Онъ сочувствовалъ древнимъ, превосходно перевелъ нѣсколько антологическихъ пьесъ, любилъ образовательныя искусства, съ страстью писалъ о живописи. Преобладающій пафосъ его поэзіи — артистическая жажда наслажденія прекраснымъ, идеальный эпикуреизмъ; но эта жажда часто растворяется у него кроткою меланхоліею, легкою и свѣтлою грустью. И потому мечтательность у него замѣняется задумчивостью, фантазмъ радужными образами фантазіи: читая его, вы чувствуете себя на почвѣ дѣйствительности и въ сферѣ дѣйствительности. Кажется, какъ будто въ граціозныхъ созданіяхъ Батюшкова русская поэзія хотѣла явить первый результатъ своего развитія, примиреніемъ дѣйствительнаго, но односторонняго направленія Державина съ односторонне-мечтательнымъ направленіемъ Жуковскаго. Этотъ результатъ не былъ удовлетворителенъ, потому ли, что талантъ Батюшкова не былъ для этого довольно могучъ, глубокъ и многостороненъ, или потому, что онъ слишкомъ увлекался вліяніемъ французской литературы XVIII вѣка и больше любилъ и зналъ италіанскую, чѣмъ нѣмецкую и англійскую словесность, хорошо былъ знакомъ съ латинскою и, кажется, не зналъ греческой поэзіи. По той или другой причинѣ, или по обѣимъ вмѣстѣ, но въ Батюшковѣ есть что-то неполное, недоконченное; идеи его не глубоки, содержаніе его поэзіи вообще бѣдно; самый языкъ обилуетъ усѣченіями и вольностями, а художественность часто борется съ реторикою. Батюшкову, дѣйствительно, недоставало геніальности, чтобъ освободиться изъ-подъ вліянія своей эпохи. Несчастная болѣзнь парализировала его талантъ и дѣятельность именно передъ тѣмъ временемъ, когда на небо-

склонѣ русской поэзіи взошло ея великое свѣтило, которое не могло бы не имѣть на него сильнаго и благодѣтельнаго вліянія... Мы говоримъ о Пушкинѣ, поэзія котораго была довершеніемъ всѣхъ усилій, достиженіемъ всѣхъ стремленій, плодомъ и результатомъ всего искусственнаго развитія русской поэзіи. Да, Пушкинъ — первый, даже и по времени, поэтъ русскій: ибо все, что въ предшествовавшихъ ему поэтахъ было или отдѣльными силами, или односторонними элементами, или только усиліемъ, или стремленіемъ, — въ немъ явилось какъ разрѣшенная загадка, какъ уже обрѣтенное слово, какъ исполненіе, какъ единство, полнота и цѣлость разнообразнаго и многосторонняго. *Бѣлинскій.*

Чистота, свобода и гармонія составляютъ главнѣйшія совершенства новаго стихотворнаго языка нашего. Объяснимъ каждое изъ нихъ порознь. Употребленіе собственно русскихъ словъ и оборотовъ не даетъ еще полнаго понятія о чистотѣ нашего языка. Ему вредятъ, его обезображиваютъ неправильныя усѣченія словъ, невѣрныя въ нихъ ударенія и неумѣстная смѣсь славянскихъ словъ съ чистымъ русскимъ нарѣчіемъ. До временъ Жуковскаго и Батюшкова всѣ наши стихотворцы, болѣе или менѣе были подвержены сему пороку: языкъ упрямился; мѣра и рифма часто смѣялись надъ стихотворствомъ — и побѣждали его. Подъ именемъ свободы языка здѣсь разумѣется правильный ходъ всѣхъ словъ періода, смотря по смыслу рѣчи. Русскій языкъ менѣе всѣхъ новѣйшихъ языковъ стѣсняется разстановкою словъ; однакожъ, по свойству понятій, выражаемыхъ словами, и въ немъ надобно держаться естественнаго словотеченія.

Живи — и тучи пробѣгали
Чтобъ рѣдко по водамъ твоимъ!

Или:

Сія гробница скрыла
Затмившаго мать лунный свѣтъ.

Всякій согласится, что подобная разстановка словъ, при всѣхъ совершенствахъ поэзіи, стихи дѣлаетъ запутанными. Жуковскій и Батюшковъ показали прекрасные образцы, какъ надобно побѣждать сіи трудности, и очищать дорогу теченію мысли. Это имѣло удивительныя послѣдствія. Въ нынѣшнее

время произведенія второклассныхъ и, если угодно, трехъ-классныхъ поэтовъ носятъ на себѣ отпечатокъ легкости и пріятности выраженій. Ихъ можно читать съ удовольствіемъ. Кругъ литературной дѣятельности распространился, и богатства вкуса умножились. Наконецъ, нѣсколько словъ о гармоніи. Прежде всего надобно отличить гармонію отъ мелодіи. Послѣдняя легче достигается первой: она основывается на созвучіи словъ. Гдѣ подборъ ихъ удаченъ, слухъ не оскорбляется, нѣтъ для произношенія трудности. — тамъ мелодія. Она имѣетъ еще высшую степень, когда сліяніемъ звуковъ опредѣлительно выражаетъ какое-нибудь явленіе въ природѣ и, подобно музыкѣ, подражаетъ ей. Гармонія требуетъ полноты звуковъ, смотря по объятности мысли, точно такъ, какъ статуя опредѣленныхъ округлостей, соотвѣтственно величинѣ своей. Маленькое, сухощавое лицо, сколько бы черты его пріятны ни были, всегда кажется нехорошимъ при большомъ туловищѣ. Каждое чувство, каждая мысль поэта имѣютъ свою объятность. Вкусъ не можетъ математически опредѣлить ея, но чувствуетъ, когда находитъ ее въ стихахъ или уменьшенною, или преувеличенною, — и говоритъ: здѣсь не полно, а здѣсь растянуто. Сіи стихотворческія тонкости могутъ быть наблюдаемыми только поэтами. Въ числѣ первыхъ надо поставить Жуковскаго и Батюшкова.

Вотъ что мы нашли общаго между сими утвердителями новѣйшаго языка нашей поэзіи! Но, сходясь въ главныхъ совершенствахъ, они послѣ идутъ особенными дорогами. Какъ стихотворцы, они могутъ быть соперниками, а какъ поэты, они должны остаться друзьями, потому-что каждый изъ нихъ имѣетъ особенный родъ и каждый въ своемъ родѣ равно счастливый властелинъ.

Жуковскій, воспитанникъ и основатель въ Россіи романтической школы поэзіи, совершенно постигнулъ прекрасную въ ней сторону. Глубокія чувства, смѣлая мечтательность, богатство, или, лучше сказать, роскошь самыхъ свѣжихъ картинъ природы, составляютъ настоящія красоты романтической и вмѣстѣ Жуковскаго поэзіи. Изображая чувствованія сердца человѣческаго, онъ доходитъ до самыхъ сокровеннѣйшихъ. Какъ анатомикъ, онъ знакомитъ насъ со всѣми изгибами нашего сердца. Но чаще онъ любитъ предаваться всей стремитель-

ности отважнаго своего воображенія, которое, въ прихотливомъ своемъ полетѣ, избираетъ путь нерѣдко странный; однако, самое своенравіе его насъ плѣняетъ, потому что никогда у него сила воображенія не измѣняетъ дѣятельности. Въ рисовкѣ картинъ природы Жуковскій не имѣетъ и едва ли будетъ имѣть соперника. Почти всѣ явленія въ природѣ — даже едва примѣтныя черты въ нихъ — замѣчены имъ и вошли уже въ составъ его красокъ. Часто кажется, что онъ находитъ особенное удовольствіе въ собираніи сихъ едва примѣтныхъ подробностей, изъ которыхъ онъ составляетъ свои описанія. Кто разбиралъ его Павловскія картины, тому все сіе будетъ понятно. Въ слогѣ Жуковскаго удивительная гармонія, принимая ее въ томъ смыслѣ, какъ мы прежде сего опредѣлили. Часто онъ такъ обведетъ мысль свою, что самымъ круглымъ прозаическимъ періодомъ не выразишь ее полнѣе. Но это преимущественно бываетъ въ описаніи внѣшней природы. Что касается до глубокихъ чувствованій, слогъ его сжатъ, и потому чаще всѣхъ писателей у него встрѣчается фигура удержанія:

О, кто ты, тайный вождь! Душа тебѣ во слѣдъ...

Хотя онъ первый удачнѣе всѣхъ началъ въ самыхъ короткихъ словахъ заключать множество мыслей; но это иногда ему вредитъ, потому что излишняя сжатость слога бываетъ причиною темноты мыслей. Въ общемъ составѣ большихъ сочиненій онъ не всегда такъ счастливъ, какъ въ частной ихъ отдѣлкѣ. Кажется, слишкомъ смѣлое воображеніе увлекаетъ его далѣе, нежели на что̀ бы отважился другой. Впрочемъ, это можно замѣтить почти въ одной только его пьесѣ, о которой онъ самъ сказалъ:

Въ моихъ запутанныхъ стихахъ,
Какъ тайный вождь-хранитель,
Онъ путь мнѣ къ цѣли проложилъ.

Несмотря на все сіе, никто между новѣйшими нашими поэтами[1]) не возбуждаетъ къ себѣ столько энтузіазма, какъ Жуковскій. Причина ясная: онъ живѣе всѣхъ говоритъ сердцу и воображенію.

Батюшковъ держится новѣйшей классической школы. Нѣжность чувствъ, умѣряемая голосомъ истины, воображеніе

[1]) Авторъ — современникъ Жуковскаго.

живое, но всегда послушное строгому вкусу, описанія прекрасныя, никогда не преувеличенныя — отличають сію школу отъ романтической. Батюшковъ задумывается, а не мечтаетъ. Его скорѣе увлечетъ чувство, нежели воображеніе. Онъ преимущественно любитъ такъ называемую пластическую красоту, а невообразимую. Ею исполнена для него природа. Чувство нѣги и наслажденія въ разнообразнѣйшихъ видахъ, но постоянно прекрасныхъ, разливается на всю его поэзію. Самыя высокія лирическія его произведенія неизъяснимо смягчаются отъ сего главнаго характера. Онъ имѣетъ большую власть надъ своимъ талантомъ — и никогда не приноситъ невольныхъ жертвъ (если можно употребить такое выраженіе) насилію вдохновенія. Онъ, кажется, не вѣритъ, чтобы все прекрасное для него было прекраснымъ и для другихъ, и потому его произведенія, выдержавшія искусъ обдуманности, сбросили съ себя личность времени и мѣста, и вышли въ такомъ видѣ, въ какомъ безъ застѣнчивости могли бы показаться въ древности, и въ какомъ спокойно могутъ итти къ будущимъ поколѣніямъ. По крайней мѣрѣ, классическая школа, какъ древняя такъ и новѣйшая, менѣе прочихъ страдала отъ времени и мѣста. По любимымъ картинамъ природы Батюшкова съ трудомъ себѣ вѣришь, что онъ житель холоднаго сѣвера.

Въ прохладѣ ясеней, шумящихъ надъ лугами,
Гдѣ кони дикіе стремятся табунами
На шумъ студеныхъ струй, кипящихъ подъ землей,
Гдѣ путникъ съ радостью отъ зноя отдыхаетъ
Подъ говоромъ древесъ пустынныхъ птицъ и водъ:
Тамъ, тамъ насъ хижина простая ожидаетъ,
Домашній ключъ, цвѣты и сельскій огородъ.

Мелодическій слогъ его составляетъ самую нѣжную, самую „сладостную“ (употребимъ его эпитетъ) музыку для слуха и сердца. Онъ создалъ особенныя формы для словотеченія русскаго языка и заставилъ — не говорю мужчинъ — даже женщинъ съ бо́льшимъ удовольствіемъ читать русскіе стихи, нежели съ какимъ онѣ обыкновенно прежде читывали французскіе. Составъ его пьесъ всегда бываетъ обдуманъ строго; ходъ ихъ ясенъ и естественъ. *Плетневъ.*